

М.В. Лескинен

Великоросс / великорус



Крестьянин,
плетущий лапоть

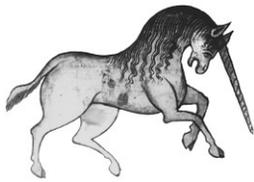


Жница



Рыбак
и разносчик дичи

Из истории
конструирования
этничности.
Век XIX



Институт славяноведения РАН

М.В. Лескинен

Великоросс / великорус

Из истории конструирования
этничности.
Век XIX



Москва «Индрик» 2016

УДК 39
Л 50

Издание осуществлено
при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
грант № 16-01-16048д

Исследование выполнено при поддержке грантов:

International Association for the Humanities (IAH)/
Международной ассоциации гуманитариев (МАГ)
по теме «Этническая идентификация великорусов в процессе
конструирования “русскости”: стратегия и практика» (2011–2012);

Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
по теме «“Великорусы” в отечественной историографии второй половины
XIX века: историко-этнографическая аргументация в процессе формирования
русской национальной идентичности» (проект № 13-01-00078а)

Рецензенты:

д.ист.н. А.В. Буганов
д.ист.н. М.А. Робинсон

**Лескинен М.В. Великоросс/великорус.
Из истории конструирования этничности. Век XIX. —
М.: «Индрик», 2016. — 680 с., ил.**

ISBN 978-5-91674-396-8

В монографии представлена реконструкция ключевых понятий, научных теорий и идей, с помощью которых осуществлялось создание концепта «великорусы» в российской научной и популярной этногеографической литературе XIX в. История формирования признакового поля великорусской этничности как «господствующего русского племени» анализируется через процедуры классификации и сравнения с другими племенами (славянскими, восточнославянскими и финскими) по ряду признаков: язык, расовый/этнический тип, этнический нрав/характер. Рассмотрены также: эволюция представлений о границах пространства Великороссии/Великой России и трансформация содержания этнонимов, применявшихся для наименования великорусов. Показан процесс вербальной и визуальной концептуализации «великорусскости» в репрезентациях русских народов Российской империи периода нацистроительства.

ISBN 978-5-91674-396-8

© Текст, Лескинен М.В., 2016

© Оформление, Издательство «Индрик», 2016

Содержание

Введение	11
Глава 1.	
Понятие «Великая Россия» и номинации славянского народа Империи в контексте исторических европейских народоописаний эпохи Просвещения	49
В Европе	49
В России	52
О россиянах и русскости в XVIII веке. Круг первоначальных гипотез	60
Понятия «Великая Русь/Великая Россия» в географии российского Просвещения	62
Глава 2.	
Пространственные пределы и этнонимические вариации. Имя и локус	87
<i>Параграф 1.</i>	
<i>Великая Россия. Границы и дефиниции</i>	87
Географическая номенклатура и единицы территориального деления в конце XVIII – XIX веке. Попытки структурирования	87
Территория Великой России в первой половине XIX века	92
Великороссия и великороссийские губернии. Новые трактовки	101
Великая Русь/Великая Россия в системе составной хоронимики Руси/России	107
Великороссийские губернии в официальных административных номинациях	112
Научно-популярная и учебная литература. Великорусский край и губернии	115

<i>Параграф 2.</i>	
<i>Символическая география и ее влияние на трансформацию этнонима: великороссиянин, северный росс/севернорусс, великоросс/великорус</i>	124
Север/юг, запад/восток в символической географии и их влияние на характеристики обитателей и этноминации	125
Велико- и малороссияне	133
Глава 3.	
Языки и/или наречия. Борьба за место в иерархии	155
<i>Параграф 1.</i>	
<i>Теории и принципы лингвистической классификации</i>	155
Лингвистическая таксономия и классификации славянских языков/наречий	157
Славянские языки в системах лингвистических классификаций. 1840-е – 1850-е годы	170
Классификация говоров великорусского наречия	179
Русский язык и великорусское наречие в этнографической литературе	188
Идентификация этнической принадлежности по языку. Практический ракурс	193
Язык как критерий этнической принадлежности. Опыт переписей	197
<i>Параграф 2.</i>	
<i>Малороссийский язык или малорусское наречие?</i>	203
Малороссийское и великорусское наречия в популярных трактовках	211
Позиция языка, наречия и говора в языковой иерархии как обоснование исторического статуса народа	215
Дискуссия о происхождении малороссийского языка/наречия	220
Некоторые последствия дискуссии о статусе языка/наречия в конце столетия	227
Признание условности лингвистической номенклатуры	230
Ученые между наукой и политикой	233

Глава 4.	
Великоросс/великорус	
в этногеографической номенклатуре.	
Расовые теории и проблема великорусской крови	259
Цивилизационно-историческая классификация	261
Исторические/неисторические народы.	265
Расовые классификации народов	
и проблема великорусского антропогенеза	271
<i>Расовые теории в российской антропологии XIX века</i> . . .	271
<i>Гипотезы происхождения финно-угров</i>	274
<i>Ассимиляция и метисация</i>	278
Восточные славяне и проблема метисации:	
идеологические причины и последствия	294
Теория Франчишека Духиньского	
о туранском происхождении великорусов	297
Метисация как неизбежное следствие колонизации	306
Глава 5.	
Нрав/характер «северного росса»/великоруса	
в компаративных этнографических репрезентациях.	
Дискуссия о русской нравственности	337
<i>Параграф 1.</i>	
<i>Характер как этнический признак. Черты великоруса</i>	
<i>в сравнительно-историческом ракурсе</i>	337
Общие значения понятий нрав/характер	337
Отличительные этнические свойства славян	
с точки зрения европейцев XVIII столетия	344
Характер русского/великоруса в компаративистских очерках . . .	347
Русские как славяне	347
Великорусы как славянское племя:	
эволюция представлений в 1830-х – 1890-х годах	353
Великорус/малорус: основополагающее	
сравнение племенных типов	371
Особенности великоруса как «северного русского»	386
Великорусский характер в изображении историков	389
Нрав великоруса в этнографических репрезентациях.	395

<i>Параграф 2.</i>	
<i>Проблема соотношения нрава и нравственности русских/великорусов. Теория и практика</i>	402
Народная нравственность в трактовке историков	402
Образ «своего» через «чужого».	
Система скрытых сопоставлений (финский образец).	405
Объяснения честности/нечестности как этнического свойства	413
Дискуссия о русской нравственности	415
Глава 6.	
В поисках репрезентативного великорусского типа и идеального образа. Фенотип и его визуальные воплощения	453
Традиции визуализации этнического в XVII–XIX веках	453
Русские «типы».	
Вербальные и визуальные изображения великоруса	456
«Физиономия» народа.	460
Дефиниции «типа»	464
Описания жителей великорусских губерний в 1850-х годах.	
Локальное/социальное/этническое	478
Понятия «тип» и «типичное» в 1860-х – 1900-х годах.	
Трансформация методов	484
Этнографический и физический типы	487
Визуализация типов. Великорусы	491
Дискуссия о великорусском типе в связи с Этнографической выставкой 1867 года в Москве	498
Полемика о типе и типичном в этнологии	504
Образ великоруса	
в этнографической литературе и в иллюстрациях	512
Иерархизация региональных типов в процессе выбора репрезентативного варианта великорусской этничности	522
И снова к антропологии...	
Проверка строгими научными методами	544

Глава 7.

«Волга – русская река».

Формирование и аргументация концепта 575

Реки России в истории государства и этноса 576

Русские реки в аллегорических воплощениях 577

Волга в географических словарях и энциклопедиях.

Параметры репрезентации и формирование клише 580

Административное деление Поволжья 583

Волга между Европой и Азией. Граница или связующее звено? .. 590

 Европа и Азия 591

 Точки Азии на Волге 594

Мотивы благоденствия и изобилия 598

Волга в учебниках и литературе для детей 603

Волга А.Н. Пыпина 610

Волжский регион. Типичный или особенный? 612

Когда же стала Волга русской рекой? 617

Эстетическая пейзажная функция Волги 622

«Громадное значение Волги
в жизни великорусской народности неисчислимо» 624

Ассимиляция великорусов и инородцев
в Поволжье и России. Проблема нацистроительства 630

«Русский Нил» В.В. Розанова 632

Заключение.

**Идентификация великороссов/великорусов
в процессе конструирования русскости 655**

Приложения

Таблица 1. Состав великорусских и центральных губерний
в первой половине XIX в. 668

Таблица 2. Состав великорусских и центральных губерний
во второй половине XIX в. – первых десятилетиях XX в. 670

Список иллюстраций 673

Введение

Об этой книге

Постановка исследовательской проблемы

Наименование «великороссы/великорусы» в современном языке, в том числе в научном тезаурусе исторической и этнографической дисциплин, принято объяснять как устаревшее название русских, бытовавшее в литературном языке и официальном дискурсе XIX – начала XX в.¹ Согласно такому пониманию, этноним «русские» начиная с XX в. – это не столько синоним «великорусов», сколько простая лексическая замена (в том же ключе часто описывается изменение названия «малорусы» на «украинцы»); в зависимости от идеологической трактовки утверждается, что замена эта либо зафиксировала этап процесса национальной самоидентификации, либо явилась результатом «естественной» трансформации понятия, в том числе в узкоязыковой сфере, а вовсе не обязательно в области этнонационального сознания. В словарных статьях и в этнографических очерках о русских указывается также, что «русскими» в XIX в. называли восточных славян («русских, украинцев, белорусов» или «великорусов, малорусов и белорусов») в совокупности². С одной стороны, в подобном схематичном изложении отражены факты исторического словоупотребления, а с другой – игнорируется ряд важных вопросов. В частности: в какой мере применение термина «этноним» корректно для названия, не являющегося самоназванием (эндонимом) и так и не ставшего им, а изначально созданного и использовавшегося исключительно в книжном языке? Можно ли говорить о ряде понятий «великорусы», «малорусы» и «белорусы» как этнонимическом? Ведь в период их активного бытования в XIX в. (в отсутствие термина «этнос») в представлениях одной части интеллектуальной элиты все они соотносились лишь с одним племенем (в значении «этнос») – «русскими», именуясь его «отраслями», «ветвями», «оттенками», «поколениями» и т.д., тогда как другая рассматривала их как три самостоятельные «народности» (в разных значениях слова) общего происхождения и одной языковой группы, причем в идеологии украинофилов это был веский аргумент для обоснования не племенной, но национальной специфики.

В новейших империологических зарубежных и отечественных научных исследованиях, посвященных истории формирования национальной идентичности, ее идеологическим, научным и

церемониальным воплощениям в Российской империи³ (анализ современной историографии мы в данном контексте выносим за скобки), высказывалось мнение, что идея самодержавного монархизма, являвшегося опорой и основой поликонфессионального и полиэтничного государства для российских консерваторов, и представления о русской нации, разрабатывавшиеся в теориях русского либерализма, не только не актуализировали концепцию этничности, но никак не соотносили ее с существовавшими идеологемами (в том числе представленными в уваровской триаде⁴) зарождавшегося в первой трети XIX в. русского национализма. Разработку и концептуализацию русской и/или великорусской этничности связывают, как правило, с деятельностью славянофилов⁵ и русификаторов – консерваторов крайнего толка. Однако предпринятый в нашей работе исторический и семантический анализ обширного корпуса разножанровых текстов, рассматриваемых как единый этногеографический метатекст, позволяет значительно расширить спектр позиций и взглянуть на указанную проблему во многом по-новому.

В Российской империи с конца XVIII в. и особенно интенсивно начиная с 1820-х гг., после Отечественной войны 1812 г. шел процесс формирования новых представлений о русской идентичности/русскости⁶ в двух аспектах: как русской этничности/народности (ограничиваемой, однако, социальными низами общества) и как русской нации/национальности. Причем во втором случае наблюдалось стремление если не нивелировать резкие социальные, религиозные, этнокультурные, исторические, цивилизационные и иные различия внутри государства, то, по крайней мере сформулировать гипотезу, объясняющую и легитимирующую принцип сосуществования геополитических исторических единиц, «земель», окраин с разнородным населением под единым скипетром и под цементирующим влиянием ее государствообразующего ядра, которым «назначались» то русские в целом, то исключительно великорусы. Начиная с 1840-х гг. это делало все более актуальной проблему их этнической идентификации – в связи с важной для империй каталогизацией ресурсов и классификацией населения, что не могло быть осуществлено без привлечения авторитета и методов науки. Создание в 1845 г. Императорского Русского географического общества с отделением этнографии в его структуре знаменовало соединение интересов власти и науки на этом поле. Бесспорно, что отечественные этнографические исследования и их популяризация сыграли важную роль не только в формировании знаний и образов народов в сознании образованных подданных, но и в складывании этнической идентичности и национальной идеологии этнокультурных групп Российской империи.

Однако история возникновения и трансформации/эволюции номинации «великорус» (в отличие, например, от наименований

других восточнославянских народов – малорусов/украинцев и белорусов) не часто становилась в XX в. предметом специального исследования. Многозначность толкований слова/понятия в языке XIX–XX вв. также затрудняла обращение к этому проблемному полю. В первой четверти XIX в. само определение «русский» относилось не только к языку и триединому народу-этносу (к которому причисляли три восточнославянских этноса, ныне признаваемые самостоятельными), но использовалось также для именованя всех подданных Российской империи. В литературном языке той эпохи русскими могли называть жителей только центральных регионов России, соотносимых с землями Московского государства, т.е. великорусов. В научном же лексиконе это наименование чаще всего применялось именно при определении «народа» – как совокупное название великорусов, малорусов и белорусов. Многозначность, не дифференцирующиеся самими авторами интерпретации, отсутствие четких дефиниций во вненаучном дискурсе, а также расширительное повседневное словоупотребление – все это создавало и создает значительные сложности для исследователя, задавшегося целью проанализировать категорию русскости и соположенных с ней понятий – политонимов и этнонимов.

Так, один из исследователей (на примере контент-анализа текстов Д.И. Иловайского) категории «русский» и сопряженных с ней грамматических форм констатирует: «Определить то, о какой общности (этнической или гражданской) идет речь, можно только из контекста предложения... Очень часто “русские” – это подданные российского императора, население Руси/Российской империи, многоэтнической и многоконфессиональной по своей сущности... Категория “русский”... обладает скорее надэтническим “содержанием”. Об этом свидетельствует анализ сопряженности категории со словами-понятиями в рамках словосочетаний: русскость ассоциируется прежде всего с государственно-политической и экономической, территориальной и культурной сферами общественной жизни»⁶. Одновременно в тех же текстах проявляется и этнический аспект содержания слова «русский» – при использовании терминов «русский народ», «русское племя», «русская народность» или «русская нация», – притом без предлагаемых дефиниций или комментариев по поводу этих единиц этнонациональной таксономии⁷. Та же самая проблема встает в ходе семантической реконструкции содержания и при анализе использования в этногеографическом дискурсе XIX в. названий «Великая Россия»/«Великороссия», «великороссийский»/«великорусский», «великороссиянин»/«великорус». Вопрос о происхождении этнонима «великороссы»/«великороссияне»/«великорусы» имеет длительную историю и эволюцию. На начальном этапе, когда складывались представления о границах регионов в целом –

Великой, Малой, Белой, Черной, Червонной Руси (России), – данное наименование использовалось в качестве термина, обозначающего население Великой России (Великороссии). На протяжении XVIII–XIX вв. оно подвергалось уточнению, его содержание варьировалось и дифференцировалось, будучи связано, *во-первых*, с формированием концепта русскости как выражения национального облика и характера русского народа (в его крестьянской, «простонародной» и внесловной – «имперской» – ипостасях), а *во-вторых*, с поисками этнокультурного своеобразия каждого из трех «племен» («отраслей», «поколений») восточнославянского населения России.

В конце XVIII – первой половине XIX в. понятие «великоросс» не подвергалось специальному рассмотрению, не вычленялось из общего контекста размышлений о русскости; исследователей гораздо больше занимал вопрос о землях, входящих в состав Великой, Малой, Белой, Червонной и Черной России. Но в процессе формирования российской этнографической науки начиная с середины XIX столетия определился круг значений этнонимов и представлений, связанных с конкретными характеристиками великорусов как этнокультурной общности в составе «единого русского народа». Основные тенденции этого процесса и формы репрезентации мы и попытаемся проанализировать.

Изучая этнонимии восточнославянских народов, мы сталкиваемся со специфической лексикой – это топоэтнонимы, или этнонимы «с топографическим значением основы». Они, как утверждают лингвисты, редко являются самоназваниями⁸ и потому либо могут навсегда остаться экзонимами (как произошло с наименованиями «великороссы», «великорусы»/«малороссы»/«малорусы»), либо постепенно преобразуются в эндонимы (как случилось с определением «украинцы»). Именно эта типологическая особенность данной этнонимии приводит к тому, что, изучая наименования народа, мы не можем игнорировать представления (существенно различавшиеся на разных исторических этапах) как о географическом, так и о ментальном пространстве Великой/Малой Руси // Великой/Малой России // Великороссии/Малороссии/Украины. Причем в случае с этим рядом лингвонимов мы анализируем имена, имеющие не только внешнее (данное извне), но и книжное происхождение, поскольку они изначально были плодом труда интеллектуальной элиты, что неоднократно отмечалось в научной литературе (начиная с Н.И. Надеждина и до сего дня). Соответственно, изучая имена одной из «отраслей» русского народа в XVIII–XIX вв., мы в действительности реконструируем прежде всего представления этой самой элиты как о географическом, так и о ментальном пространстве Великой Руси/Великороссии и о ее жителях. Очевидны и другие сложности: в частности, важно определить соотношение территориальных границ реги-

она на ментальных картах эпохи со способом установления ареалов расселения этнических групп – так, как они понимались на разных исторических этапах. Эта задача не столь проста, как иногда кажется, потому что трактовка этничности и установление этнической принадлежности в XIX в. не совпадали с современными методами ее научной идентификации, и в каждом случае ее определение следует принимать прежде всего как авторскую точку зрения. Она же, в свою очередь, зависела от происхождения и этнокультурной ориентации субъекта, его политических и научных взглядов, биографии и конечно же, самоидентификации. Таким образом, изучение эволюции топонимов трех восточнославянских народов возможно реализовать только в поле междисциплинарного исследования – обращаясь к методам истории языка, этнолингвистики, истории этнографии и др. Интерпретация этнических номинаций в период складывания национального самосознания и национальной идеологии всегда процесс субъективно-оценочный и манипулятивный. «Зафиксированные в письменных памятниках имена народов, – как точно подчеркивает современный этнолог С.В. Соколовский, – один из самых сильных аргументов в пользу “надвременного” характера этничности, ее неустрашимости из картины мира любых исторических эпохи... Соотнесение имени с телом, пребывающим в мире, позволяет... совершать операции со своими объектами исследования – этносами... Этноним маскирует более существенную нетождественность соотносимых с ним в разные исторические эпохи референтов»⁹. В этом смысле нет и не может быть «верного» или «ошибочного» понимания этнонимов, есть только смена интерпретационных стратегий, которая заведомо не свободна от «власти номинаций».

Определение этнической принадлежности – как собственной, так и описываемого объекта – в имперский период происходило во многом произвольно, в опоре на имевшийся арсенал знаний и ожиданий, а самоопределение этнической группы (за исключением самоназвания и его интерпретации) не учитывалось¹⁰. По этой причине в анализе «великороссийской» этнонимии следует жестко разделять различные дискурсы и контексты словоупотребления и дефиниций с неизменным учетом индивидуальных лексиконов.

Разбор этнонимии в контексте истории языка и научного тезауруса предпринимается сегодня в рамках научного направления, которое оперирует методами современной лингвистики; это, в частности, так называемая история понятий и анализ исторической семантики, осуществляемый российскими историками, филологами, культурологами¹¹. Несмотря на то что в данном научном поле политические, правовые и лингвистические понятия традиционно доминируют, в последнее время предпринимаются попытки обратиться также к терминологии, описывающей социальную, этническую и национальную

принадлежность, т.е. к комплексу идентификационных дефиниций. Особенно результативными в исследуемом нами контексте представляются попытки воссоздать имперский политический лексикон через эволюцию значений его ключевых концептов в Российской империи¹². Так, в сборнике «Понятия о России» была опубликована важнейшая с точки зрения методики реконструкции ряда лингвонимов, относящихся к репрезентации восточных славян (этнонима «малорос-с»/«украинец» и топонима «Малороссия»/«Украина»), коллективная статья «Малоросс»¹³. Следует подчеркнуть, что авторы рассматривают данный экзоним именно при системном разборе исторической семантики *понятий* имперского периода русской культуры. Поэтому во введении к статье подчеркивается необходимость разделять содержание этого ряда наименований в соответствии с границами различных дискурсов. Исследователи избрали для анализа «внутренний» дискурс («в той среде, которая идентифицирует и репрезентирует себя с помощью понятия *малоросс* (выделено в тексте. – М.Л.)») и несколько «внешних» («о *малороссах* (выделено в тексте. – М.Л.) *извне*») – великорусский (высказывания тех, кто «идентифицировали себя как великоруса»), украинский и польский¹⁴. Такое методологически корректное разграничение полей, основанное на этнической самоидентификации (когда критерием выступает этнокультурное самоопределение или отношение к украинскому проекту, т.е. не языковой дискурс), на первый взгляд убедительно и корректно. Однако применительно к реалиям XIX в. мы неизбежно сталкиваемся с упомянутой чрезвычайно сложной проблемой понимания эпохой этнической идентификации – даже в избранных социальных границах. *Во-первых*, индивидуальное самоопределение и саморепрезентация опираются на идентификационную иерархию различных уровней или типов, которые актуализируются ситуативно. *Во-вторых*, в полиэтнической Империи этническая идентичность может по-разному трактоваться или меняться в течение жизни¹⁵. Наконец, *в-третьих*, если даже брать в качестве критерия только внешнюю идентификацию (например, определить признаковое или иное поле великорусской и малорусской принадлежности) либо, наоборот, только индивидуальную, то ее зачастую почти невозможно доказать с достаточной точностью. Ибо тогда нужно было бы в каждом конкретном случае установить, как каждый из авторов осуществлял идентификацию вообще и собственную в частности, как он понимал этничность в целом, как им констатировалась или выявлялась этноспецифика, т.е. в каких случаях отличительные особенности трактовались именно как этнические, а не как, допустим, региональные, сословно-культурные или какие-либо иные. Только реконструкция индивидуального лексикона на основании создания словаря языка отдельных авторов может стать однозначным аргументом в решении этих проблем.

Изучение истории понятия «великоросс/великорус» не исчерпывается реконструкцией собственно эволюции номинаций и их значений. Конечно, данная сфера исследования – прерогатива лингвистов, и «посягать» на их предметную область нам бы не хотелось, хотя обращения к этому кругу проблем попросту нельзя избежать. Гораздо более сложным представляется вычленение содержания и смыслов, вкладываемых в наименование общности теми, кто ввел его в оборот. Определить основные тенденции и противоречия толкования термина в научном тезаурусе эпохи – задача более реалистичная, чем стремление однозначно и точно выявить совокупность всех значений в словаре эпохи (что, на наш взгляд, невозможно осуществить в одиночку, вне масштабного междисциплинарного историко-лингвистического коллективного исследовательского проекта).

* * *

Обращаясь к истории концептуализации понятия «великорус» как этнонима, нет оснований сомневаться в том, что мы имеем дело с конструированием/моделированием этнической общности в чистом виде. Как известно, конструктивистское понимание этничности как этнической идентичности исходит из того, что она является «продуктом интеллектуального производства» образованной части общества (социальной/властной и культурной/интеллектуальной элиты). Впрочем, не все сторонники данного направления категоричны в вопросе о степени внешнего в этом случае знания в репрезентации «своих», т.е. когда речь идет о различении позиций социальных групп, участвующих в процессе самоидентификации. Ретрансляция знаний и образов в широкие круги вовсе не заменяет и не нивелирует формирования присущих этим «другим своим» (народу, социальным низам, носителям традиционного сознания и культуры) представлений о собственной этнической/национальной группе, идеалах, ценностях, нормах коммуникации, институтах и практиках воспроизводства и передачи этничности, сложившихся издревле внутри самого сообщества.

Однако (в этом вопросе мы солидаризируемся с Э. Балибаром), для нас бесспорен факт, что ни одна из наций не обладает этнической базой «естественным образом», она обретает эту базу «по мере того, как национализируются... общественные формации», и именно в этом смысле происходит процесс этнизации социума как моноэтнического или (в некоторых имперских вариантах) полиэтнического образования. Так или иначе эта этничность, по словам Балибара, «фиктивна»: «Создавая народ как фиктивную этническую единицу... национальная идеология делает нечто большее, чем просто оправдывает стратегии, применяемые государством для контроля над населением; она заранее вписывает требования этих стратегий в чувство “принадлежности” в обоих смыслах этого слова»¹⁶.

В период нациестроительства и модернизации выстраиваются социальные механизмы передачи важных в первую очередь для властных и государственных структур элементов *национальной* самоидентификации, которая невозможна без опоры на *этническую*: история народа, его происхождение, идеальный обобщенный образ, позволяющий обнаружить его специфические черты как в разные исторические эпохи вплоть до мифологических времен, так и во всех разнообразных представителях народа/нации, – какие бы широкие пространственные ареалы они ни занимали и как бы давно ни существовали в изоляции. Общность веры и исторических мифов, святых и «мест памяти», языковое и кровное (племенное) родство, фенотип (внешний облик) и другие приметы, воплощающие единство общности, – все эти компоненты, существующие в коллективной картине мира, теперь «перекодируются», включаясь в иную систему категорий и понятий, претендующую на научную объективность, на аргументированный анализ социально-исторических явлений и процессов. Так они обретают легитимацию, вписываясь в новую парадигму. Трактовку места *великорусской* общности в *русской как восточнославянской* («триединого русского народа») и в *русской как национальной* мы и намереваемся показать.

Идея этой книги родилась во время написания другой монографии – в процессе анализа российских этногеографических репрезентаций финнов и поляков в XIX в. Уже банальностью стало утверждение о том, что характеристики и образы Другого гораздо больше говорят об описателе, нежели об объекте его описания. Изучавшийся нами комплекс образов и стереотипов этих двух «просвещенных народов» Империи в российском народоведческом дискурсе не был исключением. В нем с необыкновенной яркостью нашли отражение не только декларируемые и отрефлексированные отличительные черты финнов и поляков от «своих», т.е. «русских» в самом общем значении слова, но и скрытые, невербализованные представления о «своих» и «себе», определившие оценки, реакции, комментарии авторов, на первый взгляд никак не связанные с конкретными пунктами изображения «облика, быта и нравов» (этнографической специфики) данных народов. При этом образ «своего», проступавший в лексике, спектре ассоциаций и в отступлениях, явно не был ни цельным, ни стройным, ни очевидным для нарраторов. Именно стремление специально выявить и зафиксировать скрытый этнический «автопортрет» и побудил нас обратиться к вопросу о понимании и научной репрезентации русской/великорусской этничности.

Для ее воссоздания необходимо было также учесть особенности народоописаний той эпохи, основными из которых нам представляются следующие:

1) «избрание» в качестве носителя этнической специфики земледельческих народов исключительно представителей крестьянского сословия;

2) игнорирование самоидентификации (кроме неперемного учета вариантов этнонимии) разных этнических сообществ. Поэтому в монографии принципиально важно смысловое различие понятий «этническая идентичность» и «этническая идентификация» – они соотносятся как объект (первое) и инструментарий (второе) этнографического исследования;

3) разработанные учеными программы-вопросники, которыми руководствовались авторы в составлении очерков-репрезентаций;

4) господствующие теории происхождения и классификации языков, рас, народов и хорошо изученные более архаические дихотомические деления, соотносимые с оппозицией «свой»/«чужой»; а также,

5) сложившиеся социальные и гендерные стереотипы и клише, носителями которых являлись наблюдатели-путешественники или кабинетные описатели-аналитики – причем как в отношении «чужих», так и в восприятии «своих».

Самым важным и не всегда учитываемым в исследованиях этнокультурных характеристик Другого является, на наш взгляд, сложносоставный и неоднородный образ абстрактного «этнического своего» – он мог быть (хотя для XIX в. это нетипично) внесословно-единым, но чаще опирался на образ «русского» крестьянина, который отождествлялся с обобщенным типажом, сформировавшимся в результате личного опыта коммуникации, а мог соотноситься исключительно с художественными образами (как идеализированными пасторальными, так и вполне реалистическими – сострадательными к «тяжкой крестьянской доле» либо критически-разоблачительными в отношении «мужичков»). Особенно трудно реконструировать отнесение к «русскому» и/или русскости – даже в текстах одного и того же автора эти определения могли подразумевать русскость довольно неопределенную, абстрактную (или описываемую как «хорошо известное», «знакомое», «легко представляемое»), но могли также относиться к характеристикам исключительно «великорусов» – в этом случае корректная интерпретация возможна лишь через контекстуальный анализ. Для точных и адекватных выводов необходимо также учитывать индивидуальный авторский лексикон, многозначность вводимых в широкий оборот этногеографических категорий на начальном этапе их использования и язык эпохи в целом. Состав и содержание ключевых понятий научного тезауруса российской этнографии были реконструированы в другой работе⁷.

Влияние оказывали также и социально значимые и актуальные для общественной жизни темы, обсуждавшиеся в тот или иной период на страницах периодики, в столицах и провинции, в широких

кругах и политических кружках и т.п. Разумеется, нельзя сбрасывать со счетов и политические взгляды авторов, их социальный статус, этнокультурную принадлежность, уровень образования и т.д. Все эти факторы влияют на формы и способы скрытого сравнения со «своими» в этногеографических описаниях Других, но они же определяют подходы к нормативным, претендующим на объективность описаниям «великороссов/великорусов». Однако мы сосредоточимся лишь на нескольких аспектах их репрезентаций, представленных в научных, научно-популярных и учебных текстах XIX в., следуя за концептуализацией «великорусскости» в самих источниках эпохи.

Реконструкция концепта «великоросс/великорус» требует междисциплинарного подхода, поскольку выстраивание комплекса этнодифференцирующих признаков этой «ветви» русского народа осуществлялось в разных областях знания – прежде всего в естественно-научной, лингвистической и исторической сферах. Мы неизбежно обращаемся также к истории этнографической науки в целом – к ее теоретическим построениям и классификационным схемам. Среди них, в частности: 1) трансформация таксономической системы (состоящей из различных видов иерархий) этнических общностей, в которой воплощена схема взаимодействия разноуровневых единиц; 2) трактовка этнических объектов: принципы их определения, способы и лексические формы описания; 3) исследовательские стратегии, приемы и методы этнической идентификации (атрибуции) в теории и на практике. Однако наше ограничение предметного поля этнографическим *научным* дискурсом в некотором смысле условно, поскольку создателями и интерпретаторами этих знаний в прошлом были не этнографы, а широкий круг российской интеллигенции, земских деятелей, ученых – естествоиспытателей и историков, собиравших и оценивавших этнографический материал, а также, наконец, составителей и авторов научно-популярной литературы, которая в пореформенной России была чрезвычайно востребована¹⁸. Кроме того, русской этнографии XIX в., как известно, были свойственны проблемная широта исследований и отсутствие жестких границ между дисциплинами – причем не только гуманитарными. Как заметил современник, «всякая наука коренится в наблюдениях и мыслях, свойственных обыденной жизни; дальнейшее ее развитие есть... ряд преобразований... по мере того, как замечаются в них несообразности»¹⁹.

Решая вопросы, связанные с историей российской этнографии на этапе ее институционализации в качестве самостоятельной дисциплины, с формированием в ее «поле» представлений о способах научного изучения Другого, языка его описания и видов типизации, мы пришли к заключению, что разделение на «научные» и «обывательские» суждения как представления «высшего» и «низшего» порядка в этой области не просто условно, но порождает ложные интер-

претации: первые «содержат не только многие элементы обыденного здравого смысла, но и множество фигур мышления, восходящих к массовому сознанию»²⁰. Одновременно выявляются аксиологические нормы и элементы общественного (и складывавшегося в ту эпоху национального) сознания, ведь «теоретическое мышление, “идеи”, – это не то, что является самым важным в обществе... эти феномены лишь часть всего того, что считается “знанием”. Лишь очень небольшая группа людей в обществе занята теоретизированием, производством “идей” и конструированием “идей”. Но каждый в обществе тем или иным образом причастен к его “знанию”»²¹. Поэтому мы рассматриваем научные, научно-популярные и учебные тексты не просто как равноценные, но и как элементы единой источниковой базы.

Чего не стоит искать читателю в этой книге

Мы рассмотрим в книге всего лишь несколько ключевых, на наш взгляд, аспектов, в которых осуществлялась научная идентификация «великорусов», избирались способы их вербальной и визуальной репрезентации и в конечном итоге создавалась своеобразная формула «великорусскости». Они соотносятся со сферой этноспецифических черт, которые представлялись обязательными для народоописаний и были определены в конце XVIII – XIX в., а также вписывались в систему разработанных элементов русской народности, основоположником которой являлся Н.И. Надеждин. Это: территория (пространственные границы Великой России/Великороссии); язык (великорусское наречие как одно из трех наречий русского языка); антропологический/расовый тип; нрав/характер великоруса. Кроме этого, мы анализируем изменения в наименованиях данной общности (не только этнонимии в строгом смысле слова), реконструируем процесс «назначения»/выбора регионального типа на роль представителя этнического типа великоруса/русского, а в заключение осуществляем case-study складывания концепта «Волга – русская река», в котором реализовалась попытка соединения символических, пространственных (в категориях национального ландшафта) и этнических (с точки зрения его репрезентантов в национальном статусе) воплощения русскости. Важный с точки зрения этнографии процесс научного обоснования особенностей материальной культуры, обычаев, обрядности и т.д. великорусов, методов их реконструирования мы не затрагиваем.

Не освещается в книге и один из основных для процесса нациестроительства компонентов²² – создание исторического образа эволюции русской государственности, монархии и народа, сопутствующих им идеологем и мифологем, а также трансформации их наиме-

нований. Причина, *во-первых*, в том, что реконструкция последнего аспекта национальной идентичности представлена в многочисленных научных исследованиях (о норманской теории, о трактовках призвания варягов на Русь и правления Рюрика, а также о вопросах политико-исторического наследия Новгорода, преемственности киевской и московской государственности, проблемах разнородных дискурсов национальной «культурной памяти» и др.). *Во-вторых*, для рассмотрения данного вопроса необходим анализ обширного комплекса исторических исследований и учебной литературы XIX в., который мы не включаем в данное исследование в качестве самостоятельной группы изучаемых текстов, за исключением тех, в которые помещались описания этнокультурной специфики русских. Этнография была органической частью географии, а не истории, они расходились по своим задачам (в том числе тем, которые можно расценивать как идеологические) и мотивациям²³. В комплексе источников, являющихся частью исторического дискурса эпохи, содержащих в себе нормативные представления о народности как этничности и о государствообразующем народе/нации, характеристики «великорусов» вписаны в иной идеологический контекст и призваны решать несходные задачи (включая ракурсы этнокультурной репрезентации), будучи при этом более лаконичными и одновременно более определенными и жесткими в оценках Других, т.е. нерусских народов Империи²⁴. Однако (и это следует подчеркнуть) многие обнаруженные нами ранее в этногеографических источниках тенденции, теории и клише не находят выражения в популярном историческом дискурсе, или же им придаются кардинально иные смыслы (что было зафиксировано в исследовании о стереотипах поляков и финнов²⁵).

Не касаемся мы и вопросов своеобразия церковной истории и вероисповедной практики; это обусловлено тем, что данная проблематика (о чем уже писали ранее) весьма незначительно отражена в этнографических описаниях, за исключением фиксации конфессиональной принадлежности и рассуждений о влиянии отношений между церковными и политическими институтами в разных историко-политических регионах Русского государства после его распада (прежде всего в Юго-Западной и Северо-Восточной Руси) на этнический характер и политические традиции будущих великорусов и малорусов.

Наконец, в задачу автора не входил важнейший с точки зрения перспектив исследования анализ проблемы соотношения представленных в монографии взглядов и концепций образованной части общества с главным носителем этнонационального самосознания – русским/великорусским крестьянством. Его видение и понимание собственной идентичности – языковой, культурной, племенной, государственной и др. – реконструируются специалистами-этнографами²⁶ и учеными, причисляющими себя к направлению «крестьяно-

ведения»²⁷. Некоторые историографические позиции рассмотрены в пятой главе. Кроме того, согласно заключениям этнографов, термин «русский» в крестьянской среде долгое время носил «характер не столько этнический, сколько конфессиональный и был почти синонимом слова “православный”», с образованием Русского централизованного государства «этним “русский” указывал и на этническую принадлежность основной массы населения страны»²⁸.

Прибегая к анализу визуальных репрезентаций великорусских «типов» во второй половине XIX в., мы, *во-первых*, ограничиваемся главным образом иллюстративным материалом к очеркам о великорусах и экспонатами выставок, а, *во-вторых*, не ставим целью реконструировать изображения как отдельный и весьма важный аспект образа великоруса во всей его полноте; фиксируем лишь отдельные тенденции совпадения их с формами и способами воплощения этничности в этногеографических нарративах эпохи. В нашу задачу не входит также оценка достоверности или адекватности менявшихся на протяжении XIX в. этногенетических гипотез, антропологических и лингвистических классификаций и других теоретических построений эпохи с точки зрения современного научного знания: она отражена в новейших исследованиях, энциклопедиях и т.п. и сегодняшний взгляд на состояние этнографии, лингвистики и антропологии при желании легко верифицировать.

Рассматривать проблему концептуализации «великорусскости» в отрыве от эволюции понятий и интерпретации «малорусскости» невозможно – ибо эти грани одного и того же процесса этнической идентификации двух «отраслей единого русского народа» – в соответствии с принятой в официальном российском дискурсе идеей. Обращение к малорусской проблематике вызвано ее важностью для этногеографических описаний, поскольку сравнение с родственными этническими группами рассматривалось в качестве одного из основополагающих принципов этнографического исследования и одного из методов выявления этноспецифического. Кроме того, в главе о языке мы анализируем основные черты сугубо научных дискуссий о классификационном статусе языка и наречия, имевшем важное прикладное значение. Реконструкция полемики о соотношения малороссийского языка/наречия с общерусским языком, продолжавшейся в России на протяжении почти всего XIX столетия, осуществлялась нами в контексте эволюции историко-лингвистических и этнографических концепций. Данный аспект позволяет представить главные противоречия и закономерности в развитии идей, касающихся установления границ между этносами и иерархии общностей различного уровня в составе единой этничности («народности» – в научной терминологии эпохи).

Дистанцируясь от общественно-политических процессов и национальной политики, мы не претендуем на реконструкцию про-

цесса формирования русской и великорусской идентичности как результата социальной и идеологической консолидации этнокультурной и властной элит – нас интересуют только методы идентификации извне, осуществляемой средствами и усилиями образованных слоев российского общества в границах этногеографического жанра. Нормативные представления, научные стандарты описания и содержащиеся в них образы и характеристики, в том числе и этнокультурные стереотипы великоруса, – вот что является объектом исследовательской программы.

*Из истории хоронима
«Великая Русь»/«Великая Россия».
Историографические тенденции трактовки*

Вопрос о происхождении названий «Русь», «Россия», «Россия» и произведенных от него этнонимов «россияне», «русские» неоднократно становился объектом внимания исследователей-гуманитариев разных дисциплинарных специализаций. Можно констатировать, что, несмотря на обозримое множество версий, все же достигнуто некоторое согласование позиций (без учета политико-идеологических спекуляций последних лет, связанных с реинкарнацией концепции «Украины-Руси»). В энциклопедиях и словарях обычно указываются все появившиеся в истории вариации этимологии – как историко-географические, так и генеалогические, этнографические и многие другие. Нет смысла останавливаться на них специально. Более спорной остается трактовка появления и использования топонимов «Великая», «Малая», «Белая», «Черная и Красная» Русь/Россия и их привязка к карте. Очевидно, что они являются видовыми в отношении более крупной единицы – Руси/России, и их полное исследование затруднено несколькими обстоятельствами: эволюцией как самих понятий, так и их объяснений, а также разницей трактовок в синхронии (этнокультурные традиции, исторические национальные школы и т.п.) и в диахронии (на разных этапах развития географических и этнографических знаний). Исследователи, обращавшиеся к вопросу использования данных понятий, достигли, однако, определенных успехов в реконструкции совокупности ряда лингвонимов, связанных с этими хорографическими единицами.

В советской историографии проблема этимологии этого ряда названий волновала исследователей меньше, поскольку они были сконцентрированы скорее на истории формирования единого централизованного государства. Историки и лингвисты занимались в основном вопросами происхождения и формирования трех восточнославянских братских народов-этносов и трех родственных языков (русского,

украинского и белорусского)²⁹. Впрочем, обращение к данной проблеме видим в статье М.Н. Тихомирова и в книге Н.С. Державина³⁰.

Отдельную и, пожалуй, самую многочисленную историографическую группу составляют современные исторические исследования, посвященные формированию понятия «Русь/Россия». Спектр представленных мнений широк, а некоторые заключения прямо противостоят друг другу, так как авторы прибегают к несходным видам источников или, в обобщающих работах, проводят анализ в рамках разных историографических традиций толкований и трактовок. Среди них следует выделить комплекс исследований, посвященных происхождению государственности и народа времен Рюрика, где рассмотрен спектр гипотез о происхождении «Руси» и «руси», норманская теория и т.п.³¹, и работы, посвященные проблемам этнического самосознания различных регионов и их наименований³².

Одним из первых авторов, специально и непосредственно обратившихся в XX в. к вопросам этимологии лингвонимов «Великая» и «Малая» Русь/Россия, был русский эмигрант, историк-византист А.В. Соловьев³³. Его статьи на русском и немецком языках о происхождении и эволюции этих терминов с древнейших времен до XVIII в. составляют фундамент современных научных изысканий в этой области. Без ссылок на Соловьева не обходится ни одно исследование – как о происхождении имени «Русь/Россия», так и о его составной хоронимике в целом.

А.В. Соловьев полагал, что понятие «Великая Русия» начинает использоваться с XII в. иностранными авторами. Он категорически не принимал типологическую параллель между обозначениями Малой и Великой Греции и Малой и Великой России как метрополии и колонии. Гораздо более обоснованным кажется ему предположение о том, что «Великая» и «Малая» части одноименных топонимов в XII–XIII вв.³⁴ могли относиться к северному и южному центрам одной племенной группы или государственности. Подтверждением этому Соловьев считал появление названия «Великий Новгород» для отличия его от меньшего «Новгорода Северского» или «Малого Новогрудка» Литовского – притом у южнорусского летописца, для которого северный Новгород и стал Великим. Исследователь приводит еще один вариант трактовки: «великим» называли новосозданный город, населенный пункт и т.п., т.е. не обязательно северный, но вновь устроенный локус. Распространение определения «Великий» на все области произошло, по мнению историка, с распадом единой государственности и началом формирования новых политических образований (XIII–XIV вв.). Известные и постоянно цитируемые греческие церковные тексты того времени Соловьев толкует так: с отделением Галицкой Руси (после отъезда Киевского митрополита во Владимир-на-Клязьме) эта часть стала именоваться Малой – в противовес Великой, т.е. большей, ее части. Название Малой Руси при Гедимине

и после него утвердилось главным образом за галицко-волынскими областями Руси. Историк подчеркивает, что эти наименования употреблялись исключительно для фиксации различных митрополий и политических образований, но никак не для этнографической специфики. Использование понятия на протяжении XIV в. соотносится Соловьевым с обстоятельствами церковной жизни. Он показывает также, что частотность и содержание термина в письменных источниках варьируются, но не исчезают³⁵. С окончательным разделением русской церкви на западную и восточную в середине XV в. открывается новая страница притязаний каждой из сторон на титул «Всея Руси», в связи с чем понятия «Малая» и «Великая Россия» перестают быть актуальными вплоть до конца XVI в. Историк также отмечает формирование, начиная с XV в., важной тенденции отождествления Северо-Восточной Руси с Белой (вольной, великой, светлой) и с Великой в иностранных описаниях, что никак не сказывается ни на эндониме, ни на экзониме ее обитателей. Соловьев неоднократно подчеркивает, что интерес к колористической хоронимике проявляют в первую очередь западноевропейские и польские авторы хорографий и восточнославянских нравоописаний разных народов, в особенности московитов. Более подробно рассматривает он источники, в которых представлено отождествление на разных этапах северо-восточных земель и Московского государства то с Белой, то с Великой Русью.

Русские церковные деятели, по мнению А.В. Соловьева, понимали под этим термином единство православных единоверцев или собственную страну, населенную православным народом. И только с начала XVI в. определение «Великая» в отношении Руси стали соотносить прежде всего с Московско-Суздальской Русью. В 1540-х – 1580-х гг. частотность словоупотребления возрастает и оно обретает новое место в публицистике и в светской литературе – не считая титулатуры великого князя – начиная с венчания на царство Федора Иоанновича. С конца XVI столетия и в первой половине XVII в. понятия «Россия», «российский» и «Малая Россия» (как было показано ранее М.А. Максимовичем) активно функционируют в письменном языке Юго-Западной Руси в источниках разных жанров³⁶. Соловьев уверенно фиксирует, что топонимический этноним «великороссы» впервые встречается в «Триоди Постной» П. Берынды (1627)³⁷. В то же время используется прилагательное «малороссийский» для обозначения «отчизны» и «народа». Постепенно названия «Великая Россия» и «Малороссия» переносятся в Московское государство. Окончательное утверждение разделения русской земли на Великую и Малую Россию Соловьев связывает с трудом И. Гизеля «Синописис» (1672). Резюмируя, историк высказывает убеждение, что наименования «Великая» и «Малая» Русь/Россия пришли в Москву из Киева, «восходя своими корнями к Византии», и «твердо вошли» в русский язык начиная с середины XVII в.³⁸

Проведенный Соловьевым подробный анализ происхождения и распространения понятия не был ни опровергнут, ни оспорен. Однако с появлением некоторых новых данных (прежде всего источников) об этнонимии, происходящей от данных лингвонимов, некоторые его положения корректировались. Следует упомянуть и о принципиальных разногласиях по теоретической проблеме, связанной с закономерностями применения определений «Малый»/«Великий» для обозначения географических объектов в разных языках, в том числе в греческом.

Б.А. Успенский писал, что в случае с топонимами «Великая» и «Малая» Русь/Россия мы имеем дело с известной в европейской истории «метонимической топонимикой, свидетельствующей о культурной экспансии» (признаком служит эпитет «Большой/Великий»)³⁹. Имеется в виду известная специалистам по топонимии универсальная особенность наименований географических объектов в древней истории многих народов⁴⁰. Однако в данном случае более актуальным является наследие античности – пространственная и количественная номенклатура активно использовалась античными географами для определения соотношенности объектов друг с другом⁴¹.

Изначально имя «Русь» соотносилось только с киевским центром, но позже, с расширением территории, севернорусские земли стали частью Великой Руси (Μεγάλη Ρωσσία). Это имя «становится равнозначным названию “вся Русь” (Πασα Ρωσσία), которое входило в титул Киевского митрополита, управлявшего всеми русскими территориями (...“Киевский и вся Русь”). Сопоставление “Руси” и “Великой Руси” при этом не является взаимоисключающим, однако “Русь” выделяется из “Великой Руси” как маркированная часть ее территории. На этом этапе понятие “Руси” имеет двойное значение: название “Русь”, с одной стороны, соотносится с Киевской землей, с другой же стороны, выступает как общее понятие. Семантически (по объему понятия) “Русь” включает в себя “Великую Русь”, при том что физически (по охвату территории) соотношение оказывается обратным»⁴². Когда Великая Русь начинает соотноситься с северными землями и эти территории приобретают все большее значение, пространство прежней Руси начинает именоваться «Малой Русью» (позже Малороссией). Данное обозначение возникает именно «по контрасту» с Великой Русью. Так оппозиция Русь/Великая Русь преобразуется в новую: Малая Русь/Великая Русь. Суть этого изменения в том, что «центр стал периферией, а периферия – центром»; «Русь» при этом становится общим понятием в отношении каждого из элементов⁴³.

Славист А.С. Мыльников в своей монографии уделил много места истории формирования составной хоронимики Руси⁴⁴, осветив вопрос о различных исторических наименованиях страны, языка и народа Руси/Русии/России. Исследователь пришел к заключению,

что на протяжении XVI–XVII столетий в исторической мысли разных народов «вызревали основы двух противоположных концепций, которые в следующем столетии получают острое политическое звучание и выльются в ожесточенные споры между так называемыми “норманистами” и “антинорманистами”»⁴⁵. «В определенном смысле сама вариативность написания (а стало быть, и практическое применение) этнонима “русские” отражала лежавшую в его основе этнотерриториальную гетерогенность, неоднородность»⁴⁶, – констатирует историк. Государственно-территориальное разделение при сохранении основ языковой и этнической общности вело к размышлениям о степени сходства и различий трех русских областей.

А.С. Мыльников полагал, что стремление соотнести три части бывшего Древнерусского государства с их цветообозначением было распространено в XVI–XVII вв., но первые попытки относит к «инославянским» источникам XIV–XV вв. При этом он подчеркивал, что данная хоронимическая традиция формируется и развивается именно там (хотя наименование «червенские города» есть и в русских летописях). Славист последовательно рассматривает все известные упоминания и трактовки данных топонимов у авторов хронографических и космографических сочинений и подробно анализирует их, приводя также примеры Белой и Черной Руси, Белой и Великой, Красной и Черной⁴⁷. Он доказывает, что только с конца XVI – начала XVII в. семантика цветообозначения стала приобретать государственно-правовой, политический оттенок⁴⁸. Лишь в XVIII в. произошло некоторое упорядочение: Красная Русь стала соотноситься с пространством от литовской границы до устья Днепра (Русь, Подолия, Волынь, Брацлавское, Киевское, Бельское и Хелмское воеводства); Белая Русь ассоциировалась с землями в составе Речи Посполитой, реже – с Московским государством, а постепенно понятие стали соотносить с обеими этими частями. Начало нового периода обозначений, по мнению историка, знаменует собой «Лексикон» (1742) Цедлера, который в статье «Ройсия» предложил отождествлять Россию с Московией, а к ее жителям применять этноним «русские» или «ройсы». Разделение некогда обширнейшей страны («между Днестром и Днепром до Вислы») на регионы автор связывает с «изгнанием» русских за Днепр, – и тогда страна по эту его сторону стала именоваться Малой Ройсией, а Великой Ройсией стала именоваться другая часть. Но и Малую Цедлер разделял на две части: Красную (в Польше) и Белую (в Литве) Ройсии; страну же москвитов он именовал Черной Ройсией⁴⁹.

А.С. Мыльников отдельно рассматривал комплекс источников, созданных славянскими авторами, и указывает, что одними из первых, кто стал отождествлять Белую Русь с Московией, а Черную – с Галичиной и смежными с ней территориями, были представители

польской историографии – М. Стрыйковский и А. Гваньини. Анализировал историк и версии, объясняющие данные цветоименования, – в русских хронографах XVII в., в арабских и немецких источниках разного времени в той или иной степени представлены все возможные варианты толкования. Они, как правило, связывали хоронимы с антропологическими или этнографическими приметам (с цветом волос и лица, излюбленными цветами народной одежды) или переносным значением – последнее получает особенно широкое распространение несколько позже, в текстах XVIII столетия. Резюмируя, автор утверждает, что «*Белая Русь* в 8 случаях из 10 трактовалась как синоним Московского государства, хотя в одном случае – с добавлением белорусских земель Великого княжества Литовского. Предполагалось... и двойное толкование понятия *Белая Русь*: широкое, включавшее Московию и собственно белорусские земли, и узкое, относимое лишь к последним»⁵⁰.

А.С. Мыльников считал, что символическому цветоразделению восточнославянского ареала если не противостояла, но изначально никак не была с ним связана «двоичная система» (разделение Малой и Великой Руси), и это позже, в XVII в., привело к попыткам объединить обе системы (в сочинениях Цайлера середины XVII в.). Возникновение этого разделения Руси историк, как и его предшественники, связывал с появлением понятия «Малая Русь» в начале XIV в., подчеркивая его первоначальный административно-конфессиональный смысл, который много позже «обрел черты государственно-территориальной квалификации»⁵¹. В последней трети XVII столетия упоминалось и прежнее соотнесение Великой Руси с Белой – определяемое как бывшее; но Московское государство все чаще представлялось как Великая Русь. А.С. Мыльников подчеркивал, что в случае смешения двух разделений (Великая и Малая, с одной стороны, и колористическая хоронимика – с другой) Белая Русь соотносилась с Московией, а Красная и Черная – с восточнославянскими землями в составе Речи Посполитой⁵². Различие между бинарным и цветовым разделением А.С. Мыльников связывал с тем, что первое было направлено на актуализацию этнорегиональных аспектов – этнических и политических процессов в славянском мире, в то время как второе акцентировало внимание на государственно-политическом соперничестве между Россией/Московией и Речью Посполитой⁵³.

В.В. Седов писал об этногенезе восточнославянских народов на ранней стадии. Он полагал, что истоки их разделения на группы следует связывать не с политическими процессами внутри Древнерусского государства периода феодальной раздробленности, а с более ранними проблемами антропологического слияния. Формирование этнической идентичности Седов относит к периоду XIII–XIV вв.⁵⁴ Колыбелью становления «великорусской народности» археолог считал Влади-

миро-Суздальскую Русь, а центром формирования ее языка – ростово-суздальское наречие. Со смещением в XIV в. политического центра в Москву Московский регион становится ядром не только государственного объединения, но и выработки среднесмоленского говора.

Решительное несогласие с концепцией Седова по вопросу этногенеза восточных славян высказывал О.Н. Трубачев, который не мог согласиться со столь грубо-прямолинейным отождествлением процессов государственного (политического) строительства и развития языка⁵⁵. Трубачев, в частности, считал, что кривичи «как бы поделили между собой» будущие Белую и Великую Русь, в равной степени приняв участие в этногенезе как белорусов, так и великорусов⁵⁶. Кроме того, он не соглашался с тем, что хоронимы «Белая», «Великая» и «Малая Русь» возникают и эволюционируют извне, не на собственно русской почве, полагая, что именно освоение новых пространств («Великая» – вновь освоенная) вызвало к жизни необходимость различения новых ареалов. Таким образом, О.Н. Трубачев солидаризировался с гипотезой А.В. Соловьева относительно именованья новых локусов (города, села) «Великими». Разделяя версию византиниста о том, что определение «Великий» вполне могло семантически сближаться со значением «северный» – в сопоставлении с «южным»⁵⁷, Трубачев, однако, был убежден, что именно это является доказательством соположения «Малой» области с коренной землей, а «Великой» – с колонией, вторичным заселением (против чего, как уже говорилось, Соловьев решительно возражал).

К центральному вопросу – о типологическом соотношении определений «Малый» и «Великий» в отношении географического наименования – возвращается историк А.В. Назаренко, опираясь при этом на иную, чем его предшественники, доказательную базу⁵⁸. Соглашаясь с аргументацией Соловьева о том, что «Великая» и «Малая Русь» соотносятся как видовая и родовая единицы иерархии – первая обозначает «всю Русь», а «Малая» стала использоваться как реакция на отождествление «Руси» и «Великой Руси», – Назаренко солидаризировался с ним и по другой проблеме, отвергая вслед за Соловьевым версию, горячо отстаивавшуюся О.Н. Трубачевым: противопоставление «Малой» как коренной земли – «Великой» как колонии. А.В. Назаренко предпринимает подробный разбор содержания дуальной номенклатуры в источниках, ранее не подвергавшихся анализу в данном аспекте, причем начинает со слова «великий» на печатях киевских митрополитов XII в. Он пишет: «Определение “великая” применительно к Руси XII в. вовсе не имело значения противопоставления какой-то иной... Руси, а указывало на целокупность русских земель в церковном отношении подвластных Киевскому митрополиту: “великая” значила “вся целиком” (выделено автором. – М.Л.)»⁵⁹. Таким образом Назаренко подтверждает лингвистическо-логическое заклю-

чение Б.А. Успенского. И потому, продолжает исследователь, с выделением из состава этой общей Великой Руси Галицкой митрополии она стала именоваться Малой Русью – для отличия ее от прежде всей, общей Руси – Великой как целокупной, под которой подразумевалась Киевская митрополия. Поэтому, заключает автор, «Малая Русь»... стала реакцией на существующую «Великую Русь». Второй его важный вывод касается утверждения А.В. Соловьева о том, что, возникнув под влиянием греческой византийской терминологии, понятия быстро вошли в широкий обиход («живое просторечие»). Историк был убежден, что они, порожденные в недрах патриаршей канцелярии, долго оставались исключительно в книжном языке⁶⁰.

В отдельное направление следует выделить лингвистические исследования, посвященные формированию и изменению значений понятий, связанных с регионимами/этнонимами и производными от них. Конечно, в первую очередь это этимологические словари, в которых рассмотрено происхождение понятий «Русь», «Россия». В Словаре А.Г. Преображенского (1914) сказано, что точное происхождение не установлено, и приведены основные варианты гипотезы⁶¹. М. Фасмер (1950) указывает, что слово «Россия» «происходит... из языка патриаршей канцелярии в Константинополе» и в русских источниках впервые было употреблено в Московской грамматике 1517 г., «также у Ивана Грозного»; «форма на о-» происходит из греческого языка патриаршей канцелярии. «Отсюда производные “российский” и “росский”»⁶². Фасмер дает также значение понятия «Великороссия» как производного от «Великая Россия» и рассматривает его как «кальку с греческого – Μεγάλη Ρωσσία для отличия от Μικρά Ρωσσία (“Малая Россия”) (первое упоминание которой Фасмер, ссылаясь на В.И. Ламанского, относит к грамоте 1347 г.). «Великорус, великоросс – новообразование от “Великая Россия” под влиянием слов “Русь”, “русский”»⁶³, – пишет Фасмер.

Среди современных этимологических реконструкций следует упомянуть продолжающиеся издания словарей русского языка (XI–XVII и XVIII вв.). В них, напротив, уделено внимание этнонимам, связанным с Русью/Россией и ее историческими областями. Обще-признанным стал факт, что наименование «великороссы» впервые на письме употребил Памва Берында в «Триоди Постной» (1627). В Словаре русского языка XI–XVII вв. упомянуты два определения прилагательного «великороссийский», которым в тот период обозначалось относящееся: а) «ко всему русскому, (российскому) государству» («великороссийской земле»; б) «к основной части русского государства» (т.е. не к Малороссии и не к Белоруссии); примеры из языка последней трети XVII в.⁶⁴, т.е. времени после соединения Малороссии с Россией. Видовое для родового понятия «великороссийский» определение «русский» в этом же словаре объясняется как «относящийся к восточ-

ным славянам», к их государству (Руси, Руси), позже – к России, а также к Юго-Западной и Западной Руси⁶⁵. Слово «россияне» (первое упоминание относится к 1640-м гг.) объясняется как «жители России» без соотнесения с этническим происхождением⁶⁶.

В Словаре русского языка XVIII века говорится, что «великороссийский» – синоним слова «русский», относящийся к Великой России и ее жителям⁶⁷, а «великороссияне» – жители Великой России, противопоставленные малороссиянам (из Малороссии)⁶⁸. Однако заключения этого словаря представляются неполными, приведено очень мало примеров, и не рассмотрены значения в разных узусах даже комплекса письменных источников.

Отличительной чертой специальных лингвистических исследований последних двух десятилетий, посвященных бытованию и эволюции отдельных элементов смыслового ряда понятий и определений, соотносимых с «Русью/Русией/Россией» и русскостью в целом, можно считать стремление решить вопрос (представлявшийся наиболее актуальным для российских ученых XVIII–XIX вв.). А именно: являются ли обозначения и имена с *o* и *y* в корне *рос-/рус-*, *росс-/русс-* из ряда понятий-топонимов, связанных с пространственными/локальными наименованиями, понятиями-политонимами, означающими Российское государство, или регионимами-этнонимами, применяемыми для определения автохтонного населения одноименных территорий/мигрантов/обитателей вообще/подданных и т.п.? Иначе говоря, синонимичны ли они (т.е. применяются ли они к одним и тем же или разным объектам изучения) и если являются таковыми, то существует ли какая-либо закономерность в этой замене и была ли данная тенденция единственной. Как следствие, возникал вопрос о том, соотносились эти лингвистические трансформации с политико-идеологическими обстоятельствами и/или лишь с естественными историческими процессами развития языка. Наконец, одной из наиболее сложных является проблема бытования данных понятий и производных от них (дериватов): сходны или различны их значения и функции в официальном дискурсе/литературном языке, с одной стороны, и в обыденной речи – с другой. Можно также упомянуть вопрос о параллельном существовании прилагательных «русский»/«российский» в современном русском языке, точное содержание которых довольно подвижно, что затрудняет перевод на другие языки⁶⁹. Следует также выделить группу историко-культурных исследований, в которых хоронимы и особенно этнонимы рассматриваются в ракурсе исторической семантики важнейших единиц политического и научного тезауруса⁷⁰.

Рассмотрим некоторые выводы из работ последнего десятилетия. О.Н. Трубачев, обращаясь к истории лингвонимов «русский», «российский»⁷¹, заключает, что второй вытесняет первый только в XIX в., причем ответственность за это автор возлагает на русских масонов. Этот

процесс, по мнению Трубачева, был остановлен благодаря деятельности А.С. Пушкина⁷². Е.А. Погосян, излагая существующие в историографии заключения о закономерностях трансформации перехода *рус-* в *рос-* и «Русь» в «Россию», полагает, однако, что «эта схема», как и концепция о возвращении к широкому использованию наименования «Русь» в начале XIX в., хотя и «подтверждается широким фактическим материалом», требует уточнений. «Во-первых, движение от употребления “Русь” и “русский” к “Россия” и “росс”, даже в рамках наиболее зависимой от официальных документов и титулатуры панегирической литературе, не было линейным: термин “русский”, в отличие от “Русь”, то пропадает из употребления, то снова появляется.... Во-вторых, этот процесс не был простым вытеснением одного названия другим. Напротив, на протяжении всего XVIII в. идет активное осмысление этих терминов, что отразилось как в прямой полемике по вопросу “о происхождении имени” “народа российского”, так и в особенностях употребления слов “Русь” и “Россия” в исторических сочинениях, посвященных событиям IX–X вв. Очевидно, что мы имеем здесь дело не столько с фактом истории языка, сколько с фактом идеологии»⁷³.

Лингвистическим анализом употреблений и значений ряда понятий «Русь/Россия/Россия», «русский/российский/росский», «русский/россиянин» и др. в письменных источниках разных эпох занимается А.И. Грищенко. Анализируя значения прилагательных «русский»/«российский» и этнонимов «россияне»/«русские» в ранний период словоупотребления, он, в частности, показал важную тенденцию: прилагательное «русский» сопряжено с лексемами «земля», «князь», «люди», а «российский» – с «царством», «государством», «землей»⁷⁴; при этом лингвист отмечает, что происходит постепенный переход от корня *рус-* к *росс-*. Тенденция укрепляется в XVIII в. – исследователь доказывает это текстологическим анализом «Каталога митрополитов Киевских» Димитрия Ростовского⁷⁵. Для нас в заключениях Грищенко важно также и выявление трех случаев использования прилагательного «великороссийский» в качестве топонима, для различения Владимира (Великороссийского), а также преобладание корня *росс-* в этнонимии («россы» и «россияне») ⁷⁶. Грищенко указывает также на эволюцию этнонима «россияне» в XVIII–XIX вв. в контексте исторической акцентологии⁷⁷. Он убежден, что с точки зрения семантики слово «россияне» в этот период могло означать только «русских», но постепенно, начиная с середины XIX столетия, вышло из употребления, «будучи лексическим элементом высокого штиля»⁷⁸. В языке второй половины столетия исследователь отмечает взаимозаменяемость прилагательных «русский» и «российский», но при этнической неопределенности термина «россияне» нет однозначных аргументов в пользу гипотезы о том, что так могли именовать нерусских жителей Империи⁷⁹.

Формирование и бытование топонима и политонима «Русь/Россия/Росия» подробнейшим образом рассмотрены в монографии Б.М. Клосса, который вполне справедливо и не без удивления отмечает, что в современных словарях, энциклопедиях и фундаментальных исторических трудах вопрос о происхождении названия страны (и, добавим, народа) вообще опускается⁸⁰. Повторим, что аналогичным образом понятия «Великая Русь/Великая Россия/Великороссия» и «великороссияне/великороссы/великорусы» так и не заслужили специального внимания исследователей – даже этнографов, занимающихся реконструкцией процесса формирования русского этноса, и историков, изучающих национальное самосознание в Российской империи XIX в. Монография Клосса снимает ряд спорных вопросов и выстраивает определенную и исторически обоснованную линию в нескольких аспектах: лингвистическом (эволюция понятия в языке письменных памятников разных жанров – от летописей до официальной приказной документации), историческом (изменение представлений о государственности и преемственности государственно-политических образований с именами «Русь»/«Русия»/«Росия»/«Россия»), территориально-картографическом (соотнесение имени с конкретными пространственными ареалами и их обозначениями на картах и в хорографических сочинениях). Историк соглашается с некоторыми предшественниками в том, что в XV в. «замена названия “Русь” на византийский вариант “Росия” означала по существу приобщение русской политической терминологии к европейской языковой культуре (в странах византийского мира употреблялось название “Росия”, в западноевропейских – “Russia” и связана была с выходом складывавшегося централизованного Русского государства на международную арену)⁸¹, хотя вначале понятие «Росия» символизировало единую Русскую митрополию и бытовало главным образом в церковной среде. С введением понятия в богослужебный устав (1435) оно начинает «внедряться в народное сознание»⁸². С XVI в. имя «Росия» активно употребляется наряду с названием «Русь», но постепенно начинает превалировать над ним по частотности употреблений в письменных источниках⁸³. Для нас, однако, важнее всего четвертая глава книги Клосса «Великая Русь – Великая Россия. Эволюция термина»⁸⁴. Любопытно, что историк активно ссылается на раннюю (начиная с Д.Н. Анучина, но «пропустив» предшествовавшие статьи Н.И. Надеждина, на которые сам Анучин опирался в первую очередь) историографию вопроса, разделяя в целом мнение А.В. Соловьева об эволюции термина, хотя и упрекая его в неполноте знаний о бытовании понятий и этонимов в XVI в. Б.М. Клосс уверен, что интенсификация бытования понятия «Великая Россия» совершилась почти веком ранее (не в конце, а в начале XVII столетия⁸⁵). Не разделяет он и мнения византиниста о «греческой окраске» имени

«Росия», утверждая, что данная форма бытовала и в русских источниках с конца XIV в., а начиная со второй половины XVII в. под влиянием малороссийских переписчиков слово стало писаться с двумя «с»⁸⁶. Клосс указывает на появление в начале XVI в. понятия «Великая Русь» в переписке со стороны Константинопольской патриархии. А в 1520-х гг. митрополит Спиридон-Савва исправляет старое название «Великая Русия» на «Великая Росия», и этот момент автор считает поворотным – точкой расширения бытования понятия (наряду с «Росия» и «Российская страна», в качестве синонима) – для обозначения державы, титула самодержца и определения «царь»⁸⁷. Важна также обозначенная Клоссом тенденция к замене в старых текстах именовании «Русь» и «Руская» на «Росия» и «росийская»⁸⁸. Историк убежден, что активное распространение понятий «росианин», «росияне» в написании с двумя «с» приходится на тексты XVIII в.

В отдельную группу исторических и историко-культурных исследований стоит выделить работы, посвященные теории формирования колористических хоронимов в целом⁸⁹ и в восточнославянском регионе в частности⁹⁰. Для нас представляют особенный интерес те из них, авторы которых обращаются к наиболее актуальному в связи с трехчастным разделением Руси понятию «Белая Русь»⁹¹, относившемуся на определенном этапе к землям Северо-Восточной, Московской Руси. Белорусский ученый И.П. Климов в своей статье⁹² указывает, в частности, что колористические названия различных частей Руси отсутствуют в языке и диалекте восточных славян, а оказываются в нем под влиянием книжной традиции, причем очень поздно⁹³. Они привнесены в восточнославянскую книжность из западноевропейской схоластической и отчасти византийской науки, восходя, по мнению автора, вероятнее всего, к «послеантичной эпохе»⁹⁴ (об этом же писал, как уже говорилось, А.С. Мыльников⁹⁵), и не использовались в официальном дискурсе⁹⁶. И.П. Климов показывает, что «на протяжении нескольких столетий название “Белая Русь” в нарративных источниках постепенно “сползает” с севера к югу и переходит на Московию, на которой сохраняется вплоть до XVII в.», что обусловлено, вероятно, «вхождением в ее состав Новгородской земли в 1471–1478 гг.»⁹⁷. Он считает, что в этом «следует видеть миграцию термина, который в большинстве источников (причем западных!) XIV–XVI вв. был связан с Северной Русью и только по смежности, с конца XV в., мог объединяться с Московией»⁹⁸. Классификация восточнославянских земель на четыре региона – Белую, Красную, Червонную и Черную Русь – утвердилась «в западных трудах и на картах», в первую очередь польских. При этом Климов не отвергает полностью гипотезу о том, что «сама триада возникла случайно в результате схоластических спекуляций»⁹⁹. Именно к этой колористической хоронимике добавляется не ранее XVII в. разделение Руси на Великую/Малую,

реже Внутреннюю/Внешнюю, Верхнюю/Нижнюю¹⁰⁰. Но Климов, как и В.И. Ламанский и А.С. Мыльников, подчеркивает, что однозначной корреляции между колористическим названием и географическим объектом не существовало, не говоря уже о соотносительности с этническим ареалом. В определенной мере можно констатировать, что в сюжете о формировании трехчастного деления восточнославянского пространства мы имеем дело с продуктом трудов интеллектуальной элиты западноевропейского происхождения, который, однако, имел свои региональные историко-географические традиции использования, но вплоть до XVIII в. не обрел стройной терминологической картографической концептуализации. И много позже, как убедительно показал белорусский историк, продолжается процесс мифологической или лингвистической этимологизации данной хоронимики. В Московии с XVII в. в канцелярской практике и дипломатической переписке начинаются адаптация и упорядочение географической номинации Руси, что оказывает влияние (и это для нас особенно важно) на формирование понятий для обозначения жителей этих регионов. Назвать данный ряд определений этнонимами было бы неверно, так как это скорее регионимы («белорусцы», «литовские люди»); быть может, только наименования «черкасы», «казаки» или «хохлы» в определенной степени соотносятся с этнонимами¹⁰¹. Такой же механизм перенесения использовался для обозначения языка, веры или письма населения этих регионов, поэтому вполне оправданно предположение о том, что слово «белорусцы» могло выступать и как конфессионим (с чем, впрочем, Климов категорически не согласен).

Что касается принципа соотношения понятий «Великая» и «Малая Русь», Климов присоединяется к тем предшественникам¹⁰², которые считали такое деление наследием античной географической типологии центра и периферии или метрополий и колоний, актуализированное греческими византийскими книжниками с начала XIV в., – с разделением Киевской епархии на галицко-волынскую (затем литовскую) и владими́ро-московскую части¹⁰³. В истории введения понятий из церковных текстов в политический дискурс историк придерживается уже сложившихся в историографии мнений, однако подчеркивает, что такую терминологию, в отличие от колористической, легче было закрепить за определенными территориями с конкретными границами¹⁰⁴.

В научных и публицистических работах существовала еще одна значимая тенденция, которая возникла в XVIII в. и в полной мере проявилась в сочинениях XIX и XX вв.: синонимическое употребление прилагательных «русский» и «великорусский» и этнонимов «русский» и «великоросс/великорус» (такой подход доминировал – хотя и не абсолютно – в советской историографии, в том числе в историко-этнографическом дискурсе). Однако если для исследова-

телей XVIII–XIX вв. (как мы покажем в книге) это было объяснимо, то для современных ученых столь прямолинейное отождествление при анализе исторических источников и историографии позапрошлого века не безобидно – оно порождает в лучшем случае не терминологическую, а важную смысловую путаницу. Особенно заметна такая замена/подмена в учебниках и в научной публицистике. Этноним «русские» доминирует также в разножанровых характеристиках имперского самодержавия и государственного устройства, что не всегда позволяет уловить, какой этнической группе приписывается нациеобразующая роль. В связи с данным отождествлением стоит упомянуть известную статью (1967) эмигрантского исследователя Н.И. Ульянова. Ее автор объяснял причину такой терминологической неупорядоченности (характерной, как он ошибочно полагал, лишь для советской науки) невежеством советских властей и партийных историков¹⁰⁵. Ульянов (не будучи, впрочем, оригинальным) отстаивал версию происхождения терминов «Малая» и «Великая Русь» из греческого языка по наименованиям канонических территорий православной церкви после включения земель бывшей Руси в состав Речи Посполитой с XIV в. (данная концепция функционировала в науке еще с конца XVIII в., наряду с принадлежавшей Н.И. Надеждину гипотезой о пространственном соотношении земель). На этом основании Ульянов утверждал, что термин «Великороссия», обозначавший северо-восточные земли России, изначально не имел ни этнографического, ни национального, ни политического значения, а «порожден был “церковью”». Определяя лишь территорию, он никак не соотносился с этнонимом. О слове «великорус» Ульянов высказался более категорично, утверждая, что вплоть до XIX в. оно употреблялось чрезвычайно редко, в единичных случаях, и лишь развитие интереса к этнографии, возникновение украинского движения и общее умонастроение эпохи побудили русскую интеллигенцию «насаждать» термин в печати. Он утверждал, что искусственность понятия «великорус» порождена двумя силами – радикальной русской интеллигенцией и украинскими сепаратистами периода «пробуждения» национализма, стремившегося разграничить две этнические группы. Поэтому данное понятие может быть отнесено лишь к одной социальной группе русского общества – крестьянству, так как именно оно выражает эту «этнографичность». Однако его некорректно применять в отношении носителей «высокой» русской культуры. В ее создании, с точки зрения Ульянова, с самого начала (со времен Киевской Руси) принимали участие разные по этническому происхождению люди, часто даже не славянской крови, объединенные общностью социального статуса, – «господствующий слой», ставший «центром притяжения всего... развитого, культурного». «Русские, – резюмирует Н.И. Ульянов, – это та группа

населения, чья историческая судьба связана с государственностью и культурой», «активный, творческий слой народа». Различение терминов «великорусский» и «русский» осуществляется Ульяновым на категориально-иерархическом уровне: первый есть «аморфная этнографическая группа»; второй представляет собой категорию историческую, обозначает «носителя души» истории. В такой стадииальности просматривается явное сходство с дефинициями народности и национальности в представлениях русских гегельянцев 1830-х – 1840-х гг. и их последователей 1850-х – 1870-х¹⁰⁶.

Таким образом, следует признать, что этимология и история бытования круга понятий, связанных с дуалистическим разделением Руси на Великую и Малую, – во всяком случае, в восточнославянском ареале – довольно хорошо изучена. Различаются лишь нюансы интерпретации, а также некоторые объяснения процесса включения этих заимствованных книжных терминов в русскую официальную лексику и в язык науки. В гораздо меньшей степени интересовал исследователей вопрос содержания данного круга названий и образованных от них этнонимов в XIX в., за исключением некоторых аспектов использования этнонимии русских/великорусов в лексиконе отдельных авторов или в связи с исторической семантикой наименований «Малороссия», «малорусы».

* * *

Выражаю признательность фондам International Association for the Humanities (IAH) и РГНФ за финансовую помощь в реализации данного исследования и в издании ее конечного результата – этой монографии.

Хочу также сердечно поблагодарить всех тех, кто оказывал мне интеллектуальную и моральную поддержку в ходе многолетней работы. Это члены моей семьи – родители Антонина и Войтто Лескинен и сестра Анна Лескинен, квалификация и знания которых позволили мне обсуждать теоретические вопросы истории науки, что, в итоге, заставило меня пересмотреть некоторые аргументы и привело к существенным дополнениям круга анализируемых проблем. Они же были терпеливыми читателями и редакторами первоначального варианта текста монографии.

Эта книга не появилась бы без участия коллег из Института славяноведения РАН, в частности из Отдела истории культуры славянских народов, в котором я начинала заниматься данной темой. Они неоднократно, пристрастно и доброжелательно обсуждали мои доклады и журнальные публикации по отдельным сюжетам работы. Е.А. Яблокову я приношу сердечную благодарность за чтение текста рукописи, которому он уделил немало времени.

Выражаю признательность также сотрудникам Отдела восточного славянства Института, благодаря дружескому участию и пониманию которых я смогла завершить эту книгу в назначенный срок. Особая благодарность – О.А. Остапчук: она очень внимательно и даже дотошно прочла третью главу монографии; ее критические замечания и важные библиографические дополнения, несомненно, улучшили текст.

Я благодарна также сотрудникам издательства «Индрик», которые осуществили издание этой книги (как и моей предыдущей монографии). Мне повезло, что довелось работать с ними. Они – не только профессионалы своего дела, но и интеллигентные и отзывчивые люди. Образ монографии и ее дизайн – полностью их заслуга.

Примечания

- ¹ Данный этноним объясняется как «название русских» в XIX – начале XX в. или «устаревшее» название русских (или «великорусы (великороссы) – то же, что русские») в толковых словарях русского языка (см.: Великорусы // Большой толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова. М., 2004. С. 89; Великорусы // Словарь русского языка / Под ред. С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой. М., 1999; Великорусы // *Ожегов С.И.* Словарь русского языка / Под общ. ред. Л.И. Скворцова. М., 2005. С. 71), в энциклопедиях (см.: Великорусы // Большая советская энциклопедия: В 30-ти т. 3-е изд. М., 1969–1978. Т. 4. М., 1971. С. 455; Великорусы // Советская историческая энциклопедия: В 16 т. М., 1963–1976. Т. 3. М., 1963. С. 256; Великорусы // Российский энциклопедический словарь: В 2 кн. М., 2001. Кн. 1. С. 240). В советской этнографической литературе понятие «великорусы» не разъяснялось специально, т.е. как этноним, но использовалось в качестве синонима, будучи помещенным в скобки: «русский (великорусский) этнос» или русские (великорусы). См., например: *Токарев С.А.* Восточнославянские народы (русские, украинцы, белорусы) // *Токарев С.А.* Этнография народов СССР. Исторические основы быта и культуры. М., 1958. С. 15–103. В энциклопедии «Народы России» понятие «великорусы» никак не объясняется и используется только в очерке о диалектах (Русские // Народы России: Энциклопедия. М., 1994. С. 270–307), а в первом издании тома о русских из серии «Народы мира», изданном Институтом этнографии РАН, также применено «по умолчанию» как синоним: русские (великорусы)/русские (великорусские) (см.: Русские / Отв. ред. В.А. Александров, И.В. Власова, Н.С. Полищук. М., 1999). Странно, но даже в монографии Л.В. Милова с определением «великорусский» в названии отсутствует определение точных границ великорусского региона или описательного состава его пространства, а также великорусов как этноса или этнической группы, и лишь из содержания становится понятным, что историк считает Великороссией земли Восточно-Европейской равнины, включаемые обычно в Московское государство (*Милов Л.В.* Великорусский пахарь и особенности российского истори-

- ческого процесса. М., 1998). Нет определений понятий «русские» и «великорусы» в обобщающем труде о русском этносе под ред. В.А. Тишкова и И.В. Власовой (см.: Русские. История и этнография. М., 2008). Это также свидетельствует о том, что для подавляющего числа советских и российских авторов данные категории воспринимались как очевидные и не требующие специальных разъяснений.
- 2 *Тишков В.А.* О русских (Введение к новому изданию коллективного труда «Русские» в серии «Народы и культуры») // Вестник российской нации. 2014. № 6. С. 30–46.
 - 3 *Хоскинг Дж.* Россия: народ и империя (1552–1917) / Пер. с англ. Смоленск, 2000; *Каппелер А.* Россия – многонациональная империя. Возникновение. История. Распад / Пер. с англ. М., 1997; *Thaden E.C.* The Rise of Historicism in Russia. American University Studies. Series. IX. History. Vol. 192. N.Y, 1999. Ch. 6; *Хоскинг Дж.* Россия и русские: В 2 т. / Пер. с англ. М., 2003; *Суни Р.Г.* Империя как она есть: имперский период в истории России, «национальная» идентичность и теории империи // Национализм в мировой истории/ Пер. с англ. М., 2007. С. 36–82. Сборники статей иностранных исследователей: *Fall of an Empire, the Birth of a Nation. National identities in Russia/Ed. by Ch. Chulos, T. Piirainen.* Ashgatt, 2000; *Российская империя в сравнительной перспективе.* М., 2004; *Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет / Пер. с англ. Антология / Сост. П. Верт, П.С. Кабытов, А.И. Миллер.* М., 2005; *Russian Empire: Space, People, Power. 1700–1930.* Bloomington, 2007, и др. Об основных тенденциях отечественной историографии, в том числе и по этому вопросу см.: *Бахтурина А.* «Национальный вопрос» в Российской империи в постсоветской историографии // Русский национализм: социальный и культурный контекст. М., 2008. Текст доступен по адресу: <http://www.polit.ru/research/2008/06/20/bahturina.html>; *Breyfogle N.* Enduring Imperium: Russia/Soviet Union/Eurasia as Multiethnic, Multiconfessional Space // *Ab Imperio.* 2008. № 1. P. 75–129. См. также: *Дубин Б.* Запад, граница, особый путь: «символика Другого» в политической мифологии России // *Неприкосновенный запас.* 2001. № 3. Текст доступен по адресу: <http://magazines.russ.ru/nz/2001/3/dub-pr.html>; *Уортман Р.С.* Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии: В 2 т. / Пер. с англ. М., 2004; *Леонтьева О.Б.* Реалистические мифы: историческая память в интеллектуальной культуре реформенной России // *Imagines Mundi.* Альманах исследований всеобщей истории XVI–XX вв. Екатеринбург, 2008. № 5. С. 90–110; *Миллер А.И.* Империя Романовых и национализм. М., 2006; *Imperium inter pares: Роль трансферов в истории Российской империи (1700–1917) /* Под ред. М. Ауста, Р. Вульпиуса, А. Миллера. М., 2010; Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России / Ред. А. Эткинд, Д. Уффельсманн, И. Кукулин. М., 2012; *Эткинд А.* Внутренняя колонизация. Имперский опыт России / Пер. с англ. М., 2013, и др.
 - 4 *Riasanovsky N.* Nicholas I and Official Nationality in Russia. 1825–1855. Berkeley–Los Angeles–London, 1959. Ch. 2–3; *Цимбаев Н.И.* «Под бременем познания и сомненья...» (Идейные искания 1830-х гг.) // Русское общество 30-х годов XIX века. Люди и идеи: Мемуары современников. М., 1989. С. 5–47; *Егоров Б.Ф.* Очерки по истории русской культуры XIX в. // Из истории русской культуры: В 5 т. М., 1996. Т. V. XIX век. С. 84–87; *Виттекер Ц.Х.* Граф Сергей Семенович

Уваров и его время / Пер. с англ. СПб., 1999; *Вортман Р.* «Официальная народность» и национальный миф российской монархии XIX в. // Россия. Russia. М.–Венеция, 1999. № 3 (1). Культурные практики в идеологической перспективе. С. 233–244; *Он же.* Национализм, народность и российское государство // Неприкосновенный запас. 2001. № 3. Текст доступен на сайте по адресу: <http://magazines.russ.ru/nz/2001/3/vort-pr.html>; *Perrie M.* *Narodnost'*: Notions of National Identity // *Constructing Russian Culture in the Age of Revolution. 1881–1940.* Oxford, New York, 1998. P. 28–37; *Knight N.* *Constructing the Science of Nationality: Ethnography in Mid-Nineteen Century Russia.* Ph. D. Dissertation. Columbia University, 1995; *Knight N.* *Ethnicity, Nationalism and the Masses: Narodnost' and Modernity in Imperial Russia* // *Russian Modernity: Politics, Knowledge, Practices.* NY, 2000; *Найт Н.* Империя на просмотре: этнографическая выставка и концептуализация человеческого разнообразия в пореформенной России // *Власть и наука, ученые и власть: Материалы Международного научного colloквиума.* СПб., 2003. С. 437–457; *он же.* Наука, империя и народность: этнография в Русском географическом обществе. 1845–1855 // *Российская империя в зарубежной историографии...* С. 155–198; *Vucinich A.* *Science in Russian Culture.* Vol. 1–2. Standford, 1950; *Thaden E.C.* *The Rise of Historicism in Russia.* American University Studies. Series IX. History. Vol. 192. NY, 1999; *Thaden E.C.* *Interpreting History. Collective Essays on Russian's Relation with Europe.* NY, 1990; *Anttonen P.* *Tradition through Modernity: Postmodernism and the Nation–State in Folklore Scholarship.* Helsinki, 2000; *Шевченко М.М.* *Конец одного величия.* М., 2003; *Зорин А.* *Заветная триада* // *Зорин А.* *Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века.* М., 2004. С. 337–374; *Лескинен М.В.* *Поляки и финны в российской науке второй половины XIX в.: «другой» сквозь призму идентичности.* М., 2010. С. 50–81; *Миллер А.И.* «Народность» и «нация» в русском языке XIX века: подготовительные наброски к истории понятий // *Российская история.* 2009. № 1. С. 151–165; *Он же.* Приобретая необходимое, но не вполне удобное: трансфер понятия нация в Россию (начало XVIII – середина XIX в.) // *Imperium inter pares...* С. 42–66.

5 *Bushkovitch P.* *What is Russia? Russian national Identity and the State, 1500–1917* // *Culture, Nation, and Identity. The Ukrainian-Russian Encounter (1600–1945)*/Ed. by *A. Kappeler, Z.E. Kohut, F.E. Sysyn, and M. von Hagen.* Edmonton–Toronto, 2003. P. 154–156; *Реннер А.* *Изобретающие воспоминания: русский этнос в российской национальной памяти* // *Российская империя в зарубежной историографии...* С. 436–471.

6 Здесь и далее слово «русскость» пишется без кавычек. Значение понятия шире букв. «русская/российская идентичность».

7 *Матвеев А.В.* *Русская идентичность в дореволюционном учебнике по истории Д.И. Иловайского* // *Этнографическое обозрение.* 2011. № 2. С. 69.

8 Там же. С. 69–70.

9 *Никонов В.А.* *Этнонимия* // *Этнонимы.* М., 1970. С. 22.

10 *Соколовский С.В.* *Этничность как память. Парадигмы этнологического знания* // *Этнометодология: проблемы, подходы, концепции.* Вып. 1. М., 1994. С. 13–14.

- ¹¹ Необходимо подчеркнуть, что вплоть до 1870–1880-х гг. российская этнографическая наука (как, впрочем, и европейская), статистика и даже политика, обращаясь к изучению племен и народов, не учитывали самоидентификацию – ни индивидуальную, ни коллективную.
- ¹² Из исследований российских авторов следует упомянуть: *Волков В.* Ответственность: забытая практика гражданского общества // *Pro et contra.* 1997. Т. 2. № 4. С. 77–91; *Степанов Ю.* Константы: Словарь русской культуры. М., 2004; *Хархордин О.* Обличать и лицемерить. Генеалогия российской личности. СПб., 2002; Понятие государства в четырех языках. СПб.–М., 2002; Исторические понятия и политические идеи в России XVI–XIX вв./СПб., 2006; Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени / Отв. ред. В.М. Живов. М., 2009; *Хархордин О.* Основные понятия российской политики. М., 2011; История понятий, история дискурса, история метафор / Отв. ред. Х.Э. Бёдекер / Пер. с нем.; «Понятия о России». К исторической семантике имперского периода / Под ред. А. Миллера, Д. Сдвижкова, И. Ширле: В 2 т. М., 2012, и др. Подр. об этом исследовательском направлении см.: *Копосов Н.Е.* История понятий вчера и сегодня // Исторические понятия и политические идеи... С. 9–32; *Плотников Н.* Язык русской философской традиции. «История понятий» как форма исторической и философской рефлексии // Новое литературное обозрение. 2010. № 102; *Дубина В.С.* Из Бидефельда в Кембридж и обратно. Пути утверждения «истории понятий» в России. Послесловие // История понятий, история дискурса... С. 298–320; *Миллер А.И., Сдвижков Д.А., Ширле И.* «Понятия о России». К исторической семантике имперского периода. Предисловие // «Понятия о России». Т. I. С. 5–48.
- ¹³ См., например, в: *Imperium inter pares.*
- ¹⁴ *Котенко А.Л., Мартынюк О.В., Миллер А.И.* Малоросс // «Понятия о России». Т. II. С. 392–443.
- ¹⁵ Там же. С. 392.
- ¹⁶ Современный исследователь П.С. Куприянов, рассматривая описания народов в текстах путешествий начала XIX в., убедительно показал, что «универсальной, разделяемой всеми концепции этноса» не существовало, но наиболее распространенными оказались две модели – условно обозначаемые им как «этническая» и «географическая», отличающиеся различной трактовкой понятия «народ». Первая определяла его как племенную общность, вторая – как территориальную, и, следовательно, «методы» их обнаружения кардинально различались. «Географическая модель» репрезентации этноса явно превалировала в европейских научных народоописаниях и более ранней эпохи – конца XVIII в., поскольку именно пространственный критерий обуславливал предмет и методы описания (см.: *Куприянов П.С.* Представления о народах у российских путешественников начала XIX в. // Этнографическое обозрение. 2004. № 2. С. 34–35). Применительно к нашему предмету исследования это означает, что в Великороссии и Малороссии естественно «обнаруживать» великороссов и малороссов как отличающиеся определенным набором особенностей племена или «отрасли» русского народа.

- ¹⁷ Балибар Э. Национальная форма: история и идеология // Балибар Э., Валлер-стайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленная идентичность / Пер. с англ. М., 2004. С. 114–115.
- ¹⁸ Лескинен М.В. Поляки и финны...
- ¹⁹ Милоков П.Н. Очерки по истории русской культуры: В 3 т. М., 1993–1996. Т. 2. Ч. 2. М., 1994. С. 357.
- ²⁰ Потебня А.А. Миф и язык // Потебня А.А. Слово и миф. М., 1989. С. 55.
- ²¹ Соколовский С.В. Образы Других в российской науке, политике, праве. М., 2001. С. 11.
- ²² Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания / Пер. с англ. М., 1995. С. 30.
- ²³ Шнирельман В. Ценность прошлого: этноцентристские исторические мифы, идентичность и этнополитика // Реальность этнических мифов / Пер. с англ. М., 2000. С. 12–33; Никушиенков А.А. Современное этническое сознание и мифологизм // Этническое и языковое самосознание. М., 1995; Myths and Nationhood / Ed. by G. Hoskings, G. Schoplin. London, 1997.
- ²⁴ См. об этом, в частности: Лескинен М.В. Национальное: наука и политика в Российской империи второй половины XIX в. // Вопросы национализма. 2013. № 3 (15). С. 190–217. Подробнее о содержательном и методическом различении исторического и этнографического дискурсов эпохи на примере реконструкции образов поляков и финнов см., в частности: Лескинен М.В. Поляки и финны... Гл. 8.
- ²⁵ См., например: Палеева Н.В. Конструирование русского националистического дискурса и его «Другие» в 1860–1917 гг.: Дисс. ... канд. полит. наук. СПб., 2006. Гл. II; Она же. Стратегии конструирования «скрытого другого» в дискурсе власти (на примере Российской империи второй половины XIX – начала XX в.) // Политическая экспертиза. 2007. № 4. С. 271–183; Фукс А.Н. Русская история в школьных учебниках Д.И. Иловайского // Отечественная история. 2008. № 5. С. 185–192; Матвеев А.В. Мобилизация русской идентичности в конце XIX – начале XX в. (на материалах Вологодской губернии): Дисс. ... канд. ист. наук. М., 2011. Гл. 3.
- ²⁶ Лескинен М.В. Поляки и финны...
- ²⁷ Буганов А.В. Русская история в памяти крестьян XIX века и национальное самосознание. М., 1992; Громько М.М., Буганов А.В. О воззрениях русского народа. 2-е изд. М., 2007. Ч. 3. Царь и Отечество. Национальное самосознание; Власова И.В. К изучению мировоззрения и самосознания севернорусского населения (по источникам XII–XX вв.) // Мировоззрение и культура севернорусского населения. М., 2006. С. 102–144; Она же. Народное сознание и культура севернорусского населения // Очерки русской народной культуры. М., 2009. С. 113–196; Буганов А.В. Личности и события истории в массовом сознании русских крестьян XIX – начала XX в.: Историко-этнографическое исследование. М., 2013.
- ²⁸ Peasants and Peasant Societies. Selected Reading. Ed. by T. Shanin. London–N.Y., 1987; Шанин Т. Неформальные экономики. Россия и мир. М., 1999. См.: также материалы ежегодника: Крестьяноведение. Теория. История. Современность. Вып. 1–7. М., 1996–2012.
- ²⁹ Громько М.М., Буганов А.В. О воззрениях русского народа. С. 488–491.

- ³⁰ *Державин Н.С.* Происхождение русского народа (великорусского, украинского, белорусского). Л., 1944; *Насонов А.Я.* «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства: Историко-географическое исследование. М., 1951; *Тихомиров М.Н.* О происхождении названия «Россия» // Вопросы истории. 1953. № 11. С. 93–96; *Мавродин В.* Образование единого Русского государства. Л., 1951; Вопросы формирования русской народности и нации. М.–Л., 1958; *Крестова Л.В.* Отражение формирования русской нации в русской литературе и публицистике первой половины XVIII в. // Вопросы формирования русской народности и нации. М.–Л., 1958. С. 53–296; *Генсьорський А.І.* Термін «Русь» (та похідні) в Древній Русі і в період формування східнослов'янських народностей і націй // Дослідження і матеріали з української мови. Т. V. Київ, 1962. С. 16–30; *Брайчевский М.* Происхождение Руси. Киев, 1968; *Филин Ф.П.* Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Л., 1972, и др.
- ³¹ *Державин Н.С.* Происхождение русского народа... С. 102–104, 119–128.
- ³² Основные концепции происхождения понятия и термина «Русь» и норманнской теории представлены в: *Геденов С.А.* Варяги и Русь. Историческое исследование: В 2 ч. СПб., 1876; *Мельникова Е.А., Петрухин В.Я.* Название «Русь» в этнокультурной истории древнерусского государства (IX–X вв.) // Вопросы истории. 1989. № 8. С. 24–38; *Ковалев Г.Ф.* К происхождению имени Роусь // *Он же.* Этнос и имя. Воронеж, 2003. С. 7–35; *Агеева Р.А.* Война «северных и южных»: полемика вокруг Руси // *Агеева Р.А.* Страны и народы: происхождение названий. М., 1990. С. 116–153; *Петрухин В.Я.* Русь в IX–XI вв. От призвания варягов до выбора веры. М., 2014. Гл. IV–VI, и др. Следует также упомянуть работы, носящие энциклопедически-популяризаторский характер: *Степанов Ю.* Русь, Россия, Русские, россияне // *Степанов Ю.* Константы: Словарь русской культуры. М., 2004. С. 151–171; Лекция 4. Киевская Русь, Московия, российская империя // *Барабаш В.В., Бордюгов Г.А., Котеленец Е.А.* Образы России в мире. М., 2010. С. 58–89; *Русские* // *Агеева Р.А.* Какого мы роду-племени? Народы России: имена и судьбы: Словарь-справочник. М., 2000. С. 263–271, и др.
- ³³ *Хорошкевич А.Л.* Русское государство в системе международных отношений конца XV – начала XVI в. М., 1980; *Она же.* Русь, Русия, Московия, Россия, Московское государство, Российское царство // Спорные вопросы отечественной истории XI–XVIII вв.: Тезисы докладов и сообщений Первых чтений, посвященных памяти А.А. Зимина. М., 1990. Вып. 2. С. 290–292; *Флоря Б.Н.* О некоторых особенностях развития этнического самосознания восточных славян в эпоху Средневековья – раннего Нового времени // Россия–Украина. История взаимоотношений. М., 1997. С. 9–27; *Он же.* Исторические судьбы Руси и этническое самосознание восточных славян в XII–XV вв. (К вопросу о зарождении восточнославянской народности) // Этническое самосознание славян в XV столетии. М., 1999. С. 10–58; *Седов В.В.* Древнерусская народность. Историко-археологическое исследование. М., 1999; *Хорошкевич А.Л.* Лабиринт политико-этногеографических наименований Восточной Европы середины XVII в. // *Z dziejów kultury prawnej: Studia ofiarowane Profesorowi Juliuszu Bardachowi w dziewięćdziesiątolecie urodzin.* Warszawa, 2004. S. 411–432; *Она же.* Россия или Московия? // Родина.

2005. № 11. С. 53–58; *Карнаухов Д.В.* История русских земель в польской хронографии конца XV – начала XVII в. Новосибирск, 2009.
- 34 *Соловьев А.* Белая и Черная Русь // Сборник Русского археологического общества в Югославии. Т. III. Белград, 1940; *Соловьев А.* Великая, Малая и Белая Русь // Вопросы истории. 1947. №7. С. 24–38; *Он же.* Византийское имя России // Византийский Временник. Т. XII. М., 1957. С. 134–155.
- 35 *Соловьев А.В.* Великая, Малая и Белая Русь. С. 25–26.
- 36 Там же. С. 33.
- 37 Там же. С. 35.
- 38 Там же. С. 36.
- 39 Там же. С. 38.
- 40 *Успенский Б.А.* Европа как метафора и как метонимия (применительно к истории России) // *Успенский Б.А.* Историко-филологические очерки. М., 2004. С. 12.
- 41 *Подосинов А.В.* Страны света в системе символической классификации // *Подосинов А.В.* Ex oriente lux: Ориентация по странам света в архаических культурах Евразии. Ч. 2. М., 1999. С. 596–604.
- 42 *Мурзаев Э.М.* Топонимика и география. М., 1995.
- 43 *Успенский Б.А.* Европа как метафора. С. 13.
- 44 Там же. С. 14.
- 45 *Мыльников А.С.* Гл. 2. Русские // *Мыльников А.С.* Картина славянского мира. Взгляд из Восточной Европы. Представления об этнической номинации и этничности XVI–XVIII вв. СПб., 1999. С. 45–73. В этой же книге – подробная библиография вопроса и сведения об источниковой базе.
- 46 Там же. С. 57.
- 47 Там же.
- 48 Там же. С. 58–59.
- 49 Там же. С. 60.
- 50 Там же. С. 61.
- 51 Там же. С. 65.
- 52 Там же. С. 66.
- 53 Там же. С. 70.
- 54 Там же. С. 72.
- 55 *Седов В.В.* Дифференциация древнерусской народности // *Седов В.В.* Древнерусская народность: Историко-археологические исследования. М., 1999. С. 282–283.
- 56 *Трубачев О.Н.* А кто там идет? Взгляд на этногенез белорусов // *Трубачев О.Н.* В поисках единства. Взгляд филолога на проблему истоков Руси. М., 2005. С. 64–71.
- 57 Там же. С. 79.
- 58 Там же. С. 85–86.
- 59 *Назаренко А.В.* «Новороссия», «Великороссия» и «вся Русь» в XII веке: церковные истоки этнополитической терминологии // *Назаренко А.В.* Древняя Русь и славяне (историко-филологические исследования). М., 2009. С. 246–268.
- 60 Там же. С. 257.
- 61 Там же. С. 248–258.

- ⁶² Русь // *Преображенский А.Г.* Этимологический словарь русского языка: В 2 т. СПб., 1910–1914. М., 1959. Т. 2. С. 226. Преображенский, впрочем, не упоминает об одной из первых попыток упорядочить области словоупотребления определений «русский» и «российский», которую предпринял лингвист И.А. Бодуэн де Куртене в статье 1907 г., вышедшей в свет в 1913 г. (см.: *Бодуэн де Куртене И.А.* Национальный и территориальный признак в автономии. СПб., 1913). В ней исследователь предлагает соотносить значения понятий «Русь» и «русский» с этнографическим семантическим полем, а «Россия» и «российский» – с государственно-политической сферой. «...Оставляя слово “Русь” и “русский” для обозначения как этнографических пределов русского народа, так и русской национальности, мы могли бы в смысле общегосударственном и территориальном пользоваться терминами “Россия”, “российский”». Текст доступен по переизданию (СПб., 2014) по адресу: https://ia800300.us.archive.org/2/items/national_and_territorial_features_of_autonomy/boduen_autonomism_22.html#obj (дата последнего обращения – 16 августа 2015).
- ⁶³ Россия // *Фасмер М.Р.* Этимологический словарь русского языка: В 4 т. / Пер. с нем. и комм. О.Н. Трубачева. 2-е изд. М., 1986–1987. Т. III (Муза–Сят). М., 1987. С. 505.
- ⁶⁴ Великороссия // Там же. Т. I (А–Д). М., 1986. С. 289.
- ⁶⁵ Великороссийский // Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–27. М., 1975. Продолжающееся издание. Вып. 3. М., 1976. С. 67.
- ⁶⁶ Русский // Там же. Вып. 22. М., 1997. С. 260.
- ⁶⁷ Россияне // Там же. С. 218.
- ⁶⁸ Великороссийский // Словарь русского языка XVIII в. Л.; СПб., 1984–2009. Вып. 3. Л., 1987. С. 20.
- ⁶⁹ Великороссияне // Там же.
- ⁷⁰ *Kristof L.* The state idea, the national idea and the image of the Fatherland // *Orbis*. 1967. 11. Spring. P. 238–255; *Bushkovitch P.* The Formation of a National Consciousness in Early Modern Russia // *Harvard Ukrainian Studies*. 1986. Vol. X. № 3/4. P. 355–376; *Трубачев О.Н.* Русский–российский. История, динамика, идеология двух атрибутов нации // *Трубачев О.Н.* В поисках единства. Взгляд филолога на проблему истоков Руси. М., 2005. С. 225–236; *Улуханов И.С.* К истории употребления слов «Русь» и «Россия» в письменности Древней Руси // *Россия и русские в восприятии инокультурной языковой личности*. М., 2008. С. 158–175; *Ерусалимский К.Ю.* Понятия «народ», «Росия», «Руская земля» и социальные дискурсы Московской Руси конца XV–XVII в. // *Религиозные и этнические традиции в формировании национальных идентичностей в Европе. Средние века – Новое время* / Под ред. М.В. Дмитриева. М., 2008. С. 137–179; *Матвеев А.В.* Русская идентичность в дореволюционном учебнике по истории Д.И. Иловайского...; *Kamusella T.* The change of the name of the Russian Language in Russia from *Rossïiski* to *Russkii* // *Acta Slavica Iaponica*. 2012. Vol. XXXII. P. 73–96; *Останчук О.* Русский *versus* российский: исторический и социокультурный контекст функционирования лингвонимов // *Ibidem*. P. 97–104; *Гриценко А.* Сочетаемость атрибутов «русский» и «российский» по данным Среднерусского корпуса (XV–XVII вв.) // *Древняя Русь. Вопросы медиевистики*. М., 2013. № 3(53). С. 41–42; *Grishchenko A.* *Rus’-Rossiia, and russkie-ros-*

- siiane, and russkii–rossiiskii* in the Catalogue of the Kievan Metropolitans by St. Demetrius of Rostov // *Slovene*. 2014. № 1. P. 102–119; *Грищенко А.* К новейшей истории слова *россияне* // *Русский язык в научном освещении*. 2012. № 1 (23). С. 119–139.
- 71 См., например: «Понятия о России». В нем в качестве ключевых понятий идентичности эпохи рассматриваются этнонимы «малорус», «поляк», «еврей», «инородец» и др.
- 72 *Трубачев О.Н.* Русский–российский. История, динамика, идеология двух атрибутов нации // *Трубачев О.Н.* В поисках единства... С. 225–236.
- 73 Там же. С. 232–233.
- 74 *Погосян Е.* Русь и Россия в исторических сочинениях 1730–1780 гг. // *Россия/Russia*. Вып. 3 (11). Культурные практики в идеологической перспективе. М., 1999. С. 8.
- 75 *Грищенко А.* Сочетаемость атрибутов «русский» и «российский» по данным Среднерусского корпуса (XV–XVII вв.) // *Древняя Русь. Вопросы медиевистики*. М., 2013. № 3(53). С. 41–42.
- 76 *Grishchenko A.* *Rus’–Rossiia, and russkie–rossiiane...*
- 77 *Ibid.* P. 110–113.
- 78 *Грищенко А.* К новейшей истории слова *россияне*. С. 120.
- 79 Там же.
- 80 Там же. С. 122.
- 81 *Клосс Б.М.* О происхождении названия «Россия». М., 2012. С. 13–15. См. также рецензию на эту монографию: *Грищенко А.И.* Рец. на: *Клосс Б.М.* О происхождении названия «Россия». М., 2012 // *Русский язык в научном освещении*. 2013. №2 (26). С. 300–312.
- 82 Там же. С. 27.
- 83 Там же. С. 29.
- 84 Там же. С. 55.
- 85 *Клосс Б.М.* Великая Русь – Великая Россия. Эволюция термина // *Клосс Б.М.* О происхождении названия «Россия». С. 70–75.
- 86 Там же. С. 71.
- 87 Там же.
- 88 Там же. С. 73.
- 89 Там же. С. 75.
- 90 *Мурзаев Э.М.* Топонимика и география...; *Подосинов А.В.* Страны света в системе символической классификации // *Подосинов А.В.* *Ex oriente lux*. Ч. 2. Гл. 2. С. 500–536.
- 91 *Грушевський М.С.* Велика, Мала і Біла Русь // *Україна*. Київ, 1917. Кн. 1/2. С. 7–19; *Толочко П.П.* Русь – Мала Русь – руський народ у другій половині XIII–XVII // *Київська старовина*. 1993. № 3. С. 3–14; *Он же.* Від Русі до України. Київ, 1997; *Капелер А.* Мазепинцы, малороссы, хохлы: украинцы в этнической иерархии Российской империи // *Россия–Украина: история взаимоотношений*. М., 1997. С. 125–144; *Яковенко Н.* Вибір імені versus вибір шляху: назви української території між кінцем XVI – кінцем XVII століття // *Яковенко Н.* *Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідеї в Україні XVI – початку XVIII століття*. Київ, MMVII. С. 9–43; *Boeck B.* What is a name? Semantic separation and the Rise of the

- Ukrainian National Name // Harvard Ukrainian Studies. Vol. 27. Cambridge, 2004–2005. № 1/4. P. 33–65; *Храпачевский Р.* Русь, Малая Русь и Украина // Российские и славянские научные исследования. Вып. 1. Минск, 2004. С. 34–43; *Ploky S.* Ruthenia, Little Russia, Ukraine // *Ploky S.* The Origin of the Slavic Nations: Premodern Identities in Russia, Ukraine, and Belarus. Cambridge, 2006. P. 299–353. О восточнославянской и русской этнонимии и русскости см.: *Никонов В.А.* Этнонимия; *Ковалев Г.Ф.* Этнонимия славянских языков. Номинация и словообразование. Воронеж, 1991; *Widdis E.* Russia as Space // National Identity in Russian Culture / Ed. by S. Franclin and E. Widdis. Cambridge, 2004. P. 30–50; *Jahn H.F.* «Us»: Russians on Russianness // Ibid. P. 53–73; *Мартин А.* Изображение «русскости» в конце XVIII – начале XIX в. // Ab Imperio. 2003. № 3; *Богданов К.* О крокодилах в России. Очерки из истории заимствований и экзотизмов. М., 2006. С. 105–145; *Котенко А.Л., Мартынюк О.В., Миллер А.И.* Малоросс. С. 392–400.
- 92 *Иванов В.В.* Цветовая символика в географических названиях в свете данных типологии (К названию Белоруссии) // Балто-славянские исследования. 1980. М., 1981. С. 163–177; *Пилипенко М.Ф.* Возникновение Белоруссии: новая концепция. Минск, 1991; *Ширяев Е.Е.* Беларусь: Русь Белая, Русь Черная и Литва в картах. Минск, 1991; Русь–Литва–Беларусь. Проблемы национального самосознания в историографии и культурологии: По материалам Международной научной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Н.Н. Улащика. М., 1997; *Мыльников А.С.* Русские // Картина славянского мира. Взгляд из Восточной Европы. Представления об этнической номинации и этничности XVI–XVIII вв. СПб., 1999. Гл. 2; *Белы А.* Хроніка Белаі Русі: Нарыс гісторыі адной геаграфічнай назвы. Мінск, 2000; *Климов И.П.* Происхождение составной хоронимики Руси (Белая, Черная, Красная; Великая, Малая Русь) // Белоруссия и Украина: история и культура. Вып. 4. М., 2011. С. 29–82.
- 93 *Климов И.П.* Происхождение составной хоронимики Руси...
- 94 Там же.
- 95 Там же. С. 32.
- 96 *Мыльников А.С.* Русские. С. 58.
- 97 *Климов И.П.* Происхождение составной хоронимики Руси... С. 34.
- 98 Там же. С. 37.
- 99 Там же.
- 100 Там же. С. 40.
- 101 Там же.
- 102 *Флоря Б.Н.* Исторические судьбы Руси и этническое самосознание восточных славян в XII–XV вв. (К вопросу о зарождении восточнославянской народности) // Этническое самосознание славян в XV столетии. М., 1999. С. 10–58.
- 103 *Трубачев О.Н.* А кто там идет? С. 85–85; *Успенский Б.А.* Европа как метафора., и др.
- 104 *Климов И.П.* Происхождение составной хоронимики Руси... С. 52.
- 105 Там же.
- 106 *Ульянов Н.И.* Русское и великорусское // Возрождение. 1967. № 185. С. 59–70. Текст доступен в Интернете по адресу: <http://www.edrus.org/content/view/293/47/>
- 107 *Лескинен М.В.* Поляки и финны... С. 64–97.

Глава 1

Понятие «Великая Россия» и номинации славянского народа Империи в контексте исторических европейских народоописаний эпохи Просвещения

В Европе

Для XVIII в. характерны попытки, с одной стороны, создать научные классификации природного мира, включая человеческие сообщества, а с другой – упорядочить сам процесс наблюдения над ним. По словам М. Фуко, «классическая эпоха дает истории совершенно другой смысл: впервые установить тщательное наблюдение за самими вещами, а затем описать результаты наблюдения в гладких, нейтральных и надежных словах. ...Кабинет естественной истории и сад... замещают круговое расположение вещей по ходу “обозрения” установлением их в “таблице”»¹. Системный подход эпохи Просвещения породил увлечение различными классификациями, в том числе теми, которые могли бы выявить пространственные (географические и климатические) и временные (исторические) закономерности распределения разнообразия человеческих сообществ, включая их иерархии по отдельным признакам – по образцу ботанических и зоологических таксономий. Координата времени еще никак не связана с представлениями об эволюции, поскольку развитие природных форм понималось не как совершенствование, а как видоизменение. Главными методами естественно-научного познания стали: наблюдение (его результат – дескрипция (по признакам) и структура, разрабатываемая в сравнении различных элементов формы друг с другом) и эксперимент. При этом, как отмечает Ю.И. Семенов, если наблюдение в естественно-научном познании предполагает обязательное невмешательство человека-исследователя в протекание объективных (природных) процессов, то эксперимент вполне его допускает². Исследование человеческих сообществ осуществлялось как изучение любого природного объекта и, таким образом, должно было основываться на жесткой дистанцированности исследователя, что на практике было невозможно, поскольку тот

или иной, даже поверхностный контакт оказывался неизбежным. Но в ситуации XVIII в., когда не был еще установлен ответ на вопрос, относятся ли вполне к человеческому роду представители изучаемых («диких») народов, – объект как до, так и во время наблюдения не воспринимался как равноправный участник вербального диалога или невербального контакта.

Набор отличительных особенностей Другого был известен: это внешние черты, устанавливаемые наблюдением, и те, которые можно определить как функциональные, связанные с социальной жизнью. М. Фуко отмечал, что «естественная история – это не что иное, как именование видимого. Отсюда ее кажущаяся простота и та манера, которая издалека представляется наивной, настолько она проста и обусловлена очевидностью вещей»³. Поэтому фиксация устройства, форм и видов взаимодействия внутри изучаемых социальных организмов различных племен вначале понималась как доступная видению и обнаруживаемая непосредственно. Новым для той эпохи можно считать лишь: а) некоторую детализацию методов анализа – отдельные феномены все же нуждались в реконструкции, и б) стремление определить утраченные в ходе эволюции состояния: облик вымерших существ и древнее прошлое народов.

Труды французских энциклопедистов (Ш. Монтескьё, Ж.-Ж. Руссо, К. Гельвеция, Вольтера), немецких и английских философов (прежде всего И. Канта, Д. Юма, И.Г. Гердера), вопреки общепризнанному мнению, не отличались оригинальностью с точки зрения содержания излагаемых сведений о проявлениях этнического разнообразия, но в них осуществилось переосмысление его истоков и ранних форм, благодаря которым была заложена основа новых (рациональных и внебиблейских) представлений о принципах описания, методах исследования племен и народов. Разделение народов на цивилизованные и нецивилизованные («дикие») в некотором смысле заменило прежнее противопоставление христиан и нехристиан, включив дополнительные критерии идентификации, такие как наличие общественной организации (высшей формой которой объявлялось государство) и право. Гердер был уверен, что истинная цивилизация состоит «не только в даровании законов, но и в воспитании нравов»⁴. Эта общая классификация стала универсальной, поскольку могла быть применима как к европейским народам, в той или иной степени входящим в орбиту христианского мира, так и к тем, принадлежность которых к человеческому роду вызывала сомнения⁵. Соответственно, все вариации человеческих сообществ могли быть распределены по стадиям. Воплощением этой стадильности стало отождествление жизни человека с историей общества, а метафорой – этапы жизненного цикла.

А.Н. Пыпин полагал, что из всех деятелей Просвещения лишь Вольтер стремился уловить «народный дух» во внешних материаль-

ных формах быта. «Восемнадцатый век только предчувствовал важность данных о происхождении народов, об их быте и нравах, влияющих на политическое состояние народов и, следовательно, на его историю. Вольтер... выразил эту попытку своего времени всмотреться во внутреннюю жизнь народов, в собственно народное мировоззрение и быт, составляющие теперь основной предмет этнографии»⁶. В этом отношении Вольтер вовсе не был новатором, ведь еще в XVI – начале XVII в. европейскими интеллектуалами-гуманистами и протестантами предпринимались неоднократные попытки определить своеобразие народов в различных областях жизни. Одной из сложных задач стало соотнесение национально-государственной общности и региональных, сословных этнокультурных вариаций быта и нравов. Это занимало создателей первых энциклопедий-лексиконов, в том числе немецкоязычных. Так, автор одного из масштабных «Лексиконов» XVIII в. (1740) И.Х. Цедлер, отмечая неоднозначность трактовки термина «нация», приводил спектр бытовавших значений (таких как сословие, объединение) и обосновывал этнические признаки данной общности: «Она в собственном и исходном смысле означает не что иное, как определенную совокупность граждан, которые имеют одинаковые обычаи, нравы и законы», – а для именованного территориально-государственных и политических групп применял понятие «народ»⁷.

Осуществляемые в XVIII в. попытки упорядочения разнородных явлений в природном пространстве привели к созданию естественно-научных классификаций, в частности К. Линнея и Ж.-Л. Бюффона. Наиболее важными чертами этих построений было распределение всех элементов живой природы по набору внешних признаков, а также внутривидовая иерархия, фиксирующая место существа в эволюционном процессе. Согласно этому образцу была выработана и классификация человеческого рода. Расы Бюффон дифференцировал по физическим признакам и, что очень важно, по свойствам «натуры»⁸, под которой он понимал «нрав». Однако Бюффон выстраивал иерархию народов (наций) и по другому принципу, учитывая способ социальной организации человеческого коллектива: «Нация, для которой не существует ни законов, ни установлений, ни повелителей, ни общества в привычном смысле слова, является уже не столько нацией, сколько бестолковым сборищем людей»⁹. На высшей ступени, по его мнению, находятся цивилизованные и просвещенные народы (народы Северной Европы), внизу – «совсем дикие» (американские племена) и «люди, более других походящие на зверей» (австралийские аборигены). В основе отнесения к цивилизованности/нецивилизованности лежало, таким образом, различие разумности/неразумности, а также сложности/простоты. Чем более сложен язык, законы, строй народа, тем более развитым он считал-

ся и потому был достоин занять высшее место в иерархии этносов. Таким образом, Бюффон в своих классификациях объединил исторические и пространственные признаки: разделил человечество на группы с точки зрения физических (т.е. чисто расовых) признаков, но для определения их места в общеэволюционной классификации обратился к социально-культурным критериям. В соответствии с убеждением в том, что европейцы опережают изучаемых ими представителей других культур в цивилизационном и духовном отношении, категории совершенства/несовершенства также воспринимались как вполне научные.

Философы и историки эпохи Просвещения в рамках основополагающего – цивилизационного – подхода, развивая идеи этнокультурных различий народов, использовали архаическую идею существования национальных характеров. Ш. Монтескьё ставил на первое место климат, который, по его мнению, определял «дух народа»; при этом соотношение пороков и добродетелей также оказывалось в строгой зависимости от природных условий¹⁰. К сторонникам решающего воздействия, формирующегося под влиянием политической организации, законов и воспитания общественного устройства на нравы народов относились Вольтер, Д. Юм¹¹ и К. Гельвеций¹². Срединную позицию занимал И.Г. Гердер, отождествлявший «душу народа» («народный дух») и характер. Не отрицая воздействия природных факторов на формирование «народного духа», он допускал влияние на него образа жизни и воспитания¹³.

В России

Идеи Просвещения определили развитие российской науки и общественной мысли XVIII в., в том числе и в области народоописаний. Первые в России описания «нравов и обычаев» народов стали важной вехой не только в процессе накопления научных материалов, но и в складывании тезауруса на основе выработанного французскими просветителями и немецкими философами восприятия категорий и представлений о «национальном». Вместе с ними было воспринято противоречие между просвещенческими декларациями о единой природе человека и утверждениями о многообразии народов в государстве (империи)¹⁴. Первые российские описания ограничивались «экзотическими» – нерусскими – народами, исследуемыми в процессе освоения «своего» пространства, определяемого с точки зрения государства, т.е. власти. Наблюдаемым этническим феноменам давалась оценка в зависимости от того, соответствует или не соответствует та или иная этническая группа требованиям «нормы», как она виделась просвещенным цивилизо-

ванным наблюдателям. Иначе говоря, даже безоценочное описание содержало в себе скрытое сравнение и неприятие. Сравнение могло осуществляться не только с образом жизни «цивилизованных» народов – довольно часто прибегали к сравнению со знакомым, известным: в этом качестве выступали «свои чужие» или соседние с описываемыми народы. Характерны в этом отношении описания племен в регионах со смешанным населением. Например, Г.Ф. Миллер писал, что «черемисы и чуваша много походят на татар...», «вотяки могут уподоблены быть финнам, потому что волосы на голове и в бороде почти у всех рыжие, напротив чего у черемисов и чувашей оне большей части темно-русые»¹⁵; основные приметы родства финнов и вотяков выделялись в свойствах нрава (упрямство). Упомянув земледелие ижорцев, И.Г. Георги замечал, что «хозяйство... их не походит прямо ни на русское, ни на финское, но хуже того и другого»¹⁶. Такое «описание через отрицание» было характерно для естественных наук и зарождающейся этнографии XVIII в.

Все первые российские исследователи исходили из тесной взаимосвязи природы и человека, а точнее, народы – особенно окраинные – выделялись органической частью природных ресурсов территории. Различные группы подданных, несходные друг с другом ни по внешности, ни по образу жизни, ни по языку и религии, казались частью природного мира, воплощением своеобразной «физиономии пространства». Поэтому И.Н. Болтин видел главную задачу исследования Российской империи в том, чтобы определить, какие племена составляют «народ» (в значении «нация») государства и кто они, эти подданные, через выявление различий в «нравах, обычаях и богочтении»¹⁷. С этой целью необходимо было выработать определенный план описания – программы-инструкции для историко-этнографического отчета по Академической экспедиции 1733–1743 гг.¹⁸

Визуальные и вербальные описания осуществлялись одновременно, причем зачастую одними и теми же наблюдателями: ведь исследовать объект означало описать его с максимальной степенью точности. Следует отметить обстоятельство, которое выделяет Е.А. Вишленкова: «...изучение национальных языков в значительной степени было отделено от описания внешнего облика народов»; «“протоэтнографов” интересовали визуально познаваемые явления, а “протолингвисты” занимались сравнением языков, причем прежде всего их фонетического ряда»¹⁹.

Главным, хотя и наиболее сложным в определении критерием классификации народов немецкие ученые (А.Л. Шлёцер и Г.Ф. Миллер) считали лингвистический фактор. Язык и ранее служил самым надежным признаком этнической принадлежности. Одним из первых программу сравнительного исследования языков реализовал в 1710-х гг. Г.В. Лейбниц, правда исходивший из концепции языкового

родства немецких и славянских народов²⁰. Ему же принадлежит несомненная заслуга в разработке первой лингвистической системы, которую отечественный славист А.С. Мыльников именовал «лингвистической генеалогией» народов Европы, так как Лейбниц привлекал к ней как современные языки, так и мертвые и бесписьменные наречия. Язык не только мог служить критерием выделения группы в качестве отдельной этнической (региональной) или национальной (государственной) единицы, но и зачастую отождествлялся с народом, – причем иногда даже с историческим. Например, французский консул в Крыму Ш. Пейсонелль в сочинении «Исторические и географические замечания о варварских народах, населявших берега Дуная и Черного моря» (1765)²¹, отчаявшись разобраться в географической чересполосице и этнических смешениях жителей Восточной Европы, решил прибегнуть к спасительному, как ему казалось, и безошибочному признаку – языку, однако смог выделить лишь «язык венгров», «разновидность латыни» в Молдавии и Валахии и славянскую группу²².

Следующим этапом после установления места народа в таблице (дереве) языков было его разностороннее описание – подобно характеристикам других элементов природного мира, этнические сообщества подвергались детальному «осмотру» по определенному плану: происхождение и наименование, занимаемые территории, «телообразие, общенародные свойства, язык, нравы, одежда, суеверия и проч.»²³. Чрезвычайно важным признаком, дававшим основания для фиксации конкретного языка (наречия) как самостоятельного (что, впрочем, не исключало в последующих исследованиях выявления степени его близкого родства) оставалась номинация – эндоним общности. Именно на основании имени-самоназвания устанавливалось наличие самого этнического тела, т.е. физической реальности, формы его существования в истории, поскольку имя, как и язык, представлялось явной исторической и этнической константой.

Этнонимы, язык как этнический признак и способы его фиксации (путем описания и сравнения с другими) стали главными принципами этнографического описания у В.Н. Татищева²⁴. Примером реализации этих требований может служить его (незавершенное) «Общее географическое описание вся Сибири», где в разделе «о жителях сибирских» дана следующая языковая характеристика древнейшего населения: «Между древними находятся три языка: 1) сарматской, который во многом с финским, карельским, лапландским и т.д. согласен, 2) татарской или паче калмыцкой, 3) особой, что ни с которым из сих не опишется»²⁵. Согласно такому критерию, ученый разделял народы России на славянские, сарматские, татарские и «странноязычные» (не входившие в три предыдущие группы). В раз-

работанной Татищевым инструкции по описанию народов большую значимость, помимо языка, имели и другие признаки: вероисповедание (христиане, иноверцы, идолопоклонники, новокрещенные и др.), обычное право и нравственные добродетели, уровень знаний и суеверия²⁶, а также «состояние телес обществ»²⁷. В разделе «О жителях» «Введения к историческому и географическому описанию Российской империи» (1744) Татищев классифицировал народы по конфессиональной принадлежности важным критерием стал для него и принцип этногенетический – каждый из 42 перечисленных этносов он представлял как потомков известных по античной истории древних и легендарных племен и, исходя из этого, указывал на этническое родство отдельных групп²⁸.

Значимой чертой данного процесса самоидентификации можно считать формирование двух направлений, двух позиций в понимании соотношения «своего» (специфического) и «чужого» (универсально-цивилизационного)²⁹: патриотически-идеализирующего и научно-критического³⁰. Сторонники этих направлений отличались друг от друга зачастую (хотя и не всегда) этническим происхождением, образованием, но главным образом – видением места России в европейской цивилизации и значения Российского государства в европейской (в том числе современной) истории. Такая двойственность находила отражение прежде всего в научной сфере. Противостояние двух полюсов получит свое завершение, в частности, в одержанной в 1850-х гг. победе «русской» партии над «немецкой» в Академии наук и в РГО³¹.

Примером реализации иного – сугубо этнографического – плана репрезентации (в том числе визуальной) народов Империи становятся их характеристики, составляемые непосредственными наблюдателями-путешественниками, интересовавшимися этническим разнообразием населения (прежде всего неславянского) Российского государства. Именованный коллегами «самоучкой» Г.Ф. Миллер составил себе для описания народов Сибири чрезвычайно детальную инструкцию «О истории народов» (1740), где было 1287 пунктов, из которых около 900 относились к характеристике «нравов и обычаев»³². Из них в опубликованный вариант отчета о путешествии вошло только восемь наиболее крупных разделов, содержащих сведения об особенностях обычного права («естественные» и «гражданские» законы), о религиозных взглядах и обрядах, языке и духовной культуре, чертах материального быта (жилище, пища, одежда, быт) и «качествах телесных и душевных»³³. Однако эти группы признаков не были сведены в иерархию. Важно отметить, что деятельность Миллера, как и других немецких ученых на русской службе периода академических экспедиционных исследований Империи, знаменовала собой новую для российской научной мысли тенден-

цию, которая отличалась от характерных для немецких и французских просветителей философских размышлений о разновидностях человеческой природы и способах познания «естественного человека» в духе «Рекомендаций для изучения диких народов» Ж.-М. де Жерандо³⁴). Эта новая тенденция, «выросшая непосредственно из прагматики этнографии»³⁵, оперировала такими категориями народоописания, которые не совпадали с господствовавшими ихотомиями Просвещения в отношении к Другим (дикость/цивилизация, прогресс/дегенерация, природа/история и др.)³⁶. Б. Шишло, анализируя известную полемику (вылившуюся в конфликт) между Миллером и Вольтером по поводу написания вторым «Истории России», усматривает ее как predetermined «принципиально несхожими установками двух антропологий: абсолютной антиисторичностью одной и глубокой связью второй с историей и этнографией»³⁷. Можно согласиться с наличием у Г.Ф. Миллера стремления избегать оценочных суждений при констатации явлений, фактов и образа жизни изучаемых племен в целом³⁸ (например, он вовсе не употреблял понятие «дикие народы»³⁹).

Формы обобщения полученных сведений в географических компендиумах и учебниках второй половины XVIII – начала XIX в. свидетельствуют о том, что идея создания и внедрения стройной и таксономически организованной системы знаний о человеческих сообществах реализуется более в пространственных, нежели во временных категориях. Упорядочением видового разнообразия племен и народов «ведала» прежде всего география, хотя изменчивость человеческих сообществ в синхронии и диахронии не вызывала сомнений. Было очевидно стремление к расширению классификационных признаков. В «Новом и полном географическом словаре Российского государства» (1788) классификация народов Империи более детализирована: они подразделяются на разные «колена» (т.е. крупные этнические единицы) на основании языковой принадлежности и территории обитания, которых в общей сложности насчитывается 16, не считая выделяемых в отдельную разновидность так называемых иностранных народов, живущих в Империи. К славянским народам России составитель относил «россиян» и поляков. Аналогичная классификация с незначительными вариациями представлена и в «Обзрении Российской империи» (1788) С. Плещеева⁴⁰, и в «Лексиконе» (1788) Л. Максимовича⁴¹, и в «Географии» 1795 г.⁴², – впрочем, только в последней к славянским народам России добавлены «сербы, болгары и литва (смесь славян и финнов)»⁴³. Классификация народов Империи была представлена также и в масштабном «Новейшем землеописании всех четырех частей света» (1795), где в разделе статистического землеописания России содержалась иерархия этносов государства⁴⁴, однако она была связана не столько с пространствен-

но-климатическими факторами, сколько соотносилась с теориями лингвистического родства и этногенеза древнего населения Европы. Этноисторические гипотезы, как известно, интересовали многих российских историков XVIII в. Согласно принятой составителями и широко известной в середине XVIII в. концепции происхождения этнонимов «русь» и «россы»⁴⁵, население Московского царства образовали потомки двух основных племен («коренные народы России») – древние «славены» и «руссы» (финские племена, давшие имя государству)⁴⁶. Установление соотношения родственных этнических групп, особенно тех, общее происхождение которых было определено лишь по некоторым элементам культуры, зачастую осуществлялось произвольно. В основе классификации лежали признаки общности – этногенез, отчасти физический тип и язык, а также явная убежденность в значимости территориального единства, – зафиксированные европейской наукой того времени.

Получившее большую известность «Описание обитающих в Российской империи народов» И.Г. Георги (1776–1780)⁴⁷ в этом отношении стало дескрипцией более строгого характера, – оно представляло собой систематизированный свод сведений, предназначенный для образованного российского общества⁴⁸. Как известно, первоначально труд задумывался как комментарий к живописному альбому «Открываемая Россия» петербургского гравера К. Рота. «Костюмный» рисунок предшествовал написанию научного текста... и в этом отношении история создания трактата Георги открыто воспроизводит последовательность когнитивных процедур в человеческом восприятии мира⁴⁹. В основание структуры описания Георги положил географо-лингвистический принцип, хотя в отношении некоторых этнических групп явно его нарушал. В первом русском переводе труда Георги рассмотрены три основные группы народов России: финское «племя», татарское «племя» и «самоядские, маньчжурские и восточные сибирские народы». Все народы, так же как и отдельные люди, по мнению автора, обладают особыми свойствами характера или темперамента, а также выраженной склонностью к некоторым психическим или физическим заболеваниям. Внешность Георги описывал, как правило, оценивая красоту женщин. Вероисповедание не являлось для него важным фактором классификации. Иерархия признаков этноса, по Георги, была схожа с миллеровской: язык, этноним, территория проживания народа, особенности материальной культуры (жилища, пища, одежда), основные вехи истории, внешние черты и нрав (характер).

Одновременно с выработкой принципов научного описания осуществлялась рецепция европейских научных терминов, определявших объект этнографических исследований⁵⁰, среди которых наиболее важную роль сыграли достижения немецкой школы наро-

доведения, тем более что среди российских членов Академии наук было много приглашенных немецких профессоров, одновременно продолжавших преподавательскую деятельность в европейских университетах (Г.Ф. Миллер, А.Л. Шлёцер, И.Э. Фишер, И.П. Фальк, П.С. Паллас). Именно под немецким влиянием определился ряд особенностей, обусловленных дифференциацией появившихся в 1770-х – 1780-х гг. понятий «Völkerkunde» («Ethnographie») и «Volkskunde» («Ethnologie»). Такое терминологическое различие ввел А.Л. Шлёцер; буквальный перевод термина «Ethnographie» как «Völkerbeschreibung» прижился в немецкоязычных работах российских коллег Шлёцера – Палласа и Мюллера. Эти названия трактовались как тождественные; лишь в эпоху романтизма их уточнили и противопоставили друг другу, разделив предметные области. Понятием «Völkerkunde» («Ethnographie») определялась наука о неевропейских народах и культурах; таким образом, задача виделась в показе «народов как людей»⁵¹. «Volkskunde» («народоведение») ограничивало поле исследований главным образом немецкоязычными народами, т.е. «своей» культурой. Характеристика народов в рамках географо-статистических описаний и доминирование в связи с этим регионального членения пространства и населения были восприняты в России из традиций немецкой статистики⁵². Термин «этнография» (эквивалент «Volkskunde»), появившийся в немецких сочинениях, понимался как описание свойств народа⁵³, населяющего ту или иную территорию. Чаще всего речь шла о так называемом физическом народоведении с данными о природных «способностях» и «склонностях» населения того или иного региона и физико-географических условиях его проживания.

Обращаясь еще к одному немаловажному аспекту представлений о народах – убежденности в существовании национального нрава (характера), следует отметить, что на уровне обывательских взглядов характерология (учение о национальных характерах) претерпела в то время весьма незначительные изменения в сравнении с предшествующими эпохами. Серьезные размышления о природе и эволюции «национального характера» (использовалось именно это словосочетание) содержатся, пожалуй, лишь у одного русского историка той эпохи – И.Н. Болтина. Критикуя видение истории России Н.Г. Леклерком, он подробнейшим образом разбирал его концепцию. Русского историка интересовали принципы выявления соответствий (как научных закономерностей) между телесным и душевным состоянием (т.е. характером) человека, климатом и историей⁵⁴. Полемизируя с французскими просветителями, Болтин пришел к заключению, что климат в любом случае наиболее важное условие складывания особенностей национального характера, а «законы, воспитание, примеры и навыки», как и «форма правления», вторич-

ны («частию только содействуют ему или по мере силы их и стечения более или менее действиям его препятствия творят»⁵⁵). Однако народный нрав может изменяться и под воздействием этих факторов, если их действие длительно и интенсивно (к этим же вторичным обстоятельствам Болтин, что интересно, относит и пищу). Сами перемены происходят, с его точки зрения, под влиянием «обхождения чужих народов»⁵⁶.

Х. Чеботарев в географическом описании России, напротив, стремился убедить читателей в том, что «различия душевных дарований земных жителей» «приписывать не должно самой их природе или климату, но большей или меньшей удобности, какую они имеют к просвещению своей души и очищению вкуса». Он подчеркивал равенство всех обитателей Земли в интеллектуальных способностях и нравственных свойствах, а «особенные нравы, обычаи, поведения и обыкновения», присущие всякому народу, рассматривал как следствие исторического и цивилизационного развития⁵⁷.

О широком распространении интереса к толкованиям национального характера, в частности русского, свидетельствует известный вопрос Д.И. Фонвизина к Екатерине II: «В чем состоит наш национальный характер?», содержащийся в третьей части «Собеседника любителей российского слова» (1783) в перечне «вопросов, могущих возбудить в умных и честных людях особое внимание». Ответом была следующая фраза: «В остром и скором понятии всего, в образцовом послушании и в корени всех добродетелей, от творца человеку данных»⁵⁸. Вера в «природные склонности» разных народов, сопряженные с климатом, нашла отражение и в «Наказе» (1767) императрицы⁵⁹. Вообще, описания русских и их нравов создавались под серьезным влиянием западноевропейских географических описаний или компендиумов, многие из которых переводились на русский язык и издавались в России. Так, из французской «Дорожной географии» можно было почерпнуть сведения о россиянах, которые «росту посредственного, плотные и сильные. Простой народ имеет склонность к вину, однако дворяне российские трезвы, учтивы, приятны к чужестранцам... и никакому европейскому народу не уступают»⁶⁰.

В целом можно утверждать, что в XVIII в. строгая и стройная система классификации еще не сложилась, принципы описания находились пока в явной зависимости от объема знаний о тех или иных народах – чем меньше сведений, тем в большем затруднении оказывался автор; а классификации зачастую бывали довольно произвольными. Впрочем, несмотря на отсутствие признаваемых всеми критериев этнической принадлежности, следует подчеркнуть, что перечень основных признаков в этот период уже зафиксирован: этноним, язык, внешний облик, занятия, обычаи, законы; ум, нравственность и характер (нрав), хотя еще без жестко определенной их иерархии.

Таким образом, этнографические описания российских народов во второй половине XVIII столетия можно определить как первичные; для их авторов были по-прежнему вполне равноценны сочинения античных авторов, путешественников, историков, философов, т.е. очевидцев и историографов в равной степени.

*О россиянах и русскости в XVIII веке.
Круг первоначальных гипотез*

В эпоху Просвещения тесная взаимосвязь человеческих сообществ с землей – «местообитанием» – стала важным критерием для определения своеобразия народа, заняв следующее по значимости место после языка. Иначе говоря, племя/народ «закреплялись» за определенной территорией, что, однако, очень затрудняло решение вопроса о родстве (языковом и племенном) и этногенезе. И все же самой трудной проблемой для современного исследователя являются не запутанные генеалогические отношения между племенами разных времен и пространств, которые непременно желали установить первоописатели XVIII столетия, а вопрос о том, в какой мере корректны рассуждения о соответствии этнонима реально существовавшей этнической общности – иными словами, в какой мере номенклатура того времени выступала именно как этнографическая, а не региональная, не сословная, не государственно-политическая. Например, современная исследовательница Е.Н. Вишленкова убеждена, что «...в просвещенческом дискурсе обозначения “росс”... “великоросс”, “россиянин” были не этнонимами, а знаками подданства»⁶¹.

Наиболее последовательные попытки обнаружить и осмыслить научными методами особенности русскости – в ее национально-государственном и этнографическом «воплощениях» – исследователи относят именно к XVIII в. К эпохе Просвещения восходит и изучение образованной частью общества истории русского языка, проблемы соотношения антропологического, языкового и самобытно-культурного факторов формирующейся национальной общности и идентичности. Выработка и интерпретация понятий, связанных с этим процессом, осуществлялись на протяжении всего столетия, особенно интенсивно – в период правления Екатерины II. Тогдашних ученых, собирателей этнографических сведений больше интересовали населявшие Империю нерусские племена и народы, – их описанием были заняты многочисленные научные экспедиции. Разработка содержания терминов «Русь», «Россия» и «русский», «российский» в трудах историков XVIII в. имела не столько исторический, сколько идеологический характер. Она также слу-

жила важным аргументом в полемике между двумя концепциями происхождения русского племени (и, как следствие, российской государственности) – полиэтнической и моноэтнической⁶², одним из аспектов которой было обсуждение так называемой норманской теории. Дискуссия между Г.Ф. Миллером и М.В. Ломоносовым о происхождении этнонимов «русь» и «русские» привела к разработке концепции появления «славяно-россов» на землях Московского государства – ядра будущей Империи – и оказала определяющее влияние на исторические и лингвистические изыскания XIX столетия, посвященные формированию русского этноса⁶³. Эти теории не ставили под сомнение преемственную связь «славяно-россов» с древними племенами, населявшими Европейскую Россию в период «начальной истории», однако до 1830-х гг. обсуждение велось без привлечения сведений о состоянии современных русских в этническом отношении. В конце XVIII в., по мнению Е.А. Вишленковой, «концепт “русский” увязывался не с этнической группой, а с гетерогенным по своему происхождению крестьянством и мещанством центральных и северных губерний России. Для экспедиционных путешественников “русские”, в соответствии с доминирующими взглядами, – это остатки древних славянских и варяжских племен, разрозненные на огромной территории»⁶⁴.

Попытки определения русскости (как русской культурной специфичности и российской национально-государственной репрезентации) становятся особенностью этого периода истории науки. Русскость стремятся обнаружить в различных аспектах: от национально-идеологического и исторического до этнокультурного и психологического⁶⁵. Можно согласиться и с заключением Ю.Л. Слэзкина о том, что русская историческая наука XVIII в. выросла из изучения нерусских народов. «Причиной тому был парадокс: лингвистический поиск национальных истоков основывался на предположении о тождестве языка и нации, однако наиболее очевидным результатом... явилось все большее их расхождение... Ученые, призванные описать Российскую империю и прославить ее имя, обнаружили, что по происхождению... между этими категориями не было ничего общего. Русская земля стала “русской” совсем недавно; Русское государство и имя “Русь” пришли из Скандинавии; “русский” апостол Андрей никогда не был в России, а русский язык был импортирован племенами, изгнанными с Дуная»⁶⁶. Это касалось и стандартов (программы) описаний этнической специфики, и восприятия объекта исследования/наблюдения. Кроме того, важным фундаментом знаний о себе был для того времени взгляд «извне» – характеристики и научные гипотезы иностранных авторов: *во-первых*, многие европейские, главным образом немецкие, ученые состояли на российской службе; *во-вторых*, независимо от принятия или

резкого отторжения позиций зарубежных историографических трудов или народоописаний, посвященных России и ее жителям, именно позиция их авторов оказывалась в центре научных (и не только) размышлений о российской истории и русскости в целом, в какой бы форме (государственно-политической, сословной или – очень редко – этнической) она ни воспринималась.

*Понятия «Великая Русь/Великая Россия»
в географии российского Просвещения*

Термины географо-исторической номенклатуры – «Великая, Малая и Белая Русь» («Великая, Малая и Белая Россия») и производные от них прилагательные – к XVIII в. имели уже весьма длительную историю бытования. Эти хоронимические термины принято разделять на две группы: колористическую (Красная, Черная и Белая, реже к ним добавлялась Червонная Русь) и дуалистическую (Великая и Малая Русь) хоронимику. Для Европы периода Просвещения подобное разделение земель не было ни новым, ни оригинальным, проблема заключалась лишь в том, что оно не было последовательным, логичным, общепринятым и с трудом поддавалось точной картографической привязке. Однако упоминания о такого рода разделениях стало во второй половине XVIII в. обязательным в географических и народоописательных сочинениях о России.

Очень популярная и выдержавшая много переизданий на русском языке переводная география (1766) А.Ф. Бишинга (Бюшинга) разделяла Россию на три части: северную, среднюю и южную. Бишинг упоминает в административном составе Империи 19 губерний: пять азиатских (среди которых Казанская, Астраханская и Оренбургская) и 14 европейских. Из числа последних он относил к Великой России только пять: Московскую, Новгородскую, Архангельскую, Воронежскую и Нижегородскую⁶⁷.

Наиболее полная версия возникновения названий и объяснения границ пять регионов «Руссии» (Великая, Малая, Белая, Черная и Червонная Русь) отражена в «Истории» В.Н. Татищева. Историк излагал аргументы по строгому плану: он фиксировал древнейшие упоминания топонимов и их этимологию, определял географические и этнические границы, указывая природные координаты пространства и ближайших соседей, а также разбирал состав политических образований (княжеств и уделов) на разных этапах⁶⁸. Происхождение названия современного Татищеву государства Российской империи, которую он именовал «Империей всероссийской» автор разбирает, упомянув прежде все ранние политонимы: «Сармация, Роксолания,

Рутения, Русь, или Руссия, или Россия». Наименование «Русь» историк приписывает «самому российскому народу», который называл так и себя, и земли, им населенные. Происхождение слова Татищев возводит к сарматскому языку (в переводе – «темнорыжие волосы»), а ранние пределы обитания относит к новгородскому ареалу, то есть к Великой Руси (Гардарика, Старая Руса и т.п.)⁶⁹.

В основе расчленения единого пространства «Русии» на пять главных частей (Великая, Малая, Белая, Червонная и Черная) историк полагал не политические, а географо-племенные различия: «не в разделении правительств, но паче в разности пределов» и «по званиям народов»⁷⁰; они сложились, по его мнению, к IX в., когда потомки Рюриковы овладели уже всей Россией. Название «Великая Русь» Татищев соотносит с «Великим Городом» («Гордоригой», Старой Ладогой), где находился первый престол (до Великого Новгорода). Границы определялись следующим образом: на севере – с Финляндией до Белого моря; на востоке – с югами до Двины; после до гор Поясных и Печоры; на юге – до границ с Белой Русью до Волги и устья Медведицы; на западе – с литвою и прусами по Балтийскому морю до Мемеля. К области Великой Руси Татищев причислял княжества Новгородское, Псковское, Белозерское, а также некогда входившие в ее (Великой Руси) состав Полоцкое с Минским, Витебским, Двинским и другими уделами, отданными Владимиром Изяславу.

В неоконченном и опубликованном лишь в самом конце столетия «Лексиконе» Татищев именовал Белой Россией «среднюю часть» в Российском государстве, между «Великою и Малою»⁷¹. Фиксируя пределы Белой Руси, историк указывал на существование различных мнений, склоняясь к точке зрения иностранных авторов XVI–XVII вв., именовавших так земли Московского государства, простиравшиеся на севере – до Волги, на востоке – до устья Оки (соседи – югра и мордва). Древней границей между Белой и Великой Русью он определял естественные преграды: «...от реки Волги до реки Медведицы, потом за Волгой с Поморьем до Вологодской области, далее с болгарским и мордовским владениями до устья Оки реки», где Нижний Новгород⁷². Княжества, относящиеся к Белой Руси, по Татищеву: Ростовское, Смоленское, Муромское, Рязанское, Тверское, Московское, Юрьевское, Нижегородское, «Месчерское», Югорское, Пермское, Вятское (всего 12 при Василии II). Татищев разделял население Белой Руси на семь племен (славянских и финских)⁷³.

Великой же Россией Татищев считал Новгородскую Русь, из древних ее центров упоминал Шую, Изборск, Колмогард⁷⁴, а обитателями ее называл варягов, финскую русь (автохтонное население) и славян (словен), пришедших сюда. «Великая Россия есть главный предел в

Российской империи, лежащая к северу, в которой наипервое народ руссы жили, и от них вся Руссия, или Россия, имя приняла»⁷⁵. Главными княжествами некогда были Изборское, Белозерское и Полоцкое. Границы Великой России на севере – до Северного моря, на востоке – по Тверь и княжение Ростовское, на юге в него включалось княжество Полоцкое и вся Ливония по Мемель, к западу – до Балтийского моря, до залива Ботнии⁷⁶. Для именованя государства Татищев пользовался также определением «великороссийское»⁷⁷. Вполне логично поэтому, что «великороссийской губернией», в соответствии с таким толкованием состава земель Белой и Великой России, обозначена Санкт-Петербургская генерал-губерния. По раннему варианту «гражданского разделения» империи – при Петре I, – она именовалась генерал-губернией Великороссийской и включала «провинции» «Ижерскую» (Санкт-Петербург, Кронштадт, Канцы, Ниешлот, Шлиссельбург, Нотебург, Копорье), Финляндскую (Кексгольм, Корела, Нишлот, Выборг), Нарвскую (Нарва, Иван-город, Сыренск, Нислот и Ямбург) и Русскую (Великий Новгород, Волочек, Старая Руса, Порхов, Гардорики – Старая Ладога). Белорусская (Московская) генерал-губерния, соответственно, объединяла земли Белой, т.е. Московской, Руси с провинциями Московской, Тверской, Кашинской, Ярославской, Залесской (Меря), Костромской, Польской (Юрьев), Владимирской, Коломенской, Рязанской, Заокской (с Тулой) и Калужской⁷⁸. Отдельно выделялись Смоленская и Низовская (с центром в Нижнем Новгороде) вице-губернии⁷⁹. Границы всей великороссийской империи Татищев рассматривал как значительно расширившиеся на запад, восток и юг в сравнении с первоначальными землями⁸⁰.

Малой Русью Татищев именовал Киевскую, основанную великорусскими князьями; границы ее обозначал так: на севере – по реке Угре (где она соседствовала с Белой Русью) на востоке – по Оку и немного к югу по Дунай; на западе – до Вислы и до Мазовии. Малая Русь была населена представителями девяти племен, известных по древним летописям, прежде всего по «Повести временных лет»⁸¹, и состояла из пяти княжеств. Червонную, или Червенскую, Русь историк соотносил с княжествами Владимирским, Галицким, Перемышленским, Луцким и Подляшским; Черную Русь отождествлял с Полесьем с центром в Новгороде и Тмутараканах. Границей с Малой Руссией служил Днепр, а с севера от Малой и Червонной Руси ее отделяла Припять⁸².

Таким образом, «Великой Русью» историк считал область некогда существовавшей легендарной страны Биармии (локализация которой в версиях того времени включала либо Карелию и Приладожье, либо Поморье Белого моря, либо Пермский регион)⁸³ и соотносил ее с формированием ранней российской государственности вокруг Новгорода в IX в., а «Белой» – вслед за иностранными (преж-

де всего славянскими) авторами – область складывания следующего после Киевской державы центра в северо-восточных землях, «между Малой и Великой» Россией⁸⁴. Такое понимание можно считать закономерным и в контексте основной тенденции российской историографии того времени: «русские» регионы Империи определялись в соответствии с историческими границами княжеств или уделов, вокруг которых формировалась государственность. Содержание терминов и отчасти версии этимологии в татищевском варианте повлияли на последующие трактовки терминов географической номенклатуры в конце XVIII – начале XIX в.

Современный племенной состав В.Н. Татищев также указывает. Из племен, которые можно соотнести со славянскими, он упоминает только два, но без использования понятия «славяне». Это, *во-первых*, «древние и природные россиане, или русь, кои по всей империи распространяются»⁸⁵; *во-вторых*, «малороссиане, или черкасы», «народ российской»⁸⁶. В алфавитном перечне народов Империи упоминаются также древляне, кривичи; о «россианах» говорится, что это слово – сарматского происхождения, взятое всего лишь два столетия назад теми, кто ранее назывался «руссами» или «русью». Некогда этот народ жил около Гардарики (Новгорода); с приходом венецов (или датчан) город был разорен и построен новый город – Новгород (название которого словенское, а не сарматское)⁸⁷. Таким образом, современные «россиане» – потомки руссов, сарматов-финно-угров, славян и татар.

Историк упоминает также о роксоланах и приводит мифологическую этимологию этнонима от «рассеяния» (которая вслед за Татищевым будет регулярно воспроизводиться в последующих географических трудах). «*Роксания*, или Роксолания, також по подобию известного издревле в Сармации народа роксоланов... *нам присвоили и от того Россия настоящее хотят произвести*. Но сие имянование *от рассеяния*, а не от роксоланов всем знаемо (выделено автором. – М.Л.)»⁸⁸. Эта этимологическая версия заимствована из «Описания Московии» XVI в. С. Герберштейна⁸⁹. Известно, что Татищев доверял многим древним и современным иностранным источникам, а кое-что, как доказывают исследования, фальсифицировал⁹⁰. Вероятно и то, что идею отождествления Белой Руси с Северо-Восточной историк взял у М. Стрыйковского⁹¹.

Важно и использование Татищевым слова «великоруссы», которое у него выступает, несомненно, не в качестве этнонима, а для обозначения жителей Великой Руси. «...От оного Великого града сия страна Великая Русь в различность от других русских владений именована. По сем сии великоруссы, войнами на север помалу совокупа... все Поморие владели на Двине, и на Юге города построили, и по Печоре дань брали...»⁹².

Краткая характеристика племен, обитавших в России, представлена по трудам Леклерка, в уже цитированном сочинении И.Н. Болтина. Он с сомнением воспроизводит слова Леклерка о происхождении «русских» от гуннов⁹³. «Если все рассеянные по России племена и сами русские произошли от гуннов, то, стало быть, или сарматам в России места нет, или их за один народ с гуннами разуместь должно. А понеже бытия сармат автор не отрицает: “сарматы, – говорит, – произвели три сильных народа, а именно – русских, поляков и литовцев”... следовательно, он сам себе противоречит»⁹⁴. Как и многие другие, Болтин относит русских к финно-угорским народам сарматского происхождения, которых «соединение и смешение... со славяны» сделало «разнственными от всех»⁹⁵. Уделяя много места рассмотрению различных теорий этногенеза различных древних народов и гипотез об их лингво- и этногенезе начиная с античности, Болтин обращается также к вопросу о происхождении варягов и варяго-русов. Первые – это финны; вторые же являют собой результат смешения финнов и руссами, до Рюрика финские короли владели руссами⁹⁶, поэтому финны «суть то, что в старину под именем варягов и варягоруссов разумели»⁹⁷.

М.В. Ломоносов пользовался терминами «руссы», «россы», «россияне», но все земли, связанные с государственностью, начиная с древнерусского периода, предпочитал именовать Россией. «Подлинная Россия, которая в старину простиралась на запад от Днепра»⁹⁸. Его больше занимал вопрос об этническом происхождении современных россиян («народа российского»), нежели проблемы исторической географии. Отождествление Ломоносовым древних племен роксоланов с современными «россиянами» стало одним из пунктов его полемики с Г.Ф. Миллером. Последний, между прочим, настаивал на том, что использование такого этнонима некорректно, поскольку это слово, «которым сейчас любят называть себя русские... возникло и вошло в употребление слишком недавно... в древних российских памятниках оно не встречается»⁹⁹ и не имеет никакого отношения к этнониму «роксоланы». Он был уверен, что «славяне» – народ пришлый, а «варяге – тутошний»¹⁰⁰. М.В. Ломоносов же верил, что предками россиян был народ россы, некогда обитавшие между Доном и Днепром, и что позже они переименовали имя на «русс» или «русь» и далее стали «славенороссийским народом» или «славенороссами». Этих самых «россов» Ломоносов и выводит от племени роксолан. При этом он отвергал герберштейновскую этимологию (от «рассеяния») топонима «Россия», приводимую Татищевым. «Народ российский... по толь многих разделениях, утеснениях и нестроениях не токмо не *расточился*, но и на высочайший степень величества, могущества и славы достигнул»¹⁰¹. Ломоносов категорически не согласен с Миллером в его гипотезе о

том, что этноним «русский» происходит от финского наименования варягов: «Едва можно чуднее что представить, как то, что господин Миллер думает, якобы чухонцы варягам и славянам имя дали»¹⁰². Самих варягов он также считал славянами.

Впрочем, данная дискуссия, положившая начало двухсотлетней полемике о норманской теории происхождения Руси и этнической принадлежности ее первых князей и обитателей, хорошо изучена, поэтому нет смысла останавливаться на ней подробнее, тем более что хроника Руси не слишком занимала Ломоносова. Термины «Малая Россия», «Украина», «малороссияне», «Великая Россия», «великороссийский», а также «Белая Россия», «белорусцы»¹⁰³ М.В. Ломоносов употреблял главным образом при описании присоединившихся к государству («великороссийское великое княжение» Василия Ивановича или «великороссийская держава» для обозначения более позднего периода, «великороссийские государи» и др.) областей и их населения¹⁰⁴ и чрезвычайно редко прибегал к производным от них регионимам/этнонимам. «Российскими» именует Ломоносов войска (в которых сражаются «россияне»), власть и т.д.¹⁰⁵ Он утверждает также, что первым государем, начавшим «писаться Царем и самодержцем Всероссийским», был именно Василий Иванович в «последние лета» своего царствования, после чего за государством закрепилось имя «Царства Всероссийского»¹⁰⁶. Упоминает Ломоносов и о Федоре Алексеевиче, утвердившем «приведение Киева и Малыя России под великороссийскую державу», которое происходило при его отце, Алексее Михайловиче¹⁰⁷.

«Белую Россию» М.В. Ломоносов помещал неподалеку от южных берегов Балтийского моря и «круга реки Руссы, где ныне старая Пруссия, Курляндия...»¹⁰⁸, да и самих пруссов представлял потомками «поруссов». Сами топонимы «Белая» и «Чермная Русь» он считал косвенным доказательством того, что корень *росс-* или *русс-* не может вести происхождение «от чухонцев», а следовательно, все три элемента «Руси» («Чермная», «Белая» и «Варяжская») существовали еще до прихода варягов. Жителей Малороссии/Украины Ломоносов также именует россиянами¹⁰⁹.

Выстраивая максимально древнюю историю предков русских, Ломоносов решил проблему связи древних славянских племен с «норманнами» («варягами») очень просто, утверждая, что «варяги-россы в древние времена именовались роксоланами или росо-ланнами»¹¹⁰, которые, в свою очередь, были «однородцы» сарматам, а «пришедши с избранным на княжение Руриком... не токмо пребывание, но и самодержавную власть утвердили, и посему с варягами сими соединенные славяне обще переименовались росолами»¹¹¹. Отношения славян (отожествляемых по «единородству» с сарматами) и чуди (отождествляемой со скифами) казались Ломоносову

«неоспоримыми» – он полагал, что до призвания Рюрика «в пределах российских» обитали «славенские народы»: «...новгородцы славянами по отменности именовались, и город... слыл Славянск»¹¹²; «народ славенский уселся, притеснил чудь к сторонам восточной и северной, а часть оныя присовокупил в свое соединение»¹¹³, а позже «от преселений и дел военных немалое число чудского поколения соединилось с племенем славянским и участие имеет в составлении российского народа»¹¹⁴, однако «преимущество славян» в нем «весьма явствует»¹¹⁵. Именно М.В. Ломоносов ввел в научный оборот название языка племени, сформировавшегося в северных землях в итоге метисации, – словеноросский.

В «Истории Российской от древнейших времен» (1770) М.М. Щербатов также употреблял названия «Россия» и «россиане». Он отказывался искать точные соответствия древних племенных названий, относимых к «руси», усматривая в этих сведениях путаницу и разброд мнений¹¹⁶. Историк полагал, что неверно видеть на территории нынешней России разных «кандидатов» на роль предков русских, а правильнее, *во-первых*, считать их народами славянского происхождения и, *во-вторых*, рассматривать мозаику этнонимов как наименование одного народа (сарматы, скифы, славене и др.), поскольку они говорили на общем – славянском – языке¹¹⁷ и этот язык «всегда был сходен с российским». Таким образом, констатирует современная исследовательница Е.А. Погосян, в вопросах этногенеза Щербатов был сходен во мнениях более с Ломоносовым, чем с Татищевым, но варягов и Рюрика считал немцами¹¹⁸.

Можно утверждать, что воспринятое В.Н. Татищевым от иностранных авторов отождествление Белой России с Московским государством породило некоторые противоречия в интерпретации состава земель, входивших в Великую, Малую и Белую Русь (Россию). Свидетельством этому являются географические лексиконы и энциклопедии второй половины XVIII в. В них выделение этих трех регионов осуществляется в контексте пространственного членения Российской империи. В «Лексиконе» Ф. Полунина «Россией» именуется как вся страна-империя, состоящая из европейской и азиатской частей, так и «Россия, или Русия, по-старинному Русь» в узком смысле, которая и «состоит» из «Великой, Малой, Белой, Черной или Червонной»¹¹⁹. Статья здесь написана Г.Ф. Миллером, который опирался на текст В.Н. Татищева из его «Лексикона». Так, он повторяет утверждение Татищева о том, что данное разделение основано на «обычаях и наречиях народных», но указывает, что такое различие принято верховной властью, хотя состав земель и городов, входящих в их пределы, различался на разных исторических этапах¹²⁰. Иначе говоря, речь идет об этнических различиях и языковой неоднородности «отраслей» народа – эти признаки превалируют над

геополитическими факторами. Миллер не сомневался, что «наименования» этих историко-географических областей возникают лишь в период формирования новых центров государственности уже после Киевского периода русской истории¹²¹. Исключением он считает Червенские города, известные со времен князя Владимира (и взявшие тогда себе имя), – по которым была названа Чермная, или Червонная, Россия (везде в тексте автор именуется регионы «Россией», а не «Русью»). Появление наименований «Великой, Белой и Малой «Россий» немецкий ученый возводит к XIV в., когда часть земель Киевского государства «по обеим сторонам Днепра» вошла в состав Польши (Червонная Россия) и Литвы (Малая Россия, завоеванная при Гедимине). Причины наименования он напрямую связывает с размерами областей («сии имена сами доказывают, что одна так названа в рассуждении другой»¹²²). Границей между Великой и Малой Россиями Г.Ф. Миллер считал реки Сейм и Десну, которые, впрочем, иногда и «переступали». Аналогичным образом рассматривается происхождение топонима «Белая Россия», известная не ранее правления Гедимины.

Между прочим, ученый не сомневался в том, что «все оные страны, что мы ныне Литвою называем, включались под общим званием России» и российская власть тогда простиралась от Днепра до Немана (Мемеля). Такое положение было утрачено с вторжением татаро-монголов с востока и литовских правителей Гедимины и его сына Ольгерда – с запада. Именно к этому времени возводится появление названия «Белая Россия», происхождение которого расценивается как «неизвестное»¹²³, и автор приводит изложенные Татищевым три версии (от «белых снегов», от «белых одежд» и от «белых царей»). Миллер полностью воспроизводит и раннее представление о территориальном составе Великой и Белой России: к первой относятся северные княжества, ко второй – северо-восточные и западные¹²⁴. Иначе говоря, содержание статьи Татищева о России совпадает со статьей в «Лексиконе» Полунина. Кроме того, статья Татищева – Миллера «Россия или Руссия» без изменений вошла в переработанное и дополненное Л.М. Максимовичем издание «Нового и полного словаря Российской империи» (1788–1789)¹²⁵. Единственным отличием стал включенный в это издание перечень племен Российской империи, в котором фигурируют «славянские народы» (в составе «россиян» и поляков)¹²⁶. И в Географическом словаре (1801–1809)¹²⁷, и в «Картинах России» А.М. Щекатова (1807)¹²⁸ приведены те же самые тексты, лишь немного отредактированные.

В «Краткой географии» Х.А. Чеботарева (1767) утверждалось, что «с давних времен принадлежали к Европейской России земли, составляющие три главные ее части: Великую, Малую и Белую Россию»¹²⁹. В его же «Описании» (1776) Российской империи содер-

жится подробный перечень земель каждого из регионов¹³⁰. Автор не разделял точку зрения Татищева и Миллера относительно Белой России как пространства, соотносимого с пределами Московского государства. Великая Россия (*Rossia Magna*) в историческом значении понимается им весьма широко, она разделяется на северную и южную части; к первой относятся 15 провинций (Псковская, Великолуцкая, Новгородская, Белозерская, Каргопольская, Старая Российская Карелия, Российская Лапландия, Двинская, или Архангелогородская, Югорская, Печорская, Пермская, Устюжская, Галицкая и Вологодская, а также Вятская). Таким образом, эта часть Великой России обнимает все земли Российского государства от морей до Тверского региона, а Новгородская земля и зависимые от нее племена видятся древнейшей частью Великой России. К южной части Чеботарев относил области собственно Северо-Восточной Руси: Ярославское, Тверское, Ростовское, Суздальское и Владимирское княжества, Нижегородскую и Воронежскую (с землей донских казаков) провинции, а также Великое княжество Московское (с Можайском, Коломной, Тулой, Орлом, Калугой, Переславлем и др.). Московское княжество рассматривается как центральная часть не только Великой России, но и всего государства. По этой причине Белой Россией (*Rossia Alba*) остается лишь Смоленское княжество. Малая, в свою очередь (*Rossia parva g. Minor*, Украина, *Ukraina*), «лежит к югу меж Малой Татариною, Польшей и Великой Россией»¹³¹ и состоит из Новгород-Северского, Черниговского, Киевского княжеств, провинции Белгородской, а также включает Новую Сербию и земли запорожских казаков¹³².

Представлено также современное Чеботареву деление всего государства на 22 губернии: Великая Россия заключает в себя пять губерний (Московская, Архангелогородская, Новгородская, Воронежская, Нижегородская)¹³³, столько же губерний в Малой России (Киевская, Малороссийская, Белгородская, Слободская Украинская, Новороссийская). К Смоленской губернии Белой России добавляются Псковская и Могилевская¹³⁴.

Нельзя не упомянуть и о позиции Екатерины II по вопросу об этногенезе русских, которая была рассмотрена в статье Е.А. Погосьян¹³⁵. Исследовательница показывает, что сама императрица была сторонницей концепции В.Н. Татищева, а не М.В. Ломоносова. Она писала о том, что имя «Русь или Руссия» принадлежало «малой части народа», обитавшего «от Финляндии к востоку от гор поясных, и от Белого моря к югу до Двины и Полоцкой области, и тако вся Карелия, вся Лапландия, Русь Великая и Поморье с нынешнею Пермью, именовалась Русь до пришествия славян»¹³⁶. Славяне же пришли на Русь не ранее V в., и с их приходом на Руси распространяется славянский язык, на котором Русь говорила еще до прихода

Рюрика; причем, по мнению Екатерины, они имели письменный язык задолго до Рождества Христова. Этногенез русских императрица видит следующим образом: автохтонные руссы смешались со славянами-пришельцами, став единым народом славяне-русь, а затем соединились с варягами, что она расценивала весьма позитивно. Эта «полиэтническая» теория происхождения народов объединяла татищевскую позицию с болтинской и екатерининской¹³⁷, однако в этом крылась и другая идея: ни племя «русь», ни государство «Русь» не были прямыми предшественниками современных россиян и нынешнего Российского государства, в то время как большинство историков и географов XVIII в. «используют, говоря об эпохе Рюрика, наименования “Россия” и “росс”. Для них древний и современный им “народ российский” (независимо от того, признаются предки славянами или, как у Миллера, варягами) – это один и тот же народ. Термин “Русь” как наименование государства встречается в исторических сочинениях значительно реже... и... всегда производно от названия неславянского народа “русь”. Это ведет... к представлению о том, что “современные россияне” – потомки самых разнообразных народов»¹³⁸.

В анонимном «Новейшем повествовательном землеописании» (1795)¹³⁹, авторство которого приписывается кругу А.Н. Радищева, конфискованном по распоряжению Екатерины II, содержится два вида разделения Европейской России: а) хорошо известное – на европейскую и азиатскую части; б) на «существенную» и «приобретенную» – «т.е. завоеванную или присоединенную Россию»¹⁴⁰. «Существенная» – основная часть России, – в свою очередь, состоит из Великой, Малой, Белой и Красной Росий. Авторы утверждают, что имена трех земель (кроме Великой России) получены от поляков, под господством которых они находились несколько веков. В первой части, представляющей собой набор сведений для учащих-ся, перечень «знатнейших городов Великой России» дает возможность обозначить ее пределы: в нее включены, в частности, Новгород, Псков, Архангельск, Тверь, Тула, Владимир, Калуга, Вологда, Ярославль, Рязань, Тамбов, Москва, Орел и Курск, в то время как из крупнейших городов Белой России упомянуты лишь Смоленск, Полоцк и Могилев, а из Малой России («называется также и Украиною») – Киев, Чернигов, Новгород-Северский и Полтава¹⁴¹. При этом Минск, Язяслав, Брацлав и Каменец-Подольский отнесены к «Красной России»¹⁴². Выделяется еще и «Новая Россия» (Екатеринослав, Херсон, Азов). Таким образом, земли Великой России в сравнении с предыдущими версиями толкуются расширительно, а Белой – напротив, ограничены лишь присоединенными после разделов Речи Посполитой губерниями. Очевидны и причины: отнесение связано с границами Российского государства XVII в.

Следует отметить, что из этнонимов, обозначающих этнический состав населения этих земель, в труде использован лишь термин «малороссианы» – в обширном фрагменте о происхождении и особенностях казачества («не все малороссианы называются козаками»¹⁴³). Авторы излагают довольно сложную и несколько запутанную картину исторического формирования племенного состава Российской империи. Из «древних жителей» упомянуты «древние славене» наряду с «древними руссами», готами, германцами и т.д.¹⁴⁴ Россы, или (подчеркнута неправильность наименования) роксоланы, возводятся к дохристианскому периоду мировой истории, росо-славяне определяются как их самоназвание (столь же древнее). Россы через много веков сменили свое имя на «россиане» – от «рассеянности» их «по всему почти шару земному»¹⁴⁵ (этот фрагмент заимствован у Татищева). Древние славене, как указывается, именовались также венетами или скифами (экзонимы), а Нестору они известны как «поляне», «древляне», «кривичи» и проч. Они были родственны славянам (полякам, хорватам и др.). Они «суть коренной России народ, с самых первых и древнейших времен первый, населяющий занимаемые ныне все почти пространства сей Империи от реки Волги до... Вислы... от Карпатских гор до морей Черного и Балтийского», их язык есть «очищенный славянский язык, которым вся почти Россия говорит, пишет и на котором обряды богослужения греко-восточного своей церкви отправляют»¹⁴⁶. Вторые – также «коренной России народ, которого имя только Россия на себе носит, а язык его древний от смешения после соединения со славенами совершенно почти исчез. Народ сей в древности занимал пространство нынешней России... Был древний их город Старая Русса»¹⁴⁷. Таким образом, можно заключить, что «славене» имеют славянское, а русы – финно-угорское происхождение. Слово «рус» авторы считают кельтским, переводя его как «сильные», и отождествляют русов с киммерами и цымбрами древних писателей, утверждая, что именно этот экзоним стал позже эндонимом. «В старину» Россия называлась по-другому: Русь, Руссия, а современное наименование обрела якобы в конце царствования Ивана II (т.е. Ивана Красного, сына Ивана Калиты) по инициативе митрополита Макария (данный фрагмент также заимствован у Татищева)¹⁴⁸. Смешение русов со славянами («славенами») относят к древним временам, в результате чего сформировался единый народ, чьими потомками является древний русский народ, перечисление ветвей которого позволяет нам установить, что под ними подразумевались финно-угорские племена¹⁴⁹. Казаки определены в «Землеописании» как «россияны, потомство другого колена воинственных славен»¹⁵⁰. Упоминается и лингвистическая номенклатура: язык российский назван очищенным и обогащенным славянским, «и оным говорят все россианы», а славянский язык был известен на Руси еще

до Рюрика, хотя и не был общеупотребительным¹⁵¹. Таким образом, руссы являют собой пример народа, забывшего собственный язык и перенявшего язык победителей¹⁵².

Так коренным населением Великой России, соотносимой с северо-восточными княжествами и Новгородской землей, оказываются славянские и финские племена. Можно было бы предположить, что в конце XVIII столетия татищевская трактовка Московской Руси как Белой постепенно вытесняется из наиболее важных географических описаний и учебников конца XVIII в. Однако неожиданно она вновь встречается в рассказе о событиях политической истории XVI в. – в «Истории» Н.М. Карамзина. Описывая заслуги в расширении и укреплении единого государственного государства, историк анализирует новый титул русского царя Ивана III. В этом титуле, по его мнению, государь именовал Московскую Русь Белою, «т.е. великою или древнею»¹⁵³.

Нельзя обойти вниманием одно из наиболее полных в XVIII в. этнографических описаний русских, представленное в важнейшем народоведческом описании Российской империи И.Г. Георги. Для этого обратимся к изданию 1799 г. на русском языке – именно в этом варианте публикуются все четыре части труда, причем в четвертую введен новый текст анонимного автора о «владычествующих россиянах», содержащий более подробный, чем ранее, фрагмент этнографического описания русских. В этой части, написанной, как доказал С.А. Токарев, М.И. Антоновским¹⁵⁴, в перечне этносов фигурировали «россияны», но при этом их связь с геополитической номенклатурой никак не фиксировалась. Народы у Георги группировались по лингвистическому принципу; о древних обитателях России он также пишет в духе своего времени, упоминая на первом месте в качестве автохтонных жителей руссов (финские племена) и на втором – славян (сарматского происхождения)¹⁵⁵.

Под термином «россияны» понимались «два коренных народа в смешении, яко Россов и Славян древних, народ, владычествующий во всей Российской империи»¹⁵⁶ (ср. «славено-россы» или «славено-российский народ» М.В. Ломоносова в значении «русские»¹⁵⁷). «Россами», согласно укрепившейся во второй половине XVIII в. одной из этимологических версий, именовались финские племена (чудь, русь, русские). Таким образом, «россиянами» являлись, в сущности, русские, однако в такой дефиниции неясно, отождествлялись ли они с великорусами. Косвенными аргументами в пользу подобного понимания могут служить два факта: а) казаки в классификации «Описания» указаны отдельно от русских и представлены в этническом отношении как «смешанный народ»; б) в уже упоминавшемся «Новом или полном географическом словаре» (1788) Л.М. Максимовича в списке «колен» народов, обитающих в Российской империи, из

«славянских народов» упомянуты лишь «россияне» и поляки¹⁵⁸. То же – в «Обозрении» С.И. Плещеева¹⁵⁹ и в «Новейшей всеобщей географии»¹⁶⁰. В другом, носящем еще не научно-этнографический характер и явно продолжавшем традиции народоописаний прежних веков сочинении «Позорище странных и смешных обрядов» (1797)¹⁶¹ представлены свадебные обряды народов земного шара. Из обитающих в Российской империи народов описано 18, среди которых – камчадалы, уральские и отдельно донские казаки, «татары вообще» и их региональные подгруппы (казанские, оренбургские и чулымские), «калмыки вообще» и «уральские калмыки в отдельности», лопари. Закljučают список «малороссияне» и «великороссияне»¹⁶². В очерке упомянуты «древние великороссияне» (их свадебные и брачные обычаи XVI–XVII вв.) и современные изменения («ныне во многих великороссийских местах»), при этом для выделения повсеместно распространенных обычаев используются прилагательное «российские» («деревни» или «места России»). Было бы некорректным полагать, что в данной книге малороссияне и великороссияне выступают как народы в этническом смысле – скорее, они репрезентируют региональные племенные вариации.

В очерке Георги–Антоновского «о россиянах»¹⁶³, как и у предшественников, приводится версия их происхождения от Мосоха, сына Иафетова, потомки которого «поселились на реке Росу... и от оной «стали именоваться россами»¹⁶⁴. По мере миграции на север они поделились на три части и «именовались россы или рассаны, мосохи и фовели. Россы, продвигаясь на север, заняли все места» между Уральскими горами, к Белому морю, к берегам Финского залива и Варяжского моря, до реки «Немени», назвали восточное плечо, или рукав, оной Роса или Руса, построили города в Биармии, в устье Двины. Ввиду своего северного положения эти племена получили названием «сарматы», т.е. «северные». Две другие группы стали называться скифами и поселились на Дону, Днепре, Азовском море, Висле и т.п. и даже в Пруссии (от Порусья). Все эти роды, составляющие «ныне» Российскую империю, еще до Рождества Христова обитали на тех же пространствах. Гипотеза происхождения названий «россы», «россо-славяне» также восходит к тексту В.Н. Татищева. Россо-славяне постепенно оставили прежние имена и стали именоваться просто славянами (от Славена) и русью (от Руса или Риза); этимология повторяет версию С. Герберштейна, принятую Татищевым (от «рассеяния»)¹⁶⁵. «Россия» именуется «средоточием или Отчиной всех северных народов»¹⁶⁶. Антоновский подчеркивает у них «единообразный, простой и естественный образ жизни, беспечный нрав и одинакую веру»¹⁶⁷. «Российский язык» характеризуется как исправленное славянское наречие, «употребляемое... с славянскими буквами в церковном служении». Внешность и характер словено-русского народа

даны подробно, поэтому приведем довольно пространную цитату: он не весь имеет «одинакий вид», но «по климату, месту рождения... по удовольственной или скудной и всегда заботной жизни... некоторые из них высоки, иные низки, иные плотны, большая часть сухощавых, но все стройны... Глаза и рот мужчины имеют обыкновенно небольшие, губы малые, зубы белые и ровные, нос невелик и не очень¹⁶⁸ орлиноват или наклюповат, лоб большею частью кругловат и потому кажется мал, лицечертание важно, борода густа, волосы прямые инде русые и рыжие, инде темно-русые и инде и черные... сие так по климату. Обоняние, вкус и осязание так, как и все тело, а особливо у северных русских жителей, от образа жизни и от климата суть тупы, тверды, а частью и не чувствующие. Большая часть россиян сангвинико-холерического или весело-гневливого свойства или же, наоборот, с примесом более или менее меланхолического или задумчивого, но редко флегматического или недеятельного сырого, а еще реже чистого задумчивого или мрачного. В походке и делах своих они проворны, живы и поворотливы»¹⁶⁹.

«Большая часть женщин черновласы и имеют нежный цвет тела, многие из них красавицы». Нравом «россианы» в основном веселы, «беспечны до ветрености, любят наслаждения чувственные... выдумщики к сокращению работы, во всех делах живы, проворны и дружны. В пристрастиях неумеренны, скоро теряют середину и нередко впадают в самую крайность... внимательны, решительны, отважны и предприимчивы, превеликую имеют склонность к торговле и менам. Гостеприимны и щедры. Не заботятся о будущем слишком. В обхождении дружелюбны, откровенны, услужливы...»¹⁷⁰; «здоровье и крепость, долговременная старость». Упоминается также их «воинская врожденная склонность или слава... праведное очищение за нанесенные обиды и неправды», великодушие¹⁷¹. Как видим, характеристика «россиан» подробна, но относится, в сущности, ко всему народу – без различия сословий и региональных групп. Типологически она близка к сочинениям упомянутого выше жанра (нравоописания европейских народов), в которых давался перечень примет, качеств и способностей дворянства разных государств Европы. Несмотря на представленные в очерке Антоновского сословные отличительные свойства нрава и особенности костюма, они все же более чем условны и воспринимаются скорее как общенациональное описание, где национальное трактуется как этническое. Это, в свою очередь, типично для традиций народоописаний XVIII в., в которых национальное определение (жителя страны или подданного государства) неизбежно совпадало с этническим, соотносимым с «титульной» нацией в прямом смысле (так, Речь Посполитую в них репрезентировали поляки, Испанию – испанцы, Венгрию – венгры).

Таким образом, к первой четверти XIX столетия обозначились три тенденции объяснения происхождения и ареала топонима «Великая Русь/Великая Россия», границы которого стремились определить в первую очередь через этнополитические категории, установив соотношение с геополитическими единицами или областями, сложившимися в истории до и сразу после образования государства Рюрика. Одна тенденция отождествляла Великую Русь с Новгородской, подчеркивая таким образом лишь опосредованное наследование Российской империей политических традиций Великой Руси, поскольку Владимиро-Суздальская/Московская Русь соотносилась с Белой Русью. Вторая значительно удревняла данное наименование, населяя земли Руси финскими племенами, смешавшимися с мигрировавшими славянами еще до создания первой государственности. Наконец, были авторы, которых гораздо более занимала проблема племенного родства и главный для определения происхождения вопрос – о языке (именно данный критерий этнической идентификации доминировал в ту эпоху). В этом контексте – с точки зрения эволюции представлений о Великой России/Великороссии, великороссийском/великорусском наречии и великорусе как «отрасли» триединого народа русского – наиболее важными видятся следующие конкурирующие гипотезы: о раннем племенном смешении финно-угорских и славянских племен («россо-славяне», или «словоно-россы»), с одной стороны, и о безусловном славянском преобладании в крови и языке «россиян» – с другой. В характеристике нрава/характера жителей России не наблюдается никаких региональных различий, – напротив, подчеркивается их «одинаковость» в языке и общественных проявлениях (варьирующая только по сословиям). Те свойства, которые им приписываются, соотносятся в некоторой мере с описаниями качеств северных и отчасти славянских народов (продолжение традиции средневековых нравоописаний, о которых подробнее будет сказано в главе пятой).

Поскольку первые имперские описания России непременно затрагивали историко-географические сюжеты, их создатели настойчиво стремились заполнить имевшиеся лакуны если не новой информацией, то новыми интерпретациями, что, с одной стороны, диктовало обращение к авторитетным античным и средневековым источникам, а с другой – привело к энергичному этимологическому конструированию – прежде всего в области продуцирования этногенетических и лингвогенетических гипотез. Эти гипотезы были призваны соединить разные историографические традиции, но интерпретировали прошлое государства с точки зрения государственно-патриотических экстраполяций, направленных на укрепление статуса и престижа полиэтнической и поликонфессиональной Российской империи.

Можно принять утверждение авторов современного Словаря русского языка XVIII века, что слово «великороссияне» и производное от него прилагательное «великороссийский» относились к жителям Великороссии (когда-то противопоставлялись либо отделялись от населения Малой России, или Малороссии); исследования о появлении и бытовании наименования «малороссияне» косвенно подтверждает это заключение¹⁷². Однако трудно согласиться с тем, что слово «великороссияне» при этом выступало как синоним этнонима «русский»¹⁷³. На наш взгляд, аргументированных доказательств такой семантики нет, а трактовка определений «великороссиянин» и «русский» как этнонимов для данного исторического периода более чем сомнительна.

Примечания

- ¹ Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. С. 159–160.
- ² Семенов Ю.И. Естественно-научное познание и историческое познание: сходство и различие // Проблемы исторического познания. М., 2009. С. 84.
- ³ Фуко М. Слова и вещи. С. 161.
- ⁴ Цит. по: Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании людей Просвещения / Пер. с англ. М., 2003. С. 451.
- ⁵ Ионов И.Н. Цивилизационная самоидентификация как форма исторического сознания // Искусство и цивилизационная идентичность. М., 2007. С. 169–187.
- ⁶ Пытин А.Н. Сибирская этнография // Пытин А.Н. Статьи из «Вестника Европы»: В 10 т. Статьи за 1880–1882 гг. СПб., 1882. Ч. I–VI.
- ⁷ Цит. по: Мильников А.С. Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Представления об этнической номинации и этничности XVI – начала XVIII века. СПб., 1999. С. 135–136.
- ⁸ Тодоров Ц. Раса и расизм // Новое литературное обозрение. 1998. № 34. С. 15.
- ⁹ Цит. по: Там же. С. 12.
- ¹⁰ Монтескьё Ш. О духе законов // Монтескьё Ш. Избр. произв. М., 1955. С. 352.
- ¹¹ Юм Д. О национальных характерах // Юм Д. Соч.: В 2 т. М., 1996. Т. 2. С. 605–621.
- ¹² Гельвеций К. Соч.: В 2 т. М., 1974. Т. 2. С. 182.
- ¹³ Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977. Книга восьмая.
- ¹⁴ Ширле И. Учение о духе и характере народов в русской культуре XVIII в. // «Вводя нравы и обычаи европейские в Европейские народы». К проблеме адаптации западных идей и практик в Российской империи. М., 2008. С. 120.
- ¹⁵ Цит. по: Загребин А.Е. Финно-угорские этнографические исследования в России (XVIII – первая половина XIX в.). Ижевск, 2006. С. 114.
- ¹⁶ Георги И.Г. Описание всех в Российском государстве обитающих народов, а также их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей: В 3 ч. СПб., 1776–1777. Ч. 1. СПб., 1776. С. 26.

- ¹⁷ *Болтин И.Н.* Примечания на Историю древняя и нынешняя России г. Леклерка, сочиненная генерал-майором Иваном Болтиным: В 2 т. СПб., 1788. Т. 1. С. 158.
- ¹⁸ *Токарев С.А.* История русской этнографии (дооктябрьский период). М., 1966. С. 71–72.
- ¹⁹ *Вишленкова Е.А.* Визуальная антропология империи, или «Увидеть русского дано не каждому». М., 2008. С. 7.
- ²⁰ *Мыльников А.С.* Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Представления об этнической номинации и этничности. С. 149–150.
- ²¹ *Вульф Л.* Изобретая Восточную Европу. С. 421–440.
- ²² Там же. С. 427.
- ²³ *Георги И.Г.* Описание всех в Российском государстве обитающих народов. В 3-х ч. Ч. 1. С. 2.
- ²⁴ *Татищев В.Н.* Предложение о сочинении истории и географии Российской (1737) // *Татищев В.Н.* Избранные труды по географии России. М., 1950. С. 94–95.
- ²⁵ *Татищев В.Н.* Общее географическое описание всея Сибири (1736) // Там же. С. 70.
- ²⁶ *Татищев В.Н.* Предложение о сочинении истории // Там же.
- ²⁷ Там же. С. 95.
- ²⁸ *Татищев В.Н.* Введение к историческому и географическому описанию Великороссийской империи // Там же. С. 171–183.
- ²⁹ Второй складывался во многом по рассмотренным выше европейским образцам классификации, основанной на дихотомии «цивилизованность»/варварство (см.: *Ионов И.Н.* Цивилизационная самоидентификация как форма исторического сознания).
- ³⁰ *Володина Т.* У истоков «национальной идеи» в русской историографии // Вопросы истории. 2000. № 11–12.
- ³¹ *Семенов-Тянь-Шанский П.П.* История полувековой деятельности Императорского Русского Географического Общества. 1845–1895: В 3 т. СПб., 1896. Т. 1. Отдел 1. Гл. 1–2; подробный разбор конфликта в РГО см.: *Найт Н.* Наука, империя и народность: этнография в Русском географическом обществе. 1845–1855 // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет. Антология / Сост. П. Верт, П.С. Кабытов, А.И. Миллер. М., 2005. С. 155–198.
- ³² *Косвен М.О.* Г.-Ф. Миллер (К 250-летию со дня рождения) // Советская этнография. 1956. № 1. С. 73–75; Этнографическая программа Г.Ф. Миллера // *Элерт А.Х.* Народы Сибири в трудах Г.Ф. Миллера. Новосибирск, 1999. С. 225–226. (Важно отметить, что Миллер одним из первых не только применял, но и выделял как значимые, помимо непосредственного описания, такие методы, как: а) непосредственный опрос; б) изучение всего комплекса уже имеющихся сведений по географии, истории и языку исследуемых племен.) Подробно об этом см.: *Шипилов И.А.* К истории становления этнографии как науки в России (текст доступен по адресу: history.nsc.ru/publ/1/html/shipilov.htm).
- ³³ *Шипилов И.А.* К истории становления этнографии.

- 34 *Шишло Б.* Истоки и источники русской антропологии (этнографии): взгляд из Парижа // Российская наука о человеке. Вчера, сегодня, завтра: Материалы Международной научной конференции. СПб., 2003. С. 262.
- 35 Там же.
- 36 Там же. С. 263–264.
- 37 Там же. С. 264.
- 38 Об этом красноречиво свидетельствуют формулировки вопросника ученого. Подробный анализ взглядов Миллера см.: *Элерт А.Х.* Народы Сибири в трудах Г.Ф. Миллера.
- 39 *Шишло Б.* Истоки и источники русской антропологии... С. 263.
- 40 *Плещеев С.* Обзорение Российской империи в нынешнем ее новоустроенном состоянии. СПб., 1786. С. XVIII–XXV.
- 41 Россия или Руссия // *Максимович Л.* Новый и полный географический словарь российского государства или лексикон, описующий азбучным порядком... В 6 ч. М., 1788. Ч. IV. О–Р. С. 188–189.
- 42 Новейшая всеобщая география, содержащая в себе пространные сведения о четырех частях света, с присовокуплением обозрения Российской империи. Во граде Святого Петра, 1795. С. 27–30.
- 43 Там же. С. 27.
- 44 Повествовательное землеописание. Ч. II // Новейшее повествовательное землеописание всех четырех частей света, с присовокуплением самого древнего учения о сфере, также и начального для малолетних детей учения о землеописании Российская империя описана статистически, как никогда еще не бывало. В 5 ч. СПб., 1795 (пагинация частей отдельная).
- 45 И.Н. Болтин без малейших сомнений относит к древним обитателям России «русов», под которыми понимает финно-угорские народы, а русских относит ко второй группе – славян, которых считает потомками сарматов (см.: *Болтин И.Н.* Примечания на Историю древняя и нынешняя России г. Леклерка... Т. 1. С. 38–39). И в труде И.Г. Георги народы финского племени рассматриваются как «известные по российской истории под общим именем русов». Известна полемика между М.В. Ломоносовым и Г.Ф. Миллером относительно происхождения этнонимов «россияне», «русь» и др. (см.: *Ломоносов М.В.* Замечания на диссертацию Г.Ф. Миллера «Происхождение имени и народа российского» // *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч.: В 10 т. М.–Л., 1950–1959. Т. 6. М.–Л., 1952. С. 19–80). Анализ дискуссии и ее подробную интерпретацию в двухвековой историографии см. в работах: *Мошин В.А.* Варяго-русский вопрос // *Slavia: Casopis pro slovanskou filologii.* 1931. № X. С. 109–136; *Пешич С.Л.* Русская историография XVIII века: В 3 ч. Л., 1961–1971. Ч. II. Л., 1965. С. 225–227; *Володина Т.А.* У истоков «национальной идеи» в русской историографии; *Фомин В.В.* Ломоносов и Миллер: два подхода к решению варяжского вопроса // *История и историки: Историографический вестник.* М., 2004. С. 3–62; *Погосян Е.* Восторг историка (Ломоносов в полемике с Миллером) // *Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение.* Вып. III: К 40-летию «Тартуских изданий». Тарту, 1999. С. 30–56; *Клейн Л.С.* Спор о варягах: история противостояния и аргументы сторон. СПб., 2009.

- 46 Новейшее повествовательное землеописание... Ч. II. С. 99–100.
- 47 *Георги И.Г.* Описание всех в Российском государстве обитающих народов... О нем см.: *Дмитриев В.А.* Иоганн Готлиб Георги и его книга «Описание всех в Российском государстве обитающих народов» // *Георги И.Г.* Описание всех обитающих в Российском государстве народов, их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей. Издание 1799 г.: В 4 ч. / Предисл. и прим. В.А. Дмитриева. СПб., 2005 (текст доступен по адресу: <http://www.rusimfonia.ru/dmitriev.html>).
- 48 *Дмитриев В.А.* Иоганн Готлиб Георги и его книга...
- 49 *Вишленкова Е.А.* Визуальная антропология империи... С. 36.
- 50 *Ширле И.* Учение о духе и характере народов... С. 120–122.
- 51 Этнография // Свод этнографических понятий и терминов. Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы. Вып. 2. М., 1988. С. 22.
- 52 *Асоян Ю., Малафеев А.* Открытие идеи культуры. Опыт русской культурологии середины XIX – начала XX в. М., 2000. С. 296; *Фермойлен Х.Ф.* Происхождение и институционализация понятия *Völkerkunde* (1771–1843). Возникновение и развитие понятий «*Völkerkunde*», «*Ethnographie*», «*Volkskunde*» и «*Ethnologie*» в конце XVIII и начале XIX веков в Европе и США // Этнографическое обозрение. 1994. № 4. С. 101–109.
- 53 Этнография. С. 22. Об употреблении термина «этнография» в русском языке: *Токарев С.А.* История русской этнографии... С. 185.
- 54 *Болтин И.Н.* Примечания на историю древняя и нынешняя России г. Леклерка. Т. 1. С. 5–11.
- 55 Там же. С. 11.
- 56 Там же. С. 9.
- 57 Географическое методическое описание Российской империи, с надлежащим введением к основательному познанию земного шара и Европы вообще, для наставления обучающегося при Императорском Московском университете из лучших новейших и достоверных писателей, собранное Х. Чеботаревым. М., 1776. С. 48–49.
- 58 *Фонвизин Д.И.* Несколько вопросов, могущих возбудить в умных и честных людях особенное внимание // *Фонвизин Д.И.* Собр. соч.: В 2 т. М.–Л., 1959. Т. 2. С. 275.
- 59 Подробнее см.: *Богданов К.* Климатология русской культуры. Prolegomena // Новое литературное обозрение. 2009. № 99 (текст доступен по адресу: <http://magazines.russ.ru/nlo/2009/99/bo7.html>).
- 60 Дорожная география, содержащая описание во всех в свете государствах, о их качестве, климате, нравах или обычаях их жителей, столичных городах, расстоянии их от Парижа и пр. / Пер. с фр. М., 1788. С. 111. (Два издания – М., 1765; М., 1788.)
- 61 *Вишленкова Е.Н.* Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому». С. 314, сноска 134.

- ⁶² *Погосян Е.* Русь и Россия в исторических сочинениях 1730–1780 гг. // *Россия/Russia*. Вып. 3 (11). Культурные практики в идеологической перспективе. М., 1999. С. 7–19; *Трубачев О.Н.* Русский–российский. История, динамика, идеология двух атрибутов нации // *Трубачев О.Н.* В поисках единства. Взгляд филолога на проблему истоков Руси. М., 2005. С. 225–236.
- ⁶³ Об эволюции данной дискуссии в историографии в российской историографии XIX в. см., в частности: *Каменский А.Б.* Ломоносов и Миллер: два взгляда на историю // *Ломоносов: Сб. статей и материалов*. М.–Л., 1940. Т. 9. СПб., 1991. С. 39–48; *Мыльников А.С.* Славянская тема в трудах Татищева и Ломоносова. Опыт сравнительной характеристики // Там же; *Фомин В.В.* Ломоносов и Миллер...; *Антипин Л.Н.* Норманнская теория и борьба Ломоносова с норманистами // «Для пользы общества сколь радостно трудиться...». К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. М., 2010. С. 46–77; *Лобанов Н.А.* М.В. Ломоносов – первый российский историк права. Взгляды ученого на происхождение и сущность древнерусского государства // *Вестник Ленинградского гос. ун-та им. А.С. Пушкина*. 2012. Т. 4. № 2. С. 76–84; *Каменский А.Б.* Подданство, лояльность, патриотизм в имперском дискурсе России XVIII в.: исследовательские проблемы. Препринт. М., 2007. С. 31–41; *Маловичко С.И.* М.В. Ломоносов и Г.Ф. Миллер: спор разных историографических культур // *Ейдос: альманах теорії та історії історичної науки*. Київ, 2009. Вип. 4. С. 331–354; *Каменский А.Б.* У истоков исторической науки в России: Миллер // *Историческая культура императорской России: формирование представлений о прошлом*. М., 2012. С. 20–33.
- ⁶⁴ *Вишленкова Е.А.* Визуальная антропология... С. 39.
- ⁶⁵ *Погосян Е.* Русь и Россия; *Трубачев О.Н.* Русский–российский; *Каменский А.Б.* Подданство, лояльность, патриотизм; *Мартин А.* Изображение «русскости» в конце XVIII – начале XIX в. // *Ab Imperio*. 2003. № 3. С. 119–134.
- ⁶⁶ *Слѣзкин Ю.* Естествоиспытатели и нации: русские ученые XVIII века и проблема этнического многообразия // *Российская империя в зарубежной историографии*. С. 144.
- ⁶⁷ Антона Фридерика Бишинга из сокращенной его географии три главы о географии вообще, о Европе и о Российской империи / Переведено с нем. на русский язык Иваном Долинским. М., 1766. С. 35.
- ⁶⁸ *Татищев В.Н.* История российская: В 2 ч. М.; Л., 1962. Т. 1. С. 351–359.
- ⁶⁹ *Татищев В.Н.* Введение к гисторическому и географическому описанию... С. 144.
- ⁷⁰ *Татищев В.Н.* Руссия или как ныне зовут, Россия // *Татищев В.Н.* Избранные труды по географии России. С. 115–119.
- ⁷¹ *Татищев В.Н.* Белая Россия / *Татищев В.Н.* Лексикон российский, исторический, географический, политический и гражданской // *Татищев В.Н.* Собр. соч.: В 8 т. Т. VII и XVIII (пагинация в одной книге общая). М., 1996. С. 183.
- ⁷² Там же.
- ⁷³ *Татищев В.Н.* Руссия или как ныне зовут, Россия. С. 111.
- ⁷⁴ Там же. С. 108–109.

- 75 *Татищев В.Н.* Лексикон российский, исторический, географический, политический и гражданской. С. 206.
- 76 Там же.
- 77 *Татищев В.Н.* Введение к гисторическому и географическому описанию...
- 78 *Татищев В.Н.* Руссия или как ныне зовут, Россия. С. 116–118.
- 79 Там же. С. 116–119.
- 80 *Татищев В.Н.* Введение к гисторическому и географическому описанию... С. 147.
- 81 *Татищев В.Н.* Руссия или как ныне зовут, Россия. С. 110.
- 82 *Татищев В.Н.* Введение к гисторическому и географическому описанию... С. 145.
- 83 *Татищев В.Н.* Руссия или как ныне зовут, Россия. С. 108.
- 84 *Мыльников А.С.* Русские // Картина славянского мира. Взгляд из Восточной Европы. Представления об этнической номинации и этничности XVI–XVIII вв. Гл. 2; *Климов И.П.* Происхождение составной хоронимики Руси (Белая, Черная, Красная; Великая, Малая Русь) // Белоруссия и Украина: история и культура. Вып. 4. М., 2011. С. 29–82. Появление и трансформации значений хоронима и его картографического соответствия см., в частности: *Иванов В.В.* Цветовая символика в географических названиях в свете данных типологии (К названию Белоруссии) // Балто-славянские исследования. 1980. М., 1981. С. 163–177; *Никонов В.А.* Этнонимия // Этнонимы. М., 1970. С. 20–25; *Седов В.В.* Древнерусская народность: Историко-археологическое исследование. М., 1999; *Пилипенко М.Ф.* Возникновение Белоруссии: новая концепция. Минск, 1991; *Ширяев Е.Е.* Беларусь: Русь Белая, Русь Черная и Литва в картах. Минск, 1991; *Мыльников А.С.* Русские; *Белы А.* Хроніка Белаі Русі: Нарыс гісторыі адной геаграфічнай назвы. Мінск, 2000; *Трубачев О.Н.* Этногенез и культура древнейших славян: Лингвистические исследования. М., 2003; *Русские* // *Агеева Р.А.* Какого мы роду-племени? Народы России: имена и судьбы: Словарь-справочник. М., 2000. С. 263–271. Более полную библиографию вопроса см. в: *Климов И.П.* Происхождение составной хоронимики Руси.
- 85 *Татищев В.Н.* Введение к гисторическому и географическому описанию... С. 171.
- 86 Там же.
- 87 Там же. С. 181.
- 88 *Татищев В.Н.* Глава XXX. Русь, Рутены, Роксания, Роксалия и Россия // *Татищев В.Н.* История российская. Т. 1. С. 287.
- 89 *Герберштейн С.* Записки о Московии. М., 1988. С. 57–58.
- 90 *Пеитич С.Л.* Русская историография XVIII в.: В 3 ч. Л., 1961–1971. Ч. 2. Л., 1965. С. 58, 79, 140). См. подробнее новейшее исследование: *Толочко А.* «История Российская» Василия Татищева: источники и известия. М., 2005. О Татищевской истории см. также: *Эткинд А.* Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. М., 2013. Гл. 3. В погоне за Рюриком.
- 91 *Пеитич С.Л.* Русская историография XVIII в. Ч. 2. С. 241; *Климов И.П.* Происхождение составной хоронимики Руси. С. 44.

- ⁹² *Татищев В.Н.* Руссия или как ныне зовут, Россия. С. 109.
- ⁹³ *Болтин И.Н.* Примечания на историю древняя и нынешняя России г. Леклерка. Т. 1. С. 26.
- ⁹⁴ Там же. С. 26–27.
- ⁹⁵ Там же. С. 29.
- ⁹⁶ Там же. С. 43.
- ⁹⁷ Там же. С. 50.
- ⁹⁸ *Ломоносов М.В.* Замечания на диссертацию... С. 49.
- ⁹⁹ Там же. С. 43.
- ¹⁰⁰ Цит. по: *Пешич С.Л.* Русская историография XVIII в. Ч. 2. С. 225.
- ¹⁰¹ *Ломоносов М.В.* Древняя российская история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого // *Ломоносов М.В.* Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 6. М.–Л., 1952. С. 159.
- ¹⁰² *Ломоносов М.В.* Замечания на диссертацию... С. 22.
- ¹⁰³ Там же. С. 36, 49.
- ¹⁰⁴ *Ломоносов М.В.* Древняя российская история... С. 174, 207.
- ¹⁰⁵ См., например: *Ломоносов М.В.* Краткой российской летописец с родословием. СПб., 1760. С. 27–35.
- ¹⁰⁶ Там же. С. 29.
- ¹⁰⁷ *Ломоносов М.В.* Древняя российская история... С. 337.
- ¹⁰⁸ *Ломоносов М.В.* Краткой российской летописец с родословием. С. 6.
- ¹⁰⁹ *Ломоносов М.В.* Замечания на диссертацию. С. 36.
- ¹¹⁰ И в труде И.Г. Георги народы финского племени рассматриваются как «известные по российской истории под общим именем руссов». Анализ дискуссии и ее подробную интерпретацию в двухвековой историографии см. в новейших работах: *Хлевов А.А.* Норманнская проблема в отечественной исторической науке. СПб., 1997; *Джаксон Т.Н.* Четыре норвежских конунга на Руси. М., 2000; *Володина Т.А.* У истоков «национальной идеи» в русской историографии // Вопросы истории. 2000. № 11–12; *Фомин В.В.* Ломоносов и Миллер; *Клейн Л.С.* Спор о варягах. СПб., 2009; *Соболь В.* «Кому от чужих, а нам от своих»: призвание варягов в русской литературе конца XVIII века // Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России / Под ред. А. Эткинда, Д. Уффельманна, И. Кукулина. М., 2012. С. 186–215.
- ¹¹¹ *Ломоносов М.В.* Краткой российской летописец. С. 1.
- ¹¹² Там же. С. 7.
- ¹¹³ Там же. С. 1.
- ¹¹⁴ Там же. С. 5–6.
- ¹¹⁵ *Ломоносов М.В.* Древняя российская история. С. 174.
- ¹¹⁶ *Щербатов М.* История Российская от древнейших времен: В 7 т. СПб., 1770–1791. Т. I. СПб., 1770. С. III–V.
- ¹¹⁷ Там же.
- ¹¹⁸ *Погосян Е.* Русь и Россия... С. 16.
- ¹¹⁹ Россия или Руссия // *Полунин Ф.А.* Географический лексикон Российского государства, или Словарь, описующий... по азбучному порядку... из достопамят-

- ных известий собранный Ф. Полуниным, изданными трудами и с предисловием Г.Ф. Миллера. М., 1773. С. 276.
- ¹²⁰ Там же.
- ¹²¹ В частности, об этом Миллер упоминает и в своей интерпретации названия «Малая Россия» (ее земли он определяет как бывшие «в старые времена» в великом княжении Российской империи), признавая Малую Россию именем, которым обозначали ее поляки (воспринятым русским князем; его Г.Ф. Миллер ошибочно именует Иваном Васильевичем I) Именно от них оно распространилось позже в Великой России (см.: *Миллер Г.Ф.* О малороссийском народе и запорожцах // *Миллер Г.Ф.* Исторические сочинения о Малороссии и малороссиянах. М., 1847. С. 2).
- ¹²² Россия или Руссия // *Полунин Ф.А.* Географический лексикон... С. 277.
- ¹²³ Там же.
- ¹²⁴ Там же. С. 279–280.
- ¹²⁵ Россия или Руссия, по-старинному Русь // *Максимович Л.М.* Новый и полный географический словарь российского государства или лексикон...: В 6 ч. М., 1788–1789. Ч. IV. О–Р. М., 1788. С. 172–189.
- ¹²⁶ Там же. С. 188.
- ¹²⁷ Россия // *Щекатов А., Максимович Л.* Словарь географический Российского государства, описывающий азбучным порядком географически, топографически, гидрографически, физически, исторически, политически, хронологически, генеалогически и геральдически все губернии, города и уезды и т.д.: В 7 ч. М., 1801–1809. Ч. 1. М., 1801. Стлб. 78–83.
- ¹²⁸ [*Щекатов А.М.*] Картина России, изображающая историю и географию хронологически, генеалогически и статистически, с включением обозрения по духовной, военной и гражданской ее частям, как в первобытном ее состоянии, так и в царствование государя императора Александра I. М., 1807. С. 7–14.
- ¹²⁹ *Чеботарев Х.А.* Краткая география Российской империи // Календарь или Месяцеслов географический на 1767 г. СПб., 1767. С. 95.
- ¹³⁰ *Чеботарев Х.А.* Географическое методическое описание Российской империи, с надлежащим введением к основательному познанию земного шара и Европы вообще... М., 1776. Гл. III.
- ¹³¹ *Чеботарев Х.А.* Краткая география... С. 102.
- ¹³² *Чеботарев Х.А.* Географическое методическое описание... С. 95–104.
- ¹³³ *Чеботарев Х.А.* Краткая география... С. 125.
- ¹³⁴ Там же.
- ¹³⁵ *Погосян Е.* Русь и Россия... С. 17–18.
- ¹³⁶ Цит. по: Там же. С. 17.
- ¹³⁷ Там же. С. 19.
- ¹³⁸ Там же.
- ¹³⁹ Новейшее повествовательное землеописание всех четырех частей света...
- ¹⁴⁰ Там же. Ч. II. С. 27.
- ¹⁴¹ Там же. Ч. I. С. 6.
- ¹⁴² Там же. С. 7–8.

- 143 Там же. Ч. II. С. 123.
- 144 Там же. С. 99.
- 145 Там же. С. 17.
- 146 Там же. С. 100.
- 147 Там же.
- 148 Там же.
- 149 Там же. С. 101.
- 150 Там же. С. 108.
- 151 Там же. С. 129.
- 152 Там же. С. 130.
- 153 *Карамзин Н.М.* История государства Российского: В 12 т. Т. 6. Гл. 7.
- 154 *Дмитриев В.А.* Иоганн Готлиб Георги...
- 155 *Георги И.Г.* Описание всех народов. В 3 ч. Ч. 1. С. 38.
- 156 Предупреждение // Там же. Ч. 1. С. XIV.
- 157 *Ломоносов М.В.* Замечания на диссертацию. С. 20–29.
- 158 Россия или Руссия // *Максимович Л.М.* Новый и полный географический словарь... Ч. IV. С. 188.
- 159 *Плещеев С.* Обзорение Российской империи... С. XVIII.
- 160 Новейшая всеобщая география... С. 27. Здесь помимо россиян и поляков к славянам Российской империи отнесены также сербы, болгары и литва как «смесь славян и финнов».
- 161 Позорище странных и смешных обрядов при бракосочетаниях разных чужеземных и в России обитающих народов и притом нечто для холостых и женатых. СПб., 1797.
- 162 Великороссияне // Там же. С. 239–250.
- 163 Россияны // *Георги И.Г.* Описание всех народов: В 4 ч. Ч. 4. С. 74–196.
- 164 Там же. С. 74.
- 165 Там же. С. 75.
- 166 Там же. С. 76.
- 167 Там же. С. 83.
- 168 Там же.
- 169 Там же. С. 83–84.
- 170 Там же. С. 85.
- 171 Там же. С. 93–94.
- 172 *Яковенко Н.* Вибір імені versus вибір шляху: назви української території між кінцем XVI – кінцем XVII століття // *Яковенко Н.* Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – початку XVIII століття. Київ, ММVII. С. 9–43; *Boeck B.* What is a name? Semantic separation and the Rise of the Ukrainian National Name // *Harvard Ukrainian Studies. Vol. 27. Cambridge, 2004–2005. № 1/4. P. 33–65; Plokhy S.* Ruthenia, Little Russia, Ukraine // *Plokhy S.* The Origin of the Slavic Nations: Premodern Identities in Russia, Ukraine and Belarus. Cambridge, 2006; *Котенко А.Л., Мартынюк О.В., Миллер А.И.* Малоросс // «Понятия о России». К исторической семантике имперского периода / Под ред. А. Миллера, Д. Сдвижкова, И. Ширле. М.; НЛЮ, 2012. Т. II. С. 392–400, и др.

¹⁷³ Великороссиянин // Словарь русского языка XVIII в. Вып. 3 (Вен–Воздувать). Л., 1987. С. 20. Совсем иные значения наименований «великороссиянин»/«великороссияне», а также «россияне»/«россияне», «российский» просматриваются в известных трудах второй половины XVIII в., посвященных истории Малороссии и казачества, как, например, в сочинениях Г.Ф. Миллера, А. Ригельмана и П.И. Симоновского (см.: *Миллер Г.Ф.* О малороссийском народе и запорожцах // *Миллер Г.Ф.* Исторические сочинения о Малороссии и малороссиянах. М., 1847. С. 1–23; *Ригельман А.* Летописное повествование о Малой России и ее народе и козаках вообще ... чрез труды 1785–86 годов. М., 1847; *Симоновский П.И.* Краткое описание о казачком малороссийском народе и о военных его делах // Чтения общества истории и древностей российских при Императорском Московском университете. Год третий (1847). № 2. Отдел II. С. 1–159), которые, как кажется, вообще не учитывались авторами словаря.

Глава 2

Пространственные пределы и этнонимические вариации. Имя и локус

Параграф 1 Великая Россия. Границы и дефиниции

*Географическая номенклатура и единицы
территориального деления в конце XVIII – XIX века.
Попытки структурирования*

География и статистика начиная с XVIII в. развивались рука об руку (основной причиной тому была практическая значимость обеих), в их неразрывном единстве осуществлялась каталогизация и изучение природных (почва, флора, фауна, водные ресурсы), хозяйственно-экономических и человеческих ресурсов государств и регионов. Такие исследования подразумевали в первую очередь собирание всего комплекса фактов и сведений, касающихся областей пространства. Описательной географии противопоставлялась сравнительная, которая занималась закономерностями и влиянием природных условий на человеческое общество. Сочинения этого рода непременно содержали краткие данные по истории региона и этнографии населяющих его народов и племен, а также материалы по статистике в узком смысле слова. Это был анализ актуальных видов и форм сельскохозяйственной и промышленной деятельности, содержащий данные об объемах производства и потребления¹. «Статистика, – писал в 1837 г. Н.А. Иванов, – есть наука о современном состоянии государств, выражающемся в полном проявлении их внутренней и внешней жизни... Статистика – наука самостоятельная, география, история и политическая экономия суть ее пособие»². Он помещал в «предмет статистики» сведения о земле, о народе (численность, сословные, податные и этнические группы), о народной образованности, а также виды и традиции «правления и управления»³. Поэтому статистика в широком смысле включала в себя данные о политическом устройстве (традиционном и современном); важной их частью оказывалась информация о внешности, «об обыкновениях», нравах жителей разных сословий и занятий, которые были не менее важны, чем этнический, сословный и конфессиональный состав населения. Она представлялась

показателем взаимодействия природы и человека, «обусловленных более им самим, его нравственной организацией»⁴.

Наиболее удобной на практике условной единицей географического описания в России были сначала элементы административного деления, которыми со времен Петра I являлись губернии. Такой выбор был очевиден, поскольку главным «заказчиком» сбора сведений выступало государство. Однако принципы выделения губерний, критерии определения их границ и даже их наименования на протяжении XVIII–XIX вв. постоянно менялись. Тем не менее вплоть до середины XIX столетия географо-статистические описания осуществлялись именно по губерниям или их группам⁵, что не исключало также важного для географов описания территории государства по речным бассейнам. Эти два вида деления соперничали друг с другом, однако преобладало все же первое. Для обозначения самой малой единицы пространства, обладающей естественными границами и определенной хозяйственно-культурной спецификой, использовалось понятие «местность», четкое значение которого определено не было. Оно обозначало природно-культурный ареал, меньший, чем область (регион), но больший, нежели отдельный населенный пункт. Принципы выделения «местностей» ближе всего к процедуре фиксации типичного «ландшафта», введенной позднее, в 1840-е гг., К. Риттером. Для этнографических исследований ведущим последствием такого членения пространства стало обозначение не всегда однородной в этническом отношении общности, связанное с локусом небольшой этнокультурной группы, непременно находящейся в исторической и экономической зависимости от своеобразия климатических и социально-исторических условий. В размышлениях 1830-х – 1840-х гг. о категории народности понятие «местность» активно использовалось для пояснения исторических, языковых и культурных границ народов и племен⁶.

В административной структуре Российской империи состав и статус губерний варьировались в зависимости от формальных изменений, а с развитием представлений о значимости экономических факторов все большее влияние на членение областей Империи оказывали опыты районирования⁷ по хозяйственно-промышленным зонам. Если в первых географических обзорах Империи (1807, 1810, 1818) Е.Ф. Зябловского губернии различались только в зависимости от формы управления («по общему положению» и «на особых правах»)⁸, то К.И. Арсеньев в «Начертании статистики Российского государства» (1818–1819)⁹, описывая административное деление России с начала XVIII в. до 1810-х гг., помимо 55 губерний и пяти областей¹⁰ выделял десять не совпадающих с ними «пространств» – на основании сходства некоторых губерний между собой по климату, качеству земли, «произведениям природы» и по «промышленности жителей».

Географ Л.П. Весин, анализируя учебники по географии России 1820-х – 1870-х гг., ошибочно полагал, что представленное в них районирование есть просто удобная для учащихся «группировка губерний»¹¹, восходящая еще к географическим текстам на русском языке начала XVIII в. Для примера он приводил хорошо известные описания иностранцами Московии и Российской империи, в которых, разумеется, упоминались составные части государства (например, Татария, Московия, Лапландия). Но речь шла не только о дидактике (хотя в первых описаниях географии Российской империи действительно использовались как исторические топонимы, так и новая номенклатура). Подход к пространству государства как к совокупности различных историко-географических комплексов, к тому же включаемых в его состав на разных исторических этапах именно в таком виде, имел научную и идеологическую подоплеку: богатство и разнообразие этих элементов нуждались в упорядочении с целью реализации таксономических и политических задач.

После К.И. Арсеньева предлагалось объединять губернии в более крупные единицы, распределив их по местоположению относительно великорусского «центра» (И.Я. Павловский¹²), климатическим поясам (Л.М. Соколовский¹³) – по «странам» (т.е. природным зонам): лесной, мануфактурной, горнозаводской, успешного хлебопашества и степной (А.Г. Ободовский¹⁴). Разумеется, свой (географический) принцип объединения губерний в группы был предложен и военными статистиками Генерального штаба¹⁵. В статистических сведениях о России на 1837 г. Европейская Россия разделена на шесть групп губерний (без Царства Польского и Великого Княжества Финляндского), Азиатская – на девять¹⁶; в учебнике 1843 г. также рассмотрено шесть пространственных элементов Европейской России, но сгруппированных на иных принципах¹⁷. В учебнике Е.А. Лебедева губернии европейской части России объединены в «пространства» (северное, прибалтийское, низменное, центральное, черноземное и степное)¹⁸. Советский исследователь Н.П. Никитин подсчитал, что с 1800 по 1861 г. было реализовано не менее 15 попыток разделения страны на районы – причем критериями их выделения были как географо-климатический, так и экономический и ресурсный факторы¹⁹. Очевидна нечеткость принципов классификации: использованы критерии местоположения относительно центра и периферии и отнесение к географо-климатическим зонам. В 1870-х – 1880-х гг. все более распространяется «землеведческое» деление России по водным бассейнам, которое приводит уже к полному несовпадению с административной номенклатурой²⁰.

Начиная с 1870-х гг. важное значение в процессе районирования приобрели именно географические, а затем и экономические

факторы²¹. Способом выделения новых территориальных анклавов стало прежде всего соответствие их «естественным границам». П.П. Семенов-Тянь-Шанский предложил новый принцип членения пространства Империи: в «Статистическом временнике» (1866)²² он разделил Европейскую Россию (вместе с Финляндией, Царством Польским и Кавказом) на 14 «естественных областей», составленных не из губерний, а из уездов. Главным фактором для него стали географо-климатические особенности. Впрочем, в 1880-х гг. он дополнил этот принцип классификации еще одним уровнем. С учетом экономического развития регионов это привело к новому структурированию Европейской России на 49 губерний и 12 областей²³. Пространство Империи в масштабном научном описании, также осуществленном по инициативе П.П. Семенова, – «Географо-статистическом словаре Российской Империи»²⁴ – представлено как совокупность различных регионов, с разнообразием ландшафта, климата и народного быта.

Показательными в этом отношении можно считать принципы географо-этнографических описаний Империи по областям, которые выбирались для учебной литературы. Например, структура хрестоматии по отечествоведению (т.е. по географии России) была определена ее составителем Д.Д. Семеновым на основании географо-административного деления государства на 11 условных частей. Наиболее непоследовательным было обозначение и районирование «окраин» – но не западных, а южных и восточных. Аналогичное серийное издание «для народа», призванное дать представление об Отечестве как мозаике различных областей, предлагало обзор 12 регионов²⁵.

Географическая номенклатура в процессе становления, находясь в зависимости от развития географической и экономико-статистических дисциплин, почти не коррелировала с этническими классификациями. Однако осуществлявшиеся в рамках Императорского Русского Географического Общества (ИРГО) этнографические исследования как формально, так и теоретически зависели от структурирования пространства, фиксировавшего границы регионов и даже местностей, что особенно сказывалось на идентификации этнокультурных общностей и их границ. Политическая география второй половины XIX в., занимаясь районированием, активно конструировала не только границы регионов, но и их этнокультурное и социальное «содержание». Наиболее характерным примером можно считать способы пересмотра границ Западного края в связи с «польским вопросом»: этот пересмотр осуществлялся с использованием географической, этнографической и исторической риторики²⁶. Важна также еще одна тенденция: детализация политической и географической карт реализовывалась с целью

освоения как физического, так и культурного пространства. Провозглашенная учеными взаимосвязь народа (этнической группы) и ландшафта («местности») означала, что их взаимное «закрепление» одного за другим приводило на практике к своеобразной легитимации: общность получала символическое право «обладания» пространством, которое «приписывалось» ей на основании таксономических процедур.

Со второй трети столетия, с включением в состав государства новых территорий, росло число не только губерний (преобразовывавшихся, переименованных и менявших свои границы) – на административной карте появлялись новые элементы номенклатуры: области, края, округа, автономии, границы которых никак не соотносились с губернскими (или же эти единицы существовали наряду с губерниями). Ученые различных специальностей участвовали в комплексных экспедициях, им во многом удалось решить проблему постоянных изменений в системе крупных территориальных единиц Империи. Основанное не на реально существующих «естественных» образованиях, а на умозрительных принципах, членение регионов и областей меняло представления о «местностях» (к тому времени уже называвшихся «ландшафтами») и, как следствие, о локальных этнокультурных группах и влияло на способы этнографического описания, осуществляемого по географо-политическим зонам, что зачастую мешало идентифицировать объект исследований.

Состав группы губерний, именуемых великорусскими, не был четко определен, хотя их жители, без сомнения относимые авторами к славянскому племени, наблюдатели и описатели зачастую отождествляли только с великорусами. Перечень входящих в Великороссию административных единиц постоянно менялся; статистики и географы спорили между собой об исторических и географических способах выделения региона «Великая Русь»; еще больше дискуссий вызывали принципы определения его границ. Проблема заключалась в том, что появившиеся в XVII в. «книжные» топонимы «Малая», «Великая» и «Белая Русь» начиная с XVIII столетия рассматривались в новом контексте – как этнотерриториальные ареалы. С развитием этнографии они переосмысливались как историческое и этнографическое пространства великорусов, малорусов и белорусов. Поэтому область «великорусских губерний» представляла собой не просто одну из административных единиц пространства Империи; ее границы очерчивали пределы государствообразующего этноса в целом и русскости в частности. Задачи такого масштаба стояли перед всеми европейскими нациями, но «российские трудности были более основательными: большая часть “священной” земли Русской состояла из окраин»²⁷.

На начальной стадии этнографических исследований для определения великорусов как объекта описания зачастую было важно (иногда и достаточно) отнести ареал проживания изучаемой общности к великорусскому региону. При этом административное деление лишь в последнюю очередь учитывало этнический состав населения.

*Территория Великой России
в первой половине XIX века*

В XIX столетии одним из первых исследователей, зафиксировавших область дефиниций термина и его бытование в научной литературе, стал Н.И. Надеждин. В работах 1840-х – 1850-х гг., посвященных этногеографической номенклатуре Российской империи, он подробно рассмотрел происхождение понятия «Великая Россия». Н.И. Надеждин не был оригинален в своих построениях – он следовал за теми отечественными географами конца XVIII в., которые отождествляли Великую Россию с северо-восточными областями Европейской России с Владимирско-Московским центром. Но заслугой Надеждина стало максимально полное освещение всех наиболее важных публикаций и анализ состояния исследований по данному вопросу к концу 1830-х гг. Кроме того, он первым четко разделит историческое, географическое и этнографическое значения термина.

В энциклопедической статье 1837 г. о Великой России (к которой мы обратимся еще не раз) Н.И. Надеждин обозначил «узкое» (ядро) и «широкое» (ареалы) понимание данного региона, наименование которого он считал возможным использовать не только для обозначения историко-географической области России, но и в качестве административно-структурной единицы²⁸. Надеждин соглашался с предшественниками в том, что термин появился относительно недавно, «не ранее половины XVI в.»²⁹. Первое упоминание топонима «всёя Великия России» он, как и предыдущие исследователи, относит к тексту «Апостола» (1556) и чину венчания на престол царя Федора Иоанновича. Надеждин обращает внимание на то, что, несмотря на упоминание в этих источниках, термин не использовался ни в каких иных письменных актах и документах XVI в. и был заимствован из византийских источников, обозначавших различие между Малой и Великой Русью (Руссией, позже Россией) по аналогии с Малой и Великой Грецией как землями метрополии и колонии. Он настаивал на «искусственном», т.е. «ученом», происхождении понятия, созданного духовенством, которое вначале не придавало ему значения политонима, а использовало в качестве риторической формулы прославления Российского

государства и правителя³⁰. Н.И. Надеждин указывает, что наименование «Россия/Росия» пришло на смену «Руси/Русии» именно по инициативе «книжников» не ранее XVI в. Первое употребление словосочетания «Великая Россия» как политонима («в частном политическом смысле», как определяет Н.И. Надеждин) связывается с Богданом Хмельницким (донесение гетмана о присяге войска Запорожского на верность Алексею Михайловичу 1654 г.), который использовал его для отличия от Малой Руси/Малой России (так именовалась «юго-западная часть земли русской»).

Определение «Малая Русь/Малая Россия» автор статьи соотносит с наименованием земель Галицкого королевства и первое его употребление находит в тексте грамоты Юрия Галицкого (1335), считая при этом, что оно использовано для отграничения его от другой, территориально преобладающей – т.е. Великой – части русских земель. Поэтому автор особенно подчеркивает, что понятие «Великая Россия» «не имеет ходу в народе, а остается... книжным»³¹. В качестве аргумента Надеждин указывает на традиции словоупотребления: «... до сих пор не говорится и не пишется “Великая Русь”, “великорусы” и “великорусский”, но “Великая Россия”, “великороссияне”, “великороссийский”»³².

Границы Великой России Н.И. Надеждин определял и описательно, видя в ней «важнейшую часть, сердце Российской империи»³³. «Географическое значение» понятия он, как и предшественники, связывал с политической историей – с владениями, унаследованными царем Алексеем Михайловичем под именем Московского государства. Однако это не означало, что автор отождествлял Московское государство XVII в. с Великой Россией. Анализируя этапы расширения Великой России в процессе присоединения к ней новых земель, Надеждин последовательно рассмотрел изменения пределов региона в истории. По его мнению, «первая» Великая Россия объединяла земли Московского государства «до междучарствия» («...к западу простираясь до Копорья, Великих Лук и Чернигова, к югу до Путивля, Раздоров и Астрахани. Нарва, Динабург, Витебск, Могилев, Ромен, Полтава, Азов были соседние зарубежные города»³⁴). При царе Алексее Михайловиче она включила в себя земли обоих берегов Верхнего Днепра всю Десну, до Вилии и Южного Буга.

Наиболее серьезное противоречие позиции Н.И. Надеждина – различие «Великой России» и современных «великороссийских губерний». Совершая этот не совсем корректный с исторической точки зрения перенос, Надеждин описывал его так: «...должно отнести к составу ее кроме Сибири все губернии нынешней Российской империи, расположенные по водам Северной Двины, Волги и Дона, включительно с бассейнами Ильменя, Ладоги и Онеги, которые все

действительно называются “великороссийскими”»³⁵. С другой стороны, он указывал, что в состав этих губерний не входят регионы, принадлежавшие пространству Великой России на раннем этапе истории: так, Надеждин исключает Кавказскую область и Землю (позже – Область) Войска Донского. Народ, по его словам, отождествляет территории Великой России с понятием «Россия».

При этом Надеждин замечал, что подобное определение границ Великой России «совершенно произвольно» и далеко не отражает точного исторического и географического наполнения понятия. Он подчеркивал, что географические границы Великороссии также не подлежат точной фиксации, поскольку отдельные территории располагаются в азиатской части, да и природное разнообразие не дает возможности ограничить пространство Великой России природно-ландшафтными зонами.

Второе определение ученый осуществляет через соотношение с административным делением Российской империи, которое претерпевало изменения. По петровскому «гражданскому разделению», северные области Империи со столицей Санкт-Петербургом и новгородскими землями включались в состав «Великороссийской генерал-губернии» (в то время как Белорусской генерал-губернией – в соответствии с бытовавшими вплоть до середины XVIII в. представлениями о тождественности Белой и Московской Руси – именовались центральные регионы вокруг Москвы и Смоленск)³⁶. Надеждин считал более корректным ограничить великороссийские губернии границами Московского княжения 1462 г. (т.е. до восшествия на престол Ивана III), – такое пространство, по мнению ученого, следует определить как *узкий состав* или *центр* великорусской области³⁷. В этом смысле можно говорить о *ядре* Великой России, поскольку уже в конце правления Василия III (1533) под его властью объединились земли Северо-Восточной и Северо-Западной Руси, увеличив территорию государства почти вдвое.

Настаивая на обоснованности отождествления территории Великой России с десятью современными ему губерниями (Московской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской, Костромской, Псковской и Новгородской), Н.И. Надеждин полагал, что на карте эти земли имеют вид своеобразного четырехугольника, «углы» которого составляют Курск, Псков, Каргополь, Вятка. Таким образом в составе Великой России оказывались также территории, вошедшие в Московское царство после 1462 г.³⁸, т.е. ученый предлагал более широкое толкование термина.

В этом перечне важно отметить соединение двух исторических областей – Северо-Западной (Новгород и Псков) и Северо-Восточной Руси (земли, входившие в состав Владимиро-Суздальского княжества). Наиболее важным критерием включения в Велико-

россию оставалась политическая значимость данных территорий: там протекали процессы государствообразования и консолидации различных земель на разных исторических этапах. При этом Н.И. Надеждин даже не упоминает о татищевской версии Белой Руси как Руси Северо-Восточной; для него представляется бесспорным тезис о том, что Московская Русь – это и есть Великая Россия. Кроме того, в надеждинском перечне упомянуты более дальние (от исторического центра Северо-Восточной Руси) губернии, представляющие собой концентрическую окружность вокруг исторического ядра-центра. Таких губерний тоже десять: Санкт-Петербургская, Олонецкая, Вологодская, Вятская, Нижегородская, Тамбовская, Воронежская, Курская, Орловская и Смоленская. Критерием выделения «первичного» и «вторичного» кругов является, как видим, историко-политический фактор – этапы вхождения в единый государственный организм новых территорий Европейской России до раннеимперского периода включительно. Таким образом, можно констатировать, что наиболее релевантными для Надеждина стали политико-исторические критерии. Иначе говоря, великороссийские земли находились в центре процессов государствообразования в Европейской России.

Наиболее сложный вопрос – о том, какие губернии Российской империи первой четверти XIX в. представляются «великоросскими» в точном, административном смысле, – Надеждин оставил без ответа, поскольку, повторим, не придавал ему значения, считая его «совершенно произвольным»³⁹. Между тем неразрешенность данного вопроса создает определенные трудности: ведь административное губернское деление в конце XVIII – начале XIX в. постоянно менялось. При Екатерине (1775–1785) были созданы 40 наместничеств (позже переименованных в губернии) и две области⁴⁰. Именно тогда выделились единицы разделения имперского пространства, которые затем были соотнесены с номинациями 25 губерний: Московской, Смоленской, Тверской, Псковской, Новгородской, Калужской, Ярославской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Костромской, Орловской, Курской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Вологодской, Пензенской, Вятской, Казанской, Симбирской, Астраханской, Саратовской, Олонецкой, Архангельской⁴¹.

Столь значительное количество неточных и описательных определений у Надеждина объясняется, на наш взгляд, тем, что гораздо более важным, нежели географическое, ученый полагал «этнографическое значение» региона – в том смысле, что именно население этой территории сформировало особую разновидность самостоятельной великорусской «отрасли» русского народа, которая, в свою очередь, сыграла главную роль в создании и укреплении царства, а потом Империи – не просто жизнеспособной, но

постоянно колонизирующей новые территории и народы. Именно это обстоятельство дало Надеждину основание утверждать, что «Российское государство, Российская империя обросли вокруг одного средоточия, одного основного ядра, где география имеет чисто русскую физиономию, где должна быть коренная русская земля. Ядро это находится в Европейской России»⁴². Определяя его «пределы», Надеждин указывает: «Европейская Россия с трех сторон ограничена естественными рубежами: северным океаном, уральским поясом, киргиз-кайсацкими степями, морем Каспийским, хребтом Кавказским и Черным морем... Но с четвертой, западной, ее отрезывает от остальной Европы черта условная, исключая трехглавой оконечности Балтийского моря...»⁴³. Как видим, речь идет не о *великороссийском*, а о *русском* ядре, но если можно строить гипотезы о том, какие именно территории Надеждин в него включал, то не вызывает сомнений, что Великая Россия (в узком смысле) так или иначе с ним отождествляется. Метафоры «ядро» и «сердцевина» или «корень» и «зерно» оказались весьма устойчивыми и для определения данного ареала и населяющего его «славяно-русского» племени не только в публицистических и философских сочинениях второй половины столетия, но и в многочисленных проектах географо-экономического районирования, разрабатывавшихся во второй половине века⁴⁴ (российский историк Л.Е. Горизонтов классифицировал их как «генетические»⁴⁵). Принцип выделения двух окружностей/кругов вокруг главного великорусского ядра, обоснованный Надеждиным, также получил развитие⁴⁶.

Л.Е. Горизонтов полагает бесспорным, что начиная с первой трети XIX в. «внутренняя Россия» мыслилась как часть Великороссии, хотя и подчеркивает, что ее территория трактовалась «весьма расширительно»⁴⁷. Он же одним из первых обратил внимание на то, как использовались и объяснялись эти категории в художественной литературе и публицистике. Здесь уместно вслед за Горизонтовым обратиться к тексту травелога В.В. Пассека (1834)⁴⁸, вышедшего чуть раньше программной статьи Н.И. Надеждина, и рассмотреть его детальнее. Прибегая к метафорам «кровообращение» и «сердце» государства, Пассек выделяет три центра («узла», «средоточия»), каждый из которых «заключался в определенной местности и характеристике известного племени и разливал на всю жизнь целого государства свой отличительный свет и свои оттенки!»⁴⁹. Первый «узел народности» Пассек помещал в Новгороде, который отличался от соседних славянских племен политическим устройством, домашним бытом и «наречием языка». Пассек рассматривает ранние пределы Новгородской земли в границах Двинской и Печорской областей и добавляет в широкий ареал также современные губернии, тяготеющие, на его взгляд, к Новгородскому центру, некогда бывшие колониями Новго-

рода: Санкт-Петербургскую, Вологодскую, Олонецкую, Архангельскую, Пермскую, Вятскую⁵⁰. Славянское население данных регионов именуется у Пассека жителями «Новгородского севера».

Вторым – по хронологии – центром «политической деятельности и народности» является Киев с «окружностью», включающей Северскую область, часть Подолии, Волынь и «нынешнюю Украину». Этот «узел» соотносится с «местообитанием» русских «южных племен»⁵¹, актуализируя оппозицию север/юг (будет подробно рассмотрена в главе пятой).

В третий – «московский» узел «все занесено с юга, и все преобразовалось дыханием народности в мысль о смерти уделизма, о начала единодержавия»⁵². К этому «узлу» В.В. Пассек относит десять губерний: Московскую, Владимирскую, Тверскую, Костромскую, Ярославскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую, Орловскую и «даже Курскую»⁵³.

Остальные области «не сделались узлом», они располагаются на окружности. Эти пограничные с узловыми земли таковы: Нижегородская, Казанская и все нижеволжские («низовые»), Крым, Остзейские губернии – в европейской части России, а также Сибирь, Кавказ и губернии, присоединенные от Польши и Швеции. Эти «страны» Пассек предлагает исследовать этнографически, по племенам (финскому, татарскому и германскому). Далее он подробно рассматривает каждую из трех «окружностей», обнаруживая и в них «узлы», т.е. историко-политические центры другого уровня, а в них – свои «средоточия»⁵⁴.

Не столь известный современник Пассека в своих очерках путешествий особо выделяет русских обитателей края, «сосредоточившихся» «вокруг сердца матери – Белокаменной»⁵⁵. Он считает обитателей этого региона представителями «чистого русского племени со своим коренными, народными нравами», а сам край описывает как «живущий самобытной жизнью», который «далеко опередил север, запад и юг России промышленностями разного роду... и торговыми оборотами»⁵⁶.

Такое же этнографическое понимание «центра» продемонстрировано в статистическом описании России (1837): господствующее племя «занимает центр России – страны (в данном случае слово «страна» использовано в значении «пространство». – М.Л.) наиболее важной в правительственном и хозяйственном отношении»: оно «соединено узами веры, любви к престолу и отечеству»⁵⁷.

Важно подчеркнуть, что акцентировавшееся Н.И. Надеждиным «этнографическое понимание» было, в сущности, первым случаем прямого соотнесения наименования региона и названия его жителей. И истоки этого соотнесения следует, на наш взгляд, искать в языковой классификации 1830-х – 1840-х гг. и ее вариациях

(об этом будет сказано в главе третьей). Пока упомянем лишь о том, что связь между географическим «местообитанием» (великорусским регионом) и языком/наречием была отмечена в книге «Славянская этнография» (1842) (в русском переводе именовалась «Славянское народописание») чешского ученого П.И. Шафарика, который перечислял губернии, населенные великорусами, точнее, носителями великорусского наречия (для автора они совпадали). 23 полные губернии (две столичные, Архангельская, Олонецкая, Вологодская, Новгородская, Псковская, Тверская, Ярославская, Костромская, Владимирская, Нижегородская, Смоленская, Калужская, Тульская, Рязанская, Пензенская, Симбирская, Орловская, Курская, Воронежская, Тамбовская, Саратовская и Земля Войска Донского (донских казаков), а также часть носителей великорусского наречия, проживавших в Пермской, Вятской, Казанской и Оренбургской губерниях⁵⁸.

Впрочем, большинство авторов никак не комментировали этнографический или языковой принцип в качестве критерия причисления региона/губернии к великороссийскому пространству. В «Карманной книге географии» (1835), являвшейся переводом немецкого издания, все пространство Империи распределено лишь на восемь групп, выделяющихся главным образом (за исключением двух региональных) по этническому признаку: великороссийские, новороссийские, малороссийские, белорусские, польские, литовские, остзейские, или немецкие, и сибирские. Великороссийские губернии – самые многочисленные, это к ним относят 28 губерний: все центральные, северные и волжские. Полный их перечень: обе столичные, Смоленская, Псковская, Новгородская, Олонецкая, Архангельская, Вологодская, Ярославская, Костромская, Нижегородская, Владимирская, Тверская, Калужская, Рязанская, Вятская, Пермская, Оренбургская, Казанская, Симбирская, Саратовская, Астраханская, Пензенская, Тамбовская, Воронежская, Курская, Орловская и Тульская⁵⁹. В статистическом очерке России (1837) Н.И. Иванова при участии Ф.В. Булгарина состав великороссийских губерний столь же широк – их насчитывается 27, так как Санкт-Петербургская губерния в перечень не входит⁶⁰.

А вот в рассказе путешественника (1842), описывавшего «зерно Руси», пределы Великороссии определялись так: «... от Москвы во все стороны по два девяносто верст, а к востоку и северу накиньте еще с небольшим девяносто... Пределы этого края: Вязьма, Ржев, Осташков, Вышний Волочек, Рыбинск, Кострома, Рязань, Калуга. Ока и Волга приняли его в свои объятия и охватывают его с обеих сторон как бы двумя руками»⁶¹. Как видим, такое «зерно» соответствует скорее «второму» кругу Надеждина, даже если не расширяет его на востоке.

В «Описании Российской империи» (1844) И.И. Пушкарева⁶² 26 европейских губерний объединены в несколько групп: четыре отнесены к северным (Новгородская, Архангельская, Олонецкая и Вологодская), 13 – к средним, или великороссийским (Псковская, Тверская, Ярославская, Костромская, Смоленская, Владимирская, Калужская, Тульская, Рязанская, Тамбовская, Пензенская, Воронежская, Курская). Значимо отождествление Пушкаревым «середины» и «Великороссии». Кроме того, он выделяет пять низовых губерний (Нижегородская, Казанская, Симбирская, Саратовская и Астраханская) и три «восточных» (Вятская, Пермская, Оренбургская), а также помещает в отдельную группу столичные губернии⁶³. Орловская губерния в перечне Пушкарева (возможно, по ошибке) не упоминается.

В 1847 г. в «Московских ведомостях» была опубликована критическая рецензия Н.П. Огарева⁶⁴ на статью анонимного автора из «Журнала Министерства внутренних дел»⁶⁵ о районировании России: как раз в то время складывались новые практические основания для деления страны по регионам с учетом экономического и – шире – «производительного», т.е. ресурсного, фактора. Для нас важна позиция критикуемого анонимного автора, который распределил губернии страны на 12 групп, среди которых выделялись: «центральные, или околomosковские», северные, волжские. Считая (как, вероятно, и Пушкарев) нелогичным включение Орловской губернии в первый отдел, Огарев включал в «Московский край» Московскую, Рязанскую, Калужскую, Тульскую, Ярославскую и часть Нижегородской губернии⁶⁶, а в другой своей работе предлагал делить пространство Европейской России на восемь или десять областей, среди которых упоминал одну, с красноречивым наименованием «средняя, или кровная, Великороссия». Основным критерием для Огарева выступало фабричное производство⁶⁷.

К.И. Арсеньев, ранжируя земли Российской империи, разграничивал их на два важнейших раздела с учетом времени присоединения окраинных частей к центральной – исторической, которое в определенной мере соотносится с племенным делением всех народов Империи на славян и инородцев⁶⁸. Это «главная русская» часть и «вспомогательные земли нерусские». «...Сибирь, Закавказье, Финляндия и Царство Польское суть такие страны, которые обеспечивают внешнюю безопасность государства, не затрудняя внутреннего управления... Сии земли не составляют существа Империи... и должны быть рассматриваемы как вспомогательные силы одной главной великой силы, заключающейся в собственно русских землях»⁶⁹. Таким образом, к русским землям относится весь ареал Европейской России без Кавказа. Это пространство Арсеньев видел как «великий круг, к которому все прочие части Империи примыкают,

как радиусы, в разных направлениях, ближе и дальше»⁷⁰. В административной структуре Российской империи состав и статус великороссийских губерний варьировался в зависимости от формальных изменений в этой сфере, а с развитием представлений о значимости экономических факторов в членении областей Империи все большее влияние стали оказывать опыты районирования⁷¹. К.И. Арсеньев, описывая административное деление России с начала XVIII в. до 1810-х гг., выделял десять «пространств», состоящих из губерний и областей (55 губерний и пять областей), не обозначая какие-либо из них как «великорусские»⁷². В европейской части России он фиксировал Окское и Уральское «пространства» (от Ярославля до Саратова).

Отождествляя «центральное» и «внутреннее» «пространства» Империи, Арсеньев именовал его «сердцем», «истинной основой ее величия, настоящим отечеством русского народа, центром всей Европейской России» и «вместилищем всех сокровищ, доставляемых образованностью, распространенной промышленностью и обширной внутренней торговлей», «наилучшим в России в политико-экономическом и административном отношении»⁷³, – иначе говоря, считал самой развитой областью государства. Он полагал данную территорию благоприятной по климату и природным условиям по причине ее «срединности»: ей не присущи «крайности» южных и северных областей. Кроме того, Арсеньев приписывал ей однообразие и однородность главным образом равнинной территории⁷⁴; в основе ее благоденствия, по его мнению, лежат земледелие и скотоводство⁷⁵. Географ включал в этот центр земли от среднего течения Волги до верховьев Хопра, Донца, Оки и Десны, поэтому ввел в состав только 13 губерний: Московскую, Владимирскую, Рязанскую, Ярославскую, Костромскую, Нижегородскую, Пензенскую, Тамбовскую, Воронежскую, Курскую, Орловскую, Калужскую и Тульскую⁷⁶. Следует обратить внимание на то, что окраинные регионы, населенные великорусами, но находящиеся в зоне смешанного этнического населения или присоединенные исторически позже, к этой области не относились. Санкт-Петербургская, Новгородская, Тверская, Псковская и Смоленская губернии составляли Алаунское (Валдайское) «пространство», а Архангельская, Вологодская и Олонецкая губернии – «пространство» Северное. Приволжские губернии рассматривались Арсеньевым как часть «пространства» Степного. Таким образом, в основе распределения губерний по «пространствам» лежал геоклиматический критерий.

Как видим, в перечне Арсеньева только семь губерний (за исключением Псковской, Новгородской и Тверской) совпадают с надеждинским «кратким» списком. К ним присовокуплены еще пять из тех, которые Надеждин полагал «окраинными» (т.е. входящими во второй «круг» земель) в отношении к старому центру государства

(Нижегородская, Тамбовская, Воронежская, Курская, Орловская). При этом Арсеньев не включил в перечень губерний «внутренней России» (именуемой им «великим кругом») те, которые отдалены в географическом отношении и которые были упомянуты Надеждиным в расширенном составе губерний «Великой России», присоединившихся к региону позже первых тринадцати: Новгород, Псков, губернии Олонецкая, Пензенская, Вологодская и Смоленская. Главными отличиями классификации Арсеньева можно считать, *во-первых*, исключение Северо-Западной области и двух «пограничных» территорий – Смоленской и Пензенской губерний, а *во-вторых*, введение понятия «внутренняя Россия» вместо «великороссийские губернии» (такой термин у К.И. Арсеньева отсутствует вовсе).

Аналогичным образом в учебнике А.Г. Ободовского (1852) губернии Европейской России без окраин разделены на группы по частям света: северные (Архангельская, Олонецкая, Вологодская и Новгородская), южные (Саратовская, Астраханская, Ставропольская, Воронежская, Харьковская, Екатеринославская, Таврическая, Курская, Черниговская, Полтавская, Киевская, Подольская, Херсонская), западные (Волынская, Могилевская, Минская, Гродненская, Витебская, Виленская, Ковенская, Курляндская, Лифляндская, Эстляндская, Санкт-Петербургская) и восточные (Пермская, Оренбургская, Вятская, Казанская, Симбирская)⁷⁷. Однако наибольший интерес представляет выделение «в середине лежащих» 14 губерний – в их числе Псковская, Тверская, Ярославская, Костромская, Нижегородская, Владимирская, Московская, Смоленская, Калужская, Орловская, Тульская, Рязанская, Тамбовская, Пензенская⁷⁸. Как видим, они не совпадают с «арсеньевским» списком – к нему добавлены те, которые Арсеньев соотносил с валдайскими губерниями, но «изъяты» те, которые «переведены» Ободовским в южные. Область совпадений – 12 губерний (Ярославская, Костромская, Нижегородская, Владимирская, Московская, Смоленская, Калужская, Орловская, Тульская, Рязанская, Тамбовская, Пензенская). Следует также подчеркнуть, что у обоих авторов в составе центрального пространства отсутствуют Новгородская, Архангельская и Олонецкая губернии.

Великороссия и великороссийские губернии. Новые трактовки

В конце 1840-х гг. формируется новая тенденция – наблюдается стремление напрямую связать пространство Великой России с великороссийскими губерниями. Такая задача требовала определить понятие «Великая Россия» в географическом отношении. В

учебнике отечественной географии (1843) И. Павловский помещает подробное объяснение данного топонима. Он именует «средоточием» Великой России Москву, относя сам термин к середине XVI в., к титулатуре Ивана Грозного, и подчеркивает его топонимический, а не политический характер («вместо “Русь”... стали писать “Русія” и “Россия”»)79. Название «Великая Россия» в политическом смысле, по мнению Павловского, утвердилось лишь с момента присоединения «юго-западной части земель русских, или Малороссии», а потом и «Западной Руси, или Белороссии» к Российской державе в середине XVII в. для отграничения «восточной части России или великороссийского государства» от западной (Малороссии и Белоруссии) и «таким образом утвердилось в политическом смысле, причем, не обозначая точных границ Великой России, оно и поныне употребляется официально»; однако жителей великороссийских губерний автор именует «большей частью русскими»80.

В Справочном энциклопедическом словаре под редакцией А.В. Старчевского (1854) понятие «Великая Россия» рассмотрено в исторической эволюции, поэтому географическое пространство данного региона описывается в двух толкованиях (так же, как и у Надеждина, но с более четко обоснованными критериями каждого из них). *Первое* – расширительное, когда главным фактором избирается государственный, то есть подразумеваются земли, вошедшие в состав Московского/Российского государства. «Принимая имя “Великой России” равнозначительным прежнему Московскому государству, должно отнести к составу ее, кроме Сибири, все губернии нынешней Российской империи, расположенные по водам Северной Двины, Волги и Дона, включительно с бассейнами Ильменя, Ладоги и Онеги, которые все действительно называются “великороссийскими”... они и в гражданском отношении образованы совершенно сходно по так называемому “Учреждению о губерниях”; не имеющие губернской организации Земля донских казаков и Кавказская область, хотя издавна принадлежали к составу Московского царства, не считаются, однако, великороссийской стороной»81. Но, оговаривается автор статьи, «это определение границ Великой России совершенно произвольно, не соотносится ни с историческими, ни с собственно географическими началами». Поэтому дана еще и *вторая дефиниция* – Великой России «в собственном (узком, т.е. прямом. – М.Л.) смысле». «...Чтобы согласить вполне географию с историей, всего справедливее ограничить Великую Россию в собственном смысле с пределами древнего Великого княжества Московского в 1462 году, по смерти Василия Ивановича Темного, когда оно простиралось уже от Ельца до Устюга, от Калуги до Вятки, когда в состав его вошли удельные княжества. Эту обширную массу должно еще пополнить с севера тогдашним Великим княже-

ством Тверским, областью Псковской и пятинами новгородскими да окружить с запада и юга восточной частью древнего Смоленского княжества, Северскими уделами по обеим сторонам Оки, между Десною и Доном и Великим княжеством Рязанским. Таким образом составится род огромного неправильного четырехугольника, протянутого через Курск, Псков, Каргополь и Вятку (в этом фрагменте, как видим, воспроизводится текст Н.И. Надеждина из «Лексикона» 1837 г. – М.Л.), в котором заключаются нынешние губернии: Московская, Тверская, Псковская, Новгородская, Ярославская, Костромская, Владимирская, Рязанская, Тульская, Калужская, все сполна, с определенными краями Санкт-Петербургской, Вятской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской и Смоленской»⁸² (т.е. всего губерний – десять целиком и восемь – частично. – М.Л.). То же самое определение приведено в тексте статьи о Великой России в Настольном словаре для справок по всем областям знаний (Справочный энциклопедический словарь под ред. Ф. Толля), вышедшем в свет десятью годами позже⁸³.

Следует согласиться с современными исследователями, предполагающими, что начиная с первой трети XIX в. «внутренняя Россия» мыслилась как часть Великороссии, но ее территория трактовалась «весьма расширительно»⁸⁴ и, добавим, чаще описательно, а не конкретно-географически. Попытки соотнести пределы великороссийского пространства с границами административных единиц по губернскому членению не были до 1860-х гг. удачными. Обобщая некоторые тенденции толкования, резюмируем, что именно этот регион можно рассматривать как геополитическое, историческое и этнографическое ядро Империи, сердцем которого однозначно виделась Москва. Данный термин употребляли и русские историки так называемой государственной школы, исходя в первую очередь из процесса государствообразования на землях Северо-Восточной Руси. В частности, называли Великую Россию «государственным ядром» С.М. Соловьев⁸⁵ и некоторые географы⁸⁶. Впрочем, понятия «пространственное (геополитическое) ядро» или «внутренняя Россия» не были нормативными вплоть до 1880-х гг., однако часто именно они становились критерием выделения русского национального типа, точнее, его «племенного ядра» – «этого исхода нашей национальности, расходящейся во все стороны»⁸⁷.

К середине столетия существовало две версии состава великорусских земель: *первая* соотносила их с областью формирования ядра Московского государства (северо-восточные княжества), иногда включая и верхневолжский ареал; *вторая* трактовала их расширительно, присовокупляя северные (Новгородскую и Псковскую) земли, в которых некогда шел первоначальный процесс создания государства Рюрика. Так или иначе критериями определения

выступали историко-политические факторы. В недалеком будущем эта интерпретация повлияет на понимание «коренной» территории великороссов.

В Словаре под редакцией И.Н. Березина (1875) географическое определение «Великой России» почти такое же, как и у Старчевского, – имеется лишь несколько отличий. *Первое* касается происхождения понятия: оно понимается как «название, появившееся около половины XVI века и не имевшее вначале никакого политического значения. Иван IV Грозный начал первый именоваться царем и самодержцем “Всея Великия России”, между тем как отец его назывался только государем “Всея Руссии”»⁸⁸. Традиционно подчеркивается использование понятия «Великая Россия» для отличия от «Малой России» в донесении Богдана Хмельницкого о присяге на верность Алексею Михайловичу (1654). Именно с этого времени термин, введенный в официальный титул государя, вошел в употребление, – так утверждает автор статьи. Он также упоминает частое отождествление России как государства-империи с Россией в узком смысле. Критикуя подобное смешение определений, автор трактует его как обусловленное критерием государственной принадлежности. *Второе отличие* связано с территориальным составом Великой России: центральное пространство ограничивается все теми же десятью губерниями, а «сопредельными» к нему названы еще десять вместо восьми – к перечню губерний, представленных в словарях Старчевского и Толля, добавлены Олонецкая и Вологодская⁸⁹.

В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (1892) определение региона «Великая Россия» дано в статье «Великорусы», написанной Д.Н. Анучиным. Принимая позицию Н.И. Надеждина и ссылаясь на его статью, Анучин признает, что это название – «искусственного происхождения», так как «было составлено духовенством... или книжными людьми» и начало входить в царский титул лишь в XVI в. Искусственность Анучин усматривает в том, что «прежние названия “Русь”, “Русия” были заменены византийским – “Россия”»⁹⁰. Географическую определенность понятие приобретает во времена правления Алексея Михайловича, с вхождением Украины в состав Московского государства.

Д.Н. Анучин полностью разделял концепцию Н.И. Надеждина о том, что «в географическом отношении имя “Великой России” должно признаваться равнозначительным с древней “Московией” иностранцев» и цитировал предшественника в фиксации ее географических границ⁹¹. Однако ученый подчеркивал, что эти границы не следует рассматривать как совпадающие с ареалом расселения великорусов, поскольку на территории Великороссии XV в. рядом с великорусами «жили (как и живут отчасти еще и теперь) белорусы и финны; а с другой стороны, великорусы давно перешли за преде-

лы Московского государства XV в.»⁹² Что касается великорусского пространства в конце XIX столетия, то для него подобные пределы давно перестали быть актуальными, так как великорусы заселили земли далеко за пределами первоначального ядра, «расселившись и по течению Камы с ее притоками, и по нижней Волге, и в бассейне Дона, и в Новороссийском крае, Сибири, на Кавказе и т.д.»⁹³

Издававшийся в первые годы XX столетия Словарь под редакцией С.Н. Южакова предлагал отождествлять понятия «Великая Русь» и «Великороссия» (и, судя по контексту статьи, с термином «Великая Россия»). Здесь говорится о том, что данный регион русских земель стал именоваться так с XIV в. К нему относят территорию «по Верхней Волге, а также земли Смоленские и Черниговские, – в отличие от Малой Руси, т.е. от земель по Среднему Днепру»⁹⁴. Происхождение самого топонима «Великая Русь» возводится к «иноземным памятникам» 1357 г. («Хрисовул» императора Иоанна Кантакузина, его послание к русскому митрополиту Феогносту). С вхождением в титулатуру русского государя термин появляется и в русских памятниках (упомянуты «Апостол» 1556 г. и чин венчания на царство 1584 г.). Подчеркивается, что понятие обретает определенное «географическое значение» только при Алексее Михайловиче с присоединением Малой Руси и теряет его («выходит из официального употребления») в правление Петра Великого⁹⁵.

В том же словаре (в статье «Россия») дано определение «самых коренных русских (но не великорусских. – М.Л.) областей». К ним, согласно принятой на рубеже веков номенклатуре регионов Российской империи, выделяемых по климатическим зонам и уровню промышленного развития, относятся Московская промышленная, Центральная черноземная, Малороссийская и Озерная области. Критерием принадлежности этих территорий к коренным русским становится процент проживающего там русского населения⁹⁶.

Процесс структурирования русского и великорусского пространства нашел отражение в одном из важнейших аспектов символической репрезентации имперской государственности – в геральдике, и прежде всего в разработке концепции Большого Государственного герба Российской империи. Важно подчеркнуть, что его создание относится к 1860-м – 1880-м гг. В первом варианте (1857) был сохранен структурный принцип, восходивший к титулатуре Ивана Грозного, а в визуальном воплощении – к его гербовой печати: вокруг двуглавого орла располагались гербы территорий, входящих в состав Московского государства. На Большом гербе на груди орла располагался щит с гербом Москвы (св. Георгий на коне, копьём поражающий змея). Окончательный вариант Большого герба был утвержден в 1882 г. В верхней части, по дуге окружности, помещались шесть щитов с соединенными гербами княжеств и областей, вошедших

на разных исторических этапах в состав Московского княжества (три – слева и три – справа). Первый щит состоит из девяти частей, в каждой из которых – герб **областей и княжеств великороссийских**: Псковский, Смоленский, Тверской, Югорский, Нижегородский, Рязанский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский. На втором щите – соединенные гербы *юго-западных* княжеств и областей. Их три: Волынский, Подольский, Черниговский. Первый щит находится слева от центра, второй – справа, что призвано обозначить их статус в иерархии групп княжеств и областей. Как видим, в таком важнейшем историко-политическом символе, как герб, к великороссийскому ареалу отнесены не губернии, а некогда имевшие статус княжества и области, большая часть которых территориально не идентична рассмотренному выше пространству великороссийского ядра: только Тверская, Нижегородская, Рязанская, Ростовская и Ярославская губернии входят в него бесспорно. Псковская и Белозерская губернии на севере, Югорское и Удорское княжества (часть Пермской земли, некогда принадлежавшая Новгородскому княжеству и вместе с ним вошедшая в состав Московского государства) на северо-востоке и Смоленская губерния на западе, как было показано выше, чаще не попадают в состав этногеографического ядра.

Третий щит (в малом щите Великого княжества Литовского) состоит из пяти гербов *белорусских и литовских* областей и княжеств (Белостокского, Самогитского, Полоцкого, Витебского, Мстиславского). Четвертый щит с гербами четырех прибалтийских областей (Эстляндии, Лифляндии, Курляндии и Семигалии в одной части и «Корелии»). В пятом помещены гербы северо-восточных областей в малом Пермском гербе: Вятский, Болгарский, Обдорский, Кондийский. Шестой щит – герб Туркестанский⁹⁷.

Еще девять щитов, увенчанных коронами, расположены по окружности вокруг центрального изображения. На них – гербы **царств**, вошедших в состав Империи, идущие слева направо (без соблюдения последовательности присоединения). Первые шесть – гербы Казанский, Астраханский, Польский, Сибирский, Херсонес Таврический, Грузинский; восьмой – герб Великого княжества Финляндского; девятый – родовой герб Романовых. На седьмом щите соединены гербы княжеств Киевского, Владимирского и Новгородского⁹⁸. Именно этот седьмой щит, объединяя три некогда русских великих княжества в единое целое и задавая ему статус царства, демонстрирует, с одной стороны, политическое и историческое единство трех важнейших элементов исторической русской государственности в виде Новгородского, Киевского и Владимиро-Суздальского княжеств (последовательность которых указывала на смену государственно-политических центров русского племени), а с другой – их конечное соединение под одним скипетром.

Герб Московского княжества, помещенный в центр Большого герба, знаменует политическую гегемонию Москвы в объединительном процессе – ведь номинально, в административно-географическом отношении, она является частью Владимирского княжества. Герб, как видим, являлся прежде всего зримым символическим воплощением императорского титула⁹⁹, полностью соответствуя всем вербальным элементам царской титулатуры. Современные исследователи отмечают логическую нестройность и непоследовательность элементов императорского титула и герба, объясняя их в том числе «барочной поэтикой» текста¹⁰⁰; однако, на наш взгляд, не совсем верно считать принципы включения земель в императорский титул «неясными или произвольными»¹⁰¹: они опираются на традицию и формулы XVI–XVIII вв., и некоторые закономерности прослеживаются вполне отчетливо.

Так, иерархия и состав историко-политических элементов в структуре герба не полностью соответствуют представлениям об этногеографическом ядре, о внутренней России и составе Великой России, что свидетельствует, *во-первых*, о незавершенности и противоречивости процесса формирования этих представлений в различных (научном, политическом, правовом и историческом) дискурсах, а *во-вторых*, о неудачности избранного административно-губернского и тем более экономико-зонального членения пространства, последовательно доминировавших в репрезентациях Российской империи и в общественном сознании образованных слоев.

*Великая Русь/Великая Россия
в системе составной хоронимии Руси/России*

В исторических сочинениях первой половины XIX в. определение границ Великой России отчетливо проявилось также в трудах, связанных с историей Малороссии, – для выявления этапов и форм складывания различий (политических, этнографических, культурных) этих двух регионов. Однако в научных работах по русской истории преобладали термины «русский» и «российский». Понятия «Великая Россия» и «великорусский» употреблялись в них редко, так как чаще всего использовались синонимичные им термины «Россия» и «русский» – применительно к истории государства до имперского периода (до XVIII в.). Поэтому весьма трудно однозначно определить точное содержание понятия, ведь прилагательное «русский» постоянно использовалось в значении государственной принадлежности как тождественное определению «российский». Символическим примером можно считать переход от понятий «российская история» или «история российского государства» к таким

наименованиям трудов по истории Отечества, как «история русского народа» или «русская история». Слово «русский» в этих текстах применялось не столько в качестве этнонима, сколько в качестве политонима или этнохоронима. Например, историк С.М. Соловьев связывал границы Малой и Великой Руси с речными системами, определившими и пределы княжеств на раннем этапе истории Руси: «Русская земля разделялась в древности на четыре главные части: первую составляла озерная область Новгородская, вторую – область Западной Двины, т.е. область Кривская, или Полоцкая, третью – область Днепра, т.е. область древней собственной Руси, четвертую – область Верхней Волги, область Ростовская»¹⁰². В период раздробленности они стали, соответственно, центрами притяжения Новгородского, Полоцкого, Киевского и Владимиро-Суздальского княжеств. Историк рассматривал также «три главные части Руси» – «Великую, Малую и Белую России» как области Волги, Днепра и Двины¹⁰³. Он заключал, что именно такое тяготение к речным областям сделало неизбежным объединение «трех Россией» в единое государство. «... Историческое деление русской государственной области на части условливается отдельными речными системами; ясно, что величина каждой части будет соответствовать величине своей речной области... а естественно меньшим частям примыкать к большей – отсюда понятно, почему и Новгородская озерная область, и Белая, и Малая Русь примкнули к Московскому государству»¹⁰⁴.

В.О. Ключевский более конкретен в определении понятия «Великая Русь», но трактует его в связи с описанием местообитания и характера великорусов. Рассматривая возникновение терминов «Великая» и «Малая Русь», он именует их «этнографическими частями» русской земли как геополитической территории и считает их своеобразие следствием миграционных (колонизационных) процессов, когда население из речной полосы Днепра–Волхова перемещалось на запад и северо-восток (Верхняя Волга), поэтому Верхневолжская Русь зачастую выступает у Ключевского как синоним Великой Руси¹⁰⁵. Последовавший за этим обратный «отлив» славянского населения в Поднепровье привел к именованию его «Малой Русью», а верхневолжского региона – «Великой Русью».

Ключевский, в отличие от Соловьева, сужает область Великороссии от всего Поволжья до верховий Волги. Самое раннее упоминание понятия он возводит к середине XIV в.: так фиксировалось различие церковных епархий¹⁰⁶. Хорошо зная труды В.Н. Татищева, Ключевский не задавался вопросом о соотношении наименований «Белая», «Великая» и «Московская Русь»; для него Великороссия – ядро Владимиро-Суздальской Руси.

Для обоих историков – Ключевского и Соловьева – бесспорно, что малорусское и великорусское племена – ветви русского народа¹⁰⁷;

но в отличие от Костомарова они связывали разделение на две «отрасли» в этнографическом отношении прежде всего с природными и антропологическими факторами, а именно со славяно-финской метисацией в великорусском регионе и с изменившимися географическими условиями бытования переселенцев с юга¹⁰⁸. В.О. Ключевский, кроме того, отмечает в качестве одной из причин, замедляющих процесс развития великороссов, неблагоприятность этнокультурного окружения (страна «ненасиженная и нетронутая», без житейских приспособлений и культурных преданий прошлого)¹⁰⁹.

Как Соловьев, так и Ключевский утверждали, что племенная и политическая консолидация идут здесь рука об руку и объединение Великороссии в единое целое вызвано формированием государства. Поэтому понятие «Великая Русь» выступает как тождественное политонимам «Московская Русь» (В.О. Ключевский) или «Северо-Восточные княжества» (С.М. Соловьев). Регион сосредоточения «главной массы русского населения» (т.е. великорусов) определяет периодизацию: Ключевский выделяет четыре периода русской истории, в каждом из которых доминировали разные государственно-политические центры: днепровский, верхневолжский, великорусский и все-российский¹¹⁰. Это является аргументом в пользу концепции исторической преемственности русской государственности и племенной непрерывности. Великорусский этап историк ограничивает XIII – серединой XV в., когда главная масса русского населения обитала на верхней Волге с притоками, формой правления являлось «удельное дробление верхневолжской Руси под властью князей», а экономической спецификой был вольный крестьянский труд. «Великорусский период», по Ключевскому, охватывает отрезок от середины XV в. до 1620-х гг., когда основное население «растекается» из области верхней Волги на юг и восток, «образуя особую ветвь народа – Великороссию». И это великорусское племя «впервые соединяется в одно политическое целое под властью Московского государства», а в экономике заметно стеснение вольного крестьянского труда «по мере сосредоточения землевладения в руках служилого сословия». «Это Русь Великая, Московская, царско-боярская»¹¹¹, которую сменяет всероссийский период политического собирания и объединения всех частей русской народности под одной властью. Таким образом, именно формирование «особой ветви народа» – великорусской – дает наименование периоду, ставя этнический критерий в центр историко-политических изменений. По этой логике к Великороссии с точки зрения пространственного ареала следует относить также Зауралье и Нижнее Поволжье.

Следует упомянуть еще одну группу текстов, в которых рассматривался вопрос о происхождении хоронимических наименований, непосредственно связанных с гипотезами о возникновении

понятия «Великая Русь», хотя их авторы стремились прежде всего определить датировку и территориальный состав не Великой, а Малой и Белой Руси/России. Это статьи ученых XIX в. (хорошо известные и часто цитируемые современными историками), к которым, как правило, обращаются как к первым научным трактовкам проблемы колористических и дуалистических наименований Русь/Россия. Однако ученых более интересовали происхождение названия «Белая Русь/Россия», первые его письменные упоминания, а также средневековые и более поздние представления о Белой как одной из пяти Росий (Белой, Красной, Черной и Великой, Малой) у западноевропейских и славянских описателей. Причем эти вопросы ограничивались периодом до XVIII в. Конечно, не могли обойти вопрос о Малой Руси/России те, кто занимался историей взаимоотношений Северо-Восточной и Юго-Восточной Руси. Так, М.А. Максимович издал небольшую заметку, в которой, приводя цитаты из источников, доказывал, что «своенародные имена: “Русь”, “русский” начали заменять, по греческому произношению их, именами “Россия”, “Российский”» применительно к западнорусским областям, что появляются много ранее присоединения их к Великой/Московской России, в 1590-х гг., и активно функционируют в книжных изданиях и рукописях первой трети XVII в.¹¹²

В 1890-х гг. исследователи обращались в первую очередь к проблеме трактовки названий «Великая» и «Белая Русь», столь актуальных для исторических и географических трудов XVIII в. Определяя дефиниции и время происхождения наименований, а также реконструируя границы Белой Руси/Великой Руси, они опирались на средневековые источники. Лингвист А.А. Потебня подчеркивал, что значения «Россий» в разных традициях наименований не совпадали; самым известным примером он считал название «Белой Россией» земель, соотносимых с Московским государством (в российской традиции с конца XVIII в. отождествляемых с Великой Россией), а «Черной» – Руси, вошедшей в состав польского государства (в польских хорографических описаниях XVI–XVII вв.)¹¹³. Потебню, как и Татищеву, более интересовали мифологические и символические трактовки определения «белый» (свободный, вольный, незавоеванный, по цвету одежд и т.п.)¹¹⁴. Этнограф-славист В.И. Ламанский возводил возникновение регионимов к политониму «Русь/Россия» в XIV в., когда его наряду со словосочетанием «Малая Русь» можно обнаружить в грамоте, выданной Юрию Галицкому, а также в хрониках (в частности, Яна Чарнковского), где упоминается *Albae Russiae*¹¹⁵; при этом у Ламанского не вызывала сомнений общеупотребительность данного понятия, появившегося много раньше и соотносимого с территорией Литовской Руси еще Гедиминова века. Подобно Татищеву и Потебне, историк был убежден, что «когда под Белой Русью пони-

мали Русь сильную и независимую, то подразумевали не Белую Русь в собственном смысле, а русскую северо-восточную, Московскую»; в доказательство Ламанский приводит титул Ивана III – *dux Albae Russiae*¹¹⁶. Таким образом, резюмировал автор, «Белая Русь настоящая получила свое название не за вольности и независимость, которой не имела ни в XIV, ни в XIII в., а по иной какой-либо причине», и европейцы подразумевали под *Wissen Russen* именно Белую Русь¹¹⁷. Появление понятия «Великая Русь» для обозначения отличных от «малорусских» православных епископий В.И. Ламанский относит к тому же периоду («даже в конце XIII в.»). Эти епископии соотносились с церковью тех земель, которые признавали верховную власть князя Московского. Доказательством Ламанский считает известную грамоту (1347) императора Иоанна Кантакузина князю Владимиро-Волынскому, в которой упомянуты Малая и Великая Русь, а Белая не включена в перечень не потому, что не имела собственного названия, а потому, что главной темой письма был вопрос о подчинении волынских епископов митрополиту Киевскому, который тогда жил в Великой Руси. Впрочем Ламанский признавал тот исторический факт, что изредка Белую Русь включали в состав Великой. Наименование «Великая Русь» относили, по мнению слависта, к той Руси, которая имела у себя великого князя Всея Руси и других князей Рюриковичей. Оно использовалось и как политоним – для определения державы или земли Новгородской, области Великого Новгорода¹¹⁸. Историк не был уверен в том, какие именно значения лексемы «великий» вкладывались в титулатуру великого князя – прямой смысл (величина, обширность владений) или историко-номенклатурное соотнесение – по именованным некогда «великими» владениям Новгородского княжества. Однако этноним «русские» (в значении «великорусы») не вызывает сомнений у Ламанского. Он убежден, что первыми «русскими» были именно новгородцы, жители Северной («окающей») Руси, и только позже определение «русские» перешло на обитателей Северо-Восточной («акающей») Руси.

Часть упомянутых гипотез была включена в статью Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона¹¹⁹. В ней Белая Русь соотносится с русскими землями в ареале «между реками Днепром, Двиной и Друтью», а название возводится к тому же ряду переносных значений (благородный, вольный, чистый, независимый и т.п.) Автор статьи склоняется к гипотезе о взаимосвязи определения «Белый» с белым цветом, связывая его появление с языковым заимствованием от монголов (которые активно использовали колористическую хоронимику) в период монгольского ига, и упоминает об отождествлении Белой Руси с землями Руси Владимиро-Суздальской, хотя оговаривается, что само наименование «Белая Русь» появляется позже иных – не ранее титулатуры Ивана III, о чем писал еще Н.М. Карамзин¹²⁰.

Великороссийские губернии в официальных административных номинациях

В учебнике географии (1843) И.Я. Павловского в перечень «великороссийских губерний» Европейской России (они именуется также «средними губерниями») включено 17: 12 наиболее часто включаемых (Московская, Тверская, Ярославская, Костромская, Владимирская, Рязанская, Тульская, Калужская, Тамбовская, Воронежская, Курская, Орловская) с северными (Новгородская, Псковская, без Санкт-Петербургской), восточными (Пензенская, Вятская) и западной (Смоленская) окраинами, но из перечня изъяты «низовые» земли Нижегородской губернии¹²¹.

В Военно-статистическом обозрении (1837–1854), включавшем описание 69 губерний и областей Империи (вместе с восемью губерниями Великого княжества Финляндского и пятью – Царства Польского), обзор собственно «великороссийских губерний» был представлен в отдельном томе (в шести частях). К ним относились Московская, Владимирская, Рязанская, Тульская, Орловская и Калужская губернии¹²². В сравнении с надеждинской трактовкой «основного» великорусского ядра видно, что здесь членение регионов более дробное, поскольку губернии, включенные в перечень 1837 г. как «великороссийские», входят теперь в состав верховно-приволжских (Тверская, Ярославская, Костромская и Нижегородская) и северо-западных губерний (Псковская и Новгородская), а регионы, обозначенные Надеждиным как пограничные с Великой Россией, в Военно-статистическом обозрении упомянуты в составе других групп: средних (черноземных) и северо-восточных губерний.

Наконец, в 1860-х гг. обе тенденции объединяются: Великая Россия соотносится и с «внутренней Россией», и с границами полных губерний.

В учебнике географии (1863) П.Н. Белохи в «Российской империи собственно», отделенной от Царства Польского и Великого княжества Финляндского, «великороссийскими» именуется «внутренние губернии около Москвы, лежащие на Оке и Верхней Волге», – в отличие от «низовых», находящихся по нижнему течению Волги и «входящих прежде в состав татарских царств»¹²⁴. Таким образом, в составе земель Великороссии у Белохи остаются (с незначительными изменениями) те же губернии, что и у Надеждина и Арсеньева: соседние с Москвой и включающие верхневолжский регион. Встречается термин «внутренняя Россия» и в некоторых путевых очерках, что говорит о его широком бытовании. Так, в путевых заметках А.П. Субботина о путешествии по Верхней Волге говорится, что «о внутренней России (т.е. о том регионе, который описывает путешественник, – Тверской, Ярославской и Костромской губерниях. – *М.Л.*) мы зачастую имеем меньше сведений, чем о многих отдаленных странах...»¹²⁵.

Оригинальная классификация пространства и народов Российской империи предложена в трудах И.К. Разумова¹²⁶. Здесь территория Европейской России («собственной России») состоит из 50 губерний, komponующихся в восемь групп. Их названия соотносятся с местоположением на карте (топонимами и гидронимами) или по частям света: северные, алаунские (так в древности именовали Валдай, следовательно – валдайские), великороссийские, восточные, малороссийские, южные, западные и остзейские¹²⁷. К северным автор относит Архангельскую, Вологодскую и Олонецкую губернии (т.е. по систематизации Военно-статистического обозрения (далее – ВСО) 1850-х гг. – северо-восточные губернии без Вятской), к алаунским – Санкт-Петербургскую, Новгородскую и Псковскую (северо-западные по ВСО).

Великороссийские губернии Разумов подразделяет на пять групп: 1) верхневолжские (Тверская, Ярославская, Костромская, Нижегородская – совпадает с Верховными волжскими по ВСО); 2) среднемосковские (Владимирская, Московская) и 3) окские (Калужская, Тульская, Рязанская) в совокупности составляют «великороссийские губернии по ВСО, без Орловской; 4) единственную «верхнеднепровскую» – Смоленскую – Разумов также относит к великороссийским; 5) степными географ называет четыре губернии: Тамбовскую, Воронежскую, Орловскую и Курскую (соотносимые со средними черноземными в варианте ВСО).

Восточными Разумов именуется казанские и астраханские губернии. Первая группа включает Казанскую, Пермскую, Вятскую, Сибирскую, Пензенскую, вторая – Астраханскую, Самарскую, Оренбургскую, Уральскую. Все эти регионы Разумов соотносит с разными племенными типами великорусов: северным новгородским, московским/великороссийским с центром государствообразования в бассейне Оки и со «степняками» (обитателями степного Черноземья). Таким образом, в узком смысле великороссийскими оказываются только 14 губерний, т.к. Разумов отказывается от привычного к тому времени включения северных губерний в данный перечень. Явно объединяются у него (без специального комментария) центральные/внутренние губернии, с одной стороны, и внешние, – с другой, особенно в восточном сегменте «круга».

Итак, при определении великороссийских губерний в отношении к европейскому региону Империи в середине века вводится оппозиция «внутренний/внешний». Можно (с некоторыми оговорками) утверждать, что границы Великороссии на карте Российской империи в конце XVIII – первой четверти XIX в. так или иначе соотносились с представлением о «Внутренней» России. При отсутствии официальной дефиниции данного понятия его значение можно выяснить по косвенным данным, что и было сделано

Л.Е. Горизонтовым¹²⁸. Историк показал, что «внутренние провинции» Империи и при Екатерине Великой, и в первой трети следующего столетия в той или иной степени совпадали с Великороссией: «Внутренняя Россия мыслилась частью Великороссии, находящейся в поле непосредственного тяготения Москвы... [которая] в дореволюционной административной практике трактовалась весьма расширительно»¹²⁹. Обобщая некоторые тенденции словоупотребления, Горизонтов приходит к выводу, что «внутренняя Россия» обычно понималась как «круг с центром в Москве и радиусом до 450 верст. На крайних орбитах непосредственного московского тяготения находились Нижний Новгород, Воронеж, Смоленск, Вологда»¹³⁰. Исследователь считает, что именно этот регион следует рассматривать как геополитическое, историческое и этнографическое ядро Империи, сердцем которого однозначно виделась Москва. Впрочем, при всей правдоподобности данной интерпретации понятия «ядро» или «внутренняя Россия» не были нормативными вплоть до 1880-х гг.

Таким образом, представление о великороссийских губерниях этого времени никак не было связано с фактором этнического преобладания великорусов, а соотносилось с ареалом так называемой внутренней России. Однако в историографии существует и другая точка зрения. Например, К. Мацузато убежден, что наиболее важной административной и политической единицей были генерал-губернаторства, границы и территориальный состав которых никак не соотносились с этнокультурными особенностями. Понятие «внутренние губернии» носило юридический, а не этнографический характер. Мацузато полагает, что генерал-губернаторства состояли из земель Московского государства, Волго-Уральского региона, Малороссии и Новороссии¹³¹. Мы склонны разделять трактовку отечественного исследователя: Новороссия и Малороссия никак не могли интерпретироваться (и особенно во второй половине столетия) как ядро российской государственности, поскольку главной интенцией при осмыслении своеобразия великорусов и малорусов в области этнической истории, национального характера и языка был «отсчет» российской государственности от Новгорода и Москвы.

Верно, однако, то, что на данном этапе этнографическая карта не влияла на определение пределов «великоросского племени» и великорусских территорий, или же можно сформулировать более осторожно: численное преобладание великорусов в тех или иных областях не стало критерием выделения великорусских губерний и великорусского региона в целом. Этнический состав не мог быть точно зафиксирован, поскольку достаточно полная перепись населения, предоставившая хотя бы весьма приблизительно подобные данные, была проведена лишь в 1897 г., а конфессиональная принад-

лежность, служившая критерием отнесения к этносу, в частности на западных окраинах Империи, в данном случае не «работала»¹³². Наиболее трудной проблемой продолжало оставаться определение реальных и этнических границ трех русских «отраслей».

*Научно-популярная и учебная литература.
Великорусский край и губернии*

Важное значение для словоупотребления номинации «Великая Россия» и более частотного в этногеографической литературе определения «великороссийский» имел контекст и связанные с ним классификационные схемы. В учебниках и хрестоматиях по географии это определялось, по всей вероятности, установкой автора или составителя на природно-климатическое, экономическое (или смешанное) районирование либо на культурно-этнографическую репрезентацию региона. Показательной в этом отношении является структура научных географо-этнографических описаний Империи по регионам. Например, структура хрестоматии по отечествоведению определена ее составителем Д.Д. Семеновым как разделение государства на условные части (девять), осуществляемое по географо-административному принципу. Том «Великорусский край» включал рассказы по этнографии проживающих в весьма обширном регионе – европейской части России – различных групп населения, в том числе и тех, которые населяют берега Волги на всем ее протяжении¹³³. Московская область с прилегающими к ней губерниями не представлена здесь как центральная. Это единственный том из шести, в котором главным оказался не формально-административный и даже не этнографический принцип изложения материала, а возобладал «обобщенный» подход, основанный на четкой взаимозависимости между природной зоной (ландшафтом), климатом, историческими условиями формирования этнокультурных сообществ. При этом Д.Д. Семенов никак не определял границы описываемого края или критерии его выделения на карте; он лишь объединил под общим названием очерки, в которых говорится о промыслах и занятиях представителей различных социальных, профессиональных и лишь отчасти этнических групп (офени, «долгие извозчики», старообрядцы и раскольники, бурлаки, лесопромышленники, волжские купцы, «богомазы», инородцы Казанской губернии и т.д.). Важно отметить, что такое понимание «великорусского» (не этнического в строгом смысле слова, а обобщенно-«русского») было характерно для ранней традиции научно-популярных описаний Российской империи (1830-е – 1840-е гг.)¹³⁴. В стремлении выявить своеобразие региона через характеристику населяющих его жителей можно, по

нашему мнению, видеть в какой-то степени продолжение просвещенческого взгляда на «русских» (великорусов) как на совокупность представителей различных «народных» (сословных, профессионально-ремесленных и иных) типов.

В другом популярном издании по российской истории России (1882) в очерке об историко-географических регионах страны¹³⁵ вычленены основные области Европейской России: Западная Россия, восточные губернии (Вятская, Пермская, Казанская, Симбирская, Саратовская, Самарская, Астраханская, Оренбургская, Уфимская), Прибалтийский край, Финляндия, Малороссия и Украина, Южная Россия, Крым, Царство Польское, Кавказ и Закавказье, а также Великороссия. В последней выделяются группы: три северные губернии (Архангельская, Вологодская, Олонецкая), четыре губернии, лежащие на Алаунской (т.е. Валдайской) возвышенности (Новгородская, Тверская, Псковская, Смоленская) и «центральные, или внутренние, губернии», всего числом 13 (Московская, Владимирская, Ярославская, Костромская, Нижегородская, Пензенская, Тамбовская, Рязанская, Тульская, Калужская, Орловская, Курская, Воронежская).

П.П. Семенов-Тянь-Шанский в «Статистическом временнике» (1871)¹³⁶ разделял Европейскую Россию (вместе с Финляндией, Царством Польским и Кавказом) на 14 «естественных областей», составленных не из губерний, а из уездов; главным фактором для него стали географо-климатические особенности. Впрочем, в 1880-х гг. Семенов дополнил этот принцип классификации еще одним уровнем – с учетом экономического развития регионов, что привело к иному членению Европейской России – на 49 губерний и 12 областей¹³⁷. Крайняя северная область включала Архангельскую и Вологодскую губернии, Новгородская и Псковская вошли вместе с Олонецкой и Санкт-Петербургской в Приозерную область, Центральная земледельческая включала губернии: Рязанскую, Тульскую, Калужскую, Орловскую, Курскую, Воронежскую, Тамбовскую и Пензенскую. Московская промышленная область объединила губернии, традиционно относящиеся к «ядру»: Московскую, Тверскую, Ярославскую, Костромскую, Нижегородскую и Владимирскую.

Именно такое разделение было положено в основу структуры географо-статистического описания Империи – «Живописная Россия» (1881–1901)¹³⁸, создававшегося под редакцией того же П.П. Семенова-Тянь-Шанского. Губернии московские и верхневолжские объединены здесь в одну «промышленную зону» – «Москва и Московская промышленная область»¹³⁹, – включавшую Московскую, Тверскую, Ярославскую, Костромскую, Нижегородскую и Владимирскую. Кроме того, выделена «центрально-черноземная» область, в рамках которой и описывался, например, крестьянский быт насе-

ления великорусского племени внутренних губерний¹⁴⁰. Автор очерка о центральном районе России употреблял понятие «срединная страна» для обозначения «старых окраин» Московского государства, некогда заселенных кривичами, радимичами и северянами, а ныне составляющих черноземные губернии (Воронежская, Курская, Тульская, Рязанская, Тамбовская, Калужская и Орловская), переходящие в степную зону¹⁴¹. Окраины соотносились также с верховьями Волги, Дона и Днепра.

Имелись и некоторые варианты такого структурирования¹⁴². Например, в «Географии» Н.И. Зуева (1887) в состав «мануфактурно-промышленного пространства», именованного «центральным» в Европейской России, включались Московская, Ярославская, Владимирская, Костромская, Нижегородская, Казанская, Калужская, Тульская и Рязанская губернии¹⁴³. Автор подчеркивал, что все они лежат в главных речных бассейнах Волги и ее левых и правых притоков (Оки и Москвы). В этнографическом описании народов Европейской России центральными именовались «фабрично-промышленные губернии» России: Тверская, Ярославская, Костромская, Смоленская, Московская, Владимирская, Тульская, Калужская, Рязанская¹⁴⁴. А великороссийскими, кроме того, еще: Северные и Приволдайские (вероятнее всего, Олонецкая, Архангельская, Вологодская, Псковская, Новгородская, Санкт-Петербургская) губернии, а также Нижегородская, Орловская, Курская, Тамбовская и частично Воронежская и Пензенская¹⁴⁵. Различение великороссийского и центрального регионов здесь очевидно.

В связи с изданием многотомной «Живописной России» в 1880-х – 1890-х гг. вновь обострилась проблема определения Великороссии в узком смысле – как «коренной земли». О границах «внутренней России» высказался в своем историографическом труде М.О. Коялович¹⁴⁶. К моменту написания им «Истории русского самосознания» (1884) вышел только первый том серии «Живописная Россия», но уже был известен план издания, которое авторы проекта под руководством П.П. Семенова-Тян-Шанского видели как описание областей по определенному принципу: от имперских окраин к центру. М.О. Коялович довольно резко критиковал такой план изложения, полагая, что он нелогичен, поскольку в центре внимания в первую очередь должна оказаться исторически и этнографически центральная часть государства. Он определял «внутреннюю Россию, населенную цельным русским народом» как «зерно России» и «в смысле историческом, и в смысле этнографическом, и... в смысле экономическом»¹⁴⁷. В этом случае понятие «русский» оказывалось синонимичным термину «великорусский» в значении этнонима. Столь тесную смысловую взаимосвязь в понимании региона как пространства, населенного представителями этноса, в российской

науке XIX в. нельзя назвать типичной, однако она демонстрирует высокую частотность именно терминов «Великоруссия» и «великорусы». Если подавляющее большинство народов представлено в географо-статистических описаниях как издревле и компактно проживающие в границах выделяемых территорий, то в случае с великорусами налицо явное затруднение и неоднозначность в фиксации точного ареала.

На рубеже веков создавалось еще одно масштабное научное описание Российского государства, под редакцией отца и сына П.П. и В.П. Семеновых-Тянь-Шанских, – «Полное географическое описание нашего Отечества» (1899–1913)¹⁴⁸. Оно осуществлялось иначе, чем «Живописная Россия», соответствуя предложенному М.О. Кояловичем принципу – от историко-этнографического центра к окраинам. Первые тома были посвящены Московской промышленной области и Верхнему Поволжью. Т. 1 – Московская, Калужская, Тверская, Ярославская, Владимирская, Костромская и Нижегородская губернии; т. 2 – описание среднерусской Черноземной области (Курская, Орловская, Тульская, Рязанская, Тамбовская, Воронежская и Пензенская губернии); т. 3 – характеристика Озерной области в составе четырех губерний (Псковской, Новгородской, Санкт-Петербургской и Олонецкой). Выделена была также северная область (т. 4) – Вологодская и Архангельская губернии. На «великорусский» регион отчасти могли претендовать и нижние поволжские и завожские губернии (т. 7) – Симбирская, Самарская, Саратовская и Астраханская губернии). В предисловии редакторы поясняли, что начинают описание с «сердца России» – «Москвы и сгруппированных вокруг нее семи губерний»¹⁴⁹. И хотя основным критерием разделения на области они называли экономическое (промышленное и сельскохозяйственное) развитие, важным представлялся и этнографический фактор. В частности, указывалось, что этот главный регион России населен в этническом смысле племенем, составляющим «первоначальное ядро» Российского государства¹⁵⁰.

Следует подчеркнуть, что именно для 1880-х – 1890-х гг. было характерно настойчивое сопряжение этнического, историко-политического и географического факторов отнесения пространства к великороссийскому. Данный принцип красной нитью проходит в этногеографических описаниях Империи разных жанров. Один из примеров – учебник географии (1887) Н. Зуева: в центральных губерниях «мануфактурно-промышленное пространство есть в то же время центральное пространство Европейской России, физический, административный и промышленный центр которого составляет Москва. Большинство этих губерний расположено по Волге и ее левым и правым притокам» (Волге, Оке, Москве); «центральные губернии» этого пространства «составляют настоящее отечество *русско-*

го народа (выделено автором. – М.Л.) и средоточие государства, где развивалась и где укоренилась русская народность...»¹⁵¹.

Связь племени с территорией характерна и для другого текста конца столетия – очерка А. Воронцового. «Сплошной массой великорусы занимают губернии Верхней Волги, Оки и Суры. Затем уже, совместно с другими народностями, но все еще в преобладающем числе, они занимают губернии озерного пространства, Верхнего Дона, по среднему течению Волги и в губерниях Смоленской, Олонецкой, Вологодской и Вятской»¹⁵², после чего расходятся во все окраины Империи. В более размытом виде указаны гран ... проживают преимущественно в губерниях, расположенных по рекам Оке, Каме, Уралу и Дону, а также в северных, прибрежных и приволжских губерниях»¹⁵³, хотя следует обратить внимание на тенденцию «привязывать» эти территории к речным бассейнам (считалось, что именно реки обусловили наиболее успешное колонизационное движение славянских племен – на юго-восток).

Следует отметить, что и областное/региональное деление Российской империи, предпринятое в «академических» научных описаниях под руководством П.П. Семенова-Тян-Шанского, не было общепринятым. Даже в некоторых учебниках географии губернский состав областей не совпадал с приведенными списками. Так, в популярном учебнике (1887) С.П. Меча принцип разделения несколько иной (самый распространенный в «землеведении» той эпохи – по водным системам). Вследствие этого автор выделяет «свои» группы губерний – вся Европейская Россия состоит здесь из 12 частей. Среди них – северные (Архангельская, Вологодская губернии), озерные (Петербургская, Олонецкая, Новгородская, Псковская и Витебская), а именуемые Семеновым-Тян-Шанским «центральными» губернии распределены у Меча между девятью «волжскими» (Тверская, Ярославская, Костромская, Нижегородская, Казанская, Симбирская, Саратовская, Самарская, Астраханская) и восемью «окскими» (Орловская, Калужская, Тульская, Рязанская, Московская, Владимирская, Тамбовская, Пензенская)¹⁵⁴.

Несколько иначе разделена Российская империя (и в первую очередь европейская территория России) в работе Д.И. Менделеева «К познанию России», первая часть которой посвящена итогам Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. Единицами структурирования пространства, которыми оперировал ученый для составления нескольких сводных таблиц, стали «земли» и «края»¹⁵⁵, в свою очередь состоящие из нескольких губерний. Земли соотносятся с центральными (внутренними) губерниями – коренными великорусскими территориями, однако эти термины нигде не объясняются, и смысл их становится очевиден в ходе анализа. Всего представлено пять земель: Подмосковная, Среднерусская, Верхневолжская, Перм-

ская и Нижневолжская. Остальные распределены в «края», которых насчитывается четырнадцать. Можно предполагать, что название «край» было призвано подчеркнуть «окраинность», рубежность областей (существует у автора и Санкт-Петербургский край в составе Новгородской, Псковской и Санкт-Петербургской губерний) или автономных образований (как Финляндия, ставшая Финским краем). Кроме того, для них характерно более позднее включение в состав государства.

Так или иначе, в терминологии и типологии этих номинаций вновь актуализируются оппозиции внутреннее/внешнее и ядро/окружность, в центре которого – «сердце» великорусского пространства и племени. К Подмосковной земле отнесены губернии, некогда именовавшиеся «великорусскими»: Тверская, Смоленская, Московская, Владимирская, Калужская, Тульская, – но нет Рязанской и Орловской, которые вместе с бывшими среднечерноземными (Тамбовской, Пензенской, Воронежской и Курской) составили Среднерусскую землю. К Верхневолжской земле несколько неожиданно отнесена Казанская (быть может, как будет показано в главе седьмой, оттого, что Казань начиная с 1880-х гг. воспринималась главной границей европейской цивилизации и азиатского мира на Волге) – наряду с объяснимыми Нижегородской, Костромской и Ярославской. Нижневолжская земля состоит из бывших «низовых» волжских губерний – Астраханской, Саратовской, Самарской и Симбирской. Широко понимаемая Пермская земля охватывает Вятскую, Пермскую, Уфимскую и Оренбургскую губернии (две последние, некогда степные, включавшиеся в Оренбургский регион и редко соотносившиеся с великорусским пространством).

Таким образом, в земли включены 24 из 97 губерний Империи. Эти земли соотносятся со «вторым кругом» великороссийского исторического пространства. Удивительно, что Д.И. Менделеев, включив в земли даже Оренбургскую губернию, не включил в «земельную группу» Русский север – тот самый север, который (как будет показано в главе шестой) так долго претендовал быть важнейшим с исторической и племенной точки зрения локусом великорусской этничности. Север у Менделеева вошел в состав Севернорусского края (Архангельская, Вологодская и Олонецкая губернии)¹⁵⁶. Впрочем, главным критерием классификации служил, по-видимому, географический, и тогда окраинные губернии вполне естественно должны были попадать в разряд краев. Это довольно позднее, относящееся к началу XX столетия, членение пространства, весьма показательное как с точки зрения группировки, так и с точки зрения наименований: Московская и Среднерусская, Волжские (все поволжские пространства включены в земли) и Пермская. Следует также подчеркнуть, что такое структурирование принадлежало именно Менде-

лееву, а не воспроизводило принятое в 1897 г. членение государства (как ошибочно полагают некоторые из тех, кто ссылается на цифровые данные итогов Всеобщей переписи 1897 г. по этой работе Менделеева). Административный принцип сбора сведений по переписи был главным, а губернии объединялись в несколько крупных политико-географических регионов в такой последовательности: 1. Европейская Россия; 2. Привислинские губернии; 3. Кавказ; 4. Сибирь; 5. Средняя Азия¹⁵⁷. Поскольку в Великом княжестве Финляндском перепись в том году не проводилась, оно не вошло в список, но, разумеется, являлось шестым компонентом в составе Российской империи согласно политико-географическим стандартам¹⁵⁸.

В начале XX столетия в географических очерках России был представлен и доминировал этнографический принцип определения великорусских/русских губерний и указывалось, что «самыми русскими губерниями в России являются Владимирская и (несколько неожиданно. – М.Л.) Воронежская»¹⁵⁹, поскольку в них проживало абсолютное большинство русского (в широком смысле, т.е. представляющего триединый русский народ) населения: 99,7%. Далее автор поясняет: «Владимирская губерния чисто великорусская», в остальных губерниях доля русских и великорусов ниже¹⁶⁰. И в том же «Полном географическом описании» в соответствии с этнографическим критерием Московская промышленная область и Верхнее Поволжье представлены как «решительно великорусская страна», в которой количество инородцев не превосходит 3%¹⁶¹.

Так или иначе, понятия «зерно» или «ядро» в отношении к центру государства или края оказались весьма удобными для обозначения этого не поддающегося точному определению пространства; на рубеже веков слово «ядро» в качестве нормативного понятия активно используется в работах по географии Империи¹⁶². Однако если в первой половине XIX в. эта метафора определяла пространственный ареал, то в конце столетия использовалась для этноантропологической характеристики, фиксируя племенной состав и зачастую усиливаясь другими метафорами (в частности, «колыбель» или «исток»). В учебнике А.М. Ловягина упомянуты оба варианта. «Ядром» в географическом отношении названы «неизмеримые равнины Восточной Европы, на которых раскинулось Русское царство», самой природой созданные «для административной централизации»¹⁶³. Центральным этот регион мог считаться лишь по отношению к европейской части страны, в то время как географический центр Империи «по пространству» и «населенности» располагался около границ Тобольской и Томской губерний¹⁶⁴. Если вплоть до 1890-х гг. поиски наиболее характерных черт «великорусскости» связывались с установлением этнического типа и типичного региона, то на рубеже веков обозначилась тенденция формализации ядра – оно

устанавливалось математическими и географическими методами. Племенным ядром считался великорусский народ: «Ядро русского населения находится в центральных губерниях – этом исходе нашей национальности, расходящейся во все стороны»¹⁶⁵; или более конкретное определение: «...колыбелью великорусского господствующего племени следует считать, с одной стороны, древнюю область Новгорода и Пскова, с другой – Владимиро-Суздальскую Русь, а также Русь Рязанскую, Тверскую и Московскую»¹⁶⁶. Возможна была и более нейтральная формулировка: «Московская котловина – центр Великороссии, занятый главным образом бассейном Оки. ...Главная великорусская река Волга соединяется под Нижним с Окою, которая своим бассейном обслуживает центральную часть Великороссии. Южная часть Окского бассейна соприкасается с бассейнами Дона и Днепра и лежит в Центрально-земледельческом районе, северная же – в Центрально-промышленном. После соединения с Камой Волга поворачивает круто на юг... и непосредственного отношения к центральной Великороссии уже не имеет»¹⁶⁷.

Таким образом, ареал Великой России не был точно зафиксирован географически, но соотносился с «коренными», или «исконными», землями, составлявшими Российское государство с момента возвышения Москвы. Иначе говоря, были определены его границы в узком и широком смысле, при этом главным критерием включенности тех или иных земель стал историко-государственный принцип.

Представление о регионе проживания этнических великорусов на 1897 г. может дать программа изучения русских крестьян, на основании которой собирались материалы для «Этнографического бюро» князя В.Н. Тенишева. Под «русскими» крестьянами инициатор сбора сведений понимал великорусов – сельских жителей «центральных губерний» Европейской России¹⁶⁸, которых насчитывалось двадцать три. Среди них – четыре входившие (по классификации П.П. Семенова-Тян-Шанского) ранее в состав Верхневолжского края Московско-промышленной области: Тверская, Ярославская, Костромская, Нижегородская; шесть собственно великорусских губерний («центрально-земледельческих»): Московская, Владимирская, Рязанская, Тульская, Орловская, Калужская; шесть северо-западных: Санкт-Петербургская, Псковская, Новгородская, Олонецкая, Вологодская и Вятская; три средние черноземные: Воронежская, Курская и Пензенская, а также дальние – три низовые волжские: Нижегородская, Саратовская и Симбирская. Самой западной стала Смоленская губерния. Таким образом, область доминирования великорусов значительно расширилась за счет включения регионов, считавшихся до того «пограничными» в этнографическом отношении; это, однако, было правомерно с точки зрения преобладания

данного этнического типа в процентном отношении среди населения этих областей. Именно в 1890-х – 1910-х гг. пространство обитания великорусов подразумевает всю Российскую империю, т.е. все области, где живут великорусы, независимо от их численного соотношения с другими племенами и народами. «Господство» племени иллюстрируется, таким образом, не только конкретным, численным преобладанием по итогам переписи, но и самим ходом истории, колонизации и экономическими успехами. «Великорусское племя (ок. 50 млн [человек]) сделалось господствующим на Русской равнине, оно сплотилось в государство в области между верхней Волгой и Окой, объединило все русские племена и распространилось на север... до Ледовитого океана, на юг... до Каспийского и Черного морей и Кавказских гор, а на востоке перешло Уральские горы и заняло значительную часть суши (Сибирь)»¹⁶⁹.

Наконец, этнограф А.Н. Максимов, вскоре после Октябрьской революции 1917 г. выпустивший брошюру «Какие народы живут в России?», в главе о великороссах писал, что преобладающими по великороссийскому населению (причисляя к ним и казачество) следует считать 18 губерний: Петроградскую, Псковскую, Архангельскую, Олонецкую, Вологодскую, Тверскую, Ярославскую, Московскую, Владимирскую, Костромскую, Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Орловскую, Курскую, Воронежскую, Тамбовскую и отдельные уезды или части еще трех: Нижегородской, Саратовской и Самарской¹⁷⁰.

Таким образом, состав великороссийских губерний в течение XIX в. менялся в сторону расширения пространства, ассоциирующегося с Великой Россией, в том числе в связи с введением нового критерия отнесения к региону, который можно было бы назвать этническим. Однако такое определение нуждается в комментарии, ведь речь шла о доминирующем в процентном отношении населении, принадлежность которого к великорусам выявлялась прежде всего по наречию, которое, как будет показано дальше, оставалось главным, хотя не единственным и не всегда первым по значимости этническим признаком.

Параграф 2 Символическая география и ее влияние на трансформацию этнонима: великороссиянин, северный росс/севернорусс, великоросс/великорус

Эволюцию этнонима «великорус/великоросс/великороссиянин» – в той научной интерпретации, которая доминировала в XIX в., – можно проследить, опираясь на тексты словарей, энциклопедий и географическо-статистических описаний Империи. Не вызывает сомнений, что изначально было принято возводить термин прежде всего к топониму «Великая Россия», а именование жителей данного региона трактовалось как производное от этого элемента географической номенклатуры. Однако его понимание не было однозначным, оно только складывалось – в первую очередь под влиянием прежних и новых трактовок.

Как говорилось в предыдущей главе, современные исследователи номинации «малороссиянин/малороссияне» и «малороссийский» в текстах второй половины XVIII столетия склоняются к тому, что они выступали регионимами или этнохоронимами, но не этнонимами в чистом виде. Потому неудивительно, что в сочинениях первой четверти XIX в., описывающих славянское население Империи, упоминания восточнославянских этнонимов по отдельности чрезвычайно редки. Это обусловлено тем, что географы и народоописатели того времени опирались на стандарты репрезентации предшествовавшего века. Уже говорилось о постоянном воспроизведении в словарях и «Описаниях» точки зрения Татищева и целых фрагментов его сочинений, вошедших в крупнейшие издания первых десятилетий XIX в. Это в полной мере касается и «списков» народов, т.е. этнического состава подданных Российской империи. В них продолжала воспроизводиться классификация, где славяне были представлены россиянами («россияне»), а с разделами Речи Посполитой – еще и поляками. Так, в «Землеописании» Е.Ф. Зябловского (1807) в перечне «поколений» (наиболее крупных племенных групп, а не этносов) Российской империи, выделяемых по антропологическому («сходство лиц» – в издании 1807 г. и «сродство лиц, нравов и обычаев» – в издании 1810 г.¹⁷¹) и языковому («сродство языка») принципам, указаны два славянских племени – россияне и поляки¹⁷², т.е. под «россиянами» подразумеваются все три восточнославянские «ветви», которые, однако, в этом тексте порознь не упомянуты. В обновленном и более подробном многотомном издании 1810 г. в список славянских народов попадают, помимо «россиян», еще и казаки, различающиеся по регионам заселения¹⁷³. «Россиянами» именуется эта группа и в географической игре для детей И.Г. Гурьянова (1824)¹⁷⁴.

*Север/юг, запад/восток в символической географии
и их влияние на характеристики обитателей
и этнономинации*

На начальном этапе описаний (в единстве или по «ветвям») русского народа господствовали представления о предмете и методах народоведения, согласно которым самоидентификация этнических групп полностью игнорировалась – объективно-научной признавалась только внешняя идентификация, опиравшаяся на позицию наблюдателя/исследователя/интервьюера.

Необходимо упомянуть еще одну особенность народоведческого дискурса XIX в., обусловленную методами описания этнических Других: характеристики родственных этнических групп всегда давались в сравнении. Это повлияло на принцип выявления этноспецифических черт через соотнесение с известным, знакомым, а также через фиксацию отличительных свойств с помощью сопоставления племен/народов по перечню внешних, а не функциональных признаков. При этом обнаружение различий, индивидуальных особенностей было обязательным в компаративистских штудиях этнографического характера¹⁷⁵. Подавляющее большинство описаний как великорусов, так и малорусов, а также их идентификация наблюдателем осуществлялись прежде всего на основании сравнения двух «русских племен» (исключая белорусов), несмотря на то что очерки быта, нрава и физического типа народов Империи в научной, учебной, популярной литературе могли быть представлены как вместе (в одном очерке), так и по отдельности. Поэтому так называемые *племена/поколения/отрасли/ветви*¹⁷⁶ русского народа (т.е. восточных славян) описывались всегда в сопоставлении. В очерках о малорусах и великорусах, особенно после программной статьи Н.И. Надеждина (1847)¹⁷⁷ компаративность была методологически стандартизирована – только так выявлялись специфические особенности облика, быта, нравов, а также языка и мышления этих двух «оттенков» русского народа. Процессы концептуализации понятий «великоросс/великорус» и «малоросс/малорус» проходили не только синхронно, но и в тесном взаимодействии друг с другом, поскольку понятия осмысливались и формулировались в рамках теории «единой русской нации», обладающей «оттенками», своеобразие которых – в соответствии с господствовавшими в науке теориями антропогеографии – складывалось в первую очередь под влиянием природно-климатических различий. В этногеографическом дискурсе эпохи такая корреляция доминировала как главный дескриптивный принцип.

Трактовка местоположения народа в повествованиях о Другом всегда сочетала черты символической и реальной географии, когда локусы рассматривались в аксиологической системе координат¹⁷⁸:

географический фактор «оказывается наиболее чувствительным к динамике доминирующих процессов... культуры. Такие особенности, как материковое расположение (в центре, на побережье) данной культурной ойкумены, место на военно-политической карте эпохи или же в религиозном пространстве греха и святости, задают и “географическую судьбу” культуры, и некие метафорические константы, и столь же постоянную борьбу между “мифологической” географией и географией “реальной”»¹⁷⁹.

В эпоху романтизма, еще до формирования этнографии как научной дисциплины, в описаниях этнокультурной специфики разных племен и народов в европейской науке активно использовались архаические классификации¹⁸⁰, восходившие еще к античности и реализуемые в сочинениях нравоописателей XVI–XVII вв.¹⁸¹, а позже получившие теоретическое обоснование в трудах немецких и французских просветителей (в частности, И. Гердера, Ш. Монтескьё, Д. Юма, Вольтера и др.¹⁸²). Речь идет о метафорической классификации, основанной на уподоблении внутреннего – внешнему и социального – природному, проявлением чего и было разделение племен/народов на северные и южные, западные и восточные. Оно выстраивалось в соответствии с символической и сакральной географией¹⁸³, наделявшей пространственные ареалы и их обитателей предсказуемым набором свойств и примет. Господствовавшая ранее идея о том, что географические условия обуславливают этнокультурную специфику, так что образ жизни, внешний облик, характер и так называемые склонности различных групп людей напрямую зависят прежде всего от природных факторов, а социально-исторические обстоятельства воздействуют лишь отчасти, в XIX в. обрела и научное подтверждение в теории, разработанной в трудах немецких географов (концепция антропогеографии). Согласно ей, научно-легитимизированными оказались представления о том, что северные и южные народы являются типами-антиподами: северян отличают сангвинический темперамент, суровость, мужество, склонность к военному делу, выносливость и выдержка, прямодушие и искренность, а эмоциональные и страстные южане – меланхоличного склада, изнежены благоприятным климатом, ленивы, медлительны, хитры или мстительны, но склонны к искусствам, одарены творческими способностями¹⁸⁴. Славяне в аналогичных классификациях XVII–XVIII вв. относились либо к «срединным» народам, т.е. представляли смешанный тип, либо каждое из племен наделялось северными/западными или южными/восточными чертами – в зависимости от точки зрения наблюдателя в прямом значении слова.

В XVIII – начале XIX в. части света и связанные с ними оценки цивилизованности и характеристики нравов диктовались позицией наблюдателя, находящегося в Центральной Европе, – его точка

зрения определяла ориентиры так называемой ментальной карты¹⁸⁵. При этом смена масштаба обзора или позиции наблюдателя не меняла закономерности противопоставления: кардинальные различия северян и южан легко обнаруживались как в европейском культурном пространстве, так и в границах стран, отдельных их регионов, и даже в пределах административных единиц (вплоть до уезда). Они легко поддавались изменению в зависимости от географического и идеологического «положения» наблюдателя. Поэтому оппозиции «север/юг», «запад/восток» в эпоху романтизма быстро меняли свое семантическое наполнение, приписывая одни и те же свойства как представителям оппозиции «север/запад»¹⁸⁶, так же как в мифе о Европе «Азия» или «Сибирь» понимались в первую очередь метафорически¹⁸⁷, а «восток» и «запад» могли оказаться важными маркерами в идентификации «центрального» и «периферийного» в пространстве культуры. По этой причине «азиатами» в Российской империи могли называть как финно-угров (расовая принадлежность которых к монголоидам считалась в ту эпоху доказанной) и великорусов (из-за «финской» части их крови), так и поляков, когда речь шла о сарматских элементах их культуры и нрава в сравнении с западноевропейскими. Такое толкование было значимо только в рамках одной общности, и символика данных ориентиров могла не признаваться даже ближайшими соседями. В свою очередь, качествами северян наделялись германские народы – в сопоставлении с южными романскими, однако в сравнении со славянами те же германцы выступали как представители «запада».

Когда в XVII–XVIII столетиях в центре внимания описателей находилась Европа, то «абсолютные» север и юг на ментальных картах были определены более или менее конкретно; однако начиная с эпохи Просвещения такое соотнесение постепенно становилось все более произвольным, за исключением «полярных» типов, т.е. жителей «абсолютного севера» (народов Скандинавии и англичан) и «юга» (Османской империи, княжеств Италии, южных провинций Испании, севера Африки и др.).

С развитием в XIX в. страноведения – области географии, изучающей природно-экономическое своеобразие отдельных государств, – эта точка отсчета (условный центр) помещается в границах каждой из стран, что приводит к фиксации типологических особенностей юга и севера внутри страны и позволяет обнаружить температурных южан и суровых и молчаливых северян среди представителей одной нации, народа и даже его «отрасли» (субэтноса) – в различных регионах, особенно тяготеющих к окраинам. Такая детализация значима только в рамках одной общности, и символика данных ориентиров может не признаваться даже ближайшими соседями. Поэтому определения «южный» и «северный» по отношению

к этнической группе являлись не столько географической номинацией, сколько этнокультурной характеристикой.

Возвращаясь к этническим номинациям «отраслей» или «оттенков» русского народа, напомним, что на рубеже XVIII–XIX вв. «юг» Российской империи определился: им стала «русская Аркадия», как именовали Малороссию. В путешествиях первых десятилетий XIX в. (В. Измайлов, П. Шаликов) она именовалась «полуденной Россией» и «поэтическим Югом»¹⁸⁸. «Севером» в этом случае оказывался Петербург и его окрестности – такое же отождествление было закреплено в европейских травелогах – за Россией в целом¹⁸⁹ (апогей данной концептуализации – негативизм и ирония А. де Кюстина в отношении «северных» русских¹⁹⁰). Важно также заметить, что эта категоризация «россиян» в широком смысле – в противопоставлении европейцам – была воспринята деятелями русской культуры после Отечественной войны 1812 года, и особенно укрепилась в 1820-х гг. Русские как «северяне» на этом новом этапе формирования национального самосознания выступали как носители мужества и стойкости, чем и объяснялась их победа над изнеженными не только климатом, но и комфортом цивилизации европейцами.

Не удалось установить с точностью, когда совершился перенос определения «северный» со всех жителей Империи на то племенное ответвление, которое позже станет именоваться «великороссиянами». Более правдоподобной кажется версия, что это происходит параллельно процессу различения «оттенков» русской народности в 1820-х – 1830-х гг., в ходе разработки концепции народности¹⁹¹, а также в связи с детализацией структуры великорусского наречия по говорам-наречиям в соответствии с регионами (подробнее об этом говорится в третьей главе). Наименования локальных инвариантов осуществлялись также по принципу отношения к ядру/центру (севернорусские и южнорусские говоры).

Поэтому в первой половине столетия описания «отраслей» русского народа постоянно апеллировали к привычной европейской дихотомии; следует отметить, что это не был исключительный случай – такое же географо-символическое ориентирование использовалось в изображении всех племен и народов. Однако в «русском случае» соотнесение с севером и югом закрепилось в наименовании. Начиная с 1820-х гг. (хотя отдельные примеры встречались и несколько ранее) малороссияне (малороссы) именовались *южнороссами/южноруссами* и противопоставлялись *северноруссам, или северным россам, т.е. великороссиянам/великороссам*. Частотными производными выступали также «севернорусский»/«южнорусский». Отличия этих двух «отраслей» рассматривались в соответствии с предписанными и потому ожидаемыми от северных и южных обитателей стереотипными характеристиками. В частности, исследо-

вания восточнославянского фольклора 1820-х – 1830-х гг. привели ученых к выводу о том, что именно вследствие народных темпераментов «южнорусская» народная поэзия представляет совершенную противоположность поэзии «севернорусской»¹⁹². Аналогичным образом в рассуждениях о русских (общерусских) наречиях, о различиях между великороссийским и малороссийским его вариантами чаще всего использовалась именно эта дихотомия – севернорусское/малорусское.

Аналогичным образом структурировал свою рецензию (1847) на публикацию «Описания Украины» Г. де Боплана и Ю.И. Венелин¹⁹³, который разделяет «русский народ» на две основные ветви – северную и южную (хотя упоминает еще одну восточнорусскую группу – болгар), или на «северян» и «южан»¹⁹⁴, «северных и южных россиян»¹⁹⁵; критерием различения являются «уклонения в языке». При этом Венелин использовал ряд синонимичных понятий для обозначения «южных россов» («украинцы», «малороссы», «украинский русак», «хохол»), для других «россов» он применял только слово «москвитянин» и определения, связывающие их с регионом Руси Северо-Западной – но «дорюриковой» (слово самого автора; мы не приводим также указываемые им многочисленные «народные» наименования). Венелин, однако, утверждал, что общим, «собственным» названием северян и южан является «росс», а названием страны – «Русь». «Северяне называют себя прилагательным, производимым от *Русь... русьскими*, но пишутся *русские*, ибо последнее с делает лишним ь; южане, напротив, еще ближе и естественнее, не прилагательным, но *материименным... от Русь (русин), русинами*, т.е. сынами Руси... Но, впрочем, все равно: *русин* ли, *русак*, *русский* ли, *россиянин* или коренное *росс* ли (выделено автором. – М.Л.)»¹⁹⁶. «Но зато и южане, – продолжает автор, – в свою очередь, не допускают северян участвовать в россизме; как ни называй себя он русским, все-таки он не русин, а москаль, липован и кацап. По мнению южан, настоящая Русь простирается только до тех пределов, до коих живут южане, а все прочее Московщина. В том же самом мнении и какой-либо карпато-росс, живущий на берегах Тисы; его Часослов или Минея киевской печати напоминают ему Русь, но не Москву, хотя и московская печать у него не редкость»¹⁹⁷. Сам Венелин стоит на стороне приверженцев «малороссийской» версии. Он пишет: «В этом споре сих двух русских братьев о наследстве участвовала судьей вся Европа и отчасти Азия; единодушно решено всеми народами в пользу южан. И действительно, по понятию всех народов, Русь от Карпатов простиралась только по Глухов и Витебск, а то все прочее было Московщина. Напрасно Грозный и Величавый Алексей именовались царями всея Великия, и Малыя, и Бельяя России; все еще в актах Европы Русью именовалась только Галиция, Подолье и

Волынь. Этому имени не осмелились отнимать у южан и самые лютые враги их. История гонений свидетельствует, сколь дорого стоило им это имя»¹⁹⁸. При этом Венелин вообще не использовал этноним «великорус», настаивая, как видим, на том, что «россизм» не признают за «москалями» не только южноруссы, но, в сущности, и сами «москальи», не считающие малороссов «своими». Конечно, следует учитывать, что такое оригинальное для 1830-х гг. мнение не было типичным в полной мере по причине происхождения автора, который приехал в Россию только в 1823 г., однако в контексте этнонимии данные высказывания как раз показательны.

Интересна завуалированная репрезентация вариаций «единого народа русского» в книге (1848) А.В. Терещенко, представлявшей в сущности апологизацию идеи общерусской «народности». Несмотря на то что у автора нет деления на северный/южный «оттенки», намек на это все же прочитывается. Терещенко «дает подсказку»: жители разных областей (частей) России именуется у него по регионам – например, по характеристике в «жителях Юго-Западной части» мы можем с высокой долей уверенности «опознать» малороссиян; обитатели же северо-восточной части России ассоциируются с великороссиянами¹⁹⁹. При этом в книге в некоторых случаях прямо используются определения «великороссияне» и «малороссияне»²⁰⁰; в частности, он включал в состав славянских племен Империи «русских, малороссиян, казаков... и поляков»²⁰¹. Впрочем, нет полной уверенности в том, что Терещенко подразумевал именно этнонимы, а не регионимы; этнонимическое значение явственно лишь в процитированном словосочетании.

Автор указывал на то, что «между малороссиянами и русскими нет никакого различия: один дух и одно благородное желание управляет ими. Если мы видим различие нравов, то это не есть противодействие народности»²⁰². Контекстуальный анализ позволяет утверждать отсутствие различия с оговоркой; самого автора, по-видимому, не очень заботило корректное словоупотребление, поскольку у него в одном синонимическом ряду стоят малороссияне, жители юго-западной части России и русские. Однако исторический и этнографический фрагменты сочинения Терещенко дают основание с большей или меньшей степенью уверенности говорить о том, что для автора «русский народ» эквивалентен скорее «великороссиянам», а не всем восточнославянским племенам, как это было общепотребительным в научном лексиконе той эпохи.

Авторы описаний русского народа и его региональных разновидностей, как и в дефинициях регионов «Великая» и «Малая Россия», часто прибегали к формуле «собственно», «собственный», т.е. «русский в узком смысле». Терещенко также использовал данное определение: «собственно русские»²⁰³ – это великороссияне. Тот же прием применен автором вышедшего в 1865 г. популярного словаря:

«Великороссияне, или собственно русские... казаки донские и произошедшие от них кавказские, астраханские, оренбургские, уральские и сибирские, принадлежащие к русскому племени, – и отдельно малороссияне и белорусы»²⁰⁴. Встречаются также более лаконичные и конкретные отождествления русских и великороссиян – правда, в книге, предназначенной иностранным читателям (1862), говорится: «Русские, т.е. обитатели губерний Великороссии»²⁰⁵.

Отчетливо проявившаяся у А.В. Терещенко тенденция к синонимизации наименований «русские» и «великороссияне», как уже было сказано, была характерна и для историков 1840-х – 1850-х гг. В частности: в заглавиях трудов И.М. Снегирева и И.П. Сахарова 1830-х – 1840-х гг. присутствует слово «русский», однако содержание показывает, что речь идет о великорусах и их предках – в отличие, кстати, от расширительного использования данного прилагательного в историко-этнографических сочинениях 1860-х – 1880-х гг., (например, И.Е. Забелина, М.М. Забылина, Н.И. Костомарова²⁰⁶). Такое же отождествление часто встречалось в этногеографических текстах, но не в основных (номенклатурных или классификационных) «сюжетах», а при характеристике своеобразных свойств или черт великорусского племени. Впрочем, данный вопрос требует лексикологического анализа индивидуального словоупотребления конкретных авторов и его трансформации на протяжении десятилетий, поэтому ограничимся лишь констатацией данной особенности для текстов, возникших до 1860-х гг.²⁰⁷

В письмах М.А. Максимовича к М.П. Погодину по поводу малороссийского языка конца 1840-х гг.²⁰⁸ активно используются определения «южнорусское» (в значении «малороссийское») и «севернорусское» («великороссийское») для наименования наречий, встречаются (в тех же значениях) словосочетания «южнорусский» и «севернорусский»²⁰⁹.

Трудно выявить определенную тенденцию смены номинаций для определения «великороссияне» в творчестве Н.И. Надеждина. В своей важнейшей (цитировавшейся выше) статье о Великой России он использовал определения «великороссияне», «великороссийский народ»²¹⁰; в его этнографическом очерке появляется определение «ветвь обширного славянорусского (или русского. – М.Л.) племени»²¹¹ таким образом, под «славянорусским» понимаются три восточнославянские группы. Однако при этом слово «русский» выступает и как синоним «великорусского»²¹². А десятью годами позже, в программной статье 1847 г. «Об этнографическом изучении народности русской», Н.И. Надеждин вполне предсказуемо именует велико- и малороссов с точки зрения наиболее частотных названий «отраслей» русского народа через оппозиции северные/южные и западные/восточные «восточнорусским (великороссийским) и югозападнорусским, т.е. малороссийским, пле-

менами (выделено автором. – М.Л.)»²¹³. Они же названы «северо-восточными и юго-западными россами» и «квалифицируются» как «два оттенка народности общерусской» – «восточнорусской (великороссийской) и западнорусской (тут исключительно малороссийской)»²¹⁴. «Северо-восточным руссом» Надеждин именуует представителя северной «отрасли» русских²¹⁵, противопоставленной «юго-западному» ее «облику» (белорусам). «Западнорусским оттенком» названа белорусская народность. Прилагательное «великороссийская» Надеждин связывает и с существительными «старина», «особность». Таким образом, употребляя слово «великороссияне» («мы, великороссияне»), он тем не менее использует (как и Ю.И. Венелин) целый ряд соположенных наименований. Упоминая важный, с его точки зрения, вопрос о том, что «различия, существующие между оттенками великороссийским и малороссийским в пределах России, служат для некоторых поводом к утверждению: будто их нельзя считать оттенками одного основного типа; будто это *не один* русский народ, а *две* отдельные народности, каждая с равным самобытным значением в общей великой семье славянской»²¹⁶, Надеждин уклоняется от однозначного решения, ссылаясь на необходимость дальнейшего изучения проблемы. Вряд ли можно на этом основании однозначно заключить, что данные наименования «отраслей» являются именно этнонимами, призванными подчеркнуть этническую специфику, а не этниконами, – ведь Надеждин не соотносил свои рассуждения с народной самоидентификацией, хотя фиксировал кардинальные различия в быте, культуре, обычаях данных групп. При этом он однозначно утверждает, что язык (важнейший критерий этничности того времени) этих «отраслей» – общерусский; поэтому можно предполагать, что мы имеем дело не с этнонимом в чистом виде, а с наименованием племенной ветви. С другой стороны, реконструированные нами значения понятия «народность» в языке науки 1840-х – 1870-х гг., когда «народность» толковалась как «этничность», не позволяют полностью отвергать и другой вариант трактовки, непосредственно относящийся к этнонимии.

«Восточное поколение, или великороссияне» и «юго-западное, или малороссияне, и северо-западное», т.е. белорусы, представлены в учебнике по географии 1843 г.²¹⁷; слова «россияне» и «великороссияне» (судя по контексту употребления) выступают в качестве синонимов²¹⁸. Когда речь заходит о региональных отличиях «русских» групп, то проявляются определенные закономерности в распределении свойств в категориях «север», «запад» противопоставляя их «югу» и «востоку». Данная оппозиция не только оказалась главенствующей в описаниях двух восточнославянских «отраслей» русского народа, но также структурно и методологически определяла способы репрезентации и форму изложения: исключительно в сравнении и с опорой на врожденные, сформированные климатом качества.

Зафиксированные в этнонимии отличия русских южан от северян встречаем в статьях К.Д. Кавелина конца 1840-х гг.²¹⁹; в авторском тексте «Записок о Южной Руси» (1856) П.П. Кулиша фигурируют «северный» и «южный» русские народы²²⁰. В трудах и лекциях В.О. Ключевского 1870-х – 1890-х гг. указывались различия в характерах двух групп или в их этнокультурной специфике («народностях»), ориентированных по частям света, вызванные природой страны²²¹, и в этом случае вновь актуализировались наименования с определениями «южный» («юго-западный») и «северный» («северо-восточный»). Историк С.М. Соловьеву на начальном этапе создания «Истории России» тоже были присущи подобные представления. В начале первого тома (1851) он указывал на важное различие в характере «южного и северного народонаселения Руси», вызванного природой страны²²². Разделяя идеи географического детерминизма, Соловьев вообще придавал географическому и климатическому факторам важную роль в историческом развитии, в особенности в процессе формирования народов и государств. Обусловленность нрава природой он рассматривал в том же ключе, что и деятели Просвещения. Соловьев доказывал, что благоприятные условия «усыпляют» умственную и телесную деятельность человека, делая его способным лишь на кратковременные усилия или напряжение сил («порывистость»). Скупая же природа, напротив, «держит всегда в возбужденном состоянии» – «его деятельность постоянна»; племена, формирующиеся в подобной обстановке, способны подчинять себе более слабых и создавать «крепкие основы государственного быта». Зато «приятный» климат развивает в народе чувство красоты, стремление к искусствам и веселость, – напротив, среди небогатой природы чувство изящного развивается плохо, а характер народа отличают практическое, деятельное начало и «суровость нравов». Определенно утверждая «неблагоприятность» условий северо-востока Руси в сравнении с ее юго-западной частью²²³, Соловьев считает примером первого «типа» будущих малорусов («жителей южного народонаселения Руси»), второго – великорусов (северной ее части)²²⁴.

Велико- и малороссияне

В 1820-х – 1850-х гг. в качестве синонимичной пары «севернорусы/южноруссы» продолжали активно использоваться характерные для предшествующего века понятия «великороссияне/малороссияне», которые, однако не функционировали как этнонимы, поскольку еще некоторое время не включались в качестве номенклатурных единиц в список славянских народов Российской империи. Он, как уже говорилось, «составлялся» по языкам, отчего носители

языка русского именовались «россиянами». Среди известных нам статистических и географических описаний 1830-х гг. «великороссияне» и «малороссияне» в качестве отдельных племенных отраслей, а не наименований жителей или наречий впервые зафиксированы в статистическом обзоре Н.А. Иванова и Ф.В. Булгарина (1837), появившемся в том же году, что и энциклопедическая статья Н.И. Надеждина. В перечне племен, населяющих Российскую империю, к славянским отнесены великороссияне и малороссияне (по отдельности): поляки с литвой объединены; указаны немногочисленные проживающие в России сербы, болгары и «прочие славяне», а также казаки, разделяемые по регионам проживания (шесть групп)²²⁵.

Как в статье Н.И. Надеждина о Великой России²²⁶, так и в трудах М.П. Погодина 1840-х – 1850-х гг.²²⁷ использовались исключительно понятия «великороссияне» (а не «великороссы» или «великоруссы») и образованное от него прилагательное «великороссийский». Н.И. Надеждин в статье 1837 г. специально останавливался на вопросе об образовании этнонима «великороссияне» от топонима «Великая Россия». Напомним (об этом говорилось выше), что, рассматривая словосочетание «Великая Россия» как искусственное образование, Надеждин заявлял: «...до сих пор не пишется *Великая Русь, великоруссы, великорусский*, но “Великая Россия”, “великороссияне”, “великороссийский”»²²⁸. Однако это утверждение не совсем верно. Так, в изданном в том же году сочинении О.М. Бодянского²²⁹ для обозначения великороссиян используется ряд синонимичных лексем, в том числе и «великоруссы»: северный русс²³⁰, северноруссы²³¹, великороссиянин²³², русские²³³, великорусы²³⁴; их песни именуются русскими²³⁵, севернорусскими²³⁶, великорусскими²³⁷. Такое же обилие синонимичных определений наличествует и в книге А.В. Терещенко (1848). В уже цитировавшейся переписке Погодина и Максимовича конца 1840-х – начала 1850-х гг. по поводу малороссийского языка/наречия также встречаются наименования «великороссияне» (в паре с «малороссиянами») и прилагательные «великороссийский»/«малороссийский» для обозначения наречий и характера двух родственных племен.

Заметим, что безальтернативное именование племен «русского народа» «малороссиянами» и «великороссиянами» (не «малорусами» и «великорусами») использовалось в этнографических описаниях подавляющего большинства великороссийских и малороссийских губерний в издававшемся в 1840-х – 1850-х гг. Военно-статистическом обозрении Российской империи²³⁸, а также в этногеографических научных описаниях того времени, в частности в учебниках И. Павловского²³⁹, А. Ободовского²⁴⁰ и Я. Кузнецова²⁴¹ (у Павловского – в нескольких вариантах, в Обзрении – исключительно в этой форме). Такое же безальтернативное именование двух «русских народов» встречается в детской географической игре К. Грибанова²⁴².

Если исходить из предположения о том, что появление «парных» наименований происходило одновременно, реализуясь прежде всего в жанре сравнительных народоописаний «оттенков» русской народности, то можно допустить, что понятия-этнонимы «великороссияне»/«малороссияне», как и «великороссы»/«южнороссы» (а чуть позже «великоруссы»/«малоруссы»), бытовали в этнографическом и публицистическом лексиконе параллельно друг другу (точный ответ дадут лингвистические словари, в частности соответствующие тома уже спроектированного и находящегося на стадии подготовки Словаря русского языка XIX века). Несмотря на аргументированное заключение коллег о том, что понятия «малороссы/украинцы/южнороссы» в начале XIX в. употреблялись все так же «бессистемно» и «как синонимы» в трактовке XVIII в., т.е. не имея значения этнонимов, а применялись для различения населения Малороссии и жителей «Великороссии»²⁴³, попробуем систематизировать данное словоупотребление в текстах избранного нами жанра.

Для этого необходимо обратиться к «рубежной» в плане использования этнонима «южноруссы/южнороссы/южные руссы» статье Н.И. Костомарова «Две русские народности» (1861). Автор применяет этноним «малороссияне/малороссы/южноруссы» (а также их дериваты) как синонимы, однако в количественном отношении абсолютно преобладают «южноруссы»²⁴⁴. Сравнивая две русские народности, Костомаров именует одну из них «северной народностью», или, описательно, говорит о тех, кто обитает на севере Русской земли. Обращаясь к вопросу о происхождении, Костомаров пишет, что «...выдуманное в последнее время название *южноруссов* остается пока книжным, если не навсегда останется таким, потому что, даже по своему сложному виду, как-то неусвоительно для обыденной народной речи»²⁴⁵. (Автор статьи полагал, что «южноруссы» постепенно переняли насмешливое прозвище «хохлы», данное им великороссами, и оно стало самоназванием²⁴⁶.) При этом, как видим, в сравнительной репрезентации историка доминируют «южноруссы» и «великоруссы». Довольно странно его замечание о «недавности» возникновения данных названий – ведь известная статья Ю.И. Венелина была издана в 1847 г.

Интересно, что в историографии конца XIX в. образование прилагательного «южнорусский» и этнонима «южнорусс» не соотносили ни с наименованием наречия/языка, ни с регионом «Южная Русь», – их происхождение рассматривалось как ненаучное/ненормативное. Так, в программной для русской этнографии статье (1892) для Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона Д.Н. Анучин во фрагменте, посвященном интерпретации Костомаровым двух русских народностей, выдвигал предположение о том, что этноним «южноруссы» возник позже топонимических этнонимов «малорос-

сияне» и «малоруссы». Анучин не сомневался в том, что этноним «южноруссы» появился как альтернатива определению «малороссияне» и «малоруссы» в творчестве малороссийских деятелей и имеет патриотически-идеологическую мотивацию. Анучин писал: «Название “южноруссы”, введенное, впрочем, несколько ранее Костомарова, писателями малороссийского происхождения, имело, очевидно, целью, устранив понятие о “малости” или “великости”, ввести более определенные обозначения, основанные на различии географического распространения. К этому присоединилось еще представление, развитое Максимовичем, Костомаровым и другими, что теперешние малоруссы составляют прямых потомков, и по крови, и по языку, древних южнорусских славянских племен»²⁴⁷.

Сам же Д.Н. Анучин, следуя в этом вопросе за Н.И. Надеждиным, относит возникновение определений «великороссияне»/«малороссияне» к появлению пары «Великая и Малая Россия» (т.е. к XVII в.), подчеркивая, что «различие между “велико-” и “малороссиянами” сделалось общепринятым в книжной литературе и образованном обществе, но именно в этой форме, а не в форме “малоруссы” и “великоруссы”»²⁴⁸. Последние именованья Анучин, напротив, считал совсем новыми, относя их к 1850-м – 1860-м гг., – «отчасти вследствие оставления вообще искусственного и высокопарного имени “россияне”, а отчасти и по примеру Костомарова, который пользовался наименованиями то “северно-” и “южноруссы”, то “велико-” и “малоруссы”»²⁴⁹. Действительно, появление этой пары в двух вариациях (с корнями *росс-* и *рус-*) соотносится с серединой столетия. Они, как правило, фигурируют в трех вариантах в одних и тех же текстах, но налицо тенденция к весьма кратковременному бытованию определений «великоросс»/«малоросс». Филологи могли бы точнее описать ход эволюции этих лингвонимов; отметим лишь, что преобразование шло, вероятно, от корня *росс-* к корню *рус-* – по аналогии с процессами более раннего периода, о реконструкции которых в современных лингвистических исследованиях говорилось в историографической части Введения²⁵⁰.

В этногеографических описаниях понятие «великоруссы» бытовало до 1850-х гг. как менее частотное, в отличие от явно преобладавшего «великороссияне». Не исключено, что такое употребление данного понятия было много шире, не ограничиваясь сугубо специальными текстами данного жанра. Так, анализ этнонимов в языке А.С. Пушкина обнаруживает слова «великороссиянин», «россиянин», «русак», «русский» при отсутствии слов «великорус/великоросс»²⁵¹. «Великоруссы» появляются в конце 1840-х гг. и вначале функционируют как синоним к определениям «великороссиянин» и «северный росс», «северорус». Во второй половине столетия наименования «южноруссы» и «северноруссы» хотя и сохраняются, но постепенно пере-

мещаются на периферию научной лексики, используются все реже. Однако в сравнительных характеристиках малорусов и великорусов они намного более частотны даже в конце XIX – начале XX в.

Так, первые два тома (1890–1891) четырехтомного труда А.Н. Пыпина по истории русской этнографии имеют подзаголовок «Этнография великорусская»²⁵², однако в самом тексте отчетливо преобладает определение «русский». Показательно, что прилагательное «великорусский» появляется только в десятой главе, в которую включен параграф «Начало малорусской этнографии», где говорится о сопоставлении «великорусского и малорусского племен в их взаимном отношении»²⁵³ в научных изысканиях 1840-х гг. В третьем томе, полностью посвященном малорусской этнографии, А.Н. Пыпин использовал понятия «южнорусский» и «севернорусский» для обозначения своеобразия «малоросской народности», не отрицая, впрочем, концепции о триединстве русского народа. Он писал: «...русская по своей глубочайшей основе, она целые века прожила отдельно от другой русской отрасли, которой суждено было основать самостоятельное государство и стать господствующей стихией русского мира; и те особенности этнографические, которые можно угадывать еще в древнем характере южнорусского племени сравнительно с северным, развились под влиянием истории в такие своеобразные формы, которые бросались в глаза самому народу и резко отличили “хохла” от “москаля”»²⁵⁴. Формирование различий русского «севера» (Великороссии) и «юга» (Южнороссии, Малороссии) историк на основании заключений существующей историографии связывал с их политическим разделением в XIV в.; к этому же периоду он относил складывание особенностей языка и, как следствие, этнических групп²⁵⁵.

В созданном в конце XIX в. антропологическом очерке И.А. Пантюхова северорусами («севернорусский тип») именуется представители великорусского племени на длительном историческом промежутке²⁵⁶, а в очерках 1920-х гг. М.Н. Покровского мы обнаруживаем определение «северноруссы» применительно к племенным восточнославянским образованиям в описании колонизационных процессов в землях Северо-Восточной Руси. Под «северноруссами» историк подразумевал «кривичей и словен», которые, ранее смешавшись с варягами, начали освоение этих земель с севера. Они создали города Ростов и Суздаль и, сделав их опорными пунктами дальнейшей колонизации, направились на юг. Там они оказались соперниками «восточноруссов» (вятичей). Потомками первых Покровский считал суздальцев, потомками вторых – рязанцев²⁵⁷. «Таким образом на пространстве меж Верхней Волгою и Окою создано сплошное русское население»²⁵⁸, – резюмировал он.

Вплоть до 1880-х гг. безусловно доминирует дериват от «великороссияне» – прилагательное «великороссийский», которое, однако,

использовалось (в народоописательной – подчеркнем! – литературе) для определения в первую очередь проявлений нематериальных примет народности и (реже) особенностей нрава. В текстах до 1850-х гг. нам не удалось найти определения «великоросский/великорусский» при описании различий в быте или обрядности; и вплоть до конца столетия данное прилагательное гораздо чаще использовалось в этнографических очерках для характеристики быта, фольклора и нрава, т.е. сферой его бытования были описания так называемой духовной культуры. Оба прилагательных – и «великороссийский», и «малороссийский» фиксировали этнокультурное своеобразие фольклора (малороссийские песни, думы, эпопеи), словесности (великороссийские песни, стихи, книги, мелодии, грамота), языка/наречия (малороссийское и великороссийское наречие, речь, слова, говоры и т.п.), различных литературных жанров (малороссийская литература) и значительно реже использовались в очерках материальной культуры, хозяйственных занятий, быта.

Таким образом, можно утверждать, что в народоописательной и географическо-статистической литературе 1820-х – 1840-х гг. в качестве нормативного этнонима выступало восходившее к словоупотреблению XVIII в. наименование *великороссиянин/великороссияне*, противопоставленное паре *малороссиянин/малороссияне*²⁵⁹. Наименование «русский народ» в 1820-х – 1840-х гг. часто применялось в двух значениях. С одной стороны, оно обозначало русских как подданных русского государя и относилось к трем восточнославянским племенам в совокупности, а с другой – употреблялось в контексте этнографо-исторических описаний реалий русского быта и образа жизни допетровского времени (главным образом XVI–XVII вв.), то есть для обозначения донациональной рускости Российского царства. В этом втором смысле прилагательное «русский» оказывалось тождественно определению «великорусский» – когда авторам необходимо было подчеркнуть этнокультурную специфику культуры в землях великорусского этапа государственности.

Начиная с 1850-х – 1860-х гг. словоупотребление подвергалось трансформации; безусловно доминирующим этнонимом становится «великоросс/великорус» – так же как «малороссиянина» сменяет «малоросс/малорус» (в XIX в. подобные наименования писались с двумя «с»). Характерно, например, что в текстах Н.И. Надеждина замена лексемы «малороссийский» на «малорусский» через десять лет после его статьи «Великая Россия»: в наименованиях языка Надеждин употребляет прилагательное «великороссийский», однако здесь же, в рассуждениях о языках и наречиях, использует определения «малорусский» и «белорусский»²⁶⁰. Впрочем, в той же работе встречаем видоизмененную пару понятий: *великороссияне/малороссы*²⁶¹.

Следует еще раз подчеркнуть, что после Н.И. Надеждина ни один исследователь не высказал сомнения в «книжности» и в этом смысле в «искусственности» (т.е. сконструированности) рассмотренных лингвонимов топонимического происхождения от понятий «Великая или Малая Русь/Россия». Как и в указанной статье Д.Н. Анучина (1892), так и в работах А.И. Соболевского начала XX в. подчеркивалось, что употребительное взаимное наименование великорусами и малорусами друг друга – «хохлы» и «кацапы/москали». Притом что в обыденной речи чаще всего (как указывалось в научной литературе), использовалось все же название «русский». А.И. Соболевский писал: «...русский народ нигде не называет себя великорусами, малорусами или белорусами; эти этнографические названия принадлежат науке и употребляются только образованными людьми»²⁶². В этом смысле совершенно понятно, почему в «Словаре живого великорусского языка» В.И. Даля в ряду понятий с корнем *велик-* отсутствуют наименования *великоросс/великорус* и производных от него (один из зарубежных исследователей, реконструировавший содержание определений *российский/русский/великорусский* в языке XIX в., даже квалифицировал данный факт как «curious»²⁶³). В лексике живой русской/великорусской речи эти понятия так и не вошли ни в качестве эндонимов, ни в других значениях, продолжая функционировать и видоизменяться в нормативных текстах/литературном языке, т.е. в иных дискурсах.

Абсолютно доминировавший в этногеографических описаниях 1860-х – 1890-х гг. Великороссии и великорусов этноним «великорусс» (всегда с двумя «с») и его производные не исключали, однако, использования в тех же самых текстах понятия «великоросс» – часто в качестве единицы официальной номенклатуры народов Российской империи или в заглавиях очерков, репрезентирующих данную группу в масштабных общеимперских проектах.

Гораздо более трудным является вопрос о соотношении понятий «русский» и «великорус» в период (последняя треть столетия) доминирования определения «великорус». Для ответа на него необходимы специальные исследования. В анализируемых нами источниках с 1880-х гг. заметна, с одной стороны, тенденция к синонимизации данных значений, а с другой – понятие «русские» активно используется в качестве названия российского народа как нации, а не как этноса. Противоречивость словоупотребления отмечалась деятелями образования и культуры. Красноречивая иллюстрация содержится в критическом отзыве одной из известных деятелей народного просвещения – А.М. Калмыковой (в те годы – учительницы грамоты в Харькове) на серию популярных брошюр для солдатского и народного чтения в издании «Мирского вестника» (1871–1880), посвященных этногеографическим описаниям различных регионов Российской

империи. Возмущаясь призывами авторов к необходимости обрусения (в частности, Прибалтийского края), она пишет: «Слишком часто забывают у нас о том, что в смысле этнографическом словом *русский* обозначается всякий человек русского происхождения, т.е. великоросса, малоросса и белоруса; но слово *русский* существует и в смысле политическом и в этом смысле обозначает всех подданных Русского государства, к какой бы национальности они ни принадлежали...»²⁶⁴

Примечания

- ¹ Саушкин Ю.Г. Основные идеи русской классической географии дореволюционного периода // Саушкин Ю.Г. Избранные труды. Смоленск, 2001. С. 234–235.
- ² Иванов Н.А., Булгарин Ф.В. Россия в историческом, географическом и литературном отношении: Ручная книга для русских всех сословий Ф. Булгарина: В 6 ч. Ч. 1: Статистики часть первая, содержащая в себе: введение, I. Основные силы государства. СПб., 1837. С. 5.
- ³ Там же. С. 6–10.
- ⁴ Риттер К. Общее землеведение. Лекции, читанные в Берлинском университете. М., 1864. С. 7.
- ⁵ Никитин Н.П. Исторический обзор развития отечественной экономической географии // Отечественные экономико-географы XVIII–XX вв. М., 1957. С. 5–9.
- ⁶ Подробнее см.: Лескинен М.В. Поляки и финны в российской науке второй половины XIX в.: «другой» сквозь призму идентичности. М., 2010. Гл. 2.
- ⁷ С 1861 по 1917 г. их было около 26, не считая группировок губерний в статистических изданиях (см.: Никитин Н.П. Исторический обзор. С. 34).
- ⁸ Зябловский Е.Ф. Новейшее землеописание Российской империи: В 2 ч. СПб., 1818.
- ⁹ Арсеньев К. Начертание статистики Российского государства: В 2 ч. СПб., 1818–1819.
- ¹⁰ О военно-политических, социальных и иных последствиях такого административного деления подробно рассуждал применительно к Сибири А.В. Ремнев (см.: Ремнев А.В. Географические, административные и ментальные границы Сибири (XIX – начало XX в.) // Сибирская заимка. 2002. № 8. Статья доступна по адресу: http://www.zaimka.ru/08_2002/remnev_border).
- ¹¹ Весин Л. Исторический обзор учебников общей и русской географии, издаваемых со времен Петра Великого по 1876 год (1710–1876). СПб., 1876. С. 418.
- ¹² Павловский И. География Российской империи: В 2 ч. Дерпт, 1843. Ч. 2. С. 4–6.
- ¹³ Весин Л. Исторический обзор... С. 418–420.
- ¹⁴ Там же.
- ¹⁵ Военно-статистическое обозрение Российской Империи, издаваемое по Высочайшему повелению при Первом Отделении Департамента Генерального Штаба: В 18 т. СПб., 1837–1854.
- ¹⁶ Иванов Н.А., Булгарин Ф.В. Россия в историческом, географическом и литературном отношении. Ч. 1. С. 45–49.

- ¹⁷ Павловский И. География Российской империи. Ч. 2. С. 4–6.
- ¹⁸ Учебная книга географии. Российская империя: Курс гимназический / Сост. Е.А. Лебедев. СПб., 1873.
- ¹⁹ Никитин Н.П. Исторический обзор...
- ²⁰ География Европейской России: В 2 ч. / Сост. В. Маркозов. Киев, 1882. Ч. 1. С. 227–228.
- ²¹ Россия. Экономический отдел. Деление России на районы по естественным и экономическим признакам // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона: В XLI т. (82 п/т) / Под ред. Е.И. Андреевского. СПб., 1890–1907. Т. XXVIII (п/т 56). СПб., 1899. С. 227–230; Никитин Н.П. Исторический обзор...; Саушкин Ю.Г. История и методология географической науки. М., 1976.
- ²² Семенов П.П. Предисловие // Статистический временник Российской империи. Т. 1. СПб., 1866; об этом см.: *Tagirova N. Mapping the Empire's Economic Regions from the Nineteenth to the Early Twentieth Century // Russian Empire: Space, People, Power. 1700–1930. Bloomington, 2007. P. 125–138.*
- ²³ Статистика поземельной собственности / Под ред. П.П. Семенова. СПб., 1880–1886. Необходимо отметить, что оставалось деление и на черноземную и нечерноземную области, выделяемые на основании доминирующих форм земледелия и других признаков, а также другие разновидности членения по климатическим зонам (см.: Россия. Экономический отдел. Деление России на районы по естественным и экономическим признакам // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона. Т. XXVIII (п/т 56). СПб., 1899. С. 227–230.
- ²⁴ Географическо-статистический словарь Российской империи: В 5 т. СПб., 1863–1885.
- ²⁵ Русская земля. Природа страны, население и его промыслы: Сб. для народного чтения: В 10 т. 3-е изд. СПб., 1901.
- ²⁶ Долбилов М. Культурная идиома возрождения России как фактор имперской политики в Северо-Западном крае в 1863–1865 гг. // *Ab Imperio*. 2001. № 1–2. С. 227–268; *Он же*. Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. М., 2010. Гл. 4.
- ²⁷ Слёзкин Ю. Естествоиспытатели и нации: русские ученые XVIII века и проблема этнического многообразия // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология. М., 2005. С. 147.
- ²⁸ Н.Н. (Надеждин Н.И.) Великая Россия // Энциклопедический лексикон / Под ред. Н.И. Греча и О.И. Сенковского. Изд. А.А. Плюшара: В 17 т. (не окончено). СПб., 1834–1841. Т. IX. СПб., 1837. С. 261–276.
- ²⁹ Там же. С. 261.
- ³⁰ Там же. С. 262.
- ³¹ Там же. С. 263.
- ³² Там же.
- ³³ Там же. С. 261.
- ³⁴ Там же. С. 263.
- ³⁵ Там же.
- ³⁶ Татищев В.Н. Руссия или как ныне зовут, Россия // Татищев В.Н. Избранные труды по географии России. М., 1950. С. 116–119. Интересно, что Н.И. Надеж-

- дин выступил автором вводной статьи и комментатором данного текста при его первой в XIX в. публикации (см.: Журнал Министерства внутренних дел. 1839. № 6. С. 331–406.)
- 37 *Н.Н. (Надеждин Н.И.) Великая Россия.* С. 264.
- 38 Территория // Настольный энциклопедический словарь 1899 г. о России. СПб., 1899.
- 39 *Н.Н. (Надеждин Н.И.) Великая Россия.* С. 263.
- 40 *Арсеньев К.* Статистические очерки России. СПб., 1848. С. 27–58.
- 41 Подробнее об этапах вхождения разных регионов в Московское, Российское государства, а затем – в Империю см.: *Арсеньев К.* Статистические очерки России. СПб., 1848. Об «Учреждении о губерниях» см.: Там же. С. 111–116.
- 42 *Надеждин Н.И.* Опыт исторической географии русского мира. Статья первая // Библиотека для чтения. 1837. Т. XXII. Отдел 3. С. 39.
- 43 Там же.
- 44 Россия. Экономический отдел...; *Никитин Н.П.* Исторический обзор...
- 45 *Горизонтов Л.Е.* Внутренняя Россия на ментальных картах имперского пространства // Культура и пространство. Славянский мир. М., 2004. С. 206.
- 46 Н.Я. Данилевский, размышляя о направлениях и формах колонизации русскими окраин Империи, указывал, что эти потоки «образуют не новые центры русской жизни, а только расширяют единый, нераздельный круг ее» (цит. по: *Ремнев А.В.* Географические, административные и ментальные границы Сибири...).
- 47 *Горизонтов Л.Е.* Внутренняя Россия... С. 202–203.
- 48 (*Пассек В.В.*) Мечтанья // (*Пассек В.В.*) Путевые записки Вадима. М., 1834.
- 49 Там же. С. 168.
- 50 Там же. С. 168–169.
- 51 Там же. С. 170.
- 52 Там же. С. 170–171.
- 53 Там же. С. 171–172.
- 54 Там же. С. 172–173.
- 55 Путешествие по русским проселочным дорогам. Сочинение Д.П. Шелехова, помещика Тверской губернии. СПб., 1842.
- 56 Там же. С. 14–15.
- 57 *Иванов Н.И., Булгарин Ф.В.* Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях. Ч. 1. С. 298.
- 58 *Шафарик П.И.* Славянское народописание / Пер. с чеш. И. Бодянского. М., 1843. С. 11.
- 59 Россия // Карманная книга географии. С 21 раскрашенной ландкартой / Пер. с нем. докт. фил. Пастор Зедегольм. М., 1835. С. 207–230, 216–223.
- 60 *Иванов Н.И., Булгарин Ф.В.* Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях. Ч. 1. С. 46–47.
- 61 Путешествие по русским проселочным дорогам. С. 12–13.
- 62 *Пушкарев И.И.* Описание Российской империи в историческом, географическом и статистическом отношениях: В 4 т. СПб., 1844–1846.
- 63 *Пушкарев И.И.* Предисловие // *Пушкарев И.И.* Описание Российской империи. Т. 1. Кн. 1. СПб., 1844. С. II–III.

- 64 *Огарев Н.П.* Замечания на статью, помещенную в № 98 «Московских ведомостей» под заглавием «Опыт статистического распределения Российской империи» // *Московские ведомости.* 1847. № 116. Здесь и далее все сведения приводятся по ст.: *Никитин Н.П.* Николай Платонович Огарев о районировании России // *Отечественные экономико-географы XVIII–XX вв...* С. 152–161.
- 65 Опыт статистического распределения Российской империи // *Журнал Министерства внутренних дел.* 1847. Ч. 19. С. 286–294.
- 66 *Никитин Н.П.* Николай Платонович Огарев... С. 155.
- 67 Там же. С. 158.
- 68 Считаю возможным не оговаривать специально в этом месте содержание понятия «инородцы», о котором много написано: *Инородцы* // *Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона.* Т. XIII (п/т 25). СПб., 1894; *Сидоров А.А.* Инородческий вопрос и идея федерализации в России. СПб., 1912. С. 224–225; *Соколовский С.В.* Категория «коренные народы» в российской политике, законодательстве и праве (текст доступен по адресу: <http://www.prof.msu.ru/publ/book3/sok.htm>); *Кэмпбелл Е.И. (Воробьева).* «Единая и неделимая Россия» и «инородческий вопрос» в имперской политике самодержавия // *Пространство власти: исторический опыт России и вызовы современности.* М., 2001. С. 204–216; *Slocum J.W.* Who, and When, Were Inorodtsy. The Evolution of the Category of «Aliens» in Imperial Russia // *The Russian Review.* 1998. Т. 57. № 2. Р. 173–190; *Бобровников В.О.* Что вышло из проектов создания в России инородцев? (Ответ Джону Слокуму из мусульманских окраин империи) // «Понятия о России». К исторической семантике имперского периода / Под ред. А. Миллера, Д. Сдвижкова, И. Ширле: В 2 т. М., НЛЮ, 2012. Т. II. С. 259–291.

Подчеркнем, однако, что, с нашей точки зрения, неверно рассматривать категорию «инородцы» как этническую. Если в последней трети столетия она и считалась таковой, то лишь в обыденном сознании, используя (в том числе в тогдашней популярной и учебной литературе) для обозначения сословно-этнической принадлежности, и пейоративного оттенка не носила (об этом см.: *Лескинен М.В.* *Национальное: наука и политика в Российской империи второй половины XIX в.* // *Вопросы национализма.* 2013. № 3 (15). С. 206–207). К тому же в корне ошибочно говорить о разделении народов Империи на русских и нерусских инородцев, синонимизируя таким образом понятия «нерусские» и «инородцы» и противопоставляя тем самым русских всем другим народам империи. Инородцами именовали представителей неславянских групп, то есть оппозиция выглядела как славяне/инородцы, а не как русские/инородцы. В славянскую группу входили и описывались в этнографических очерках четвертыми (после трех восточнославянских/русских групп) поляки, начиная с первого раздела Речи Посполитой (1772). Четыре славянских народа фигурировали во всех без исключения перечнях (XVIII–XIX вв.) групп или всех народов, обитающих в Российской империи, но во многих более подробных очерках упоминались также небольшие по численности славянские этносы – прежде всего болгары, сербы, изредка также чехи; кроме того, нередко (но не как правило) в данную группу включались казаки, которых относили то к великорусам, то к малорусам. В классификации

народов Российской империи, представленной на Этнографической выставке (1867), также применено деление «инородческие и славянские» народы. Вероятные корни заблуждения (экстраполяции поздних значений и коннотаций на представления XIX в.) следует отнести к началу XX в. Одним из первых расширительную трактовку понятия «инородцы» предпринял министр внутренних дел П.А. Столыпин, в своем известном Циркуляре от 21 января 1910 г. относивший к инородцам даже малорусов (подробнее об этом см.: *Горизонтов Л.Е.* «Инородческий казус» 1910 года как проявление конфликта идентичностей в политической жизни Российской империи // *Konfliktszenarien um 1900: politisch – sozial – kulturell. Österreich-Ungarn und das Russische Imperium im Vergleich/Сценарии конфликтов на рубеже XIX–XX веков: политические – социальные – культурные. Австро-Венгерская и Российская империи. Wien, 2011*). В толковом словаре этого времени П.Е. Стояна также в качестве примера инородцев указаны (вопреки всем предшествующим трактовкам этнических инородцев) поляки (см.: *Инородцы // Стоян П.Е.* Малый толковый словарь русского языка. 3-е изд. Пг., 1916. С. 226).

69 *Арсеньев К.* Статистические очерки России... С. 25–26.

70 Там же. С. 26.

71 С 1861 по 1917 г. их было около 26, не считая группировок губерний в статистических изданиях (см.: *Никитин Н.П.* Исторический обзор... С. 34).

72 *Арсеньев К.* Статистические очерки России.

73 Там же. С. 204.

74 Там же. С. 204–208.

75 Там же. С. 214.

76 Там же. С. 204.

77 *Российская империя // Ободовский А.* Краткая всеобщая география. СПб., 1852. С. 62–63.

78 Там же. С. 63–64.

79 *Павловский И.* География Российской империи. Ч. 2. С. 7. Аналогичная эволюция политонима: Русь (с 862 г.), Русия (с 1578 г.), Россия (с 1606 г.), Руссия (с 1634 = г.), Россия (с 1725 г.), представлена в: *Материалы из русской истории, статистики и географии. М., 1846.* С. 3. Наименование «Великая Русь» связывается также с именем Ивана Грозного, стремившегося отличать эти территории «от Южной Руссии, которая с 1383 или 1478 г. называется Малороссиею» (там же. С. 4).

80 *Павловский И.* География Российской империи... Ч. 2. С. 7.

81 *Великая Россия // Справочный энциклопедический словарь, издающийся под ред. А. Старчевского: В 12 т. (13 кн.). СПб., 1847–1855. Т. 3. СПб., 1854. С. 112.*

82 Там же. С. 113.

83 *Великая Россия // Настольный словарь для справок по всем отраслям знания (Справочный энциклопедический лексикон): В 3 т., составленный под ред. Ф. Толля. СПб., 1863–1866. (Т. 3. СПб., 1866, – под ред. В.Р. Зотова и Ф. Толля). Т. 1. СПб., 1863. С. 429.*

84 *Горизонтов Л.Е.* Внутренняя Россия на ментальных картах... С. 202–203.

85 *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен // *Соловьев С.М.* Соч.: В 18 кн. М., 1988–1995. Кн. I. М., 1988. Т. 1. С. 67.

- ⁸⁶ Ловягин А.М. Отечествоведение. Природные условия, народное хозяйство, духовная культура и государственный строй Российской империи. Опыт учебной книги. СПб., 1901. С. 559; *Лесгафт Э.* Отечествоведение: Курс среднеучебных заведений. СПб., 1907.
- ⁸⁷ *Риттих А.Ф.* Первая лекция // *Риттих А.Ф.* Четыре лекции по русской этнографии. СПб., 1895. С. 11.
- ⁸⁸ Великая Россия // Русский энциклопедический словарь / Под ред. И.Н. Березина: В 16 т. СПб., 1873–1879. Отдел 1. Т. 5. СПб., 1875. С. 25.
- ⁸⁹ Там же. С. 25–26.
- ⁹⁰ Великоруссы // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Эфрона. Т. Va (п/т. 10). СПб., 1892. (Автор – *Д. Анучин*) С. 828.
- ⁹¹ Там же.
- ⁹² Там же. С. 829.
- ⁹³ Там же.
- ⁹⁴ Великороссия // Большая энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания / Под ред. С.Н. Южакова: В 20 т. СПб.–Лейпциг, 1900–1907. Т. 4. СПб., 1900. С. 572.
- ⁹⁵ Там же.
- ⁹⁶ Россия. Племенной состав // Большая энциклопедия. Т. 16. СПб., 1904. С. 458.
- ⁹⁷ *Винклер П.П., фон.* Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи, внесенные в полное собрание законов с 1649 по 1900 год. СПб., 1901. С. 20.
- ⁹⁸ Там же.
- ⁹⁹ «Божиею поспешествующею милостию, Мы, NN, Император и Самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский; Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь Херсониса Таврического, Царь Грузинский; Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский; Князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигальский, Самогитский, Белостокский, Корельский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; Государь и Великий Князь Новагорода низовския земли, Черниговский, Рязанский, Полотский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея северныя страны Повелитель; и Государь Иверския, Карталинския и Кабардинския земли и области Арменския; Черкасских и Горских Князей и иных Наследный Государь и Обладатель; Государь Туркестанский; Наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-Голстинский, Стормарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский и прочая, и прочая, и прочая» (Часть первая. Глава шестая. Ст. 59 // Свод законов Российской империи: В 16 т. и 5 кн. СПб., 1912. Т. 1. С. 4–5).
- ¹⁰⁰ *Эткинд А., Уффельманн Д., Кукулин И.* Внутренняя колонизация России: между практикой и воображением // Там, внутри. Практики внутренней колонизации и культурной истории России / Под ред. А. Эткинда, Д. Уффельманна, И. Кукулина. М., 2012. С. 6–12.
- ¹⁰¹ *Филошкин А.И.* Титулы русских государей. М.–СПб., 2006.

- 102 *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен // *Соловьев С.М.* Соч.: В 18 кн. Кн. I. Т. 1. М., 1988. С. 59.
- 103 Там же. С. 67.
- 104 Там же. С. 68.
- 105 *Ключевский В.О.* Курс русской истории. Часть первая. Лекция II // *Ключевский В.О.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1987–1990. Т. I. М., 1987. С. 52.
- 106 *Ключевский В.О.* Терминология русской истории // *Ключевский В.О.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1989. Т. VI. С. 100.
- 107 *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен // *Соловьев С.М.* Соч.: В 18 кн. Кн. VII. Т. 13. М., 1991. С. 25; *Ключевский В.О.* Курс русской истории. Часть первая. Лекция XVI // *Ключевский В.О.* Собр. соч.: В 9 т. Т. I. С. 289; *Ключевский В.О.* Курс русской истории. Часть первая. Лекция XVII // Там же. С. 295.
- 108 *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен // *Соловьев С.М.* Соч.: В 18 кн. Кн. VII. Т. 13. М., 1991. С. 25; *Ключевский В.О.* Курс русской истории. Часть первая. Лекция XVII. С. 296.
- 109 *Ключевский В.О.* Курс русской истории. Часть первая. Лекция I. С. 33–48. С. 48.
- 110 Там же. С. 50–53.
- 111 Там же. С. 51–52.
- 112 *Максимович М.А.* О названии Киевской Руси Россией // Киевские епархиальные ведомости. 1868. № 1.
- 113 *Потебня А.* Этимологические заметки // Живая старина. 1891. Т. 1. Вып. III. Отдел I. С. 117–128; *Ламанский В.И.* «Белая Русь» // Живая старина. 1891. Т. I. Вып. III. Отдел V. С. 245–250; Белая Русь // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона. В XLI т. (82 полут.) / Под ред. Е.И. Андреевского. СПб., 1890–1907. Т. V. СПб., 1891. С. 173–174; *Грушевский М. С.* Велика, Мала і Біла Русь // Україна. Київ, 1917. Кн. 1/2. С. 7–19.
- 114 *Потебня А.* Этимологические заметки...
- 115 *Ламанский В.И.* «Белая Русь»... С. 245, 248.
- 116 Там же. С. 247.
- 117 Там же. С. 248.
- 118 Там же. С. 249.
- 119 Белая Русь // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона. С. 173–174.
- 120 Там же. С. 174.
- 121 *Павловский И.* География Российской империи... Ч. 2. С. 7–8.
- 122 Военно-статистическое обозрение Российской Империи...
- 123 *Белоха П.* Учебник географии Российской империи. СПб., 1863. С. 92.
- 124 Там же. С. 99.
- 125 *Субботин А.П.* Волга и волгари: Путевые очерки. Т. 1. Верхняя Волга. СПб., 1894. С. 2.
- 126 *Разумов И.* Землеописание земного шара. Политогеа. М., 1859. Ч. 4. Российская империя. С. 449–664; *Он же.* Азбука Земли, или Очерки землеописания для детей. М., 1864.
- 127 *Разумов И.* Землеописание земного шара. Ч. 4. С. 550–551.
- 128 *Горизонтов Л.Е.* Внутренняя Россия на ментальных картах...

- ¹²⁹ Там же. С. 202–203.
- ¹³⁰ Горизонтов Л.Е. «Большая русская нация» в имперской и национальной стратегии самодержавия // *Пространство власти: исторический опыт России и вызовы современности*. М., 2001. С. 129–150.
- ¹³¹ Мацузато К. Генерал-губернаторства в Российской империи: от этнического к пространственному подходу // *Новая имперская история постсоветского пространства*. Казань, 2004. С. 432–433.
- ¹³² Как это практиковалось в случае с фиксацией «русских» и «нерусских» территорий и этнического состава жителей, например, в Западном крае см.: Келлен П. Об этнографической карте Европейской России. СПб., 1852; Риттих А. Атлас населения девяти губерний Западного края по вероисповеданиям и национальностям. СПб., 1863; Батюшков П.Н., Риттих А.Ф. Атлас населения западно-русского края по исповеданиям. СПб., 1864; Риттих А. Материалы для этнографии Царства Польского. СПб., 1864; Карта России и племен, ее населяющих (1866) / Сост. и рис. Н. Теребенев // *Образы народов Российской империи 60-х гг. XIX в.* Из фотоархива Российского этнографического музея. DVD. Подробный анализ картографических принципов этого времени и его связи с политикой и идеологией см.: Seigel S. *Mapping Europe's Borderlands: Russian Cartography in the Age of Empire*. Chicago–L., 2012. См. также рецензии на эту книгу: Чекин Л. *Карты народов: взгляд на новую историю Восточной Европы* (Рец. на кн.: Seigel S. *Mapping Europe's Borderlands: Russian Cartography in the Age of Empire*. Chicago; L., 2012) // *Новое литературное обозрение*. 2015. № 1 (131); Котенко А. «Здравствуйтесь, господин Домский!»: Рец. кн.: Seigel S. *Mapping Europe's Borderlands. Russian Cartography in the Age of Empire*. Chicago and London: University of Chicago Press, 2012 // *Ab imperio*. 2013. Т. 4. С. 23–30.
- ¹³³ *Отечественноеведение. Россия по рассказам путешественников и ученым исследованиям: Учеб. пособие для учащихся: В 6 т. / Сост. Д.Д. Семенов*. СПб., 1866–1870. Т. V. Великорусский край. СПб., М., 1869.
- ¹³⁴ В частности, В.В. Пассеком (см.: Пассек В.В. *Очерки России: В 5 кн.* М., 1838–1842.
- ¹³⁵ *Откуда началась Святая Русь. Всенародная история Российского государства / Под ред. К. Соловьева*. 1882. С. 72–73.
- ¹³⁶ *Статистический временник*. СПб., 1871.
- ¹³⁷ *Статистика поземельной собственности..* Необходимо отметить, что оставалось деление и на черноземную и нечерноземную области, выделяемые на основании доминирующих форм земледелия и других признаков, а также иные разновидности членения по климатическим зонам (см.: Россия. Экономический отдел. *Деление России на районы по естественным и экономическим признакам*).
- ¹³⁸ *Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении / Под общ. ред. П.П. Семенова, вице-председателя Императорского Русского Географического Общества: В 12 т. (19 кн.)*. СПб.–М., 1881–1901.
- ¹³⁹ *Москва и Московская промышленная область // Там же*. Т. 6. Ч. 1–2. СПб.–М., 1898–1899.

- ¹⁴⁰ Очерк III. Быт сельского населения великорусского племени внутренних губерний // Там же. Т. VII. Центральнo-черноземная и Донско-Каспийская степная области. Ч. I. Центральная Черноземная область. М., 1900. С. 32–63 (автор – П.С. Усов).
- ¹⁴¹ Очерк VI. Срединная страна // Там же. С. 99–135 (автор – Д. Девудовский).
- ¹⁴² Так, выделяются географо-климатические зоны. Например, Центральнo-промышленная область, Степной и Привислинский края, Финляндия рассмотрена вместе с Озерной областью и Прибалтийским краем, в отдельном томе – описание волжского региона («Волга-Матушка») (см.: Русская земля. Природа страны, население и его промыслы: Сб. для народного чтения: В 10 т. / Сост. Я.И. Руднев. СПб., 1899–1909).
- ¹⁴³ Зуев Н. География Российской империи: Курс средних учеб. заведений. СПб., 1887. С. 83.
- ¹⁴⁴ Зограф Н.Ю. Русские народы. Наброски пером и карандашом: В 4 ч. Ч. I. Европейская Россия. М., 1894. С. 29.
- ¹⁴⁵ Там же.
- ¹⁴⁶ Коялович М.О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. СПб., 1884.
- ¹⁴⁷ Там же. С. 449.
- ¹⁴⁸ Россия. Полное географическое описание нашего отечества: Настольная и дорожная книга для русских людей: В 22 т. (вышло 19) / Под ред. В.П. Семенова; Под руководством П.П. Семенова и В.И. Ламанского. СПб., 1899–1913.
- ¹⁴⁹ Семенов В. Предисловие ко всему изданию // Там же. Т. 1. Московская промышленная область и Верхнее Поволжье. СПб., 1899. С. IX.
- ¹⁵⁰ Там же. С. X.
- ¹⁵¹ Зуев Н. География Российской империи. СПб., 1887. С. 84.
- ¹⁵² Воронцовский А. Великоруссы // По русской земле: Географические очерки и картины для чтения в семье и школе / Сост. А. Сахаров. М., 1890. С. 176.
- ¹⁵³ Степанцов В.В. Население // Систематический сборник очерков по отечествоведению / Под. ред. Ф.А. Фельдмана. СПб., 1898. С. 37.
- ¹⁵⁴ Меч С. Учебник отечественной географии: Курс гимназический. М., 1887. С. 7–12.
- ¹⁵⁵ Менделеев Д.И. К познанию России (1906) // Менделеев Д.И. К познанию России. М., 2002. С. 46–53.
- ¹⁵⁶ Там же.
- ¹⁵⁷ Первые предварительные итоги переписи были опубликованы на двух языках в том же году. См.: Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Вып. 1. Население Империи по переписи 27 января 1897 года по уездам. СПб., 1897.
- ¹⁵⁸ Нельзя не упомянуть и современную трактовку территориального состава европейских регионов Российской империи конца XVIII–XIX в., представленную в этнографических и статистических исследованиях. Она также принимает за основу соотношение территорий губерний с доминирующим великорусским населением и их хозяйственно-экономическую специализацию: Центральнo-промышленный район (губернии Московская, Владимирская, Калужская, Ярослав-

- ская, Костромская, Нижегородская, Тверская), Центрально-земледельческий район (Воронежская, Рязанская, Тамбовская, Орловская, Курская, Тульская), Северный – Поморье (Архангельская, Вологодская), Северо-Западный – Озерный (Новгородская, Олонецкая, Петербургская, Псковская), Западный (Смоленская губерния), Среднее Поволжье (Казанская, Пензенская, Симбирская), Нижнее Поволжье (Саратовская, Астраханская) (см.: *Кабузан В.М.* Народы России в XVIII в. Численность и этнический состав. М., 1990. С. 84–86; 225–230; *Он же.* Народы России в первой половине XIX в.: Численность и этнический состав. М., 1992. Гл. 3; Русские / Отв. ред. В.А. Александров, И.В. Власова, Н.С. Полищук. М., 1999. С. 38–40). Однако при этом данные регионы никак не связаны с историко-культурными зонами расселения этноса, которые вычлняются на основании антропологического облика языка и этногенеза в целом (там же. Гл. 4).
- ¹⁵⁹ Народы России. Великороссы // Народы Земли: Географические очерки жизни человека на Земле / Под ред. А. Острогорского: В 3 кн., 4 т. СПб., 1901–1903. Кн. 3. Т. 4. Россия. СПб., 1903. С. 10. (Автор – В. Загорский).
- ¹⁶⁰ Там же.
- ¹⁶¹ Гл. V. Распределение Московской промышленной области и Верхнего Поволжья по территории, его этнический состав, быт и культура // Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Т. 1. Московская промышленная область. С. 94.
- ¹⁶² *Ловягин А.М.* Отечествоведение; *Лесгафт Э.* Отечествоведение.
- ¹⁶³ *Ловягин А.М.* Отечествоведение. С. 559.
- ¹⁶⁴ *Менделеев Д.И.* К познанию России. С. 179.
- ¹⁶⁵ *Риттих А.Ф.* Первая лекция... С. 11.
- ¹⁶⁶ Россия. А. География и этнография России // Настольный энциклопедический словарь. 1-е изд.: В 8 т. М.: Изд-во Бр. А. и И. Гранат и Ко, 1891–1903. Т. VII. М., 1896. С. 4300.
- ¹⁶⁷ Народы России. Великороссы... С. 9.
- ¹⁶⁸ *Тенишев В.Н.* Деятельность человека. СПб., 1897. С. 48–83; *Он же.* Программа этнографических сведений о крестьянах Центральной России. Смоленск, 1897. Наиболее полное современное издание материалов: Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы: Материалы Этнографического бюро князя В.Н. Тенишева. СПб., 2004 (продолжающееся издание); От составителей // Там же. Т. 1. СПб., 2004. С. 6–15.
- ¹⁶⁹ Отдел третий. География всеобщая и русская // Настольная книга для народа. СПб., 1891. С. 110.
- ¹⁷⁰ Великороссы // *Максимов А.Н.* Какие народы живут в России? М., 1919. С. 12–13.
- ¹⁷¹ *Зябловский Е.Ф.* Землеписание Российской империи для всех состояний: В 6 ч. СПб., 1810. С. 4.
- ¹⁷² *Зябловский Е.Ф.* Новейшее землеписание Российской империи: В 2 т. СПб., 1807. Т. 1. С. 91.
- ¹⁷³ *Зябловский Е.Ф.* Землеписание Российской империи... С. 5.
- ¹⁷⁴ Новейшая географико-историческая игра, или Первый курс географии и истории для детей обоего пола. От 7 до 13 лет, заключающий в себе описание всех

- пяти частей света, с политическим разделением оных на государства (по Венскому конгрессу), с разделением последних по областям и с изъяснением как положения государств, так и знатнейших гор, рек, заливов, городов столичных и так чем-либо примечательных, а вместе с сим приобщается краткая история каждого государства, древние имена как оных, так и гор, рек и городов; число жителей, гербы, ордена, царствующие государи и главнейшие достопримечательности, как естественные, так и искусственные, а равно и древности, в государствах находящиеся. М., 1824. С. 59. Еще одно издание именовалось так: *Дитя-россиянин, или Новая географическая игра для детей, служащая им увеселением и наставлением к познанию Государства Российского: Оная содержит в себе изображение обитателей каждой губернии в их одеяниях, гербы губерний, пределы губерний, качество почвы, произведения, уездные и безуездные города, реки, озера, места достопримечательные и градусы широты и долготы разных мест губерний / Рис. и сост. Иваном Гурьяновым. М., 1830–1832.*
- 175 Подробнее об этом см.: *Лескинен М.В. Поляки и финны... С. 66–70.*
- 176 Понятия, которые использовались в научной литературе для классификации групп, составляющих триединый русский народ.
- 177 *Надеждин Н.И. Об этнографическом изучении народности русской // Записки Русского географического общества. СПб., 1847. Кн. 2. С. 61–115.*
- 178 *Лотман Ю.М. О понятии географического пространства в русских средневековых текстах // Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. М., 1999. С. 239–248.*
- 179 *Лотман Ю.М. Современность между Востоком и Западом // Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. М., 2002. С. 744.*
- 180 *Лескинен М.В. Поляки и финны... С. 114–129.*
- 181 *Мыльников А.С. Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Представления об этнической номинации и этничности XVI – начала XVIII века. СПб., 1999; Лескинен М.В. От «натуры» к «гению»: традиции нравоописаний европейских народов XVI–XVIII вв. // Текст славянской культуры: Сб. в честь юбилея Л.А. Софроновой. М., 2011. С. 431–448.*
- 182 *Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977; Монтескьё Ш. О духе законов // Монтескьё Ш. Избр. произведения. М., 1955; Юм Д. О национальных характерах // Юм Д. Соч.: В 2 т. М., 1996. Т. 2. С. 605–621; Гельвеций К. О человеке // Гельвеций К. Соч.: В 2 т. М., 1974. Т. 2.*
- 183 *Подосинов А.В. Страны света в системе символической классификации // Подосинов А.В. Ex oriente lux: Ориентация по странам света в архаических культурах Евразии. М., 1999. Ч. 2. Гл. 2.*
- 184 *Лескинен М.В. Поляки и финны. С. 98–102.*
- 185 *Шенк Б. Ментальные карты. Конструирование географического пространства в Европе со времени эпохи Просвещения. Обзор литературы // Новое литературное обозрение. 2001. № 6 (52). С. 42–61. О процессе «регионализации» в Европе см. обзор Е. Сюча (*Сюч Е. Три исторических региона Европы // Центральная Европа как исторический регион. М., 1996. С. 147–265*); *Миллер А.И. Тема Центральной Европы: история, современные дискурсы и место в них России // Новое литературное обозрение. 2001. № 6 (52).**

- 186 О механизмах переориентирования ментальных карт в XVIII – начале XIX в. с оппозиции юг/север на запад/восток см., например: *Вульф Л.* Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании людей Просвещения / Пер. с англ. М., 2003; *Шенк Б.* Ментальные карты... С. 42–48.
- 187 Об этом см., в частности: *Мочалова В.В.* Миф Европы у польских романтиков // Миф Европы в литературе и культуре Польши и России. М., 2004. С. 129–146; *Лескинен М.В.* Миф Европы и Польша в «Записках» В.С. Печерина // Там же. С. 161–181.
- 188 *Левкиевская Е.* Стереотип украинца в русском сознании // Украина и украинцы: образы, представления, стереотипы. Русские и украинцы во взаимном общении и восприятии. М., 2008. С. 157; *Александровский И.С.* Украинский вопрос на страницах периодических изданий второй четверти XIX в. // Русские об Украине и украинцах. СПб., 2012. С. 131–152.
- 189 *Мильчина В.* Сентиментальный национализм и многообразная русификация (Круглый стол «Национализм в имперской России: идеологические модели и дискурсивные практики», 2002 г.) // *Ab Imperio.* 2002. № 2. С. 533–545.
- 190 Там же.
- 191 *Лескинен М.В.* Поляки и финны. Гл. 2.
- 192 *Максимович М.А.* О малороссийских народных песнях. Предисловие // *Максимович М.А.* Собр. соч.: В 3 т. Киев, 1876–1880. Т. 2. Киев, 1877. С. 443–444; *Бодянский О.М.* О народной поэзии славянских племен. М., 1837. С. 122–123.
- 193 *Венелин Ю.* О споре между южанами и северянами насчет их россизма // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1847. Год третий. № 4. С. 1–16.
- 194 Там же. С. 2–3.
- 195 Там же.
- 196 Там же. С. 3–4.
- 197 Там же. С. 5.
- 198 Там же.
- 199 *Терещенко А.* Быт русского народа: В 7 ч. СПб., 1848. Ч. 1. С. 156–158.
- 200 Там же. С. 79.
- 201 Там же. С. 136–137.
- 202 Там же. С. 140.
- 203 Там же. С. 7.
- 204 Карманное политико-статистическое землеописание Российской империи для всех, с 81 литографированною картою, гербами губерний и областей, почтовыми и железными дорогами, водяными сообщениями / Сост. А. Романовским. СПб., 1865. С. 5.
- 205 *Паули Г.-Т.* Народы России. СПб., 1862. М., 2007.
- 206 *Снегирев И.М.* Русские в своих пословицах. Рассуждения и исследования об отечественных пословицах и поговорках: В 4 кн. М., 1831–1834; *Он же.* Русские простонародные праздники и суеверные обряды: В 4 вып. М., 1837–1839; *Он же.* Русские народные пословицы и притчи. М., 1848; *Он же.* О лубочных картинках русского народа. М., 1844; *Сахаров И.П.* Сказания русского народа. М., 1836–1837; *Сахаров И.П.* Русские народные сказки. СПб., 1841, *Сахаров И.П.*

Записки русских людей. СПб., 1841; *Забелин И.Е.* История русской жизни с древнейших времен: В 2 т. СПб., 1879; *Забьлин М.М.* Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия. СПб., 1880; *Костомаров Н.И.* Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей: В 3 т. СПб., 1873–1888; *Пыпин А.Н.* История русской этнографии: В 4 т. СПб., 1890–1892.

- ²⁰⁷ Этноним «русские» в значении «великорусы» начинает использоваться в источниках данного жанра, демонстрируя тенденцию к замещению последнего, с 1890-х гг. После событий 1905–1907 гг. она приобретает отчетливые формы и предсказуемую тенденцию к трансформации этнонима «великорусы» в «русские». См., например, уточнение «русские, или великорусы» (Великоруссы // *Тимковский Д.* Наша страна. Картины природы и быта народов России: Географический сборник для чтения в семье и школе. 2-е изд. М., 1912. С. 148). Аналогичные изменения происходят в это же время с этнонимом «украинец», вытесняющим «малоруса» начиная с 1890-х гг. См. подробнее: *Кателер А.* Мазепинцы, малороссы, хохлы: украинцы в этнической иерархии Российской империи // *Россия–Украина: история взаимоотношений.* М., 1997. С. 136–144; *Котенко А.Л., Мартынюк О.В., Миллер А.И.* Малоросс // «Понятия о России». С. 425–438; *Лескинен М.В.* «Южноруссы», «малороссияне», «малоруссы», «украинцы»: трансформация этнонима в российском этногеографическом дискурсе XIX в. // *Имя народа: Украина и ее население в официальных и научных терминах, публицистике и литературе.* СПб.–М., 2016 (в печати). Однако этот процесс носит принципиально иной характер: в 1820-х – 1860-х мы имеем дело с переходным этапом концептуализации «великорусскости» из «общерусскости» как вначале регионального, «отраслевого» подразделения; на рубеже XIX–XX вв. осуществляется только замена самого наименования, и все, что прежде относилось к «великороссиянам», «великорусам» и.п., остается без изменений, иной становится только номинация (на «русские»).
- ²⁰⁸ *Максимович М.А.* Филологические письма к М.П. Погодину // *Максимович М.А.* Собр. соч.: В 3 т. Киев, 1876–1880. Т. 3. Киев, 1880. С. 180–272.
- ²⁰⁹ Там же. С. 190.
- ²¹⁰ *Н.Н. (Надеждин Н.И.)* Великая Россия. С. 263, 265, 267–269 и сл. При этом автор использует наименования «малороссы», «малороссияне», «хохлы».
- ²¹¹ Там же. С. 265.
- ²¹² Там же. С. 270.
- ²¹³ *Надеждин Н.И.* Об этнографическом изучении народности русской. С. 101.
- ²¹⁴ Там же.
- ²¹⁵ Там же. С. 80.
- ²¹⁶ Там же. С. 102.
- ²¹⁷ *Павловский И.* География Российской империи. Ч. 1. С. 193.
- ²¹⁸ Там же. С. 191–193.
- ²¹⁹ *Кавелин К.Д.* Мысли и заметки о русской истории // *Кавелин К.Д.* Наш умственный строй: Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989. С. 171–255.
- ²²⁰ *Кулиш П.П.* Записки о Южной Руси: В 2 т. СПб., 1856.
- ²²¹ *Ключевский В.О.* Курс русской истории. Часть первая. Лекция XVII. С. 310–313.

- 222 Соловьев С.М. История России с древнейших времен // Соловьев С.М. Соч.: В 18 кн. Кн. I. Т. 1. С. 73.
- 223 Соловьев С.М. История России с древнейших времен // Там же. Кн. VII. Т. 13. М., 1991. С. 24.
- 224 Соловьев С.М. История России с древнейших времен // Там же. Кн. I. Т. 1. С. 73.
- 225 Иванов Н.И., Булгарин Ф.В. Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях. Ч. 1. С. 299.
- 226 Н.Н. (Надеждин Н.И.) Великая Россия.
- 227 См., в частности: Погодин М.П. Записки о древнем языке русском // Известия Императорской Академии наук по отделению русского языка и словесности. Т. V. Вып. 2. СПб., 1856. Стлб. 70–92.
- 228 Н.Н. (Надеждин Н.И.) Великая Россия. С. 263.
- 229 Бодянский О.М. О народной поэзии славянских племен. М., 1837.
- 230 Там же. С. 114.
- 231 Там же. С. 118, 119, 121.
- 232 Там же. С. 120.
- 233 Там же. С. 118, 119, 152.
- 234 Там же. С. 139.
- 235 Там же. С. 114.
- 236 Там же. С. 115.
- 237 Там же. С. 118, 149.
- 238 Военно-статистическое обозрение Российской Империи... Описание малороссийских губерний содержится в томе 12, но описания малороссиян – также в т. 10 («Юго-западные губернии») и частично в т. 13 («Средние черноземные губернии»); «собственно великороссийские» губернии представлены в т. 6.
- 239 Павловский И. География Российской империи. Ч. 1. С. 189 и сл.; Он же. Руководство к географии Российской империи. СПб., 1858. С. 56–59.
- 240 Российская империя // Ободовский А. Краткая всеобщая география. С. 74.
- 241 Кузнецов Я. Учебный курс географии Российской империи. СПб., 1855. С. 65–73.
- 242 Первое издание вышло под названием: География России: Собрание карт. СПб., 1830; второе издание: Альбом географических карт России, расположенных на 80-ти листках по бассейнам морей, или Замечательный и поучительный детский гран-пасьянс / Сост. К. Грибановым. СПб., 1857. Были и следующие переиздания – 1859 и др. Подробнее см.: Афанасьев О.Е. Географические игральные карты Константина Грибанова XIX в. и их учебно-просветительская роль в распространении знаний о родной стране // Псковский регионологический журнал. 2010. № 9. С. 125–135.
- 243 Котенко А.Л., Мартынюк О.В., Миллер А.И. Малоросс... С. 400.
- 244 Костомаров Н.И. Две русские народности // Исторические монографии и исследования Н. Костомарова: В 16 т. СПб., 1872–1885. Т. 1. СПб., 1872. С. 53–108. «Великороссийский» характер – 1 раз; Великороссия – 11 раз, великороссияне – 2, великорус/великоруссы – 32, великорусский (народ, племя, народность, человек, наречие, свойство, стихия и др., – 48 раз (ср.: этноним «южнорусс» и его производные – 102 раза).

- 245 Там же. С. 62.
- 246 Там же.
- 247 Великоруссы // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона. С. 829.
- 248 Там же.
- 249 Там же.
- 250 Они освещались, в частности, в статьях А. Грищенко. См. Введение, сноска № 69.
- 251 Словарь языка А.С. Пушкина: В 4 т. / Отв. ред. акад. АН СССР В.В. Виноградов. М., 2000. Т. 1. С. 225; *Ковалев Г.Ф.* Этнонимикон А.С. Пушкина // *Ковалев Г.Ф.* Этнос и имя. Воронеж, 2003. С. 77, 83.
- 252 *Пытин А.Н.* История русской этнографии: В 4 т. СПб., 1890–1892. Т. 1–2. Общий обзор изучений народности и этнография великорусская. СПб., 1890.
- 253 Там же. С. 375.
- 254 *Пытин А.Н.* История русской этнографии. Т. 3. Этнография малорусская. СПб., 1891. С. 1.
- 255 Там же. С. 308, 382.
- 256 *Пантюхов И.А.* Значение антропологических типов в русской истории // Русская расовая теория: Сб. оригинальных работ русских классиков / Под ред. В.Б. Авдеева: В 2 вып. М., 2004. Вып. 2. С. 313–360.
- 257 *Покровский М.Н.* Низовская колонизация Севера // *Покровский М.Н.* Прошлое Русского севера: Очерки по истории колонизации Поморья. Пг., 1923. С. 22–23.
- 258 Там же. С. 22.
- 259 Более подробную аргументацию см.: *Лескинен М.В.* «Южноруссы», «малороссияне», «малоруссы», «украинцы»...
- 260 *Надеждин Н.И.* Об этнографическом изучении народности русской. С. 70.
- 261 Там же.
- 262 *Соболевский А.И.* Русский народ как этнографическое целое. Харьков, 1907. С. 11.
- 263 *Katusella T.* The change of the name of the Russian Language in Russia from *Rossiiski* to *Russkii* // *Acta Slavica Iaponica*. 2012. Vol. XXXII. P. 83.
- 264 VI. Отдел географический // *Алчевская Х.Д.* Что читать народу? Критический указатель книг для народного и детского чтения: В 3 т. СПб.; М., 1884–1906. Т. 1. СПб., 1884. С. 11 (пагинация в каждом из отделов раздельная).

Глава 3

Языки и/или наречия. Борьба за место в иерархии

Параграф 1 Теории и принципы лингвистической классификации

В народоведении XVIII в., как уже говорилось, язык был признан главным и единственно точным признаком этноса. Обосновывая лингвистический критерий классификации, А.Л. Шлёцер переносил на человеческие сообщества принципы систематизации в естествознании: «Да позволено будет мне ввести в историю народов язык величайшего из естествоиспытателей (Лейбница. – *М.Л.*)¹. Я не вижу лучшего средства устранить путаницу древнейшей и средней истории... как некоторую *systema populorum, in classes et ordines, genera et species redactorum*... Как Линней делит животных по зубам, а растения по тычинкам, так историк должен бы был классифицировать народы по языкам» (1768)². Подобная апелляция к линнеевской системе как к образцу наглядно демонстрирует две особенности лингвистических классификаций того времени. *Первая* – язык воспринимался как один из важнейших признаков народа, выявляемый, как и другие приметы видовой принадлежности, средствами внешнего наблюдения (т.е. на начальном этапе простой фиксации звуков и толкованием основных понятий). *Вторая* – наименование и определение близости (родства) наречий осуществлялись путем сравнения их с другими известными языками, но только записанными (т.е. прошедшими стадию первичного изучения).

Немецкий ученый на русской службе Г.Ф. Миллер, обосновывая необходимость языковой классификации человеческих сообществ, также был категоричен: «Характерное различие народов состоит не в нравах и обычаях, не в пище и промыслах, не в религии, ибо все это у разноплеменных народов может быть одинаково, а у единоплеменных различно. Единственный безошибочный признак есть язык: где языки сходны, там нет различия между народами, где языки различны, тем нечего искать единоплеменности»³. Так же как и небиблейские теории этнического родства современных народов с известными античности племенами, язык оставался важным аргументом в ходе установления древности народов через совершенство его «наречия»⁴. Основанием для определения языковой принадлеж-

ности окраинных жителей Российской империи служили данные сравнительных словарей и лексиконов (В.Н. Татищева, Г.Ф. Миллера, И.Э. Фишера, П.С. Палласа). Сведения для них собирались учеными-путешественниками и русскими информаторами – следовательно, в изучении языков А.Л. Шлёцер в своем понимании языковых различий следовал за собирателями фактического материала⁵. Так или иначе, лингвистическое родство означало для него и общее происхождение народов. К словарям этих ученых активно обращались российские историки первой половины XIX столетия.

На протяжении XIX в. убежденность в доминирующей роли лингвистического критерия для этнической идентификации и для определения родства племен/народов претерпевала определенные изменения. И в 1840-х, и в 1860-х гг., и особенно часто в конце столетия и ученые, и авторы популярных трудов подвергали сомнению установку о том, что языковая классификация единственно точная. Так, Ф.В. Булгарин в 1837 г. утверждал, что определение происхождения народов по языкам – «путь неверный»⁶. Такие же сомнения высказывались этнографами и особенно антропологами в 1870-х – 1880-х гг. Впрочем, и филологи, и статистики подчеркивали необходимость коррелировать данные о языке посредством дополнительной информации – о конфессиональной и сословной принадлежности индивида и группы. Но, несмотря на это, в программной для этнографии статье в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (1899) однозначно констатировалось, что «основой для этнографической классификации является язык»⁷.

Рассмотрим основные научные направления, версии и гипотезы интерпретации происхождения и места великорусского языка/наречия в лингвистических классификациях в двух аспектах: в системе славянских языков и в качестве избранного образцом для общерусского литературного языка. Отдельная проблема – формирование теорий о происхождении, эволюции и составе (делении на говоры) великорусского наречия. И в этом проблемном поле мы не можем избежать обращения к ключевому вопросу о соотношении великорусского и малорусского наречий, поскольку их границы и определения сходств и различий, сфер применения и т.д. рассматривались как в великорусском, так и в малорусском дискурсе, находясь в неразрывном предметном единстве друг с другом.

В начале XIX в., по утверждению Б.А. Успенского и Ю.М. Лотмана, «языковая проблема становится тем камнертом, который отвечает на звучание всех наиболее острых проблем в России»⁸. Российский ученый С.К. Булич в известном исследовании по истории языкознания в России констатировал, что «никогда раньше и никогда после наши общелитературные журналы не обнаруживали такого живого интереса к языку и к языкознанию и не помещали так часто

статей филологического и грамматического содержания, как в течение первой четверти XIX в.»⁹. Эта тенденция сохранялась и позднее, будучи уже переосмыслена в контексте новых задач: формирования принципа народности в литературе, реконструкции русской народности по материалам фольклора и этнографии¹⁰ (в связи с развитием этнографии и лингвистики как отдельных отраслей науки¹¹) и, наконец, создания цельной картины складывания и исторического развития русского народа и отдельных его «отраслей» (как именовались ответвления народа в эту эпоху).

Русский литературный язык начал складываться еще в XVIII в. В российском обществе «борьба церковнославянской и русской языковой стихий претворяется в борьбу книжного и разговорного языка»¹², которая в процессе выработки норм и стандартизации национального/литературного языка осуществляется в рамках семиотических оппозиций «демократическое/кастовое», «общее/элитарное», «благородное/простое» и «естественное/искусственное». Интерпретация простонародного как живого, разговорного и грубого («lingua rustica»¹³) языка в противопоставлении «деликатному», литературному, нормативному («правильному») в полной мере нашла выражение в полемике о малорусском языке/наречии. Размышляя о его статусе, «соответствии» с вырабатываемым русскими языковыми нормами и «перспективности» как языка литературного, критики, беллетристы, историки, поэты и публицисты высказывались по вопросу о национальном языке, косвенно или открыто апеллируя к значимой в первой трети столетия дискуссии, знаменовавшей освоение новых стандартов нормативности.

Необходимо напомнить о несовершенстве существовавших в первой половине столетия научных классификаций, в том числе и лингвистических, и о сопутствующей им неразработанности этногеографической номенклатуры, относящейся к восточнославянскому культурно-языковому пространству, что напрямую затрагивало такие важные лингвистические понятия, как «язык» и «наречие». Впрочем, несмотря на то что формирование данных научных дефиниций началось еще в конце XVIII в., и поныне их содержание неверно оценивать как однозначно бесспорное.

Лингвистическая таксономия и классификации славянских языков/наречий

Исследованием вопроса о времени «разделения» единого русского народа на три «поколения», три племенные ветви занимались ученые, изучавшие проблему происхождения или разделения великорусского, малорусского и белорусского наречий.

Не останавливаясь подробно на полемике между сторонниками различных версий начиная еще с работ А.Л. Шлёцера, Г.Ф. Мюллера и М.В. Ломоносова, отметим позиции лишь тех исследователей, которые затрагивали вопрос о времени складывания вариантов/наречий восточнославянской группы языков. Проблема соотношения славяно-русского/русского и церковнославянского языков, выделения русского языка из родственных славянских не была решена. При этом сама трактовка вопроса зависела от того, как виделось происхождение русского языка и как понималась его позиция в славянской общелингвистической классификации.

Важно подчеркнуть, что кажущаяся иногда очевидной для второй половины столетия таксономия славянских языков сложилась лишь в 1820-х – 1840-х гг., и потому эти вопросы в первой трети XIX столетия оказались в центре специально-лингвистических и историко-культурных штудий¹⁴. Не ставя задачи подробного рассмотрения всей обширной совокупности сочинений на эту тему, представим лишь самые красноречивые примеры, свидетельствующие о состоянии этих изысканий.

Анонимный автор статьи (1804)¹⁵, в частности, был убежден, что российский и славянский языки составляли некогда один общий язык, а нынешний «российский» представляет собой диалект или наречие языка славянского, но сам языком именоваться не может. Иначе говоря, родство славянских языков/наречий выражается через иерархическую и генетическую соподчиненность. Такое положение автор объяснял исторически: до прихода славян на земли нынешней России наречие «русов» отличалось от речи пришельцев, а после смешения их со славянским, впитавшим к тому времени в себя многие иноплеменные заимствования, выработался язык «российский»¹⁶. При этом отмечается, что и сам славянский демонстрирует явное сходство в отдельных формах с другими европейскими языками, что дает основание предполагать общность происхождения всех европейских языков или существование праязыка.

Некоторые из сочинений этого времени представляли собой компиляцию представлений, сформировавшихся еще в предыдущем столетии, – как, например, книга диакона Орлова¹⁷. Его классификация, с одной стороны, довольно архаична, а с другой обнаруживает сложившиеся принципы разделения языков, которые имелись «в распоряжении» ученых нового поколения. Основу лингвистического древа составлял ряд семантических оппозиций, создававших дуалистическую схему, имевшую оценочный характер. Языки подразделялись на коренные (или главные) и производные. *Первые*, ведущие начало от Вавилонского смешения, сохранили свои корни и «характер» (еврейский, греческий, латинский, славянский и немецкий)¹⁸. *Другие* – «употребляемые только в отдельных местах и составленные большей

частью из пограничных языков»¹⁹ – не обладают полнотой и цельным и логичным строением первых. Список вторых обширен: в него входят те, которые «ныне относятся» к славянской группе, а также финские языки, исландский, фламандский и др.

Главные европейские языки «могут быть поделены» на мертвые (древнегреческий, латынь, еврейский) и живые («славянской или нынешней российской», немецкий, венгерский, шведский, голландский, английский, итальянский, французский, испанский и португальский)²⁰. Главнейшими из перечисленных Орлов называет славянский и немецкий. Славянский («ныне именуемый» «российским») свое название получил в IX в., когда славяне соединились с «народом русью славянского поколения» (это необходимая для данного периода отсылка к полемике о руси/варягах и славянах в норманской теории). «Российский» язык используется почти во всей Российской империи²¹. Он, по мнению автора, существовал до создания государственности, но его носителями были полудикие и необразованные люди, не имевшие азбуки, и только после принятия крещения этот язык принял новый вид и «обрел образованность»²², а красоту ему придавали греческие заимствования. Новым периодом именуется автор XVII в., когда произошла «порча языка» в связи с многочисленными заимствованиями из европейских языков, в результате чего он лишился прежней «красоты и превосходства»²³. Полнота, чистота и красота, таким образом, выступали важными критериями степени «развитости» языка. В том же 1810 году сходная классификация была представлена в труде И. Орнатовского²⁴. Он также делил языки на коренные (*originales*) и производные (*derivativae*), мертвые и живые, древние и новые, восточные и западные. Славянский Орнатовский относил к коренным языкам, «российский» – к производным, т.е. происходящим от других языков (в данном случае от «славянского») и смешанным. Оба эти сочинения носят компилятивный характер и весьма архаичны даже для своего времени²⁵.

Важно подчеркнуть, что в этих текстах значения, вкладываемые в определения «российский» и «славянский», весьма размыты. Как показывают современные исследования, термин «российский» в начале XIX в. был еще не очень привычен как для литературного языка, так и для научного лексикона (только вводился в научный оборот)²⁶ и его соотношение с определениями «русский» и «славянский» на том этапе еще не выработалось окончательно.

В том же сочинении Орнатовского указывались исторические последствия внешнего, иноземного влияния одного языка на другие. В качестве примера приводились изменения славяно-русского языка коренных жителей России (который с этого момента формирует отличия его от коренного славянского языка), породившие «разность наречий» – великороссийского, малороссийского, бело-

русского, низовского и т.д. Правда, это различие автор относит лишь к простонародной, устной речи²⁷.

Нельзя не упомянуть и одно из многочисленных сочинений А.С. Шишкова (их значение для русской словесности и истории языкознания подробно рассматривается в филологических исследованиях²⁸), в котором он писал о том, что все языки происходят из одного общего праязыка, но, видоизменяясь, становятся наречиями²⁹. Довольно сложно однозначно выявить дефиницию терминов «наречие» и «язык» у Шишкова. Это подтверждает заглавие другой статьи «Сравнение краинского наречия с российским, взятым собственно за славенский язык»³⁰. Здесь язык и наречие противостоят друг к другу: первоначальный язык разделяется на наречия, но русский, настаивает Шишков, является не наречием, а языком. При этом автор приводит пример трех родственных народов: русских, поляков и босняков. Первые говорят «настоящим языком» «славенским», два других – производными от него наречиями³¹.

В классификации языков и наречий племен Российской империи Е.Ф. Зябловский использовал два критерия: антропологический и лингвистический, однако второй он считал более важным (он «достовернее»³²): «Разделение народов основано наипаче... на разнице языков»³³. Важным критерием является понимание устной речи, что влияет на избрание «господствующего», т.е. государственного, языка: в России «говорят российским как господствующим языком, разделяющимся на некоторые наречия, но не столь отдалившиеся между собою, как, например, в Немецкой земле: поелику нимало не препятствуют оные новгородцу разуметь сибиряка, а сему малороссиянина и белоруса»³⁴.

Еще одним – ключевым – вопросом этого времени стала проблема соотношения церковнославянского, славянского и русского (словено-русского/славяно-русского) языков³⁵. М.Т. Каченовский, возводя появление славянских народов в Европе к V–VI вв. н.э., полагал, что они говорили уже на различных, хотя и близкородственных наречиях, отличных от первоначального славянского языка³⁶, от которого произошли все современные славянские языки, и русский в том числе. В IX в. н.э., в первых славянских государствах, также говорили на наречиях «ныне нам неизвестного коренного славянского языка»³⁷, а «церковный язык... сделался книжным или письменным... уже из наречия, а не из коренного, не из первобытного языка славянского»³⁸. С.К. Булич отмечал, что эту версию о двух языках – книжном церковнославянском, более близком к коренному славянскому, и «русском особенном наречии» – разделял и Н.М. Карамзин³⁹. М.Т. Каченовский, однако, принимал мнение чешского ученого Й. Добровского о том, что «нынешний церковный наш язык есть старинное сербское наречие»⁴⁰. С этим категорически не соглашался К.Ф. Калайдович,

убежденный в том, что и разговорный сербский также отличается от языка церковной службы, как и русское наречие⁴¹.

Н.И. Греч в «Опыте краткой истории русской литературы»⁴² тоже подробно останавливается на проблемах лингвогенеза. Резюмируя общее состояние научных представлений о последнем, он утверждал, что славянский язык имеет общее «азиатское» происхождение с другими европейскими языками. В глубокой древности существовало, по его мнению, одно наречие, позже разделившееся на две группы – восточное (славянское) и западное (антское)⁴³, от которых уже сформировались многочисленные «отрасли». В составе первой группы Греч выделял восточную и западную «отрасли», к первой относя русский, церковнославянский, сербский (состоящий из сербского, боснийского, болгарского, славонского, долматского, черногорского и других наречий), кроатский и краинский языки.

Интересна проведенная Н.И. Гречем классификация русских наречий. Главным он объявлял великороссийское наречие, кроме него еще несколько «второстепенных», из которых «важнейшим» представлял малороссийское, «различествующее от главного многими выражениями, оборотами и грамматическими формами»⁴⁴. На белорусском наречии, по его мнению, говорят жители Волыни и Литвы, и то же наречие, именуемое «руським», было книжным языком некоторых писателей XVI–XVII вв. Близкими к великороссийскому наречию и мало отличными от него Греч считал суздальское, олонекское и новгородское⁴⁵. Великороссийское и малороссийское наречия, таким образом, выступают как равные единицы одного языка – в сущности, представая в качестве диалектов русского, однако их статус различен. «Великороссийское наречие» у Греча, как видим, содержательно совпадает с московским.

Н.М. Карамзин в первом томе своей «Истории» (1816) писал, что «славянские племена утратили единство языка, и в течение времени произошли разные его наречия, из коих главные суть: 1) русское, более всех других образованное и менее всех других смешанное с чужеземными словами»; 2) «польское, смешанное со многими латинскими и немецкими словами»; 3) чешское – в Богемии, Моравии и Венгрии; 4) «иллирическое, т.е. болгарское»; 5) «кроатское»⁴⁶. В сноске к этому перечню историк, явно опираясь не только на указанные им в примечании в качестве источника «Сравнительные словари всех языков» П.С. Палласа (1787), перечислял «кроме общего, несколько особенных наречий (русских. – *М.Л.*): украинское, суздальское, новгородское»⁴⁷.

С.К. Булич утверждал, что своеобразным итогом лингвистических изысканий о славянском и русском языках первой четверти XIX столетия можно считать сочинение Н.А. Полевого (1823)⁴⁸. Этот историк, как и его предшественники, по-прежнему делил языки на «коренные» (греческий, германский, готский, кельтский и словенский) и произ-

водные. От коренных произошли современные европейские языки. Русский язык для него бесспорно является «потомком» словенского. Он полагал, что язык славян IX в. уже был далек от коренного «первобытного славянского», разлившегося на наречия. Н.А. Полевой разделял церковный (его ученый также возводил к древнему сербскому, испытывавшему влияние греческого) и народный словенский языки и предлагал детально реконструировать их.

В 1810-х – 1820-х гг. русский язык продолжал именоваться «словено-русским» или «славяно-российским», и даже само это определение могло использоваться как убедительное доказательство этногенеза русских, их первичного племенного состава. Господствовавшая в это время норманская теория, возводившая этноним «русь» к варягам, обусловила важность такого двойного наименования языка. Г. Успенский, например, писал: «Поелику же язык, которым мы говорим, называется словено-русским или славяно-российским, то сие самое доказывает уже, что мы приходим наипаче от двух главных народов, т.е. славян и руссов»⁴⁹. В его же работе воспроизводится распространенная еще в конце XVIII в. (и рассмотренная частично в первой главе) концепция историко-лингвистической эволюции Северо-Восточной Руси: часть финно-угорских племен со временем утратила свой язык, обрусев («превратившись в русских»), некоторые сохранили свои языки. Русский со времен княгини Ольги «оставался в употреблении между чернью, яко в сословии многочисленнейшем, и в течение десяти столетий был в большем употреблении, чем славянский». Славянский (т.е. церковнославянский) язык сохранял свои формы в неизменном виде начиная с обращения «славян и руссов» в христианство и постепенно завоевывал свои позиции с переводом церковных книг; и его же принимали завоеванные «сарматские и татарские» племена⁵⁰.

Одна из серьезных, но далеко не первая из научных классификаций и описаний языков в России была опубликована в работе 1820 г.; ее автором был Ф.П. Аделунг⁵¹. Он относил «русские наречия» к славянской группе и полагал, ссылаясь на труды А.С. Шишкова, что их существует всего два: суздальское и украинское. П.И. Кеппен в своем критическом обзоре труда Аделунга подчеркивал, принимая норманскую теорию происхождения руссов, что «коренной славянский язык наш везде претерпел изменения соответственно обстоятельствам мест и времени», но самые главные изменения «произошли... от языка древних руссов, коих норманские или скандинавские слова... заступили место славянским»⁵². Он считал, что изменения этого славянского языка в разных регионах Европейской России происходили по-разному, в зависимости от включения в его состав слов неславянских языковых групп, – простым, механическим заимствованием. Поэтому Кеппен предполагал, что под «кривичским» Аделунг по-

нимал, скорее всего, наречие, употребляемое в Белоруссии. Сам Кеппен представлял его как «нечто среднее» между малороссийским и польским⁵³, а малороссийскому приписал включение множества слов «немецкого происхождения», а также влияние «латинского языка науки»⁵⁴. В том говоре, который можно соотнести с собственно великорусским (суздальским), он усматривал еще один источник «слияний» – язык завоевателей (татар и монголов): «Северная или, лучше сказать, собственно так называемая Великороссия и в особенности восточные губернии оной более приняли слов татарских, нежели Малороссия»⁵⁵. Разумеется, что и «финские и чудские слова» также не могли «не войти в слияние» со славянским в еще более ранние времена. В такой интерпретации 1820-х гг. отчетливо прослеживается теоретическая схематизация, присущая и разработке этнических иерархий: близкородственные региональные этнические группы трактовались как образовавшиеся в результате завоевания одним народом другого или физического «смешения» разных племен. А языки, согласно этой логике, также могли формироваться путем смешения – т.е. активного заимствования.

При этом факт смешения/рецепции лексики из других языков расценивался как негативный, рассматриваясь в ряду семантических оппозиций чистоты/нечистоты, красоты как гармонии/отсутствия красоты, естественности/искусственности и оригинальности, самостоятельности/несамостоятельности. В конечном итоге ранжирование языков на коренные и производные предоставляло очевидные основания для введения и в лингвистическую классификацию столь важного для эпохи Просвещения критерия совершенства/несовершенства, что, в свою очередь, выступало значимым признаком разделения народов на цивилизованные/нецивилизованные, культурные/дикие. Конечной целью такого структурирования являлось установление места народов (как носителей языков) на вертикали эволюции, и в данном случае это место указывал язык. Как видим, однозначно установить место русского/российского языка в этой системе к 1820-м гг. не удалось. Самой сложной и спорной частью идентификации языка была методика выявления заимствований: на рубеже веков она опиралась на сравнительный анализ в первую очередь лексического состава.

Сравнением языков, казавшимся довольно очевидным и простым способом идентификации племенного и лингвистического родства, руководствовались многие и разные по уровню компетентности авторы 1820-х – 1830-х гг.: обнаружив в каком-либо языке лексические сходства, они объявляли их заимствованием, в особенности если оно могло быть подтверждено известными историческими процессами (завоеваниями, некогда общей государственностью, длительным соседством и т.п.). Свое мнение о происхождении язы-

ков на основании смешения высказывали как историки и филологи, так и наблюдатели и путешественники (ученые и обыватели), опираясь на сравнение и с родственными, и с инородными языками. Обнаружение «чуждых» слов давало основания полагать, что они заимствованы, а их значительный количественный состав порождал заключения о «промежуточном», переходном характере, несамостоятельности языка. В первой половине столетия считалось возможным установить коренные и привнесенные элементы в родственных славянских языках, не прибегая к специальным аналитическим процедурам, а опираясь исключительно на собственный опыт и произвольное сравнение со своим родным языком – оценивая в первую очередь понятность и фонетические особенности речи, – т.е. по «внешним», «на слух», признакам. Наблюдатель воспринимал их как отличные от «своей» речи или непонятные (такая квалификация, очевидно, была произвольной, поскольку диктовалась субъективными представлениями о языковой норме – как литературной, так и разговорной). Здесь можно провести аналогию с установлением путешественником этнической принадлежности изучаемого объекта на основании собственного визуального наблюдения; «на глаз», как полагали народописатели вплоть до конца XIX в., возможно установить этнического «своего» и «чужого», а по физическому облику и костюму – выявить региональные инварианты этнического типа и даже близкое или дальней родство племен/народов. Следует подчеркнуть, однако, то обстоятельство, что сравнительно-исторические исследования языков отнюдь не ограничивались сопоставлением лексики гораздо более важную роль играли морфология и фонетика, но для не искушенных в филологических изысканиях авторов такой анализ не был доступен.

Так порождалась свобода не только идентификации и утверждений, но и оценок (чистые и смешанные языки и физические типы). Путешественник и автор записок о Малороссии А.И. Левшин, например, не приводя никаких дополнительных аргументов, кроме понятности для «великороссиянина» (т.е. его самого), постулировал: малороссийский язык происходит от «древнего славянского, но смешан с немецкими, латинскими и польскими, перековерканными словами, отчего делается почти непонятным великороссиянину»⁵⁶. Отношение к малороссийскому наречию как к русскому, «испорченному» польским влиянием, было довольно распространенным в первой трети XIX в. Так, малороссийское наречие объявлялось занимающим «середину» между польским в связи с тем, что в него вошло множество польских слов и оборотов⁵⁷; или же «русским испорченным внешним влиянием»: «...в Малороссии и за Днепром вследствие господства польского языка явилось искажение русского языка», в то время как язык славянский оставался в церковных книгах⁵⁸.

Н.И. Греч в «Опыте истории русской литературы» писал: «Малороссийское наречие родилось и усилилось от долговременного владычества поляков в Юго-Западной России и может даже называться областным польским»⁵⁹. Издатель журнала «Отечественные записки» П.П. Свиньин характеризовал малороссийский язык как довольно звучный, находящийся гораздо ближе к церковнославянскому, нежели русский, различия между русским и малороссийским объяснял не западным, польским, а татарским влиянием: в нем он обнаружил обилие «принятых им татарских слов»⁶⁰. И позже И.А. Кулжинский также усматривал в малороссийском «нечто среднее между польским языком и русским, так точно, как уния в свое время была среднею религиею между католичеством и православием»⁶¹. Закономерным казался в этом случае и вывод о том, что «по присоединении Малой Руси к Великой влияние польской словесности ощутительно ослабевало»⁶².

Однако упреки в смешанности предъявлялись и русскому языку. В 1834 г. вышла статья О.И. Сенковского о сагах, в которой почти половину текста занимали рассуждения об этногенезе славян эпохи Рюрика в «Истории» Н.М. Карамзина. О.И. Сенковский, разделяя известную концепцию о том, что руссами именовались варяги-норманны, в частности, писал так: «Покоренные руссами славяне и финны, тогда уже перемешавшиеся между собой, а впоследствии перемешавшиеся еще более, *обрусели* (курсив автора. – М.Л.), прежде, чем руссы, забыв свое наречие, сделались... славянами по языку, но не по нравам; прежде, нежели эти три племени слились в одну массу и один язык и составили народ, который общим именем, заимствованным от греческой формы слова “Русь”, называется теперь “россиянами” и язык, который теперь зовем мы русским или российским. Настоящий характер эпохи был русский или скандинавский, а не славянский»⁶³. Для Сенковского язык очень многое значил в процессе этногенеза. В сущности, для него смешение языков было тождественно смешению племен/народов. Поэтому автор не сомневался, что в языке русском около X в. соединилось «известное количество слов» скандинавских и финских, но форма осталась славянская; позже заметное влияние оказали татарский и польский языки и «искусственная примесь» ученых форм церковнославянского наречия. Финский язык повлиял на произношение. Более того, он утверждал, что «...ежели русским языком сделалось вновь образовавшееся славянское наречие... это событие должны мы приписать случаю: если бы русские князья избрали себе столицу в финском городе, посреди финского племени, русским языком, вероятно, назывался бы теперь... чухонский диалект... который бы поглотил язык славянского корня, как последний язык поглотил многие финские наречия, даже в том месте, где стоят Москва и Владимир»⁶⁴.

Нельзя не вспомнить о том, что именно эти заключения Сенковского вызвали резкое неприятие и возмущение апологета норманской теории историка М.П. Погодина, который категорически отказывался принимать обе идеи: ту, что по племенному составу начальная Русь была славянской по языку, но не по нраву (на это он восклицал: «Нет! Россия варяжских времен есть скандинавия меж славянскими племенами... в соседстве с финскими», а не «с некоторым оттенком финно-славянским скандинавия»⁶⁵), так и ту, согласно которой лишь по случайности чухонский диалект не стал государственным языком России: финское племя, полагал он, не способно было уничтожить сильное племя славянское, языком которого говорит полноправный ее потомок – современный русский. Погодин полагал подобные утверждения не только научно не обоснованными, но прежде всего оскорбительными в отношении восточных славян, «славянскость» которых во всех отношениях представлялась ему полноценной.

В той же статье О.И. Сенковский рассматривал теорию разделения языков на коренные и производные как уже устаревшую и предлагал собственную схему – историко-лингвистическую – формирования любого европейского языка. Он утверждал, что «...в нашем Старом Свете нет ни одного языка коренного и чистого: все они возникли из смеси множества частью уже потерянных, частью еще существующих в смешении с другими языков... Чистые языки могли существовать только в то время, когда люди жили еще в лесах. Но, когда людность племен на нашем полушарии усилилась до того, что они начали примыкать друг к другу, кочевое и подвижное состояние их поколений было поводом, что они стали переходить из одного племени в другое и смешиваться с инородными массами... Коль скоро известная часть одного племени... соединится с частью другого племени... через некоторое время рождается новый язык, составленный из смешанных начал [Этих двух] языков, и с установлением языка утверждается нравственный быт народа – его народность. Материальная часть этого нового языка состоит обыкновенно в простом перемешании слов [Этих языков]... Но грамматическая и словесная части его, т.е. формы и произношение, подлежат действию особых правил»⁶⁶. Более многочисленное племя «оставит» в новом языке свои формы и произношение, а заимствования будут видоизменены. Одинаковый уровень развития племен или их «равные отношения» приведут к тому, что лексика, «формы» (т.е. грамматика) и произношение (фонетика) «соются вместе, перепутаются, проникнут друг в друга». Именно так, по мнению автора, создавались четыре «главных» европейских языка (эллинический, латинский, германский и славянский)⁶⁷.

О.И. Сенковский, следуя этой теории образования языков и исторической концепции норманизма, подробно рассматривал

историю формирования русского языка на скандинавской и финской основах⁶⁸. При этом – что важно – он подчеркивал влияние «духа финских языков» на образование именно великороссийского наречия. Кроме того, он категорически отвергал имеющиеся классификации славянских языков (прежде всего Й. Добровского, который включал русский в восточнославянскую группу): «Что касается до великороссийского наречия или нынешнего русского языка, то весьма ошибаются те, которые относят его к восточным славянским наречиям: наш язык, по коренным своим формам, принадлежит к западным; только произношение его заимствовано из восточных наречий, и оно еще значительно изменилось... от влияния финнизма... рассмотрение ... начал языка обнаруживает удивительное смешение рас и поколений в нынешнем северном славянском народе (т.е. в великорусах. – М.Л.)... Классификацию славянских языков и наречий предстоит еще сделать...»⁶⁹ Используемая Сенковским формулировка: нынешний вид русского языка – это «приятность, разнообразие и богатство»⁷⁰ – свидетельствует о том, что под «русским языком» он понимал в первую очередь язык не письменный, не литературный, а разговорный. Впрочем, не только он рассматривал в качестве языка прежде всего устную речь; так же трактовали его в середине столетия и Н.И. Надеждин, и В.И. Даль (о чем подробнее далее). Значимость дифференциации разговорного и литературного языков формулируется не ранее 1870-х – 1880-х гг.

Неслучайно мнение (вполне соответствующее духу эпохи) о том, что в русском языке много лексических заимствований «от чуди, татар, греков, особенно же от скандинавов» и потому он представляет собой «смесь словенского, скандинавского, чудского»⁷¹ (ее, кроме Сенковского, отстаивал еще и С.К. Сабинин⁷²), так возмущало М.А. Максимовича. В подобных гипотезах в эту эпоху виделось своеобразное принижение статуса языка, обвинение его в несамостоятельности, что напрямую меняло концепцию этногенеза его носителей – ведь в этом случае следовало признать отсутствие чистоты физического типа или «слабость» племени, смешивавшегося с различными народами, заимствуя у них и язык. Упреки в слиянии наречий вполне закономерно соседствовали с призывами к сохранению «чистоты языка», со стремлением к пуризму – что имело место и в других славянских странах.

С.К. Булич в своей книге по истории языкознания в России отмечал, что для первой четверти XIX столетия весьма характерна «путаница понятий о языках славянском, русском и славяно-русском»⁷³, подтверждая это многочисленными цитатами из журнальных статей и научно-популярных сочинений. Разные позиции авторов объединяет то, что словено-русским или словено-российским языком именуется русский язык, наименование которого восходит еще к предыдущим

му веку – и в нем все еще ясно различаются споры вокруг концепции о происхождении «руссов» и «россиян». Само название объясняется смешанным его происхождением от языка как руссов (т.е. финно-угров), так и славян; причем первые представлены как автохтонное население Северной Руси, язык которого постепенно менялся под влиянием славянского, особенно с распространением христианства. Неизменность славянского языка сохранялась только в церковных книгах⁷⁴. В сочинениях этого времени различались языки «гражданский и общенародный» и «церковный». Богослужебный язык, «организованный по греческому»⁷⁵ образцу, получил распространение только после крещения Руси, однозначно утверждал М.Т. Каченовский.

В связи с этим необходимо сделать отступление, обратившись к лишь недавно опубликованному фрагменту большой работы Ю.И. Венелина, посвященной происхождению «россов»⁷⁶. Ее датировка не установлена, но, вероятно, она относится к середине 1830-х гг., так как именно в эти годы Венелин вел активную полемику с норманистами⁷⁷. Главными объектами критики автора становятся А.Л. Шлёцер⁷⁸ и М.П. Погодин⁷⁹. Мы не будем специально останавливаться на особенностях и задачах российских антинорманистских сочинений этого времени, однако некоторые важные аспекты позиции Ю.И. Венелина важны для понимания лингвистических тенденций эпохи. *Во-первых*, в статье мы встречаем одну из нечастых для 1830-х гг. попыток этнографической классификации, четкой иерархии терминологических единиц и взаимосвязь племенной и языковой систем. Венелин разделял род человеческий на *ветви*, подразделившиеся со временем на *отрасли*, различия внутри которых, в свою очередь, сформировало *племена*⁸⁰. Критерием данного разделения и установления степени родства служил, конечно же, язык. «Расстояние сие, различие сие между ветвями, странами и племенами состоит в языке как первом и важнейшем признаке сродства между народами»⁸¹, а «различие языков есть то же, что и различие народов»⁸². Признавая «россиян» одним из «главнейших славянских народов», автор убеждал, однако, в том, что «славяне» есть только имя, которым часто прикрываются одноязычные, но разные между собою племена»⁸³. Последовательно рассматривая в исторических памятниках все наименования, которые можно соотнести со «славянами», Ю.И. Венелин приходит к выводу, что «славяне» – родовое, а не видовое имя, а «название славянских народов есть чисто химерическое; росса таким образом и тем же правом можно назвать чехом или сербом, как и славеном, или как хровата назвать болгаринном, поляком или варягом. Беда состоит в том, что просвещение распространялось с юга и словене взяты в образец сравнительный»; «Вторая беда в том, что всем этим однородным, но различным племенам надобно было дать одно общее или родовое имя. Кажется, судьба назначила для оногo *словен*. Итак, сие

имя как общее есть новейшее и существует только в тех головах, кои более просвещены и умеют делать различия между родом и видами. ...несправедливо говорится, что все виды произошли от славянского народа. *Словене* (выделено автором. – М.Л.) такой же вид составляют, как и россы или сербы. Посему невозможно сих словен или славян брать за род»⁸⁴. Далее Венелин заключает: «Отсюда следует, что название древнего славянского языка должно исчезнуть. Посему язык церковный не есть славянский, а именно того народа, для которого церковные книги были переведены. Нельзя тоже сказать вообще *славянский язык*, ибо это относится только к наречию римских украинцев, посему должно сказать лучше: *славянское наречие*, но если его и назвать языком, то оно не должно выходить из своих пределов; тогда славянский русский язык, сербский, болгарский будут относиться к древнему, коего не знаем названия, как виды к своему источнику (выделено автором. – М.Л.)»⁸⁵.

Во-вторых, обращаясь к истории происхождения россов, Венелин подчеркивает, что россы являются одной из «важнейших отраслей огромного народа, названного славянским» и что они «никогда не называли себя славянами, что имя россов есть их собственное, подлинное, что название руссов есть выдуманное, химерическое, посему народ, называемый собственно руссами, никогда не существовал, что сим именем западные иностранцы называют россов»⁸⁶. Однако «Русь есть настоящее древнее и народное название отечества *россов*. Сие простое, коренное собственное название народа часто заменяемо было производными названиями от *Руси*: русин, русак, русьский. Впоследствии сии русские умножили название своего отечества: именно из коренного своего названия образовали на латинский образец *Россию*, которая родила нам *россиян* и *российских* (выделено автором. – М.Л.)»⁸⁷.

Призвание же новгородцами варягов Венелин объяснял как обращение к «своим» соплеменникам, ранее того переехавшим в «Варягию»: «Русь, или россы заморские, живущие посреди варягов, суть настоящие россияне, туда переселившиеся, следственно, члены того великого народа, держащего одною рукою Понт, а другою Балт, которого отечество с незапамятных времен, и во время Нестора, и ныне называется Русью»⁸⁸. Венелин пытается отождествить «варягов» (такой этноним, неоднократно подчеркивает он, встречается только в русских летописях) с известными по другим источникам племенами этого региона, но не находит никаких соответствий и заключает на этом основании: «Варяги суть то же, что славяне. Посему все изыскания, догадки, доказательства и следствия, основанные на ложном положении, будто бы варяги – скандинавы, сим должны быть признаны ложными»⁸⁹ затем уточняет, что варяги – славяне балтийские, ранее именуемые вандалами и венедами.

Поскольку сочинение Венелина было направлено в первую очередь против позиции Шлёцера, отчетливо заметно его родство с аналогичными сочинениями века Просвещения. С другой стороны, антинорманистский пафос его вписан не только в прежние, но и в новые дискуссии первой трети XIX столетия. Но в данном случае для нас важнее иной аспект: ход рассуждений автора и его апелляция к античным и средневековым источникам демонстрируют сходство и с логикой мысли современников, которые, рассматривая вопросы о происхождении языков и племен и опираясь, в сущности, на один и тот же источниковый комплекс, приходят к противоположным выводам. Разнящиеся заключения продиктованы более отношением каждого из авторов к значимости антропологической чистоты и автохтонности племени, что применительно к языковой истории концептуализировалось в идее древности и несомненности славянского происхождения по языку. Смещение расценивалось либо как негативный, либо как позитивный процесс – и это определяло оценку и влияло в конечном итоге на способ реконструкции значимых для истории народа топонимов и этнонимов. Именно они, в сущности, выступали ключевым аргументом в спорах о древней истории и процессах, сведения о которых были не только скудны, но и противоречивы.

Славянские языки в системах лингвистических классификаций. 1840-е–1850-е годы

Для создания логичной и обоснованной таксономии народов по языкам необходимо было не только проанализировать их морфологические особенности и лексический состав, но и создать сам лингвистический лексикон, понятийный тезаурус иерархических элементов этой структуры – т.е. языковой системы, в особенности уровней и единиц языка (то, что сегодня именуется языковой семьей, ее ветвями, языками и диалектами). Эта задача стала привлекать исследователей 1830-х – 1840-х гг., когда по-прежнему актуальной проблемой продолжала оставаться генетическая классификация языков, которая создавалась в тесной связи с племенной (т.е. этнографической) классификацией. Каждая из двух обуславливала другую, поскольку в основе лежала идея об общности и даже о тождестве происхождения народов и языков.

Во всех современных лекционных курсах, учебниках и очерках по истории языкознания в России, или славянского языкознания, конечно, описывается эволюция лингвистических классификаций⁹⁰. Однако необходимо обратиться к данному вопросу еще в одном аспекте – важна не столько смена позиций и полемика о таксономических вариантах, сколько система аргументации и ее связь с

формированием концепции «великорусскости» в целом. Не подлежит, в частности, сомнению, что и двух-, и трехкомпонентная классификации славянских языков/наречий не были идеальными вариантами систематизации, хотя их сугубо лингвистические обоснования для своего времени были убедительны.

Из авторов, определивших позицию русского языка в системе славянских, следует упомянуть прежде всего чешских ученых Й. Добровского и П. Шафарика, труды которых стали известны российским славистам в первой трети XIX в., а в 1830-х – 1840-х гг. – благодаря популяризации их трудов российскими историками (в частности, М.П. Погодиным и М.А. Максимовичем) – и широким кругам российской общественности.

Разделение славянских языков на две группы впервые обосновал Й. Добровский (1822)⁹¹: это восточнославянские (русский, церковнославянский, иллирийский, хорватский, словенский и «виндский») и западнославянские языки. Аналогичное двучленное деление было представлено и в трудах П.Й. Шафарика, изменилось лишь наименование подразделений: юго-восточная и северо-западная группы. По инициативе М.П. Погодина О.М. Бодянский перевел на русский язык сочинение П.Й. Шафарика «Славянское народописание» (1843)⁹². И тезаурус Шафарика, и предложенный Бодянским перевод на русский язык его терминосистемы продемонстрировали трудности создаваемой классификации – и не только понятийно-лингвистические, но и историко-культурные. Однако необходимо подчеркнуть, что очень многие российские исследователи, независимо от условной в то время «специализации», были знакомы с трудами чешских коллег в подлиннике.

Важно подчеркнуть, что и Й. Добровский, и П.Й. Шафарик, и их российские последователи в предлагаемых обоснованиях лингвогенетических гипотез исходили из принципа соответствия лингвистической и этнографической классификаций все тем же (что и Шлёцер ранее) естественно-научным системам. П.Й. Шафарик начинал свое сочинение с того, что выдвигал следующую схему разделения всего «человеческого рода», который «по своим телесным признакам и свойству языков делится на различные племена, колена, поколения и народы»⁹³. Народы, в свою очередь, подразделяются на «ветви», или «отрасли» (все понятия даны в переводе О.М. Бодянского)⁹⁴. Всего Шафарик выделяет четыре племени человеческого рода; самым многочисленным и разветвленным он называл индоевропейское, одним из колен которого является колено славянское с поколениями славянским и литовским⁹⁵. Его лингвистическая классификация опирается на данную этнографическую, и потому общности (этнокультурной и языковой?) каждого уровня соответствует определенное состояние или уровень развития языка: у племени это

группа языков, у «поколения» – язык (подразделяющийся на «отделы речи», или говоры), у народа – речь, у «ветвей», или «отраслей» народа – наречия, которые могут разделяться на подречия, а те, в свою очередь, на разноречия. Исходя из такого соположения, все славянские поколения являются носителями славянского языка, состоящего из двух говоров: юго-восточного и западного. Юго-восточный говор подразделяется на три речи: русскую, болгарскую и иллирийскую, западный – на лешскую, чешскую, полабскую и лужицко-сербскую. Русская речь, в свою очередь, имеет более дробное деление: великорусское, малорусское и белорусское наречия. Всего, резюмирует Шафарик, в славянском языке два говора, семь речей, 14 наречий и два подречия⁹⁶.

Детальнейшим образом чешский исследователь описывает границы регионов, населенных носителями русской речи и наречий. Ссылаясь на классификацию И.П. Сахарова⁹⁷, Шафарик выделяет в великорусском наречии четыре подречия: московское (состоящее из шести разноречий или оттенков), новгородское, суздальское и заволжское⁹⁸. Сам Сахаров, впрочем, рассматривал формирование этих иерархических единиц русского языка более подробно: он разделял «первобытный славянорусский язык... на два главных наречия: северное (т.е. великорусское. – *М.Л.*) и южное (т.е. малорусское. – *М.Л.*). В северном преимуществовало новгородское, а в южном – киевское. В продолжение восьми веков из новгородского наречия образовалось великорусское со всеми известными доселе (четырьмя указанными. – *М.Л.*) ветвями, а в киевском возникло малорусское и червонорусское. Под влиянием новгородского и киевского возростало литовско-русское. Проникая в окрестные места... [язык русский] произвел особенные областные наречия»⁹⁹.

Из наиболее важных элементов классификации авторитетно чешского слависта следует выделить несколько. *Первый* связан с разделением славянских языков на две группы: юго-восточную и западную. Русский язык относится здесь к первой, в которую входят языки, сегодня относимые к восточнославянской и южнославянской ветвям. В этом П.Й. Шафарик следует за своим предшественником Й. Добровским, классификация славян которого была хорошо известна в русской науке¹⁰⁰. *Второй* обусловлен принятием Шафариком структуры каждого из четырех великороссийских наречий, к которым обратимся далее. Именно концепция Шафарика определила последующие варианты классификаций славянских языков, а также наименование наречий/подречий/оттенков, заимствованных из классификации И.П. Сахарова.

Тогда же, в конце 1830-х – начале 1840-х гг., в российском языкознании возникает и обосновывается новая концепция разделения славянских языков на основании того, что русский язык представ-

лялся теперь «средним» вариантом между западными и южными славянскими языками. Первым, как считалось, ее выдвинул чешский ученый Ф. Палацкий. Впрочем, еще А.Х. Востоков, хотя и более осторожно, в своих «Рассуждениях о славянском языке» (1820) указывал на то, что в некоторых своих формах (признаках) русский язык ближе к западным, нежели к юго-восточным «диалектам» славянских языков по классификации Й. Добровского¹⁰¹. Принято заключать, что именно к этому сочинению А.Х. Востокова восходит трехсоставная структура славянских языков¹⁰². Вначале не предполагалось выделять русский язык в третью категорию; несогласие с чешскими славистами выражалось в нежелании включать его в одно из двух подразделений «речей» славянских. В статье 1836 г. «Европеизм и народность»¹⁰³ Н.И. Надеждин с восторгом констатировал, что ошибочная идея Й. Добровского о причислении русского языка к общей с южнославянскими языками группе уже опровергнута в новых работах П. Шафарика, прежде разделявшего версию классификации своего земляка. Весьма важна аргументация Надеждина, как лингвистическая, так и идеологическая: принимать русский язык, пишет он, «... вместе с Добровским за второстепенное наречие южной отрасли славянского семейства, причитать в родные братья наречиям южным... и в двоюродные – наречиям западным... – значит... не иметь об нем верного и точного понятия. В самом деле, возьмите таблицу примет, составленную Добровским для различения двух главных отраслей славянских языков, кои называет он юго-восточную и северо-западную или *антскою* и собственно *славянскою* (выделено автором. – М.Л.). Вы увидите, что в русском языке эти приметы смешиваются, так что он равно может быть отнесен к обеим категориям»¹⁰⁴. Н.И. Надеждин ошибочно приписывал заслугу изменения классификации славянских говоров с русским как самостоятельным третьим элементом переменившему свою позицию П. Шафарика (в действительности, как уже было сказано, за это следовало «благодарить» Ф. Палацкого¹⁰⁵). Гораздо правомернее признавать «русский язык третьей, чисто восточной отраслью славянских языков, во всех отношениях равной двум первым: южно-западной (задунайской) и северо-западной (прибалтийской). Это восстановление русского языка в своем достоинстве весьма важно не столько по мелочным расчетам народного самолюбия, сколько потому, что, определяя настоящие отношения его к другим, избавляет от опасности чуждого, несвойственного влияния»¹⁰⁶, – убеждал Надеждин. Очевидно, что необходимость выделения русского языка в отдельную, третью группу была продиктована не только сугубо лингвистическими критериями, но и стремлением повысить его статус, создав из него одну группу того же уровня развития и места в иерархии, в которую внесен только один язык. Единственный, но равный «по достоинству» нескольким. Отрицая «расчеты на-

родного самолюбия», упоминая о них, Н.И. Надеждин самым фактом подобной трактовки «проговаривается» о возможных мотивах подобной классификации. Вторым важным его аргументом является все тот же, столь острый для предыдущего десятилетия вопрос о влиянии «чуждом». Самостоятельность языка так или иначе соотносится с критерием незначительности внешнего воздействия (в данном случае со стороны южнославянских языков).

Через год в статье для Энциклопедического лексикона (1837), Н.И. Надеждин идет дальше. Ссылаясь на классификацию славянских языков тех же чешских ученых и опираясь на укрепившуюся концепцию о лингвистическом факторе как решающем для определения этнической идентификации племени, он уже безо всяких комментариев отождествляет позицию племени в этнической иерархии с положением его наречия в лингвистической системе. Иначе говоря, народу соответствует язык, племени в его составе – наречие. Считая необходимым привести установившуюся в современной науке точку зрения, Надеждин приводит мнение критикуемого им ранее Й. Добровского о делении языков и переносит его на племена: относит славяно-русов (или «просто русских», как он [народ] зовет сам себя»¹⁰⁷) «к юго-восточному племени всего семейства славян», иначе называемого «антским» – в отличие от северо-западного или собственно славянского¹⁰⁸. Однако тут же оспаривает данную концепцию, вновь заявляя, что «все заставляет признать в славяно-руссах особое, самостоятельное племя славян: племя восточное, равностепенное и юго-западному... и северо-западному»¹⁰⁹. Обширное пространство и активное расселение, утверждает Надеждин, не могло не привести к контактам с народами «чуждого происхождения», что сформировало «разные поколения» этого восточнославянского племени. Более всего получило «характеристических особенностей» то их них, что сложилось на северо-западе; оно и составило нынешний «великороссийский народ», отличный от малороссийского (на юго-западе) и белорусского (на севере). В этой статье Н.И. Надеждин, таким образом, представляет череду последовательных отождествлений, которые, не вступая в значительное противоречие со схемами эволюции языков и племен (ранее предлагавшимися различными исследователями), создают принципиально новое качество. Лингвистическая единица соответствует племенной (т.е. этнической) общности; следовательно, элементы первой можно соотнести с элементами второй. Важно подчеркнуть, что у Надеждина в данной работе впервые использована собственная, отличная от чешских авторов этнографическая таксономия: семейство (славяне) – племена (восточное, или славяно-русское, юго-западное и северо-западное), каждое из которых состоит из поколений, или народов. Так оказывается, что восточное или славяно-русское племя подразделяется на три поколения, или народа.

Интересно, что собственно языковая классификация русского племени, соответствующая этнографической, помещена Надеждиным в другую часть статьи, после подробного этнографического очерка. В ней говорится, что «великорусский язык нельзя назвать наречием; это особая ветвь славяно-русской речи. Он отличается от малороссийского и белорусского не только грамматическими особенностями в словопроизводстве и словосочинении, но даже резкою своеобразием в самой физиологической организации звуков»¹¹⁰. «Отделение великороссийского языка произошло не от случайной примеси чуждых, иноязычных элементов, а было естественным следствием влияния северной природы... (славяно-русская основа гораздо в нем чище)»¹¹¹. Однако такой же явственной системы терминов, как в этнографической таксономии, в надеждинской языковой системе отчетливо не прослеживается. В частности, довольно сложно установить закономерность применения им терминов «язык», «наречие» и «речь» в определениях русского и великороссийского.

В этой же статье Н.И. Надеждин уже окончательно формулирует идею, которую он впервые высказал годом ранее в упомянутой выше статье: «Русская речь отличается от прочих славянских языков тем, что занимает средину между двумя обширными ветвями, на которые разделил их Добровский и вслед за ним Шафарик»¹¹², ведь «отличительные признаки обоих родов славянских наречий, юго-восточного и северо-западного... встречаются совокупно в языке русском. И нигде это совмещение... не обнаруживается ярче, как собственно у великороссиян...»¹¹³.

Высказывается Н.И. Надеждин и по поводу другой актуальной проблемы – о соотношении церковнославянского и великорусского языков. «По причине сосредоточения первой книжной образованности в духовенстве, распространявшейся на северо-восток с юга, из Киева, язык великороссийский долго не был письменным. Древнейшие новгородские памятники... обнаруживают господствующее влияние южнославянского характера в правописании и словосочинении, которое, однако... все более слабеет по мере усиливающегося расторжения политических связей Восточной Руси с Киевом», а позже «Москва сделалась колыбелью самобытного... великороссийского языка как в живой речи, так и на письме». Таким образом, он отождествляет русский и великорусский языки на определенном историческом этапе. Со времени правления Дмитрия Донского, как считает Н.И. Надеждин, официальным письменным языком документов становится великороссийский, «с небольшими церковнославянскими промолвками»¹¹⁴. Довольно долго, как полагал автор, великорусская речь развивалась стихийно, без грамматик, а великороссийский язык был областным до XVIII в.¹¹⁵ В этом он, несомненно, опирался на бытовавшее в российской науке мнение,

сформулированное еще А.Х. Востоковым (1820), который аргументировал гипотезу о выделении русского языка из церковнославянского и складывании его в новом виде на «среднем» этапе своей эволюции именно при Дмитрие Донском, а «новейший этап» его развития наступает в XVIII в.¹¹⁶

И.П. Сахаров в те же годы подчеркивал, что народный язык «с самого начала» резко отличался от языка грамотных людей, «воспитанного» «под влиянием общей славянской литературы». Но при этом подобное влияние осуществлялось по-разному на новгородское и киевское наречия, поэтому всю «славяно-русскую грамотность» с XI до середины XIV в. он предлагал разделять на три «разряда»: грамотность славянскую, грамотность киевскую («которая положила основание славяно-русской литературе») и грамотность новгородскую, из которой образовалась великорусская литература. Два последних разряда позже слились в одно великорусское¹¹⁷.

Проблема лингвистической классификации, столь однозначной решенная Н.И. Надеждиным в декларативной форме в статье энциклопедического жанра – о выделении русского в отдельную группу славянских языков, явно требовала более тщательного научного рассмотрения. Особенно важное место рассуждения о позиции русского языка в системе славянских языков занимали в статье М.А. Максимовича 1838 г.¹¹⁸ Критикуя систематизацию славянских языков Й. Добровского и П. Шафарика, М.А. Максимович, ссылаясь на рассмотренные выше статьи Н.И. Надеждина и «Историю Богемии» Ф. Палацкого (в которой тот, по его мнению, помещал русский язык в отдельную, третью, названную им восточной, группу славянских языков наряду с юго-западной и северо-западной), одобрял эту новую классификацию. Но все же Максимовичу не импонировало включение русских языков в самостоятельную ветвь под именем восточнославянских; он остановился на двучленной схеме – «двух половин» «словенских языков»: восточного, или русского («разряда») и всех остальных, именуемых западным «разрядом»¹¹⁹. М.А. Максимович настаивал на том, что язык русский следует рассматривать «наравне с языками юго-западного разряда, как самостоятельную (восточную) половину всего круга языков словенских...»¹²⁰. Носителей языка он распределил в две соответствующие группы: северо-восточные «словены» (или северные руссы) (подразделяемые на носителей великорусского и литовско-русского или белорусского языков) и юго-восточные словены (или южные руссы), говорящие на южнорусском языке, разделяющемся на малороссийское (украинское) и червонорусское (галицкое) наречия¹²¹. Таким образом, получается, что русский язык состоит из трех языков, один из которых включает два наречия. Сам термин «наречие» применительно к южнорусскому языку был для М.А. Максимовича

неприемлем, поскольку в его понятийной системе обозначал «диалект»¹²². Классификация Максимовича исходила из его видения истории восточнославянских племен¹²³.

Русские/восточные языки, таким образом, оказываются одной из двух славянских групп. Иначе говоря, в этом делении русский язык тоже «повышает» свой статус – как в сравнении с классификацией Шафарика, так и в сравнении с делением Надеждина. Выделяя русский язык в самостоятельную таксономическую единицу, Максимович, кроме того, решительно настаивает на том, что малороссийское наречие есть «язык особый». Поэтому языки «восточных или русских словен» делятся им на два разряда и три языка: 1-й разряд – севернорусский, или северо-восточный, состоящий из: а) великорусского **языка** с четырьмя наречиями; б) литовско-русского или белорусского **языка**, и 2-й разряд южнорусский, или юго-восточный, к которому принадлежит третий (южнорусский) **язык** с двумя наречиями¹²⁴. При этом М.А. Максимович ссылался на утверждение Н.А. Надеждина, который подчеркивал, что язык великороссиян следует именовать не наречием, а языком.

Вторым элементом системы Шафарика, получившим наиболее активный отклик в среде российских ученых, стал сам круг лингвистических понятий (представленных в переводе О.М. Бодянского). Терминосистема эта, как видим, не устроила ни И.И. Срезневского, ни Н.И. Надеждина. Наиболее последовательно высказался по этому поводу М.А. Максимович, который настаивал на том, что более удачным для русского языка соответствием этнографического и языкового разделения является не поколение–язык, народ–речь, а народ–язык: «Язык и народ [должны быть] приняты как два названия, равностепенные и соответственные друг другу»¹²⁵.

Вскоре после выхода русского перевода «Народописания» П. Шафарика была опубликована рецензия на нее И.И. Срезневского¹²⁶ (правда, он писал рецензию не на перевод О.М. Бодянского, а на чешский оригинал книги). Российский филолог весьма критично отнесся к классификации чешского ученого – в том числе и в части, которая касалась русского языка. Он, в сущности, соглашался с предложением Н.И. Надеждина о выделении русского языка в самостоятельную восточную ветвь. Вместо деления Шафарика он предложил свое: всего 12 главных славянских наречий (из которых два – мертвые), десять объединяются в восемь отделов и три группы: восточные наречия (великорусское и малорусское без белорусского), юго-западные (четыре отдела: три и старославянское церковное наречие), северо-западные (пять отделов)¹²⁷. Таким образом, И.И. Срезневский первым поддержал концепцию Н.И. Надеждина, выделив третью, самостоятельную разновидность восточнославянских (русских) наречий из славянских языков. Он также полагал необосно-

ванным разделением русской речи на три наречия¹²⁸, поскольку не признавал белорусское «таким же самостоятельным наречием, как великорусское»¹²⁹.

В статье «О системе славянских наречий» (1845) М.А. Максимович строил аргументацию с опорой именно на указанную рецензию И.И. Срезневского, по-прежнему не разделяя предложенного им деления¹³⁰. Он скорректировал собственную классификацию славянских языков в 1838 г., несколько упростив структуру: отказавшись от трехчастного деления, возвращается к раннему двучастному, отвергнув излишне дробное деление каждой из частей. Теперь русская речь состоит у него из южнорусской (т.е. малорусской) и севернорусской (т.е. великорусской) «ветвей», каждая из которых делится на два наречия. Первая – на украинское и северское, вторая – на великорусское и белорусское, в которых можно выделить подречия более низкого уровня¹³¹.

В своей более поздней работе (1849) филолог писал о двух главных русских наречиях (северном/великорусском и южном/малорусском), каждое из которых он также делил на восточный и западный подвиды. Однако, в отличие от М.А. Максимовича, Срезневский именовал их наречиями, а не языками. Стоит отметить, что в его терминосистеме такое наименование было значимым, и он довольно четко иерархизировал данные таксономические единицы. Критериями для него выступали время и истоки формирования степени различий. «Давни, но не испоконны черты, отделяющие одно от другого наречия северное и южное – великорусское и малорусское; не столь уж давни черты, разрознившие на севере наречия восточное – собственное великорусское и западное – белорусское, а на юге наречие восточное – собственно малорусское и западное – русянское, карпатское; еще новее черты отличия говоров местных, на которые развилось каждое из наречий русских... нимало не нарушают своим несходством единства русского языка и народа... Их несходство вовсе не так велико, как может показаться...»¹³².

(Стоит заметить, что и в 1878 г. А.С. Будилович согласится с мнением своих предшественников – Надеждина, Срезневского и Максимовича в вопросе выделения русского языка в отдельную группу славянских языков (восточную), но все в той же двучленной системе славянских наречий, в то время как в российском языкознании восточнославянская группа уже рассматривалась как одно из трех – наряду с южно- и западнославянским – славянских наречий¹³³.)

В программной (для российской этнографии в целом и этнографии русского народа в частности) статье Н.И. Надеждина (1847) о предмете и методах исследования народности язык также был признан важнейшим критерием внешней этнографической идентификации человеческих сообществ. «До сих пор... не открыто другого

вернейшего и удобнейшего средства различать и опознавать “народы”, как по их “языку”»¹³⁴. Надеждин указывал на строгое соответствие уровней развития языка этапам эволюции «народности» (от больших общностей к их составляющим): народы, поколения, племена обладают, соответственно, языками, наречиями и подречиями¹³⁵. В «этнографической лингвистике», или «лингвистической этнографии» (т.е. «в этнографическом изучении языка»), Надеждин видел одну из отраслей этнографической науки и предписывал ей решение нескольких задач. *Во-первых*, создание языковых классификаций и приведение их в соответствие с этническим делением. *Во-вторых*, он уточнял, что только «язык народа» «был так и останется навсегда – главным залогом и главным признаком народности», поэтому необходимо осуществить процедуру различения в языке и в самой литературе «языка по преимуществу народного» и литературы «в... собственном смысле “народной”»¹³⁶. Предмет этнографического изучения он ограничивал «устным словом», «живым языком» во «всенародном», «простонародном» употреблении.

Важно подчеркнуть, что вопрос о языке оказывался главным и в наиболее сложном и актуальном для русской науки периода нациестроительства процессе изучения русского народа как единого этнокультурного целого, разделяемого тем не менее на несколько групп в соответствии с главным критерием – языковым. Наиболее сложным и противоречивым уже на этом этапе становится толкование языковых элементов как частей единого целого, выражающих состав и родство, и в первую очередь трактовка языка и наречия.

Классификация говоров великорусского наречия

Как известно, И.П. Сахаров подробно рассматривал составные части современной «великорусской речи» в проекте создания словаря великорусского наречия. Он выделял в великорусской речи четыре наречия: московское, состоящее из шести «оттенков» (московского, тульского, калужского, тверского, владимирского); новгородское (новгородский, архангельский и олонецкий «оттенки»); суздальское (суздальский, ярославский, костромской, галицкий и муромский «оттенки»), а также «заволжское наречие», состоящее из вологодского, пермского, устюжского, сибирского и «афеньского» (так он именовал «язык» офеней) «оттенков»¹³⁷. Если сравнить перечень этих регионов с составом великорусских губерний того же времени, то, например, у Н.И. Надеждина легко увидеть сходство: в «список» Сахарова попадает 15 из 20 выделенных Надеждиным губерний. Характерно, что наречия северного края отнесены к областным говорам.

Важно обратить внимание на одну особенность – эти дробные элементы лингвистических единиц соотносятся с пространственными ареалами обитания их носителей (рассмотренными в предыдущей главе), но для наименования были избраны наиболее крупные (соответствующие губернским названиям) номинации территориального членения. В таком делении можно усмотреть явную параллель уже известным территориальным региональным единицам – таким, например, как Севернорусский регион, отождествляемый с тремя (иногда с четырьмя или пятью) северными губерниями. Московское и суздальское наречия тяготеют к центральным собственно великорусским и к верховым приволжским, губерниям соответственно. К великороссийскому пространству (или к пространству великороссийских губерний) относятся три наречия из четырех. При этом в классификацию включались носители великороссийской речи на всем пространстве Империи, так что в группе «заволжского» наречия оказывались говоры жителей Зауралья и Сибири, и к нему же причислялся даже профессиональный жаргон офеней.

Н.И. Надеждин (как и И.П. Сахаров) подразделял «великороссийский язык» на четыре наречия, выделяя московское, новгородское, рязанское и суздальское «роды наречий»¹³⁸, а «чистейшим и правильнейшим» считал московское, которое «господствует повсеместно», но «не в деревнях». Соотношение диалекта и территории Надеждин осуществляет, обозначая их местоположение в отношении Москвы как нормативного образца. «Новгородское наречие» он определяет на «северо-восток» от нее («наполняет» прежние и давние владения Новгорода, захватывая Торжок и Устюг и «даже Сибирь»). Рязанское ориентирует на «юго-запад» от Москвы (по правому берегу Оки до Малороссии), а суздальское – вниз по Волге. Последнее он рассматривает как самое «нечистое» по причине влияния на него финских наречий¹³⁹. От сахаровской эту классификацию отличает наличие рязанского «рода» (у И.П. Сахарова рязанский говор вообще не упоминается ни в каком качестве) и отказ от четвертой, «заволжской» группы наречий. Свое мнение об имевшихся классификациях «великороссийской речи» Надеждин подробно обосновал в рецензии на сочинения П. Шафарика («Славянское народописание» и его этнографическую славянскую карту») в 1843 г.¹⁴⁰ Он критиковал и иную систему (неких «Г-го и К-го», также упоминаемых Шафариком), согласно которой «великороссияне» являются носителями всего двух типов наречий – владимирского, или нижегородского (проживающие во Владимирской, Ярославской, Костромской, Нижегородской, Пермской, Вятской, Оренбургской, Казанской, Симбирской, Саратовской и Астраханской губерниях), и московского (из Московской, Рязанской, Пензенской, Тамбовской губерний). Надеждин был категорически недоволен отсутствием в

этом перечне северных регионов – Тверской, Новгородской, Псковской, Вологодской и Архангельской губерний¹⁴¹, поскольку, как помним, он включал их в обширный ареал вокруг этнического великороссийского ядра. (Так же как и Сахаров, включая русское население Севера в языковые границы «великороссийского наречия».)

Несмотря на такое подробное членение, Надеждин неоднократно подчеркивал «единство», лингвистическую однородность великорусской речи на всем пространстве Империи: «...при всей своей многочисленности и растянутости по беспредельному пространству оно («великороссийское поколение племени русского». – М.Л.) не представляет слишком резких различий в языке»¹⁴²; «речь великороссийская... едва разнится некоторыми маловажными, вовсе не существенными оттенками»¹⁴³. И далее Надеждин предлагает свое объяснение такого явления: великороссийское «поколение» обладает «беспримерным единством» в отношении к религии (исповедует только православную веру). Различие же великороссийских «наречий, сколь оно ни слабо, всегда предполагает большее или меньшее различие в характере, нравах и даже в способностях народа», а великоруса всегда «можно узнать по выговору: с Волги он или с Дона, с Оки или с Камы»¹⁴⁴.

В уже цитированной статье М.А. Максимовича 1848 г. также приводилась классификация великорусского (севернорусского) наречия, в котором выделялись четыре «разряда», объединяемые в две группы: а) северо-восточную, «окающую», состоящую из верхнерусского, или новгородского, и нижнерусского, или суздальского, и б) южную, «акающую», которая подразделялась на среднерусское, или рязанское, и московское, ставшее общерусским обиходным¹⁴⁵. В этой позиции Максимович, как видим, по факту установления бытования наречий по четырем регионам, не тождественным, однако, губерниям, с одной стороны, солидаризировался с коллегами по цеху (выделяя те же четыре группы), однако с другой – счел необходимым установить более подробные их определения, нацеленные на фиксацию родства с близкими славянскими группами.

В 1860-х гг. часто говорилось о различении общерусского литературного языка и трех разновидностей русской речи, соответствующих трем «отраслям». М.Н. Катков писал, что «общепринятый русский язык не есть какой-либо местный, или, как говорят, великороссийский язык. Можно с полной очевидностью доказать, что это язык не племенной, а исторический и что в его образовании столько же участвовала Северная Русь, сколько и Южная, и последняя даже более»¹⁴⁶. Большей четкостью должна была бы отличаться позиция В.И. Даля в ходе подготовки им к изданию «Толкового словаря», что нашло отражение в нескольких статьях¹⁴⁷. Однако анализ показывает, что в 1850-х – 1860-х гг. позиция знаменитого лексикографа ха-

рактизовалась противоречивостью. *Во-первых*, В.И. Даль, несмотря на дефиниции, важные для обоснования избираемой им лексики (наречия, говора, языка, которые, судя по контекстуальной верификации, используются в его статьях то как синонимы, то как различные иерархические единицы; см. ниже), все же не дает точного обоснования их разделения. *Во-вторых*, говоря о языке, он использует определение «русский» то в значении «великорусский», то в качестве наименования общерусского языка, акцентируя триединство восточнославянских наречий, а иногда обозначает этим словом литературный язык; поэтому в некоторых случаях точное понимание объекта его рассуждений не совсем ясно. Хотя в объяснении названия Даль писал: «Вместо *русского* сказано *великорусского* (выделено автором. – М.Л.) языка: кажется, это будет точнее и правильнее; этим обозначена ширина объема: малорусское и белорусское наречия, не говоря уже о прочих славянских языках, а также церковный и наш же русский, обветшавший, исключены, по крайности стали необязательны для словаря, а могли войти в него кой-где, по неразрывной части своей с целым...»¹⁴⁸ *В-третьих*, само написание прилагательных «русский» и «великорусский» красноречиво разнородно: то с одним «с», то с двумя¹⁴⁹, что, впрочем, является характерной чертой эпохи и относится также к написанию однокоренных слов («российский», «малорусский», «малороссийский», «белорусский» и др.). Это заметно в печатных текстах, в особенности до 1870-х гг.

Что касается вариаций великорусской речи, В.И. Даль, соглашаясь с основным фонетическим принципом деления его на: а) московский, высокий, или «акающий», и б) владимирский, низкий, или «окающий» говоры (т.е. южновеликорусский и северновеликорусский по более поздним классификациям), все же оспаривал мнение Н.И. Надеждина о том, что северные великорусские говоры (например, новгородский) близки западнославянским (белорусскому), а южные великорусские (например, рязанский) – южнославянским (малорусскому) при возможном выделении восточного – владимирского, и, таким образом, великорусское наречие являет собой их смешение, осуществлявшееся еще со времен Нестора. Он утверждает, что «разделения великорусского языка только на два наречия (т.е. на северное и южное. – М.Л.) недостаточно»¹⁵⁰. Соглашаясь с позицией М.А. Максимовича на этот счет, Даль, однако, предлагает дополнить список и другими говорами (именуя их наречиями): смоленским, сибирским, новороссийским, донским¹⁵¹. Наиболее адекватным он предлагает считать свой список из семи великорусских наречий: «первое наречие – московское»; северное (к северу от Москвы) – новгородское, включающее, помимо наречия Новгородской губернии, говоры Архангельской, Тверской, Олонецкой, Вологодской и Пермской губерний; к востоку (от Москвы) – владимирское (губернии

Владимирская с частью Московской, Ярославская, Костромская, Нижегородская, Казанская, Симбирская, Оренбургская, часть Вятской и Пермской); к западу от Москвы – смоленское (Смоленская, Витебская, Могилевская, Ковенская, Виленская, Гродненская, Минская), наречие, которое «по грамматике своей принадлежит более к великорусскому», хотя и отмечено воздействием польского языка и малорусского наречия; к югу от Москвы – рязанское (с говором не только Рязанской, но и Тульской, Калужской, Орловской, Курской и Воронежской губерний), а также три регионально особенных наречия (сибирское, новороссийское, донское, в которых заметны смешанные с соседними родственными языками формы)¹⁵². Обращает на себя внимание важная деталь предлагаемых Далем «дополнений» предшествующих концепций: он, на наш взгляд, стремится как можно точнее соотнести географию с лингвистикой, обнаруживая соотнесение территорий с говорами – притом по административно-губернскому принципу членения имперской территории. Именно поэтому кажется несколько преувеличенно расширенным состав западных великорусских говоров – с точки зрения границ ареала («наши западные губернии», по его определению). При этом толкование автором словаря «разрядов» великорусского наречия отчетливо находится в определенном соответствии с пространственным определением групп губерний, именование которых, как было показано во второй главе, также соотносилось не с частями света, а с положением относительно территориального ядра Московского государства в его пределах XV в., а потому более поздние территориальные приращения (Сибирь, Новороссия, Придонье) именуется по региону, а не по отношению к внутренней, «коренной» России.

Поиску региональных типов этноса полностью соответствовала концепция, складывавшаяся постепенно, на протяжении 1850-х – 1880-х гг. Согласно ей, выделялись два (северно- и южновеликорусское – «окающее» и «акающее») либо три великорусских поднаречия (северновеликорусское, средневеликорусское и южновеликорусское)¹⁵³, критерием для различения которых служили особенности прежде всего морфологии и фонетики.

Количество говоров, правда, иногда насчитывалось более чем значительное: «Русский язык разделился на 31 наречие и происходит от древнеславянского языка. Главное наречие есть великорусское...; здесь различаются оттенки московские, владимирские, новгородские, заволжских губерний и др.¹⁵⁴, – писал автор учебного издания в 1882 г.

Однако в популярной и учебной литературе языковая принадлежность племен Империи – в том числе и русского народа – упоминалась далеко не всегда. Если о ней и говорилось, то характеристики великорусского наречия были очень общими («Говор этого народа,

необыкновенно богатый и звучный, обработанный великими поэтами, сделался наречием всей образованной России и имеет такую литературу, которой по справедливости можно гордиться»¹⁵⁵) или же типы говоров соотносились с регионально-губернским делением (великорусский «язык имеет различия – четыре наречия: московское, новгородское, смоленское и рязанское», а также местные говоры¹⁵⁶). Важно отметить, что в данном случае мы сталкиваемся с характерным примером географического принципа членения языковой территории (применяющийся в лингвистике и поныне), несмотря на то что М.А. Максимович к этому времени уже обосновал фонетический принцип разделения диалектов¹⁵⁷.

В российской публицистике в 1860-х гг. стала преобладать концепция взаимообусловленности этнической и языковой иерархий. Наиболее распространенной была идея о том, что самостоятельный (национальный) язык есть свидетельство высокого развития национального самосознания и определенной стадии развития духовной жизни. Это косвенным образом ставило народ (носителя устной его формы, т.е. наречия), не сформировавший лингвистических норм, на более низкую ступень в этнической иерархии. Применительно к малороссийскому языку/наречию эти стереотипы в полной мере выразил А.П. Милюков. В работе «Вопрос о малороссийской литературе», относящейся к середине 1850-х гг., он писал: «Местные патриоты уверяют, что малороссийский язык есть такой же отдельный, самостоятельный славянский язык, как болгарский, чешский, польский, – и, следовательно, называть его наречием русского языка несправедливо. Последователи этих мнений прямо уже называют украинцев особым народом, наречие свое – самостоятельным языком». В этих словах ясно прослеживается отношение автора к языковой и этнической иерархии (народ (этнос) обладает языком, «отрасль» народа (субэтнос) – наречием).

Немаловажным было понимание статуса языка с точки зрения его коммуникативной престижности, использование его в сфере управления, права, в школе и т.п. «Украинцы, говоря о возможности развития своего наречия, спрашивают: неужели одному русскому языку принадлежит у нас монополия быть проводником образованности и органом науки? Да, без сомнения, теперь общерусскому языку принадлежит эта монополия во всей русской земле». Владение официальным «языком власти», таким образом, становилось символическим капиталом его обладателя. Эту монополию, продолжал Милюков, дал русскому языку не «кружок патриотов», а «ход самой истории». В доказательство он приводил европейские соотношения между литературными языками и наречиями, обусловленные племенной принадлежностью и государствообразующим народом: между английским языком и шотландским наречием, а также меж-

ду итальянско-флорентийским языком и пьемонтским и неаполитанским региональными вариантами. Таким образом, по мнению автора, «в истории мы не находим малороссийского народа и малороссийского языка, точно так же, как не находим белорусского или сибирского народа, а знаем один только русский народ с племенными наречиями белорусским и малороссийским»¹⁵⁸.

В середине XIX в. отчетливо проявилась еще одна тенденция: языковая и так называемая расовая (т.е. антропологическая) классификации могли не только совпадать, но и восприниматься как определяющие место этнической группы/племени/народа/нации в системе, структурирующей разнообразие человеческих сообществ и типов. С одной стороны, это объясняется распространенной концепцией об абсолютном превосходстве языкового критерия над другими, а с другой – генетическая классификация языков, складывавшаяся на протяжении 1840-х – 1860-х гг., во многом корректировала имеющиеся представления о родстве или исторической общности разных групп. Характерным примером такого подхода является учебное пособие по этнологии Ч. Брейса (1863)¹⁵⁹. Он был убежден в том, что только лингвистические особенности дают точную картину происхождения группы, поскольку антропологический тип со временем может сильно видоизмениться или даже коренным образом поменяться, в то время как язык не подвергается столь быстрым изменениям. Для Брейса этнология была наукой о расах, но этнографическая классификация осуществлялась исключительно по лингвистическим критериям, а в ее основу была положена классификация языков Мюллера. Что касается славянских языков, то автор следовал в их классификации за П. Шафариком.

В 1861 г. вышла книга немецкого ученого А. Шлейхера¹⁶⁰, которую считают обобщающей в сравнительно-историческом языкознании. В основу своей концепции генезиса и эволюции языков Шлейхер положил естественно-научную теорию развития. И как в свое время Шлётцер брал за образец языковых иерархий систему Ламарка, так и Шлейхер представил классификацию на основании принципов дарвинизма («естественной системы»). Теория Ч. Дарвина задала и лексикон описания языков – по образцу типологии «царства естественных организмов»¹⁶¹. «То, что естествоиспытатели называли бы родом... именуется... племенем; роды, более сродственные между собою, называются иногда семействами одного племени языков... Виды одного рода у нас называются языками какого-либо племени; подвиды – у нас диалекты или наречия известного языка; разновидностям соответствуют местные говоры или второстепенные наречия; наконец, отдельным особям – образ выражения отдельных людей, говорящих на известных языках»¹⁶². Языковая система представляла собой родословное древо, а потому наименование языковых единиц

осуществлялось при помощи категорий родства: «организм» языка, языковые «роды», «семьи» и «ветви». Языки, возникшие первыми из праязыка, Шлейхер называл языками-основами; почти все они разделяются позже на языки, которые, в свою очередь, могут далее распадаться на диалекты и диалекты — на поддиалекты¹⁶³. Языковым родом/древом он именовал группу языков, происходящим из одного праязыка. Древо, в свою очередь, состоит из семей или ветвей. Славяне, согласно этой классификации, вновь, как и ранее, разделились на две группы — юго-восточную (с русским языком, подразделяющимся на русский и украинский) и западную.

В 1860-х — 1870-х гг. можно отметить появление полярного расхождения мнений относительно значимости языкового критерия. Если М.П. Погодин (1859) был по-прежнему убежден в том, что только «язык... естественная граница народов. Где говорят по-польски — там Польша, где говорят по-русски — там Россия»¹⁶⁴ (при этом не изменяя своей убежденности в том, что определить язык можно даже без особых лингвистических исследовательских процедур), и Н.И. Соловьев считал аксиомой прежние заключения о том, что язык — главный критерий национальной принадлежности¹⁶⁵, то в нормативном тексте — словаре под редакцией И.Н. Березина (1879) — находим утверждение о том, что «в некоторых случаях именно при сходстве физического типа язык тоже может служить доказательством принадлежности народов к одному общему отделу человеческого рода, сам же по себе он еще ничего не доказывает и не решает вопроса»¹⁶⁶.

Известный славянофильскими взглядами исследователь А.С. Будилович в 1875 г. опубликовал новый вариант «распределения славян» по государствам, народностям, вероисповеданию, «азбукам и литературным языкам», справедливо обосновывая актуальность этого издания тем, что прежние статистические данные П. Шафарика (1843) устарели. В табличный список «народностей» Будилович помещает «русских», к которым относит великорусов, малорусов и белорусов. В пояснительной записке указывается численность каждой из трех групп. Но в перечне литературных языков (наречий) только русский обозначен «языком», все остальные языки именуется «наречиями». Это довольно странно, если учесть, что в заглавии обозначен именно «литературный язык», а не язык вообще. Однако автор указывает главные, с его точки зрения, критерии отнесения языка к литературному: большое число носителей, древность источников на нем и «обработку» (здесь трудно точно установить, имеется ли в виду грамматическая разработка, словарная фиксация или же наличие литературного языка): «...из одиннадцати... славянских литературных языков лишь один русский заслуживает этого названия, по своей распространенности, древности преданий и обработке. Все остальные суть собственно наречия, а не языки, лишь случайно воз-

высились они на степень органов литературных и с трудом удерживаются в этом звании при неравной борьбе с языками литературными мировыми»¹⁶⁷. Таким образом, язык и наречие для Будиловича связаны с уровнем языкового развития и находятся в иерархической соположенности, что в очередной раз устанавливает различие статусов великорусского и малорусского наречий. Вызывает, однако, некоторое недоумение то, что польский язык к числу таковых в точной дефиниции Будиловича не относится «по умолчанию», а причины, по которым в данный перечень не вошел малороссийский язык (т.е. отдельно от русского, как, например, кашубский, который введен в список отдельно от польского по причине наличия у него собственной «письменности»¹⁶⁸), по мнению автора, нуждаются в объяснении. «В числе этих литературных “языков” славянских нужно бы упомянуть еще о малорусском, который употребляется некоторыми писателями украинскими, галицкими и карпато-русскими... Но этот малорусский литературный жаргон не имеет определенной территории, на которой он был бы органом школ, судов и администрации. Поэтому трудно указать для этого языка границы его распространенности и число душ, для которых он служит литературным органом... Вот почему “язык” этот опущен в наших таблицах»¹⁶⁹.

В этом объяснении обращают на себя внимание две важные – отчасти противоречащие друг другу – детали. С одной стороны, связь с конкретным ареалом, на пространстве которого язык играет роль официально-государственного. С другой – трудность определения пространства распространения становится причиной изъятия малорусского языка из таблицы. А вот для В.И. Ламанского, в свою очередь, «удобнее всего» представлялось делить славян «и по историческим, и по географическим, и по лингвистическим признакам» на три группы: юго-западных, северо-западных и восточных (состоящих из трех племен)¹⁷⁰.

Однако в случаях, когда языковое родство было установлено довольно точно – в частности, с финскими или славянскими народами, – речь шла о так называемой семье народов, и описание этносов осуществлялось по тому же делению. Этнотипы, принадлежность которых к тем или иным группам не была однозначно определена, объединялись по географическому региональному признаку – например, «народы Кавказа» или «татарские народы», к которым относили чувашей, туркмен и калмыков¹⁷¹. К. Кюн, фиксируя роль антропологических признаков, доказывающих родство различных этнических групп, замечал: «Антропология, без сомнения, важна для историка. Эта наука, рассматривая человека как племенную особь, стремится дать правильное разделение рода человеческого по физическим признакам. Сначала делили по цвету кожи, потом приняли за главный признак череп, но и это оказалось неудовлетворитель-

ным, так как приходилось иногда разделять в разные отделы племена, родственные по другим признакам. При таком несовершенстве антропологических классификаций строить выводы на них оказалось невозможным...»¹⁷² Поэтому он считал лишь языковую принадлежность единственно верным основанием для классификации и разделял народы России по этому критерию, выделяя, в частности, русскую, латышско-литовскую, финскую, турецкую и татарскую группы племен.

Эти и другие примеры показывают, что существовало еще не кодифицированное, но уже сформировавшееся и имплицитно функционировавшее соответствие между иерархией этнических языковых групп, т.е. между племенем и народностью/народом и языком, с одной стороны, и племенем и наречием – с другой. Непризнание малороссийского наречия языком означало в данном случае, что малорусская (как и великорусская и белорусская) «ветвь» не имеет статуса отдельного народа. Данное соответствие не воплощалось в формуле только потому, что само понятие «народ» в значении «нация» также находилось еще на начальной стадии складывания.

На наш взгляд, одни лишь идейно-политические взгляды авторов, которые так часто расценивались учеными XIX–XX вв. как определяющие их отношение к языку¹⁷³, не могут рассматриваться как имеющие в этом случае решающее значение, – во всяком случае, в их позиции относительно малороссийского наречия/языка. Зато обнаруженные между этнографическим и лингвистическим классифицированием параллели убедительно свидетельствуют о том, что различие точек зрения в научной среде зависело от понимания сущности границ этнических групп, методов их установления и трактовки этничности. В меньшей степени они диктовались политическими взглядами или этнонациональным происхождением исследователей.

Русский язык и великорусское наречие в этнографической литературе

В конце столетия в науке сложились более устойчивые и определенные мнения о том, что собой представляет русский язык. Наиболее адекватное представление об этом дают словари и энциклопедии. В них статьи под названием «Русский язык» помещаются, как правило, в разделах «Россия» и «Русская культура». Важно подчеркнуть, что понятие «язык» здесь также многозначно: под ним понимается как литературный язык, язык книжности (применительно к истории до XVIII в.), так и разговорный («народный») язык. Во втором случае в качестве синонимов могли использоваться слова «наречие» и «речь». Вопросы по поводу места русского языка

в лингвистической классификации уже не возникает, поскольку система номинаций уже сложилась, и русский язык описывается как отдельная, самостоятельная группа славянских наречий, которая именуется «восточнославянской ветвью»¹⁷⁴.

В многочисленных этнографических очерках и описаниях народов России, в разделах о великорусах и малорусах, говорилось о «великорусском наречии славянских языков», подразумевавшем два «поднаречия»: северно- и южновеликорусское, которые, в свою очередь, подразделялись на более дробные категории по регионам (северное, или новгородское, и восточное, или суздальское) и восточное/рязанское и западное (Тульская, Орловская и Курская, Московская губернии)¹⁷⁵. Критерием становились особенности произношения (говора). Д.Н. Анучин, в частности, писал: «Наиболее явственно различие между северновеликорусским и южновеликорусским поднаречием; но северное может быть разделено, в свою очередь, на два: а) собственно северное, или новгородское (в Новгородской, С.-Петербургской, Олонецкой, Вологодской, Архангельской, Вятской, Пермской губерниях, в Сибири, также в Псковской и Тверской, где оно соседит с белорусским, и в Костромской, где оно соседит с восточным); б) восточное, или суздальское (в губерниях Владимирской, Казанской, Симбирской, отчасти Пензенской, Саратовской, Оренбургской). Другие исследователи выделяют, однако, эту восточную разновидность северновеликорусского наречия в особое, среднее великорусское наречие, промежуточное между северным и южным. Последнее, то есть южновеликорусское наречие, называется еще рязанским и подразделяется некоторыми также на два: на восточное, или собственно рязанское (в губ[ерниях] Рязанской, Тамбовской, отчасти в Пензенской и Саратовской), и западное (в губерниях Тульской, Орловской, Курской, отчасти Воронежской и Харьковской, где великорусы соседят с малорусами, и в губерниях Смоленской и Калужской, где они соседят с белорусами). К этому западному южновеликорусскому говору относится и московский, который, однако, некоторые исследователи (напр[имер,] А. Шахматов) выделяют в особый, образовавшийся из соединения северновеликорусского наречия с южно-великорусским и стоящий, по основным чертам своего вокализма, ближе к последнему. Этим, специально московским наречием народ говорит только в Москве и в ее ближайших окрестностях; но оно распространилось по всей России как язык образованного класса. Остальные части Московской губ[ернии]должны быть причислены к западному и восточному говорам южновеликорусского наречия, а на севере – к восточному поднаречию северновеликорусского. ...Обособление этих поднаречий и говоров должно было последовать после обособления великорусского наречия от малороссийского, т.е. после XIII века, и, вероятно, в течение многих столетий»¹⁷⁶. Такое дробное деление конца столетия,

однако, почти не находило отражения в популярной литературе, публицистике, учебниках, в них вопрос о языке освещался очень кратко, например: «Все великорусы говорят одним и тем же русским языком, хотя... существуют особые говоры или наречия... Лучшим, более принятым, считается говор московский... которым говорят не только московские и подмосковные жители, но и все русские, получившие образование»¹⁷⁷.

В Большой энциклопедии под редакцией С.Н. Южакова указывалось, что точную датировку выделения русского из других славянских наречий установить невозможно, но что оно произошло не ранее середины XI в., т.е. времени появления первых известных русских письменных памятников. Время складывания наречий русского языка также неизвестно, но схема разделения представлена следующая: с древнейших времен существует три группы говоров, именуемых по географическому расположению территорий их носителей: северная, южная и средняя. Из этих групп в XIV–XVI вв. формируются три русских наречия: великорусское, малорусское и белорусское. Однако они не являют прямого соответствия: каждое из наречий складывалось при смешении групп говоров¹⁷⁸. В статье Энциклопедии Гранат дана иная, «более старая» версия: в XIV в. русский язык подразделяется на юго-западную и северо-восточную «части», из первой образовалось малорусское наречие, вторая около XV в. «выделила из себя» великорусское и белорусское, а в следующем столетии все три наречия приобрели окончательно свои специфические отличительные черты¹⁷⁹.

Можно констатировать, что бурных споров о великорусских говорах не было, в конце столетия преобладала концепция А.И. Соболевского о разделении их на две лингво-географические группы (поднаречия): южную («акающую») и северную («окающую»). Первая «употребляется всем образованным обществом в России и является литературным или общерусским языком, которое (московское наречие. – М.Л.)... еще Ломоносов... именовал лучшим из всех русских наречий»¹⁸⁰.

Литературный русский язык вырабатывался из церковнославянского, усвоенного книжниками из болгарских рукописей, и видоизменялся под влиянием как народной русской речи, так и иностранных заимствований¹⁸¹. А.И. Соболевский писал, что «русский язык, весьма неодинаковый у народностей, особенно юга и севера», в администрации и литературе был почти одинаков у всех. С Петра Великого, когда потребовалось введение в язык новых слов и понятий, эволюция его пошла быстрее, и, по естественному ходу дел, в основу литературного языка лег более богатый великорусский говор¹⁸². А.И. Соболевский считал, что до Петра Великого «название московского литературного языка *русским* (курсив автора. – М.Л.) почти

совсем не встречалось», обыкновенно он именовался *славянским*. При Петре встречается новое название – «словено-русский» (язык или диалект русского языка – «так переводчики определили национальность этого языка»), которое бытовало наряду с определением *русский*¹⁸³. По мнению Соболевского, Третьяковский и Ломоносов начинают разграничивать славянский и русский языки, обнаруживая первый (т.е. письменный язык) в церковных книгах, а второй – в живой «речи образованного сообщества, в основании которого лежит московский говор»¹⁸⁴. А.И. Соболевский, как известно, был убежден не только в родстве, но и в сходстве великорусского и малорусского наречий.

В статье в энциклопедии Южакова о великорусском наречии пространство, именуемое великороссийским, напрямую соотносилось с разговорным языком его обитателей. Из чего следовало, что указанный регион распространения великорусского наречия почти совпадал с расширенным перечнем великороссийских губерний и областей: это десять известных губерний, относящихся традиционно к великороссийскому ядру (Московская, Владимирская, Рязанская, Тульская, Калужская, Тверская, Ярославская, Костромская, Псковская и Новгородская) и еще десять вокруг них (Санкт-Петербургская, Олонецкая, Вологодская, Вятская, Нижегородская, Тамбовская, Воронежская, Курская, Орловская и Смоленская), к которым добавлены еще восемь: Архангельская, Пензенская, Уфимская (ранее – часть Оренбургской), Пермская, Симбирская, Самарская, Саратовская, Астраханская, а также области проживания казаков (донских, терских, оренбургских, уральских и сибирских)¹⁸⁵.

В опоре на работы лингвистов (в частности, А.И. Соболевского) великорусское наречие было представлено уже привычным образом, как состоящее из двух поднаречий. Южновеликорусское, или «акающее», поднаречие, как подчеркивалось, употребляется «всем образованным обществом в России и является литературным и общерусским языком»¹⁸⁶. Иногда предлагалось еще более дробное деление. Так, северновеликорусское подразделяется на новгородское и суздальское, а южновеликорусское – на рязанское, или восточное, и западное, или московское¹⁸⁷. Такой состав обуславливался «различием первоначального племенного состава, а затем различием тех элементов (преимущественно финских), с которыми русский народ приходил в соприкосновение»¹⁸⁸. Та же структура приведена в труде П.Н. Милюкова¹⁸⁹, причем автор придерживался иной гипотезы о формировании этой специфики, связывая ее с историей еще Несторовых времен. Он писал, что «акающий» и «окающий» говоры указывают на два «параллельных потока» миграции: первый – из Новгородской области вниз по Волге, второй – из Смоленской области кривичей и от вятичей¹⁹⁰.

Вопрос о влиянии финского языка на великорусский язык/наречие также продолжал обсуждаться в научной литературе конца столетия, причем идея о значительности этого влияния утратила популярность. А.И. Соболевский, подчеркивая, что «русский народ в лингвистическом отношении представляет собой одно целое», категорически отвергал теорию воздействия финской крови и языка на «единство русского языка», за исключением «нескольких слов»¹⁹¹. О том же писал и А.А. Потебня: «...влияние финских и других племен, не вымерших, а поглощенных русскими, на образование русской народности не подлежит сомнению; но указания на частные случаи этого влияния, кроме некоторых лексических заимствований, большей частью ложны. Так, мнение, что великорусские племена со стороны языка своим существованием обязаны влиянию финнов, остается ложным, так как при нынешних средствах языкознания в грамматическом строе великорусских наречий не может быть открыто никаких следов посторонних влияний»¹⁹². Эта же точка зрения приведена и в статье Д.Н. Анучина о великороссах (1892): «... влияние финского элемента сказывается только в некоторых заимствованных словах и является еще недоказанным в морфологии и фонетике, хотя, по отношению к последней, оно и предполагается некоторыми исследователями»¹⁹³.

Влияние языка народов, подвергшихся метисации со стороны славян на северо-востоке, казалось долгое время бесспорным – ведь сам процесс этнокультурной ассимиляции не подвергался сомнению. Но все же констатировалось, что «финские языки оказали весьма мало влияния на фонетику и морфологию русского языка именно в связи с обрусением инородцев», которые, «приняв православие, скоро усваивали себе русский язык и становились русскими»¹⁹⁴. Впрочем, это не отменяло признания «склонности» великорусов к усвоению элементов быта, нравов и языка других племен – в тех случаях, когда они оказываются на территориях с преобладающим неславянским населением, они «нередко усваивают язык последних и пользуются им», отчего язык великорусов «подвергается значительным изменениям»¹⁹⁵.

Если А.А. Шахматов и А.И. Соболевский по-прежнему высоко ставили лингвистический критерий классификации народов (Шахматов не сомневался, что «язык — это один из наиболее существенных признаков, характеризующих народность в смысле культурного облика того или другого племени»¹⁹⁶, а Соболевский утверждал, что «главное для народности – язык»¹⁹⁷), то другие ученые не склонны были разделять эту категоричность филологов. Антрополог Э.Ю. Петри, подробно рассматривая все существующие классификации человеческих обществ, считал, что определение места народа (племени) в общей картине человечества возможно установить только с учетом совокупности «примет» разного рода. К таковым Петри относил и осо-

бенности, имеющие в основе «психологию»¹⁹⁸. Среди них и язык, но он вовсе не обязательно призван выступать главным критерием классификации этнических групп¹⁹⁹. При создании соответствующих разделов для самого значительного очерка «Россия» (1899) из Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона возобладала точка зрения Д.Н. Анучина. Он считал необходимым разделить два очерка – «Россия в антропологическом отношении» и «Россия в этнографическом отношении»²⁰⁰, – с тем чтобы различать два вида классификации человеческих общностей. Первый представлял физическое и расовое разнообразие племен Империи; второй – этнографические характеристики народов, которые систематизировались в зависимости от их языковой принадлежности («этнографические типы определяются... языком»²⁰¹). По этой причине антропологическая и лингвистическая классификации могут не совпадать. И ярким примером тому является именно триединый «русский народ», который «в отношении языка, религии, быта, исторических судеб... является явственно обособленным, как в его целом, так и в отдельных его подразделениях, а равно и в покоренных им инородческих племенах», а в антропологическом отношении «он представляет ряд типов, распространяющихся и за пределы русской территории и вообще не зависящих от политических и историко-культурных условий»²⁰².

При этом даже в начале XX столетия можно наблюдать отождествление языка и племенного типа, что очень затрудняет точную интерпретацию классификации. Например, в работе антрополога И.И. Пантюхова (1909) о языке и антропологических типах восточных славян говорилось так: «По Далю и Н.И. Костомарову, в *племенных типах* славян VIII–X вв. было менее различия, чем впоследствии, а *наречия* их соединялись малозаметными переходами. Ильменских славян Костомаров считает потомками днепровских *полян* и основывает свое мнение, между прочим, на сходстве *произношения*... По проф. М.П. Погодину, *тип полян и северян* – великорусский, а по М.А. Максимовичу – малорусский, причем он подсмеивался над В.Б. Антоновичем, выводившим его из Галиции. Соболевский, Ключаров, Срезневский в *наречиях* северных и южных славян также не находили большого различия (выделено мной. – М.Л.)»²⁰³.

Идентификация этнической принадлежности по языку. Практический ракурс

Проблема языка в практическом аспекте (всегда детально рассматриваемая в современных исследованиях о национальной политике Российской империи), актуализировала прежнюю полемику о его статусе, тесно связанную с версиями происхождения

малорусского и великорусского племен и русского народа. Кроме того, она стала важной и в связи с другими вопросами – в частности, о языке преподавания в народной (начальной) школе, поскольку и в учительской среде не было единства мнений о методике и языке преподавания даже в границах великороссийского региона (именно в связи с различиями местных диалектов).

Довольно полную картину последствий теоретических и политических дискуссий дает статья этнографа и общественной деятельницы А.Я. Ефименко²⁰⁴. В 1870-х гг. шла острая полемика вокруг методики преподавания в крестьянской школе. Одним из ее пунктов стал вопрос не столько о русском языке, сколько об использовании понятных детям из разных регионов страны различных – в том числе, кстати, и великорусских – диалектов и говоров. Автор, разбирая позицию противников употребления в школе малороссийского наречия, указывает на использование ими «научных» аргументов, среди которых наиболее весомым является утверждение о том, что малороссийский язык представляет собой только наречие, поднаречие или говор общерусского языка и потому не имеет права на самостоятельное существование²⁰⁵. Эту точку зрения Ефименко последовательно отвергает, полагая, что термин «общерусский язык» является условным, «не имеющим конкретного содержания», поскольку «вообще русского языка» нет, а есть русский литературный и две группы народных говоров – южно- и севернорусская, которые соединяются между собой плавно, смешанными формами, но имеют достаточно различий, на основании которых «филологи и делают свои классификации. Кто дал этим группам название великорусского и малорусского языков? Может быть, это неточный термин разговорной речи? ... Это дело филологов»²⁰⁶.

Качественная степень различий между малорусским *наречьем* и великорусским *языком*, с точки зрения Ефименко, не была установлена лингвистами однозначно, поэтому главный вопрос – понимания учениками учителя и учебников – можно решить лишь исходя из практики преподавания. Важно отметить, что автор подтверждает свою позицию ссылкой на реализованные в Европе решения о преподавании на диалектах и их теоретическую базу (в частности, во Франции и в Германии, которые также стояли перед проблемой использования региональных говоров в процессе выработки общей для всех регионов государства системы образования²⁰⁷).

Этнограф приводит мнения тех, кто считает малороссийский самостоятельным языком, и указывает на неопределенность хронологических рамок выделения его из общерусского праязыка, поскольку возможно точно установить расхождения лишь между письменными (книжными) языками, но не разговорными формами. Оспаривает она и один из аргументов сторонников запрета на преподавание

на малорусском языке, состоящий в том, что украинцы настолько хорошо понимают русский язык, что вполне способны обучаться на нем; А.Я. Ефименко ссылается на многочисленные (и весьма красноречивые) примеры недоразумений, связанных с тем, что одинаково звучащие слова в разных языках имеют разные значения.

Даже приняв отнесение малороссийского языка к статусу наречия, убеждена автор, необходимо ввести в начальной школе Малороссии преподавание на понятном для детей языке – т.е. на малороссийском, – равно как и в других областях Империи разрешить использование местных диалектов/наречий. Впрочем, как указано в работе современного автора А. Каревина, в официально утвержденной «Методике первоначального обучения» 1876 г. уже содержалось замечание о допустимости использования родного языка на первичной стадии школьного образования²⁰⁸.

В этнической классификации народов нельзя обойтись без учета языкового родства. Но в 1880-х – 1890-х гг. в антропологических, этнографических (народоведческих) классификациях такой важный признак, как язык, отходит на второй план («признак второго разряда»²⁰⁹) – точнее, он уступает свое прежнее главенствующее место антропологическим (расовым) приметам как более точным. Судя по тому, сколь тщательно аргументировался исследователями отказ от лингвистического критерия идентификации как основного и единственно верного, этот вопрос представлялся довольно острым. Например, В.И. Ламанский в своем курсе лекций о славянских языках и народностях (1882) утверждал, что «лингвистическое деление племен почти всегда неприложимо к классификации рас. Оно тут может служить пособием, но не существенным признаком...»²¹⁰. А немецкий антрополог О. Пешель призывал: «...прежде чем делать заключения о каком-либо сродстве по общности или сходству языков, необходимо исследовать с точки зрения истории вопрос, не было ли данное соответствие в языках вызвано социальным принуждением»²¹¹. Он также обращал внимание на выявление возможных противоречий, когда языковая и антропологическая научные идентификации не совпадают. В этом случае «где сравнительное языковедение находится в противоречии с приметами рас, там мы... должны думать о кровосмешении»²¹². Представители же диффузионизма в антропологии конца XIX столетия (Ф. Ратцель и др.) настойчиво подчеркивали, что антропологическая (расовая) классификация не имеет ничего общего с лингвистической, они не только противоречат одна другой в выстраивании гипотез этногенеза и истории народов, но и не могут совпадать по причине активного смешения рас и физических типов²¹³.

Проблема соотношения родного языка и самоидентификации индивидов и групп также обострилась – несмотря на то, что вопрос

о самоопределении вплоть до 1870-х гг. вставал чрезвычайно редко, – как в этнографических, так и в лингвистических исследованиях. Можно привести один пример из совсем иной области: в рассматриваемой подробно во втором параграфе этой главы полемике М.П. Погодина и М.А. Максимовича 1850-х гг. о происхождении малороссийского и великороссийского языков/наречий Погодин, ссылаясь на сочинения И.И. Срезневского о русском языке, подчеркивает, что заключения филолога для него были особенно важны потому, что автор – малороссиянин по происхождению. Сам Срезневский, однако, признается в том, что его «сердце – великорусское» («и все-таки я кацап»)²¹⁴; П.А. Лавровский в одном из писем по поводу первой публикации Погодиным своих заключений также опровергает его утверждение, указывая, что Срезневский – великороссиянин, родившийся под Ярославлем и в семье рязанца²¹⁵. То есть в этом случае этническая принадлежность определялась регионом рождения, а не самоидентификацией и не местом длительного проживания.

П.А. Кулиш в «Записках о Южной Руси» приводит знаменательный диалог с «малорусскими простолюдинами» (относящийся, вероятно, к 1840-м – 1850-м гг.), вызванный желанием писателя определить происхождение экзонима «черкасы» (так именовали своих «южных соплеменников» «старинные великороссияне»): «Малороссийские простолюдины на вопрос: “Откуда Вы” – будут отвечать: “Из такой-то губернии”, но на вопрос: “Кто вы? Какой народ?” – не найдут другого ответа, как только: “Люде так собі народ та и гóді”. – “Вы русские?” – “Ні”. – “Хохлы?” – “Якій ж ми хохлі?”... “Малороссияне?” – “Щó то за мароссіяне? Нам ёго й вiмовить трудно»²¹⁶. По версии Кулиша, этноним «хохол» они отвергают как бранный, слово «малороссиянин» – «книжное, они его не знают», и потому «предоставляя называть себя “русью”, “черкасами” и чем угодно, сами себя называют только “людьми” и не присваивают себе никакого собственного имени»²¹⁷.

Многочисленные примеры о самоназвании «тутейшие», используемом православными жителями Полесья и пограничных польско-российских территорий, хорошо известны современным исследователям – и тем более этнографам XIX в.: «Простой народ в Белоруссии... на вопрос: “Кто ты?” – отвечает: “Русский”, а если он католик, то называет себя либо католиком, либо поляком, иногда свою родину назовет Литвой, а то и просто скажет, что он “тутэйший”... конечно, противопоставляя себя лицу, говорящему по-великорусски»²¹⁸.

*Язык как критерий этнической принадлежности.
Опыт переписей*

Вопрос о языке как критерии этничности приобрел особую важность в связи с необходимостью сбора статистических данных об этническом составе Империи. Тема стала актуальной начиная с петровских времен, но первые официальные и полные данные о числе жителей по народам были собраны и обнародованы лишь в 1820-х гг., в труде К.Ф. Германа²¹⁹, где этническое происхождение зачастую отождествлялось с местом проживания. Как констатирует ведущий ответственный специалист по исторической демографии России В.М. Кабузан, в полной мере изучение национального состава Российского государства началось только с 1840-х гг.²²⁰ Однако все ревизии и статистические данные, полученные на их основании, не имели точного и однозначного критерия фиксации этнической принадлежности – она всегда устанавливалась не напрямую (исходя из цифр), а при помощи ряда исследовательских процедур, которые должны были реконструировать и устранить погрешности путем определения соответствий сведений о родном языке, месте рождения и прежнем поселении (на основании, например, данных о миграции или переселениях многочисленных групп) и профессиональной принадлежности. Дело даже не в неточности этих сведений, а в нерешенности теоретической проблемы методов этнической идентификации. Процесс осмысления статистиками (не только российскими) методологического инструментария для выявления этнического состава жителей привел к тому, что на Международной статистическом конгрессе в Санкт-Петербурге в 1872 г. была внесена ясность: национальную принадлежность не следует отождествлять с государственной или языковой, «ее определение должно основываться прежде всего на самосознании опрашиваемого»²²¹. Однако на практике, как уже говорилось, общий уровень этнического самосознания крестьянских и средних городских слоев делал данное условие невыполнимым. Понимали это и ученые, и организаторы переписей.

Язык как важнейший признак этнической принадлежности остался в списке вопросов, причем не только в главной переписи Российской империи, состоявшейся в 1897 г.²²² Несовершенство данных переписи 1897 г. с точки зрения этнической идентификации населения признавалось и ее организаторами, одним из которых был П.П. Семенов-Тянь-Шанский. О сложностях, вызванных ошибками и недостатком знаний с двух сторон – как интервьюеров, так и опрашиваемых, ему было известно давно и не понаслышке. Некоторые комментарии к переписям меньшего масштаба позволяли определить и сформулировать методологические затруднения или

упущения в ходе проведения опросов. Так, за 30 лет до общей переписи, в статье, посвященной переписи жителей Санкт-Петербурга в 1869 г., П.П. Семенов-Тянь-Шанский указывал, что именно материалы для статистических заключений, поставляемые «первоначальными источниками», грешат несовершенством²²³. И это отражается на точности общих данных и заключений. Причины автор перечисляет детально; среди них одно из главных мест занимала проблема уровня подготовки, квалификации и знаний участников опроса: малочисленность представителей «образованного класса», которые могли бы верно осуществить как процедуру опроса, так и фиксацию ответов, безграмотность «народных масс», предубеждение их против переписей, как и любого собирания сведений правительственными представителями²²⁴. Ученый выявил и универсальные закономерности, влияющие на репрезентативность получаемых статистических данных. Среди них он упомянул важную роль факторов «гражданственности» и «грамотности» (т.е. уровня образованности и «сознательности» общества в целом)²²⁵.

В рубрики столичной переписи 1869 г. впервые был введен вопрос о языке с целью определения «в каких численных, экономических и общественных отношениях находятся между собой коренной русский, немецкий, финский, польский и иноземные элементы в русской столице»²²⁶. Таким образом, с самого начала введения пункта о языковом самоопределении языковая идентификация отождествлялась с этнической. Полученные в итоге сведения по этому вопросу П.П. Семенов-Тянь-Шанский счел вполне удовлетворительными, хотя и отметил важную для нас особенность: «Множество православных отвечали на этот вопрос словом *родной*, никак не предполагая, чтобы язык их мог иметь какое бы то ни было имя, кроме *родного*. Встречался и язык *лютеранский, католический и магомтанский* у немцев, поляков и татар, за которых давали ответы их русские квартирохозяева (выделено автором. – М.Л.)»²²⁷. С учетом такого понимания «родного языка» можно сделать вывод о том, что даже введение вопроса об *этническом или языковом самоопределении* в ходе изучения народности (что предлагал одним из первых, как известно, В.Д. Спасович²²⁸) не принесло бы ожидаемых результатов. В статистических, этнографических и иных вопросниках содержались лишь пункты, касающиеся эндоэтнонима. Поэтому отсутствие «интереса» к этническому самоопределению в ходе этнографических исследований на протяжении XVIII–XIX вв.²²⁹ вызвано не только представлением о научной объективности лишь внешней (и прежде всего визуальной) идентификации, осуществляемой по заданной программе-схеме, но и уровнем этнокультурного самосознания изучаемых племен и народов. Разумеется, это не могло не способствовать утверждению существующих стандартов научного

описания как плода внешнего наблюдения, а также «овеществлению» этносов как реально существующих объектов²³⁰.

Не останавливаясь подробно на анализе социально-психологических трудностей при опросе крестьян независимо от целей интервьюеров (о чем много писали статистики, этнографы и земские деятели в 1870-х – 1890-х гг.²³¹), отметим лишь, что степень достоверности ответов – в том числе и на вопросы о родном языке и вероисповедании – не могла расцениваться как высокая.

Во время подготовки переписи 1897 г. вопрос о языке являлся одним из важнейших в вопроснике, хотя занимал там 11-е место в списке из 14 пунктов. С учетом опыта П.П. Семенова-Тян-Шанского и зарубежных переписей новаторством в области подготовки можно считать разработку перечня языков и наречий Российской империи (которые так или иначе соотносились с этническими группами различного уровня). Об этом подробно писали статистики, организаторы и участники переписи – например, А.Н. Котельников²³² и С.К. Патканов²³³. Второй был участником разработки специального пособия для переписчиков, которое представляло собой перечень языков всех «народов и племен» Империи из «шести крупных и довольно редко определенных отделов или категорий... Таковы: индоевропейцы или арийцы, семиты... урало-алтайцы. ...Другие отделы, напротив, носят более или менее искусственный характер, как, например, отделы, в которые сгруппированы народы Кавказа, культурные народы Восточной Азии»; «Каждый из этих отделов языков подразделяется, в свою очередь, на группы и подгруппы, которые уже состоят из одного, двух или нескольких более или менее близко стоящих друг к другу языков»²³⁴. Славянские языки вошли в индоевропейскую группу, причем наиболее распространенными считались «русский, малороссийский и белорусский» языки²³⁵.

С.К. Патканов однозначно утверждал, что именно языковые номинации переписи дают возможность судить о племенном (этническом) составе населения: «Группировки языков... нам должны служить главным критерием для суждения о национальности»²³⁶, хотя и оговаривался, что «язык и национальность суть два понятия, которые далеко не всегда и не всюду покрывают друг друга»²³⁷. Патканов много места уделил трудностям фиксации родного языка. Первая, и наиболее очевидная, состояла в том, что переписчик должен был ориентироваться на имеющийся у него список языков/народностей, но человек мог назвать язык или племя, название которого (эндоним) могло вовсе не совпадать с помещенным в перечень (экзонимом), или же его самонаименование было лишь одним из диалектов/наречий либо даже регионимом известного Статистическому комитету языка. В случае с великорусами или малорусами сложности также могли легко возникнуть, если вспомнить описан-

ную Кулишом или Семеновым ситуацию с самоопределением через эндоним. Интервьюер должен был знать конкретную ситуацию для максимально точной фиксации языка, в противном случае он мог легко ошибиться. Так, например, малорусы и великорусы, проживавшие вне основной территории своего проживания, иногда называли родным языком тот, на котором они общались и вне дома. Могла возникнуть и иная проблема, являвшаяся следствием ассимиляции: например, обрусевших или говорящих уже на татарском языке финно-угров Поволжья должны были причислять на основании прямолинейного заключения к великорусам или татарам.

Признавая, что полного совпадения между языком и этнической принадлежностью не существует, разработчик справедливо считал это главной трудностью для переписчиков, потому и были созданы подробнейшие инструкции как для интервьюеров, так и для тех, кому предстояло обрабатывать полученные данные. Важнейшими уточняющими этническую принадлежность индивида и группы критериями служили следующие: регион рождения и проживания, конфессиональная принадлежность, подданство и сословие²³⁸.

Интересно заключение Патканова: он пессимистически относился к возможности реализации той части проекта, в которой должен быть установлен национальный состав жителей Империи, будучи убежден, что только аналитические процедуры и сопоставление всех указанных, кроме языка, факторов могут дать адекватную картину. «Выражение “родной язык” не отличается особой определенностью и ясностью и позволяет двоякое толкование»²³⁹. Понимание данного выражения подразумевает указание либо на владение языком (обрусевших во взрослом возрасте), либо на «язык матери» (язык той национальности, к которой принадлежит человек с рождения). Об этом писал и один из резких критиков методологии переписи (как до, так и после ее осуществления) А.Н. Котельников: не было ясности в том, «имеется ли в виду язык национальности (*lingue maternelle*) или язык семейный, разговорный (*lingue parlée*)»²⁴⁰. Сложности, однако, возникали и в тех случаях, когда человек одинаково хорошо владел двумя или несколькими языками.

В случаях с великорусами все эти трудности были вполне актуальны. Однако следует подчеркнуть, что в списке народов Империи, являющемся одним из приложений к вопроснику, указывались «великорусы», «малорусы» и «белорусы»²⁴¹ – т.е. именно в соответствии с наречием (речью, а не литературным языком). Как следовало поступать интервьюерам, если человек называл родным языком «русский», в рекомендациях не говорилось. Опираясь на комментарии С.К. Патканова о ситуации с обрусевшими племенами, можно предположить, что их ответ «русский» должен был записываться как «великорусский», а в спорных случаях выбора между малорос-

сийским и великороссийским языком на территориях совместного проживания представителей двух этнических групп интервьюер, скорее всего, опирался на процедуру собственной лингвистической идентификации (например, исходя из акцента или используемых грамматических форм, которые *казались* ему невеликорусскими, например). Об этом писал и С.К. Патканов: «В местностях, где население носит смешанный характер, а таковых в Империи немало, ответы... на указанный вопрос далеко не всегда соответствовали бы действительности»²⁴². Но при этом статистик не видел возможной альтернативы для определения национального состава государства, так как «не лучшие результаты получились бы... и в том случае, если бы населению был прямо предложен вопрос о его национальности... в особенности если принять во внимание, что язык является признаком вполне объективным и реальным, чего нельзя сказать про национальность»²⁴³.

Важно подчеркнуть также, что численное преобладание великорусов в тех или иных областях не служило жестким критерием определения «великорусских» губерний или великорусского региона в целом вплоть до конца XIX столетия. Такое преобладание не могло быть точно зафиксировано: наиболее полная перепись населения, которая могла предоставить хотя бы весьма приблизительно подобные данные, была проведена лишь в 1897 г. (до этого, конечно, осуществлялись однодневные переписи по некоторым крупным губерниям России²⁴⁴). Впрочем, сведения о процентном и количественном этническом составе Империи и его изменениях на протяжении XVIII–XIX вв. имелись и приводились во многих статистических трудах и учебниках. Но они базировались лишь на косвенных признаках: так, результаты ревизских переписей (с 1717 г.) позволяли обнаружить соответствие между сословными группами и вероисповеданиями или между социальными и этническими группами на основании наиболее типичных или количественно преобладающих случаев. Например, однодворцы чаще всего великороссияне, а «войсковые обыватели, казаки, подсосудки и посполитые» – малороссияне, колонисты – немцы, ясачные – инородцы и т.п.²⁴⁵ С введением вопроса о родном языке «показатель родного языка населения... превращался в признак этнического происхождения»²⁴⁶.

В переписи 1897 г. было лишь два вопроса, которые косвенно могли фиксировать этническую принадлежность населения: это пункты о вероисповедании и родном языке. С учетом погрешностей, связанных с методами и практикой осуществления опроса, а также с нормами определения родного языка, можно с некоторой долей уверенности установить соответствие между родным языком и этнической принадлежностью. В этом случае можно констатировать, что абсолютное большинство (более 95%) великорусы составляли во всех

губерниях, причисляемых, как указывалось выше, к ядру в широком смысле (великороссийские, средние черноземные, верхневолжские, северные – всего в количестве 21). Но и такое преобладание великорусов почти во всех губерниях *центральной* Европейской России не объясняет, почему даже из расширенного списка этих губерний исключены Астраханская, Симбирская или Пермская, в составе населения которых великорусы также составляли несомненное большинство, значительно превышающее 60%²⁴⁷. Это доказывает, что главным критерием определения региона или области как великорусских вплоть до конца столетия оставалось представление о «своей» исконной территории, сформировавшейся под воздействием географических и исторических условий. Всего, по подсчетам данных о языке, в Российской империи проживало 83,9 млн русских (из них великорусов – 55,7 млн, малорусов – 22,3 и белорусов – 5,9 млн человек). Таким образом, они составляли чуть более 65% всех жителей (всего подданных Империи – 128,2 млн человек)²⁴⁸.

Результаты такого способа исчисления и их изначальная методологическая недостоверность не раз становились предметом обсуждения – в том числе и в контексте спекулятивных задач власти²⁴⁹.

К концу XIX в. лингвистический критерий этнической классификации если не теряет прежнего значения, то значительно утрачивает его. Его роль признается более в теоретических построениях – например, в вопросах этногенеза в историко-сравнительных исследованиях, нежели в практической области идентификации изучаемых объектов. Языковая принадлежность осознается, *во-первых*, как довольно условный признак этничности – особенно в отношении иерархизации разных уровней этнических общностей, и, *во-вторых*, как недостаточно точный критерий определения этнодифференцирующих свойств групп, место в классификации которых расценивается неоднозначно. При этом определение позиции в иерархии этноязыковых общностей осуществляется при помощи тех же логических процедур и методического инструментария, что и идентификация единиц этнической общности в других таксономиях.

Параграф 2 Малороссийский язык или малорусское наречие?

Номинации «язык» и «наречие» приобретали особый смысл в связи с установлением лингвистической иерархии, что произошло только в конце XIX в. Употребляя в отношении украинского языка²⁵⁰ термин «наречие», многие исследователи и общественные деятели подчеркивали его «неполноценность», противопоставляя ему язык великорусский как стадиально-равный, а также русский или общерусский как соответствующий более высокой стадии этнонационального развития. Другими словами, язык понимался как лингвистическое соответствие этносу, а наречие – субэтносу. Образцом для представлений о формировании литературного языка из разговорных форм служил процесс кодификации общерусского литературного языка, который осуществлялся на базе великорусского разговорного языка (великорусского наречия русского языка)²⁵¹. Однако одновременно с этим под понятием «наречие» могли пониматься крупные языковые единицы вообще (ср., например, термин «финно-угорские наречия»).

Русский литературный язык соответствовал стандарту официального государственного языка, который должен был быть нормированным. Великорусское, малорусское и белорусское наречия по статусу приравнивались друг другу, но расценивались как «народные» языки, способные лишь обогащать этот единый литературный эталон. Они, в свою очередь, делились по особенностям говоров. Но такое положение воспринималось в кругах национально ориентированной интеллигенции – в первую очередь, конечно, малороссийской – как принижение не только языкового, но и национально-политического статуса народа. Поэтому вопрос о малороссийском наречии стал важнейшим в первую очередь в своей идейно-политической интерпретации.

В полемике о малороссийском наречии довольно рано сформировались идеологический и национально-политический подтексты²⁵². На наш взгляд, необходимо различать несколько аспектов интерпретации вопроса о языковом статусе – изначально возникшего из-за неразработанности не только самих терминов, но и из-за объективных сложностей в изучении истории языков, что приводило к разногласиям в методах и версиях классификации (и иерархизации). *Первый аспект* этой проблемы касается возможности складывания малороссийского литературного языка как кодифицированного на основе малороссийского разговорного языка (наречия). Этот вопрос рассматривался в контексте социокультурных процессов в малороссийском обществе²⁵³. Два других аспекта связаны с изучением истории

восточнославянских народов: *второй аспект* обусловлен установлением времени возникновения различий между мало- и великорусской этническими и языковыми группами, которые объединялись великорусскими учеными и публицистами в единый русский народ. *Третий* – пониманием процесса формирования этнорегионального своеобразия Малороссии и Великороссии. Различные гипотезы были порождены версиями о преемственности и древнерусском наследии в общественных, политических, религиозно-культурных особенностях двух племен/народов, выразившихся в народной словесности. Наконец, *четвертый аспект* был порожден разногласиями относительно позиции языка в классификационной лингвистической иерархии, полнота развития которого (определявшаяся грамматической кодифицированностью, наличием книжных письменных и устных форм, «понятностью» вследствие близости разных говоров для их носителей) была косвенным аргументом в пользу «зрелости» «отрасли племени» как народа-нации. Именно этот ракурс – эксплицитно или имплицитно – оказывался в центре дискуссии об «историчности»²⁵⁴ малороссийского этноса. Великорусы в этом отношении однозначно признавались историческим и, следовательно, цивилизованным народом. Отказ малорусам в подобных же притязаниях (потенциально, однако, существовавших в прошлом) косвенным образом отзывался на всем комплексе свойств и признаков этнокультурной самобытности – народности как этничности²⁵⁵.

Важнейшим этапом процесса лингвистической кодификации было создание языковой нормы, в частности написание грамматик. В 1818 г. в Петербурге вышла «Грамматика малороссийского наречия», написанная А.П. Павловским. У автора не было специальной подготовки для обоснования далеко идущих выводов (будучи великорусом, он «случайно познакомился с украинским языком»), но уже в самом названии книги содержится противопоставление «чистого русского языка» «малороссийскому наречию». Павловский писал: «Если разбиение архангельского, новгородского, полоцкого, стародубского, муромского и других наречий (не говорю о финских, ордынских, югорских, сибирских, камчатских языках), которые отличаются только несколькими или нечистыми, или смешными, или весьма странными словами, занимает иногда любомудрие и время многих... людей... то для чего же не заняться сколь-нибудь и таким наречием, которое составляет *почти настоящий язык* (выделено мной. – М.Л.)»²⁵⁶. В этом фрагменте важно толкование автором понятия «наречие»: он перечисляет региональные разновидности великорусских говоров, на его взгляд мало различающихся между собой, упоминает при этом группы (семьи) различных языков и именуется малороссийское наречие почти языком. Как видим, автор именуется «наречиями» региональные языковые формы великорусского языка – т.е. говоры, а «языками»

называет языковые семьи. Следовательно, язык и наречие для него – разноуровневые лингвистические элементы. Малороссийское наречие, таким образом, приравнивалось к региональным вариантам великорусского наречия (как части общерусского языка), но с вероятной перспективой его «дозревания» до стадии «настоящего языка»²⁵⁷. Так автор рассматривает язык и наречие как два элемента не только уровней (в синхронии), но и стадий (в диахронии) лингвистической иерархии, на вершине которой находится язык.

В категориях стадиальности и зрелости определял перспективы малороссийского языка и А.И. Левшин, полагавший, что наличие кодифицированного письменного языка – примета цивилизованности народа. Для него различия между языком и наречием связаны с противопоставлением письменных и устных форм бытования. Он утверждал, что, несмотря на отсутствие в малороссийском языке каких-либо грамматических правил, он «до сего времени составляет язык народа», хотя «некоторые ученые малороссияне употребляют его в сочинениях» (в качестве примера приводилась «Энеида» И.П. Котляревского). Левшин рассматривал возможность научной разработки литературного языка, – возможность, которая поставила бы малороссию в один ряд с «просвещеннейшими народами Европы». Однако выводы, к которым он приходит, весьма пессимистичны: «Тщетна надежда сия; ибо нет побудительных причин и самая малая возможность к *составлению языка из наречия* (выделено мной. – М.Л.), оставленного почти всеми образованными коренными жителями здешней стороны»²⁵⁸. Примечательно, что автор выделяет очевидные прерогативы «образованного сословия» в разработке – т.е. в упорядочении – языкового стандарта в духе Просвещения. Значимо здесь отлагольное существительное «составление» в отношении «языка», указывающее на методы, которыми осуществляется данный процесс: наречие преобразуется в язык не в итоге естественной эволюции, а в результате целенаправленных усилий просветителей. Это важное свидетельство того, что представления о данном «способе» регламентации литературного стандарта (присущие процессу кодификации всех языков) не только были известны, но и прочно утвердились в кругах образованной элиты российского общества в конце XVIII – начале XIX в. (18-летний А.И. Левшин был далек от лингвистических и литературных дискуссий).

Полемика о статусе малороссийского языка/наречия восходит к 1820-м – 1830-м гг., когда теоретический вопрос о месте малороссийского и великороссийского наречий в славянских языках обрел очевидную практическую цель: с ним было связано осмысление новой роли малороссийской литературы в русской словесности. И. Могилевский в статье, впервые опубликованной на польском языке в 1829 г., и увидевшей свет на русском в 1837 г.²⁵⁹, подробно рассмотрел

концепции происхождения и истории малороссийского языка. Он – как и другие исследователи, занимавшиеся изучением лингвистического родства, – был вынужден обращаться к данным о прошлом народов и племен. Исходная посылка рассуждений такова: первоначальный общий восточнославянский язык разделился на разные «ветви», среди которых и малорусское наречие, менявшее свое название на протяжении истории. Именно эти различия в именовании породили путаницу в определении происхождения языка и народа²⁶⁰. Автор видел причину в том, что единый народ, именуемый некогда «русью», был носителем русского языка, а с распространением русского племени по более обширным пространствам Европейской России сам язык мог измениться лишь в незначительной степени. Поэтому верно именовать его «русским» для всех трех «ветвей» единой русской народности. Это одна из наиболее популярных, восходящих еще к теориям эпохи Просвещения концепций происхождения и эволюции восточнославянских языков, оказавших существенное влияние на их позднейшие классификации.

Малороссийское «наречие» понималось как региональный вариант некогда единого русского языка, употребляемого населением тех русских земель, которые вошли в состав польского государства; при этом на правах равного польскому народу²⁶¹. Автор заявлял, что русский язык на южнорусских землях был языком не только «народным, но и правительственным»²⁶² – т.е. его узус был различным. Это был действительно важный аргумент, так как статус «наречия» соотносился с диалектами и с языком «простонародным» – в отличие от языка литературного. Предполагаемое старшинство малороссийского среди других восточнославянских наречий определяли древность его происхождения, наличие книжных форм в Средние века. Разделение трех наречий объявлялось «порчей» русского языка внешними воздействиями.

И. Могилевский настаивал на том, что «южнорусский язык» лишь неверное наименование той разновидности русского языка, которая складывалась на территории русских земель (позже именуемых малороссийскими и белорусскими), оказавшихся в составе польского государства. Он не признавал схему его разделения на великорусское (московское), белорусское и малороссийское наречия. Ликвидация письменного варианта сложившегося южнорусского языка, по его мнению, осуществлялась «сверху» в имперский период российской истории в связи со стремлением к языковой и государственной унификации²⁶³. Вывод Могилевского сводится к тому, что южнорусский не является диалектом ни русского, ни польского языков, он «всегда различествовал от прочих ветвей славянского языка, в особенности же от церковнославянского, от польского и великороссийского», и представлял собой исторически сложившийся самостоятельный

язык, некогда общий для всех русских племен. С момента присоединения Малой, Белой, Червонной Руси к Российскому государству он потерял свой официально-государственный статус и сохранился лишь в устно-разговорной форме. Эта концепция, с различными вариациями, вскоре стала основной в полемике о происхождении великорусского и малорусского языков или наречий между украинскими и русскими учеными и общественными деятелями.

Детально разбирая различия между «книжной», «письменной» и «народной», или «гражданской» (т.е. разговорной), формами южно-русского языка²⁶⁴, Могилевский различал их следующим образом: под «книжным наречием» понимался «церковный язык», под «письменной» формой – южнорусский язык, используемый в официально-деловых документах, школьном обучении, письменно-бытовом общении и, вероятно, в публицистике. Его, впрочем, Могилевский предлагает называть просто «русским». Иначе говоря, расхождения малороссийского и белорусского наречий стали отмечаться под влиянием распространения топонимов «Малая» и «Белая» Россия. Такой же точки зрения придерживался Ф.В. Булгарин²⁶⁵. Она вполне увязывается с этнографическими трактовками соотношения региональных и этнических типов – и методы, и возникающие сложности, и выводы аналогичны.

В 1830-х гг., на волне идеализации романтиками народной словесности, язык фольклорных текстов расценивался как отражение «духа народа», а его изучение и использование в художественном творчестве отвечали требованиям народности в литературе. Но и в одной из программ этнографического описания (1854) язык именовался «формой народного духо-развития»²⁶⁶.

Хорошо известна позиция В.Г. Белинского по вопросу о том, является ли малороссийский язык «только областным наречием» или языком²⁶⁷. По мнению Белинского, малороссийский язык действительно существовал во времена «самобытности Малороссии», но до современности он дошел только в одной разновидности – речевой форме. Доказательством тому является и несформированность литературы, так как народная словесность не есть еще литература²⁶⁸. В качестве основных критериев различения наречия и языка критик, как видим, использует оппозицию «устно-разговорный/письменно-книжный». А сформировавшимся литературным языком, таким образом, именуется тот, который выражен в обоих видах, и который используется всеми сословиями – т.е. является общепотребительным в широких кругах этнокультурной общности. Поэтому на два других вопроса: может ли существовать малороссийская литература и должны, и могут ли наши литераторы из малороссии писать по-малороссийски? – автор дает отрицательный ответ: малороссийский язык существует, но никогда уже не станет языком изящной словесности, ибо «сделался теперь провинциальным и

простонародным наречием»²⁶⁹. Белинский указывал на весьма существенную разницу возможностей между малороссийским «наречием» и общерусским «языком», отмеченную ранее В.И. Далем: русский писатель может изобразить в своем романе представителей всех сословий и каждого заставит говорить своим языком: «образованного человека языком образованных людей, купца по-купчески, солдата по-солдатски, мужика по-мужицки»²⁷⁰. Малороссийское же «наречие», с его точки зрения, исключительно крестьянское. Поэтому, заключает критик, малороссийские литераторы и поэты пишут исключительно повести на простонародные темы. Малороссийское наречие он, иначе говоря, отождествлял с речью определенной социальной группы, отказывая ему в возможностях адекватного (понимаемого как реалистическое) выражения всего многообразия социокультурных срезов малороссийского общества.

На наш взгляд, позицию В.Г. Белинского по вопросу о малороссийском языке отличает явное стремление к четкой иерархизированности понятий и нормативности, опирающейся на жесткое соответствие категориальных рядов: а) областное наречие – разговорный язык; крестьянское сословие – племя и б) язык – литература – образованный слой общества – народ; эти соположения соответствуют представлениям о способности социальных групп к новаторству и эволюции. Такая позиция находится в логическом соответствии с разработанной критиком концепцией народности (народность – начальная стадия формирования этнокультурной самобытности, ее «внешнее выражение», а следующий этап – национальность – означает самосознание этой отличительности, фаза, в которой народ выступает как сознающий себя национальный «дух»). Однако с такой позицией категорически, как показывает современный исследователь И.А. Александровский, не были согласны малороссийские литераторы-патриоты: «Вряд ли правомерно заключение, что они являлись сторонниками “украинофильского” направления или выражали сходные с ним идеи, скорее они рассуждали о малороссийской самобытности и важности украинской темы в литературе со славянофильской точки зрения»²⁷¹.

В.И. Даль, исходя из убежденности в необходимости «подпитки» литературного языка богатством простонародной и диалектной речи, в ранней своей статье усматривал в малороссийском наречии одну из стилистических разновидностей русского языка и считал, что это наречие вполне допустимо применять в изящной словесности. По мнению Даля, «язык малороссов имеет большое преимущество перед русским языком в области той отрасли словесности, которую именем *простодушный* отличают от так называемой *чувствительной*. Если всю изящную словесность разделить, как Шиллер это сделал, на *наивную* и *сентиментальную*, то быт и язык Украины присваивает себе преимущественно первую (выделено автором. – М.Л.)»²⁷².

Именно в этом ключе следует рассматривать аргументы в «защиту» малороссийского языка в ранних работах И.И. Срезневского, который в 1834 г. писал: «В настоящее время нечего доказывать, что язык украинский (или, как угодно называть другим, малороссийский) есть язык, а не наречие, как доказывали некоторые, и многие уверены, что этот язык есть один из богатейших языков славянских, что он едва ли уступит богемскому в обилии слов и выражений, польскому в живописности, сербскому в приятности, что это язык, который, будучи еще не обработан, может уже сравниться с языками образованными по гибкости и богатству синтаксическому, – язык поэтический, музыкальный, живописный»²⁷³. Родство и братство малороссийского и великороссийского наречий с точки зрения их «генетики» постоянно подчеркивалось («наш кровный, родной, братский, одного с русским корня»²⁷⁴), но одновременно с этим именно архаичность, своеобразное языковое отставание в системе «лингвистического линейного прогресса» обуславливали необходимость его изучения как элемента «прошлого» для литературного русского языка: «должно изучать его как пособие нашего языка»²⁷⁵. Таким образом, подчеркнем еще раз, приводимые ранее обвинения малорусского наречия в «испорченности» и смешении с языками исторических соседей вполне мирно сочетались с идеей о его исконности, сохраняющей давние архаические речевые обороты, лексемы и формы, и древности его (разговорного языка в первую очередь) как живого (народного) славянского. Так соотносились две оппозиции: «чистота/ нечистота» и «древность/новизна».

Во многих статьях о малороссийском наречии подчеркивалось сохранение в нем незамутненных «древних» элементов – и в лексике, и в грамматике, и даже в звучании («славянская напевность»), а также цельность (под которой понималась незначительная вариативность региональных поднаречий), утраченная или видоизмененная, как казалось, поздними иноязычными (неславянскими) влияниями в великорусских говорах. К.Д. Ушинский описывает русский язык поэтически: он, «сообразно размашистому характеру народа, любит развиваться свободно», подобно источнику²⁷⁶, он – «бесконечное море, питающееся из бесконечного множества наречий»²⁷⁷. Так, К.Д. Ушинский был уверен, что малороссийское наречие осталось «нетронутым в своих основах», не раздробилось на разные говоры и эта «целость» есть признак «первобытности языка» и одновременно преграда к его дальнейшему развитию²⁷⁸. Отказывая малороссийскому наречию в достижении стадии создания литературного языка, Ушинский оценивает его как самоценное, исходя из взаимообусловленности исторической эволюции и лингвистического совершенствования книжно-письменных норм.

Однако эти же приметы архаики могли интерпретироваться совершенно иначе. В качестве примера можно привести рецензию А. Афанасьева на «Байки и прибаутки» Л. Боровиковского. Наречие, подобное малороссийскому, по мнению Афанасьева, не создает классической литературы и остается достоянием «простого народа» – отсюда стагнация малороссийского наречия, не имеющего данных для развития. Малороссам «в поэзии своей должно сохранять первобытные формы, потому что попытки поставить подобный язык на ходули будут казаться неестественными и даже смешными»²⁷⁹.

Однозначно позитивно оценивал «языковое детство» малороссийского наречия В.И. Даль, видя в нем все те же черты архаики/первобытности/чистоты: этот «язык в окончаниях слов и в самом образовании и сочетании их имеет что-то детское, милое, гибкое, напоминающее нам некоторые славянские наречия – сербское, болгарское, которые как-то поражают нас простотою прадедовских времен; кажется, мы слушаем предков своих»²⁸⁰. Как видим, и лексика, и метафоры, и объяснения, касающиеся языка, находятся в полном соответствии с романтическими концепциями народности 1830-х – 1840-х гг.: рассмотрение исторической стадильности народов в категориях «возраста», сравнение родственных племен (и их языков), отождествление не только образа жизни, но и языка народа (т.е. традиционного крестьянского общества) с древним пластом духовной культуры, сохраняющейся в социальных низах без изменений, в своей патриархальной первозданности²⁸¹.

Позитивные оценки «архаичности» малороссийского наречия, сохранившегося в своей исторической неприкосновенности и чистоте, полностью разделялись В.И. Далем, но объяснялись довольно оригинально. Он усматривал его «достоинства» как раз в нерасчлененности языковых форм общеупотребительного наречия, утерянных языками на более высокой стадии развития. Даль замечал, что русский язык неоднороден и имеет несколько видов: язык крестьян или простолюдинов, разговорный язык – «пестрый, несвязный», книжный язык, по слогу делящийся на высокий, низкий, средний, шуточный, важный. Язык же малороссов, «напротив того, сохранил всю девственную простоту свою и силу и всюду себе равен»²⁸². И письменный малороссийский язык, в отличие от литературного русского, сохраняет в полной мере эти особенности: «Трудно написать по-русски книгу о каком бы то ни было предмете, чтобы ее понял каждый мужик, ясно, как то, что он сам говорит; таким языком у нас доселе ничего не написано: задача эта не разгадана»²⁸³. Большое значение придавал Даль взаимопониманию устной речи представителями разных социальных слоев, усматривая в этом «живость» и «богатство» разговорного языка. «Между тем, – пишет он, – возьмите любое малороссийское письмо, читайте его чумакам, дивчатам,

парубкам, кому хотите: если предмет не будет выходить из круга их понятий, то язык и смысл целого будет им понятен вполне. Вот она, неподражаемая простота и естественность в рассказе, облагороженный язык народа силен, ясен, прост, богат на мелочи, на шутки, ему доступные, а подделать все это невозможно»²⁸⁴.

«Древность» и «неиспорченность», а также важная еще для просветителей «естественность» и «простота», как видим, выступают важными критериями в оценке статуса языка, в определении истоков «коренного» племени (т.е. наиболее древнего антропологического типа) всякого народа, – они суть приметы процесса, характерного именно для 1840-х – 1860-х гг. Это, бесспорно, является не только свидетельством общности принципов определения древности происхождения, устойчивости и преемственности тех или иных этнических примет, но и признаком отчетливого «собирания» элементов национальной мифологии на стадии «нациестроительства»²⁸⁵. Не только язык, но и малороссийская история и культура понимались как сохранившие древние элементы славянской (и восточнославянской в том числе) первобытности в целом. Они могли помочь в реконструкции прошлого тех племен и народов, которые ее утратили. Эта утопическая концепция нашла отражение в художественных интерпретациях малороссийской темы. Н.И. Надеждин в рецензии на гоголевские повести писал, что для русских писателей «Малороссия естественно должна была сделаться заветным ковчегом, в коем сохраняются живейшие черты славянской физиономии и лучшие воспоминания славянской жизни»²⁸⁶.

Малороссийское и великорусское наречия в популярных трактовках

В учебнике географии России И.Я. Павловского (1843) содержится подробная классификация славянских языков – при этом в нем никак не отражены споры по данному вопросу или варианты имеющихся таксономий. Павловский воспроизводит концепцию П. Шафарика, согласно которой из общеславянского праязыка образовались две отрасли: восточная (собственно славянская) и западная (азиатская). Русский («наиболее обработанный» из восточных наречий – как и сербский) и церковнославянский языки в таком разделении относили к первой группе. Церковнославянский язык до Петра Великого был в России лишь книжным языком, Петр же оставил его исключительно для богослужения, а «господствующим книжным, деловым и гражданским языком в России... сделался русский»²⁸⁷. Определяя классификационные единицы языка, Павловский указывает, что язык обретает «различные выговоры», из которых «составляются

наречия». Отождествляя говоры и наречия, автор утверждал, что наречия образуются из различных региональных «выговоров» одного языка, чему способствуют контакты с другими народами (отличия малороссийского наречия он видел в «выговоре» и наличии «своих, составленных из латинских и татарских, слов»²⁸⁸) и политическая история (вхождение земель в разные государственные образования). Уже привычно автор выделял «три главных наречия»: великороссийское (употребляется «в Московской губернии и которое теперь мы считаем господствующим, коренным русским»), малороссийское (в южных губерниях России) и белорусское (в литовских княжествах). Помимо великороссийского, малороссийского и белорусского наречий он упоминал еще несколько русских: новгородское, руснякское и суздальское. Для него критерием отнесения к языку было наличие письменной литературной традиции, поэтому он полагал, что великороссийское и малороссийское «наречия можно, в некотором смысле, считать различными языками, потому что [они] имеют свою особенную литературу»²⁸⁹.

В уже упоминавшейся работе И.П. Сахарова представлена сходная схема формирования великорусского и малорусского или южнорусского языков/наречий. Главное различие между ними Сахаров связывает с гибелью русской учености во время нашествия татар, а развитие новых форм, по его мнению, началось с «усвоения киевскому краю церковнославянского языка», когда новая речь устанавливалась по древним оборотам языка славянского, с древними грамматическими оборотами времен Нестора и т.д.²⁹⁰ В то время как в состав великорусского все это не вошло. Великорусский язык, по его мнению, возник во Владимире, в Рязани, Москве и Твери, и там же началась собственно великорусская грамотность²⁹¹. Сахаров указывает также, что в одно и то же время с малорусским началось складывание и червонорусского. С XII по XVI в. шел процесс формирования пяти областных малорусских наречий, «основным» из которых он считал киево-перемышльское²⁹².

Профессор Харьковского и Киевского университетов А.Л. Метлинский в предисловии к сборнику южнорусских песен, изданному в Киеве в 1854 г., писал о важности изучения малороссийского фольклора как «отрасли» русской словесности: «Я утешился и одушевился мыслью, что всякое наречие или отрасль языка русского, всякое слово и памятник слова есть необходимая часть великого целого, законное достояние всего русского народа и что изучение и разъяснение их есть начало его общего самопознания, источник его словесного богатства, основание славы и самоуважения, несомненный признак кровного единства и залог святой братской любви между его единокровными и единокровными сынами и племенами»²⁹³. Малороссийское наречие – одно из трех русских наречий как региональных ва-

риантов единого языка – вот тезис, ставший доминирующим в научных и публицистических произведениях и отразивший «языковой аспект» концепции триединого русского народа²⁹⁴.

Итак, к середине столетия окончательно сложилась концепция разделения русского языка на несколько «ветвей», «отраслей», «поколений» и т.п. Однако вопросы, касавшиеся классификации, не только имели лингвистическую значимость, но и затрагивали пласт совершенно иных проблем. Это и история этногенеза восточных славян, и причины и последствия складывания пространственно-языковых групп, и, что важнее, формы и степень этнического своеобразия данных «отраслей» – что в совокупности должно было установить их статус и взаимоотношения внутри российской имперской общности.

Одним из первых зафиксировал круг этих исследовательских задач и обозначил пути их решения Н.И. Надеждин – в своем программном докладе на заседании отдела этнографии в созданном в 1845 г. Императорском Российском географическом обществе. Выявляя пределы исследовательского поля этнографической дисциплины (бывшей частью географической науки), Надеждин, уточняя собственную концепцию 1837 г. (сформулированную в статье для словаря Плюшара), подчеркивал необходимость различения терминов для обозначения, в частности, «российского» и «русского» языков – как, соответственно, официально-литературного и разговорного вариантов. Под первым Надеждин понимал язык, находящийся в официальном употреблении «в России», под вторым – тот, «которым Русь (выделено автором. – М.Л.) запросто пробавляется»²⁹⁵. В этом разговорном русском (т.е. нелитературном языке) он усматривал «главные видоизменения» – «великороссийский, малорусский и белорусский» языки²⁹⁶ и его (русского) «тени и оттенки» – т.е. подречия каждого из них. Важно также, что Надеждин определял сферу различий этих «языков» (хотя в контексте данных им определений очевидно, что речь идет о наречиях): лексический состав, «грамматическая ткань», «словообразование, словосочинение» «и... наконец, всего более – словопроизношение»²⁹⁷.

В этой же статье Н.И. Надеждин, характеризуя внешние этнокультурные влияния, которым подвергались жители Северо-Восточной Руси (будущие великорусы) и Юго-Западной (будущие малорусы), указывает, что «старинным домовищем русского человека» была именно Русь Юго-Западная. При этом Надеждин из всей массы западнорусской отдельно выделяет «наших украинских малороссов, живших всегда возле нас, великороссиян, и почти всегда имевших общую с нами историю», подчеркивая, что «различия, существующие между оттенками *Велико-Российским* и *Мало-Российским* (в курсиве автора сохранено его правописание. – М.Л.) в пределах России, служат для некоторых поводом к утверждению: будто их нельзя считать оттенками

одного основного типа»; «...если в той части Юго-Западной Руси, с которой мы наименее были в непосредственном соприкосновении и сношении, братство с нами оказывается так явственно: то правильное и верное заключение должно быть, что в тех частях, которые к нам ближе, оно, значит, затерлось какими-нибудь особыми обстоятельствами. На такие обстоятельства точно и указывает история, представляющая юго-запад нынешней России, нашу малороссийскую Украину, в постоянном трении с стихиями азиатскими: с татарщиной и с туретчиной – не говоря уже о соседнем Кавказе...»²⁹⁸.

В 1820-х – 1840-х гг. наименование этих «оттенков» русской речи осуществлялось через их противопоставление (имевшее, как мы покажем в четвертой и пятой главах, семантические коннотации), в соответствии с оппозицией «север/юг». Поэтому чаще всего использовались прилагательные «северный» и «южный», определявшие не столько климато-географическое положение, сколько полярность свойств, присущих носителям языковых особенностей²⁹⁹. В первой половине столетия описатели «отраслей» русского народа постоянно апеллировали к этой дихотомии – даже, как указывалось во второй главе, на уровне этнонимии. Отличия малороссиян/малорусов от великороссиян/великорусов рассматривались в соответствии с предписанными данной типологизацией оценками, в которых чаще всего актуализировались отличия, а не сходства. Аналогичным образом в рассуждениях о русских (общерусских) наречиях, о различиях между великороссийским и малороссийским вариантами русской речи чаще всего использовалась именно эта формула – севернорусское/южнорусское наречия³⁰⁰.

В 1847 г. Ю.И. Венелин, выделяя две отрасли «великого русского народа» – северную и южную (т.е. великороссийскую и малороссийскую), также однозначно апеллировал к языку как главному критерию различения, констатируя: «Главное условие разделения одного и того же огромного народа на две ветви было во взаимном, постепенном уклонении в языке. Это уклонение называется наречием; отсюда наречие северное и наречие южное»³⁰¹. Венелин одним из первых в российской науке заострил внимание на взаимосвязи самоопределения (эндонима) и языка: «По мнению москвитян, например, тот только настоящий русский, кто умеет *заварить па-настоящему*, т.е. *па-русски*, а это значит: по-северному. Но горе южанину; вы можете знать в совершенстве северное русское наречие, или так называемый русский язык; можете даже почти совершенно подделаться под северный выговор; но горе вам, если вы спотыкнулись в малейшем оттенении в выговоре, – вам скажут: “*Вы, верна, из немцов?*” или “*Вы, верна, нездешний?*”, и тогда, любезный мой южанин, называйся, как тебе заблагорассудится... все равно, все тебе поверят, и как ты ни вертись, ни божишь, все ты не русский! Но ты скажешь, что ты малоросс, – все

равно, все ты не русский, ибо московскому простолюдину чуждо слово *росс*; и будет ли этот *росс* велик или мал, для него все равно, только он убежден, что он не русский, а поляк, или хохол, или литва, или казак, или украинец, или что-либо похожее; словом, что он не свой. И в самом деле, можно ли человека почесть своим, который не носит красной или цветной рубашки, называет щи борщом и *не гаварит харашо*, а добре! (выделено автором. – *М.Л.*)»³⁰². При этом Венелин использует прилагательное «русский» для обозначения языка великорусов, не применяя, однако, этнонима «великорус».

Позиция языка, наречия и говора в языковой иерархии как обоснование исторического статуса народа

Вопрос о статусе малороссийского наречия/языка стал непременным элементом как украинофильского, так и антиукраинского (иногда именуемого правоконсервативным или «патриотическим»³⁰³) дискурсов. Вопрос соотношения малороссийского и великороссийского наречий весьма остро воспринимался на протяжении всего XIX в., он сделался одним из инструментов политики – особенно в связи с польскими событиями 1860-х гг., что нашло отражение в действиях российских властей³⁰⁴. В 1860-х – 1890-х гг. всякая – даже строго научная – дискуссия по вопросу о языке (и тем более русском) обретала в той или иной степени политический оттенок, что неизбежно придавало ей новое – идеологическое измерение³⁰⁵.

В современном языкознании наиболее сложным остается вопрос о соотношении литературного языка с разговорными формами и их иерархией³⁰⁶, хотя именно противопоставление языка территориальным диалектам, разным типам обиходно-разговорных койне и просторечию в диахронии и синхронии является теоретической константой лингвистической иерархии³⁰⁷, так как стандартность и наддиалектный характер литературного языка представляются его дифференцирующими признаками³⁰⁸.

Наречия/диалекты отделяют от литературного языка на основании узкой локализации в пространстве и социуме, ограниченности общественных функций, отсутствия или неразвитости книжно-письменного языка и регламентированности в целом. Важным следствием данных различий является возможность создания иерархии лексических единиц, позиция в которой определяется грамматикой и фонетикой разновидностей устной речи. Однако место диалекта («наречия» в терминологии XIX в.) трудно поддается фиксации – в первую очередь из-за многозначности этого наименования, а также из-за несогласия в оценках его соотношения с языковым стандартом³⁰⁹ – поскольку «канонизация» национальных языков протекает

в разных историко-культурных условиях, что осложняет выработку единой методики конструирования на базе отдельных наречий/диалектов. В настоящее время диалект понимается как одна из основных социальных форм существования языка, объединяющая группу говоров³¹⁰, термин «наречие» для обозначения территориальной социальной разновидности языка не применяется³¹¹. Однако синонимичность понятий «говор», «диалект», «наречие» (существовавшая с XIX вплоть до середины XX в.) не способствует прояснению процесса, особенно при описании и анализе раннего периода лингвистической кодификации и унификации литературного языка.

Терминологическая расплывчатость и полисемантизм понятий, принятых для номинации отдельных языковых единиц, были преодолены к концу XIX в., но спектр значений многих из них в науке более раннего периода возможно установить лишь на основании контекста и с учетом истории языкознания. Кроме того, весьма размытыми представлялись границы и других элементов языковой иерархии³¹². Следует отметить и неоднозначность используемого в текстах XIX в. понятия «литературный язык», употребляемого как для обозначения языка художественной литературы, так и для наименования национального языка (языкового стандарта). Впрочем, следует отметить, что в анализируемых нами текстах данное словосочетание встречается довольно редко.

Наиболее частый предмет полемики – вопрос о соотношении малороссийского языка/наречия и русского языка/великорусского наречия. Сама номинация «наречие» многими ассоциировалась с диалектностью или, точнее, с региональностью малороссийского языка в его отношении к общерусскому литературному языку. В качестве устно-разговорной формы оно сопоставлялось с великорусским и белорусским наречиями, но претензия его на статус самостоятельного славянского языка – равнозначного чешскому, польскому или русскому – вызывала несогласие тех исследователей, которые ставили наречие на более низкую иерархическую ступень, чем язык. Другие же, первоначально обращаясь к славянским языковым классификациям и потому рассматривая малороссийский язык/наречие как один из элементов системы групп славянских языков, детально занявшись историей русского языка, изменили свою точку зрения. Самый яркий пример – И.И. Срезневский, который в 1830-х – 1840-х гг. ратовал за самостоятельность малороссийского наречия и его «равноправия» с русским, именуя их «языками», а с конца 1850-х и далее интерпретировал малороссийское и великороссийское наречия как диалекты общерусского языка. Это дает основание современным исследователям связывать смену позиций с эволюцией политических взглядов слависта и приписывать ему «черты русского национализма, что выразилось в негативном

отношении к украинскому национальному движению...» и «верноподданническую любовь к существующему в России строю»³¹³. Подобные оценки во многом схожи с мнением украинофилов середины XIX в.; таким образом, смена научных взглядов ученого объясняется (как и раньше) его ангажированностью и идеологической предвзятостью.

Однако куда более важным представляется смена лингвистических посылок. К 1850-м – 1860-м гг. формируются новые аргументы в пользу иной концепции, более жестко фиксирующей иерархию языков и общностей. Основанием для нее служили три группы факторов, отражавших в целом уровень развития лингвистической теории: а) история происхождения малороссийского и великороссийского племен и их речевого своеобразия; б) потенциальные возможности создания «полноценного» литературного языка на основании малороссийского наречия (подобно тому, как русский литературный был создан на базе великорусского наречия); в этом аспекте водораздел между языком и наречием был связан с наличием разработанных книжно-письменных форм (в языке) и бытованием наречия лишь в устно-разговорной разновидности; в) терминологическая упорядоченность языка описания и классификации самой лингвистической науки.

Установление взаимосвязей между этнической и политической историей племен и формирующимися диалектными или просторечными языковыми особенностями стало основной тенденцией этнографии во второй половине XIX в. и продолжало развиваться в языкознании. Эволюция славистики в целом, а также новые концепции русской истории, данные этнографии и фольклористики, антропологические исследования позволили во многом уточнить представления об этногенезе восточнославянских племен и о складывании культурно-региональных отличий русского населения Европейской России. При этом для ученых по-прежнему было несомненно, что этапы этнического самосознания (народности) соответствуют стадиям развития языков из наречий.

К теоретическим вопросам классификации «языковой действительности» обращались прежде всего те, кто занимался кодификацией языка, в частности составители словарей. К середине столетия было создано три так называемых академических словаря русского языка: «Словарь Академии Российской» (1789–1794), «Словарь церковно-славянского и русского языка» (1847) и «Опыт областного великорусского словаря» (1852). Новаторскими считаются принципы, положенные В.И. Далем в основу создания «Толкового словаря живого великорусского языка» (1862). Даль отстаивал идею о том, что «обработанный», т.е. кодифицированный литературный, язык создается на базе «народного»: «У нас нет еще достаточно обработанного

языка... он... должен выработаться из языка народного»³¹⁴. Язык народный, в свою очередь, «слагается», по мнению составителя, из наречий и говоров.

В статье 1852 г. Даль указывал на трудность разграничения понятий; наречием он называл: а) «язык не довольно самостоятельный, и притом столь близкий к другому, что, не нуждаясь ни в своей особенной грамматике, ниже в словаре, может быть хорошо понимаем теми, кто знает первый»; б) наречием «более в политическом смысле» он именовал «областной, местный говор небольшой страны», а также считал наречием в) язык «местный, искаженный, как полагают, отшатнувшийся от коренного языка»³¹⁵ (обратим внимание на определение «коренной» – обозначающее столь характерное и позитивное для той эпохи качество исконности и самобытности). Однако главными дифференцирующими признаками наречий, говоров и языка являются для Даля: а) степень отклонения от литературной нормы и б) противопоставление письменного литературного языка устным формам бытования: «Язык, которым говорит большинство, а тем более сословие образованное, язык письменный, принимается за образцовый, а все уклонения его – за наречия»³¹⁶. Даже в этом противоречивом определении наречия можно уловить главное: наречие и язык в лингвистической иерархии стоят на двух разных уровнях – причем как в синхронии, так и в диахронии.

Впрочем – и это необходимо подчеркнуть, – В.И. Даль отдавал себе отчет в том, что «господство одного наречия над другим» случайно и довольно условно и объясняется чаще всего политическими обстоятельствами³¹⁷. Такая позиция определила и понимание «самостоятельного» языка: «За самостоятельный, по развитию и обращению, язык должно признать тот, у которого есть своя грамматика и письменность, за наречие – незначительное уклонение от него, без своей грамматики и письменности, говор – еще менее значительное уклонение»³¹⁸. Однако через десять лет, в предисловии к первому изданию Толкового словаря, дефиниции трех важнейших лингвистических единиц уже не вызывали у Даля никаких сомнений и давались в достаточно упрощенном виде: «Дело это просто и ясно. За исключением на юге и западе ближайшего соседства Малой и Белой Руси, у нас, во всю ширь Великой Руси, нет *наречий*, а есть разве только одни *говоры* (выделено автором. – М.Л.). Говор отличается от языка и наречия одним только оттенком произношения, с сохранением нескольких слов старины и с прибавкою весьма немногих, образованных на месте, речений, всегда верных общему духу языка»³¹⁹; «Малая и Белая Русь исключены: это особые наречия»³²⁰. Таким образом, на первое место в процессе выявления «уклонений» у Даля теперь выходит фонетика, а вовсе не степень кодифицированности и наличие

письменных форм, прежние великорусские «подречия» оказываются всего лишь говорами.

Именно поэтому, настаивая на том, что малорусский и белорусский суть наречия одного языка, Даль объединил диалекты Велико-россии в «язык», а не в великорусское наречие, несмотря на то что главным материалом для словаря избрал именно говоры, а «церковный» и «русский обветшавший» языки он из словаря исключил³²¹. Ему представлялось, что малая вариативность, понятность и естественная однородность великорусских говоров делает их бесспорной и естественной базой общерусского литературного языка, а отличающиеся в большей степени региональные особенности языка Малороссии и Белоруссии следует расценивать как локальные инварианты. (Интересно, что типичный и объяснимый состоянием научной мысли первой трети XIX в. критерий «понятности», активно использовавшийся в качестве аргумента единства русского языка на ранней стадии лингвистических репрезентаций, вновь вернулся в славянофильскую и консервативную публицистику 1860-х – 1870-х как доказательство существования единой народности. Весьма красноречивым и довольно архаичным с точки зрения лингвистики можно считать, например, высказывание М.Н. Каткова: «В России несравненно меньше розни в языке, чем где-нибудь, и менее, чем где-нибудь, рознь эта значительна. Ступайте по всей Русской земле, где только живет *русский народ всех оттенков* (т.е. представители трех русских «отраслей»; выделено мной. – М.Л.), и вы без труда поймете всякого, и вас без труда поймет всякий»³²².)

В статьях В.И. Даля явно выражена тенденция подчеркнуть сходство и взаимное понимание носителями различных великорусских говоров друг друга – с противопоставлением, не столь понятным двум восточнославянским наречиям (несмотря на то, что в словарь вошло довольно много малороссийской и белорусской лексики, бытовавшей на землях великорусского пограничья). Немаловажно и то, что основным критерием определения ареала великороссийских говоров Даль сделал пространственный: языковые границы обуславливались историко-культурным регионом³²³, а не наоборот. На наш взгляд, основной интенцией автора было зафиксировать черты сходства, характеризующие единство различных форм великорусского/русского языка как национального, несколько «сгладив» различия, – объяснимый процесс, типичный для выявления всякой этнокультурной общности на данном этапе развития науки, аналогичный акцентированию этнодифференцирующих различий для установления границ между этническими и племенными группами. Можно согласиться с исследователями, усматривающими во взглядах Даля, быть может, неосознанное, но отчетливое стремление «гомогенизировать сложную лингвистическую реальность»³²⁴.

*Дискуссия о происхождении
малороссийского языка/наречия*

В полемике о лингвогенезе восточнославянских языков в 1840-х – 1860-х гг. важное место занимала дискуссия между крупнейшими учеными – М.П. Погодиным, И.И. Срезневским и М.А. Максимовичем, в которой в той или иной степени приняли участие многие ученые – А.А. Котляревский, П.А. Лавровский и др.³²⁵

Начало дискуссии положила публикация известного письма М.П. Погодина И.И. Срезневскому (1856)³²⁶, посвященного проблеме происхождения малороссийского и великороссийского наречий и языка Киевской Руси, которая отчасти была затронута филологом в его «Мыслях об истории русского языка» (1849). И.И. Срезневский относил период формирования русского языка к X–XIV вв.³²⁷ и утверждал, что малороссийское и великороссийское наречия сформировались только в XIV в., тогда же отчетливо заметны стали особенности книжного языка, в котором «удерживался язык древнего строя», язык веры и церкви – старославянский. В XV–XVI вв. различие народного и книжного языков стало очень резким³²⁸, но постепенно сложились два вида письменного языка: один – сохранявший архаические формы славянского, второй – представлявший собой смесь старославянского и живого народного³²⁹. Поскольку и народный разговорный язык уже обрел специфические черты наречий, то и в этом «новом книжном» русском вполне логически, по мнению Срезневского, можно было различать восточную (в Московской Руси) и западную (в Руси Юго-Западной) разновидности (в XVI–XVII вв.). С объединением Малой и Великой России в единое государство влияние великорусского наречия на письменный язык возрастало³³⁰, что привело к доминированию форм этого наречия в книжном языке общего Российского государства. Иначе говоря, на определенном этапе книжная и разговорная вариации языка стали великороссийскими, однако этот процесс, как подчеркивает ученый, шел очень медленно. Срезневскому же принадлежит утверждение о том, что и церковнославянский, и русский языки суть «копии» славянского праязыка.

Что же так неожиданно «открыл» в этих заключениях И.И. Срезневского М.П. Погодин через шесть лет после выхода в свет книги коллеги-филолога? Его как историка интересовала не история собственно языка, а история племенная, этническая, которую можно реконструировать по лингвистическим данным. Он не без провокативного намерения заявил, опираясь на выводы Срезневского о великорусском основании письменного языка и наречия на поздней исторической стадии (и вытекающей из этого понятности книжной разновидности для носителя великорусского наречия), что малорусское наречие к киевскому периоду русской истории отношения не

имеет. Аргументом в пользу этого мнения было то обстоятельство, что в языке киевских летописей до XIV в. Погодин не обнаружил никаких элементов малороссийского наречия (по тем признакам, которые он определил для себя). При этом под малороссийским наречием, приметы которого историк искал в текстах летописей, понимался современный малороссийский язык, притом его идентификация связывалась Погодиным с «понятностью» или «непонятностью» исследуемых средневековых текстов. Дополнительными доказательствами стали отсутствие в малороссийском фольклоре элементов богатырского киевского эпоса и доминирование среди летописных типов (в том числе княжеских) великорусов³³¹.

В открытом письме историк оспаривал заключение Срезневского о том, что оба восточнославянских наречия складываются после XIV в. и одновременно. Перенос суждения филолога о великороссийском языке книжности и речи (на позднем этапе) на всю историю русского языка, М.П. Погодин почти абсолютизировал это отождествление, утверждая, что язык летописей – «церковный» – был книжным языком, разговорную разновидность которого представляло великороссийское наречие³³². На нем говорили великороссы, жившие в Киевском государстве вплоть до татарского нашествия, после чего они переселились в северо-восточные земли. А киевские княжества заселили выходцы «с Карпатских гор», которые и были носителями малороссийского наречия³³³. При этом оба наречия – «ровесники», родившиеся уже в IX в., но малороссийское не нашло воплощения в письменной форме, так как летописание осуществлялось в церковно-великороссийском варианте. Исходя из этой гипотезы, Погодин определял древнюю Великую Россию как «Несторову Русь», а более позднюю Великую Россию как «собственно северную сторону, куда ушло или где размножилось собственно великороссийское племя»³³⁴. Великорусам приписывалось киевское наследие, их языку – общность с письменным и разговорным языком Древней Руси, а государственно-правовые традиции Московского и позже Российского государства напрямую возводились к прежней, южнорусской «родине» великорусов. Малорусы обретали в этой концепции статус «пришельцев», позднейших обитателей территории, ныне именуемой Малороссией, и лишались таким образом исторической связи с киевским периодом. В центре версии Погодина лежала гипотеза о массовом исходе великорусов и об их почти поголовной миграции в Северо-Восточную Русь в связи с татаро-монгольским нашествием.

О малорусском литературном языке М.П. Погодин заявлял категорически (в начале 1860-х, в связи с «польским вопросом» и Январским восстанием): «Развитие малороссийского наречия, содействие малороссийской литературе я одобряю в полной мере, но возводить его на степень особого литературного языка я считаю нелепостью,

нелепостью особенно теперь, когда во всех славянских племенах распространяется мысль и делаются опыты ввести великорусское наречие в общее для всех славянских племен литературное употребление!»³³⁵.

Письма Погодина вызвали волну откликов и обсуждений как в научном сообществе (в Академии наук и среди университетских профессоров), так и на страницах периодической печати. И.И. Срезневский, отвечая на замечания Погодина в уточнение своей позиции, которую Погодин интерпретировал весьма свободно, подчеркивал, что, по его мнению, малорусского наречия с теми отличающимися его от великорусского особенностями, которые существуют в настоящее время, «...до XIV века вовсе не было»³³⁶. П.А. Лавровский, и ранее солидаризировавшийся со Срезневским в датировке разделения наречий, в письме к Погодину отверг его интерпретацию заключений о появлении малороссийского языка не ранее XIII–XIV вв.: «Здесь дело идет только о нашей Южной России, а не безусловно о происхождении наречия малороссийского, которое в другой местности могло жить с незапамятных пор». Он также подчеркивал, что возможность существования малороссийского наречия задолго до XIII в. «но только в иной местности, в не в Южной России» «вполне вероятно»³³⁷. Однако тот же Лавровский в своей сугубо филологической работе о малорусском языке (1859) находил для концепции М.П. Погодина о позднем переселении малорусов на земли Киевской Руси с Карпатских гор и лингвистические подтверждения³³⁸.

А.А. Котляревский, детально рассмотрев все основные постулаты погодинской концепции, последовательно опроверг каждый из них – доказывая как их «несостоятельность в научном отношении», так и непоследовательность выдвинутых гипотез о происхождении восточнославянских племен, основанную только лишь на данных языка, с игнорированием этнологических процессов³³⁹.

П.И. Житецкий обратил внимание прежде всего на сугубо лингвистические ошибки Погодина, подвергая сомнению ключевой тезис историка, легший в основание его заключений, о том, что он сам, не владея малороссийским языком, легко обнаруживает его наличие или отсутствие, апеллируя к «понятности» текстов и не видя исторической эволюции древнего и современного малороссийского наречия³⁴⁰. Письменный язык, по его мнению, вовсе не дает картины местных наречий, будучи исключительно языком книжности, но очевидно, что «из первобытной почвы русского праязыка выросло малороссийское наречие»³⁴¹. Он, однако, упрекал и И.И. Срезневского за «двойственность» выводов³⁴². П.И. Житецкий пронизательно, на наш взгляд, заметил, что для Погодина языковая эволюция была лишь поводом для дискуссии о происхождении родственных восточнославянских племен, да и сама «гипотеза не заслуживала

бы опровержения», если бы не соотнесение истории языка с историей этнических групп. Именно в этом он упрекал П.А. Лавровского, который, по его мнению, поддался на провокацию историка, подтвердив «самостоятельное место» малороссийского языка среди других славянских языков (не наречий русского) и одновременно его сходство с сербским языком³⁴³. Сам Житецкий отчасти соглашался с Котляревским, усматривая тесную взаимообусловленность процессов этнического самосознания славян и складывания их языков и наречий из некогда общего праязыка³⁴⁴.

Гораздо более эмоциональный отклик с самого начала и национально-политический оттенок со временем приобрела полемика М.П. Погодина с М.А. Максимовичем³⁴⁵, который энергично откликнулся на публикацию письма историка. Первоначальный смысл, последующие историографические интерпретации и значение для национального и националистического малороссийского/украинского дискурса подробно разобрал и интерпретировал в своей монографии современный украинский историк А.П. Толочко³⁴⁶. Рассмотрим, однако, сугубо лингвистический аспект полемики между Максимовичем и Погодиным.

М.А. Максимович (как и П.И. Житецкий) строил свои доказательства, исходя из того, что письменный книжный язык не может отражать формы разговорной речи и потому неверно делать выводы о позднем разделении великорусского и малорусского наречий на основании изучения древнерусских памятников. Он был убежден, что южнорусский язык сформировался в «дотатарское время» и что южнорусский и севернорусский языки близкородственны³⁴⁷. М.А. Максимович приводил аргументы, позволяющие опровергнуть мнение о том, что Киевская и вся Западная Русь стали именоваться Малой лишь после присоединения к «Восточной Руси», апеллируя к разножанровым текстам, в которых термины «Россия» и «Малая Россия» применялись начиная с конца XVI века³⁴⁸, тем самым доказывая глубокую древность малороссийского языка³⁴⁹.

А.П. Толочко убедительно показал, что спор о языке являл собой конфликт разных представлений о происхождении и наследии малороссийского и великороссийского народов, рассматриваемых как обладавшие всей полнотой признаков – языковыми, историческими, государственно-правовыми традициями и т.п. Историк приходит к заключению: сложившееся после М.С. Грушевского историографическое и общественное мнение о том, что М.А. Максимович отстаивал украинскую этнокультурную самобытность и «отдельность» малороссийского языка и этноса и при этом «боролся» с имперской и великорусской теорией Погодина об отсутствии исторических связей малороссийского племени с киевским наследием, является неверным. Наоборот, Максимович, в сущности, доказывал единство малорусов

и великорусов, их равные права на древнерусское наследие, общность их истории и происхождения. Погодин же, исходя из нового, современного видения эволюции народа и форм его идентичности, искал в истории доказательства двух разных истоков национальности и государственности³⁵⁰. Таким образом, несмотря на то, что формальным поводом к дискуссии был вопрос о происхождении малороссийского языка/наречия, ее сущность заключалась в противоборстве двух теорий этногенеза двух «ветвей русского народа».

Явный отзвук этой дискуссии заметен во вводной части сочинения А.С. Афанасьева-Чужбинского, составившего словарь «малороссийского наречия» в 1855–1860 гг. Он считал статус «наречия» довольно высоким, вполне совместимым с определенной самостоятельностью и высоким уровнем развития языка и сетовал на различное отношение к нему со стороны ученых и обывателей: «Второе отделение Академии Наук признало его за отдельное наречие и приобрело у меня словарь этого наречия... однако это нисколько не мешает многим считать его испорченным великорусским... Но... малороссы наследовали свой язык от предков... славяне эпохи дотатарской и дохристианской не говорили как теперь говорят великорусы... но не говорили они и по-малорусски, однако последнее наречие нельзя сказать чтобы уж слишком удалилось от первобытного источника»³⁵¹. С присоединением Малой России к Московскому государству «грамотный люд» стал стремиться употреблять великорусские обороты вместо польских, а к XIX в. «образованное сословие приняло и усвоило русский язык, простолюдины сохранили свой»³⁵². Таким образом, составитель словаря рассматривал малороссийское наречие как «коренной» язык, носителем которого осталось крестьянское население Малороссии, а его отличия от великорусского сформировались лишь с политическим обособлением регионов Киевской Руси.

А.А. Потебня соглашался с существованием прарусского языка, отличного от других славянских, но считал, что различие малорусского и великорусского наречий существовало исстари, – его можно отнести к периоду «многим раньше XII в.», так как в начале XIII столетия происходит уже «несомненное разделение самого великорусского наречия на северное и южное, а такое разделение необходимо предполагает уже существование малорусского, которое более отличается от малорусского, чем эти последние друг от друга»³⁵³.

Малороссийское наречие – одно из трех русских наречий как региональных вариантов единого языка – вот тезис, ставший доминирующим в научных и публицистических произведениях и отразивший «языковой аспект» концепции триединого русского народа³⁵⁴. Он окончательно сложился к 1870-м гг. В такой интерпретации «наречие» выступало не как одна из разговорных форм, находящаяся в оппозиции к письменному и нормированному литературному языку,

но как территориальная разновидность русской речи, носителем которой являются жители одной из областей единого этнокультурного и политического организма – Руси (России). Подчеркнем, однако, что данная концепция вовсе не была очевидной и общепринятой в первой половине столетия, когда лингвистическая классификация находилась на стадии формирования.

Наиболее законченную идеологическую форму она обрела в публицистике консерваторов, которых часто именуют националистами, – например, у М.Н. Каткова. В его статьях 1860-х гг., в особенности тех, которые были написаны во время и после польского Январского восстания (1863), можно отчетливо проследить приемы использования научных данных для обоснования идеи «самодержавия царя и единства России». Это, во-первых, концепция русской нации, которая рассматривается через призму трех известных элементов – самодержавия, народности и православия. Именно государственная общность, символом которой является царь, единство русского народа как этнокультурного целого и церковное начало объявляются им цементирующими общность факторами. Во-вторых, М.Н. Катков активно использует прилагательное «господствующий» в значении «доминирующий/преобладающий» для определения народности, языка, веры в поликонфессиональной и полиэтнической Империи. Все нерусские народы в его констатации «чувствуют свое единство» с русским народом «в единстве государства, в единстве верховной власти»³⁵⁵. Важный для автора глагол «чувствуют» рефреном повторяется в этом фрагменте: все разноплеменные и разноверные люди *чувствуют* себя «членами одного государственного целого»; все расхождения и враждебность нивелируются, как «только заговаривает *чувство* государственного единства (курсив мой. – М.Л.)»³⁵⁶. Логично, что затем Катков переходит к разбору «русской народности», специфической чертой которой считает ее цельность, – она «заключает в себе меньше резких оттенков»³⁵⁷, чем господствующие народности (т.е. нации) в других странах. Декларируемые различия трех ветвей русской народности Катков, в сущности, отрицает. Важными признаками и критериями народности для него выступают: самосознание, язык, исторические памятники, создававшиеся в Киевской Руси. А фиксируемые отличия Катков объясняет внешними воздействиями (со стороны литвы, поляков и монголов), которые «разрознили на некоторое время русское народонаселение», что и породило расхождения/вариации – например, в языке. И снова обращается к старинному утверждению о польском влиянии на малорусский язык. Принципиальным для Каткова является обоснование единства в первую очередь великорусской и малорусской народностей. И в этом случае важнейшую роль играют язык и «словесность» в широком значении.

Как бы продолжая полемику о малорусской литературе 1840-х гг., Катков убеждает читателей, что у писавших (малороссийских авто-

ров) не было намерения «создать из местного наречия особый язык и возвести его в символ особенной народности. Если же и встречались некоторые позывы сепаратизма, то эта мысль оставалась безвредной по своей несостоятельности»³⁵⁸. Актуализацию «украинофильства» Катков связывает с польской интригой и резко критикует Н.И. Костомарова в связи с его статьей «Две русские народности» (о которой речь пойдет в пятой главе): «Наша литература отозвалась тем же учением о каких-то двух русских народностях двух русских языках, как будто возможны две французские народности и два французских языка!»³⁵⁹ Для обоснования этого тезиса Каткову необходимо затронуть важный вопрос о критериях отнесения к языку/наречию. Вполне предсказуемо он апеллирует к «зрелости» языка литературного. Приводя в пример польский язык как «существующий... обработанный, имеющий литературу», он объясняет его «развитость» длительностью польской государственности и самостоятельного исторического существования, которых не обнаруживает у Украины: она «никогда не имела особой истории, никогда не была особым государством, украинский народ есть... русский народ, существенная часть русского народа»³⁶⁰. Как видим, в этом рассуждении налицо столь характерная для гегельянцев 1830-х (В.Г. Белинского и др.) историческая взаимообусловленность политических (государственность), цивилизационно-исторических и языковых факторов развития, позволяющих четко указать позицию национальной культуры (или стадий развития народности/национальности) на общей шкале прогресса³⁶¹.

Признавая наличие юго-западных диалектных особенностей, Катков уверяет, что возможно искусственным образом сделать из говора язык, причем подобной трансформации могут быть подвергнуты даже костромской или рязанский говор³⁶². При этом он резко отрицательно расценивает концепции формирования «общепринятого русского языка» из какого-либо одного местного наречия, и в частности из великороссийского. Русский для него – «не общеплеменной, а исторический, и в его образовании столько же участвовала Северная Русь, сколько и Южная, и последняя даже более»³⁶³. Катков пытается сформулировать и историко-генетическую концепцию складывания «простонародных языков», декларируя, что «нет на свете ни одного языка, который бы в простонародном говоре местных населений не представлял более или менее заметных особенностей»³⁶⁴, но именно русский отличается наибольшей однородностью. Белорусского же наречия он не признает категорически, представляя его лишь как наличие фонетических особенностей регионально-го значения. М.Н. Катков также доказывал, что не вероисповедание, а именно язык должен стать таким критерием: «ни христианство, ни православие не совпадают с какою-либо одной народностью»³⁶⁵.

*Некоторые последствия дискуссии
о статусе языка/наречия в конце столетия*

Современные исследователи приходят к выводу о том, что на протяжении XIX в. украинский язык обсуждался с точки зрения трех проблем, связанных с вопросом о его зрелости, «полноценности», функциональности, лингвистическом статусе и месте в языковой иерархии. С середины века эти вопросы рассматривались с позиции политических притязаний народа, его носителя – как в кругу славян, так и среди племен единого русского этноса. Малороссийский трактовался как «самостоятельный» язык или наречие (диалект) великорусского или общерусского (русского) языка; устанавливалась его древность и «развитость» форм по сравнению с великорусским; обсуждались возможности употребления данного языка не только в художественной литературе, но и в других областях.

Спектр суждений по этому вопросу можно обобщить следующим образом: а) малорусское наречие – самостоятельный славянский язык (Ф. Миклошич³⁶⁶, В.П. Науменко³⁶⁷, О. Огоновский³⁶⁸, П.И. Житецкий³⁶⁹), трем русским племенам соответствуют «три особые однородные языка» (М.А. Максимович); б) малорусское наречие – диалектная группа общерусского языка, сформировавшегося еще в древнерусский период (до XIV в.), когда сложилось языковое единство. На ее возникновение оказали влияние историко-политические факторы (А.И. Соболевский, М.Н. Погодин, П.А. Лавровский³⁷⁰, А.А. Потебня³⁷¹); в) малорусское наречие – территориальный вариант русского языка в границах прежде всего Малороссии, «испортившийся» под польским влиянием (М.В. Ломоносов, И.А. Кулжинский, Ф.В. Булгарин), или «наречие языка польского» (Н.И. Греч, Ф. Духиньский). Последнюю версию следует считать наиболее архаичной, во второй половине XIX в. она имела уже мало сторонников в научном сообществе.

Своеобразным итогом дискуссий XIX в. о происхождении и статусе малороссийского языка можно считать точки зрения, реализовавшиеся в словарях и энциклопедиях. Так, в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона привлекают внимание статьи «Малорусское наречие», «Великоруссы», «Малоруссы», «Россия. Русский язык и русская литература: русский язык», «Россия. Русская наука: русский язык и сравнительное языкознание». В первой³⁷², опирающейся на наиболее полное исследование А.И. Соболевского³⁷³ (который полагал, что в Киевской Руси господствовало великорусское наречие, а малорусское бытовало в среде мигрировавших в Поднепровье только в XV в. групп), рассмотрены различные варианты интерпретации лингвистического статуса. С.К. Булич утверждал, что наречием следует именовать «разновидности более нового про-

исхождения»; а поскольку фонетические особенности малороссийского наречия, отличающие его от прочих русских, возникли после отделения общерусского языка от славянского, Булич делает вывод: «Малорусский говор есть наречие». Языковые отличия, в свою очередь, сформировались из некогда «диалектических особенностей». Разница между наречием и языком, по мнению автора, связана лишь с древностью отличительных признаков – «возрастом языковой разновидности». «До известного возраста языковая разновидность носит название наречия, а после него – языка», – указывает Булич, поэтому малороссийское наречие имеет полную возможность сделаться со временем языком. Но на современном этапе подобные предпосылки еще не созрели: степень различий между русскими наречиями недостаточно значительна (не такова, чтобы затруднять взаимное понимание) и нормы литературного языка не сложились еще вполне³⁷⁴.

Иначе говоря, малороссийскому наречию отказано в «полноте» признаков языка. Однако С.К. Булич затрагивал и вопрос о национальных притязаниях малороссов: он был уверен, что в дискуссиях на подобные темы позиции сторон не должны аргументироваться лингвистическими данными, так как апелляция к ним в политической борьбе есть проявление невежества, и полагал, что у малороссийского наречия есть все объективные возможности «дозреть» до стадии языка.

А.А. Шахматов в одной из дефиниций русского языка рассматривал его как «совокупность» трех наречий: «великорусских, малорусских и белорусских», – и склонен был считать, что их возникновение связано «с образованием трех великих народностей, на которые распалось русское племя», – это произошло не ранее XII в., однако и до этого существовали северный, южный и средний говоры³⁷⁵. Ученый был убежден, что литературный русский язык сложился на основании великорусского наречия, но полагал вполне естественным, что «в Малороссии образовался свой литературный язык: его будущая судьба и отношение к великорусскому литературному языку не могут быть определены теперь, когда взаимные отношения малорусского и великорусского наречий регулируются не жизнью, а административными распоряжениями и в значительной степени ими вызванным украинофильством»³⁷⁶.

Наконец, следует упомянуть освещение вопроса о наречии и языке в пыпинской «Истории славянских литератур»³⁷⁷, где в перечне славянских языков малороссийский назван языком, а белорусский – наречием. Критерий различения можно установить косвенным путем: это наличие литературного языка как признака языковой национальной зрелости³⁷⁸. В работе Пыпина малороссийской литературе посвящен отдельный раздел³⁷⁹.

Разбор исторических аргументов каждой из сторон отражен в статье Д.Н. Анучина о великорусах³⁸⁰, которую можно считать научным итогом истории малорусского языка/наречия позапрошлого века. Анучин был согласен с тем, что «южноруссы, несмотря на тюркскую и иную примесь, могли сохранить свой язык и народность», но расценивал как безосновательное утверждение, будто великорусское наречие представляет собой смесь разных языков. Ученый полагал доказанной ошибочность гипотезы о малорусском языке как древнем языке Киевской Руси, который, испытав влияние церковнославянского, финского и других языков, «испортил» свою «чистую» первоначальную малорусскую основу. Анучин признавал, что «малорусский язык есть, несомненно, самостоятельное наречие русского языка, сохранившее в себе даже некоторые большие признаки древности, чем великорусское и, во всяком случае, ему равноправное и более обособленное, чем, например, наречие белорусское»³⁸¹, а образование великорусского и малорусского наречий «должно быть отнесено к тому же времени, как и вообще расхождение первоначального русского языка на главные свои ветви», т.е. после XIII в. В другой статье в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона – в очерке «Россия в этнографическом отношении», также написанном Анучиным, – говорится, что для этнографической классификации (в отличие от антропологической) язык принимается главным критерием; народы Российской империи по лингвистической принадлежности относятся к двум семьям – индоевропейской и урало-алтайской. Русский язык разделен в этой репрезентации на три наречия. На первом «говорят, по меньшей мере, 2/3 русского населения, а именно почти все население северной и средней европейской России, части русского населения и наибольшее число русских сибиряков; одно из его поднаречий есть язык образованного класса и литературы». В великорусском наречии выделяются северное (новгородское и суздальское) и южное (восточное/рязанское и западное) поднаречия. Анучин выделяет отдельно московский говор (именуя его западным южновеликорусским), так как именно оно составляет язык образованного класса³⁸².

Необходимо отметить, что борьба за признание за тем или иным языком/наречием права считаться национальным языком – непременный компонент процесса формирования национальной идеологии народов в условиях отсутствия собственной государственности в XVIII–XIX вв. (в частности, славянских³⁸³). На начальном этапе создавалось, как правило, несколько вариантов национально-языковой модели. Полемика между их сторонниками неизбежно порождала дискуссии об отличительных признаках идеального носителя национальной идентичности, об «избрании» регионального крестьянского говора как основы литературного языка и о его соотношении с другими

славянскими языками³⁸⁴. Универсальность этих лингвистических инструментов определения этнонациональной зрелости подтверждается и спектром суждений о малороссийском языке и литературе.

Признание условности лингвистической номенклатуры

Следует остановиться на тех общетеоретических положениях о лингвистической иерархии и дефинициях ее отдельных единиц, которые были выработаны российским языкознанием, в том числе благодаря полемике вокруг малороссийского вопроса. Терминологическое и теоретическое разнообразие лингвистических концепций и научных классификаций в европейской науке второй половины столетия нашло отражение, в частности, в дефинициях понятий «наречие», «говор», «язык», соотношение которых было упорядочено на основании сложившихся представлений о формировании и функционировании литературного языка.

Наречие понималось как диалект, носителем которого была «часть однородного населения той или другой страны, представляющий, наряду с общими характерными признаками данного языка, и известные отличия, настолько значительные, что устные сношения данной части населения с прочими довольно затруднительны»³⁸⁵. Наречие, как подчеркивал далее автор, в свою очередь, разделяется на поднаречия, а последние – на говоры. Главным отличием говора от наречия объявлялась им незначительность различий, не затрудняющих «устные сношения» с другими представителями этого же народа³⁸⁶, хотя на практике, как отмечал С.К. Булич, понятие «говор» нередко смешивают с понятием «наречие». Русский язык вследствие этого состоит из великорусского, малорусского и белорусского наречий. В определении указывались концепции исторической эволюции этих единиц языка: предполагалось, что наречие древнее говоров. Основным критерием отличия языков от наречий и говоров являются, как указывает С.К. Булич, главные («единственные») существенные признаки – фонетические особенности³⁸⁷.

А.А. Шахматов определял «язык», «наречия» и «поднаречия» уже как вполне сложившиеся понятия, находящиеся в иерархическом соотношении: «...разнообразные оттенки языка, состоящие в различном произношении звуков, в замене одних звуков другими, в изменении грамматических форм и синтаксических оборотов, называются наречиями, поднаречиями, говорами. Различие между этими терминами вполне относительное: о наречиях говорят там, где имеется в виду противопоставить им язык, характеризующий более или менее значительную народность в ее настоящем или прошед-

шем; о поднаречиях – там, где требуется указать, что они как части связаны с целым, определяемым как наречие, в противоположении к еще более обширному целому, называемому языком, и т.д. Строго говоря, каждая мелкая общественная группа имеет свой язык (выделено автором. – М.Л.): его можно назвать языком, когда о нем говорят безотносительно; его назовут говором, поднаречием, наречием, если потребуется определить его отношение к языку тех более крупных единиц, в состав которых входит эта общественная группа»³⁸⁸. Таким образом, дефиниции стандартизируются, установление лингвистической иерархии происходит с учетом или на основании исследований политической и племенной истории этнических групп, а также эволюции их племенного и культурного развития (включая внешние воздействия и внутреннюю дифференциацию).

Единообразие и обоснованность принципов лингвистической классификации проявлялись, в частности, в утверждении о том, что «в логическом отношении понятие “наречие” может быть сравнено с понятием *вида* (выделено автором. – М.Л.), в естественных науках»³⁸⁹, а термин «говор» – с понятием «разновидность»³⁹⁰. Добавим: точно так же оно может быть сопоставлено с классификацией этнографических и антропологических типов, которые расценивались в конце XIX в. как не имеющие «чистых» физических или культурных форм. В этом контексте чрезвычайно значима одна фраза из статьи: определение «вполне твердых и неизменных границ между понятиями “говор”, “наречие” и “язык” невозможно» из-за существования ряда промежуточных форм, которые не всегда могут быть уложены в рубрики.

В Большой энциклопедии под редакцией С.Н. Южакова (1903), с одной стороны, довольно однозначно констатировалось отсутствие жесткой научной дефиниции различных единиц лингвистической таксономии («точного определения, по которому можно было бы всегда отличить наречие от говора и от языка, не установлено»³⁹¹). С другой – подчеркивалась их иерархизированность и соотнесенность с критериями «полноты» и «степени развитости», что позволяло видеть в «состоянии языковой эволюции» признак позиции народа/племена на своеобразной шкале прогресса. «Обыкновенно под наречием разумеют всякий язык, не возвысившийся на степень литературного языка, а всякое наречие, на котором развилась литература, принято называть языком. Однако этого различения не всегда придерживаются»³⁹².

Таким образом, лингвисты XIX в., начиная с В.И. Даля (как и их коллеги – этнографы и антропологи), осознавали условность категорий, с помощью которых выделяются элементы и уровни языка: эти «рубрики», т.е. классификационные единицы, именуются «в действительности чистыми абстракциями»³⁹³.

В словарях и энциклопедиях конца XIX – начала XX в. появляется устойчивая тенденция констатировать отсутствие объективных лингвистических факторов, позволяющих с уверенностью различать языки и наречия. Так, в Словаре бр. Гранат в статье «Наречие» говорится: «Различие между наречием и языком условно», что, однако, вовсе не отменяет прямой зависимости языковой «стадиальности» и историко-культурных дефиниций языков и наречий друг от друга. Причем важным признаком становится формирование литературного языка: «В исторической жизни языка наблюдается, что раздробленность данного языка на наречия обратно пропорциональна степени культурного развития соответствующего народа, и единство речи на значительном протяжении водворяется лишь с возникновением политического и культурного центра для данной местности... с возникновением литературной речи наречия постепенно оттесняются на задний план, но иногда, вследствие политических или социальных переворотов, снова приобретают утраченное значение»³⁹⁴.

Позитивистскую абсолютизацию научно-эволюционных схем в различных областях науки разобрал и раскритиковал И.А. Бодуэн де Куртенэ. В статье «Язык и языки», вышедшей в 1907 г., он подчеркивал искусственность лингвистических классификационных понятий – в частности, такого, как «национальный язык»; он считал его «фикцией», не имеющей опоры в реальной действительности, частью научного инструментария. «Язык племенной и национальный, – писал он, – является чистой отвлеченностью, обобщающей конструкцией, созданной из целого ряда реально существующих индивидуальных языков. Такой племенной и национальный язык состоит из суммы ассоциаций языковых представлений с представлениями внеязыковыми – ассоциаций, свойственных индивидам и, в *отвлеченном*, абстрактном смысле, в виде *среднего вывода*, также народам и племенам (выделено автором. – М.Л.)»³⁹⁵. Национальный литературный язык в этом смысле есть конструкт, «освященный обычаем и “невольным соглашением” всех членов данного языкового общества» с приписанными ему идеальными нормами, объединяющими предписаниями и правилами. С точки зрения Бодуэна де Куртенэ реальны только индивидуальные языки³⁹⁶.

Его мнение сходно с положениями П.И. Ковалевского об условности классификации народов и национальностей³⁹⁷ или Н.Н. Харузина, А.Н. Максимова и – чуть позже – С.М. Широкогорова об искусственности иерархизации человеческих сообществ и эффективности этнических классификаций только в качестве «рабочих гипотез»³⁹⁸. В этом, и ни в каком ином, контексте следует интерпретировать слова И.В. Ягича: «Кому не нравится выражение “наречие”, может заменить его словом “язык”, – в науке это второстепенное дело»³⁹⁹.

Неслучайно его слова приводит в своей статье 1900 г. Т.Д. Флоринский. Весьма показательна и анализируемая Флоринским очередная волна полемики о малорусском наречии/языке, поднявшаяся в самом конце столетия⁴⁰⁰. Рассмотрим детальнее лишь один фрагмент этого спора, связанный с определением терминов. Оппонируя Флоринскому, К. Михальчук резко возражал против данного С.К. Буличем определения малорусского языка как наречия, утверждая за ним статус именно самостоятельного языка, равного другим славянским, в том числе русскому. Интересно, что Михальчук подчеркивал «условность» определений, но при этом возмущался тем, что Булич и Флоринский употребляют понятие «наречие» в отношении малорусского языка⁴⁰¹. Флоринский же пояснял, что применяет данные понятия в разных случаях по-разному – либо используя их как синонимы (когда «лингвистическая особь» рассматривается «без отношения к сродным лингвистическим особям»), либо же, напротив, последовательно и строго различая «язык» и «наречие», когда речь заходит об отношении различных «лингвистических особей» друг к другу. В последнем случае слово «язык» имеет родовое значение, «наречие» – видовое («Малорусский язык есть одно из наречий русского языка»⁴⁰²).

Ученые между наукой и политикой

Завершающей точкой и в научной, и в идеологической интерпретации соотношения великорусского и малорусского в языковой сфере можно считать официальные заключения и записки, составленные профессорами Киевского (В.Б. Антонович⁴⁰³) и Харьковского (Д.И. Багалий, Т.И. Буткевич, Д.Н. Овсяннико-Куликовский, А.А. Раевский, С.В. Соловьев, Н.Ф. Сумцов и др.⁴⁰⁴) университетов, а также академиками Петербургской Академии наук в 1904–1905 гг., на очередной волне дискуссии о правах и свободах этнонациональных групп Российской империи, в том числе и в языковом аспекте. Эти тексты создавались по запросу правительства в связи с вопросом об отмене ограничений малорусского слова в адрес Академии наук и трех южнорусских университетов.

Все записки завершались требованием отмены законодательных актов об ограничении малорусского печатного слова, аргументируя настоятельную необходимость срочной отмены актов и повелений 1867, 1876 и 1881 гг. историческими и лингвистическими концепциями самостоятельности малорусского языка и равенства в культурном статусе его носителей. Немаловажную роль в системе обоснования играли как патриотические идеалы украинофилов, так и практические задачи (обучения и социализации на родном языке).

Наиболее известна среди документов этого круга записка Комиссии Академии наук «Об отмене стеснений малорусского печатного слова» (1905)⁴⁰⁵. В ней помещено авторитетное научное заключение Комиссии, членами которой были академики, представлявшие различные научные дисциплины (А.С. Лаппо-Данилевский, С.Ф. Ольденбург, А.С. Фамицин, В.В. Заленский), а также филологи (А.А. Шахматов, Ф.Ф. Фортунатов, Ф.Е. Корш). В записку включен обширный доклад специалистов об истории складывания малорусского наречия/языка, о его месте в системе языковой классификации, состоянии литературного языка и т.д. Центральным, хотя и не сформулированным открыто вопросом данного обзора оказалась проблема иерархического положения и символического статуса двух наречий и двух литератур, поддержать которые призваны все те же доказательства древности, историчности, чистоты и полноты великорусского и малорусского наречий. Примеры первых письменных текстов на малорусском языке обнаруживаются исследователями в текстах XVI в.⁴⁰⁶, а в следующем столетии этот малорусский книжный язык, по мнению авторов, развивается и обогащается под влиянием речевых форм как общерусского/великорусского, так и западно-русского (белорусского) наречий. Во второй половине XVII в. он был «занесен и на север малорусскими учеными богословами, переселившимися в Москву»⁴⁰⁷, где, однако, «это влияние было лишь поверхностно и кратковременно; в некоторых слоях общества, особенно в тех, которые держались старины, оно встретило себе решительный отпор как соблазн»⁴⁰⁸. В связи с чем в течение следующего столетия предпринимались меры по запрету издания южнорусских книг и букварей и усиливалось влияние великорусской письменности, «язык которой в конце XVIII в. совершенно вытеснил собою уже вымиравший славяно-русский»⁴⁰⁹. Первой попыткой употребления малорусского языка для литературного произведения привычно называется «Энеида» Котляревского, а далее излагаются основные этапы складывания литературы на малорусском языке в XIX столетии (очерк истории которой в том же ключе представлен в соответствующей статье Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона).

Авторы полагают, что в деятельности Кирилло-Мефодьевского общества нашло выражение «литературное и народно-воспитательное движение южной ветви русского народа, *сознавшей себя как этнографическую величину, особую от ветви северной*, имевшую свое самостоятельное прошлое и тем приобретающую право на развитие (курсив мой. – М.Л.) не только тех свойств, которыми она примыкает к русскому племени вообще, но и своих отличий от политически господствующей его части...»⁴¹⁰. В этом, пожалуй, наиболее резко во всем тексте по формулировке предложения содержатся те основные положения, которые подтверждают историческое право племени/на-

рода на этническую самобытность, и, как следствие, этнокультурную, и, в логическом развитии, политическую самостоятельность. Такая логика имеет довольно позднее происхождение, восходя к идеям и конструкциям национального самое раннее 1880-х гг.

Констатировалось, что «малорусы как народники и демократы в начале XIX в. до 40-х годов его естественно встречали себе сочувствие только у тех из великорусских литераторов, которые были наиболее свободны от западническо-аристократического оттенка, свойственного значительной части великорусской литературы 20-х, 30-х и начала 40-х годов, т.е. у тех, которые слыли у своих противников, и отчасти справедливо, за глашатаев реакций. Этим объясняется презрительный и даже враждебный взгляд на них западников...»⁴¹¹. Как видим, и риторика, и трактовка процессов выдают в авторах далеко не научную аргументированность, а, скорее, публицистическо-пропагандистский пафос, – впрочем, типичный для интонации и настроений и даже научной полемики тех лет. Столь же спорно, сколь и никак не обоснованно утверждение о том, что «малорусская литература до половины 40-х годов отличалась от великорусской именно только своим глубоким, последовательным демократизмом... а в других своих стремлениях и в составе своих деятелей украинская письменность была также разнообразна, как великорусская»⁴¹². Система изложения фактов и обоснование тенденций осуществляется в социально-политическом, но вовсе не в научном поле, в котором шла полемика о статусе языков. Далее в докладе подробно изложены основные этапы и ключевые законодательные акты, касающиеся малорусского наречия, которые расцениваются как неэффективные и нецелесообразные и с идеологической, и с практической точек зрения.

К собственно научной проблематике авторы переходят тогда, когда задаются вопросом о «культурной истории русской народности», в которой прежде всего «должно определиться отношение малорусской литературы к литературе “общерусской” и малорусского языка к языку “общерусскому”»⁴¹³. Констатируется, что «общерусский язык» в древности «представлял в отдельных частях своих резкие диалектические отличия, дающие основания допустить исконное деление русского племени на три группы: севернорусскую, среднерусскую и южнорусскую»⁴¹⁴, а последовавшие за этим исторические события «содействовали полному разобщению Юго-Западной России (Малороссии) и области, занятой великорусами: отсюда существенные отличия в языке обеих народностей – великорусской и малорусской», усугубив диалектические отличия в их речи. А «живой великорусский язык, на котором говорит народ в Москве, Рязани, Ярославле, Архангельске, Новгороде, не может быть назван “общерусским”, в противоположность малорусскому языку Полтавы, Киева или Львова». Что же касается общерусского

литературного языка, то он не был создан совместными усилиями «всех русских народностей» и «не отразил в себе» «особенности всех русских наречий»⁴¹⁵, оставаясь исключительно великорусским, хотя и приобрел постепенно, благодаря реализации властями мер в области языковой политики, общерусский характер. «Законностью и естественностью возникновения малорусского письменного языка определяется законность и всего дальнейшего его развития», – подчеркивают авторы, не отрицая, однако, влияния польского и великорусского языков/наречий на письменную малорусскую речь в том числе⁴¹⁶, так как влияние языка родственного соседнего племени исторически неизбежно. В итоге делается вывод о том, что «рассмотрение аргументов, выдвинутых в публицистике против существования малорусской литературы... и в пользу ее стеснения, привело к заключению, что аргументы эти основаны частью на одностороннем понимании истории малорусского народа и его языка, частью же на тенденциозном стремлении ограничить права малорусской народности в угоду неправильно понятым интересам великорусских и общерусских»⁴¹⁷, что закономерно влечет за собой требование неотложной отмены высочайше одобренного распоряжения 1863 г. и высочайших повелений 1876 и 1881 гг.

Очень трудно, несмотря на авторитетный список подписавших данную записку ученых (хотя нельзя не отметить, что среди них не было ни И.В. Ягича, ни А.И. Соболевского, ни В.И. Ламанского, ни Т.Д. Флоринского), расценивать этот текст и аналогичные ему официальные заключения профессоров Харьковского и Киевского университетов как научные обобщения теоретического обобщающего характера. Несмотря на бесспорность и очевидность либеральных побуждений, созвучных времени, и на благие цели, которыми руководствовались авторы, они все же стремились соединить политические взгляды с научными излишне прямолинейно⁴¹⁸. Однако в области констатации следует признать красноречивость и важную направленность декларативных высказываний: налицо стремление перевести проблему в практическую плоскость, и такой прагматический подход диктует иные формы выражения и характерные для воззваний риторические приемы. В наиболее существенном в контексте данного исследования теоретическом отношении в записке прослеживается все та же, казалось бы оставшаяся в прошлом, тенденция к содержательной неопределенности или дефинитивной нечеткости понятия «язык». Здесь термин с прилагательным «малорусский» употреблен в значениях «литературный язык», «письменный язык», «язык/наречие», что говорит о том, что авторы стремились нивелировать, отставить сложные лингвистические вопросы для большей ясности и понятности своих аргументов для правительственных кругов.

Обращение к этим и другим источникам убедительно, на наш взгляд, свидетельствует о том, что именно несовершенство научных знаний и неустоявшийся понятийный аппарат способствовали широкому хождению политически ангажированных концепций. Однако, несмотря на то что понятия «язык» и «наречие» использовались длительное время достаточно произвольно, а различия между ними не казались значимыми, они так или иначе соотносились с существовавшими научными классификациями языков и племен. Процесс выработки норм языка в этом смысле является одним из способов реализации политики лингвистического конструктивизма в процессе нациестроительства.

Итак, вопрос о статусе малороссийского языка на протяжении всего XIX столетия оставался не только в сфере внимания ученых – лингвистов и историков. На него серьезно влияли позиции разных политических групп, имперская идеология; он был включен в процесс формирования национальных проектов⁴¹⁹. В основе аргументации сторон лежало вербализуемое и структурированное (в научных трудах) или неосознанное (в представлениях «обывателей», путешественников и др.) сравнение с великорусским (языком или наречием), отождествляемым или отличаемым от так называемого общерусского (т.е. московского диалекта, взятого за основу литературного русского) языка. Это позволяет высказать следующее предположение: поскольку формирование этнолингвистической иерархии осуществлялось в признанных бесспорными границах славянской общности, то и разработка концепций «великороссийскости» и «малороссийскости» шла параллельно и неотрывно одна от другой – ведь одно устанавливалось через другое. Когда речь заходила о статусе великорусов и малорусов, каждая из сторон могла, разумеется, усматривать в этой классификационной нечеткости определенный идеологический подтекст. В частности, именование малороссийского языка «наречием» воспринималось как принижение его значения.

Следовательно, признание таких отличительных особенностей малороссийской (украинской) этничности от великорусской, как наличие национального характера и языка/наречия, еще не означало для русских наблюдателей-путешественников и ученых XIX в. объективного и бесспорного существования двух самостоятельных, хотя и родственных народов. Проблема заключалась в том, что, несмотря на доминировавшую в российской науке концепцию о триедином русском народе, место и значение каждой из его составляющих определялись как неравные, иерархические. Можно согласиться с некоторыми общими принципами политических и исторических оснований этой системы, смоделированных А. Каппелером⁴²⁰. Однако значение таких «культурных» признаков, как язык, цивилизованность

и национальный характер, исследователь, как нам представляется, оценивает не совсем верно. Оно было уже вполне точно сформулировано в дискуссиях конца XIX в. – во всяком случае, в лингвистическом и, в меньшей степени, в этнографическом аспектах. Племена и языку для получения определенного места в иерархии необходимо было обладать рассмотренными выше приметами полноты и зрелости, а также играть совершенно определенную роль в государстве. Статус «главного» и нациеобразующего этноса был присвоен только великорусскому народу как основателю московской, а потом и имперской государственности. Стратегия и аргументы полемизирующих сторон дают основание предполагать, что противоречия по ряду научных вопросов (использовавшиеся потом в доказательствах совсем иного рода) не всегда были обусловлены исключительно политико-идеологическими (национальными) разногласиями, но зачастую диктовались сложностью решения научных задач, недостатком имеющихся сведений и несовершенством методики исследований.

Примечания

- ¹ А.Л. Шлёцер имел в виду учение Лейбница о том, что для познания древней истории необходимо не изучать древнейшие письменные памятники, а обратиться к сравнению языков (см.: *Фермойлен Х.Ф.* Происхождение и институализация понятия *Völkerkunde* (1771–1843). Возникновение и развитие понятий «*Völkerkunde*», «*Ethnographie*», «*Volkskunde*» и «*Ethnologie*» в конце XVIII и начале XIX века в Европе и США // *Этнографическое обозрение*. 1994. № 4. С. 103).
- ² Цит. по: *Милуков П.* Главные течения русской исторической мысли. М., 2004. С. 104–105.
- ³ Цит. по: *Бахрушин С.В.* Миллер как историк Сибири // *Миллер Г.Ф.* История Сибири: В 3 т. М., 1999–2005. Т. 1. М., 1999. С. 31.
- ⁴ *Клубков П.А.* Вопрос о старшинстве народов и языков в России XVIII в. // *Образы России в научном, художественном и политическом дискурсах*. Петрозаводск, 2001. С. 66–73.
- ⁵ А.Л. Шлёцер составил классификацию языков, и в частности «урало-алтайских племен», используя материалы словарей, присланных ему из России Фишером. Методика его была такова. Определяя родственные литовскому языки, ученый, применяя сравнительный подход, устанавливал грамматические сходства и их отличия со славянским языком, затем выявил количественный состав «коренных слов», в которых обнаружили «славянские элементы, элементы праязыка и четверть слов неизвестного происхождения (может быть, финского)» (цит. по: *Милуков П.* Главные течения... С. 105–106). Аналогичные методы использовались и для составления известных сравнительных словарей второй половины XVIII в.: *Паллас П.С.* Сравнительные словари всех язы-

- ков и наречий, собранные десницею всевысочайшей особы. Отделение первое, содержащее в себе европейские и азиатские языки: В 2 ч. СПб., 1787–1789; Сравнительный словарь всех языков и наречий, по азбучному порядку расположенный: В 4 ч. СПб., 1790–1791.
- 6 *Иванов Н.И., Булгарин Ф.В.* Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях: Ручная книга для русских всех сословий Ф. Булгарина: В 2 ч. СПб., 1837. Ч. 2. Истории часть первая. С. XXI.
- 7 Россия. Население. Россия в этнографическом отношении // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона: В XLI т. (82) / Под ред. Е.И. Андреевского. СПб., 1890–1907. Т. XXVIIа (п/т 54). СПб., 1899. С. 142.
- 8 *Успенский Б.А., Лотман Ю.М.* Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры // *Успенский Б.А.* Избр. труды: В 2 т. М., 1996. Т. 1. С. 413.
- 9 *Булич С.К.* Очерк истории языкознания в России. Т. 1. XIII в. – 1825. СПб., 1904. С. 708.
- 10 *Пытин А.Н.* История русской этнографии: В 4 т. СПб., 1890–1892. Т. 2. СПб., 1891. Гл. X–XI; *Азадовский М.К.* История русской фольклористики: В 2 т. М., 1958–1963. Т. 1. М., 1958. С. 190–220; 429–445.
- 11 *Лескинен М.В.* Поляки и финны в российской науке второй половины XIX в.: «другой» сквозь призму идентичности. М., 2010. С. 47–81.
- 12 *Булич С.К.* Очерк истории языкознания в России. С. 491.
- 13 Там же. С. 547 (сноска 121).
- 14 Там же. Гл. XIV. Состояние языкознания в России в течение первой четверти XVIII века.
- 15 *Б.а.* Изображение просвещения россиян // *Северный вестник.* 1804. Ч. 1. С. 1–12, 115–132.
- 16 Там же. С. 117–118.
- 17 *Орлов И.С.* Краткое историческое начертание языков, с описанием их начала, распространения, перемен и смешения... М., 1810.
- 18 Там же. С. 6–7.
- 19 Там же. С. 20.
- 20 Там же. С. 18–19.
- 21 Там же. С. 19.
- 22 Там же. С. 105–106.
- 23 Там же. С. 108.
- 24 *Орнатовский И.* Новейшее начертание правил российской грамматики, на началах всеобщей основанной. Харьков, 1810.
- 25 Там же. С. 8–11.
- 26 *Kamusella T.* The change of the name of the Russian Language in Russia from *Ros-siiski* to *Russkii* // *Acta Slavica Iaponica.* 2012. Vol. XXXII. P. 73–96; *Останчук О.* Русский *versus* российский: исторический и социокультурный контекст функционирования лингвонимов // *Ibid.* P. 97–104.
- 27 *Орнатовский И.* Новейшее начертание правил... С. 26–28.
- 28 *Тынянов Ю.Н.* Архаисты и Пушкин // *Тынянов Ю.Н.* Архаисты и новаторы. Л., 1929. С. 87–227; *Виноградов В.В.* Очерки по истории русского литературного

- языка XVII–XIX вв. М., 1938. Гл. IV–V; *Левин В.Д.* Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII – начала XIX в. М., 1964; *Успенский Б.А., Лотман Ю.М.* Споры о языке в начале XIX в. ...; *Лотман Ю.М., Успенский Б.А.*, «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры // *Карамзин Н.М.* Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 525–606.
- ²⁹ *Шишков А.С.* Опыт рассуждения о первоначалии, единстве и разности языков, основанный на исследовании оных // Известия Российской академии. Кн. 5. СПб., 1817. С. 1–22.
- ³⁰ *Шишков А.С.* Сравнение Краинского наречия с российским, взятым собственно за словенский язык // Там же. С. 23–59.
- ³¹ *Шишков А.С.* Опыт рассуждения... С. 15.
- ³² *Зябловский Е.Ф.* Землеописание Российской империи для всех состояний... В 6-ти чч. СПб., 1810. Ч. 2. С. 4.
- ³³ Там же.
- ³⁴ *Зябловский Е.Ф.* Новейшее землеописание Российской империи: В 2 т. СПб., 1807. Т. 1. С. 140.
- ³⁵ *Булич С.К.* Очерк истории языкознания в России. С. 772–773.
- ³⁶ *Каченовский М.* О славянском и в особенности церковном языке // Труды Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете. 1817. Ч. VII. Кн. XI. С. 5–27.
- ³⁷ Там же. С. 16.
- ³⁸ Там же. С. 15.
- ³⁹ *Булич С.К.* Очерк истории языкознания в России. С. 775.
- ⁴⁰ Цит. по: *Каченовский М.* О славянском... С. 26.
- ⁴¹ *Калайдович К.Ф.* О древнем церковном языке славянском // Труды Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете. 1822. Ч. XXII. С. 57–71.
- ⁴² *Греч Н.* Опыт краткой истории русской литературы. СПб., 1822.
- ⁴³ Там же. С. 11.
- ⁴⁴ Там же. С. 12–13.
- ⁴⁵ Там же. С. 14.
- ⁴⁶ *Карамзин Н.М.* История государства Российского. 2-е изд. Т. 1. СПб., 1818. С. 123–125.
- ⁴⁷ Там же. Прим. 235. С. 73 (пагинация раздела примечаний – отдельная). У Палласа приводятся слова из «малороссийского» и «суздальского» наречий.
- ⁴⁸ *Полевой Н.* О древнем языке словенском // Труды Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете. 1824 (3). Ч. XXIV. Отдел «Опыт сочинения в прозе и стихах». С. 24–43.
- ⁴⁹ *Успенский Г.* Вступление // *Успенский Г.* Опыт повествования о древностях русских: В 2 ч. 2-е изд. Харьков, 1818. Ч. 1. С. 5.
- ⁵⁰ Там же. С. 20–21.
- ⁵¹ *Аделунг Ф.П.* Обзорение всех языков и наречий. СПб., 1820.
- ⁵² Обзорение всех языков и наречий, составленное Ф.П. Аделунгом / Донесение П.И. Кеппена. СПб., 1820. С. 22–23.

- 53 Там же. С. 22.
- 54 Там же. С. 24.
- 55 Там же. С. 23.
- 56 *Левшин А.И.* Письма из Малороссии. Харьков, 1816. С. 78.
- 57 *Каченовский М.* Рец. на: Исследования банного строения, о котором повествует летописец Нестор. СПб., 1809 // Вестник Европы. 1810. Ч. XLIX. Кн. 1. С. 60–70.
- 58 *Каченовский М.* Взгляды на успех российского витийства в первой половине истекшего столетия // Труды Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете. 1812. Ч. I. Кн. XI. С. 24.
- 59 *Греч Н.И.* Опыт краткой истории русской литературы. С. 12.
- 60 *Свиньин П.П.* (Из живописного путешествия по России). Полтава // Отечественные записки. 1830. Ч. 42 (№ 120). С. 34. В 1839 г. вошла в состав отдельной книги: Картины России и быт разноплеменных ее народов. Из путешествий П.П. Свиньи́на. СПб., 1839.
- 61 *Кулжинский И.* Южнорусский элемент как предмет торговли // *Кулжинский И.* О зарождающейся, так называемой малороссийской литературе. Киев, 1863. С. 20.
- 62 *Каченовский М.* Взгляды на успех российского витийства... С. 27.
- 63 *Сенковский О.* Скандинавские саги. Философия истории и языкознание // Библиотека для чтения. 1834. Т. 1. С. 26–27.
- 64 Там же. С. 37.
- 65 *Погодин М.П.* Сказки в Несторовой летописи // Исследования, замечания и лекции М.П. Погодина о русской истории: В 7 т. СПб., 1846. Т. 1. С. 290.
- 66 *Сенковский О.* Скандинавские саги. Философия истории и языкознание. С. 26–27.
- 67 Там же. С. 27–28.
- 68 Там же. С. 38.
- 69 Там же. С. 56.
- 70 Там же. С. 29.
- 71 *Максимович М.А.* Критико-историческое исследование о русском языке (1838) // *Максимович М.А.* Собр. соч.: В 3 т. Киев, 1876–1880. Т. 3. Киев, 1880. С. 4.
- 72 *Сабинин С.К.* Материалы для сравнения русского языка с скандинавскими // Известия Императорской Академии наук по Отделению русского языка и словесности. СПб., 1854. Т. 3. С. 129–170.
- 73 Подробный разбор см.: *Булич С.К.* Очерк истории языкознания в России. С. 765–803.
- 74 *Успенский Г.П.* Опыт повествования о древностях русских: В 2 ч. Харьков, 1811–1812. Ч. 1. С. 1–3.
- 75 *Каченовский М.* Взгляды на успех российского витийства... С. 20, 21.
- 76 *Венелин Ю.И.* О происхождении славян вообще и россос в особенности (Публикация Ю.В. Колиненко) // Сборник Русского исторического общества. М., 2003. Т. 8 (156). С. 21–83.
- 77 *Венелин Ю.* Скандинавомания и ее поклонники, или Столетние изыскания о варягах. М., 1842.

- ⁷⁸ См., в частности, сочинение, опубликованное в начале XIX столетия: *Шлёцер А.Л.* Нестор. Русские летописи на древле-славянском языке. СПб., 1809; О происхождении словен вообще и в особенности словен российских, или Опыт решения предложенной Императорским Обществом российской истории и древностей и историческим классом Императорского Московского университета задачи, относительно прогнание словен с берегов Дуная волохами. Сочинение профессора Шлёцера. М., 1810.
- ⁷⁹ *Погодин М.П.* О происхождении Руси. М., 1825.
- ⁸⁰ *Венелин Ю.И.* О происхождении славян... С. 21.
- ⁸¹ Там же. С. 22.
- ⁸² Там же. С. 35.
- ⁸³ Там же. С. 22.
- ⁸⁴ Там же. С. 33–34.
- ⁸⁵ Там же. С. 34.
- ⁸⁶ Там же. С. 36.
- ⁸⁷ Там же. С. 37.
- ⁸⁸ Там же. С. 42.
- ⁸⁹ Там же. С. 68.
- ⁹⁰ *Дуличенко А.Д.* Введение в славянскую филологию. М., 2014. С. 287–293.
- ⁹¹ *Dobrovsky J.* Institutiones linguae slavicae dialecti veteris, tj. Základy jazyka staroslověnského (1822); рус. пер.: *Добровский Й.* Грамматика языка славянского по древнему наречию / Пер. с чеш. М. Погодина. Ч. 1–3. СПб., 1833–1834.
- ⁹² *Шафарик П.И.* Славянское народописание / Пер. с чеш. И. Бодянского. М., 1843.
- ⁹³ Там же. С. 4.
- ⁹⁴ Там же. С. 1.
- ⁹⁵ Там же. С. 1–2.
- ⁹⁶ Там же. С. 5.
- ⁹⁷ П. Шафарик ссылается на обширную программу публикаций, запланированную И.П. Сахаровым. В книгу десятую третьего тома собиратель планировал поместить «словари русских областных наречий» и опубликовал предполагаемое содержание этого тома. Он намеревался включить в него описание этих четырех наречий, составляющих наречие великорусское. Первое издание вышло в 1836–1837 гг. (см.: *Сахаров И.* Сказания русского народа. СПб., 1836–1837). Переводчик ссылается уже на третье издание «Сказаний»: *Сахаров И.* Сказания русского народа: В 2 т., 8 кн. СПб., 1841–1849. Т. 1. Кн. I–IV. С. 8 (в этой части тома пагинация отсутствует, нумерация страницы дана, вероятнее всего, О. Бодянским).
- ⁹⁸ *Шафарик П.И.* Славянское народописание.
- ⁹⁹ Там же. См. также: *Сахаров И.* О составлении русского словаря // *Сахаров И.* Сказания русского народа: В 2 т., 8 кн. 3-е изд. 1841–1849. Т. II. Кн. V–VIII. СПб., 1849. Кн. V. Словари русского языка. С. I.
- ¹⁰⁰ *Добровский Й.* Грамматика языка славянского...
- ¹⁰¹ *Востоков А.Х.* Рассуждения о славянском языке, служащее введением к грамматике сего языка, составляемой по древнейшим онога письменным памят-

- никам // *Востоков А.Х.* Филологические наблюдения. СПб., 1865. С. 14–16. Впервые опубликовано в Трудах Общества любителей русской словесности за 1820 г. (ч. XVIII).
- ¹⁰² *Дуличенко А.Д.* Введение в славянскую филологию. С. 292.
- ¹⁰³ *Надеждин Н.И.* Европеизм и народность в отношении к русской словесности // *Надеждин Н.И.* Литературная критика. Эстетика. М., 1972. С. 394–444.
- ¹⁰⁴ Там же. С. 405.
- ¹⁰⁵ Комментарий издателя к этому фрагменту см.: Там же. С. 537.
- ¹⁰⁶ *Надеждин Н.И.* Европеизм и народность. С. 405.
- ¹⁰⁷ Там же.
- ¹⁰⁸ *Н.Н. (Надеждин Н.И.)* Великая Россия // Энциклопедический лексикон / Под ред. Н.И. Греча и О.И. Сенковского. Изд. А.А. Плюшара: В 17 т. (не окончено). СПб., 1834–1841. Т. IX. СПб., 1837. С. 265.
- ¹⁰⁹ Там же.
- ¹¹⁰ Там же. С. 273.
- ¹¹¹ Там же.
- ¹¹² Там же. С. 273–274.
- ¹¹³ Там же. С. 274.
- ¹¹⁴ Там же.
- ¹¹⁵ Там же. С. 276.
- ¹¹⁶ *Востоков А.Х.* Рассуждения о славянском языке... С. 13.
- ¹¹⁷ *Сахаров И.* О составлении русского словаря. С. I–II.
- ¹¹⁸ *Максимович М.А.* Критико-историческое исследование о русском языке; *Он же.* Начатки русской филологии // *Максимович М.А.* Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. С. 25–155.
- ¹¹⁹ Термин «разряды», однако, у него появляется в статье «Начатки русской филологии».
- ¹²⁰ *Максимович М.А.* Критико-историческое исследование... С. 23.
- ¹²¹ Там же.
- ¹²² *Максимович М.А.* Начатки русской филологии. Статья вторая. О степенях сродства между наречиями // *Максимович М.А.* Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. С. 58–59.
- ¹²³ *Максимович М.А.* Откуда идет русская земля, по сказанию несторовой повести и по другим старинным писаниям и рукописям (1837) // *Максимович М.А.* Собр. соч.: В 3 т. Киев, 1876. Т. 1. С. 5–92; *Он же.* О происхождении варяго-русов (Письмо к М.П. Погодину) // Там же. С. 93–110.
- ¹²⁴ *Максимович М.А.* Критико-историческое исследование. С. 8.
- ¹²⁵ *Максимович М.А.* Начатки русской филологии. Статья вторая. С. 53.
- ¹²⁶ *Срезневский И.* Рец. на: Slowańský Národopis. Sestawil P.J. Šafařík. W Praze, 1842; Zeměwid od P.J. Šafaříka. W Praze, 1842 // Журнал Министерства народного просвещения. 1843. Ч. XXXVIII. Отдел VI. Обзорение книг и журналов. Новые иностранные книги. С. 1–30.
- ¹²⁷ Там же. С. 21–22.
- ¹²⁸ Там же. С. 16–17.
- ¹²⁹ Там же. С. 17; *Срезневский И.И.* Мысли об истории русского языка и других славянских наречий. СПб., 1887. С. 36.

- ¹³⁰ *Максимович М.А.* Начатки русской филологии. Статья первая. О системе славянских наречий. С. 45–46.
- ¹³¹ Там же. С. 46–48.
- ¹³² *Срезневский И.И.* Мысли об истории русского языка... С. 34–35.
- ¹³³ *Будилович А.С.* Введение // *Будилович А.С.* Первобытные славяне в их языке, быте и понятиях по данным лексикографии. Ч. 1. Киев, 1878. С. X.
- ¹³⁴ *Надеждин Н.И.* Об этнографическом изучении народности русской // Записки Русского географического общества. 1847. Кн. 2. С. 67.
- ¹³⁵ Там же. С. 68.
- ¹³⁶ Там же. С. 69.
- ¹³⁷ *Сахаров И.* Сказания русского народа: В 2 т., 8 кн. Т. 1. Кн. I–IV. Оглавление т. 3, кн. X.
- ¹³⁸ *Н.Н. (Надеждин Н.И.)* Великая Россия. С. 275.
- ¹³⁹ Там же.
- ¹⁴⁰ *Н.Н. (Надеждин Н.И.)* Племя русское в общем семействе славян по Шафарыку // Журнал Министерства внутренних дел. 1843. № 1. Январь. Раздел «Смесь». С. 163–170.
- ¹⁴¹ Там же. С. 169–170.
- ¹⁴² Там же. С. 168.
- ¹⁴³ Там же.
- ¹⁴⁴ Там же.
- ¹⁴⁵ *Максимович М.А.* Начатки русской филологии. Статья первая. О системе славянских наречий.
- ¹⁴⁶ *Катков М.Н.* Империя и крамола. М., 2007. С. 46.
- ¹⁴⁷ *Даль В.И.* О наречиях русского языка. По поводу опыта областного великорусского словаря, изданного Вторым отделением Императорской Академии наук (1852) // Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. СПб.–М., 1880–1882. Т. 1. СПб.–М., 1880. С. XLI–LXXXV; *Он же.* О русском словаре. Читано в Обществе любителей российской словесности в частном его заседании 25 февраля и в публичном 6 марта 1860 года // Там же. С. XXX–XL; *Он же.* Напутное слово (1862) // Там же. С. XIII–XXIX.
- ¹⁴⁸ *Даль В.И.* Напутное слово. С. XXIV.
- ¹⁴⁹ *Даль В.И.* Напутное слово; *Он же.* О наречиях...
- ¹⁵⁰ *Даль В.И.* О наречиях... С. XLV.
- ¹⁵¹ Там же. С. XLVI.
- ¹⁵² *Даль В.И.* О наречиях... С. L–LXXVI.
- ¹⁵³ Впрочем, существовали варианты и еще более дробного деления (см., например: Великоруссы // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона. Т. Va (п/т. 10). СПб., 1892. С. 828–843; автор – *Анучин Д.*).
- ¹⁵⁴ Откуда началась Святая Русь. Всенародная история Российского государства / Под ред. К. Соловьева. М., 1882. С. 41–42.
- ¹⁵⁵ *Меч С.* Учебник отечественной географии: Курс гимназический. М., 1887. С. 87.
- ¹⁵⁶ *Воронцов А.* Великоруссы // По русской земле: Географические очерки и картины для чтения в семье и школе. М., 1890. С. 177.

- 157 На это обстоятельство обратила мое внимание российская коллега, филолог О.А. Остапчук, за что я выражаю ей искреннюю признательность.
- 158 *Милоков А.* Вопрос о малороссийской литературе // *Милоков А.* Отголоски на литературные и общественные явления: Критические очерки. СПб., 1875. С. 131–132, 141–142.
- 159 *Brace Ch. L.* The Races of the Old World. A manual of Ethnology. NY, 1863. P. 13–15.
- 160 *Звегинцев Е.А.* История языкознания в очерках и извлечениях. М., 1964. Гл. 3; *Шлейхер А.* Компендий сравнительной грамматики европейских языков // Филологические записки. Воронеж, 1865.
- 161 *Шлейхер А.* Теория Дарвина в применении к науке о языке: Публичное послание доктору Эрнсту Геккелю, э. о. профессору зоологии и директору зоологического музея при Йенском университете. СПб., 1864.
- 162 Там же.
- 163 Введение // *Шлейхер А.* Компендий сравнительной грамматики европейских языков.
- 164 *Погодин М.П.* Польша и Россия (1859) // *Погодин М.П.* Соч.: В 5 т. М., 1872–1876. Т. 5. Статьи политические и польский вопрос. М., 1876. С. 350.
- 165 *Соловьев Н.И.* Язык как основа национальности. Статья первая // Отечественные записки. 1866. Февраль. № 2. Отдел I. С. 481–499. Автор подробно разбирает и солидаризируется с идеями Макса Миллера.
- 166 Язык // Русский энциклопедический словарь / Под ред. И.Н. Березина: В 16 т. СПб., 1873–1879. Отдел IV. Т. 4. СПб., 1879. С. 460.
- 167 Статистические таблицы распределения славян а) по государствам и народностям; б) по вероисповеданиям, азбукам и литературным языкам (наречиям) с объяснительной запиской, А.С. Будиловича. СПб., 1875. С. 18.
- 168 Там же. С. 19.
- 169 Там же. С. 18.
- 170 *Ламанский В.И.* Обзорение народностей и наречий славянских. Лекции, читанные В.И. Ламанским в семестре 1881/82 года. СПб., 1882. С. 112.
- 171 *Мостовский М.* Этнографические очерки России. М., 1874.
- 172 *Кюн К.* Народы России. СПб., 1888. С. 1.
- 173 Наиболее важными, на наш взгляд, остаются труды А.Н. Пыпина (см.: *Пыпин А.Н.* История русской этнографии), М.К. Азадовского (*Азадовский М.К.* История русской фольклористики: В 2 т. М., 1958–1963) и С.А. Токарева (см.: *Токарев С.А.* История русской этнографии (дооктябрьский период). М., 1966) – главы и разделы о развитии украинской темы в российской историографии.
- 174 Россия. D. Русский язык и литература // Настольный энциклопедический словарь. М.: Изд-во Бр. А. и И. Гранат и Ко.: В 8 т. 1891–1903. Т. VII. М., 1896. С. 4324; Русский язык // Большая энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания / Под ред. С.Н. Южакова: В 20 т. СПб.–Лейпциг, 1900–1907. Т. 16. СПб., 1904. С. 635.
- 175 Россия. Население. Россия в этнографическом отношении // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона. Т. XXVIIa (п/т 54). СПб., 1899. С. 145.
- 176 Великоруссы // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Эфрона. С. 830.

- 177 Великоруссы // *Тимковский Д.* Наша страна. Картины природы и быта народов России: Географический сборник для чтения в семье и школе. 2-е изд. М., 1912. С. 151–152. О «почитаемом самым правильным и чистым московском наречии» см. и в более ранних учебниках, например: *Зуев Н.* География Российской империи. СПб., 1887. С. 84.
- 178 Русский язык // Большая энциклопедия. С. 635.
- 179 Россия. Д. Русский язык и литература. С. 4324.
- 180 Великорусское наречие // Большая энциклопедия. Т. 4. СПб., 1901. С. 578.
- 181 Россия. Д. Русский язык и литература. С. 4324.
- 182 *Соболевский А.И.* Русский народ как этнографическое целое. Харьков, 1907. С. 17.
- 183 *Соболевский А.И.* История русского литературного языка. Л., 1980. С. 122.
- 184 Там же. С. 123.
- 185 Великорусское наречие // Большая энциклопедия. С. 577.
- 186 Там же.
- 187 Россия. А. География и этнография России // Настольный энциклопедический словарь. М.: Изд-во Бр. А. и И. Гранат и К. Т. VII. М., 1896. С. 4300.
- 188 Там же.
- 189 *Милуков П.Н.* Очерки истории русской культуры: В 4 ч. СПб., 1896–1903. Ч. 1. Население, экономический, государственный и сословный строй. СПб., 1896. С. 47.
- 190 Там же. С. 48.
- 191 *Соболевский А.И.* Введение // *Соболевский А.И.* Лекции по истории русского языка. 3-е изд. М., 1903. С. 1.
- 192 *Потебня А.А.* Язык и народность // *Потебня А.А.* Эстетика и поэтика. М., 1976. С. 271.
- 193 Великоруссы // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Эфрона. С. 830.
- 194 Россия. А. География и этнография России. С. 4301.
- 195 Великоруссы // Большая энциклопедия. Т. 4. СПб., 1901. С. 579.
- 196 Россия. Русская литература и русский язык: русский язык // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Эфрона. Т. XXVIII (п/т 55). СПб., 1899. С. 564 (автор – *А. Шахматов*). В основу этих и других статей А.А. Шахматова в словаре положены сведения и аргументы, в полном виде представленные в его известной монографии (см.: *Шахматов А.А.* К вопросу об образовании русских наречий и русских народностей. СПб., 1899).
- 197 *Соболевский А.И.* Русский народ как этнографическое целое. С. 17.
- 198 *Петри Э.Ю.* Антропология. Основы антропологии. СПб., 1890. С. 42–43.
- 199 Там же. С. 96.
- 200 Россия. Население. В. Россия в антропологическом отношении // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Эфрона. Т. XXVIIa (п/т 54). СПб., 1899. С. 128–139; Россия. Население. С. Россия в этнографическом отношении // Там же. С. 139–152.
- 201 Россия. Население. В. Россия в антропологическом отношении. С. 128.
- 202 Там же. С. 129.

- ²⁰³ *Пантюхов И.И.* Значение антропологических типов в русской истории // Русская расовая теория до 1917 года: Сб. оригинальных работ русских классиков / Под ред. В.Б. Авдеева: В 2 вып. М., 2004. Вып. 2. С. 319.
- ²⁰⁴ *Ефименко А.Я.* Малорусский язык в народной школе // *Ефименко А.Я.* Южная Русь. Очерки, исследования, заметки: В 2 т. СПб., 1905. Т. 2. С. 208–235.
- ²⁰⁵ Там же. С. 218.
- ²⁰⁶ Там же. С. 219–220.
- ²⁰⁷ Там же. С. 229–233.
- ²⁰⁸ *Каревин А.* Русь нерусская. Как рождалась «рідна мова». М., 2006. Гл. 1.
- ²⁰⁹ *Пешель О.* Народоведение / Пер. с нем. СПб., 1890. С. 128.
- ²¹⁰ *Ламанский В.И.* Обзорение народностей и наречий. С. 11.
- ²¹¹ Там же. С. 127–128. Об этом же см.: *Петри Э.Ю.* Антропология. Основы антропологии. С. 96; *Харузин Н.* Этнография: Лекции, читанные в Императорском Московском университете. Вып. 1. СПб., 1901. С. 56–57.
- ²¹² *Пешель О.* Народоведение. С. 129.
- ²¹³ *Ратцель Ф.* Основные понятия народоведения. Язык // *Ратцель Ф.* Народоведение/Пер с нем. Д. Коропчевского: В 2 т. СПб., 1904. Т. 1. С. 30–32.
- ²¹⁴ Письмо И.И. Срезневского М.П. Погодину (цит. по: *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина. В 22-х тт. СПб., 1888–1910. Т. XV. СПб., 1901. С. 373).
- ²¹⁵ «В выражении: “Это для меня весьма важно в устах малороссиянина и профессора славянских наречий” – под малороссиянином вы разумеете Срезневского. Но и по родителям, и по месту рождения (в Ярославле) И.И. Срезневский – великороссиянин», – писал П.А. Лавровский (цит. по: *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина: В 22 т. Т. XV. С. 376).
- ²¹⁶ *Кулиш П.* Предания, легенды, поверья // *Кулиш П.* Записки о Южной Руси: В 2-х т. СПб., 1856–1857. Т. 1. СПб., 1856. С. 235.
- ²¹⁷ Там же.
- ²¹⁸ *Карский Е.Ф.* Белорусы. Т. 1. Введение в изучение языка и народной словесности. Вильно, 1903. С. 116. Об этом же применительно к идентификации по языку см.: *Беликов В.И., Крысин Л.П.* Социоллингвистика. М., 2001. С. 73.
- ²¹⁹ *Герман К.* Статистические исследования относительно Российской империи. СПб., 1819. Ч. 1. О народонаселении.
- ²²⁰ *Кабузан В.М.* Народы России в первой половине XIX в. Численность и этнический состав. М., 1992.
- ²²¹ Там же. С. 8–10.
- ²²² Подробнее о Переписи 1897 г. в России как способе конструирования этничности см.: *Соколовский С.В.* Институты и практики производства и воспроизводства этничности // *Этнометодология: проблемы, подходы, концепции.* Вып. 11. М., 2005. С. 144–175; *Он же.* Категория «коренные народы» в российской политике, законодательстве и праве. Текст доступен по адресу: <http://www.prof.msu.ru/publ/book3/sok.htm>; *Сафронов А.А.* Первая всеобщая перепись населения России 1897 г.: разработка данных о грамотности, их информационный потенциал и достоверность // *Документ. Архив. История. Современность.* Екатеринбург, 2003. Вып. 3. С. 203–220; *Кадио Ж.* Глава 3. Хорошо организованная

- империя? Перепись 1897 г. // *Кадио Ж.* Лаборатория Империи: Россия/СССР, 1890–1940 / Пер. с фр. М., 2010. С. 47–88; *Каппелер А.* Переписи населения в России и в Австро-Венгрии как имперские проекты // *Ab Imperio.* 2012. № 4. С. 87–93.
- ²²³ *Семенов П.П.* Перепись жителей Санкт-Петербурга 10-го декабря 1869 года в ее отношении к делу статистических переписей в России // *Известия ИРГО.* Т. VI. № 2 (раздел «Географические известия»). СПб., 1870. С. 45.
- ²²⁴ Подробнее об этом см., в частности: *Лескинен М.В.* Образование «для народа»: теория и практика диалога с крестьянином в России последней трети XIX в. // *Человек на Балканах.* Социокультурные измерения процесса модернизации на Балканах. СПб., 2007. С. 113–147.
- ²²⁵ *Семенов П.П.* Перепись жителей Санкт-Петербурга... С. 46.
- ²²⁶ Там же. С. 54.
- ²²⁷ Там же. С. 61.
- ²²⁸ Подробнее см.: *Лескинен М.В.* *Национальное: наука и политика в Российской империи второй половины XIX в.* // *Вопросы национализма.* 2013. № 3(15). С. 190–217. С максимальной полнотой мысль о несостоятельности внешней этнической идентификации без учета самосознания нашла выражение в связи с пробуждением интересов национальных меньшинств, ставших предметом активного общественного обсуждения в связи с первой русской революцией. В этом контексте весьма показательно, что именно ученый-лингвист И.А. Бодуэн де Куртенэ, арестованный за свою брошюру (см.: *Бодуэн де Куртенэ И.А.* *Национальный и территориальный признак в автономии.* СПб., 1913), высказал в резкой форме неприятие внешней и, как он полагал, насильственной и спекулятивной процедуры этнического определения.
- ²²⁹ Несколько иные аспекты этого процесса выделяют Стейнведел и Петронис: (см.: *Стейнведел Ч.* Создание социальных групп и определение социального статуса индивидуума: идентификация по сословию, вероисповеданию и национальности в конце имперского периода в России // *Российская империя в зарубежной историографии: Работы последних лет* / Пер. с англ. М., 2005. С. 610–633; *Петронис В.* *Pinge, divide et impera: взаимовлияние этнической картографии и национальной политики в позднеимперской России (вторая половина XIX века)* // *Imperium inter pares. Роль трансферов в истории Российской империи (1700–1917)* / Под ред. М. Ауста, Р. Вульпиуса, А. Миллера. М., 2010. С. 308–329).
- ²³⁰ *Соколовский С.В.* *Этнография как жанр и как власть* // *Этнометодология: проблемы, подходы, концепции.* Вып. 2. М., 1995. С. 133–147. Важно в этом отношении заметить, что представления об адекватности подобных методов определения этнической идентичности возрождаются в советской этнографии (примером могут служить, например, словарные статьи: *Этноконфессиональная общность* // *Свод этнографических понятий и терминов.* Вып. 6. *Этнография и смежные дисциплины. Этнические и этносоциальные категории.* М., 1995. С. 149–151; *Классификация лингвистическая* // Там же. С. 41–45 и др.).
- ²³¹ Подробнее об этом см., в частности: *Лескинен М.В.* *Поляки и финны...* С. 148–161.

- ²³² *Котельников А.* История производства и разработки Всеобщей переписи населения 28 января 1897 г. СПб., 1909.
- ²³³ *Патканов С.* Разработка данных о языке в Центральном статистическом комитете // Исторический вестник. 1898. Июнь. Т. СХХII. С. 985–1002.
- ²³⁴ Там же. С. 987.
- ²³⁵ Там же. С. 989.
- ²³⁶ Там же.
- ²³⁷ Там же. С. 997.
- ²³⁸ Там же. С. 998–999.
- ²³⁹ Там же. С. 998.
- ²⁴⁰ *Котельников А.* История производства и разработки... С. 33. Современные исследователи давно ставят под сомнение лингвистические способы определения этнической идентичности на основании опросов. «Люди очень плохой источник информации о своих собственных языковых репертуарах. Многие лгут (особенно властям) о своей способности говорить на определенных языках, другие просто не знают, какие языки (или формы речи) они используют в различных контекстах. Еще более серьезную проблему представляет тот факт, что люди часто недооценивают свои способности говорить на языке с высоким статусом... и одновременно переоценивают способность общаться на языке с низким статусом» (*Лэйтин Д.* Что такое языковое сообщество // *Ab Imperio*. 2003. № 1. С. 70.)
- ²⁴¹ Алфавитный список народов, обитающих в Российской империи. СПб., 1895.
- ²⁴² *Патканов С.* Разработка данных о языке... С. 999.
- ²⁴³ Там же.
- ²⁴⁴ Их подробный перечень см. в: *Котельников А.* История производства и разработки. С. 5–6.
- ²⁴⁵ *Кеттен П.И.* Девятая ревизия о числе жителей в России в 1854 г. СПб., 1857. С. 135.
- ²⁴⁶ *Кабузан В.М.* Народы России в XVIII в. Численность и этнический состав. М., 1990. С. 7.
- ²⁴⁷ Таблица XIII. Распределение населения по родному языку // Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Общий свод. Краткие общие сведения / Под ред. Н.А. Тройницкого: В 2 т. СПб., 1905. Т. II. Общий свод по Империи результатов обработки данных Первой Всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 г. Важно отметить, что процентный состав русских в каждой из губерний представлялся гораздо более существенным (выступая доказательством абсолютного преобладания русских как в Российской империи, так и в большинстве регионов Европейской России), нежели доля великороссов. Об этом свидетельствуют, в частности, сводные сведения по результатам переписи в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона (см.: *Покровский В., Рихтер Д.* Россия. Население. Статистика населения // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Эфрона. Т. XXVIIа. П/т 54. СПб., 1899. С. 75–128.)
- ²⁴⁸ Таблица XIII. Распределение населения по родному языку; *Менделеев Д.И.* К познанию России (1906) // *Менделеев Д.И.* К познанию России. М., 2002.

С. 48–52. И абсолютное число великорусов и русских, и их процентное соотношение выросло в сравнении с данными середины столетия (в 1858 г. – 45,87%) (см.: Кабузан В.М. Русские // Кабузан В.М. Народы России в первой половине XIX в. Гл. 3).

²⁴⁹ Жюльет Кадио в своей монографии утверждает, что организаторы европейских переписей контролировали численность этнических групп Империи, и, в частности, в Переписи 1897 г. в России «количественный вес русского населения был усилен за счет прибавления носителей малорусского (украинского) и белорусского языков, что позволяло русским сохранять за собой статус этнического большинства» (Кадио Ж. Лаборатория Империи... С. 44–45. И хотя в конце этого предложения стоит сноска на работу И.А. Бодуэн де Куртенэ, написанную в 1907 г. и изданную только шестью годами позднее (см.: Бодуэн де Куртенэ И.А. Национальный и территориальный признак в автономии. СПб., 1913. С. 35), в данном контексте (применительно к конкретной переписи) такое заключение, *во-первых*, некорректно. А с учетом точки зрения интенции автора – известного лингвиста и стилистики статьи заостренной политической направленности оно, *во-вторых*, неверно как факт, поскольку статус этнического большинства у русских как триединого народа был бесспорным – и по численности, и по признанию его места в иерархии народов Империи, и в том числе его цивилизационных исторических усилий (автор брошюры весьма иронично комментирует эту искусственно раздутую значимость). А ведь в итогах переписи было отражено количество и русских в целом, и великорусов, малорусов и белорусов (идентифицируемых по языку), а великорусы так или иначе на протяжении всего XIX в. оставались самым многочисленным племенем из трех восточнославянских и изо всех населяющих Российскую империю. Даже если не учитывать малорусов и белорусов в составе единого русского, то и в этом случае великорусы составляли самую большую группу Империи: 43,5%. Об этом пишет и Бодуэн де Куртенэ («55% невеликороссов Империи против 45% великороссов»). Тем не менее, он убежден, что цифры эти являются «бесплодной арифметикой» и ничего не доказывают. Брошюра была направлена, как известно, против русских националистов. Одним из наиболее ярких представителей этих взглядов в их крайнем выражении был (также ученый, профессор психиатрии) П.И. Ковалевский, который в те же годы писал: «...господствующую, державною нацией является та, которая основала, создала и держит государство. Она осталась победительницей – она и господствует. Ее победили бы, и она подчинилась бы. В России державною господствующею нацией является русская нация. Все остальные нации, составляющие Российское государство, являются ей соподчиненными. Такую державность русской нации дают: права крови, пролитой ее сынами... права имущественные, права самосохранения, права культурного превосходства и, наконец, права победителя. Все это ставит русских в России в такие условия, что они в ней хозяева и господа» (Ковалевский П.И. Психология русской нации // Ковалевский П.И. Психология русской нации. Воспитание молодежи. Александр III – царь-националист. М., 2005. С. 49). Очевидно, что слова Бодуэн де Куртенэ следует прочитывать именно

в контексте этих политико-идеологических дискуссий постконституционного периода, а не в вопросе обсуждения переписи – даже ее государственно-бюрократических задач и манипулятивно-конструктивистских целей.

- ²⁵⁰ В данной главе определение «украинский» в отношении языка/наречия вне цитат не употребляется, чтобы избежать необходимости специальных пояснений о соотношении этих понятий. В текстах эпохи до 1890-х гг. абсолютно преобладают наименования «южнорусский/малороссийский/малорусский» язык или наречие (этот перечень соответствует хронологической последовательности применения). С 1880-х гг. «украинским» именуется только один из трех малорусских диалектов (в современном значении термина «диалект»), соотносимый с географическим ареалом Украины/Украины (подр. об этом см.: *Лескинен М.В.* «Южноруссы», «малороссияне», «малоруссы», «украинцы»: трансформация этнонима в российском этногеографическом дискурсе XIX в. // *Имя народа: Украина и ее население в официальных и научных терминах, публицистике и литературе.* СПб.–М., 2016; в печати).
- ²⁵¹ Россия. Русская литература и русский язык. С. 564.
- ²⁵² Основная библиография научных исследований XIX в. и тенденции полемики по этому вопросу отражены в ст.: Малорусское наречие // *Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона.* Т. IXа (п/т 18). СПб., 1899. С. 485–487. (Автор – *С.К. Булич.*) Анализ и оценки лингвистических теорий XIX в. о двух русских наречиях современными исследователями представлены в историографических разделах следующих трудов: *Москаленко А.А.* Історія українського мовознавства. Київ, 1991; *Трубачев О.Н.* В поисках единства. Взгляд филолога на проблему истоков Руси. М., 2005; *Останчук О.А.* Изменение государственных границ как фактор формирования языковой ситуации на Правобережной Украине в конце XVIII – первой половине XIX в. // *Регионы и границы Украины в исторической ретроспективе.* М., 2005. С. 53–92; *Каревин А.* Русь нерусская. С. 5–24; *Толочко А.П.* Спор о наследии Киевской Руси в середине XIX века: Максимович vs Погодин // *Историческая культура императорской России: формирование представлений о прошлом / Отв. ред. А.Н. Дмитриев.* М., 2012. С. 92–112.
- ²⁵³ Подробнее о процессе формирования научных представлений о малороссийском/ украинском литературном языке XIX в. см.: *Останчук О.А.* Украинский литературный язык в свете сопоставительной типологии славянских языков // *Славистични студии.* Списание на Катедрата за славистика при Филолшки-от факултет «Блаже Конески» за 2006 година. Бр. 12. Скопје, 2006. С. 175–179; *Она же.* Украинский литературный язык в свете социолингвистической типологии славянских языков // *Славянское языкознание. XV Международный съезд славистов.* Минск, 2013. Доклады российской делегации. М., 2013. С. 634–642.
- ²⁵⁴ *Лисяк-Рудницький І.* Зауваги до проблеми «історичних» і «неісторичних» націй // *Лисяк-Рудницький І.* Історичні есе. Київ, 1994. Т. 1. С. 27–47; *Грабович Г.* Ще про «неісторичні» нації і «неповні» літератури // *Грабович Г.* До історії української літератури: дослідження, есе, полеміка. Київ, 1997. С. 543–570.
- ²⁵⁵ Здесь и далее этнонимы «малороссы», «малороссияне», «малорусы»/«велико-

- русы», «великороссы», «великороссияне» и образованные от них прилагательные будут использоваться как синонимы (вне цитат).
- ²⁵⁶ Павловский А. Грамматика малороссийского наречия, или Грамматическое показание существеннейших отличий, отдаливших малороссийское наречие от чистого русского языка, сопровождаемое разными по сему предмету замечаниями и сочинениями. СПб., 1818. С. II.
- ²⁵⁷ Там же.
- ²⁵⁸ Левшин А.И. Письма из Малороссии. С. 78.
- ²⁵⁹ Б.а. (Могилевский И.) О давности и самобытности южнорусского языка // Кулиш П. Записки о Южной Руси: В 2 т. Киев, 1856–1857. Т. 2. Киев, 1857. С. 261–279.
- ²⁶⁰ Там же. С. 261.
- ²⁶¹ Там же. С. 263–264.
- ²⁶² Там же. С. 264–266.
- ²⁶³ Там же. С. 267–270.
- ²⁶⁴ Там же. С. 270, 276.
- ²⁶⁵ Александровский И.С., Лескинен М.В. Некоторые вопросы этнографического изучения и полемики о статусе малороссийского языка в российской литературной и научной публицистике XIX в. // Русские об Украине и украинцах. СПб.: Алетейя, 2012. С. 216.
- ²⁶⁶ Программа для этнографического описания губерний Киевского учебного округа, составленная кн. В.Д. Дабижею и (по языку) А.Л. Метлинским. Киев, 1854.
- ²⁶⁷ Белинский В.Г. Е. Гребенка «Ластовка» // Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1951–1959. Т. V. М., 1954. С. 176.
- ²⁶⁸ Александровский И.С., Лескинен М.В. Некоторые вопросы... С. 208–212.
- ²⁶⁹ Белинский В.Г. Е. Гребенка. С. 176.
- ²⁷⁰ Там же. С. 178.
- ²⁷¹ Александровский И.С., Лескинен М.В. Некоторые вопросы... С. 211.
- ²⁷² В. Луганский (Даль В.И.). Малороссийские повести, рассказанные Грицком Основьяненко // Северная пчела. 1835. № 17. С. 65.
- ²⁷³ Срезневский И.И. Взгляд на памятники украинской народной словесности // Ученые записки Московского университета. М., 1834. Ч. IV. С. 134–150.
- ²⁷⁴ В. Луганский (Даль В.И.). Малороссийские повести... С. 66.
- ²⁷⁵ Там же.
- ²⁷⁶ Ушинский К.Д. «Воззрения на природу» А. Гумбольдта и «Идеи о сравнительном земледелии К. Риттера: Рецензия // Ушинский К.Д. Собр. соч.: В 11 т. М.; Л., 1948–1953. Т. 1. М.–Л., 1948. С. 549.
- ²⁷⁷ Ушинский К.Д. Труды Уральской экспедиции. Три статьи. Рецензия (1853) // Там же. С. 449–450.
- ²⁷⁸ Там же. С. 449.
- ²⁷⁹ Афанасьев А. Рецензия на «Байки и прибаутки» Боровиковского // Северная пчела. 1852. № 168.
- ²⁸⁰ В. Луганский (Даль В.И.). Малороссийские повести... С. 65.
- ²⁸¹ Подр. об этом см.: Лескинен М.В. Поляки и финны. С. 48–52.
- ²⁸² В. Луганский (Даль В.И.). Малороссийские повести... С. 65–66.

- 283 Там же. С. 66.
- 284 Там же.
- 285 *Шницерльман В.* Ценность прошлого: этноцентристские исторические мифы, идентичность и этнополитика // Реальность этнических мифов. М., 2000. С. 12–33.
- 286 *Надеждин Н.И.* «Вечера на хуторе близ Диканьки: Повести, изданные Пасичником Рудым Панько» // *Надеждин Н.И.* Литературная критика. Эстетика. М., 1972. С. 281.
- 287 *Павловский И.* География Российской империи: В 2 ч. Дерпт, 1843. Ч. 1. С. 221.
- 288 Там же. С. 222.
- 289 Там же.
- 290 *Сахаров И.* О составлении русского словаря. С. VII.
- 291 Там же. С. I.
- 292 Там же. С. VII.
- 293 *Метлинский А.Л.* Предисловие // *Метлинский А.Л.* Народные южнорусские песни. Киев, 1854. С. 12.
- 294 *Горизонтов Л.Е.* «Большая русская нация» в имперской и национальной стратегии самодержавия // Пространство власти: исторический опыт России и вызовы современности. М., 2001. С. 129–150.
- 295 *Надеждин Н.И.* Об этнографическом изучении народности русской. С. 70.
- 296 Там же.
- 297 Там же.
- 298 Там же. С. 103.
- 299 Подробнее см.: *Лескинен М.В.* «Южноруссы», «малороссияне», «малоруссы», «украинцы».
- 300 Важным для интерпретации является трактовка каждым из авторов пары понятий «язык/наречие» – либо как синонима, либо в качестве родовой и видовой единиц лингвистической таксономии. В данной статье мы не имеем возможности подробно рассматривать сами номинации и концентрируем внимание только на определениях. Подробнее о языке и наречии см.: *Александровский И.С., Лескинен М.В.* Некоторые вопросы...
- 301 *Венелин Ю.* О споре между южанами и северянами насчет их россизма // Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских. 1847. Год третий. № 4. С. 3.
- 302 Там же. С. 4. О проблемах этнической идентификации владеющих и русским, и малороссийским языками, подробнее см.: *Федута А.И.* Читатель в сознании автора-билингва (на материале восточнославянских литератур второй трети XIX в.) // *Славяноведение*, 2014. № 3. С. 56–66.
- 303 Подтверждением может служить интерпретация вопроса о малороссийском языке со ссылками на научные лингвистические исследования XIX в. в работах более позднего времени – начала и первой четверти XX в., опубликованных в сборнике «Украинский сепаратизм в России» (М., 1998), или статьи и монографии Н.И. Ульянова (см.: *Ульянов Н.И.* Происхождение украинского сепаратизма. М., 1996).
- 304 *Миллер А.И.* «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.). СПб., 2000. Гл. 4.

- 305 *Миллер А.И.* Язык, идентичность и лояльность в политике властей Российской империи // *Россия и Балтия. Остзейские губернии и Северо-Западный край в политике реформ Российской империи. Вторая половина XVIII–XX в.* М., 2004. С. 142–155; *Сталюнас Д.* Идентификация, язык и алфавит литовцев в российской национальной политике (1860-е гг.) // *Ab Imperio.* 2005. № 2. С. 225–254.
- 306 *Виноградов В.В.* Литературный язык // *Виноградов В.В.* Избранные труды. История русского литературного языка. М., 1978. С. 288; *Он же.* Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв. М., 1938. С. 387.
- 307 Литературный язык // *Лингвистический энциклопедический словарь* / Под ред. В.Н. Ярцевой. М., 1990.
- 308 Современный комплекс научных признаков для установления «типологического профиля» литературного языка кратко изложен в: *Остапчук О.А.* Украинский литературный язык в свете сопоставительной типологии... С. 173–174.
- 309 *Беликов В.И., Крысин Л.П.* Социоллингвистика. М., 2001; *Эдельман Д.И.* К проблеме «язык или диалект» в условиях отсутствия письменности // *Теоретические основы классификации языков мира.* М., 1980. С. 127–147.
- 310 Язык // *Лингвистический энциклопедический словарь...*; *Коряков Ю.Б.* Проблема «язык или диалект» (статья не опубликована, доступна в Интернете по адресу: [http://ru.wikipedia.org/wiki/Проблема «язык или диалект»](http://ru.wikipedia.org/wiki/Проблема_«язык_или_диалект»)); *Беликов В.И., Крысин Л.П.* Социоллингвистика. С. 63–69.
- 311 *Беликов В.И., Крысин Л.П.* Социоллингвистика. С. 48. Признается труднореализуемым точное объединение социальных и территориальных разновидностей языка, однако налицо стремление нивелировать жесткость прежней лингвистической иерархии (принятой в 1960-х – 1980-х гг.), в которой говор являлся «низшей» классификационной единицей.
- 312 *Д.И. Эдельман* приводит в пример словосочетание, используемое В.А. Жуковским: «наречие каждой деревни», – название которого фиксируется по наименованию населенного пункта (см.: *Эдельман Д.И.* К проблеме «язык или диалект»...)
- 313 *Лаптева Л.П.* История славяноведения в России в XIX в. М., 2005. С. 344–346.
- 314 *Даль В.И.* Напутное слово (1862)... С. XIV.
- 315 *Даль В.И.* О наречиях русского языка... С. XLVIII.
- 316 Там же.
- 317 Там же.
- 318 Там же.
- 319 *Даль В.И.* Напутное слово. С. XVII.
- 320 *Даль В.И.* О русском словаре. С. XXX.
- 321 *Даль В.И.* Напутное слово. С. XXI.
- 322 *Катков М.Н.* Империя и крамола. С. 43.
- 323 *Даль В.И.* О русском словаре. С. XXXVII–XXXVIII.
- 324 *Vitalich K.* Dictionary as Empire: Vladimir Dal's Interpretative Dictionary of the Living Great Russian language // *Ab Imperio.* 2007. № 2. Р. 153–178.
- 325 Подробнее о полемике М.П. Погодина см.: *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина. Т. XV. Гл. XLVII–L; *Житецкий П.И.* Постановка вопроса о малорусском наречии // *Житецкий П.И.* Очерк звуковой истории малорусско-

- го наречия. Киев, 1876. С. 1–50; *Котляревский А.А.* Новые труды по русской старине и народности // *Котляревский А.А.* Соч.: В 4 т. СПб., 1889–1895. Т. I. СПб., 1889. С. 614–616; *Ягич И.В.* История славянской филологии. СПб., 1910. Гл. XVIII–XIX.
- 326 *Погодин М.П.* Записки о древнем языке русском // Известия Императорской Академии наук по отделению русского языка и словесности. Т. V. Вып. 2. СПб., 1856. Стлб. 70–92.
- 327 *Срезневский И.И.* Мысли об истории русского языка и других славянских наречий. СПб., 1887. С. 27.
- 328 Там же. С. 78.
- 329 Там же. С. 79.
- 330 Там же.
- 331 *Погодин М.П.* Записки о древнем языке русском. Стлб. 72–79.
- 332 Там же. Стлб. 79.
- 333 Там же. Стлб. 80.
- 334 Там же. Стлб. 82.
- 335 *Погодин М.П.* Польский вопрос (2 марта 1863 г.) // *Погодин М.П.* Вечное начало. Русский дух. М., 2011. С. 604.
- 336 Цит. по: *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина. Т. XV. С. 378.
- 337 Цит. по: Там же. С. 374.
- 338 *Лавровский П.А.* Обзор замечательных особенностей наречия малорусского сравнительно с великорусским с другими славянскими наречиями // Журнал Министерства народного просвещения. 1859. Т. СII. Отд. II. С. 265.
- 339 *Котляревский А.А.* Были ли малорусы исконными обитателями Полянской земли или пришли из-за Карпат в XIV в.? // *Котляревский А.А.* Соч.: В 4 т. СПб., 1889–1895. Т. I. СПб., 1889. С. 624–637.
- 340 *Житецкий П.И.* Очерк звуковой истории малорусского наречия. Киев, 1876. С. 9–16.
- 341 Там же. С. 272.
- 342 Там же. С. 21.
- 343 Там же. С. 10.
- 344 Там же. С. 30.
- 345 *Погодин М.П.* Записки о древнем языке русском; *Максимович М.А.* Филологические письма к М.П. Погодину // *Максимович М.А.* Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. С. 180–272; *Погодин М.П.* Письма к Максимовичу. СПб., 1882.
- 346 *Толочко А.П.* Спор о наследии Киевской Руси в середине XIX века: Максимович vs Погодин // *Толочко А.П.* Киевская Русь и Малороссия в XIX веке. Киев: Лаурус, 2012. То же в сб. ст.: *Толочко А.П.* Спор о наследии Киевской Руси в середине XIX века: Максимович vs Погодин // Историческая культура императорской России...
- 347 *Максимович М.А.* Филологические письма к М.П. Погодину. Письмо второе. С. 190.
- 348 *Максимович М.А.* Новые письма к М.П. Погодину о старобытности малорусского наречия (1863) // *Максимович М.А.* Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. С. 273–311.
- 349 О том же: *Максимович М.А.* Начатки русской филологии... С. 25–155.
- 350 *Толочко А.П.* Спор о наследии Киевской Руси...

- 351 *Афанасьев-Чужбинский А.* Поездка в Южную Россию: В 2 ч. СПб., 1863. Ч. 1. Очерки Днепра. С. 8.
- 352 Там же. С. 9.
- 353 *Потебня А.* Два исследования о звуках русского языка. Воронеж, 1866. С. 328.
- 354 *Горизонтов Л.Е.* «Большая русская нация»...
- 355 *Катков М.Н.* Империя и крамола. М., 2007. С. 14.
- 356 Там же.
- 357 Там же. С. 43.
- 358 Там же. С. 44.
- 359 Там же.
- 360 Там же. С. 45.
- 361 *Лескинен М.В.* Поляки и финны... С. 82–96.
- 362 *Катков М.Н.* Империя и крамола. С. 46.
- 363 Там же.
- 364 Там же. С. 127.
- 365 *Катков М.Н.* Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1866. М., 1897. С. 154.
- 366 *Miklosich Fr. von.* Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen. Vol. 1–4. Wien, 1852–1875 (*Миклошич Ф.* Сравнительная грамматика славянских языков). В «списочном» перечислении славянских языков малорусский/украинский и великорусский разделяются.
- 367 *Науменко В.П.* Обзор фонетических особенностей малорусской речи. Киев, 1889.
- 368 *Ogonovski E.* Studien auf dem Gebiete der ruthenischen Sprache. Lemberg, 1880.
- 369 *Житецкий П.И.* Постановка вопроса о малорусском наречии; *Он же.* Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII и XVIII вв. Ч. I. Киев, 1889.
- 370 *Лавровский П.А.* Обзор замечательных особенностей...
- 371 *Потебня А.А.* Заметки о малорусском наречии. Воронеж, 1871.
- 372 Малорусское наречие // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона.
- 373 *Соболевский А.И.* Очерки из истории русского языка. Киев, 1884; *Он же.* Лекции по истории русского языка. СПб., 1891.
- 374 Малорусское наречие. С. 486.
- 375 Россия. Русский язык и русская литература. Русский язык... С. 564–565.
- 376 Там же. С. 580.
- 377 *Пытин А.Н., Спасович В.Д.* История славянских литератур: В 2 т. СПб., 1879–1881.
- 378 Там же. Т. 1. СПб., 1879. С. 19.
- 379 *Пытин А.Н., Спасович В.Д.* Южноруссы // *Пытин А.Н., Спасович В.Д.* Там же. С. 306–387.
- 380 Фрагмент о языке см.: Великоруссы // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона. С. 829–830.
- 381 Там же.
- 382 Россия. Население. С. Россия в этнографическом отношении. С. 142.
- 383 *Мыльников А.С.* Народы Центральной Европы: формирование национального самосознания. XVIII–XIX вв. СПб., 1997. С. 80–113.

- ³⁸⁴ На сербском примере это детально показано, в частности, в монографии М.В. Белова (см.: *Белов М.В.* У истоков сербской национальной идеологии. Механизмы формирования и специфика развития. Конец XVIII – середина 30-х гг. XIX века. СПб., 2007. Гл. 1.4, 3.3).
- ³⁸⁵ Наречие // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона. Т. XXa (п/т 40). СПб., 1897. С. 611–613. (Автор – С. Б.)
- ³⁸⁶ Говор // Там же. Т. IX (п/т 17). СПб., 1893. С. 10–11.
- ³⁸⁷ Малорусское наречие. С. 485.
- ³⁸⁸ Россия. Русская литература и русский язык: русский язык. С. 564–565.
- ³⁸⁹ Наречие. С. 611.
- ³⁹⁰ Говор. С. 10.
- ³⁹¹ Наречие // Большая энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания / Под ред. С.Н. Южакова: В 20 т. СПб., Лейпциг, 1900–1907. Т. 13. СПб., 1903. С. 665.
- ³⁹² Там же. С. 665–666.
- ³⁹³ Наречие // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона.
- ³⁹⁴ Наречие // Настольный энциклопедический словарь: В 8 т. М.: Изд-во Бр. А. и И. Гранат и К.: В 8 т. 1891–1903. Т. VI. М., 1897. С. 3396.
- ³⁹⁵ Язык и языки // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона. Т. XLI (п/т 81). СПб., 1904. С. 529–548. (Автор – *И. Бодуэн де Куртенэ*).
- ³⁹⁶ Там же.
- ³⁹⁷ *Ковалевский П.И.* Русский национализм и национальное воспитание в России // *Ковалевский П.И.* Психология русской нации. Воспитание молодежи. Александр III – царь-националист. М., 2005. С. 131.
- ³⁹⁸ Этнография // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона Т. XLI (п/т 81). СПб., 1904. С. 180–190 (автор – *Л. Штернберг*); *Харузин Н.* Этнография: Лекции, читанные в Императорском Московском университете: В 4 вып. СПб., 1901–1905. Вып. 1. СПб., 1901. С. 38; *Максимов А.Н.* Современное положение этнографии и ее успехи (1909) // *Максимов А.Н.* Избранные труды. М., 1997. С. 36–48; *Широкогоров С.М.* Этнос. Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений (1923) // *Широкогоров С.М.* Избранные работы и материалы. Кн. 1. Владивосток, 2001.
- ³⁹⁹ Цит. по: *Флоринский Т.Д.* Малорусский язык и «українсько-руський» литературный сепаратизм // Украинский сепаратизм в России. М., 1998. С. 335.
- ⁴⁰⁰ Подр. об этом см.: Там же. С. 330–331.
- ⁴⁰¹ Там же. С. 336–337.
- ⁴⁰² Там же. С. 338.
- ⁴⁰³ Записка професора В.Б. Антоновича у справі обмежень української мови, написана за дорученням історико-філологічного факультету Київського університету. Не раніше 24 мая 1905 г., Киев // Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847–1914): Збірник документів і матеріалів / Відп. ред. Г. Боряк. Київ, 2013. С. 400–404 (документ № 235).

- ⁴⁰⁴ Записка з питання цензури українськомовної книжки, підготовлена за дорученням Комітету міністрів спеціальною комісією Харківського університету. 5 апреля 1905 г., Харьков // Там же. С. 349–360 (документ № 231).
- ⁴⁰⁵ Об отмене стеснений малорусского печатного слова. СПб., 1905. С. 1–28. Цит. по изд.: Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії. С. 367–400 (документ № 234).
- ⁴⁰⁶ Там же. С. 370.
- ⁴⁰⁷ Там же. С. 371.
- ⁴⁰⁸ Там же.
- ⁴⁰⁹ Там же. С. 372.
- ⁴¹⁰ Там же. С. 374.
- ⁴¹¹ Там же. С. 373.
- ⁴¹² Там же. С. 374–375.
- ⁴¹³ Там же. С. 384.
- ⁴¹⁴ Там же. Здесь следует глухая ссылка на труды А.И. Соболевского, что не соответствует действительности, ибо он писал, напротив, о близости и нерасчлененности говором на древнерусском этапе истории. «...Различие между говорами... не было... значительным» (*Соболевский А.И.* Лекции по истории русского языка. 3-е изд. М., 1903. С. 4).
- ⁴¹⁵ Там же. С. 385.
- ⁴¹⁶ Там же. С. 387.
- ⁴¹⁷ Там же. С. 396.
- ⁴¹⁸ Это отмечали и их современники, констатируют и сегодняшние исследователи (см.: *Котенко А.Л., Мартынюк О.В., Миллер А.И.* Малоросс // «Понятия о России». К исторической семантике имперского периода / Под ред. А. Миллера, Д. Сдвижкова, И. Ширле: В 2 т. М., 2012. Т. II. С. 426–438).
- ⁴¹⁹ *Миллер А.И.* «Украинский вопрос»...; *Горизонтов Л.Е.* «Большая русская нация»...
- ⁴²⁰ *Каппелер А.* Мазепинцы, малороссы, хохлы: украинцы в этнической иерархии Российской империи // Россия–Украина: история взаимоотношений. М., 1997. С. 125–144.

Глава 4

Великоросс/великорус в этногеографической номенклатуре. Расовые теории и проблема великорусской крови

Согласно классификациям народов и племен, существовавшим в науке второй половины XIX столетия, великорусы в этнографической таксономической системе в группе славян занимали вполне определенное и бесспорное место: это одно из трех племен в составе русского народа (ныне именуемого восточнославянскими этносами). В 1820-х – 1840-х гг. русские (в значении этноса) именовались «славяно-русским племенем», а концепция их разделения на три подгруппы (великороссиян, малороссиян и белорусов) и провозглашения «тремя главными поколениями» русских, населяющими большую часть Европейской России, сложилась не ранее 1840-х гг.¹ и в неизменно-формульных определениях фиксировалась в научной и в учебной литературе 1860-х – 1880-х гг. Подчеркивалось, что в Российской империи проживает славян – «четыре (вместе с поляками. – *М.Л.*) народа одного происхождения, одного племени, кровные братья»², а «русский народ разделяется на три племени»³. Важным элементом констатации был акцент на определении «господствующий» или «властвующий» в отношении русских: «... главный хозяин, властелин и обладатель всей России – племя славянское. Его составляют три главные отрасли: великорусское, или великороссияне, которых считается более половины всех жителей русского царства (38 млн), около 10 млн малороссов и только 3 млн белорусов... славянское племя во всех своих народах исповедует христианскую веру, господствует над другими племенами, языческими и магометанскими...»⁴ (таковы данные за 1865 год. – *М.Л.*). От восточных славян, писал этнограф С.В. Максимов, «и пошла Русская земля, вырос целый народ русский»⁵. «Господство» великорусов «в русской земле» могло объясняться как их преобладающей численностью (на протяжении 1860-х – 1910-х гг. великорусы сохраняли свое преобладание в количественном отношении; об этом подробнее см. во второй главе), так и использованием русского в качестве государственного языка: «...господствующим... является язык русский, который под влиянием местных и исторических причин разделился на три главные наречия: 1) великороссийское, общепотребительное внутри России

и сделавшееся языком литературным; 2) малороссийское и 3) белорусское»⁶. Хотя (у того же Максимова) могла выстраиваться иная причинно-следственная связь: «...так как господствующий народ на русской земле – великороссы, то и язык великороссийский почитается главным и первым»⁷.

Лидерство среди других народов Российской империи объяснялось и другими, более символическими, чем формально-количественными, факторами; впрочем, это не отменяло устойчивой в описаниях жителей Империи идеи: славянское племя (в России его представляют четыре племени) преобладает во всех отношениях. Нельзя не отметить также, что на протяжении всего столетия к великороссам зачастую относили казаков как особую группу, причем в некоторых случаях распределяя казаков разных областей между малороссами и великороссами и зачастую причисляя их только к великорусам. В подобном отношении к казачеству трудно определить какую-либо закономерность: одни авторы упоминают о нем, перечисляя региональные группы, другие никак не высказываются о казаках в этноплеменных описаниях, третьи вовсе игнорируют их как этнокультурную общность.

Однако ранее, начиная еще с XVIII в., место великорусов в расово-антропологической классификации представлялось не столь однозначным и определялось далеко не бесспорным образом. Так, харьковский профессор Г. Успенский в книге (1811) о происхождении «российского народа» уверенно утверждает его смешанное происхождение – в этом Успенский следует взглядам, сложившимся в последней трети XVIII столетия (см. главу первую): «...нынешние россияне не от одного или немногих каких-либо, но от бесчисленных племен получили свое бытие»⁸. При этом основателями Русского государства, призвавшими «варягов» или «варяго-руссов» в Новгород, Успенский (опять-таки в соответствии с господствовавшей теорией) считал пять племен: три инородческих – финно-угорских (меря, весь, чудь) и два славянских (новгородские словене и кривичи)⁹. В период основания российской монархии в пределах нынешней Европейской России обитали и многие другие народы, которых автор перечисляет по летописи Нестора. Финские же «поколения», подчеркивает Успенский, «все по времени в русских переменялись так, что не имеют ныне ни малейшего почти между собой различия... или еще и теперь... отличаются... как языком своим, так и нравами и обыкновениями»¹⁰.

В составленном Н.И. Надеждиным первым этнографическом энциклопедическом описании великорусов (1837) указывалось, что «великороссияне» в этнографическом отношении – ветвь «славяно-русского племени», а «все коренные жители» великороссийского пространства – «один народ, народ великороссийский»¹¹. Надеждин

именует его «господствующим на всем безмерном пространстве Российской империи», но замечает, что этот народ «сосредоточен» исключительно «в сердце ее, которое назвали мы в собственном смысле Великою Россию»¹².

В 1870-х гг. этнографическая номенклатура меняется: теперь славяне именуется «семьей», а восточные славяне – «великой семьей русского народа»¹³. Кроме них к славянской группе относятся поляки, так что «славянское племя составляет почти $\frac{3}{4}$ всего народонаселения в России»¹⁴. Неславянские племена именуется инородческими. Русский народ в целом – народ исторический, ибо создал государственность и единственный из славянских народов сохранил ее. Великорусское племя – европейское, христианское (православного вероисповедания), земледельческое, самое многочисленное из трех русских «отраслей» и государствообразующее. Вследствие этих характеристик-признаков оно причислялось к цивилизованным и, что важно, цивилизующим другие, «дикие» племена, обитающие в Российской империи. С точки зрения существовавших этногеографических иерархий великорусское племя следовало рассматривать как одно из «главенствующих» в России.

Наиболее дискуссионным стал вопрос о расовой принадлежности великорусов, поскольку их антропологический тип рассматривался как смешанный, являющий собой результат метисации славян с финно-уграми и/или монголами и варягами-норманнами (последняя версия активно бытовала до середины столетия, однако затем, несмотря на внимание к ней отдельных исследователей, перестала доминировать в научных нарративах). Эта особенность непременно подчеркивалась даже в кратких этнографических репрезентациях. Например, в альбоме Г.-Т. Паули «Народы России» (1862)¹⁵ указано, что «русская нация в корне своем славянская, но формирование ее произошло под мощным воздействием посторонних влияний».

Цивилизационно-историческая классификация

Начиная с эпохи Просвещения классификация народов, фиксируемая на основании принадлежности к миру культуры или некультуры (природы), актуализировала две оппозиции, определявшие заданность оценок: «другие» (неевропейские и нехристианские) народы квалифицировались как некультурные (нецивилизованные) и отсталые, но тем самым наделялись их позитивными качествами естественности и «первобытной нравственности», которых уже лишена «стареющая» европейская цивилизация. Россия с ее колонизируемыми пространствами не была исключением¹⁶.

В эпоху романтизма, под влиянием идей Г.В.Ф. Гегеля и Ф. Гизо, с развитием нового подхода к типологизации, подразумевающего множественность культурных – в частности, национально-исторических – миров, система соединения отдельных элементов дихотомии значительно усложнилась. Главная теоретическая посылка – плюрализм – реализовалась в идее осуществимости прогресса через разностороннее развитие отдельных наций, каждая из которых «в свое время» может достичь состояния цивилизованности. Гизо переосмыслил концепт «цивилизация», превратив его из оценочного суждения в категорию исторической науки, отражающую «всеобщий» исторический факт, и связал термин «цивилизация» с понятием «прогресс»¹⁷. Признаки цивилизации Гизо усматривал в развитии общественного и интеллектуального состояния, – таким образом, прогресс касался как личностной, так и социальной сфер.

В основе цивилизационной идентификации лежали вера в просвещение, абсолютизация христианских ценностей, «миф прогресса». На протяжении всего XIX в. эти постулаты не подвергались сомнению. Однако всякая мифологема обладает способностью к видоизменению и вариациям: в середине столетия в Германии и России цивилизованность была «переописана» в категориях культуры и образованности, провозглашалась взаимообусловленность образованности, культуры, христианства и прогресса. В 1830-е гг., когда классификации народов еще не сложились, могли существовать разные версии разделения – но, что характерно, по-прежнему реализуемые в разного рода противопоставлениях, оппозициях (например, нации читающие и пишущие)¹⁸.

В научной практике тоже чаще всего использовались дуальные структуры. В широко применявшейся в XIX в. классификации народов, в основание которой была положена принадлежащая географу Ф. Ратцелю концепция «культурных рас», центральное место занимала категория «цивилизации»/«культуры». Ратцель разделял этносы на «природные» (Naturvölker) и «культурные» (Kulturvölker). В русском переводе «природные народы» превратились в «дикие» или «первобытные»¹⁹, и оппозиция приобрела формулу «дикие/культурные». Сам ученый подчеркивал, что для представителей первой категории такое их наименование ни в коем случае не оскорбительно: «Мы называем народы дикими не потому, что они стоят в возможно тесной связи с природой, но потому, что они живут под ее давлением (выделено автором. – М.Л.). Различия же между дикими и культурными народами следует искать не в степени, а в характере связи с природой»²⁰. Представители первой разновидности, по его мнению, находятся во власти природы, представители второй научились эту власть преодолевать. В таком разделении можно видеть будущее разделение на присваивающее и производящее хозяйство.

В конце столетия получила концепция антрополога И. Деникера, предусматривавшая деление народов/племен на три группы: дикие, полудивилизованные и цивилизованные (к последним причислялись и европейцы). Критериями классификации Деникер считал не наличные признаки, а «состояние», тенденции эволюционного развития, степень культурности, – например, такие как склонность к нововведениям, сильная государственность, развитое фонетическое письмо, зрелая литература и т.п.²¹

С развитием эволюционизма в этнографии важную роль при установлении «места» народа в системе человеческих сообществ стал играть евроцентрический подход: чтобы определить, какое место в системе видов и родов человечества занимает тот или иной народ и каковы его позиции на универсальной шкале эволюции, необходимо было сопоставить его с теми сообществами, которые рассматривались как достигшие высокого уровня развития, т.е. европейскими, что, в свою очередь, потребовало введения координат времени и критериев «полноты» набора признаков. Это была линейно-стадиальная, универсальная схема, согласно которой все народы можно «закрепить» на шкале прогресса в определенной точке. Таким образом, цивилизованность как главный критерий дифференциации народов (в том числе на «своих» и «чужих») обрела в эпоху позитивизма и эволюционизма обрела конкретные исторические приметы.

Принцип разделения народов на «дикие» и «культурные» не был забыт и эволюционистами, однако они придавали важное значение формулировкам: теперь все исследуемые объекты наделялись статусом «культурных», различия же объяснялись «этапами» их исторического развития, что, естественно, актуализировало оппозицию «совершенство/несовершенство». В основе эволюционистской концепции, разработанной путем применения дарвиновской теории и методов к человеческим сообществам, лежала идея универсальных закономерностей развития народов/этносов и императив «обязательного» последовательного прохождения ими определенных этапов (стадий), каждому из которых соответствовал определенный набор признаков материальной и духовной культуры. При этом устанавливалось строгое соответствие между явлениями различных областей жизни сообщества. Так, О. Мильчевский в своей классификации народов (1868), следуя за европейскими теориями, разделял человечество на три группы: цивилизованные, варварские и дикие племена. Первые подразделяются «по преобладающему направлению их деятельности» на «духовные» (у которых науки и искусства достигают «наивысшей разработки», пример – немцы), торговые и промышленные (эти интересы, наряду с мореплаванием, стоят у них на первом месте; пример – англичане, французы, североамериканцы) и, наконец, земледельческие – у которых преобладающими за-

нятиями являются обработка почвы и скотоводство (пример – русские, испанцы, венгры)²². Во многих славистических исследованиях (подробнее об этом – в главе пятой) ключевым, оказывалось упрощенное бинарное разделение древних народов, известных из античных источников, на воинственных кочевников и миролюбивых пахарей, при этом вторые описывались как стоящие на более высокой ступени общественного развития. В целом на данном этапе научных исследований история племен и народов никак не могла обходиться без иерархизации, без стремления обозначить их место на эволюционной шкале.

Использовалась и иная, более упрощенная с точки зрения терминологии классификация, которая чаще встречалась в учебниках: человечество делилось на «образованные», «кочующие» и «дикие» народы²³, при этом каждая группа соотносилась с определенной точкой на шкале прогресса: «дикие» – первобытные (охотники, рыболовы); скотоводы-кочевники – следующий, более высокий этап цивилизованности; на вершине же находятся земледельческие народы, имеющие возможность с развитием производства стать промышленно-торговыми и просвещенными/образованными²⁴. Образованные – «те, которые занимаются земледелием, фабриками и торговлей, а также науками и искусствами и ... живут в благоустроенных гражданских обществах, которые мы называем государствами»²⁵, т.е. совпадают с определением «цивилизованные» по типологии Мильчевского. На практике в российских этнографических классификациях к цивилизованным относили оседлые народы («народы образованные всегда оседлы ... занимаются земледелием и промыслами»²⁶). Они, как подчеркивалось в учебных и популярных текстах, «выдумали промыслы, завели торговлю, выучились ремеслам, стали образованными, сделались хозяевами и властелинами всех тех народов, которые не ведут точно такой же жизни. Таково русское племя, которое покорило себе все остальные 60 племен и народов кочевых и бродячих»²⁷.

Таким образом, русские (восточные славяне Российской империи) причислялись к народам, стоящим на самой высокой ступени эволюции, – поскольку относились к земледельческим народам. (Любопытно, как объяснялся в популярной литературе переход к земледельческому образу жизни; например, в учебнике Д.И. Иловайского указывалось, что при равных природных условиях племена славян как «более других образованные и трудолюбивые» стали «обрабатывать землю и сеять хлеб»²⁸.) Кроме того, они исповедовали христианство, обладали национальной письменностью («... культура и образованность всегда развивались среди народов земледельческих»²⁹), да и прогресс человечества совершался только у них³⁰. Чтобы считаться цивилизованным, народ должен был обладать

определенной степени «умственного развития», достижение которой выражалось в его научной, литературной и художественной деятельности. Поскольку «религия, монархия и просвещение» объявлялись духовным преимуществом европейцев перед другими народами³¹, то наличие этих трех признаков означало принадлежность народа-этноса к европейской цивилизации.

Важную роль играло также распределение народов и племен на азиатские (туранские) и европейские (арийские или кавказские), что на начальной стадии исследований приводило к постоянному смешению географического, антропологического и цивилизационного критериев, поскольку отождествление народа с «азиатцами» автоматически включало его в категорию туранцев и кочевников, и наоборот.

Исторические/неисторические народы

Несколько ранее, под влиянием немецкого романтизма, сформировалась оппозиция «исторические/неисторические» народы, в которой наряду с пространственными и ценностными категориями (как в прежних дуальных моделях) важнейшую роль играет категория времени. Концепция историзма трактовала историю человечества как последовательную смену различных эпох, в каждой из которых Идея реализуется лишь в одной национальной культуре. Отсюда – разделение народов на молодые/старые, т.е. неопытные/зрелые. При этом новая классификация не отменяла прежней, поскольку ее приверженцев более всего интересовали народы европейские и ближайšie к ним соседи, так или иначе находившиеся на орбите цивилизации.

В основе разделения народов на «исторические» и «неисторические», воспринятого русской мыслью от Гегеля (в России его концепцию наиболее последовательно развивали В.Г. Белинский и Н.Я. Данилевский), лежала идея движения как поступательного развития. Целью развития духа представлялось достижение состояния цивилизованности как полноты выражения прогресса, главным принципом периодизации истории было становление народов и государств³². Государство, согласно этой теории, появляется в результате развития и воплощения ценностей разума. Не достигшие стадии государственности народы причислялись к не обладающим необходимыми умственными и нравственными способностями (в силу их отсутствия или недостаточной зрелости последних) и, соответственно, определялись как не «овладевшие» своей историей, т.е. зависимые от природы. Овладение народа собственной историей трактовалось и как многовековое существование в качестве активного игрока на политической сцене. В частности, В.Г. Белинский

утверждал, что «только такой народ может считаться историческим, который при жизни своей имел большее или меньшее влияние на судьбы человечества»³³. Так Гегель и его последователи заменили естественное право на историческое. Претензия на универсальность данной закономерности исторического движения сделала эту классификацию всеобщей. Когда речь шла о народах-нациях (особенно европейских/арийских), подобные оценки представлялись закономерными, но когда рассмотрению с этих позиций подлежали народы-этноты, в особенности не имевшие письменности, а значит, и исторического нарратива, то отнесение их к неевропейским, «неисторическим» оказывалось безальтернативным. Впрочем, «письменные» народы также могли быть отнесены к данному типу, если формировались в условиях слишком жаркого или слишком холодного климата, либо объявлялись не достигшими стадии проявления своего «духа». Именно на этом последнем основании «огромная славянская нация» не была отнесена Гегелем к «всемирно-историческим» народам³⁴.

В 1830-х – 1840-х гг., не без влияния теории официальной народности, некоторые историки усматривали историческую «заслугу» русского народа в создании государства, поэтому акт призвания Рюрика трактовался вплоть до середины 1860-х гг. как главное событие российской истории³⁵. Самым известным выразителем этой идеи принято считать М.П. Погодина, который, в частности, объяснял такие особенности русского национального характера как безусловную покорность и равнодушие отношениями со «своим» (монархическим) государством. Суть различий России и Запада он видел в традициях политического устройства: «...европейские государства произошли завоеванием, а наше – добровольным призванием, повторявшимся несколько раз в течение веков»³⁶. При этом тот же Погодин, споря с П.В. Киреевским о союзе племен до призвания Рюрика, подчеркивал (повторяя сказанное Г. Успенским тридцатью годами ранее), что «из пяти северных племен, составлявших нашу связь», три – не славянские, а финские (чудь, меря, весь). А славянские – кривичи и новгородцы³⁷. Идею «совместного создания» Российского государства финскими и славянскими племенами разделяли многие историки и позже, в 1870-х гг.³⁸

В российской науке главными «претендентами» на статус творца идеи и практики государственностроительства выступали славянские народы, а применительно к истории Российской империи – русские, и в первую очередь великорусы³⁹. Считалось, что именно великорусы распространили созданные ими исторически политические формы сперва на все Московское, а затем на Российское государство. В этом видели не только доказательство «историчности» племенной группы, но и признак высокого развития ее «умственных и нравствен-

ных» способностей. Например, Д.И. Иловайский открыто заявлял, что «господствующее государственное племя обыкновенно отличается превосходством умственных и физических качеств»⁴⁰, а преобладание русской народности над всеми другими объясняется им достижением более высокой степени развития гражданственности. «Национальное единство у Д.И. Иловайского, – констатирует современный исследователь А.В. Матвеев, – имеет скорее этнические, а не гражданские основы»⁴¹.

Не только активные сторонники так называемой государственной школы в 1860-х – 1870-х гг. понимали государство как закономерный и необходимый этап развития цивилизации и наделяли исторической значимостью лишь государствообразующие процессы. Такие представления разделялись многими, а в контексте этнографического изучения приобретали особое звучание, поскольку оказывали влияние на историко-антропологические теории, и не только расовые. Интересные рассуждения о теории расовой предрасположенности к государствообразованию находим в относящейся к 1880-м гг. работе филолога-слависта П.А. Бессонова в связи с его размышлениями о туранизме. Формирование племенных групп, а затем отдельных народов из крупных племенных образований ученый представляет следующим образом: отдельные «народы» могут выделиться из группы племен, лишь став «организмом», что предполагает «единичность, личность существа, самостоятельную его представительность... в состав “народа” входят и дробные, разнообразные племенные ветви, иногда и по несколько, но – по степени и мере своей “однородности” и поглощаются они существом “единым”...». И вот таких «народов в собственном... смысле нет нечистокровных, смешанных: таковы по преимуществу арийцы, индоевропейцы; таковы отчасти семиты»⁴². Условиями выделения народов Бессонов называет, *во-первых*, чистокровность и однородность «центра» народа, притягательного для племенных элементов – как своих, так и для чужих⁴³; *во-вторых*, вхождение этого народа в «начало бытия политического», т.е. создание государства. По тем же критериям народы делятся на первичные (например, славянские) и вторичные, или «ветви» (русский, польский, чешский, сербский, болгарский)⁴⁴. В связи с этим Бессонов призывает отличать «подлинные народы» от «народцев» (так именуются «недозревшие народы», находящиеся на племенной стадии, либо сами «племенные ветви» или «их одичавшие выражения»). Согласно такой дифференциации, «народными правами» обладают лишь «действительные народы», а «означенные ветви, пропустившие пору и срок роста, останутся племенами, в племенной сфере умрут... Одна надежда им – примкнуть к народам созревшим»⁴⁵, т.е. к народам, обладающим государственностью. Впрочем, взаимосвязь между «расовой» (физической) чи-

стойкой народа и его «склонностью», «волей» к созданию государства не казалась бесспорной или очевидной. Соотношение этих факторов рассматривалось в двух аспектах. Применительно к реалиям русской истории центром племенной интеграции считались в первую очередь новгородские славяне, кривичи и чухонцы – но на землях будущего народа великорусов.

Большинство российских историков и антропологов были убеждены, что «все великие исторические народы (римляне, англичане, французы)» являются «смешанными» и великорусы не составляют исключения⁴⁶. Как утверждал В.И. Ламанский, «расы вечно не живут, это – текучий материал, который постоянно меняется. И народ как отдельный индивид не образуется сам, но он есть результат смешения, скрещивания различных народностей»⁴⁷. Антропологи рубежа XIX–XX вв. также не сомневались, что «чем народы цивилизованнее, тем более смешанными являются они в известных территориальных пределах»⁴⁸; о том же писали историки, например И.К. Бабст: «...только народы, произошедшие из смешения разных племен, призваны играть всемирно-историческую роль»⁴⁹; по этому признаку великорусы тоже причислялись к группе всемирно-исторических народов. В работе 1906 г. социолог М.М. Ковалевский полагал тезис о «смешанности» исторических народов вполне доказанным антропологическими и этнографическими исследованиями⁵⁰. Некоторые, впрочем, считали, что политические или социальные процессы в развитии племен обусловлены не антропологическими (расовыми, физическими) особенностями в чистом виде, а степенью цивилизованности/культурности, при этом существует жесткая корреляция между расовым типом и «склонностью» его представителей к историческому прогрессу. Иначе говоря, возможности человеческих сообществ заложены в расово предопределенных физических и умственных свойствах.

Такая точка зрения – восходящая еще к эпохе Просвещения – нашла отражение в докладе Д.И. Иловайского по вопросу о происхождении государственного быта. Историк заявлял, что «все более и более чувствуется потребность для объяснения разных сторон исторической жизни обращаться к племенному типу и к племенным особенностям»⁵¹. Так, одним из главных отличительных свойств славяно-руссов (и, позже, русских) он считал склонность к единению, выгодно отличавшую их от других славян: «Превосходство русского племени с особой силой выразилось в его объединительных стремлениях, в постепенном и неуклонном собирании воедино своих широко раскинувшихся ветвей»⁵². Кроме того, Иловайский обосновывал концепцию, согласно которой «способность к политической организации, к общественной дисциплине составляет главное условие, чтобы быть народом государственным и потом уже народом культур-

ным; ибо история не знает культурных народов вне государственных форм»⁵³. Он упоминал и те племена, которые создали государство, но культурными не стали (турки-османы и монголо-татары). К числу народов, отмеченных «неспособностью к развитию государственных форм», историк относил «народы финской семьи» (за исключением мадьяр). Впрочем, задолго до него такое мнение высказывал и И.Г. Гердер: «Никогда финская народность не была достаточно зрелой, чтобы положить начало самостоятельной культуре, виною чему – не неспособность, но неблагоприятное положение»⁵⁴.

Д.И. Иловайский разделял представление о природной и генетической обусловленности «способностей» русских – истоки «исторической успешности» народов, по его мнению, крылась в природных (т.е. врожденных) «племенных свойствах» расы или этнического типа⁵⁵. Историк был активным сторонником идеи (которая для середины XIX в. была уже явно архаичной) происхождения русских от сарматского племени роксолан, но весьма энергично доказывал (в частности, в написанных им школьных учебниках по истории России), что православная церковь была тем важнейшим институтом, который способствовал консолидации и слиянию разрозненных племен в единое антропологическое целое – русский народ⁵⁶.

Впрочем, данная концепция была широко распространена как в западноевропейской, так и в российской науке (антропологии, истории, этнографии) второй половины столетия. Правда, формула была трехступенчатой: климато-географические условия (первая ступень) формируют и задают определенные психические, нравственные и умственные качества племен и народов (вторая ступень). Те, в свою очередь, напрямую воздействуют на общественные формы этнической самоорганизации (третья ступень), а государство и право – органические элементы этой стадии. В этом отношении финским племенам «не повезло»: считалось, что ни одно из них, кроме вернгрвов (мадьяр), оказалось не способно создать и, что не менее важно, сохранить государственность.

Эту точку зрения разделяли многие политические и общественные деятели. Например, Б.Н. Чичерин в 1894 г. без тени сомнения писал, что «не всякое племя способно образовать из себя государство. Чтобы занимать самостоятельное место в ряду других, надобно иметь достаточную внутреннюю и внешнюю силу, чтоб стоять на своих ногах и охранять свою независимость... Внутренними условиями служат крепость народного духа и способность организоваться. Чтоб образовать самостоятельное политическое тело, необходимо прежде всего, чтобы в обществе существовало единодушное к этому стремление, а это есть дело духовных сил, лежащих в глубине народного сознания...»⁵⁷. Чичерин приписывал важную роль географическому положению страны и фактору метисации: «Племя, стесненное

между другими, особенно входящее в состав крупной державы, с трудом может добиться независимого существования. Еще большим препятствием внутреннему единению служит смешение племен. Там, где различные народности так перемешаны друг с другом, что отделить одну от другой нет никакой возможности, там национальное движение всегда встретит неодолимые преграды. Если преобладающая народность оказалась настолько могущественною, что она в состоянии была покорить смешанные с нею племена и образовать самостоятельное государство, то она тем самым заявила себя исторической силой, которая держится на своих ногах и способна отстаивать свое существование»⁵⁸. Таким образом, «успешной» с эволюционной точки зрения оказывается та метисация, которая осуществляется «покорением» одним племенем другого и созданием в итоге государства.

Столь же «самокритично» высказывался об исторических способностях финского племени финляндский этнограф Э. Лённрот: «...мы (финский народ. – М.Л.) представляем собой племя, во многом резко отличающееся от тех народностей, которые в настоящий момент определяют ход истории и высшую культуру человечества. Наш язык и мирозерцание совсем иного рода»⁵⁹. Впрочем, другие ученые Финляндии (например, З. Топелиус) были убеждены, что некогда финны все же создавали государства: речь шла как о полумифической Биармии, так и о реальном историческом участии новгородской чуди (которая бесспорно относилась к финно-угорской группе племен) в призвании Рюрика⁶⁰.

Способность или неспособность народа к созданию и отстаиванию государственности признавалась, таким образом, критерием его цивилизованности – во всяком случае, в российских вариантах племенных/национальных классификаций начиная с 1840-х гг. явственно стремление соотнести восходящую к просвещенческой дихотомии категорию «цивилизованность» с политико-государственными концепциями и идеями национального Духа. Впрочем, в 1840-х – 1850-х критерии могли быть и произвольными, например эстетическими. Так, Ф.В. Булгарин, подчеркивая связь расового происхождения с умственными способностями и творческими дарованиями, противопоставлял финнов славянам: «...финские и монгольские племена составляют противоположность с породой кавказской и южноазиатской. Славяне принадлежат к той европейской породе людей, в которой изящный вкус нашел образец физического совершенства... Славяне – одной физической породы с эллинами и италийцами, цельтами, фракийцами и германцами»⁶¹. В этом утверждении явно прочитывается несогласие автора с мнением Гегеля о том, что славяне как неарийские народы не могут рассматриваться в качестве исторических.

Представители славянофильского направления в историографии, в отличие от историков-«западников», представляли субъектом исторического процесса не государство (в вариациях политических форм), а народ – однако руководствовались той же схемой русской истории (начальной точкой которой считалось призвание Рюрика). Однако славянофилы интерпретировали ее иначе. Эту особенность отмечал А.Н. Пыпин, указав, что государственность не должна считаться единственным критерием исторической «успешности» и «полноценности» хотя бы потому, что может быть «неподвижной», «застывать» в прежней форме на несколько веков (как в Османской или Московской монархиях), а может динамично подстраиваться к новым условиям (европейские державы)⁶². При этом изменимость форм государственности связана для Пыпина с «исконным народным характером».

Обосновывалась и другая, довольно своеобразная точка зрения, согласно которой государство могло быть создано племенем, не достигшим высот культурного развития, однако строительство политической системы и государственности становилось в этом случае стимулом для развития самосознания, духовности, просвещения и в конечном итоге – залогом исторической будущности. Именно в таком ключе трактовал самобытные свойства великорусов профессор истории Казанского университета Д.А. Корсаков, писавший в конце 1880-х гг.: «Великорусы, сложившись в особую племенную ветвь... в XII–XIII вв., долго отличались самой примитивной культурой, которую они не только не могли себе расширить по милости тяготевшего над ними... владычества татар, но даже восприняли многое из Орды; затем Византия, Южная Русь и Западная Европа по очереди вносили к великорусам свои цивилизующие элементы, но они касались только верхних слоев народа, не проникая вглубь. Но великорусы создали обширнейшее в мире государство, славянскую державу, отстоявшую свою самобытность и основанную на принципе великодержавной власти государя... они же проявили свою способность племенного торжества над иноплеменными, способности претворять их в русскую плоть и кровь»⁶³. Отождествление православия с великорусами также помогало великорусскому племени подчинять себе тюрко-финские племена⁶⁴.

Расовые классификации народов и проблема великорусского антропогенеза

Расовые теории в российской антропологии XIX века

В последние годы отмечается рост интереса исследователей-гуманитариев к истории отечественной науки, в частности физической

антропологии, переводятся современные западные работы, выходят монографии российских авторов⁶⁵. Их отличительной особенностью можно считать новый подход к дисциплинарному этнологическому дискурсу, который, *во-первых*, анализируется в тесной связи с имперской (национальной) политикой России в отношении разных этносов и конфессий, а *во-вторых*, реконструируется в контексте научных, политических и национальных общеевропейских теорий, в том числе с учетом воззрений российской социальной элиты. В этом исследовательском поле многие идеи и даже общеевропейские научные стереотипы, обусловленные доминирующей и наиболее авторитетной парадигмой, оцениваются, как правило, с точки зрения современных представлений, причем весьма жестко: авторам XIX в. приписываются этноцентристские, националистические (в российской, оценочной, дефиниции термина), а то и расистские убеждения или высказывания⁶⁶.

Определения «расы», деление на которые было вызвано задачей типологизации человеческого разнообразия, отличалось противоречивостью как в западноевропейской, так и в российской науке⁶⁷. Можно согласиться с мнением российского антрополога XIX в. Э.Ю. Петри, что только в антропологии это понятие обладало более или менее четко сформулированным содержанием. Возникнув в 1830-х гг.⁶⁸, понятие «раса» и в 1840-х, и в 1860-х гг., и в конце столетия трактовалось в российской научной публицистике как «порода», состоящая из «племен», или «поколений»⁶⁹, а в западноевропейском научном дискурсе было в определенной степени соотносимо с категорией цивилизации⁷⁰. При отсутствии в языке антропологической науки понятия «этнос» термин «раса» активно использовался для обозначения этнических общностей разного уровня. Во второй половине XIX столетия выделились два наиболее употребительных значения: «культурологическое», трактовавшее «расу» как тип культуры (в широком смысле – как метаобщность в гегелевском духе и в узком – как этническую группу или народ/нацию) и «этнографическое», когда слово «раса» было синонимично таким единицам этнографической таксономии, как «племя» или «народ». В 1870-х – 1880-х гг. в качестве эквивалента «расы» начинает часто использоваться понятие «этнографический тип». Методы обоснования расовой классификации в европейской антропологической науке определились, в основе их лежал признаковый принцип: это, как правило, один или несколько физических признаков, одинаковых для группы/общности, которую возможно локализовать географически⁷¹. Общей чертой расовых классификаций была убежденность в детерминизме, который обретал свойства тотальности, поскольку предполагал подчинение духовного состояния физическому облику, а индивидуального – коллективному⁷².

Вплоть до конца столетия важным элементом расовой классификации выступали признаки и свойства, которые современная наука отвергает в качестве объективных антропологических критериев расы, а именно: черты этнического темперамента, характера, умственные и нравственные свойства, тип духовной и политической эволюции и уровень сложности языка. В XIX в. такие представления считались научно обоснованными и общепринятыми, редко кто отрицал идею врожденности свойств характера и поведения этнических групп, обусловленную климато-географическими условиями, ведь этнические и расовые сообщества трактовались как органические элементы природного мира, а разнообразие племен и народов – как результат социально-биологической, а не социально-исторической эволюции⁷³.

Как известно, в западноевропейской науке второй половины XIX столетия обострилась полемика по поводу генезиса расовых различий. Географическая концепция, восходившая к теориям народоведения эпохи Просвещения, рассматривала человека как часть природного мира, поэтому ее приверженцы, создавая классификационные модели, руководствовались теми же методами, что и для таксономий животных и растений. Она подчеркивала влияние климато-географического фактора на формирование физических отличий человеческих групп. Вместе с тем популяризация дарвиновского учения и эволюция физической антропологии актуализировали расовое, «биологизаторское» направление, сводившее все к врожденным свойствам «пород»⁷⁴. Их противостояние в российской науке, по справедливому суждению В. Тольц, завершилось к 1870-м гг.⁷⁵ Однако в научно-популярной этногеографической литературе оба направления – географическое и расовое – сосуществовали, и вполне успешно, вплоть до конца столетия. Зачастую географический и расовый факторы не противопоставлялись друг другу, а рассматривались как равноправные для объяснения этнокультурной специфики племен и их этногенеза. Что касается значения социально-экономических и исторических факторов, то оно стало в полной мере учитываться лишь с 1890-х гг. (труды В.С. Иконникова, П.Н. Милюкова⁷⁶).

Для российских ученых 1880-х – 1890-х гг. было совершенно очевидно, что расовая дифференциация, как и всякое разделение, осуществляемое только по физическим параметрам, не может считаться объективным основанием для единственно верной и очевидной классификации. Однако это не мешало признавать определенные соответствия между физическим типом и уровнем цивилизационного развития племен и народов: «цивилизованной» («самой культурной») эволюционисты признавали белую расу⁷⁷ – хотя не всегда настаивали на исключительности врожденных способностей ее представителей, придавая ключевое значение «счастливному стечению» климатических и исторических условий развития.

В российской антропологии второй половины XIX в. существовали различные интерпретации расовых теорий⁷⁸. Некоторые современные исследователи квалифицируют распространенные на рубеже XIX–XX вв. взгляды как расистские; однако такая оценка не совсем корректна в научном отношении. Более точным представляется введенное французскими антропологами разделение понятий «расизм» и «расиализм»: первое трактуется как «определенное поведение», теория неравенства рас, второе – как «идеология, т.е. расовая доктрина»⁷⁹. Русский «расиализм» развивался в русле общеевропейской расовой теории⁸⁰. Разделение на расы осуществлялось по принципу зоологических классификаций линнеевского типа, когда главными считаются передающиеся генетически внешние черты. Единодушия в выборе доминирующего признака среди российских антропологов не было. Некоторые считали, что биологическими различиями определяют и племенные, т.е. культурные, особенности⁸¹. Другие, как, например, Д.Н. Анучин, неоднократно подчеркивали отличия расовых типов от антропологических: первые выделяются на основании только физических признаков⁸², вторые в той или иной степени (не полностью) соотносятся с этнографическими⁸³, а потому «расовые признаки не совпадают с племенными и национальными (язык, вера, принадлежность к известному государству)»⁸⁴. Д.А. Коропчевский писал, что «черная раса нигде самостоятельно не достигала высокого культурного уровня или образованности и, таким образом, научного и художественного развития; желтая поднялась до высокого умственного уровня, но остановилась на нем и не движется далее; белая раса, создав еще более высокую культуру, идет по этому пути все быстрее и быстрее»⁸⁵.

При определении племенного/расового физического типа ученые рубежа XIX–XX вв. оперировали довольно архаическими представлениями о типе и типичности; расовые черты реконструировались через создание типической модели – в основе лежал постулат расовой теории XIX в.: «Раса есть сумма индивидуумов»⁸⁶. Как отмечал современный российский антрополог В.П. Алексеев, в истории изучения рас даже с введением антропометрических методов исследования «концепция продолжала оставаться простым эмпирическим обобщением: индивидуум – носитель расовых свойств, раса – арифметическая сумма индивидуумов»⁸⁷.

Гипотезы происхождения финно-угров

Европейские, российские и в особенности финляндские этнографы, антропологи и лингвисты XIX в. активно занимались исследованиями финно-угорской этнической общности⁸⁸ и поисками ее предков. Изучение велось «с позиции их исходного культурного единства, на-

личия у них древнего единого культурного слоя», который, как полагали, восходил к древней «пранародной» этнической общности⁸⁹. Теоретические выводы этих комплексных исследований послужили основой антропологической концепции этногенеза финно-угорских племен. На протяжении XIX в. было предложено несколько гипотез их расовой классификации: в первой половине столетия сменяли друг друга концепция монголоидности финно-угорских племен (Ф. Блюменбах), номадийская (Ж. Кювье) и туранская⁹⁰ теории (Р. Раск, С. Нильсон, Р. Кайзер, А. Ретциус, П. Брока, И. Деникер и др.). Согласно последней, финно-угорские народы (или финская раса) являются переходными между монголоидами и европеоидами, а уральская и алтайская группы, в которые входили в том числе монголы и тюрко-татары, объединялись в одну.

В соответствии с классификациями 1860-х – 1870-х гг. туранская семья языков разделялась на самоедскую, финскую, татарскую, монгольскую и тунгусскую группы⁹¹. Таким образом, и расово-антропологическая, и лингвистическая классификации включали финские народы в туранскую семью, что вполне объяснимо; как уже говорилось, языковой критерий вплоть до 1880-х считался важнейшим – отсюда появление таких понятий, как «туранская раса»/«туранский язык» или «славянская раса»/«славянский язык». Не вызывало сомнений, что великорусское наречие представляет собой одно из русских – в смысле восточнославянских, – и по этому признаку великорусы относятся к «славянской расе». Однако антропологическая таксономия, обнародованная в 1842 г. А. Ретциусом и разделявшаяся современными ему французскими антропологами, основывалась на физических параметрах – форме черепа и величине лицевого угла. Группы и общности делились на долихоцефальных (длинноголовых) и брахицефальных (короткоголовых). К первым относили древних германцев, кельтов, римлян, греков, индусов, персов, арабов и евреев (арийская раса), ко вторым – финно-угров, европейских турок, албанцев, басков, древних этрусков, латышей и славян (кельтско-славянская раса). Так славяне оказывались родственны финно-уграм, а не европейским народам романо-германского корня. Ретциуса не очень волновало соотношение между антропологическими параметрами и языковыми данными; однако вопрос о том, какие народы следует относить к арийцам, был тем не менее очень острым. Именно теория Ретциуса легла в основу гипотезы о том, что великорусы – как славяне – не являются в строгом смысле европеоидами, а вместе с западными и южными славянами должны быть отнесены к туранской расе монголоидного или смешанного типа.

Все перечисленные концепции происхождения финно-угров роднила идея о том, что предки финно-угорских народов не были индоевропейцами. Финский ученый М.А. Кастрен, пытавшийся

опровергнуть эти предположения на лингвистическом материале, в итоге признал родство финно-угорских и монгольских языков⁹². Его выводы были расценены европейскими антропологами (О. Пешель, Ф. Мюллер) как убедительнейшее доказательство монголоидности финнов⁹³. И хотя позже их стали рассматривать как промежуточное звено между европейской («кавказской») и «желтой» расами, относя их к туранской расе, а также «смягчали» грубость расистских оценок предположением, что сходные природные условия могли выработать близкие этнические типы (Д.К. Притчард⁹⁴), гипотеза об азиатском происхождении финно-угров не была опровергнута до начала XX в. Некоторым исключением можно считать позицию крупнейшего ученого, основоположника диффузионизма Ф. Ратцеля, который в одном из антропологических типов уральских народов – в западных/балтийских финнах – усматривал очевидные приметы германской расы – «полугерманскую наружность»: белокурые волосы, голубые глаза, высокорослость, длинноголовость и др. Ратцель считал, что позже финны попали под воздействие монгольских племен и потому «утеряли» некоторые главенствующие прежде признаки⁹⁵.

Когда в Европе с середины XIX в. стала распространяться теория расового неравенства (одним из ее главных сторонников и вдохновителей был А. Гобино, автор книг «Опыт о неравенстве человеческих рас», 1853), принадлежность финно-угров к монголоидной расе стала означать, что своими культурными достижениями эти народы могут быть обязаны только внешнему влиянию индоевропейцев – шведов или немцев⁹⁶. Так или иначе, азиатские корни неизбежно роднили финно-угров с народами, находившимися на стадии «дикости», – при некоторых идеологических манипуляциях это ставило под сомнение их христианско-европейский (т.е. цивилизационный) и исторический статусы⁹⁷.

Однако подобные расовые теории в российской этнографии и антропологии не получили такого распространения, как в западноевропейской науке того времени. Точнее, они не воспринимались как основополагающие в случае антропологии Российской империи – особенно те из них, которые обосновывали тесную и прямую связь между физическими параметрами и психологическими и историко-культурными отличиями. В этом отношении значима статья Н.И. Кареева (1876), в которой историк оценивал концепции тогдашней европейской, прежде всего французской, характерологии. Размышляя о расовых и национальных особенностях психологии в трактовке О. Ренана, Кареев выражает точку зрения отечественных историков, в основном разделявших взгляды немецких ученых на данный предмет. Ренан отмечал зависимость характера рас (семитской и арийской) не только от языка, влияющего на способы и формы выражения народного сознания, но и от иных факторов,

определяющих религиозное, научное и мировоззренческое своеобразие расы или народа»⁹⁸. Российский историк соглашался с тем, что «физиологические отличия сопровождаются всегда... отличиями и в психологическом отношении», признавая, что условия среды «так или иначе влияют на основные черты характера, передаваемые по наследству предками потомкам»⁹⁹, т.е. в расе и национальности проявляется один общий тип. Иначе говоря, Кареев разделял взгляды французских ученых на врожденность ряда этнических признаков – в частности, таких как внешний облик и характер (нрав) народа, что сводило изучение взаимосвязи среды и человеческого сообщества к простой фиксации воздействия. Но, противопоставляя характер народа расе (как психологический элемент антропологическому), русский историк стремился к более точной (с позиций строгого позитивизма) аргументации национальных различий. Оттенки характеров европейцев он полагал «еле уловимыми» именно потому, что все они принадлежат к единой расе, поэтому был убежден, что в современной ему историографии не существует убедительных характерологических теорий о европейских народах, в то время как психологические особенности представителей разных рас, будучи сопоставлены друг с другом, намного легче поддаются выявлению. Как и Ренан, Кареев признавал научно доказанным различие врожденных психологических свойств, например семитской и арийской рас.

В других работах Н.И. Кареев утверждал, что только социально-исторические обстоятельства способны вырабатывать те особенности, которые принято относить к национальным свойствам народов¹⁰⁰. Главной дисциплиной для их изучения он считал «науку о языке»: «...в особенностях языка сказываются особенности духовных способностей человека». Однако историк категорически отвергал использовавшиеся методы подобных сравнений, осуществляемых через антитезу как «любимую форму» подобных сравнительных характеристик¹⁰¹: «...все [они] не из строгого анализа фактов получены, а придуманы для вписывания в них фактов»¹⁰². В одной из историко-методологических монографий Н.И. Кареев резюмировал: «Серьезные исследования приводят нас к тому заключению, что человеческие типы и темпераменты независимы от географических и этнических условий»¹⁰³. Иначе говоря, в их формировании он признавал доминирование исторического фактора.

Показательна в связи с этим дискуссия российских ученых-антропологов по поводу обсуждения сочинения Г. Лебона «Психологические законы эволюции народов» (1894)¹⁰⁴. Автор строил свои положения, опираясь на заключения А. Гобино. Лебона интересовали прежде всего расовые (т.е. физические), а вовсе не национальные особенности коллективного «духа». Исторические судьбы народов, по его мнению, полностью зависят от биологии составляющих их инди-

видов, и потому существует одна высшая культурная раса – индоевропейцы, одна средняя – желтая раса (китайцы и японцы) и низшие (первобытные аборигены Австралии и негры). Всякая социальная и физическая метисация, с точки зрения ученого, приводит к деградации расы. Впрочем, постулаты данной работы Лебона не были оригинальными. Д.И. Коропчевский выступил на заседании Русского антропологического общества с докладом, в котором расценивал истоки концепций Лебона как типичные евроцентристские заблуждения¹⁰⁵. Однако большинство ученых, в том числе участвовавшие в заседании физические антропологи, не сомневались в том, что в физической природе, в самой этнической телесности заложены как черты темперамента, характера, нравственные и умственные способности, так и предрасположенность к цивилизации и прогрессу. Лишь немногие ученые, в частности историки Н.И. Кареев¹⁰⁶, А.Л. Погодин¹⁰⁷, И.Н. Березин¹⁰⁸, категорически отвергали объективное существование и генетическую природу «духовных» или «нравственных» способностей и свойств расовых (национальных, этнических) сообществ. Взгляды на взаимообусловленность и врожденность физических, духовных и материальных особенностей человеческих сообществ разного уровня лежали в основании системы иерархии народов на шкале прогресса и цивилизации. Она, в свою очередь, формировала основы теории ассимиляции рас, племен и народов.

Ассимиляция и метисация

А.П. Богданов констатировал: «Вопрос о скрещивании – один из самых спорных в антропологии. ...Одни думают, что скрещивание улучшает расу, другие утверждают с таким же полным убеждением, что оно всегда ухудшает ее. Наконец, третьи принимают, что расы, мало различающиеся друг от друга, могут скрещиваться без вреда, но что зато следствия скрещивания становятся тем более невыгодными, чем более две сводимые расы отличны одна от другой»¹⁰⁹. Самостоятельную теоретическую значимость в этом контексте обрел вопрос об условиях процесса ассимиляции, межплеменного и межрасового физического смешения, который именовался «метисацией». Д.Н. Анучин вслед за европейскими коллегами-антропологами был уверен, что «в чистом» виде совокупность расовых признаков встречается едва ли не реже, чем смешанные, метисные их варианты¹¹⁰. Э.Ю. Петри предлагал именовать этнические группы «типами» и делил на «основные», или «центральные», суммирующие «особенности, встречающиеся в более слабой степени и у других племен», и «периферийные», т.е. смешанные¹¹¹. Петри пытался также установить и соотношение между народностью и типом (расой) и пришел к выводу, что «по отношению к “типу” или к “расе” народность всегда

остаётся явлением второго порядка, притом совершенно независимо от того, образовалась ли она путем слияния различных расовых примет, объединяемых общими условиями географической, социальной и политической среды, или же она выработается... путем дифференциации общего типа под влиянием своеобразных условий различных по характеру географических провинций»¹¹². В целом к концу века антропологи были убеждены, что подавляющее большинство народов не представляет какую-либо расу в чистом виде, и обнаружить образцовых реальных ее носителей невозможно так же, как и методами науки установить изменения физического облика расы за всю ее историю. Так считали А.П. Богданов¹¹³, и В.В. Воробьев¹¹⁴, и П.Н. Милюков¹¹⁵ и др.

Другие исследователи уделяли особое внимание методике определения «чистого» и «смешанного» антропологических типов и реконструкции процесса метисации различных человеческих общностей – причем в духе времени подчеркивались не только изменяющиеся физические параметры, но также «духовные» и нравственные свойства, социальные и политические предпочтения и т.п.¹¹⁶ Например, в 1900 г., на новом этапе развития антропологической науки, антрополог В.В. Воробьев, описывая методику работы ученого по выявлению типа великоруса, подчеркивал, что главная задача – «установление происхождения каждого отдельного признака, его распространения среди других человеческих групп... Собирая все изученные признаки в одно целое, антрополог задается вопросом, представляет ли это целое нечто компактное и однородное – так называемый чистый тип, а если нет... то какие его элементы... повлияли на производный сложный тип»¹¹⁷.

Вопрос о причинах, разновидностях и путях этнической ассимиляции оказался в центре внимания исследователей в 1880-х – 1890-х гг., в связи с теоретической проблемой, поставленной вначале антропологами. Речь идет о доминировавшей в российской антропологии концепции, согласно которой физические и культурные признаки этноса (т.е. антропологическая и этнографическая идентификация), как правило, не совпадают¹¹⁸, – как писал Д.Н. Анучин, «расовые признаки не совпадают с племенными или национальными...»¹¹⁹. В связи с исследованиями этногенеза и современной этнической историей русских актуальным стал вопрос о соотношении процессов метисации и ассимиляции – в том числе этнической ассимиляции самих русских, когда на окраинах они становились инородцами, или, напротив, ассимиляции нерусских народов – как естественной (обрусение), так и насильственной (русификация)¹²⁰. Не вдаваясь детально в идейно-политический и практический контекст эпохи (о которой в последние десятилетия немало написано), обратимся лишь к научному (этнографическому) аспекту интерпретаций.

Еще до Просвещения широкое распространение получила теория этногенеза северной ветви русских – русских Северо-Восточной Руси, т.е. великорусов; согласно ей, они являются «метисами» славян (на ранней стадии освоения ими Восточно-Европейской равнины) и финно-угров. В России теория смешения племен привлекала внимание в первую очередь в связи с проблемой этногенеза великорусского племени. Концепция ассимиляции славян и финнов или славян, финнов и скандинавов (варягов) – особенно в связи с норманской теорией – активно разрабатывалась исследователями 1830-х – 1840-х гг., причем на основании анализа не только летописей и древних памятников, но и языка¹²¹. Финские (финно-угорские) признаки обнаруживались в физическом облике, языке, характере обитателей Северо-Восточной Руси начиная с первых веков государственности. А.В. Терещенко не относил финно-угорские народы к кавказской, т.е. европеоидной, расе (1848)¹²². Своеобразное резюме этих поисков содержится в статье Н.И. Надеждина «Об этнографическом изучении народности русской» (1846). Он пишет: «Мы даже знаем, и отчасти положительно... что на безмерном пространстве нынешней России русский человек сложился в свой нынешний вид в постоянном соприкосновении под непрерывным влиянием различнейших чуженародностей. Известно, что восток и север нынешней России издревле заселены были сплошною чудью... с этой, однако ж, чудью, среди которой он помнит себя новым, слабым зашельцем, северо-восточный русс, обще и дружно, заложил основания той государственной цельности и жизненности, непосредственным действием которой выработался первенствующий ныне оттенок народности русской, оттенок так называемый *велико-российский*; собственно, не что иное, как плод проникновения грубого чудства образовательною стихиею русскою. Затем, в старинном домовище русского человека, на юге и западе нынешней России – сколько самому ему довелось вытерпеть приливов и наплывов, отсед которых не мог не остаться на его природной физиономии! Оттого в нынешнем юго-западном облике народности Русской, особенно в том оттенке его, который принадлежит *казачеству*, многое отзывается чистою азиєю, изобличает в себе происхождение кавказское или – еще далее – подалтайское. Присовокупите к тому меньше материальное, но не меньше могущественное влияние цивилизаций, прибывавших на Русь, в разные времена, с разных более или менее дальних сторон: греческо-византийской – из-за Дуная, латинско-польской – из-за Вислы, немецко-варяжской – из-за Моря! При всем этом русский человек не перестал быть *человеком русским*, не выродился – ни в чудь “белоглазую”, ни в сорочину “долгополую”, не обернулся ни ляхом-“католиком”, ни немцем-“алютором” (выделено автором. – М.Л.)»¹²³. По мнению

Надеждина, проникавшее в великоруса «грубое чувство» не смогло изменить до неузнаваемости натуру русского человека.

Еще в 1840-х гг. в очерках о русской истории постоянно звучала мысль о значимости метисаций разного вида и последствий аккультурации для такого важного признака этноса, как нрав/характер. Показательно в этом контексте утверждение Ф.В. Булгарина: «Характеры различных пород (т.е. рас. – М.Л.) и даже племен резко обозначены и не изглаживаются веками... Просвещение и образованность дают другие формы характеру и природным свойствам народа, но основание изменяется только *смешением* (выделено автором. – М.Л.) пород и племен»¹²⁴.

Поэтому, когда на основании исследований Г. Ретциуса делались оценочно негативные выводы о «варварстве» финно-угров¹²⁵, это влекло за собой далеко идущие заключения о последствиях их ассимиляции другими народами, в первую очередь славянами. В результате идея смешения в великорусах славянской и финно-угорской крови стала основанием нескольких концепций. Считалось, что великорусы по физическим параметрам представляют собой либо вовсе не славянский, а финский, либо смешанный антропологический тип. Усматривались различные приметы такой «неславяности»: было распространено представление о том, что финские черты, в том числе в связи с элементами монголоидности, «испортили» красоту истинных славян в этом типе – ведь финно-угорские народы описывались европейцами и русскими как некрасивые, угрюмые и «жалкие» (ср. высказанное в 1826 г. суждение А.С. Грибоедова о финнах (чухонцах) близ Санкт-Петербурга: «...белые волосы, мертвые взгляды, сонные лица»¹²⁶. А. де Кюстин писал о тех же столичных финнах в 1839 г.: «...нация эта безлика; физиономии плоские, черты бесформенные. Эти уродливые и грязные люди отличаются, как мне объяснили, немалой физической силой; выглядят они, однако, хилыми, низкорослыми и нищими»¹²⁷). Кроме того, утверждалось, что великорусы, будучи «продуктом» смешения славянской и финно-угорской крови, переняли черты финского темперамента, нрава и склонностей (в том числе к политическим формам, типам государственности), якобы чуждых прежним, европейским славянам и их современным «чистым» типам.

Так, Адам Мицкевич был убежден, что финская «кровь» испортила северо-восточных славян и возникший русский (великорусский) народ оказался лишен многих архаических славянских добродетелей, сохранившихся без изменений в поляках. «В Северной России финны, находясь в постоянных сношениях со славянами, вступили с ними в тесный союз... Несчастный и мрачный финн рожден для послушания или разрушения. Он встретил в славянине высшее существо и соприкосновением с ним унизил его. Финн, взятый в

отдельности, всегда раб: как орудие в руках более могущественного фактора, он становится деспотом и разрушителем»¹²⁸. Поэт полагал, что северо-восточные славяне через неславянские элементы обрели рабские наклонности и «любовь» к деспотическому правлению. Писал Мицкевич и о воздействии монгольского субстрата на завоеванное население Северо-Восточной Руси; если финская кровь придала русским качества ее духа – «понурого и мрачного», то влияние монгольской выразилось в «слепом повиновении власти, вызывающей страх»¹²⁹. О том же говорил – даже в конце XIX в. – известный немецкий антрополог Ф. Ратцель. Описывая великорусов как результат метисации славян с финскими и монгольскими племенами, он утверждал, что в физическом отношении «русский тип сильно изменился» в первую очередь под влиянием тюркских народов и монголов, но не финнов. Причем Ратцель именовал «регрессом» не слабовыраженные приметы физического облика, но духовно-умственное воздействие монголов, выразившееся в способности «русских народов» «к безмолвному повиновению и безропотной выносливости»¹³⁰. Проявления «финской крови» усматривали в антропологических чертах внешности, в языке¹³¹, в психических свойствах¹³² и даже в мирозерцании, жилище и утвари великорусов не только иностранные ученые. Туранская теория происхождения финнов отразилась во многих российских учебниках, где финны описаны как монголоиды. Так, в учебнике А. Редрова (1867) говорится о том, что населяющее Северный край России финское, или чудское, племя принадлежит к «особой группе северных народов, более близкой по языку и по своим телесным отличиям к монгольскому, чем к индоевропейскому племени»¹³³. Автор учебника по российской географии (1873) однозначно утверждает, что во внешнем облике финнов «до сих пор... много черт, показывающих их сродство с монголами, – небольшие глаза, выдавшиеся скулы, способность раздражаться до самозабвения и до убийства своего врага»¹³⁴. А в великорусах «так много финского, что невольно приходит в голову вопрос: а не составляют великорусы просто ослабяившихся финнов?»¹³⁵.

Важно отметить, что начало смешения финских и славянских племен относили ко времени до призвания варягов¹³⁶, а к середине XIX столетия господствующей стала концепция, согласно которой этногенез великорусов в Северо-Восточной Руси осуществлялся начиная с XII в., когда прибывавшие с юго-востока и севера славянские переселенцы постепенно «переваривали» автохтонные финские племена. К.Д. Кавелин писал, что «в образовании великорусской ветви, ее расселении и обрусении финнов состоит интимная, внутренняя история русского народа, оставшаяся как-то в тени, почти забытая; а между тем в ней-то именно и лежит ключ ко всему ходу русской истории»¹³⁷. Историк подчеркивал, что говорить об «обра-

зовании» великорусов в особую ветвь ранее XI в. нет оснований, так как колонизация финского востока началась только в XII в.¹³⁸ К.Д. Кавелин также уделял особое внимание проблеме этногенеза русского народа и великорусского племени. Ставя вопрос о том, кто такие великороссы по своему происхождению – племя Восточной Руси, «которой главнейшая жизненная задача» состоит в создании и упрочении государства»¹³⁹, он отвечал так: восточная «отрасль» русского племени образовалась на финской земле из переселенцев из Малороссии и Северо-Западного края, а частично из обрусевших финнов¹⁴⁰. Историк не сомневался в том, что соединение двух кровей создало новую «физиономию» великорусов, придав им «физиологические и нравственные элементы» финского племени, доселе им не присущие¹⁴¹. Однако степень этого влияния он призывал не преувеличивать – поскольку, считал историк, «иноплеменные завоеватели не могли придать нашей истории свой национальный характер»¹⁴²; «несколько слов и названий предметов, им неизвестных, – вот все, что могли передать... чужеземцы»¹⁴³, а финские племена «или исчезли, или вполне подчинились господству или влиянию русско-славянского элемента»¹⁴⁴.

В центр внимания выдвинулся важный вопрос: воздействовало ли, и в какой мере, физическое слияние славян и финно-угров на культуру, мировоззрение и в конечном итоге на исторические судьбы смешанного племенного типа? Антрополог А.П. Богданов так описывал этот процесс: «...с юго-запада и северо-востока России шел приток тех колонизаторов Средней России, которых история называет славянами. Путь их шел преимущественно по водным большим дорогам и по большим торговым и междуплеменным трактам. На первобытные племена, занимавшие Центральную Россию, постоянно был наплыв в течение веков пришельцев, представителей высшей культуры и племени. ...Если в густонаселенную местность, представляющую более или менее компактную массу, однородную по своему кровному составу, попадает незначительное число переселенцев иной расы или если они выше по культуре, то оставляют несомненные следы своего прихода в языке, в нравах и обычаях, но с кровной точки зрения они совершенно исчезают в первобытном населении... Иное дело бывает, если в редко разбросанное, малочисленное население попадает сравнительно значительное число новых колонизаторов. Если от прикосновения с ними не исчезнет племя, не уйдет в другие места, не будет перебито или не вымрет от отнятия у него единственно возможных условий для его существования, то оно подчиняется новым колонизаторам земли, и притом не в смысле политическом или бытовом исключительно, а в смысле антропологическом»¹⁴⁵. Как и многие российские ученые, Богданов был убежден, что формирование великорусов шло

именно по второму пути. При этом считалось, что в период татари-монгольского ига монгольское племя оказало на великорусский тип хотя и серьезное, но не доминирующее, а лишь дополнительное влияние¹⁴⁶. Так или иначе, смешанность великорусского племени не только не ставилась под сомнение, но рассматривалась как основная, важнейшая и бесспорная этноисторическая особенность «господствующего племени». Д.Н. Анучин в конце столетия заключал: «Это образование великорусского народа из соединения разных элементов, происходило ли оно путем брачного смешения славян с финнами или путем непосредственного, постепенного обрусения последних, по необходимости должно было оказать известное влияние на видоизменение первоначального типа, какой представляли в своем сложении и облике русско-славянские племена прежде их утверждения на территории финнов»¹⁴⁷.

Историческая племенная метисация – если ее последствия рассматривались как отчетливо воплотившиеся в великорусском типе – расценивались в научной и популярной литературе двояко: одни авторы преувеличивали позитивные последствия, другие настаивали на негативных. В первом случае примесь «крови», как представлялось, давала то, чего нельзя было обрести вековым опытом приспособления к окружающей среде: качество другого племени. Именно благодаря «крепкому» финно-угорскому субстрату возникла «сильная раса, которая постепенно приобрела преобладающее значение между всеми народностями восточнославянского мира»¹⁴⁸. Бытовала также научная концепция, согласно которой «от смешения разных племен образуется народ более даровитый и деятельный», поэтому «все великорусское племя и вообще великорусы превосходят другие русские племена своею предприимчивостью и подвижностью...»¹⁴⁹. Широко известными стали слова В.О. Ключевского, оценивавшего этот процесс с антропологической точки зрения: «... надобно допустить некоторое участие финского племени в образовании антропологического типа великоросса»¹⁵⁰. Смешение чудских (финских) и славянских племен, волнами переселяющихся на северо-восток (согласно версии историка – начиная с XIII в.) обусловило складывание физического облика, языка и быта великорусов¹⁵¹. Однако в описание процесса «обретения славянами» финских этнических черт Ключевский включал и другие – культурные – признаки. Он фиксировал два пути ассимиляции: а) мирное заимствование «из быта финнов» и б) обрусение чуди, которая «со всеми своими антропологическими этнографическими особенностями, со своим обличьем, языком, обычаями и верованиями входила в состав русской народности»¹⁵². Типично великорусские свойства, появившиеся вследствие этого племенного взаимодействия, Ключевский (как и некоторые антропологи-современники) усматривал в сферах рели-

гиозной (мифологическое мирозерцание) и социальной («перевес сельским классам» в верхневолжском регионе)¹⁵³.

Негативные свойства, приобретенные в результате смешения с восточными финно-уграми, соотносились, как правило, с эмоциональной холодностью, отсутствием воображения, слабой или ослабевшей волей. Историки полагали, что финнам великорусы обязаны бедностью эмоциональной жизни, упорством, замкнутостью и неспособностью действовать общими силами. Так, М.О. Коялович, обращаясь к теме русского национального характера (в связи с книгой французского историка А. Леруа-Болье «Россия царей и русский народ», 1881–1889), приписывал финскому этническому характеру «способность приноравливаться к условиям жизни», «серьезность, терпение и твердость» и категорически отвергал гипотезу о монгольском субстрате в великорусском племени, считал, что именно финская «инородческая примесь... дала ему особенную даровитость и энергию»¹⁵⁴.

По мнению К. Кюна, инородческие племена, ассимилировавшись со славянами, в свою очередь, крепили и цивилизовались: «Каждое финское или монгольское племя, распустившееся, так сказать, в русской народности, поглощенное ею, представляет приобретение для всей великой семьи народов европейских, которым вверен Провидением двойной светоч христианства и образования»¹⁵⁵. Кюн писал также, что «ни одно племя, как бы оно ни стояло низко в умственном отношении, не может вполне отречься от своих естественных природных свойств, сливаясь с другой народностью, принимая на себя его характеристические особенности, оно должно, в свою очередь, передать ей некоторые черты своего типа»¹⁵⁶. Автор был убежден, что метисация благотворна для тех, кто, находясь на более низком уровне развития, подвергается обрусению. «...Русское племя клало на них неизгладимую печать европеизма, открывало для них возможность участия в историческом движении европейских народов»¹⁵⁷.

Интересно, что Н.И. Костомаров в позднем (через десять лет после выхода в свет начального варианта в журнале «Основа») переиздании статьи «Две русские народности» обратился к сюжету об этнической ассимиляции южной и северо-восточной отраслей русского племени (в первом издании этот фрагмент отсутствовал). Посетовав на неизученность процессов слияния славян с инородческими племенами в Северо-Восточной Руси, историк тем не менее смело заявлял, что «славянский элемент одержал полнейшее господство над инородческим»¹⁵⁸. В 1870-х гг. этнограф П.П. Чубинский уверенно констатировал, что «великоруссы представляют результат скрещивания русского элемента с финским... русский элемент при встрече с финским не только скрещивался, но и поглощал его посредством

ассимиляции, и таким образом ассимилировалась огромная масса финнов... на северо-востоке России русский элемент совершил поход на финнов, он внедрялся среди них, подчиняя их не только своей власти, но и своему национальному влиянию, притом так, что аборигены принимали народность пришельцев»¹⁵⁹.

Однако не все придерживались такой точки зрения. С.В. Ешевский полагал, что подобные заключения могут быть справедливы применительно к современным процессам ассимиляции финно-угорских племен великорусами, но некорректны в отношении процессов исторической метисации – ведь когда славяне заселяют земли финно-угров, финские племена «находятся рядом и почти на одной ступени развития... перевес славянской народности был дан уже потом, ее соединением под властью варяжских князей, а еще позже – принятием христианства»¹⁶⁰. О незначительности культурных различий между «русской народностью» и восточными инородцами писал и Н.И. Березин, определяя специфику взаимодействия русских с представителями разных цивилизаций. Он указывал, что именно эта незначительность обусловила и повлияла на «легкость» ассимиляции¹⁶¹. Спустя 40 лет Д.Н. Анучин также подчеркивал, что «культура славянских пришельцев едва ли в то время значительно превосходила финскую, и потому успех славянской колонизации едва ли можно объяснять превосходством тогдашней славянской культуры. Нет также никаких оснований предполагать, чтобы славяне истребляли финнов; напротив того, все свидетельствует в пользу того, что колонизация славян была по преимуществу мирная... резкой разницы в культуре не было между финнами и славянами, и особенности быта тех и других не исключали возможности мирного сожития и общения и совместного участия в государственной жизни»¹⁶². О том же писал в конце XIX в. историк С.Ф. Платонов, подчеркивая, что переселенцы в будущий Суздальский край встретились там с «туземцами финского происхождения»¹⁶³, и «следствием этой встречи для финнов было их полное обрусение. Мы не находим их теперь на старых местах, не знаем об их выселении из суздальской Руси, а знаем только, что славяне не истребляли их и... что, следовательно, они потеряли национальность, ассимилировавшись совершенно с русскими поселенцами как с расой более цивилизованной»¹⁶⁴. С.Ф. Платонов, однако, полагал, что финское влияние заметно сказалось на этническом типе славян в нескольких аспектах: изменился говор, физиологический тип и «умственный и нравственный склад поселенцев»¹⁶⁵. «В результате явились в северно-русском населении некоторые особенности, создавшие из него особенную великорусскую (выделено автором. – М.Л.) народность»¹⁶⁶.

С.В. Ешевский также считал, что ассимиляция проходила мирно и естественным путем (в том числе благодаря демографическим

процессам), поскольку исходил из того, что история (и письменные памятники, и фольклор) не сохранила упоминаний о насилии¹⁶⁷. Вероятнее всего, аргумент заимствован у известного историка С.М. Соловьева, который одним из первых обосновал концепцию мирного освоения славянами территорий, заселенных финно-уграми: «...о враждебных столкновениях между ними не сохранилось преданий... Каким образом ославились финские племена... все это произошло тихо, незаметно для истории, потому что здесь... было не завоевание одного народа другим, но мирное занятие земли, никому не принадлежащей»¹⁶⁸. К.Н. Бестужев-Рюмин тоже был убежден, что заселение и освоение финно-угорских территорий представляли собой мирную ассимиляцию автохтонного населения, – в этом состояла, на его взгляд, «отличительная черта русской истории». Он писал: «... славянская колонизация севера и северо-востока, начавшаяся еще во времена доисторические, успела мало-помалу отождествить с собою разрозненные финские племена»¹⁶⁹.

К.Д. Ушинский, разделяя концепцию мирного поглощения славянами финно-угорских туземных племен, подчеркивал разницу в их культурном развитии и заключал, что ассимиляция выражает универсальный закон: «...пополнение сил одного племени за счет другого, такое взаимное поглощение племен действует благоприятно на развитие племени», но лишь одного – «властвующего»¹⁷⁰. Впрочем, по общему убеждению, это «властвующее» племя «поглощало» инородцев мирным путем, без насилия и принуждения: «Русский не оставался завоевателем, он сливался с завоеванными, он принимал их в лоно своего великого народа, своей культуры»¹⁷¹. Причина, таким образом, связывалась с культурным (в данном случае – цивилизационным) превосходством: «... славяне были культурнее финнов... [и потому] поглотили финские племена, усвоив их бытовые и племенные черты»¹⁷². Объясняя способы и последствия межрасового взаимодействия, антрополог Н.Ю. Зограф и этнограф В. Загорский обращаются к важным классификационным категориям цивилизованности и дикости («культуры» и «варварства»). Сравнивая формы завоевания других народов и колонизации европейцев с новгородскими словенами, Загорский говорит, что «братское отношение к менее культурному человеку несравненно выше и нравственнее, нежели побои, которыми награждают негров Африки народы, вводящие в черной части света свою культуру или непримиримость и чванство»¹⁷³.

Следует заметить, что выявить методологически адекватным способом общие признаки финских народов и великорусов было весьма затруднительно, поскольку региональное разнообразие племенных типов не позволяло с высокой степенью точности определить, какие свойства возникли в далеком историческом прошлом,

а какие появились в результате влияния соседних – также финно-угорских народов – в более поздние времена. Так или иначе, данная концепция оказала серьезное воздействие на некоторые политические идеи славянофилов – в частности, на концепцию российской государственности как совокупного творения славян и финнов¹⁷⁴, вариации которой представлены в финляндской национальной историографии 1860-х – 1880-х гг.¹⁷⁵

Физическая ассимиляция расценивалась как негативный процесс, когда исследователи исходили из важности (для полноты реализации исторической миссии народа/племени) сохранения «чистого» антропологического и этнографического типа, – в этом случае метисация понималась как «замутняющая» истинные этнические компоненты, духовную сущность народа, хотя ее результаты могли считаться и вполне удачными, улучшающими качества породы¹⁷⁶. Такая интерпретация, вероятнее всего, восходит к гегелевской философии истории. Позицию сторонников такого критического взгляда на изменение «начального типа» С.В. Ешевский формулировал следующим образом: «Для тех, которые признают каждую особую породу людей историческим продуктом известной местности и известного климата, вопрос о смешении пород решается ясно и просто. Не будучи в состоянии отвергать существование помесей... они отказывают этим помесям во внутренних условиях, жизненности, говорят, что они не имеют в себе производительной силы и сами собой прекращаются в известном поколении»¹⁷⁷.

Однако в первой половине XIX в. убедительно доказать масштаб ассимиляционных процессов не представлялось возможным, поэтому главными показателями иноэтничного субстрата становились внешние (антропологические) приметы и всё те же национальные «духовные» свойства. Выражая состояние научных исследований на рубеже XIX и XX вв., польский антрополог Ю. Талько-Грынцевич писал, что в отличие от поляков, находившихся в центре славянства и сохранивших в чистоте первоначальный славянский тип, «великороссы, расселившиеся на больших пространствах востока и подчинившие своему влиянию большинство инородческого населения, восприняли от него не только много основных черт физического сложения, но и... некоторые душевные качества: рядом со славянским прямодушием и гостеприимством – умение сдерживать себя и житейскую практичность»¹⁷⁸.

Особое место в спектре мнений занимает, на наш взгляд, аргументация российских антропологов и историков. В их сочинениях смешение славянских и финно-угорских племен, приведшее к образованию великороссов, не оценивалось отрицательно, – напротив, подчеркивалась устойчивость получившегося племенного типа, являющаяся признаком «силы»¹⁷⁹. Предполагалось, что при слия-

нии этнические врожденные недостатки взаимно компенсируются. Так, антрополог И.А. Сикорский не сомневался, что «психические черты русского племени соответствуют чертам главных составляющих его частей, т.е. финского и славянского корней»¹⁸⁰. «Слабейшей стороной славянского характера» он считал волю, которая менее «энергична», чем у других народов, она выражается порывами¹⁸¹. Напротив, финнам Сикорский приписывал наличие твердой воли, сильной в самообладании и «сильной во внешних проявлениях». Он утверждал, однако, что финнам недостает ума, чтобы направить волю, в то время как великорус, «впитав в себя финскую душу, получил через нее ту тягучесть и выдержку, ту уступчивость и силу воли, какой не доставало его предку-славянину»¹⁸². Смещение славянского «живого чувства и тонкой отзывчивости на внешние впечатления» с финской волей обеспечило прекрасный в этническом отношении результат: «...объединение двух таких несходных народностей дало расу, среднюю в физическом отношении, дополнило духовный образ до степени целостности... получился цельный нравственный образ, более совершенный в психическом смысле, чем составные части, из которых он сложился»¹⁸³. Зачастую результатом метисации считалось формирование новых племенных «способностей» великорусов в отличие от первоначального славянского типа¹⁸⁴.

«Патриотически» настроенные авторы (славянофильского направления), напротив, расценивали ассимиляцию как утрату этнической самобытности («Только *слабоумные* и *слабодушные* (выделено автором. – М.Л.) люди подчиняются чужому»¹⁸⁵), поэтому категорически не принимали теорию метисации как убедительное «расовое» (т.е. антропологическое) основание для объяснения различий малорусов и великорусов. Они полагали, что зарубежные (немецкие) ученые активно развивают гипотезу о метисации великорусов, поскольку приписывают «чистоту» славянского типа полякам и малорусам. Интересно, что несогласие в этом случае аргументировалось следующим образом: отвергая гипотезу происхождения великорусов от смешения славян с «финно-тюркскими» племенами¹⁸⁶, они требовали «уравнять» оба восточнославянских племени в степени физического смешения – ибо малорусы контактировали с тюркскими народами и с поляками¹⁸⁷ (влияние польского физического облика на малорусов рассматривал и А.П. Богданов¹⁸⁸). Но, даже если принять такое «уравнивание», оно не могло разрешить проблему: ведь поляки и финны в этническом отношении наделялись принципиально разными цивилизационными «статусами». Поляки квалифицировались как цивилизованный и европейский, родственный малорусам народ, в то время как финский этнос оценивался как «маргинальный», находившийся в порубежном состоянии: уйдя от дикости, он еще не в полной мере приблизился к цивилизованности;

соответственно «финской» кровью великорусов обосновывались некоторые черты патриархальной «дикости»¹⁸⁹.

Поэтому многие российские историки и антропологи доказывали, что процесс метисации шел «в обратном направлении» – через обрусение финских племен¹⁹⁰. Как подчеркивал А.П. Богданов, «с кровной точки зрения» финны «совершенно исчезают» в первобытном населении¹⁹¹ Северо-Восточной Руси. С.В. Ешевский утверждал, что процесс обрусения был естественным, поскольку носил мирный характер: «Не вымирают инородческие племена, сталкиваясь с русскими: они претворяются в русских, принимая в себя отличительные особенности европейско-христианской цивилизации и в то же время оказывая свою долю участия в образовании нового племенного типа... Не славяне обращаются в финна или монгола, но финн и монгол принимают на себя господствующие черты славянского племени»¹⁹². Автор учебника по географии (1867) тоже не сомневался, что слабое финское племя не успело развить своих свойств, а «славянские» (оказавшиеся на землях, колонизируемых славянами) финны «почти все слились с господствующим племенем, притом так, что почти не изменили нисколько славянского типа, хотя все севернорусское племя составилось из славян и финнов»¹⁹³.

Подобная аргументация постоянно воспроизводилась в исторических сочинениях, как славянофильских, так и украинофильских. А.Ф. Гильфердинг указывал на две особенности «слияния» финнов и славян «безо всякого внешнего принуждения» со стороны вторых: это «слабость и бессвязность» финно-угорских племен и «бессознательность» со стороны самой России¹⁹⁴. А Н.И. Костомаров подчеркивал: «Мы сознаем важные народные особенности от других славян в характере, склонностях, понятиях и образ жизни великорусов, но эти особенности возникли и образовались более от географических и исторических причин, а вовсе не от влияния уральского племени. Всего лучше на это могут указать особенности, отличающие великорусов от других славян: они состоят вовсе не в тех чертах, какие мы находим в тюрко-финском племени. Предприимчивость, склонность к практической деятельности, скудость фантазии, удобоподвижность – вовсе не качества мордвы, черемисов, чувашей и тюрко-финских и всех финских племен»¹⁹⁵.

К.Д. Кавелин считал, что необходимо принципиально разрешить вопрос о том, меняют ли различные трактовки этногенеза великорусов картину исторического развития России, в частности представления о взаимодействии политических форм и государственности с племенным начальным типом. В частности, следует ли считать жителей («теперь совершенно русских». – М.Л.) губерний Московской, Владимирской, Костромской, Ярославской «обрусевшими финнами или русскими поселенцами преимущественно

из Малороссии», т.е. определяются ли отличия великороссов от западнорусских племен «другой обстановкой жизни на новой почве, в течение веков, – или же постепенным смешением поселенцев с финскими элементами»¹⁹⁶.

Сходным образом освещался процесс в антропологических штудиях. А.П. Щапов постоянно подчеркивал, что «в жилах великорусского народа» не течет «чистая славянская кровь», что «он составляет амальгаму или органическое порождение различных народных элементов»¹⁹⁷, что в период колонизации славянами северо-востока до XVI в. «...финская народность постепенно ослабилась и вошла в органический состав великорусской народности»¹⁹⁸. В XVI–XVIII вв., по его мнению, великорусская народность получила «преимущественное направление» на юго-восток, вследствие чего начался «новый процесс порождения великорусского народа посредством принятия в массу его, посредством органического слияния с ним, элементов турко-татарской народности»¹⁹⁹. Щапов настаивал на том, что «славяно-русское племя производило ... более сильное впечатление на азиатские племена (под которыми автор понимал и финно-угров, и татаро-монголов, и тюрок. – М.Л.), чем последние на него... и путем физиологического смешения с ними больше передавало им свой тип, физический и умственный, чем само усваивало их тип»²⁰⁰, поскольку «в грубом неразвитом типе восточноазиатских народов... не оказывалось никаких особенных, обаятельных качеств, которые бы могли возбuditельно подействовать на дремлющую, неразвитую и слабовосприимчивую нервную организацию северных славянских племен»²⁰¹. То есть, с одной стороны, Щапов присоединялся к сторонникам теории о равном уровне развития славян и колонизируемых ими неславян, а с другой – крайне негативно трактовал умственный и психический тип предков великорусского народа, которые, оказавшись вдалеке от центров европейской культуры/образованности, стали заложниками отсталости и психической слабости, контактируя с такими же соседями.

При этом следует иметь в виду, что А.П. Щапов в программной и новаторской для своего времени работе о психологии русского народа (1870) высказал нехарактерное для тогдашнего этнографического дискурса мнение о том, что метисация «славяно-руссов» и представителей «азиатских племен» осуществлялась в целом в крайне жесткой форме. В этой позиции ученого нашел свое выражение комплекс евроцентристского цивилизационного превосходства, который был присущ таким политическим деятелям, как М.Н. Катков, и таким этнографам, как С.В. Максимов²⁰². Щапов писал, что азиатский (в данном случае – финский и монгольский) элемент сыграл крайне негативную роль в формировании этнопсихологических качеств русских, наделив их «неблагоприятными

для умственного пробуждения и прогресса» чертами – апатией, порабощенностью духа и равнодушием²⁰³; таким образом, Щапов в определенной степени солидаризировался с мнением иностранных авторов, считавшихся в России русофобами. Авторитетный лингвист А.И. Соболевский в своем курсе по истории русского языка (1888) подчеркивал, что «инородческая финская кровь, входившая в обилии в течение многих веков и входящая даже доселе в северо-восточную отрасль русского народа – в великорусское племя, не сделала русских северян ни финнами, ни финно-руссами, как уверяют... иностранцы»²⁰⁴.

Об этом же писал на рубеже столетий и антрополог И.И. Пантюхов: «...татарский погром, присоединение к Литве и Польше и соприкосновение и смешение с северными и восточными инородцами финского и урало-алтайского типа имели последствием многочисленные метисации русских типов с инородческими, но не произвели особенно важных изменений русских типов и не помешали их естественной эволюции. Стойкость русских типов выразилась в том, что они не ассимилировались другими типами и даже почти ничего от них не заимствовали, но сами оказывали на них влияние и ассимилировали их»²⁰⁵.

Не все исследователи признавали мирный характер колонизации. Так, А.И. Соболевский в рецензии на исследование Н.Ю. Зограффа о типах великороссов, замечал: «Нет данных, которые бы говорили о мирном занятии русскими пустых земель рядом с финнами»²⁰⁶. Соболевский указывал на то, что земли в междуречье Оки, Волги и Клязьмы в период славянской миграции с запада на восток и северо-восток никак не могут считаться «пустыми» (как полагал, заметим, еще С.М. Соловьев): *во-первых*, потому, что топонимы и гидронимы этого пространства имеют финно-угорское происхождение, а *во-вторых*, потому, что вряд ли финно-угорские «туземцы» добровольно отдавали лучшие земли пришьельцам, или потому что «более цивилизованные русские» занимали исключительно малоценные территории – «болота и труппы»²⁰⁷.

В словаре начала XX в. тоже указывалось, что великорусы сложились из элементов северо-восточных славян – древней Новгородской, Псковской и Владимиро-Суздальской (Московско-Рязанской) Руси) «в смешении с главным образом с финскими (чудскими) племенами и в некоторой степени с татарским элементом...»²⁰⁸. При этом подчеркивалась важная роль переселенцев с юга России... часть в Червонную Русь, часть в Суздальскую, Ростовскую, Казанскую и прочие земли» («после Ярослава Мудрого»)²⁰⁹. «Подвигаясь на восток, – пишет П.И. Ковалевский, – русская народность внедрялась в финские племена, быстро их побеждала и ассимилировала. Эта ассимиляция не оставалась... бесследной... она клала свой от-

печаток. ...Из чисто славянской нации поселенцы несколько изменялись примесью финской крови, финской речи, финских нравов, финских обычаев. Образовался оттенок русской нации в виде великорусского племени»²¹⁰.

К вопросу о степени влияния финно-угорских племен на облик, характер, материальную и духовную культуру великорусов/русских ученые вернулись в советское время, в 1920-х – 1930-х гг. Против тезиса о «мирном характере» колонизации финского северо-востока русскими категорически возражал Д.К. Зеленин, утверждая, что те либо завоевывали финно-угорское население, либо принуждали его к уходу с насиженных мест²¹¹. Однако необходимо оговориться, что ученый вообще решительно отрицал финский элемент в великорусском антропологическом типе: «Хотя бы мнение об обрусении целого ряда финских племен на самой заре русской истории создано нашими старыми историками без достаточных оснований»²¹² (под «старыми историками» подразумевался, в частности, М.Н. Покровский, утверждавший в одной из своих обобщающих работ, что неславянская примесь в великорусах составляет очень высокий процент²¹³). В свою очередь, высказывания Д.К. Зеленина вызвали категорические возражения со стороны М.К. Маркелова и С.П. Толстова²¹⁴.

В вопросе о причинах славянской ассимиляции финнов и растворении большей части племен последних в великорусском типе нельзя не отметить еще один важный акцент – культурно-религиозный. Он не приобрел широкого распространения в научно-популярной литературе, хотя впервые о нем упомянул еще в 1837 г. Н.И. Надеждин: «Могущественнейшим орудием утверждения обруселости (на землях Северо-Восточной Руси. – *М.Л.*) было не столько завоевание, сколько влияние христианства чрез благочестивых отшельников»²¹⁵. К.Д. Кавелин, обращаясь к проблеме культурного уровня славянских переселенцев из Западной России на северо-восток, на земли будущей Великороссии, не склонен был расценивать степень христианизации этих мигрантов как высокую, так как считал, что полутора или двух сотен веков с момента крещения и до начала колонизации новгородцами финских территорий было недостаточно для полного перерождения язычников, а потому их «культура тогда не могла не быть... по преимуществу языческой»²¹⁶. В несколько ином аспекте эта проблема получила отражение в одном из томов «Полного географического описания» (1899): «...еще более содействовало объединению... первобытных племен с русскими то обстоятельство, что и те и другие одновременно и в совершенно одинаковых обстоятельствах приняли христианство со славянским богослужением и общие начала гражданственности с образованием русского государства»²¹⁷.

Активно обсуждался и вопрос о том, в какой сфере этнокультурной самобытности черты ассимилированных племен в наибольшей мере «сохранились» в великорусском типе: в физическом облике, в нравах и характере, в общественном устройстве или в быте и языке? Д.А. Коропчевский не сомневался в том, что смешение с финнами ничем не повредило великорусам: «...если оно и внесло в их тип некоторые чуждые ему черты, то нисколько не повлияло на их энергию и духовную силу»²¹⁸; напротив, было даже полезно тем, что «облегчало приспособление к тяжелым условиям природы, так как местное население уже приспособилось к ним, и это приспособление передавалось потомкам... Там, где русский народ непосредственно смешивался с финским, он оказался сильнее последнего, и настоящие финны понемногу исчезали... путем слияния»²¹⁹. Это слияние часто именовалось «поглощением» славянами финских племен²²⁰ или «растворением» последних в славянах – речь шла, таким образом, о полном исчезновении изначальных антропологических и этнокультурных различий.

*Восточные славяне и проблема метисации:
идеологические причины и последствия*

Стереотипным для народоописаний, начиная с 1840-х гг. и вплоть до конца столетия, становится утверждение о беспорном отсутствии славянской «чистоты» антропологического облика и у великорусов, и у малорусов (в отличие от белорусов): «Славянский тип русского народа подвергался изменению благодаря влиянию местностей и соседей и дошел, наконец, до того, что... великорусское племя стало... отличаться от малорусского... но воздействие племен чуждых на образование народа русского типа несомненно. Русские этнологи никогда не отрицали смешанного происхождения господствующей расы Империи»²²¹. В этнографическом очерке о великорусах конца столетия также отмечена «большая примесь инородческой крови в жилах великорусской народности», в составе которой «преобладает примесь финнов, затем тюрков»²²².

Если в жилах великорусов течет финская кровь, то малорусы несут в себе явные черты и свойства «кавказцев» или «азиатцев»²²³. Влияние «азиатской крови» на антропологический тип малорусов, их смешение с племенами азиатского происхождения», не подлежало сомнению. Н.И. Надеждин писал, что в «казачестве» многое «отзывается чистой Азией»²²⁴. М.А. Максимович вслед за многими современниками усматривал в малороссах влияние «типа азиатцев», выразившееся в необузданной дикости и жажде набегов²²⁵. А.С. Афанасьев-Чужбинский не отвергал мнения об «азиатском»

воздействию на антропологический малороссийский тип, однако полагал, что на народном характере оно почти не отразилось²²⁶. Впрочем, определения «азиаты» и «азиатский» в антропологическом отношении понимались весьма широко. В частности, Афанасьев-Чужбинский именовал так лишь «обитателей Кавказа», а для М.А. Максимовича «азиаты» синонимичны «тюркам»²²⁷. Таким образом, считалось, что процесс метисации и у малорусов, и у великорусов происходил еще на раннем этапе этногенеза: «...следы исторических скрещиваний, во времена очень отдаленные, южнорусского народа с печенегами и хозарами, с тюрками, берендеями и черными клобуками, с горскими ногаями и татарами» привели к тому, что среди малорусов можно встретить «совершенно татарские типы»²²⁸. Племенное своеобразие малорусов и великорусов объяснялось именно наличием разных этнических «примесей»: финской – у русских «северян» и «татарской», «турецкой» или «тюркской» – у русских «южан»²²⁹. Антрополог И.А. Пантюхов подчеркивал важность физического слияния с неславянами в процессе формирования различий великорусского и малорусского этнографических типов. При этом, являясь сторонником радикальных взглядов Гобино и Ломброзо, он шел намного дальше Н.И. Костомарова и утверждал, что физическими отличиями обусловлены особенности менталитета, характера, отношения к власти, форм общественного устройства и политических образцов²³⁰.

Впрочем, и в начале XX столетия в статье об этническом составе России подчеркивалось, что хотя в крови великорусов течет кровь финно-угров и татар, однако «крупные расхождения и различия» между «хохлом и москалем» определила не она, а «главным образом иная, скудная почвою природа и вызванные ею особенности в быте, занятиях и промыслах, равно как и различие в исторической судьбе после татарского погрома»²³¹.

Оценка результата осуществленного племенного объединения/слияния зависела в основном от того, как соответствующий автор относился к расовой и антропогеографической теориям. Последняя, в частности, обосновывала прямолинейную и обязательную зависимость облика, склада характера и типа хозяйственной деятельности от природных условий – следовательно, приобретение славянами Восточной Руси некоторых качеств, умений и черт психотипа финно-угров вполне могло быть объяснено воздействием природно-климатических факторов, сходно воздействовавших на представителей разных племен. Так полагал, в частности, этнограф-славянофил А.Ф. Риттих, подчеркивавший, что предприимчивость, сметку и крепость духа великорусы обрели, осваивая земли обитания финских народов²³². О том же писал В.О. Ключевский в своей очерке о характере великоросса²³³.

В.О. Ключевский усматривал воздействие финского («чудского») элемента во внешнем облике, говоре, обычаях и нраве великорусов, т.е. во всех «физических и нравственных особенностях» племени²³⁴. Соответственно, некоторые исследователи настаивали, что великорусов как антропологического типа попросту не существует²³⁵, ибо тот факт, что «великорусская народность образовалась из смешения славянских поселенцев, пришедших с запада и юго-запада, с различными племенами – финскими, монгольскими, тюркскими»²³⁶, рассматривался как этноисторический; дискуссии шли вокруг последствий и степени заимствований в разных областях (во внешнем облике, характере, склонностях и пр.). Так, А.П. Шапов, рассуждая об истории великорусского народа, сформулировал проблему более жестко, предлагая различать политическую историю «жителей Русской земли», подданных Московского/Российского государства (т.е. русской нации) и этнографическую историю великорусского племени (т.е. великорусского этноса): «Когда мы говорим – история великорусского народа, то... прежде всего рождается вопрос: да будет ли то история великорусского народа, когда, обзревая полный цикл фактов ее исторической жизни, мы то и дело будем встречаться... с многочисленными, разнообразными племенами финскими и турко-татарскими, которые и доселе еще населяют целые области и сплошными массами пестреют среди русского народонаселения? Будет ли та история одного великорусского народа, когда мы неизбежно будем говорить о целых царствах инородческих...»²³⁷ (Однако Шапов выделяет и общее поле этих двух историй: «первый результат» смешения славян и финно-угров на землях Северо-Восточной Руси он усматривает в «единогласном призвании князей»²³⁸.) И сорок лет спустя А.А. Ивановский, исследовавший уже строго научными антропометрическими методами антропологические типы народов России, утверждал: «Русские, соприкасаясь на громадном пространстве своего расселения с целым рядом инородческих племен, во многих местах успели подвергнуться большему или меньшему влиянию инородческой крови, и анализ физических черт русских, произведенный только на них одних, не был бы в состоянии с необходимой точностью уяснить... значение всех тех элементов, из которых складывается тот или иной антропологический тип»²³⁹. В конце XIX в. категорично высказался на эту тему П.Н. Милюков – представитель новой генерации историков: «...гораздо больше, чем “кровь”, в создании современных национальностей должна была участвовать “природа”, окружающая обстановка, т.е. главным образом климат, затем почва и другие географические условия»²⁴⁰.

*Теория Франчишека Духиньского
о туранском происхождении великорусов*

Как уже говорилось, обострение «польского вопроса» в связи с Январским восстанием 1863 г. актуализировало в российской научной публицистике поиски «польской интриги». В центре внимания вновь, как и в 1830-х гг., оказался комплекс проблем, которые с конца XVIII в. обсуждались в связи с разделами Речи Посполитой: об общем славянском прошлом и этногенезе славян, о цивилизационном выборе народов, принадлежащих к разным христианским конфессиям, об исторической миссии поляков и русских и т.д.²⁴¹ Основным методом осмысления стало масштабное сравнение двух народов: поляки и русские выделялись как своеобразные антагонисты в славянском мире, представляющие противоположные культурно-исторические модели в границах единой христианской европейской цивилизации.

Однако в контексте теории расового происхождения великорусов эта «интрига», строго говоря, началась чуть раньше, когда были опубликованы сочинения Франчишека Генрика Духиньского – польского историка и этнографа, родившегося на Украине, жившего в Киеве и в 1846 г. эмигрировавшего во Францию²⁴². Активно занимаясь политической и научной деятельностью, Духиньский сделал научную карьеру: был избран вице-президентом Французского этнографического общества и членом других научных обществ Франции²⁴³. Идеи польского автора получили поддержку французских коллег, не говоря уже о том, что были приняты польскими деятелями национально-освободительного движения.

Известность в широких кругах Духиньский получил благодаря своим этнографическим и историософским трудам по истории славян. В книгах, посвященных сравнительной истории Польши и России («Москвы»), он подробно реконструировал различия двух славянских племен²⁴⁴, анализируя целый ряд этнокультурных параметров: пространство обитания и климат, внешний облик/фенотип, этнический характер, политическое устройство, обычаи и духовную жизнь и др. Однако в своих заключениях Духиньский пришел к давно и до него не раз дискутировавшемуся в польской научной и публицистической литературе выводу о том, что «Москву» и «Польшу» (в расширительном значении каждого из понятий) разделяет прежде всего происхождение государствообразующего племени, «кровь». Славян Духиньский относил к европейским народам арийского происхождения, а «москалей» (великорусов) – к туранским, т.е. к финно-уграм. Он исходил из того, что «Новгород, Смоленск и восточные берега Днепра являются *границей всех тех областей*, в которых обитают *единые европейские народы* (выделено автором. – М.Л.), которые отличны от

москалей, – т.е. северная часть Новгородской губернии, восточная часть Тверской и Смоленской губерний, а также западные границы Калужской, Орловской (в... русле Десны) губерний, Курской и часть области Войска Донского – их обитатели относятся к уральским народам, к которым они и принадлежат по происхождению»²⁴⁵. Для Духиньского «Москва» по всем географическим, климатическим, почвенным, гидрографическим и даже ботаническим признакам есть Азия²⁴⁶ (например, «направление» Волги и всех рек ее бассейна – Оки, Камы, Тверцы, Москвы, Угры «выдает», по его мнению, принадлежность «Москвы» к «азиатской системе»²⁴⁷). Скандинавию с Финляндией и Прибалтику он относил к Европе.

Впрочем, по мнению Духиньского, не только географическая принадлежность разделяет «москву»/великорусов и славян; гораздо более значимым представлялся ему расовый (антропологический) фактор. Славян Духиньский относил к европейцам арийского происхождения, а великорусов – к азиатской группе туранских народов. Он причислял малорусов и белорусов к индоевропейцам-славянам, подчеркивая их антропологическое и культурное родство с поляками. Великорусы при этом оказывались в составе «уральской расы» (вместе с «финнами-чудью» и «турками»).

Рассматривая племенные свойства разных групп, именуя их склонности «стихиями», Духиньский убеждал читателей, что «у славян земледельческая стихия господствует над всеми другими стихиями. У москалей наоборот – скотоводческая (или пастушеская. – *М.Л.*), торговая (или купеческая. – *М.Л.*) стихия преобладает, о чем ныне всем известно»²⁴⁸. «Туранцы – народы кочевые и пастушеские, славяне – земледельческие и оседлые»²⁴⁹ – так, в соответствии с архаической дихотомией, классифицировал народы Духиньский. Подтверждение этому он находил в различных свойствах великорусов – в частности, в стремлении к колонизации и в отсутствии «тяги» к городской жизни, в связи с чем в «Москве» с ее обширными пространствами так мало городов²⁵⁰. И конечно, этнический характер москалей/великорусов представлялся совокупностью «варварских», с точки зрения цивилизованных европейцев, свойств. Духиньский приписывал великорусам коварство, ассоциируемое с «востоком»/Азией, жестокость, непоследовательность и т.п. «Московиты, – крестьяне и дворяне – нравственно гораздо ближе к крестьянину и дворянину китайскому, чем к крестьянину и дворянину белорусскому и малорусскому»²⁵¹. Подтверждением различий и границ между Рутенией и Московией становятся для него особенности быта (функции бани или предпочтение традиционных напитков), которые трактуются как расовые.

Первоначальный разговорный язык великорусов польский автор убежденно именовал туранским, а славянский представлял как

искусственно созданный на основе очень позднего освоения церковнославянского, т.е. «заимствованный». Наименование же «Русь» Духинский полагал несправедливо присвоенным «москалями», считая, что истинными обладателями этого имени следует считать обитателей Малой, Белой, Червонной и Черной Руси – малорусов и белорусов. Антропологическая дифференциация дополнялась историко-культурными и политическими различиями. Туранской традицией правления Духинский называл самодержавие («царат») – такая политическая форма, по его мнению, была несвойственна арийским европейским племенам. А более чем двухвековое татарское иго только укрепило в великорусском образе жизни азиатские черты (грубость нравов, бесправие женщин и др.) и обусловило ориентацию на Азию в политике и в колонизационных притязаниях Русского государства. Важный признак принадлежности к арийству польский ученый видел, в частности, в наличии и сохранении индивидуальной собственности – в отличие от «коммунизма» туранства, предпочитающего коллективные ее виды.

Концепцию Духинского – особенно в части «туранизма» – можно считать оригинальной лишь с очень значительными допущениями. Он, по сути, объединил две этногенетические концепции. *Первая* – собственно туранская теория, доминировавшая начиная с 1850-х гг. версия классификации финно-угорских народов, согласно которой их вместе с тюркскими народами относили к туранской группе. *Вторая* – идея о смешанном славяно-финском антропологическом типе великорусской отрасли русского (восточнославянского) народа. Отказывая великорусам в «славянскости», Духинский отвергает и родство восточнославянских племен, доказывая антропологическую и культурную близость малорусов и белорусов с поляками. Именно эта, вторая часть концепции имела далеко идущие идеологические последствия, поскольку украинофильские взгляды Духинского оказали серьезное влияние на позицию и аргументацию малороссийских патриотов, а также на конкретную политику властей в отношении русинов/малорусов в Галиции²⁵². Туранская теория в трактовке Духинского обрела официальный статус – в частности, излагалась в учебниках²⁵³.

Идеи польского историка разделяли некоторые французские ученые, в России же она вызвала резко критические суждения. При этом, несмотря на эмоциональность оценок, туранская теория в версии Фр. Г. Духинского не воспринималась в России в качестве серьезной и новаторской концепции, поэтому мы не встретим сугубо научного ее опровержения или детального анализа, хотя на страницах публицистической и учебной литературы идеи польского ученого упоминаются очень часто²⁵⁴. Вполне закономерно, что наибольший отклик они вызвали в той среде, которая была связана с малорос-

сийским движением. В опубликованной в журнале «Основа» статье «Две русские народности» (1861) Н.И. Костомаров писал: «Поляки, а за ними и западноевропейские ученые составили теорию, которая признает в великорусском народе такую большую примесь, что называет этот народ принадлежащим к туранской расе, смешавшимся несколько со славянской. Так как люди, проводившие эту теорию, совершенно не были подготовлены для обсуждения такого важного предмета, поэтому и теория их не имеет никакого научного достоинства»²⁵⁵. Такая реакция была обусловлена не только открытой русофобией и политическими взглядами польского патриота, но прежде всего его аргументацией и методологией автора. Духинский применял культурно-антропологические аргументы, чтобы доказать необходимость возрождения Речи Посполитой в ее границах 1772 г., до разделов, т.е. вместе с отошедшими к России украинскими и белорусскими землями, что было бы восстановлением не только исторической справедливости, но и племенного неразрывного единства славян; польское государство вернулось бы к своей мессианской роли, декларированной еще в эпоху формирования сарматской идеологии: быть оплотом Европы в защите ее веры и цивилизации от восточных/азиатских еретиков и варваров²⁵⁶. Именно этим было обусловлено заведомое неприятие сочинений Духинского, в системе доказательств явно присутствовал идеологический подтекст.

В России первые прямые отклики на концепцию Духинского появились в периодической печати в 1861 г. и принадлежали Н.И. Костомарову²⁵⁷, два года спустя о них высказался М.П. Погодин²⁵⁸, а еще через год вышла анонимная статья в журнале «Отечественные записки»²⁵⁹. Конечно, Костомаров в первую очередь отверг идею племенного и цивилизационного родства поляков и малорусов как основание для необходимости их объединения в границах единого польского государства. Он категорически отказывался принять этнокультурное разъединение «малорусов» и «великорусов», отрицая также племенное и цивилизационное единство русинов-малорусов и поляков, которое Духинский аргументировал историей топонимов и этнонимов. Н.И. Костомаров же утверждал, что «название “Русь” – не местное, а общее для всей суммы земель восточных славян... Сначала имя Руси давалось земле полян (земле Киевской), где зародилось зерно этой связи, а потом оно перешло на все земли, вошедшие в эту связь. Русь Червоная была земля русская, точно так же как и Рязань, и Великий Новгород, и Псков, и Тверь, и Полоцк, – все они были связаны одинаково сознанием единства, верою, книжным языком, сходными основами общественного устройства и институцией единого правительственного рода»²⁶⁰. Историк резко выступил не столько против включения великорусов в финно-угорскую антропологическую группу, сколько против

оппозиции «арийцы/туранцы», соотносимой с хорошо известными и активно применявшимися в этнографических классификациях категориями-дихотомиями «цивилизация/варварство», «культура/дикость», «право/беззаконие», «демократия/тирания», «свобода/рабство», которые использовались по отношению к противопоставляемым хозяйственно-культурным типам «оседлые земледельцы/кочевники-скотоводы» и др. Костомаров оспаривал гипотезу Духиньского как ошибочную, опираясь на языковой критерий как на главный в этническом определении и ничуть не отрицая процесса метисации. Как и многие другие, он не считал влияние финского физического типа на великорусов значительным: «...не раз думали унижить великорусов, провозвещая, что они – не славяне, а финны. Если б это была и правда, то разве есть в этом что-либо унижительное? ...Для великорусов не составляло бы ни малейшего стыда быть финнами, татарами, хоть калмыками, если бы они действительно ими были... Великорусы – не финны, а славяне, потому что не знают финских наречий, а говорят славянским. Правда, крови финской много вошло в великорусскую, но она ассимилировалась славянской. Подмесь финского племени не осталась без некоторого влияния на материальный и интеллектуальный строй великорусского народа, но господство осталось за славянской стихией... финского элемента вошло в великорусскую народность не столько, чтоб даже физиологически можно было назвать великорусов более финнами, чем славянами»²⁶¹.

Статья М.П. Погодина с красноречивым названием «Отповедь французскому журналисту» содержала критику в адрес иностранцев, разделяющих туранскую теорию, которая рождена была поляками, «мечтающими» не только завладеть западными территориями России с 10 млн человек населения, но и «отнять историю», «вытянуть кровь из наших жил и налить их финской и татарской микстурой»²⁶². Эту работу тоже неверно рассматривать как научно-полемическую – по жанру она ближе к иронической критике и интонационно выдержана в костомаровском духе. Погодин в характерной для своих журнальных статей манере заявляет о «готовности простить» «увлекающимся» фантазерам полякам подобные измышления, но выражает недоумение по поводу некритического их повторения французами. Не будучи знаком с книгами самого Духиньского, Погодин полемизирует с переложением его идей, действуя методом последовательного опровержения ряда тезисов. При этом уверенно констатируются следующие факты: великорусское племя – самое молодое и тем не менее самое многочисленное из славянских, а потому нельзя вести речь о его формировании из туранцев в период монгольского ига; финские и татарские племена живут рядом с великорусами и поныне, сохраняя свою

идентичность, поэтому непонятно, почему одна часть «превратилась» в великорусов, а другая нет; великорусский язык, бесспорно, «самый чистый и твердый между всеми славянскими наречиями»²⁶³, и это бесспорно.

Далее Погодин рассматривает совокупность исторических аргументов, обращая внимание, в частности, на то, что французский автор, пересказывающий Духиньского, к арийской Рутении (Малороссии) относит земли Новгорода и Пскова, центров русской государственности, отделяя их от туранской «Московии», – при всей очевидной близости новгородского и великорусского наречий. Касаясь проблемы финно-угорских топонимов, которые для оппонента Духиньского являются доказательством господства неславянского племенного элемента в Северо-Восточной Руси, историк риторически вопрошает, не существует ли аналогичная закономерность в других европейских государствах, если большая часть их территорий заселялась различными племенами на протяжении многих столетий. М.П. Погодин детально разбирает исторический очерк владими́ро-суздальских княжений, обнаруживая у автора ошибки и несуразности в интерпретации междоусобной борьбы и племенных наклонностей (в частности, стремления финнов-туранцев к автократии и сохранению религиозного наследия). Он упрекает сторонника туранской теории и в неверном разборе следующего этапа истории, с преобладающим монгольским (т.е. татаро-монгольским) влиянием, постоянно подчеркивая связанность и переплетенность Рутении и Московии на этом историческом этапе и общие для них последствия иноплеменных вторжений и завоеваний. «За финнов и татар автор все хорошие черты древней русской истории отдает своей Рутении и исключает совершенно Московию, неспособную ни к чему порядочному по самой натуре ее населения, а население-то было одинаково!»²⁶⁴ – восклицает историк. Несмотря на разбор отдельных положений, он по-профессорски разъясняет французскому апологету Духиньского исторические и антропологические несоответствия, насмешливо комментируя те его положения, которые кажутся очевидными для русского читателя.

Авторство статьи в «Отечественных записках» точно не установлено (иногда оно приписывается редактору журнала А.А. Краевскому). Она тоже написана в критически-ироничном духе, с ядовитыми насмешками в адрес Духиньского как писателя и его французских сторонников в кругах политиков и публицистов. Однако, в отличие от других откликов-рецензий, статья содержит обширные цитаты из книг и статей польского этнолога²⁶⁵, позволяющие читателю самостоятельно делать заключения о главных принципах «открытий» Духиньского – которые, впрочем, именуются «догматической частью... неисповедимой абракадабры»²⁶⁶. Ключевым в рассуждениях

российского публициста становится вопрос о том, почему обоснование племенной классификации славянских племен и великорусов оказалось в центре внимания французских политиков и правительства. Ответ на него автор статьи обнаруживает у самого Духиньского (в описании его публичного выступления): «...вопросы о неславянстве москвитов и принципы национальности и необходимости создать международный конгресс... идут рука об руку, и суть в настоящее время главные вопросы цивилизованного мира. ...Открытие, что москвиты – не славяне, – это величайшее научное и политическое событие наших дней – решает в то же время вопрос о восточных границах Польши...»²⁶⁷

Позже вышли статьи, которые можно расценивать как своеобразные отклики на идеи Фр. Духиньского (а не на его книги непосредственно). Две из них – А.Н. Пыпина и И.А. Бодуэна де Куртенэ – были опубликованы в связи с празднованием во Франции 50-летнего юбилея ученой деятельности Фр. Духиньского²⁶⁸. Лингвист Бодуэн де Куртенэ расценивал причисление великорусов к финно-уграм по языку как абсолютно несостоятельное в научном отношении, а Пыпин, подробно разбирая тезисы и аргументацию польского этнографа, детально рассматривал их в контексте сложной истории польско-русских отношений, что кардинально меняло взгляд на выводы Духиньского. Его теория, по мнению Пыпина, «была внушена не каким-либо подобием науки, а лишь безграничной племенной ненавистью... чтобы дать исход накопившейся вражде»²⁶⁹, и явилась следствием польской неприязни к России и русским как поработителям Польши не только в связи с разделами Речи Посполитой, закономерным итогом развития идей польского мессианизма и национальной мифологии польских патриотов.

Однако нельзя обойти молчанием и другую точку зрения, в той или иной степени связанную с осмыслением не самой теории Духиньского, а скорее вариаций идеологии так называемого туранизма, о которой не упоминалось ни в научно-популярной, ни в учебной литературе, ни в энциклопедиях того времени. А ведь среди российских ученых были те, кто полагал азиатское/туранское воздействие на русскую культуру допетровской эпохи гораздо более значительным, нежели византийско-европейское²⁷⁰. В 1880-х гг. вопрос о варварских предках восточных славян, соотносимых с гуннами или народами Центральной Азии, время от времени оказывался предметом дискуссии археологов и историков²⁷¹. Об этом писал в своей обширной статье и филолог-славист П.А. Бессонов²⁷², подчеркивая, что в российской науке болезненность и актуальность научной части полемики обусловлены прежде всего не изучением этногенеза славян, а центральным вопросом русской истории – о происхождении, сущности и расово-куль-

турных последствиях монгольского/туранского/татарского ига, непосредственно обусловивших современное «политическое бытие» и «общественный склад» русского народа, а также отношение к инородцам в Империи²⁷³.

Важным практическим следствием дискуссий по этим вопросам Бессонов считал их интерпретацию украинофилами, поскольку «теория “туранизма” имеет тот существенный признак, что совершенно выделяет из сей “заразы” *Малую Русь*, и по происхождению, и по влиянию на нее, обрушивая все потоки губительного источника на *Русь Великую*, вместе или отчасти с *Белою*. Это оказывает неотразимое действие на писателей и ученых из *малоруссов*, что заставляет одинаково и детей нашего Севера и Востока “огораживать”, “защищать” и “устранять” с опасного поля исследований “неповинную и безучастную в турано-монгольстве” Малороссию (выделено автором. – М.Л.)»²⁷⁴. Ученый доказывал, что определения «тур» и «тавр», давшие название туранизму, зародились на первобытном Кавказе и стали использоваться для обозначения «всех первобытных стихий», трансформировавшись в собирательное имя тех племен, из которых выросли все последующие народы. Имя туранов «после укрепилось и за теми, отставшими в развитии, племенами, которых привыкли называть “скитскими” или “чудскими”, по периоду области “скитания-кочевья”. Этот период, эту область прошли все, хотя “остатки” и “следы” сего в Европе преимущественно удержаны так называемой “чудью”... Одни старше, другие моложе и позднее “туран азиатских”, обозначаемых... именем “тюрко-монголов”»²⁷⁵. Однако, убеждал Бессонов, обособление ветви, впоследствии названной великорусской, от славянства происходит с «придунайской» или «скитской» эпохи, в ходе постепенного передвижения на северо-восток современной территории, так что на этом этапе контакты с тюрко-монголами были невозможны. Зато активны были взаимодействия с чудью («северной», старшей ветвью – так именовал автор западных финно-угров) и южной, «младшей» (т.е. восточными финно-уграми). Но чудь, по мнению автора, «вовсе не содержала в себе монголизма и слишком долго была чужда всякого тюркизма, пока последний усилился и начал завоевания»²⁷⁶.

В визуальных воплощениях физического слияния финнов и славян Бессонов не усматривал никаких примет «тюркизма» или «монголизма»²⁷⁷. Последовавший после нашествия татаро-монголов наплыв южнорусских переселенцев в Северо-Восточную Русь крепил ее славянскими антропологическими элементами. Лишь с середины XIII в., полагал автор, можно говорить «об отношениях Великой Руси к тюрко-монголам и о возможном влиянии со стороны сих последних». А к этому времени тип русский, как «славянский в основе, великорусский на вершине народной зрелости,

давно уже и вполне сложился»²⁷⁸. Все отклики и критические разборы позволяют утверждать, что теория Духиньского воспринималась прежде всего как псевдонаучное основание антирусской идеологии с элементами якобы новой расовой классификации. Следует подчеркнуть, что собственно антропологические приметы «славян» и «номадов-туранцев великорусов» не были доминирующими в системе аргументации обеих сторон, зато в ней в полной мере проявились основанные на культурных оппозициях евроцентристские предубеждения, восходившие к просвещенческим и романтическим моделям разделения человечества на высшие и низшие группы, причем иерархия пронизывала все области культуры и проявления этнической самобытности.

В научной литературе 1860-х – 1890-х гг. отклики на туранскую теорию именно в версии Фр. Духиньского встречались часто, а любые гипотезы о неславянском происхождении великорусского племени ассоциировались с враждебными «происками» поляков и приписывались польским патриотам. И.Д. Беляев в 1862 г. характеризовал ситуацию так: «Еще недавно бóльшая часть западноевропейских журналов и газет, по команде польских эмигрантов, общим хором утверждала, что мы великорусы, не кто другой, как татары, скифы, финны, гунны, тураны и чуть не турки, даже хуже турок... Да и в настоящее время между западными европейцами еще много охотников верить сим подобным толкам и рассказням»²⁷⁹; «нынешние крики польских эмигрантов с товарищами о каком-то монгольском и татарском происхождении великорусов есть ни больше ни меньше как горячечные бредни, ни на чем не основанные, свидетельствующие только о непомерной злобе современных поляков»²⁸⁰. К.Д. Кавелин, упоминая (1866) о концепции Духиньского, был уверен в том, что именно польские деятели извратили гипотезу о финской крови в великорусах, сделав ее орудием достижения целей, далеких от науки и исторической достоверности²⁸¹. В Словаре под редакцией И.Н. Березина (1875) также указывалось, что «новейшие польские писатели... утверждают, будто великорусское племя – туранское, смесь финского и других азиатских племен, а не славянских, между тем как в действительности число великороссов славянской крови в пределах Великой России уже с древних времен было весьма значительно»²⁸². Антрополог А.П. Богданов полагал, что даже краниологические (из данных археологии) и антропологические материалы в состоянии стать аргументами для доказательства слияния славян как с финнами, так и с тюрками: «Кому захочется провести теорию урало-алтайского происхождения русских, тот пусть подберет черепа из тех местностей, в коих в русское народонаселение вошли обрусением племена сказанного происхождения. Для ищущего своего благополучия в туранском происхождении русских тоже найдутся

подходящие местности и подходящий материал, который на первый взгляд будет даже казаться не подтасованным нарочно»²⁸³. «Польский след» появления туранской теории происхождения великорусов подробно разбирали Э. Реклю в этнографическом описании народов Российской империи²⁸⁴ и Д.Н. Анучин в статье «Великоруссы»²⁸⁵. Складывается впечатление, что и сам термин «туранская теория», дефиницию которого в нормативных текстах XIX в. нам обнаружить пока не удалось, соотносился именно с концепцией Духиньского, а не с расовыми классификациями западноевропейских антропологов или лингвистов.

Многие российские историки доказывали несостоятельность этой концепции, усматривая в ней лишь идеологические мотивы. И.Д. Беляев категорически заявлял, что «...мы не турки, не татары, не гунны, не какие-то тураны, – это ясно как светлый день, этому неумолкающий свидетель – история... ни татарского, ни турецкого, ни какого-то туранского переселения в здешний край история не ведает, и его никогда не было на самом деле. Вся азиатчина, которую польские крикуны навязывают нам в родоначальники и предки, или только держалась временно на южных степных окраинах нынешней Российской империи, или только проходила через русские земли, не оставляя на них следа»²⁸⁶. Заключительным этапом такой рецепции идей польского исследователя можно считать статью о нем в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона²⁸⁷, автор которой констатировал: «...теория Духиньского представляет собой лишь стремление облечь в форму научной системы политические мечтания и чувства польской эмиграции...»²⁸⁸ Политическая и идеологическая подоплека как самой концепции, так и ее отторжения вполне понятна.

Метисация как неизбежное следствие колонизации

В 1860-х – 1870-х гг. вышло немало научных работ, посвященных проблеме племенного слияния славян и финно-угров. Их появление было обусловлено, в частности, обострением «польского вопроса». В этом контексте проблема степени этнической близости и отличительных особенностей малорусов и великорусов выдвинулась в русло изучения этногенеза великорусского племени. Никто не отрицал «вереницу разноплеменных смешений», в результате которых это племя сложилось, однако вариантов было несколько. Их различие обнаруживается в исторической части этногеографических очерков, в которых выделяется несколько волн, или этапов, колонизации. Им соответствуют ассимиляционные процессы на осваиваемых

мых территориях; в этом смысле известная формула С.М. Соловьева – В.О. Ключевского: «... древняя русская история есть история страны, которая колонизируется»²⁸⁹ – «История России есть история страны, которая колонизируется... (выделено мной. – М.Л.)»²⁹⁰ включает и антропологические трансформации этнического типа.

Первый этап, который подробно освещался почти во всех учебных текстах, связывался с миграцией славян на север европейской части России еще до призвания Рюрика и описывался, как правило, по «Повести временных лет». Значимость данного исторического отрезка определялась необходимостью критики норманской теории. На этом этапе процесс изменения «пришельцев» – кривичей и словен – рассматривался как приведший к «переработке» антропологических воздействий «туземных финских и пришлых славянских племен и частью скандинавского племени»²⁹¹. Однако в другой своей работе тот же автор (И.Д. Беляев), опираясь на многочисленные исторические источники (в том числе и на записки европейцев о Руси и Московии), доказывал, что ни монгольские, ни другие племена (даже финские) не находились «в сродстве с русскими», а главные жители Русского государства всегда оставались «чистыми славянами»²⁹², и возводил великорусов к новгородцам или ильменским словенам, которым и принадлежала заслуга первой волны колонизации восточных территорий и «ославянивания здешних робких и полудиких старожилов»²⁹³. С призванием Рюрика к этим колонизаторам прибавились варяги; в результате составилось «одно цельное племя – варяго-русско-новгородское»²⁹⁴.

Следующий этап освоения более южных территорий, осуществлявшегося по рекам, связывался с другими славянскими племенами – вятичами и в меньшей степени с кривичами, которые в одно время с ильменскими словенами на будущих новгородских землях заселяли Волго-Окское междуречье. В этом регионе Беляев тоже признавал лишь смешение местных славян с переселенцами из числа «старых чисто русских»²⁹⁵ жителей из Приднепровья (начиная с XIV в.). Он полагал, что с присоединением очередных уделов всё новые этнические элементы принимали участие в формировании «самостоятельного, чисто русского типа великорусского племени», «гнездом» которого стал Ростово-Суздальский край. С татарским нашествием «окончательно сложилось в здешнем крае как бы новое русское племя великоруссов, в котором органически соединились все живучие и деятельнейшие силы русских племен из всех краев Русской земли, которое потому и получило имя великорусского племени как представителя всех русских племен, как племя всероссийское, а не частное и местное»²⁹⁶. Данная позиция неоригинальна: в ней нашли отражение главные тенденции трактовки пространства и времени формирования великорусского типа, возникшие еще в се-

редине XVIII в. Этот тип, по мнению Беляева, складывался из многих славянских этнических групп в качестве «естественного центра», притом не завоеванием, а «колонизацией и значением». Важно подчеркнуть, что Беляев полагал великорусский тип «чистым» всероссийским (русским) этнографическим типом, отрицая в его этнографическом облике наличие каких бы то ни было нерусских черт. Следствием этого историку представлялась неизбежность соединения всех восточнославянских народов в составе «единого государства Всероссийского». С концепцией Беляева категорически не соглашался его современник, антрополог А.П. Богданов, безапелляционно утверждавший, что «призвание варягов не оставило антропологического следа» на великорусах²⁹⁷.

Н.И. Костомаров тоже не раз подчеркивал различие славянских племен Новгородской земли и Владимиро-Суздальской Руси, обращаясь к важному для него вопросу об историко-генетической преемственности Новгородского и Киевского политических центров (которые он противопоставлял Владимиро-Суздальскому, т.е. великорусскому; подробнее об этом говорится в главе пятой): «...на севере поселилась... ветвь южнорусского племени – часть русинов... ветвь, образовавшая Землю Новгородскую. Восточная Россия, страна Суздальско-Ростовская и Белозерская также из глубокой древности, приняла в себя славянский элемент»; «...племя вятичей... следуя в своем расселении от запада к востоку, занимало эти страны; с другой – туда двигались с севера новгородские переселенцы»²⁹⁸. Таким образом, в конце XII – начале XIII в. «славянский элемент водворился в этих краях»; так «составилась великорусская народность, народность самая поздняя, но ясно показывающая в себе перевес славянских начал». «Финские племена ассимилировались только отчасти»²⁹⁹, – не сомневался историк, а вятичей считал «зерном великорусской народности»³⁰⁰.

И двадцатью годами позже антрополог В.В. Воробьев констатировал, что в состав современного великорусского типа входят в основном «славянские и финские элементы», – не отрицая, впрочем, «примеси» варяжской и монгольской крови³⁰¹, хотя и принимал трактовку Беляевым изначального славянского племенного типа и региона формирования нового – великорусского – типа не в Новгородской, а во Владимиро-Суздальской Руси. Воробьев считал вполне аргументированной гипотезу о том, что между IX и XII вв. «в области будущего ядра великорусского населения осели... на земли, занятые финскими племенами, главным образом новгородские (ильменские) славяне, близко родственные им кривичи, а также вятичи»³⁰².

При этом он был абсолютно убежден, что освоение этих странств не могло осуществиться без смешения славянской и финской крови мирным путем, так как происходило постепенно. «Коло-

низация совершилась, по-видимому, не сразу большими массами, а постепенно, мелкими партиями, отдельными островками. Встречаясь с мирными по природе финнами, новые насельники края должны были частью подавить и поглотить их, частью же слиться с ними, воспринять от них некоторые физические, лингвистические и психологические черты, составив с ними, наконец, одно целое – великорусское племя»³⁰³. Антрополог разделял идею влияния варяжской крови (особенно на высшие классы), но отвергал утверждение Беляева об отсутствии следов монгольской примеси в великорусах, подчеркивая, что последние все же очень незначительны: «...во время великого нашествия монголов татарские орды хотя и доходили до верховьев Оки и даже выше, но нигде в этих местах долго не задерживались... Тем не менее отрицать влияние монгольской крови так категорически, как делает это, например, профессор Беляев, едва ли возможно. Борьба с пограничными тюркскими племенами на востоке, затем самый факт прохождения татарских полчищ через земли Владимиро-Суздальского края не могли, особенно при нравах того времени, не примешать хоть частичку монгольской крови»³⁰⁴.

Историк М.Н. Покровский в начале 1920-х гг. также однозначно утверждал, что «московский центр – пространство между Верхней Волгой и Окою» был вторым после Великого Новгорода «базисом колонизационного движения Руси на север»³⁰⁵, где «...слабое и разрозненное финское население легко уступало... свои места славянам-пришельцам из Новгородской Руси. С незапамятных времен кривичи и словене с варягами проникли в эти места, основали среди финнов-аборигенов свои города (Ростов, Суздаль) и стали от них распространять хозяйственные заимки по Волге и Оке. Позднее в соседстве с северноруссами подошли сюда с юга и юго-востока восточно-руссы (вятичи) и осели на Верхней и Средней Оке. Под напором русских племен финны исчезли из края, отодвинувшись на северо-восток или же растворившись в русской стихии. Таким образом на пространстве меж Верхней Волгой и Окою создалось сплошное русское население»³⁰⁶. Как видим, Покровский также фиксирует разные славянские племенные союзы (по Нестору: кривичи и словене, с одной стороны, и вятичи – с другой). Историк различал два направления славянской колонизации как по племенному составу, так и по месту их обитания на землях будущих княжеств: «Между северноруссами и восточноруссами, суздальцами и рязанцами не было мира и шла вражда за колонизируемую землю. Вятичи-рязанцы поставили предел распространению на юге северноруссов за Оку, а последние, в свою очередь, не пускали на север... рязанцев»³⁰⁷.

Таким образом, проблема колонизации рассматривалась в нескольких ракурсах, однако центральным звеном нарратива по-преж-

нему оставалась проблема великорусской «крови», т.е. антропологического типа и истории этногенеза.

Наконец, чрезвычайно актуальным в общественной мысли и публицистике 1880-х – 1900-х гг. стал вопрос о современных ассимиляционных процессах, об обрусении инородцев, в первую очередь финно-угорского происхождения. Он обсуждался в двух аспектах: *во-первых*, с точки зрения антропологических процессов естественного слияния великорусов и неславянских народов Поволжья, Сибири и окраин; *во-вторых*, в связи с культурно-цивилизационным воздействием русских/великорусов на инородцев в ходе этнического растворения последних. Следует обратить внимание на то, что само понятие «слияние» в описаниях этнонациональных процессов использовалось в двух смыслах. Один подразумевал идеологический и политический характер реализации проекта «единой и неделимой России» – именно его теоретические установки и практические аспекты разобрала в своей работе Е.А. Воробьева-Кэмпбелл. Она подчеркивала, что «под слиянием понималось не поглощение», а, согласно записке А.П. Николаи, «порядок вещей, при котором две народности различного происхождения должны находиться под влиянием одного и того же экономического и социального строя, повиноваться одним и тем же всеобщим законам и следовать тем же побуждениям»³⁰⁸. «Результатом такой политики, – пишет Воробьева, – ожидалось не столько уничтожение различий в культурах, сколько установление “тождества интересов” в экономических, политических и социальных отношениях»³⁰⁹. В Записке Николаи, на которую ссылается историк, говорилось об иноплеменных окраинах, а их перечисление свидетельствует о том, что речь шла о регионах (Сибирь, Туркестанский край, Кавказ, Закаспийский край) или о цельных исторических и политических образованиях (Царство Польское, Прибалтийский край, Финляндия), вошедших в состав Российского государства. Поэтому под «слиянием» понимался естественный для каждого государства и Империи процесс интеграции отличающихся от ядра составных элементов, присоединенных разными способами и в разное время. Иная этническая и конфессиональная принадлежность новых подданных была данностью, но не составляла особой проблемы – ведь в первую очередь важно было «договориться» с правящей элитой этих сообществ³¹⁰. И хотя, как верно отмечает Е.И. Воробьева-Кэмпбелл, главная цель в этом процессе сближения/слияния действительно отводилась «великорусской народности», последняя в этом контексте понималась как «государствообразующий этнос». Современная исследовательница В. Тольц, трактуя термин «слияние» в том же политическом значении, подчеркивает, что начиная с 1870-х гг. он «мог означать культурную ассимиляцию, но многие из тех, кто использовал его, были уверены, что интеграция

нацменьшинств может быть достигнута и без неременной потери их этнической и религиозной идентичности»³¹¹.

Другой смысл понятия «слияние» явно доминировал в этногеографической литературе, где под ним понимался процесс антропологической – в первую очередь физической и только потом культурной и конфессиональной – ассимиляции. В этом случае «слияние» подразумевало формирование новой этнической общности – с единой «кровью», «почвой» и исторической судьбой, но сложносоставной в племенном отношении. Интересно, что в этом контексте смылоразличений и понятие «обрусение» могло пониматься двояко: в политическом и этнографическом значениях. Так, А.М. Калмыкова, в 1870-х гг. резко критикуя одного из авторов популярных книг для народа за навязывание идеи необходимого обрусения (он применял именно этот термин) Прибалтийского края как средства избавления от немецкого влияния, упрекает его в неточном использовании понятий «русский» и «обрусение»: «Автор... говоря об обрусении, которое и мыслимо только в смысле политическом, так как невозможно немцу переродиться в русского, мечтает об обрусении края в смысле этнографическом. ...Смешение политического и этнографического значения слова *русский*... вовлекло автора в коренную ошибку и как бы в противоречие с самим собой: ратуя за обрусение в смысле уважения к национальности края, он забывает о господствующей там национальности – эстах и латышах, которых тем лучше и удастся “обрусить” в смысле политическом, чем резче для них выступит различие между угнетением... и предоставлением простора для их национального чувства...»³¹².

К 1890-м гг. было собрано значительное количество материалов и предпринято множество исследований о быте, языке и материальной культуре инородцев Российской империи (прежде всего финно-угорских и сибирских народов); на этом основании был сделан вывод об их склонности к ассимиляции и потому неизбежном обрусении. В этнографической репрезентации русских в начале XX в. указывалось, что «после сформирования национальностей (трех племен русских. – М.Л.) расселение русской народности происходило... исключительно на восток и на юг. Оно совершенно не замечается в западном направлении, где... растет уровень культуры – препятствия, которое не помешало росту государства в этом направлении, но удержало от распространения более слабую в культурном отношении русскую нацию»³¹³, а все «народности», находящиеся на более высоком уровне развития (поляки, шведы, литовцы, немцы), вошли, как подчеркивает автор, недобровольно. Соприкосновение с инородцами на востоке приводило к другим последствиям: «...в тех случаях, где культурное различие с обеих сторон было не особенно значительно, слияние в виде общения происходило и происходит

довольно легко, оставляя свое влияние как на физическом типе смешанного населения, так и на его быте и языке»³¹⁴. Стереотипным для научной и научно-популярной литературы 1860-х – 1900-х гг. можно считать следующее заключение, принадлежащее историку И.К. Бабсту: «Ни одна страна в мире не может представить такого разнообразия племенного состава, столько разнообразных типов, но ни одно не представляет вместе с тем и такого многочисленного и однородного ядра, как Россия. Это ядро есть племя русское в обширном значении этого слова (т.е. в составе трех восточнославянских племенных групп. – *М.Л.*) – единственное мощное славянское племя, единственный в своем роде колонизатор. Но этой колонизаторской способностью отличается главным образом одна отрасль русского племени – великоруссы»³¹⁵.

Нельзя не упомянуть в связи с этим важную теоретическую работу этнографа Н.Н. Харузина, написанную в 1894 г. и посвященную проблеме ассимиляции как обрусения или, напротив, потере русской идентичности³¹⁶. Автор обратился к острой для того времени проблеме так называемой ассимиляционной способности русского народа. Эта особенность, как говорилось ранее, рассматривалась в качестве важной черты великорусского племени – начиная с самой ранней истории. Ее связывали с отсутствием исключительности и нетерпимости, благодаря чему пространственное распространение славян в процессе колонизации новых территорий не уничтожало представителей других племен. Как писал историк С.В. Ешевский, «процесс слияния совершался путем мирным, естественным... Там, где русская народность соприкасалась с народностью, уже резко обозначенною, крепкою... она и там не пыталась насильственно сломать это упорное сопротивление... Чем дальше идем мы мыслью в древнюю историю русского племени, тем менее встречаем следов замкнутости, неприязненного воззрения на племена чуждые», что, в свою очередь, порождает «легкость воспринимания в себе чуждых элементов, способностью вбирать их в себя, перерабатывая это в свою собственную народность»³¹⁷. Именно эта способность получила наименование «ассимиляционная».

Вопрос о ней имел серьезные не столько теоретические, сколько практические последствия, будучи весьма болезненным для политиков (как консервативной, так и либеральной ориентации), для ученых-этнографов, которые также имели несходные позиции по вопросу о двустороннем процессе слияния этносов. Н.Н. Харузин новаторски в методологическом отношении поставил вопросы об истоках появления и адекватности понятия «ассимиляционная способность», а также о причинах, последствиях и природе этого расцениваемого как передающегося по наследству «этнического свойства». Определение «способности» ученый признавал неудачным.

Во-первых, он не разделял концепции существования каких бы то ни было врожденных склонностей этноса, а *во-вторых*, доказывал неправомочность приписывания русским способности к ассимиляции, ссылаясь на примеры ее «утери», когда русские «забывают свою национальность» (например, так называемые объякученные русские или «полуверцы» Эстляндии, казаки в предгорьях Тянь-Шаня, иртышское и киргизское казачество), вследствие чего происходят не только активные заимствования в материальной культуре, языке и верованиях, но и полное слияние с инородцами на окраинах. Харузин предлагал рассматривать процесс слияния/ассимиляции как взаимный (равнонаправленный как со стороны его объекта, так и со стороны субъекта процесса), с учетом прямо противоположной «реакции» на вероятное обрусение – стремления к сохранению этнокультурной самобытности («национальных черт») ³¹⁸. Кроме того, он подчеркивал, что в качестве примеров следует рассматривать лишь те случаи обрусения, которые не связаны с русификаторской политикой властей и «мощным ее инструментом – школой». Тем самым ученый подчеркивал разницу между традиционными («снизу») и модернизаторскими («сверху») способами ассимиляции и между русификацией как насильственным или осознанным процессом изменения этничности и обрусением как естественным и органичным процессом.

Как и другие антропологи, Харузин исходил из очевидного факта физической метисации русских с теми этническими группами, с которыми они сосуществовали на протяжении своей этнической истории и продолжают контактировать. Результатами являются изменение физического облика славян и антропологическое обрусение некоторых из «соседей» – в особенности «восточной группы финнов».

По мнению Харузина и других ученых, больше всего подвержены обрусению финно-угорские народы севера и северо-востока России (лопары, карелы, мордва, черемисы, пермяки, вотяки и др.) – в отличие от западных финнов (финнов Финляндии и эстов), а также представители некоторых монгольских, тюркских или арктических азиатских племен. Мало подвержены либо вовсе не подвержены ассимиляции русскими, как считалось, степные кочевые племена, кавказские горцы. Иначе говоря, не этническая принадлежность определяет степень склонности к обрусению. Не кажутся убедительными исследователю и мнения о зависимости степени обрусения от позитивного или негативного отношения к русским или от форм заключения смешанных браков (русский муж и жена-иноверка или наоборот) – он утверждает, что при интенсивных контактах, связанных с торгово-экономическими отношениями или совместным проживанием, процесс совершается одинаково интенсивно. Этнограф

ссылаясь на известные примеры «утери» русскими своей так называемой ассимиляционной способности, что заставляет усомниться в правомерности применения термина. Напрашивающееся заключение о «национальных особенностях» русских или инородческих народов – склонных или стойких к иноэтническому влиянию – Харузин решительно отвергает, поскольку представители одного и того же этноса (в том числе русские) в разных географических и исторических условиях, а также в зависимости от количественного преобладания и уровня развития религиозных воззрений могут проявлять различную степень «устойчивости»³¹⁹. Ученый полагал, что причину следует искать в комплексе факторов, причем главенствующим предлагал избрать «культурный уровень сталкивающихся народностей»³²⁰.

Н.Н. Харузин смоделировал несколько вариантов ассимиляционного взаимодействия в обоих видах – при обрусении инородцев и при потере русской этнической самобытности. В каждом из них он выделяет тип взаимодействия, который можно обозначить как влияние, вызванное освоением русскими разных геоклиматических условий в ходе колонизации новых территорий. Эта естественная адаптация приводит к восприятию новых форм материальной культуры (жилище, пища, одежда, способы хозяйствования и землепользования) и соответствующих им понятий в языке. При этом объем заимствований у инородческих племен больше, если они земледельцы, и меньше, если они кочевники³²¹. Именно превосходство в культуре, особенно схожей по типу (дефиниции которой ученый не дает, но вполне очевидно, что он имеет в виду известную этнографическую классификацию эволюционистов), определяет, с точки зрения Харузина, «устойчивость» к значительным (вплоть до утраты идентичности) чужеродным воздействиям в области быта, языка, образа жизни и, напротив, тенденцию к ассимиляции других этнических групп. Поэтому он предлагал отказаться от понятия «ассимиляционная способность» как не соответствующего истинному положению дел.

Харузин не полемизировал открыто с этнографом, у которого заимствовал большую часть сведений о «восточных» финских народах Поволжья, – И.Н. Смирновым (тот двумя годами ранее изложил свое понимание причин почти полной их ассимиляции³²²), однако версия Смирнова подразумевается среди оспариваемых гипотез. При этом в главных выводах о «культурных уровнях» этносов³²³ Харузин полностью разделял мнение Смирнова о неизбежности слияния финно-угорских народов с русскими – ведь нельзя было бы предполагать, что в ближайшем будущем уровень развития финно-угров «повысится» до уровня русских³²⁴. Такая же участь предполагалась для некоторых тюркских и сибирских племен – и это даже

при оговоренных этнографом условиях отказа государства от цивилизаторских усилий и обеспечения «свободного взаимодействия» между контактирующими этническими группами.

Однако ни один из двух авторов не обращался к проблеме самоидентификации (даже на уровне эндонимов) рассматриваемых ими этнических групп – ни русских, ни инородцев (как сохранивших, так и потерявших свою национальную физиономию в прямом и переносном смысле). Этничность интерпретируется обоими исключительно как внешняя идентификация, осуществляемая исследователем, вооруженным адекватным инструментарием для фиксации, классификации и номинации. Надо учесть, что Н.Н. Харузин строил выводы на основании не только собственных, но и многочисленных этнографических описаний упомянутых этносов и групп, т.е. занимался не этнографической, а этнологической работой и последовательно отвергал существующие гипотезы коллег. Так или иначе, Харузин зависел от их эмпирического материала – поскольку важнейшая проблема самоопределения была для него неактуальна.

Таким образом, в конце столетия вопрос о четком соответствии физических признаков или расовых свойств материальным и ментальным особенностям этноса был снят. Но на основании прежнего цивилизационного подхода оформилась, исходя из эволюционистского учения, «культурная» классификация. «Культура» в этом случае понималась широко – как совокупность всех признаков этничности («материальных» и «духовных»), но зафиксированных на строго определенном отрезке-стадии. Такое распределение этносов в синхронии и диахронии снимало жесткость и несоответствие друг другу известных классификаций по одному или нескольким признакам. Но неопределенность и традиционная оценочность термина все же допускали довольно субъективное толкование. Поэтому в своих лекциях рубежа XIX–XX вв. и Николай Николаевич, и Вера Николаевна Харузины предпочли отказаться от данной классификации, предложив заменить ее на установление эволюции различных сторон этнической культуры по отдельности³²⁵.

В конце XIX столетия антропологи расценивали концепцию формирования великорусского племени из нескольких этнических типов – путем метисации славян и финно-угров – как общепризнанную. В заключениях физических антропологов, опиравшихся на количественные методы исследования, доминировала гипотеза о «смешанном» физическом происхождении современных великорусов, разновидности (региональные типы) которых представляют собой результат исторических метисаций на разных этапах колонизации, с доминированием славянских и финских элементов³²⁶. Зограф писал о том, что только профессор А.П. Богданов «склоняется

к тому, чтобы видеть в славянине, вошедшем в состав великоруса, представителя еще не расчлененного первообитателя Европы, того полугипотетического обитателя, которого германские антропологи называли “Ureuroäer”, тогда как в другом типе, вошедшем в кровь великоруса, он предполагает народность, близкую к первичным представителям монгольского племени»³²⁷. Д.Н. Анучин, подводя итог научным антропологическим исследованиям второй половины столетия, резюмировал, что и в лингвистическом, и в антропологическом отношениях великорусское племя (как и малорусское) испытало влияние языка и крови тех народов, с которыми в той или иной степени контактировало и смешивалось (прежде всего с финскими и тюркскими). По мнению ученого, это не помешало великорусам сохранить и свой язык, и свою «народность» (этнокультурную самобытность), но не могло не оставить отпечатка на антропологическом типе: «Это образование великорусского народа из соединения разных элементов, происходило ли оно путем брачного смешения славян с финнами или путем непосредственного, постепенного обрусения последних, по необходимости должно было оказать известное влияние на видоизменение первоначального типа, какой представляли в своем сложении и облике русско-славянские племена прежде их утверждения на территории финнов»³²⁸.

В Словаре под редакцией С.Н. Южакова (первое десятилетие XX в.) гипотеза об азиатском происхождении финно-угров объявляется несостоятельной и устаревшей: «...прежнее убеждение в азиатском пришлое происхождении этих племен не выдерживает критики, их следует считать коренным древним населением Европы»³²⁹. А в статье того же Словаря «Великоруссы» представлен законченный вариант их этногенеза. Здесь констатируется как доказанный факт, что территория современной Великороссии («с северо-востока России далеко на юго-запад, включая нынешнюю Кострому, Владимир, Московскую, Калужскую губернии и переходя отсюда в бассейн Днепра... кончая Десной»³³⁰) в то время, когда славяне обитали еще в Прикарпатье, на Верхней Висле и на Волыни, была заселена исключительно финскими племенами. Первое столкновение славян и финнов произошло в V–VII вв., в IX–X вв. они окончательно утвердились в Поднепровье и оттуда начали «колониционную деятельность». В «области будущего ядра великорусского населения» между XI и XII вв. проникли главным образом новгородские (ильменские) словене, близкородственные им кривичи и вятичи. Покорив финнов, славяне частично уничтожили их, а частью поглотили и сами слились с ними, восприняв от них некоторые физические, лингвистические и психические черты и составили с ними в конце концов одно этническое целое – великорусское племя»³³¹.

В Энциклопедии бр. Гранат также подчеркивалось, что восточные славяне подвергались смешению с тюркскими и финскими племенами, «испытав на себе сильную примесь инородческих элементов», причем великорусский тип «усвоил себе известную долю» прежде всего «элементов» финского происхождения (весь, меря, мурома), малорусский – тюркского, а белорусский, хотя и подвергся влиянию литовцев и поляков, менее других подвергся метисации³³². Отмечена прямая взаимосвязь между «тремя ветвями русского населения» современной России и племенами Несторовой Руси: белорусы объявлены потомками кривичей, малорусы – потомками древнего населения Галиции и Волыни (белых хорватов и единоплеменных с ними волынян), а переходное от малорусов к белорусам население припятского полесья «есть остаток древних древлян... и дреговичей»³³³. В тексте «Полного географического описания» в очерке о великорусах после обширного фрагмента об их этногенезе делается заключение о незначительности финского влияния, ведь «примесь слившихся... инородческих (финских) элементов оставила несомненно и свои следы, хотя настолько слабые и неясные, что современные антропологи и лингвисты с трудом различают их... Во всяком случае, великороссы не являются народностью безусловно чистой...»³³⁴. Таким образом, и к началу XX в. вопрос о степени участия славянского и финского «элементов», оставаясь одним из центральных в антропогенезе великорусов, трактовался по-разному. Объяснения по-прежнему зависели от оценки процесса физического слияния разнородных племен и от интерпретации состояния начальных племенных стихий (включая видение расовой дифференциации). Но и в конце 1920-х гг. в статье Д.К. Зеленина констатировалось, что на «этот момент» в отечественной науке пока нет полного исследования процессов антропологического взаимодействия финнов и славян в связи с формированием великорусского племени³³⁵.

Таким образом, концепции этногенеза великорусов за столетия не претерпели кардинальных изменений – трансформация касалась в основном интерпретации механизма слияния славянских и финских групп в процессе колонизации и аккультурации. При этом исследователям важно было разделить культурную и антропологическую/физическую ассимиляции, установить, как смешение/слияние влияло на язык, внешний облик, социальные и политические формы, характер и образ жизни. Несмотря на указанную противоречивость трактовок метисации – позитивные, негативные и нейтральные оценочные суждения о великорусах как возникшем этническом образовании, – в целом можно считать, что исторически объяснимое физическое/расовое смешение господствующего русского племени (и на раннем этапе догосударственной истории, и в ходе последующей

колонизации новых территорий) рассматривалось как важный фактор политической, социальной и этнической отличительности России, ее нации. Однако это порождало невозможность однозначной интерпретации современных процессов обрусения инородцев, которая могла осуществляться с разных позиций и в разных контекстах: как естественное и привычно-характерное для русских воздействие на представителей иных племен, как благотворное цивилизующее влияние представителей высокоразвитой культуры на менее развитую, как перспективное с точки зрения государственной интеграции сближение/слияние племен в единую русскую нацию. Характерно, «предсказание» о будущем России, сформулированное в 1868 г. историком И.К. Бабстом: «...и все ближе и ближе тот час, когда на всем обширном пространстве северной, северо-восточной России будет одна речь, один говор, будет сидеть одно племя, сложившееся из бойкого, подвижного, тароватого великоруса и трудолюбивого, неумомимого, домовитого домоседа финского племени»³³⁶.

Важно подчеркнуть и то, что физические признаки великорусского племени и качества его темперамента/нрава не могли восприниматься как неизменные, а «состав крови» позволял легко объяснять все признаки русской самобытности – отличия как от европейской, так и от азиатской моделей.

Примечания

- 1 Павловский И. География Российской империи: В 2 ч. Дерпт, 1843. Ч. 1. С. 192.
- 2 Редров А. Предисловие // Руководство к изучению русской земли и ее народонаселения / По лекциям М. Владимирского-Буданова сост. и издал преподаватель гимназии во Владимирской киевской военной гимназии А. Редров. Киев, 1867. С. XIII.
- 3 Учебная книга географии. Российская империя: Курс гимназический / Сост. А. Лебедев. СПб., 1873. С. 33.
- 4 Максимов С. О русских людях. Рассказ второй. СПб., 1865. С. 22.
- 5 Там же. С. 26.
- 6 Кузнецов Я. Учебный курс географии Российской империи. СПб., 1855. С. 71.
- 7 Максимов С. О русских людях. С. 43.
- 8 Успенский Г. Вступление // Успенский Г. Опыт повествования о древностях русских: В 2 ч. 2-е изд. Харьков, 1818. Ч. 1. С. 1.
- 9 Там же.
- 10 Там же. С. 18.
- 11 Н.Н. (Надеждин Н.И.) Великая Россия // Энциклопедический лексикон / Под ред. Н.И. Греча и О.И. Сенковского. Изд. А.А. Плюшара: В 17 т. (не окончено). СПб., 1834–1841. Т. IX. СПб., 1837. С. 265.

- ¹² Там же.
- ¹³ *Мостовский М.* Этнографические очерки России. М., 1874. С. 1, 9.
- ¹⁴ *Павловский И.* География Российской империи. Ч. 1. С. 189.
- ¹⁵ *Паули Г.-Т.* Народы России. СПб., 1862. М., 2007.
- ¹⁶ *Вульпиус Р.* Вестернизация России и формирование российской цивилизаторской миссии в XVIII веке // *Imperium inter pares: Роль трансферов в истории Российской империи (1700–1917)* / Под ред. М. Ауста, Р. Вульпиуса, А. Миллера. М., 2010. С. 14–41.
- ¹⁷ *Ионов И.* Рождение теории локальных цивилизаций и смена научных парадигм // *Образы историографии.* М., 2001. С. 64.
- ¹⁸ *Вшленкова Е.* Человеческое разнообразие в локальной перспективе: «большие теории» и эмпирические знания (Казань, первая половина XIX в.) // *Ab Imperio.* 2009. № 2. С. 265–266.
- ¹⁹ *Харузин Н.* Этнография: Лекции, читанные в Императорском Московском университете: В 4 вып. СПб., 1901–1905. Вып. 1. СПб., 1901. С. 53.
- ²⁰ *Ратцель Ф.* Народоведение / Пер. с нем. Д. Коропчевского: В 2 т. СПб., 1904. Т. 1. СПб., 1904. С. 14.
- ²¹ *Коропчевский Д.* Расовая и этническая группировки // *Ратцель Ф.* Народоведение / Пер. с нем. Д. Коропчевского: В 2 т. СПб., 1904. Т. 2. С. 829.
- ²² *Мильчевский О.* Основные науки антропологии, или Законы отношений между человеком и природой. М., 1868.
- ²³ См., например: *Кузнецов Я.* Учебный курс географии... С. 72; *Ободовский А.* Описание Российской империи // *Ободовский А.* Всеобщей географии учебная книга. СПб., 1874. С. 24; *Воронецкий А.* Учебник всеобщей географии. Курс первый. 2-е изд. СПб., 1883. С. 66–67; Новая и полная азбука, содержащая в себе постепенное изучение чтения. М., 1883. С. 72–74; Отдел третий. География всеобщая и русская // *Настольная книга для народа.* СПб., 1891. С. 11.
- ²⁴ Такое деление восходит к ранним европейским классификациям человечества в XVII в.
- ²⁵ Новая и полная азбука... С. 73.
- ²⁶ *Ободовский А.* Описание Российской империи. С. 25.
- ²⁷ *Максимов С.* О русских людях. Рассказ второй. СПб., 1865. С. 7. Об этом см. также в самом популярном учебнике К.Д. Ушинского (1870): *Ушинский К.Д.* Детский мир и хрестоматия: Книга для классного чтения: В 2 ч. Первые годы обучения // *Ушинский К.Д.* Собр. соч.: в 8 т. М.–Л., 1948. Т. 4. Ч. 1. Отдел III. С. 178. Подробнее об этом см.: *Лескинен М.В.* Образы страны и народов Российской империи в учебниках для начальной школы второй половины XIX века: формы репрезентации этничности // *Отечественная и зарубежная педагогика.* 2012. №4. С. 92–117.
- ²⁸ *Иловайский Д.И.* Руководство к русской истории. Средний курс. 40-е изд. СПб., 1901. С. 4.
- ²⁹ *Коропчевский Д.А.* Первые уроки этнографии. М., 1903. С. 6.
- ³⁰ Там же.

- 31 Природа и люди: Курс географии, содержащий описание частей света в физическом, этнографическом и политическом отношениях: В 2 вып. СПб., 1868–1869 / Сост. и изд. А. Павловский. Вып. 1. Европа. СПб., 1868. С. 10.
- 32 Философия истории / Под. ред. А.С. Панарина. М., 2001. С. 165–166.
- 33 *Белинский В.Г.* Общий взгляд на народную поэзию и ее значение. Русская народная поэзия (1844) // *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1951–1959. Т. V. М., 1954. С. 658.
- 34 *Гегель Г.В.Ф.* Лекции по философия истории. СПб., 1993.
- 35 *Вортман Р.* «Официальная народность» и национальный миф российской монархии XIX в. // Россия. Russia. М.–Венеция, 1999. № 3 (11). Культурные практики в идеологической перспективе. С. 233–244; *Майорова О.Е.* Празднование Тысячелетия России в 1862 г. // НЛО. 2000. № 43 (текст статьи доступен по адресу: <http://magazines.russ.ru/nlo/2000/43/s6.html>).
- 36 *Погодин М.П.* О влиянии внешней политики на внутреннюю // *Погодин М.П.* Соч.: В 5 т. М., 1872–1876. Т. IV (Историко-политические письма и записки в продолжение Крымской войны. 1853–1856). М., 1874. С. 251–254.
- 37 *Погодин М.П.* Ответ П.В. Киреевскому // Москвитянин. 1845. № 3. С. 57.
- 38 См., в частности: *Гильфердинг А.* Россия и ее инородческие окраины на западе // *Гильфердинг А.* Собр. соч.: В 4 т. СПб., 1868–1874. Т. 2. СПб., 1868. С. 400.
- 39 Речь, сказанная господином С. Соловьевым по случаю этнографической выставки в Москве // Руководство к изучению русской земли... С. XXII–XXXIII.
- 40 *Иловайский Д.И.* О некоторых этнографических наблюдениях (по вопросу о происхождении государственного быта) // Антропологическая выставка 1879 года. Т. 3. Ч. 1. Пятое заседание ОЛЕАЭ от 11 апреля 1879 г. М., 1879. С. 174.
- 41 *Матвеев А.В.* Русская идентичность в дореволюционном учебнике по истории Д.И. Иловайского // Этнографическое обозрение. 2011. № 2. С. 72.
- 42 *Бессонов П.А.* Мнимый «туранизм» русских. К вопросу об инородцах и переселениях в России // Чтения в Обществе истории и древностей Российских. М., 1885. Кн II. Отдел второй. Материалы историко-литературные. М., 1885. С. 66.
- 43 Там же. С. 68.
- 44 Там же. С. 69.
- 45 Там же.
- 46 *Бестужев-Рюмин К.* Русская история: В 2 т. СПб., 1872–1885. Т. 1. СПб., 1872. С. 64. Та же фраза дословно в тексте сочинений: *Ешевский С.В.* О значении рас в истории (1862) // Русская расовая теория до 1917 г.: Сб. оригинальных работ русских классиков / Под ред. В.Б. Авдеева: В 2 вып. М., 2004. Вып. 1. С. 102–103; *Богданов А.П.* Антропологическая физиогномика (1878) // Там же. С. 130; *Соболевский А.И.* Русский народ как этнографическое целое. Харьков, 1907. С. 17.
- 47 *Ламанский В.И.* Обзорение народностей и наречий славянских: Лекции, читанные В.И. Ламанским в семестре 1881/82 года. СПб., 1882. С. 12.
- 48 *Коропчевский Д.* Расовая и этническая группировки. С. 828.
- 49 *Бабст И.К.* Значение племенного характера в народном хозяйстве // Сборник антропологических и этнографических статей о России и странах, ей прилежащих, издаваемый В.А. Дашковым: В 2 кн. М., 1868–1873. Кн. I. М., 1868. С. 106.

- ⁵⁰ Ковалевский М.М. Национальный вопрос и равенство подданных перед законом. СПб., 1906. С. 9.
- ⁵¹ Иловайский Д.И. О некоторых этнографических наблюдениях... С. 174.
- ⁵² Иловайский Д. История России: В 2 ч. М., 1906–1907. Ч. 1. Киевский период. М., 1906. С. 19.
- ⁵³ Иловайский Д.И. О некоторых этнографических наблюдениях... С. 174.
- ⁵⁴ Гердер И.Г. Книга шестнадцатая. Гл. 2. Финские народы // Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977. Ч. 4. С. 464.
- ⁵⁵ Иловайский Д.И. О некоторых этнографических наблюдениях... С. 174.
- ⁵⁶ Подр. об этом: Матвеев А.В. Русская идентичность... С. 69–71.
- ⁵⁷ Чичерин Б.Н. Курс государственной науки: В 3 ч. М., 1898. Ч. 3. С. 82–83.
- ⁵⁸ Там же. С. 83.
- ⁵⁹ Цит. по: Якубов К. Э. Лённрот – основатель национальной литературы в Финляндии. Письмо из Финляндии // Вестник Европы. 1882. № 8. Август. С. 754–755.
- ⁶⁰ Топелиус З. Путешествие по Финляндии. С подлинными картинами А. фон Беккера, А. Эдельфельта, Р.В. Экмана, В. Хельмберга, К.Е. Янсона, О. Клейне, И. Кнутсона, Б. Линдгольма, Г. Мунстрегельма и Б. Рейнгольда / Пер. со швед. Ф. Хеурена. Гельсингфорс, 1875. С. 17; об этом подробнее см.: Биармия // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона: В XLI т. (82 п/т) / Под ред. Е.И. Андреевского. СПб., 1890–1907. Т. IV (п/т 7). СПб., 1891. С. 26–27; Мейландер К.Ф. Биармы // Финно-угры и славяне: Доклады I Советско-финляндского симпозиума по археологии. Л., 1979. С. 35–40.
- ⁶¹ Иванов Н.И., Булгарин Ф.В. Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях. Ручная книга для русских всех сословий Ф. Булгарина: В 2 ч. СПб., 1837. Ч. 2. Истории часть первая. С. 68–69.
- ⁶² Пытин А.Н. История русской этнографии: В 4 т. СПб., 1890–1892. Т. 1. Общий обзор изучений народности и этнография великорусская. СПб., 1890. С. 8.
- ⁶³ Корсаков Д. Об историческом значении поступательного движения великорусского племени на восток. Казань, 1889. С. 11.
- ⁶⁴ Там же. С. 12.
- ⁶⁵ Расизм в языке социальных наук. СПб., 2002; Абашиш С. Расизм, этнография и образование: вопросы и сомнения // Расизм в языке образования социальных наук / Под ред. В. Воронкова, О. Карпенко, А. Осипова. СПб., 2008. С. 27–45; Могильнер М. Ното Имперії. История физической антропологии в России. М., НЛЮ, 2008; Кадио Ж. Лаборатория Империи: Россия/СССР, 1890–1940. М., НЛЮ, 2010; Раздел I. Теория и метод антропологии // Антропология социальных перемен. М., 2011. С. 9–232; Шницерльман В. Порог толерантности. Идеология и практика нового расизма: В 2 т. М., 2011; Тольц В. Дискурсы о расе: имперская Россия и Запад в сравнении // «Понятия о России». К исторической семантике имперского периода: В 2 т. М.: НЛЮ, 2012. Т. II. С. 145–193; Холл К. «Расовые признаки коренятся глубже в природе человеческого организма»: неуловимое понятие расы в Российской империи // Там же. С. 194–258. О тенденциях историографии российской антропологии см.: Соколовский С. Российская антропология и проблемы ее историографии // Антропология академи-

- ческой жизни: В 3 вып. М., 2008. Вып. 1. С. 26–52. См. также специальные тематические номера журнала «Ab Imperio» (2005–2015) и «Антропологический форум» (2004–2015).
- 66 См., например, красноречивую дискуссию о монографии М. Могильнер: *Козинцев А.Г.* Наука минус наука // Антропологический форум. 2011. № 11. С. 429–441; *Мельникова Е.А.* От Номо Imperii к антропологии России и назад // Там же. С. 442–452.
- 67 *Тольц В.* Дискурсы о расе...; *Могильнер М.* Введение. Была ли в Империи раса? // *Могильнер М.* Номо Imperii. С. 5–24.
- 68 *Тольц В.* Дискурсы о расе... С. 156–157; *Холл К.* «Расовые признаки коренятся...». С. 209–224.
- 69 Такая дефиниция расы появляется еще в 1837 г. – в описании России Иванова и Булгарина: *Булгарин Ф.В.* Введение // *Иванов Н.И., Булгарин Ф.В.* Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях. Ч. 2. С. XIX. То же в более поздних словарях: *Раса* // *Даль В.И.* Толковый словарь живаго великорусского языка: В 4 т. СПб.; М., 1880–1882. Т. 4. СПб.–М., 1882. С. 59; *Расы* // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона. Т. XXVI (п/т 51). СПб., 1899 (автор – *Д.Н. Анучин*). С. 359.
- 70 *Тодоров Ц.* Раса и расизм // Новое литературное обозрение. 1998. № 34. С. 5–36; *Stepan N.* The Idea of race in science: Great Britain. 1800–1960. L., 1982.
- 71 *Раса* // Свод этнографических понятий и терминов. Вып. 6. Этнография и смежные дисциплины. Этнические и этносоциальные категории. М., 1995. С. 105–108.
- 72 *Тодоров Ц.* Раса и расизм. С. 9.
- 73 Подробнее: *Лескинен М.В.* Поляки и финны в российской науке второй половины XIX в.: «другой» сквозь призму идентичности. М., 2010. С. 130–142.
- 74 Подр. об этом см.: *Тольц В.* Дискурсы о расе... С. 161–166.
- 75 Там же. С. 166.
- 76 *Иконников В.С.* Опыт русской историографии: В 2 т. Т. 1 (Кн. 1–2), Т. 2. (Кн. 1–2). Киев, 1891–1908; *Милюков П.Н.* Очерки истории русской культуры: В 4 ч. СПб., 1896–1903.
- 77 *Коропчевский Д.А.* Первые уроки этнографии. С. 15; *Петри Э.Ю.* Методы и принципы географии. СПб., 1892. С. 107.
- 78 Их принято рассматривать в контексте двух дискурсов: научного (см.: *Могильнер М.* Номо Imperii...) и расистского (см.: *Авдеев В.Б.* Русская расовая теория до 1917 года. Предисловие // Русская расовая теория. Вып. 1. М., 2004. С. 5–53).
- 79 *Тодоров Ц.* Раса и расизм. С. 5–6. Об этом же см.: *Соколовский С.В.* Расизм, расализм и социальные науки в России // Расизм в языке социальных наук. СПб., 2002. С. 31–44. Встречается сегодня также и термин «расоизация», значение которого строго не определено под ней понимается объяснение разнородных социальных, политических и исторических процессов и явлений расовыми различиями, а также приписывание расовым особенностям определяющего воздействия на этнокультурное своеобразие.
- 80 *Тольц В.* Дискурсы о расе... С. 191–193.
- 81 *Тодоров Ц.* Раса и расизм. С. 7.

- ⁸² Расы // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона. С. 356.
- ⁸³ Россия. Население. Россия в антропологическом отношении // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона. Т. XXVIIa (п/т 54). СПб., 1899. С. 128.
- ⁸⁴ Расы // Там же. Т. XXVI (п/т 51). С. 359.
- ⁸⁵ *Корочевский Д.А.* Первые уроки этногеографии. С. 1.
- ⁸⁶ *Алексеев В.П.* Глава 9. Понятие расовой изменчивости // *Алексеев В.П.* Становление человечества/*Алексеев В.П.* Избранное. В 5-ти тт. М., 2007–2009. Т. 1. М., 2007. С. 253.
- ⁸⁷ Там же. С. 254.
- ⁸⁸ В этнографических, языковых и расовых номинациях XIX в. финно-угорская группа племен/народов именовалась главным образом «финскими племенами» или «финнами». Мы употребляем наименование «финно-угры» или «финно-угорские народы», чтобы подчеркнуть некоторые существенные различия между восточными и западными финскими народами, принципиально важные для восприятия и оценки их в русской культуре. «Финнами» или «чухной» (применительно не к истории, а к реалиям XIX в.) называли финнов Великого княжества Финляндского, эстов и петербургских финнов. Им приписывались качества просвещенных европейских наций. Говоря о метисации с финно-уграми и о негативных свойствах их физиологии и нрава, описатели имели в виду прежде всего финнов восточных – поволжских и уральских, и они рассматривались иначе, чем их европейские сородичи. Подробнее об этом см.: *Лескинен М.В.* Поляки и финны... Гл. 7-1.
- ⁸⁹ *Шлыгина Н.В.* История финской этнологии. 1880–1980 гг. М., 1995. С. 67–68.
- ⁹⁰ От мифоэпического топонима «Туран» – полулегендарной страны к северо-востоку от современного Ирана туранцами именовали представителей кочевых ираноязычных племен (см.: *Шуховцов В.* Туран: к вопросу о локализации и содержания топонима // Взаимодействие кочевых и оседлых культур на Великом Шелковом пути. Алма-Ата, 1991). Расовая классификация совпадала с лингвистической, поэтому «туранскими» именовались этносы и этнические группы, язык которых причислялся к одной из самых древних групп – туранской, или номадийской. Ее носителями в то время безусловно объявлялись финно-угорские народы, турки, татары, монголы, тибетцы и тамильцы и индийские аборигены. Подробнее: *Brace Ch. L.* The Races of the Old World. A manual of Ethnology. NY, 1863. Part I. Ch. VI. Turanians. P. 78–84. В словаре под ред. И.Н. Березина к туранским причисляются языки: 1) алтайские, собственно финские, угорские, или югорские, турецко-татарские; 2) монгольские, или маньчжурские; 3) дравидские (см.: *Язык // Русский энциклопедический словарь / Под ред. И.Н. Березина: В 16 т. СПб., 1873–1879. Отдел IV. Т. 4. СПб., 1879. С. 457).*
- ⁹¹ *Язык // Русский энциклопедический словарь. С. 463.*
- ⁹² *Pentikäinen J. Castrénilainen 'pohjoisen etnografian' paradigma // Kaukaa Naettua. Kirjoituksia antropologisesta kentätyöstä/Toim. A.M. Viljanen ja M. Lahti. Vammala, 1997. S. 224–237.*

- 93 *Kilpeläinen J.I.* Rotuteoriat läntisistä suomalais-ugrilaisista kansoista Keski-Euroopan antropologiassa 1800-luvulla ja suomalaisten reaktiot niihin // *Mongoleja vai germaneeja? – rotuteorioiden suomalaiset/Toim. A. Kemiläinen, M. Hietala, P. Suvanto.* Helsinki, 1985. S. 165–168.
- 94 *Halmesvirta A.* Anglo-amerikkalaisen antropologian, etnologian ja kielitieteen näkemyksiä suomalaisesta rodusta ja sen kulttuuritasosta evolutionistisen kulttuurikäsitteksen valossa n. 1820–1930 // *Ibidem.* S. 214–216.
- 95 *Ратцель Ф.* Западные азиатцы и европейцы // *Ратцель Ф.* Народоведение. Т. 2. С. 804.
- 96 *Шлыгина Н.В.* История финской этнологии... С. 66.
- 97 Впрочем, существовало около десятка расовых классификаций человечества, и народов Европы в частности. Подробнее о разнообразии и отличиях концепций см.: *Корончевский Д.* Расовая и этническая группировки.
- 98 *Кареев Н.И.* Расы и национальности с психологической точки зрения. Воронеж, 1876. (Впервые – в 1876 г. в журнале «Филологические записки». Т. II. С. 1–24). С. 1.
- 99 Там же (это цитата из обширного перевода отрывка труда французского исследователя Лорана «Очерки истории человечества», которую приводит Н.И. Кареев). См.: *Laurent F.* Études sur l'histoire de l'humanité. En 18 volumes. Paris, 1864–1870. Т. XVIII. Paris, 1870.
- 100 *Кареев Н.И.* Основные вопросы философии истории: В 2 т. М., 1883. Т. 2. С. 133–134.
- 101 *Кареев Н.И.* Расы и национальности... С. 6, 22.
- 102 Там же. С. 23.
- 103 *Кареев Н.И.* Основные вопросы философии истории. Т. 2. С. 133.
- 104 Заседание 28 октября 1894 г. // Русское антропологическое общество при Санкт-Петербургском университете. Протоколы заседаний 1893–1894 гг. СПб., 1895. С. 43–53.
- 105 Там же. С. 46.
- 106 *Кареев Н.И.* Расы и национальности...
- 107 *Погодин А.Л.* К вопросу о национальных особенностях // *Погодин А.Л.* Сборник статей по археологии и этнографии. СПб., 1902. С. 87–99.
- 108 *Березин И.Н.* Метрополия и колония: В 3 ст. Статья вторая // Отечественные записки. 1858. Год двадцатый. Т. CXVII. Отдел I. С. 82–96.
- 109 *Богданов А.П.* Скрещивание и метисы // Русская расовая теория. Вып. 1. С. 145.
- 110 Вариации антропологических классификаций в российской науке и их соотношение с западноевропейскими антропологическими теориями подробно рассмотрены в: *Могильнер М.* Homo impregii... Гл. 4–5.
- 111 *Петри Э.Ю.* Методы и принципы географии. С. 104.
- 112 *Петри Э.Ю.* Антропология: В 2 т. СПб., 1895–1897. СПб., 1897. Т. 2. С. 421–422.
- 113 *Богданов А.П.* Антропологическая физиогномика. С. 130.
- 114 *Воробьев В.В.* Великоруссы. Очерк физического типа // Русская расовая теория. Вып. 1. С. 183.
- 115 *Милуков П.Н.* Очерки истории русской культуры: В 4 ч. СПб., 1896–1903. Ч. 3. Вып. 1. Национализм и общественное мнение. СПб., 1901. С. 3–4.

- ¹¹⁶ Богданов А.П. Скрещивание и метисы.
- ¹¹⁷ Воробьев В.В. Великоруссы. С. 161.
- ¹¹⁸ Левин М.Г. Очерки по истории антропологии в России. М., 1960. С. 101–105, 109–122.
- ¹¹⁹ Расы // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона. С. 357.
- ¹²⁰ О значении термина и о некоторых тенденциях русификации см.: *Slocum J.W.* Who, and when, where the *Inorodtsy*? The evolution of the category of “Aliens” in Imperial Russia // *The Russian Review*. 1998. N 57. April. P. 173–190; *Сандерланд В.* Русские превращаются в якутов? «Обынороднивание» и проблемы русской национальной идентичности на Севере Сибири. 1870–1914 // *Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология* / Сост. П. Верт, П.С. Кабытов, А.И. Миллер. М., 2005. С. 199–227; *Миллер А.И.* Русификация или русификации? // *Миллер А.И.* Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. М., 2006. С. 54–77. А также: *Thaden E.C.* Interpreting History. Collective Essays on Russian’s Relation with Europe. NY, 1990. Ch. 11; *Гатрелл П.* Этнос и империя в истории окраин России // *Ab Imperio*. 2000. № 1. P. 261–282; *Кэмпбелл (Воробьева) Е.И.* «Единая и неделимая Россия» и «инородческий вопрос» в имперской идеологии самодержавия // *Пространство власти: исторический опыт России и вызовы современности*. М., 2001. С. 204–216; *Пирсон Р.* Привилегии, права и русификация // *Ab Imperio*. 2003. № 3. С. 35–55; *Стейнведел Ч.* Создание социальных групп и определение социального статуса индивидуума: идентификация по сословию, вероисповеданию и национальности в конце имперского периода в России // *Российская империя в зарубежной историографии...* С. 610–633. Следует особенно выделить монографию В. Тольц: *Тольц В.* «Собственный восток России». Политика идентичности и востоковедение в позднеимперской и раннесоветский период. М., 2013. Интересующий нас период рассмотрен в гл. 1–4.
- ¹²¹ Подр. об этом в третьей главе данной книги.
- ¹²² *Терещенко А.* Быт русского народа: В 7 ч. СПб., 1848. Ч. 1. С. 4.
- ¹²³ *Надеждин Н.И.* Об этнографическом изучении народности русской // *Записки Русского географического общества*. 1847. Кн. 2. С. 61–115.
- ¹²⁴ *Булгарин Ф.* Предисловие к славянскому периоду // *Иванов Н.А., Булгарин Ф.В.* Россия в историческом, географическом и литературном отношении. Ч. 2. С. XIX–XX.
- ¹²⁵ *Kilpeläinen J.I.* Rotuteoriat läntisistä suomalais-ugrilaisista kansoista. S. 180.
- ¹²⁶ (*Грибоедов А.С.*) Загородная поездка: Отрывок из письма южного жителя // *Северная пчела*. 1826. № 76. 26 июля (в рубрике «Словесность»). Подробнее о стереотипах восприятия финнов см.: *Лескинен М.В.* Поляки и финны... Гл. 5, 7-1, 7-2.
- ¹²⁷ *Кюстин А. де.* Россия в 1839 г.: В 2 т. / Пер. с фр. под ред. В. Мильчиной; коммент. В. Мильчиной и А. Осовата. М., 1996. Т. 1. С. 110.
- ¹²⁸ *Мицкевич А.* Из курса славянских литератур, читанных в College de France // *Мицкевич А.* Сочинения: В 5 т. / Под ред. Н.А. Полевого; Пер. с фр. Р. Сементковского. СПб., 1882–1883. Т. 3. СПб., 1882. С. 250.

- ¹²⁹ Подробнее об этом см.: *Софронова Л.А.* Автопортрет славянина // *Софронова Л.А.* Культура сквозь призму поэтики. М., 2006. С. 513; *Ларионова Е.О.* Курс лекций Адама Мицкевича в Collège de France: «Русская идея» в зеркале польского мессианизма // К истории идей на Западе. «Русская идея». СПб., 2010. С. 184–205.
- ¹³⁰ *Ратцель Ф.* Западные азиатцы и европейцы. С. 81б.
- ¹³¹ *Очерк И.* Исторические судьбы Финляндии и ее отношение к Швеции и России // Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении / Под общ. ред. П.П. Семенова, вице-председателя Императорского Русского географического общества: В 12 т. (19 кн.). СПб.–М., 1881–1901. Т. II. Ч. 1. Северо-Западные окраины России. Великое Княжество Финляндское. СПб.–М., 1882. С. 3.
- ¹³² *Сикорский И.А.* Данные из антропологии // Русская расовая теория. Вып. 1. М., 2004. С. 253.
- ¹³³ Руководство к изучению Русской земли. С. 33.
- ¹³⁴ Учебная книга географии / Сост. А. Лебедев. С. 147–148.
- ¹³⁵ *Меч С.* Финляндия: Географический очерк. М., 1887. С. 56.
- ¹³⁶ *Великоруссы // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона.* Т. Va (п/т 10). СПб., 1892. С. 828–843 (автор – *Д. Анучин*).
- ¹³⁷ *Кавелин К.Д.* Мысли и заметки о русской истории // *Кавелин К.Д.* Наш умственный строй: Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989. С. 185.
- ¹³⁸ Там же. С. 183.
- ¹³⁹ Там же. С. 184.
- ¹⁴⁰ Там же.
- ¹⁴¹ Там же. С. 185.
- ¹⁴² *Кавелин К.Д.* Взгляд на юридический быт древней России // *Кавелин К.Д.* Наш умственный строй. С. 16.
- ¹⁴³ Там же. С. 17.
- ¹⁴⁴ Там же. С. 18.
- ¹⁴⁵ *Богданов А.П.* Антропологическая физиогномика. С. 135.
- ¹⁴⁶ В частности, см.: *Кюн К.* Народы России. СПб., 1888. С. 4.
- ¹⁴⁷ *Великоруссы // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона.* С. 822.
- ¹⁴⁸ *Кюн К.* Народы России. С. 5.
- ¹⁴⁹ Руководство к изучению Русской земли. С. 34.
- ¹⁵⁰ *Ключевский В.О.* Курс русской истории. Часть первая. Лекция XVII // *Ключевский В.О.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1987–1990. Т. I. М., 1987. С. 299.
- ¹⁵¹ Там же. С. 295–297.
- ¹⁵² Там же. С. 299.
- ¹⁵³ Там же. С. 310.
- ¹⁵⁴ *Коялович М.О.* История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. СПб., 1884. С. 440, 441.
- ¹⁵⁵ *Кюн К.* Народы России. С. 5.

- ¹⁵⁶ Там же. С. 6.
- ¹⁵⁷ Там же. С. 5–6.
- ¹⁵⁸ *Костомаров Н.И.* Две русские народности // Исторические монографии и исследования Н. Костомарова: В 16 т. СПб., 1872–1885. Т. 1. СПб., 1872. С. 78. В первом варианте (см.: *Костомаров Н.И.* Две русские народности // Основа. 1861. № 3. С. 33–80) и в первом томе собрания его трудов (*Костомаров Н.И.* Две русские народности // Исторические монографии и исследования Н. Костомарова: В 20 т. СПб., 1863–1872. Т. 1. СПб., 1863. С. 223–287) этот фрагмент текста отсутствует.
- ¹⁵⁹ *Чубинский П.П.* Малоруссы (статистика, внешний вид, язык) // *Чубинский П.П.* Труды этнографо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной ИРГО: В 7 т. СПб., 1872–1879. Т. 7. Вып. 3. СПб., 1877. С. 345.
- ¹⁶⁰ *Ешевский С.В.* О значении рас в истории. С. 97.
- ¹⁶¹ *Березин Н.* Общий очерк // Народы Земли. Географические очерки жизни человека на Земле / Под ред. А. Острогорского: В 3 кн., 4 т. СПб., 1901–1903. Кн. 3. Т. 4. Россия. СПб., 1903. С. 5.
- ¹⁶² Великоруссы // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона. С. 831.
- ¹⁶³ *Платонов С.Ф.* Лекции по русской истории: В 3 вып. СПб., 1900. Вып. 1. С. 96.
- ¹⁶⁴ Там же.
- ¹⁶⁵ Там же.
- ¹⁶⁶ Там же.
- ¹⁶⁷ *Ешевский С.В.* О значении рас в истории. С. 97–98.
- ¹⁶⁸ *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен // *Соловьев С.М.* Соч.: В 18 кн. М., 1988–1995. Кн. I. Т. 1. М., 1988. С. 58.
- ¹⁶⁹ *Бестужев-Рюмин К.* Русская история: В 2 т. СПб., 1872–1885. Т. 1. СПб., 1872. С. 64.
- ¹⁷⁰ *Ушинский К.Д.* Труды Уральской экспедиции: Три статьи. Рецензия // *Ушинский К.Д.* Собр. соч.: В 11 т. М.–Л., 1948–1953. Т. 1. М.–Л., 1948. С. 395.
- ¹⁷¹ Русские народы. Наброски пером и карандашом. Тексты под ред. проф. Н.Б. Зографа: В 3 ч. М., 1894. Ч. I. Европейская Россия. С. 29.
- ¹⁷² Народы России. Великороссы // Народы Земли: Географические очерки жизни человека на Земле / Под ред. А. Острогорского: В 3 кн., 4 т. СПб., 1901–1903. Кн. 3. Т. 4. Россия. СПб., 1903. С. 7. (Автор – А. Загорский.)
- ¹⁷³ Там же.
- ¹⁷⁴ *Глембоцкий Х.* Александр Гильфердинг и славянофильские проекты изменения национально-культурной идентичности на западных окраинах Российской империи // *Ab Imperio*. 2005. № 2. С. 135–166.
- ¹⁷⁵ См., в частности: *Топелиус З.* Путешествие по Финляндии; *Он же.* Народ // Финляндия в XIX столетии, изображенная в словах и картинах финляндскими писателями и художниками / Гл. ред. Л. Мехелин. Гельсингфорс, 1894. С. 55–67; *Topelius S.* Maamme kirja. Lukukirja alimmaisille oppilaitoksille Suomessa (пер. на фин. – П. Каяндер, 58-е изд.). Helsinki, 1981. S. 186. Об этом см.: *Клингс М.* На чужбине и дома / Пер. с фин. СПб., 2005. С. 212–215; *Юссила О.* Великие мифы финляндской истории. Ч. II. Государство. Хельсинки–СПб., 2013.

- 176 Таким образом трактовалось, в частности, обрусение финно-угорских народов Поволжья (*Лескинен М.В.* Проблема ассимиляции финно-угорских народов в обосновании концепции «Волга – русская река» во второй половине XIX в. // Ежегодник финно-угорских исследований. 2013. Вып. 4. С. 91–105).
- 177 *Ешевский С.В.* О значении рас в истории. С. 98.
- 178 *Талько-Грынцевич Ю.* Поляки: Антропологический очерк. М., 1901. С. 9.
- 179 В частности, см.: *Редров А.* Предисловие. С. XIII–XIV. Эта же идея содержится в помещенном здесь же отдельной статьей выступлении С.М. Соловьева на Этнографической выставке 1867 г. в Москве (Речь, сказанная г-ном С. Соловьевым).
- 180 *Сикорский И.А.* Данные из антропологии. С. 251.
- 181 Там же. С. 252.
- 182 Там же. С. 253.
- 183 Там же.
- 184 Русские народы. Наброски пером и карандашом. Ч. I. С. 34.
- 185 *Редров А.* Предисловие. С. XIV.
- 186 Так именовал неславянское население этого региона и Н.И. Костомаров (см.: *Костомаров Н.И.* Две русские народности).
- 187 *Риттих А.Ф.* Этнографические очерки Харьковской губернии. Харьков, 1892. С. 7–8.
- 188 *Богданов А.П.* Антропологическая физиогномика. С. 139.
- 189 Подробнее об этом: *Лескинен М.В.* Поляки и финны... Гл. 7-1, 7-2.
- 190 Этой позиции придерживались крупнейшие антропологи и этнографы – финляндские и русские, такие как М.А. Кастрен, А.И. Шегрен, А. Алквист, А.П. Богданов, Д.Н. Анучин, И.А. Сикорский. О понимании глагола «обрусеть» и «обрусить» см. у Даля (*Даль В.И.* Толковый словарь. Т. 4. С. 114) и в современной ему публицистике (*Миллер А.И.* Русификация или русификации? // *Миллер А.И.* Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. М., 2006. С. 54–77). На такой трактовке метисации «в обратном направлении» настаивали многие авторы этнографических очерков (см., например: Русские народы. Наброски пером и карандашом. Ч. I. С. 28; *Кюн К.* Народы России. СПб., 1888. С. 4–6).
- 191 *Богданов А.П.* Антропологическая физиогномика... С. 135.
- 192 *Ешевский С.В.* О значении рас в истории... С. 97.
- 193 Руководство к изучению Русской земли... С. 34.
- 194 См., в частности: *Гильфердинг А.* Россия и ее инородческие окраины на западе. С. 401.
- 195 *Костомаров Н.И.* Ответ на выходки газеты (краковской «Czas») и журнала «Revue Contemporaine» // *Основа.* 1861. № 1. Январь. С. 129.
- 196 *Кавелин К.Д.* Мысли и заметки о русской истории. С. 189.
- 197 *Щапов А.П.* Общий взгляд на историю великорусского народа: Вступительная лекция А.П. Щапова, читанная им в Университете 12 ноября 1860 г. // *Щапов А.П.* Неизданные сочинения. Казань, 1926. С. 15.
- 198 Там же. С. 16.
- 199 Там же.

- 200 *Щапов А.П.* Естественно-психологические условия умственного и социального развития русского народа. Ч. 2 // Отечественные записки. 1870. Т. CLXXXIX. № 4. Отд. I. С. 364.
- 201 Там же. С. 363.
- 202 Подробнее об этом см.: *Слёзкин Ю.* Арктические зеркала. Россия и малые народы Севера. М., 2008. Гл. 3; *Лескинен М.В.* Образы страны и народов Российской империи.
- 203 *Щапов А.П.* Естественно-психологические условия умственного и социального развития русского народа. Ч. 2. С. 366–369.
- 204 *Соболевский А.И.* Введение // *Соболевский А.И.* Лекции по истории русского языка. 3-е изд. М., 1903. С. 1.
- 205 *Пантюхов И.И.* Значение антропологических типов в русской истории // Русская расовая теория... Вып. 2. С. 329.
- 206 *Соболевский А.И.* К вопросу о финском влиянии на великорусское племя: Рец. на: *Зограф Н.Ю.* Антропометрические исследования мужского великорусского населения Владимирской, Ярославской и Костромской губерний (Труды Отдела антропологии. Т. XV. М., 1892.) // Живая старина. 1893. Вып. 1. Отдел III. С. 120.
- 207 *Соболевский А.И.* К вопросу о финском влиянии... С. 120–121.
- 208 Россия. Племенной состав // Большая энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания / Под ред. С.Н. Южакова: В 20 т. СПб., Лейпциг, 1900–1907. Т. 16. СПб., 1904. С. 498.
- 209 *Ковалевский П.И.* История России с национальной точки зрения: Национально-исторический очерк. СПб., 1912. С. 135.
- 210 Там же. С. 135–136.
- 211 *Зеленин Д.К.* Принимали ли финны участие в образовании великорусской народности? // Сборник Ленинградского общества исследователей культур финно-угорских народов (ЛОИКФУН). Вып. 1. Ленинград, 1929. С. 105.
- 212 Там же. С. 107.
- 213 *Покровский М.Н.* Русская история с древнейших времен: В 3 т. М., 1933. Т. 1. С. 235–250.
- 214 *Маркелов М.Т.* К вопросу о культурных взаимовлияниях финнов и русских // Этнография. М.–Л., 1930. № 1–2. С. 57–62; *Толстов С.П.* К проблеме аккультурации // Там же. С. 63–87. Подробнее об этом см.: *Мокшин Н.Ф.* Происхождение финно-угорских (уральских) народов // Финно-угорский мир. 2009. №3. С. 42–53; *Он же.* Финно-угры в русской и мировой культуре // Социально-политические науки. 2012. № 3. С. 11–15, *Загребин А.Е.* Этнографические материалы 1920–1930-х гг.: к проблеме источников по истории и культуре финно-угорских народов Среднего Поволжья и Приуралья // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2009. Т. 11. № 6. С. 254–260.
- 215 *Н.Н. (Надеждин Н.И.)* Великая Россия. С. 266.
- 216 *Кавелин К.Д.* Мысли и заметки о русской истории... С. 191.
- 217 Гл. V. Распределение населения Московской промышленной области и Верхнего Поволжья по территории, его этнический состав, быт и культура // Россия.

- Полное географическое описание нашего отечества... Настольная и дорожная книга для русских людей: В 22 т. (вышло 19) / Под ред. В.П. Семенова; под руководством П.П. Семенова и В.И. Ламанского. СПб., 1899–1913. Т. 1. Московская промышленная область. СПб., 1899. С. 94.
- ²¹⁸ *Коропчевский Д.* Земледельческие народы Восточной Европы // *Коропчевский Д.* Первые уроки этнографии. СПб., 1901. С. 154.
- ²¹⁹ Там же.
- ²²⁰ Гл. V. Распределение населения... С. 94.
- ²²¹ *Кюн К.* Народы России. С. 6.
- ²²² Народы России. Общий очерк // Народы Земли: Географические очерки жизни человека на Земле / Под ред. А. Острогорского: В 3 кн., 4 т. СПб., 1901–1903. Кн. 3. Т. 4. Россия. СПб., 1903. С. 4. (Автор – *Н. Березин*.)
- ²²³ *Афанасьев-Чужбинский А.* Поездка в Южную Россию: В 2 ч. СПб., 1863. Ч. 1. Очерки Днепра. С. 7; *Чубинский П.П.* Малоруссы... С. 345.
- ²²⁴ *Надеждин Н.И.* Об этнографическом изучении народности русской. С. 80.
- ²²⁵ *Максимович М.А.* О малороссийских народных песнях. Предисловие // *Максимович М.А.* Собр. соч.: В 3 т. Киев, 1876–1880. Т. 2. Киев, 1877. С. 440.
- ²²⁶ *Афанасьев-Чужбинский А.* Поездка в Южную Россию. Ч. 1. С. 7.
- ²²⁷ Подробнее об этом см.: *Александровский И.С., Лескинен М.В.* Некоторые вопросы этнографического изучения и полемики о статусе малороссийского языка в российской литературной и научной публицистике XIX в. // Русские об Украине и украинцах. СПб., 2012. С. 172–243.
- ²²⁸ Очерк I. Малороссийское племя // Живописная Россия. Т. V. Ч. 1. Малороссия, Подолия и Волынь (Полтавская, Черниговская, Волынская, Херсонская и Киевская губернии). СПб.–М., 1897. С. 1–62. С. 6; об этом же см.: *Чубинский П.П.* Малоруссы... С. 345; о том же очень часто – в описаниях малорусов. Хрестоматийное: Руководство к изучению Русской земли. С. 321.
- ²²⁹ См., в частности: Великоруссы // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона. С. 831.
- ²³⁰ *Пантюхов И.А.* Значение антропологических типов в русской истории. С. 322–325.
- ²³¹ Россия. Племенной состав // Большая энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания / Под ред. С.Н. Южакова: В 20 т. СПб.–Лейпциг, 1900–1907. Т. 16. СПб., 1904. С. 459.
- ²³² *Риттих А.Ф.* Этнографические очерки. С. 8.
- ²³³ *Ключевский В.О.* Курс русской истории. Часть первая. Лекция XVII. С. 295–297.
- ²³⁴ Там же. С. 299–303.
- ²³⁵ *Богданов А.П.* Антропологическая физиогномика. С. 134.
- ²³⁶ *Реклю Э.* Европейская Россия // *Реклю Э.* Земля и люди. Всеобщая география: В 19 т. СПб., 1877–1896. Т. V. Вып. II. СПб., 1883. С. 15.
- ²³⁷ *Щапов А.П.* Общий взгляд на историю великорусского народа.
- ²³⁸ Там же. С. 16.
- ²³⁹ *Ивановский А.* Об антропологическом изучении инородческого населения России // Русский антропологический журнал. 1902. Кн. IX. Т. 1. № 3. С. 114.

- ²⁴⁰ Миллюков П.Н. Очерки истории русской культуры: В 4 ч. СПб., 1896–1903. Ч. 3. Вып. 1. Национализм и общественное мнение. СПб., 1901. С. 4.
- ²⁴¹ Хорев В.А. «Польский вопрос» в России после восстания 1863 г. // Хорев В.А. Польша и поляки глазами русских литераторов. М., 2005. С. 78–101; Долбилов М. Полонофобия и политика русификации в Северо-Западном крае империи в 1860-е гг. // Образ врага. М., 2005. С. 127–174; Piczugin D. Zakładnicy historii – u źródeł negatywnego stereotypu Polscy i Polaków w literaturze rosyjskiej / Red. A de Lazari. Warszawa, 2006. S. 339–410; Долбилов М.Д. Поляк и имперском политическом лексиконе // «Понятия о России». К исторической семантике имперского периода / Под ред. А. Миллера, Д. Сдвижкова, И. Ширле: В 2 т. М.: НЛЮ, 2012. Т. 2. С. 292–339; Лескинен М.В. Польский характер в российской этнографии XIX в. // Отечественные записки. 2014. №4 (61). С. 112–130.
- ²⁴² Одна из немногих статей об идеях Духиньского принадлежит украинскому деятелю и публицисту И. Лысяку-Рудницкому (см.: Rudnytsky I. Franciszek Duchiniński and his Impact on Ukrainian Political Thought // Harvard Ukrainian Studies. Vol. 3/4 (1979–1980). Part 2. P. 690–705). Из новейших публикаций на русском можно упомянуть лишь одну: Лихоманов И.В. Франтишек Духиньский – «бедный родственник» евразийства // Идеи и идеалы. 2015. №1 (23). С. 76–90. Обе статьи носят публицистический характер и посвящены главным образом воздействию идей Духиньского на национальную украинскую идеологию. См. также: Каплин А. Невспоминаемые предшественники евразийцев и их критики (или еще раз о «мнимом туранизме русских»): Доклад на конференции «Идеология Евразийского Союза» (Санкт-Петербург, 15 мая 2012 г.) (текст доступен по адресу: http://ruskline.ru/analitika/2012/05/29/nevspominaemye_predshestvenniki_evrazijcev_i_ih_kritiki_ili_ewe_raz_o_mnimom_turanizme_russkih/).
- ²⁴³ Grabski St. Życie i działalność literacka Franciszka Duchinińskiego Kijowianina // Pisma Franciszka Duchinińskiego. T. I–II. Rapperswyl, 1901–1902. T. I (Cz. pierwsza). Rapperswyl, 1901. S. VIII–XXIV; Czapska M. Franciszek Henryk Duchiniński // Polski Słownik Biograficzny. Warszawa, 1935–. T. V. Warszawa, 1946. S. 441–443.
- ²⁴⁴ Duchiniński F. Les Moscovites Grand-Russes d'après leurs origines, éléments et tendances... avec remarques et carte. Paris, 1854; Duchiniński F. La Moscovie et la Pologne, 1855; Duchiniński F. Zasady dziejów Polski i innych krajów słowiańskich i Moskwy. T. I–III. 1858–1860; Duchiniński F. Pologne et Ruthénie. Origines slaves. Paris, 1861; Duchiniński F. Dopelnienie do trzech części zasad dziejów. Paris, 1863; Duchiniński F. Peuples Aryâs et Tourans, agriculteurs et nomads. Paris, 1884.
- ²⁴⁵ Duchiniński F. Kilka uwag wstępnych // Pisma Franciszka Duchinińskiego. T. II (Cz. druga i trzecia). Rapperswyl, 1902. S. IV.
- ²⁴⁶ Duchiniński F. Zasady dziejów Polski i innych krajów słowiańskich i Moskwy. Cz. II // Pisma Franciszka Duchinińskiego. T. II. Rapperswyl, 1902. S. 14.
- ²⁴⁷ Ibid. S. 25.
- ²⁴⁸ Ibid. S. 26.
- ²⁴⁹ Ibid. S. 202.
- ²⁵⁰ Duchiniński F. Zasady dziejów Polski i innych krajów słowiańskich i Moskwy. Cz. III // Ibidem.

- ²⁵¹ Цит. по: (Б.а.) Историк Духинский из Киева и его ученики из французских сенаторов // Отечественные записки. 1864. Т. СХL. С. 444.
- ²⁵² Об интересном судебном процессе, на котором обсуждались в том числе концепции польского этнолога, см., в частности: *Неменский О.Б.* Политические игры с русским именем в Австро-Венгрии (по материалам стенограммы судебного процесса 1882 г. над Ольгой Грабарь и товарищами) // *Имя народа: Украина и ее население в официальных и научных терминах, публицистике и литературе.* М., 2016 (в печати).
- ²⁵³ *Бессонов П.А.* Мнимый «туранизм» русских... С. 1.
- ²⁵⁴ Необходимо подчеркнуть, что были и другие точки зрения. В частности, иного мнения придерживался А.И. Герцен, вписывавший туранскую теорию в анализ своего видения проблемы монгольского и азиатского влияния на русскую историю. Подробнее разбор его позиции см.: *Majorova O.* A Revolutionary and the Empire. Alexander Herzen and Russian Discourse on Asia // *Between Europe & Asia: The Origins, Theories and Legacies of Russian Eurasianism/Ed. by M. Bassin, S. Glebov, M. Laurelle.* University of Pittsburg Press, 2015.
- ²⁵⁵ *Костомаров Н.И.* Две русские народности/ С. 78.
- ²⁵⁶ *Лескинен М.В.* Мифы и образы сарматизма. Истоки формирования национальной идеологии Речи Посполитой. М., 2002.
- ²⁵⁷ *Костомаров Н.И.* Ответ на выходки газеты (краковской «Czas») и журнала «Revue Contemporaine» // Исторические монографии и исследования Н. Костомарова. С. 121–135; *Он же.* Правда полякам о Руси. По поводу новой статьи в «Revue Contemporaine» // *Основа.* 1861. № 10. С. 100–112.
- ²⁵⁸ *Погодин М.П.* Отповедь французскому журналисту // *Погодин М.П.* Вечное начало. Русский дух. М., 2011. Ответ 6 июня 1863 г. С. 606–626. Статья является откликом историка на публикацию редактора парижского журнала «Revue des deux mondes» (1863. Июнь) де Марса под заглавием: «La Pologne, ses anciennes provinces et ses veritables limites».
- ²⁵⁹ (Б.а.) Историк Духинский из Киева...
- ²⁶⁰ *Костомаров Н.И.* Ответ на выходки газеты (краковской «Czas»)... С. 122.
- ²⁶¹ Там же. С. 127.
- ²⁶² *Погодин М.П.* Отповедь... С. 606.
- ²⁶³ Там же. С. 609.
- ²⁶⁴ Там же. С. 618.
- ²⁶⁵ (Б.а.) Историк Духинский из Киева.
- ²⁶⁶ Там же. С. 439.
- ²⁶⁷ Там же. С. 434.
- ²⁶⁸ Z powodu jubileuszu profesora Duchyńskiego przez Jana Baudouin'a de Courtenay. Kraków, 1886; *Пытин А.Н.* Тенденциозная этнография // *Вестник Европы.* 1887. № 1. С. 303–328.
- ²⁶⁹ *Пытин А.Н.* Тенденциозная этнография. С. 303.
- ²⁷⁰ *Стасов В.В.* Происхождение русских былин. СПб., 1868. В этом исследовании Стасов доказывал, что русские былины заимствованы с Востока, притом довольно поздно, в XIV–XV вв. Сюжеты он полагал арийскими (индийскими), но

- перенесенными на Русь во вторичной, чуждой обработке (тюркскими народами или же в буддийской трактовке), и потому считал, что былины не могут рассматриваться в качестве источника сведений о быте, общественных нравах, людях Древней Руси. Эта книга вызвала горячую дискуссию среди российских ученых. Фольклористы и историки литературы (А.Н. Веселовский, Ф.И. Буславев, А.Ф. Гильфердинг, В.Ф. Миллер, О.Ф. Миллер и др.), в особенности представители мифологической школы не могли согласиться с точкой зрения известного археолога, писателя и музыкального критика, однако она оказала определенное влияние на методы изучения фольклора. В этнографическом исследовании этнографа-малоруса Н.Ф. Сумцова о малорусской свадьбе она рассматривается в сравнении с великорусской для доказательства наличия индоевропейских элементов и мифологии в свадебной обрядности малорусов и, напротив, сильного азиатско-монгольского, восточного влияния на великорусскую обрядность, а также на нормы семейной жизни, отношение к женщине и т.п. (см.: *Сумцов Н.Ф.* О свадебных обрядах, преимущественно русских. Харьков, 1881). Туранизм ассоциируется с культурой и мировоззрением кочевых азиатских народов, европейцы и арии отождествляются с земледельцами.
- 271 Труды V археологического съезда в Тифлисе. 1881. М., 1887; *Иловайский Д.И.* Поборники норманизма и туранизма // Русская старина. 1882. № 12. С. 585–619.
- 272 *Бессонов П.А.* Мнимый «туранизм» русских...
- 273 Там же. С. 4–6.
- 274 Там же. С. 16.
- 275 Там же. С. 56.
- 276 Там же. С. 59.
- 277 Там же.
- 278 Там же. С. 61. Интересно, что стремление автора доказать смешанный характер «вторичных» племен (малорусов) и полемика с Сумцовым было воспринято украинофилами как «обвинение» малорусов в туранизме (*Семен Тьндитников.* Безсоновское туранство малороссиян // Киевская старина. 1886. № 2. С. 394–398).
- 279 *Беляев И.Д.* О великорусском племени... С. 195.
- 280 Там же. С. 198.
- 281 *Кавелин К.Д.* Мысли и заметки о русской истории. С. 187–188.
- 282 Великая Россия // Русский энциклопедический словарь / Под ред. И.Н. Березина: В 16 т. СПб., 1873–1879. Отдел 1. Т. 5. СПб., 1875. С. 26.
- 283 *Богданов А.П.* Антропологическая физиогномика... С. 134.
- 284 «Некоторые польские патриоты, побежденные силой оружия на полях битв, хотели было доставить себе этнологическое вознаграждение и утешение, теоретически изгоняя своих победителей из мира славян и даже вообще из мира арийцев; для них и их восторженных друзей на западе две западнорусские народности суть не что иное, как областные разновидности польского племени, тогда как москвитяне – это монголы, татары, финны, замаскированные под заимствованным именем: они будто бы только с XII столетия начали говорить языком, до того времени им чуждым, и присвоили себе имя русских

- по приказу Екатерины II» (*Реклю Э. Европейская Россия...* С. 14.) Э. Реклю подчеркивает, что с научной точки зрения подобные утверждения неверны.
- 285 Великоруссы // *Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона. С. 829.*
- 286 *Беляев И.Д.* О великорусском племени... С. 195.
- 287 *Духинский // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона. Т. IX. СПб., 1893. С. 251.*
- 288 Там же.
- 289 *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен // *Соловьев С.М. Соч.: В 19-ти тт. Кн. II. Т. 4. М., 1988. С. 631.*
- 290 *Ключевский В.О.* Курс русской истории. Часть первая // *Ключевский В.О. Собр. соч.: В 9 т. М., 1987–1990. Т. I. М., 1987. Лекция II. С. 50.* У этой фразы есть примечательное продолжение: «...То падая, то поднимаясь, это вековое движение продолжается до наших дней» (там же), которое стало важным основанием в аргументации А. Эткинды, обратившего внимание на различие утверждение С.М. Соловьева и В.О. Ключевского, касающееся исторического периода процесса колонизации: Соловьев относил ее к древней истории, Ключевский понимал как длящийся, совершающийся и ныне (*Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. М., 2013. С. 90–100*).
- 291 *Беляев И.Д.* Как образовалось великорусское племя и какое сословие принять представителем великорусского племенного типа? // *Известия ОЛЕАЭ при Императорском Московском университете. Антропологическое отделение. Т. I. М., 1865. С. 33.*
- 292 *Беляев И.Д.* О великорусском племени // *Русская расовая теория до 1917 г. ... Вып. 1. С. 198.*
- 293 Там же.
- 294 Там же. С. 199.
- 295 Там же. С. 203.
- 296 Там же.
- 297 *Богданов А.П.* Антропологическая физиогномика... С. 136.
- 298 *Костомаров Н.И.* Ответ на выходки газеты... С. 127–128.
- 299 Там же. С. 128.
- 300 Там же. С. 127.
- 301 *Воробьев В.* Великоруссы... С. 165.
- 302 Там же.
- 303 Там же.
- 304 Там же.
- 305 *Покровский М.Н.* Низовская колонизация Севера // *Покровский М.Н. Прошлое Русского севера. Очерки по истории колонизации Поморья. Пг., 1923. С. 22.*
- 306 Там же.
- 307 Там же. С. 22–23.
- 308 *Кэмпбелл (Воробьева) Е.И.* «Единая и неделимая Россия»... С. 207.
- 309 Там же.

- ³¹⁰ Капеллер А. Мазепинцы, малороссы, хохлы: украинцы в этнической иерархии Российской империи // Россия–Украина: история взаимоотношений. М., 1997. С. 125–144.
- ³¹¹ Толъц В. «Собственный Восток России». Политика идентичности и востоковедение в позднимперский и раннесоветский период. М., 2013. С. 68.
- ³¹² VI. Отдел географический // Алчевская Х.Д. Что читать народу? Критический указатель книг для народного и детского чтения: В 3 т. СПб.–М., 1884–1906. Т. 1. СПб., 1884. С. 11 (пагинация в каждом из отделов раздельная).
- ³¹³ Березин Н. Общий очерк // Народы Земли. Географические очерки жизни человека на Земле... С. 5.
- ³¹⁴ Там же.
- ³¹⁵ Бабст И.К. Значение племенного характера... С. 105–106.
- ³¹⁶ Харузин Н. Об ассимиляционной способности русского народа // Этнографическое обозрение. 1894. №4. С. 43–78.
- ³¹⁷ Ешевский С.В. Русская колонизация северо-западного края (1866) // Ешевский С.В. Сочинения по русской истории. М., 1900. С. 297.
- ³¹⁸ Харузин Н. Об ассимиляционной способности... С. 43–44.
- ³¹⁹ Там же. С. 63.
- ³²⁰ Там же. С. 69.
- ³²¹ Там же. С. 47–49.
- ³²² Смирнов И.Н. Обрусение инородцев и задачи обрусительной политики // Исторический вестник. 1892. № 47. С. 752–765. О позиции сторон и об интерпретации их см.: Knight N. N. Kharuzin and the Quest for a Universal Human Science. Anthropological Evolutionism and the Russian Ethnological Tradition // Kritika. Exploration in Russian and European History. Vol. 9. № 1. Winter 2008. P. 99–103, а также: Загребин А.Е. Интеллектуальные основы финно-угорских исследований в эпоху позитивизма // Вестник Удмуртского университета. Серия «История и филология». 2009. № 2. С. 58–70.
- ³²³ Заметим, что всего через несколько лет эта классификация будет представляться Харузину весьма небесспорной.
- ³²⁴ И.Н. Смирнову принадлежало также авторство «Программы для собирания сведений об обрусении инородцев Восточной России» (см: Известия Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете. Т. X. Вып. 5. Казань, 1892. С. 548–551). Р. Джерейси полагал, что Смирнов неслучайно отождествлял инородцев Поволжья прежде всего и даже исключительно с финно-угорскими народами, поскольку не считал возможным ассимилировать мусульман (см.: Geraci R.P. Window on the East. National and Imperial Identities in Late Tsarist Russia. Ithaca– L., 2001. P. 177–178).
- ³²⁵ Харузин Н.Н. Этнография: Лекции, читанные в Московском университете: В 4 вып.; Харузина В.Н. Этнография: В 2 вып. М., 1909–1914.
- ³²⁶ Воробьев В. Великорусы. С. 165.
- ³²⁸ Зограф Н.Ю. Антропометрические исследования мужского великорусского населения Владимирской, Ярославской и Костромской губерний // Труды Отдела антропологии. Т. XV. М., 1892. С. 172.

- ³²⁸ Великоруссы // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона. С. 829.
- ³²⁹ Россия. Племенной состав // Большая энциклопедия... С. 460.
- ³³⁰ Великоруссы // Большая энциклопедия. Т. 4. СПб., 1901. С. 578.
- ³³¹ Там же.
- ³³² Россия. А. География и этнография России // Настольный энциклопедический словарь: В 8 т. М.: Изд-во Бр. А. и И. Гранат и Ко, 1891–1903. Т. VII. М., 1896. С. 4300.
- ³³³ Россия. Б. Население Европейской России. Население и колонизация // Там же. С. 4308–4309.
- ³³⁴ Гл. V. Распределение населения Московской промышленной области... С. 98.
- ³³⁵ *Зеленин Д.К.* Принимали ли финны участие в образовании великорусской народности? С. 96.
- ³³⁶ *Бабст И.К.* Значение племенного характера... С. 107.

Глава 5

Нрав/характер «северного росса»/великоруса в компаративных этнографических репрезентациях. Дискуссия о русской нравственности

Параграф 1

Характер как этнический признак. Черты великоруса в сравнительно- историческом ракурсе

Общие значения понятий нрав/характер

Введение понятия характер/нрав как обязательного пункта описания племенной или этнической самобытности, разумеется, не было оригинальным: за ним стояла многовековая традиция¹. С древнейших времен до наших дней в основе подобных представлений лежит отождествление свойств целого племени/народа и представляющего его индивида, которое, благодаря философам Просвещения (Ш. Монтескьё, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Гердер и др.) и произведениям романтизма, обрело существенное значение в гуманитарных и естественных науках XIX в. На протяжении всего XIX столетия убежденность в существовании признаков и качеств народа, зависящих главным образом от географических и лишь отчасти от исторических факторов, не претерпела существенных изменений. Эти отличительные свойства могли именоваться по-разному: «духом» или «душой» народа, «гением», «национальным характером», «нравом» (но не «нравами», под которыми подразумевались обычаи и традиции), «физиономией народа» и др., однако принципиальное содержание не претерпевало изменений: каждый отдельный человек несет черты той общности, к которой принадлежит по крови, воспитанию или культуре; народы отличаются друг от друга некими свойствами и качествами, которые особенно явственно заметны в сравнении. В крайнем варианте сторонники этой позиции отстаивали «врожденность» характера, т.е. его наследование не через посредство социально-культурных механизмов, а генетически. Ж.-Л. Бюффон дифференцировал расы по физическим признакам и по свойствам «натуры»², под которой понимал «нрав».

Географическим детерминизмом объяснялся набор черт жителей северных и южных стран (обитателей, соответственно, сурового и благоприятного для человека климата), а также доминирующий тип темперамента. Ш. Монтескьё связывал его не только с природой, но и с давностью происхождения («молодые» народы наделены соответствующими молодости эмоциональностью и героизмом, представители «старых» культур – напротив, вялостью и малоподвижностью), не сомневаясь в том, что народы «жарких климатов» «робки, как старики» и ленивы, а северные – «отважны, как юноши» и малочувствительны к наслаждениям³. Политические формы Монтескьё тоже считал следствием «склонностей», сформированных географическими условиями: «По мере удаления к югу вы как бы удаляетесь от самой морали... В странах умеренного климата вы увидите народы, непостоянные в своих пороках и добродетелях, так как недостаточно определенные свойства этого климата не в состоянии дать им устойчивость»⁴. Вольтер, Д. Юм⁵ и К. Гельвеций⁶ утверждали, что на нравы народов климат воздействует косвенно, через посредство общественного устройства, политической организации, законов и воспитания. Все они, в свою очередь, складываются под прямым влиянием природных факторов. Эти идеи получили широкое распространение в процессе формирования европейской этнонациональной идентичности⁷.

XIX век перевел философские доктрины в практическую плоскость, обратившись к строго научным и потому казавшимся объективными методам исследования народов, т.е. к народоведению/этнографии. Будучи отдельной отраслью (пока еще не самостоятельной) географической науки, она официально институционализировалась лишь в середине столетия (Императорское Русское географическое общество создано в 1845 г.). Характер как комплекс врожденных этноотличительных черт племени/народа и идея природной обусловленности психологического склада (в русской науке – «нрава народа») не подвергались сомнению вплоть до 1880-х гг. Психологический склад считали одной из отличительных особенностей, которые очевидны и легко поддаются описанию через внешние, антропологические свойства, обрядность, фольклор и повседневный быт. Эти характеристики в конце XVIII – первой трети XIX в. занимали важное место в исторических и филологических научных исследованиях, в публицистике и философских трактатах. Особенно богатый материал для выводов давала фольклористика: считалось, что в текстах устной культуры сохраняется начальный («первобытный») образ мира и менталитета, поэтому фольклористика мыслилась как инструмент для выявления народных идеалов, ценностей, стандартов поведения, типичных образов и характеров. Подобные представления о способах обнаружения особенностей нрава/характера, именуемых также «психологией народа», оставались неизменными в 1890-х гг.

Оба термина – «нрав» и «характер» (второй был заимствованным) – использовались в России начиная с XVIII в.⁸ Нрав (или психология) народа стал одним из главных элементов надеждинской концепции народности (1846), программа изучения которой легла в основу вопросника; его пункты составили проект этнографического описания русского народа, а позже были распространены на все народы Российской империи. Н.И. Надеждин рассматривал нрав в предметном поле народоведческих исследований, относя его к «психической этнографии». В составленном Надеждиным в 1847 г. плане этнографического описания народности характеристика нрава следовала сразу за важнейшими этническими признаками – языком и внешним обликом, войдя в первую программу сбора сведений по этнографии под наименованием «умственных и нравственных особенностей и образования»⁹. Понятие психического склада (нрава) народа включало его «умственные способности, силу воли и характера, чувство своего человеческого достоинства и... стремление к непрерывному самосовершенствованию»¹⁰. Народоведение XIX в. опиралось на важнейшую теоретическую установку, согласно которой в оседлом земледельческом обществе только крестьянство, социальные низы сохраняют и воплощают в себе типические свойства и признаки этноса и этничности (народности), поэтому объектом исследования, полевого изучения, анализа и реконструкции оставались представители лишь одного сословия.

В пояснении к программе подробно объяснялось, что необходимо учитывать в данном разделе: «...сведения о понятливости, сметливости жителей, о распространении грамотности и характере обучения, об отношении между собой различных групп, о некоторых народных обычаях»¹¹. Нрав народа, таким образом, включал умственные способности человека, нравственные нормы и отступления от них, характер в узком смысле и темперамент. Умственные и нравственные способности могли описываться как вместе, так и порознь¹².

Следует отметить, что свойства нрава/характера должны были выявляться информаторами так же, как «наружность» или «жизненный быт», т.е. средствами внешнего наблюдения. В опубликованной инструкции Н.И. Надеждина для Камчатской экспедиции прямо указывалось: «...тут не требуется со стороны наблюдающих особенных усилий и трудов, кроме как видеть и замечать, что у каждого будет перед глазами»¹³. На первый взгляд представления о нраве народа в общей картине этнографических описаний не претерпели серьезных изменений по сравнению с началом столетия: термин по-прежнему употреблялся в сочетаниях «быт и нравы» народа, «типы и нравы» или «нравы и обычаи» в соответствии с немецкоязычной калькой – в том же смысле, что и в конце XVIII – начале XIX в. Однако в инструкциях Надеждина и в этнографических

работах 1850-х – 1860-х гг. все более активную роль обрело понятие «нрав» – в форме ед. числа. Здесь следует обратить внимание на некоторые семантические оттенки лексем «нрав» и «нравы». Слово «нравы» (лат. и англ. *mores*, нем. *brauch*), используемое лишь во множественном числе, обозначало нормы поведения, обычаи, традиции, регламентирующие отношения между членами сообщества¹⁴. Это значение сохранялось довольно долго. В качестве примера приведем трактовку *нравов* в юриспруденции конца XIX – начала XX в.: нравы составляют «вторую категорию социальных норм человеческого поведения»: это «сложившиеся в человеческом обществе правила, которые, подобно юридическим нормам, также имеют целью регулировать внешние поступки людей, обеспечить в обществе такое поведение его членов, которое было бы согласно с социальным идеалом», подчинение нравам – не подчинение индивида воле государства или установлениям государственной власти, а «сообразование его [идеала] с воззрениями и вкусами того общества (выделено мной. – М.Л.), к которому он принадлежит»¹⁵. Мотивами подчинения «нравам» служат психологические основания (страх нарушения запрета), поэтому подчинение им покоится на «желании принадлежать тому общественному союзу, где они действуют».

Подчеркивалось, что «нравы», в отличие от права, имеют узкую локализацию в пространстве и в социуме, т.е. могут иметь этническую или социальную природу («каждая общественная среда имеет свои нравы»). В такой интерпретации «нравы», с одной стороны, сближаются с «обычным правом» и вообще со всяким нормированием социального поведения (например, освящая его традицией или религиозными обычаями), а с другой – могут быть поняты как сфера идеалов, поведенческих норм и мировоззренческих установок, которые в XX в. получили наименование «этос»¹⁶.

Наиболее полную трактовку нрава можно найти в определении словаря В.И. Даля, в котором различаются понятия «нрав человека» и «нрав народа». В основе данной дефиниции – представление о нраве человека как об «одной половине или одном из двух основных свойств духа человека: ум и нрав образуют дух (душу). Ко нраву относятся: воля, любовь, милосердие, *страсти* (выделено мной. – М.Л.), а к уму: разум, рассудок, память»¹⁷. К «умственной» сфере, по Далю, относятся «истина и ложь», к «нравственной» – добро и зло; таким образом, нрав находится в определенной зависимости от понимания этических категорий. «Нрав» означал также характер (человека) и обычай. При этом «нрав природный, естественный» отличался от нрава «выработанного, сознательного». Здесь же Даль упоминает слово «нравописание» в значении «этнография»¹⁸.

Энциклопедический словарь 1863–1866 гг. также дифференцировал «нравы» и «нрав». «Нрав» определялся как синоним «харак-

тера», подчеркивались его смысловые отличия от «нравов» (во мн. числе), трактуемых как «высшая форма образа жизни и отношений с другими или между собою как целого народа, так и отдельного человека»¹⁹. Нравы (обыкновения, привычки, нормы) и нрав как характер народа, безусловно, различались. Однако «нрав» мог быть описан в рубрике «Нравы народа» и тогда представлял собой их составную часть, актуализируя узкое значение.

Необходимо выделить еще один весьма важный для этнографии круг значений, который породил много противоречий (обусловленных общим корнем двух лексем) на уровне практики описаний народов: речь идет о соотношении категорий «нрав» и «нравственность». У Даля «нравственный» толкуется как противоположный телесному, плотскому, с одной стороны, и умственному – с другой, а также как синоним душевного; иначе говоря, определение «нравственный» связано с «нравами», а не со «нравом» в значении «характер»²⁰.

Понятия «нравы» и «нрав» в строгом смысле не содержали моральных оценок, а лишь сведения о моральном идеале, однако зачастую понимались этнографами (особенно волонтерами, составителями этнографических описаний из глубинки) именно таким образом; да и сегодня некоторые российские и зарубежные исследователи, предметом анализа которых являются тексты XIX в., воспринимают определения «нравственный» и «моральный» применительно к характеристике народа как синонимы, что не всегда адекватно историко-культурному контексту эпохи²¹. Конкретные описания народов могли содержать информацию о нравственных представлениях, но иные авторы понимали нрав только как «страсти» (т.е. как темперамент) или соотносили совокупность элементов нрава с психологией, именуемой «общественной нравственностью».

В частности, в инструкции Н.И. Надеждина для Камчатской экспедиции и в Программе В.Д. Дабижи, в разделе о «нравственных способностях», из «пороков и добродетелей» народа перечислялись «пьянство, лживость, хитрость, мстительность и др. и местные понятия насчет степени преступности тех или иных действий»²². Они могли быть отмечены в разделе «Общественный или семейный быт» или «Обычаи», о чем свидетельствуют программы ОЛЕАЭ.

В Программе для изучения сравнительной психологии (1877) в группу вопросов, посредством которых предполагалось раскрыть «социальные чувства, нравственные качества и характер» народа, входили следующие: «держат ли слово и обещание?», «ложь и хитрость в уважении или пренебрежении?»; сразу за ними следовали вопросы о правосудии²³. В Программе ОЛЕАЭ 1887 г., заимствованной у французских антропологов²⁴, важны последовательность и сочетание вопросов из седьмой группы «Семейные нравы и обычаи и другие национальные черты», которые показывают, что честность

связана с темпераментом: за вопросом «трусливы или храбры?» следует пункт «верны слову или изменчивы?»; вопрос «раздражительны или терпеливы?» предшествует пункту о степени развитости чувства чести и мнительности изучаемого народа. Цикл завершается вопросом «ложь или хитрость в почете или в пренебрежении?»²⁵.

Как видим, для этнографических описаний 1870-х – 1900-х гг. характеристика так называемой нравственности народа была чрезвычайно важна, однако реконструировалась не только в результате полевых исследований, но и на более широкой источниковой базе (включая сведения о нормах обычного права, о пороках и добродетелях, возникающих или, напротив, утрачиваемых по причине развития новых экономических форм, материального уровня жизни). Очень часто и в очерках о народах Российской империи 1870-х – 1890-х гг. в качестве аргументов для заключений об их племенных особенностях выступали (как в эпоху романтизма) произведения народной словесности и (как равнозначные) художественные произведения романтической и реалистической литературы.

Понимание состояния племенной нравственности в контексте народоописаний XIX в. может служить примером противоречивой интерпретации термина «нравственность» в отношении к социальным (этническим, региональным и др.) группам. Так, в работах (1840-е гг.) Ф.В. Булгарина дается следующее определение «племенной» нравственности: это «ум, душа и сердце народа»; чтобы описать ее, «нужно знать, как народ мыслил, как чувствовал, чему и во что верил, как понимал и объяснял отвлеченные предметы в каждую эпоху своей истории»²⁶. Вполне естественно поэтому, что нравственная жизнь народа отождествлялась с интеллектуальными, умственными проявлениями («идеями»): «Нравственная жизнь народа состоит из *идей*... исследование их ведет к объяснению *жизни* народа. События и факты истории суть только *формы*, в которые вливается эта жизнь (выделено автором. – М.Л.)»²⁷. Такая «программа» изучения народной нравственности почти полностью совпадает с надеждинским толкованием нрава как этнокультурного признака, расширяя значение последнего.

Н.И. Надеждин под «умственными склонностями» подразумевал объективные способности, такие как, например, сметливость, изобретательность и, в частности, скорость («быстрота») речи, а под «нравом» – передаваемые из поколения в поколение традицией и нормативными установками культуры особенности проявления темперамента и выражения чувств – как позитивные (кротость), так и негативные («страсти»). Именно «врожденность» нрава и передача его «по крови» делали его характеристикой научно-объективной, вновь возвращающейся к природно-обусловленным признакам этноса. Это отличало «нрав» при строгом словоупотреблении от термина «народный характер».

Темперамент, таким образом, в гораздо большей степени, нежели характер, был обусловлен физиологией, т.е. считался врожденной особенностью человека или народа; при этом он оказывал влияние на психику индивида и этноса, поскольку определял область восприятия и поведения, не зависящую от исторического прошлого или социального происхождения. Объяснение темперамента – так же как и других этнических черт – осуществлялось в словарях через понятия «типичный» или «характерный». «Физиологической основой» характера племени, народа, как и отдельного лица, считал темперамент Н. Ливенский²⁸. Темперамент оказывал воздействие на «соотношение между деятельностью и материальностью организма»²⁹, а его особенности, как считалось, формировались природой, имели физиологическое происхождение³⁰ и понимались как «физические или духовные типические свойства человека, обуславливающие известную возбудимость к впечатлениям... и способность воздействовать на... внешний мир»³¹.

Интересно трактовал понятие «темперамент» применительно к общности В.О. Ключевский. Он разграничивал народный характер и народный темперамент. Последний, с его точки зрения, жестко обусловлен природой и социумом и является одной из форм общественного устройства. Ключевский определял общество как «историческую силу не в смысле какого-то специального людского союза, а просто как факт, что люди живут вместе и в этой совместной жизни оказывают влияние друг на друга»³². В коллективе качества отдельных личностей во взаимодействии друг с другом видоизменяются, подчиняясь законам общезжития, и тем самым «навязываются нам обществом». А этим определяются «преимущественно бытовые условия и духовные особенности... совокупность которых составляет то, что мы называем *народным темпераментом* (выделено автором. – М.Л.)»³³. Ключевский полагал, что психология формируется в ходе социально-экономического развития, и потому рассматривал привычную логику *действий* в сфере хозяйственного быта, социальных отношений, а также в области воли и ожиданий. Именно комплекс психологических черт историк именовал «национальным складом» или «национальным типом»³⁴, но не народным характером.

Обращаясь к вопросу о том, как складывались представления о национальном характере великорусов в 1840-х – 1900-х гг., следует начать с научных взглядов на своеобразие общеславянских черт – ведь, согласно лингвокультурной классификации, и «славяно-руссы», и восточные славяне, и русский народ, и великорусское племя признавались органическими частями славянской общности. К 1840-м гг. славистика сделала очень многое для реконструкции образа жизни и общественных форм славян по античным источникам, однако начало научного изучения славянства, бесспорно, тесно

связано с просвещенческой научной парадигмой. Рассмотрим, какой информацией о славянских свойствах располагало европейское славяноведение ко времени формирования русской характерологии.

*Отличительные
этнические свойства славян с точки зрения
европейцев XVIII столетия*

Современный культуролог Л. Вульф показал, что образованным европейцам эпохи Просвещения было свойственно соединять историко-этнографические изыскания (даже самого поверхностного, гипотетического уровня) с оценкой современного состояния народов и государств. Особенно ярко это проявилось в описаниях восточноевропейского региона, в которых европейцы не в силах были «преодолеть хронологического смещения, когда делали историю варварских племен фоном для своих... впечатлений»³⁵, поэтому образ жизни народов, общественный и политический строй которых отличался от евроцентрической модели, расценивался европейцами как архаичный, т.е. некогда пройденный ими самими исторический этап. Такое смешение древнего и нового характерно для изображения славянских народов Руссо, Вольтером, Гиббоном, Гердером и др. Следствием отождествления античных реалий с нововременными стало то, что черты древних варварских народов легко и априори «обнаруживались» в их разноплеменных потомках «здесь и сейчас», вполне подтверждая усвоенное Просвещением противопоставление варварства и цивилизации. Цивилизацию представляли просвещенные европейцы, варварами же считались те, кто к ним не относился, в том числе даже европейские народы, исповедовавшие христианство, если они не отвечали политическим критериям просвещенных. Обращение к прошлому должно было подтвердить кардинальное несходство быта и нравов германцев и варваров (включая славян) еще в эпоху античности – для того чтобы найти и объяснить истоки современных различий в их политическом и социальном устройстве. Поэтому в сложившемся корпусе источников о славянах, и не только античных, отыскивали прежде всего описания характера, состояния нравственности и «общественного быта». Именно черты нрава (трактуемые как нечто среднее между темпераментом и физиологией), обусловленные природными условиями и происхождением, оказывались важным историческим аргументом племенной отличительности.

Одно из ранних научных описаний нрава и нравов славян сохранилось в многотомном труде английского историка Э. Гиббона «Закат и падение Великой Римской империи» (1776–1787). Отож-

дествляя славян со склавонами из античных источников, автор отмечал крайне негативные черты их внешнего облика, нрава и общественного устройства: нечистоплотность, леность и отсутствие развитых социальных институтов. Это, впрочем, не помешало ему в другой части работы упомянуть о целомудренности, гостеприимстве и терпении славян. Однако отличительными качествами этого варварского племени, по мнению Гиббона, являлись крайняя жестокость и полное отсутствие военной и политической организации³⁶. Таким образом, набор славянских качеств включал как свойства, присущие всем народам на определенной ступени развития (нравственная чистота и гостеприимство), так и самобытные особенности. Среди последних значимым представляется отсутствие развитых общественных институтов, которые свидетельствовали о традициях самоорганизации. Данный признак играл важную роль для причисления народов к просвещенным, поскольку истоки развития права и государственности искали в историческом прошлом.

И.Г. Гердер в труде «Идеи к философии истории» (1784–1788) не ставил целью подробно рассмотреть имеющиеся свидетельства о славянах; главную задачу он видел в том, чтобы показать зависимость народов от природы и истории. Особенности славян Гердер усматривал в качествах, приписываемых всем земледельческим народам Европы: они щедры, гостеприимны «до расточительства», покорны и послушны, ненавидят разбой, грабежи и насилие. Особенно подчеркивал Гердер (как и другой немецкий ученый – К.Г. Антон³⁷) «музыкальность» славян³⁸ – она подтверждала миролюбие, которое, по мнению Гердера, и определило их будущее. Однако неудачное, как он полагал, соседство с немцами и восточными татарами привело славян к историческим «несчастьям», поскольку из-за привязанности к домашней жизни они «не смогли установить долговечного военного строя» и потому были не в состоянии оказать сопротивления агрессивным соседям. Главным поработителем славян Гердер считал германцев. Подчинение им сформировало у славян новые черты: из кротких они превратились в хитрых, коварных и склонных к подчинению («коварная и жестокая леность раба»³⁹).

Именно Гердеру принадлежит ставшая ключевой для XIX в. компаративистская конструкция: противопоставление славянской и германской племенных стихий, в соответствии с которым их свойства и качества вписывались в систему оппозиций, где главную дихотомию воплощали два обобщенных образа: кроткий пахарь и отважный воин. Славяне отождествлялись с мягким, податливым, пассивным началом, соотносимым с их оседлым земледельческим образом жизни: «Они были милосердны и гостеприимны до расточительства, любили сельскую свободу, но были послушны и покорны, враги разбоя и грабежей». Все это не помогло им защититься от

посягательств, а, напротив, способствовало их порабощению⁴⁰. Германцы же воплощали воинственность, жестокость, героический дух, им приписывались «способность подчиняться приказу», «дерзость» в нападениях, склонность к завоеваниям, т.е. акцентировалось энергичное, активное начало⁴¹. «Положение немцев среди остальных народов Европы, их военный союз, их племенной характер – это столпы, на которых утверждены культура, свобода и независимость Европы»⁴², – заключает Гердер.

Таким образом, он объединил в своем объяснении несколько вариантов интерпретаций славянского нрава, которые уже использовались в литературе: взаимообусловленные друг другом добродушие, «веселость», простоту нравов – и порожденную этими свойствами и земледельческим образом жизни разъединенность, ставшую причиной потери славянами независимости. В гердеровской характеристике славян содержались три важнейшие для славистики последующего столетия идеи: 1) возможность рассматривать состояние их древнего «общественного быта» в исторической преемственности «склонностей» как источник дальнейшего развития форм политического устройства и государственности; 2) трактовка их отношений с древними германцами как порабощение слабо организованного племени более сильным и агрессивным; 3) определение различий этнических (племенных) характеров германцев и славян.

Историография Просвещения задала несколько тенденций в интерпретации славянского нрава. *Одна из них* рассматривала славянскую и германскую «стихии» как две разнонаправленные силы в европейской истории, приписывая этим народам различные природные склонности, моральные качества и обусловленные ими формы самоорганизации. Это направление развили позже романтики; на сопоставлении национального Духа народов построены основные идеи романтической историографии. *Вторая тенденция* нашла выражение в описаниях славянского племенного характера, в котором – в зависимости от главенствующих концепций – можно обнаружить набор как патриархальных добродетелей земледельцев-варваров, так и пороков воинственных разрушителей цивилизации. Представление о славянском темпераменте и эмоциональности воплощалось в понятиях географического детерминизма и объяснялось благоприятными для земледелия природными условиями. Эти описания характера в полной мере отразились в славистических исследованиях XIX в. – как в славянской, так и в западноевропейской историографии. В различных формулировках и в качестве аргументов для прямо противоположных научных концепций они функционировали как в российских⁴³, так и в западноевропейских исторических трудах и в этнографических описаниях.

Характер русского/великоруса в компаративистских очерках

Русские как славяне

Осмысление гердеровского наследия в России эпохи романтизма⁴⁴ привело к своеобразной перекодировке ключевой дихотомии: она стала восприниматься в контексте гегелевской философии – с акцентом на противопоставлении народов, «авангардных» в историческом (т.е. с точки зрения прогресса) отношении (германцев и немцев прежде всего), и «неисторических» (славян). Таким образом, сравнение германцев и славян как племенных сообществ становилось не средством выявления культурной самобытности, а основанием цивилизационной классификации. Соответственно, перечень патриархальных добродетелей славян можно было «использовать» как для объяснения отсутствия общественной самоорганизации (повлекшего за собой покорение славян более «жесткими» народами и породившего иные формы «общинного быта»), так и для обоснования глубинных различий между германским и славянским «мирами», или Западной и Восточной Европой, или Европой и Азией. При этом происходила важнейшая замена гердеровского тезиса – о том, что строй и общественные отношения славян-земледельцев ставили их на более высокую ступень цивилизационного развития, чем племя германцев, условием исторического успеха которых были завоевания и насилие. Перенесение главного акцента на государственность как критерий цивилизованности меняло славян и германцев местами: первые оказывались незрелыми/юными народами, сохранявшими традиционные архаические институты и ценности «древних времен»; вторые опережали и подчиняли их именно по причине рационального устройства и жесткости политической власти, что ассоциировалось с социальной зрелостью.

Противопоставление в категориях молодой/старый (причем именно молодость наделялась «всеми ценностными смыслами эпохи»⁴⁵) получило у романтиков яркое воплощение. Для них идея роста и развития стала основной, поскольку рассматривалась в контексте теории эволюции⁴⁶. Проблема славянского характера была одной из центральных в публицистике и историографии славянских стран в начале XIX в.⁴⁷ Это было связано как с политической ситуацией, так и с общими для романтизма в целом поисками древних корней национальных культур, которые, как казалось, и обусловили современные отличительные черты разных народов, своеобразие их «физиономий»⁴⁸.

В рассуждениях о славянах в период романтизма на первый план выдвигалась лишь намеченная Гердером оппозиция германство/славянство, важную роль в которой стала играть категория возраста на-

родов. Идея прогресса, обоснованная французскими просветителями, объявляла природу неизменной, а разум, опыт и умения – прогрессирующими⁴⁹. Вводя категории совершенство/несовершенство, просветители считали, что эволюция возможна лишь в области разума, но не морали. Соответственно, уподобление общества биологическому организму⁵⁰, переживающему все этапы жизни, означало, что «дети» неразумны, но чисты, а «взрослые» испорчены, но рациональны. Рассматривая историю славян как «молодых племен», публицисты могли многое объяснить своеобразием духа разных народов, которое было обосновано Гегелем. Так, например, Н.И. Надеждин использовал эту просвещенческую и романтическую метафору, размышляя об этапе эволюции русского народа, – состояние его «детства» Надеждин расценивал как залог будущего расцвета, когда цивилизационное несовершенство видится достоинством «детской чистоты»: «...мы *дети*, и это *детство* (выделено автором. – М.Л.) есть наше счастье. С нашей простой, девственной, младенческой природой, не испорченной никакими предубеждениями... можно сделать все без труда, без насилия: из нас, как из чистого, мягкого воска, можно вылепить все формы истинного совершенства»⁵¹. Необходимо напомнить, что и этапы развития народности, по В.Г. Белинскому, формулировались в категориях взросления⁵². Эта метафора давала возможность объяснять недостатки в различных сферах общественной жизни как приметы юности народа. К тому же она позволяла переоценить свойства славян – пороки интерпретировать, в духе Гердера, как результат внешнего иноплеменного воздействия, а достоинства трактовать как свойства, кардинально отличающие их от германцев.

Обратимся непосредственно к российским авторам, для которых славистическая проблематика была важна уже не сама по себе, а в непосредственной связи с кругом проблем этногенеза великорусов и антропологической обусловленности их этнокультурного своеобразия. В исторических трудах этот вопрос оказался особенно актуальным, поскольку в связи с перманентной, не затихавшей более столетия дискуссией о норманизме необходимо было определить, в какой степени будущее русское/великорусское племя на раннем историческом этапе сохраняло в себе типично славянские черты. Если славяно-русы первого русского государства Рюрика – прямые потомки славянских народов, то, следовательно, кроме языка должны быть еще какие-либо приметы этнокультурной общности. Нрав, как уже говорилось, расценивался как важнейший объективный и неизменный признак этничности, – следовательно, необходимо было выявить его особенности.

В «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина мы встречаем ставший позже хрестоматийным свод качеств древних славян: они жестоки и воинственны в бою, храбры и мужественны, добро-

душны в мирной жизни, они не ведают ни лукавства, ни злости, им присущи простота нравов и гостеприимство⁵³. Обратим внимание, что здесь впервые появляется важный для последующего исторического дискурса о славянском и русском характерах тезис о жестокости славян, которую первый русский историограф объяснял ответной местью или необходимостью самозащиты.

Оказавший значительное влияние на российскую славистику XIX в. чешский ученый П.Й. Шафарик в своих трудах уделял внимание проблеме племенного славянского нрава. В «Истории славянских литератур» (1826) и в «Истории славянских древностей» (1837) он приписывал древним славянам такие «коренные черты»: религиозность, трудолюбие, невинную и беззаботную веселость, привязанность к родному языку и миролюбие⁵⁴, покорность, а также склонность к общительности, подвижность, развязность языка, нежность и страстность сердца, – и все это «дело чистой природы», а не воспитания; славянское «сердце переполнено чувством». Шафарик подчеркивал типичные для земледельческих народов кротость и спокойствие и всячески отвергал мнение Н.М. Карамзина о жестокости и коварстве древних предков⁵⁵.

Один из первых польских славистов – В. Суroveцкий, находившийся под влиянием сочинений Гердера, в «Исследовании начала народов славянских» (1824) разделял его мнение о «свободном и независимом» славянском народе, который обладал добродетелями земледельца⁵⁶. Суroveцкий выделял склонность славян к музыке и веселью и даже несколько расширял перечень проявлений темперамента. Коренными этническими свойствами славян автор полагал черты, роднящие их с античными народами, обнаруживал у славян «мужество и невозмутимость римлян» и «живость греков», к тому же приписывал им остроумие и общительность⁵⁷.

Попытки связать черты романтического представления о славянском характере с идеей славянского единства нашли отражение в работах польского историка-правоведа В.А. Мацеёвского, также оказавшие значительное влияние на российское историческое славяноведение. Некоторые из них в 1850-х гг. были переведены на русский язык. В «Истории славянских законодательств» (1832–1835) Мацеёвский задался целью осуществить сравнение законодательств «родственных народов»⁵⁸, чтобы выявить особенности древней общеславянской общественной организации, определяющей традиции «общей и частной жизни», «физические и нравственные силы» разных славянских племен⁵⁹. Он придавал большее значение природным, а не историческим обстоятельствам этногенеза славян. Рассуждая о способах обнаружения нрава по внешним признакам, автор сравнивал народы с растениями, усматривая взаимосвязь внешнего облика и внутренних свойств: «По самому *виду* растения и *свойствам* обра-

щающихся в нем соков (выделено мной. – М.Л.) можно определить природу его и узнать, какую можно извлечь из него пользу»⁶⁰.

Реконструкция славянского нрава осуществлялась Мацеёвским через традиционное противопоставление славян и немцев (германцев). Критерии сравнения – особенности темперамента (склонность к радости, веселью у славян и к грусти у немцев), преобладание тех или иных наклонностей: духа практицизма у немцев и мечтательности у славян (их стремление «жить одним днем», не заботясь о грядущем, – и озабоченность немцев будущим благоденствием). Одним из важнейших различительных признаков, получивших развитие в связи с гегелевской типологией исторических и неисторических народов, стало соотношение чувства (зов сердца) и разума как примет, соответственно, юности (славяне) и зрелости (германцы): если «характер немцев принял окончательный вид, то наш только развивается»⁶¹. Признаками юности Мацеёвский считал и такие славянские качества, как свободолюбие и любовь к музыке⁶². Так соплагаются веселость и свободолюбие, но теперь – под влиянием романтических самоописаний – к ним добавлена (как очевидное славянское достоинство) власть чувства над рациональным началом.

Примером фольклористического исследования, в котором важное место занимала проблема славянской общности и противопоставления германской и славянской стихий, является книга О.М. Бодянского (1837)⁶³. В ней воплощены два главных методологических принципа, в соответствии с которыми реконструируются племенной (общеславянский) нрав и характеры отдельных племен: а) антропо-географический принцип К. Риттера (1830-е гг.), когда установление особенностей природы и климата дает возможность определить темперамент и душевное состояние обитателей («какова природа, таковы и краски»⁶⁴); б) выявление характера народа на основании результатов его духовной деятельности – в песнях, обрядах, верованиях и т.п. («характер песен должен быть вообще таков, каков характер народа, их произведшего... песни – выражение духа народного»⁶⁵).

О.М. Бодянский открывает свое сочинение обширным очерком нравов древних славян, приводя обширные цитаты из сочинений Гердера, Шафарика и др. Все приводимые Бодянским (и хорошо известные той эпохе) черты славян: миролюбие, кротость, уживчивость, предпочтение частной домашней, семейной жизни, привязанность к своей земле и родному очагу – объясняются оседлым земледельческим образом жизни⁶⁶, а также любовью к свободе и нежеланием вести войны⁶⁷. Автор убежден, что земледельцы стоят на более высокой ступени развития (он не использует слова «цивилизация» или «культура», но, в сущности, подразумевает именно эволюционную шкалу), с которой начинается «высшее совершенствование»⁶⁸, смягчение диких нравов, «порядок в образе жизни».

Именно у земледельцев, по Бодянскому, возникают (притом задолго до принятия христианства) грамота, ремесла, торговля, начала наук⁶⁹. Земледельческим народам он противопоставляет другие – варварские, которые «отличалась своим отвращением к земледелию, предпочитая ему звероловство, скотоводство... войну, вообще жизнь скитальческую, подвижную... требовавшую меньших трудов и усилий»⁷⁰. Самым ярким примером противопоставления оказывается «первобытный германец»: «...житель мрачного севера, выросший в своих дремучих лесах... провождавший жизнь свою в этих дубровах и чащах, занимался... одной только охотой, приучавшей его к отважнейшим предприятиям, пренебрегая все другие занятия как несогласные с его понятиями о своей личной независимости и свободе. Оттого даже земледелие... он предоставлял своим рабам и невольникам... он беспрестанно скитался по [лесу] и часто выселялся в плодороднейшие области своих соседей, но и здесь не мог оставаться долго, не имея терпения перенести однообразие оседлой жизни»⁷¹. В таком описании дихотомия германцы/славяне переосмысливается в новой, отличной от предшествующей, системе оппозиций: дикость/цивилизованность, отсталость/совершенство, – в которой германцы и славяне меняются местами. Трансформации, в частности, подвергается важнейшее ранее противопоставление германской силы и рационализма славянской одухотворенности и мягкости. Рассуждая о поэзии двух племенных стихий, Бодянский усматривает в немцах власть мрачной мечтательности («романтическое чувство») и фантазии, стремление к чудесному, сверхъестественному⁷². В славянах же ему видится «от самой природы... склонность больше к общественной деятельности и... веселому проведению жизни, чем к мрачному унынию»⁷³. Иначе говоря, не только природа, но и уровень общественного развития определяет характер – как народа, так и его творчества.

Однако такая нестандартная для своего времени трактовка славянского своеобразия плохо сочетается с идеей Бодянского, согласно которой свойства характера великорусов унаследованы от древних славян. Следуя известной схеме, по которой особенности поэтических образов и песенных мелодий объясняют народный характер, а тот формируется природой и воплощен именно в духовной жизни, автор вполне логично обнаруживает в народном творчестве «глубокую унылость и покорность своей судьбе»⁷⁴, обусловленную скудостью, бедностью, суровостью и равнинным однообразием северной природы. Исследователь наделяет великорусов умеренностью и благоразумием, здравым смыслом, незаносчивостью, умением довольствоваться малым, верностью властям предрежащим, подчеркивает их покорность судьбе, «детскую готовность и незлобие» и обусловленный этим практический склад жизни и ума («занимается одним текущим, суетится

в этом мире»⁷⁵). Великорусы – обладатели «характера меланхолического, задумчивые, унылые, любят уединяться в самих себя или же искать... облегчения в забывчивости... Привыкнув к обольщениям и потерям, они обыкновенно мало обольщают себя заманчивыми надеждами...»⁷⁶, у них отсутствует тщеславие. Таким образом, от типичнославянских черт (выявление которых необходимо Бодянскому для определения особенностей общего склада «поэзии» разных славян) у великоруса остается, в сущности, не много. По природному образу он оказывается ближе к германскому типу, однако, оставаясь земледельцем, он в полной мере обладает добродетелями пахаря, хотя по темпераменту великорусы – самый печальный, тоскливый и покорный судьбе и правителям восточнославянский народ, которому противопоставляются малорусы, темперамент поэтического мышления которых резко отличается от великорусского.

Наибольшую известность получили популярные в Европе и в России размышления о характере славян, изложенные Адамом Мицкевичем в его «Лекциях по славянской литературе» (1840–1844), которые стали своеобразной энциклопедией славянства⁷⁷. Опираясь на сложившуюся под влиянием трудов Гердера традицию сопоставления германской и славянской стихий, Мицкевич рассматривал историю литератур славянских народов через призму их общеславянских свойств и национальных особенностей⁷⁸. «Неупорядоченность и податливость» славян, как утверждал поэт, является плодом развития в них интуиции и духа – в отличие от европейских народов, у которых господствует разумное начало, оформляющее себя в жестких и неизменных системах. Поэтому практичные европейцы на протяжении веков не только уничтожали самобытность и государственность славян, но и стремились лишить их истории. «Дух» объявлялся Мицкевичем «насквозь славянским понятием»: этим «божественным инстинктом наделены славяне в большей степени», нежели другие народы. Дух формируется в сражениях, в изгнании, в неволе, поэтому славяне менее других склонны к практицизму, лишены интереса к общественной и политической жизни. Польский поэт отмечал еще два важных качества славян, относящихся к психической сфере и являющихся естественным следствием их природного нрава и неустойчивости, выработанной в результате внешнего давления: пассивность и экзальтированность⁷⁹. Для Мицкевича *пассивность* (прежняя славянская кротость) исключительно негативное свойство, которое ассоциируется с рабской покорностью; однако в сочетании с мощным духом пассивность переосмысливается и становится позитивной чертой: ведь духовные интересы и устремления несовместимы с пристальным вниманием и заботой о сиюминутном, прагматическом. Поэт стремился увидеть в славянской пассивности не

проявление подчинения и слабости, а доказательство внутренней силы⁸⁰, скрытой до времени воли. Вторая черта – *экзальтированность* также порождена тягой к духовному. Восторг, которым сопровождается размышление о высоком и божественном, – признак экзальтации – есть одно из главных свойств славянина, в частности поляка. Эта страстность сильнее всего проявляется в горячей привязанности славян к родине. Хотя они равнодушны к общественной жизни и покорны судьбе, однако, когда свобода отчизны находится под угрозой, славяне, движимые пылким патриотизмом, готовы на любые жертвы и действия⁸¹. Мицкевич именовал славян расой, «душевные силы которой не изнурены ни интеллектуальными достижениями, ни промышленностью», и которая «сохраняет чистое и глубокое религиозное чувство»⁸². Таким образом, «предлагавшееся» просвещенческой доктриной противопоставление социально-психологических параметров германского и славянского начал (стихий) А. Мицкевич использовал для выявления черт не только национального, но и племенного Духа, концепцию которого создал и развил романтизм.

В тех же лекциях Мицкевич уделил много места особенностям польского национального духа и именно в этом контексте предложил разграничение двух национальных стихий/характеров – польского и русского. Он утверждал, что главное истинно-славянское начало – господство эмоций, страстей и экзальтации – атрофировалось в русских под влиянием финской крови, так что современные жители Великороссии во многом отличаются «от всех прочих славянских племен. Это всё люди рослые и крепкие, с замечательными умственными способностями; они, быть может, самый способный народ в Европе; но зато чувства в них мало; душа у них холодная, сердце сухое; они не любят ни поэзии, ни музыки, как южные славяне; взгляд у них какой-то совершенно особенный (экстраординарный): глаза их походят на блестящие льдинки, и вами овладевает ужас, когда вы смотрите на эти бездонные... глаза; они отражают свет, но не согревают; взгляд русских быстрый, пронизательный, но несимпатичный»⁸³.

Великорусы как славянское племя:

эволюция представлений в 1830-х – 1890-х годах

В 1830-х – 1850-х гг. в российской историографии доминировали идеи романтизма⁸⁴, поэтому отечественная славистика активно эксплуатировала идею славяно-германской исторической конфронтации. В связи с формированием национальной идеи со славянами отождествлялся прежде всего русский народ. Главным пунктом расхождения стало противостояние стихий чувства (у славян) и разума

(у германцев и, шире, у западноевропейцев)⁸⁵. Этнические свойства древних славян интересовали историков, писателей и общественных деятелей прежде всего как сохранившиеся в русском народе славянские «духовные» константы, повлиявшие на отличительные качества народного характера и специфические особенности российской истории и цивилизационной миссии. Устойчивый «набор» восходящих к древности славянских свойств фигурирует в совершенно разных по жанру, типу и времени создания сочинениях.

Одни авторы тяготели к живописному изображению «быта и нравов» социальных низов России, порождая так называемый романтический этнографизм, который по отношению к российским сюжетам справедливо назван «протофольклористическим освоением крестьянской территории»⁸⁶, когда «свой», российский крестьянин воспринимался как экзотический обитатель, туземец⁸⁷. В *русском/великорусском* крестьянине видится теперь не представитель своей (в этническом значении) культуры, а обитатель неосвоенного мира, который требуется покорить мирным путем и «преобразовать».

С одной стороны, в этих довольно многочисленных и популярных в образованных слоях общества произведениях предметом художественного изображения стал образ жизни народа в узком смысле слова – русского (т.е. великорусского, малорусского и белорусского) крестьянства, мещанства, купечества. Эти слои нуждались в реальном и ментальном освоении, стратегия и практика которого во многом диктовались как универсальными закономерностями процесса идентификации в общеколониальном дискурсе⁸⁸, так и особенностями его российского варианта⁸⁹. *С другой стороны*, под влиянием романтической эстетики «дикая», не освоенная человеком природа окраинных земель легко «переписывалась» как первобытная или первозданная, а коренные жители этих территорий наделялись патриархальными добродетелями не испорченного цивилизацией народа. Обитателями «своих чужих» пространств объявлялись детски-наивные «благородные дикари» («bon sauvages»), чье нравственное и общественное состояние находится в согласии с природой⁹⁰.

В этом ключе весьма значимо – и характерно для романтической эпохи – стремление отождествить с детьми и собственно русских крестьян как находящихся на сходной с «дикими народами» ступени цивилизационного развития. И.В. Киреевский в 1832 г. писал, что «у нас искать национального – значит искать необразованного»⁹¹. При этом он был убежден, что простой народ не может быть ни носителем идеи народности, ни ее выразителем: с точки зрения Киреевского, народность подразумевает сознательные усилия по органическому развитию народа и его истории, поэтому эти задачи могут быть выполнены только образованной частью общества⁹².

Выражения «добрые поселяне» или «добрые наши детки мужички» часто встречаются в русской литературе и критике 1810-х – 1830-х гг. Их популярность принято объяснять обращением к теме народа на волне патриотизма и роста национализма⁹³. Примеры и способы использования данных оборотов⁹⁴ являются бесспорным аргументом в пользу того, что «само русское крестьянство представляло собой иной вариант образа “чужих”»⁹⁵; именно поэтому «свой» описывался как «чужой», словно путешественник говорил о туземцах. По мнению некоторых исследователей, в этой принадлежности крестьянства к миру природы, в его пребывании в «детстве культуры» содержатся истоки властного патернализма⁹⁶, что подтверждается риторикой авторепрезентации русского самодержавия 1830-х – 1850-х гг.⁹⁷ Так или иначе, такая убежденность – в свете освоенной российской элитой руссоистской доктрины – создала основания для идеализации «русского мужика».

Романтический этнографизм зачастую отрицательно оценивался так называемой передовой критикой⁹⁸, однако он играл важную роль в формировании представлений о широко понимаемой народности. Изображение внешних примет народной жизни часто становилось главным содержанием произведений о «простом народе» или «диких народах»: в них включались собственные этнографические наблюдения автора и переработанные фольклорные тексты, что формировало круг образов Другого, в которых народность приравнивалась к этнографичности.

Стремление объяснить историю цивилизации географической средой было присуще исследователям в течение всей второй половины XIX в. Историки 1860-х – 1870-х гг. не отвергали данную идею полностью, но несколько корректировали ее под влиянием идей О. Конта, Г. Спенсера и позитивизма в целом⁹⁹. Конт, как известно, разделял теории романтиков о Духе, однако трактовал «человеческий дух» как универсальное качество, лишённое этнонациональной окраски, хотя и имеющее ясно выраженные «расовые начала» – в частности, в психическом складе. Не отказался Конт и от идеи зависимости Духа и господствующих нравов от географической среды¹⁰⁰. Г.Т. Бокль также признавал решающую роль климата, почвы, пищи и ландшафта в формировании и развитии народов, но трактовал их влияние как опосредованное, подчеркивая, что пищевой рацион и природные потрясения определяют распределение ресурсов между богатыми и бедными и различия в их мировосприятии, а впоследствии – умственный прогресс¹⁰¹.

Представления о прогрессе, а также конкретные перемены и преобразования в России периода модернизации стимулировали пересмотр концепции о неизменности общинного строя крестьянского мира. Она стала особенно актуальной в исторических объяснениях

эволюции общественных процессов, которые вступали в некоторое противоречие с прямолинейно понимаемыми постулатами географического детерминизма, что отразили и курсы русской истории. С.М. Соловьев, выделяя условия, определившие развитие Древней Руси, ставил на первое место «природу страны», на второе – «быт племен», на третье – «состояние соседних народов и государств», не подвергая сомнению тезис о том, что ход событий в России «постоянно подчиняется природным условиям»¹⁰². Ученый использовал известную метафору, уподобляющую народы личностям: «Народы живут, развиваются по известным законам, проходят известные возрасты, как отдельные лица, как все живое, все органическое»¹⁰³. Он связывал особенности нрава с «влечениями природы», под властью которых находятся многие люди и народы. Как и другие историки, Соловьев подчеркивал, что нравственные добродетели (например, древних славянских племен) универсальны для всех народов на определенном историческом этапе, но под влиянием истории эти первоначальные качества могут значительно меняться.

Развивая общеупотребительную метафору о варварском «детстве» европейских народов, Соловьев писал: «Тождественность явлений у варваров различных племен заставляет нас осторожно относиться к племенным и народным различиям, тем более что в младенце трудно уловить черты, которые будут характеризовать взрослого человека, выражающего в своем нравственном образе все многообразие условий, имевших влияние на окончательное определение этого образа»¹⁰⁴. Историк полагал, что для формирования этнокультурного своеобразия исторические обстоятельства гораздо более существенны, нежели природные факторы. Аргументация базировалась на уподоблении народов индивидам: как в развитых обществах «человек избирает себе деятельность по своим личным наклонностям», так и народы во времена расселения имеют возможность выбрать «известную страну местом своего жительства»¹⁰⁵.

Проблема этногенеза (в широком смысле этого термина) объединяла историков и географов в их поисках социально-культурной «физиономии» народа. Отказываясь от идеи прямой зависимости в отношениях «природа–человек», с иронией относясь к идее духа народа, которой были привержены исследователи фольклора и словесности, представители социальных наук пытались сперва определить связь между природой и формами хозяйствования и лишь затем устанавливали соответствие этих форм общественной организации или политическому строю. Поиски причин и последствий крепостного права – вопрос, чрезвычайно актуальный для той эпохи, – стимулировали именно такой ход рассуждений.

Одним из важнейших постулатов нового видения истории стала концепция личности как концентрированного выражения на-

циональных качеств, представлявшая собой развитие архаической идеи изоморфизма. И хотя вопрос о соотношении индивидуального и коллективного в оппозиции личность/общество будет на протяжении всего столетия обсуждаться и пересматриваться, сама постановка данного вопроса – столь важного с точки зрения представлений о национальном – обусловлена влиянием философии романтизма. Приведем ряд наиболее характерных для эпохи описаний «своих» – русского (в том числе без определения «великорусский») крестьянства, – которые явно укладываются в представления о великорусском землепашце как потомке добродетельных славян.

Первое описание содержится в ранних популярных записках В.В. Пассека о «путешествии по стране» (1834). Указывая, что всем славянским племенам присуща «предрасположенность к восприятию греческой религии», автор приписывает им «положительные признаки»: «созерцательность, перевес внутренней жизни над внешней, тишины, спокойствия – над деятельностью»¹⁰⁶. Все эти черты Пассек обнаруживает в событиях истории России, ее памятниках и т.д. – не упоминая, однако, напрямую о великорусах¹⁰⁷. В «Записках Вадима» нет прямого сопоставления русских со славянами, но оно явно следует из контекста. В таком же духе изображает жителей края «вокруг сердца матери – Белокаменной» другой, менее именитый путешественник – Д.П. Шелехов¹⁰⁸. Он именует обитателей этого региона представителями «чистого русского племени со своим коренными, народными нравами», отмечает их промышленную сметку и «даровитость», способность «русского ума» «из всего извлекать выгоду и все применить к делу»¹⁰⁹. В очерке возникает определение «великороссийский мужичок» – которому, как уверен автор, непременно нужно «присоединить к сохе еще и посторонний промысел»¹¹⁰; неоднократно с восторгом описывается его истовая религиозность и верность православию («Какие богомольны здешние мужички!»¹¹¹). Закономерна и общая формула-резюме (о типичности которой подробно писали разные исследователи¹¹²) – совершенно в духе Терещенко: «Святая церковь, Царь православный, милая родина, отец-помещик – о! эти слова волшебные в здешнем краю!.. Именно здесь вы увидите Русь православную, истинно теократическую в настоящем своем народном виде... Этот край между Волгой и Окой... напитан стихиями гражданственности»¹¹³.

В ставшем хрестоматийным высказывании (тоже, кстати, содержащемся в травелоге 1833–1836 гг.) А.С. Пушкина собраны все характерные приметы «доброго поселянина», с присущими ему отличительными достоинствами: «Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского уничижения в его поступи и речи? О его смелости и смышленности и говорить нечего. Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны... Никогда не встретите вы

в нашем народе того, что французы называют *un badaud* [протозей], никогда не заметите в нем ни грубого удивления, ни невежественного презрения к чужому... Наш крестьянин опрятен по привычке и по правилу: каждую субботу ходит он в баню»¹¹⁴. И наконец, столь стереотипное для этой эпохи резюме: «Судьба крестьянина улучшается со дня на день по мере распространения просвещения»¹¹⁵.

В подготовленном с участием Ф.В. Булгарина статистическом описании Российской империи говорилось: «Везде славяне отличаются мужеством, гостеприимством, радушием, правдивостью, добродушием, человеколюбием и состраданием», им присуща также «общежительность»¹¹⁶. Древние славяне добры «по-своему», великодушны, откровенны, щедры с друзьями, свирепы к врагам»¹¹⁷. Их потомки – русские, являясь господствующим в России племенем, «...превосходят все прочие народы трудолюбием и телесною крепостию, мужественны, как все славяне, и соединены узами веры, любви к престолу и отечеству»¹¹⁸. В первом высказывании подчеркивалась двойственность характеристики (данной еще Гердером), во втором акцентировались нравственные добродетели и сформированные ими нормы «общественного быта», которые стали основанием для выводов о способности к государствообразованию, присущей прежде всего этническим русским.

Именно на таком, архаическом понимании русскости, основаны представления о национальном характере, выраженные в учебнике с типичным для подобного изложения истории и нравов России названием «Мир Божий». Следует подчеркнуть, что в учебниках и пособиях для начальной школы второй половины XIX в. преобладало распространенное в более ранней публицистике идеализированное изображение специфических свойств русских, под которыми подразумевались довольно абстрактные русские/великорусские крестьяне («русский народ»). Автор учебника А. Разин наделял соотечественников исключительными умственными и нравственными добродетелями («наш народ умен, ловок, сметлив, добродушен, снисходителен, бескорыстен, незлобив»¹¹⁹), закономерно заключая, что «на свете нет такого чудесного народа, как наш русский народ»¹²⁰.

В опубликованной через 11 лет после статистического описания Иванова и Булгарина книге А.В. Терещенко славянское происхождение становится лейтмотивом в изображении «русского народа». Сначала создается его привлекательный образ: «...славяне наружностью и умом ни в чем не уступают прославленным коренным европейцам – германам и франкам... очерком лица, белизною тела, станом и душевными силами суть настоящие европейцы... в несчастьях были тверды и непоколебимы»¹²¹. Автор упоминает известные по античным источникам черты славянского племени: мужество в сражениях, добродушие, кротость и гостеприимство в мирной жизни¹²². «Славяне дышали простотой, не знали ни злобы, ковар-

ства»¹²³, – отмечает он, и в этих словах отчетливо слышна полемика между Н.М. Карамзиным и П. Шафариком. Данная Терещенко характеристика славян весьма комплиментарна, но заимствована из известных источников и славистических трудов современников («все славянские племена любили песни и музыку»¹²⁴, они были «сильные, верные, не боящиеся смерти»¹²⁵, «неутомимые в трудах и привязанные к земледелию»¹²⁶).

Обращаясь к изображению характера русского народа, Терещенко отождествляет русских то с единым восточнославянским племенем, то исключительно с великорусами, поэтому подчас довольно трудно понять, кто конкретно имеется в виду. Лишь по контексту можно предположить, что такие черты, как патриотизм, верность православию и государю, преданность Отечеству или «наклонность русских к образованию»¹²⁷, суть особенности общенародные. «Славянскими» приметами русских являются склонность к веселью и праздникам, гостеприимство, трудолюбие, мужество в защите Родины. Непосредственно о великорусах Терещенко пишет так: «Внутренние обитатели северо-восточной части пронизательные, все они с большими наклонностями к познаниям: переимчивы и изобретательны, деятельны и неутомимы. Торговля всеми вещами... промышленность и фабричные произведения проистекают отсюда»¹²⁸. И далее: эти «внутренние обитатели... более хладнокровные, чем горячие», «прежде рассчитывают, нежели решаются»¹²⁹. Здесь, пожалуй, впервые после описания Н.И. Надеждина специфически великорусскими свойствами объявлены предприимчивость и явно соотносимая с нею холодность/расчетливость. Очевидно, что эти черты отличают великорусов и от древних славян, и от других восточных славян.

К образу русских/великорусов у А.В. Терещенко примыкает характеристика географа К.И. Арсеньева (1848), который, именуя русскими все три племени, не усматривал вообще никаких различий между «ветвями», будучи уверен, что «русские земли сходствуют между собою одинакими нравами жителей, единством языка, одними гражданскими уставами, одною религией и почти одинаким образованием народов, здесь обитающих; сии страны суть истинное отечество русских, твердейшая и главная опора державы Российской»¹³⁰.

Явно тяготеют к земледельческим славянским добродетелям черты русских, перечисляемые другим географом – И.Я. Павловским: «...великодушие и гостеприимство суть отличительные их черты; на лице их всегда изображается самодовольствие; веселость и бодрость сохраняются до глубокой старости; страстно любят они пляску и песни, известные своей оригинальностью. Русский необыкновенно привязан к своей родине (матушке-России), питает религиозные чувства, отличается пламенным усердием к законным царям

и есть безусловно покорный подданный. Он тщательно сохраняет нравы, обычаи и особенно веру своих предков... Русский-простолудин трудолюбив, смышлен, переимчив и ко всему способен»¹³¹. Впрочем, иллюстрации этих свойств на примерах представителей разных губерний позволяют утверждать, что под «русскими» автор понимает исключительно великорусов. Все три восточнославянских народа Павловский называет племенем «славяно-руссов» и именно его разделяет на три «поколения» – восточное («великороссияне, составляющие собственно русский народ»), юго-западное (малороссияне) и западное (белорусы)¹³².

Созданный Терещенко идеализированный образ славянских предков подверг критике К.Д. Кавелин, который в своей рецензии весьма проникательно заметил, что комплекс черт, приписанный Терещенко древним славянам, присущ «большой части народов в первобытном состоянии»¹³³. Не устроило Кавелина и главное заключение о том, что суть русской народности (в значении этничности) выражается в любви к Отечеству¹³⁴ и в верности самодержавию и православию. «Эти истины очевидны и просты», но не выражают отличительных особенностей именно русского народа и его народности – так полагал историк. К.Д. Кавелин показывает, что главным недостатком труда Терещенко с исторической и этнографической точек зрения является тенденция к нивелированию процессов изменения, которым подвергается всякое племя/народ в процессе развития. К.Д. Кавелин уловил общую, типичную для тогдашних описаний тенденциозность. Стремясь охарактеризовать русских в разных этнографических аспектах, в том числе в их врожденных добродетелях, пороках, склонностях и страстях, авторы (независимо от того, обращались ли они к собственным впечатлениям или оперировали чужими данными) отождествляли образ жизни и мировоззрение современного им народа, т.е. крестьянства XIX в., с бытом и мировоззрением предков российских, даже более отдаленных – славянских. Данное заблуждение, по мнению Кавелина, связано с прямолинейной трактовкой патриархальности: считалось, что именно в «простом народе» сохраняются архаичные формы культуры, что «живое» устное народное творчество содержит почти без изменений формулы и элементы представлений ушедших эпох, а земледельческий уклад жизни создает естественный барьер для новаций и изменений (им подвергается в основном культура высших социальных слоев); отсюда – живучесть представлений о том, что характер крестьянина и есть истинно народный, устойчивый этнографический признак.

Однако это замечание историка (как и другие его проникательные и новаторские суждения) не было услышано и усвоено ни учеными, ни публицистами-современниками. Впрочем, российские иссле-

дователи отмечали противоречивость славянского нрава и активно использовали различные способы аргументации – в зависимости от того, включались ли описания племенных качеств в исследования по древней истории собственно славянства или же к ним обращались для изображения нравственного и эмоционального состояния предков русского народа в дохристианский период истории¹³⁵. Кавелин в своем очерке о русской истории много писал об этнокультурном своеобразии «русско-славянских племен», противопоставляя их, в традициях современной ему славистики, племени германскому. Последнему «предстояло развить историческую личность». Между тем «спокойные, миролюбивые» славяне «жили постоянно на своих местах. Начало личности у них не существовало. Семейственный быт и отношения не могли воспитать в русском славянине чувства особенности... Здесь человек как-то расплывается; его силы... лишены упругости, энергии и распускаются в море близких, мирных отношений... Здесь человек предается покою и нравственно дремлет. Он доверчив, слаб и беспечен как дитя»¹³⁶. Славянам Кавелин приписывает кроткий нрав, добродушие и доверчивость¹³⁷. Стоит обратить внимание на метафору возраста: в патриархальных добродетелях славян до принятия христианства легко угадываются черты «добраго дикаря», который, согласно представлениям, сформировавшимся еще в эпоху Просвещения, живя в гармонии с природой, не был тронут пороками цивилизации, его душа обладала неиспорченностью и чистотой «доисторической» стадии развития. Однако его нравственность не была осознанной, выработанной веками самоограничения, духовного подвига и верой, – она имела иную природу, точнее, сама была природной¹³⁸.

Серьезным фактором в процессе репрезентации русских как славян стала известная уваровская триада «самодержавие, православию, народность»¹³⁹, идеологи которой активно использовали концепт «русское славянство». Уваров, как и другие современники, теоретизируя о соотношении славянства и русскости, рассматривал их в видо-родовых категориях: «Каждый народ в период самобытности своей вмещает в себе два элемента: общий, наследственный от народа-родоначальника, исчезающего в поколениях, и частный, составляющий личность народа. Общий элемент в нас есть – родовой, славянский; частный – наш собственный, русский»¹⁴⁰.

Таким образом, в контексте рассуждений об общерусском (доминировавших до 1850-х гг.) и великорусском (во второй половине столетия) нраве/характере описания славянского нрава оставались значимой частью исторических и этнографических сочинений – как научных, так и популярных.

К характерологии славян активно обращались и русские историки второй половины XIX в. К.Н. Бестужев-Рюмин затрагивал

данный вопрос в обзоре европейской истории XVII–XIX вв. (1872): «Мирный, земледельческий характер славян придавал значительную мягкость их нравам»; «войны обращались в промысел только в позднейшие времена, и едва ли не под влиянием чужеземным; мирный земледельческий быт, старое общинное устройство мешали славянам окончательно обратиться в завоевательный народ»¹⁴¹. М.П. Погодин также создавал образ кроткого, мирного пахаря-земледельца – предка великорусов: «Славяне были и есть народ тихий, спокойный, терпеливый. Все древние писатели утверждают это о своих славянах, то есть западных. Наши имели и имеют эти качества в высшей степени. Поэтому они и прияли чуждых господ без всякого сопротивления, исполняли всякое требование их с готовностью и не раздражая ничем»¹⁴². Несомненной «компенсацией» такой неприглядной в целом смиренности можно считать заключение историка, что именно «безусловная покорность» и «равнодушие, противоположные западной раздражительности, содействовали к сохранению доброго согласия между двумя народами, слившимися вскоре воедино». Вновь обращает на себя внимание сочетание спокойствия и пассивности – свойств, которые приписывались славянам православному вероисповедания, в особенности русским (и восточнославянским народам в целом).

В других работах описания великорусов как славян давались в контексте начальной истории Русского государства периода княжения Рюрика. Д.И. Иловайский в «Истории России» (1876) объяснял трудности в созидании русской государственности своеобразием «склонностей» и психологии славяно-руссов, в которых сочетались как типично славянские, так и вновь выработанные черты, сложившиеся в исторических и природных условиях северо-восточных пространств Европейской равнины, – «предприимчивость, мужество и способность созидательная», а также «запас изобретательности, трудолюбия и терпения»¹⁴³ (напомним, этими же свойствами наделялись все земледельческие народы). «Творческая способность» первобытного русского племени, как неустанно подчеркивал Иловайский в своих сочинениях, является важнейшим фундаментом самобытного развития, именно она свидетельствует о необходимом потенциале племенной воли, позволяющем русским быть причисленными к «передовым историческим народам». К негативным общеславянским свойствам историк относил «чрезмерную впечатлительность» и «излишнюю подвижность» (подобно И.Г. Гердеру и А. Мицкевичу, противопоставляя их «устойчивости» и сосредоточенности «немецкого племени»), которые обусловили «даровитость» славян, но послужили источником «некоторого непостоянства, некоторой неустойчивости»¹⁴⁴. Впрочем, по мнению Иловайского, славяно-руссам удалось преодолеть этот недостаток. Историк был убежден, что

хотя славянское племя явно уступает германскому «в силе характера», зато «русское племя» в этом отношении заметно отличается от других братьев-славян, с самого начала истории обнаруживая «терпение и твердость», столь необходимые для развития общественного и государственного быта. Иловайский считал, что русским удалось выработать в своем характере такие черты, которые выгодно отличали их от славянских предков: это «меньшая степень впечатлительности и непостоянства», которыми они обязаны суровым природным условиям и «отчасти» метисации с другими народностями (готскими и финскими).

Некоторые ученые опирались на характерологию славян в связи с историческими и этнографическими исследованиями славянских народов. В этом контексте нельзя не упомянуть о монографии Н.И. Костомарова (1869)¹⁴⁵, посвященной польской, а не российской истории. В этом сочинении много места уделено очерку польского национального характера, обширное и яркое описание которого, данное Костомаровым, на десятилетия вошло в отечественную полонистику: в научные сочинения, в этнографические очерки, в фундаментальные академические описания народов Российской империи¹⁴⁶. Конечно, авторы этих работ обращались и к другим историческим сочинениям о Польше, в том числе к собственно польским, однако, как показывает анализ, наиболее востребованной в научно-популярной литературе оказалась именно книга Н.И. Костомарова. История стремится прежде всего обосновать тезис, что «польский народ, как и все славянское племя (выделено мной. – М.Л.)... представляет избыток и господство сердечности над умом. Народные пороки и добродетели объясняются этим свойством»¹⁴⁷. Именно эта врожденная особенность славянского темперамента, по мнению Костомарова, определила реакции и действия, вкусы, предпочтения и политические пристрастия поляка, который «легко воспламеняется, когда затрагивают его сердце, и легко охлаждается, когда сердце от утомления начинает биться тише, легко доверяется тому, кто льстит желанию его сердца, и в обоих случаях легко попадаетея в самообольщение и обман; голос холодного здравого рассудка, хотя бы и самый дружеский, ему противен; увлекаясь чувством, он считает возможным невозможное для его сил, затевает великое дело и не кончает его, делается несостоятельным, когда для дела оказывается недостаточно сердечных порывов, а нужно холодное обсуждение и устойчивый труд»¹⁴⁸. Рассказ о добродушных, гостеприимных, крепких и тому подобных славянах встречаем также в книге славянофила А.Ф. Риттиха¹⁴⁹.

Как видим, перед нами ставшая уже хрестоматийной характеристика славянского Духа, непременно соотносимая (явно и косвенно) с оппозицией германская/славянская «стихий»; по содержанию

конкретных определений и оценок она ближе всего к гердеровскому и мицкевическому противопоставлениям рационального и мистического, интеллектуального и душевного, активного и пассивного начал, холодного ума и горячей любви и т.п.

Смирение и кротость рассматривались в качестве положительных свойств всякого земледельческого народа, и в частности славян. Иную точку зрения одним из первых стал отстаивать С.М. Соловьев, которому принадлежит утверждение о том, что гостеприимство и доброта славян «не исключали, впрочем, свирепости и жестокости в известных случаях», а кардинально противоположные мнения древних автор объяснял несходством различных славянских племен и разрозненностью их, – таким образом, источники сообщали сведения хотя и верные, но касавшиеся народов, имевших неродственные нравы¹⁵⁰. Эта более взвешенная и беспристрастная точка зрения на славян как на агрессивных «завоевателей и грабителей», ничем не отличавшихся от других варваров, начала преобладать к 1880-м гг.¹⁵¹ Д.И. Иловайский в «Разысканиях о начале Руси» (1876) заключал, что «пора оставить совершенно неосновательные мнения старых австрийских славян о мирном, земледельческом и пассивном характере древних славян. Воинственность свою славяне явно обнаружили»¹⁵². И.М. Собестианский, автор обширной монографии «Учения о национальных особенностях характера и юридического быта славян» (1892)¹⁵³, категорически утверждал, что господствовавший на протяжении XIX в. «взгляд на характер древних славян можно назвать сентиментально-поэтическим» и имевшим мало общего с реальной исторической действительностью. Осуществленный Собестианским детальный разбор античных источников, с одной стороны, и анализировавших нравы славян европейских историографических сочинений (от эпохи Просвещения до трудов Шафарика) – с другой, приводит автора к заключению о том, что наиболее характерными свойствами, приписывавшимися славянам, были, во-первых, воинские качества (храбрость, воинственность и жестокость); во-вторых, свойства, сформированные природой (отсутствие коварства, справедливость, миролюбие, доброта), а также черты, присущие земледельческим европейским народам: гостеприимство, кротость, прямодушие и трудолюбие¹⁵⁴. «Меч и копьё, а не соха и гусли прокладывали путь нашим предкам»¹⁵⁵, – категорически утверждал И.М. Собестианский. Аналогичная точка зрения высказывалась и А.Н. Пыпиным¹⁵⁶.

В 1880-х – 1890-х гг., с развитием направления так называемой народной, или национальной, психологии¹⁵⁷, представления о нраве/характере племен и народов подвергаются корректировке. Рассматривая спектр воззрений, касающихся научной интерпретации психологических характеристик общностей, нельзя не упомянуть

«признание» русской историографией позитивизма психологической школы, сторонники которой стремились поставить психологию между биологией и социологией¹⁵⁸. Описание нрава/характера обычно помещалось в эти очерки или реконструкции, создаваемые на основании анализа конкретных текстов культуры. В отличие от предшествующей традиции, часто опиравшейся исключительно на предрассудки, впечатления или почерпнутые из знакомства с фольклором представления о народном/национальном идеале, теперь это были сравнительные очерки, выполненные в жанре историко-психологических изысканий. Но, несмотря на то что в этих исследованиях «психических черт» использовались новые методы и новый научный лексикон, сделанные в них выводы, в сущности, не отличались от более ранних концепций.

Зачастую одни и те же этнические черты, определяемые как «психические», трактовались то как причина историко-культурного своеобразия, то как его следствие. В частности, Э. Реклю в своих народоведческих очерках описывал великорусов как «цивилизующий по преимуществу элемент» национальной жизни, как «образцового колонизатора». Эти особенности он рассматривал как главные следствия таких их свойств как отсутствие привязанности к месту рождения и способность совершенно приспособиться к новой среде, вплоть до «перенимания нравов и обычаев» разных племен¹⁵⁹. Некоторые этнические свойства («сочетание отваги и покорности судьбе», смирение) Реклю объяснял пережитой великорусами в истории неволей и страхами, другие (долготерпение, добродушие, сметливый ум, кротость и мягкость)¹⁶⁰ относил к изначальным, природно-обусловленным. Из общеславянских качеств он упоминает мистицизм, из недостатков – склонность великорусов «поклоняться силе» и сочетание «насилия и доброты... в семьях»¹⁶¹.

Оригинальную для своего времени концепцию формирования психофизиологических особенностей народов развивал А.П. Шапов, однако в части выводов он тоже следовал привычной схеме, почти буквально повторяя предшественников (славяне – «сердце», германцы – «ум»; славянская и германская стихии как чувство и разум¹⁶²). Согласно взглядам Шапова, из европейских народов «славянское племя... наиболее отличалось пассивной восприимчивостью нервной чувствительности или господством пассивного чувства над активной самодеятельностью умозрительных способностей, *господством внешних чувств над разумом* (выделено мной. – М.Л.)»¹⁶³. Особое значение для славян имеет чувство племенного родства, общинных предрасположений и привязанности к родовым преданиям, а также чувство пассивной ненависти к угнетавшим народам, – например, германцам присуща «медленная умственная возбуждаемость к прогрессу».

Польский историк литературы М. Здзеховский, оперируя принятым в европейской науке термином «племенная психология», называл «самой выдающейся особенностью» племенной психологии славян «мистический патриотизм», в русском народе выразившийся в славянофильстве, а в польском – в католическом мессианизме. Суть последнего Здзеховский описывал как «национальное стремление», облекающееся в форму «мистической веры в особое наше призвание»; а конкретные проявления привычно обнаруживались в национальных литературах. Объяснение причин возникновения этих отличий Здзеховский считал делом будущего¹⁶⁴. В качестве общего свойства славянского нрава он называл «стремление к парениям в заоблачном мире»¹⁶⁵, которое, однако, не расходится с обыденной жизнью, а, напротив, воплощается в ней и определяет ее¹⁶⁶. В сущности, перед нами идея славянской души (или Духа – по Мицкевичу).

Эти довольно архаичные характеристики в полной мере функционировали в трудах славянских антропологов, однако в новых формулах и в иной системе причинно-следственных связей: акцентировались врожденные свойства физических (антропологических) типов или рас. В соответствии с расовыми теориями своеобразие психического склада мыслилось в тесном соответствии с внешним обликом и уровнем развития человеческой общности. Но и в данном случае следует констатировать, что принципиально нового содержания в прежние характеристики внесено не было. Это заметно, например, в трудах российского (И.А. Сикорский) и польского (Ю. Талько-Грынцевич) антропологов. Оба исходили из убеждения, что чертам нрава, как и физическим признакам, свойственна высокая историческая устойчивость (тысячи лет), поэтому «духовные качества расы или племени», черты характера, «достоинства и недостатки передаются нисходящим поколениям»¹⁶⁷ непременно.

Сикорский легко обнаруживал в народном русском характере сохранившиеся черты общеславянского нрава – «те же славянское миролюбие и гостеприимство, ту же нелюбовь к труду, те же семейные добродетели, тот же идеализм, ту же славянскую рознь, которые отличали большую часть славян»¹⁶⁸ в течение их исторической жизни. Ученый считал идеализм «самой привлекательной особенностью» славянского типа, усматривая его истоки в тонкости чувств¹⁶⁹. Как и большинство его современников-антропологов, Сикорский полностью разделял антропогеографическую концепцию Ратцеля; переосмысливая ее применительно к психологии, он утверждал зависимость умственных и душевных качеств народа от природы и потому считал ее неразрешенной загадкой явное противоречие: «суровая и небогатая впечатлениями природа» Восточной Европы создала и развила «глубокое чувство» и «великий народный дух» русского народа¹⁷⁰, и, таким образом, «культура духа» славян вступила в данном регионе

в противоречие с «культурой природы»: «...славяне вообще и русские в частности отличаются наклонностью к внутреннему анализу, в особенности... нравственному. Окружающая... обстановка жизни мало интересует... русского человека... [он] не ищет удобств и всему предпочитает теплую душу и открытое сердце»¹⁷¹. К «слабейшим сторонам» славянской природы антрополог относил «волю», которая менее энергична, чем у других народов, поэтому славяне способны лишь на кратковременные волевые усилия, т.е. порывы¹⁷² (о чем писал еще О.М. Бодянский в очерке о великорусской поэзии).

Кроме того, И.А. Сикорский приписывает славянской расе (племени) особую нравственную выносливость, которая требует затрат физической энергии. Типичными чертами русского народного характера антрополог называет: скорбь, терпение («напряжение воли, направленное к подавлению физического или нравственного страдания»¹⁷³) и величие духа среди несчастий, склонность к меланхолии, покорность судьбе и «вдумчивость в события»¹⁷⁴ (то же – у Бодянского). Сикорский считал, что русское терпение и вытекающая из него потребность мученичества составляют «характеристический облик» русского народа¹⁷⁵. Он писал, что такие психические черты славян, как «чуткая впечатлительность, нервная подвижность» (то же – у А. Мицкевича и Н.И. Костомарова), соответствующие «тонко развитому чувству и достаточно развитому уму», а также «живое чувство» в целом присутствуют в великорусах, однако несколько видоизменились под воздействием метисации (смешения с финскими племенами)¹⁷⁶. Типичное для всех славян гостеприимство, сохраняющееся и в русском народе, автор объяснял не только «развитым человеческим чувством», но и особенным восприятием Другого: «уважением ко всему иностранному, усвоением лучших основ чужой культуры». Сикорский был уверен, что именно оно объясняет и веротерпимость, и примирительное отношение («братский прием») «к инородческим элементам»¹⁷⁷. «Религиозная расовая терпимость славян яснее всего сказалась на объединяющем и ассимилирующем влиянии славян на смежные малокультурные народы, что привело к обрусению инородцев, слиянию их с русскими “мирным путем”»¹⁷⁸, – констатировал исследователь.

Польский антрополог Ю. Талько-Грынцевич, сравнивая нравы великорусов и поляков как двух ветвей славянского древа, отмечал, что первые в результате освоения новых территорий изменили изначальные качества древнего славянского склада души и темперамента, в то время как поляки не утратили их¹⁷⁹. Польские особенности предсказуемы и соответствуют характеристикам, данным Мицкевичем и Костомаровым. Они таковы: «темперамент горячий, мечтательный, легко воспламеняющийся, но не злопамятный, характер мягкий, веселый и беззаботный»¹⁸⁰, отличающийся непостоянством

и житейской непрактичностью, а также «глубокая привязанность к родному очагу» (эти качества, как доказывает автор, сохранились в не измененном метисациями польском типе). Поляки рассматриваются в качестве примера истинного (т.е. «чистого») славянского типа, сохранность которого обусловлена тем, что они редко «подпадают чужой культуре и с трудом выучиваются чуждому языку»¹⁸¹. Славянскими особенностями польский антрополог считал прямодушие и гостеприимство¹⁸², присущие в равной степени и западнославянским, и восточнославянским племенам. Великорусы же в результате смешения с инородческим населением обрели такие качества, как «умение сдерживать себя и житейскую практичность», что, на взгляд Талько-Грынцевича, не было присуще древним славянам.

Резюмируя, следует сказать, что представления о славянских свойствах нрава/характера/психологии великоруса на протяжении XIX столетия подвергались незначительной корректировке, и в них легко выделить несколько ключевых комплексов этнокультурных особенностей. Первый соотносится с качествами этноса, который в силу исторических причин тяготеет прежде всего к сельскохозяйственному хозяйственному типу. Эти качества связываются со славянскими, но, по сути, носят внеплеменной, универсально-земледельческий характер: гостеприимство, радушие, миролюбие, кротость и незлобивость, а также «склонность к домашнему быту», привязанность к дому, родной земле. Общественной структуре данного типа соответствуют патриархальные формы самоорганизации – община и семейно-родовые отношения традиционного общества: покорность старшим, подчиненное положение женщины, отчасти – «природная» нравственность. С другой стороны, постоянно актуализируется противопоставление славянского «склада» германскому, осуществляемое в категориях-метафорах возраста (зрелый или старый/юный), которым соответствуют оппозиции: совершенный/несовершенный, разумный/неразумный; испорченный/неиспорченный, полный/неполный, чистая форма/смешанная форма; закон/обычай, знание/вера, активность/пассивность. Противопоставление немцев и славян как земледельцев – воинам не получило столь полного воплощения и постепенно нивелировалась тезисом о том, что воинственность и жестокость были присущи также древним славянам. Такой перенос акцентов, вероятно, знаменовал новый этап в процессе формирования националистической доктрины. Однако в целом при детализации отдельных положений и разработке вариантов в различных, в том числе позитивистских, исследованиях романтическая концепция славяно-германского противостояния не претерпела серьезных изменений¹⁸³.

Великорусы как славяне должны были бы воплощать в своей духовной жизни такие типичные черты, как: а) преобладание сердца

над разумом; б) господство эмоций над умом; в) перевес страстей над волей; г) неразвитость рационального начала, развитость мистического начала; д) слабо выраженный волевой импульс, пассивность, отсутствие энергии в преобразовании и отсюда – приверженность старине. Однако в обобщенных характеристиках почти все эти свойства выражены неотчетливо, а во многих случаях они не упоминаются применительно к великорусам. Эти древние славянские черты более или менее ясно проступают в психологических очерках – когда речь заходит о пассивности, отсутствии созидательного начала, проявляющемся в кратковременных всплесках/выбросах эмоций и энергии. С.М. Соловьев, характеризуя древних славян, обитавших на Северо-Восточной равнине, упоминает про их «расходчивость», «расплывчатость», «привычку уходить при первом неудобстве», что порождало «отсутствие привязанности к одному месту», «безрасчетливость», ослабляло «нравственную сосредоточенность», приучало «к жизни день за день»¹⁸⁴.

Сегодня, опираясь на теоретические модели евроцентристских типологий (И. Нойманна, Э. Саида и др.), можно заметить соотношение данных характеристик славян и германцев с важнейшими для европейской культуры отождествлениями Востока с феминным, а Запада – с маскулинным началом. Хорошо известно, что национально-характерологические типологии активно соотносятся с гендерными¹⁸⁵. Согласно им, женские качества слабости, эмоциональности, незащитности, неорганизованности, пассивности, зависимости, неразвитого интеллекта и т.д. приписывались славянам, в то время как представители германского племени наделялись мужскими позитивными качествами силы, рациональности, дисциплины, жесткости, организации, ума и т.п. Подобными представлениями активно оперировал, например, О. фон Бисмарк, описывая свое понимание России, русских и других славян и приписывая феминные свойства также кельтским народам¹⁸⁶. В XIX столетии носителями женского начала объявлялись также романские народы¹⁸⁷ и евреи¹⁸⁸. Согласно другим теориям (например, Ф. Ницше), греки и французы воплощали женский тип, а немцы, римляне и евреи – мужской¹⁸⁹. Германская стихия/раса воплощала мужской принцип, другие же народы, отождествлявшиеся с женской сутью, согласно этой логике, должны были быть покорены и культурно «оплодотворены». Гармоничное сосуществование западной и восточной цивилизаций или народов Европы и Азии/Ориента рассматривалось в метафоре семьи, где женщина, в соответствии с естественными законами, подчинена мужу.

Эта тенденция отмечена в историографии в связи с интерпретацией расовых классификаций, осуществлявшейся в антропологических исследованиях первой трети и середины еще XIX в. «...Коренное различие между племенами проводилось некоторыми гораздо

дальше, чем между неграми и белыми. Многие немецкие историки и публицисты... видели в различии германцев и славян как бы различие половое и доказывали, что германцы представляют собой элемент мужеский, активный, а славяне – элемент женский, страдательный»¹⁹⁰. То же отождествление этнической и гендерной дихотомий отмечали и слависты – причем не только этнографы. На нее указывал, в частности, В.И. Ламанский, рассматривая западноевропейскую (главным образом немецкоязычную) славистическую историографию XVIII – первой половины XIX в.¹⁹¹

Возникает вопрос: почему представление об общеславянском характере как оппозиционном германскому племенному психотипу (неоднократно переводившееся в дихотомии Запад/Восток, Европа/Азия, цивилизация/варварство, жестокость/доброта, порядок/стихийность и др.) оказалось столь живучим, воплотившись в каноне, не менявшемся в ходе создания национальных идеологий и этнографических научных описаний на протяжении всего XIX в.? Почему, при кажущемся очевидным антагонизме оценок внешних наблюдателей и самохарактеристик патриотической историографии, сам перечень этноспецифических черт оставался неизменным?

Причины, на наш взгляд, следует искать в идеологических концепциях, обосновывающих цивилизационный статус нациеобразующего этноса. *Во-первых*, обнаружение типично славянских черт (как во внешнем облике, так и в характере) должно было подтвердить славянскую доминанту в смешанном славяно-финском типе, к которому причисляли великорусов. Несмотря на многочисленные и доказательные аргументы в пользу того, что не существует абсолютно «чистых» этнографических типов, многочисленные упреки в «финскости» великорусов, их отличиях от южных и западных славян не подлежали сомнению.

Во-вторых, весьма значимой представлялась «славянскость» великорусов с точки зрения их способности к государственности. Поскольку великорусы оказывались в XIX в. единственным, а чуть ранее – вторым (вместе с Речью Посполитой) народом славянского мира не только создавшим, но и на протяжении веков удержавшим целостность своего государства в условиях постоянных посягательств на независимость и еще значительно расширившим его границы, возникало предположение: быть может, именно финская кровь дала великорусам такую историческую способность? Одним из немногих этот вопрос отчетливо сформулировал и разобрал К.Д. Кавелин, показавший, что такая взаимообусловленность, бесспорно, существует, но выражена непрямолинейно, однако проблема продолжала волновать «нациестроителей» и позже.

В-третьих, убежденность (господствовавшая в русской и зарубежной славистике очень долго – с 1830-х до 1880-х гг.) в пас-

сивном и кротком характере славянских предков, переданном великорусскому племени¹⁹², вероятно, коррелировала с идеей мирного, ненасильственного характера ассимиляции славянами финно-угорских племен на территории Северо-Восточной Руси. При этом в текстах российских авторов, рассматривавших аспекты славянско-великорусских культурно-генетических связей, позитивные черты нрава/характера все же преобладали. Список основных врожденных добродетелей открывался, как правило, презентацией типа смиренного труженика, способного к мирному сосуществованию с инородцами. Пороки связывались с воинственным образом жизни, порождавшим жестокость, неприятие чуждого мира, агрессию.

Равновесие между двумя акцентами в определении нрава часто зависело и от позиции авторов, но вовсе не в отношении версий этногенеза: Н.М. Карамзин, а вслед за ним Е.Е. Голубинский¹⁹³ и М.П. Погодин¹⁹⁴ связывали позитивные качества славянских народов исключительно с благоприятным влиянием христианской цивилизованности. М.П. Погодин, составляя довольно лестное описание нрава древних славян в опоре на заключения П.Й. Шафарика, приходил к заключению, что «древние славяне и мы, ныне так называемые русские... составляем один и тот же народ, непрерывно живущий... с осьмого... перед Рождеством Христовым века, следовательно, все, что принадлежит древним славянам, то досталось и нам, в лице наших предков девятого столетия»¹⁹⁵. Не оценивая каждую из особенностей характера, сохранившихся в русском народе именно от предков славянского происхождения (хотя смешения с финнами Погодин не отрицал, оспаривая лишь степень и качество этого процесса), историк указывает все основные элементы этничности. Это «обособленность», язык, «религиозные верования, законы и обычаи» (данное обстоятельство Погодин считал значимым, поскольку не сомневался в высокой степени конфессионализации славянских переселенцев в Северо-Восточную Русь, – что, в свою очередь, убедительно опровергал К.Д. Кавелин¹⁹⁶), а также «плоды пребывания на одном месте», т.е. экономическое развитие.

Великорус/малорус:

основополагающее сравнение племенных типов

В энциклопедической статье о великорусах Д.Н. Анучин справедливо заключал, что «обыкновенно характеристику великорусов проводят либо по отношению к малорусам, либо к финским инородцам»¹⁹⁷. Действительно, в этнографических очерках быта и нравов «отраслей» русского народа (восточных славян) доминирующим принципом изложения оказывалось сравнение – как правило,

великорусов с малорусами, реже – малорусов с белорусами. Подобное практиковалось не только в общих и кратких характеристиках славянских народов Империи (например, в учебниках географии), но и в специальных научных очерках, призванных представить этносы всего Российского государства, – хотя в подобных текстах с прагматической точки зрения было бы логичнее помещать более подробные этнографические описания каждого народа в отдельности. Сравнительный метод при изложении сведений об этническом своеобразии двух восточнославянских народов применялся даже в популярных рассказах и публицистических заметках о путевых впечатлениях. При этом сопоставление с малорусами встречалось в описаниях великорусов, а с великорусами – когда речь шла о малороссах. Такой способ имел несколько преимуществ, но главной задачей становилось выявление этноотличительных свойств, которые, однако, не должны были нивелировать основную концепцию научного описания – доказательство племенного и государственно-го единства трех восточнославянских народов. И довольно рано в этой задаче просматриваются приметы скрытого адресата – украинофилов. Первым в череде сравнительным образом выстроенных репрезентаций каждой из «отраслей» русского народа стал все тот же Н.И. Надеждин – притом задолго до своей программы этнографических исследований «народности русской». Однако «скрытое» сравнение русских «ветвей» исследователи литературных текстов обнаруживают и до него¹⁹⁸.

В энциклопедической статье Н.И. Надеждина¹⁹⁹ севернорусы (великороссияне) и южнорусы (малороссияне) описывались, как уже говорилось, в сравнении. Оно осуществлялось по главным этнографическим приметам: физический облик, язык, отличительные свойства характера, образ жизни, доминирующий хозяйственный тип и др. Центральной задачей автора было указать степень развития тех или иных качеств в двух «ветвях», сходства и различия в проявлении данных качеств, а также воздействие своеобразия на ход истории соответствующей «отрасли», ее «благоденствие» и перспективы развития. В полном соответствии со взглядами эпохи нрав был представлен Надеждиным в таких категориях как, «чувства/страсти», а характер оценивался по степени «сметливости», «понятия», «суждений». Важными показателями темперамента являются речь и коммуникативные навыки. «Русский народ богат практической мудростью, умеет соблюсти каждый случай» и... «намотать себе на ус», он «...необыкновенно смышлен и догадлив по какой-то врожденной сметливости... Быстрота понятия и медленность суждения принадлежат ровно всем поколениям русского племени, но скрытность выражения менее свойственна великороссиянам, которые вообще разговорчивее малорусов и белорусцев. В отношении

нравственном... великороссияне не имеют слишком живых чувств и пылких страстей. Они не способны к чрезмерным порывам ни в любви, ни в ненависти... всякое нововведение им не нравится»²⁰⁰. В этом фрагменте обращают на себя внимание типичные в характеристиках великоруса свойства: практицизм, эмоциональная холодность при разговорчивости, а также некая косность, неприятие нового, – что, впрочем, легко можно трактовать и как привязанность к старине. «Русский человек, – продолжает Надеждин, судя по контексту, имея в виду исключительно великороссиян, – не способен расчислять, выкладывать, смотреть вдаль, разбирать вероятности удачи и неудачи», следствием является «его довольство настоящей минутой, нерасположенность к дальним затеям и обширным спекуляциям, любовь к покою и отвращение от всякого необыкновенного движения»²⁰¹.

Таким образом, перед нами психологический облик человека довольно вялого, неэнергичного и при всем его практицизме не желающего предпринимать какие-либо усилия для достижения далеких целей. «В отношении общежития... характер представляет счастливую умеренность. Он не эгоист, все ему родня... но между тем помнит, что “своя рубашка к телу ближе”... Добрый семьянин, безусловно, покорный подданный, любит своего государя и Отечество, матушку святую Русь, привязан к родине, к праху своих предков, не охотник мыкаться по свету»²⁰², – последнее предложение Надеждина представляет собой довольно типичный для его времени пассаж (правда, обычно относящийся к русскому народу в целом, т.е. к простонародью). «В отношении к способностям промышленным, художественным, творческим великороссияне, как и прочие их братья, не отличаются изобретательностью, но зато чрезвычайно переимчивы и способны к подражанию. Чувство эстетическое мало развито в нем; что пестро и шумно, то для него и хорошо, и красно, и весело. Таким образом, основу великороссийского народного характера составляют качества не блестящие, но прочные: смышленность, постоянство и ограниченность в требованиях. Им-то Восточная Русь и обязана своим величием»²⁰³. Интересно, что Надеждин не указывает очевидно негативных свойств великоросса – за исключением привычки прикидываться «несведущим», простаком²⁰⁴, – что, однако, можно расценивать как типично крестьянское, а не этническое качество. Отсутствие творческих способностей и вкуса также трудно отнести к негативно оцениваемым свойствам. Резюме же Надеждина вновь обращает нас к трем основным качествам – сообразительности, консерватизму и способности довольствоваться малым; перед нами – своеобразный эталон умеренности во всем.

В книге А.В. Терещенко, как уже говорилось, установить точное значение определений «русский народ» и «русские» довольно труд-

но, поскольку автор часто употребляет их синонимично этнониму «великороссияне»²⁰⁵. Однако в очерке народности и нравов характеристики более конкретны. Терещенко активно использует понятие «народность», однако в значении духа народа, прежде всего русского, поэтому подчеркивает, что «местные отличия и наклонности русских не мешают народности»²⁰⁶, поскольку «разнообразиие происходит от местных привычек, а не от духа»²⁰⁷. Терещенко выделяет три различающихся между собой региональных типа русского народа, особенности которых определяются природными условиями и соседством с другими племенами. Интересно, что для наименования этих типов он не использует этнонимы в чистом виде, а прибегает к географическим категориям. Это: 1) «пограничные обитатели севера и степей», которые «занимаются звериной и рыбной ловлею, смелые, отважные, умом хитрые» (вследствие постоянной необходимости защищать свою землю от набегов), «взыскательные, воинственные»²⁰⁸. 2) «Внутренние обитатели северо-восточной части» – «проницательные, с большими наклонностями к познаниям», они переменчивы и изобретательны, деятельны и неутомимы..., «обладают изощренным умом, направляют его к образованию»²⁰⁹. Они одарены «предприимчивостью, устремляются в отдаленные края... наделены мужеством и самоотверженностью... более хладнокровные, чем горячие, они прежде рассчитывают, чем решаются... Торговля и промышленность проистекают отсюда»²¹⁰. 3) «Жители юго-западной части, избалованные расточительной природой, более ленивы, но пламенны... страстно любят умственные занятия»²¹¹. Лишь в этом фрагменте встречается этноним – «малороссийские казаки», составившие славу «высокой поэзии», способностью к которой наделены, как «никакой другой русский»²¹².

Таким образом, можно с высокой степенью уверенности полагать, что в качестве «местностей» указаны части России в узком, географическом смысле (Европейской России): «внутренние обитатели северо-восточной части» суть великорусы, «жители юго-западной части» – малорусы, а пограничные обитатели севера и степей – это живущие на окраинах казаки, поморы, быть может, отчасти жители Южного Поволжья. Поскольку Терещенко разделял мнение французских просветителей о прямой зависимости нрава от климата, то его региональные вариации русского типа, представленные – вполне осознанно – во внеэтнических категориях, призваны связать характер жителей с природой и образом жизни. Каждая из этих трех племенных разновидностей воплощает одну из сторон русской народности: первая – смекалку и предприимчивость, «способность» к промышленной и торговой деятельности, холодность и расчетливость, вторая – горячий темперамент, талант и творческую одаренность. Третья – мужество и воинственность. Великорус в этом описании воплощает

свойства ума, активность и подвижность (в отличие от характеристики Надеждина). Вполне естественно, что заключение А.В. Терещенко в итоге акцентирует важный для подобных репрезентаций тезис: «... между малороссиянами и русскими нет никакого различия: один дух и одно благородное желание управляет ими»²¹³.

В 1840-х – 1850-х гг. различия между малорусами и великорусами продолжали объясняться климатическими факторами, а описание нрава подчинялось противопоставлению север/юг со всеми сопутствующими семиотическими оппозициями: хладнокровие/пылкость, расчетливость/идеализм, сметка/простодушие, ум/душа и т.п. Такая точка зрения, как мы показали, была характерна для О.М. Бодянского, сравнивавшего поэзию «северно- и южноруссов» в 1837 г., обуславливала описание «отраслей» русского народа Н.И. Надеждиным²¹⁴, А.В. Терещенко, Ю.И. Венелиным. Исключительно в сравнении представлены образы великороссиян и малороссиян у В.В. Пассека и П.П. Свинына²¹⁵, а также во многих других описаниях путешествий на протяжении всего XIX в. Изображение «северных и южных руссов» как «ветвей» русского народа, в конструкции северный/южный народы затрагивало все аспекты описания – и языка, и фенотипа (см. шестую главу), и характера, и темперамента. Разность «южан» и «северян» несомненна и для М.П. Погодина: «...одни свойства имеет северный человек, другие – южный, западный, восточный... кровь у одного обращается быстрее, чем у другого... каждый народ имеет свой характер, свои добродетели и свои пороки»²¹⁶. Такой подход был в Российской империи, безусловно, главным и стереотипным способом этнической репрезентации великорусов и малорусов.

В 1840-х – 1860-х гг. лейтмотив сопоставления при их описании также преобладал – о «резких отличиях» говорили почти все авторы очерков путешествий, писатели, публицисты и составители этнографических сведений по программам РГО²¹⁷. Актуализации противопоставления способствовали и начинавшаяся тогда полемика о малороссийском языке/наречии, и расцвет малороссийской литературы в духе «романтического этнографизма», о чем много писали столичные литераторы (критики, публицисты – не только В.Г. Белинский²¹⁸). Приведем типичный для жанра этнографических заметок наблюдателя текст малороссийского патриота А.С. Афанасьева-Чужбинского: «...малорус, народ тихий, добрый и необыкновенно домовитый, резко отличается от своего северного собрата типом, языком, одеждою, нравами и обычаями, а если и уступает последнему в промышленности, то превосходит в удобствах домашней жизни, имея для этого все средства»²¹⁹; «малорус хитер, потому что умен, но он не обладает ни расчетливым умом, ни той сметливостью в отношении средств зашибать копейку, сродной великорусскому крестьянину, которая развилась на севере, где неблагоприятный климат и неплодородная почва возро-

дили в народе дух промышленности»²²⁰. Кроме того, отмечается выгодно отличающая малорусов от великорусов позитивное свойство – чистоплотность, – связанное, однако, не с личной гигиеной, а с аккуратностью в хозяйственной жизни и опрятностью жилища, чистотой и ухоженностью двора, огорода и т.п.²²¹ (во второй половине столетия об этом различии упоминает большинство авторов). Как видим, эти характеристики, помещаемые в очерки малороссийских нравов, свидетельствуют как о малорусах, так и о великорусах. Великоросс предстает предприимчивым, склонным к промышленной деятельности, торговле, практической сметке; малоросс – «добрым», простодушным земледельцем, более похожим на патриархального славянина, чем его «северный брат».

В том же духе, но с оригинальным для своего времени обоснованием особенностей племенных характеров трактовал великороссийские свойства и склонности И.К. Бабст²²². Он придавал решающее значение не климатическому, а биологическому фактору, хотя и не отрицал роль первого в изначальном складывании свойств народов. Бабст был убежден, что именно врожденные качества определяют хозяйственное и в особенности промышленное развитие государств и племен. В качестве примера он сравнивает различных обитателей севера с его суровым климатом и доказывает, что в сходных условиях разные племена выбирают различные экономические стратегии и несхожие решения, продиктованные именно складом характера. Великорусам автор приписывает «способность и склонность к промыслам и торговле», а также «ловкость и умение вести свои торговые дела»²²³. Именно это, по мнению Бабста, кардинально отличает их от малорусов – прекрасных земледельцев и «домоседов», которым «чужда промышленная и коммерческая деятельность»²²⁴. Автор убежден, что эти различия порождены исключительно племенными склонностями.

Современная исследовательница Е.Е. Левкиевская, проанализировав эволюцию стереотипа украинца в русском сознании XIX в., пришла к убедительному заключению, что к середине столетия преобладал образ украинца, который сложился в русской культуре просвещения и романтизма²²⁵. Житель «русской Аркадии» наделялся приметами «человека естественного», простодушного, воплощающего образ не испорченного пороками цивилизации «дитяти природы». Ему присущи все приписываемые народам на этой (домодерной) стадии развития особенности: естественность, открытость, непосредственность в выражении эмоций и сопутствующая им «патриархальная» честность, отсутствие хитрости и коварства (примет «более развитого» общества); традиционные ценности и сугубо земледельческий образ жизни, которые могут интерпретироваться как консерватизм и леность, неискушенность и наивность. Такой образ

позволяет реконструировать позицию его создателя/выразителя: в основу стереотипа украинца заложена «важнейшая оппозиция “цивилизованный” русский/“нецивилизованный” украинец. Эта оппозиция раз и навсегда, независимо от эпохи, устанавливает точку зрения на украинца со стороны русского – это всегда взгляд сверху вниз, взгляд “старшего”, “культурного”, “цивилизованного” на “младшего”, “некультурного”, “нецивилизованного”»²²⁶. Легко заметить, что данный ряд дихотомий помещает великоруса в двойственный контекст: с одной стороны, в соответствии с метафорой возраста он выступает представителем зрелости, старшинства, – в этом смысле его характеристики схожи с чертами германца (в изначальной оппозиции германцы/славяне), в то время как малоросс почти полностью воплощает все позитивно оцениваемые приметы племенного нрава, которыми наделены славяне в противоположность германской «стихии». С другой стороны, противопоставление старшего младшему восходит к патриархально-традиционному пониманию отношений между представителями разных поколений и половозрастных групп внутри крестьянской семьи или родовой общины – с характерными для нее подчинением и послушанием старшим, высоким статусом старшего брата по праву первородства²²⁷. Современные украинские исследователи склонны рассматривать данный тип восприятия малорусов в категориях колониального дискурса²²⁸, со всеми вытекающими из этого ракурса оценками, – что, на наш взгляд, несколько упрощает трактовку, чрезмерно актуализируя мотивы насилия, принуждения, господства и т.п.

Нельзя не отметить еще одну параллель – сопоставление малорусов и великорусов в контексте разобранной выше оппозиции славянства и германства. Помещаемое в гендерный контекст, оно явно соотносится с приметами женского и мужского топосов. Великорусы выступают носителями маскулинного начала, однако, в отличие от развитой гердеровской дихотомии, на принципиально иных основаниях, если опираться на метафору семьи. Не подчинение и покорность народа с развитым «женским началом» носителю «мужского типа» (славян германцам), а их содружество, гармоничное соединение двух начал, двух ипостасей, двух «типов» добродетелей: лейтмотивом всех этнографических очерков восточных славян является важное условие единения малорусов и великорусов, только в их совместном историческом и политическом существовании воплощается со всей полнотой сущность русского народа, и в этом единении – залог крепости государства и силы народности.

В «переводе» на свойства и качества нрава легко спрогнозировать основные параметры самоописания малорусов и великорусов, причем вовсе не обязательно вербализованного. Это противоположные черты, которые формируются в обществе, переставшем

быть традиционно земледельческим. Оно еще не городское, не модернизированное – но сам факт активной ремесленной и торговой деятельности, отходничество, участие великорусов в промыслах на окраинах Империи и другие факторы способствуют выработке таких черт как: скрытность, недоверчивость, стремление «зашибить копейку», стяжательство, хитрость, слабость перед пороками «городской культуры», «охота к перемене мест», активность, предприимчивость, перенимание «чужого», приспособление к новым условиям и вызовам. Два типа нрава/характера, таким образом, выстраиваются по принципу полярности. При этом необходимо подчеркнуть, что данные стереотипные суждения, воплотившиеся в этнографических очерках и остающиеся в самоописаниях русских/ великорусов вплоть до советского времени, постоянно проявлялись в текстах авторов, отождествлявших себя с великорусской культурой.

Ярким примером сопоставительной характеристики малорусского и великорусского нрава/характера можно считать статью Н.И. Костомарова «Две русские народности» (1861), где понятие народности использовалось в том смысле, который придавали ей Н.И. Надеждин и К.Д. Кавелин, – как «особые черты народа», выражающие его этнокультурную «физиономию». У Костомарова характеристика включала описание таких элементов, как «духовный состав, степень чувства, его приемы или склад ума, направление воли, взгляд на жизнь духовную и общественную, все, что образует нрав и характер народа»²²⁹. Сравнив по этим параметрам две русские «ветви», которые Костомаров именуется главным образом «северно- и южноруссами»; (хотя и использует определения «великорусы» и «малоруссы», подробнее об этом см. во второй главе), историк пришел к выводу, что их явное несходство обусловлено не столько врожденными и природными свойствами, сколько особенностями социально-исторических обстоятельств развития. Статью Костомарова можно считать хрестоматийной для этнографических описаний русского народа. Несмотря на ее резко негативную политическую оценку со стороны М.Н. Каткова²³⁰, данные в статье характеристики многократно цитировались, активно использовались в исторической (К.Д. Кавелин), научно-популярной, учебной и этнографической литературе²³¹.

В историческом очерке русских земель Костомаров обосновывал ряд обстоятельств, породивших отличительные особенности двух племенных отраслей. Среди этих обстоятельств – различные свойства религиозности, несходные традиции общественного строя и политической организации государства, противоположные формы выражения эмоций и характера, несходство темперамента и нравственных способностей. (При этом Костомаров специально выделял новгородский тип, который он описывал как типологически близ-

кий малорусскому и отличающийся от московского/великорусского, сформировавшегося в удельный период истории северо-восточных земель.) Эти отличительные свойства реконструировались путем сопоставления комплекса духовных особенностей, проявляющихся вовне – в соотношении личности и власти, в формах религиозной и умственной жизни, в поведении, в народном творчестве и т.п. Вполне очевидно, что в качестве отличительных этнических черт великорусов указывались те, которые в наибольшей степени демонстрируют не близость, но расхождения между двумя народностями. Среди них, в частности, такое общественное устройство великорусов, в котором сужалась индивидуальная свобода, а демократические традиции и свобода подавлялись державным началом («перевес общинности», порожденный «стремлением дать прочность и формальность единству своей земли»²³²) – в противовес сохранявшемуся в Южной Руси «федеративному началу». Особенно ярко, по мнению Костомарова, эти тенденции на северо-востоке развились с татарским завоеванием. Специфика великорусской религиозности с ее пристрастием к внешним формам благочестия («формульности веры»), по мнению историка, укрепляла идею монархизма и единодержавия, одной из важнейших «склонностей» которого было расширение территории. Политические формы и особенности православия задают «нетерпимость к чужим верам, презрение к чужим народностям, высокомерное мнение о себе»²³³. Длительное пребывание под властью татар также способствовало этому: «Освобожденный раб способнее всего отличаться надменностью»²³⁴. Н.И. Костомаров считал, что Южная и Новгородская Русь были свободны от подобных воздействий. Своеобразие исторического развития, наречия, характера жителей и общественного строя Новгородской Руси свидетельствует о ее большем сходстве с южнорусской, а не с великорусской самобытностью.

Из исторического обзора историк заключает: «...племя южнорусское имело отличительным своим характером перевес личной свободы, великорусское – перевес общности. По коренному понятию первых, связь людей основывается на взаимном согласии и может распасться по их несогласию; вторые стремились установить необходимость и неразрывность раз установленной связи и самую причину установления отнести к Божией воле... Первое вело к федерации, но не сумело вполне образовать ее; второе повело к единовластию и крепкому государству: довело до первого, создало второе. Первое оказалось много раз неспособным к единодержавной государственной жизни. В древности оно было господствующим на русском материке и, когда пришла неизбежная пора или погибнуть, или сплотиться, должно было невольно сойти со сцены и уступить первенство другому»²³⁵. Костомаров видит в южнорусском и новгородском типах общества склонность к федеративному устройству: «В

натуре южнорусской не было ничего насилующего, нивелирующего, не было политики, не было холодной расчётливости, твердости на пути к означенной цели»²³⁶. Так же, по мнению историка, выглядели социальные идеалы Новгородской Руси: «Новгород был всегда родной брат юга»²³⁷. В этой характеристике вновь обращает на себя внимание прием, столь часто используемый в сопоставительных очерках нрава: описание через отрицание, которое в данном случае дает возможность читателю самому признать, что великорусская натура – насилующая, нивелирующая, готовая в политических целях реализовать свою цель твердо, с холодным расчетом. Свойства нрава оказываются следствием именно выработавшегося на севере уклада социально-политической жизни.

Костомаров пытается определить такую трудноулавливаемую черту исторического бытия великорусского народа, как «материальность», приземленность духа, практицизм, отсутствующие в малорусском типе: «В великорусском элементе есть что-то громадное, созидательное, дух стройности, сознание единства, господство практического рассудка, умеющего выстоять трудные обстоятельства, уловить время, когда следует действовать, и воспользоваться им насколько нужно. Этого не показало наше южнорусское племя»²³⁸. Однако «наклонность к материализму» сочетается с такими чертами нрава, как бедность эмоциональной жизни и скудость воображения, которые наиболее ярко проявляются (подобная зависимость усматривалась авторами многих фольклористических исследований середины века) в народном творчестве. Костомаров также пишет, что великорус мало любит природу, «погружен в обыденные расчеты» и упорно держится своих предрассудков.

Нельзя не обратить внимание на тот факт, что М.Н. Катков был возмущен статьей Костомарова из-за приравнивания великорусской народности к малорусской – поскольку в 1850-х – 1870-х оба эти понятия уже встречались в этнографической литературе, хотя ранее, в 1830-х – 1840-х гг. (вспомним А.В. Терещенко), наименование «русская народность» не расчленилось на «отраслевые» варианты. Каткова, на наш взгляд, задело показанное Н.И. Костомаровым кардинальное несходство политических традиций и нелестная характеристика великорусского варианта, «победившего» демократическое федеративное начало. «Ему оставалось только прибавить, – заключал иронично М.Н. Катков, – что это не две народности, а две противоположности одной и той же великой народности, что, соединившись, они взаимно пополнили друг друга и одна без другой не представляют условий для полной исторической жизни. Противоположность, замечаемая между великорусом и малорусом, есть та полярность, без которой нет живого единства. Эта-то самая противоположность и связывает их неразрывно»²³⁹. Такая концепция

взаимодополняемости свойств двух «ветвей» русского народа стала особенно актуальной начиная с 1860-х гг., а позже – стереотипным заключением очерков об отличиях малорусов и великорусов, их образа жизни, быта и нравов. Особенно часто эта формула воспроизводилась в учебниках.

Статья Н.И. Костомарова вызвала активные отклики. Одним из них можно считать и труд К.Д. Кавелина, хотя в известных комментариях и автокомментариях к его монографии об этом прямо не говорится. К.Д. Кавелин активно анализирует тот ракурс, который впервые столь подробно рассмотрен Костомаровым, и многое у него заимствует (в частности, Кавелин повторяет костомаровскую интерпретацию взаимообусловленности православного мышления, политических идеалов, колонизационной и цивилизаторской деятельности и ее осмысления великорусами). Кавелин убежден, что соседство Западной России с центрами более высокой цивилизованности сформировало более высокую культуру жителей, что выразилось в их духовном превосходстве (и в постижении христианства, и в развитии личности, и в ее реализации, хотя любовь к разгулу и молодечеству была изначально присуща обеим ветвям)²⁴⁰. В отличие от активно цитируемых им российских историков (С.М. Соловьева, Н.Г. Устрялова, Б.Н. Чичерина), несогласие с которыми и побудило Кавелина написать книгу, он полагал, что великорусская модель мышления и общественной жизни в сравнении с идеалами, характером и типом мировоззрения «южноруссов» демонстрирует, быть может, историческое, но не культурное превосходство. И в этом Кавелин – прямой последователь Костомарова.

В научно-популярной и учебной литературе сравнительные описания двух русских племен очень клишированы. Отчасти это объясняется обращением к одним и тем же источникам информации или текстовым заимствованиям; другая причина – стремление современных путешественников к обнаружению и подтверждению известных из ранних источников сведений: довольно часто в малороссийских очерках можно было встретить ссылки на художественную литературу (сочинения Н.В. Гоголя, Е.П. Гребенки, Г.Ф. Квитки-Основьяненко и др.) или прямые цитаты из нее. В популярнейших очерках и рассказах (1865) этнографа С.В. Максимова говорилось: «Великоросс по скудости природы принужден был выдумать промыслы, пристратиться к ремеслам и торговле. Так он поступил в той половине России, которая идет к северу от Оки. Малоросс остался на занятиях предков – земледелии и плохой промышленник и ремесленник, неохотно занимается и торговлей. ...Великоросс, отрываемый от земли, не сумел устроиться домовито, грязно держит избу... Малоросс же любит домашнее хозяйство, живет опрятно»²⁴¹. В этой характеристике истоки различий усматриваются в климате и

качествам даются оценки, так что создается два образа, призванные подчеркнуть, что то, что у одного народа получается плохо, лучше выходит у другого. Даже рост и речь описываются через оценочные определения: «Великоросс на все руки, малоросс ходит торной дорогой, лучше поет, голосом чище, ростом выше, покрасивее, но потяжелее на ногах и на подъем... речь мягче великорусской, приятнее звучит в ухо, певучее»²⁴². Сопоставления по пунктам: 1) привязанность к месту рождения; 2) наличие/отсутствие практической выгоды и материального расчета, следствием чего является обращение к 3) занятиям промышленностью и торговлей; 4) сердечность и нежность души, выражаемые в народном творчестве, – становятся постоянными и устойчивыми в оценках в этнографических очерках либо русского народа в целом, либо великорусов и малорусов по отдельности²⁴³. К ним может добавляться констатация «чистоты славянского элемента у великорусов», что влечет за собой упоминание известных их качеств добродушия, беззаботности и «разгула во всем»²⁴⁴.

Почти во всех без исключения этнографических репрезентациях великорусов и малорусов затрагивается различие в способностях, проявляющихся, в частности, в песенном и поэтическом творчестве. Специфика фиксируется в опоре на многочисленные исследования и сборники фольклористических материалов. И здесь первенство и даровитость малороссов (с аргументацией в духе Бодянского) не подвергаются сомнению. Согласно этой логике, врожденный «идеализм» малороссов (в отличие от практицизма «северных россов») развивает «духовную сторону жизни», воплощенную в богатой поэтической традиции. Поэтому «характеристические отличия» двух «русских племен» «резко выражаются в песнях: великорусские песни отличаются силою и широтой мотивов, малороссийские же изяществом мотивов и богатством содержания»²⁴⁵. Впрочем, в сравнении с финскими песнями великорусские производят впечатление веселых и удалых; это позволяет предположить, что эмоциональное восприятие зачастую продиктовано предубеждениями, имеющимися ожиданиями: «В песнях финских есть мелодия, но все они, не исключая самых веселых, наводят на слишком грустное чувство, в них нет той веселости, той удали, которой отличаются некоторые русские песни»²⁴⁶.

Под явным влиянием непосредственных впечатлений наблюдателей-описателей появляется упоминание о разнице в стиле работы и о коммуникативных качествах, встречавшееся еще у Н.И. Надеждина. Например: «Великорус... [в отличие от малоруса] не может обойтись без двух дел в одно время; работает живо, от приема к приему переходит быстро, без перемен. Как бы усердно и скоро он ни работал, непременно или тянет песню, или рассказывает что-нибудь своему земляку или перебранивается с ним»²⁴⁷. Разговорчивость, общительность, подвижность и гибкость (в коммуникации) великоруса

противопоставляются молчаливости, угрюмости, косности малоруса и могут объясняться разницей темпераментов: «Малороссиянин по преимуществу флегматик, русский тип – сангвиник... Малоросс крепко привязан к своей родине и нелегко расстается с нею... нелегко принимается за новые занятия... В характере великоруса, напротив того, чрезвычайно много уклончивости и гибкости, способности применяться к каким угодно обстоятельствам. Он легко переменяет занятия, в случае надобности научается новому делу, легко усваивая его себе, и часто бывает готов на все руки... Склонность к подвижности у русских очень велика. Великоросс везде может ужиться, малоросу нигде не может быть так хорошо, как в своей родной земле. Малорус скрытен, недоверчив, честен, великорус откровенен и доверчив»²⁴⁸. В том же очерке рассказывается о противоположности «общественных понятий», выработанных историей: «У великорусов... семейства не разделяются, а составляют общину... работают обыкновенно артелями... небольшие семейства никогда не делятся... Для малоруса нет ничего хуже такого порядка. Громада совсем не то, что мир. Громада есть добровольная сходка людей, каждый член громады есть сам по себе независимая личность, самобытный собственник»²⁴⁹. Такой аспект сравнения – результат активного изучения обычного права в крестьянской российской среде и устоев крестьянской общины в связи с отменой крепостного права. По той же причине обращается автор к редко освещаемому ранее семейному укладу жизни малорусов и великорусов: «Кровная связь и родство мало располагают в Малороссии людей к согласию и взаимной любви... напротив, у великорусов нравственная связь заставляет человека нередко быть к другому дружелюбнее, справедливее, снисходительнее, даже когда он вообще не отличается этими качествами в отношении у чужим. У великорусов – долг прежде всего, у малорусов личная независимость всего выше»²⁵⁰. Перед нами, таким образом, детализированная на этнографических источниках нового для эпохи типа (опросы, включенные наблюдения) картина, которая ранее конструировалась историками на исторических и фольклорных данных.

Несколько особняком стоят психолого-антропологические исследования, авторы которых, впрочем, также обращались к типологии русского нрава в образах великорусов и малорусов, однако чаще рассматривали их как вариации общеславянского. Например, И.А. Сикорский писал, что различия в психическом складе великорусов и малорусов объясняются отсутствием у последних тех свойств, которые славяне обрели в смешении с финскими племенами. Оттого малорусов он характеризовал как тип, более близкий к первоначальному славянскому, – склонный к «идеализму» и менее деятельный, менее практичный, чем великорусский, но более подвижный, более склонный к размышлению, обладающий развитым умом; «его чув-

ства тоньше и глубже, он более поэтичен и склонен к внутреннему анализу»²⁵¹. В таком описании малорусского характера и склада ума заметно явное сходство с психологическими характеристиками поляков (в сравнении с великорусами), представленными в трудах польских этнографов М. Здеховского или Ю. Талько-Грынцевича. По утверждению И.А. Сикорского, в результате метисации «малорус оказался более идеальным, великорус – деятельным, практическим... малорус более подвижен, более склонен к размышлению, но менее деятелен» у малоруса, таким образом, Сикорский выделяет более развитый ум, но более слабую волю»²⁵².

Своеобразным итогом историко-этнографических сведений о быте и нравах можно считать очерки «Живописной России», в которых в соответствующем томе о Малороссии описание нрава в полном соответствии с уже сложившейся традицией представлено в сравнительном ракурсе, с активным цитированием масштабного и в тот период новейшего исследования П.П. Чубинского²⁵³. Но и здесь перед нами – стереотипные пункты отличий с нивелированием оценочных суждений, однако с применением новой лексики, позволяющей переформулировать прежние, еще романтические определения. «Деятельный» становится «инициативным» и «энергичным», «склонность к промышленности и торговле» заменена «делом экономического развития», «образованность» превращается в «интеллектуальную область» и т.п.: «...малорус мало способен к инициативе. У него нет предприимчивости, нет возбужденной энергии... Он стоит весьма низко в деле экономического развития... В области же интеллектуальной, в среде умственной и эстетической деятельности он стоит высоко. Великорус стоит выше малоруса в практическом творчестве. В силу этого у великорусов сильно развито начало общественности, артельности»²⁵⁴. В заключение – известная формула: «Поэтому-то эти две русские народности взаимно восполняют друг друга»²⁵⁵. После выхода в свет исследования П.П. Чубинского его суждения о различиях великорусского и малорусского характеров активно включались даже в те этнографические очерки, которые создавались на материале личных впечатлений²⁵⁶.

Гораздо более яркое сопоставление дано в очерке А.Я. Ефименко (1905); она страстно и активно отстаивала идентичность, язык и самостоятельность малороссов как отдельного народа, несмотря на использование многих стереотипных определений; в данном тексте сильнее личностное начало, обусловленное патриотизмом: «Есть некоторая разница, коренящаяся в особенностях общественной психологии обеих половин русской народности. В малороссе... по сравнению с великороссом гораздо живее чувство любви к родине... Великоросс по преимуществу скиталец, у которого есть Отечество, но нет родины; малоросс – человек земли, угла, своего хутора»²⁵⁷.

Следует еще раз подчеркнуть, что сопоставление великорусов и малорусов в категориях северных/южных народов бытовало не только в XIX столетии, но и позже, став важной особенностью как великорусского, так и малорусского (украинского) этнографических дискурсов. Данная дихотомия реализовывалась не только в отношении русских, но играла важную роль в фиксации любых региональных и этнических различий в целом. Отличительные свойства северных и южных обитателей воспроизводились со всеми присущими подобному сопоставлению стереотипами, особенно устойчивыми в очерках этнического нрава, «мировоззрения», «умственных способностей» и поведенческих норм. В 1865 г. известный этнографическими очерками писатель С.В. Максимов, рассказывая детям о различиях между историческими и географическими регионами России (в том числе между Малороссией и Великороссией), указывал на климат как на один из важнейших факторов. И конечно, именовал их «странами севера» и «странами юга»: «В странах севера человек, для того чтобы жить, должен много трудиться... век его короток, ходит на дальние промыслы... В теплых странах, вдали от нужды... южный человек охотнее сидит дома, имея все под руками. У этого меньше любви к труду, постоянства и рвения, без чего северный человек мог бы вконец погибнуть»²⁵⁸.

Немецкий географ и этнолог Ф. Ратцель, создавая в 1880-х гг. типологии племен и народов на базе антропогеографического принципа климатической обусловленности, специально прокомментировал дихотомию северных/южных народов, также подчеркивая, что она позволяет увидеть гораздо больше общности между обитателями юга или севера, нежели между членами единой этнокультурной общности²⁵⁹. Ратцель с иронией замечал, что «южные» части племен/народов всегда будут описываться как более веселые и живые, более ленивые и менее волевые, чем «северные». Именуя подобные воззрения «национальными предрассудками»²⁶⁰, сам он, однако, не отказывается полностью от данного разделения, отмечая лишь необходимость различать северные и южные народы в их, так сказать, абсолютном виде, обосновывая его местом обитания и климатическими условиями. Универсальность такого «психофизиологического» ракурса, обусловленного климатом и географией, точно обозначил еще П.Н. Милюков: «...мы постоянно говорим о “южном” или “северном темпераменте” той или другой национальности или различных частей одной и той же национальности. Но уже самая терминология показывает, что подобные отличия темпераментов мы не ставим ни в какую связь с национальностями... “южный темперамент” есть свойство, которое сближает в одну группу представителей самых разнообразных национальностей Европы: испанцев, итальянцев, греков, жителей Южной Германии, Франции, России и т.д.»²⁶¹.

Обращает на себя внимание еще одна особенность, выявляемая при сопоставлении характеристик славян и германцев, с одной стороны, и великорусов и малорусов – с другой. В дихотомическом противопоставлении, во многом упрощающем и без того субъективно-оценочные образы-представления о «своем» и «чужом», акцент делался именно на отличительных свойствах, которые при этом по умолчанию «должны были» кардинально различаться. Это приводит к тому, что в качествах, приписываемых малорусам/великорусам, при сопоставлении со значениями оппозиции «славяне/германцы» трудно игнорировать их несомненное типологическое сходство. Свойствами предприимчивости, энергичности, рискованности великорусы уподобляются мужской, жесткой, рациональной стихии германцев, в то время как малорусские черты нрава не выходят за рамки идеализированного образа мирного пахаря – кроткого, привязанного к земле и не желающего никаких изменений в быте. Трудно сказать, замечали ли это описатели (прямые указания на подобные сопоставления пока не обнаружилось), однако тенденция такой интерпретации сформировалась именно в процессе ряда сравнений.

Особенности великоруса как «северного русского»

В том же контексте необходимо проанализировать еще один устойчивый мотив в текстах, описывающий своеобразие нрава/характера великоруса: многие его черты трактовались именно как типичные признаки обитателя северной зоны, что обнаруживало его сходство с другими народами, соотносимыми с севером (прежде всего, финнами Финляндии и жителями Скандинавии). В этом смысловом поле актуализировались такие свойства, которые рассматривались как выработанные в изначально славянском складе под воздействием суровой природы, – в соответствии со сложившимися еще в XVI–XVIII вв. взглядами север формирует в людях мужественность, стойкость, энергичность, хладнокровие, сдержанность, молчаливость, развитое чувство собственного достоинства и небрежение к комфорту. Именно эти черты постоянно обнаруживались в складе великорусов как северных русских. Еще в «Истории русского народа» (1830) Н.А. Полевого характер «северных славян» описывался в связи с суровыми условиями природы, выработавшими терпение и неповоротливость: «...характер народа, по географическому положению первобытных русских земель (имеется в виду середина XI в. – М.Л.) в климате холодном и только отчасти в умеренном, был далек от живости обитателей южных стран. Зима, продолжаясь большую половину года, делала славянина домоседом, неповоротливым и грубым. Сильнейшее действие Скандинавии и недостаток средств к жизни давали

более живости северному славянину; южный был беспечнее, тяжелее и мечтательнее своего северного родича. Славянин требовал немногих наслаждений, был терпелив»²⁶².

Впрочем, психологические исследования 1860-х – 1870-х гг. несколько изменили однозначно позитивные оценки: решающая роль придавалась холодному климату, который, как предполагалось, формирует более медленные реакции и торможение в восприятии впечатлений и в адекватных ответах на вызовы природы и социума. Например, А.П. Щапов считал, что у всех северных народов (финские народы Поволжья, лапландцы и др.) «притупляется от действия холода нервная восприимчивость», им присущи жизненная вялость, пассивность и даже тупость²⁶³. Северные черты в великороссах он усматривал в хладнокровии, терпеливости к лишениям, а также в «переносчивости» и нечувствительности к самым горьким, тяжелым впечатлениям²⁶⁴. Ученый, однако, был уверен, что действие климата сказалось на великорусах в меньшей степени, чем на коренных обитателях Севера, но и им «присущ общий медленный и слабый импульс... психических функций». Скорректировать или полностью изменить такой строй психики может образование, но его Россия была долго лишена²⁶⁵. Составители этнографических очерков народов России, рассуждая о типологии свойств европейцев, охотно использовали также теорию Ф. Ратцеля, разделявшего племена на равнинные, горные и приморские – с особенностями хозяйственной деятельности, разным складом характера и врожденными склонностями. Относя великорусов к «равнинному» племени, авторы обнаруживали в них такие черты, как очевидное развитие умственных способностей (сосредоточенность на самом себе, склонность к анализу) в ущерб физическим, скуку и притупление в душе способности к внешним впечатлениям²⁶⁶, а также использование хитрости для покорения других народов (жители равнин чаще бывают поработителями, чем порабощаемыми), которое, однако, несет покоряемым благо просвещения²⁶⁷. Напомним, что в великороссах часто обнаруживали «жесткость», недостаток душевной тонкости, лиризма (обладание ими приписывали малорусам) и, как следствие, отсутствие жалости и щепетильности (в частности, при осуществлении наиболее характерных «великорусских» преступлений – воровства и разбоя). Холодная природа, по этой логике, формирует холод души, черствость.

Те же свойства обнаруживал в великорусах как «северном племени» И.К. Бабст: «...они не так страстны, как южные европейцы, гораздо хладнокровнее и менее живой одарены фантазией», однако, в отличие от соседей великоруса (снова финнов), «скудная природа севера» не может оставаться его «миром», он стремится к освоению новых пространств и оттого энергично действует на поприще колонизации и промышленности²⁶⁸.

Антрополог Ю. Талько-Грынцевич утверждал, что именно суровая северная природа, борьба со стихиями и влияние значительных масс инородческого населения выработали в великорусах «характер более холодный, подходящий к климату, терпение, выносливость, твердость и энергию»²⁶⁹. Указанное Талько-Грынцевичем влияние инородческого населения (прежде всего финно-угров) на своеобразные отличительные качества характера и темперамента великоруса также можно считать стереотипной особенностью этой этнической характеристики. Возвращаясь к мнению сторонников психологического подхода в исследовании этих проблем, вспомним И. Сикорского, которого очень занимало сравнение великорусов как со славянами, так и с финно-уграми. Он полагал психологические признаки врожденными, – следовательно, их проявления в поведении и реакции этнических групп, объединенных антропологическим типом, считал устойчивыми и слабо корректируемыми со стороны социальных факторов. Сикорский приписывал финским народам твердую волю, сильную как в сдерживании себя (самообладание), так и во внешних проявлениях. Негативными сторонами финской природы он считал недостаток ума, необходимого, чтобы направить волю в верном направлении. Оттого финны, по его мнению, часто становились «слепыми фанатиками действия»²⁷⁰. При этом им недоставало живого чувства и тонкой отзывчивости славянина. Сикорский был убежден, что, объединившись в едином великорусском смешанном типе, психические элементы двух народов дополнили друг друга: финская душа дала великорусу «тягучесть и выдержку», уступчивость и силу воли, какой не было у предка-славянина²⁷¹, финн же получил от великоруса отзывчивость и дар инициативы.

Однако по поводу современных финнов (не финляндских, а финно-угорских народов Поволжья и Приуралья) звучали кардинально отличные мнения. В этнографических очерках К. Кюна говорилось, в частности, что «духовной слабости» финских племен «соответствует слабость тела», соединенная с «высшей степенью нечувствительности к внешним впечатлениям»; они обнаруживают «мало духовного напряжения» и являются отчасти «забытыми»²⁷². «Флегматизм на грани равнодушия», приписываемый финским народам Поволжья и Приуралья, у финляндских финнов получал некоторые отличия: «...особенность... финна заключается в медлительности всех душевных движений. Финн медленно воспринимает впечатления, медленно думает и чувствует... Это флегма, но флегма, лишенная апатии, а, наоборот, связанная с большим упорством, переходящим нередко в невероятное упрямство»²⁷³. Склонность к самоуглублению, явное отсутствие стремления к деятельности, связанной с «внешней» жизнью, также приписывались всем финским группам: «Бедность и стеснения заставили его (финна. – М.Л.) заключиться в самом себе; все душевные силы его действуют внутри, так что они редко и слабо обнаруживаются делом»²⁷⁴.

В 1850-х – 1890-х гг. в центре внимания исследователей русской народности находились отличительные черты темперамента и духовной культуры, описываемые в этнографических программах в рубриках, относящихся к свойствам нрава/характера (с 1870-х – психологии) народа. Все три понятия использовались как синонимичные; часто – как взаимозаменяемые, с той лишь разницей, что сторонники географического детерминизма подчеркивали врожденные и природно-обусловленные свойства, а историки-позитивисты акцентировали внимание главным образом на социально-политических факторах формирования нрава. Российские ученые второй половины столетия уделяли пристальное внимание поиску условий и причин, определивших особенности истории Империи и ее отличий от западноевропейского пути развития. Значимую роль приписывали свойствам русского (великорусского) характера, сложившегося, как считалось, на основе синтеза славянских и финских племенных черт. Среди качеств русского народа по-прежнему упоминались общие, присущие земледельческим славянским народам в целом, добродетели, а также черты нравственности, возникшие под воздействием христианства, и, наконец, отличительные свойства темперамента и социальных реакций, выработанные под воздействием природных факторов. Принципиально новой тенденцией можно считать стремление разделить природные и социальные факторы, обусловившие те или иные этноспецифические свойства. И К.Д. Кавелин, и В.О. Ключевский, и С.М. Соловьев, и К.Н. Бестужев-Рюмин в своих исторических трудах неоднократно обращались к этим вопросам, причем их позиции во многом совпадали.

Прямые описания характера великорусов содержатся, как правило, в исторических трудах, учебниках географии, хрестоматиях по отечествоведению (географии Российской империи), а также в многочисленных в то время этнографических текстах – как научно-популярного характера (очерки путешествий, дневники поездок), так и в сугубо научных репрезентациях Российской империи по регионам (поскольку именно регионально-климатический и, чуть позже, экономический принцип деления государства на отдельные области преобладал в фундаментальных изданиях данного жанра).

Новатором явился К.Д. Кавелин, который обратился к этой проблематике еще в середине 1840-х гг., однако более полно проблема формирования отличительных особенностей великорусского племени более полно рассмотрена в его работе 1866 г. Начало их складывания историк относил к периоду формирования княжеств на территории Северо-Восточной Руси, границы корой, однако, не фиксировал. Определяющее влияние он приписывал двум историческим

обстоятельствам: своеобразие колониционного процесса (формы освоения земель и контакты с племенами и культурами) и общественно-политическому устройству местных княжеств. Особое значение придавал Кавелин обстоятельствам, способствовавшим, по его мнению, мирному слиянию представителей разных племенных групп в единое целое. Таковы православная религия, консолидировавшая полиэтничное сообщество на христианских принципах и на определенном этапе «заменявшая» сознание народности и национального единства, а также особая восприимчивость великорусского племени к внешним влияниям – его «впечатлительность». Судя по описанию великорусского характера, Кавелин полагал, что великорусов объединяет с другими восточнославянскими народами набор «племенных склонностей»: склонность к молодечеству, к разгулу, стремление к безграничной свободе. В этом историк видит оборотную сторону пристрастия к внешней обрядности в вере, являющегося, согласно взглядам Кавелина, приметой незрелой культуры²⁷⁵. Нравственная и умственная сторона в великорусской «ветви», по его словам, «дремала», – это способствовало «всасыванию» культуры извне; важное отличие великорусов от малорусов он видит в неразвитости общественной жизни и в восприятии православия «с внешней, обрядовой стороны». Эти формализованные способы освоения православия Кавелин также считает приметой менее развитой духовной культуры. Однако, полагает он, именно такие свойства стали необходимой средой для создания государства с самодержавной формой правления. Способность к государствообразованию оказывается самой главной великорусской чертой – как в племенном характере, так и в политической истории народа. В трактовке взаимосвязи между особенностями религиозности и процессом формирования самодержавной государственности К.Д. Кавелин воспроизводит позицию Н.И. Костомарова, изложенную в статье «Две русские народности».

Кавелин подчеркивает, что русские переселенцы (из Южной Руси) на новой родине (будущей Северо-Восточной Руси) под влиянием новых условий... получили иной характер, отличный от первоначального корня²⁷⁶. Именно новые климатические условия и новая кровь создали новый племенной великорусский тип, который постепенно обретал свою особенную физиономию, «подготавливались элементы для новой государственной формации, отличавшейся... от всего, видного дотолде. На характере великорусов отразилась история их происхождения и постепенного образования, а характер этот... определил особенности гражданского и государственного строя»²⁷⁷. Великорус, став вынужденным колонизатором, обрел качества и навыки, отсутствовавшие у других восточных славян: в нем «...образовалась та подвижность, то умение найтись в трудных обстоятельствах, тот практический такт в сношениях с инородцами,

которыми так отличается великороссиянин перед своими соплеменниками. Преобладанием над всеми другими племенами объясняется то чувство превосходства над инородцами, которое великорусы глубоко носят в своей душе»²⁷⁸.

Однако, несмотря на комплекс превосходства, в действительности уровень культуры переселенцев долгое время оставался таким же, что и в самом начале: «Переселенец долгое время был вынужден оставаться при грубых умственных и социальных зачатках первобытного человека»²⁷⁹. Суровая природа не дала ему возможности развиваться, стимулировала суеверный фатализм и грубый реализм, помешала образоваться «той идеальной сдержке, которая дает человеку точку опоры против окружающего, против изменчивости обстоятельств и случайностей»²⁸⁰. Историк заключал, что на новой почве культура долгое время никак не развивалась также из-за отсутствия контактов с племенем, находившимся на более высокой культурной стадии.

К.Д. Кавелин согласен «традиционным» перечнем негативных качеств великоросса, в который включаются (особенно часто – иностранцами) невоздержанность, склонность к обману, плутоватость, всякого рода вероломство, воровство, насилие, частые грабежи и разбои, шаткость во всем, своекорыстие и т.п.²⁸¹ Интересно отметить, что Кавелин был одним из первых, кто подробно перечислил и проанализировал эти отрицательные свойства великорусского нрава. Историк объяснял их историко-культурными обстоятельствами. Он считал, что они не являются врожденными и потому неискоренимыми, – они есть результат все того же «отсутствия культуры русских масс»²⁸², «нравственной и духовной неразвитости, наши пороки – признак грубого, недозрелого, но не старческого, перезревшего общества»²⁸³. Интересно, что Кавелин прибегает здесь к известной романтической метафоре возраста народа, но на этот раз – для оправдания пороков. Те позитивные черты нрава и темперамента, которые приписываются русским (живость, бойкость ума, «ширина размаха», находчивость), утверждает он, присущи всем народам на стадии юности («мы пока просто живые юноши»²⁸⁴). Умение «примениться к разным людям и народам», отзывчивость русского народа объясняются, по мнению Кавелина, конкретно-исторической ситуацией (множеством соседних племен, громадностью колонизируемых территорий) и рассматривается как свойство «младенческого народа». В этой-то «неопределенности, невыясненности» характера (физиономия которого определится с возмужанием) и состоит русская особенность²⁸⁵.

Определяя суть национального характера русских/великорусов, К.Д. Кавелин писал в своем разборе книги А.В. Терещенко, что «мы, русские, добрейшие люди в мире, сердце наше исполнено милосердия, сострадания, великодушия и незлобия, мы охотно прощаем обиды и помогаем близким, из сердечной доброты мы легко отказы-

ваемся от своих прав и даже от своих выгод. Но чувство законности и справедливости, к сожалению, развито в нас чрезвычайно слабо, так слабо, что иной раз думается, что не лишены ли мы вовсе органа, производящего в людях эту добродетель?»²⁸⁶.

Наиболее известное и считающееся хрестоматийным описание психологии и нрава великоросса содержится в лекциях и трудах В.О. Ключевского. Его отношение к роли географического и этнического факторов в истории России хорошо изучено. В «Курсе русской истории» ученый, описывая отличительные свойства разных племенных групп, использовал термины «национальный» или «племенной» характер, над которым «природа страны много поработала»²⁸⁷. Синонимия означала, что выделяемые Ключевским качества рассматривались им как константные – т.е., с его точки зрения, племенные черты сохранялись в складывавшемся позже национальном характере. Характеризуя отличительные черты великоруса, он отмечал в первую очередь такие его свойства, как осмотрительность, изворотливость, «привычка к терпеливой борьбе с невзгодами и лишениями»²⁸⁸, выносливость, наблюдательность, причем истоки складывания этих особенностей видел именно в природных, а не социально-общественных условиях. Для доказательства влияния окружающей среды на национальный характер Ключевский – в соответствии с господствовавшими представлениями о фольклорных источниках – использовал их для обоснования великорусских черт, во многом почти дословно повторяя рассуждения из известнейшей работы М.О. Бодянского²⁸⁹. Так, одно из великорусских качеств Ключевский определил как «грусть» («грусть не ждет счастья»), примиряющую русского с действительностью. Аргументацией служили слова русских народных песен²⁹⁰.

Главной приметой великоросса/великоруса историк называл «своенравие», являющееся следствием изменчивости климата и скудости почв. Будучи по природе расчетливым, великорус вынужден подчас выбирать самое безнадежное решение – это свойство ученый называет склонностью дразнить счастье, великорусским «авось»²⁹¹. Присущие великорусу колебания и нерешительность, действие «с оглядкой», производящие впечатление «непрямоты», – следствие «крепости задним умом»²⁹².

Такие негативные особенности, как неспособность эффективно действовать общими силами, замкнутость, необщительность (роднящая великоруса с финскими народами. – *М.Л.*), Ключевский объяснял «порядком расселения», отличающимся, как явствует из контекста, именно от «малороссийского» варианта. Показательно, впрочем, что о времени складывания малорусского наречия и об образовании малороссийского племени Ключевский не высказывается «решительно», поскольку считает недостаточно убедительными существовавшие на

тот момент исторические исследования²⁹³. Особенности хозяйственного цикла (летняя страда и зимнее безделье) приводят к тому, что великорус способен на кратковременное чрезмерное напряжение сил, но непривычен к размеренному упорядоченному труду. При этом он идет к прямой цели, оглядываясь по сторонам. Из этого Ключевский выводил и другие социально-психологические свойства – например, неумение принять успех на фоне постоянной готовности к неудачам и препятствиям. Для историка было несомненно, что истоки формирования такого своеобразного психотипа следует искать в природно-климатических условиях исторической жизни.

«Практический» аспект психологических описаний привлекал к ним внимание историков именно потому, что позволял объяснить формы социальной жизни («общественного быта») и даже политической организации. В этом заметно явное отличие от понимания нрава народа как врожденного и константного этнического признака. Примечательно важное сходство исторических концепций национального характера у Кавелина и Ключевского. Последний, рассматривая эволюцию «общественных связей» от рода к государству, подчеркивал, что лишь на стадии государства народ становится «не только политической, но и исторической личностью с более или менее ясно выраженным национальным характером и сознанием своего мирового значения»²⁹⁴.

А.П. Шапов – один из немногих российских историков 1860-х – 1880-х гг., стремившийся связать законы естествознания с общественной жизнью и историей народа. Он попытался воссоздать русский инвариант славянского психического типа, выработанный все теми же природными факторами. В сущности, в нем Шапов переописал традиционно понимаемые как нрав врожденные черты этноса. Он пришел к заключению, что сформировавшийся у русских тип психофизиологических реакций обусловил неразвитость «теоретической мыслительности», медлительность (статичность). В отличие от Ключевского Шапов считал, что русские склонны к коллективным формам ведения хозяйства. Коренными первоначальными «мотивами» умственно-социальной истории русского народа, по мнению Шапова, были два свойства его нервной организации, обусловленные физиологическими и психическими законами: а) «общая посредственность, умеренность или медленность возбуждения нервной восприимчивости, обуславливаемая... органическим медленным распространением нервных возбуждений, производимыми влиянием холодного северного климата» и предшествовавшей политической, социально-педагогической и физиолого-психологической историей²⁹⁵, а также (стоит подчеркнуть разделение характера и психики) некоторыми особенностями «физиолого-этнологического и психологического характера» русского народа, и б) особенная предрасположенность его нервной

чувствительности и восприимчивости к живому восприятию «только наиболее напряженных и сильных» внезапных впечатлений²⁹⁶.

Своеобразие русского пути – специфику сложившихся родоплеменных отношений, особенности образования, религиозных воззрений и даже отношений с инородцами (в частности, с финскими племенами и монголо-татарами) – Щапов рассматривал через призму этих психических реакций. Отличительные русские свойства, такие как «леность, вялость», «сонливость, неподвижность, недеятельность», неразвитость «внутренней» (т.е. интеллектуальной) жизни, отсутствие общественной исторической энергии (последним он объяснял, например, то обстоятельство, что в России все прогрессивные преобразования совершались по инициативе «сверху», исходили от правительства²⁹⁷), а также недостаточное «умственное развитие общества» («мозг русского народа всегда был особенно тупо восприимчив и мало чувствителен к влиянию умозрительных, отвлеченных идей»²⁹⁸; ум русского народа «не обладал способностью быстрого схватывания»²⁹⁹) и присущее ему «пассивное наблюдение и описание, долго преобладавшее над активной экспериментизацией»³⁰⁰. Даже достижения русских ученых XIX в. в отдельных дисциплинах исследователь связывал с климатом и психофизиологией, трактовал как борьбу врожденных и обусловленных климатом свойств темперамента с вызовами просвещения и цивилизации. Размышляя о ходе русской истории, Щапов призывал учитывать особенности умственной деятельности народа; по его мнению, русским все же удалось достичь очевидных успехов в этой борьбе – в отличие от еще более северных народов, они добились восприимчивости чисто интеллектуальных впечатлений и благодаря усилиям со стороны государства и просветителей (со времен Петра Великого) смогли перебороть «неподвижность» ума и тела. Оригинальность концепции А.П. Щапова состояла в том, что он четко разделил психофизиологические свойства народа (на которые тот обречен природой) и характер, который все же меняется под влиянием внешних факторов и под действием образования. Легко заметить, что к области реакций историк относил те свойства, которые было принято расценивать как признаки темперамента³⁰¹.

Весьма любопытным отражением стереотипных и бытовавших в обществе мнений о великорусском характере применительно к конкретным представителям народа служит работа иного – биографического жанра: посмертный очерк об историке М.П. Погодине. Ученый именовался «носителем природных свойств великорусского племени», его основной особенностью автор очерка – Д.А. Корсаков считал разнообразие и противоречивость врожденных свойств: «Ширь натуры соединялась... со скопидомством и тонким денежным расчетом, щедрость мирилась со скупостью, “себе на уме” шло об руку с сердечностью, задумчивостью... добродушие – с хитростью, грубость нра-

вов и привычек – с деликатностью чувства». Эти противоположные черты натуры находили выражение в качествах Погодина как ученого: «неряшливость в обработке научных вопросов» соседствовала с «мелочной педантичностью в детальных библиографических разысканиях», «сознание своих ученых достоинств» уживалось с «преклонением перед сильными мира». Умственные способности русского историка тоже оценивались как «чисто великорусские», т.е. сугубо практические. Корсаков обнаруживал у него такие великорусские отличия в вере и политических пристрастиях, которые описал еще Н.И. Костомаров: тяготение к соблюдению внешних проявлений религиозности («преданность обрядовому ритуалу») и привязанность к тем формам политического строя, которые уже сложились исторически, а также глубокий патриотизм³⁰².

*Нрав великоруса
в этнографических репрезентациях*

В связи с активным собиранием этнографических материалов по постоянно обновляемым программам-вопросникам не только учеными, но и образованными волонтерами всех сословий стало почти обязательным включение в научные народоописания оценочных характеристик уже упоминавшихся умственных и нравственных свойств, коммуникативных норм поведения, психических реакций, непосредственного проявления реакций (темперамента в чистом виде), а также «способностей» и/или «склонностей» как к различным видам занятий, так и к типичным проявлениям различных качеств³⁰³. Важно отметить, что в текстах, создаваемых с образовательными целями, мы не обнаруживаем объяснительной части великорусского характера, содержащейся в научной литературе; она изъята. Для широкого читателя остается резюме-констатация, которое, несмотря на отсутствие значимых расхождений, получает вследствие этого принципиально иное, но не новое, а более архаичное (в духе 1830-х – 1840-х гг.) осмысление национального автопортрета. Сухая констатация меняет не только интерпретацию, но и трактовку, оставляя за рамками исторические вариации, изменчивые этнокультурные факторы, а в результате теряется общность черт национального склада. Ведь отождествление народа/этноса исключительно с крестьянством снимает акцент на национальной универсальности качеств всей государственно-политической общности без социальных границ («великорусскость» как русскость), разработавшихся учеными 1850-х – 1880-х гг.

В этнографических очерках М. Мостовского главными чертами великорусов называются те, которые иллюстрируют их энергич-

ность (физическую и историческую) и приспособляемость, что, вероятно, должно было свидетельствовать о соответствии великорусов новым социально-экономическим условиям и вероятным возможностям, предоставляемым отменой крепостного права и модернизацией: «уклончивость, гибкость, способность применяться к каким угодно обстоятельствам, как бы они ни сложились»³⁰⁴; великорусы именуется «уживчивым и подвижным народом», который легко переходит с одного места в другое и умеет хорошо работать – «работает живо, переходит от приема к приему быстро»³⁰⁵. Врожденные черты нрава – также позитивные – повторяют стереотипные определения: великорус «откровенен до болтливости» («душа нараспашку»), его отличают «безыскусственная простота», «откровенность и великодушие»³⁰⁶. Это же идеализированное описание повторяется у Н.И. Зуева, считавшего что по всей Великой России свойства характера крестьян демонстрируют высокую степень однородности, они «кроткие и мягкие нравом, любящие своих близких, откровенные и поспешные в сердечных излияниях», но... склонны преклоняться перед силою», на власть государя «смотрят со священным благоговением и любовью»³⁰⁷.

В характеристике нрава великорусов в очерках К. Кюна также преобладают уже отмеченные свойства: разговорчивость и живость, гибкость и приспособляемость; «добродушие и откровенность – вот характерные черты великороссиян»³⁰⁸. Из негативных качеств упоминаются пьянство, невежество, грубость, нечистоплотность и предрассудки³⁰⁹.

В этнографических очерках «Народы России» описание великорусов открывает характеристики внешнего облика, быта и нравов обитателей Империи. Великорусы предстают здесь в весьма позитивном свете, а их черты почти полностью повторяют те, которые упоминались еще Надеждиным: «удаль и сметливость, находчивость и беззаботность, покорность судьбе и привязанность к родному углу»³¹⁰. Об этом свидетельствует и такая архаическая особенность, как привязанность к родине, которая к тому времени уже перестала быть актуальной, поскольку великорусы демонстрировали значительные перемены в образе жизни (в связи с отменой крепостного права и экономической модернизацией). В перечне наиболее типичных качеств упомянуты те же, что и у Мостовского, качества коммуникации: «уживчивость с людьми, способность применяться ко всем обстоятельствам жизни, откровенность». Одним из проявлений гибкости видится умение варьировать виды хозяйственной деятельности: скудное земледелие становится стимулом для развития отходничества и развития промыслов. Другая форма приспособляемости связана с умственными способностями великоруса, с его понятливостью (он быстро учится новому – например, ремеслу), со

сметливостью и находчивостью, что обуславливает успехи на уровне торговли и промышленности. Именно этими отличительными чертами объясняет автор очерка освоение великорусами обширнейших территорий с различными климатическими условиями и ресурсами. Однако разнообразие природных и хозяйственных областей порождает и вариации в характере великоросса: «В местах, обильных землями, он – земледелец; где земля дает скудные урожаи, великорус отходит на сторону для разных промыслов и если только не занят, то с одинаковым умением и удобством пристроится к чему угодно»³¹¹. Некоторые авторы – например, И.К. Бабст – убеждали в том, что «расчетливость, предприимчивость, готовность на всякого рода предприятия», а также «неистошная оборотистость»³¹² великорусов – это несомненное племенное достоинство, позволившее им распространиться на громадные территории, сохранить свою самобытность и создать великую государственность.

Способность быстро принаравливаться к изменяющимся внешним условиям, часто подчеркиваемая в пореформленных учебниках, видится и в успехах великорусской колонизации. Даже процессы слияния с другими племенами и резкие региональные вариации типов рассматриваются как доказательство антропологической «гибкости»: «Так как великорусы разбросаны почти по всем губерниям Средней России, где почва и разные другие условия жизни неодинаковы, то естественно, что и характер великоруса не везде бывает одинаков. В местах небогатых и глухих, обремененный иногда нуждою вследствие скудости почвы и отсутствия других заработков, он кажется диковатым, неповоротливым и бестолковым, но тот же великорус в бойких местах, на плодородной почве, вблизи хороших путей, связывающих деревню с городским населением, является сметливым, удалым и даже разбитным»³¹³. Два последних качества, как, впрочем, и хитрость («где нужно»), оцениваются автором очерка как позитивные. Еще не варианты этнического типа, но все же некоторые региональные особенности жителей разных губерний постоянно встречаются в краеведческой литературе или в описаниях России по губерниям 1830-х – 1850-х гг. Всеобщей была убежденность, например, в серьезных локальных различиях характера жителей даже в границах одной губернии (о чем будет сказано в шестой главе).

Подробных и нередко восхищенных описаний удостоились прежде всего ярославцы. Отчасти, быть может, потому, что их неплохо знали в Москве (довольно большой процент выходцев из Ярославской губернии был представлен среди торгового люда и в сфере обслуживания), они считались самыми сметливыми, ловкими во всех смыслах (в том числе ушлыми) и обладающими несомненной склонностью к торговому делу. Кроме того, путешественники по Центральной России не могли миновать Ярославль, и обнаружение

отличительных черт местных крестьян стало своего рода традицией. П.П. Свиньин выделял преимущества ярославцев перед костромичами: «...в наружной образованности между костромичами и ярославцами существует большое различие, несмотря на соседские и близкие сношения. Хотя молодое поколение обещает перенять людкость и ловкость приветливых, оборотливых соседей, но еще донные костромские граждане... придерживаются всего старинного и сохраняют не только одежду, но и самый характер своих дедов: степенный, твердый, упорный»³¹⁴.

Сопоставление костромичей с ярославцами можно считать характерным мотивом этногеографических описаний великорусских регионов Европейской России во второй половине XIX в.: «Простой и добродушный костромич легко подпадал под власть хитрого и расчетливого ярославца-подрядчика или хозяина»³¹⁵. Ярославец объявлялся «самым смышленным, деятельным», предприимчивым и практичным³¹⁶ из всех великорусов; его именовали «самым сметливым и бойким из всех русских племен»³¹⁷. «Ловкость, проворство, живость в движениях, сметливость и умение всегда найтись, ко всему приспособиться являются отличительными чертами его характера. Уступая крестьянам других губерний в физической силе и выносливости при тяжелой и черной работе, ярославец везде захватывает более легкие и прибыльные виды труда. Здесь он десятник, там – приказчик, там – мелкий торговец... Но если он мастер, то непременно специальный... где почва удобна для хлебопашества и земли достаточно, он хороший земледелец... но предпочитает всему торговое дело... он лукав и склонен к обману, который, впрочем, не считается грехом среди нашего торгового мира»³¹⁸ – почти панегирическое отношение к ярославцам А. Воронцовского сохраняется и в начале XX в. Несомненно, что в выборе регионального образца на роль репрезентанта великорусского типа в целом ярославец выступал наиболее вероятным кандидатом: стольких позитивных определений не удостоился ни один из великорусских губернских образов. Однако ярославский тип не отвечал одному из важнейших критериев этнокультурной характерологии: он не был крестьянским в чистом виде, все его добродетели и способности были связаны с городской культурой («народ бывалый, выдавший виды и хлебнувший внешней трактирной цивилизации»³¹⁹).

Сметливостью и смелостью, безропотностью в перенесении лишений, а также «чистотой нравов» наделяются и русские Нижегородской губернии³²⁰. Крестьяне Калужской, Тульской и Рязанской губерний представляли тихими, неповоротливыми и грубоватыми³²¹. Сходны характеристики вятчей – они «кажутся простоватыми, добродушными, наивными, медлительными и неповоротливыми в движениях и даже как будто ленивыми»³²². Зато отличительными

чертами «умственного и нравственного» развития крестьян северных губерний называют широкий кругозор и большие способности к обучению: «В отношении умственного развития печорцы могут считаться стоящими гораздо выше жителей других губерний России, и, например, как в русской деревне весь кругозор крестьян ограничивается обычно только пределами села, – здесь внешним миром, тем, что происходит на свете, население интересуется...»³²³; у поморов обнаруживают «усердие к учению, что трудно найти там, где господствует неподвижность ума», – у них «развит дух промышленности, торговли, предприимчивость и самодеятельность»³²⁴. Жителям Вологодчины приписываются особые нравственные качества: честность и «твердость в своем слове»³²⁵.

В конце столетия один из авторов популярного очерка о великорусах констатировал: «Характер великорусского народа, так резко выдающийся в жителях Центральной России, более или менее одинаков во всех своих представителях по общим чертам, хотя и различается некоторыми особенностями в разных местностях и представляет все переходы от смышленного и способного до самого простоватого и придурковатого. Это различие в характере великорусского народа подмечено давно самим же народом и вылилось в чрезвычайно метких характеристиках жителей различных местностей»³²⁶.

К общим негативным чертам великорусского племени относят все ту же «откровенность до болтливости»³²⁷, хитрость, а также «легкость, с которой великорус часто поддается всякому соблазну и искушению (например, в городе. – *М.Л.*), [заимствуя] привычки, наклонности и пороки, которые в глуши ему были неведомы... беззаботность укореняется в нем в высшей степени»³²⁸. Как видим, для автора этнографического очерка 1878 г. серьезной представляется проблема разрушения прежнего патриархального уклада жизни. Распространенной в те годы темой публицистики и беллетристики являлось растлевающее влияние города (и как следствие – толкающей крестьянина в город модернизации). В соответствии с типичными и универсальными в культуре европейских стран периода модернизации взглядами город виделся олицетворением пороков цивилизации, которых лишена провинция и «сельская глушь», – ее изолированность способствует сохранению патриархальных добродетелей, таких как радушие и приверженность старинным обычаям, равно как и нормам морали. Лишаясь привычной среды, крестьянин не в состоянии себя контролировать, чему способствуют уже известные свойства: проявление волевых качеств, молодечество и т.п. Стремление и возможность обрести деньги неправедным путем делают его жертвой обмана, корысти, преступления. Особенно этой опасности подвержены «крестьяне-отходники, прибывающие в города на заработок»³²⁹.

В географо-социологических очерках в «*Полном географическом описании*» Империи (1899) свойства, столь разительно отличающие великоруса от малоруса, напрямую связываются с экономическим процветанием региона: население Московской промышленной области «отличается с давних пор большой *предприимчивостью, энергией и подвижностью* (выделено автором. – М.Л.), – качествами, благодаря которым в связи с другими условиями здесь развилась промышленность... а также торговля... и отхожие промыслы... более чем в какой-либо другой области России»³³⁰. Автор очерка в «*Живописной России*» пишет об этом: «Честность, свойственная всякому дикарю, всякому человеку, живущему в простоте и тесном общении с природой, очень часто – увы! – исчезает или, по крайней мере, перестает быть преобладающей чертой типа, по мере того как народ вырастает и развивается и входит во все отношения торговой, общественной и политической жизни образованных народов»³³¹.

Вторым после городских соблазнов обстоятельством, способствующим разращению крестьянина, является его «равнодушие к семейству», отдаляющее от нравственных запретов и устоев, приводящее к перерождению достоинств в неискоренимые пороки: «... даль обращается в буйный разгул», а сметливость и ловкость развиваются «в безнравственном направлении»³³². Как и в других очерках, недостатки крестьянина-великоруса объясняются «малым образованием» и длительным крепостным состоянием народа³³³.

Интересно, что даже в программной для этнографии статье для Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона Д.Н. Анучин возвращается к базовым стереотипным характеристикам великоруса, связанным с его «склонностями» и выделяемым традиционно в сравнительном контексте: «Нельзя, во всяком случае, отрицать большей способности к этим отраслям великорусов, одаренных сметкой и сообразительностью, благодаря которым иногда случайно занесенный в известную местность вид промысла... скоро усваивался, укоренялся и распространялся в целом районе. Такой способностью великорусы заметно выделяются как между своими славянскими братьями, так и финскими, отличающимися (и те и другие) большей консервативностью; не менее выделяются они и стремлением к отхожим промыслам, что, может быть, стоит в связи и с распространенной у них вообще некоторой склонностью к вольной и бродячей жизни, выражавшейся, в прежние времена, в ушкуйничестве, казачестве, разбойничестве, в проведывании новых земель в Сибири, а позже – в странничестве и искании счастья на далекой стороне»³³⁴.

Детальный очерк характера великоруса представлен в фундаментальной этнографической энциклопедии, опубликованной на рубеже XIX–XX вв. Он представляет собой синтез практически всех накопившихся за столетие представлений и стереотипов, а также – что важ-

нее – комплексное объяснение каждой из этих черт. Автором, Н. Березиным, предложена их историко-культурная и социально-психологическая интерпретация. Качества великоруса не разделяются на однозначно позитивные и негативные. В центре внимания – объяснение-оправдание, в той или иной степени восходящее к антропо-географическим концепциям, но с более значительной привязкой к социальным условиям России и особенностям ее политического строя – это позволяет изобразить не столько характер или нрав, но мировоззрение и стратегию поведения этнической группы-сословия как результат длительного многофакторного процесса.

В сложной системе экономических, моральных и правовых отношений (которая, впрочем, остается за рамками непосредственного описания) видится влияние концепций нового, историко-культурного направления в гуманитарных исследованиях. Вот один из фрагментов: «Климатические особенности страны и социально-историческая обстановка наложили отпечаток на характер великоросса. Слишком напряженный труд в теплое время года и вынужденное безделье зимой не воспитали великоросса в непрерывной атмосфере непрерывного, планомерного трудолюбия. В характере его развивалась импульсивность – быстрое воодушевление предметом деятельности и столь же внезапное охлаждение интереса к нему. К этой черте присоединилась резко выраженная пассивность отношения и уклончивость действия. Великоросс не был, подобно западноевропейцу, заперт, как в мышеловке, на определенной территории, откуда некуда бежать и где, хочешь не хочешь, надо выдерживать все удары исторической судьбы. Упорство, привычка или необходимость действовать согласно не воспитались в нем... Тяжелые условия существования, слагавшиеся под московским скипетром для массы великорусского народа при наличности равнинной, ничем не ограниченной территории, приучили великоросса уходить, и народ расползлся так во все стороны, просачиваясь и смешиваясь в редкие и разрозненные инородческие массы, окружавшие его, почти со всех сторон. Привычка физического уклонения, соединенная с психической неустойчивостью... Пассивный человек, не приученный к открытому прямому сопротивлению, не развивший правовых начал, остававшихся первобытно-неопределенными, ускользал от нежелательного ему состояния если не бегством, то уловкой, обманом, развитию какового качества только способствовали крайне несовершенные свойства всего общественного механизма. Неудивительно, что все иностранцы... единодушно отзывались о русских как о величайших обманщиках. Все отрицательные черты характера были затем заметно усилены долговременным крепостным рабством народных масс»³³⁵.

Параграф 2 Проблема соотношения нрава и нравственности русских/великорусов. Теория и практика

Народная нравственность в трактовке историков

Обратимся к тем высказываниям, в которых вопрос о добродетелях великорусского крестьянства вписан в рассуждения о методе реконструкции коллективных нравственных черт («нравственных способностей» – говоря словами Н.И. Надеждина). Он возникает в связи с очевидным противоречием между репрезентациями великорусской народности до 1860-х гг. и увеличивающимися в количественном отношении народоописаниями, создающимися добровольными собирателями сведений по этнографическим программам (Н.И. Надеждин, ОЛЕАЭ и др.)

Необходимо отметить особенность трактовки К.Д. Кавелиным проблемы национального характера, отражающую одну из сторон его полемики со славянофилами. Некоторые важные позиции Кавелин обосновал в знаменитом письме Ф.М. Достоевскому, в котором выразил отношение к речи писателя на открытии памятника А.С. Пушкину (1880)³³⁶. Историк связывал возникновение национального характера с формированием «народной личности», появление которой приписывал определенному этапу («зрелости») народности. Этой же стадии, как было показано в его работах 1850-х гг., соответствует чувство нравственного – т.е. сознательного, духовного единения общности. Кавелина в речи Достоевского заделали прекраснородушные слова о «сокровищах русского народного гения», воплотившихся в том числе в «духовном единении» всего народа. К.Д. Кавелин был убежден: «Чтобы правильно оценить народ, следует говорить не о его нравственных достоинствах и недостатках, которые могут изменяться, а о характеристических свойствах и особенностях его духовной природы, которые придают ему отличную от всех других физиономию и, несмотря на все превратности судьбы, удерживаются через всю его историю»³³⁷. Таким образом, историк вводит в качестве критерия национальной самобытности категорию изменчивости. Качества народа разделяются на подверженные изменению нравственные свойства и историко-культурные константы «духовной природы», «физиономии». Только вторые могут претендовать на некоторую «объективность» и служить обоснованием свойств характера. Впрочем, далее Кавелин признается, что для него затруднительно на практике выделить эти неизменные свойства русских: «...я не в состоянии уловить в духовной физиономии русского народа ни одной черты, которую мог бы с совершенной уверенностью признать за основную, типическую принад-

лежность его характера, а не известного его исторического возраста или обстоятельств и обстановки, в которой он жил и живет»³³⁸. Историк, таким образом, отказывается рассматривать русский этнос как сформировавшийся, поскольку зависимость этого этноса от внешних обстоятельств еще очень велика.

В своей исторической работе 1866 г.³³⁹ Кавелин, рассуждая о наклонности славян и великорусов к общинной, артельной жизни, указывал, что степень проникновения и формы выражения основной черты народного характера зависят от исторического возраста народа и условий его развития: «Обстоятельства могут задержать, подавить, исказить народный характер и, наоборот, способствовать его правильному раскрытию... могут выдаваться... эпохи, когда основной фонд его характера как будто совсем исчезает, а на самом деле только дремлет»³⁴⁰. Поэтому, подчеркивал Кавелин, «большая ошибка – задаваться каким-нибудь, хотя бы неоспоримым, несомненным народным свойством»³⁴¹. Только в стадии зрелости качества общности могут именоваться чертами национального характера, – соответственно, сформировавшееся нравственное осознание духовного единства «вызовет» к жизни главные народные особенности лишь в этот исторический период. Важно отметить, что Кавелин полагает возможным складывание народной нравственности в полном смысле слова только на этом этапе, однако, в отличие от славянофилов и Достоевского, никак не соотносит эту нравственность с принятием христианства или уровнем конфессионализации народа.

Возражая Ф.М. Достоевскому, полагавшему, что русский народ отличает духовное единение и истинно христианские нравственные добродетели, историк считал, что о таком единении можно говорить только применительно к сфере неосознанного (к ощущению племенного, языкового, церковного, государственного единства), но никак не к области сознания («духовного как осознанного (выделено мной. – М.Л.)»³⁴²). Поэтому утверждение писателя, что простой русский народ является носителем нравственных (прежде всего православных) добродетелей, вызывало у Кавелина полное неприятие. Он считал неправомерной саму постановку вопроса: в любом народе можно легко отыскать как добродетели, так и пороки, но это не означает, что есть народы нравственные и безнравственные. «Рассуждая о нравственности и безнравственности, мы обращаем внимание не на то, как народ относится к предмету своих верований и убеждений, а на то, что составляет их предмет; а это что есть всецело результат школы, которую прошел народ, влияний извне – словом, его истории, развития и культуры»³⁴³.

Этнограф-эволюционист М.И. Кулишер, обосновывая значимость сравнительных методов в истории культуры и эволюции

этносов, также резко выступал против идей «национальной исключительности» – подразумевая под ней не мессианские или расистские концепции, а бытующее среди публицистов и ученых «мировоззрение» о специфически-национальных чертах, присущих одной или нескольким этнонациональным культурам. Рассматривая в качестве примера сочинения о великорусских добродетелях, Кулишер отмечал, что истоки подобной позиции – в незнании или «недостаточной полноте научных исследований», и был уверен, что многие «лица, которым случалось у нас встретить какую-либо неизвестную им дотоле черту народной жизни в летописях или актах или при живом общении с народной массой, принимали эту черту (при незнакомстве с археологией или этнографией других европейских народов) за особенность, присущую исключительно русскому народу, и на этих мнимых особенностях сооружали целые здания, целые научные теории»³⁴⁴.

Д.Н. Овсяннико-Куликовский подчеркивал, что нельзя рассматривать народ как единую однородную массу, что существуют разновидности крестьянской психологии, которые формируются в зависимости от региона, климата, почвы³⁴⁵. Оценивая господствующие на определенном этапе и стереотипные представления о жалости как типичной нравственной черте русских, он писал: «...незачем превращать это чувство и добродетель высшего порядка, будто бы присущую русской национальности как таковой и видеть в ней преимущество русского народа перед другими. Эта черта не национальная, и, по существу дела, не может быть таковою»³⁴⁶; «черты морального порядка не входят в состав национальной психики, которая слагается из черт умственных и волевого порядка. Это черта крестьянская, мужицкая, и она найдется при аналогичных условиях повсюду, в крестьянской массе всех наций»³⁴⁷.

Таким образом, в 1870-х – 1890-х гг. актуальные для русской общественной жизни социальные вопросы непосредственно воздействовали на практику этнографических описаний – в особенности на понимание этнодифференцирующих свойств нрава/характера. *Во-первых*, трактовка крестьянских пороков, воспринимаемых не только как социальное явление, но и как проявление национального склада, во многом сказывалась на характеристиках региональных и этнических групп русского (великорусского) этноса. Она становилась точкой отсчета в целенаправленном или спонтанном сравнении с другими народами и племенами. *Во-вторых*, она затрагивала вопрос о правомерности (методологической, а не этической) включения моральных оценок (привычных в описаниях Других) в репрезентации этноспецифических свойств вообще. *В-третьих*, на подобную интерпретацию влияли результаты этнографических исследований других этносов. Исторический и эволюционистский подходы позво-

лили уже в 1880-х – 1890-х гг. принять эволюционистскую теорию развития народов, согласно которой в жизни русских крестьян сохранялись так называемые пережитки не только дохристианских верований и мифологии, но и архаические нормы нравственности, присущие племенам на стадии первобытности.

Между тем этнографы второй половины столетия настаивали на дохристианской, «природной», а оттого неустойчивой нравственности великорусов. Противоречие кроется в «семантическом разладе» в интерпретации народности³⁴⁸, а точнее, в особенностях ее «научно-этнографической» трактовки³⁴⁹: и романтизм, и отрекавшийся от его постулатов позитивизм как нормативные системы гуманитарного знания признавали объективную данность этнического – в том числе и характера народа. Эволюционизм, теория которого складывалась с середины XIX в., в сущности, тоже не изменил и даже не подверг сомнению характерологию народов вообще и славян в частности. Он лишь скорректировал идеи прогресса и стадийности развития, постулировав их как всеобщие законы эволюции. Трактующиеся как константные черты этнической (крестьянской) культуры, свойства нрава и добродетели расценивались теперь как идентичные для всех обществ на определенной стадии развития, поэтому такие свойства, как гостеприимство и добродушие, честность и эмоциональность, оказывались не этноотличительными, а универсальными, присущими определенному типу первобытной или традиционной культуры. Однако фундаментальный постулат – признание национального характера важнейшим этническим признаком и возможность его выявления методами визуального наблюдения – тем самым только подкреплялся. Сомнений в «объективности» данной категории не породило даже переосмысление этничности в аспекте новой дисциплины 1870-х – 1890-х гг. – физической антропологии.

*Образ «своего» через «чужого».
Система скрытых сопоставлений
(финский образец)*

Кроме прямых описаний характера великорусского народа, а также его характеристик, выстраиваемых как перечень черт, кардинально отличных от родственных славянских народов (малорусов, реже – поляков), национальный образ можно реконструировать на основе анализа репрезентаций других народов Империи и даже очерков быта и нравов народов вне Российского государства. Хорошо известна и уже не подвергается сомнению психологическая и нарративная закономерность, заключающиеся в том, что в изо-

бражениях и описаниях Других (этнических, сословных, гендерных и т.п.) содержится гораздо более отчетливая, чем предполагалось ранее, самооценка описателя. Она может быть выявлена как из «проговорок», в которых наблюдатель/автор выражает сопоставление со «своим», так и из выбора тем, сюжетов, ассоциаций и рассуждений, которые вызывают в нарраторе констатации-характеристики нрава, темперамента или добродетелей и пороков. Особенно явственно это заметно, когда речь заходит о народах, которые принадлежат к типологически сходной общности – европейской, земледельческой, славянской, христианской и т.д. Подобное сопоставление может быть как осознаваемым, так и неосознанным. Например, лейтмотивом русских путешествий по Сербии становится постоянное сравнение жизни сербских крестьян с малороссийскими (при констатации их явного сходства) или же, напротив, фиксация резкой и для многих необъяснимой разницы в уровне благосостояния между сербами и великорусами³⁵⁰. Описания поляков в записках путешественников и в публицистике на протяжении XVIII–XIX вв. отличались негативизмом оценок – на фоне постоянного сравнения с патриотом-великорусом и верным финном, а изображение российских немцев осуществлялось в контексте их резкого противопоставления русским. Скрытое сравнение со «своим» находим в текстах разного жанра, оно является их типологической чертой³⁵¹.

В сравнении Других со «своими» – вербализованном или неосознанном – обязательно присутствовал образ представителя собственного народа, каковым для российского (не всегда русского!) наблюдателя являлся великорусский крестьянин. Если не делалось специальной оговорки, то сопоставление осуществлялось именно с ним.

Первая сложность заключается в том, что невозможно однозначно ответить на вопрос, какой именно крестьянин скрывается за образом типичного или обобщенного представителя «своего» народа. Это может быть вполне конкретный человек, а могут быть жители определенного села или региона, в котором жил или бывал автор заметок. Например, А.Д. Блудова в путевых записках о Волини, куда она отправилась через пару лет после подавления польского Январского восстания, более всего места уделила описанию жизни и быта здешнего православного населения. Не уставая поражаться равнодушию и невежеством местных крестьян, а также непониманию ими польско-русского политического конфликта, Блудова пытается точно определить этническую принадлежность каждого из своих собеседников; при этом православный «русский галичанин» кажется ей несколько «чужим». Эта чужеродность выражается в той холодности, с которой представлявшийся ей единоплеменником говорит о православных святынях Киева; внешность его представляет сочетание типично славянских (лицо «добродушное» и «не лишенное того

выражения тонкой хитрости, которое свойственно русскому человеку»), немецких («походит более на немца-фермера»), а также неопределенно-«местных» («волынских») примет, к которым она относит невозмутимость³⁵². Тут же появляется желание сравнить его со встретившимся ей «настоящим» великорусом – артельным работником, и это сравнение «радует» автора: оно явно в пользу истинно «своего»: «эта молодецкая осанка, это оживленное, самоуверенное, несколько плутоватое, но добродушно-веселое выражение лица»; «это племя, рожденное для господства, это тип народа с будущностью, – не торопясь, не волнуясь, бодро и терпеливо выносит он все невзгоды, как умеют выносить их молодость и сила»³⁵³.

Перед нами – набор стандартных характеристик (терпеливость, молодость племени, у которого историческая будущность – впереди), явно отсылающий как к патриотической риторике того времени, так и к стереотипам этнографического описания великоруса. Однако далее А.Д. Блудова вынуждена с прискорбием констатировать грубую действительность, разительно не вписывающуюся в благостную картину воскресного дня: те же самые великорусские крестьяне продемонстрировали «в тот же вечер... пьянство до чертиков»: «драка, стоны, крики, брань, унижение до состояния бессловесной твари»³⁵⁴. Так априорное сравнение в пользу великоруса обернулось разоблачением его идеального образа.

Обратимся теперь только к тем непрямым характеристикам великорусов, которые касаются нравов (во множественном числе) и «нравственных склонностей» и проступают в описаниях других народов Империи – и, в частности, финнов Финляндии³⁵⁵. Сравнение со «своим» занимает центральное место в рассуждениях о финской нравственности.

«Финская дачница» М.В. Крестовская, владелица дачи в Териоки, в своих дневниках 1890-х гг. постоянно сравнивала быт и жизнь финских крестьян восточной Финляндии со знакомым ей образом жизни русских в ее имении Ольховатое Курской губернии. Крестовская полагала, что эта часть страны – «настоящая Россия», «сердце России». Поэтому в своем сравнении она стремилась быть объективной: «...разница чувствуется на каждом шагу, от общего целого до всякой и мелочи». «Там (в Финляндии. – М.Л.) все красиво, культурно и... как будто немного чуждо; здесь все запущено, не разработано, грязно и... в то же время как-то невольно близко»³⁵⁶. Признаваясь в симпатиях к «финляндцам», восхищаясь ими, Крестовская так описывала русского – «родного», «привычного» – мужика: «...неграмотный, невежественный, полуголый в своих примитивных отрепьях, “темный”, по собственному признанию, и даже не стремящийся выйти из своей темноты и заевшей его вечной, горькой нужды, от которой он отупел, спился и опустился»³⁵⁷.

Сравнение финнов и русских закономерно приводило Крестовскую к восхищению финнами еще и потому, что объектом сравнения становятся два полюса. С русской стороны оказываются не преуспевающие московские купцы, не удачливые промысловики Сибири, не исполненные чувства собственного достоинства мастеровые-владимирцы, описываемые А.П. Богдановым (о них – в шестой главе), а именно «забитые и нищие» крестьяне Центрального Черноземья. При этом финнов «представляют» самые «обыкновенные» жители Териоки.

В других сравнениях часто появляется образ великоруса (речь не идет, однако, о специальном сопоставлении, например, поляков и великорусов) – вполне определенного этнического типа, отличающегося, впрочем, значительным региональным разнообразием. Как правило, это обитатель нечерноземного региона европейской части России. К изображению такой собирательно-трагической фигуры великорусского крестьянина тяготеет, в частности, Е.Н. Водовозова. В ее описании финнов возникает образ типичного великоруса, которого отличают забитость, нищета, равнодушие к собственной судьбе, отсутствие достоинства. Оценивая нормы общения финских крестьян, Водовозова, как ей кажется, исходит из очевидного. Описание через отрицание (ее излюбленный прием) позволяет в характеристике финна увидеть – по контрасту – представление автора о великорусах: «В их (финнов. – М.Л.) манере нет ничего рабского, скорее проглядывает чувство собственного достоинства и уважения к личности ближнего, – результат свободных государственных и общественных учреждений, а также следствие отсутствия крепостного права... [Финн] ни к кому не обращается высокомерно, ни низкопоклонно, никому безнаказанно не позволит унижить себя, грубо бранить себя без всякой причины»³⁵⁸.

Среди наиболее частых определений «своего» можно отметить бедность великорусов. Она проявляется в постоянной нужде и лишениях, в нехватке хлеба до нового урожая, в безвыходных условиях жизни. Печальный образ русской бедности проступает сквозь описание финской нужды: «...финская бедность не имеет вида грязной, оборванной нищеты, впавшей в полное отчаяние и безнадежность»³⁵⁹.

Финская «благопристойность» часто ставится в пример – как важное достоинство «культурного» народа, скрывающего за жестко соблюдаемыми нормами поведения укорененные страсти и пороки, многие из которых не чужды и великорусу (пьянство, проявления насилия и жестокости в отношении обидчиков и т.п.). Неоднократно встречаются замечания о широком распространении общего для финнов и русских порока – пьянства³⁶⁰; однако отличия «финского пьянства» от российского состоят в том, что, *во-первых*, финны

(как и некоторые другие финно-угорские этносы) вообще испытывают пристрастие к алкоголю, а *во-вторых*, благодаря принимаемым церковью и властями мерам и воспитанию проявления этой болезненной зависимости на людях тщательно скрываются. Поэтому пьянство финнов, как и их бедность, не выражается в оскорбительных для общественной морали формах. Это стремление «скрывать» рассматривается как проявление стыда и/или социальной ответственности. Оно, однако, отсутствует у великорусского крестьянина, «развращенность» которого проявляется, как правило, открыто, без оглядки на общественное порицание.

Смирение, спокойствие, грамотность и набожность также характеризовались как добродетели народа в целом. Впрочем, каждая из этих черт могла бы быть отнесена к характеристике крестьянства вообще. Однако с 1870-х гг. центральными темами в описаниях нрава финнов становятся: а) отношение к труду и б) восхищение их «известной всему миру» врожденной честностью. Последняя отмечается как главное свойство финского народа, сущность его национального характера.

Констатация «необыкновенного», по определению российских авторов, финского трудолюбия («трудолюбивость до крайности»³⁶¹) содержит в себе элементы скрытого сравнения с русской леностью: «Ходит и работает он (финн. – *М.Л.*) медленно, как бы нехотя, но зато уж никогда не бросит дела недоконченным, доделает его до конца»³⁶²; «он делает все обдуманно; предприняв какое-либо намерение, он терпеливо, твердо идет к своей цели...»³⁶³. Тот факт, что «финны и шведы не ходят по миру», считался доказательством того, «как высоко финляндцы ценят труд»³⁶⁴.

Таким образом, выделявшееся как отличительное свойство финского характера отношение к труду – столь же тяжелому и непосильному в неблагоприятных для земледелия условиях, – выражаемое прежде всего в добросовестности (качественности и добротности) работы, противопоставлялось, в сущности, не лени русских, а иному их восприятию труда. Это отличие получило историко-культурное объяснение лишь в научных исследованиях последних десятилетий³⁶⁵.

Но в XIX в. великорусская леность в этом сопоставлении не могла быть оправдана особенностями климата и даже крепостным правом, поскольку его отмена, по мнению авторов, создала необходимые условия для изменений. Однако как до, так и после реформ крестьян обвиняли в лености³⁶⁶. Подобное суждение чаще всего звучало из уст помещиков. Они объявляли леность главным «*мужицким*» качеством³⁶⁷, причем данное мнение разделялось представителями различных политических убеждений. Подобно другим нравственным свойствам, понятие «лень» трактовалось по-разному; интер-

претация позволяла переосмыслить не только значение слова, но и обозначаемые им факты. В рассуждениях о лени налицо тенденция «переописать» социальный или этнический порок в универсальных вненациональных категориях. Например, Ф.П. Еленев отмечал, что помещики называют крестьянской леностью то, что является «беспечностью и умственной притупленностью», между тем как леность в собственном смысле подразумевает нежелание работать, в чем обвинять русских крестьян было бы несправедливо³⁶⁸. Расценивая лень как типичное этническое свойство «всех русских людей», Еленев видел корень зла в отсутствии расчетливости и обдуманности, которое, в свою очередь, являлось результатом темноты и невежества крестьян и невыработанности сознательной нравственности в других сословиях.

Постоянные упоминания и рассуждения о финской честности дают основание предполагать, что они были в той или иной степени продиктованы скрытым сравнением не в пользу «своих» крестьян-великорусов. Важно отметить, что в этнографических описаниях народов Российской империи честность приписывалась многим этносам и племенам: ею наделялись малороссы, немцы, лопари, другие финно-угры. В учебниках географии европейских стран такая черта, как честность (в определении свойств нрава народа), встречается довольно часто³⁶⁹, например применительно к жителям Скандинавии – шведам, датчанам, норвежцам; особо отмечалась исключительная честность народов, исповедующих протестантизм (например, в ведении торговых операций голландцами)³⁷⁰. Авторы, однако, не пытались устанавливать взаимосвязь между конфессиональной принадлежностью и честностью, – они скорее были склонны обуславливать это нравственное качество неблагоприятными природными условиями: в отличие от сладострастных и порочных жителей юга людей севера характеризуют мужество и строгость (умение сдерживать страсти) – в том числе в нравственной сфере.

Однако природа честности понималась по-разному: она могла трактоваться как патриархальная добродетель не испорченных цивилизацией «дикарей», «детей природы» (именно так воспринималась честность малорусов, лопарей); ее доказательством выступает «редкость» в народе «случаев воровства», отсутствие в языке слова «вор», безукоризненная щепетильность в денежных отношениях (плата, оставление «на чай», вера на слово и т.п.). Такая разновидность честности тесно связывалась с качествами, которые эпоха приписывала «нецивилизованным» народам: патриархальными нравами, радушием, гостеприимством, добрым расположением в отношении чужих (пришлых), своеобразной «детской» доверчивостью и наивностью. Это не исключало негативных черт, однако они

по большей части объяснялись внешним воздействием. Но особенно маркированным становится упоминание о наличии или отсутствии честности в описании нравов инородцев, и в частности финно-угорских и некоторых сибирских народов. Исследователи-этнографы часто рассматривали честность как один из признаков принадлежности к финно-угорской группе и как одну из наиболее характерных ее черт³⁷¹. При этом утверждалось, что честность, как и другие добродетели патриархального уклада (в том числе у великоруса-земледедца), постепенно утрачивалась под воздействием цивилизации. Впрочем, честность могла пониматься и кардинально иначе – как результат цивилизованности, образованности («сознательная честность», добросовестность и пунктуальность немцев, выработанные протестантизмом) или же как неукоснительное исполнение взятых на себя обязательств, святость долга, данного слова. В этом случае она чаще всего выступала приметой чувства собственного достоинства и ассоциировалась с сословной честью (рыцаря, дворянина, аристократа, военного и др.). Некоторые авторы исходят из понимания честности, обусловленной самоуважением личности, которое бросается в глаза именно в крестьянской среде: «...порядочность, скажу: джентельменность народа... он свободен, свободен искони, *имеет правила* (выделено автором. – М.Л.); он грамотен»³⁷². В этом контексте честность видится не как врожденная особенность, связанная с «темпераментом» или с сохранением архаических черт, а как социальное (точнее, сословное) качество, обусловленное сознанием своего достоинства, – причем в российских реалиях оно гораздо более привычно в дворянском кодексе поведения. Такая «добровольная», «сознательная» честность финнов казалась многим российским авторам исключительной именно потому, что ее примеры обнаруживались в крестьянской среде. Честность «такой природы» не была обусловлена страхом перед наказанием, но и не являлась результатом мучительной борьбы человека с пороками, – она представляла его внутренней потребностью, выражением его свободы.

Наконец, был еще один вариант трактовки данного свойства: честность выступала доказательством законопослушности как социальной или этнической добродетели, уважения перед законом. Кроме того, большое значение имело само понимание честности конкретным автором, – ведь ее констатация в различных этнографических нравоописаниях зачастую свидетельствовала об индивидуальной специфике содержания, вкладывавшегося в это понятие.

Идеалы честного труда, который не требует контроля извне, считаются сформированными воспитанием и связаны с добросовестностью, усердием и самоконтролем; неременность исполнения данного слова и присяги соотносится с соблюдением законности;

наконец, очень важная особенность финна, кардинально отличающая его от великоруса, – уважение права собственности (особенно маркирована неприемлемость финнами воровства во всех его формах – от прямой кражи до мздоимства, обмана в сделках, всякого рода жульничества и т.п.). Важной – и также патриархальной чертой – финна является его правдивость.

Анализ различных вариантов понимания честности показывает, что все трактовки находятся в определенном соответствии со значениями данного слова в русском языке той эпохи. В словаре В.И. Даля понятие «честный» представлено в трех основных смыслах: 1) связанный с честью, достоинством, 2) с прямоотой, правдивостью, «неуклонностью по совести своей и долгу», а также 3) надежностью в данном слове, «честный – тот, кому во всем можно доверять»³⁷³. Следует отметить, что и в русской традиционной культуре, и в современном языке понятие «честность» или «жить честно» понимается как важный признак нравственности, актуализируя такие нормы, как «жить по совести», «жить по правую копейку» (на трудовую копейку), жить «честно» – значит неразвратно³⁷⁴. Как утверждают лингвисты, в прилагательном «честный» при всех вариациях его значения «...всегда выражается идея неиспорченности, незапятнанности... и следование определенным правилам», его семантика близка к слову «порядочность»; самое главное – чтобы «все было без обмана, без вранья и жульничества»³⁷⁵. Именно эти значения, но в более детализированной форме и с разъяснениями мы встречаем в этнографических описаниях, которые, в свою очередь, составлялись в соответствии с программами научных исследований, содержащими в том числе подробные предписания. Но в них спектр значений «честности» несколько уже. Так, в инструкции Н.И. Надеждина к Камчатской экспедиции и в Программе В.Д. Дабжи, в разделе о «нравственных способностях», из « пороков и добродетелей» народа перечислялись «пьянство, лживость, хитрость, мстительность и др., и местные понятия насчет степени преступности тех или иных действий»³⁷⁶. Соответственно, отсутствие лживости могло интерпретироваться как честность. Хотя само проявление честности или лживости в отношении народа предполагалось фиксировать «на практике» – т.е. исходя из оценки поступков, «случаев», – не исключалась и возможность ее выявления как потенциального свойства нрава – так называемых склонностей. В программе для изучения сравнительной психологии 1877 г. в группу вопросов, с помощью которых предполагалось раскрыть «социальные чувства, нравственные качества и характер» народа, входили следующие: «Держат ли слово и обещание?», «Ложь и хитрость в уважении или пренебрежении?»; сразу за ними следовали вопросы о правосудии³⁷⁷.

Автор известных очерков о Финляндии священник и публицист Г.С. Петров, перечисляя достижения страны в различных областях, в том числе в уровне сознательной нравственности, восклицал: «Отчего же в маленькой, крохотной, бедной, суровой Финляндии это есть, а у нас, в великой России, нет?»³⁷⁸ Помимо парадоксального – по мнению православного публициста – несоответствия масштабов и богатства Империи состоянию ее духовного развития, гораздо более важной была, очевидно, еще одна причина, объясняющая, почему столь заметный эмоциональный и публицистический акцент, сопровождающий констатацию честности как типичной особенности финского национального характера, отсутствовал в других аналогичных очерках (например, о малороссах или лопарях, о шведах или немцах – хотя и там, казалось бы, был повод для рассуждений в сравнительном аспекте). Эта причина – устойчивый и почти константный мотив кровной близости финно-угров и великорусов. Если предполагалось, что великорусы могли в результате многовековой метисации «заимствовать» у финнов черты физического облика, свойства темперамента, волевые качества, то отчего же не передались добродетели? Необходимо было разобраться в природе этого феномена, понять, является ли финская честность элементом нрава, т.е. врожденным свойством, или же она «выработана» климатом, историей, социально-правовыми традициями.

Первое объяснение (актуализирующее патриархальную нравственность «добротного дикаря») в данном случае не годилось: Финляндия выступала как модернизирующийся, экономически активно развивающийся регион, образцовый в Империи. Соответственно, чаще выдвигалась гипотеза о врожденной честности финно-угорских народов. Согласно этому, истоки чистоты финских нравов виделись именно в длительном отсутствии контактов с более развитой культурой – «добродетельность» тем выше, чем дальше расположена местность от моря: жители побережья раньше вступают в отношения с чужеземцами, и негативное воздействие протекает более интенсивно³⁷⁹. В этом рассуждении можно видеть продолжение рассмотренной выше традиции восприятия финнов как «неиспорченных инородцев».

Хотя авторы расходились в объяснениях причин честности финляндских финнов, их объединяла просвещенческая убежденность в возможности формирования нравственных качеств средствами образования и соблюдения законности. Не конфессиональное, а этническое начало казалось ключевым фактором различий русского и финского крестьянства, воплощавших сущность нрава своих на-

родов. Честность связывалась с нравственными добродетелями вообще, особенно заметными в сравнении (это важно подчеркнуть) с соседними народами – русскими, карелами, эстонцами и др.³⁸⁰

Деятели народного просвещения, такие как Д.Д. Семенов, Е.Н. Водовозова, Г.С. Петров, настаивали на решающем благотворном влиянии крестьянской начальной грамотности³⁸¹ и системы народного образования (которое в это время виделось главной целью просвещения в России), усматривая в финляндском опыте достойный пример для подражания. Для просветителей-семидесятников характерна убежденность в тесной взаимосвязи между грамотностью, «добропорядочными нравами» и «улучшением материального быта»: «...надобно прежде всего дать крестьянам первоначальное общее образование, которое должно пробудить их мыслительные способности и сделать для них понятными нравственные требования человеческой природы... Обучение религии и общим первоначальным знаниям – вот тот естественный и единственный путь, которым христианско-европейская цивилизация может войти в среду нашего народа»³⁸². «Сверхзадачей» образования, таким образом, объявлялось формирование *сознательных* («осмысленных», как писал Ф.П. Еленев) моральных убеждений, которые, как полагали многие наблюдатели, отсутствовали в русском крестьянстве: «Может быть, каждый человек рождается честным и остается честным, пока он живет простою, первобытною жизнью. Но известно, как легко гибнет эта честность, если она не основана на твердых убеждениях»³⁸³.

В 1880-х – 1890-х гг. констатация честности финнов сменилась поисками причин ее постоянства и дискуссиями о ее природе. Думается, такую постановку вопроса породили не изменение политической ситуации в самой Финляндии и не ее отношения с имперским центром. Она возникла в процессе формирования представлений российской элиты о русской идентичности, центральным звеном которых были рассуждения о русскости и о великорусском крестьянском характере в том числе.

Стереотип финской честности, таким образом, формировался, с одной стороны, в поле осмысления феномена крестьянских норм права и морали, а с другой – в контексте идей «природной нравственности» народов, находящихся на разных уровнях развития. Установка на сходство нравов родственных этносов породила стремление интерпретировать данную добродетель как общий родовый признак финно-угорской группы. В пореформенный период рассуждения о различиях морального поведения «своих» и финских крестьян строятся в русле уже сложившихся представлений об идеальном и реальном русском крестьянском типе, предпринимаются попытки отыскать истоки этнической самобытности.

Здесь необходимо обратиться к важному для характеристики нравственного облика великоруса вопросу – дискуссии о русской/великорусской нравственности, которая возникла в процессе резкого расширения объема информации о великорусском крестьянине в процессе его «открытия» в связи с реформами и этнографическими исследованиями.

Дискуссия о русской нравственности

В источниках 1840-х – 1860-х гг. образ главного государствообразующего племени можно назвать позитивным. Он выстраивался в соответствии со славянофильскими и государственно-патриотическими концепциями. Характерным примером – причем обнаруженным в статистическом обзоре Российской империи, в разделе о племенном разнообразии, – является следующее описание: «господствующее племя» (в количественном отношении и в значении этнического ядра) «превосходит все прочие народы трудолюбием и телесною крепостию, мужественно, как все славяне, и соединено узами веры, любви к престолу и Отечеству»³⁸⁴.

Вопрос о крестьянской нравственности не только русских, но и других народов Империи так или иначе возникал на разных этапах развития научных и любительских народоописаний – и в 1830-х гг., и в особенности начиная с 1850-х гг., в процессе подготовки реформ. В 1840-х гг. в сочинениях А.В. Терещенко, хрестоматии В.В. Пассека, историческом и статистическом описании России Н.А. Иванова и Ф.В. Булгарина воспевались бесспорные крестьянские добродетели. Н.И. Надеждин был уверен, что «народ русский велик не только своею физическою силою, в чем не сомневаются даже самые враги наши, но и патриархальными добродетелями, которые созидают и держат его колоссальное существование»³⁸⁵.

В научных этнографических заметках о русских, выходявших из-под пера иностранцев (например, в сочинениях М.А. Кастрена, Э. Реклю³⁸⁶ и даже в психологическом очерке о русских А. Леруа-Болье³⁸⁷) или «своих чужих» исследователей, описание русских/великорусов носит явно комплиментарный характер. Причем речь идет не об общей характеристике, а о той части, которая и у Надеждина, и у его последователей именовалась «нравом» или «характером».

Несколько иные достоинства обнаруживает у соотечественников другой автор: в заключении очерка о великорусах говорится, что их «нравственная черта» – «братское отношение к менее культурному народу несравненно выше и нравственнее, нежели побои, которыми награждают негров Африки народы, вводящие в черной части света культуру, или та неприступность и чванство, с которыми держат себя властители Индии»³⁸⁸. Совершенно в духе романтического этногра-

физма 1830-х гг. описывали великорусский народ те деятели, которых принято относить к консерваторам, – М.Н. Катков или М.Н. Погодин. Первый и в начале 1860-х гг. рисовал довольно архаичную картину народного нрава: «Русский человек не пуглив и не нервен: это его хорошее качество. Он не любит хвастаться – ни прежде, ни после дела, эффектных демонстраций не любит, он не будет обещать того, чего не исполняет, и в деле он всегда будет благонадежен... бесстрашие и стойкость русского человека вошли в пословицу... но есть и другие пословицы, представляющие то же свойство нашего народа в свете менее выгодном (“задним умом”, “гром не грянет...”)³⁸⁹. Второй в 1867 г. писал совершенно в стиле А.В. Терещенко: «...легкое, доброе сердце, которое досталось на долю русского человека, преимущественно великороссиянина (малороссиянин в этом отношении себе на уме)... при всех его недостатках и пороках, наследственных и злоприобретенных, – вот за эту простоту Бог нас никогда не оставит)³⁹⁰. Число подобных примеров можно множить.

Для 1860-х гг. типична полемика по «этнографическому вопросу» между журналами «День» и «Современник». Она выражала одну из тенденций *восприятия* и *интерпретации* этнографических сведений в читающем обществе. В «Современнике» была опубликована заметка «без приукрашения» о повседневном быте крестьян Кадниковского уезда Вологодской губернии. Речь шла о святочных «игрищах» и свободе до- и внебрачных отношений, что вызвало резко негативную реакцию журнала «День», обвинившего автора и редакцию «Современника» в очернительстве и скандальности. Позицию «Современника» отстаивал в анонимной статье «Как понимать этнографию?» А.Н. Пыпин³⁹¹, упрекавший оппонентов в ложно понимаемом «затхломе» и «благонамеренном оптимизме»³⁹². Он рассматривал опубликованные материалы как объективное отражение «малозатронутой стороны... быта»; убеждая в том, что в намерения автора не входило отыскивать «особенные национальные добродетели». Пыпин не только подробно разобрал значимость избранного предмета этнографического описания (который его оппоненты расценивали как недостойный научного интереса), но и объяснил приводимые явления с социальной («бедность развития» и «бедность жизни, которая проявляется не только в материальных неудобствах... но и в народных забавах и увеселениях, принимающих самые грубые формы»³⁹³) и историко-культурной (отголосок картины древних языческих праздников) точек зрения. А.Н. Пыпин не просто «оправдывал» необходимость освещения всех, даже «неблаговидных» для обывателей и блюстителей научной нравственности, сторон народной жизни, но доказывал, что распространенность «пороков» есть закономерное состояние в существующих условиях, которые вскоре (в 1880-х гг.) станут называть «пережитками».

Начиная с 1870-х гг. этнографическая литература отражает важную для русской общественной мысли тенденцию: кризис прежнего образа великоруса как идеального земледельца. После реформ 1860-х гг., с укреплением идеи о нациеобразующей роли русского крестьянства, с активизацией усилий власти и общества по модернизации, требования росли. Наиболее остро вопрос о национальной (крестьянской) нравственности встал в связи с кризисом народнических идеалов в 1880-х гг. «Хождение в народ» и близкое знакомство с повседневным бытом и поведением «народа-богоносца» вызвали жаркие споры о том, следует ли считать народ моральным или, напротив, весьма далеким от нравственных и в первую очередь христианских идеалов. Только в 1870-х гг. в этнографических очерках появляются первые упоминания о социальных недостатках и пороках, которые расценивались как типически этнические. Например, автор очерка о великорусах писал: «...часто упрекают великоруса за беспечность, множество предрассудков и страсть к спиртным напиткам, доводящую его нередко до разорения». Причина указанных недостатков – в состоянии «необразованности» (доходящей иногда до крайнего невежества и предрассудков³⁹⁴), в которой находится сельское общество³⁹⁵.

После длительной идеализации крестьянства разночинной и дворянской интеллигенцией в 1840-х – 1860-х гг. «открытие» ею «истинного мужика» в его собственном мире повлекло за собой много разочарований, но поистине драматичным было знакомство с крестьянскими представлениями и нормами бытового поведения, касающимися прав собственности. В художественной прозе начиная с 1840-х гг. и в особенности в так называемой народнической литературе 1860-х – 1880-х гг. были созданы запоминающиеся образы крестьян до и после отмены крепостного права, – в этом отразились сложные процессы распада общины и всего традиционного уклада жизни в пореформенный период. Такие авторы, как Н.В. и Г.И. Успенские, Н.Н. Златовратский, А.И. Левитов, П.В. Засодимский, и менее известные Ф.М. Решетников и Н.Е. Петропавловский (псевдоним – С. Каронин) изображали разные типы мужиков, но даже самые «позитивные», близкие к идеализированному образу крестьянина как хранителя патриархальные устои и здоровой нравственности персонажи явились открытием для читающей публики³⁹⁶.

Публицистика, переписка, этнографические и педагогические очерки 1870-х – 1890-х гг. так или иначе затрагивали вопрос о крестьянской «нечестности» и «вороватости», тем более острый, что он никак не соответствовал расхожей идее, согласно которой освобождение от крепостной зависимости и распространение народных школ способствуют улучшению и быта, и нравов. Сельская учительница Симонович в своих воспоминаниях сетовала: «Нравственные

требования, которые народная школа ставит своим ученикам, стоят в очень большом противопоставлении с житейской мудростью, практикующейся деревней. Школа проповедует честность, а мужик берет своего сына ночью в чужой лес для порубки... Школа дает ученикам эстетическое наслаждение в виде чтения хорошей книги или школьного праздника, а деревня... в праздник напивается до полного умопомрачения и заставляет детей участвовать в питье водки»³⁹⁷. Несоответствие идеалу народа-богоносца, в особенности касающееся отношения к чужой собственности (помещичьей или – после реформ – «господской», государственной, иногда и общинной), объяснялось по-разному. Однако, рассматривая трактовки, следует учитывать их важную особенность: наблюдатели понимали воровство, исходя из собственных правовых и обыденных представлений, продиктованных нормами буржуазного права.

Полемика разгорелась как в художественной литературе народного толка, так и в публицистике. В центре внимания оказался теоретический вопрос, имеющий непосредственное отношение к этнографическим исследованиям: в какой степени народ-крестьянство – даже общего этнического происхождения (например, великорусы) – представляет собой однородную и неизменную «общность», в какой степени социальные или региональные его разновидности («отраслевые» или областные типы) идентичны, в частности, в моральном отношении?³⁹⁸. В региональных этнографических описаниях неоднократно встречались суждения о «высокой нравственности» местных крестьян (например, Русского севера) или, напротив, о развращенности и пороках крестьянства центрально-черноземных губерний – в особенности тех сел и деревень, которые железная дорога связала с крупными городами.

Значительно большие трудности в объяснении этой проблемы испытывали те, кто имел непосредственный и постоянный контакт с крестьянами в повседневном быту. А.И. Эртель в одном из писем с грустью констатировал: «Народ же русский – лучше не говорить. Правда, он глубоко несчастный народ, но и глубоко скверный. Отсюда, конечно, не следует, что на него надо плюнуть, но следует то, что находиться с ним в реальных отношениях очень тяжело, иногда до нестерпимости. ...Стоит только хлебнуть “реальных отношений”, как... сквозь поэтическую оболочку живо засквозит грубый и, главное, лживый, лживый дикарь»³⁹⁹. Такое признание можно рассматривать как достаточно типичное для литературы и публицистики той эпохи. Обращаем внимание: основным упреком, адресованным «народной нравственности», оказывается отсутствие честности.

Если пороки племен, находящихся на стадии «дикости», в эпоху Просвещения традиционно объяснялись отсутствием христианской церкви и необразованностью, а начиная с середины XIX в., напротив,

дурным воздействием более развитой цивилизации, то найти причины «порчи» в собственном крестьянстве оказалось непросто. Они были обнаружены первыми масштабными исследованиями 1850-х гг., однако в пореформенный период казалось, что главная проблема устранена. Образ русского мужика в 1840-х – 1850-х гг. конструировался в целом как позитивный, когда в крестьянских нравах и быте усматривались элементы мракобесия, суеверия и своекорыстия. Недостатки мужика, согласно логике рассуждений, проистекали исключительно из несвободы, закрепощенности, отсутствия возможности реализовать себя, а устранение препятствий к развитию (отмена крепостного права) должно было стимулировать хозяйственную инициативу, развить природную смекалку, а также обратить крестьян к образованию, которого они были прежде лишены. Складывающиеся в России национальная идея и концепции патриотизма – в соответствии с европейскими представлениями эпохи – опирались на идею о том, что народ и другие сословия (или лучшие их представители) составляют общность, скрепленную единством религиозных, моральных и исторических ценностей, часто обозначавшимся формулой «родство по духу».

Публицист Ф. Андреев в 1889 г. вспоминал: «...недавно еще с тем же так отделяемым теперь со всех сторон мужиком носились “как с писаную торбою” даже люди, которым это было совсем не к лицу. Для одних мужик был предметом поклонения, для других во всяком случае запретным плодом в смысле неудобств резкого и открытого глумления. ...Увлечение мужиком выходило полное и широкое, охватившее не только честную и благомыслящую интеллигенцию, но и вообще известную долю привилегированных слоев общества и в значительной мере заслонившее литературу. ...Беллетристика прямо-таки была окрещена “мужиковствующей”. ...Одним словом, смиренный и безобидный, ничего не ведавший и ничего не замышлявший русский мужик, та самая “святая скотина”, над которой только самый ленивый не величался и не верховодил, пришел в русскую литературу, занял самое видное место и начал, как очень искусный дирижер, давать тон и направление всему и вся»⁴⁰⁰. Не только «мужик вообще» – собирательный образ русского крестьянина, без учета конфессиональных, этнических, региональных особенностей и различий в типах хозяйствования, – но и крестьянский тип в целом в середине XIX в. идеализировался русским образованным сообществом.

Рассматривая проблемы, связанные с особенностями изображения великорусского крестьянского характера в пореформенную эпоху⁴⁰¹, мы сталкиваемся с острой проблемой крестьянской нравственности – точнее, отступлений от нее. Стремление ограничиться нейтральными или краткими описаниями в духе романтизма или последовательным историко-социологическим объяснением тех новых

проблем крестьянского быта, которые изменили не только привычное жизнеустройство, но и вековые психологические и умственные задатки, еще встречается в 1880-х – 1900-х гг. – особенно в учебной литературе; но в научной публицистике и в этнографических материалах все чаще дается неприукрашенный образ великорусского крестьянина (прежде всего жителя нечерноземных губерний, которого часто именуют «русским крестьянином»).

Сделанное наблюдателями-интеллигентами «открытие» истинного мужика в его собственном мире повлекло за собой глубокое разочарование «открывателей». Иллюзия универсальных ценностей развеялась. Преувеличенной оказалась, в частности, постулируемая истовая религиозность крестьянина: соблюдение норм, церковной обрядности и внешнего благочестия сочеталось с незнанием и непониманием догматов вероучения, с активным бытованием элементов народной культуры, квалифицировавшихся как языческие пережитки. Не только равнодушные к вопросам веры, но и глубокое невежество встречалось даже в тех областях Империи, где конфессиональная принадлежность вплоть до 1880-х гг. была единственным однозначным маркером этнической принадлежности, – в Западном крае. О «путанице» церковей и вероисповеданий писала уже упоминавшаяся А.Д. Блудова в записках о Волыни, отмечая, что многие крестьяне не делают разницы между костелом и церковью, не знают отличий католического и униатского вероучения и обрядности⁴⁰². «Как они не религиозны – в сущности! ...разве они православные, как их считают? Нисколько», – грустно резюмирует автор очерка о крестьянах конца 1890-х гг., наблюдая повседневную жизнь великорусской губернии⁴⁰³.

Исполненный сочувствия к тяжелой народной жизни, педагог Н.Ф. Бунаков, тонко подмечавший истоки многих предрассудков и стереотипов в отношении крестьян, замечал, что «очень слабы в мужиках истинно христианские альтруистические чувствования, любовь к ближнему, доброжелательство, сострадание, благодарность и т.д. Напротив, в них легко и скоро возбуждаются такие чувствования, как зависть, мелкое себялюбие, злорадство, почти человеконенавистничество, – и не только по отношению к человеку постороннему, “не-мужику”, который вообще не пользуется его расположением... но и к своему брату-мужику»⁴⁰⁴.

Воровство, клятвопреступление, убийства, зверские избиения жен и детей, расправы с цыганами, пьянство – все это не совпадало с сусальным образом народа-богоносца. Остроумно описывал этот процесс Ф. Андреев: «А тут крестьянин, точно масла в огонь, начинает подливать всяких воспламенительных специй: то копейку лишнюю постарается с вас заполучить, то пьян до безобразия напьется, то с соседом поругается, то жену поколотит, то... избьет... лошадь...

то до унижения дойдет перед вами»⁴⁰⁵. Разброс мнений в любом случае зависел от представлений о мужике и его нуждах, сложившихся в умах «внешних» наблюдателей. Степень приближенности к народной жизни могла несколько менять ракурс и систему обоснований, но так или иначе авторы исходили из иной, внешней по отношению к крестьянам системы ценностей и мировоззрения. Мужик в этом случае выступал как объект воздействия, причем объект пассивный. А.Н. Энгельгардт писал, что «кроме настоящей жизни существует в воображении нашем (всех людей интеллигентного класса, за исключением немногих, которые *чутьем* поняли суть) иная, воображаемая жизнь, существует совершенно цельное, но фальшивое представление, так что человек за этим миражом совсем-таки не видит действительности (выделено автором. – М.Л.)»⁴⁰⁶.

После имевшей место в 1840-х – 1860-х гг. длительной идеализации крестьянства разночинной и дворянской интеллигенцией описание нрава нациеобразующего этноса в пореформенную эпоху демонстрирует остроту вопроса о его моральном облике, который теперь характеризуется как «глубокая нравственная темнота»⁴⁰⁷. Соответственно возникли гипотезы, авторы которых стремились объяснить народные «обыкновенения», шедшие вразрез с нормами христианской морали и казавшиеся несовместимыми с православной верой. Одним из наиболее осуждаемых образованной элитой пороков после пьянства, лености и невежества стала русская «склонность» к воровству, выражавшаяся в крестьянских представлениях и нормах бытового поведения.

А.Н. Энгельгардт удивлялся, что даже те помещики, которые в силу своего образа жизни и экономических условий наиболее близко соприкасались с крестьянами в повседневной жизни, совершенно не понимают их интересов, выгоды, способов выживания и в прямом смысле слова не могут адекватно общаться с ними: «Я встречал здесь помещиков, которые по 20 лет живут в деревне, а о быте крестьян... никакого понятия не имеют; более скажу – я встретил, может быть, всего только трех-четыре человек, которые понимают положение крестьян, которые *понимают, что говорят крестьяне*, и которые *говорят так, что крестьяне их понимают* (выделено мной. – М.Л.)»⁴⁰⁸. Н.Н. Златовратский, критикуя описания народного крестьянского быта, восклицал: «...недобросовестность, невежество, противоречие, поверхностность – вот неизменная подкладка тех этнографических сообщений, которыми “свежий” и “сведущий” культурный человек наводнил номера провинциальных и столичных газет и разнообразные сборники»⁴⁰⁹ – и подчеркивал, что неверная интерпретация объекта наблюдения обусловлена культурной «инакостью» наблюдателей. Иначе говоря, восприятие крестьянского образа жизни и мышления как этнического, «своего» осуществлялось

по той же схеме и сопровождалось теми же ошибками атрибуции и интерпретации, что и описание «чужого»⁴¹⁰.

Впрочем, представления о «своем» – великорусском крестьянине – не были однозначно стереотипными. Существовали публицистические и художественные произведения, содержавшие примеры высокой нравственности, причем аналогичные тем, которые отмечались, в частности, как этническая особенность финнов: отсутствие воровства в деревнях Русского севера (показателем казалось отсутствие запоров на дверях), отказ от взимания платы за постой, соблюдение устных договоренностей и обязательств. Существовало также широко распространенное убеждение в нравственности старообрядцев. Авторы очерков стремились представить характерную картину и потому руководствовались собственными представлениями о норме и типичном.

Специфика крестьянского отношения к чужой собственности (как частной, так и общинной или государственной) объяснялась по-разному. Однако следует учитывать принципиальное сходство подходов: наблюдатели исходили из правовых и обыденных представлений, продиктованных нормами складывающегося буржуазного права или представлениями о дворянском этосе.

Необходимо сделать важное отступление, касающееся отмеченного образованными современниками «низкого уровня нравственности» в крестьянской среде. Данное представление складывалось на фоне завышенных ожиданий наблюдателей и известного в науке различия поведения в среде «своих» и во взаимодействии с «чужими»⁴¹¹. Характерное для крестьян (причем не только в России, но и за ее пределами) спокойное отношение к тому, что для наблюдателей представлялось кражей, неоднократно попадало в сферу внимания. Порубка леса в государственном или бывшем помещичьем лесу повсеместно не воспринималась крестьянами как кража, т.е. покушение на чужую собственность. Данный вопрос занимал особое место в описаниях Царства Польского/Привислинского края и Прибалтийских губерний (Остзейских провинций). В них проводилось прямое или скрытое сравнение со «своим», и именно в этом контексте отмечалось общее для польских и великорусских крестьян «обыкновение»: вырубки в помещичьих лесах и выпас скота (а иногда и потрава урожая) на господских землях⁴¹².

Стремление объяснить подобные явления различным отношением к «своей» и «чужой» собственности – общее место в мемуарах и дневниках той эпохи. Педагог Н.Ф. Бунаков писал в 1884 г.: «Мне пришлось убедиться, что крестьяне и теоретически не считают предосудительным и несправедливым со своей стороны кражу или обман по отношению ко всякому, кто “не свой брат, не крестьянин”. У “мужика” стащить что-нибудь грешно и преступно, а у барина, попа,

всякого “не мужика” можно и чуть ли даже не должно»⁴¹³ – и объяснял такую позицию социальными противоречиями и последствиями крепостного права. А.А. Фет в «Письмах из деревни» с явной иронией приводил свой диалог с одним из крестьян во время заключения сделки: «...ты смотри, Митрий, не обмани, – вмешался вслушивающийся в наш разговор Алексей. – Ведь это, брат, обмануть не своего брата мужика. Не приходится” “...Я стал объяснять мужикам, что обман всё обман, к кому бы он ни относился, в чем оба были совершенно согласны, и, в доказательство окончательного уразумения моих слов, Алексей с ударением повершил: “Ведь это обмануть не своего брата мужика, это не приходится”. Просьба мужика была исполнена, а кур он мне не привез»⁴¹⁴. И Фет, и Энгельгардт в своих «Письмах» постоянно обращались к вопросу о причинах неискоренимости постоянного бедствия – потрав и покосов на принадлежащей им землях. Речь шла не только о прямом воровстве, но и о нанесении других видов ущерба, зачастую весьма ощутимого для хозяина.

Еще одна часто упоминаемая разновидность крестьянской «нечестности» – постоянное желание «надуть», «обхитрить», «объегорить» не только барина, но и «своего брата», т.е. попросту не исполнить данное обещание, не сдержать слово или же обманом заполучить незаконную прибыль. О.П. Семенова-Тян-Шанская, оставившая описание крестьянского быта Рязанской губернии рубежа XIX–XX вв., с недоумением констатировала: «Сколько я ни толковала (крестьянке, работавшей на кухне. – М.Л.), что самовольное присвоение чужой собственности “в брюхо ли, впрок ли” все равно называется кражей, она со мной не соглашалась... Тот же староста, охраняя “барские яблоки”, набивает себе каждый раз... карманы. Казенное добро... уважают даже меньше помещичьего (“У царя всего много”). И тащат все решительно»⁴¹⁵. Авторы подобных текстов исходили из нормативной модели поведения, руководствуясь верой в «истинность» и абсолютность своих представлений о нравственности и законе. Между тем в традиционных представлениях все, что росло на земле, не воспринималось как чья-либо собственность (в том смысле, который возник еще в римском праве), а осмыслялось через разделение «своего» и «чужого» природного пространства – подобное представление являлось культурной универсалией крестьянского образа жизни во все времена и в разных регионах⁴¹⁶.

Приведем еще несколько характерных суждений об истоках крестьянского воровства, относящихся к ареалу российского Нечерноземья. О.П. Семенова-Тян-Шанская усматривала причину в «одном из самых глубинных и твердых крестьянских убеждений» в том, что «земля когда-нибудь вся должна перейти в их руки»⁴¹⁷, буквально подтверждая формулу, которую десятилетиями ранее услышал из уст крестьян Ю.Ф. Самарин: «Мы все твои, а все твое – наше». А. Симонович,

напротив, возмущалась тем, что крестьяне обманывают и воруют у своих же односельчан⁴¹⁸ главной причиной, как и многие педагоги пореформенной эпохи, они считала невежество, обращающее народ «в распущенного и одичалого гуляку»⁴¹⁹.

Несколько иначе интерпретировал воровство Г.И. Успенский. В цикле очерков «Власть земли» он проанализировал взаимосвязь крестьянина с землей, одним из первых не только показал, но и объяснил, что представления о ценности и праве на обладание и распоряжение тесно взаимосвязаны с физическими, трудовыми затратами земледельца⁴²⁰. «Власть земли» диктует и формы выживания, и средства приспособления. Даже очевидные для «цивилизованного» ума нерациональность или безнравственность тех или иных способов действия вполне объяснимы ситуативно и определяются жесткой необходимостью.

С 1870-х гг. в российской истории законодательства и в социологии началось возрождение интереса к теории естественного права – оно изучалось как «источник общечеловеческих ценностей, выработанных цивилизациями. Первостепенное значение при этом придавалось положению о том, что природе человека изначально присущи определенные “этические принципы... своего рода исконные правовые начала”»⁴²¹. Размышления о сочетании правовых и этических установлений в современном крестьянском обществе также были обусловлены стремлением интерпретировать социальные процессы в пореформенной деревне, которые, как и прежде, зачастую осмысливались в этических категориях «естественного» человека. Впрочем, этнографы-описатели, подходили к данному вопросу более прагматично. Но, как показывают современные исследователи, ситуация осложнялась тем, что вплоть до появления Тенишевского этнографического бюро (его программа разработана в 1898 г.) инструкции по сбору народных юридических обычаев (первая появилась в 1864 г.) составлялись юристами, и в них «доминировала юридическая логика», которая, будучи применена к сфере крестьянского права, «юридифицировала» его⁴²². Необходимость «перевода» норм обычного права на язык и в систему государственного права весьма затрудняла позицию «описателя»: две системы были принципиально несхожи, и одно из важных противоречий состояло в непонимании различий между уголовной и гражданской ответственностью. Отметим, однако, что активное изучение обычного права в русской крестьянской среде в последней трети столетия отчасти способствовало преодолению разрыва и формированию новых, социально-исторических объяснений крестьянской нравственности.

Не имея возможности углубленно рассматривать весь спектр мнений, приведем лишь несколько наиболее характерных суждений, относящихся к крестьянам российского Нечерноземья. Л.Н. Толстой,

анализируя «взгляды на честность», имеющие своим следствием принципиально различные стратегии в отношении «своих» и «чужих», рассматривал их как универсальные человеческие качества, присущие всем сословиям⁴²³. Скорее исключительными, нежели типичными примерами можно считать пронизательное высказывание Д.Н. Овсяннико-Куликовского, считавшего, что «нельзя подвергать многомиллионную массу огульной моральной оценке»⁴²⁴, а также позицию А.Н. Энгельгардта, посвятившего немало страниц своих «Писем из деревни» вопросу об отношении крестьян к собственности. Предвосхитив выводы специалистов юридической этнологии, Энгельгардт определил корень зла следующим образом: «Конечно, крестьянин не питает безусловного, во имя принципа, уважения к чужой собственности и *если можно*, то пустит лошадь на чужой луг или поле, точно так же как вырубит чужой лес, если можно, увезет чужое сено, если можно – все равно, помещичье или крестьянское, – точно так же как и на чужой работе, если можно, не будет ничего делать... Зачем же крестьянин будет заботиться о чужом добре, когда сам хозяин не заботиться?»⁴²⁵; «человек хороший... не то чтобы какой-нибудь бездомный прощелыга, нравственно испорченный человек, но просто обыкновенный человек... становится вором потому только, что вещь лежала плохо, без присмотра»⁴²⁶. Таким образом, с точки зрения Энгельгардта, подобное поведение продиктовано очевидным крестьянским прагматизмом.

Современные ученые объясняют ужасавшие наблюдателей «отступления от норм христианской нравственности» своеобразием «моральной экономики», видят в них «формы обыденного сопротивления крестьянства»⁴²⁷; другие интерпретируют их как реакцию на модернизацию, объясняют конфликтом «габитусов», социально-культурных практик или проявлением взаимоотношений различных культурных традиций внутри единой культуры⁴²⁸. Причем речь идет не столько об этнических или этнокультурных особенностях, сколько о типологическом сходстве традиционных культур⁴²⁹. Некоторые вполне справедливо апеллируют к практике обычного права, указывая на его разрушение в процессе модернизации общества⁴³⁰. Сегодня совершенно очевидно, что обычное право трактовало имущественные преступления и безнравственные поступки («грех») иначе, чем государственное законодательство, и поэтому исследователи русского крестьянского общества XIX–XX вв. были убеждены, что «в обыденном сознании крестьян кража по причине голода или как результат крайней необходимости преступлением не считалась», а «заповедь “не укради” по отношению к землевладельцу не действовала»⁴³¹. Российский исследователь В.Б. Безгин констатирует: крестьяне верили, что «не может быть собственности на то, к чему не был приложен труд»⁴³². При этом важно подчеркнуть, что

указанные особенности отличали крестьянское (народное) мышление не только русских – речь идет не столько об этнических или этнокультурных чертах, сколько о типологическом сходстве традиционных культур на определенном этапе их развития⁴³³.

Что касается вопроса о крестьянской честности с точки зрения самого сообщества (прежде всего общины) и правовых норм, уже самые первые сведения, собранные по специальным программам, показали, что волостные суды в делах о воровстве (как и о некоторых других имущественных преступлениях) и в конце XIX столетия руководствовались обычным правом⁴³⁴. Согласно ему, воровство трактовалось не как преступление (проступок), с неизбежностью влекущее за собой наказание, а как ущерб, нанесенный одной стороне другой, который может и должен быть возмещен в результате мировой сделки, т.е. «действовали принципы и понятия не законного уголовного права, а обычного права»⁴³⁵. Иначе говоря, «между обычным и законным правом всегда существовало не просто несоответствие, но значительное противоречие – в том числе и в трактовке кражи»⁴³⁶. Нельзя не отметить также, что среди современных этнографов встречаются две кардинально противоположные точки зрения относительно состояния нравственности русских/великорусских крестьян этого времени – в особенности их «честности»: одни убеждены, что честность, «надежность в выполнении своих обязательств» не только «входили в понятие русских крестьян о чести», но и повсеместно соблюдались как практические правила⁴³⁷ другие – на основании того же комплекса источников – описывают повседневную крестьянскую жизнь тех же регионов Великороссии совершенно иначе⁴³⁸.

Преступления подобного рода квалифицировались самими крестьянами как незначительные (по сравнению с наиболее тяжкими – убийством или клятвопреступлением, которые воспринимались в категориях греха); в частности, кража леса считалась скорее удалством, чем преступлением в строгом смысле. В некоторых регионах Русского севера ответственность за погромы и покосы, например, возлагалась на пострадавших, не позаботившихся должным образом об изгороди, охране и т.п., а кража денег объяснялась недосмотром и невниманием самой жертвы⁴³⁹.

Объяснение «русскому воровству» этнографы-эволюционисты искали исходя из концепции уподобления современного крестьянского общества первобытному. Эволюционизм позволял рассматривать развитие народов на определенном этапе (дикости и варварства) как сопоставимое (в том числе в нравственном отношении) с традиционным крестьянским обществом, не подвергшимся необратимому модернизационному воздействию цивилизации⁴⁴⁰. Э.Ю. Петри объяснял преступления против собственности в русской крестьянской среде сход-

ством народных взглядов с воззрениями народов, «ближе стоящих к природе», которым присуще иное понимание добродетелей⁴⁴¹. Ранние исследования по юридической этнографии 1880-х – 1900-х гг.⁴⁴² показали, что в русской пореформенной деревне использование некоторых природных ресурсов (леса и воды), которые формально принадлежали отдельному человеку или государству, повсеместно не считалось преступлением⁴⁴³. Таким образом, особенности правового сознания крестьянства в различных регионах России были отмечены, но не нашли удовлетворительного объяснения, в этнографических описаниях доминировали констатации.

Сторонников различных взглядов объединяло отношение к крестьянам как к однородной и единой недифференцированной массе, причем как в этническом, так и в имущественном и нравственном отношении. Это служило причиной множества заблуждений и стереотипов. Подобный взгляд на крестьянство свидетельствовал о том, что авторы оставались в русле прежних, априорных суждений, их мнения не основывались на конкретном опыте коммуникации или исследования.

Неприятие собственного народа образованными слоями общества интерпретировалось и с психологической точки зрения, как «cultural misunderstanding». Например, тот же Овсяннико-Куликовский описывал ситуацию 1880-х гг. следующим образом: «Это была хитросплетенная сеть и непрерывная цепь взаимного непонимания и недоразумений между широкой общественной средой и народной массой... Особую роль сыграло... предрасположение здоровых натур мерить на свой аршин натуры больные, гуманных – приписывать свою гуманность негуманным, просвещенных умов – усматривать какие-то проблески здоровой мысли в умах безнадежно-темных, наконец, склонность людей с высоким моральным строем видеть таковой же там, где было только изуверство»⁴⁴⁴.

Более жесткие требования к «судьям» предъявлял К.Д. Ушинский, который, впрочем, подтверждал пессимистическую оценку Овсяннико-Куликовского: «Судить о достоинствах и недостатках народа по нашим личным понятиям о качестве человека, – категорически заявлял он, – никто не имеет права. Часто то, что кажется нам недостатком в народе, является оборотной стороной его достоинств»⁴⁴⁵. Так или иначе, налицо был конфликт, основанный на непонимании⁴⁴⁶.

Какие бы оправдания ни искали ставшему в одночасье отвратительным мужику, его недостатки чаще всего квалифицировались в тех же категориях цивилизованности/дикости, что и оценки «диких племен» восточных окраин: «темнота», «невежество», «грубость», «разврат», «косность». Эти негативные характеристики переводили крестьянина из равноправного участника диалога между предста-

вителями общей этнической и религиозной культуры в принципиально иное качество. Из «своего» он превращался в «чужого» – его «некультурность», «безнравственность», консерватизм, бессмысленное упрямство, с точки зрения рефлексирующей стороны, подтверждали верность таких определений, как «темный», «забитый», «оскотиненный», «дикий», в лучшем случае – «дитя природы». Подобные наименования весьма показательны – данная лексика скрывает в себе стереотипный взгляд человека Просвещения на аборигена, туземца. Носитель цивилизации оценивает его не как субъекта контакта, а как объект воздействия, со всеми вытекающими отсюда последствиями: его необходимо просветить, научить, привить основные «человеческие» понятия, т.е. «цивилизовать» или «окультурить», сделав из него полноценного человека.

Следствием, усугублявшим отторжение, стало приписывание негативных особенностей исключительно великорусскому крестьянству. Сравнительная этнография еще не могла убедительно доказать наличие единого для крестьянства разных народов типа культуры, – лишь в некоторых умах зрели идеи о наднациональной крестьянской общности⁴⁴⁷.

Можно предположить, что в данном случае имело место своеобразное замещение. Несходство реального крестьянина с «идеальным образом» можно было бы объяснить социальным различием – отнюдь не столь драматичным. Однако этого не произошло. Неожиданные несоответствия можно было бы рассматривать как следствие непонимания и стремиться его преодолеть, узнав логику Другого. Но такая стратегия была избрана позже, в конце века, с развитием психологии и этнографии. Скорее всего, на данном этапе наиболее доступным оказалось переосмысление противоречий в категории этничности, а точнее, перевод их в основания этноцентризма. Здесь мы имеем дело с таким образом мысли, при котором собственная культура видится как правильная, универсальная, неоспоримая, но не обязательно исключительная. Механизм восприятия второго участника коммуникации и отношение к нему со стороны «просветителей» также вполне отвечают тактике и стратегии этноцентризма: непонимание трактуется как нежелание другой стороны принять верную позицию безусловно. Единственно возможное основание для диалога – перевоспитание или обращение к посреднику. Приписывание крестьянину признаков «чужого» позволяет снизить, нейтрализовать драматизм несбывшихся ожиданий.

Своеобразным резюме можно считать самокритичную оценку восприятия «своего крестьянства» представителями других социальных групп, которую дал В.Г. Короленко: «Одна черта была присуща не одному мне, а всему нашему поколению: мы создавали предвзя-

тые общие представления, сквозь призму которых рассматривали действительность... В этот период перед нами стоял такой общий и загадочный образ народа-“сфинкса”. Он манил наше воображение, мы стремились разгадать его... Эта романтическая призма стояла постоянно меж мной и моими непосредственными впечатлениями»⁴⁴⁸.

Итак, описание великорусского характера, выстраивающееся при помощи всего этнографического инструментария, все равно прибегает к дихотомиям и клишированным формулам, сформировавшимся и вне научного поля. При этом спектр потенциальных вариаций в оценках скрыт в самом наборе определений «умственных и нравственных» свойств, которые при всей внешней нейтральности обладают скрытой аксиологической подоплекой, – их трактовка ситуативна и всегда зависит от объекта сравнения. Специфические признаки выявляются посредством сопоставления степени их выраженности у разных народов. Поэтому одно и то же якобы «объективное» свойство (например, малороссийская «леность») оценивается негативно в сравнении с «вынужденным» трудолюбием великорусов, но всегда определяется как добродетель общества, сохраняющего традиционный образ жизни и патриархальные крестьянские ценности, когда рассматривается в сопоставлении с неславянскими соседями.

На интерпретацию свойств характера воздействуют также исторические и культурные традиции словоупотребления конкретных лексем (обозначающих добродетели или пороки народов) в разных языках. Реконструкция семантики ключевых концептов, которой занимаются лингвисты в последние три десятилетия, в XIX в. только начинала разрабатываться, и потому ученые того времени не брали в расчет этот важнейший фактор, воздействующий на представляющиеся «объективно-научными» оценки.

При обращении к описаниям славянского национального характера в науке того времени необходимо учитывать методику их выявления и реконструкции. В этнографии XIX в. господствовали методы внешнего наблюдения. Они основывались на соответствии внешней формы внутреннему содержанию по принципу изоморфизма. Национальный характер, таким образом, мог быть установлен по внешнему (физическому) облику типичных представителей этноса. Основной этнографический метод – описание, осуществляемое с помощью визуального наблюдения, фиксировал нрав народа на основании жестикуляции, походки, темпа и благозвучия речи, поведения и т.п. Не был нарушен данный принцип при выявлении этнического своеобразия посредством сравнения отдельных этнических примет (языка, антропологического типа, элементов материальной

и духовной культуры, национальных характеров том числе). В спорных случаях именно характер становился главным воплощением различий между родственными этническими группами.

Принцип изоморфизма долгое время ограничивал анализ и в кажущихся принципиально иными методиках выявления этнокультурных черт нрава с помощью текстуального анализа – например, при рассмотрении фольклорных и мифологических текстов. То, что декларировалось как реконструкция черт национального характера, на самом деле таковой не являлось: выводы делались на основании «впечатления», «настроения», интонации или исходя из формального преобладания жанров. Структурный, функциональный и типологический анализ взаимосвязей был уже известен науке в 1870-х – 1880-х гг., но он еще очень долго не менял привычного и преобладающего исследовательского инструментария.

Сравнение, провозглашенное основополагающим методом этнографического описания в первую очередь русской (великорусской) народности, позволяло решить важную научную и идеологическую задачу: определять качества и свойства собственного этноса даже тогда, когда объектом изучения становился другой народ Империи. Если в описании финнов и поляков доминировал – как было показано – взгляд неискушенного наблюдателя, передававшего впечатление о Другом, то для установления типичных качеств этих этносов российские исследователи обратились к самоописаниям – художественным и научным, принадлежавшим одной социокультурной группе, т.е. к репрезентациям собственного этноса национальными элитами.

Качества русского народа, тип которого воплощал великорус, становясь объектом сравнения, оказывались конструктом, некоей идеальной схемой, так как великорус, *во-первых*, представлял собой не чистую, а смешанную этническую группу, свойства которой, кроме того, значительно варьировались по регионам. *Во-вторых*, подобная изначальная «смешанность» порождала в нем «склонность» к дальнейшей метисации, – негативная, как считалась, тенденция, ведущая к утрате этнического своеобразия, т.е. народности. И хотя, как указывалось во многих описаниях, ядро его этнической самобытности не подвергалось изменениям, опасность была вполне реальной⁴⁴⁹.

Описание великоруса в этнографических очерках народов Империи как самостоятельного объекта осуществлялось не столько компактно, ведь принципом изложения был региональный – сколько в соответствующих отделах различных областей или губерний. Это также способствовало описанию его через сравнение: этнические особенности определялись через значимое отрицание черт, присущих и ближайшим родственным группам – малорусам

и белорусам, – и соседним народам. Точно «опознать» великоруса, таким образом, представлялось возможным не по антропологическим признакам или по характеру, а лишь по языку; в случае затруднений его можно было идентифицировать исключительно как региональный вариант. Однако и лингвистическая идентификация не только демонстрировала свою условность, но и осложнялась проблемами субъективного свойства – особенностями самосознания крестьянского сословия. Главная, но тогда еще не сформулированная причина крылась в том, что под этничностью подразумевалась только «объективная» идентификация, а не самоопределение.

Образ великоруса, который «просматривается» в характеристиках других народов, гораздо более негативен, чем в прямых или открыто-сравнительных описаниях. Он более конкретен и часто опирается на личный опыт, что заметно в стиле изложения: не в отвлеченно-объективном, а в эмоциональном строе, с примерами из своего опыта. Из социальных качеств можно отметить прежде всего предприимчивость, деловую активность, энергичность и быстрое освоение новых экономических вызовов пореформенного периода. Однако нравственный облик его вырисовывается как далекий от идеала: он ленив, вороват; некоторые свойства его нрава способствуют нарушению им моральных норм: неспособность «держаться в руках», контролировать проявление чувств и эмоций ведет к резким перепадам трудового ритма, к пьянству, однако он не зол, не жесток и гостеприимен.

В опосредованных характеристиках «своего» ни русский, ни великорусский крестьянин не выступают в качестве главного «культурного» народа, носителя цивилизованности. Подчеркнуты лишь некоторые грани врожденных талантов, из которых основные добродетели связаны снова с патриархальными качествами. Такое смещение акцента с «исторических достижений» на традиционные ценности и биологические свойства означает, как представляется, стремление выделить именно этническую (племенную) составляющую, не зависящую, в отличие от других особенностей, от воли и намерений отдельных индивидов, социальных групп и политических факторов в целом.

В сравнении «своего» с «чужими» проявились некоторые социальные и национальные варианты автостереотипов русских – в том виде, в каком они сложились во второй половине XIX столетия. Авторы более склонны были видеть реализацию нравственных норм и сословных идеалов в Другом и обнаруживать их сходство со своей социальной группой (дворянство, интеллигенция), а не с этнической общностью русских или великорусов (к которой, кстати, они могли себя не относить).

Примечания

- ¹ *Лескинен М.В.* От «натуры» к «гению»: традиции правоописаний европейских народов XVI–XVIII вв. // Текст славянской культуры: Сб. в честь юбилея Л.А. Софроновой. М., 2011. С. 431–448.
- ² *Тодоров Ц.* Раса и расизм // Новое литературное обозрение. 1998. №34. С. 15.
- ³ *Монтескьё Ш.* О духе законов // *Монтескьё Ш.* О духе законов. М., 1955. С. 412.
- ⁴ Там же. С. 352.
- ⁵ *Юм Д.* О национальных характерах // *Юм Д.* Соч.: В 2 т. М., 1996. Т. 2. С. 605–621.
- ⁶ *Гельвеций К.* Соч. В 2 т. М., 1974. Т. 2. С. 182.
- ⁷ *Вульф Л.* Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения / Пер. с англ. М., 2003; *Саид Э.* Ориентализм. Западные концепции Востока / Пер. с англ. СПб., 2006; *Нойманн И.* Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей / Пер. с англ. М., 2004.
- ⁸ В научных сочинениях одним из первых словосочетание «национальный характер» стал использовать И.Н. Болтин (см.: *Болтин И.Н.* Примечания на Историю древняя и нынешняя России г. Леклерка, сочиненная генерал-майором Иваном Болтиным: В 2 т. СПб., 1788. Т. 1. С. 5–12).
- ⁹ Цит. по: *Рабинович М.Г.* Ответы на программу Русского географического общества как источник для изучения этнографии города // Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии. Вып. V. Л., 1971. С. 39.
- ¹⁰ Цит. по: Там же.
- ¹¹ Цит. по: Там же.
- ¹² Подробнее об этом см.: *Лескинен М.В.* Понятие «нрав народа» в российских этнографических концепциях второй половины XIX века // Славянский альманах. 2006. М., 2007. С. 281–311; *Она же.* Понятие «нрав народа» и этнические стереотипы в отечественной этнографии второй половины XIX века // Стереотипы в языке, коммуникации и культуре. М., 2009. С. 72–82; *Она же.* Концепция «нрава народа» в языке описания российской науки второй половины XIX в.: дефиниции, способы выделения, функции // Национальный/социальный характер. Археология идей и современное наследство. Материалы Всероссийской научной конференции. М., 2010. С. 14–16; *Она же.* Поляки и финны в российской науке второй половины XIX века: «другой» сквозь призму идентичности. М., 2010. С. 130–161.
- ¹³ Часть этнографическая (*Надеждин Н.И.*) // Свод инструкций для Камчатской экспедиции, предпринимаемой Императорским Российским географическим обществом. СПб., 1852. С. 23.
- ¹⁴ Подробнее о терминах, применявшихся в характерологических очерках европейских народов в XVI–XVIII вв. для обозначения «нрава» и «нравов», см. в: *Лескинен М.В.* От «натуры» к «гению»... С. 431–448.
- ¹⁵ *Хвостов В.М.* Общая теория права. Элементарный очерк. М., 1905. § 13.
- ¹⁶ «Этос» – стиль жизни какой-нибудь общественной группы, общая ориентация какой-то культуры, принятая в ней иерархия ценностей, которая либо выражена эксплицитно, либо может быть выведена из поведения людей (см.: *Оссов-*

- ская М. Рыцарский этос и его разновидности // *Оссовская М. Рыцарь и буржуа. Исследования по истории морали.* М., 1987. С. 26). К. Гирц подчеркивал, что «этос» – в отличие от «картины мира» – это только аксиологические элементы культуры. «Этос того или иного народа – это тип, характер и стиль его жизни, отличительные особенности его этики и эстетики, это то, что лежит в основе отношения данного народа к самому себе и к своему миру, в котором эта жизнь отражается» (*Гирц К. Интерпретация культур.* М., 2004. С. 148.)
- ¹⁷ Нрав // *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. СПб.–М., 1880–1882. Т. 2. СПб.–М., 1881. С. 558.
- ¹⁸ Там же.
- ¹⁹ Настольный словарь для справок по всем отраслям знания (Справочный энциклопедический лексикон): В 3 т. / Сост. под ред. Ф. Толля. СПб., 1863–1866. Т. 2. СПб., 1864. С. 1034.
- ²⁰ Нрав... С. 558.
- ²¹ Например, в англоязычной научной литературе словосочетание «нравы и обыкновения» принято переводить как «morals and customs», хотя корректнее было бы «tempers and customs». Традиция такого перевода, вероятнее всего, восходит еще к латинскому обозначению описаний народов такого рода – общеупотребительным был термин «mores» (обычай, нравы).
- ²² Часть этнографическая (*Надеждин Н.И.*)... С. 15; Программа для этнографического описания губерний Киевского учебного округа, составленная по поручению Комиссии, высочайше утвержденная при Университете святого Владимира действительными членами Князем В.Д. Дабижею и (по языку) А.А. Метлинским. Киев, 1854. С. 13.
- ²³ Четвертое заседание Комитета от 31.03.1877 (сообщение В.Н. Бензенгра) // Известия ОЛЕАЭ при Императорском Московском университете. Т. XXVII. Антропологическое отделение. Т. I. М., 1877. С. 65.
- ²⁴ Программа для собирания этнографических сведений, составленная при Этнографическом отделении ОЛЕАЭ. М., 1887.
- ²⁵ Там же. С. 10.
- ²⁶ *Булгарин Ф.* Введение // *Иванов Н.А., Булгарин Ф.В.* Россия в историческом, географическом и литературном отношении: Ручная книга для русских всех сословий Ф. Булгарина: В 6 ч. СПб., 1837. Ч. 1: Истории часть первая. С. XI.
- ²⁷ Там же. С. X.
- ²⁸ *Ливенский Н.* Народности в истории // Отечественные записки. 1859. № 9. Отд. 1. С. 177–194. С. 191.
- ²⁹ Нрав // Справочный энциклопедический словарь, издающийся под ред. А. Старчевского: В 12 т. (13 кн.). СПб., 1847–1855. Т. 10. СПб., 1848. С. 205.
- ³⁰ Нрав // Настольный словарь для справок. Т. 3. СПб., 1866. С. 634.
- ³¹ Характер // Карманный словарь иностранных слов / Сост. Н. Гавкин. Киев, Харьков, 1894. С. 507.
- ³² *Ключевский В.О.* Курс русской истории. Часть первая. Лекция I // *Ключевский В.О.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1987–1990. Т. I. М., 1987. С. 39.
- ³³ Там же. С. 40.

- 34 Там же. Лекция XVII. С. 316.
- 35 *Вульф Л.* Изобретая Восточную Европу. С. 423.
- 36 Там же. Гл. VII. Ч. I. Населяя Восточную Европу... С. 440–449.
- 37 *Anton K.G. von.* Erste Linien eines Versuches über der alten Slawen Ursprung, Sitten, Gebräuche, Meinungen und Kenntnisse. Leipzig, 1783–1789. (*Антон К.Г. фон.* Первоначальные изучения происхождения, обычаев, нравов, воззрений и знаний древних славян).
- 38 *Гердер И.Г.* Книга шестнадцатая. Гл. 4. Славянские народы // *Гердер И.Г.* Идеи к философии истории человечества. Ч. 4. М., 1977. С. 470.
- 39 Там же. С. 470, 471.
- 40 Там же. С. 470.
- 41 Там же. Книга шестнадцатая. Гл. 3. Немецкие народы. С. 466.
- 42 Там же. С. 467.
- 43 *Жукова Е.П.* Гердер и философско-культурологическая мысль в России: Дисс. ... канд. филос. наук. М., 2000.
- 44 Несмотря на неполный перевод сочинения Гердера об истории человечества, изданный Н.И. Гречем в 1829 г., оно было хорошо известно в русском обществе в первой трети XIX века (см.: Там же. Гл. 1–2).
- 45 *Софронова Л.А.* Принципы отчуждения романтического героя // Категории и концепты славянской культуры: Труды Отдела истории культуры. М., 2008. С. 53.
- 46 Там же; *Софронова Л.А.* Польская культура первой половины XIX в. // Становление национальной классики. Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы в 20–70-е годы XIX века. М., 1991. С. 5–57; *Она же.* Романтический герой // *Софронова Л.А.* Культура сквозь призму поэтики. М., 2006. С. 471–496.
- 47 *Bartkiewicz K.* Obraz dziejów ojczystych w świadomości historycznej w Polsce doby Oświecenia. Poznań, 1979.
- 48 *Janion M.* Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. Kraków, 2006. S. 26–31, 102–112.
- 49 Философия истории / Под ред. А. Панарина. М., 2001. С. 199.
- 50 *Савельева И.М., Поletaев А.В.* История и время в поисках утраченного. М., 1997. С. 345–346, 371–376.
- 51 *Надеждин Н.И.* Два ответа Чаадаеву // Петр Чаадаев. Pro et contra. СПб., 1998. С. 96.
- 52 *Белинский В.Г.* Россия до Петра Великого // *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953–1959. Т. V. М., 1954. С. 121–122.
- 53 *Карамзин Н.И.* История государства Российского: В 12-ти тт. СПб., 1892. Т. 1. Гл. I. О физическом и нравственном характере славян древних.
- 54 *Šafarik P.* Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten. Ofen, 1826 (цит. по: *Собестианский И.М.* Учения о национальных особенностях характера и юридического быта древних славян. Историко-критическое исследование. Ч. 1. Учения о национальных особенностях характера древних славян. Харьков, 1892. С. 41).
- 55 Цит. по: Там же. Гл. 5.
- 56 Цит. по: Там же. С. 27.
- 57 Цит. по: Там же. Гл. 3.

- 58 *Мацеёвский В.А.* История славянских законодательств (Оригинал в 6 т., на рус. яз. переведены первые два тома): В 2 т. М., 1858–1860. Т. 1. М., 1858. С. 3.
- 59 Там же.
- 60 Там же. С. 80–81.
- 61 Там же. С. 84.
- 62 Там же. С. 88.
- 63 *Бодянский О.М.* О народной поэзии славянских племен. М., 1837. Об особенностях русского характера, выразившейся в поэзии и песнях великорусов. С. 114–122.
- 64 Там же. С. 116.
- 65 Там же. С. 31.
- 66 Там же. С. 34–35.
- 67 Там же. С. 38, 40.
- 68 Там же. С. 35.
- 69 Там же.
- 70 Там же.
- 71 Там же. С. 51–52.
- 72 Там же. С. 51.
- 73 Там же.
- 74 Там же. С. 114.
- 75 Там же. С. 117.
- 76 Там же. С. 119.
- 77 Подробнее об этом курсе см.: *Софронова Л.А.* Автопортрет славянина по Мицкевичу // *Софронова Л.А.* Культура сквозь призму поэтики. М., 2006. С. 495–496; *Ларионова Е.О.* Курс лекций Адама Мицкевича в College de France: «Русская идея» в зеркале польского мессианизма // К истории идей на Западе: «Русская идея». СПб., 2010. С. 184–205; *Мочалова В.В.* Польский вопрос как славянский и европейский: русский взгляд (1863–1916) // Славянский мир в глазах России: динамика восприятия и отражения в художественном творчестве, документальной и научной литературе. М., 2011. С. 68–86.
- 78 Цит. по: *Рудас-Гродзка М.* Порабощенное славянство // Адам Мицкевич и польский романтизм в русской культуре. М., 2007. С. 45–46.
- 79 *Мицкевич А.* Из курса славянских литератур, читанных в «College de France» // *Мицкевич А.* Соч.: В 5 т. / Пер. В. Венедиктова, Н. Семенова; под. ред. Н.А. Полевого. СПб., 1882–1883. Т. 3. СПб., 1883. С. 172–191.
- 80 Цит. по: *Рудас-Гродзка М.* Порабощенное славянство. С. 47.
- 81 *Софронова Л.А.* Автопортрет славянина... С. 512–513.
- 82 Цит. по: *Ларионова Е.О.* Курс лекций Адама Мицкевича... С. 199.
- 83 *Мицкевич А.* Из курса славянских литератур... С. 309.
- 84 *Досталь М.Ю.* Об элементах романтизма в русском славяноведении второй трети XIX века (по материалам периодики) // Славяноведение и балканистика в отечественной и зарубежной историографии. М., 1990. С. 19–51.
- 85 *Собестянский И.М.* Учения...; *Лаптева Л.П.* История славяноведения в России в XIX веке. М., 2006. Гл. 2–3; Славяноведение в дореволюционной России. Изучение южных и западных славян. М., 1988. С. 118–125. Подробнее о харак-

- терологии славянских народов в этногеографических описаниях см.: *Лескинен М.В.* Теории племенной и национальной характерологии в русской славистике XIX в. // *Славистика в центральноевропейском контексте.* М.: Изд-во РГГУ, 2015. С. 404–417.
- ⁸⁶ *Богданов К.* В поисках народности: свое как чужое // *Богданов К.* О крокодилах в России. Очерки из истории заимствований и экзотизмов. М., 2006. С. 134.
- ⁸⁷ Там же; *Верт П.* «От сопротивления» к «подрывной деятельности»: власть империи, противостояние местного населения и их взаимозависимость // *Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология.* М., 2005. С. 48–82.
- ⁸⁸ В том значении, которое было обосновано Э. Саидом (см.: *Саид Э.В.* Ориентализм...).
- ⁸⁹ *Эткинд А.* Русская литература, XIX век: Роман внутренней колонизации // *НЛО.* 2003. № 59 (текст доступен по адресу: <http://magazines.russ.ru/nlo2003/59/etc.html>).
- ⁹⁰ *Сунни Р.* Империя как она есть: имперская Россия, «национальное» самосознание и теории империи // *Ab Imperio.* 2001. № 1–2. С. 49–53. См. также: *Лавренова О.А.* Географическое пространство в русской поэзии XVIII – начала XX в. М., 1998.
- ⁹¹ *Киреевский И.В.* Деятельность XIX в. // *Киреевский И.В.* Полн. собр. соч.: В 2 т. М., 1861. Т. 1. С. 82.
- ⁹² Тот же И.В. Киреевский в философских работах 1850-х гг. развивал типологию славянской и германской племенных стихий и полярных цивилизационных ориентиров в славянофильском ключе, т.е. доказывал, что славяне – такой же в полной мере «исторический народ», как и германцы, но различия их государственности, общественного быта и характера проистекают от различных источников обретения веры, государственности и идеалов (см.: *Киреевский И.В.* О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России. Письмо к Е.Е. Комаровскому. М., 1852; *Он же.* О необходимости и возможности новых начал для философии // *Русская беседа.* 1856. Отд. II. «Науки». С. 1–48).
- ⁹³ Подробнее об этой метафоре: *Богданов К.* В поисках народности: свое как чужое. С. 132–136; *Егоров Б.Ф.* Очерки по истории русской культуры XIX в. // *Из истории русской культуры:* В 5 т. М., 1996. Т. V. XIX век. С. 13–389.
- ⁹⁴ *Вишленкова Е.* Визуальный язык описания «русскости» // *Ab Imperio.* 2005. № 3. С. 97–146.
- ⁹⁵ *Верт П.* «От сопротивления» к «подрывной деятельности»... С. 60. Об этом также см.: *Frierson C.* Peasant Icons. Representation of Rural People in Late XIX-th century Russia. NY–Oxford, 1993. P. 33–42. А. Эткинд считает, что в Российской империи, с одной стороны, сословные различия конституировались как расовые, а с другой – власть предпринимала попытки «превратить этнические отношения в сословные» (*Эткинд А.* Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. М., 2013. Гл. 6). Экзотизация русского крестьянства в первой трети XIX в. он понимает и как ориентализацию со всеми присущими ей признаками (см.: Там же. С. 162–163).
- ⁹⁶ *Богданов К.* В поисках народности: свое как чужое... С. 137.

- 97 *Riasanovsky N. Nicholas I and Official Nationality in Russia. 1825–1855. Berkeley–Los Angeles–London, 1959. P. 118–122.*
- 98 *Пытин А.Н. История русской этнографии: В 4 т. СПб., 1890–1892. Т. 1. СПб., 1890. С. 30–32.*
- 99 *Шатило А.Л. Историография с древнейших времен до 1917 года. М., 1993. С. 481–501.*
- 100 *Философия истории. С. 218–221.*
- 101 *Бокль Г.Т. История цивилизации в Англии. СПб., 1895. С. 17.*
- 102 *Цит. по: Чернобаев А.А. Соловьев Сергей Михайлович // Историки России. Биографии. М., 2001. С. 211.*
- 103 *Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом // Соловьев С.М. Соч.: В 18 кн. М., 1988–1995. Кн. XVIII. М., 1995. С. 10.*
- 104 *Соловьев С.М. Наблюдения над исторической жизнью народов // Соловьев С.М. Наблюдения над исторической жизнью народов. М., 2004. С. 169.*
- 105 *Там же. С. 3.*
- 106 *Воспоминания и размышления о русской старине // (Пассек В). Путевые записки Вадима. М., 1834. С. 43.*
- 107 *Там же. С. 45–49.*
- 108 *Путешествие по русским проселочным дорогам: Сочинение Д.П. Шелехова, помещика Тверской губернии. СПб., 1842.*
- 109 *Там же. С. 14–15.*
- 110 *Там же. С. 51.*
- 111 *Там же. С. 63.*
- 112 *См., например: Богданов К. В поисках народности: свое как чужое...*
- 113 *Путешествие по русским проселочным дорогам. С. 63.*
- 114 *Пушкин А.С. Путешествие из Москвы в Петербург // Пушкин А.С. Избранное. М., 1980. С. 89.*
- 115 *Там же.*
- 116 *Введение // Иванов Н.А., Булгарин Ф.В. Россия в историческом, географическом и литературном отношении: Ручная книга для русских всех сословий Ф. Булгарина: В 6 ч. СПб., 1837. Ч. 2. Истории часть первая. С. XXII.*
- 117 *Там же. С. 88.*
- 118 *Иванов Н.А., Булгарин Ф.В. Россия в историческом, географическом и литературном отношении. Ч. 1. Статистики часть первая, содержащая в себе введение, I. Основные силы государства. СПб., 1837. С. 298.*
- 119 *Разин А.Е. Мир Божий: Руководство по русскому языку для приготовительного класса. 2-е изд. СПб., 1860. С. 311.*
- 120 *Там же.*
- 121 *Терещенко А. Быт русского народа: В 7 ч. СПб., 1848. Ч. 1. С. 4–5.*
- 122 *Там же. С. 389, 390.*
- 123 *Там же. С. 7.*
- 124 *Там же. С. 9.*
- 125 *Там же. С. 28.*
- 126 *Там же. С. 390.*
- 127 *Там же. С. 85, 137.*

- ¹²⁸ Там же. С. 138.
- ¹²⁹ Там же. С. 139.
- ¹³⁰ *Арсеньев К.* Статистические очерки России. СПб., 1848. С. 26.
- ¹³¹ *Павловский И.* География Российской империи: В 2 ч. Дерпт, 1843. Ч. 1. С. 192.
- ¹³² Там же. С. 192–193.
- ¹³³ *Кавелин К.Д.* Быт русского народа: Соч. А. Терещенко. СПб., 1848 // *Кавелин К.Д.* Собр. соч.: В 4 т. СПб., 1897–1900. Т. 4. СПб., 1900. Стлб. 11–12.
- ¹³⁴ Там же. Стлб. 17.
- ¹³⁵ *Устрялов Н.* Русская история. СПб., 1849. С. 21–23; *Погодин М.П.* Древняя русская история. М., 1871. С. 93.
- ¹³⁶ *Кавелин К.Д.* Взгляд на юридический быт древней России (1846) // *Кавелин К.Д.* Наш умственный строй: Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989. С. 22.
- ¹³⁷ Там же. С. 23.
- ¹³⁸ Подробнее об этом см.: *Лескинен М.В.* «Финская честность» в российской научно-популярной литературе XIX в. К вопросу о формировании этнокультурного стереотипа // *Этнографическое обозрение.* 2009. № 4. С. 27–41.
- ¹³⁹ *Riasanovsky N.* Nicholas I and Official Nationality in Russia. 1825–1855. Berkeley– Los Angeles–London, 1959. Ch. 2–3; *Вортман Р.* «Официальная народность» и национальный миф российской монархии XIX в. // Россия. Russia. Москва–Венеция, 1999. № 3 (11). Культурные практики в идеологической перспективе. С. 233–244; *он же.* Национализм, народность и российское государство // *Неприкосновенный запас.* 2001. № 3 (текст доступен на сайте по адресу: <http://magazines.russ.ru/nz/2001/3/vort-pr.html>); *Perrie M.* *Narodnost':* Notions of National Identity // *Constructing Russian Culture in the Age of Revolution. 1881–1940.* Oxford–NY, 1998. P. 28–37; *Knight N.* *Constructing the Science of Nationality: Ethnography in Mid-Nineteen Century Russia.* Ph. D. Dissertation. Columbia University, 1995; *Knight N.* *Ethnicity, Nationalism and the Masses: Narodnost' and Modernity in Imperial Russia* // *Russian Modernity: Politics, Knowledge, Practices.* NY, 2000; *Шевченко М.М.* Конец одного величия. М., 2003; *Зорин А.* Заветная триада // *Зорин А.* Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М., 2004. С. 337–374; *Лескинен М.В.* Поляки и финны... С. 50–81; *Миллер А.И.* Приобретая необходимое, но не вполне удобное: трансфер понятия «нация» в Россию (начало XVIII – середина XIX в.) // *Imperium inter pages.* Роль трансферов в истории Российской империи (1700–1917). М., 2010. С. 42–66.
- ¹⁴⁰ Розпорядження міністра народної освіти С.С. Уварова попечителєві Київського навчального округу О. С. Траскіну... 29 мая 1847 г. Санкт-Петербург // *Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847–1914).* Збірник документів і матеріалів / Відп. ред. Г. Боряк. Київ, 2013. С. 3, 4.
- ¹⁴¹ *Бестужев-Рюмин К.* Русская история: В 2 т. СПб., 1872–1885. Т. 1. СПб., 1872. С. 60, 63. Наиболее полная и подробная эволюция представлений и тенденции трактовки славянских качеств в историографии XVIII–XIX вв. представлены в труде И.М. Собестианского (см.: *Собестианский И.М.* Учения...).
- ¹⁴² *Погодин М.Н.* Древняя русская история: В 3 т. М., 1871. Т. 1. С. 93.

- ¹⁴³ *Иловайский Д.* История России: В 2 ч. М., 1906–1907. Ч. 1. Киевский период. М., 1906. С. 17.
- ¹⁴⁴ Там же. С. 18.
- ¹⁴⁵ *Костомаров Н.И.* Последние годы Речи Посполитой. Т. I // Исторические монографии и исследования Н. Костомарова: В 20 т. СПб., 1863–1889. Т. 17. СПб., 1886. О национальном характере поляков – с. 20–27.
- ¹⁴⁶ Подробнее об этом: *Лескинен М.В.* Поляки и финны... С. 238–241.
- ¹⁴⁷ *Костомаров Н.И.* Последние годы Речи Посполитой. Т. I. С. 22.
- ¹⁴⁸ Там же. Многостраничная характеристика поляков из книги Н.И. Костомарова почти полностью приведена в очерке о Польше до разделов в соответствующем томе «Живописной России».
- ¹⁴⁹ *Риттих А.Ф.* Славянский мир: Историко-этнографическое исследование. Варшава, 1885. С. 143–145.
- ¹⁵⁰ *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен // *Соловьев С.М.* Соч.: В 18 кн. М., 1988–1995. Кн. I. Т. 1. М., 1988. С. 102.
- ¹⁵¹ *Собестянский И.М.* Учения... Ч. 1. С. 205–206.
- ¹⁵² *Иловайский Д.* Историко-критические заметки // *Русский вестник*. 1888. Т. 199. Декабрь. С. 15–16; о том же см.: *он же.* Разыскания о начале Руси. Вместо введения в русскую историю. М., 1876. С. 367–368.
- ¹⁵³ *Собестянский И.М.* Учения... Ч. 1.
- ¹⁵⁴ Там же.
- ¹⁵⁵ Там же. С. 98–99.
- ¹⁵⁶ *Пытин А.Н., Спасович В.Д.* История славянских литератур: В 2 т. СПб., 1879–1881. Т. 2. СПб., 1881. С. 786.
- ¹⁵⁷ *Лескинен М.В.* Поляки и финны... С. 132–137.
- ¹⁵⁸ *Шатино А.Л.* Историография... С. 497–498.
- ¹⁵⁹ *Реклю Э.* Земля и люди. Всеобщая география: В 19 т. СПб., 1877–1896. Т. V. Вып. II. Европейская Россия. СПб., 1883. С. 28–29.
- ¹⁶⁰ Там же. С. 333–334.
- ¹⁶¹ Там же. С. 341.
- ¹⁶² *Щапов А.П.* Естественнно-психологические условия умственного и социального развития русского народа. Ч. 1 // *Отечественные записки*. 1870. Т. CLXXXIX. № 3. Отд. I. С. 155.
- ¹⁶³ Там же. С. 154. Кроме того, Щапов не опровергает и противопоставления германских и славянских племен как различных в том числе и по психотипу, ссылаясь на сочинение чешского ученого И.Я. Гануша (Hanusch) о славянской мифологии на немецком языке (см. там же. С. 166).
- ¹⁶⁴ *Урсин М. (Здзеховский М.Э.)* Очерки из психологии славянского племени. Славянофилы. СПб., 1887. С. 219–220.
- ¹⁶⁵ Там же. С. 3.
- ¹⁶⁶ Там же.
- ¹⁶⁷ *Сикорский И.А.* Черты из психологии славян: Речь, произнесенная проф. И.А. Сикорским в торжественном заседании славянского благотворительного общества 14 мая 1895 года. Киев, 1895. С. 3.

- 168 Там же.
- 169 Там же. С. 12.
- 170 Там же. С.5.
- 171 Там же. С. 5–6.
- 172 *Сикорский И.А.* Данные из антропологии // Русская расовая теория до 1917 года: Сборник оригинальных работ русских классиков / Под ред. В.Б. Авдеева: В 2 вып. М., 2004. Вып. 1. С. 252.
- 173 *Сикорский И.А.* Черты из психологии славян. С. 11.
- 174 Там же. С. 10.
- 175 Там же. С. 11.
- 176 *Сикорский И.А.* Данные из антропологии. С. 252–253.
- 177 *Сикорский И.А.* Черты из психологии славян. С. 13.
- 178 Там же. С. 14.
- 179 *Талько-Грынцевич Ю.* Поляки. Антропологический очерк // Русский антропологический журнал. 1901. № 1. С. 9.
- 180 Там же.
- 181 Там же. С. 9–10.
- 182 Там же. С. 9.
- 183 *Робинсон М.А.* Основные идейно-научные направления в отечественном славяноведении конца XIX – начала XX в. // Славяноведение и балканистика в отечественной и зарубежной историографии. М., 1990. С. 151–246.
- 184 *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен // *Соловьев С.М.* Соч. Кн. II. Т. 3. М., 1988. С. 631.
- 185 *Stegan N.L.* Race and Gender. The Role of Analogy in Science // *Anatomy of Racism / Ed. D.Yh. Goldberg.* Minneapolis, 1990; *Шопе Э.* Введение в тему: гендер и национальная идентичность // Конструкты национальной идентичности в русской культуре XIX–XX вв.: Материалы конференции. М., 2010. С. 12–22; *Fülemile Á.* Dress and Image: Visualizing Ethnicity in European Popular Graphics – Some Remarks on the Antecedents of Ethnic Caricature // *Images of the Other in Ethnic Caricatures of Central and Eastern Europe/ Ed. by D. Demski and K. Baraniecka-Olszewska.* Warsaw, 2010. P. 30–41. Женские качества: слабость, эмоциональность, беззащитность, неорганизованность, пассивность, зависимость, неразвитый интеллект и т.п. – приписывались славянам, в то время как представители германского племени выступали как обладатели мужских позитивных качеств силы, рациональности, дисциплины, жесткости, организации, ума и т.п. В том же столетии носителями женского начала в противопоставлении германским объявлялись и романские народы (см.: *Швейгер-Лерхенфельд А. фон.* Женщина. Ее жизнь, нравы и общественное положение у всех народов земного шара / Пер. с нем. М.И. Мерцаловой. СПб., 1889. С. 561–563) или еврей (*Вайнингер О.* Пол и характер / Пер. с нем. СПб., 1902). По Ф. Ницше, греки и французы воплощали женский тип, немцы, римляне и еврей – мужской (см.: *Ницше Ф.* По ту сторону добра и зла / Пер. с нем. СПб., 1886. Отдел 8. Народы и отечества).
- 186 *Медяков А.* «Наш Бисмарк?». Россия в политике и взглядах «железного канцлера» Германии // Отечественная история. 2015. № 6. С. 77.

- ¹⁸⁷ Швейгер-Лерхенфельд А. фон. Женщина. С. 561–563.
- ¹⁸⁸ Вайнингер О. Пол и характер.
- ¹⁸⁹ Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Отдел 8.
- ¹⁹⁰ Анучин Д.Н. О задачах русской этнографии. Несколько справок и общих замечаний. М., 1889. С. 10.
- ¹⁹¹ Ламанский В.И. Об историческом изучении Греко-славянского мира в Европе. СПб., 1871. С. 69–74.
- ¹⁹² Долгов В.В. Проблема национального характера славян и великороссов в отечественной историографии: социальная психология и историософия // Историки в поисках новых смыслов. Казань, 2003. С. 190–191.
- ¹⁹³ Голубинский Е. История русской церкви: В 2 т. М., 1880. Т. 1. Первая половина тома. С. 126.
- ¹⁹⁴ Погодин М. Древняя русская история. М., 1871. С. 84. Подробную характеристику нравов древних славян см. в: Погодин М.П. Гл. VI. Лекции по Шафарыку о славянах вообще, об отношении, какое имеют Славянские Древности к русской истории, о племенах славянских в эпоху прибытия норманнов // Исследования, замечания и лекции М.П. Погодина о русской истории: В 7 т. СПб., 1846. Т. 2. С. 365–372.
- ¹⁹⁵ Там же. С. 382.
- ¹⁹⁶ Кавелин К.Д. Мысли и заметки о русской истории // Кавелин К.Д. Наш умственный строй. С. 187–188.
- ¹⁹⁷ Великоруссы // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона: В ХLI т. (82 п/т) / Под ред. Е.И. Андреевского. СПб., 1890–1907. Т. Va (п/т. 10). СПб., 1892. С. 828–843, 838. (Автор – Д. Анучин.)
- ¹⁹⁸ Киселев В., Васильева Т. «Странное политическое сонмище», или «Народ поющих и пляшущий»: конструирование образа Украины в русской словесности конца XVIII – начала XX века // Там, внутри. Практики внутренней колонизации и культурной истории России / Под ред. А. Эткинды, Д. Уффельманна, И. Кукулина. М., 2012. С. 478–517.
- ¹⁹⁹ Н.Н. (Надеждин Н.А.) Великая Россия // Энциклопедический лексикон / Под ред. Н.И. Греча и О.И. Сенковского; Изд. А.А. Плюшара: В 17 т. (не окончено). СПб., 1834–1841. Т. IX. СПб., 1837. С. 261–276.
- ²⁰⁰ Там же. С. 267–268.
- ²⁰¹ Там же. С. 268.
- ²⁰² Там же.
- ²⁰³ Там же.
- ²⁰⁴ Там же.
- ²⁰⁵ Терещенко А. Быт русского народа... Ч. 1. С. 7.
- ²⁰⁶ Там же. С. 136.
- ²⁰⁷ Там же. С. 137–138.
- ²⁰⁸ Там же. С. 139.
- ²⁰⁹ Там же.
- ²¹⁰ Там же.
- ²¹¹ Там же.

- 212 Там же. С. 139–140.
- 213 Там же. С. 140.
- 214 *Надеждин Н.А.* Европеизм и народность // *Надеждин Н.А.* Литературная критика. Эстетика. М., 1972. С. 394–444; *он же.* Великая Россия.
- 215 Украина // (*Пассек В.В.*) Путевые записки Вадима. М., 1834. С. 118–122, 134–141, 170 и др. Малороссийские сюжеты в его очерках: *Пассек В.В.* Очерки России: В 5 кн. М., 1838–1842; Малороссияне // Картины России и быт разноплеменных ее народов из путешествий П.П. Свинына. Ч. 1. СПб., 1839.
- 216 *Погодин М.П.* Древняя русская история. М., 1871. С. 93.
- 217 Подробнее о характеристиках нрава малорусов см.: *Лескинен М.В.* Понятие «нрав народа» в российской этнографии второй половины XIX в. Описание малоросса в научно-популярной литературе и проблема стереотипа // Украина и украинцы: образы, представления, стереотипы. Русские и украинцы во взаимном общении и восприятии. М., 2008. С. 67–94; *Она же.* Малороссийская народность в российской науке второй половины XIX в. Проблемы этнографического описания // Русские об Украине и украинцах. СПб., 2012. С. 244–283.
- 218 Подробнее об этом см.: *Александровский И.С., Лескинен М.В.* Некоторые вопросы этнографического изучения и полемики о статусе малороссийского языка в российской литературной и научной публицистике XIX в. // Русские об Украине и украинцах. С. 174–212.
- 219 *Афанасьев-Чужбинский А.* Поездка в Южную Россию. Ч. 1–2. СПб., 1861–1863. Ч. 1. Очерки Днепра. СПб., 1861. С. 7.
- 220 Там же. С. 23.
- 221 Там же. С. 50.
- 222 *Бабст И.К.* Значение племенного характера в народном хозяйстве // Сборник антропологических и этнографических статей о России и странах, ей прилежащих, издаваемый В.А. Дашковым: В 2 кн. М., 1868–1873. Кн. I. М., 1868. С. 102–110.
- 223 Там же. С. 104.
- 224 Там же. С. 107–108.
- 225 *Левкиевская Е.* Стереотип украинца в русском сознании // Украина и украинцы: образы, представления, стереотипы. С. 157–164.
- 226 Там же. С. 158.
- 227 *Безгин В.* Крестьянская повседневность (традиции конца XIX – начала XX в.). Тамбов, 2004. Гл. 3–4; *Левин М.* Деревенское бытие: нравы, верования, обычаи // Крестьяноведение. Теория. История. Современность. Вып. 2. М., 1997. С. 84–127.
- 228 См., например: *Рябчук М.* Русский Робинзон и украинский Пятница: особенности «асимметричных» отношений // Там, внутри. С. 447–477; *Киселев В., Васильева Т.* «Странное политическое сонмище»...
- 229 *Костомаров Н.И.* Две русские народности // Исторические монографии и исследования Н. Костомарова: В 16 т. СПб., 1872–1885. Т. 1. СПб., 1872. С. 54.
- 230 *Катков М.Н.* Всероссийское значение слияния Малой Руси с Великою // Московские ведомости. 1870. 8 мая. № 99 (*Катков М.Н.* Империя и крамола. М., 2007. С. 140–142).

- ²³¹ Подробнее об этом см.: *Лескинен М.В.* Понятие «нрав народа» в российской этнографии второй половины XIX в. Описание малоросса...
- ²³² *Костомаров Н.И.* Две русские народности... С. 65.
- ²³³ Там же. С. 87.
- ²³⁴ Там же. С. 88.
- ²³⁵ Там же. С. 91–92.
- ²³⁶ Там же. С. 70.
- ²³⁷ Там же.
- ²³⁸ Там же. С. 92.
- ²³⁹ *Катков М.Н.* Всероссийское значение слияния... С. 141.
- ²⁴⁰ *Кавелин К.Д.* Мысли и заметки о русской истории... С. 196–197, 199–201.
- ²⁴¹ *Максимов С.* О русских людях. Рассказ второй. СПб., 1865. С. 37–38.
- ²⁴² Там же. С. 39.
- ²⁴³ Руководство к изучению Русской земли и ее народонаселения / По лекциям М. Владимирского-Буданова сост. и издал преподаватель гимназии во Владимирской киевской военной гимназии А. Редров. Киев, 1867. С. 78.
- ²⁴⁴ Там же. С. 195.
- ²⁴⁵ Там же. С. 277.
- ²⁴⁶ Великое княжество Финляндское. СПб., 1872. С. 10.
- ²⁴⁷ Малороссия, Новороссия, Крым и область Донского и Кубанского войска // Отечественноеведение. Россия по рассказам путешественников и ученым исследованиям: Учеб. пособие для учащихся: В 6 т. / Сост. Д.Д. Семенов. СПб., 1866–1870. Т. II. Южный край. СПб., 1871. С. 105.
- ²⁴⁸ Там же. С. 105–106.
- ²⁴⁹ Там же. С. 107.
- ²⁵⁰ Там же. С. 107–108.
- ²⁵¹ *Сикорский И.А.* Данные из антропологии... С. 253.
- ²⁵² Там же.
- ²⁵³ *Чубинский П.П.* Малоруссы (статистика, сельский быт, язык) // *Чубинский П.П.* Труды этнографо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским географическим обществом: В 7 т. СПб., 1877–1878. Т. 7. СПб., 1877. С. 342–360.
- ²⁵⁴ Очерк I. Малороссийское племя // Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении. Под общ. ред. П.П. Семенова, вице-председателя Императорского Русского географического общества: В 12 т. (19 кн.). СПб.–М., 1881–1901. Т. V. Ч. 1. Малороссия, Подолия и Волянь (Полтавская, Черниговская, Волинская, Херсонская и Киевская губернии). СПб.–М., 1897. (Автор – Д. Мордовцев.) С. 19.
- ²⁵⁵ Там же.
- ²⁵⁶ См., например: *Риттих А.Ф.* Этнографические очерки Харьковской губернии. Харьков, 1892.
- ²⁵⁷ *Ефименко А.Я.* Малорусский язык в народной школе // *Ефименко А.Я.* Южная Русь: Очерки, исследования, заметки: В 2 т. СПб., 1905. Т. 2. С. 228.
- ²⁵⁸ *Максимов С.* О русских людях. Рассказ второй. С. 36.

- 259 *Ратцель Ф.* Земля: 24 общедоступных беседы по общему землеведению. Географическая книга для чтения. М., 1882. Гл. 24. С. 507.
- 260 Там же.
- 261 *Милуков П.Н.* Очерки истории русской культуры: В 4 ч. СПб., 1896–1903. Ч. 3. Вып. 1. Национализм и общественное мнение. СПб., 1901. С. 4.
- 262 *Полевой Н.И.* История русского народа: В 6 т. М., 1830. Т. 2. С. 149.
- 263 *Щапов А.П.* Естественно-психологические условия умственного и социального развития русского народа. Ч. 1 // Отечественные записки. 1870. Т. CLXXXIX. № 3. Отд. I. Ч. 1. С. 156.
- 264 *Щапов А.П.* Естественно-психологические условия умственного и социального развития русского народа. Ч. 2 // Отечественные записки. 1870. Т. CLXXXIX. № 4. Отд. I. С. 114.
- 265 Там же. С. 161–162.
- 266 *Мостовский М.* Этнографические очерки России. М., 1874. С. 3.
- 267 Откуда началась Святая Русь. Всенародная история Российского государства / Под ред. К. Соловьева. 1882. С. 39–42.
- 268 *Бабст И.К.* Значение племенного характера... С. 103, 106.
- 269 *Талько-Грынцевич Ю.* Поляки... С. 9.
- 270 *Сикорский И.А.* Данные из антропологии... С. 252.
- 271 Там же.
- 272 *Кюн К.* Народы России. СПб., 1888. С. 57.
- 273 Россия. Народы России // Народы Земли: Географические очерки жизни человека на Земле / Под ред. А. Острогорского: В 3 кн., 4 т. Кн. 3. Т. 4. СПб., 1903. С. 100.
- 274 Народы России: Живописный альбом: В 2 вып. СПб., 1877–1878. Вып. II. СПб., 1878. С. 108.
- 275 *Кавелин К.Д.* Мысли и заметки о русской истории... С. 201.
- 276 Там же. С. 184–185.
- 277 Там же. С. 197–198.
- 278 Там же. С. 198.
- 279 Там же.
- 280 Там же.
- 281 Там же. С. 226.
- 282 Там же. С. 199.
- 283 Там же. С. 226.
- 284 *Кавелин К.Д.* Письмо Ф.М. Достоевскому // *Кавелин К.Д.* Наш умственный строй. С. 461.
- 285 Там же. С. 462.
- 286 *Кавелин К.Д.* Быт русского народа: Соч. А. Терещенко. С. 17.
- 287 *Ключевский В.О.* Курс русской истории. Часть первая. Лекция XVII. // С. 310.
- 288 Там же. С. 312.
- 289 *Бодянский О.М.* О народной поэзии славянских племен. М., 1837. С. 114–118.
- 290 *Ключевский В.О.* Грусть (Памяти М.Ю. Лермонтова, умер 15 июля 1841 года) // *Ключевский В.О.* Исторические портреты. М., 1990. С. 427–446.
- 291 Там же. С. 315.

- ²⁹² Там же. С. 316.
- ²⁹³ Там же.
- ²⁹⁴ *Ключевский В.О.* Курс русской истории. Часть первая. Лекция I. С. 42.
- ²⁹⁵ *Щапов А.П.* Естественно-психологические условия умственного и социального развития русского народа. Ч. 1. С. 149.
- ²⁹⁶ *Щапов А.П.* Естественно-психологические условия. Ч. 1. С. 149–151.
- ²⁹⁷ *Щапов А.П.* Естественно-психологические условия. Ч. 2. С. 361–406.
- ²⁹⁸ Там же. Ч. 1. С. 174.
- ²⁹⁹ Там же. С. 182.
- ³⁰⁰ Там же. С. 188.
- ³⁰¹ Важно отметить, что коллеги-историки не приняли перехода Щапова на позиции естественно-научного материализма и более чем скептически отзывались об этих и других его гипотезах (см., например: *Цамутали А.Н.* Очерки демократического направления в историографии 60–70-х гг. XIX в. Л., 1971. С. 103–104).
- ³⁰² *Корсаков Д.А.* Погодин М.П. Биографический очерк. СПб., 1902. С. 5–6.
- ³⁰³ Подробнее см.: *Лескинен М.В.* Поляки и финны... С. 148–161.
- ³⁰⁴ *Мостовский М.* Этнографические очерки России... С. 5.
- ³⁰⁵ Там же.
- ³⁰⁶ Там же. С. 6.
- ³⁰⁷ *Зуев Н.* География Российской империи: Курс средних учеб. заведений. СПб., 1887. С. 84.
- ³⁰⁸ *Мостовский М.* Этнографические очерки России... С. 51.
- ³⁰⁹ *Кюн К.* Народы России... С. 4–5.
- ³¹⁰ Славянское племя. Великооруссы (очерк из цикла «Народы России. Этнографические очерки») // *Природа и люди: Иллюстрированный журнал для семейного чтения.* 1878. № 1. С. 4.
- ³¹¹ Там же. (Позже вышло в двух частях отдельным, богато иллюстрированным изданием: *Народы России. Этнографические очерки: Живописный альбом: В 7 вып.* СПб., 1878–1880. Очерки славянских народов помещены в вып. 1.)
- ³¹² *Бабст И.К.* Значение племенного характера... С. 105.
- ³¹³ Славянское племя. Великооруссы... С. 4–5.
- ³¹⁴ Картины России и быт разноплеменных ее народов из путешествий П.П. Свинына. Ч. 1. СПб., 1839. С. 165.
- ³¹⁵ Учебная книга географии. Российская империя: Курс гимназический/Сост. е.А. Лебедев. СПб., 1873. С. 64–65. Множество подобных примеров содержится в очерках о великорусах, вошедших в учебники и хрестоматии по отечественной географии. Наиболее полная характеристика региональных и профессиональных групп – в хрестоматии Д. Семенова: *Великорусский край // Отечественноеведение. Россия по рассказам путешественников и ученым исследованиям: Учеб. пособие для учащихся: В 6 т. / Сост. Д.Д. Семенов.* СПб., 1866–1870. Т. V. СПб., М., 1869.
- ³¹⁶ *Жители // Военно-статистическое обозрение Российской Империи, издаваемое по Высочайшему повелению при Первом отделении Департамента Гене-*

- рального штаба: В 18 т. СПб., 1837–1854. Т. IV. Верховные приволжские губернии: В 4 ч. СПб., 1851. Ч. 2. Ярославская губерния. С. 42–45. С. 42.
- 317 *Субботин А.В.* Волга и волгари: Путевые очерки: В 3 т. СПб., 1894. Т. 1. Верхняя Волга. С. 65.
- 318 *Воронецкий А.* Великоруссы // По русской земле: Географические очерки и картины для чтения в семье и школе / Сост. А. Сахаров. М., 1890. С. 176–177.
- 319 *Субботин А.В.* Волга и волгари. Т. 1. С. 65.
- 320 *Жители* // Военно-статистическое обозрение... Т. IV. Ч. 1. Тверская губерния. СПб., 1848. С. 158.
- 321 Учебная книга географии. С. 77.
- 322 *Лаврентьев К.В.* География Вятской губернии: Курс родиноведения. Вятка, 1890. С. 184.
- 323 *Мартынов С.В.* Быт населения и его культурный уровень // *Мартынов С.В.* Печорский край: Очерки природы и быта, население, культура, промышленность. СПб., 1905. С. 63.
- 324 Там же. С. 236–237.
- 325 *Пушкарев И.И.* Описание Российской империи в историческом, географическом и статистическом отношениях: В 18 т. (вышло 4 тетради первого тома). Т. 1. СПб., 1843–1846. Т. 1. Тетр. III. Олонецкая губерния. СПб., 1843. С. 42.
- 326 *Воронецкий А.* Великоруссы. С. 177.
- 327 Там же. С. 4.
- 328 Славянское племя. Великоруссы. С. 5.
- 329 Там же.
- 330 Гл. V. Распределение Московской промышленной области и Верхнего Поволжья по территории, его этнический состав, быт и культура // Россия. Полное географическое описание нашего отечества: Настольная и дорожная книга для русских людей: В 22 т. (вышло 19) / Под ред. В.П. Семенова; Под рук. П.П. Семенова и В.И. Ламанского. СПб., 1899–1913. Т. 1. Московская промышленная область. С. 99.
- 331 Очерк IV. Финское племя // Живописная Россия. Т. II. Ч. 1. Северо-Западные окраины России. Великое Княжество Финляндское. СПб.–М., 1882. С. 75.
- 332 Там же. С. 5.
- 333 Там же.
- 334 Великоруссы // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Эфрона. С. 840.
- 335 *Березин Н.* Общий очерк // Народы Земли: Географические очерки жизни человека на Земле / Под ред. А. Острогорского: В 3 кн., 4 т. СПб., 1901–1903. Кн. 3. Т. 4. Россия. СПб., 1903. С. 4.
- 336 *Кавелин К.Д.* Письмо Ф.М. Достоевскому.
- 337 Там же. С. 460.
- 338 Там же. С. 461.
- 339 *Кавелин К.Д.* Мысли и заметки о русской истории.
- 340 Там же. С. 611.
- 341 Там же.
- 342 *Кавелин К.Д.* Письмо Ф.М. Достоевскому. С. 459.

- 343 Там же. С. 460.
- 344 *Кулишер М.И.* Очерки сравнительной этнографии и культуры. СПб., 1887. С. 1.
- 345 *Овсянко-Куликовский Д.Н.* История русской интеллигенции. Ч. 1–3 // *Овсянко-Куликовский Д.Н.* Собр. соч.: В 9 т. СПб., 1909–1911. Т. 7–9. СПб., 1909–1911. Ч. 3. С. 181–182.
- 346 Там же. С. 198.
- 347 Там же.
- 348 *Белов М.В.* Как создавался национальный характер: русские путешественники, публицисты и критики первой половины XIX века в поисках «народности» // Национальный/социальный характер: археология идей и современное наследство: Материалы Всероссийской научной конференции. М., 2010. С. 8–10.
- 349 *Лескинен М.В.* Поляки и финны... С. 65–81.
- 350 *Шемякин А.Л.* Традиционное общество и вызовы модернизации. Сербия последней трети XIX – начала XX в. глазами русских // Русские о Сербии и сербах / Сост., подг. к изд., введение и заключительная статья А.Л. Шемякина, комм. А.А. Силкина, А.Л. Шемякина: В 2 т. СПб.–М., 2006–2014. Т. 1. СПб., 2006. С. 636–644.
- 351 Подробнее см. об этом: *Лескинен М.В.* Поляки и финны... Гл. 8.
- 352 *Блудова А.Д.* 13 августа 1867 г. // *Блудова А.Д.* Пять месяцев на Волыни. Острожская летопись 1867 г. СПб., 1868. С. 1–3 (пагинация отдельная в каждой дневниковой записи).
- 353 Там же. С. 3.
- 354 Там же.
- 355 *Лескинен М.В.* «Финская честность»...
- 356 Цит. по: *Григорьева Н.В.* Путешествие в русскую Финляндию: Очерк истории и культуры. СПб., 2002. С. 125.
- 357 Там же. С. 127.
- 358 *Водовозова Е.Н.* Финляндия. Страна и народ // *Мир Божий.* 1892. № 10. С. 17.
- 359 Россия. Народы России... С. 102.
- 360 Финляндия // *Отечественноеведение.* Россия по рассказам путешественников и ученым исследованиям: Учеб. пособие для учащихся: В 6 т. / Сост. Д.Д. Семенов. СПб., 1866–1870. Т. I. Северный край и Финляндия. Ч. II. СПб., 1866. С. 218, 219.
- 361 Очерк IV. Финское племя // *Живописная Россия.* Т. II. Ч. 1. С. 72–73.
- 362 *Протасов (М.)* Народные чтения. Финляндия. СПб., 1899. С. 17–18. Аналогичные характеристики см. в: *Народы России. Живописный альбом.* Вып. II. С. 103, 108; *Россия. Народы России...* С. 100.
- 363 Великое княжество Финляндское. СПб., 1872. С. 14.
- 364 Финляндия / Под ред. Д. Протопопова. Гельсингфорс, 1898. С. 213.
- 365 *Кузнецов С.В.* Культура русской деревни // *Очерки русской культуры XIX в.:* В 6 т. М., 1998–2005. Т. 1. М., 1998. С. 241–242; *Коваль Т.* Трудовая этика в православии и протестантизме. М., 1997; *Касьянова К.* О русском национальном характере. М., 1994. См. также: *Милов В.* Великорусский пахарь. М., 1999. С. 190–213, 418–434.

- 366 *Златовратский Н.Н.* Деревенские будни. (Очерки крестьянской общины) // Письма из деревни: Очерки о крестьянстве России второй половины XIX века. М., 1987. С. 282.
- 367 *Богданов В.В.* Этнография в истории моей жизни. М., 1989. С. 34–35. Высказывания помещиков о «мужицкой» лени приводятся и Энгельгардтом: *Энгельгардт А.Н.* Письмо третье // *Энгельгардт А.Н.* Из деревни: 12 писем. 1872–1887. М., 1987.
- 368 *Скалдин (Еленев Ф.П.)* В захолустье и в столице. СПб., 1870. С. 223.
- 369 См., например: *Природа и люди: Курс географии, содержащий описание частей света в физическом, этнографическом и политическом отношениях.* Вып. 1 / Сост. и изд. А. Павловский. СПб., 1868; *Реклю Э.* Земля и люди. Всеобщая география. Т. 5. Вып. 2. Европейская Россия. СПб., 1883; *Ратцель Ф.* Народоведение / Пер. с нем. Т. 1–2. СПб., 1896.
- 370 *Природа и люди: Курс географии...* С. 130, 194; *Григорович Д.В.* Нравы и обычаи разных народов. СПб., 1860. С. 110, 120.
- 371 *Кастрен М.А.* Путешествие в Лапландию, Россию и Сибирь // *Кастрен М.А.* Соч.: В 2 т. / Пер. А. Шифнера. Тюмень, 1999. Т. 1. Лапландия, Карелия, Россия. С. 190; Очерк IV. Финское племя...; *Ратцель Ф.* Народоведение. С. 804–805; *Кюн К.* Финны // *Кюн К.* Народы России. С. 57–71; *Жаков К.Ф.* Некоторые черты из исторической и психологической жизни вотяков (историко-этнографический очерк) // Живая старина. Год XIII. Вып. I. СПб., 1903. С. 172–187.
- 372 *Полонский Л.* Несколько дней в Финляндии: из поездки в Гельсингфорс // Вестник Европы. 1872. № 4. С. 769, 798.
- 373 *Четье* // *Даль В.И.* Толковый словарь. Т. 4. СПб.–М., 1882. С. 600.
- 374 *Вендина Т.И.* Жизнь и смерть // *Вендина Т.И.* Из кирилло-мефодиевского наследия в языке русской культуры. М., 2007. С. 77.
- 375 *Левонтина И.Б., Шмелев А.Д.* «За справедливостью пустой» // *Зализняк Анна А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д.* Ключевые идеи русской языковой картины мира. М., 2005. С. 365–366.
- 376 Часть этнографическая (*Надеждин Н.И.*). С. 15; Программа для этнографического описания губерний Киевского учебного округа. С. 13.
- 377 Четвертое заседание Комитета от 31.03.1877 (сообщение В.Н. Бензенгра) // Известия ОЛЕАЭ при Императорском Московском университете. Т. XXVII. Антропологическое отделение. Т. I. М., 1877. С. 65.
- 378 *Петров Г.С.* Пигмалионы Севера // *Петров Г.С.* Наши пролежни. М., 1913. С. 144.
- 379 *Протасов (М.)*. Народные чтения... С. 19.
- 380 *Водовозова Е.Н.* Финляндия. № 9. С. 11.
- 381 Великое княжество Финляндское. С. 13; *Сно Е.Э.* В стране скал и озер. СПб., 1904. С. 38; *Водовозова Е.Н.* Финляндия. № 11. С. 1–3.
- 382 *Скалдин (Еленев Ф.П.)* В захолустье и в столице... С. 227.
- 383 *Меч С.* Финляндия: Географический очерк. М., 1887. С. 94–95.
- 384 *Иванов Н.А., Булгарин Ф.В.* Россия в историческом, географическом и литературном отношении. Ч. 1. Статистики часть первая, содержащая в себе введение, I. Основные силы государства. СПб., 1837. С. 298.

- 385 *Надеждин Н.И.* В чем состоит народная гордость? (1836) // *Надеждин Н.И.* Соч.: В 2 т. СПб., 2000. Т. 2. С. 797.
- 386 *Реклю Э.* Народоведение...
- 387 Краткое изложение см.: *Коялович М.О.* История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. СПб., 1884. Гл. XVIII.
- 388 Русские народы. наброски пером и карандашом / Тексты под ред. проф. Н.Б. Зограф: В 3 ч. М., 1894. Ч. I. Европейская Россия. М., 1894. С. 29.
- 389 *Катков М.Н.* Московские ведомости. № 103. 12 мая 1863 г. (*Катков М.Н.* Истина и крамола. М, 2007. С. 27).
- 390 *Погодин М.П.* Польский вопрос (1867) // *Погодин М.П.* Соч.: В 5 т. М., 1872–1876. Т. 5. Статьи политические и польский вопрос. М., 1876. С. 366.
- 391 Предположение С.А. Токарева (см.: *Токарев С.А.* История русской этнографии. С. 278). Подробно об этом см.: *Соловей Т.Г.* Александр Иванович Пыпин и его место в русской историографии // *Этнографическое обозрение.* 1994. № 4. С. 89–93.
- 392 Как понимать этнографию? (посвящается «Дню») // *Современник.* 1865. № 2. С. 181.
- 393 Там же. С. 176.
- 394 *Мостовский М.* Этнографические очерки... С. 7.
- 395 Там же. С. 6.
- 396 *Андреев Ф.* Областные заметки. Нечто о мужике и мужиковствующем пессимизме // *Северный вестник.* 1889. Январь. Второй отдел. С. 29–39; *Скабичевский А.* Мужик в русской беллетристике (1847–1897) // *Скабичевский А.* Соч.: В 2 т. СПб., 1903. Т. 2. С. 745–800; *Он же.* Новый человек деревни. «Власть земли»: Очерки Г. Успенского, сочинения Н. Златовратского. Т. II. «Устои», «История одной деревни» // Там же. С. 177–155. Об этом также см.: *Ганзюлевич Т.* Крестьянство в русской литературе XIX в. СПб., 1913.
- 397 *Симонович А.* Заметки из дневника сельской учительницы // *Русская школа.* 1893. № 12. С. 35.
- 398 *Hellberg-Hirn E.* Origin and Power: Russian National Myths and the Legitimation of Social Order // *Fall of an Empire, the Birth of a Nation. National identities in Russia.* Ashgatt, 2000. P. 16–17.
- 399 Цит. по: *Овсянко-Куликовский Д.Н.* История русской интеллигенции... Ч. 3. С. 180.
- 400 *Андреев Ф.* Областные заметки. С. 30.
- 401 *Лескинен М.В.* Образование «для народа»: теория и практика диалога с крестьянином в России последней трети XIX в. // *Человек на Балканах. Социокультурные измерения процесса модернизации на Балканах.* СПб., 2007. С. 113–147.
- 402 *Блудова А.Д.* Пять месяцев на Волыни. Острожская летопись 1867 г. СПб., 1868. С. 4–5 (заметки от 30 мая, от 5 июня, от 10 сентября 1867 г. и др.).
- 403 *Семенова-Тян-Шанская О.* Жизнь «Ивана»: Очерки быта крестьян одной из черноземных губерний // *Записки ИРГО по отделению этнографии.* Т. 39. СПб., 1914. С. 104.
- 404 *Бунаков Н.Ф.* Записки. Моя жизнь в связи с общерусской жизнью, преимущественно провинциальной. 1837–1905. СПб., 1909. С. 202. Подробнее об этом см. его книгу: *Бунаков Н.Ф.* Сельская школа и народная жизнь. СПб., 1906. Глава VI.

- 405 *Андреев Ф.* Областные заметки... С. 34.
- 406 *Энгельгардт А.Н.* Письмо восьмое // *Энгельгардт А.Н.* Из деревни... С. 300.
- 407 *Скалдин (Еленев Ф.П.)* В захолустье и в столице... С. 225.
- 408 *Энгельгардт А.Н.* Письмо второе // *Энгельгардт А.Н.* Из деревни... С. 83.
- 409 *Златовратский Н.Н.* Деревенские будни... С. 282.
- 410 *Лескинен М.В.* Понятие «нрав народа» в российской этнографии второй половины XIX в. ...
- 411 *Байбурин А.К.* Некоторые вопросы этнографического изучения поведения // Этнические стереотипы поведения. Л., 1985. С. 7–18.
- 412 *Водовозова Е.Н.* Поляки // *Водовозова Е.Н.* Как люди на белом свете живут. Чехи–поляки–русины. СПб., 1905. С. 101. Об этом см. также далее.
- 413 *Бунаков Н.Ф.* Записки... С. 157.
- 414 *Фет А.* Заметки о вольнонаемном труде // *Фет А.* Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство. М., 2001. С. 91.
- 415 *Семенова-Тян-Шанская О.* Жизнь «Ивана»... С. 105.
- 416 *Гордон А.В.* Тип хозяйствования – образ жизни – личность // Крестьянство и индустриальная цивилизация. М., 1993. С. 136–173.
- 417 *Семенова-Тян-Шанская О.* Жизнь «Ивана»... С. 105.
- 418 *Симонович А.* Заметки из дневника сельской учительницы. С. 35–36.
- 419 *Скалдин (Еленев Ф.П.)* В захолустье и в столице. С. 225.
- 420 *Успенский Г.И.* Крестьянин и крестьянский труд // Письма из деревни. С. 381–463.
- 421 *Медушевский А.Н.* История русской социологии. М., 1993. С. 67.
- 422 *Никишенков А.А.* Крестьянство в судебной системе российского государства // Крестьянское правосудие. Обычное право российского крестьянства в XIX – начале XX в. М., 2003. С. 56.
- 423 *Толстой Л.Н.* Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят? // *Толстой Л.Н.* Собр. соч.: В 20 т. М., 1964. Т. 15. С. 28.
- 424 *Овсянко-Куликовский Д.Н.* История русской интеллигенции... Ч. 3. С. 183.
- 425 *Энгельгардт А.Н.* Письмо третье // *Энгельгардт А.Н.* Из деревни. С. 103–104. В этом же письме Энгельгардт объясняет причины сложившегося убеждения в том, что русские работают хуже немцев, недобросовестны, ленивы и т.д.
- 426 *Энгельгардт А.Н.* Письмо четвертое // Там же. С. 199.
- 427 *Peasant Societies. Selected Reading / Ed. By T. Shanin. L.–NY, 1987; Scott J.* The Moral Economy of Peasant. Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. New Heaven, 1977 (фрагменты в русском переводе: *Скотт Дж.* Оружие слабых: обыденные формы сопротивления крестьян // Крестьяноведение. Теория. История. Современность. М., 1996); *Шанин Т.* Перспективы исследования крестьянства и проблема восприятия параллельности общественных форм // Там же. С. 8–25; Великий незнакомец. Крестьяне и фермеры в современном мире: Хрестоматия / Сост. Т. Шанин. М., 1992.
- 428 *Элиас Н.* О «цивилизации» как специфическом изменении человеческого поведения // *Элиас Н.* О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования: В 2 т. / Пер. с англ. М.–СПб., 2001. Т. 1; *Бурдьё П.* Социальное пространство и генезис классов // *Бурдьё П.* Начала / Пер с фр.

- М., 1994; *Козлова Н.Н.* Горизонты повседневности советской эпохи (Голоса из хора). М., 1996. С. 61–111; *Redfield R.* Peasant Society and culture. An anthropological Approach to Civilisation. Chicago, 1956.
- 429 *Гордон А.В.* Тип хозяйствования...
- 430 *Безгин В.Б.* Правовые обычаи и правосудие русского крестьянина конца XIX – начала XX века. Тамбов, 2012. Гл. 1. С. 6–35.
- 431 *Безгин В.Б.* Крестьянская повседневность. Традиции конца XIX – начала XX века. Тамбов, 2004. Гл. 3. Обычное право русской деревни.
- 432 Там же. Об этом также см.: *Поршнева О.С.* Крестьянское сознание в эпоху модернизации // *Imagines Mundi.* Альманах исследований всеобщей истории XVI–XX вв. Вып. 3. Екатеринбург, 2008. С. 90–100, 116–117.
- 433 *Гордон А.В.* Тип хозяйствования...
- 434 *Тенишев В.В.* Правосудие в русском крестьянском быту: Свод данных, добытых этнографическими материалами покойного князя В.Н. Тенишева (извлечение) // *Крестьянское правосудие...* С. 234–240.
- 435 *Семенов Ю.И.* Первобытное и крестьянское обычное право: их сходство и различие, а также отношение к законному праву классовых социоисторических организмов // *Крестьянское правосудие.* С. 31 (в этой же статье – библиография второй половины XIX в.).
- 436 Там же.
- 437 *Громыко М.М.* Традиционные нормы поведения и общения русского крестьянства XIX в. М., 1986; *Громыко М.М., Буганов А.В.* О воззрениях русского народа. 2-е изд. М., 2007. С. 323–326.
- 438 См., например: *Безгин В.* Крестьянская повседневность. Традиции конца XIX – начала XX века. Тамбов, 2004. Гл. 3. Обычное право русской деревни.
- 439 Множество примеров можно найти в материалах Тенишевского архива. Наиболее полное продолжающееся издание его материалов: *Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы: Материалы Этнографического бюро князя В.Н. Тенишева.* Т. 1–7. СПб., 2004–2011. (Издание продолжается.)
- 440 *Тайлор Э.* Антропология (Введение к изучению человека и цивилизации). 2-е изд. СПб., 1908. С. 77.
- 441 *Петри Э.Ю.* Антропология. Основы антропологии. СПб., 1890. С. 357.
- 442 Библиографию источников и научных работ XIX в. см. в: *Якушкин Е.И.* Обычное право: Материалы для библиографии обычного права: В 2 вып. М., 1910. Основную библиографию современных исследований см. в статье: *Никишенков А.А.* Крестьянство в судебной системе российского государства, а также: *Кушкова А.* Посрамление за воровство в системе обычно-правового судопроизводства российских крестьян второй половины XIX – начала XX века // *Антропологический форум.* 2006. № 5. С. 212–232.
- 443 *Томсинов В.А.* Православная культура // *Очерки русской культуры XIX века: В 6 т.* М., 1998–2005. Т. 2. М., 2000. С. 155–156; *Безгин В.* Крестьянская повседневность...
- 444 *Овсянко-Куликовский Д.Н.* История русской интеллигенции... Ч. 3. С. 13.
- 445 *Ушинский К.Д.* О народности в общественном воспитании // *Ушинский К.Д.* Педагогические сочинения: В 6 т. М., 1988–1990. Т. 1. М., 1990. С. 197.

- ⁴⁴⁶ Подробно об этом см., в частности: *Moon D.* Russian Peasants and Tsarist Legislation on the Eve of Reform. Interaction between Peasants and Officialdom. 1825–1855. Birmingham, 1992. Ch. 5.
- ⁴⁴⁷ Такого рода идеи, конечно, формировались и в народнической среде. Первым указал на необходимость учитывать иные принципы устройства социально-экономической крестьянской практики А.Н. Энгельгардт в 1880-х г. Однако сформулировать некие общие черты крестьянской психологии в целом удалось только в XX в. В российской социологии одним из первых коснулся этой темы Д.Н. Овсяннико-Куликовский. Общие черты крестьянского социокультурного типа обоснованы в трудах направления, получившего наименование «крестьяноведение» (см.: Крестьяноведение. История. Теория. Современность Ежегодник. Вып. 1–3. М., 1996–1998 (сайт: <http://ruralworlds.msses.ru>)). Одним из первых российских исследователей сходства в функционировании общностей этого типа показал А.В. Гордон (см.: *Гордон А.В.* Крестьянство Востока: исторический субъект, культурная традиция, социальная общность. М., 1989).
- ⁴⁴⁸ *Короленко В.Г.* История моего современника. Кн. 3. Ч. 1 // *Короленко В.Г.* Собр. соч. В 10-ти тт. М., 1953–1956. Т. 7. История моего современника. Кн. 3 и 4. М., 1956. С. 5.
- ⁴⁴⁹ *Сандерланд В.* Русские превращаются в якутов? «Обынороднивание» и проблемы русской национальной идентичности на Севере Сибири. 1870–1914 // *Российская империя в зарубежной историографии...* С. 199–227.

Глава 6

В поисках репрезентативного великорусского типа и идеального образа. Фенотип и его визуальные воплощения

Традиции

визуализации этнического в XVII–XIX веках

Еще в эпоху Просвещения получили выражение три характерных принципа *научного* описания объектов окружающего мира: а) доминирование визуального восприятия, требующего от наблюдателя точной фиксации того, что он *видел сам*; б) использование арсенала имеющихся сведений и суждений о том, что не стало объектом непосредственного наблюдения (историография), и в) сравнение однородных объектов с целью выявления общего и различного. Применительно к этнографии (которая вплоть до конца XIX в. именовалась и трактовалась как народописание) это означало, что необходимы были: а) прямой контакт с объектом исследования; б) некоторый объем знаний, позволявший уточнить изучение тех областей жизни народов, которые не поддавались определению непосредственно, в процессе наблюдения; в) стандартный план или схема изложения, упорядочивающая собранную информацию. План изложения включал известный набор элементов, нуждавшихся в неременной фиксации, но отчасти являл собой результат научного осмысления универсальных особенностей всех человеческих сообществ – человека как вида. В ту же эпоху формировались стандарты европейского *народоведения* и *народовидения*; важнейшим методом исследования и структурирования результатов этнографического знания был визуальный. Он же оказался основным и в практическом ракурсе: текст этнографического описания рождался из необходимого комментария к иллюстрациям-«костюмам» (именно так репрезентировались представители разных этносов в последней трети XVIII в.¹), или же визуальное и вербальное описания создавались параллельно.

«Зрительные представления, – подчеркивает М. Фуко, – развернутые сами по себе, лишённые всяких сходств, очищенные даже от их красок, дадут наконец естественной истории то, что образует ее собственный объект»². Этнографическое знание в эпоху Просвещения, как указывает ведущий отечественный исследователь визуализации русскости Е.А. Вишленкова, сначала в прямом и переносном смысле «упаковывалось... “в картинку”, а потом в

«этнографическое письмо»³, а специфика «народа приписывалась не людям, а вещам», что «отражало современную культуру видения мира»⁴. Определение Другого, всегда осуществлявшееся по внешним приметам, в эпоху Просвещения обрело новую значимость в связи с осознанной активизацией зрительных средств воздействия как инструмента трансляции знаний и пропаганды одновременно. Визуализация этнографического восприятия осталась доминантной и в науке XIX в.: «...согласно европейской традиции, во всех формах убеждающего и подчиняющего европейского знания заложено зрительное восприятие»⁵.

Таким образом, в центре этнографического дискурса оказывался в прямом смысле слова *взгляд* наблюдателя, его видение, в котором интерпретация исследователя/очевидца определяла и объект, и степень дистанцирования или отождествления, и ракурс изображения. Она, в свою очередь, зависела от образа мира, от представлений о границах «своего» и «чужого», от социальных и научных убеждений и предубеждений. В современном анализе этого комплекса предзаданных установок, зачастую не отрефлектированных наблюдателем, наибольшую сложность представляет вопрос о том, как человек иной культуры воспринимал «несвою» общность, соотносил ли он ее с этничностью в ее сегодняшнем значении или же любое отличие от известного и привычного (начиная от языка и костюма и заканчивая локализацией пространства обитания на воображаемой или символической карте мира) рассматривалось им в категориях иноплеменного как иноэтнического. Выступая «от имени» образованной части своего (национального и/или европейского сообщества), описатель воплощал евроцентристские или этно(нацио)центристские воззрения, что позволяло ему быть свободным в идентификации и обнаруживать желаемое: видеть в региональной специфике этническую; в крестьянстве, говорящем на незнакомом языке и живущем на востоке Империи, – представителей восточного (в российском случае – азиатского) варварства⁶. Или же, напротив, обращая внимание на общесословное сходство разноплеменных элит, не различать за ним идеалов иной этносоциальной системы или этоса поведения, сформированного известными нарратору формами культурной самобытности.

В XVI–XVII вв. европейскими интеллектуалами-гуманистами и протестантами предпринимались неоднократные попытки определить своеобразие народов в различных областях жизни (от внешних, материальных форм быта и обрядности до склонности к разным типам политического устройства)⁷ в категориях различий и сходств национального как этнокультурного. И тогда, и позже, в XIX в., визуальные и вербальные описания осуществлялись параллельно, зачастую одними и теми же наблюдателями, ведь исследовать объект означало описать его с максимальной степенью точности⁸.

Начиная с античных народоописаний, физический облик воспринимался как один из важнейших этнических признаков. Еще в хорографических очерках XVII в., которые можно рассматривать как ранние научно-этнографические обозрения, внешность занимала первое место в списке непременно упоминаемых отличительных свойств. Ее описания, как правило, были довольно лаконичными, а главными задачами, помимо «ответа» на конкретные вопросы о тех или иных физических характеристиках, являлись сравнение со «своим» и акцент на различиях⁹. Согласно этой привычной для XVII–XIX вв. логике, специфические свойства и своеобразие внешности в этом случае определяются врожденными способностями и телесными «привычками» – этничность оказывается «встроенной» в телесность и передается генетически. Она не только воплощена (буквально инкорпорирована) в физическом теле, но и «закрепощена» им; этнический Другой не сможет сымитировать или «сыграть» этническое поведение, о чем убежденно писал еще в начале XVII в. Иоанн (Джон) Барклай. Попытки копирования одним народом другого представлялись ему безуспешными: «... мы можем легко скрыть смирение, ненависть, любовь или благочестие. Но то, что не создано властью ума, а порождено обычаем или [формой] проявления способностей, соответствующих телу, вы никогда не сможете подделать, ведь против этого – сама Природа»¹⁰. Поскольку нравственность и традиции «встроены» в человеческое тело и воспроизводятся бессознательно, постольку физический облик не только не в состоянии скрыть темперамент, ум, добродетели и пороки, но, напротив, неизбежно «разоблачает» их.

Еще одним следствием такой установки является значение внешней красоты в этнических описаниях и изображениях (как вербальных, так и визуальных). Красота видится непременным признаком «своего» этнического типа (либо одним из его региональных вариантов) в самоописании или автоизображении, которое, в свою очередь, неизбежно осуществляется в соответствии с установкой естественного этноцентризма¹¹. С другой стороны, она, как и в античности, выступает «доказательством» добродетельности или связи с Божественным, в то время как безобразие (как в традиционной культуре) считается приметой порока или контактов с «дьявольским», потусторонним, нечистым или чужим. Кроме того, физическое и нравственное совершенство ассоциируется с происхождением, и в этом смысле социальная и этническая инаковость сближаются (бытовало, в частности, убеждение, что бастарды, как и метисы, легко узнаваемы, поскольку всегда наследуют признаки «низшего» из родителей). Наконец, восприятие иноэтнической внешности подчиняется определенным стереотипам и предубеждениям – наблюдатель «несвободен» в своих

антропоэстетических оценках¹², и, следовательно, фиксация «красивого» и «некрасивого» характеризует в первую очередь представление наблюдателя, а не его объекта.

Визуальные изображения разноплеменных обитателей Российской империи в конце XVIII – первой трети XIX в. осуществлялись главным образом иностранными художниками. Характер этих образов, как показано Е.И. Вишленковой, с одной стороны, подчинялся установкам визуального знания эпохи, а с другой – опирался на российские реалии, рассматриваемые и интерпретируемые как экзотические. Исследовательница констатирует, что в литературных и графических описаниях последней четверти XVIII в. «русские подданные, они же россияне, появлялась в условных костюмах, в социальных ролях. Релевантность каждого образа определялась принадлежностью к определенной “земле”, профессиональной деятельностью и социальным статусом, а всех вместе – верностью монарху»¹³.

Русские «типы».

Вербальные и визуальные изображения великоруса

Первые отечественные попытки вербально и визуально изобразить русских как единую общность восходят к периоду формирования национальной идентичности в России (1820-е гг.). При этом их образ выстраивается по модели описания Другого, реализует те же принципы дескрипции: изоморфизм (прямая зависимость внешних черт от темперамента и характера), этноцентризм, акцентирование (вплоть до утрирования) отличительных признаков, выдаваемых за этнические особенности, активное применение предметов-атрибутов и др. Однако при анализе процесса визуализации великорусов в ходе конструирования данной группы как региональной племенной общности в составе триединого русского народа более значимыми представляются иные аспекты. *Первый* из них иллюстрирует уже процитированный ранее И. Киреевский: «национальное есть простонародное». Эта формула свидетельствует не только о содержании понятия «народ/нация» или «народность/национальность» в 1830-х – 1840-х гг.¹⁴, но прежде всего об инструментарии наблюдателя, определившем формирование способов этнокультурной идентификации великорусов. Она долгое время рассматривалась в контексте *самоописания/автопортрета* народности, национального самосознания, в то время как, на наш взгляд, речь идет о более сложном и многоуровневом процессе *внешней* идентификации одного сословия представителями другого¹⁵. Наблюдатели/описатели объявляли крестьянство общего с ними происхождения этнографическим объектом, приписывая ему сохранение древних (незамутненных чужеродным влиянием) традиций и таким

образом архаизируя его, вычлняя из современности и отождествляя его с историческим прошлым народа в целом. Так «этнически свое» крестьянство оказывалось в действительности «чужим» – не только вследствие иной формы проявления «духа» нации/народности, но и из-за того, что было помещено в иную точку времени, в другой пункт цивилизационного пути. Важнейшим средством взаимодействия социальных инвариантов народности/этничности и фактором их общности «здесь и сейчас» оказывались только язык и конфессиональная принадлежность, но даже речевые нормы, обычаи, поведение и обрядность могли казаться и казались экзотическими. Крестьянин оказывался в роли туземца – со всеми вытекающими последствиями для его описания, в том числе визуального.

Красноречивую иллюстрацию такого восприятия находим в заметке А.С. Грибоедова (1826); он описал впечатления от крестьянского пения (с характерными оценками исполнителей: «...место было уже наполнено белокуроыми крестьяночками в лентах и бусах; другой хор из мальчиков; мне более всего понравились у двух из них смелые черты и вольные движения»): «...я невольно свел глаза на самих слушателей-наблюдателей, тот поврежденный класс полуевропейцев, к которому и я принадлежу. Им казалось дико всё, что слышали, что видели: их сердцам эти звуки невняты, эти наряды для них странны. Каким черным волшебством сделались мы чужие между своими! ...народ единокровный, наш народ разрознен с нами, и навеки! Если бы каким-нибудь случаем сюда занесен был иностранец... он, конечно бы, заключил из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен, которые не успели еще перемешаться обычаями и нравами»¹⁶.

Поэтому для характеристики, опирающейся на визуальные методы внешнего наблюдения, использовались те же методы и схемы, которые сложились и применялись для описания инородческих народов Империи – причем еще до введения в научный оборот специальных этнографических программ описания¹⁷. Только с появлением вопросника Н.И. Надеждина (1847) процесс получил обратную направленность: опыт исследования русских народов экстраполировался на изучение нерусских. Важно подчеркнуть, что первые рефлексии и критика научной объективности такого взгляда появляются уже в 1870-х гг.¹⁸ Однако в научной этногеографической и тем более в параэтнографической литературе доминируют все же «обывательские» мнения непрофессиональных ученых.

Второй аспект связан с аналитическим процессом типологизирования – когда индивидуальность Другого воспринималась как репрезентация коллективного, т.е. социального или этнического как его разновидности. Сама терминология, которая позволяла описывать обобщенный образ, и стратегия типизации эволюционировали,

при этом они постоянно находились в смысловом и терминологическом соотношении с категориями «народ/нация» и «народность/национальность».

Третий аспект – архаический принцип изоморфизма в описании внешности и характера индивида и этнической группы, который остался неизменным в механизме реконструирования черт нрава/характера народа на основании внешнего облика в статике (фигура, рост, пропорции, цвет кожи, глаз, волос) и в динамике (походка, мимика, жестикуляция, дистанцирование при коммуникации и т.п.). Иногда важную роль в идентификации пристрастий и склонностей играл костюм (даже в конце столетия можно было встретить следующие утверждения: «...в цветах народной одежды отражается весьма явно характер народа. Там, где в употреблении яркие цвета, – там население бывает более подвижно, приветливее... и любит пляску. Там же, где преимущественно употребляют темные цвета, жители бывают понуры, а если по временам и развесятся, то обыкновенно снимают одежду темных цветов и заменяют ее одеждой цветов ярких»¹⁹).

Наконец, *четвертый аспект* подробно проанализирован в монографии Е.А. Вишленковой – единственном в современной российской историографии исследовании, посвященном формам и стратегиям визуализации русскости/российскости/«имперскости» в изображениях последней трети XVIII – первой половины XIX в.²⁰, где значимое место уделено представлениям эпохи об этничности и имевшимся возможностям ее репрезентации. Перенесение зрительных впечатлений в живописные или (чаще) графические изображения осуществлялось по-разному, в соответствии с установками и ожиданиями конкретной эпохи. Для европейского осмысления этноспецифического в конце XVIII – первой трети XIX в. характерны: этно/евроцентризм, акцент на костюме, приписывание/воспроизведение признаков и атрибутов нецивилизованности общностям, изначально не входившим в орбиту европейской христианской культуры (что подчеркивалось зачастую зооморфными чертами лица), а также сочетание определенных живописных стандартов и навыков, выработанных в ходе зарисовок с натуры. Главным принципом переложения идентификационных процедур оказывалась, безусловно, каузальная атрибуция.

Наиболее важную роль в стереотипизации визуальных этнических изображений в России сыграли рисунки к первому масштабному «Описанию народов» Российской империи, осуществленному И.Г. Георги²¹. Его текст представлял собой развернутые комментарии к гравюрам работавшего в России нюрнбергского художника Х. Рота²², который выполнил их по рисункам и экспонатам этнографических коллекций Академии наук и Кунсткамеры. Эти изображения племен и народов были так называемыми костюмами, многие

воспроизводились в двух и даже трех ракурсах: спереди, сзади и сбоку. Стратегия этнической идентификации данных визуальных текстов подробно рассмотрена Е.А. Вишленковой, которая заключает: «...костюм указывал на социальную роль, родоплеменную принадлежность, идейное и эстетическое содержание человека»²³. Добавим: такое видение можно расценивать как важную приметку архаически-традиционного типа идентификации индивида и группы. А в научном дискурсе оно обретает некоторые новые коннотации, связанные не только с доминированием визуализации в репрезентации нового (знания, мира, культуры) и этнических Других в целом, но и с господством внешнего наблюдения в этнографическом описании. Антропологический облик или портретное сходство не имели значения, «прежде всего фиксировались встречающиеся на пути “костюмы” – так называемые “типажные зарисовки этносов”». Примечательно, что «в большинстве случаев такой рисунок предшествовал написанию научного комментария»²⁴.

Тогда же возникли и первые серии декоративных скульптурных изображений (фигурок) из фарфора, созданных по этим и другим гравюрам этнических и народных типов²⁵. Отличительные черты в них также ограничены костюмами, ключевую роль в этих видах иллюстративных репрезентаций играла одежда и вещественные атрибуты²⁶. Позже эти изображения активно использовались в сюжетах росписей так называемого Гурьевского сервиза (1809–1816; весьма красноречиво первоначальное название: «Сервиз с изображением российских костюмов»²⁷), а также в многочисленных вариациях скульптур из серии «Народы Империи», изготовление которых осуществлялось вплоть до начала XX в. Спорный вопрос, в какой степени можно считать парадоксальным то обстоятельство, что именно взгляд на русских как Других извне, т.е. россика (русская тема в созданных художниками-иностранцами живописных обзорениях Российской империи), повлиял на бытовой жанр в России²⁸ и на тиражированные и стереотипизированные изображения русских в национальной живописи и скульптуре второй половины XVIII – первой трети XIX в.

Идея взаимообусловленности внешнего и внутреннего, несомненно, архаична и универсальна, но нельзя не упомянуть о том, что данная концепция (жесткой прямолинейной зависимости черт внешнего облика от темперамента, характера, а также нравственных свойств и склонностей) получила распространение в эпоху Просвещения также благодаря расцвету физиогномики – «науки распознавания людей». Ее расцвет связан с именами А. Галлера и К.Г. Лафатера. Последний в своем трактате²⁹ обобщил все накопленные к тому времени наблюдения и выявленные закономерности, создав не очень стройную, но все же упорядоченную систему. Идеи Лафатера были популярны по-

всюду, в том числе в России первой трети XIX в. Кроме того, издавались сборники аналогичных инструкций-«руководств», составленные из текстов разных веков. Вот примеры подобных характеристик: «...карие не очень большие и не малые глаза означают миролюбивого и честолюбивого, с большими способностями человека обширного ума, исполненного благоразумия и расторопности»; или: «Курносый человек вспыльчив, горд, лжив, сладострастен, слаб, ветрен»³⁰. Однако концепция прямолинейной зависимости облика целой общности от климата и типичных национальных свойств темперамента и ума заимствовалась прежде всего у ранних немецких романтиков³¹. Признание возможности отображения добродетелей и пороков в лице индивида, а также в облике представителя группы или сообщества применительно к этнографическим описаниям снимало вопрос о методах выявления специфически-этнических качеств нрава (черт характера): их можно было и «увидеть», и показать в лице, жестах, позах. Визуальные образы соотносились с литературными и научными характеристиками народов, а концепты «народность», «физиономия народа» и «национальный характер» на этом этапе понимались как тесно взаимосвязанные и взаимообусловленные.

«Физиономия» народа

Поиcки национальной самобытности в русском образованном обществе после Отечественной войны 1812 года актуализировали проблему определения своеобразных черт не только русских³², но и других народов Империи. Изучение самобытности различных этносов стало в некотором смысле источником интереса к «собственному», имперскому экзотизму, определяющим своеобразие романтизма в целом, в том числе и русского. О.М. Сомов, автор статьи, ставшей программной для романтической поэтики, писал: «Столько различных народов слилось в одно название русских или зависят от России, не отделяясь ни пространством земель чужих, ни морями далекими! Столько разных обликов, нравов и обычаев представляются испытующему взору России совокупной!»³³ Специфика «имперскости»/«русскости» осмысливалась здесь через полиэтничность государства и разнообразие культур населяющих его народов. «Уверьте меня, – продолжает автор, – что в нравах наших нет никакой отмены от других народов, что у нас нет *своих* (выделено автором. – М.Л.) добродетелей и пороков, и тогда соглашусь, что у нас и не будет своей народной поэзии»³⁴. Этнокультурная (народная) самобытность объяснялась через категории «нрав» и «нравственность», оригинальные проявления которых создают условия для формирования собственного уникального облика («физиономии»)»³⁵.

Литературовед Ю.В. Манн обращает внимание на одну из важных отличительных черт русского романтизма в изображении «народной почвы»: в нем актуализированы две оппозиции: а) историческое (прошлое)/современное и б) народное, сельское, нецивилизованное/светское, городское, цивилизованное. «Поскольку оба противопоставления в философском, правовом, этическом смысле однородны, возможна была их взаимозаменяемость»³⁶, – заключает он. В таком случае трактовка народности сводилась к отождествлению народа с «длящимся прошлым», с «живым музеем», сохраняющим традиции и устои истории «до цивилизации». Отсюда вполне естествен вывод о том, что народ/крестьянство представляет «русскую первобытность», которая нуждается в изучении, как и всякая иная древность.

Часто употребляемое в XIX в. слово «физиономия» трактовалось как совокупность специфических черт, определяющих прежде всего визуальную узнаваемость представителей региональных или профессиональных и – несколько позже – этнонациональных групп. Очень важно учитывать эволюцию содержания этого понятия. В конце XVIII – первой трети XIX в. это в первую очередь «искусство узнавать нравы и склонности людей по чертам лица»³⁷, «внешнее выражение человека, или животного, или даже растения в той мере, в какой мере это выражение может способствовать заключению о его внутреннем существе»³⁸ и только во вторую – «самый вид лица»³⁹ или «выражение лица»⁴⁰. Причем в первом толковании, – в отношении общности, группы – слово применялось только в единственном числе («физиономия народа» или «физиономии народов», но никогда «физиономии народа»). Более узкий, близкий к современному пониманию смысл – «черты лица, человеческий облик» – становится доминирующим только в 1880-х – 1890-х гг.⁴¹. В 1830-х – 1850-х гг. понятие «физиономия» часто использовалось для описания пространственных или климатических особенностей государств, стран (так именовались обширные или присоединенные компактно области внутри государства – например, Финляндия, Кавказ, Сибирь, или ландшафтные зоны – например, Волжская страна или северная страна). Употребительным были словосочетания «физиономия края», «физиономия местности». У О.М. Сомова понятия «народность» и «местность» выступают как соположенные⁴². А.С. Пушкин в черновом наброске «О народности в литературе» (1826) писал, что «климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию...»⁴³. К.И. Арсеньев использовал словосочетание «физио(г)номия страны» в значении «особенности» отдельных частей России. Их не вербализованная методически, но осуществленная на практике реконструкция как раз и позволила ему установить разделение на «пространства». Реконструкция эта также обращает нас к

концепции «физиогномии» народа, принципиальной для разработки и эволюции термина «народность»⁴⁴.

«Физиономия народа», таким образом, не только подразумевала совокупность физических и расовых отличий, соотносимых с типом темперамента и чертами характера, но могла быть важным источником сведений о склонностях общности в целом, влияющих, например, на выбор типа государственного устройства; она же, как правило, являлась неоспоримым свидетельством различий северных/западных и южных/восточных народов. Как писал А.В. Терещенко, «самая наружность людей выказывает умственные и телесные силы, которые легко распознаются по очерку лица и образованию тела»⁴⁵.

В России в 1840-х гг. широко распространялись идеи Гегеля и Шеллинга о том, что в рамках государственных образований складываются общие в масштабах страны признаки и свойства ее жителей, создающие общую физиономию различных сообществ, объединяемых властью (нация). В.Г. Белинский писал: «...невозможно представить себе народ, не имеющий особенных, одному ему свойственных обычаев; эти обычаи ... состоят в образе одежды, прототип которой находится в климате страны; в формах домашней и общественной жизни, причина коих скрывается в верованиях, поверьях и понятиях народа... Все эти обычаи... составляют физиономию народа, и без них народ есть образ без лица»⁴⁶. «Физиономия народа» осмысливалась как оригинальность культуры⁴⁷, неповторимая индивидуальность часто объяснялась через категории души или духа народа, и в этом случае особенно акцентировалась неизменность какого-либо главного этнонационального свойства. Таким образом, «народная физиономия» выражала народное/национальное своеобразие, концентрировала в себе характерные качества внешности, поведения, обычаев этнической группы, отличающие данный народ от других. Во второй половине столетия «физиономия» понималась также в «иносказательном смысле», объяснялась как «характер лица, предмета»⁴⁸, а понятие «физиономия народа» приобрело как метафорическое, так и терминологическое значение.

Первые описания великорусов, структурированные в соответствии с известными схемами изображения «других» народов, были осуществлены Н.И. Надеждиным и представлены в статье о Великой России (1837), причем слово «физиогномия» употреблено в прямом значении («лицо»). Этому описанию присущи оценочные определения: «Физиогномия российского народа, в основании славянская, запечатлена естественным оттенком северной природы. Вообще, великороссияне не так высоки ростом, как западные их братья; но зато сложены крепко, здоровы и расположены к тучности. Особенно женщины отличаются дородностью, которая счита-

ется одним из условий красоты в низших сословиях. Черты лица у обоих полов правильны, но маловыразительны, лоб вообще узок, глаза и рот небольшие, нос кругловатый. Волосы русые, отчего в старину производили самое имя “Руси”, но по мере приближения к северу светлеют более и более, так что сбиваются на желтые и рыжие. Впрочем, рыжий цвет в общем пренебрежении. Поэтому существенно нравятся у молодца черные кудри, у девицы – русая коса... Молодец тоже нравится чернобровый и черноглазый; но его главное достоинство состоит в свежести и здоровье, в том, что называется “кровь с молоком”»⁴⁹. Этой внешности соответствуют и черты характера, также обусловленные климатом: «Суровость климата притупляет вообще органы осязания, вкуса и обоняния... зато слух очень тонок. От малороссиян великороссияне отличаются резко тем, что не имеют той живости в чертах, того огня глаз, которые принадлежат югу; с белорусами сходны больше, только у этих последних шея обыкновенно бывает вытянута и голова слишком живо ходит на плечах, тогда как у великорусов она кажется вросшей в плечи, на толстой, короткой шее. Впрочем, они не уступят или даже превзойдут тех и других гибкостью членов, проворством и расторопностью движений. Русский человек вообще больше крепок, чем силен; он способен переносить самые тяжкие труды, нечувствителен к лишениям, терпелив до бесконечности. Как по крепости сложения, так и по привычке ко всем суровостям воздуха здоровье его редко подвергается болезням без особенных случаев. Живет долго, когда сам себе не накличет смерти, и до глубокой старости сохраняет бодрость. Женщины скоро теряют свежесть, но в старости редко подвергаются тому отвратительному безобразию, которое так свойственно южным старухам»⁵⁰.

В этом описании присутствуют все представленные выше компоненты этнографической дескрипции своего времени: сравнение (с малороссами и белорусами), которое выдает во внешности приметы «севера», кардинально отличающие их от русских «южан» – малороссов (холодность, более спокойное выражение лица), а также те свойства и качества, которые они отражают в прямом смысле слова; включение в перечень внешних признаков особенностей движения и здоровья (крепость, проворство и бодрость – и, как следствие, медленное увядание, отмеченное автором очерка о россиянах в «Описании» Георги – см. вторую главу), которые в совокупности можно именовать «витальностью» тела, но не темперамента (вялость в сравнении с малорусом); отдельное упоминание об облике и красоте женщин.

Сочетание определений и метафор, призванных красочно воплотить этнодифференцирующие признаки внешности, для которых характерно приписывание отдельным чертам и проявлениям

не столько физиологических, сколько оценочных характеристик («огонь глаз», «гордая поступь», «приятные губы»), проявилось в тексте одного из путешественников по землям Великороссии, именуемых им «зерном» Руси (т.е. Великороссии). Он так описывал местных крестьян: «Русский человек этого края по большей части с русыми и темно-русскими волосами, с выраженной маковкой, красив лицом, строен телом и всегда весел духом; в глазах горит отвага, поступь гордая и смелая, ловкость и щегольство – неразлучные его товарищи»⁵¹. Столь же лаконично и неопределенно описывали в то время предков русских – древних славян, обладавших многими положительными качествами «народов севера» (мужеством, волей, «силой и умом гибким»), выраженными во внешних приметах: они отличаются «лбом возвышенным, лицом круглообразным, носом продолговатым... ртом умеренным, губами небольшими и приятными, глазами открытыми, светлыми, большими, голубоватыми, волосами тонкими, мягкими, длинными, ростом высоким, поступью гордою»⁵². В учебнике И.Я. Павловского «россиянам» приписывалось крепкое телосложение, позволяющее им переносить «тяжкие труды», болезни и невзгоды: «Будучи укреплены суровой природой, они редко подвергаются болезням, многие достигают глубокой старости»; «Вообще, они ограничиваются весьма малым и терпеливо переносят каждое лишение»⁵³. Другие народы, внешний облик которых (лицо и тело) воспринимался наблюдателями как «неприятный» или некрасивый (такowymi были прежде всего несимпатичные, угрюмые финны⁵⁴), однозначно рассматривались как носители определенных пороков, выраженных в этих конкретных визуальных признаках.

Дефиниции «типа»

Терминологическое значение для этнографии и антропологии XIX столетия имели понятия «тип» и «типическое (типичное)», определившие способы визуализации этнического. В значении модели объекта они входят в научный лексикон во многих областях науки того времени. Расширяется сфера их применения, однако ведущую роль они играют в естественных дисциплинах, став определяющими в разного рода классификациях и обязательным инструментом идентификации исследовательских объектов.

Появление лексемы «тип» в естественно-научном тезаурусе восходит к XVIII в., ее значение как фундаментального термина для создания таксономий возрастает благодаря трудам К. Линнея, Ж. Кювье, в России – К.М. Бэра. В зоологии понятие «тип» использовалось для выделения одного общего признака, на основании ко-

торого строилась систематика биологического разнообразия. Кроме того, данное понятие использовалось для номинаций «типов человеческого рода» в классификациях человечества и отдельных его групп (рас). Несмотря на очевидное влияние содержания данных понятий на общественные науки 1830-х – 1840-х гг., область значений и методов выявления типичного в сфере социальных явлений более всего связана с процессами социально-исторического моделирования⁵⁵.

В русском языке лексемы «тип» и «типичное» появляются в первой трети XIX в. Как установил Ю.С. Сорокин, слово «тип» изначально «является в литературной критике 1830-х гг. и быстро становится популярным в новом общем и эстетическом смыслах»⁵⁶. Поле его значений в то время – «первообраз», «образец», «основной образ», «подлинник». По мнению С.Н. Зенкина, важность данного термина для философско-эстетических размышлений объясняет и другие значимые концепции эпохи: «...само слово “тип”... этимологически означает *форму* (курсив автора. – М.Л.)... Эти формы, прилагаемые к материальной субстанции... в принципе множественны, свободно комбинируются»⁵⁷. Будучи приложен к проблеме народа и народности, он определяет саму возможность рассмотрения непохожего, чуждого не только как враждебного, но и как выражающего инвариантность, в том числе культурную.

Наиболее яркое выражение эта концепция получила у В.Г. Белинского: «Что такое тип в творчестве? ...человек–люди, лицо–лица, т.е. такое изображение человека, который замыкает в себе множество, целый отдел людей, выражающих ту же самую идею»⁵⁸; «типичное лицо есть представитель целого ряда лиц, есть нарицательное многих предметов, выражаемое, однако ж, собственным именем...»⁵⁹. При обосновании идеи типичного Белинский апеллировал к традиции словоупотребления «тип» в науках о природе («В типе заключается торжество органичного слияния двух крайностей – общего и особенного»⁶⁰). Таким образом, принцип изоморфизма перешел в новое качество: термин «тип» стал обозначать отличительные особенности вида (социального, психологического и др.) в образе одного человека (предмета, явления).

Обнаружение типичных черт становится необходимой вспомогательной процедурой для этнической или национальной идентификации. Именно в этом смысле понятие типичности детерминировало процесс выявления национальной отличительности, причем бытовало убеждение, что для такого выявления вовсе не обязательны аналитические процедуры: в «Карманном словаре» Кирилова (1845) отмечено, что национальность порождается общностью элементов (в частности, языка, обычаев и нравов), которые, в свою очередь, формируют одинаковость и наносят некий общий

отпечаток на все лица, принадлежащие ему: «...эти-то общие отличительные черты, по которым можно узнать, к какому народу принадлежит по своему происхождению известное лицо, и называются *типическими* или *национальными* признаками. Совокупность таковых типических признаков... отличающих один народ от другого, и дает ему как бы самостоятельное значение среди человечества и называется *национальностью*»⁶¹, «так что в выражении физиономии, манерах, акценте всегда почти остаются некоторые особенности, по которым нетрудно бывает человеку опытному узнать, к какому народу... принадлежит лицо»⁶². «Национальность» оказывается очевидной и визуально более отчетливой: «опыт» позволяет легко ее установить. Речь, таким образом, не идет о реконструкции типичного, подразумевается обнаружение/визуальная фиксация черт, которые представляются типичными наблюдателю. Их совокупность становится основанием для внешней этнической или национальной идентификации, а такие важные понятия, как «народность», «типичность» и «национальность», выступают в качестве категорий одного порядка и потому объясняются и интерпретируются «одно через другое»⁶³.

Ю.С. Сорокин указывал, что для процесса складывания значений этого ряда понятий важно, что «тип» стал также наименованием «определенного жанра – бытового, характерных очерков и сцен». В конце 1840-х гг. возникнет жанровое обозначение «физиологические очерки» или просто «физиологии». «Такое употребление развилось из обычного названия популярных в начале 1840-х очерков бытового характера, характеризующих лица по их социальным и профессиональным особенностям»⁶⁴, продолжавших традицию так называемых криков, восходящую к европейскому жанру XVIII в. Сам термин и первые сочинения этого жанра появляются во Франции в 1830-х гг.⁶⁵, их принято связывать с формированием нового – натуралистического, или реалистического, – направления в литературе⁶⁶. В связи с этим жанром возникают теоретические проблемы: а) способов воплощения в литературе типов и типичного и б) различия методов натурализма и реализма, – повлиявшие на концепцию и интерпретации народности/этничности. Визуальное воплощение «физиологических типов» или «криков» было популярно в Европе начиная с середины XVIII в. – сценки с двумя или тремя персонажами сопровождалась подписями и репликами участников, образцом для которых стало парижское издание графа Кейлюса⁶⁷. Так называемые живописные типы – графические и литографированные изображения представителей различных регионов, профессий, сословий, полов и возрастов – украшали как альбомы «Живописных путешествий» (по собственной стране и за рубежом, в том числе по России)⁶⁸, так и первые этнографические описания.

Как в России, так и во Франции такие сборники типов, именуемые «физиологиями» в 1840-х – 1850-х гг. стали выходить отдельными иллюстрированными изданиями⁶⁹. Характерно подчеркивавшееся создателями таких очерков соотношение визуального и вербального рядов с точки зрения типизации. В.Г. Белинский в одной из рецензий на физиологии российского цикла (так называемый «Сборник А.П. Башуцкого» он оценил довольно высоко⁷⁰) обосновал особые требования к авторам. Не ставя физиологические зарисовки «с натуры» ниже художественной типизации, критик считал, что авторы должны обладать умениями «живописца с натуры» (типиста). «Сущность типа, – писал он, – состоит в том, чтоб, изображая, например, хоть водовоза, изображать не какого-нибудь одного водовоза, а всех в одном»⁷¹. Белинский всячески приветствовал появление физиологий в русской беллетристике и принимал активное участие, в частности, в создании альманаха под редакцией Н.А. Некрасова «Физиология Петербурга» (1845). Важной стилистической особенностью физиологий была «объективизация», выразившаяся в отсутствии сюжета, но в точной фиксации места, времени и обстоятельств процесса наблюдения над объектом, в детальном описании материального быта и образа жизни. Все эти черты можно определить как принципы «описательности» и приметы вербальной иллюстративности. Так же строились и первые этнографические очерки.

Физиологии издавались «беспристрастными описателями» нравов и включали словесные зарисовки внешнего облика, образа жизни, занятий главным образом горожан. Нередко встречались подзаголовки – например, «Естественная история нравов» или просто «Нравы»; многие заметки представляли собой так называемые нравоописательные очерки. Заметим, что визуальное и вербальное изображение нравов в 1830-х – 1840-х гг. не только аргументировалось наличием «типов», но иногда отождествлялось с ними. Именно в таком ключе создается значительное количество нравоописаний, восходивших к просвещенческой традиции трактовки «нравов»⁷², о чем говорилось ранее. Отличием живописных иллюстраций этих типов от более поздних этнографических было то, что первые воплощали не только костюмы и атрибуты, но и функции определенных групп, иногда расширяя объекты от понятия «город» до границ Империи⁷³.

Предметом внимания авторов этих очерков являлись представители «своего» народа, но прежде всего социальных низов (не духовного и не дворянского происхождения). Нередко встречались изображения «типов» других этнических групп – однако лишь в том случае, когда с ними связывалась профессиональная «монополия» либо узкая специализация в ремесленной/торговой сфере деятельности. Именно в таком смысле были выполнены, например, В.И. Далем (под характерным псевдонимом «Нравоописатель») очерки чу-

хонцев Петербурга⁷⁴, которые только по названию можно считать этнографическими, или некоторые зарисовки типов в «Очерках русских нравов» Ф.В. Булгарина⁷⁵.

Авторы очерков не обосновывали «типичность», т.е. характерность, изображаемых персонажей, а исходили из бесспорности своих заключений, тем более что свои заметки они объявляли «зарисовками с натуры». Как правило, над ними работали совместно писатели и художники. Важной представляется не «практика» «типов», а теоретическая подоплека возникновения данного жанра. Одной из первых работ, посвященных данному вопросу, можно считать статью социолога Ю.А. Голубицкого. Автор связывает возникновение физиологий с эволюцией научных интерпретаций (Ч. Дарвина, О. Конта и Г. Спенсера) взаимодействия индивида и социума, природы социального в целом⁷⁶. Однако не менее важен другой аспект: логически продолжая размышления исследователя, следует обратить внимание на понятие «организм». Перенесение слова из естественно-научной лексики в социальную сферу (физиология живого организма – физиология социальной среды) не просто метафора: она приводит и к смысловому, и к методологическому заимствованию. Общество, уподобленное цельному организму, мыслится как состоящее из отдельных элементов – индивидов, каждый из которых занимает определенное место и имеет строго фиксированную функцию; как по отдельным органам можно судить обо всем организме, так и по отдельной личности – об общностях и группах, причем как территориальных, так и социальных. Эти идеи органицизма восходили к Шеллингу и получили в России наиболее яркое воплощение в творчестве ранних «западников» (В.Г. Белинского и Н.И. Надеждина).

Характерно в этом контексте стремление Белинского типизировать явления социальной жизни и литературы по биологическому образцу. Неоднократно обращаясь к столь важному для него методу классификации (который он применял и в трактовке «народности»), критик писал: «Литература, в обширном значении этого слова, представляет собою целый живой мир, исполненный разнообразия и оттенков, подобно природе, произведения которой делятся на роды и виды, классы и отделы и от громадных размеров слона доходят до миниатюрных размеров колибри»⁷⁷. Поэтому тип выражает общее и особенное одновременно. В литературе дискуссия об адекватности репрезентации «типов» (относимых в первую очередь к сословно-профессиональным общностям) была соотнесена с проблемами реализма (т.е. верного отражения действительности и точного воплощения распространенного в определенных кругах явления). Но, будучи применена к другим социальным группам – этнокультурным, национальным, региональным и т.п., она

актуализировала скорее представление об идеально-типическом, так или иначе соотносясь с ментальными конструктами: образами «своих» и «чужих», «нации» и «этноса» (племени), «языка» и «наречия». Вполне естественно в таком случае, что как сельские жители одного населенного пункта могут представлять земледельцев вообще или социальные низы региона в целом, так и крестьянство отдельной области репрезентирует весь народ в сословно-типологическом отношении. Однако самой сложной оставалась проблема многочисленности и широкого разнообразия вариаций: как доказать, что локальные группы отражают общие черты народа/нации и этнокультурной группы в целом?

Визуальный ряд в жанре «физиологий» и «типов» опирался на традицию изображений русских, которая уже вполне сформировалась и нашла выражение в нескольких масштабных проектах, выполненных иностранными исследователями для европейского зрителя; таковы серия гравюр А. Дальштейна на русские темы (середина 1750-х гг.), альбомы гравюр (1779, 1782) Ж.-Б. Лепренса, признаваемого основоположником русских изображений «костюмного рода»⁷⁸; трехтомный альбом гравюр Д.А. Аткинсона о русских (1803–1804), иллюстрированная энциклопедия Х.С. Гейслера (1803), гравюры Р. Портера и Э. Кларка (1809)⁷⁹ и др. Отдельно следует упомянуть альбом К. Рехберга «Народы России» (1812)⁸⁰, для которого делал рисунки с натуры во время путешествий русский график Е.М. Корнеев⁸¹. Альбом является примером визуальных этнографических репрезентаций «своего» для «своих» – т.е. русского для русских. За этими изображениями стояла уже сформировавшаяся европейская традиция изображения жителей Российской империи⁸², и в образах Корнеева имел место «синтез западноевропейских этнических стереотипов, отечественных представлений об отличиях народных групп и собственных фантазий на эту тему»⁸³. Однако нас интересуют не жанровые композиции с участием русских крестьян, а их статичные образы. Е.А. Вишленкова указывает, что они также созданы на основе гравюр Д.А. Аткинсона, однако в корнеевских рисунках акцент сделан на портрет, и по нему можно составить представление о человеке цивилизованном и благоденствующем⁸⁴. Но собственно антропологические детали – например, черты лица – могут свидетельствовать только о том, что русские – в отличие от других народов Империи – по физическому типу ближе к европейцам, а не к азиатам-монголоидам.

В гравюрах из альбома Рехберга представители разных народов изображены по-новому: *во-первых*, введены отдельные элементы культурного и природного ландшафта; *во-вторых*, персонажи имеют индивидуальные черты и являются участниками жанровых сценок, призванных продемонстрировать повседневный быт и обряды. Помимо детально выписанной одежды, на картинках присутству-



*Е.М. Корнеев.
Русские крестьяне.
Гравюра. 1812
(левая часть
композиции)*

ют предметы утвари, домашней обстановки, фрагменты жилища. Важной особенностью изображений является очевидный сегодня диссонанс между относительно реалистичным изображением неславянских народов и более чем условными образами великорусов. Именно в них этнографическая точность во многом утрачена – персонажи многофигурных композиций выглядят как актеры «живых картин» или театральной постановки на античные темы. Так, на рисунке, изображающем русских крестьян, в правой части композиции две крестьянки моют белье, но одеты в праздничные костюмы – на обеих белоснежные рубахи с пышными рукавами и сарафаны. На одной – высокий кокошник, вторая в головном уборе, напоминающем кичку. Их позы (одна горделиво стоит анфас, кокетливо отставив изящную ножку, и придерживает одной рукой таз с бельем; вторая – вполоборота к зрителю, стоит на колене и положит одной рукой белье) призваны продемонстрировать детали разных видов одеяния в различных ракурсах. Слева от девушек – псевдореалистическая зарисовка трехфигурной сценки. При подробном рассмотрении она оказывается более чем условной: крестьянин и две крестьянки в праздничных одеждах беседуют у дерева, отдаленно напоминающего дуб; при этом стоящий рядом мужчина в круглой широкополой шляпе с запасной парой лаптей на плече отбивает косу. Одна из женщин сидит на камне спиной к зрителю таким образом, чтобы можно было рассмотреть сложный головной убор сзади; она прядет. На наш взгляд, такое изображение русских (великорусов) вызвано не только отсутствием традиции их визуализации, но и принципиальной нерешенностью вопроса о сущности русскости как таковой (ее сословных и региональных вариаций, а также общенациональной типичности); отчетливый интерес к этим проблемам возникает лишь в 1820-х – 1840-х гг.⁸⁵

Одним из первых российских проектов изображения «своего» – «простого русского народа» (в лицах жителей столицы и пригородов) – было иллюстрированное издание «Волшебного фонаря» (1817)⁸⁶, идея которого заключалась в прямой связи визуального и вербального текстов – это были «крики» по-русски. В итоге было создано 48 очерков нравов с 40 иллюстрациями (гравюрами) к ним⁸⁷, причем тексты были на русском, французском и немецком языках⁸⁸. Главными персонажами являлись знакомые потенциальному читателю обеих столиц представители различных профессиональных групп и мелких торговцев, изображенные, как подчеркнуто в названии, в беседах друг с другом, что находит соответствие в текстах очерков, которые являются



*Крестьянин и крестьянка.
Гравюра. 1817*

*Молочница. Фарфоровая
скульптура. 1820-е гг.*



расширенными «подписями», расписанными по лицам диалогами и рассказами одновременно. От корнеевских изображений эти образы отличает стремление к реалистичности самой ситуации, позволявшей в прямом смысле живописать уличную сценку. Характерно, что в названиях очерков и картин определение «русский» не встречается.

Именно изображениям «Волшебного фонаря» суждено было стать средством популяризации и тиражирования образов в массовом сознании, особенно после того, как по этим гравюрам на заводе Гарднера скульптором С.С. Пименовым была создана серия фигурок⁸⁹, которые выпускались на протяжении нескольких десятилетий.

Один из инициаторов издания «Волшебного фонаря» и автор текстов к нему – П.П. Свинын опубликовал в 1839 г. (задуманную еще в 1809 г.) книгу «Картины



России...»⁹⁰ с целью «обозреть Россию с карандашом в руке»⁹¹ в популярном жанре «живописного путешествия». Собственно портретные образы жителей не являлись приоритетной задачей на первом месте стояли «достопамятности», «земля и леса», «обычаи и обыкновения». Последнее, разумеется, подразумевало и иллюстрирование (жанровые сценки и «костюмы»). Всего в книге 40 очерков, и к каждому приложено от одного до трех рисунков, выполненных самим Свиным (хотя его авторство, возможно справедливо, оспаривалось многими недоброжелательными современниками⁹²). Сюжеты очерков определены географией путешествий по важным для истории России «местам памяти» (открывается книга описаниями русских святынь – Кремля, Бородинского поля, Ипатьевского монастыря, Троице-Сергиевой лавры и др.); последующие же очерки перемежаются со вставными главками, написанными по канонам быто- и нравоописательного жанра. Важно подчеркнуть, что и русские (восточнославянские), и нерусские оказываются здесь у автора весьма неопределенным объектом – причем вовсе не этническим. Критерием выделения групп для автора оказывается пространственный: это позволяет установить не только общая структура «картин», но и анализ глав, посвященных не отдельным локусам, а специально, как определено в заголовке, «разноплеменным народам России». Среди них, например, очерк «Посиделки» – рассказ об этом крестьянском «обыкновении» «во всех деревнях северной России»⁹³ после уборки урожая, с приведением текстов песен, гаданий и т.п. Указание региона здесь «подсказывает» принадлежность крестьян

к русскому/великорусскому племени. В книге содержатся рассказы о костромских мещанах и воронежских купцах, в отдельном очерке подробно описаны подвенечный убор из Галича и внешность его обладательницы-галичанки.

В качестве региональных восточнославянских общностей фигурируют в очерках малороссыяне и донские казаки. А из представителей нерусских народов П.П. Свиньиным характеризуются не греки вообще, а крымские греки и цыгане. Таким образом, необходимость в этнониме появляется только тогда, когда за ним нет четко закрепленного (в сознании автора) ареала обитания, поэтому привязать общность к «месту», имперскому локусу не представляется возможным; во всех остальных случаях конкретная привязка к пространству принципиально важна. Разумеется, это продиктовано и самим маршрутом путешествия Свиньиного.

П.С. Куприянов, рассматривая описания народов в текстах российских путешествий начала XIX в., замечает, что у путешественников того времени не существовало «универсальной, разделяемой всеми концепции этноса», но наиболее распространенными были две модели – условно обозначаемые исследователем как «этническая» и «географическая» и различающиеся прежде всего трактовками понятия «народ»⁹⁴. Представители первой определяли народ как племенную общность, выразители второй – как территориальную. «Географическая модель» репрезентации этноса явно преобладала в европейских научных народоописаниях и более ранней эпохи – конца XVIII в., поскольку именно пространственный критерий обуславливал предмет и методы описания. В путешествии П.П. Свиньиного мы сталкиваемся именно с таким пониманием отличительности, но еще не этнической – на пространственном уровне. Поэтому автор воспроизводит характерную неопределенность трактовки «русскости» – вариаций «своего» как национального, сословного (крестьянского и мещанского), но не этнического. Иллюстрации русских и нерусских подданных Европейской России, прилагаемые к текстам и тесно с ними связанные, являлись, в сущности, все теми же «костюмами», многие их элементы были зарисованы детально и специально (например, кокошник костромской мещанки).

Однако данный тип репрезентации отражает особенности во все не конца 1830-х гг., когда «Картины России...» готовились к печати. Очерки создавались начиная с 1820-х на протяжении нескольких лет, – в то время П.П. Свиньин издавал «Отечественные записки», где и публиковались отдельные фрагменты будущей книги. К моменту издания полного сборника «картин» – к концу 1830-х гг. такое видение этничности вообще и русскости в частности было уже в прошлом. Костюмные зарисовки Свиньиного стилистически и

концептуально очень близки рисункам Е.М. Корнеева и акварелям Ф.Г. Солнцева 1830-х гг.⁹⁵ – однако последние вовсе не претендовали на научно-этнографические репрезентации, несмотря на то что целью было как можно более точное изображение деталей костюма, убора, обуви и т.д. Подписи к рисункам свидетельствуют о том, что они рассматривались как узкорегинальные и сословные) представители областных этнографических типов («Тихвинская женщина», «Белозерская девица», «Воронежская мещанка»). На акварели «Рязанские крестьянки» представлены узнаваемые вариации женского крестьянского костюма Рязанской губернии, хотя художником был выполнен и отдельный рисунок «Одежда рязанских женщин».

И в географической карточной игре К. Грибанова на каждой из карт, содержащих информацию по одной из губерний Империи, наряду с картой, гербом, перечнем главных водных артерий и городов, а также иллюстрациями специализации региона, дано название «коренного» (т.е. местного) населения (самые значительные в процентном отношении этнические группы), сопровождающееся изображением представителей в женской и мужском образах⁹⁶.

Аналогичным образом выстраивает свои «Очерки России» и В.В. Пассек⁹⁷, компилируя в них собственные описания и очерки других путешественников

Ф.Г. Солнцев. Рязанские крестьянки. Акварель. 1832



и сопровождая текст гравюрами по рисункам, выполненным с натуры; в собрание были включены очерки и изображения самого Пассека. Отличия от «Картин...» Свинына заключались в разрозненности и отсутствии географической связности разных сюжетов, смешении жанров и тем. Однако и в том, и в другом собрании Россия представала как многоэтническое и поликонфессиональное государство; природное, культурное, хозяйственно-экономическое и цивилизационное «разночтения» которого расценивались как несомненно позитивные. Главной особенностью оказываются пространственная протяженность и климатическое разнообразие, а также множественность исто-

рических времен, сосуществующих на этих просторах: разные народы и даже регионы мыслились как находящиеся на разных этапах развития от дикости к культуре, которые рассматривались как универсальные закономерности эволюции. Поэтому всякое путешествие по стране, даже в границах «внутренних» губерний, подразумевало перемещение не только в пространстве, но и во времени: исторические достопамятности и старинные обряды, нравы и обычаи, одежды и песни крестьян – все это воспринималось как реально существующие, актуальные явления, но вместе с тем и как живые картины прошлого. Поиск русскости велся в не определенной до конца области «первобытности» в значении «старины» и «чистоты» былой, давней России. И если хранителем народности был объявлен «русский народ» – концепт до конца не определенный, но бесспорный, – то и искать его границы так или иначе следовало там, где живет прошлое.



Ф.Г. Солнцев. Одежда рязанских женщин. Акварель. 1835



Ярославская губерния. Игральная карта. 1830



В этой идее и структуре описания наблюдается явно больше сходств с предыдущим, просвещенческим образом России. Е.А. Вишленкова так интерпретировала задачу, которая стояла перед формирующимся на рубеже XVIII–XIX вв. «русским взглядом» на репрезентацию Российской империи: «...в случае с созданием образа “русского народа” как “своего” воображение художника подчинялось иным когнитивным процедурам и воплощалось в иных дискурсивных единицах и категориях. С одной стороны, чтобы изучать и понимать этнические компоненты, их предстояло выделить в себе, т.е. дистанцироваться от самого себя, сделать себя объектом анализа и усомниться в верности “естественного” видения. С другой стороны, художник наделял “свой народ” субъектностью и приписывал ему принципиальную непознаваемость, а также особую эстетическую ценность. И конечно, он настаивал на высоком месте “своего народа” на цивилизационной шкале»⁹⁸. Прошло около трети века – ситуация изменилась, но не кардинально. Субъектность собственного народа соотносилась с историей и простонародьем, сословная принадлежность социальных низов не была конкретизирована – ибо в отношении нерусских народов, инаковость которых воспринималась в категориях этничности, таких вопросов не возникало, но желание визуализировать их совместилось с необходимостью собирания и запечатления всего трактуемого как историческое и типичное.

Новая для того времени тенденция выражения разнообразия русских обликов и отличительности областного быта в подробных описаниях отдельных локусов – в границах отдельных уездов, губерний, городов и т.п.; их черты воплощались в обобщенных образах группы, представленных в одном человеке. Авторы «физиологий» и «типов» 1830-х – 1840-х гг., ставя своей задачей репрезентацию характерных/типичных образов, пошли именно по этому пути. Вопрос о способах и процедуре типизации занял значимое место в иллюстрациях к «физиологиям» – в частности, в рисунках и гравюрах, созданных в 1842–1843 гг. под руководством российского художника В.Ф. Тимма для сборника «Наши, списанные с натуры русскими» (1843). Наиболее известные его изображения содержались и во многих изданиях следующего десятилетия – например, в «Русском иллюстрированном альманахе» или в «Русском художественном листке»⁹⁹. В программе последнего специально подчеркивалось, что целью издания является «помещать все близкое русскому сердцу, все драгоценное для нашей русской жизни», «передавать все... в жизни русского народа», и в частности «сцены из русских нравов», «костюмы различных племен, населяющих Россию»¹⁰⁰. Подчеркнем, что этноним «великорус» здесь отсутствует. В списке опубликованных рисунков изображения «типов» и «костюмов» объединяют в одной рубрике как представителей



В.Ф. Тимм. Парень и девка.
Литография. 1843



В.Ф. Тимм. Господский кучер с женой.
Литография. 1843

разных нерусских народов Империи в костюмах, так и русских. Они статичны и в большей степени близки жанру «костюмов», а в рубрике «Характерные сцены» приведен список сюжетных композиций, в которых «русская» тема и зарисовки с натуры из жизни разноплеменных неславянских народов находятся приблизительно в равном соотношении¹⁰¹. Необходимо особо выделить «типы» и «костюмы», иллюстрации которых публиковались в 1858–1860-х гг., – они представляют обитателей различных великорусских губерний.

Важным требованием визуального и вербального текстов стала узнаваемость образов. Значимую роль в создании типов сыграли выполненные Р.К. Жуковским иллюстрации бытового характера (серия «Русские народные сцены», 1842–1843), где нашел воплощение мещанский и купеческий быт. В отличие от статичных и удобных для зрителя изображений Корнеева эти и другие образы создавались в соответствии с идеями физиогномики, поэтому в выражении лица, в фигурах, позах и жестах художники обнаруживали характерные социальные и антропологические особенности. Благополучие также отражалось во внешних приметах: они становились свидетельством процветания или бедности всей группы (профессиональной, сословной, племенной) в целом¹⁰².

Так, фигура сутулого чухонца говорила о его нелюдимости, угрюмости, забитости и суровости; опущенный взгляд белоруса – о тяжелой доле и угнетенности; солидный, полный, с заложенный за пояс рукой курляндец-латыш воплощал достоинство и довольство¹⁰³. На первом месте – приметы социальности, поэтому одежда, как правило, выбиралась праздничная или профессионально-повседневная («Парень и девка», «Господский кучер с женой»). На рисунках помещались вещественные атрибуты рода занятий или специализации, домашняя утварь не интересовала вовсе. Будучи перенесен на изображение типов, прямолинейно трактуемый принцип изоморфизма делал ненужными дополнительные детали: достаточно было тщательно прорисовать особенности лица, позы и одежды, акцентируя цветовую гамму, и указать на главные приметы хозяйственной деятельности, но не домашнего обихода. В подписях к иллюстрациям обязательной стала точная фиксация региона, губернии и рода занятий, но не этнической принадлежности. Сегодняшний зритель может идентифицировать изображения «парня и девки» или кучера как великороссийские типы, но, вероятнее всего, они не рассматривались таким образом современниками, будучи вписаны в более размытую категорию узнаваемых «своих».

*Описания жителей
великорусских губерний в 1850-х годах.
Локальное/социальное/этническое*

С созданием этнографического отделения Русского географического общества (1845) и особенно после издания в 1847 г. надеждинской программы сбора сведений о русской народности возросло число краеведческих описаний, выполнявшихся как волонтерами из числа уездного духовенства и интеллигенции, так и литераторами и учеными собирателями. Реализация программы Надеждина на практике приводила ко многим трудностям в сборе материалов и в их интерпретации¹⁰⁴. В первую очередь это было связано с кадрами собирателей – этнографов-любителей. В этой роли выступали все грамотные желающие, уездные и земские образованные слои: краеведы, военные, представители духовенства, дворяне, учителя, врачи, ссыльные и т.д. Каждый исходил из собственных представлений о том, что такое народ и народность, каковы их «умственные и нравственные» качества и какую информацию можно считать объективной. Таким образом, поставленная Надеждиным в программе задача могла быть выполнена лишь отчасти. Вопрос об интерпретации полученных сведений решался следующим обра-

зом: все присланные в РГО сведения о языке, быте и нравах народов Империи, составленные по плану программы или посвященные отдельным сферам «народной жизни», первоначально должны были быть систематизированы. Функции добровольных исполнителей программы ограничивались описанием народов строго по заданной схеме, интерпретация же возлагалась на ученых¹⁰⁵. Казалось, что регламентированное программой собирание материалов о русской народности по программе гарантирует объективный – т.е. научный – взгляд на исследуемые явления. Неквалифицированность собирателей воспринималась как достоинство, залог непредвзятого описания, «не замутненного» теоретическими воззрениями или иными пристрастиями. Впрочем, подобное суждение о ценности записок путешественников для этнографической науки высказывалось учеными и в XX столетии¹⁰⁶ – полученные от непрофессионалов сведения представлялись вплоть до середины XX в. более ценными для народоведения¹⁰⁷.

Н.И. Надеждин неоднократно требовал максимальной беспристрастности этнографического описания, которое не должно содержать размышлений наблюдателя. В этнографической инструкции к Камчатской экспедиции он подчеркивал, что необходимо излагать «в рассуждениях... впечатления так, как они будут... получаемы, не только без всякого украшения, но даже без всякого анализа»¹⁰⁸. Важно отметить следующее указание ученого, ясно демонстрирующее взгляды на миссию народоописаний и естественно-научный образец собираемых этнографических материалов – коллекции натуралистов: «Это будут факты столь же поучительные и благонадежные, как натуральные коллекции, рисунки и модели»¹⁰⁹. Таким образом, подразумевалось, что ответы на все обозначенные вопросы могут быть даны с помощью методов внешнего наблюдения. Этническая идентификация индивида или сообщества осуществлялась методом визуального определения – следовательно, внешний облик (физические параметры и костюм) и темперамент имели решающее значение, поскольку язык – главный этнодифференцирующий признак – не всеми мог быть установлен без дополнительной научной информации.

Однако оставался нерешенным вопрос о критериях объективности описания, претендующего на обобщение без реконструкции, на основании лишь внешнего наблюдения и сопоставления. Как показала практика собирания сведений по надеждинской программе, мало кто из добровольных этнографов-любителей задумывался об этих методологических трудностях своей работы. Особенно заметны были разночтения, касающиеся характеристики «нрава народа»: поведение, эмоциональный склад и темперамент отождествлялись с характером племени или с этнической самобытностью группы даже

тогда, когда собиратели сведений имели дело с жителями какой-либо местности или даже села, а не с представителями отдельных народов или этнических групп¹¹⁰. Типичным можно считать следующее определение, дававшееся автором жителям одного села: «Превосходство умственных способностей достаточно обнаруживается в искательности, необыкновенном соображении и сметливости в торговых оборотах, расчетливости и бережливости в домашнем быту»¹¹¹.

Конечно, статистические сведения, собираемые по специальному распоряжению военными топографами и офицерами Генерального штаба, были по уровню и особенно по характеру систематизации ближе к специально-научным. Но, с другой стороны, составители обозрений Российской империи по губерниям и регионам все же не ориентировались на специально-этнографические задачи исследования, поэтому их свидетельства вполне можно считать репрезентативными в плане отражения специфических черт жителей великорусской территории в контексте видения народности как этничности. Офицеры Генерального штаба на протяжении 17 лет создавали подробные описания Империи, целью которых было накопление статистических данных: топографические характеристики, природные и людские ресурсы, особенности ландшафта, пути сообщения, состояние сельского хозяйства, промыслов, ремесел, промышленности и торговли; сюда включались описания городов и разного рода учреждений и т.п., а также сведения о количестве, социальном составе и плотности населения. Обязательное описание делалось по строгому плану, отдельными пунктами были численность, сословная принадлежность и характеристика жителей – в том числе фиксация их племенного происхождения, внешности, нрава и «способностей». Поскольку обозрение осуществлялось по губерниям и областям, то в каждом из томов оказывались очерки о населении одной или нескольких губерний. Эти свидетельства позволяют рассмотреть содержание и способы описания «своего». В очерках губерний, относящихся к группе великороссийских (Московская, Владимирская, Рязанская, Тульская, Орловская и Калужская) и потому считавшихся населенными в основном (хотя не исключительно) великорусами, наблюдаются несколько важных тенденций.

Во всех фиксируются «следы» давней метисации славян и финнов, которые «заметны» наблюдателю во внешнем облике и характере. Офицеры оценивают процесс смешения однозначно негативно: это – ухудшение породы, так как главным достоинством является ее «чистота». В качестве сохранившихся выделяются две разновидности физического типа: возникший в результате смешения и не подвергавшийся ему либо подвергшийся в незначительной степени. При этом признаки «своего» – т.е. славянского («чистые» славяно-руссы), и чужеродного – в данном случае финнов, смешавшихся со славянами, до-

вольно четко оцениваются как противоположные и структурируются следующим образом. Приметы физического облика – через оппозицию красота/уродство; соответствующие им свойства темперамента и умственных способностей – через оппозиции лень/энергичность, медлительность/ловкость, сметливость/тугоумие, стремление к знаниям/невежественность: «В пределах Владимирской губернии жили в древности... мурома и меря (чудь). В IX веке оба эти народа покорены... славяно-руссами... Они должны были слиться с ними и навсегда потерять свой отдельный национальный характер... Время не могло совершенно изменить одного – наружного вида, и, действительно, тип финского племени и народа мурома, сходного с ним, сохранился еще в некоторых местах: уродливы, малорослы и носят на себе известный отпечаток финского племени; вторые отличаются хорошей наружностью, правильными чертами лица, представляя вполне... тип славяно-русса. Первые... ленивы, невежественны... вторые – сметливы, ловки, деятельны, известны по всей России своей красотой и смышленостью. Первые – потомки мурома и меря, смешавшегося с русскими поколениями, вторые – потомки славяно-руссов, переселившихся из Новгородской земли»¹¹². Не совсем понятно, считает ли автор потомков Несторовых финских племен русскими/великорусами или же убежден в том, что они и доныне – финны.

Таким же образом представлены обитатели Рязанской губернии в «Материалах для географии и статистики» Российской империи¹¹³ в следующем десятилетии. В томах о великороссийских губерниях лейтмотивом остается сравнение некрасивого финна и его потомков, в незапамятные времена смешавшихся со славянами. Более того, принцип изоморфизма действует неукоснительно: обнаружение «некрасивой породы» приводит к идентификации сообщества или характерной внешности как финской, которой противостоит образ красивой и крепкой славянской «породы». И здесь просматривается стремление автора очерка о Рязанской губернии выделить «виды» населения по нраву и облику. В итоге он указывает на три разновидности, четко локализованные в границах губернии (они непременно должны были легко соотноситься с картой), – это типы центральной части губернии на берегах Оки, приграничной «степной» и примыкающей к Мещерской стороне: «Великорусская порода обитателей Рязанской губернии, отличающихся вообще хорошим ростом, крепким сложением, красотой типа и оживленностью движений, более всего проявила своих достоинств в жителях Рязанской стороны и в особенности в прибрежных к Оке селений. ...Население степной стороны уже не столь росло, крепко и красиво, как рязанское, и причиной тому образ жизни степняка-земледельца... [в нем] нет уже той развязности и живости... но зато в них более развиты нравственные достоинства... кротость и тихость нрава... но далее к северу... в жителях Мещерской

стороны уже становятся заметны признаки их финского происхождения... Народ в этих местах... мелок, слаб, неразвит... (мещери – тип первобытный)»¹¹⁴. Здесь интересна взаимосвязь между суровым образом жизни рязанца-степняка и его патриархальностью, благодаря которой он сохраняет изначально присущую земледельцу кротость, но не обретает бойкости и живости более благополучных соседей.

Если жители бесспорно великорусского территориального центра столь «пестры» по физическому облику, то описания обитателей отдаленных от этого этнического ядра, но также претендующих на причисление к великороссийскому региону губерний призваны подчеркнуть еще более очевидные (как кажется описателям) признаки финно-угорского типа: сельские «жители Тверской губернии... не представляют в нравах и быту своем почти ничего отличного от обитателей других великорусских губерний»¹¹⁵, однако «наружным видом более отличают финское, чем славянское происхождение. Нельзя объяснить одним только влиянием климата и местных причин разницу, замечаемую между ними и чисто русскими обитателями других губерний. Вероятно, другие финские племена весь и меря, обрусев и утратив коренной язык свой... образовали большую часть народонаселения»¹¹⁶; они «среднего роста, чаще переходящего в низкий, цвет волос рыжеватый, у детей совершенно белый, глаза серые, небольшие, нос весьма редко правильный. Все эти характеристические принадлежности финского племени еще более явственны между женщинами»¹¹⁷. Обнаруживается и такой важный признак финно-угорского происхождения, как честность («воровство весьма редко по деревням»¹¹⁸). При этом соседи финно-угров – великорусские крестьяне восточных уездов Костромской губернии – охарактеризованы лаконично, но резко негативно: «малорослы, уродливы, ленивы и невежественны»¹¹⁹.

Чем севернее расположена губерния от Окского бассейна, тем явственнее проступают черты первых славян, какими они виделись в середине XIX в. своим потомкам, – тех самых красивых, сильных, смысленных и предприимчивых славяно-русов, воплотивших многие свои черты в обитателях бывшей Новгородской земли. Уже в Вологодской губернии этот тип проявлен более отчетливо: «В массе населения... находится... значительная чисто русская примесь, которая колонизировала этот край под влиянием различных обстоятельств»¹²⁰ (начиная с XI–XII вв.). В городах живут главным образом именно потомки предприимчивых новгородцев. Но «чем далее, начиная от южной и западной границ губернии, углубляемся вовнутрь ее, тем более и более открываем в жителях приметы финского происхождения их... Жители уже явно носят на себе следы неславянского происхождения в физическом отношении – низкий рост, неправильные, лишенные всякой выразительности черты лица; в нравствен-

ном – отсутствие умственной энергии, совершенное равнодушие к устройству своего быта, злопамятство, недоверчивость и вместе с тем строгая честность, – все те же качества, свойственные вологодским поселянам, гораздо чаще замечаются между финскими племенами, чем между народами славянского происхождения»¹²¹. В основе характера вологодского «поселянина» – «привязанность к старине и отвращение от всякого движения вперед», «из которого проистекают все добрые и дурные качества его. Корыстолюбие, зависть, недоброжелательство к ближнему не помрачают здесь тех прекрасных свойств, которыми русский простолюдин так щедро одарен природой... добродушен и кроток, но груб в обращении, неприветлив к незнакомцам и подозрительно смотрит на него»¹²². Впрочем, встречаются и иные мнения: «...здешние жители сложения крепкого, роста невысокого, большею частью белокуры», «выражение лица довольно приятное, особенно у женщин»¹²³.

Наиболее позитивным и самым привлекательным физически представляется великорус еще более северный – житель Олонецкой губернии. И хотя «между русскими жителями Олонецкого края заметно в образе жизни и в обычаях сходство с поселянами великороссийских губерний»¹²⁴, им присущи свои особенности, обусловленные именно регионом и природой края: «...олончане все крепкого сложения, роста среднего, большею частью белокуры, как все северные жители. Отличительные нравственные качества населения: сметливость, твердость в слове, гостеприимство и честность. Это последнее качество сильно развито в северных жителях»¹²⁵. Присущее северянам чувство собственного достоинства, чистоплотность и благосостояние, по мнению описателей, неизвестны «типичному обитателю» великороссийских губерний: «При первом взгляде на олончанина он покажется грубым, неохотно отвечает на вопросы и вообще держит себя довольно гордо. В этом отношении он несколько не похож на крестьянина великороссийских губерний. Гостеприимством олончане славятся... живут большей частью хорошо и зажиточно... большие чистые избы... ведут жизнь даже роскошную для своего быта»¹²⁶.

Авторы данных характеристик, как видим, не оперируют этнонимом «великорус» или «великороссияне», хотя таковые и встречаются в обозрении некоторых других губерний (например, в очерке о Ярославской губернии указывалось, что население «принадлежит к коренному великороссийскому племени»¹²⁷). Доминирует наименование жителей по регионам и сравнение их с населением «великороссийских губерний», которое в данном случае выступает как образцовый (но не идеальный) этнокультурный тип, основа для сопоставления и выявления различий. Эти областные разновидности крестьянства представляют множество вариаций физического склада, внешности и нрава, которые обобщаются и осмысливаются в ан-

тропологических, как определили бы мы сегодня, категориях эпохи. Вариативность интерпретируется как результат расовых/этнических смесей в разных пропорциях. Стремление выявить «чистый» славянский тип опирается на визуальное внешнее наблюдение, а также на существующие представления о физических чертах предков восточных славян (сформированные на основе сведений о древних славянах) и об общих чертах облика современных финно-угорских народов. В итоге составить представление о том, каков характерный облик великоросса, почти невозможно, однако ясно, что в идеале авторы хотели бы видеть его именно славянским – по крайней мере, исходя из той совокупности признаков, которая для них ассоциируется со славянами: сильный, крепкий, выносливый, с чувством собственного достоинства и благоденствующий. Среди перечисленных подобный тип отчетливо присутствует лишь в Олонецкой губернии. Таким образом, «местонародные отличия», как назвал эти локальные инварианты великорусскости Н.И. Костомаров (1863)¹²⁸, довольно легко устанавливались средствами внешнего наблюдения; в вопросе определения этничности преобладали антропологические факторы.

*Понятия «тип» и «типичное»
в 1860-х – 1900-х годах.
Трансформация методов*

Новый этап употребления слова «тип» современные исследователи относят к 1850-м гг., когда оно «тесно сближается семантически со словом “образец”, обозначает предмет или лицо, характерное по своим признакам для ряда предметов и лиц»¹²⁹. В «Настольном словаре...» (1863–1866) говорилось: «Тип отличается от идеала тем, что в подробностях не представляет совершенства, а стремится сблизиться с действительностью»¹³⁰. В словаре Ф. Толля было подчеркнуто отличие типа от идеала (идеального типа, как бы мы сказали сейчас): тип воплощает как позитивные, так и негативные качества представляемого им объекта. При этом его важнейшими составляющими выступали два «показателя»: с одной стороны, общность, а с другой – отличительность (характерность) черт. Последние дефиниции очевидно сближают тип с современной его интерпретацией, которая четко отличает идеал от «идеально-типической конструкции», создаваемой «искусственно». Таким образом, применительно к социальной группе тип понимался как представитель, обобщенное лицо, персонаж, представляющий (репрезентирующий) реально существующее сообщество. Иначе говоря, начиная с середины столетия происходит существенное переосмысление типа и способов типизации: тип понимается теперь как результат

конструирования, а не как точное воспроизведение реальности. При этом определение «типичный»/«типический» во второй половине XIX в. часто заменялось прилагательным «характерный» – т.е. воплощающий «совокупность отличительных свойств, качеств или недостатков предмета, лица или действия»¹³¹.

Двенадцатитомный Справочный энциклопедический словарь определял тип в его начальном и привычном для 1830-х – 1840-х гг. значении¹³²: это «собрание... главных черт, общих... видоизменениям»¹³³. Более краткие и популярные словари иностранных слов трактовали «типический» как «своеобразный», «обособленный», а тип – как «самобытное качество»¹³⁴. По В.И. Далю, «типичные, или типические» лица или образы – значит «резко очерченные, выразительные, первообразные»¹³⁵. Такое определение дает основание полагать, что прежний комплекс этнических черт, представленный в характеристиках русского народа 1830-х – 1850-х гг., соотносился с явно идеализированным образом. Действительно, использование термина «тип» в этнографической и параэтнографической литературе тогда и позже требовало хотя бы минимальной аргументации. Так термин в повседневном словоупотреблении упрощается, его значение сводится к отличительности. Типичность человека или группы трактуется как наделенность чертами, олицетворяющими непохожесть, различия¹³⁶.

Применительно к социальной группе «тип» понимался как лицо, персонаж, представляющий это реально существующее сообщество. Однако трудности возникали тогда, когда появлялась потребность в его репрезентации: всякий ли индивидуум несет в себе все характерные черты группы и справедливо ли такое утверждение в отношении сообществ любого рода? Необходимо было путем сравнения выявить особенные черты или признаки общности. Нетрудно заметить, что при такой трактовке терминов процедура определения народности или национальности вполне могла быть сведена к выявлению народно- или национально-типичного.

В процессе концептуализации народности в различных областях интеллектуально-научной и общественной мысли один из самых спорных для 1850-х – 1860-х гг. методических вопросов был вопрос о соотношении индивидуального и социального. Его решение зависело от различающихся инструментов анализа и реконструкции, но в условиях господства теории антропогеографии еще не подвергалось сомнению то обстоятельство, что человеческие сообщества суть такой же продукт географо-климатических условий, что и другие элементы живой природы, поэтому индивидуальные различия (особенности внешности, характера, поведения, образа жизни) попросту игнорировались. Разумеется, эти построения касались только социальных низов, «назначенных» адекватными репрезентантами

коллективных особенностей. Закономерным следствием становится и значимое отсутствие интереса к самоидентификации отдельных членов сообщества, воспринимаемого как этническая единица (он, как уже говорилось, сформировался только в середине 1870-х гг.).

Стремление найти баланс в типизации возникло еще в 1840-х гг. – на наш взгляд, его впервые сформулировал К.Д. Кавелин, однако оно несколько опередило время и потому осталось «незамеченным» в этнографическом дискурсе. Историк писал в 1847 г.: «...когда мы говорим, что народ действует, мыслит, чувствует, мы выражаемся отвлеченно: собственно, действуют, чувствуют, мыслят единицы, лица, его составляющие»¹³⁷. С популяризацией идеи органицизма, которые разделяли в том числе и славянофилы, концепт «народная личность» начинал обретать свойства термина. Ап. Григорьев в 1860-е гг. разделял «народ в обширном смысле» (его значение соотносилось со значением слова «нация») и «народ в тесном смысле» (простонародье – та часть общества, которая пребывает «в непосредственном, неразвитом состоянии»). «Под именем народа в обширном смысле разумеется целая народная личность, собирательное лицо, – слагающееся из черт всех слоев народа, высших и низших, богатых и бедных, образованных и необразованных, – слагающееся, разумеется, не механически, а органически, носящее *общую, типическую, характерную физиономию* (выделено мной. Обращаю внимание на использование автором всех важнейших понятий данного семантического поля. – М.Л.), физическую и нравственную, отличающую его от других, подобных ему собирательных лиц»¹³⁸, – писал он. В этом случае «народная физиономия» русских выражала народность как национально-русскую отличительность, но не в том смысле, который вкладывали в народность Н.И. Надеждин и этнография этого времени, а как племенная специфика трех «отраслевых» вариантов русскости. Русский тип по Кавелину и Григорьеву носил внесловный характер и соотносился с государственно-исторической общностью России.

Н.И. Костомаров в своем известном докладе о соотношении этнографии и истории (1863) пытался сформулировать это исследовательское противоречие, критикуя распространенные способы типологизирования. Он считал, что неверно отождествлять индивидуальные свойства характера и черты социальной общности или стереотипы поведения: «Упоминаемые при одном каком-либо случае черты, признаваемые постоянными признаками; то, что было достоянием характера отдельного лица, относили и к характеру эпохи; относившееся к одной провинции переносили на целый край или же признавали частным признаком местности общие черты быта, из одного века переводили в другой, не уловляя разницы веков»¹³⁹.

Но все же в научно-популярной и учебной литературе преобладала архаическая точка зрения, согласно которой племена и народы

обладают «физиономиями» – т.е. оригинальными чертами своей натуры. Их физические и духовные различия рассматривались по аналогии с индивидуальными свойствами и все так же именовались «народными личностями»: «...теперь... наука... признала необходимым взглянуть на племена и на народы не только как на нравственные, но и как на физиологические личности. Тогда открылось, что они подлежат тем же самым условиям быта, тому же самому закону развития, как и личности отдельных людей или особенности отдельных семейств. У тех и у других есть типическая физиономия, преобладающий темперамент, характер, наследственные качества, пороки, болезни»¹⁴⁰. При этом «народы исторические» наделялись большей индивидуальностью, т.е. яркостью определенных черт: «...чем выше народ, как и отдельный человек, и чем богаче его историческая жизнь, тем резче его индивидуальность»¹⁴¹.

Этнографический и физический типы

В словарях последней трети XIX в. «типический» объясняется как «своеобразный», а «характеристический» – как «отличительный», «особенный»¹⁴². Особое место термин «тип» занял в естественнонаучных дисциплинах; в частности, стал центральным в формировании концептов «ландшафт» и «регион» и методологических принципов их выявления¹⁴³. А. Гумбольдт, разработав концепцию ландшафта, признал его главной географической единицей с четко выраженными естественными границами, устанавливаемыми исходя из природных факторов¹⁴⁴. Хозяйственная деятельность, антропологический облик, быт и историческое развитие населения, по мысли Гумбольдта, определяются ландшафтом и изменяются вместе с ним. Понятие «типичное» оказалось центральным в формировании ландшафтной теории.

Тип ландшафта реконструировался на основании комплексного изучения и последовательного сравнения отдельных его элементов. Это невозможно без обращения к методу типизации, поскольку ландшафт в сущности и был «типической местностью»: «...география имеет дело не с одними типическими формами, которых немного, но с постоянным переходом этих форм и их смешений одних с другими. Замечать этот переход, показывать, где характер одного типа начинает исчезать, другой – преобладать, в каких явлениях выражаются эти перемены... вот в чем состоит задача географа-наблюдателя. Верно записать этот процесс – дело путешественника, понять его законы и выразить его смысл – дело географа»¹⁴⁵. Важно отметить, что и в этой трактовке типа большое значение имело визуальное единство элементов, а «картины», т.е. изображения различных видов природы, трактуемые в качестве типичного пейзажа

региона или области, включались как в географические, так и в этнографические научно-популярные издания.

Если в словарях и в научном лексиконе географии того времени понятия «тип» и «типичное» трактовались как выражающие общее и особенное одновременно, то в других естественно-научных дисциплинах – в антропологии и народоведении – вокруг определения типа велась бурная полемика. В этнографии, которая вплоть до конца века считалась органической частью географии, а с 1880-х гг. – и элементом антропологии, дискуссиями сопровождался вопрос о критериях классификации народов. Формальные признаки этнической общности были определены в первой трети столетия по внешнепризнаковому критерию и не вызывали сомнений: это язык, особенности внешнего облика (уже с 1870-х гг. вполне точно описываемые методами измерения физической антропологии) и быта, а также психические черты (нрав народа). На практике же собиратели сведений оказывались неподготовленными, для них трудно было однозначно определить, на каком языке говорят представители исследуемой общности, какой расовый или этнический тип она представляет.

Проблему этнографического типа можно считать менее дискуссионной, хотя определенность термина не стала гарантом однозначного его «выбора». Трудность заключалась в соотношении двух понятий – «антропологический тип» и «этнографический тип». Не подвергавшееся начиная с 1830-х гг. критике убеждение в том, что только так называемый простой народ – крестьянство – воплощает характерные черты народа (племени, «отрасли» народа или племени, «ветви» народа, его «элемента» и т.п.), поскольку в меньшей степени подвержен изменениям, обусловленным модернизацией в материально-технической и культурной сферах, – теперь начинает переосмысляться.

Историко-этнографические исследования великорусского региона до 1850-х гг. свидетельствовали о том, что горожане, купцы и мещанство в целом во многом сохраняют черты и уклад старинного русского (т.е. допетровского) быта. Эти группы лучше, нежели крестьянство, представляли антропологический великорусский тип в его славянской чистоте. Этнограф и антрополог И.Д. Беляев, задавшись вопросом о том, какое сословие считать наиболее репрезентативным («чистым») носителем великорусского этнографического типа, проанализировал историю складывания всех сословий русского общества в аспекте смешения различных этнических компонентов и культур. Он пришел к заключению, что «крестьянское сословие вообще, несмотря на его великорусский характер, мудрено признать представителем чистоты великорусского типа в этнографическом отношении»¹⁴⁶. Исследователь доказывал, что ни одно из сословий современного русского общества не является таковым, однако в наибольшей

чистоте великорусский тип сохраняется в «коренных горожанах старых русских городов и в тех крестьянских общностях, которых прикрепление к земле застало в местностях давно обруселых...»¹⁴⁷.

Начиная с 1890-х гг. городские низы включались в этнографические программы изучения «народа», составленные, в частности, для изучения обычного права: «...при собирании сведений об обычаях и воззрениях как *народных* (выделено автором. – М.Л.) следует под именем “народа” в вопросах программы разуметь не одних сельских обывателей или крестьян, но и другие классы населения, насколько в их быту и правосознании можно подметить воззрения, чуждые высшим культурным слоям общества: замечено, что в среде мещан, торгующих лиц и т.п. нередко встречаются те же взгляды и обыкновения, какие свойственны сельскому населению»¹⁴⁸. Такое весьма общее понимание «народа» как представителей общественных групп, невключаемых в слои «образованных» или «культурных» людей¹⁴⁹, разумеется, не только затрудняло задачу интервьюера (число получивших начальное и среднее образование крестьян и горожан в то время значительно увеличилось), но и не давало методологической возможности выявить этнокультурный тип.

Образ жизни некрестьянского сословия скорее можно определить словами В.И. Даля, который, разрабатывая принципы собирания великорусских говоров и столкнувшись с серьезным вопросом о социальной принадлежности их носителей, именовал наречие нестоличных русских горожан «галантерейным» или «приказным»¹⁵⁰. Аналогичные сомнения вызывала у фольклористов идентификация тех информантов, которые должны были «поставлять» народные сказки, песни, пословицы. Так, И.Я. Рудченко, собиратель южнорусских сказок, специально оговаривал включение в издание тех текстов, которые записывались в «промежуточных слоях общества»: они «созданы полуграмотной, лакейской или солдатской жизнью», но могут тем не менее рассматриваться как произведения устного народного творчества¹⁵¹. Подобное видение возникло лишь в 1870-х гг. (в частности, благодаря трудам А.Н. Веселовского¹⁵²), когда словесность начала интерпретироваться не как прямое отражение древнего нрава и быта, но как совокупность «разных исторических напластований». Таким образом, исследователи признавали ценность относительно новых и даже современных народных произведений, которые в состоянии репрезентировать новый образ жизни крестьян – отходников, уехавших на заработки в город, занимающихся торговлей, предпринимательством. Условием такого пересмотра строгих сословных критериев «народности» в фольклоре стало включение в исследовательский арсенал новых, исторических методов его изучения¹⁵³. В этнографических описаниях 1870-х – 1880-х гг. было поставлено под сомнение отождествление народа/этноса лишь крестьянским сословием.

Этническая и антропологическая типологии понимались как не связанные друг с другом, но зачастую отождествлялись. Это зависело от интерпретации прежде всего этнической типологии. Если физические, именуемые «расовыми», параметры облика были сравнительно точно определены для конкретной общности или внешний облик региональных типов не очень сильно разнился, то, как правило, говорилось об этнических типах – в словаре эпохи они именовались «этнографическими». Однако в тех случаях, когда антропологические (например, краниологические) различия были значимыми для выявления степени метисации или этногенеза в целом, – доминировала антропологическая типология. Так происходило, в частности, при разрешении вопроса о различиях восточнославянских «ветвей» – великорусов, малорусов, белорусов. Когда антропологический и этнографический типы отождествлялись, олицетворением типичного мог стать представитель определенной группы, обладающий характерными параметрами.

Подчас под антропологическим типом понимался тип физический («телесный вид и сложение») – его олицетворением мог стать представитель определенного сообщества, обладающий характерными внешними признаками группы. Д.Н. Анучин в 1890-х гг. полагал, что в процессе определения типов большую роль играют и другие факторы, дополняющие антропометрические параметры, – такие как темперамент и характер (антрополог разделял их как врожденные и приобретенные свойства), а также «известные черты духовного склада», «способные отчасти отразиться и на этнографических особенностях»¹⁵⁴. При этом он настоятельно подчеркивал, что антропологические типы не тождественны этнографическим (племенным), поскольку являются продуктом не биологического развития, а культурно-исторических воздействий. Доминирующую роль в выделении этнографических типов, помимо общности языка, играют «бытовые... особенности, религия, семейный и общественный строй, характер жилищ, костюма», развитие промыслов, искусств, словесности. Именно поэтому одинаковые либо родственные физические и этнографические типы могут включаться в состав разных государственных образований или составлять разные народности. Таким образом, выявление антропологического типа было связано с визуальным анализом внешних параметров человеческих тел, а определение этнографического типа требовало дополнительных знаний и процедур, хотя основным признаком идентификации продолжал оставаться язык. Необходимо подчеркнуть, что вплоть до 1870-х гг. – до появления трудов В.Д. Спасовича и А.Д. Градовского – самоопределение описываемого объекта (за исключением эндонима и признания родного языка во Всеобщей переписи 1897 г.) вообще не принималось в расчет¹⁵⁵.

Визуализация типов. Великорусы

Рассуждения этнографов и антропологов о великорусском типе в 1860-х – 1880-х гг. отражали не только суть научных дискуссий, но и наиболее характерные тенденции поисков «этнического великоруса». Общеизвестным стало утверждение, что великорусы, в отличие от других восточнославянских/русских племен, не имеют однозначно определенного типа, представляя множество региональных вариаций даже в области формирования своего этнического ядра, т.е. в коренной России; что же касается окраин европейской части Империи и тем более Сибири – обнаружить там единственный типаж и вовсе не возможно: «...большая примесь инородческой крови в жилах великорусской народности... отражается заметно на типе великороссов, вследствие чего о единстве типа трудно говорить»¹⁵⁶. В той же энциклопедической статье Д.Н. Анучин утверждал, что единство этнографического типа «русских» в антропологическом отношении представляет собой «ряд типов, распространяющихся за пределы русской территории и вообще не зависящих от политических и историко-культурных условий»¹⁵⁷.

В 1862 г. в Санкт-Петербурге был издан роскошно иллюстрированный альбом Густава-Теодора Паули «Этнографическое описание народов России» (чаще его называли кратко: «Народы России»). Он был создан прежде всего для европейской публики (текст на французском, подписи по-французски и по-русски)¹⁵⁸. 62 рисунка для него были сделаны главным образом с натуры, отчасти – с использованием материалов коллекций Русского географического общества, обширные тексты писали ученые-этнографы (в частности, К.М. Бэр и Р.Ф. Эркерт)¹⁵⁹. В современном переиздании приведены лишь небольшие фрагменты-выдержки из обширного этнографического описания народов Российской империи; они не позволяют составить точное впечатление о характере приводимых сведений, но адекватно отражают схему изложения. В описании содержится информация о месте народа в языковой и этногеографической классификации, о главных вехах истории в связи с формированием российской государственности, о климате, религии, характерных чертах физического и «нравственного облика», а также о соотношении между данным народом и «господствующим племенем» великороссов. Например: «Внешностью поляки сильно отличаются от великороссов: голова у них меньше, они не столь рослые, черты более тонкие. Им не хватает той особенной гармонии – если так можно выразиться – между душой и телом, своего рода уверенности, которой в известной мере обладают великороссы»¹⁶⁰. Сами великороссы описываются так: «Русская нация в корне своем славянская, но формирование ее произошло под мощным воздействием посторонних влияний. Это выдающаяся, однако весьма широкая религиозная, политическая и национальная

общность, которую нельзя рассматривать вне контекста стержневой государственной идеи, выраженной в слове “царь”. Русские – т.е. обитатели губерний великороссийских – люди, как правило, крепкого телосложения. Те из них, кто живет в отдаленных северных или восточных губерниях, а также в бывших польских провинциях, потомки беглых крестьян, сохранили нетронутым древний тип: они высокого роста, сильны, сложены атлетически, у них большие, выразительные глаза, благородные, ярко выраженные черты лица»¹⁶¹. Анализировать данный текст детально, не сопоставляя его с французским оригиналом, не имеет смысла (неясной остается в первую очередь проблема использования этнонима «русские» и определения «русские великороссийских губерний» во французском тексте), но рассмотреть визуальные образы великорусов это не мешает.

В альбоме содержатся четыре красочные гравюры, которые изображают великорусов, представляющих типы и костюмы разных губерний, объединенные в группы. Подписи под изображениями свидетельствуют о том, что перед нами «великороссияне», и их репрезентация осуществляется по губерниям. Гравюры расположены в такой последовательности: на первой изображены «великороссияне» неопределенных «центральных (во множественном числе. – М.Л.) губерний», на второй – крестьяне Владимирской, Нижегородской, Рязанской, Орловской и Тамбовской губерний; третья представляет многофигурную композицию из 11 человек в костюмах Псковской, Тверской, Смоленской, Калужской и Тульской губерний; на четвертой мы видим крестьян Воронежской губернии.

Явно преобладают женские изображения. Фигуры расположены таким образом, чтобы можно было рассмотреть детали костюмов; мужская одежда в большинстве своем повседневная (за исключением центральной фигуры первой гравюры, на которой мужик одет в праздничную рубаху), другие мужские персонажи помещены в основном на втором плане, некоторые – в праздничных головных уборах, другие – с непокрытыми головами, что позволяет разглядеть хорошо выписанные черты лица, рыжеватые волосы и бороды. Важно отметить, что во всех подписях под иллюстрациями указано: «великороссияне». Однако можно ли считать это аргументом в пользу того, что данное определение функционировало или сознательно использовалось авторами как этноним?

В этом фолианте нашли отражение характерные особенности этнографических репрезентаций 1860-х гг., сложившиеся в связи с разработкой категории «народность» и программ этнографических описаний. *Первая* заключалась в преобладании исследовательского интереса к так называемой духовной культуре, общественному и нравственному быту (языку, фольклору, обычному праву, институту общины и т.д.) – в ущерб изучению элементов материального быта. *Вторая*

была связана с идеализацией носителя этничности: крестьянство, которое и раньше воспринималось в качестве представителя этнического своеобразия, объявлялось теперь обладателем не только типичных свойств своего этноса, но и хранителем архаических форм культуры, «чистых» физических черт, а также неизменных патриархальных и христианских добродетелей¹⁶². Мы не увидим реальных деталей материальной культуры, все они лишь намечены и обобщены, на первом плане – все те же костюмы и типы в духе 1840-х – 1850-х гг. Различий, на наш взгляд, всего два: в качестве типов избраны только и исключительно крестьяне и в их облике значимое место уделено антропологическим особенностям (лицам).

В репрезентации народов Паули больше изображений восточных славян («русских») Империи, чем в предыдущих аналогичных альбомах. Это обусловлено активизацией изучения «своего» крестьянства – его региональных особенностей, разнообразия внешнего облика и форм быта, диалектов и обрядности, а также освоением имперского пространства в географическом и этнографическом отношениях. Жанровые сценки очень условны, и они мало интересуют художников, хотя многие зарисовки сделаны с натуры, зрительское внимание приковано к одухотворенным и идеализированным лицам (как у Корнеева), а в одежде и весьма малочисленных вещественных атрибутах заметна тенденция к представлению типично-обобщенного; однако особенности ландшафта и жилища все же обозначены некоторыми деталями, зачастую условными (избы Великороссии, костелы Польши, скалы Финляндии). Важно отметить, что именно в альбоме Паули в многочисленных иллюстрациях, изображающих великорусов разных регионов, отчетливо выразился этап формирования общеэтнического (как протонационального) облика как собирательного, сконструированного из различных локальных/региональных, начало которого связывают с 1840-ми гг. По-прежнему выделяется несколько типов великорусов, но они не столько региональные в строгом смысле, сколько (как и в Военно-статистическом обозрении) соотносятся с конкретной «местностью» в структуре административного деления – т.е. с губерниями и уездами. Создается впечатление, что наблюдатель как бы опасается комплексных обобщений или не видит общих черт: разнообразие костюмов, особенно женских, не дает оснований усматривать типологические сходства – особенно тогда, когда методика этнографической идентификации опирается в первую очередь на этнодифференцирующие черты. Перед нами – каталог локальных образов.

Представители «великороссиян центральных губерний» изображены в живописной группе (трое крестьян и две крестьянки разного возраста): на первом плане – бородатый мужик в высоких сапогах и красной косоворотке навывпуск играет на балалайке, рядом – томная



*Великороссияне центральных губерний.
Гравюра. 1862*

девушка в белоснежной рубахе с пышными рукавами и в таком же белоснежном переднике, ее образ более напоминает женские портреты 1840-х гг. с этническим колоритом или типичные изображения кормилиц (справедливости ради нужно отметить, что фотографии аналогичных женских образов – правда, из северных губерний – встречаются в коллекциях этнографических фотографий и в 1890-х гг.). Они помещены на фоне крестьянской избы, но облик и костюмы выдают в них городских жителей – быть может, это призвано свидетельствовать об активном развитии отходничества, которое в этнографических описаниях великорусов того времени

упоминалось всегда и интерпретировалось как значимая черта, отличающая их от малорусов. Вполне правомерна и другая гипотеза: выделить типичные приметы великоруса (рубаха, балалайка), которые в конце столетия будут восприниматься как национальные признаки русского крестьянина. То есть как бытовая, жанровая зарисовка данная иллюстрация попросту «не работает».

В пользу второго предположения – аналогичное стремление авторов живописных изображений в альбоме Паули к фиксации одного или нескольких материальных атрибутов этничности применительно к инородческим (т.е. неславянским) народам Империи. Так, финн (в изображении финнов Санкт-Петербургской губернии и финнов Финляндии) «получает» неизменные для него и позже трубку и шляпу, ижорец – плетень, а ижорка – туес для сбора ягод (так как в числе наиболее распространенных в этой среде промыслов были извоз в Петербурге и торговля ягодами)¹⁶³. Но без подписи зритель зачастую не может верно определить этническую принадлежность обладателей костюмов.

Сарафан и кокошник в альбоме Паули обозначены еще не как типично великорусские элементы женского образа в целом (такое



*Великороссиянки Псковской,
Тверской, Смоленской, Калуж-
ской и Тульской губерний.
Гравюра. 1862*



*Великороссияне
Воронежской губернии.
Гравюра. 1862*

представление будет доминировать уже в 1870-х гг., а в конце столетия войдет в канон национально-русского женского костюма¹⁶⁴), а лишь как его разновидность (илл. «Великороссиянки Псковской, Тверской, Смоленской, Калужской и Тульской губерний»). Женская одежда Воронежской губернии (илл. «Великороссияне Воронежской губернии») заметно отличается по фасону и по цветовой гамме от нарядов крестьянок Нижегородской, Рязанской и Орловской губерний, причем зачастую в них явственно влияние соседних тюркских и финно-угорских народов.

Еще одна особенность касается подписей под иллюстрациями – эта существенная для истории этнической классификации эпохи деталь была полностью проигнорирована в современном (2007) переиздании альбома. В подписях (за очень редким исключением) указан этноним, а ниже – конкретный географический ареал, в котором были произведены зарисовки; русский и французский тексты идентичны. Существенная замена в переводе подписи к гравюре с образом малороссиян: подпись на русском языке – «малороссы (украинцы)», а по-французски они именуется «русские Украины (малороссияне)». Есть основание предполагать, что этнические номинации в источнике рассматривались как основные, а региональные типы – как инварианты единой общности. Этот очень важный и далеко не формальный аспект был по-другому интерпретирован еще в одном проекте издания иллюстраций с изображением представителей народов России, реализованном современниками Паули и ориентированном на более широкие круги общества (ведь альбом Паули стоил около 300 рублей и потому был доступен немногим).

Когда в 1887 г. журнал «Россия» (после более ранней попытки опубликовать некоторые из иллюстраций фолианта Г.-Т. Паули в черно-белом варианте, в одном томе и в ряде выпусков «Народы России. Живописный альбом», 1877–1878¹⁶⁵) решил еще раз переиздать красочные гравюры в приложении к журналу в качестве пособия для учебных заведений, то, несмотря на уверения («редакция... вошла в соглашение с лучшими этнографическими собирателями и первоклассными музеями для пополнения пробелов, найденных в сборнике Паули»¹⁶⁶), изображений великороссиян как типа, репрезентирующего жителей великороссийских губерний, в нем не оказалось. Они не были представлены ни в качестве региональной группы восточных славян, населяющих пространство Великой России, ни как «племенная отрасль» русского народа. В приложении к «России» их изображения включены в виде комплекса локальных образов, четко привязанных к 11 губерниям, включаемым, как было показано во второй главе, в великороссийский ареал и именуемым по их названиям («архангельцы», владимирцы, вологодцы, вятичи, калужане, костромичи, ярославцы, рязанцы, нижегородцы, смоленцы и тамбовцы). Упо-



*Девушки великорусских губерний.
Фото. 1887*

минались также уральцы и донцы – имелись в виду казаки этих областей (ведь казачество в целом рассматривалось как «часть русской народности»). При этом в перечне изображений присутствуют, в частности, малорусы, «харьковцы» и киевляне, сербы, самоеды, армяне, но также, например, великополяне и краковяне, ковенцы, подолицы¹⁶⁷. Показателен как набор локальных типов, так и отсутствие этнонимов для обозначения других славянских групп, в частности поляков, или же явно неэтническое, а региональное – судя по списку – наименование «малороссияне» при отсутствии, например, «украинцев». То есть в данном проекте более значимым оказывался региональный тип, а не обобщенный представитель этнической общности – в то время как в альбоме Паули были и великороссияне, и «поляки разных губерний», и малороссы (украинцы).

Такое представление о репрезентации народов России (притом в 1887 г.) весьма значимо, но точно интерпретировать его довольно трудно – очевидно, что оно вступает в явное противоречие с широко распространеннейшей к тому времени концепцией описания народов по этническим группам, вычленяемым на основании языковой принадлежности и в поле принятых лингвистических классификаций. В данном же случае региональное своеобразие и этническая специфика

если и не отождествлялись, то, во всяком случае, соплагались как равноуровневые элементы – это произошло, как можно думать, под влиянием неверно понятой иллюстративной части альбома Паули.

Дискуссия о великорусском типе в связи с Этнографической выставкой 1867 года в Москве

Не останавливаясь подробно на том, как решалась проблема великорусского типа (одна из наиболее спорных в теоретическом отношении) в организационно-научном изучении и в антропологических репрезентациях¹⁶⁸, отметим, что вопрос о его «избрании» оказался в центре дискуссий в ходе подготовки Этнографической выставки 1867 г. в Москве. В процессе разработки концепции экспозиции и подборки материалов было принято решение, что выставка будет состоять из трех отделов – антропологического и двух этнографических: а) «изображающего племени, населяющие Россию и соседние с ней славянские земли» (включал три отдела: инородческие, восточнославянские и западно- и южнославянские народы) и б) отдела общей этнографии (народов мира)¹⁶⁹. Манекены, представляющие различные народы Земли и Российской империи в их естественной бытовой и природной обстановке, должны были быть созданы по фотографиям и «бюстам». Далее по ним художникам следовало выполнить лица и фигуры. Комитет по организации выставки разработал следующие указания: «В отношении выражения лица ... желательно правдивое соответствующее действительным условиям характера племени выражение, в котором художник не украшал бы естественные черты данного лица и не уклонялся бы от типичности»¹⁷⁰. В этом случае, как оказалось, различение типа и идеала стало важной методологической установкой для создания объективно-научных репрезентаций народов России. Внутри отдела российской этнографии народы были поделены на две основные части: инородцы (116 фигур) и славяне (174 фигуры), которые, в свою очередь, объединялись в группы южных и западных (66) и восточных (118 фигур)¹⁷¹.

К Первой Этнографической выставке были созданы в полном смысле научные изображения народов Империи¹⁷². Первоочередной для организаторов была задача полной аутентичности: точное воспроизведение физических параметров модели, использование купленных у крестьян костюмов и утвари. Согласно разработанному плану, материальное разнообразие этнографической части экспозиции должно было быть представлено максимально полно – перечень только разрядов предметов состоял из 13 пунктов и включал помимо инструментов, посуды, мебели, игрушек также орудия труда, снаряжение, музыкальные и другие инструменты и т.п.¹⁷³

Композиция строилась по географическому принципу, чтобы «зрители, начавши с обитателей полярных стран и постепенно переходя к тропическим, могли составить себе понятие о размещении племен на земном шаре»¹⁷⁴ и в итоге ознакомиться с климатическим и этническим разнообразием. Неоднократно подчеркивалось, что в изображении (лица, фигуры, действия, одежды, атрибутов и т.д.) необходимо обязательно соблюдать «соответствия действительным условиям» и «характеру племени»¹⁷⁵, – иными словами, задача виделась в сочетании принципов обобщения (выраженном в показе типического) и натурализма.

Поскольку основным принципом этнографического описания на протяжении столетия, как уже говорилось, была вербальная и визуальная *иллюстративность*, то она как форма изложения возобладала и в учебной литературе, и в этнографических трудах, и в музейном деле – в том числе потому, что удовлетворяла важным (с точки зрения трансляции знаний и образов одновременно) условиям изобразительности и занимательности. Это имело очевидные последствия. «Изыщество и наглядность» (так в плане Этнографической выставки характеризовались преимущества избранной формы репрезентации¹⁷⁶) считались неперенными задачами популяризации. В размещении отдельных экспонатов, демонстрировавших облик и быт народов, организаторы руководствовались прежде всего стандартом типичности: «[экспонаты] должны быть размещены по возможности в их естественной обстановке, с атрибутами их домашнего быта, и каждая группа должна быть размещена так, чтобы она отражала какую-либо *характеристическую черту* этого последнего. ...Группы русских племен могут быть окружены *типическими* (выделено мной. – М.Л.) растениями и животными тех же местностей»¹⁷⁷.

Таким образом, и в расположении отдельных групп, и в выборе этнографических атрибутов каждого из представляемых манекенов и их групп категория типического оказывалась решающей. Очевидно также, что в принципах устройства экспозиции проявился опыт научного исследования, который сложился в ходе собирания этнографических сведений в условиях полевой работы: это дескриптивный подход и его основополагающие принципы (наблюдение в естественных условиях проживания – как строго аутентичное исследование, связь с окружающей природой). Иначе говоря, экспонат, изображающий, как правило, конкретного человека (на основании фотографий, портретов и скульптур), должен был в деталях выражать концентрированную характеристику физического облика и этнической культуры в целом, которая «прочитывалась» бы исключительно в визуальном коде. Подписи и комментарии ограничивались упоминанием этнонимов, рода занятий и непременно, как и ранее, названием края, области, населенного пункта,

в котором проживал конкретный человек, ставший образцом для изображения внешнего облика, и (реже) его имя. Указывалось также семейное положение, маркированное деталями костюма или кратким пояснением вида одежды (например, «подвенечный наряд»)¹⁷⁸. Это сочетание типизированности и индивидуализированности, с одной стороны, соотносится с пониманием типизации в духе В.Г. Белинского, но с другой – выводит процедуру установления типичного за рамки количественных и антропометрических методов, предоставляя право первичного заключения снова, как и ранее, наблюдателю (ведь именно он выбирал конкретного человека на роль репрезентанта).

Таким наблюдателем являлся фотограф или (реже) художник. В инструкции для фотографов было дано определение типичного: «При выборе лица... должно руководствоваться типичностью их, понимая под этим такие лица, которые в данном племени и данной местности встречаются чаще других. В тех случаях, где художник затрудняется выбором лица... было бы желательно, чтобы преимущественно он пользовался лицами крестьян, и купеческого сословия, и сельского духовенства»¹⁷⁹. Здесь физический тип (лица) понимался как наиболее распространенный комплекс различных антропологических параметров, а в социальном отношении организаторы выставки, как видим, руководствовались мнением, обоснованным И.А. Беляевым. Собственно теоретическая часть работы по выявлению типов была возложена на фотографов и художников, а не на специалистов-антропологов¹⁸⁰.

Уже в процессе исполнения этих задач возникли проблемы. С.В. Максимов так объяснял трудность, «с которой сопряжено было удачное выполнение фигур, изображающих великорусское племя»: «...племя это отличается именно тем, что в нем трудно находить одно лицо, похожее на другое, что сплошь и рядом встречаем мы не только у бродячих северных инородцев, но и у кочевых степняков, но и у южных горцев... Едва ли только не говор один до сих пор может почитаться в числе общих особых примет»¹⁸¹. Здесь указан основной способ выявления типичного – вычленение сходных черт внешнего облика и составление таким образом своеобразного схематичного образа из ряда наиболее часто встречающихся характерных признаков. Но в случае с великорусами определение общности для всех многочисленных региональных групп не представлялось возможным, поэтому до и после С.В. Максимова эту особенность фиксировали как наблюдатели, так и исследователи 1860-х – 1900-х гг.: «Великорусское племя существует теперь в целом ряде оттенков и вариаций», которые произошли не только от старых корней, отдаляясь один от другого под всякими природными историческими условиями, но и из множества племенных смешений»¹⁸²; «Великорусы

представляют собой смешение нескольких типов. Поэтому в физическом типе великоруса трудно указать такие яркие черты, под которые бы подходил бесспорно любой представитель этого племени»¹⁸³.

В 1860-х – 1880-х гг. формировалось представление о том, что отсутствие единого антропологического и этнографического типа является ключевой особенностью великорусского племени, главным этнодифференцирующим свойством. Причины этой вариативности виделись, *во-первых*, в климатическом разнообразии и, как следствие, в приспособлении тела человека к природным особенностям, а *во-вторых*, в метисации – ассимиляции с другими народами: «... воздействие племен чуждых на образование народного русского типа несомненно»¹⁸⁴. «...Великороссы не являются народностью безусловно чистой, а представляют собой смешение нескольких типов. Поэтому в физическом типе великоруса трудно указать такие яркие черты, под которые подходил бы бесспорно любой представитель... великорусского племени»¹⁸⁵, – утверждалось в «Полном географическом описании нашего Отечества». «О единстве типа трудно говорить. Единство это проявляется гораздо более в чертах характера, в складе ума, в быте и в языке»¹⁸⁶, – вторил автор этнографического очерка того же времени. Эти констатации подразумевали, что невозможно ни обнаружить, ни реконструировать единый тип теми способами, о которых говорилось в инструкции: вычленение сходных черт внешнего облика через сопоставление региональных инвариантов.

Был, однако, другой путь: принять за великорусский тип носителя наиболее характерного облика, населяющего земли региона, именуемого великорусским, исходя из того, что они в физическом отношении в наибольшей степени сохранили признаки, свойственные предкам на начальной стадии формирования – т.е. когда смешение финских и славянских племен уже произошло. Кроме того, в населении этого района (как утверждал С.В. Максимов, ссылаясь на этнографическую карту П. Кеппена (1851), оно преобладает на пространстве всей Европейской России к северу от Оки) инородцы составляют «ничтожную примесь»¹⁸⁷. Такой позиции, в частности, придерживался в работе начала 1860-х гг. историк С.В. Ешевский. «Лучшим представителем» чистого великорусского типа он «избрал» жителей Московской, Ярославской, Владимирской, отчасти Костромской губерний¹⁸⁸.



*Ломовой извозчик,
Московская губерния.
Манекен Этнографической
выставки в Москве
1867 г. Фото. 1870-е гг.*



Крестьянка из Нижегородской и крестьянин из Рязанской губернии. Манекены Этнографической выставки в Москве 1867 г. Фото. 1870-е гг.

Манекены той части выставки, которая не предполагала жанровых сцен, выставлены с немногочисленными предметами; набор которых не выбирался специально, чаще они были случайными – теми, с которыми была запечатлена конкретная «натура», т.е. реальный человек, сфотографированный или нарисованный. Так, ломовой извозчик держит в руках хомуты и упряжь, нижегородские крестьяне, возвращающиеся с покоса (в некоторых современных описаниях они именуется группой, притом крестьянка атрибутируется представительницей Нижегородской, а мужчина – Рязанской губернии), босы и несут косу и грабли. При этом оба одеты в праздничную одежду:

мужчина в белоснежной рубахе, а на женщине жемчужные бусы¹⁸⁹.

Одежда остается главным признаком и приметой этнической принадлежности, но все еще важен не обобщенный образ, а, напротив, все вариации общеэтнического: региональное, сословное, профессиональное и географическое разнообразие типа.

Как видим, судя по подписям, по-прежнему не было единства в описании представителей великорусов: указывается регион, сословие, занятие, половозрастной статус, этническая принадлежность – всё в одном ряду. Сочетание визуального образа и подписи очень важно – они создаются в расчете на нераздельное восприятие, дополняют друг друга. Иллюстративность при этом оказывается не только способом описания, но и методом исследования и репрезентации. Критерии научной объективности можно кратко определить в следующей формуле, которой руководствовались инициаторы: «соответствие реальной действительности, научная объективность, типичность». Неслучайно автор отчета о посещении выставки императором Александром II упоминал «удовлетворение» государя от осмотра «отдела, представлявшего польское племя» и благоприятное впечатление от экспонатов, изображавших мазурский тип: «Точно бывшие у нас депутаты»¹⁹⁰; фигуры эстонцев, по мнению очеркиста, показались Александру «естественными» и «весьма... типичными»¹⁹¹. (Показательно в этом контексте то обстоятельство, что император обратил внимание на манекены, изображавшие нерусские народы, и никак не прокомментировал образы этнических «своих».) Так «точность» и сходство «типа» с «оригиналом» оказываются для воспринимающей стороны (адресата

этнографической популяризации) все же преобладающими над требованиями научной достоверности и репрезентативности.

На выставке были впервые отчетливо сформулированы в качестве научно-этнографических принципы, *во-первых*, «реализма» («настоящести») и, *во-вторых*, узнаваемости («опознаваемости») представителей этноса, которые выступали важнейшим средством этнической идентификации и соответствовали главной прагматической функции этнографического знания¹⁹². Действительно, этническую и региональную принадлежность большинства изображений, представлявших обитателей Европейской России, мы и сегодня можем идентифицировать прежде всего не столько благодаря сформировавшимся представлениям об этнических физических типах, сколько по материальным приметам/знакам, связанным с костюмами и некоторыми атрибутами (лапти, бубен, коса, трубка, книга и т.п.). Кроме того, сама прагматика и способ функционирования экспоната в музейной коллекции («информационная емкость музейной вещи прямо пропорциональна объему знаний посетителя»¹⁹³) становились своеобразным стимулом для упрощения смысла и значения выставленных рядом с манекеном вещей. Следовательно, задачей экспозиции и популяризаторской деятельности этнографов того времени был «перевод» этих предметов вещного плана обозначения этничности в форму знака – т.е. выбор и обозначение одного-двух из них в качестве этнически типичных. В некоторых случаях подобный статус обретали вовсе не самые характерные предметы, но это могло происходить и без сознательных усилий организаторов.

Принципы отбора и создания этнических образов на выставке 1867 г. свидетельствуют об интенсивном поиске типичных атрибутов, «эксклюзивных» для каждого из народов. С 1870-х гг. из объектов строгого каталогизирования набор предметов редуцируется и преобразуется в несколько знаковых примет этнической группы, выполняя функцию маркеров, а позже – символов народа-этноса. На создание этнонациональной символики влияли визуальные образы России и ее народов, создаваемые прежде всего «на экспорт». Рассчитанные на внешнего (иностранного) потребителя, они постепенно осваивались и присваивались русским обществом. Балалайка (слово появилось впервые в тексте 1688 г., активно использовалось с петровского времени в русском и украинском языках, как русский национальный инструмент обозначается в последней трети XIX в.), матрешка (впервые появляется на Художественной выставке в Париже в 1900 г. по инициативе Е.Г. Мамонтовой, изготовлена токарем В. Звездочкиным, расписана художником С. Малютиным), лапти, самовар (производство в Туле началось не ранее 1770-х гг.) – все эти национальные символы, связанные с предметным миром крестьян-



Сценка «Рязанская губерния». Этнографическая выставка в Москве 1867 г.
Фото

ской жизни великорусов, конституируются в качестве таковых довольно поздно¹⁹⁴, и в первую очередь для репрезентации России вовне – они представляют собой образ русской нации для Других.

Аналогичный процесс шел и в отношении других народов Империи: атрибуты были связаны с хозяйственной деятельностью и этнокультурными ассоциациями-стереотипами. В 1880-х – 1890-х гг., с распространением в России идей эволюционизма, значимость изучения материальной этнической культуры значительно возросла – ведь теперь по различным ее элементам стремились установить позицию (уровень развития) народа или его «отрасли» на шкале культурно-исторического развития, поэтому спектр инструментов, орудий труда, утвари и способы их производства привлекали пристальное внимание исследователей. Однако в научной литературе о народах Российской империи в этот период следует отметить четкую специализацию визуального ряда: в трудах по антропологии и археологии (в особенности в краниологических ее аспектах) он ограничивался фотографиями современных физических и расовых типов и рисунками находок; в этнографических очерках в качестве равнозначимых соседствовали старинные (в том числе упомянутые) гравюры и рисунки с них, зарисовки современных путешественников, фотографии и гравюры-репродукции живописных полотен и портретов.

В целом в изображениях народов Империи материальные объекты, обретая символический статус, утрачивали первичные значения, конкретно-бытовую и фактографическую точность, становясь конструктом. Наделяя материальный атрибут функцией знака, а затем и символа, механизм научной типизации в конце XIX в. апеллировал не к готовым образцам (как в XVIII в.), не к опыту и впечатлениям наблюдателя (как в первой половине XIX столетия), а к обновленным стандартам этничности и к идее нации.

Полемика о типе и типичном в этнологии

Большая часть манекенов великорусов была представлена в сценке «Ярмарка», сюжет которой разворачивался на фоне картины и декораций с изображением леса, изб, мельницы, дороги и т.д. (живописец А.К. Саврасов). Участниками были торговцы и покупатели ярмарки, представляющие жителей разных губерний, продающих



Сценка «Ярмарка». Этнографическая выставка в Москве 1867 г. Фото

и приобретающих типичные для своих областей сельскохозяйственные и ремесленные товары; там же были манекены, представляющие мастеровых, детей, а также городских жителей. Экспозиция великорусского племени вызвала более всего споров в обсуждении выставки¹⁹⁵.

Некоторые восприняли теоретические сложности как идеологический просчет. Так, М.Н. Катков, освещая выставку в «Московских ведомостях», с негодованием отмечал непривлекательность предложенного организаторами-учеными облика великорусов. Для Каткова великорусы – «главное племя» (в значении нациеобразующего этноса) Российской империи, и он полагал, что это господствующее положение необходимо было отразить в композиции и в экспонатах, чтобы наглядно демонстрировать посетителям в первую очередь способности и свойства, позволившие великорусам создать собственную государственность и исполнять цивилизаторскую миссию в отношении других народов. Он, однако, остался недоволен не самой сценкой «Ярмарки», а дополнительными «сюжетами»: к ней примыкали макеты двух изб в натуральную величину, в которых был виден интерьер, а хозяева были показаны в домашнем быту, за повседневными делами. М.Н. Катков резко критиковал «физиономии», одежду и даже бытовые сюжеты, в которых находились фигуры. Он был убежден, что манекены явно проигрывают гораздо более привлекательным и достоверным, с его точки зрения, изображениям зарубежных славянских народов. Поэтому они никак не могут ни

доказывать, ни подтверждать превосходство великорусского этноса в Империи (что, по мнению Каткова, должно было стать одной из целей выставки). В частности, он обвинял организаторов в «самоуничижении», усматривая в аутентичности некоторых предметов излишний натурализм. «Мы не видим никакой надобности, – пишет Катков, – чтобы одежды крестьянина и крестьянки, предназначенные для хранения в музее, были именно те самые, в которых крестьянин или крестьянка работали целое лето. Разве хорваты, долматинцы, словаки и чехи унаваживают свои поля... в красных, малиновых и белых тонкого сукна одеждах, в каких мы видим их в Московском экзерциргаузе? ...Разве киргизы и башкиры всегда в галунах?..»¹⁹⁶ Не удовлетворил М.Н. Каткова и внешний облик великорусов: «Ни одного, решительно ни одного красивого женского лица из числа, по крайней мере, 30 собранных здесь женских экземпляров!»¹⁹⁷ Эта критика примечательна еще и потому, что иллюстрирует научные принципы выявления типического: в 1860-х – 1870-х гг. в антропологической науке все большее распространение завоевывает концепция, согласно которой женский антропологический («расовый») тип в наибольшей степени сохраняет характерные племенные физические и нравственные свойства¹⁹⁸, а внешняя красота является признаком антропологической «чистоты».

М.Н. Катков поставил под сомнение сам принцип выборки, оспаривая не только репрезентативность этнического типа, но и метод определения/выявления типичного в целом. Так, о жилище он писал: «И почему же эта жалкая лачуга должна быть признана главным типом наших крестьянских построек? ...Отчего же именно самый безобразный из всех типов жилища великорусского земледельца признан типом из типов?»¹⁹⁹ Катков категорически отверг и другие фигуры (например, малорусского чумака) именно потому, что они изображались в неприглядном облике: «Требовалось представить типы населения, а не образчики разных видов рабочего люда. Трубочист в саже был бы фигурой, согласно с действительностью, – но было бы это этнографическим типом?»²⁰⁰

Таким образом, Катков не принял один из важнейших критериев выявления типичного, обоснованный в инструкции Комитета: тип должен отражать реальную, «неприукрашенную» действительность. В его упреках слышится обвинение в субъективности не столько организаторов, сколько собирателей типов, ведь именно на них была возложена задача их определения, а они исходили, по всей вероятности, из различных представлений о наиболее характерных – в первую очередь социальных – группах и занятиях. Тип, по мнению Каткова, должен сочетать характерные и позитивные (лучшие) черты этнической группы, чтобы соответствовать не только этнографической реальности (как он ее понимал), но и исторической

значимости народа. Можно предположить, что для Каткова тип – это в современной формулировке «идеальный тип», составленный из лучших образцов.

В контексте темы субъективности важно упомянуть рассуждения русского антрополога А.П. Богданова – в связи с его галереей русских фототипов. Он вспоминал о прямо противоположных катковским требованиям «красоты» как достоверности, которые предъявляли ему зрители. В 1867 г. по просьбе ученого в «Русской фотографии» был составлен антропологический альбом русских, экспонировавшийся на той же Этнографической выставке. «Цель, – как писал Богданов, – выставления... и передачи... этого альбома была та, чтобы вызвать мнения о физиономии русских. Портреты я старался собирать без какой-либо предвзятой идеи, отыскивая, с одной стороны, те лица, кои мне казались наиболее подходящими к *обыкновенно признаваемым* за более чисто русские, а с другой – те, кои *наиболее часто* (выделено мной. – М.Л.) встречаются, хотя и носят следы инородческой помеси»²⁰¹. Таким образом, критериями выбора типа для антрополога стали частотность и такое в высшей степени неопределенное свойство облика, которое все же выделялось ученым в качестве приемлемого критерия, – *общепризнанность* его в качестве национального типа («обыкновение признавать» его чисто русским).

«Некоторые русские и иностранцы, – продолжал А.П. Богданов – упрекнули меня за предвзятый выбор особенно хороших лиц и за тенденциозную прикрасу материала, хотя в альбоме сняты были исключительно крестьяне, и, как сказано, в различных видоизменениях физиогномического типа. ...Это были представители наиболее часто встречающихся типов, самых обыденных физиономий»²⁰². Современники полагали, что истинный этнический (одновременно социальный, т.е. крестьянский) тип не мог быть воплощен в «образцовом» виде. Однако такое неприятие не столько отражает различные мнения о красоте и некрасивости, сколько демонстрирует значимую тенденцию периода формирования любой этнокультурной идентичности – выработку обобщенного образа «своего», который, воплощаясь в этническом типе, в равной мере репрезентировал бы внесловный тип – т.е. внешний облик нацииобразующего этноса – во всех его вариациях, в том числе и словесных.

А.П. Богданов (в ироничной форме) предложил описание реальной великорусской внешности, лишенной налета идеала и отвечающей существующим предубеждениям: «Вероятно, я не был бы подвергнут упреку от подобных ценителей, если бы выбрал исключительно представителями физиономий для своего альбома лиц с узкими лбами, с носом в форме луковицы, с лукавою и глупою физиономией»²⁰³. Впрочем, некоторые внерациональные основания

для выявления типа А.П. Богданов считал естественными и общепринятыми, не расценивая их как ненаучные: «...подмечая ряд подобных определений русской физиономии (русак, типично русское лицо)... можно убедиться, что не нечто фантастическое, а реальное лежит в этом общем выражении “русская физиономия, русская красота”... В каждом из нас существует довольно определенное понятие о русском типе..., о русской физиогномии; что же это, мираж, устроенный нашим воображением или отражение действительно чего-то существующего, не только исторически и этнографически русского, но и антропологически русского?»²⁰⁴ Последнее утверждение весьма значимо, поскольку оно исходит от ученого-антрополога и находится в полном соответствии с приведенной выше методикой определения этнической принадлежности как несложной, опирающейся на зрительные стереотипы и трудно поддающейся логическому анализу процедуре.

Об этом же 30 лет спустя писал антрополог В.В. Воробьев: «...все мы имеем более или менее определенное понятие о “великорусском типе” и ежедневно говорим, что у А. чисто русский тип, Б. похож на татарина, В. калмыковат и т.д.»²⁰⁵ Такое «интуитивное» выявление «своего» фиксирует не только взаимосвязь обыденных и научных стереотипов при определении «этнического», но и важную составляющую этнического самосознания, сегодня вполне научно обоснованную, – чувство эмпатии в отношении к представителям собственной группы и эмоциональной привязанности к родной земле²⁰⁶.

Интересно рассуждал о точности «обывательской» и «научной» внешней идентификации (этнической или антропологической) британский антрополог Э. Тайлор. Сравнив и проанализировав эти методы, он резюмировал: «грубый прием, употреблявшийся путешественниками» – выявление типического при помощи исключительно визуального наблюдения (т.е. буквально на глазок) – «на самом деле довольно точен»²⁰⁷, поскольку дает те же самые результаты, к которым приходят и ученые, причем «обыватели» достигают их «безо всяких антропометрических измерений»²⁰⁸.

Богданов в своей статье приводил также мнение тех, кто, исходя из уже не вызывавшей к тому времени сомнений теории метисации великорусов, утверждал, что великорусов как антропологического типа (вследствие смешения) на деле вовсе не существует и поэтому «альбом есть сборник фотографий некоторых физиогномий, попадающих в России» – и это «не антропологический альбом»²⁰⁹. Иначе говоря, в отличие от организаторов выставки подобные критики полагали, что не всякое индивидуальное воплощает характерное.

Спектр приведенных Богдановым мнений современников (как ученых, так и обывателей) свидетельствует, что представление о типичном облике вообще и великорусов в частности варьировалось даже

среди специалистов. Наиболее распространенным, как можно предполагать, было суждение о том, что носителем типичного мог считаться реально существующий человек, чей облик казался определенной группе общества содержащим характерные элементы внешности («нос в форме луковицы»), которые, в свою очередь, отражают присущие этнической группе черты нрава (лукавство и глупость). Богданов не оспаривал мнения о том, что интуиция вполне может быть задействована при выявлении типичных физических черт: «...мы в каждом племени можем найти известные постоянные частные типические выражения и тем подвести все встречающиеся вариации к небольшому числу подразделений, но самые типические группы эти представят бесконечные оттенки. Глаз наш часто улавливает такие различия, которые мы выразить словами не умеем, как не сумеем перевести их на числовой язык антропометрии. Наоборот, мы часто замечаем сходство, и сходство осязательное, у лиц, с первого взгляда и рассматриваемых отдельно, представляющих различия, и тоже не в состоянии определить этого словами»²¹⁰. С точки зрения репрезентации типов для Богданова было очевидно, что максимально эффективным может стать сочетание фотографии и живописного портрета: первая улавливает точные детали, второй – выражение²¹¹.

Антрополог высказывал определение типичного как соединения характерных признаков общности, но не видел «объективных» методов его установления. «При таком различении в физиогномических частностях что же исследователь должен брать за тип? Что нужно принимать в известном племени или народе за типичное выражение его? На это существуют два практические приема, считающиеся ответом на сказанные вопросы. Одни берут наиболее часто встречающуюся физиогномию, наиболее преобладающую по численности в нем, другие – наиболее характерных представителей, соединяющих в себе в наибольшей степени нечто то, совокупность чего придает отличие народу или племени, и по ним составляется антропологический диагноз его»²¹². Добавим, что еще одним вариантом выявления характерного было рассмотрение в качестве типичного «лучшего» или «выдающихся» представителей своего народа, прославивших его заслугами или талантом.

Приведенное А.П. Богдановым мнение о соответствии внутренних качеств характера внешним чертам – разумеется, обреченное на субъективность – также нельзя считать исключительно обывательским, поскольку и позже, в конце XIX – начале XX в., такая позиция была положена в основу антропологических теорий и методов²¹³. В случае, когда физические признаки выдавали смешение рас или этносов (как у великорусов), некоторые полагали невозможным выявить явный тип – по причине его «метисации». Наконец, бытовало представление о том, что только лучшие (т.е. проявившие себя как

выдающиеся в физическом или нравственном отношении) представители этноса (этнической культуры) могут быть признаны олицетворением типа²¹⁴.

Способ обыденного определения типических антропологических черт можно реконструировать по популярным этнографическим очеркам. Например, в путевых заметках российского путешественника польского происхождения равнозначно используются понятия «антропологические особенности» и «строение тела». Автор указывает на трудности определения типического, вызванные большой степенью различий физического облика отдельных индивидов: «...довольно трудно описать... общие, типические черты (пазрецких лопарей. – *М.Л.*)... так как в анатомических признаках они не представляют такого сходства между собою, какое замечается между фильманами»²¹⁵ (саамская группа кочующих лопарей, обитавших на границе Финляндии и Норвегии. – *М.Л.*). Очень часто под словом «тип» в популярной литературе подразумевалась наиболее многочисленная или обладающая более высоким социальным статусом этническая группа региона. Например: «Типы, наиболее устойчивые в Прибалтийском крае, – латыши и эсты»²¹⁶; в учебном пособии по географии «Природа и люди» о жителях Дании говорится, что они «представляют настоящий тип бойких моряков со всеми светлыми и темными их сторонами», а между обитателями Скандинавии «можно насчитать не менее пяти этнографических типов»²¹⁷. Автор имел в виду выделение «отраслей», обладающих выраженными отличиями и соответствующих региональному делению Скандинавии.

Во введении к пособию по этнографии народов Российской империи (1888) К. Кюна рассматривался теоретический вопрос о признаках «национальности». Кюн указывал, что критериев этничности/национальности существует несколько: государственная общность, язык и физические признаки (именуемые им «антропологическим типом»). Рассматривая каждый из них поочередно, автор приходит к выводу о несовершенстве антропологических классификаций: «Теория об антропологическом родстве оказалась поэтому несостоятельной, и все попытки найти средний тип у отдельных народностей не увенчались успехом. Для опровержения этой теории детей переносили из одной страны в другую и там подвергали влиянию чужой национальности. Результатом этого переселения являлось то, что дети, вырастая, сроднились с чужой нацией и приобретали черты, которые, как видим, не имели ничего общего с неотъемлемыми свойствами их первоначального национального типа»²¹⁸. Под «национальным типом» автор понимал врожденные и неизменяемые свойства – причем не столько антропологические особенности, сколько именно этнокультурные черты, и уж вовсе не «объективно» выявляемый посредством антропологических измерений комплекс

физических признаков. Несостоятельным критерием считает Кюн и признак политический, утверждая, что нельзя причислять мордву и великорусов к одной «национальности» на том основании, что они сосуществуют в едином государстве²¹⁹. Национальность, таким образом, соотносится для Кюна с этничностью, а не с «нацией» в том смысле, которым наделяли это понятие деятели 1830-х – 1840-х гг.²²⁰ Однако автор отвергает и такой признак, как общность истории и культурной памяти, именуя ее «софизмом». Вывод Кюна предсказуем: только язык он признает единственным и верным признаком народности/этничности и этнокультурной общности.

Скрытое, невербализованное представление о типе и типичном легко обнаруживается в языке этнографических описаний – даже когда автор не использует эту группу понятий – и особенно ярко проявляется в популярной литературе о народах Империи. При наименовании народа использовалось как его самоназвание, так и русский этноним в форме единственного числа; усиление значения типичности подчеркивалось с помощью слов «все» или «всегда». С одной стороны, так выражалась обобщенность образа, а с другой – это позволяло создать более выразительный портрет конкретного представителя как этнокультурный тип: «...финн любит простор и тишину»; «Поляк, в большинстве случаев, человек бесконечно веселый, живой... Первая свободная минута, и он бежит в общество товарищей, всегда шумное, говорливое»²²¹.

Если даже те материальные объекты (внешний облик, жилище), которые считались наиболее очевидными для идентификации, поскольку опирались на первичный и универсальный способ типизации (визуальный), вызывали столько споров, то иные элементы культуры, относимые к этнодифференцирующим признакам, порождали еще больше затруднений в контексте рассуждений о типичном. Они возвращают нас к вопросу, который заботил и Н.И. Надеждина, и К.Д. Кавелина, – о том, в какой степени индивид отражает особенности общности и, напротив, в какой мере черты, присущие всем ее членам, проявляются в каждом из них. В философии эпохи это соотношение формулировалось как проблема меры свободы и зависимости человека от социума и роли личности в истории. В практическом смысле – в том числе в процессе поиска русской/великорусской этнонациональной идентичности – оно связывалось с необходимостью определения главенствующих признаков народа/нации, которые можно было бы считать константами этнокультурного бытия. В этом отношении физический тип и материальная культура великоруса, как оказалось, вызывали сомнения.

Таким образом, вопрос заключался в том, как выбирать репрезентативные образцы: либо это лучшие представители (обладающие наиболее ярко выраженными или наиболее привлекательными об-

щими чертами), либо «усредненные» (сконструированные несколько искусственно), т.е. наиболее распространенные, типы. Вопрос имел значение также для определения (или «избрания») типичного национального пейзажа, наиболее характерных – национальных – явлений культуры и искусства, стилей в широком смысле и, конечно, национального характера.

Одним словом, без типа невозможна никакая репрезентация «своего» (в узком смысле – русского – или в еще более конкретном – великорусского) и «нашего» (имперского, российского, включающего отражение идеи полиэтничности Империи). В последнем случае установление пространственно-этнических типов могло казаться и вторичным – поскольку главные принципы должны были быть выделены на примере «своего». Если в XVIII в., на начальном этапе создания визуальных репрезентаций русскости, существовали определенные иллюстративные шаблоны, которые имели универсальный характер для всех народов, то теперь таким шаблоном должен был стать избранный или назначенный этнокультурный тип.

Современная исследовательница Кристин Руан пишет о том, что этнографы XIX в. видели в национальной одежде «визуальную метафору абстрактных качеств, воплощающих национальную самобытность, и ставили коллективное самосознание выше личного ... верили, что национальное платье меняется очень медленно, а неизменность народных мотивов отражает суть русскости»²²². Конечно, речь идет все-таки не о самосознании, а о процедурах идентификации и типологии этнокультурной самобытности, но в целом с таким заключением можно согласиться.

Образ великоруса в этнографической литературе и в иллюстрациях

Описание внешности великоруса в соответствии с принятыми стандартами этнографической репрезентации народов (племен) во второй половине XIX в. по-прежнему осуществлялось согласно принципу изоморфизма. Они бытовали не только в описаниях путешественников, в научных и учебных текстах, но и в художественной литературе, и в сознании образованной части общества – поскольку отражали само понимание народности. В научных текстах влияние новых – антропологических – исследований проявилось в том, что теперь в лице и телосложении отмечаются приметы различных «физических типов».

В 1860-х гг. еще появлялись научно-популярные компиляции литературных очерков и путешествий в духе ранней традиции описаний Российской империи, где русскость воплощалась по-раз-

ному, через зарисовки быта и нравов разных регионов и областей, объединяемых, как правило, природным сходством, а не административным единством, а оценки основывались на личных впечатлениях авторов. Так построен том «Великорусский край» из учебной хрестоматии, состоящий из очерков о промыслах и типичных занятиях жителей различных областей. Перед читателем проходит калейдоскоп представителей русских и нерусских народов в характерном для 1830-х – 1850-х гг. понимании типов как сословно-профессиональных образов: это офени, «долгие» извозчики, бурлаки, лесопромышленники, «богомазы», а также старообрядцы, раскольники и инородцы²²³. Обобщенная характеристика великорусского этнографического типа отсутствует, но составляет весьма положительное впечатление о различных его воплощениях. Из всей совокупности популярной и учебной литературы отчетливо выделяются в отдельную группу учебники и пособия для начальной школы²²⁴. В них образ «своего», русского народа (здесь он не всегда рассматривался в племенных вариациях) предстал в том же виде, что и распространенное в более ранней публицистике и научной литературе романтизма (А.В. Терещенко, Ф.В. Булгарин и др.) идеализированное изображение специфических свойств русских, под которыми подразумевались довольно абстрактные русские/великорусские крестьяне («русский народ»)²²⁵. Примером может служить учебник 1860 г., в котором все соотечественники наделялись исключительно нравственными добродетелями («...наш народ умен, ловок, сметлив, добродушен, снисходителен, бескорыстен, незлобив...»²²⁶); это приводило к закономерному заключению о том, что «на свете нет такого чудесного народа, как наш русский народ»²²⁷. Изображения великорусов в популярной литературе этого периода также тяготеют к обобщенным образам, для них не очень значима конкретно-региональная локализованность, скорее создается образ крестьянина вообще. И хотя он опирается на существующие костюмные изображения, в подписях это не находит отражения.

Такого рода описания в учебном жанре продолжают бытовать и в 1870-х – 1880-х гг., для них характерны образность и неконкретность: «...великорусские крестьяне замечательны своим крепким телосложением, широким лицом и высоким челом, они любят носить густую бороду, и им удалось сохранить это природное украшение... но на этих бородатых физиономиях, полных благородного выражения, блестит живой взгляд и светится добродушная улыбка»²²⁸. Следует подчеркнуть, что подробные характеристики великорусов встречаются в учебниках, хрестоматиях, географических очерках и текстах путешествий нечасто (особенно в сравнении с другими народами Российской империи), хотя описание внешности жителей было обязательным элементом этногеографического дискурса. Причину

можно установить лишь из контекста: авторы исходили из этноцентричной установки о «хорошо известном». Считалось, что всякий русский читатель – житель России – «знает», как выглядят великорусы, и потому упоминаются только казавшиеся отличительными региональные свойства великорусского типа или же встречаются довольно общие утверждения, например: «...у великороссов преобладает более светлый тип, с русыми и белокурыми волосами и голубыми или карими глазами и правильными чертами лица, к которым иногда только примешиваются финские признаки...»²²⁹; или: «...в общем женщины здесь красивее мужчин, тогда как в более северных областях мы скорее видим обратное»²³⁰.

Ситуация изменилась в 1880-х – 1900-х гг., когда окончательно возобладала концепция этничности – как в репрезентациях, так и в видении имперского разнообразия. Отдельные группы восточных славян представлялись теперь вариациями русского этнического типа. Закрепившись в системе классификаций славянских народов как три восточнославянских племени, или три «отрасли»/«ветви» русской народности, в значении этничности, великороссияне / великорусы, малороссияне/малорусы²³¹ и белорусы должны были «обнаруживаться» и «приписываться» к определенным территориям Европейской России. Конечно, эта ментальная карта весьма отдаленно соотносилась с географической, но лингвистические и антропологические исследования позволяли постоянно уточнять ее. Вариации-типы внутри каждого из трех племен также выделялись и описывались, однако соотносимое с великороссийскими землями крестьянство демонстрировало гораздо более высокую степень разнообразия. Особенно сложным для наблюдателя было определить племенную принадлежность в пограничных областях и регионах (например, в Воронежской или Смоленской губернии и особенно в Поволжье).

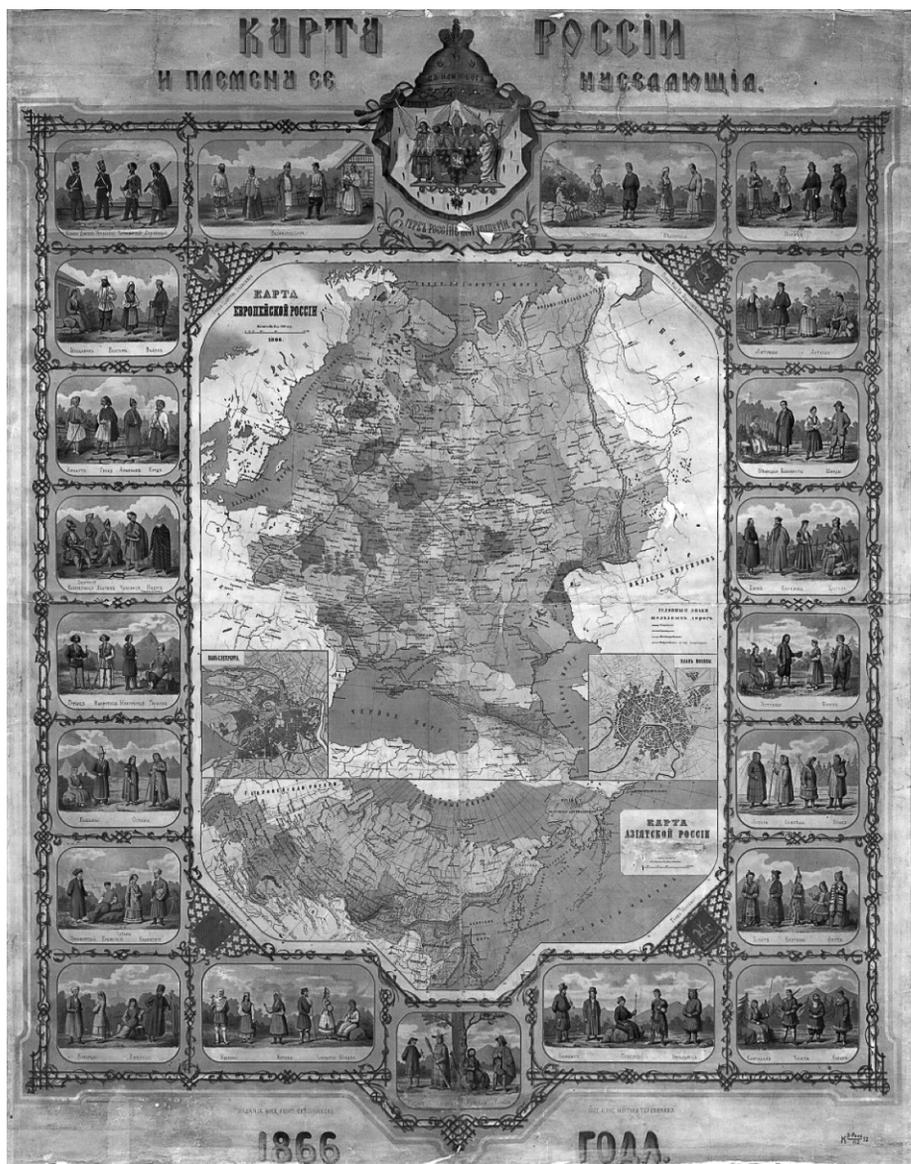
Поэтому этнографические описания строились в соответствии с не подвергавшейся сомнению классификацией, согласно которой все своеобразие воплощалось в трех племенных типах. Краткие характеристики физического облика великорусов помещались в отдельный очерк о великорусском племени и обычно не содержали никакой конкретной информации, но были лаконично-комплиментарны: «красивые черты лица, средний рост и хорошее сложение»²³²; «отличается хорошим ростом, крепким телосложением, оживленностью движений и красотой лица»²³³; «У великоруса... вид открытый, лицо по большей части беспрестанно меняет выражение и часто оживляется улыбкой»²³⁴. Эта красота и «ладность»²³⁵, присущая, впрочем, многим славянам, отличает их от «весьма некрасивых» инородцев. Такому описанию соответствует более чем формульное, почти пиктографическое изображение великороссиян в обрамлении Карты России и

племен, ее населяющих, созданной в 1866 г. для Этнографической выставки в Москве²³⁶ (на выставке была представлена еще одна карта).

Анализ данного изображения следует осуществлять в контексте вопроса о принципах визуальной репрезентации народов Империи на карте, отражающей классификационную (осознаваемую) и обыденную (неотрефлектированную) иерархию этносов в сознании интеллектуальной элиты. Иллюстрации здесь заслуживают специального рассмотрения. Центральную часть поля занимают две карты – европейской и азиатской частей Российской империи; первая дана в крупном масштабе, занимает две трети общего пространства, под ней расположена вторая, в более мелком масштабе. На обеих только цветом, без подписи отмечены территории расселения наиболее крупных этносов Империи. (Легенда к карте не приложена, поэтому установить ареалы расселения народов без дополнительных источников информации довольно затруднительно, но этот недостаток в полной мере компенсирует вторая этнографическая карта выставки.) Таким образом, данная карта России выполняла функцию скорее иллюстративную, нежели информативную.

По периметру карту обрамляют клейма-картинки, на которых изображены представители большей части этнических групп Российской империи. Не совсем ясны критерии выбора племен и народов – есть, например, «индус» и «курд», отдельно представлены казаки разных регионов (четыре фигуры), но отсутствуют карелы и ижора. Всего клейм 21 (в подписях к ним перечислены 58 этносов и этнических групп), на каждом, как правило, по четыре или пять фигур, причем в зависимости от численности либо все фигуры (четыре-пять) относятся к одной группе (например, великорусы и поляки), либо в одной рамке представлены два и более народов (например, малорусы и белорусы, немцы и шведы – по два в каждой рамке). Как правило, каждый народ представлен женской и мужской фигурами. На некоторых клеймах каждая из четырех или пяти фигур относится к разным племенам (чаще – родственным или географически близким; например, в одном клейме соседствуют рисунки осетина, кабардинца, лезгина, чеченца и индуса). Разумеется, иллюстративная задача не могла позволить воплотить в клеймах все виды классификации. Однако главный принцип – географический – удалось соблюсти. Очевидно и намерение художника выстроить некую рациональную последовательность репрезентации народов, отражающую, без сомнения, и определенную их иерархию в Империи.

Такая структура карты явно напоминает икону с клеймами, поэтому иллюстрации по краям легко читаются, но последовательность изображения согласно православной традиции выдержана лишь отчасти. Она также подчиняется естественному для европейского зрителя направлению взгляда: слева направо и сверху вниз. При этом



*Карта России
и племена, ее населяющие.
Сост. и рис. Н. Теребнев, 1866*

организующим началом всей композиции является собственно карта, делящая ее на две части – верхнюю и нижнюю.

Центр верхних частей обрамлений-клейм занимает герб Российской империи, помещенный в картуш, окруженный справа и слева двумя клеймами с каждой стороны; гербы Царства Польского и Великого княжества Финляндского находятся в другом поле – в верхних углах карты Европейской России. Весь этот ряд отдан славянским народам; слева направо это: казаки, великорусы, затем малорусы и белорусы, поляки. Последние в то же время «возглавляют» правый вертикальный ряд картинок, в котором явственна попытка соблюсти как географический, так и антропологически-языковой принципы репрезентации: под поляками – литовцы и латыши (в одной рамке), далее – немцы и шведы (также в общей рамке), потом – евреи, караимы и цыгане, за ними следуют западные финские народы – эсты и финны. Нижняя часть обрамления составлена из народов азиатской части Империи (от Уральского хребта и побережья Каспия), находящихся в первобытном («диком») состоянии. Левый нижний ряд, начиная с волжских финнов, продолжен вертикальным левым: за бухарцами следуют татары, башкиры и остяки (помещенные в одной рамке, они последние в левом вертикальном ряду, чье клеймо соседствует с картой азиатской части империи).

Расположение картинок в нижней части свидетельствует о явном стремлении соотнести их с местоположением народов на карте Азиатской России. При этом картинки-клейма, представленные выше, по краям карты Европейской России, оказываются вне соответствия географии проживания: рисунки поляков, немцев, финнов и шведов помещены рядом с восточными окраинами Европейской России, а греки, армяне, лезгины и другие кавказцы обрамляют регион западных окраин, что обусловлено направлением в чтении клейм, а также позволяет предположить, что позиция народов в верхней части подчинена определенной этнической иерархии, между тем как их размещение в нижней, азиатской части, такой иерархии не предполагает и жестко привязано к географическому местоположению.

Таким образом, если рассматривать обрамление с картинками, то изображение разворачивается от центра вверху, то есть от главной группы народов – славянских, среди которых отчетливо прослеживается уже привычная последовательность перечисления: великорусы, малорусы, белорусы, поляки. Великорусы оказываются в центре, наверху, слева от герба Империи. При этом их изображение помещено в отдельную рамку и включает пять фигур, в то время как малорусы и белорусы совмещены в одной. На левой угловой картинке слева от великорусов находятся казаки. Они органично соединяются с левым вертикальным рядом, возглавляя его; сразу под ними – изображения валахов и молдаван.



*Великорусы.
Карта России
и племена, ее на-
селяющие. Сост.
и рис. Н. Теребе-
нев. 1866. Фраг-
мент*

карты Н. Теребенева не ставил задачи точно воспроизвести ни одно из известных изображений, стремясь ограничиться лишь наиболее узнаваемыми деталями и атрибутами.

Интересно, что изображения народов Российской империи, копирующие этнографические иллюстрации, тиражировались в различных формах – например, в узоре платков²³⁷.

Как видим, в 1860-х – 1870-х гг. можно наблюдать определенную двойственность, подтверждающую отчасти переходный этап в типизации образа великоруса и изменяющиеся под влиянием трансформаций весьма устойчивые и консервативные способы визуализации. С одной стороны, довольно красочно и близко к реальной антропологической и этнокультурной отличительности представлены типы разных регионов и губерний, опирающиеся на материалы путешественников, полевые исследования, зарисовки с натуры и т.п. С другой – стремление создать единый тип-образ великоруса сталкивается с отчетливо осознаваемыми трудностями вербальной и визуальной репрезентации. Такой объединенный объективно-научными методами облик неизбежно возвращается к условности и абстрактности – как в словесном, так и в зрительном воплощении. Этому рассматриваемому как племенной/этнический тип соответствуют и характеристики нрава, более близкие к набору идеализированных славянских черт, столь же универсально-крестьянских, сколь и специфически-русских.

Что касается костюмных изображений различных народов того времени, то К. Руан полагает, что с превращением этнического наряда в костюм «его перестали носить в повседневной жизни» (мнение представляется спорным), а на рубеже столетий начался процесс формирования нового национального образа²³⁸; исследовательница также убеждена, что понятие «русское платье» в период формирования национального самоопределения в России перестало обозначать одежду этнической группы – русских, а «выражало собой всю мощь колониальной империи»²³⁹. Как подчеркивает автор, в том, что именовалось русским платьем или русским костю-

Как уже говорилось, образы великорусов на клейме очень условны. Обращают на себя внимание только красная рубашка на крестьянине, да особой формы маленькая шапка (не картуз), что точно соответствует изображению великоруса центральных губерний в альбоме Паули (только без балалайки). Таким образом, в клеймах этой



мом XIX в., сочетались элементы не только славянской региональной традиционной одежды, но и те приметы, которые она, вслед за многими наблюдателями XIX в., расценивает как заимствование от инородческих костюмов. В действительности подобные заимствования довольно трудно однозначно и бесспорно определить.

Следует упомянуть также несколько весьма важных тенденций в символическом и аллегорическом изображении России в целом. Два из них были представлены на картине «Народы России на мирном состязании», созданной специально для Всероссийской художественно-промышленной выставки в Москве (1882)²⁴⁰.

В центре картины помещена аллегория России – женщина в греческих одеждах, с лавровым венком в правой руке, предназначенным для возложения на чело победителя. Она поднялась с трона, за спинкой которого – герб с изображением Георгия Победоносца. Слева от нее лежат предметы, символизирующие разные области государственной деятельности: кадуцей (жезл Меркурия) – символ торговли, палитра и кисти художника, глобус. У подножия трона расположились представители отдельных племен, персонифицированные в разных гендерных ипостасях. Не каждого из них можно безошибоч-

Народы России на мирном состязании. Картина с Всероссийской художественно-промышленной выставки в Москве 1882 г.

но идентифицировать. Ближе всех к России, спиной к зрителю, стоит мастеровой в сапогах, в длинном белом фартуке и держит в руках нечто в раме – вероятнее всего, это икона. Слева от него – малорус, легко узнаваемый по элементам костюма и форме усов, с серпом в руке; рядом – двое казаков. Один из них – в черкеске с газырями и в высокой папахе донских или кубанских казаков, держит в руках несколько шашек, второй – вероятнее всего, младший офицер гвардейского казачьего полка с погонями; в руках его – кавалерийский карабин Бердана. Слева на переднем плане – матрос в бескозырке, он подносит в дар модель парусного судна. Справа от зрителя – две девушки со спины; одна, в сарафане и маленьком кокошнике, держит в руках трепало для льна с волокнами (одежда и лен свидетельствуют о том, что она представляет северные великорусские губернии)²⁴¹. Вторая девушка – с двумя косами с вплетенными в них лентами и с повязкой на голове, в вышитой рубахе и понёве с передником; на шее у нее крупные бусы, в руках – то ли узорное полотно, то ли платок. Ее внешний вид говорит о том, что она представляет либо южновеликорусский, либо юго-западнорусский регион. Здесь же – скорняк со шкурой медведя и с овечьим руном, художник с картиной, а также юноша в клетчатой рубахе с небольшой бородкой – чеканщик или ювелир с подносом, на котором – серебряные богато украшенные чайники разных форм. В правом углу на переднем плане – издатель с книгами²⁴². Вербальным сопровождением данной картины служат слова из вводной статьи (текст одного из выступлений), в которой подчеркивается, что «на выставке обнаруживаются особенности каждой нации и черты, свойственные ее гению, и таким образом в одном месте сосредоточиваются произведения... разных местностей одной страны»²⁴³.

В персонажах данной картины можно, однако, угадать гений не столько этнический или национальный, сколько, *во-первых*, областной, связанный со специализацией региона (малороссиянин-землепашец и великороссиянка северных губерний, славящихся льном, мастер иконного дела – быть может, из Палеха и т.д.), а, *во-вторых*, сословный. Легко заметить, однако, что «народы России» представляют не дворяне, не офицеры или духовенство, а социальные низы: крестьянство, ремесленники, торговцы, разночинцы и др. Они являются репрезентантами видов деятельности, ремесел, профессий: художник, издатель, скорняк, ювелир. Земледельцев-крестьян в полном смысле воплощает только малорус. Разнообразие декларируемых «этнических типов» сводится, как и ранее, в 1830-х – 1840-х гг., к персонификации сословий и ремесел.

Весьма красноречива и ставшая заставкой альбома и экспонатом выставки скульптура «Слава России», выполненная художником Кафкой и исполненная в чугунном литье на фабрике А. Гусарева²⁴⁴.

Как и другая фигура, представленная на следующей художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде (1896) Н.А. Лаврецким, это совсем иное, хотя тоже символическое изображение России – государства, империи: Россия выступает как дева-воительница, но при этом типологически вписывается в символические визуальные воплощения «России» – Родины-матери²⁴⁵. В первой скульптуре Россия предстает в образе женщины. Ее одежда стилизована под традиционный боярский женский костюм допетровского времени: форма кокошника (шлемовидный, с густой поднизью) воспроизводит северную (новгородскую) его разновидность. В правой руке – длинный жезл-посох с навершием в виде герба (двуглавого орла) – символ власти; левой рукой она придерживает щит с изображением Георгия Победоносца, пронзающего копьем змея. Однако сама фигура России явно ассоциируется со статуей Афины-Воительницы (Афины-Промакос) Фидия: узнаваемы и поза, и расположение атрибутов. Слишком длинный посох – явная реплика копья Афины в той же руке, а щит, на который опирается другой рукой Афина, соответствует положению щита «России». Шлемовидный кокошник также напоминает шлем Афины. Таким образом, фигура России актуализирует образ мощного государства, его ратной славы.



Кафка. Слава России. Скульптура. 1882



Н.А. Лаврецкий. Россия. Скульптура. 1896. Бронза, каслинское литье

В статике скульптуры Н.А. Лаврецкого также представлен образ девы-воительницы, но менее аллегорический; он не нуждается в ассоциациях: девушка в древнерусском шлеме с гребнем и в длинной кольчуге, надетой поверх платья, держит в правой руке чуть приподнятый меч. На ее груди – большой крест, в левой руке щит, который она также держит в состоянии готовности к отражению атаки. Под рукой со щитом на невысоком постаменте лежат императорская корона, скипетр (с двуглавым орлом в навершии, обращенном к статуе) и держава. Эта Россия готова к бою, в ее атрибутах соединяются исторические этапы русской государственности: Древняя Русь и Россия-Империя. Важным элементом является крест (отсутствующий в изображении «Славы России»).

*Иерархизация региональных типов
в процессе выбора репрезентативного варианта
великорусской этничности*

Концепции «районирования» оказались как нельзя кстати в 1870-х гг., в период формирования локального (провинциального) патриотизма в России и так называемого областничества – общественного течения, нацеленного на развитие культурно-экономической самостоятельности регионов. Как столичные, так и местные историки и краеведы с энтузиазмом восприняли концепции, объяснявшие не только этническую, но и региональную самобытность²⁴⁶. В связи с этим весьма красноречиво соединение «народности» и «областничества» в высказывании А.П. Щапова. «...Не с мыслью о государственности, не с идеей централизации, а с идеей народности и областности вступаю я на университетскую кафедру русской истории»²⁴⁷, – заявлял он в своей первой лекции в Казанском университете в 1860 г. Щапов считал, что историю России следует рассматривать как эволюцию «областных масс народа», историю «постоянного территориального устройства, разнообразной этнографической организации» – до и после процесса централизации, противопоставляя, таким образом, земско-областную форму социальной жизни форме государственной. Он не разделял сельские и городские сообщества, объединяемые на протяжении веков экономическими и «естественно-бытовыми» связями в единый организм, обладающий в том числе внешними приметами (особенностями внешнего облика, материальной культуры, говора, видами хозяйственной деятельности и промыслами). Такие локусы (ныне именуемые «локусами культурного пространства», «географическими образами»²⁴⁸) обладали ярко выраженными чертами региональной хозяйственно-исторической общности, но не этнокультурной самобытности в чистом виде. Их выявление важно как предшествующая фаза процесса «назначения» национально-типичных образований, репрезентирующих государство и нацию, который в Европе относят к середине XIX в.²⁴⁹

С одной стороны, концепция областничества соединяла пространство с этносом не причинно-следственными связями (как в чисто географических теориях), а принципом комплексности, став своеобразным прообразом культурно-хозяйственных типов, что акцентировало существование не только «племенных», но и родственных общностей иного вида. *С другой стороны*, она восходила к типологическому методу классификации – к ратцелевской идее этногеографических «типов», которые даже в случае общей этнической принадлежности разделял ландшафт и порождаемые им формы деятельности.

На практике идеи Шапова воспринимались как призыв к изучению местной истории и этнографии, что наряду с активной деятельностью земств стало стимулом для развития «провинциальной историографии» 1870-х – 1890-х гг.²⁵⁰ и активного внедрения предмета «родиноведение» (краеведение по губерниям, с которым был схож и так называемый курс «наглядного обучения», принятый даже в трехлетних начальных школах)²⁵¹, скептически оцениваемого некоторыми исследователями как «формальная сумма отдельных описаний, объединенных лишь внешней связью политического существования, превращающегося в своеобразное возрождение летописной истории»²⁵². Однако увлечение «провинциальными» изысканиями (не по значимости или качеству, а по выбору предмета изучения) неслучайно совпало с другой тенденцией – резким увеличением в тот же период объема научно-популярной литературы географического характера о различных регионах Империи²⁵³.

Во второй половине XIX в. при определении этнотерриториального типа пространства (ландшафта, региона, не обязательно совпадающего с компонентами административно-культурной области, страны, края) бесспорными объявлялись два фактора: а) воплощением этнонационального типа считался представитель народа; в аграрном европейском обществе это был крестьянин, – следовательно; б) типичный пейзаж связывался с природным окружением сельского труженика и ассоциировался с негородским природным пространством – как освоенным человеком (поля, пастбища, селения), так и неосвоенным (лес, реки, озера). Как правило, на воплощение народного/племенного «претендовали» этнические группы (не этносы, а субэтносы, именуемые «отраслями» или «поколениями» народа-этноса), исторически связанные с «признанным» типичным ландшафтом или те, которые рассматривались как менее всего затронутые влиянием цивилизации и сохранившие древние устои и традиции²⁵⁴.

Следует подчеркнуть, что процесс «назначения» областной/локальной группы репрезентантом национальной идентичности в целом реализовался даже тогда, когда нация формировалась, не имея собственной независимой государственности (как, например, в польских землях или в Финляндии)²⁵⁵. Несколько иные тенденции складывались в полиэтнических государствах или империях: там в этом «выборе» большую роль играли исторические заслуги народа/этноса в создании государства и его культурном процветании²⁵⁶.

Поиск этнорегиональной типичности – в пространственных, временных и антропологических координатах – характерный для европейской культуры того времени процесс. Его проявления можно заметить и в эволюции научных представлений о языке (в частности, в дискуссии о диалектных ареалах и об их соотношении с го-

ворами). Однако следует заметить, что этнотерриториальные типы не соответствовали современной этнокультурной номенклатуре: они не были связаны ни с выделением историко-этнографических областей, ни с классификацией по хозяйственно-культурным типам²⁵⁷. От первых их отличало условие моноэтничности, от вторых – строгая зависимость от границ ландшафта, которые довольно трудно было связать с большими пространственными ареалами. Точнее было бы именовать их локально-культурными этническими типами.

Наиболее подробно описанными в качестве самостоятельного типа великоруса являются, конечно, жители великорусского ядра (центральных губерний) и Русского севера. На последних следует остановиться подробнее. Несмотря на терминологическую неопределенность данного понятия в XIX в., бесспорные компоненты «северного» пространства можно определить, опираясь на различные типы членения имперской территории в географии и статистике: это именуемые «северными» губернии Европейской России – Архангельская, Олонецкая, Вологодская, Вятская (северо-восточная в официальном делении), а также Псковская и Новгородская (северо-западные). Иногда центром Русского севера именовали Озерный край. Современные российские ученые также признают этнокультурное своеобразие данного региона России («он един в историко-культурном отношении»), определяемого как «обширная территория к северу от водораздела Волга – Северная Двина, между районами расселения карелов и коми»²⁵⁸; однако уточняют, что корректнее было бы именовать его не «Русским», а «Европейским» севером.

Важна с точки зрения тенденции трактовки исторического места и роль Великого Новгорода в формировании русской государственности, которая отмечалась во всех без исключения исторических очерках. Именно наличие самостоятельного политического центра в Новгороде, а в нормативной для истории России XIX в. версии российской государственности – ее первого центра, трижды (Новгород–Киев–Москва) менявшего локализацию и сохранявшего преемственность, придавало этому региону особые черты. О них, кстати, писал Н.И. Костомаров во многих своих работах по истории Малороссии и южного федерализма. В том числе – в неоднократно упоминавшейся статье «Две русские народности». Историк рассматривал, в сущности, три центра русской народности, но полагал, что новгородцы республиканского периода были потомками переселившихся на север южнорусских племен, ильменские или новгородские словене – их «ветвью», а следовательно, прямыми наследниками и носителями южнорусского федеративного начала, стихии индивидуализма и демократии (о чем писал и К.Д. Кавелин). Остальные, т.е. нынешние великорусы (тверичи, суздальцы, москвичи), являют

собой пример отклонения от этого прямого пути, демонстрируя отличие во всех областях жизни, в том числе в этнографической самобытности (язык, быт, нравы, обычаи, общественный и государственный строй). Это произошло под влиянием природных условий, исторических судеб (завоевание Новгорода и утрата им политической самобытности), а также под воздействием метисации, финно-угорской крови. Сформировавшееся в результате «великорусское племя» типологически противоположно южнорусскому²⁵⁹. Однако в рассуждениях Костомарова важно именно различие Владимиро-Суздальской и Новгородской Руси как различающихся в племенном составе и наследии общественных форм самоорганизации. Победа самодержавия как формы, выработавшейся в Северо-Восточной Руси – при закате киевской государственности, означало неизбежное падение второго центра федерализма – новгородского. И хотя в этногеографических описаниях данная идея, тем более в ее резких формах, не нашла выражения, она подспудно присутствует в рассуждениях о севернорусском типе, в котором обнаруживаются элементы и приметы былой «политической вольницы».

В конце столетия стереотипным стало суждение, что «самый чистый русско-славянский тип сохранился у северных великороссов, жителей Архангельской, Вологодской, Вятской, Олонецкой и Новгородской губерний»²⁶⁰. Публицист В.И. Немирович-Данченко подчеркивал, что отличительные особенности жителей данного региона обусловлены не природными, а социально-экономическими факторами: «...этот общий тип полосы, где старая новгородская вольница и сила не были убиты монгольщиной, крепостным правом и вечной нуждой»²⁶¹. Другой автор пояснял, каким образом физический облик сочетается с характером и благосостоянием крестьянства: «...если крестьянин живет в просторной и светлой белой избе, имеет возможность постоянно пить чай и кофе, есть мясо и не изнурять себя чрезмерною работою, он заметно добрее, а дети его непременно превосходят в росте и красоте»²⁶².

Описатели выделяли среди обитателей Русского севера, конечно, автохтонное население – представителей финно-угорских племен, численность которых незначительна, а облик неприятен: «Человек из чудского племени частью дрябл телом и слаб духом, труслив и смирен. Белые, светлые волосы – главное отличие этого племени... только у некоторых переходят в рыжий и никогда не делаются черными»²⁶³; «небольшие глаза... смотрят вяло, плохо видят, глаз его больше спит и добычи не ищет... Чудин до коней не охотник. Белоглазой чудью прозвало их русское племя»²⁶⁴. Однако в большей степени интересуют авторов региональных очерков великорусского племени обладатели «славянского» облика (высокий рост, светлые волосы, светлые глаза, сила, крепость и физическая выносливость).



Фотоггания Висоц. уга. Т-ва И. И. Кушнерев и Ю., ст. Москва.

Л.Л. Белянкин. Типы великоросов Северного края:
Санкт-Петербургская, Новгородская
и Псковская губернии. 1894

Их считали потомками самого древнего славянского племени кривичей и ильменских словен, которые к XI в., создав государство и уже частично ассимилировавшись с местными финнами, сложились в общность, именуемую «славяно-руссами». То обстоятельство, что им удалось ассимилировать финно-угров в незначительной степени (во всяком случае, это не сказалось на фенологических чертах) и сохранить свой тип в чистоте, трактовалось как доказательство силы и устойчивости коренного славянина, а также как следствие бережного отношения к «старине», традиционному быту, вере и устоям жизни. Древние приметы физического облика означали также наличие в их образе жизни и характере уже известных архаических славянских черт: патриархальной чистоты, гостеприимства и честности; в северных губерниях (Архангельской и Вологодской) «чаще всего встречаются деревни, населенные кровными великорусами: народ этот по большей части крупный, могучего сложения, долговечный, сохранивший в своей лесной глуши первобытную честность и чистоту нравов»²⁶⁵. К.Д. Кавелин не сомневался, что «северное население и до сих пор удерживает своеобразный характер, напоминающий их новгородское происхождение, в гражданском и общественном быту оно заметно выше, развитее»²⁶⁶.

Впрочем, не все думали так; некоторые были убеждены, что неверно видеть в этих великорусских крестьянах (как и в финнах этого региона) «первоначальный тип в... первобытной чистоте»²⁶⁷. В этногенетической истории происхождения великорусских обитателей некоторых других уездов, например Пинежского, говорилось: «...как повсеместно слилась чужь с русским населением славянского племени, так же произошло и здесь. Теперь все народонаселение уезда составляет чисто русский люд или великороссов, но примесь отдельных племен с чистокровными русскими становится в Архангельской губернии заметна более, чем в других губерниях... настоящие жители уезда – из поколения чуди, сроднившейся сперва с удельными новгородцами, а потом с другими племенами русского населения»²⁶⁸.

Несмотря на это, великорусы могли и вовсе отождествляться с более известными и близкими предками – новгородцами, жителями вольного Великого Новгорода до его завоевания и окончательного включения в Московское государство: «Их говор на “о”, их песни, былины, предания – все напоминает далекие старые времена, когда выходцы из Новгорода впервые отважно проникли на берега Сухоны и Двины»²⁶⁹. Однако такая версия не была ни стройной, ни последовательной. Каждый из авторов пытался увидеть в этом менее всего финнизированном типе черты, максимально близкие к образу «чисто славянскому», т.е. мифологизированному: «Русское население Архангельской губернии отличается

здоровым телосложением, большей частью хорошим ростом ... и довольно красиво. Особенно замечательны женщины, они высоки и сильны... большей частью имеют волосы русые и белолицы»²⁷⁰. Тому же Немировичу-Данченко довелось видеть там «блондинок с необыкновенно нежным цветом тонкого, овального личика, на котором особенно выразительно сияют крупные темно-голубые глаза и в прелестную улыбку складываются алые, безукоризненно сложенные губы»²⁷¹ – как видим, это изображение было призвано отразить «объективные», внесловные приметы женской красоты, близкие к общеевропейским канонам²⁷².

Качества характера современных потомков новгородцев соотносились не только с антропологическими, но также с климатическими («суровый климат... выращивает и суровое поколение, выносливое в бедах, напастях и невзгодах, закаляет характер здешнего жителя и заставляет усиленно бороться за свое существование»²⁷³) и экономическими условиями (они «...развивают у населения дух предприимчивости, сметливость, смелость и независимость, а свою долю влияния имело, конечно, отсутствие крепостного права»²⁷⁴), а также с историческим опытом колонизации. Бесспорно относимому к великорусам населению здешних мест приписывалось чувство собственного достоинства, передавшееся якобы от ушкуйников и сохранившееся в связи с природно-экономическим своеобразием региона: «Русское население на Печоре, по сравнению его с крестьянами центральной полосы России, заметно отличается большей самостоятельностью, сметливостью и предприимчивостью. Объясняется это, с одной стороны, отсутствием здесь крепостного права, а также самыми особенностями экономических условий в стране, где климат и почва не позволяют заниматься исключительно земледельческим трудом, а заставляют обратиться к лесным, речным и морским промыслам, сопряженным с большими опасностями»²⁷⁵. В создании типа, как считалось, приняли участие также старообрядцы «из центральных русских губерний», бежавшие на север в XVII–XVIII вв., – у их потомков также обнаруживаются приметы чистого славянского типа: «Имеет, конечно, большое значение и то, что значительная часть русского населения принадлежит к потомкам защитников старой веры, бежавших из внутренних губерний России»²⁷⁶.

Среди жителей Архангельской губернии в качестве одного из самостоятельных «подтипов» выделяются поморы. В одном из более ранних очерков Поморья (1849) приведена теория их происхождения из прямолинейно трактуемого смешения автохтонного финского племени карел и славян-новгородцев («От этого взаимного действия одного народа на другой произошла перемена в нравах, обычаях и языке... т.е. вышло так, что кореляки отстали от древних финнов, а русские поморцы приобрели такие особенности, которые резко отличают их от

прочих русских... Архангельской губернии...»²⁷⁷). В 1880-х – 1890-х гг. поморы однозначно воспринимались как сохранившие славянский тип и характер в его красоте и неизменности, а родство их с новгородцами всячески подчеркивалось («Потомки древних новгородцев, поморы до сих пор еще сохранили дух предприимчивости, необузданности и смелости своих предков»²⁷⁸). У многих авторов они вызывают восхищение: «Рослые, сильные, красивые, русые или темно-русые, с большими окладистыми русыми бородами», «все они очень сильны, стройны, крупны, с очень правильными чертами... глаза серые или карие, цвет бороды почти у всех слабо-рыжеватый»²⁷⁹. В этнографическом очерке Н.Ю. Зографа приведено свидетельство анонимного описателя (судя по стилистике, того же В.И. Немировича-Данченко): «Я был поражен красотой типа, ростом, правильным сложением, и не только в мужчинах, но также и в женщинах»²⁸⁰. Столь эмоциональное восприятие и неожиданность увиденного – косвенное свидетельство того, что привычный, стереотипный образ великорусского крестьянина в обеих гендерных ипостасях был далек от идеала совершенства в его европейской или славянской антропологической версии.

Доказательством чистоты славянского образа выступает облик и характер женщин, считавшихся, как говорилось ранее, главным воплощением этнического типа. В.И. Немирович-Данченко в очерке о русских женщинах (1882) также особенно выделял поморку: «... крупная, сильная, полная, является дочерью отважных новгородских ушкуйников, впервые населивших эту чудскую глушь. Физическая сила северянки является феноменальной, рост выдержал бы... соперничество с любым великаном наших гвардейских полков... Черты лица ее красивы и правильны»²⁸¹. Она же «энергичная, смелая, готовая на всякий промысел... до сих пор не подчиняющаяся никакой силе...»²⁸².

Более внимательные наблюдатели стремились не только обнаружить, но и точно локализовать типы, усматривая определенную историко-антропологическую закономерность в их распределении по территории губернии. В популярном очерке Н.И. Зографа те же самые «красивые» великорусские обитатели Архангельской, Вологодской и Вятской губерний подразделяются на два подтипа:



*Женский костюм
Северной России.
Вологодская губерния.
Фото. 1880-е гг.*

а) живущие по берегам больших рек (Сухона, Двина) или у моря (поморы); б) издавна селившиеся вдали от водных путей. Вторые не столь красивы (т.е. отклоняются от «эталонного» роста и цвета волос и глаз): «черты лица менее правильны (на носу, например, выемка – нос курносый, чаще замечается у народцев финского племени), цвет волос темнее, ... а глаза светлее», они «более низкого роста, с глазами более узкими, чем у великороссов, населяющих берега Северной Двины и Сухони»²⁸³. Несоответствие идеалам красоты объясняется Зографом вполне предсказуемо и традиционно – последствиями смешения с «некрасивыми» (узкоглазыми, смуглыми, низкорослыми и темноволосыми финно-уграми). И вятские крестьяне описывались как «невзрачные, серые на вид» именно по этой причине²⁸⁴. Два типа внешности соответствуют полярным нравам: первые предприимчивее, энергичнее и развитее, «более стойки в своих убеждениях»; «...крестьяне второго типа менее энергичны... в убеждениях своих очень шатки»²⁸⁵. Великорусам Вологодской губернии приписываются трудолюбие, энергичность, предприимчивость и сметливость²⁸⁶, отраженные в привлекательном облике: «...наружностью они вообще красивы... обыкновенно черноволосы и черноглазы»²⁸⁷.

Приметы финского характера отчетливо заметны в описании «народа» Пинежского уезда: «...любит уединенную замкнутость... жители здешние склонны более к задумчивости. Преобладание думы обнаруживается из угрюмого вида и спокойного, тихого характера, свойственного меланхолическому темпераменту»²⁸⁸; «при замкнутости и молчании у них нет возвышенной человеческой общительности»²⁸⁹; «при всем том нельзя сказать, чтобы жители были глупы или лишены смывленности, переимчивости, благоразумия, сметливости и верных соображений. Они имеют хотя медленный, но основательный ум, дельную опытность, судят... здраво и толково... холодность и несообщительность удерживают их от увлечения к любознательности, поэтому они не очень развиты»²⁹⁰.

Помимо великорусов северо-восточных губерний, носителями «чистого славянского» племенного образа объявлялись и вызывавшие восхищение писателей жители Озерной области Новгородской губернии. Разумеется, они являются первыми претендентами на сохранение облика и характера истинных вольных новгородцев – купцов, охотников за мехами и первых колонизаторов финских земель («...высокорослый, статный, красивый древний новгородец вспоминается в его более высокорослом и более красивом, чем население окрестных стран, потомстве»²⁹¹). Центром расселения этого типа признаны берега Ильменя: «Если где более сохранился чистый славянский тип, то это в Поозерье, на берегах озера Ильменя»²⁹²; «в



Великоросс Новгородской губернии. Фото. 1890-е гг.

этом краю... народ рослый, мускулистый, широкоплечий. Лицо широкое, с прямым, довольно большим мясистым носом, с карими глазами, с темно-русыми густыми волосами на голове и бороде. Характера твердого до упрямства, смелого и разудалого»²⁹³.

Приозерский тип отличается красотой и силой как мужчин, так и женщин: «Суровый климат да нелегкая жизнь наложили свою печать на жителя Озерной области. В тех местах, где рыбки есть вволю и где живет лучше, там и крестьянин заявился и ростом повыше, и лицом почище; тут можно встретить людей ростом в 1800 мм, красивых, дебелих, да и женщины за себя постолят – на мужской работе не примаются, грести станут

– душа радуется. Что ни дальше на север подаешься, то народ статнее становится, точно так же, как в тех местах, где осталось еще старинное, исконно новгородское население; Белозерщина славится своей красотой, а также и Приильменьщина и Приозерщина во Пскове. Поглядеть если на белозерских женщин, когда они выйдут в хоровод... подумаешь, что тут-то именно и списал наш незабвенный поэт свой портрет “русской славянки-красавицы”. Русые волосы, чистое, открытое лицо с то с карими, то с голубыми (преимущественно темных оттенков) глазами, с богатою растительностью волос и привлекательной кудреватостью, большой, но правильный нос – вот тот тип, в котором везде и всюду узнаешь исконного жителя Приозерщины»²⁹⁴.



*Женский костюм
Северной России. Во-
логодская губерния.
Фото. 1880-е гг.*

Однако в этом регионе мы встречаем и другой тип – менее «ладный» и менее гармоничный, – в котором финского элемента заметно больше: «...наряду с этим характерным типом является в той же местности наблюдателю и другой, совсем на него непохожий и носящий на себе все признаки стародавней помеси с туземцами и тех еще неизведанных влияний, которые оказывает один тип на другой без содействия смешанных браков или скрещиваний. Выцвел как-то здесь русский человек глазами, явилась какая-то несвойственная ему раскосость глаз, плечи усугубились, и ростом он стал как-то пониже, борода ищет исключения и поредела – все обличье приняло внешний вид соседа-финна, от которого в иных слу-

чаях и не отличишь русского человека»²⁹⁵. Такое различие легко обнаруживается описателями даже по отдельным деревням. В Березовце «...все крестьяне высокого роста, крепкого телосложения, широкоплечие, мускулистые, с большими курчавыми головами, с светло-русыми волосами, голубыми глазами, с крупными чертами лица, с широкими большими носами, – покаянными, как принято у нас писать на паспортах. Дети же все без изъятия с белыми как лен, курчавыми волосами, и все на одно лицо»²⁹⁶, а в «...пяти верстах от этой деревни, далее от Волхова, к лесу, в Невшине, жители уже малорослее... волоса у них гораздо темнее и не курчавые, лицом тоже темнее. Черты их мельче, даже выражение подходит более к финскому. Узкие глаза, нос приплюснутый, волосы в бородах редкие. Также заметна разность в нравственном развитии и в образе жизни»: «в Березовце народ довольно развитый... честный (по-своему), живут опрятно, стол имеют довольно сносный, в каждом доме самовар и чайный прибор. В Невшине жители тупоумнее и плутоватее, дики и грубы, опрятности мало и питаются только пустыми серыми щами и солонухами»²⁹⁷.

В одном из подробных очерков быта и нравов крестьян Новгородской губернии автор (священник) предлагал свою типологию жителей губернского пространства. Первый, самый распространенный тип (его представители проживают «близ Новгорода») «отличает рост немного более среднего, цвет волос русый, кожа белая, мускулы хорошо развитые, сложение крепкое, имеющее склонности к полноте, глаза более карие, чем голубые, нос прямой, мясистый и ровный, лицо довольно широкое, борода окладистая, до-

вольно густая и длинная. Часто случается, что с такими формами тела и лица люди бывают светло-русскими, тогда глаза непременно голубые и лицо и руки покрываются веснушками»²⁹⁸. Обладатели примет второго типа населяют Старорусский и другие, более южные уезды губернии, у них «смуглый цвет лица и кожи, темные волосы, даже черные, по большей части на бороде редкие. Рост довольно большой, сложение крепкое, мускулистое и мало расположенное к полноте. Лицо более длинное, нос длинный и более тонкий, глаза карие. Красота здесь в общих чертах лица реже встречается, чем в первом типе»²⁹⁹. В третий тип объединены автором жители северных уездов и «глуши», так как они «близки к финскому»: «Рост меньше среднего, кости широкие и короткие, лицо широкое, глаза узкие, бледно-серого или бледно-голубого цвета, нос широкий и приплюснутый, скулы – выдающиеся наружу, борода редкая, цвет волос более рыжий»³⁰⁰.

Сопоставляя эту далекую от научной типологию (основанную, правда, на эмпирических наблюдениях) с типологией ученого-антрополога Н.И. Зюграфа, легко обнаружить те закономерности, которые положены в их основу. Это теоретические установки: представление о «древнем» славянском типе (высокий рост, стройный силуэт, светлые или рыжеватые волосы, светлая кожа, голубые или карие большие глаза, крупный нос, сила, витальность) и о кардинально противоположном ему представителе финского племени (низкорослость, коренастость, темные волосы, смуглая кожа, светлые маленькие/узкие глаза, курносый нос, слабосильность, вялость). Славяне и финны данного региона представлены как антиподы – так же, как великорусы и малорусы в очерках нрава/характера. Так в результате обнаружения в «коренном» славянском типе элементов финского создавались варианты метисации, степень которой определялась также легко: в соответствии с выраженностью инородческих антропологических примет. Эта сугубо внешняя, визуальная идентификация опиралась на сопоставление с образцом (типом в прямом смысле слова) и на внешнепризнаковую стратегию выявления этничности. В ней отчетливо заметны, *во-первых*, оценочное ядро суждений, соотносящееся с этноцентризмом: идеальный тип совпадает с позитивным образом славянина, цивилизованный и красивый славянин стоит в иерархии как свойств и предпочтений, так и народов Империи выше других; *во-вторых*, стремление к идеализации «своего» – великорусского крестьянина – обретает, как видим, новые способы аргументации.

В описаниях жителей Русского севера также явно прослеживается отрефлексированное сравнение с наиболее распространенным в обыденном сознании представлением о великорусе Центральной России – т.е. с тем критическим и даже негативным образом, кото-

рый нашел отражение в художественной литературе и живописи натурализма и критического реализма. Его облик легко узнаваем и стереотипен. Вот весьма часто встречающееся в популярной литературе суждение: «Тип русского крестьянина хорошо известен каждому из нас»³⁰¹. Его главные черты и свойства связывались с нечерноземной зоной земледелия и с вековым крепостным правом, а пространство обитания ассоциировалось с девятью–двенадцатью великороссийскими губерниями. Облик жителя этого края был далек от идеального славяно-русского, но обладал другими несомненно привлекательными чертами: «В междуречье Оки и Волги живет цвет великорусов, народ бойкий, способный, промышленный, предприимчивый, который подчинил своему Царю всю огромную землю, называемую ныне Российской империей»³⁰². «Решительно великорусской страной» именуется обширный регион, соотносящийся с коренными землями и этническим ядром, его «население представляет большое единообразие», так как процент инородцев среди них не превышает трех³⁰³, а финское племя можно встретить на трех крайних областях.

Современный исследователь И.М. Кузнецов объясняет этот процесс утверждения образа Русского севера – с его столь ярко выраженной непохожестью на сложившиеся ранее представления о русскости как «воплощении подлинной русской культуры» – изменениями в оценках культурной иерархии российским обществом. Они сопровождались, добавим, популяризацией идей эволюционистов с их теорией «пережитков». «Все шире утверждается идея об упадке, разрушении русской традиционной культуры. В свою очередь, эта идея стимулировала оформление социального движения за возрождение русской культуры, хотя на самом деле речь должна была бы идти о ликвидации многообразия этнических групп русских без учета разницы в социально-экономическом развитии»³⁰⁴, – считает исследователь. Однако общеевропейские механизмы формирования региона-репрезентанта национальной идентичности свидетельствуют о том, что в России имел место аналогичный процесс³⁰⁵. Отличие заключалось лишь в том, что великорусы на данном этапе, уже будучи признаны государствообразующим этносом, все еще не имели четких примет этой этничности. Следует подчеркнуть еще одну важную черту: поиск типа великоруса на Русском севере коррелировал со стремлением выявить и типичный великорусский ландшафт, и его образ. Это подтверждает интерес русских художников (В.В. Верещагин, К.А. Коровин, В.М. Васнецов, Ап. М. Васнецов, М.В. Нестеров, В.А. Серов, И.Я. Билибин, В.В. Переплетчиков, А.А. Борисов и др.) в 1880-х – 1900-х гг. к пейзажам Севернорусского региона, осмысливаемым именно как общерусские и типично русские³⁰⁶.

Особняком стоит оригинальная классификация русских племенных и региональных типов, представленная в учебниках географии профессора И.К. Разумова. Он вполне традиционно выделял южную (т.е. малороссийскую, называемую им также «югорусами»), западную (белорусскую) и восточнорусскую (или алаунскую³⁰⁷, послужившую, с его точки зрения, «основой Российской империи») «ветви» коренного славянского племени на территории Российской империи³⁰⁸. Последнюю (определяемую как «коренное славянское семейство» русских, или россиян) Разумов выводил из «древних руссов» и подразделял на несколько групп. Они образовались из «слития» «отдельных славянских общин, живших от Ильменя до Днепровских порогов» с единоплеменниками к западу до Буга»; после чего «привили к себе» финнов по Оке и Верхней Волге. В ходе этого продолжительного, ровного процесса произошли «оттенки» русского племени, которых Разумов насчитывает семь: а) новгородцы, б) великороссияне, или «московцы», в) степняки, г) белорусы, д) русины, или малорусы, е) казаки, ж) русняки, или галичане. Интересно, что в этом перечне группы не соотнесены с тремя «ветвями», и мы можем лишь предполагать, что восточнорусский элемент отождествляется с первыми тремя. «Новгородцев», или «руссо-северян», географ именуется «первобытным коленом», исходным, чисто-алаунским, вышедшим от Ильменя в Заволочье, страну североволжскую³⁰⁹, и связывает этот регион с тремя северо-западными губерниями. Он описывает их жителей, как и все другие авторы: подчеркивает рост и статность, отмечает их «склонность» к «промышленничеству», торговле, странствованиям, подчеркивает их «малую привязанность к почве» и любовь к благосостоянию.

Разумов отмечает, что столкновения на протяжении веков с иноплеменниками и другими соплеменниками несколько изменили их характер, но в целом набор их черт остается неизменным. Великороссиян, или «московцев», Разумов представляет как результат смешения нескольких волн миграции («выселок»): ранними, с Алауна, и поздними – с Днепра, подчинившими себе местные финские племена из Окского бассейна, который «по справедливости можно назвать великорусским». Этой группе автор приписывает типический признак сметливости, изобретательность и находчивость, а также разгульную беспечность; главным же свойством называет общительность. От «северян» их отличает привязанность к почве и консерватизм во взглядах и обычаях (сохранение «старин»), но сближает с ними стремление к благосостоянию, отчего проистекает активное занятие промыслами. Именно за «московцами» Разумов признает заслугу в создании государственности («использовали свое превосходное центральное положение, выработали государственный центр, сделали господствующими... подчинив все оставшиеся народности»³¹⁰).

Время образования своеобразных черт русских «степняков» автор соотносит с монгольским периодом – именно тогда эти великороссы и новгородцы проложили себе путь «по Нижней Волге, Курским холмам, Верхнему Дону, где смешались с мордовскими и татарскими первожителеми»; как и «московцы», они привязаны к земледелию, а также к скотоводству и рыбной ловле. Они апатичнее и малодетальнее двух других «оттенков русского происхождения»³¹¹. Таким образом, эти три разновидности великорусов различаются, *во-первых*, территориями своего формирования; *во-вторых*, временем складывания, связанным с историческими событиями; *в-третьих*, избранным видом и направлением колонизации и, *в-четвертых*, племенным составом (чистотой или слиянием разных антропологических типов). Если новгородский и великороссийский (по Разумову) типы кардинально разнятся прежде всего по их роли в создании государственности, то русский «степняк» узнаваем по темпераменту. Такая классификация восточнорусских племен свидетельствует о том, что выделение Центрально-промышленного и Северно-новгородского регионов сомнению не подлежало, но «главным» историческим «оттенком» оставался все же «московский», который автор соотносил с великороссийскими губерниями (четырьмя Верховными приволжскими, шестью собственно великороссийскими – без Орловской)³¹².

В научно-популярных географических текстах 1880-х – 1900-х гг. о великорусах центральных губерний отчетливо заметны две основные тенденции изображения: *во-первых*, стремление детализировать сформировавшийся ранее, в эпоху романтизма, идеализированный образ мужика/крестьянина³¹³ и, *во-вторых*, довольно критическое и особенно суровое в эпоху народничества 1870-х – 1880-х гг. восприятие быта, нравов и образа жизни крестьян как «темных и варварских». Две эти тенденции существовали параллельно, зачастую вступая друг с другом в некоторое противоречие в пределах учебного жанра, активно прибегавшего к компиляции. Конечно, мотивация и инструменты создания позитивного автостереотипа в эпоху модернизации трансформируются, но результат, воплощенный в научно-популярной и учебной литературе, остается неизменным: это стремление к созданию позитивного этноописания «своих». Однако этот регион – «внутренней» России, ее этнического ядра, разумеется, не может быть устранен из списка «претендентов» на единственный, и притом «чистый», великорусский тип: девять мануфактурно-промышленных губерний (Московская, Ярославская, Владимирская, Костромская, Нижегородская, Казанская, Калужская, Тульская, Рязанская) «составляют настоящее отечество *русского народа* (выделено автором. – М.Л.) и средоточие государства, где развивалась и где укоренилась русская

народность, где по преимуществу сохранялась и чистота народного характера, и чистота языка, устраненные от влияния народов Западной Европы, с одной стороны, и обитателей Азии – с другой»³¹⁴. Автор этого высказывания – географ Зуев не дает определения пределов Великой России, но этнографический очерк ее обитателей помещает именно в этом разделе, утверждая, однако, что «во всей Великой России народ, по наружному виду, представляет такое же однообразие, как и сама природа. Почти везде один и тот же тип лица, одно и то же одеяние, исключая женских причудливых нарядов... Великорусский крестьянин замечателен своим крепким телосложением, широким лицом и высоким челом. Он любит носить густую бороду»³¹⁵.

Племенной тип великоруса Центральной (без сомнения, «внутренней») России воплощает антропологическое слияние славян и финно-угров в его «новой разновидности», в «улучшенной породе», которую, по мнению авторов 1890-х гг., демонстрируют великорусы Московской промышленной области и Верхнего Поволжья: «...здесь мы видим, как на почве первоначально финской постепенно вырабатывается один стойкий, даровитый тип московского великоруса из смешения выходцев ильменско-словенской, кривицкой, вятицкой и северской земель. Эта новая разновидность русского народа в течение шести веков сумела привлечь к себе все племена и земли Древней Руси и с их помощью сплотить вокруг Москвы великое русское государство»³¹⁶.

С 1890-х гг. и на рубеже столетий описания физического типа великоруса центральных губерний становятся более детальными и опираются, как правило, на научные данные – антропометрические таблицы и заключения антропологов, что повлияло и на стиль описаний. В очерке внешности великорусов Московской промышленной области, т.е. на территории, отождествляемой с этническим ядром Великороссии (Московская, Калужская, Тверская, Ярославская, Владимирская, Костромская и Нижегородская губернии), на первом месте также признаки «красивого типа»: «...довольно видный, стройный и красивый. Рост его... средний, цвет волос обыкновенно русый, но не светло-белокурый. Среди великорусов половина блондины и блондинки, но темперамент их, сказывающийся в движениях и блеске глаз, обнаруживает несомненно меньше лимфы, чем у финских, шведских и немецких блондинов. Брюнеты и брюнетки не слишком уж черны, черты их лица не так резки, как у южных славян...»³¹⁷; «Глаза чаще серые, с открытым правильным разрезом. Брови – то тонкие как шнурки, то густые, “соболиные”, темные. Бровь нередко оттеняет синий глаз, попадают и черноглазые блондины. Лица – средней ширины, овальные, без выдающихся скул, нос – правильный, довольно крупный, но не



*Семья крестьян Орловской губернии.
Фото. 1880-е – 1890-е гг.*

широкий, иногда с горбинкой...
Цвет кожи белый и изредка сла-
бо-смуглый, гладкие или слегка

вьющиеся волосы и в зрелом возрасте – большая, окладистая, кудреватая, золотисто-русая борода»³¹⁸.

Однако в этногеографических очерках других областей Европейской России в эпизодах сравнения часто встречается описание облика, далекого от этого образца. В.И. Немирович-Данченко, восхищаясь красотой жителей Русского севера, с сочувствием вспоминает о путешественнике «по средним губерниям, знакомом с измельчавшим и обмякинувшемся великорусским типом»³¹⁹, внешность которого «отражает горе, нужду и забитость»³²⁰. Он же подробно и исключительно темными красками рисует жизнь крестьянок центральных русских губерний, где женщина «давно уже выродилась в совершенно иной тип: нужда, вечная опека крепостного права, рабское подчинение отцу и мужу сделали ее если и не слабою физически, то измученной нравственно»³²¹. В дневниках М.В. Крестовской есть такое описание знакомых ей по ее курскому имению крестьян: «...загорелые, бородатые лица, с которых до сих пор точно и не сбежало сполна робкое, забитое выражение какой-то покорности и страха, целыми веками искусственно прививавшихся им»³²².

Как и в текстах 1840-х – 1860-х гг., явно в позитивном смысле выделяется тип крестьянина Ярославской губернии. Но если раньше подчеркивались его особые свойства и склонности, то теперь к ним добавляются столь же комплиментарные описания внешности: «Наиболее красивым следует признать ярославца; недаром их сами крестьяне зовут “белотелыми”. Среднего роста, большей частью блондин, пропорционально сложенный, с красивыми, правильными чертами лица, ярославец резко выделяется среди крестьян других губерний, особенно же окских. Женщины-ярославки по своему стройному сложению и красивым очертаниям лица выдаются еще более»³²³. Так происходит закрепление принципа изоморфизма как устойчивой закономерности этнографического описания.

В так называемой Среднерусской черноземной области – там, где тип великоруса объявлялся более чистым, т.е. (подобно Московскому и Северо-поволжскому регионам), как считалось, был «наиболее свободен от финской примеси (Орловская, отчасти Курская и Воронежская, Тульская и западная половина Рязанской), его отличительными чертами служат: средний рост, темно-русые волосы, вообще довольно густая растительность, темно-серые (реже карие или голубые) глаза, правильного и красивого выреза и прямой, хотя и довольно короткий нос. Совсем светлые... волосы попадаются в виде исключения, равно как и толстые губы»³²⁴. Автор очерка о великорусах Рязанской губернии уверенно утверждал, что именно в них проявляются главные приметы «великорусского племени», такие как «оживленность движений и красота лица», особенно «в жителях селений по реке Оке, так как выгодное положение этих местностей губерний вблизи от Москвы и судоходной реки, способствуя развитию прибыльной промышленности, благоприятствует довольству жителей, а вместе с тем и физическому их процветанию», и этим они резко отличаются от крестьян степной части Рязанской губернии³²⁵.

В статье А.Н. Пыпина «О задачах русской этнографии» (1885) констатировалась необходимость расширения исследований групп великорусского племени, поскольку автор считал недостаточно выясненным вопрос именно о главном типе: «Народный тип центральных губерний, поморского севера, южных областей на переходе к малорусским, Средней и Нижней Волги, тип казачьих населений на Дону и на Урале, тип сибирский, – все это весьма несходные вариации...»³²⁶ В популярных географических очерках (на них преимущественно и опирались те составители школьных учебников, которые не обращались к зарубежной учебной литературе) гораздо более отчетливо выделялись три региональных типа, «претендовавшие» в разные десятилетия на роль репрезентанта единого великорусского типа: а) великорусы Русского севера (поморы, новгородцы, ильменцы и др.); б) великорусы коренных земель центрально-великорус-

ских губерний (однако их ареал варьировался в зависимости от историко-культурных или природных критериев; бесспорно относили к ним только Московскую, Владимирскую, Ярославскую, Рязанскую, Костромскую и Калужскую губернии). Великорусы центрально-европейского региона могли подразделяться на две группы, различия которых определялись социально-экономическими условиями жизни и спецификой агрокультуры: черноземной и нечерноземной зон. В этом случае различия физического облика и характера объяснялись уровнем благосостояния крестьянства. в) Наконец, еще один тип стал выделяться в 1880-х – 1890-х гг.: великорусы поволжских губерний, антропологически сформировавшиеся в результате слияния нескольких разновременных миграционных потоков славян (позже – великорусов) и смешения их с коренными «финскими и татарскими племенами» региона на протяжении трех веков.

Дискуссия о главном и единственном этнонациональном типе заострила вопрос о том, являются ли русские жители Европейской России или «Великорусского севера» (точные границы региона были условными, но в общем непременно включали те земли Великороссии, которые относились к северной ее части в «широком» смысле, т.е. Архангельскую, Новгородскую, Псковскую, Олонецкую и отчасти Вологодскую губернии) носителями великорусского типа на том основании, что воплощают «чистую», наименее «замутненную» этническими примесями (финскими, южнорусскими или тюркскими) этническую группу³²⁷ и при этом являются носителями традиций самой ранней государственности времен Рюрика или же характерным примером истинного («настоящего») великоруса является славяно-финский племенной субстрат, консолидировавшийся в период складывания московской государственности. Северо-Восточный или Северный регион следовало реидентифицировать как единственно репрезентативный, воплощающий все черты этой ветви восточнославянской общности³²⁸.

Данным вербальным описаниям великорусских региональных типов соответствуют многочисленные фотогалереи крестьян разных губерний, делавшиеся во время экспедиционных поездок³²⁹. Они создавались наряду с фотоизображениями представителей нерусских народов и в силу очевидных задач – сопровождение этнографических исследований – отражали индивидуальные особенности, которые виделись и воспринимались как типичные (сословные, областные), отчасти снимая проблему репрезентативности как методологическую. Позже – в конце столетия – фотоизображения тиражируются в серийных открытках. Но на протяжении второй половины XIX столетия они воспринимаются как иллюстративный материал к «физиологиям» – в соответствии с эволюцией понятия «народ». Сначала это образы региональных типов – причем, что важно, разных сословий

общества, и только в 1870-х – 1880-х фотографические «народные типы» трактуются как этнографические³³⁰: в научных описаниях крестьяне из губерний, относящихся к великороссийским, были сняты уже в повседневной, а не в праздничной одежде, за обычными занятиями. Новое стремление дать реалистическую картину быта как типичный собирательный образ опиралось, однако, на прежние принципы: фотограф определял степень репрезентативности (как и во время подготовки Этнографической выставки 1867 г.), но теперь изображение не сопровождалось детальной подписью, так что зритель лишался всякой информации об индивиде. Указывалось лаконично, что это, например, «великорусский крестьянин» такой-то губернии или «великорусский пахарь».



*Русская красавица
(Мавра Щитицына?).
Фото В.А. Каррика.
1870-е гг.*

Самые ранние фотоколлекции (еще до богдановской) относились к концу 1850-х гг.: альбом типов и костюмов крестьян Воронежской губернии М.Б. Тулинова (1858), снимки Петербурга, Новгородской и Поволжских губерний петербургского фотографа шотландского происхождения В.А. Каррика.

В собрании фотографических типов и костюмов России РНБ хранится и «Альбом костюмов России» Л.С. Макова, переданный им в музей в 1878 г., и др.³³¹ Фотографии представителей различных племен Российской империи начиная с Этнографической выставки 1867 г. часто выставлялись на художественных и географических выставках разных лет – как всероссийских, так и международных; они постоянно воспроизводились в многочисленных фундаментальных описаниях Империи 1890-х гг., особенно в очерках о великорусах, сопровождаясь репродукциями (чаще всего черно-белыми) живописных и скульптурных произведений современных отечественных художников. Таким образом, в визуальном воплощении великорусских (впрочем, как и иных) этнических типов в 1890-х – 1900-х гг. реализм изображения «побеждает» типизацию – вероятно, в связи с отождествлением традиционных, архаичных форм с историко-антропологическим своеобразием, обусловленным пространственно-климатическими факторами. Не совсем понятно, однако, отчего эти новые тенденции никак не затронули другие формы изображения представителей народов России. Это

*Крестьянин, пьющий квас.
1850-е – 1860-е гг. Фарфор, надглазурная роспись*



*Е.А. Лансере. Кучер.
1870-е гг. Бронза*



*Камнерезные фигурки
К. Фаберже из серии
«Русские типы». 1910-е гг.*

касается, в частности, мелкой пластики – скульптурных изображений из цикла «Народы России», которые и в изделиях Императорского фарфорового завода, и в многочисленных изделиях фигурок частных фабрик не только сохраняли верность прежним, ранним образцам, но и создавали новые сюжеты в парадигме ранних репрезентаций. Это по-прежнему «типы».

Даже явные элементы реалистической трактовки пластических образов Е.А. Лансере все еще тяготеют к интерпретации этнического как простонародного, крестьянского, а в некоторых произведениях явно заметно воздействие «типов».

И камнерезные фигурки из серии «Русские типы» фирмы К. Фаберже, создававшиеся в 1908–1917 гг.³³², не нарушают такой трактовки: русскость в них вовсе не этничность, а именно разнообразие сословных, профессиональных, региональных изображений российских подданных. Об этом свидетельствует анализ около 70 сохранившихся изделий. Из них к этническим можно отнести только два – фигурки малоросса и татарина-разносчика. Однако и второго логичнее было бы рассматривать как ремесленно-торговый тип: вероятнее всего, и малоросс трактовался в данном случае именно как тип локальный, региональный, не этнический. При этом данные скульптурные изображения создавались на новом визуальном материале – в частности, воплощали образы из фотосерии «Русские типы» уже упоминавшегося фотографа В.А. Каррика или из кустодиевского живописного цикла «Русь. Русские типы».

Если учесть, что характерной для 1880-х – 1890-х гг. формой репрезентации народов Империи являлись многотомные географо-статистические описания государства, выполнявшие одновременно научную и популяризаторскую функции, то следует отметить, что в них визуальное сопровождает тексты, но отходит на второй план – в отличие от явного преобладания костюмных иллюстраций в 1860-х – 1870-х гг. Побеждает принцип широко понимаемой иллюстративности – равноценными признаются тексты разных жанров: записки путешественников, сведения этнографических опросов, беллетристика, поэзия, фольклор; ту же особенность подбора демонстрируют пестрые по составу изображения, теперь призванные лишь сопровождать и облегчать восприятие большого по объему научно-популярного нарратива. Материальный мир этнического трактуется в них более свободно: белорус может изображаться в облике нищего большого странника с посохом, финн – как щегольски одетый ремесленник мастерской К. Фаберже. Главное – освоение этнического разнообразия через создание узнаваемых и потому упрощенных образцов.

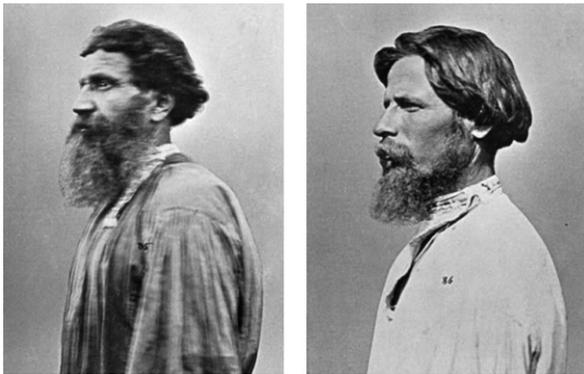
*II снова к антропологии...
Проверка строгими научными методами*

В 1890-х гг. осуществляется значительное число антропометрических исследований (А.Н. Богданов, Д.Н. Анучин, Н.И. Зограф, В.В. Воробьев, А.Н. Краснов, В.М. Чепурковский и др.), на основании которых на научной основе рассматриваются различные варианты физического типа великорусов и их географическая локализация. Однако по-прежнему важным оставался вопрос о метисации и ее последствиях. Исследования антропологов подтверждали, что изменения в облике, которые обыватели трактовали как неславянские черты, имели место. Притом, как выяснилось в ходе изучения, вполне соответствовала действительности и ненаучная типология великорусов: было признано, что их «южная ветвь» произошла «от помеси вятичей, северян и отчасти кривичей как между собою, так и от смешения их с финскими элементами», а «примесь финской крови в южном великорусе увеличивается по мере движения с запада на восток»³³³. В сущности, подтверждался учеными и другой тезис: «Там, где великорус не смешивался с другими народностями, он сохранил свой тип и до сего времени; там же, где он смешался с другими племенами, как, например, на севере с финскими, в Сибири – с якутами, он утратил до известной степени племенные черты, стал меньше ростом, выглядит слабее физически, а черты лица его уже носят явнее признаки чужой крови»³³⁴.

Н.И. Зограф, поставивший в центр своего антропометрического исследования такие хорошо известные обывателям факторы, как рост, телосложение, цвет кожи, глаз и волос (которые, наряду с краниологическими параметрами, включались в научные антропометрические описания), пришел к сходным заключениям. *С одной стороны*, он констатировал, что «...в великорусе смешано несколько типов, и типов, по-видимому, разнообразных и многочисленных. Число этих типов, давших начало великорусскому народу, определяется разными авторами различно. Большая часть... почти все... исследователи культуры и языка русского народа склонны к тому, чтобы видеть в русском народе вообще, в великорусах же Центральной России в частности слитие двух преобладающих типов: славянского пришлого, не коренного в Великой России и древнего, коренного обитателя, который называется одними финской, другими – угорской, третьими более общим названием – урало-алтайской народностью»³³⁵. Но А.Н. Краснов, изучивший физические параметры великорусов из десяти различных губерний и 21 уезда, напротив, уверенно констатировал «однородность состава» и «преобладание белокурого светлоглазого типа...», несмотря на довольно частое обнаружение «с одного взгляда» типа обруселого инородца из Поволжья³³⁶.

С другой стороны, «множественность типов в великорусском народе бросается в глаза и при просмотре тех данных, которые помещены (в научной работе Зографа. – М.Л.), и эти данные убеждают нас в справедливости того, что в великорусах трудно найти такие черты, которые были бы общими всему народу, под которые бы подходил бесспорно любой представитель этого народа... Некоторые авторы видят в великорусском народе такую множественность типов, что стремятся к подразделению этих типов на группы... [но] эти множественные типы не так пестры... они группируются в две довольно удобно различаемые группы, имеющие общие признаки»³³⁷; обе они, «скрепящаяся, дали много потомков, соединяя в себе признаки и той и другой... “высокорослые” и “низкорослые”»³³⁸. И эти два типа, в свою очередь, не являются, по мнению ученого, чистыми, а представляют собой результат смешения разных народностей. И далее: «Оба элемента, вошедшие в состав великороссов, были не первичными, чистыми народами, а сами, в свою очередь, были метисами, происшедшими из других народностей... и в позднейшее время ... к этому народу притекал новый прилив чуждой крови и виде выходцев, переселенцев, пленников»³³⁹.

Программная статья Д.Н. Анучина не ставила под сомнение исследования Зографа и также во многом подтверждала непрофессиональные выводы результатами масштабных антропометрических исследований великорусского населения в конце XIX столетия: в них отчетливо выделялось два подтипа великороссов³⁴⁰, наделяемых признаками «северной» и «южной» подгрупп («высокорослые» и «низкорослые» великорусы), рассматриваемые соответственно как более чистые славяне и более смешанные. Это условное наименование по росту соотносилось с рядом других параметров: фигура, форма черепа, черты лица, разреза и цвет глаз, волос, кожи, соотношение частей тела и т.п. Однако ученый подчеркивал невозможность однозначного ответа на вопрос об этнографической характеристике



*Великорусские типы.
Владимирская и
Ярославская губернии.
Фото из исследования
Н.Ю. Зографа. 1890-е –
1900-е гг.*



Фотограв. Височ. утв. Ткач. П. П. Кушнерова и Юр. из Москвы.

Л.Л. Белякин. Типы великороссов Верхней Волги.
Тверская, Ярославская, Костромская губернии.
1890-е гг.

типичного великоруса в связи с недостаточным количеством антропологических исследований и по причине весьма значительных вариаций великорусского типа в различных регионах Российской империи. «Если в антропологическом отношении великорусы не представляют одного типа, то в этнографическом, бытовом, они выказывают еще большее разнообразие, в зависимости от окружающей природы, от исторических условий, от большего или меньшего влияния культуры, а также от первоначальных особенностей различных русско-славянских племен и от влияния быта соседних инородцев»³⁴¹, – констатировал он.

Важно обратить внимание на использование ученым двух основных методов установления этнодифференцирующих признаков великорусов: это сравнение их с финскими народами и с малорусами. Сам Д.Н. Анучин относил к великорусам русских по происхождению, населявших «старинные» земли Московской (Северо-Восточной) Руси, – «тверитян», «суздальцев», «москвичей»³⁴². Фиксируя разнообразие великорусского типа в различных отношениях, антрополог склонялся к тому, что используемые начиная с Надеждина способы определения этнокультурного своеобразия великороссов вполне обоснованны и результативны, а существующие описания великорусских этнокультурных особенностей базируются на вполне репрезентативных материалах. Д.Н. Анучин пришел к заключению, что и в лингвистическом, и в антропологическом отношении великорусское племя (как и малорусское) испытало влияние языка и крови тех народов, с которыми в той или иной степени происходило смешение (прежде всего с финскими и тюркскими). По его мнению, это не помешало обоим племенам сохранить свой язык и свою «народность» (т.е. этнокультурную самобытность), но не могло не оставить отпечатка на антропологическом типе: «Это образование великорусского народа из соединения разных элементов, происходило ли оно путем брачного смешения славян с финнами или путем непосредственного, постепенного обрусения последних, по необходимости должно было оказать известное влияние на видоизменение первоначального типа, какой представляли в своем сложении и облике русско-славянские племена прежде их утверждения на территории финнов»³⁴³.

Главный же вывод антрополога состоял в том, что разнообразие природных условий и племенных влияний делает невозможным определение великорусского типа, который «далеко не такой простой и однородный, как это прежде полагали, а представляющий многие характерные областные и местные вариации, но вместе с тем и сохраняющий некоторые существенные, коренные черты, которые он не утрачивает даже в наиболее отдаленных от центра местах»³⁴⁴.

Таким образом, и Д.Н. Анучин, и Н.Ю. Зограф, в сущности, выявляли определенную корреляцию между различными параметрами физических измерений и этногенезом локальных групп. Зограф нашел ее в соответствии роста цвету волос: в великорусском населении нескольких центральных губерний он обнаружил два доминирующих типа, увидев закономерность в сочетании светлых волос с высоким ростом и, напротив, низкорослости – с темными волосами, что и позволило ему выдвинуть гипотезу о славянском и финском субстрате в крестьянском населении изученных великорусских губерний. Следует заметить, что Зограф выступал в данном случае как последователь европейской антропологической школы³⁴⁵; так же методически выстраивали свои корреляции антропометрических измерений и Д.Н. Анучин, и его ученик А.А. Ивановский и др.³⁴⁶

Исследование Зографа вызвало горячий отклик в научном сообществе. Кроме упомянутой ранее рецензии А.И. Соболевского³⁴⁷, вышла статья антропологов А.А. Ивановского и А.Г. Рождественского, в которой способы измерения и цифровые данные были подвергнуты детальному рассмотрению и в итоге – полному отрицанию, так как автору вменялись в вину небрежность, ошибки, тенденциозность. Рецензенты без тени сомнения утверждали, что исследовательские заключения Н.Ю. Зографа «никакого значения иметь не могут, так как явились или в результате неверных измерений, или же ошибочных вычислений»³⁴⁸. При этом авторы, ставя под сомнение все выводы авторитетного ученого, никак не комментировали тот вывод, который мог быть и был на самом деле более всего понятен непросвещенной публике, – о финских и славянских элементах в физическом облике современных великорусов: действительно ли обыденная типология полярных образов высокого, «ладного», светловолосого славянина и низкорослого, некрасивого, темноволосого финно-угра имеет под собой основания? Именно на этот аспект обратил внимание филолог А.И. Соболевский (также недовольный возможными культурологическими последствиями заключений антрополога). По мнению авторитетного академика, Н.Ю. Зограф упустил из виду, что «и теперь в Великой Руси тип – темноволосый, отчасти темноглазый, с белым цветом и правильными чертами лица, более или менее красивый – один из чисто славянских типов», который встречается, например, в Поозерье, где живут потомки древних новгородцев³⁴⁹. Соболевский не был согласен с тем, что среди современных великорусов можно найти столь очевидных потомков финнов, поскольку был убежден, что «великорусы центра не могут быть потомками финнов в такой же степени, в какой и потомками русских. Это, конечно, не мешает нам видеть в них *некоторую*, примесь финской крови... остатки финнов... окруженные [русскими] мало-помалу обрусели»³⁵⁰.

Этот полемический «сюжет» остроумно прокомментировал П.Н. Милюков. Полагая, что «вопрос о смешении с финнами не до конца прояснен» российскими учеными, он обращался к итогам исследований Зографа и их критике. «На глаз», как формулирует Милюков, мы все готовы признать «финские черты в типе великоруса», но «физические признаки не поддаются точному научному определению»³⁵¹. Приводя разгромную рецензию молодых антропологов, историк расценивает сделанные Зографом выводы как следствие «ожидаемых результатов научных исследований» (о чем некогда писал и А.П. Богданов). Именно поэтому, как полагает Милюков, у Зографа «славянин оказывается высокорослым блондином, а финн – низкорослым брюнетом»³⁵².

Своеобразной точкой в этой дискуссии явилась работа В.В. Воробьева (1900): «...за местными или... областными отличиями можно все-таки найти много между ними сходного, можно, следовательно, описывать так называемый общий великорусский тип»³⁵³. Воробьев снова возвращался к теоретическому вопросу о сословной репрезентативности этнического типа и твердо стоял на том, что, «желая знать внешнее обличье, привычки, обычаи великорусов, мы должны... изучать их не у дворян, ни у какого другого сословия, а именно у крестьян. ...Крестьяне больше других сословий сохранили и чистую, несмешанную великорусскую кровь»³⁵⁴. Наконец, он давал подробное описание единого типа великорусского облика, снимая при этом всякие сомнения: «На вид бóльшая часть коренного великорусского населения роста среднего или немного повыше среднего, с широкими плечами и крепким, коренастым сложением, давшим им силу вынести в своей долгой... жизни и монгольское иго, и многое множество всяких бед и невзгод. Мягкие, нередко волнистые русые волосы на голове расчесаны обыкновенно... на обе стороны... лицо обрастает усами и бородой... Глаза у великорусов чаще всего серые или серо-голубые, нередко и светло-карие; темные (почти черные и черные) глаза, как и волосы, – в редкость. Лицо – широкое, но и длинное, открытое, нос часто несколько вздернутый, на кончике слегка приплюснутый. Эти приметы, равно как и целый ряд других мелких примет... отличают великоруса от других народов настолько, что пусть даже человек молчит, пусть будет он и без одежды... сразу можно все-таки сказать, что перед нами великорус»³⁵⁵. Таким образом, Воробьев уверен в том, что возможно выделить некий обобщенный или наиболее частотный облик. Это заключение важно: оно соотносится с цитированным выше утверждением С.В. Максимова 1870-х гг. о том, что великоруса нельзя узнать по точным признакам из-за необыкновенного разнообразия типов. Воробьев же не сомневается в том, что есть бесспорные антропологические признаки, общие для

всех региональных вариаций великоруса. Кроме того, вывод антрополога знаменует тенденцию перемещения языкового критерия внешней этнической идентификации на второй план, – на роль доминирующего признака выдвигаются физические черты.

Другой антрополог, И.И. Пантюхов, детально изучив историю формирования физического облика русского народа в целом, в статье 1909 г. выделил четыре основных антропологических типа, «с присущим им своеобразным психическим складом», и обнаружил прямые соответствия их «четырем главным его народным группам: сероглазый – новгородской, великорусской; кареглазый – киевской, малорусской; серо-голубоглазый – волынской древлянской или полесской и голубоглазый – смоленской, белорусской»³⁵⁶. Иначе говоря, он, фактически, установил более однородный, чем представлялось ранее, состав восточнославянской/русской племенной группы с антропологическими типами, попытавшись привести к более простой и строгой закономерности сложную проблему соотношения этнографических и антропологических типов.

Итак, «тип» заключал в себе такие признаки (черты) предметов или явлений, которые наиболее точно и полно выражали их суть. Современное понимание «типа» схоже с тем, которое существовало в науке второй половины XIX в., определявшей его как «объект, выделяемый и рассматриваемый в качестве представителя множества объектов»³⁵⁷. Включение категорий «тип» и «типичное» в научный лексикон эпохи имело важные последствия, касавшиеся универсальной методики его выявления. Два способа – в отношении антропологического исследования, но полностью относимые и к другим областям знания – были определены, как показано выше, А.П. Богдановым: а) когда основанием для включения в тип является количественный показатель – частотность, распространенность – и б) когда определение типа исходит из выявления перечня (в иерархии или вне ее) черт и особенностей, общих для целостной структурной единицы. При этом «тип» – не усредненный показатель, а комплекс наиболее ярко выраженных признаков. Доминирующими признаками становятся внешние, визуально определяемые (а не функциональные) особенности.

В современных гуманитарных науках также присутствует расплывчатость терминов «тип» и «типичный», отмечается смешение содержания понятий «типизация» и «типологизация», а также бытуют варианты интерпретации, порожденные спецификой объектов исследования в различных областях гуманитарного знания³⁵⁸. Следовательно, можно предположить, что, вопреки стремлению к точности данного конструкта, категория типа в той или иной форме соотносится с параметрами идеализации объекта. Несмотря на предлагаемое словарями

определение «типа» как «образца» в естественных науках того времени, из которых этнография постепенно выделялась, понятие «тип» все же исключало использование его как познавательной модели, т.е. в качестве важного инструмента общественных наук.

В целом разработка понятий «тип» и «типичное», как и методов их конструирования, стала одним из центральных направлений исследовательских процедур в науке XIX в. *С одной стороны*, это было обусловлено задачей системного упорядочения и классификации пространства и времени (природного мира и истории), которые ставили целью определение закономерностей развития. *С другой* – сознательные усилия по типологизации научных объектов играли важную роль не только в их кодификации, но и в процессе формирования идеологий, мифологий и практик социальной жизни – в частности, в ранжировании этнонациональных сообществ, государств. Формирование идеалов и норм также зависело от представлений о способах выявления типичного. Вместе с тем рефлексии по поводу объективации этих правил сочетались с повседневной типизацией: интеллектуалы воспроизводили стереотипы разных уровней, в том числе и мифологические. Стремление разграничить профанное (традиционное) и сакральное (научное) знание вело к отрицанию народных представлений (во всех областях) как суеверий, пережитков и невежества. Выявление типа (ландшафта, этноса, расы, культуры и т.д.) как образца, шаблона воспринималось и как важная промежуточная процедура для популяризации знаний – т.е. познавательная операция становилась важной практической задачей. Тип, таким образом, выполнял функцию маркера, позволяющего верно идентифицировать этнический объект, чтобы классифицировать его.

Хотя расовые (антропологические) отличия во второй половине XIX в. возможно было установить точными методами, что укрепляло убежденность в объективности описания и оценки физических качеств этнической группы, однако восприятие внешнего облика, «физиономии» народа еще продолжало оставаться областью, в которой наблюдатели руководствовались больше собственными эстетическими предпочтениями (индивидуальными, социальными, гендерными, профессиональными, культурными и др.), нежели «объективными» данными. Впрочем, и ученые, и путешественники не рефлексировали по поводу того, почему те или иные черты казались им привлекательными или отталкивающими. Естественным (обывательским) этноцентризмом трудно объяснить эту особенность восприятия. Так, в народоведческих исследованиях спектр оценок внешности различных народов Империи весьма широк: в них часто встречаются негативные характеристики физического облика представителей собственного этноса и, напротив, восхищение красотой и привлекательностью представителей других народов.

Начиная с 1880-х гг. возникает новое направление, свидетельствующее об укреплении концепции регионализма как основы государственного единства и о стремлении как властей, так и интеллигенции к освоению новых форм пропаганды патриотизма. Речь идет о попытке обозначить в качестве значимых и цельных те области страны, которые уже репрезентируются как типичные регионы. Но они представлены не как пример этнической чистоты (о чем пытались говорить ранее), а как пример успешного сосуществования и экономического процветания различных этносов, конфессий, профессиональных групп. Типичность, таким образом, переосмысливалась в категориях «разнообразия» и «равноценности», хотя и не «равноправия». Такой взгляд было явно устремлен на юго-восток и восток – туда, где русские проявляли свою «ассимиляционную способность», а культурная самобытность цивилизуемых племен еще не исчезла.

Именно в этих двух – научном и символически-национальном – контекстах следует, на наш взгляд, рассматривать актуализацию в 1880-х – 1900-х гг. проблемы региональных различий великорусского типа, но на новом этапе – этапе историко-культурного осмысления локального своеобразия. В многочисленных описаниях жителей тех губерний, которые преимущественно обозначались как населенные великорусами, отчетливо заметно стремление создать обобщенный образ различных групп и вписать его в известные характеристики «типичного великоруса» Нечерноземья (центральных губерний), чьи добродетельность, терпимость и религиозность были развенчаны новыми экономическими и юридическими исследованиями, а также художественной литературой 1870-х гг. Эта болезненная деидеализация не могла не сказаться на формировании новых задач и целей в реконструкции образа «своего», чему способствовали также новые направления в искусстве³⁵⁹, в том числе пришедший на смену «народной теме» «русский стиль» (понимаемый как попытка воплощения национальных форм в русском искусстве)³⁶⁰, а также периодическое возвращение моды на русскость в одежде и военной форме начиная с периода царствования Николая I и в особенности показательная русификация военного мундира в эпоху Александра III³⁶¹.

Искусствовед Е.И. Кириченко, систематизируя новые тенденции в визуальной трактовке этнического/национального в русской культуре того времени, пишет, совпадая (трудно определить, случайно или нет) с теоретическими заключениями русских шеллингианцев 1830-х – 1840-х гг. о стадийном различии народности как этничности и национальности: «Существуют две формы выражения этнического начала в искусстве – непреднамеренное самопроявление и осознанное, приобретающее программный характер утверждение этнического начала. Первое свойственно донациональным этапам развития этноса, второе – достигшим стадии национального развития»³⁶².

Новое понимание русскости как национальности не могло не влиять на пути поиска «великорусскости», которая по-прежнему еще не воплотилась в едином образе. «Великорусскость» понимается как расширенная до масштабов «племенной отрасли» региональная специфика, центральным критерием фиксации границ которой выступает наречие/говор. Его носители рассматриваются как этнические великорусы, но обладающие местной, областной (в границах губернии или группы губерний), либо более локальной (уездной) спецификой. При этом фиксация такого своеобразия осуществляется по программе-схеме (восходящей к надеждинской), давно и успешно применяемой для описания инородческих племен и русского народа (восточных славян) в целом.

Примечания

- ¹ Подробно об этом см.: *Вишленкова Е.А.* Визуальная антропология империи, или «Увидеть русского дано не каждому». Препринт WP6/2008/04. М., 2008; *Она же.* Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому». М., 2011.
- ² *Фуко М.* Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с фр. СПб., 1994. С. 160–167.
- ³ *Вишленкова Е.А.* Визуальное народоведение империи... С. 54.
- ⁴ Там же. С. 51.
- ⁵ *Миськова Е.В.* Складывание стереотипов инокультурной реальности в англо-американской антропологии // *Этнографическое обозрение.* 1998. № 1. С. 139.
- ⁶ *Вульф Л.* Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании людей Просвещения / Пер. с англ. М., 2003.
- ⁷ Например, в многократно переиздававшихся на европейских языках сочинениях немецкого ученого Й. Боземия (см.: *Voetus I.* *Omnium gentium mores, leges et ritus.* 1520; пер. на англ. яз.: *The Fardles of Facions of J. Voemus by W. Wagerman.* Edinburgh, 1611) или шотландца И. Баркляя (см.: *Barclay J.* *Icons animorum.* L., 1614; пер. на англ. яз.: *The Mirror of Minds or John Barclay's Icon Animorum,* englished by Thomas May. L., 1633).
- ⁸ *Fülemile Á.* *Dress and Image: Visualizing Ethnicity in European Popular Graphics – Some Remarks on the Antecedents of Ethnic Caricature* // *Images of the Other in Ethnic Caricatures of Central and Eastern Europe* / Ed. by D. Demski and K. Baraniecka-Olszewska. Warsaw, 2010. P. 30–41.
- ⁹ *Ibidem;* *Лескинен М.В.* От «натуры» к «гению»: традиции нравоописаний европейских народов XVI–XVIII вв. // *Текст славянской культуры: Сб. в честь юбилея Л.А. Софроновой.* М., 2011. С. 431–448.
- ¹⁰ *The Mirror of Minds or Barclay's Icon Animorum* Ch. 2 (текст книги доступен на сайте: <http://books.google.ru>).

- ¹¹ Лескинен М.В. Характерология славян в русской интерпретации: способы изображения гендерных типов «этнического Другого» во второй половине XIX в. // Токови историје. Београд, 2014. Бр. 3. С. 11–50.
- ¹² Халдеева Н.И. Антропoэстетика. Опыт антропологических исследований. М., 2004. С. 5–6; см. также: Яременко С.Н. Внешность человека в культуре. Ростов-н/Д., 1997.
- ¹³ Вишленкова Е.А. Визуальное народоведение империи... С. 73–74.
- ¹⁴ Подробнее см.: Knight N. Constructing the Science of Nationality: Ethnography in Mid-Nineteen Century Russia. Ph. D. Dissertation. Columbia University, 1995; Knight N. Ethnicity, Nationalism and the Masses: *Narodnost'* and Modernity in Imperial Russia // Russian Modernity: Politics, Knowledge, Practices. NY, 2000. P. 41–67; Миллер А.И. Империя Романовых и национализм. М., 2006; *Он же*. Приобретая необходимое, но не вполне удобное: трансфер понятия «нация» в Россию (начало XVIII – середина XIX в.) // Imperium inter pages: Роль трансферов в истории Российской империи (1700–1917) / Под ред. М. Ауста, Р. Вульпиуса, А. Миллера. М., 2010. С. 42–66; *Он же*. История понятия «нация» в России // «Понятия о России». К исторической семантике имперского периода / Под ред. А. Миллера, Д. Сдвижкова, И. Ширле: В 2 т. М.: НЛЮ, 2012. Т. II. С. 7–49; Лескинен М.В. Роль концепции народности в этнографических описаниях последней трети XIX века (на примере поляков) // Россия и славянский мир на этнографической выставке 1867 года. СПб., 2009. С. 71–83; *Она же*. Категория «народности» Н.И. Надеждина: от романтических идеалов «национальности» к этническим номинациям // Гибридные формы в славянской культуре / Отв. ред. Н.В. Злыднева. М., 2014. С. 413–425; *Она же*. Национальное: наука и политика в Российской империи второй половины XIX в. // Вопросы национализма. 2013. № 3 (15). С. 190–217.
- ¹⁵ Лескинен М.В. Поляки и финны в российской науке второй половины XIX в.: «другой» сквозь призму идентичности. М., 2010. С. 148–155.
- ¹⁶ (Грибоедов А.С.) Загородная поездка. Отрывок из письма южного жителя // Северная пчела. 1826. № 76. 26 июля (в рубрике «Словесность»).
- ¹⁷ Первый вариант Программы не сохранился, о ней можно судить по архивным материалам, приводимым в ст.: Рабинович М.Г. Ответы на программу Русского географического общества как источник для изучения этнографии города // Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии. Вып. V. Л., 1971. С. 36–61; Надеждин Н.И. Об этнографическом изучении народности русской // Записки Русского географического общества. 1847. Кн. 2. С. 61–115; Часть этнографическая (Надеждин Н.И.) // Свод инструкций для Камчатской экспедиции, предпринимаемой Императорским Российским географическим обществом. СПб., 1852. С. 17–30.
- ¹⁸ Лескинен М.В. Поляки и финны... С. 150–161.
- ¹⁹ Очерк VII. Быт польского народа // Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении / Под общ. ред. П.П. Семенова, вице-председателя Императорского Русского географического общества: В 12 т. (19 кн.). СПб.–М., 1881–1901. Т. IV. Ч. 1. Царство Польское.

- Варшавская, Калишская, Келецкая, Ломжинская, Люблинская, Петрковская, Плоцкая, Радомская, Сувалкская, Седлецкая губернии. СПб.–М., 1896. С. 247.
- ²⁰ *Вишленкова Е.А.* Визуальное народоведение империи...
- ²¹ *Георги И.Г.* Описание всех в Российском государстве обитающих народов, а также их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей: В 3 ч. СПб., 1776–1777.
- ²² *Вишленкова Е.Н.* Визуальное народоведение империи... С. 44–61.
- ²³ Там же. С. 51.
- ²⁴ *Вишленкова Е.* Визуальный язык описания «русскости» // *Ab Imperio*. 2005. № 3. С. 104.
- ²⁵ *Вольф Н.Б.* Императорский фарфоровый завод. 1744–1904. СПб., 1906. С. 76–88; *Лансере А.К.* Русский фарфор. Искусство первого в России фарфорового завода. Л., 1968; Императорский фарфоровый завод. 1744–1904. СПб., 2008. С. 58–93.
- ²⁶ *Вишленкова Е.А.* Визуальное народоведение империи... С. 61–68; *Лескинен М.В.* Материальные атрибуты этнической идентификации в визуальных репрезентациях народов России XIX в. // *Традиционная культура*. 2011. № 1 (41). С. 47–58.
- ²⁷ Из русской жизни XVII – начала XX в.: Альбом. Русский музей (из серии «Альманах»). Вып. 280). СПб., 2010. С. 53.
- ²⁸ *Соломатина Н.* Мотивы, стили и манеры в графике о жизни в России второй половины XVIII – начала XX в. // Там же. С. 5.
- ²⁹ *Lavater J.C.* Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntniss und Menschenliebe. Bd. 1–4. 1775–1778. Фрагменты переведены на русский впервые в 1817 г.: Новейший полный и любопытный способ, как узнавать каждого человека свойства, нравы и участь, по его сложению, или Опытный физиогном и хиромантик славного Лафатера, прославившагося в сей науке. СПб., 1817.
- ³⁰ Там же. С. 14.
- ³¹ *Зорин А.* Прогоулка верхом в Москве в августе 1799 г. (из истории эмоциональной культуры) // Новое литературное обозрение. 2004. № 65 (текст доступен по адресу: <http://magazines.russ.ru/nlo/2004/65/zorin11.html>).
- ³² *Тартаковский А.Г.* Русские мемуары и историческое сознание XIX в.: Мемуары. М., 1997. С. 19–29; *Хоскинг Дж.* Русская империя: как и почему? // *Хоскинг Дж.* Россия: народ и империя (1552–1917) / Пер. с англ. Смоленск, 2000; *Сабурова Т.А.* От катастрофы к триумфу. Отечественная война 1812 года в историческое памяти поколения российского общества XIX – начала XX века // После грозы. 1812 год в исторической памяти России и Европы / Под ред. Д. Сдвижкова (при участии Г. Хаусманна). М., 2015. С. 90–100.
- ³³ *Сомов О.* О романтической поэзии. Опыт в трех статьях (вторая и третья статьи) // «Их вечен с вольностью союз». Литературная критика и публицистика декабристов. М., 1983. С. 167–168.
- ³⁴ Там же. С. 69.
- ³⁵ Там же. С. 159–164.
- ³⁶ *Манн Ю.В.* Динамика русского романтизма. М., 1995. С. 306–307.

- 37 Физиогномия // Словарь Академии Российской: В 6 ч. СПб., 1789–1794. Ч. 6. СПб., 1794. Стлб. 486. То же в след. изд.: Физиогномия // Словарь Академии Российской, в порядке азбучном расположенный: В 6 ч. СПб., 1806–1822. Ч. 6. СПб., 1822. С. 1106.
- 38 Физиогномия // Справочный энциклопедический словарь, издающийся под ред. А. Старчевского: В 12 т. (13 кн.). СПб., 1847–1855. Т. 11. СПб., 1848. С. 85.
- 39 Физиогномия // Словарь Академии Российской. Ч. 6. Стлб. 486. То же в след.м изд.: Физиогномия // Словарь Академии Российской... Ч. 6. С. 1106.
- 40 Физиогномия // Справочный энциклопедический словарь, издающийся под ред. А. Старчевского. Т. 11. С. 85.
- 41 Физиогномия // Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка, изданный Н. Кириловым: В 2 вып. СПб., 1845. Вып. 2; Физиогномия // *Михельсон А.Д.* Объяснительный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском, с объяснениями их корней. М., 1891. С. 697; Физиогномия // Карманный словарь иностранных слов / Сост. Н. Гавкин. Киев–Харьков, 1894. С. 675.
- 42 *Сомов О.* О романтической поэзии. С. 160–163.
- 43 *Пушкин А.С.* О народности в литературе // *Пушкин А.С.* Мысли о литературе. М., 1988. С. 66.
- 44 *Арсеньев К.* Начертание статистики Российского государства: В 2 ч. СПб., 1818–1819.
- 45 *Терещенко А.* Быт русского народа: В 7 ч. СПб., 1848. Ч. 1. С. 4.
- 46 *Белинский В.Г.* Литературные мечтания // *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953–1959. Т. I. М., 1953. С. 35–36.
- 47 *Полевой Н.* Очерки русской литературы: В 2 ч. СПб., 1839. Ч. II. С. 485.
- 48 *Михельсон М.И.* Ходячие и меткие слова. СПб., 1896. С. 472.
- 49 *Н.Н. (Надеждин Н.И.)* Великая Россия // Энциклопедический лексикон / Под ред. Н.И. Греча и О.И. Сенковского; Изд. А.А. Плюшара: В 17 т. (не окончено). СПб., 1834–1841. Т. IX. СПб., 1837. С. 267.
- 50 Там же.
- 51 Путешествие по русским проселочным дорогам: Соч. Д.П. Шелехова, помещика Тверской губернии. СПб., 1842. С. 13.
- 52 *Терещенко А.* Быт русского народа. Ч. 1. С. 4.
- 53 *Павловский И.* География Российской империи: В 2 ч. Дерпт, 1843. Ч. 1. С. 191–192.
- 54 Подробнее см.: *Лескинен М.В.* Поляки и финны... С. 172–175.
- 55 *Голубицкий Ю.А.* Физиологический очерк и становление социологии // Социологические исследования (СОЦИС). 2010. №3. С. 133–138.
- 56 *Сорокин Ю.С.* Развитие словарного состава русского литературного языка. 30-е – 90-е гг. XIX в. Л., 1965. С. 124.
- 57 *Зенкин С.Н.* Французский романтизм и идея культуры. Аспекты проблемы. М., 2001. С. 21–22.
- 58 *Белинский В.Г.* Современник. Том одиннадцатый. Современник. Том двенадцатый // *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. III. М., 1954. С. 52.
- 59 *Белинский В.Г.* Статьи о народной поэзии. Статья вторая // Там же. Т. V. С. 319.
- 60 Там же. С. 318.

- 61 Национальность // Карманный словарь иностранных слов... изданный Н. Кириловым. Вып. 1. С. 221.
- 62 Там же.
- 63 Подробнее об этом см.: *Лескинен М.В.* Поляки и финны... Гл. 2.
- 64 *Сорокин Ю.С.* Развитие словарного состава... С. 125.
- 65 Впервые термин употребил французский писатель и юрист Б. Саварен («Физиология вкуса», 1826); первым значительным произведением стал 10-томный труд П.Л. Крюммера «Французы в их собственном изображении»; в 1830-х – 1840-х гг. выходил ряд альманахов о нравах и типах Парижа (рецензии на многие из них писал В.Г. Белинский).
- 66 *Якимович Т.* Французский реалистический очерк. 1830–1848. М., 1963. Гл. 4. Физиологические альманахи 1840-х гг.; *Цейтлин А.Г.* Становление реализма в русской литературе. Русский физиологический очерк. М., 1965.
- 67 *Соломатина Н.* Мотивы, стили и манеры... С. 7.
- 68 *Вишленкова Е.* Визуальный язык описания «русскости». С. 101–103.
- 69 *Шишмарева Е., Жуков Л.* Физиологический очерк // Литературная энциклопедия: В 11 т. М., 1929–1939 / Под ред. А.В. Луначарского. Т. 11. М., 1939. Стлб. 713–716.
- 70 *Белинский В.Г.* Наши, списанные с природы русскими (1842) // *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. V. С. 602–604. Вопрос о степени «аутентичности» данного жанра в России или французского влияния, на наш взгляд, не совсем корректен, поскольку описания быта и нравов народа в записках о путешествиях встречались всегда. Проблема заключается скорее в литературных истоках жанра.
- 71 Там же.
- 72 Такое понимание характерно для просвещенческой литературы «об исправлении нравов». Например, в книге М. Щербатова «О повреждении нравов в России» (1787) нравы русских в разные исторические эпохи описаны как «приходящие в разврат», т.е. с точки зрения соответствия христианской морали, и в значении «обыкновений» (ср. «простота нравов в одежде»). В таком же ключе описывал «противоречивый нрав» столичных жителей как сочетание участливости и равнодушия И.Г. Георги (см.: *Георги И.Г.* Описание столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей окрестностей оного. СПб., 1794). Также трактовались нравы некоторых сословий русского общества, например, в книге Ф.В. Булгарина «Картинки русских нравов» (1842). Интересно, что и в физиологиях 1840-х гг. именно столичные «типы» оказывались в центре физиологических очерков (Физиологии Петербурга (1845) / Сост. Н.А. Некрасов // Петербургский сборник. СПб., 1846). К этому жанру следует отнести обычно трактуемые только как литературные очерки произведения И.Т. Кокорева о московских типах 1840-х гг. (см.: *Кокорев И.Т.* Москва сороковых годов: Очерки и повести о Москве XIX в. М., 1959).
- 73 *Вишленкова Е.А.* Визуальное народоведение империи... С. 73.
- 74 *Нравоописатель В. Луганский.* Чухонцы в Питере // Финский вестник. 1846. Т. 8. Отдел III. С. 1–8.
- 75 Картинки русских нравов: В 6 кн. СПб., 1842–1843.

- 76 Голубицкий Ю.А. Физиологический очерк...
- 77 Белинский В.Г. Вступление к «Физиологии Петербурга, составленной из трудов русских литераторов» под ред. Н. Некрасова // *Белинский В.Г. Полн. собр. соч.*: В 13 т. Т. VIII. М., 1955. С. 379.
- 78 Гончарова Н.Н. Е.М. Корнеев. Из истории русской графики начала XIX в. М., 1987. С. 78.
- 79 Соломатина Н. Мотивы, стили и манеры...
- 80 *Rechberg Ch. de. Les peuples de la Russie ou description des moeurs, usages et costumes des diverses nations de l'empire de Russie, accompagnée de figures coloriées.* Paris, 1812–1813. Vol. 1–2; совр. переизд.: *Рехберг К. Народы России, или Описание нравов, обычаев и костюмов различных национальностей Российской империи.* Париж, 1812–1813. М., 2007.
- 81 Гончарова Н.Н. Е.М. Корнеев; *Жабрева А.* Живописные зарисовки путешествующего художника // *Рехберг К. Народы России... С. I–V. Трактровка изображений Корнеева см.: Вишленкова Е.А. Визуальное народоведение империи... С. 136–153.*
- 82 *Вишленкова Е.А. Визуальное народоведение империи... Гл. 2.*
- 83 Там же. С. 142.
- 84 Там же. С. 143–147.
- 85 *Вишленкова Е. Визуальный язык описания «русскости»; Мартин А.* Изображение «русскости» в конце XVIII – начале XIX в. // *Ab Imperio.* 2003. № 3. С. 119–134.
- 86 Волшебный фонарь, или Зрелище Санкт-Петербургских расхожих продавцов, мастеров и других простонародных промышленников, изображенных верной кистью в настоящем их наряде и представленных разговаривающими друг с другом, соответственно каждому лицу и званию. СПб., 1817. Это – сочинение П.И. Петрова, иллюстрированное раскрашенными от руки литографиями. До книжного издания выходили ежемесячно (всего вышло 12 номеров сборника (№ 11 и 12 вышли в 1818 г.).
- 87 Подробный разбор см.: *Вишленкова Е. Визуальное народоведение империи... С. 230–237.*
- 88 Соломатина Н. Мотивы, стили и манеры... С. 9.
- 89 Фарфор в России XVIII–XIX вв.: завод Гарднера/Сост.е. Иванова. СПб., 2003.
- 90 Картины России и быт разноплеменных ее народов из путешествий П.П. Свиньина. Ч. 1. СПб., 1839.
- 91 Предисловие сочинителя // Там же. С. V.
- 92 *Свербеев Д.Н.* Записки: В 2 т. М., 1899. Т. 1. С. 253–254.
- 93 Картины России и быт разноплеменных ее народов... С. 161.
- 94 *Куприянов П.С.* Представления о народах у российских путешественников начала XIX в. // *Этнографическое обозрение.* 2004. № 2. С. 34–35.
- 95 Одежды русского государства. Акварели Ф. Солнцева. Альбом. 1869.
- 96 Первое издание карточной игры вышло в 1830 г. под названием: География России. Собрание карт. СПб., 1830; 2-е изд.: Альбом географических карт России, расположенных на 80-ти листках по бассейнам морей или замечательный и поучительный детский гран-пасьянс, составленный К. Грибановым.

- СПб., 1857. Были и следующие переиздания – 1859 г. и др. См. также сноску 242 во второй главе.
- ⁹⁷ *Пассек В.В.* Очерки России: В 5 кн. М., 1838–1842.
- ⁹⁸ *Вишленкова Е.* Визуальное народоведение империи... С. 94.
- ⁹⁹ Русский иллюстрированный альманах. С 200 рисунками, гравированными на дереве. СПб., 1858; Русский художественный листок (1851–1862) – периодический сборник литографий.
- ¹⁰⁰ Предисловие // Систематический указатель рисунков «Русского художественного листка» за 1851–1860 гг. СПб., 1860. С. I.
- ¹⁰¹ Систематический указатель рисунков «Русского художественного листка».
- ¹⁰² *Тимм В.* Иллюстрации к кн.: Физиология Петербурга, составленная из трудов русских литераторов» / Под ред. Н. Некрасова: В 2 ч. СПб., 1845. Изображения «типов» Тимма к этому и другим изданиям – на сайте: <http://www.grafika.ru/catalog/s>
- ¹⁰³ Там же.
- ¹⁰⁴ Об этом см.: *Токарев С.А.* История русской этнографии (дооктябрьский период). М., 1966. С. 216–273; *Соколова В.Ф.* Народознание и русская литература XIX века. М., 2008. Гл. IV; *Бердинских В.* Уездные историки: русская провинциальная историография. М., 2003. Гл. 3–4; *Найт Н.* Наука, империя и народность: этнография в Русском географическом обществе. 1845–1855 // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология. М., 2005. С. 174–186.
- ¹⁰⁵ *Надеждин Н.И.* Об этнографическом изучении народности русской // Записки Русского географического общества. 1847. Кн. 2. С. 61–115.
- ¹⁰⁶ *Куприянов П.С.* Представления о народах у российских путешественников... С. 23.
- ¹⁰⁷ *Токарев С.А.* История зарубежной этнографии. М., 1978. С. 95–96.
- ¹⁰⁸ Часть этнографическая (*Надеждин Н.И.*). С. 28.
- ¹⁰⁹ Там же.
- ¹¹⁰ См.: *Белобородова И.П.* Региональная и локальная самоидентификация в севернорусской культурной традиции (к вопросу о формировании локальных групп) // Этнические стереотипы в меняющемся мире. М., 1998. С. 68–88.
- ¹¹¹ *Бабарькин В.* О жителях сельца Васильевского Нижегородской губернии Нижегородского уезда // Этнографический сборник. Т. 1. СПб., 1853. С. 21.
- ¹¹² *Жители* // Военно-статистическое обозрение Российской Империи, издаваемое по Высочайшему повелению при Первом отделении Департамента Генерального штаба: В 18 т. СПб., 1837–1854. Т. VI. Великороссийские губернии: В 6 ч. Ч. 2. Владимирская губерния. СПб., 1852. С. 141.
- ¹¹³ Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального Штаба. В 25-ти тт. СПб., 1859–1865.
- ¹¹⁴ Исследование жителей в физическом, нравственном и гражданском отношениях // Материалы для географии и статистики России. Т. 19. Рязанская губерния / Сост. М. Баранович. СПб., 1860. С. 134.
- ¹¹⁵ Племена, нравы и очерки быта // Военно-статистическое обозрение Российской Империи. Т. IV. Верховные приволжские губернии: В 4 ч. Ч. 1. Тверская губерния. СПб., 1848. С. 158.

- 116 Там же. С. 158, 162–163.
- 117 Там же. С. 163.
- 118 Там же. С. 164.
- 119 Исторические сведения о постепенном заселении края и этнографическое исследование о племенах // Материалы для географии и статистики России. Т. 12. Костромская губерния / Сост. Я. Кржновоблоцкий. СПб., 1861. С. 168.
- 120 Племена, нравы и очерки быта // Военно-статистическое обозрение Российской Империи. Т. II. Северо-Восточные губернии: В 4 ч. Ч. 3. Вологодская губерния. СПб., 1850. С. 249.
- 121 Там же. С. 258.
- 122 Там же. С. 260.
- 123 *Пушкарев И.И.* Описание Российской империи в историческом, географическом и статистическом отношении: В 18 т. (вышло 4 тетради первого тома). Т. 1. СПб., 1843–1846. Т. 1. Тетр. III. Олонецкая губерния. СПб., 1843. С. 42.
- 124 Племена, нравы и очерки быта // Военно-статистическое обозрение Российской Империи. Т. II. Северо-Восточные губернии. Ч. 2. Олонецкая губерния. СПб., 1853. С. 71.
- 125 Там же.
- 126 Там же.
- 127 Жители // Военно-статистическое обозрение Российской Империи. Т. IV. Верховные приволжские губернии: В 4 ч. Ч. 2. Ярославская губерния. СПб., 1851. С. 42.
- 128 *Костомаров Н.И.* Об отношении русской истории и географии к этнографии // Исторические монографии и исследования Н. Костомарова: В 12 т. СПб., 1862–1872. Т. 3. СПб., 1867. С. 368.
- 129 *Сорокин Ю.С.* Развитие словарного состава... С. 125.
- 130 Тип // Настольный словарь для справок по всем отраслям знания (Справочный энциклопедический лексикон): В 3 т. Сост. под ред. Ф. Толля. СПб., 1863–1866. Т. 3. (СПб., 1864; под ред. В.Р. Зотова и Ф. Толля). С. 669.
- 131 Характер // Там же. С. 917.
- 132 Тип // Справочный энциклопедический словарь... В 12 т. (13 кн.). Т. 10. СПб., 1848. С. 272.
- 133 Там же.
- 134 Тип // *Михельсон А.Д.* Объяснение всех иностранных слов (более 50 000 слов), вошедших в употребление в русском, с объяснениями их корней. 7-е изд.: В 2 т. М., 1877. Т. 1. С. 495; Тип // Новый словотолкователь 43 000 иностранных слов, вошедших в русский язык: Необходимая настольная книга для всех сословий. М., 1878. С. 324.
- 135 Тип // *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. СПб.–М., 1880–1882. Т. 4. М.–СПб., 1882. С. 406.
- 136 Тип // Карманный словарь иностранных слов / Сост. Н. Гавкин. С. 514.
- 137 *Кавелин К.Д.* Взгляд на юридический быт Древней России // *Кавелин К.Д.* Наш умственный строй: Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989. С. 22.

- 138 Григорьев Ап. После «Грозы» Островского. Письмо второе. Попытка разрешения // Григорьев Ап. Искусство и нравственность. М., 1986. С. 257.
- 139 Костомаров Н.И. Об отношении русской истории и географии к этнографии. С. 357.
- 140 Ливенский Н. Народности в истории // Отечественные записки. 1859. № 9. Отд. 1. С. 184–185.
- 141 Там же. С. 186.
- 142 Тип // Михельсон А.Д. Объяснение всех иностранных слов (более 50 000 слов). Т. 1. С. 495; Характеристический // Там же. С. 527. То же в: Михельсон А.Д. 30 000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с объяснением их корней. М., 1872; Новый словотолкователь 43 000 иностранных слов, вошедших в русский язык: Необходимая настольная книга для всех сословий. М., 1878.
- 143 Лоскутова М. С чего начинается Родина? Преподавание географии в дореволюционной школе и региональное самосознание (XIX – начало XX века) // Ab Imperio. 2003. № 3. С. 168–196; Granö O. Introduction // Suomalainen Maisema. Maisemantutkimuksen näkökulmia (The Finnish Landscape. Perspectives on landscape Research). Helsinki, 2002. S. 11–12; Häyrynen M. Landscape Imagery defining the national space // Ibidem. S. 42–49.
- 144 Цит. по: Берг Л.С. География и ее положение в ряду других наук // Вопросы страноведения. М.–Л., 1925. С. 8–13; Сухова Н.Г. Развитие представлений о природном территориальном комплексе в русской географии. Л., 1981. С. 46–47.
- 145 Ушинский К.Д. Труды Уральской экспедиции (1853) // Ушинский К.Д. Собр. соч.: В 11 т. М.–Л., 1948–1953. Т. 1. М.–Л., 1948. С. 356–357.
- 146 Беляев И.Д. Как образовалось великорусское племя и какое сословие принять представителем великорусского племенного типа? // Известия ОЛЕАЭ при Императорском Московском университете. Антропологическое отделение. Т. I. М., 1865. С. 43.
- 147 Там же.
- 148 Предисловие // Программа для собирания народных юридических обычаев. СПб., 1889. С. VIII.
- 149 Рабинович М.Г. Ответы на программу Русского географического общества...
- 150 Даль В.И. О наречиях русского языка. По поводу опыта областного великорусского словаря, изданного вторым отделением Императорской Академии наук (1852) // Даль В.И. Толковый словарь. Т. 1. СПб.–М., 1880. С. XLVIII.
- 151 Цит. по: Азадовский М.К. История русской фольклористики: В 2 т. М., 1958–1963. Т. 2. М., 1963. С. 212.
- 152 Горский И.К. Александр Веселовский и его «историческая поэтика» // Горский И.К. Из истории науки о литературе. М., 2006. С. 80–103.
- 153 Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Л., 1940. О методах подробно см.: Азадовский М.К. История русской фольклористики. Т. 2. С. 184–205.
- 154 Россия. Население. Россия в антропологическом отношении // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона: В XLI т. (82 п/т) / Под ред. Е.И. Андреевского. СПб., 1890–1907. Т. XXVIIа (п/т 54). СПб., 1899. С. 128–139. (Автор – Д.Н. Анучин.)

- 155 Подробнее об этом см.: *Лескинен М.В.* Национальное: наука и политика... С. 201–204.
- 156 *Березин Н.* Общий очерк // Народы Земли: Географические очерки жизни человека на Земле / Под ред. А. Острогорского: В 3 кн., 4 т. СПб., 1901–1903. Кн. 3. Т. 4. Россия. СПб., 1903. С. 4.
- 157 Россия. Население. Россия в антропологическом отношении.
- 158 *Pauly G.-Th.* Description ethnographique des Peuples de la Russie. St. Petersburg, 1862. Совр. переизд. на русс. яз.: *Паули Г.-Т.* Народы России. СПб., 1862 / Пер. А. Мороз. М., 2007 (текст доступен по адресу: <http://libatrium.net/read/444959/> дата последнего обращения – 1.07.2015).
- 159 *Жабрева А.* Густав-Теодор Паули. Этнографическое описание народов России. Монументальное описание России, народы страны в год ее тысячелетия. 1862 // *Паули Г.-Т.* Народы России. М., 2007. С. I–V (текст доступен по адресу: <http://libatrium.net/read/444959/> дата последнего обращения – 1.07.2015).
- 160 *Паули Г.-Т.* Народы России (здесь и далее текст дан по российскому переизданию 2007 года).
- 161 Там же.
- 162 *Лескинен М.В.* Поляки и финны... Гл. 2.
- 163 *Лескинен М.В.* Материальные атрибуты этнической идентификации...
- 164 Русский народный костюм из собрания Государственного музея этнографии народов России. Л., 1984; Костюм народов России в графике XVIII–XIX вв. Из фондов Государственной центральной Театральной библиотеки / Авт.-сост. Н.М. Штукатурова. М., 1990. С. 9–12.
- 165 Народы России: Живописный альбом. СПб., 1877; другое изд.: Народы России: Живописный альбом: В 7 вып. СПб., 1878–1880.
- 166 Типы народов России в их национальных костюмах. Приложение к журналу «Россия». 1887. Издатель И.И. Пашков – хромолитографирование. В частности, указано использование манекенов из Дашковского собрания (из коллекции Этнографической выставки 1867 г.).
- 167 Типы народов России в их национальных костюмах.
- 168 Подробнее об этом см.: *Могильнер М.* Homo Imperii. История физической антропологии в России. М., 2008. Гл. 6–7.
- 169 Всероссийская этнографическая выставка, устроенная Императорским обществом любителей естествознания, состоящим при Московском университете в 1867 году. М., 1867. С. 3.
- 170 Там же. С. 5. Однако следует признать, что подобная инструкция вовсе не была первой или принципиально новаторской; аналогичные методы выявления типа предлагались и в более ранних этнографических программах описания. Об одной из наиболее ранних (1830-е гг.) подробно говорится в ст.: *Вишленкова Е.* Человеческое разнообразие в локальной перспективе: «большие теории» и эмпирические знания (Казань, первая половина XIX в.) // *Ab Imperio.* 2009. № 2. С. 245–286. Вот показательная цитата: «Лица, с которых предполагается снимать портреты, должны быть тщательно изыскиваемы, так, чтобы в одном лице соединена была характеристика целого народного племени...» (Там же. С. 269).

- ¹⁷¹ Всероссийская этнографическая выставка... в 1867 году. С. 26.
- ¹⁷² Керимова М.М. Первая этнографическая выставка 1867 г. и проблема культурного взаимодействия славянских народов // Европейская интеграция и культурное многообразие: В 3 ч. М.: ИЭИА, 2009. Ч. 3. Традиционные ценности и новые ориентиры. С. 106–149.
- ¹⁷³ Всероссийская этнографическая выставка... в 1867 году. С. 15.
- ¹⁷⁴ Там же. С. 3.
- ¹⁷⁵ Там же. С. 5.
- ¹⁷⁶ Там же. С. 3.
- ¹⁷⁷ Там же.
- ¹⁷⁸ Этнографическая выставка 1867 года // Известия ОЛЕАЭ. Т. XXIX. М., 1878. С. 39–50.
- ¹⁷⁹ Всероссийская этнографическая выставка... в 1867 году. С. 13.
- ¹⁸⁰ Обращает на себя внимание и тот факт, что даже с активным применением фотографии в конце XIX в. именно работа художников продолжала расцениваться в качестве более «объективной» и репрезентативной с точки зрения запечатления *типа*, поскольку фотографирование было связано с некоторой принудительностью и волнением: «она дает изображение, лишенное индивидуальности и жизненности», «изображение типов художниками... всегда будет стоять несравненно выше фотографических... снимков. Художник может выдвинуть именно те особенности... которые наиболее характерны с точки зрения этнографии или патологии». Однако это не исключало и опасений в том, что художник все же не может быть абсолютно объективен: он рискует привнести в изображение «помимо своего сознания... те черты, которые, по его предвзятому мнению, кажутся ему существенными» (Петру Э.Ю. Антропология: В 2 т. СПб., 1895–1897. Т. 2. СПб., 1897. С. 41, 45–46).
- ¹⁸¹ Всероссийская этнографическая выставка, устроенная... в 1867 году. С. 74–75.
- ¹⁸² Пытин А.Н. О задачах русской этнографии // Известия Императорского Русского географического общества. Т. 21. Вып. 1–6. СПб., 1885. Вып. 6. С. 481.
- ¹⁸³ Глава V. Распределение населения Московской промышленной области и Верхнего Поволжья по территории, его этнографический состав, быт и культура // Россия. Полное географическое описание нашего отечества: Настольная и дорожная книга для русских людей: В 22 т. (вышло 19) / Под ред. В.П. Семенова; Под рук. П.П. Семенова и В.И. Ламанского. СПб., 1899–1913. Т. I. Московская промышленная область и Верхнее Поволжье (Московская Калужская, Тверская, Ярославская, Владимирская, Костромская, Нижегородская губернии). СПб., 1899. С. 98.
- ¹⁸⁴ Кюн К. Народы России. СПб., 1888. С. 6.
- ¹⁸⁵ Глава V. Распределение населения. С. 98.
- ¹⁸⁶ Березин Н. Общий очерк // Народы Земли. Кн. 3. Т. 4. Россия. С. 4.
- ¹⁸⁷ Всероссийская этнографическая выставка, устроенная... в 1867 году. С. 74–75.
- ¹⁸⁸ Ешевский С.В. О значении рас в истории (1862) // Русская расовая теория до 1917 года: Сб. оригинальных работ русских классиков / Под ред. В.Б. Авдеева: В 2 вып. М., 2004. Вып. 1. С. 96–97.

- 189 Образы народов Российской империи 60-х гг. XIX в. (по материалам Этнографической выставки 1867 года). Из фотоархива Российского этнографического музея, 2008 (DVD). Подробное описание предметов выставки славянского Отдела: *Миллер В.Ф.* Систематическое описание коллекции Дашковского этнографического музея: В 4 вып. М., 1887–1895. Вып. 3. Славянское население России. М., 1893.
- 190 Всероссийская этнографическая выставка, устроенная... в 1867 году. С. 48.
- 191 Там же.
- 192 *Лескинен М.В.* Роль концепции народности в этнографических описаниях последней трети XIX века // Россия и славянский мир на этнографической выставке 1867 года. СПб., 2009. С. 71–83.
- 193 *Байбурин А.* Этнографический музей: семиотика и идеология // Неприкосновенный запас. 2004. № 1 (33).
- 194 *Кузнецов И.М.* Исследование символов в системе национального самосознания. К постановке проблемы // Ценности и символы национального самосознания в условиях изменяющегося общества. М., 1994. С. 25–36.
- 195 Подробнее об этом см.: *Найт Н.* Империя на просмотре: этнографическая выставка и концептуализация человеческого разнообразия в пореформенной России // Власть и наука, ученые и власть: Материалы Международного научного коллоквиума. СПб., 2003. С. 453; *Майорова О.Е.* Славянский съезд 1867 года: метафорика торжества // НЛО. 2001. № 51. С. 89–110; Россия и славянский мир на этнографической выставке 1867 года. СПб., 2009; *Шевеленко И.* Репрезентация империи и нации: Россия на Всемирной выставке 1900 года в Париже // Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России / Под ред. А. Эткинды, Д. Уффельманна, И. Кукулина. М., 2012. С. 413–447.
- 196 *Катков М.Н.* Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1867. М., 1897. С. 214.
- 197 Там же. С. 215.
- 198 *Реклю Э.* Земля и люди. Всеобщая география: В 19 т. СПб., 1877–1896. Т. V. Вып. II. Европейская Россия. СПб., 1883. Стлб. 105; *Вольтман Л.* Учение о расах. СПб., 1905. С. 8.
- 199 *Катков М.Н.* Собрание передовых статей. С. 215. Трактровку Н. Найта см.: *Найт Н.* Империя на просмотре...
- 200 *Катков М.Н.* Собрание передовых статей... С. 215.
- 201 *Богданов А.П.* Антропологическая физиогномика // Русская расовая теория до 1917 г. Вып. 1. С. 133–134.
- 202 Там же. С. 134.
- 203 Там же.
- 204 Там же. С. 133–134.
- 205 *Воробьев В.В.* Великоруссы: Очерк физического типа // Русская расовая теория. Т. 1. С. 163–194.
- 206 Например, М.П. Погодин не считал нужным детально аргументировать свою версию о типичном великорусе, полагая ее очевидной и бесспорной: «Тверь,

- Ярославль со смежными частями Владимирской, Московской, Костромской и Смоленской губерний — вот где до сих пор сохраняется чистый тип наш...» (*Погодин М.П.* Отповедь французскому журналисту // *Погодин М.П.* Вечное начало. Русский дух. М., 2011. Ответ 6 июня 1863 г. С. 611).
- 207 *Тайлор Э.* Антропология (Введение к изучению человека и цивилизации). 2-е изд. СПб., 1908. С. 78–79.
- 208 *Богданов А.П.* Антропологическая физиогномика... С. 133–134.
- 209 Там же. С. 134.
- 210 Там же. С. 126.
- 211 Там же.
- 212 Там же. С. 126–127.
- 213 В частности в основу криминальной антропологии. Об этом см.: *Могильнер М.* Homo Imperii... Ч. 3.
- 214 Подр.: *Богданов А.П.* Антропологическая физиогномика... С. 138–141.
- 215 *Држевецкий А.* От Санкт-Петербурга до российско-норвежской границы по ее протяжению // *Знание: Ежемесячный научный и критико-библиографический журнал.* 1872. № 6. С. 154.
- 216 Очерк III. Коренное население края // *Живописная Россия.* Т. II. Ч. 2. Прибалтийский край. Губернии: Курляндская, Лифляндская и Эстляндская. СПб.–М., 1883. С. 173.
- 217 *Природа и люди: Курс географии, содержащей описание частей света в физическом, этнографическом и политическом отношениях / Сост. и изд. А. Павловским.* Вып. 1. СПб., 1868С. 129, 130.
- 218 *Кюн К.* Народы России. С. 1–2.
- 219 Там же. С. 2.
- 220 *Лескинен М.В.* Национальное: наука и политика...
- 221 *Водовозова Е.Н.* Поляки // *Водовозова Е.Н.* Как люди на белом свете живут. Чехи–поляки–русины. СПб., 1905. С. 114.
- 222 *Руан К.* Новое платье Империи. История российской модной индустрии, 1700–1917 / Пер. с фр. М., 2011. С. 233.
- 223 Великорусский край // *Отечествоведение. Россия по рассказам путешественников и ученым исследованиям: Учеб. пособие для учащихся: В 6 т. / Сост. Д.Д. Семенов.* СПб., 1866–1870. Т. V. СПб., М., 1869.
- 224 Подробнее см.: *Лескинен М.В.* Понятия «Отечество» и «Родина» в русских учебниках географии: конструирование территориальной идентичности в последней трети XIX в. // *Вестник МГУ. Серия «История».* 2010. №3. С. 37–52; *Она же.* Образы страны и народов Российской империи в учебниках для начальной школы второй половины XIX века: формы репрезентации этничности // *Отечественная и зарубежная педагогика.* 2012. № 4. С. 92–117.
- 225 *Thaden E.C.* Interpreting History. Collective Essays on Russian's Relation with Europe. NY, 1990. Ch. 9.
- 226 *Разин А.Е.* Мир Божий: Руководство по русскому языку для приготовительного класса (Руководство для военно-учебных заведений). СПб., 1860. С. 311.
- 227 Там же.

- ²²⁸ Зуев Н. География Российской империи. СПб., 1887. С. 84.
- ²²⁹ Коропчевский Д. Земледельческие народы // *Коропчевский Д.* Первые уроки этнографии. М., 1903. С. 156.
- ²³⁰ Глава V. Тип и говор великоруса. Жилища // Полное географическое описание нашего отечества. Т. II. Среднерусская черноземная область. СПб., 1902. С. 170.
- ²³¹ Лескин М.В. Понятие «нрав народа» в российской этнографии второй половины XIX в. Описание малоросса в научно-популярной литературе и проблема стереотипа // *Украина и украинцы: образы, представления, стереотипы. Русские и украинцы во взаимном общении и восприятии.* М., 2008. С. 67–94; *Она же.* «Малороссийская народность» в российской науке второй половины XIX в. Проблемы этнографического описания // *Русские об Украине и украинцах.* М., 2012. С. 244–283.
- ²³² Славянское племя. Великоруссы // *Природа и люди.* 1878. № 1. С. 1–35 (Народы России. Этнографические очерки). С. 4. (Позже вышло отдельным, богато иллюстрированным изданием: *Народы России. Этнографические очерки: Живописный альбом: В 7 вып.* СПб., 1878–1880. Очерки славянских народов помещены в вып. 1.)
- ²³³ Воскресенский С.А. Учебный курс географии Рязанской губернии (родиноведение). Рязань, 1885. С. 37.
- ²³⁴ Малороссия, Новороссия, Крым и область Донского и Кубанского войска // *Отечественное. Россия по рассказам путешественников и ученым исследованиям.* Т. II. Южный край. СПб., 1871. С. 105.
- ²³⁵ Славянское племя. Великоруссы. С. 4.
- ²³⁶ Карта России и племен, ее населяющих (1866) / Сост. и рис. Н. Тербенева // *Образы народов Российской империи 60-х гг. XIX в. ...*
- ²³⁷ Например, платок «Народы империи». В центре серого с красной окантовкой платка – карта России, по краям платка – изображения народов Российской империи. Производство Товарищества Даниловской мануфактуры (Москва), конец XIX в. Экземпляр хранится в Национальном музее Республики Коми в Сыктывкаре (см.: Платок как семейная реликвия // Портал «Красное знамя». 27 апреля 2011 г. Информация доступна по адресу: <http://komikz.ru/news/history/?id=2836> дата последнего обращения – 22.03.2016). Аналогичный сувенирный платок, вероятнее всего, производства той же фабрики (такая же цветовая гамма и композиция) имеет 12 квадратных рисунков с изображениями крестьянских занятий на каждый месяц календарного года, в них главное место также занимает изображение различных жанровых сюжетов из жизни русских крестьян. Хранится в коллекции РЭМ (см.: Императорские коллекции в собрании Российского этнографического музея. М.–СПб., 1995. С. 67).
- ²³⁸ Руан К. Новое платье Империи... С. 21.
- ²³⁹ Там же.
- ²⁴⁰ Всероссийская художественно-промышленная выставка в Москве 1882 года. Иллюстрированное описание: Альбом, 179 рисунков и 16 портретов. Приложение к журналу «Всемирная иллюстрация». СПб., 1882. С. 5.
- ²⁴¹ Миллер В.Ф. Систематическое описание коллекции Дашковского этнографического музея. Вып. 3. Славянское население России. М., 1893.

- ²⁴² Всероссийская художественно-промышленная выставка в Москве 1882 года. С. 2.
- ²⁴³ Там же. С. 1.
- ²⁴⁴ Там же.
- ²⁴⁵ *Рябов О.В.* «Россия-матушка»: история визуализации // *Границы: Альманах Центра этнических и национальных исследований ИвГУ. Иваново, 2008. Вып. 2: Визуализация нации. С. 7–36* (текст доступен по адресу: <http://cens.ivanovo.ac.ru/almanach/riabov-2008.htm>).
- ²⁴⁶ Подробнее об этом см.: *Бердинских В.* Уездные историки...
- ²⁴⁷ Цит. по: *Лучинский Г.А.* А.П. Шапов. Биографический очерк // *Шапов А.П.* Соч.: В 3 т. СПб., 1906–1908. Т. III. СПб., 1908. С. XXXI.
- ²⁴⁸ *Замятин Д.Н.* Культура и пространство. Моделирование географических образов. М., 2006. С. 92–99.
- ²⁴⁹ Там же. С. 39–40.
- ²⁵⁰ *Бердинских В.* Уездные историки... С. 40–43.
- ²⁵¹ *Лескинен М.В.* «Отечество» и «Родина» в российских учебниках географии последней трети XIX в. Конструирование территориальной идентичности // *Культура сквозь призму идентичности. М., 2006. С. 126–152.*
- ²⁵² *Рубинштейн Н.Л.* Русская историография. М., 1941. С. 420. Иной взгляд, лишенный романтического восприятия деятельности провинциальных исследователей исключительно как просветителей-подвижников (В. Бердинских) и явной недооценки их вклада в развитие отечественной науки, представлен в новейших статьях: *Лоскутова М.* Уездные ученые: самоорганизация научной общественности в российской провинции во второй половине XIX века – первые десятилетия XX века // *Ab Imperio. 2009. № 2. С. 119–170; Вишленкова Е.* Человеческое разнообразие в локальной перспективе...; *Лоскутова М.* «Сведения о климате, почве, образе хозяйства и господстве растений должны быть собраны...»: просвещенная бюрократия, гумбольдтовская нация и местное знание в Российской империи второй четверти XIX века // *Ab Imperio. 2012. № 4. С. 111–156.*
- ²⁵³ *Громбах А.А.* Народная и детская литература с 1880 по 1905 г.: Сб. сводных отзывов. Вып. 1. География. М., 1906; *Межов В.И.* Вклад правительства, ученых и других обществ на пользу русского просвещения: Библиографический указатель книг. СПб., 1886; *Лебедев А.И.* Детская и народная литература. Опыт руководства для систематического чтения. Вып. 1–2. Н. Новгород, 1903–1904.
- ²⁵⁴ Об этом, в частности, см.: *Ремнев А.В., Савельев П.И.* Актуальные проблемы изучения региональных процессов в имперской России // *Имперский строй России в региональном измерении (XIX – начало XX в.). Новая перспектива. М., 1997. С. 5–18; Rosander G.* The «nationalization» of Dalecardia. How a special province became a national symbol of Sweden // *Tradition and Cultural Identity. Turku, 1988. P. 93–142; Darby W.* Landscape and Identity: Geographic of Nation and Class in England. Oxford, 2000; *Бурдые П.* Идентичность и репрезентация: элементы критической рефлексии идеи «региона» // *Ab Imperio. 2002. № 3. С. 45–60; Browning C.S.* The Region-Building Approach Revisited: The Continu-

- ing Othering of Russia in Discourses of Region-Building in the European North // *Geopolitics*. Spring 2003. Vol. 8. № 1. P. 45–71; *Нойманн И.* Создание регионов: Северная Европа // *Нойманн И.* Использование «Другого»: Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М., 2004.
- 255 Подробнее об этом см.: *Лескинен М.В.* Поляки и финны... Ч. 2. О концепции репрезентации финского этнического типа см. также: *Она же.* Категория типического в создании национального пейзажа («Наш край» Й. Рунеберга и «Мой край» Я. Купалы) // Янка Купала и Якуб Колас в системе государственно-культурных и духовно-эстетических приоритетов XXI века. Минск, 2008. С. 32–40; *Она же.* Путешествие по родной стране: описание как способ национальной репрезентации. Финляндия и финны в изображении З. Топелиуса // *Одиссей*. 2008. М., 2010. С. 175–204.
- 256 *Honko L.* Studies on Tradition and Cultural Identity // *Tradition and Cultural Identity...* P. 7–26.
- 257 И эти термины, и данная классификация, разумеется, были разработаны много позже, в советской этнографической науке (см.: *Токарев С.А.* Проблема типов этнических общностей // *Токарев С.А.* Избранное: В 2 т. М., 1999. Т. 1. С. 194–209; *Козлов В.И.* О классификации этнических общностей (состояние вопроса) // *Исследования по общей этнографии*. М., 1979. С. 5–23; *Историко-этнографические области (ИЭО)* // *Свод этнографических понятий и терминов*. Вып. 6. Этнография и смежные дисциплины. Этнические и этносоциальные категории. М., 1995. С. 31–34; *Хозяйственно-культурные типы (ХКТ)* // Там же. С. 138–141; *Решетов А.М.* Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области: формирование и перспективы развития концепции // *Российская наука о человеке. Вчера, сегодня, завтра: Материалы Международной научной конференции*. СПб., 2003. С. 161–168), но основы подобной этногеографической и этноэкономической классификаций были заложены еще на этапе развития этнографии как отдела географии, хотя в указанных работах связь данных концепций с идеями этнографов XVIII–XIX вв. дана более чем поверхностно. В современном понимании терминов, однако, разработана иерархия данных структур: самой малой историко-этнографической единицей избран «район», районы объединены в «области», они, в свою очередь, образуют «провинции» или «регионы». ХКТ подразделяются на три вида, выделяемые на основании теории смены социально-экономических формаций: связанные с «присваивающим» и «производящим» этапами хозяйства и стадией использования одомашненного скота. Считается, что это стадийность историко-культурного характера. И в этом смысле ХКТ явно восходят к эволюционистской концепции культурной стадийности – точнее, к одному из ее направлений, рассматривающих прежде всего материальную (экономико-хозяйственную) сферу этнокультурного развития, – разрабатываемой в российской этнографии еще в конце XIX в.
- 258 *Власова И.В.* Введение // *Русский Север. Этническая история и народная культура. XII–XX вв.* / Отв. ред. И.В. Власова. М., 2001. С. 3. См. также: *Калуцков В.Н.* Русский Север как историко-географический регион // *Геокультурное*

- пространство европейского Севера: генезис, структура, семантика. Поморские чтения по семиотике культуры. Вып. 4. Архангельск, 2009. С. 27–37; Гл. 1. Русский Север – хранитель генофонда русской этнокультурной традиции // Сибирь и Русский Север. Проблемы миграций и этнокультурное взаимодействие (XVII – начало XXI века) / Отв. ред. А.В. Бауло. М., 2014. С. 7–42 (автор – А.В. Пермиловская).
- 259 Костомаров Н.И. Две русские народности // Исторические монографии и исследования Н. Костомарова: В 16 т. СПб., 1872–1885. Т. 1. СПб., 1872. С. 53–108.
- 260 Загорский В. Великороссы // Народы Земли. Географические очерки жизни человека на Земле / Под ред. А. Острогорского: В 3 кн., 4 т. СПб., 1901–1903. Кн. 3. Т. 4. Россия. СПб., 1903. С. 22.
- 261 Немирович-Данченко В.И. Русская женщина // Швейгер-Лерхенфельд А. фон Женщина. Ее жизнь, нравы и общественное положение у всех народов земного шара / Пер. с нем. М.И. Мерцаловой. СПб., 1889. С. 648.
- 262 Отдел II. Общий очерк образа жизни и характера жителей Новгородской губернии // Новгородский сборник: Материалы для истории, статистики и этнографии Новгородской губернии, собранные из описаний приходо-волостей Н. Богословского. Вып. 1. Новгород, 1865. С. 4.
- 263 Максимов С. О русских людях. Рассказ второй. СПб., 1865. С. 18.
- 264 Там же. С. 19.
- 265 Меч С. Учебник отечественной географии: Курс гимназический. М., 1887. С. 29.
- 266 Кавелин К.Д. Мысли и заметки о русской истории // Кавелин К.Д. Наш умственный строй... С. 184.
- 267 Отдел II. Общий очерк образа жизни и характера... С. 1.
- 268 Ефименко П.С. Глава I. Физические свойства местного населения // Ефименко П.С. Материалы для этнографии русского населения Архангельской губернии: В 2 ч. М., 1877–1878. Ч. 1. Описание внешнего и внутреннего мира. М., 1877. С. 11.
- 269 Меч С. Учебник отечественной географии. С. 29–30.
- 270 Исследование жителей // Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Т. 1. Архангельская губерния / Сост. Н. Козлов. СПб., 1865. С. 124.
- 271 Русские народы. наброски пером и карандашом / Тексты под ред. проф. Н.Ю. Зюгафа: В 3 ч. Ч. I. Европейская Россия. Вып. 1. М., 1894. С. 9.
- 272 Подробнее о европейских канонах этнической красоты см.: Лескинен М.В. Характерология славян в русской интерпретации...
- 273 Мартынов С.В. Быт населения и его культурный уровень // Мартынов С.В. Печорский край. Очерки природы и быта, население, культура, промышленность. СПб., 1905. С. 63.
- 274 Там же.
- 275 Там же. С. 13.
- 276 Там же.
- 277 Верещагин В. Очерки Архангельской губернии. СПб., 1849. С. 155.
- 278 Энгельгардт А.П. Русский север. Путевые записки. СПб., 1897. С. 41.

- 279 Русские народы. наброски пером и карандашом... Ч. 1. Вып. 1. С. 9.
 280 Там же.
 281 *Немирович-Данченко В.И.* Русская женщина... С. 644.
 282 Там же.
 283 Русские народы. наброски пером и карандашом... Ч. 1. Вып. 1. С. 9.
 284 *Лаврентьев К.В.* География Вятской губернии... Курс родоноведения. Вятка, 1890. С. 183.
 285 Русские народы. наброски пером и карандашом... Ч. 1. Вып. 1. С. 9.
 286 *Иваницкий Н.А.* Материалы по этнографии Вологодской губернии // Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России. Вып. II. М., 1890. Отдел I. Гл. I. С. 6.
 287 Там же.
 288 *Ефименко П.С.* Глава VII. Нравы, верования, суеверия, гадания, приметы // *Ефименко П.С.* Материалы для этнографии русского населения Архангельской губернии... Ч. 1. С. 160.
 289 Там же. С. 161.
 290 Там же.
 291 Русские народы. наброски пером и карандашом... Ч. I. Вып. 2. Европейская Россия. М., 1894. С. 28.
 292 Отдел II. Общий очерк образа жизни и характера... С. 2.
 293 Там же. С. 3.
 294 Очерк X. Как и чем живет русский человек в Озерной области // Живописная Россия. Т. I. Ч. 2. Озерная, или Древне-Новгородская, область, продолжение. СПб., 1881 (сплошная пагинация двух частей первого тома). С. 536. (Автор – *В.Н. Майнов.*)
 295 Там же.
 296 Отдел II. Общий очерк образа жизни и характера... С. 2.
 297 Там же.
 298 Там же. С. 5.
 299 Там же. С. 5–6.
 300 Там же. С. 6.
 301 *Воронецкий А.* Великоруссы // По русской земле: Географические очерки и картины для чтения в семье и школе / Сост. А. Сахаров. М., 1890. С. 176.
 302 *Меч С.* Учебник отечественной географии. С. 87.
 303 Гл. V. Распределение населения Московской промышленной области. С. 94.
 304 *Кузнецов И.М.* Исследование символов в системе национального самосознания. К постановке проблемы // Ценности и символы национального самосознания в условиях изменяющегося общества. М., 1994. С. 30.
 305 *Rosander G.* The «nationalization» of Dalecardia; *Malkki L.* National geographic: the rooting of peoples and the territorialization of national identity among scholars and refugees // *Cultural Anthropology*. 1992. Vol. 7. No. 1: Space, Identity and the Politics of Difference. P. 24–44.
 306 *Ely C.* This Meager Nature: Landscape and National Identity in Imperial Russia. DeKalb, 2002; *Деготь Е.* Пространственные коды «русскости» в искусстве XIX века // От-

- еественные записки. 2002. № 6. С. 176–186; *Пигарев К.* Русская литература и изобразительное искусство: Очерки о русском национальном пейзаже середины XIX века. М., 1972; *Васильева Е.В., Бенца Л.П.* Северные акварели. Альбом Николая Бенца // Скандинавские чтения. СПб., 2008. С. 410–414.
- 307 Напомним, что Алаунской в древности именовали Валдайскую возвышенность.
- 308 *Разумов И.* Землеописание земного шара. Политогеа. М., 1859. Ч. 4. Российская империя. С. 488.
- 309 Там же.
- 310 Там же.
- 311 Там же. С. 488–489.
- 312 Там же. С. 555–556.
- 313 Подробнее об этом см.: *Вишленкова Е.* Визуальное народоведение империи... Гл. 2.
- 314 *Зуев Н.* География Российской империи... С. 84.
- 315 Там же.
- 316 *Семенов В.* Предисловие ко всему изданию // Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Т. 1. Московская промышленная область и Верхнее Поволжье. СПб., 1899. С. IX.
- 317 Гл. V. Распределение населения... С. 98.
- 318 Там же. С. 99. Тот же фрагмент описания внешнего облика помещен в: *Великоруссы // Большая энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания / Под ред. С.Н. Южакова: В 20 т. СПб.–Лейпциг, 1900–1907. Т. 4. СПб., 1901. С. 578.* В начале XX в. аналогичные и подробные описания помещены во многих учебниках. Например: «На вид большая часть коренных великорусов кажется росту среднего или немного повыше среднего, с широкими плечами и крепким, коренастым сложением, давшим им силу вынести в своей долгой, более чем тысячелетней жизни и монгольское иго, и многое множество всяких бед и невзгод. Мягкие, нередко волнистые, русые волосы расчесаны обыкновенно (у крестьян) на обе стороны с пробором посередине, на затылке они нередко пострижены “в кружок”, лицо обрастает усами и бородой, борода обыкновенно не стрижется и отрастает... иногда же подстригается “лопатою”, но никогда истый великорусский крестьянин не станет брить бороду или даже хоть ее подстригать. Глаза у великорусов серые или серо-голубые, нередко и светло-карие, темные же... глаза и волосы в редкость. Лицо широкое, но и длинное, открытое, нос часто несколько вздернутый, но кончик слегка приплюснутый» (*Великоруссы // Тимковский Д.* Наша страна. Картины природы и быта народов России: Географический сборник для чтения в семье и школе. 2-е изд. М., 1912. С. 151.)
- 319 *Немирович-Данченко В.И.* Русская женщина... С. 645.
- 320 Там же.
- 321 Там же. С. 656.
- 322 Цит. по: *Григорьева Н.В.* Путешествие в русскую Финляндию. Очерк истории и культуры. СПб., 2002. С. 126.
- 323 *Воронецкий А.* Великоруссы... С. 176.
- 324 Глава V. Тип и говор великоруса. Жилища // Полное географическое описание нашего отечества. Т. II. Среднерусская черноземная область. СПб., 1902. С. 170.

- 325 *Воскресенский С.А.* Учебный курс... С. 37–38. Автор повторяет, как видим, разделение своего предшественника, офицера Генерального Штаба, сделанное сорока годами ранее. См. сноску 112.
- 326 *Пытин А.Н.* О задачах русской этнографии // Известия Императорского Русского географического общества. Т. 21. Вып. 1–6. СПб., 1885. Вып. 6. С. 480–500.
- 327 Зачастую признаками такой особой «чистоты» считались высокий рост и внешняя красота славянского облика (см., например: Русские народы. Наброски пером и карандашом. Ч. 1. Вып. 2. С. 28).
- 328 Современные этнографы не отрицают возможности и необходимости выделения региона Русского (Европейского) Севера как особого великорусского ареала или историко-этнографической области русских, население которой вплоть до конца XX в. сохраняло обычаи, устои, быт и другие формы традиционной русской жизни, а также обладало ярко выраженными особенностями самосознания (см.: *Витов М.В.* Этнография Русского Севера. М., 1997; *Власова И.В.* Этническая история и формирование населения Русского Севера // Русский север. Этническая история и народная культура... Гл. 1. С. 16–36; *Она же.* Население центральных районов Русского Севера // Там же. Гл. 3. С. 102–141; *Она же.* Очерк V. Народное сознание и культура севернорусского населения // Очерки истории русской культуры. М., 2009. С. 113–196).
- 329 *Б.а.* Этнографический жанр в русской фотографии 1860-х – 1900-х гг. Текст доступен по адресу: <http://www.nir.ru/exlb./inv/ethno.htm>.
- 330 Там же.
- 331 Там же; *Стасов В.В.* Фотографические и фототипические коллекции Императорской Публичной библиотеки. СПб., 1885.
- 332 История фирмы Фаберже по воспоминаниям главного мастера фирмы Франца Б. Бирбаума (1919) / Публ. Т.Ф. Фаберже и В.В. Скурлова. СПб., 1992. С. 30–31; *Скурлов В., Фаберже Т., Илюхин В. К.* Фаберже и его продолжатели. Камнерезные фигурки «Русские типы». СПб., 2009. С. 26–85.
- 333 Глава V. Тип и говор великорусса... С. 170.
- 334 *Воронецкий А.* Великоруссы... С. 177.
- 335 *Зограф Н.Ю.* Антропометрические исследования мужского великорусского населения Владимирской, Ярославской и Костромской губерний // Труды Отдела антропологии. Т. XV. М., 1892. С. 172.
- 336 *Краснов А.Н.* Материалы для антропологии русского народа // Русский антропологический журнал. 1902. Кн. XI. № 3. С. 47, 54, 67.
- 337 *Зограф Н.Ю.* Антропометрические исследования... С. 172.
- 338 Там же. С. 173.
- 339 Там же. С. 174.
- 340 Великоруссы // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона. Т. Va (п/т 10). СПб., 1892. С. 828–843 (автор – *Д. Анучин*); *Зограф Н.Ю.* Антропометрические исследования... Гл. VI.
- 341 Великоруссы... С. 837.
- 342 Там же.
- 343 Там же. С. 829.

- 344 Там же. С. 843.
- 345 *Могильнер М.* Homo Imperii... С. 158–172.
- 346 *Анучин Д.Н.* О задачах и методах антропологии // Русский антропологический журнал. 1902. Т. 1. С. 72–80.
- 347 *Соболевский А.И.* К вопросу о финском влиянии на великорусское племя: Рец. на: *Зограф Н.Ю.* Антропометрические исследования мужского великорусского населения Владимирской, Ярославской и Костромской губерний (Труды Отдела антропологии. Т. XV. М., 1892) // Живая старина. 1893. Вып. 1. Отдел III. С. 120.
- 348 *Ивановский А.А., Рождественский А.Г.* Насколько верны выводы профессора Н.Ю. Зографа в его «Антропометрических исследованиях мужского великорусского населения Владимирской, Ярославской и Костромской губерний» и имеют ли эти «Исследования» какое-либо научное значение? М., 1893. С. 59.
- 349 *Соболевский А.И.* К вопросу о финском влиянии... С. 122.
- 350 Там же. С. 121.
- 351 *Милюков П.Н.* Очерки истории русской культуры: В 4 ч. СПб., 1896–1903. Ч. 1. Население, экономический, государственный и сословный строй. СПб., 1896. С. 47.
- 352 Там же. С. 48.
- 353 *Воробьев В.В.* Великоруссы. С. 165.
- 354 Там же. С. 174.
- 355 Там же. С. 174–175.
- 356 *Пантохов И.И.* Значение антропологических типов в русской истории // Русская расовая теория. Т. 2. М., 2004. С. 313–360.
- 357 *Козлова Н.Н.* Социально-историческая антропология. М., 1999. С. 42.
- 358 *Сердюк Т.Г.* Категория «типическое» в историческом познании: Автореф. дисс.... канд. филос. наук. Кемерово, 2001. С. 2–4.
- 359 *Шмидт И.М.* Русская скульптура второй половины XIX – начала XX в. М., 1989; *Hilton A.* Preservation and Revival of Russian Folk Art // *Hilton A.* Russian Folk art. Bloomington, 1995. Part 3; *Головин В.* Мир русского крестьянина и его изображение в искусстве // Крестьянский мир в русском искусстве. Русский музей. СПб., 2005. С. 15–23; *Климов П.* Русская жанровая живопись из частных коллекций // Картины о жизни. Русская жанровая живопись середины XIX–начала XX в. из частных собраний Москвы и Петербурга. Русский музей. СПб., 2007. С. 5–11.
- 360 *Кириченко Е.И.* Введение. Русский стиль и русское искусство. О термине «русский стиль» и содержании книги // *Кириченко Е.И.* Русский стиль. Поиски выражения национальной самобытности: народность и национальность. Традиции древнерусского и народного искусства в русском искусстве XVIII – начала XX в. М., 1997. С. 8–15, *Sunderland W.* Shop Signs, monuments, souvenirs. Views of the Empire in everyday life // *Picturing Russia. Explorations in Visual Culture* / Ed. by V.A. Kivelson and J. Neuberger. L., 2008. P. 104–108; *Brooks J.* The Russian Nation Imagined. The peoples of Russia as seen in Popular Imagery. 1860–1890-s // *Journal of Social History*. Vol. 43. № 3. Spring 2010. P. 535–557. Нельзя не упомянуть

в связи с этим моды на русский костюм XVII в. и его мотивы в высших кругах, которая получила наибольшее распространение в 1880-х – 1910-х гг., которое исследователи связывают с популярностью в обществе славянофильских идей и расцветом исторического жанра в литературе и искусстве (см.: *Кириченко Е.И.* Введение. Русский стиль и русское искусство... С. 60–80). См. также: *Шевеленко И.* Империя и нация в изображении русского модернизма // *Ab Imperio*. 2009. № 3. С. 171–206.

³⁶¹ *Руан К.* Новое платье Империи... С. 228–250.

³⁶² *Кириченко Е.И.* Введение. Русский стиль и русское искусство... С. 11.

Глава 7

«Волга – русская река».

Формирование

и аргументация концепта

Процесс самоосмысления нации, направляемый интеллектуальной элитой общества в Российской империи второй половины XIX в., затрагивал и один из центральных аспектов авторепрезентации: определения и изображения национально-типичного – облика, региона, диалекта и т.д. Пространственные представления наиболее точно воплощают воображенную реальность, метафорические категории которой – физические (тело, дух, облик, национальный характер) и идеально-мифологизирующие (Отчизна, нация, народ, историческое или религиозное предназначение, патриотизм); они оказывают самое непосредственное влияние на способы обоснования и видение собственной идентичности. Неслучайно данная проблематика востребована в новейших исследованиях по «империологии», в которой категория пространства занимает значимое место¹.

Обращаясь в нашей монографии к способам конструирования великорусской этничности, мы не можем игнорировать параллельный процесс складывания представлений, образов русскости, а также воплощения ее в повседневных и символических формах. Концепт «Волга – русская река»² был одной из красноречивых попыток, с одной стороны, установить отношения между «великорусскостью» и русскостью как тождества – в контексте репрезентации великорусов как государствообразующего ядра, а с другой – представить узнаваемый патриотический образ Отечества. Волга призвана была стать символом государства-империи, России и одновременно выражением идеи гомогенности и органичности имперского устройства под самодержавным скипетром. Идея так называемого слияния, о которой говорилось в четвертой главе, в концептуализации Волги нашла свое полное, и несомненно удачное, воплощение.

Поэтому необходимо проследить эволюцию представлений о Волге и Волжском регионе, сконцентрированных в ныне кажущихся «извечными» метафорах «Волга – русская река», «Волга-кормилица». Следует напомнить, что концепция русскости Волги возникла относительно недавно – не ранее 1870-х гг.

Русские историки XIX в., реконструируя процесс формирования московской и российской государственности, значительное внимание уделяли географическому фактору. Для нас важна обосновываемая ими теория, согласно которой реки и речные бассейны выполняли объединительную функцию в процессах политической, экономической и межэтнической интеграции в истории России и колонизация, объявленная главным историко-культурным и географическим процессом формирования цивилизационной и этнокультурной специфики России³ и одной из важнейших заслуг нациеобразующего русского народа, ядром которого «назначались» великорусы, осуществлялась именно благодаря водным артериям. Для историко-географического объединения русских земель определяющая роль признавалась за бассейнами европейских рек – Днепра, Дона, Западной Двины, Волги. С.М. Соловьев писал: «По четырем главным речным системам Русская земля разделялась в древности на четыре главные части: первую составляла озерная область Новгородская, вторую – область Западной Двины, т.е. область Кривская, или Полоцкая, третью – область Днепра, т.е. область древней собственной Руси, четвертую – область Верхней Волги, область Ростовская»⁴. Согласно данной схеме, Верхневолжский регион (Ростовская область) стал центром складывания государственного ядра – Великой России⁵.

С.М. Соловьев, а за ним и В.О. Ключевский утверждали, что именно речные бассейны (речные системы) формируют сначала пространственные (географические) и племенные (этнографические)⁶, а позже – социально-исторические особенности различных частей русского мира. Кроме того, они детерминируют тенденции расширения ими границ и потенциального взаимодействия: «Историческое деление Русской государственной области на части обуславливается отдельными речными системами; ясно, что величина каждой части будет соответствовать величине своей речной области»⁷. Волга в этой схеме наделяется важной функцией: «...чем область Волги больше области всех других рек, тем область Московского государства должна быть больше всех остальных частей России, а естественно меньшим частям примыкать к большей, – отсюда понятно, почему и Новгородская озерная область, и Белая, и Малая Русь примкнули к Московскому государству»⁸. Таким образом, исторические перспективы северо-восточных княжеств, а позже и объединяющая роль Московского государства в сплочении восточнославянских регионов в единое целое заданы в значительной мере географическими условиями – в том числе руслом Волги.

В основе периодизации русской истории В.О. Ключевского, как известно, также лежал критерий областного «господства», напрямую связанный с «главной рекой» на разных этапах; он выделял

днепровский, верхневолжский, великорусский и всероссийский периоды русской истории⁹. Важнейшими (с точки зрения исторической и геополитической значимости) из рек Европейской России считались Волга, Дон, Днепр, Западная и Северная Двина¹⁰, а также озера Северного края. Иногда к этому перечню добавлялись еще и Волхов и Нева, но это, вероятнее всего, довольно позднее дополнение, возникшее не ранее последней четверти XVIII в.¹¹

Таким образом, природные условия – в данном случае протяженность Волги и разветвленность ее речной системы – определяют, по Соловьеву, с одной стороны, ее политическое лидерство в сфере государствообразования на русских (в широком смысле) землях, а с другой – центростремительные тенденции тяготения областей, формирующихся в бассейнах других рек Восточно-Европейской равнины, оказываются обусловлены сугубо географическими факторами. Это формирует и особенное значение Волги, которое историк приписывает ей в складывании и расцвете Московского и Российского государства, а также в процессе складывания великорусского племени (этноса). «Целая область Волги, – подчеркивал историк неоднократно, – есть преимущественно область Московского государства, и Ростовская область будет только областью Верхней Волги»¹², в связи с чем стремление московских князей к овладению территориями вдоль всего русла Волги объявляется естественной, «предзаданной» тенденцией.

Для В.О. Ключевского географический – волжский (Средняя Ока и Верхняя Волга) – фактор был важен прежде всего в этнографическом отношении, с точки зрения формирования этнического ядра великорусского племени¹³, а также в связи с его влиянием на характер политического правления в данном регионе в московский период¹⁴. Таким образом, великорусский характер Волги, ее роль главной речной артерии Московского/Российского государства и ее пространственно-географического основания, своеобразной оси, не вызывали никаких сомнений.

Русские реки в аллегорических воплощениях

Начиная с эпохи Просвещения, и особенно в период классицизма, монументальная и декоративная скульптура играет важную роль в воплощении государственно-политических идей и устремлений Российской империи. Архитекторы и скульпторы ансамблей Санкт-Петербурга и дворцовых резиденций в его окрестностях в конце XVIII – начале XIX в. активно прибегали к метафорам, призванным увековечить географические и исторические символы Российского государства. Аллегии российских рек и городов наря-

ду с аллегориями частей света и природных стихий становятся весьма популярными, хотя и не всегда точно идентифицируются – как современниками, так и потомками.

Волхов и Нева «присоединяются» к перечню великих русских рек в период формирования мифологии имперского пространства, и это «включение» никак не связано с народными представлениями, оно «предложено» «сверху». Значение этих северных рек как важных для государственно-исторического пространства – по очевидным причинам – осмысляется со строительством и укреплением Санкт-Петербурга и освоением областей к северу и востоку от него, активно интегрирующихся в новые имперские промышленные зоны, связанные с новой столицей.

В учебнике С. Плещеева Нева называется «знатнейшей судоходной рекой»¹⁵. Изваяния Невы и Волхова для каскада в Петергофе (1799–1801) были заказаны скульпторам (Ф. Щедрину и И. Прокофьеву соответственно) в 1798 г.; известна и парная скульптурная группа И. Прокофьева «Соединение рек Волхова и Невы» (1801), выполненная в терракоте, – «проба для композиции “Триумф Нептуна, по бокам его реки Нева и Волхов” для фронтона Биржи» (1807)¹⁶. «Главной рекой русской оды» в последней трети XVIII в. «была Нева», – указывает в подтверждение данного тезиса литературовед А. Петров¹⁷.

Однако и Волга в качестве одной из важнейших рек Российского государства обрела зримое воплощение. Интересна в этом отношении поздняя, неаутентичная интерпретация изваяний у подножия Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Четыре фигуры (скульпторы Ф. Тибо, Ж. Камберлен, 1810), по замыслу архитектора Ростральных колонн – Ж.-Ф. Тома де Томона, символизировали, как писал он сам, «божества моря и коммерции»¹⁸, но позже получили иную трактовку: они стали восприниматься как аллегории четырех главных русских рек – женские скульптуры представляли Волгу и Неву, мужские – Днепр и Волхов. Так говорится в фундаментальном академическом многотомнике по истории русского искусства под реакцией И.Э. Грабаря¹⁹.

У историков русского искусства во второй половине XX в. эта версия не вызывала никаких сомнений²⁰. В 1950-х – 2000-х гг., и поныне («по традиции») такая интерпретация фиксируется в путеводителях и на интернет-сайтах. Заманчиво было бы предположить, что такая «речная» символика – в отличие от задуманной «морской» аллегории – связана с позднеимперской мифологией, в которой реки играли важную роль в пространственных представлениях и репрезентациях Российского государства. Каждая из них соотносилась не с пространственными, а с временными локусами – с разными историческими этапами русской государственности: новгородского, киевского, московского и петербургского периодов, т.е.,



Скульптура у подножия южной Ростральной колонны на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге (чаще всего отождествляемая с Волгой) работы Ж.-Ф. Тома де Томона. 1810. Современная фотография

соответственно, с Волховом, Днепром, Волгой и Невой. Для Московского государства как ядра будущей Империи наиболее значимой оказалась Волга – об этом писал и В.О. Ключевский.

Однако осуществленное нами исследование²¹ показало, что данная «речная» концепция возникает только в советское время. В путеводителях и записках XIX в. данные статуи считались (как и изначально) изображениями морских божеств. Более того, у одного из них (того, чья фигура приписывалась чаще всего Волхову) в руке обнаруживали вполне определенный (ныне исчезнувший) трезубец: «...два столпа, украшенные статуями... из которых примечательнее других колоссальная фигура с трезубцем»²². У того же И.Э. Грабаря в «Истории русского искусства», вышедшей в свет в 1912 г. – за полвека до публикации цитированного выше академического многотомного издания под его редакцией, – читаем: «Колоссальные фигуры Нептуна и других богов сидят у основания колонн»²³. В путеводителе по Ленинграду 1930 г. сказано, что «скульптурные изображения колонн изображают морские божества...»²⁴.

Когда же возникает идея об аллегориях русских рек у подножия Ростральных колонн? Оказывается, в начале 1930-х гг. В изданиях

«Весь Ленинград» за 1933 и 1935 гг. в разделе описаний достопримечательностей города указано, что Ростральные колонны у здания Биржи украшены скульптурами, которые «изображают: мужские – реку Волхов, женские – реку Неву»²⁵ (пока еще без Волги и Днепра). Консультанты сайта «Мир Петербурга» указали, что чуть ранее, в изданиях «Всего Ленинграда» за 1925 и 1928 гг., скульптуры еще именовались «морскими божествами»²⁶.

Интересно, что конкретная привязка каждого из изваяний к русским рекам отсутствует и позже, когда к Неве и Волхову в информационных текстах добавляются Волга и Днепр. В различных изданиях 1940-х – 1990-х гг. нет единого мнения о том, какие именно скульптуры какую из рек символизируют. Наиболее распространена версия о том, что у подножия северной колонны сидят Днепр и Волга, у южной – Волхов и Нева. «Приметы» южной реки в этом случае – рог изобилия и цветы. Впрочем, существуют и другие, «народные» варианты отождествления, встречающиеся на страницах блогов и в популярных изданиях (южные реки – у южной колонны, северные – у северной; а также иной принцип парности). «Логическое» обоснование такого выбора просто и связано с пространственно-географическим положением рек: Волхов и Нева – северные реки, Днепр и Волга – южные²⁷. Все толкования аргументируются при помощи попыток обнаружить в скупых атрибутах аллегорий намеки на их символику.

В текстах научно-популярного характера 1970-х – 1990-х гг. гипотеза о том, что скульптуры представляют собой аллегории рек, очень распространена, хотя и не единична. Вплоть до недавнего (до 2000 гг.) времени во всех интернет-ресурсах данные аллегории отождествлялись исключительно с реками. Изменения были внесены в некоторые из них (в частности, в текст Википедии) после публикации ряда статей с переводной цитатой из работы самого Ж.-Ф. Тома де Томона – ставшей известной именно благодаря статье О. Мозговой в журнале «Наука и жизнь».

Волга в географических словарях и энциклопедиях. Параметры репрезентации и формирование клише

Словарные (научные) статьи под заголовком «Волга» в различных географических словарях и справочно-энциклопедических изданиях на протяжении XVIII и XIX вв. практически не подвергались изменениям ни в структуре и последовательности изложения, ни в способе научной репрезентации реки как географического объекта. Их задачей во второй половине XVIII – первой четверти XIX в. было дать представление и в кратком виде изложить основные данные о местоположении реки на картах Европы и России, привести этимоло-

гию названия и историю упоминаний Волги в разновременных источниках, указать цифры и факты из области гидрографии Волги и ее притоков, перечислить основные племена, обитавшие и обитающие на ее берегах. В XIX в. эта информация дополнялась характеристикой прилегающих к реке территорий Поволжья как пространства, связанного с рекой. Оно характеризовалось как обширный регион, который описывался в историческом, природно-климатическом и хозяйственном отношении. Но главная цель оставалась научной: осуществить максимально подробное гидрографическое описание реки – ее русла, течения, параметров на отдельных участках, особенностей судоходства и грузоперевозок.

В первых российских географических словарях можно найти лишь самые общие и лаконичные сведения о Волге. В «Лексиконе» В.Н. Татищева (составлен в 1745–1750 гг., опубликован в 1793 г.²⁸) при изложении истории происхождения гидронима указывались прежние названия Волги – на языках народов, населявших ее берега. И имя Ра, и считавшиеся арабскими или татарскими наименования Идель, Ададь и Едель, переводились и Татищевым, и его последователями как «изобилие», «приволье» и «щедрость» (вариант – «милостивая») ²⁹. В учебнике Х.А. Чеботарева читаем: это «звание реке весьма прилично: ибо едва ли можно сыскать другую подобающую ей реку, которая бы в изобилии всякого рода наилучшей рыбы и к житию способных... плодородных стран могла бы с нею сравниться» ³⁰, но и это высказывание также является слегка отредактированным текстом из татищевского «Лексикона». Интересно, что данный фрагмент без изменений помещался в научные, учебные и популярные описания Волги, составленные во второй половине XIX в. ³¹

В словарях Екатерининской эпохи Волга упоминается как «одна из самых больших и знатнейших рек в свете» ³², которая «не токмо в России, но и во всей Европе за великую и знатную реку почитается» ³³; приводятся наименования, данные ей народами в древности (Ра и др. ³⁴), – но все эти сведения также заимствованы из статьи «Волга», помещенной в «Лексиконе» В.Н. Татищева ³⁵. Однако ничего не говорится о Волге как о главной российской реке или реке именно русской (великорусской).

В.Н. Татищев (и вслед за ним другие авторы XVIII в.) приписывал возникновение гидронима «Волга» языку сарматов, на котором, по его мнению, слово означало «судовая» или «ходовая» ³⁶. Автор статьи в Словаре Плюшара И.Ф. Штукенбург появление нового названия Ра вместо Итиль/Адель относил к Средним векам, когда новые народы сменили прежние племена на ее берегах. Третье, «новейшее название» реки – Волга – вызывает в XIX в. споры. Поскольку в Азии она, как утверждалось, оставалась под прежним наименованием – Итиль (букв. «река»), то наиболее точной представлялась версия О.И. Сенковского, утверждавшего, что в языке финно-угорских наро-

дов наиболее часто используемое прилагательное к существительному «река» – это слово «святая», которое в языке финских народов и было «волга», однако под влиянием обрусения и христианизации «забылось». Этим самым автор «примирил» оба названия в едином сочетании «Волга-Итиль» – т.е. «Святая река»³⁷. Гипотеза о славянском происхождении названия была известна автору Словаря Плюшара, но он категорически отвергал ее («...производство от слова “влага” не может выдержать критики»³⁸). Версия О.И. Сенковского приводится как не утратившая своей актуальности и в конце столетия, в статье Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона³⁹. Таким образом, в XIX в. гипотеза о финно-угорском происхождении слова «волга», означающего, как считалось, «святая», полностью возобладала.

Большую по сравнению с предыдущим периодом степень детализации, связанную прежде всего с гидрографическими исследованиями русла Волги, демонстрируют энциклопедические издания второй половины XIX столетия. Укажем наиболее значимые из них: и в упомянутом Лексиконе под редакцией А.А. Плюшара⁴⁰, и в Географическо-статистическом словаре Российской империи⁴¹, и в Энциклопедическом словаре И.Н. Березина⁴², и в словарях под редакцией А. Старчевского и Ф. Толля⁴³, и, конечно же, в многотомном издании Брокгауза и Ефрона⁴⁴ – везде Волга представлена последовательно в географо-этнографическом, гидрографическом, экономико-хозяйственном аспектах. Явным и значимым акцентом в ее характеристике можно считать сведения о «громадности» («царица рек русских»⁴⁵), о масштабах речной системы: она описывается через конкретные цифровые данные о ее физической протяженности и глубине, о графике навигации, об объемах судоходства и торговых оборотов, о земледелии, кустарно-промысловой и промышленной деятельности населения ее берегов. Волга как водная артерия, таким образом, рассматривается в качестве отдельного элемента пространства, как своеобразная геоклиматическая и экономическая область территории России/Российского государства.

Историко-этнографическое описание в этих статьях явно уступает и по объему, и по значимости очерку ее современного состояния. В нем Волга выступает как историко-географический «памятник», а изменение названия реки в языках разных народов дает возможность изложить события древнего периода («...она видела, как знаменитые племена исчезали на берегах ее и заменялись новыми»⁴⁶) и процесс включения приволжских земель в состав Российского государства.

Символическая роль и значение Волги в русской культуре и русском самосознании упоминается весьма лаконично только в последнем издании – в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. В ней статья «Волга» также разделена на две неравные части. Первая дает гидрографический очерк с подробностями навигации, судоход-

ства и грузооборота (29 страниц), и две с половиной страницы занимает следующая статья – «Волга. Историческая этнография»⁴⁷, в которой излагаются уже известные этимологические версии, а также указаны основные этапы заселения Поволжья и дан очерк истории древних и современных племен. Важно подчеркнуть, что Волга именуется главной рекой как основного исторического и пространственного ядра Восточной России, в конце столетия соотносимого с Центрально-промышленным регионом («Главной водной артерией края является река Волга со всеми своими притоками»⁴⁸), так и России в целом.

При описании развития экономической жизни в регионе акцент сделан на исторической, этнографической, конфессиональной неоднородности различных частей Поволжья, в разное время и разными путями интегрировавшихся в состав Российского государства. Волге в этом контексте приписывается объединяющая роль: «...соединяя многие части государства, весьма различные по своей природе и промышленности, Волга доставляет им широкие средства к обмену своих произведений, отправлению избытков в другие страны... Она дает возможность происходить огромному торговому движению, доставляющему средства к существованию многих миллионов жителей»⁴⁹. Упоминаются наименования Волги в народном сознании: «Эта великая река, по справедливости называемая русским народом “матушкой-кормилицей”, составляет самую жизненную артерию Русского государства, в истории образования и развития которого она имела весьма важное значение»⁵⁰. Таким образом, в основных научно-энциклопедических изданиях 1840-х – 1900-х гг. Волга представлена главным образом в позитивистско-информационном ключе, с явным акцентом на географо-статистическом описании – как одна из крупнейших рек Восточной Европы и европейской части Империи. В последней трети столетия значимость Волги как водной артерии подчеркивается многочисленными таблицами, обилием фактических данных и сведениями из области хозяйственно-экономической статистики. Выделяемое племенное и конфессиональное разнообразие населения девяти поволжских губерний и еще «трех тяготеющих к ним» явно вторично по отношению к этим данным. О культурно-символической роли реки в истории и самосознании русских свидетельствуют лишь приводимые наименования Волги «матушкой» и «царицей рек».

Административное деление Поволжья

Во всех очерках, книгах, путеводителях подчеркивалось, что не только Волга, но и сам Волжский регион – один из наиболее обширных в европейской части Российской империи: в него входит девять губерний с населением более 15 млн человек⁵¹ (население

всего государства по переписи 1897 г. – 128,2 млн. человек⁵²). Четыре из них – так называемые верховые: Тверская, Ярославская, Костромская, Нижегородская) – именовались великорусскими, совпадая с великорусским территориальным и этническим ядром России. Пять (Казанская Симбирская, Саратовская, Самарская и Астраханская) располагаются на ее берегах, а еще 12 «принадлежат к ее речной области»⁵³. Значимость Волги подчеркивалась и численным составом населения: во всем бассейне Волги с 270 притоками (т.е. на территории 12 губерний) проживало 40,34 млн. человек⁵⁴. (т.е. около трети подданных Империи). Эта информация содержится практически во всех описаниях Волги и Поволжья – как научных, так и популярных. «Громадность» Волги с ее притоками и обширность прилегающих к ней пространств, образ жизни их обитателей, положение которых определяется рекой и зависит от нее, подчеркиваются также повсеместно. Из часто упоминаемых цифр – протяженность Волги (по разным источникам – 3 тыс. верст⁵⁵, или 3478, или 3512⁵⁶, или 3490 верст⁵⁷) и количество городов (38⁵⁸ или 39⁵⁹, из которых девять – губернские, остальные – уездные), сел и местечек (1000)⁶⁰.

Для более ясного выражения пространственной протяженности и экономической значимости волжского речного пути приводится выразительное сопоставление: «Волжский бассейн включает в себе пространство... превосходящее в три раза поверхность Германской империи, и составляет почти третью часть всей Европейской России»⁶¹; также часто осуществляется сравнение с другими великими реками Европы, как правило с Рейном.

В административно-географическом отношении Волжский регион не выделялся как отдельный и самостоятельный элемент пространства Российской империи или ее европейской части. Губернско-областное деление государства в первой половине XIX столетия этого не предполагало. Однако в ходе формирования нового географо-экономического структурирования Империи, учитывавшего ландшафтный и историко-этнографический факторы, начиная с 1870-х гг. ситуация меняется. Волжские территории (Верхняя Волга) включались в центральный в политическом, экономическом и историческом отношении регион, в Великороссию, – т.е. входили в ее этническое и историческое ядро, поэтому всегда упоминается роль Поволжья в расширении и укреплении российской государственности московского периода. И в этом отношении она непременно соотносится с великороссийским средним ареалом. «Волга с ее притоками охватывает всю настоящую Россию, бывшее Московское государство»⁶², – пишет А.П. Субботин, понимая под «настоящей Россией» Великороссию. «Большинство губерний, совпадающих с великорусским этногеографическим ядром», «расположены по Волге и по ее левым и правым притокам»⁶³, – указывает автор учебника

по отечествоведению. Другие земли Поволжья, которые вошли в состав Российского государства позже и позже были освоены, не относились к промышленно развитым районам Империи, но входили в зону интенсивного земледелия и играли важную роль во внутренней и внешней торговле (Среднее и Нижнее Поволжье).

Географическо-статистические описания Российской империи в 1870-х – 1900-х гг. строились по промышленно-ландшафтному принципу, поэтому очерки о Волге и территориях, тяготеющих к ее бассейну, могли включаться в разные единицы этих «пространств» (так именовались единицы этого деления) – в зависимости от способа членения территории и избранного редакторами метода изложения (ландшафтный или административный критерий). Так, в «Полном географическом описании» рубежа столетий Волжский регион рассматривался в двух разных томах⁶⁴: Верхнее Поволжье описано в первом томе о Московской промышленной области, а Среднее и Нижнее вместе с Заволжьем – в шестом. Главный редактор издания В.П. Семенов указывал, что «могучая Волга» объединяет все земли своих берегов в «одно органическое целое»⁶⁵. На волжских берегах ниже Нижнего Новгорода исторически выделяются «два сопряженных центра, подобно двум фокусам в эллипсе, без которого область не могла бы развиваться в сколько-нибудь самостоятельную»⁶⁶. Эти центры сформировались еще в I тысячелетии н.э. (именно в этих пунктах некогда возникли Хазарский каганат и Булгарское царство), на протяжении веков находясь в состоянии определенного сотрудничества/соперничества: на месте впадения Камы в Волгу и при впадении Волги в море. Эти два волжских узла определили формирование двух природно-исторических регионов и ландшафтных зон Среднего и Нижнего Поволжья, особенности которых заданы руслом Волги.

В «Географии» Н.И. Зуева поволжские губернии включены в различные «пространства» (которых он в европейской части России насчитывает десять), критерием выделения является уровень экономического развития и ареал речных бассейнов: Ярославскую, Костромскую, Нижегородскую и Казанскую губернии автор относит к «пространству мануфактурной промышленности» (центральному в Европейской России), а Симбирскую, Саратовскую и Самарскую – к «черноземному, или пахотному». Астраханскую Зуев помещает в «степное пространство»⁶⁷.

Главной особенностью описания территорий по берегам Волги во второй половине XIX в. становится ее трехчленное деление. Исследователи уже обращались к вопросу о самостоятельной «системе координат», которые задавались Волгой как огромным регионом⁶⁸ и своеобразным центром притяжения. Его функционирование было связано не только собственно с руслом реки, но и со всей речной системой. Л.Е. Горизонтов справедливо отмечает «некоторую непоследовательность»⁶⁹

в зонировании Поволжья, которая в конечном итоге завершилась признанием в последней четверти XIX в. трехчленного деления региона на Верхнее, Среднее и Нижнее, соотносящееся, хотя и не совпадающее с гидрографическим разделением русла Волги на три части. Но если крайние наиболее крупные пункты Поволжья были неизменны (Тверь и Астрахань), то границы Среднего Поволжья значительно варьировались, хотя следует отметить, что Верхнее Поволжье – как область, давно и типично русская, обыкновенно включала в себя Нижний Новгород. В одном из учебников 1867 г. Нижний является границей русского племени и «Татарского царства» (в переносном смысле слова, в значении «зёмли»): «Даже и теперь здесь кончается чисто великорусское население и начинается смесь финских и татарских племен с русским. Все эти причины содействовали тому, что пункт обмена европейских и азиатских товаров, долго колебавшийся, утвердился окончательно при слиянии Оки с Волгою»⁷⁰.

Процесс регионального членения Волги и ее берегов стал актуальным только в 1840-х гг., в связи с развитием проектов экономико-географического районирования и разработкой концепции ландшафта⁷¹. Ранее, в XVIII – первой трети XIX в., указывался лишь приблизительно срединный пункт русла, определяемый общим расстоянием от истока до устья и традиционным народным разделением течения рек на верховья и низовья (а населенных пунктов на них – на верховые и низовые⁷²). Например, в географическом словаре 1788 г. точкой «половины течения» Волги указывался Симбирск⁷³, в первой трети XIX в. ею мог стать Саратов или Казань, а в 1867 г. критерием разделения стало хозяйственно-экономическое зонирование, соотношенное с гидрографическими объектами: «Волга может быть разделена на три части: верхнее течение, омывающее страну мануфактурно-промышленную, до устья реки Оки. Среднее, омывающее страну земледельческую, до общего Сырта, т.е. до устья реки Сарпы; и, наконец, нижнее, протекающее по степям, удобным только для скотоводства»⁷⁴.

Критерий принадлежности городов Поволжья к верховым и низовым в народных представлениях (зафиксированных В.И. Далем) также был весьма неопределенным. «Спорной территорией», однако, оказался не конкретный населенный пункт, выступавший границей, а все пространство от Самары до Симбирска, так как города выше Самары по течению Волги именовались верховыми, а те, что ниже Симбирска, – низовыми⁷⁵. В 1870-х гг. Верхневолжский регион (и его южная граница – Нижний Новгород) мог объявляться знаменующим природное и экономическое соединение Европы и Азии: «... подобно тому как бассейн Финского залива есть страна, важная для русско-европейской торговли, так верхнее течение Волги – для русско-азиатской. Страна в верхнем течении Волги составляет переход от лесной, северной полосы, к хлебородной и степной-южной...»⁷⁶.

Двухчастное деление Поволжья демонстрирует и объединение в губернские группы, предпринятое в структурировании пространства Империи в Военно-статистическом обозрении (1837–1854): Тверская, Ярославская, Костромская и Нижегородская губернии именовались в нем «Верховыми приволжскими», а Казанская, Симбирская, Самарская, Саратовская и Астраханская включались в состав «Низовых приволжских губерний»⁷⁷. К концу столетия происходит некоторый сдвиг на одну губернию на юг в обозначении Верхнего и Нижнего Поволжья – в переписи 1897 г. «по землям» в состав Верхневолжской земли входят Ярославская, Костромская, Нижегородская и Казанская губернии (Тверскую относят к группе губерний Подмосковной земли), а Нижневолжской землей именуют Симбирскую, Самарскую, Саратовскую и Астраханскую губернии⁷⁸. Казань оказывается отнесена к Верхневолжью.

Но представление о низовьях менялось со временем не только в имперском членении пространства, но и в народных представлениях. Нижний Новгород некогда («в древности», «в летописи» – «Новгород-низовые земли», как указывается в словарях) считался относящимся к «низовским землям»⁷⁹. Однако «ныне и Нижегородская губерния причисляется к верховым, а низовые, по понятию народа, начинаются от Казани»⁸⁰. Автор статьи в Словаре А. Старчевского писал, что верхними называются также пристани, находящиеся между истоками Волги и Рыбинском, низовыми – между Рыбинском и Каспийским морем⁸¹, – т.е. срединная точка оказывалась очень «высоко» по течению. Автор самого известного путеводителя по Волге С. Монастырский вносит еще более существенную путаницу. Он утверждает, что именно «за Саратовом начинается тот плес, который носит название Низовья»⁸². Он не уточняет, однако, что «плесом» на языке «судовщиков» именовали глубокие участки русла реки, «часть от одного поворота до другого или между двумя пунктами»⁸³, и таких плесов выделялось, как правило, четыре: «Тверское плесо тянется от Твери до Рыбинска, рыбинское... до Нижнего, нижегородское... до устья Камы и низовое плесо – от устья Камы до Астрахани»⁸⁴. Даже с учетом такого «профессионального» значения слова «плес», описывающего изгибы реки (но не разделение ее прибрежного пространства!), не совсем ясно, почему С. Монастырский далее пишет, что Низовая Волга начинается от Царицына⁸⁵.

Думается, что корни противоречий отчасти следует искать в различии между народными названиями, о которых авторы узнавали во время общения с капитанами или крестьянами на палубах пароходов (при этом мало кто из них использовал данные определения в отношении самого русла реки и в отношении приволжских земель), и принятым в географической науке разделением Поволжья на три части. Последнее, впрочем, тоже не было четким. Когда речь шла

о течении Волги, границами указывались гидрографические объекты (как правило, места впадения рек). Они не соотносились или не всегда точно соотносились с населенными пунктами прибрежной зоны⁸⁶, что и порождало несоответствие.

Но даже в 1860-х гг. границы трех субрегионов Поволжья еще не были точно зафиксированы. В самом известном путеводителе по Волге 1862 г. говорилось, что «течение Волги разделяется на три части: верхнее – от истоков до впадения Оки, среднее – от Оки до впадения Сарпы (в 30 км от Царицына. – *М.Л.*), нижнее – от Сарпы до Каспийского моря»⁸⁷ (то же – в очерке 1866 г.⁸⁸). Верхней точкой (началом) Нижнего Поволжья часто считали Казань⁸⁹. Разделение на три части могло аргументироваться не только сугубо речными или климатическими зонами, но и представлениями о благодатности регионов в отношении ресурсов: Волга протекает «первоначально по стране малопродуктивной, но населенной деятельным народом, а потом по “житнице и по саду России”... а потом по песчаной и солончаковой степи, служащей началом степей азиатских»⁹⁰. «Низовая сторона», в свою очередь, делилась на нагорную (высокую) и низовую (по левому берегу Волги) части⁹¹.

Широкое распространение имел и топоним «Заволжье», также не имевший строго установленных географических границ. В описании Верхневолжского региона в «Живописной России» содержались два очерка о Заволжье – «лесном» и «Тверском и Ярославском»⁹². Верховное Заволжье, будучи связанным с пространством и историей формирования российской государственности и признаваясь центром складывания великорусского этноса, рассматривалось в географических очерках в тесной связи с центральным регионом, Великороссией. И в этом отношении ее описание составляло значительный контраст с характеристикой не только Среднего и Нижнего Поволжья, но и Верхнего в целом, выступая как самое его сердце: там – «старая... Русь, исконная, кондовая. С той поры как зачиналась земля Русская, там чуждых насельников не бывало. Там Русь с истари на чистоте стоит»⁹³. Верхнее и Нижнее Поволжье описывалось в привязке к разным областям, что нашло отражение в структуре многотомных учебных хрестоматий по географии – например, Поволжье и Заволжье в очерках А. Сергеева рассматривались в разных томах⁹⁴, в хрестоматии Д. Тимковского они включены в состав выпуска о Поволжье и Зауралье, а также в описании юга России (очерк «По Нижней Волге»)⁹⁵.

Другое Заволжье находилось в Саратовской губернии, «по левую или луговую сторону лежит обширная долина – Заволжье или Заволжский край»⁹⁶, или: «То, что лежит за Волгой, на юг от реки Самары вплоть до Каспия»⁹⁷. Противоречие разрешается автором статьи в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, который

приводит общий смысл слова «Заволжье»: «...обозначение некоторых местностей левого берега Волги жителями правого берега. Особенно употребительно в южной части Нижегородской губернии для обозначения лесной стороны Нижегородского и отчасти Костромского Заволжья, в Симбирской и Саратовской губерниях – для обозначения степей левого берега»⁹⁸.

В одном из наиболее авторитетных и масштабных описаний Волги второй половины XIX в. – В. Рагозина – аргументация трехчастного разделения Волги связана прежде всего с гидрографией – изучением течения, полноты, русла и речной системы в целом. Рагозин был убежден, что такое деление должно быть осуществлено по сугубо географическим основаниям, которые продиктованы научными определениями верховьев, низовьев и среднего течения любой реки. Верхнее имеет «характер начального течения, быстрого, порожистого и нередко внезапно прерываемого»⁹⁹. Среднее отличается «местность более ровная, хотя еще и не низменная», где река принимает главные свои притоки и имеет сильное течение, но гораздо более спокойное, нежели верхнее¹⁰⁰. Наконец, нижнее течение, или Низовье, – это когда река «вступает в низменность с очень слабым наклоном, обуславливающим слабое и медленное течение», когда она «заметно расширяется в своем стремлении»¹⁰¹. Все эти особенности течения Рагозин указывает как общие, подчеркивая, что Волга имеет такие отличия, которые «исключают возможность полного применения к ней... объясненных терминов»¹⁰². Несмотря на это, автор выделяет все три части Волги, «отчасти в научном, а отчасти в обыденном значении», принимая за верхнее течение «начало, верх» ее протяжения. Границей он обозначает место слияния Оки с Волгой, после чего река «принимает иной характер и до Царицына представляет среднее течение», за которым следует «новое изменение в характере течения... дающее право назвать его нижним в научном смысле этого слова»¹⁰³. Таким образом, в соответствии с научными критериями Рагозина в переводе в иную – территориальную систему координат городами-границами Верхнего и Среднего Поволжья оказывается Нижний Новгород, Среднего и Нижнего – Царицын, а не Казань и не Саратов.

Однако наименования каждого из трех томов описания Волги даны самим Рагозиным не в полном соответствии с этим принципом деления: «От истока Волги до слияния с Окой» (т. 1), «Волга от Оки до Камы, включая оба этих притока» (т. 2) и «Низовья Волги» (т. 3). Низовья Волги в такой последовательности изложения оказываются соотнесены также и с частью Средней Волги (отрезок от устья Камы до Царицына).

Ранее предлагалось и четырехчастное деление Волги, сохранявшее, однако, стандартное членение на верхнее–среднее–нижнее, в

котором Царицын обозначался границей Среднего и Нижнего Поволжья: «...верхнее – от истока до Рыбинска или до устья Шексны, первое среднее от Рыбинска до устья Камы, второе среднее – от устья Камы до Царицына и нижнее – от Царицына до устья»¹⁰⁴. Еще по одному критерию – возможностям судоходства и пароходства – река могла быть разделена и на пять частей: от истока до устья Тверцы, от устья Тверцы до устья Шексны, от Рыбинска до устья Оки (Нижний), от устья Оки до устья Камы (село Богородское за Казанью) и, наконец, от устья Камы до Каспийского моря¹⁰⁵, – притом оно также не совпадало с «плесовым» разделением «судовщиков», о котором упоминалось выше. Таким образом, отрезок от устья Камы до Царицына – главный «претендент» на линию разделения Среднего и Нижнего Поволжья.

Иногда для обозначения каждого из привычных трех элементов мог использоваться и иной принцип: определение его центра, а не границ. Так, например, в очерках В.М. Сидорова крупные поволжские города получают именованья «столиц» в различных значениях слова: Нижний Новгород – «столица северного Поволжья, город величайшей в Европе ярмарки»¹⁰⁶; Казань – «прекрасный городок со столичной жизнью»¹⁰⁷; Саратов – «народная столица Поволжья, молодой город, волжский красавец»¹⁰⁸; Астрахань – «столица татар»¹⁰⁹.

Волга между Европой и Азией. Граница или связующее звено?

И в первой трети, и даже в самом конце XIX столетия, с принятием трехчленного (хотя и спорного относительно границы Среднего и Нижнего Поволжья) деления, народное двухчастное не утратило актуальности, но приобрело иной, символический характер, связанный с цивилизационно-исторической классификацией пространств, народов и культур (подробнее об этом в главе четвертой). Они оказывали влияние и на научные (исторические, этнографические и антропологические) таксономические системы. Речь идет о понимании значений оппозиций цивилизованный/дикий, европейский/азиатский, западный–северный/южный–восточный, просвещенный/варварский, восходящих еще к эпохе Просвещения и находящихся в соотношении друг с другом¹¹⁰. Пространство Поволжья разделялось на цивилизованную (как правило, она совпадала или соотносилась с русской в историческом или этнографическом отношениях) и нецивилизованную части. В этом случае вполне естественной границей «двух миров» и «двух культур» также могли оказаться разные города. Для автора, писавшего в 1840-х гг., Саратов расположен «почти в центре России» (не Империи, а Европейской России), «на берегу Волги,

которая соединяет с севером и югом, с Москвою и Петербургом, Архангельском и Астраханью, посредством Камы глубоко углубляется в Сибирь». И, находясь в центре, он парадоксальным образом «поставлен на краю *просвещенной* (выделено мной. – М.Л.) России»¹¹¹. Конечно, объяснением географической нестыковки (особенно если вспомнить, что всего лишь за десять лет до этого Саратов в известном произведении именовался «глушью») служит слово «просвещенной». Но чаще всего в качестве такого «пограничного» пункта «на краю просвещения», между Европой и Азией, культурой и варварством, мыслилась Казань: «Казань – этот умственный центр Поволжья... городок, сидящий в самой середине Волги, на перекрестке громадных путей, торговых дорог, судоходных рек»¹¹².

Европа и Азия

Принципиально важные для интерпретации своего «места» на карте цивилизации и культуры представления о содержании понятий, выходящих за рамки чисто географических обозначений, таких как «Европа» (Западная, Центральная и Восточная) и «Азия», разумеется, также имели определяющее значение в описании «своих» и «чужих». В русской культуре особенно ярко это проявилось в исторических трудах и идеологических спорах XIX в.¹¹³ Выделим основные тенденции.

В российской политике и науке начиная с XVIII в. Российское государство принято было однозначно относить к европейским державам (с констатации «Россия есть держава Европейская» начинается «Наказ» Екатерины II¹¹⁴), хотя географически оно само разделялось на Европу и Азию. Рубежом, однако, считались не Уральские и Кавказские горы (как это было принято считать с 1740-х гг.¹¹⁵), а другие естественные и непременно цивилизационные границы. Одной из них стали низовья Волги (Волга от впадения Камы до Каспийского моря). В «Землеописании» 1795 г. в состав Северной Азии включались «Азиатский Капчак» (Казанская, Астраханская, Оренбургская области) и Сибирь, в состав Средней Азии – «Кавказский перешеек» (между Черным и Каспийским морями, состоящий из пяти областей), «Азиатская Татария», «область Амурская», Мунгалия¹¹⁶. Астрахань и Казань однозначно трактовались как самые близкие азиатские пределы Империи¹¹⁷. В «Географии» И. Павловского (1843) земли Азиатской России включали Кавказский край и Сибирь, границами Европейской России выступали Уральские горы с востока, Каспийское море, Кавказский край и Черное море – с юга¹¹⁸.

«Собственно Россия», «Европейская Россия» и «Восточная Европа» отождествлялись¹¹⁹. В следующем веке в отношении к географической Европе убежденность в принадлежности Российской

империи к Европе и в географическом, и в политическом, и в цивилизационном отношении не подвергалась сомнению. Россия в узком смысле виделась восточной ее частью, а под западной понималась «вся Европа к западу от нашей границы, за исключением Балканского полуострова»¹²⁰. Однако ученые сами разделяли научные географические классификации частей света и представления об исторических регионах. С.М. Соловьев, например, считал важным историко-этнографическим признаком разделения Восточной и Западной Европы те геоклиматические условия, которые обрели со временем цивилизационное значение: западная, каменная Европа и восточная, деревянная с противоположностью «двух форм», обусловивших борьбу двух типов культуры – леса и степи¹²¹ как запада и востока внутреннего пространства России.

В статье Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона описание Западной и Восточной Европы «в историческом отношении» начинается с «первой половины Средних веков» (IV в. н.э.), когда разделение на Восток и Запад связано было с границей между римским (или романизированным) и греческим «мирами». Оно впоследствии закрепилось распадом христианской церкви на западную и восточную: «Разделение Европы на эллинскую и латинскую перешло в разделение ее на греко-славянский и романо-германский миры»¹²². Констатируется, что Западная Европа «опередила» Восточную «на пути исторического развития». Политические границы также оказывают влияние на трактовку Западной и Восточной Европы как историко-культурных областей. Наиболее ярким примером может служить отнесение польских земель России (Царства Польского) к «западным» и «европейским» в отношении цивилизации, религии и просвещения¹²³, что не мешало, однако, их формальному включению в Восточную Европу вместе с политической Россией – после разделов граница Восточной и Западной Европы передвигается и совпадает с западными пределами Российской империи.

В отношении народов самого Российского государства классификация европейские/азиатские в народоописаниях определяла не столько локализацию этносов, сколько их происхождение – т.е. расовую (антропологическую) принадлежность этнической группы, а также культурно-цивилизационную ориентацию. В исторических и публицистических сочинениях это подразумевало, как правило, оппозицию цивилизация/дикость. Именно этим объясняется понимание взаимосвязи концептов «Восток» и «Азия» с расизмом¹²⁴. Азиатскими народами часто именовали инородцев тюркского происхождения и представителей племен, ведущих кочевой образ жизни. В эпоху Просвещения не было сомнений, что «финны... суть азиатцы, переселившиеся в древние, невежеством помраченные времена из восточных своих стран в занимаемые ими теперь на Западе

земли...», но и «теперь... они сообразны по своему происхождению, нраву и языку многим европейским и азиатским народам»¹²⁵. С уверенностью можно говорить лишь о том, что ни романо-германские, ни славянские народы к «азиатцам» не относились.

А.Н. Пыпин писал, что «инстинкт цивилизации, который был свойственен русскому народу как европейскому, а не азиатскому... с конца XVII и начала XVIII века нашел себе прочную опору в европейской науке»¹²⁶. Е.Ф. Шмурло, анализируя проблему отношения «запада» и «востока» в русской истории, расценивает их исключительно как противостояние двух полюсов, вторя, как и М.П. Погодин, Р. Кипплингу: «Кроме истории собственно европейской, которую она (Россия. – М.Л.) создавала, развивала, культивировала, у нас была еще одна история, азиатская, вынужденная, навязанная, неотвязчивая. Обе шли параллельно одна с другой, обе самостоятельные, враждебные, никогда непримиримые. Европа – символ культуры, развития, движения. Азия – это застой и варварство. Вместе им никогда не ужиться»¹²⁷. «Вынужденное азиатство» России историк трактовал как негативное обстоятельство прежде всего русской истории и этнографии, а не географии; он считал русский народ европейским.

В статье об Азии этнографическому составу ее населения уделено значительное место, и все оно делится на два крупных «племена»: «среднеазиатское» и «высокоазиатское (монгольское)»¹²⁸. Более дробная классификация осуществлена по языкам. К первой группе относятся «арктические жители», ко второй – самоеды и «алтайцы»: тунгусы, монголы (монголы, буряты, калмыки), тюрки (якуты, восточные тюрки, волжские татары и турки-османы). Как видим, финские народы в список собственно азиатских народов не попали – потому что Азия в данной словарной статье рассмотрена прежде всего как географическое пространство (часть света). Однако и в этой статье содержится описание Азии с цивилизационной точки зрения: «В культурном отношении цивилизованные народы Азии превосходят своей численностью народы дикие и кочующие, хотя к азиатской цивилизации отнюдь нельзя примерить европейскую мерку... Принцип косности, жизнь по простоте души и чувственности вообще преобладают в азиатской образованности»¹²⁹. Далее следует характеристика некоторых свойственных народам Азии черт нрава – и в частности фатализм¹³⁰.

Несмотря на уже упоминавшиеся совмещения понятий «Восток» и «Азия», с одной стороны, и «Запад» и «Европа» с другой, они никогда полностью не отождествлялись, так как к Азии могли отнести и некоторые южные страны и народы, а в образе Европы актуализировались типологии разной природы и разного времени. «Дихотомия Востока и Запада в русской культуре, – писал Ю.М. Лотман, – то расширяется до пределов самой широкой географии, то сужается до субъективной позиции отдельного человека»¹³¹.

С развитием российского востоковедения и активизацией изучения стран Азии восприятие Востока или Азии изменяет существовавшие стереотипы цивилизационного превосходства в связи с отнесением русских к европейской культуре и просвещенным земледельческим народам (см. четвертую главу), однако в последней трети столетия интеллектуальная ситуация, как убедительно показала В. Тольц, менялась¹³². Это, впрочем, довольно незначительно сказалось на научно-популярном дискурсе о Волге как соединении двух миров, в котором доминировали прежние клише и взгляды.

Точки Азии на Волге

Казань с момента своего присоединения представляла собой, по выражению Р.П. Джераси, «окно на Восток»¹³³; во времена царствования Екатерины II активно разрабатывалась концепция освоения восточных земель и народов, образцом которых служила именно Казань¹³⁴. Л.Е. Горизонтов приводит примеры описания Казани первой половины XIX в. как «европейско-азиатского» города, образца цивилизационного и этнокультурного восточного пограничья¹³⁵. В частности, исследователь разбирает один довольно характерный, хотя и не декларированный в качестве полемики спор между А.И. Герценом и Д.В. Пассеком, развернувшийся на страницах третьего выпуска «Очерков России» В.В. Пассека¹³⁶. А.И. Герцен в опубликованном под инициалами «Письме из провинции» подчеркивал именно «двуначалие» «европейско-азиатского города» в облике Казани; брат издателя – Д.В. Пассек – был убежден, что соединение европейского и азиатского в Казани лишь номинально – оно «механическое», и безапелляционно заявлял, что «русское первенствует и составляет основу и силу всего общества», а «азиатство не проникает в жизнь общества»¹³⁷ Казани. Для него европейская цивилизация простиралась везде, где были русские, – за Уральскими горами и вплоть до «Байкальского моря». Герценовское «Письмо из провинции» написано, как известно, по впечатлениям и записям трехдневного пребывания в Казани в 1835 г.¹³⁸ Насколько близко был знаком с волжским городом Д.В. Пассек, неизвестно. В путеводителях, описаниях путешествия по Волге и характеристиках ее городов Казань занимает особое место. И именно она, вопреки мнению Д.В. Пассека, становилась главным пунктом рассуждений об этом городе как мосте, границе между Европой и Азией, – в отличие, скажем, от Астрахани того же времени, описание которой почти без исключений выдержано в русле восточной экзотики, а эпитеты выдают концентрация и символику «азиатского духа».

В «Казанских губернских ведомостях» (1852) акцентировалась именно двойственность, «двуначалие» Казани, принадлежащей

двум мирам, но являющейся русским (в значении «российский») городом: «Поставленная на рубеже двух противоположных миров, восточного и западного, из которых слагается человеческое развитие, она удержала во внутренней и внешней жизни своей элементы обоих их: резкая физиономия азиата встречается рядом со славянским обликом; учение Корана идет наряду с христианско-европейским развитием... Все это дает особенный, своеобразный характер Казани и выставляет его из ряда других *русских* (выделено мной. – М.Л.) городов»¹³⁹. Констатируя приметы иной культуры, описатели города, однако, используют определения «полуазиатский» и «полу-восточный», подчеркивая тем самым принадлежность его и к европейскому (русскому) миру; такой взгляд можно считать стереотипным для путевых очерков и географических хрестоматий второй половины столетия. Например: «Славный город Казань, сохранивший до наших дней свою полувосточную физиономию рядом с блеском прекрасного современного города... на рубеже Европы и Азии, полная когда-то восточного блеска... мусульманского фанатизма, заклятый враг Москвы...»¹⁴⁰

В географических очерках и путеводителях этого времени Казань, которую наделяют статусом истинной столицы Поволжья, оказывается не только симбиозом, пограничьем двух цивилизаций (несмотря на устойчивые приметы Востока и магометанства в своем облике), но и осмысливается как сакральный и государственный символ ниспровержения иного, враждебного и полярного русским и русскому государству мира, победы над ним. При этом Россия изображается не только победительницей своего заклятого и многовекового противника-поработителя, жестокого и коварного варвара. Ей приписывается роль защитницы европейской культуры и христианства в масштабе всей Европы, исполнившей религиозно-просветительную миссию в отношении другой мировой религии: «Под Казанью христианская Европа столкнулась с магометанской Азией столкнулась и победила ее. Под стенами столицы татарского царства был положен конец торжеству мусульманской луны над крестом»¹⁴¹. Не только ислам, но и язычество оказалось низвергнуто: «С Днепра христианство... перешло на Волгу, победило язычество, восторжествовало над магометанством»¹⁴².

Казань однозначно претендовала на статус столицы цивилизационного пограничья начиная с 1870-х гг., но несколько ранее аналогичную роль могли приписывать и Саратову (1835): «Он... пользуется особыми выгодами образования и варварства; ибо, окруженный трудолюбивыми немецкими колонистами, он примыкает к кочующим ордам киргизов за Волгою и калмыков около Царицына»¹⁴³, и даже Нижнему Новгороду – в связи с его знаменитой ярмаркой: «Ныне Нижний Новгород есть посредник между Востоком и Россией»¹⁴⁴ (1866).

Если положение Казани как пограничного пункта двух цивилизаций мало кто мог оспорить, то на определение «полувосточного» города, олицетворявшего Россию как соединяющую Восток с Западом, Европу с Азией в границах единого государства, был еще один «претендент»: это Астрахань. Писал об этом и А.Н. Пыпин: «Уже с Казани путешественник встречается лицом к лицу с Востоком; на Нижней Волге, в Астрахани, восточный элемент уже резко бросается в глаза»¹⁴⁵. Н.И. Боголюбов и В.М. Сидоров описывают облик Астрахани – так же как и Казани, как «полуевропейский и полуазиатский», как «странную смесь и резкую противоположность европейского типа с азиатским»¹⁴⁶. Гораздо более пессимистичен В.И. Немирович-Данченко – ему «ханское городище» вовсе не напомнило ни о Европе, ни о России: «Всё не русскою смотрит Астрахань, все какою-то басурманскою у крайною»¹⁴⁷.

Наиболее часто встречается описание Астрахани, выдержанное в полном соответствии со стереотипными приметами «азиатского» духа, с присущими ему атрибутами красочности, пестроты, «восточного колорита», – с одной стороны, и базарной толчеи, хаотичности и грязи – с другой¹⁴⁸. Характерными и переходящими из очерка в очерк приметами города становится облик многоцветной, «вавилонско-языковой» и разноплеменной «восточной» толпы («и оборванной, и грязной, и разноцветной, и живописной в своей нищете»¹⁴⁹, «разнообразия типов, костюмов, наречий»¹⁵⁰), которая часто метафоризируется через внешние признаки этничности по принципу перечисления: типы жилищ, национальные костюмы и особенно головные уборы: «шапки», «чалмы и чухи», «халаты», «белые покрывала», «рубахи», «казакины»¹⁵¹. Этническое и культурное многообразие делает Астрахань своеобразным воплощением соединения разных народов и конфессий, объединения Востока и Запада в самом широком смысле (среди жителей встречаются и немцы, и персы, и французы, и казаки). Однако некоторые авторы выражают беспокойство, которое можно расценивать и как знаковое, симптоматичное: не «затерялся» ли в этой толпе «родной тип великоруса», оказывает ли он свое благотворное просвещающее воздействие на местную жизнь? С. Монастырский успокаивает: «Везде встречается и русский элемент» – и даже убежденно, хотя и неаргументированно заявляет: «Этот элемент дает всему ток, все сплачивает воедино. Русская мысль крепко утвердилась в Астрахани»¹⁵².

Астрахань отличает от Казани «необыкновенное» даже для Поволжья разнообразие представителей множества племен и народов – и в первую очередь неславянских (притом большинство из них мало известны русскому человеку из Центральной России). П.П. Нейдгардт насчитал их около 18¹⁵³. Детализирует сходство Казани и Астрахани А.Н. Пыпин, смягчая резкие оценки и противопо-

ставления последней; он подчеркивает, что этническое разнообразие не означает разрозненности, так как все народы – подданные одного великого государства: «Уже с Казани путешественник встречается лицом к лицу с Востоком... на нижней Волге... восточный элемент опять резко бросается в глаза... Астрахань переполнена восточными людьми разных племен... это всё наши соотечественники – по их государственной принадлежности»¹⁵⁴.

В отличие от Казани в Астрахани, однако, незаметны внешние признаки европейской культуры; ключевым в ее описании становится определение «грязный». Она кажется «пессимистам» «полуазиатским городом – пыльным, грязным, зловонным»¹⁵⁵, «с его вечной ярмарочной суетой и восточной грязью»¹⁵⁶. «Оптимисты» также вынуждены признать некую обманчивость вида Астрахани с реки: «...вблизи оказывается не то: куча плохих мазанок и избушек, узкие улицы, кривые и грязные, полуразрушенные дома...»¹⁵⁷ Это разительное различие между обликом города с воды и его истинным «лицом» изображается с использованием понятий «Азия» (ассоциирующейся с отсутствием комфорта и цивилизации в бытовом смысле), «Северная Америка» (как метафора высокого уровня развития) и стереотипного представления об Астрахани как пограничье Европы и Азии: глядя с реки, «можно было бы вообразить, что перед нами не расположенный на самой окраине Европы, на границе с Азией, город, а... один из портов в Северной Америке... Но стоило лишь ступить на берег, и мы убедились, что находимся чуть ли не в самой Азии»¹⁵⁸. Далее в тексте следует стереотипное описание «нецивилизованного» Востока.

Весьма красноречив в своих впечатлениях А.Ф. Писемский, в путевых заметках которого нашло отражение, в частности, резко негативное восприятие татар, воплощающих для него дикость и отсталость («толстоголовые татарские мальчики немного опрятнее и красивее свиней»; «татары... на отделку этих людей природа... не употребляла никаких мелких инструментов, а рубила сплеча»¹⁵⁹). Это, в свою очередь, определило характерное для позиции цивилизационного превосходства воплощение образа Астрахани с типичным противопоставлениями типов культуры (категории Север/Восток, будущее/прошлое, отсталость/прогресс и т.п.), религий, национальных характеров: «Нигде, быть может, не сходятся так близко два мира: азиатский и европейский, как в Астрахани, и нигде так ясно и наглядно не поймете вы причины, почему север одолел восток и со временем должен его совершенно поглотить. Ленивый умом, фаталист по религии, неспособный к какому бы то ни было улучшению, к выдержке конкуренции, с отсутствием даже практического задора, татарин здешний представляет собой нравственного рака и может пятиться только назад...»¹⁶⁰

Однако Астрахань (как и Казань) выступает важнейшим посредником – торговым, культурным, символическим – в исполнении цивилизаторской миссии русского народа. Более того, этот город должен быть и внешним олицетворением Востока/Азии: иначе он не вызовет к себе доверия, столь важного для России; став европейским, он утратит свою важнейшую функцию. Это прекрасно понимал С. Монастырский: «Все говорят, что Астрахань – полуазиатский город: пыльный, грязный, зловонный. Это сушая правда... А что, если бы она своей внешностью и порядками походила, например, на Берлин или Гамбург? Могла ли бы она тогда служить чем-то вроде клуба, куда являются хивинцы, бухарцы, текинцы и проч.? Представители Востока являются без стеснения, знакомятся здесь с русскими, присматриваются к их порядкам и заводят торговые сношения. ... Астрахань понимает своих соседей азиатов, умеет с ними обращаться, мало того – влияет на них в смысле русских интересов»¹⁶¹.

Мотивы благоденствия и изобилия

Одним из наиболее устойчивых мотивов в описании реки Волги, начиная с Н.М. Карамзина, причем в текстах разных жанров – от географических энциклопедий и путеводителей до очерков и поэзии, остается в XIX в. мотив изобилия и благоденствия. Он раскрывается в нескольких аспектах. *Первый*, вполне очевидный, связан с географо-климатическим фактором: природные богатства реки и ее прибрежных территорий, ресурсов, как речных, так и лесных; возможности для охоты и рыболовства (начиная с древнейших времен), земледелия (появившегося с освоением территорий славянами), садоводства и виноградарства (возникающих в Нижнем Поволжье начиная с XVIII в.). Это делает ее «кормилицей» в прямом смысле слова: «Волга всем и всегда была и есть кормилицей и поилницей»¹⁶². Такая «объективная» составляющая волжского изобилия фиксируется в географических текстах начиная с XVIII в. Именно река обусловила возвышение древних народов – хазар и болгар – и мощь их государств. Важно отметить, что в процветании Поволжья видится зачастую даже некая природная предопределенность: «Особенно на Волге люди с руками и доброй волей с голоду не умирают, а других еще кормят»¹⁶³. Этот устойчивый мотив невозможности голода в Поволжье (особенно в сравнении с положением земледелия в Великороссии) также связывается с природной данностью: «Все изведали люди на роскошных берегах ее... одного горя не видели, горя сиротского – общего голода. Недород вверху – низ поделится, в низу скудно – середина доставит; не хватает у матушки – помогут младшие сестры и дочери – Вазуза, Ока, Сура и Кама»¹⁶⁴.

Мотив природного изобилия в «Новом и полном географическом словаре Российской империи» (несмотря на введение указанного татищевского текстового фрагмента) рассматривается, однако, более подробно, чем в приведенной выше «формуле»: «Берега ее всегда плодородны... примечено, что натура во оной стране сама собою производит всякие к пище и лекарству полезные растения... Дубовый лес в России находится по большей части в тех странах, которые река омывает»¹⁶⁵.

Нельзя не вспомнить ставшие хрестоматийными слова Екатерины II, написанные ею в день прибытия в Симбирск – конечную точку ее волжского путешествия в начале июня 1767 г.: «Здесь народ по всей Волге богат и весьма сыт, и хотя цены везде высокие, но все хлеб едят, и никто не жалуется и нужду не терпит... Хлеб всякого рода так здесь хорош, как еще не видали; по лесам же везде вишни и розы дикие, а леса иного нет, как дуб и липа... земля такая черная, как в других местах в садах на грядках не видят. Одним словом, сии люди Богом избалованы; я от роду таких рыб вкусом не едала, как здесь, и все в изобилии, и я не знаю, в чем бы они имели нужду; все есть и все дешево»¹⁶⁶.

Для авторов «Нового и полного словаря» богатство природных ресурсов, и в особенности факторы, способствующие именно земледелию, является важным критерием географо-экономического деления территории. Показательно структурирующее значение Волги для пространства Европейской России в тексте статьи «Россия» из того же словаря. Оно делится на три части с севера на юг, вторая его часть, центральная, наиболее пригодна для земледелия. Это, по мнению автора, и есть Поволжье: «Другая половина ее (Европейской России – М.Л.) великой равнины, заключающая все пространство по течению Волги до начала степей, лежащих в окрестностях морей Каспийского и Азовского, составляет самую прекраснейшую часть России, которая вообще весьма плодородна и более имеет полей и пахотных земель, нежели лесов и болот или степей бесплодных»¹⁶⁷. Мотив природного изобилия и потенциального благоденствия представлен в географических трудах XVIII в., таким образом, в двух основных тезисах исторического порядка: Волга издревле им славилась, за что и получила свое название, но и ныне она является самой плодородной и «прекраснейшей» частью Европейской России.

Возможности успешного хлебопашества на плодородных почвах Среднего Поволжья обсуждаются на страницах географических описаний не ранее 1830-х гг.; как устойчивый мотив эта тема актуализируется довольно поздно, в 1860-х – 1870-х гг. Связана она с развитием парового судоходства и с увеличением грузоперевозок, в том числе и продукции зерновых. Главным поставщиком выступает Средняя Волга – «хлебный край»: «Среднее и Нижнее Поволжье

стало теперь истинным средоточием производительной деятельности русского народа, житницей не только России, но и западных государств»¹⁶⁸.

Местонахождение «житницы» в строгом значении слова, однако, можно установить более точно. «Хлебной Волгой» и «волжской житницей» именуется участок побережья от Жигулей до Сызрани¹⁶⁹ – «самое богатое и заселенное пространство» на берегах Волги¹⁷⁰. «Привольным и богатым Заволжьем», «богатой хлебом земледельческой местностью» именуется и степные пространства на восток от той части Волги, которая образует Самарскую луку¹⁷¹. Самарская губерния является еще одним претендентом на звание «житницы» России: она – «самая плодородная губерния восточной части России и представляет значительный излишек хлеба», главное занятие ее жителей «состоит в возделывании хлеба», и хлебопашество в ней «распространено до крайних пределов»¹⁷². Этот специализирующийся на выращивании зерна регион описывается весьма поэтически, все в пейзаже призвано показать «тучные земли» и «изобилие» хлеба – столь редко встречающееся в других регионах Великороссии: «богатые плодородные поля», «тяжелые колосья, гнущиеся под зернами», «села и деревни с громадными хлебными амбарами... покрыли эти берега», «золотые волны катились шелковистыми водопадами в Волгу»¹⁷³.

Второй аспект изобилия, процветания экономики и благоденствия жителей берегов реки обусловлен ее возможностями крупнейшей транспортной артерии, позволяющей вести интенсивную торговлю между двумя частями света, а следовательно, обогащаться за счет обмена разнообразными товарами. Торговые контакты и предпринимательство также рассматриваются как показатель потенциальных успехов действительного прогресса всего государства: «Громадная водная артерия, великий транспортный путь, ключ всей восточной торговли, Волга с ее разноплеменными тюркско-финским населением и несметным природными богатствами... – все, все стало русским достоянием!»¹⁷⁴ после завоевания Иваном Грозным волжских ханств, – восклицает автор научного географического очерка. Торговля на Волге считалась одним из залогов безбедного существования – для всех народов, когда-либо обитавших на ее берегах.

Волга рассматривается как источник благоденствия даже в описаниях великорусских верховий, земля которых скудна и неплодородна, но предприимчивому народу (каковым объявляются великорусы) она дает возможность развития множества промыслов¹⁷⁵: «Благодаря близости [к] Волге тверитяне, ярославцы и костромичи принадлежат к состоятельным жителям»¹⁷⁶.

Наконец, *третье*: утопическая идея процветания всех народов и племен на ее берегах. О «беззаботном весельи волжских счастливи-

цев» уверенно свидетельствует словарь Плюшара¹⁷⁷; в той же статье констатируется, что «ни в одном краю в России, кроме немногих исключений, нет стольких богатых и прекрасных деревень, как на этой реке» («до Саратова и даже до Царицына»)¹⁷⁸. Эта тема становится центральной в многочисленных географических очерках и путеводителях по Волге в 1870-х – 1900-х гг. «Благо» и «довольство» – т.е. благосостояние народа – ставится в прямую зависимость от природного изобилия волжских вод и берегов: «большая река», «божья и царская вода» поднимает «к совместной работе с теплотою солнца хлебные злаки, травы и леса, принадлежит в своей общей с народом жизни одному и тому же явлению творческой силы, ниспосылающей ему блага жизни и довольство»¹⁷⁹.

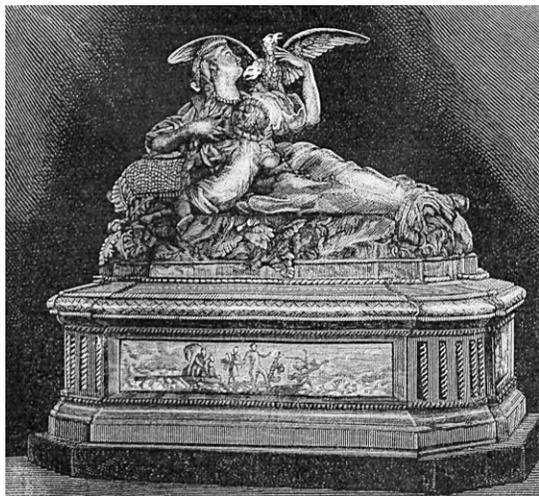
Во второй половине XIX в. наиболее частым определением Волги стало именование ее «кормилицей» и «житницей», хотя первое появляется много раньше – причем не только в отношении самой России, но и в восточноевропейском масштабе: «Прекрасные луга, богатые нивы, плодovitые сады, превосходнейшие дубовые и липовые леса сменяют беспрестанно друг друга, а по Волге цветет судоходство, торговля, и берега ее усеяны богатыми селами и торговыми городами»¹⁸⁰. Богатство и изобилие, таким образом, оказываются константными элементами в описании Волги и Волжского региона в целом. При этом даже народная любовь и почитание Волги рассматриваются с точки зрения практической значимости, как, например, в словарной статье: «Знаменитая река, прозванная русскими рекою-матушкой по необъятной пользе, разливаемой ею почти на всю Империю»¹⁸¹. Объяснения такого рода встречаются и в научной литературе: «Любовь русского народа к Волге и к другим своим рекам основана на том реальном факте, что в смысле народной нужды, питания, дешевого и свободного движения грузов и промыслов, оплачивающим труд на своей земле, железная дорога никогда не заменит речного пути общего пользования»¹⁸².

Мотив Волги-кормилицы нашел отражение и в экспонатах Промышленной выставки в Москве 1882 г. В разделе фабричных и ремесленных изделий была представлена скульптура «Волга», выполненная А.М. Опекушиным совместно с М.О. Микешиним в парной композиции со скульптурой «Нефть», из серебра¹⁸³. Волга «изображена в виде русской полулежащей бабы, которая одной рукой оперлась о мешок с хлебом, а другой кормит двухголового орла – Русь. По бокам пьедестала барельефы, представляющие судоходство, рыболовство... а также Стеньку Разина»¹⁸⁴, бросающего в реку княжну. В этой скульптуре, как видим, отражены главные мотивы и метафоры, связанные с Волгой как матерью-кормилицей. В своем воплощении она объединяет социальный, гендерный и этнический облик «Волги-матушки» и «русской Волги»: она

изображается великорусской крестьянкой (о чем свидетельствуют детали ее костюма). Мешок с хлебом – символ хлебородного Поволжья – «житницы». Барельефы демонстрируют основные занятия и промыслы жителей самой реки – транспортной и торговой артерии. Аллегория Волги как женщины, довольно ранняя (об этом говорилось выше), но в таком натуралистическом облике крестьянки¹⁸⁵, а не классическом мифологическом образе она предстает в период актуализации идеи о том, что единственным сословием, которое воплощает этнокультурную специфику, своеобразие национального характера и облика народа-нации, может быть только крестьянство¹⁸⁶. В образе Волги – крестьянской бабы, кормилицы, важно то, что она наделена атрибутами этнической «великорусскости». «Этнизация феминного» весьма характерна для визуальных репрезентаций нации и в Западной Европе, и в России¹⁸⁷. Им присуще гендерное разделение образов Отечества и Родины как государства и народа, модернизации и традиции, нации и этноса¹⁸⁸. В данной скульптуре Волга кормит с руки двуглавого орла – т.е. изображается кормящей всю Российскую империю. Великорусская река Волга (мать) – кормилица государства.

Концепты «матушка-Русь», «мать-земля», «земля-кормилица»¹⁸⁹, конечно, так или иначе соотносились с концептом «Волги-матушка» – несмотря на то что первоначально представление о благодатной воде («реке-кормилице») Волге, а не земле-кормилице (что типично для земледельческих славянских народов) появляется в верованиях финно-угорских народов Поволжья задолго до прихода славян¹⁹⁰. Так в скульптурном образе Волги проявились уже сложившиеся стереотипы «Волги – русской реки», «Волги-матушки» и «Волги-житницы».

*А.М. Опекушин,
М.О. Микешин.
Волга. 1882. Серебро*



Сюжеты скульптурной композиции в целом, связанные с историей и промыслами региона, призваны обозначить уже не общегосударственную и национальную значимость, а собственно поволжское своеобразие. Стенька Разин уже в 1870-х гг., в связи с активным собирательством русского фольклора в различных регионах страны, и в Поволжье в частности, стал широко известен в качестве любимого героя волжских песен, легенд и литературных произведений¹⁹¹. Но не песня «Из-за острова на

стрежень», текст которой (стихотворение Д.Н. Садовникова), был написан в 1883 г., а публикация народных песен и сказаний и стихи ранних авторов вдохновили скульпторов на образ Разина – из исторических «народных» персонажей его образ более других исторических героев соотносился у широкого зрителя и читателя с Волгой.

Волга в учебниках и литературе для детей

Рубежным этапом в истории научного и художественного освоения реки, задачей которого было целенаправленное изучение и живописание ландшафта, народов и промыслов Поволжья на всем протяжении русла, можно считать так называемую литературную экспедицию по Волге, организованную по инициативе великого князя Константина Николаевича в 1856 г. в рамках масштабного общероссийского изучения жизни, быта и состояния крупнейших регионов государства по водным артериям страны. Целью этого проекта был комплексный сбор сведений прежде всего экономического и этнографического характера в «благоприятных по климатическим условиям и по густоте и разнообразию населения местностях нашего обширного Отечества, прилегающих к главнейшим, оживленным народным движением речным системам»¹⁹². Участники этого предприятия должны были непременно обладать литературными дарованиями, так как материалы планировались к публикации в журнале Морского министерства «Морской сборник»¹⁹³. В Волжской экспедиции приняли участие А.Н. Островский¹⁹⁴, А.А. Потехин¹⁹⁵, А.Ф. Писемский¹⁹⁶ и др.; впечатления от годичного путешествия нашли отражение и в художественных произведениях этих авторов. Они одними из первых в своих «отчетных» текстах и специальных этнографических очерках отдельных народов Поволжья подробно охарактеризовали жизнь обитателей региона с точки зрения их материальной и духовной культуры, а также взаимодействия и сосуществования друг с другом.

В 1860-х гг. выходит ряд более строгих в научно-информативном отношении изданий о путешествиях и поездках по Волге. Это книга известного краеведа-любителя, потомка Радищева Н.П. Боголюбова¹⁹⁷ и чрезвычайно популярный «Иллюстрированный спутник» С. Монастырского¹⁹⁸. Наиболее серьезным и фундаментальным в научном отношении стал трехтомник о Волге В. Рагозина¹⁹⁹. Кроме того, начиная с 1860-х гг. выходило большое количество путеводителей и путевых заметок по Волге.

Однако гораздо большее влияние на формирование образа и представлений о Волге как русской реке, на наш взгляд, оказали многочисленные рассказы о поездке по Волге популярно-географического характера, которые включались в сборники-хрестоматии,

географические очерки или очерки русских народов, издаваемые в качестве пособий по отечествоведению. Большая часть из них не была оригинальной, представляя собой пересказ или компиляцию из сочинений разных жанров – начиная научными описаниями региона и заканчивая отрывками из художественных произведений. Текстовые фрагменты кочевали из одного издания в другое, иногда пересказывались близко к оригиналу, не всегда с указанием первоисточника. Хрестоматии по географии (отечествоведению) складывались, как правило, из литературных отрывков из произведений таких авторов, как П.И. Мельников-Печерский, В.И. Немирович-Данченко, А.Н. Островский, в них включались фрагменты записок путешествий и рассказов. Но именно в этом комплексе столь разножанровых и повторяющихся текстов отразились наиболее яркие клише и языковые формулы описания Волги в широком контексте – создания образа Российского государства и его жителей.

В эти же годы появляется много изданий популярной географической литературы для детей в жанре «путешествие по родной стране» о Поволжье – житнице России. В учебниках и хрестоматиях по географии 1890-х гг. описание Волжского региона уже выделялось в самостоятельные разделы – наряду с устоявшейся административной или географической номенклатурой «пространств» Империи. Сборник очерков о «Волге-матушке» вошел в серию по отечествоведению «Русская земля» отдельным томом. «Ни одна река в России, – утверждал автор сборника, – не пользуется такой славой и такой любовью русского человека, как... Волга»²⁰⁰.

К.Д. Ушинский поместил в свою книгу для чтения текст собственных путевых заметок о путешествии по Волге (он совершил его летом 1860 г.), написанных в жанре «писем к приятелю»²⁰¹. Это подробный рассказ о поездке от Санкт-Петербурга до Астрахани²⁰² (речной отрезок начинается традиционно – от Твери). В сущности, это типичная для эпохи и чрезвычайно востребованная в учебной литературе форма виртуального путешествия для детей²⁰³, позволяющая в занимательной форме изложить географические, этнографические, исторические и статистические сведения о стране в эмоциональном и доступном ключе. Ушинский подробно рассказывает о городах, селах и ярмарках Поволжья, перечисляя и кратко характеризуя основные природные и историко-географические достопримечательности. Особое внимание обращает автор на красоту окружающего пейзажа, хотя при этом его главная задача – представить вербальную карту европейской части России в соответствии с распространенной в русской географической и исторической науке второй половины XIX в. концепцией о том, что именно реки задают не только ландшафтно-экономическое и областное деление страны, но и ее естественно-историческое членение на регионы.

Общая, «энциклопедическая» информация о реке: ее параметры, этимология названия и т.п. – дается в разных фрагментах текста, иногда – через слова многочисленных спутников автора. Так, версию о «чухонских» («по-ученому финских») гидронимах и топонимах Ушинский излагает в диалоге, который призван рассказать о прежних финно-угорских племенах, обитавших искони в «верховьях Волги, Западной Двины и Днепра», которые теперь «должно быть, обрусели, так как позабыли свой язык, приняли православную веру и русские обычаи, так что их теперь и не отличишь от русских»²⁰⁴.

Масштабы Волги подчеркиваются с помощью неоднократно использовавшегося в литературе о Волге приема сопоставления с другими крупными европейскими реками: «Волга – царица европейских рек, которая на 1070 верст длиннее Рейна и на 630 – Дуная»²⁰⁵.

Лейтмотивом представленной К.Д. Ушинским картины Волги «с палубы парохода» служат несколько важнейших тезисов историко-патриотического характера. Они касаются упоминаемой выше концепции «Волга – главная русская река», в которой определение «русский» использовано в трех значениях: как этнически-русский (в двух смыслах – как восточнославянский и как великорусский) и как государственно-русский (т.е. российский). «Волгу можно назвать первой рекой русского государства... Ока же – великорусская река»²⁰⁶, – констатирует Ушинский. И в этом противопоставлении становятся ясны нюансы значения «русская» – т.е. национально-русская, главная река России. Она протекает через все европейские земли России (Великороссии), хотя ее истоки (которые являются и началом Оки) «находятся почти у границ благословенной хлебной Малороссии, где царствует уже не Волга, а Днепр»²⁰⁷, связывая их, таким образом, в единое целое – не только природно-экономическое, но и национально-государственное: «Третью Европейской России занимает она своими притоками, связывает три далеких моря, а сколько городов, губерний!»²⁰⁸

Еще один концепт – Волга-кормилица («сколько народу живет и кормится Волгой!»²⁰⁹), которая гарантирует главные для земледельческих народов России условия их выживания и процветания: «Что была бы Россия без Волги? – такая же дикая степь, как та, по которой бродят теперь киргизы и калмыки... Волга – величайший дар Божий Русской земле!»²¹⁰ Волга, таким образом, трактуется Ушинским как цивилизационный фактор русской истории.

Наконец, Волга представляет собой важнейший пример мирного, плодотворного и бесконфликтного сосуществования разных в этническом, конфессиональном и цивилизационном отношениях народов. В этом контексте центральной оппозицией выступает дихотомия русские/инородцы. Именно в Волжском регионе разные этносы соседствуют, уживаясь между собой: «По берегам ее живет

много разноязычных племен: русские, чувашаи, черемисы, татары, башкиры, киргизы и калмыки»²¹¹ – «всё народ нерусский, хотя живут в русском царстве»²¹² или вовсе «русуют», как финно-угорские народы («чухны»), древние обитатели этих земель, оставившие свои названия рекам и даже селениям этого обширного региона²¹³.

Верховья Волги (рубежом у Ушинского выступает Нижний Новгород) – это исконно русские земли, Центральная Россия, или Великороссия, географическое и историческое сердце «русской России»: «старинные русские города, чисто русские, великорусские села и деревни»²¹⁴, а вот «за Сурой пойдут» многочисленные нерусские племена²¹⁵. Казань Ушинский называет «полутатарским городом»²¹⁶. Низовьем именуется автор Казанскую, Симбирскую, Самарскую и Саратовскую губернии.

Следует отметить, что в этом вставном очерке довольно существенное место уделено характеристикам этнической и этнорегиональной (главным образом материальной) культуры упоминаемых народов – и русских, и инородцев, основным промыслам и даже детальным описаниям некоторых видов традиционной хозяйственной деятельности.

Несколько иначе изображается Волга в источниках другого типа – чуть более поздних научно-популярных географо-этнографических очерках, создаваемых в жанре путевых заметок или путеводителей по Волге. Путеводители как специальный жанр, по образцу бедекеров, в России появляются только начиная с 1880-х гг.²¹⁷, но ранее эту функцию вполне успешно выполняли записки путешественников, художественные произведения о Волге (например, наиболее часто цитировавшиеся П.И. Мельников-Печерский, А.Н. Островский, А.А. Потехин и др.), а также специальные описания реки вдоль ее течения. И в этом отношении маршрут по реке, вниз по Волге (от Твери до Астрахани, от Нижнего Новгорода до Астрахани и т.д.), был не только чрезвычайно популярен, но и довольно типичен начиная с 1830-х гг. Об этом свидетельствует тот факт, что если в 1830-х – 1850-х гг. авторы записок о поездках в данный регион отмечали города, монастыри и ярмарки Поволжья²¹⁸, то начиная приблизительно с 1850-х гг., когда используется регионим «Поволжье», применяемый в отношении территорий по берегам Волги, наиболее частым становится описание их именно с позиции естественного речного русла, когда наблюдатель находится на самой реке, на пароходе. Исследователи отмечают, что в Поволжье во второй половине XIX в. туризм развивался быстрее, чем в других регионах России (в частности, в связи с расширением возможностей паромного сообщения), и именно волжский путь на пароходе становится одним из наиболее привлекательных маршрутов путешествия по стране. Современный исследователь И.И. Руцинская полагает, что массовые тиражи еще «добедекеровских» путеводителей по Волге

отражают стремление к целенаправленной репрезентации территории²¹⁹. Появление массового туризма в Волжском регионе, развитие его инфраструктуры во второй половине столетия стали стимулом для формирования визуальных образов Волги и ее берегов, осмысляемых в категориях русского национального пейзажа в целом²²⁰. Волжский пейзаж отличался от прежних живописных репрезентаций определенным патриотическим пафосом, метафоризацией: Волга выступает воплощением государственной и народной мощи, размаха, силы, а также «является выразительницей широты и непосредственности русской природы»²²¹.

Путешествие совершалось именно по реке, что отражено в наименованиях: в названии указывалось, как правило, «по Волге», а не «по Поволжью»²²². Самый длинный маршрут – с севера на юг, от Твери до Астрахани, с остановками во всех крупных городах; а возможность иного вектора движения – от устья к истоку – вообще не предусматривалась²²³. На наш взгляд, это было связано со сверхзадачей текстов данного жанра: так перед путешественником разворачивалась не только картина смены природных ландшафтов от европейских к азиатским; такое перемещение давало возможность увидеть направление цивилизаторских усилий власти и русского народа в отношении других племен, освоить естественный путь, по которому шло расширение государственности по Волге, ее пространственное приращение в историко-хронологической последовательности: из прошлого в будущее. Важна и выявленная И.И. Руцинской точка зрения (в прямом и переносном смысле) – с борта парохода, – которая позволяла выстраивать особый повествовательный дискурс, удачно объединяющий эстетическое восприятие с информацией географического, исторического и экономического характера²²⁴.

Путешествия по Волге начиная с 1860-х гг., в сущности, рекламировались как дешевые, комфортабельные и дающие возможность соединить интеллектуальные запросы туриста с эстетическим удовлетворением от увиденного. Хотя далеко не все туристы этого времени соответствовали идеалу любознательного и пытливого путешественника, серьезно готовящегося к знакомству со своей страной²²⁵. Правила поведения, сама форма такой поездки должны были быть заданы извне, им необходимо было «обучить». Туристу следовало не просто идентифицировать то, что он видел, с текстом путеводителя, ему предписывалась и сама «программа» восприятия, определенный набор ожиданий²²⁶.

Многие путеводители стремятся не только изложить важнейшие сведения о городах и губерниях, достопримечательностях и святынях, но и дать более чем детальную информацию «на все случаи жизни» о бытовых вопросах, возникающих или могущих возникнуть у путешественника²²⁷. Однако и Я. Кучин в 1865 г., и А.Н. Пыпин

в 1885 г. (русские люди не обнаруживают того любопытства в отношении к «своему», которое тянет их к «чужому» – «влечет проехать по Рейну, странствовать по... саксонской Швейцарии»²²⁸), и А.П. Субботин в 1894 г. призывали читателя совершить путешествие по Волге и из практических, и из патриотических побуждений²²⁹. А.Н. Пыпин возмущается отсутствием любопытства к родной стране: ведь Волга нуждается в привлечении туристов; нет хорошей рекламы и путеводителей по Волге; нет поддержки «умственных» сил провинциальной интеллигенции, которая могла бы сосредоточиться на краеведческих исследованиях, и т.п. Он обвиняет «русских людей» в отсутствии интереса к путешествиям по родной стране и стремления испытать эстетическое и патриотические чувства на Волге²³⁰. А.П. Субботин вторит ему, укоряя русскую интеллигенцию за нежелание в отличие от европейцев узнать свою родину – «внутреннюю Россию» (к ней он относил Поволжье до Казани). Интеллигенты не извели «матушку-Русь» так, как «простые серые мужички»²³¹. Для него Волга является олицетворением и общерусского, и великорусского, но, помимо сугубо патриотических, Субботин приводит и прозаические мотивы: поездка по Волге «наименее утомительное и наиболее дешевое путешествие»²³². Перечень «претензий» к согражданам и осуждение недостаточного внимания к Волжскому региону со стороны ученых, этнографов и беллетристов у Пыпина и Субботина совпадают. И для них обоих знакомство с Волгой (Поволжьем) рассматривается в категориях патриотизма – познание своего Отечества в исторически-русской его части.

Совокупность текстов данного жанра можно классифицировать по-разному. Но нельзя не отметить их очевидную морализаторскую направленность, которая воплощена в двух разных типах презентации: одни авторы склонны к идеализации и поэтизации волжского пути, другие настроены очень критически. При этом такая позиция не зависит от того, совершал ли автор путешествие в действительности и высказывает свои собственные наблюдения и впечатления или же труд носит научно-виртуальный характер. Если для одних Поволжье, его жители, история, экономическое состояние рассматриваются в светлых красках, они настойчиво подчеркивают значительные перемены в лучшую сторону, обращая внимание на развитие промышленности и торговли, количество образовательных учреждений, благоустройство городов и благополучие «простых людей», то другие высказывают недовольство (как истинные туристы) и условиями проживания и передвижения, и состоянием и обликом пристаней и городов, состоянием их музеев и храмов и рисуют жизнь местных тружеников в ужасающих деталях и т.п. Для каждого из этих типов нарратора характерны различные интенции: первые стремятся изобразить мир приволья и экономического про-

цветания, вторые – неустроенность, некомфортабельность условий для приятного путешествия и резкий привкус «азиатчины».

Нельзя игнорировать и еще одно требование, в 1890-х гг. уже реализованное в волжском популярном дискурсе: создание устойчивых, узнаваемых и доступных массовому потребителю ассоциаций-символов. Весьма красноречивым примером, на наш взгляд, является забавно-ироническая характеристика В. Сидорова, обратившего внимание на то, что на левом берегу Волги расположились города с женскими именами, а на правом – с мужскими. Обыгрывая это совпадение, он рисует картину доброго и домашнего русского мира, в котором города воплощают разные великорусские сословные, гендерные типы, характерные для региона: «Прелестный старичок Ярославль, ветхий и курьезный Углич, молодой и краснощекий купчик Рыбинск, маленький веселый Плес, стройный Юрьевец, бесшабашный богатый Нижний, стерляжий царь Васильсурск, старый барин, помещик богатого рода Симбирск, ревностный раскольник Хвалынский, молодой сереброголовый Вольск, сам волжский король Саратов, арбузный Камышин, песчаный и пыльный Царицын – все они на правом берегу. Дамы расселись на левом, как гордая и сановитая Кострома, так и узорчатая, с татарской кровью в жилах Казань, и молодая, формирующаяся, жаркая Самара. И сама рыбная торговка, загорелая от зноя, – Астрахань. Все лежат на левом, и только Ржев на обоих берегах... Три из них не увидели на своем берегу и предпочли общество мужчин – это скучная Тверь, живописная Кинешма и торговая Сызрань»²³³.

В научных географо-статистических описаниях Российской империи последней трети XIX – начала XX в. описание Поволжского региона осуществляется не с борта парохода, но и оно дается в последовательности, обусловленной течением Волги. Очерки Верхнего Поволжья помещены в описания и в «Живописной России», и в «Полном географическом описании» от истоков до Нижнего Новгорода, Среднего – в том о Среднем Поволжье и Приуральском крае («Живописная Россия»), а тот же регион в «Полном географическом описании» представляет Среднее и Нижнее Поволжье в одном томе. Рассказ о климатических условиях, природных ресурсах, формах земледелия, экономике (с акцентом на фабрично-промысловую специализацию), этнографии и статистике субрегионов построен, как правило, по административному признаку (губерниям) от верховий до устья реки и сопровождается обязательными историческими очерками. Жанр «Живописной России» более тяготел к художественно-популярному изложению, и потому, например, в пяти очерках Верхнего Поволжья (от Ржева до Нижнего Новгорода) мы не найдем оценок и характеристик – преобладают факты и литературные зарисовки природы и быта региона. Напротив, «Полное геогра-

фическое описание», стремясь к научной детализированности, тем не менее дает и оценки, и интерпретации общих для всего Поволжья и отличительных особенностей каждого из регионов, современного состояния экономики и этнографического своеобразия в первую очередь. Они касаются и места и значения отдельных областей в истории и хозяйстве России.

Волга А.Н. Пыпина

Проблема соотношения Поволжья как отдельного русского региона с прежними центрами государствообразования и этноса получила отражение в размышлениях о русскости А.Н. Пыпина, в частности в его статье «Волга и Киев» (1885)²³⁴. (Весьма симптоматично, что она появилась под влиянием его путевых волжских впечатлений.) Трактовка пространственной русскости, нашедшая отражение в этой работе, была разобрана А.И. Миллером с точки зрения аргументации и формулировки претензий на «исконность» разных русских земель²³⁵. Но взгляды Пыпина могут быть интерпретированы и в контексте поиска «типичного» русского/великорусского региона и/или ландшафта. Одним из оснований для его формирования послужила уже рассмотренная нами концепция, представленная в исторических (прежде всего у С.М. Соловьева и В.О. Ключевского) и географических трудах (Л.И. Мечников²³⁶), согласно которой реки и речные бассейны играют объединяющую роль в процессах политической, экономической и межэтнической интеграции в истории России, а колонизация, объявленная важнейшим историко-культурным и географическим процессом формирования цивилизационной и этнокультурной специфики России, осуществлялась именно благодаря водным артериям²³⁷.

В своей статье А.Н. Пыпин задавался вопросом, почему изображение Волги (волжского «русского пейзажа») и «картин жизни» Волжского региона не стали предметом художественной и научной рефлексии соотечественников. Ни в российском народоведении, ни в искусстве, «обязанных» обращаться к «отражению национальной жизни», Волга, по его мнению, не нашла должного отклика. Если пейзажи средней полосы России признаны «специально русскими», то ее образов, сетует автор, мы «не найдем ни у одного из наших первостепенных писателей, тех, в ком считается истинная сила литературы»²³⁸. Он, однако, упоминает о том, что эта тема «появляется изредка» у писателей «второго разряда, романистов и повествователей». По мнению А.Н. Пыпина, Волга отсутствует и в творчестве живописцев, «в массе художников она остается забытой и недооцениваемой»²³⁹.

Упрекал Пыпин и этнографов. Подробно излагая историю заселения и освоения региона «великорусским элементом», он рассматривал процессы культурно-антропологической ассимиляции и подчеркивал, что именно здесь с давних пор и донныне шли процессы активного «смещения» разных этнических групп – великорусов, чуть меньше – малорусов и, конечно, инородцев (финских и татарских). Он полагал даже, что сложился отдельный «приволжский тип русской народности».

Особое внимание уделил автор сложившимся в регионе формам народной словесности: в крае, который оказался «последним гнездом русского народного эпоса», «эпическая старина» «породнилась» с героической и разбойничьей эпопеями. Ученый считал, что «старина быстро исчезает в настоящее время» и следует поторопиться с ее изучением. «Этнографическая Волга, – заключал он, – еще ждет своего исследователя»²⁴⁰.

О справедливости критики А.Н. Пыпина скажем ниже. Важно (на что первым обратил внимание А.И. Миллер) проанализировать причины обращения его к данной теме. Он – вполне в духе времени – констатировал необходимость познания собственной страны в ее историческом, географическом и этнографическом отношениях. Для 1880-х гг., когда была написана статья, географические очерки, описания экспедиций и путешествий (непрерывной частью которой было этнографическое описание жителей) по Российской империи были не просто популярны – они создавались на академическом уровне, под эгидой РГО: краткий географический словарь Российской империи²⁴¹, масштабные труды научно-популярного характера – «Живописная Россия» (начало издания – 1881 г.²⁴²), специальные этнографические очерки о народах России²⁴³, богатая учебная литература по отечествоведению²⁴⁴, – не говоря уже о многочисленных публицистических статьях и заметках жанров «путевые заметки», «поездки», «путешествия» и т.д.²⁴⁵ Таким образом, необходимость познания пространства страны через детальное описание всех «сторон жизни» по географическому принципу не просто была осознана обществом, но и уже энергично воплощалась в разнообразных формах. А.Н. Пыпин, однако, сужает задачу до познания *родного* (выделено мной. – М.Л.): «Одной из первых забот было бы знать это родное, по крайней мере, в его основных, наиболее характерных пунктах»²⁴⁶, одним из которых публицист называет Волгу.

Важен и факт соположения разнородных на первый взгляд объектов, отраженных в названиях рек и городов. Очевидно, что речь идет не о локусах, а о регионах – причем об историко-географических областях. Киевская так или иначе ассоциируется с Киевским государством, а Волга? Сопоставимо ли пространство, связанное с ней, с государственным центром? – ставит вопрос автор.

Наконец, кроме обоснования необходимости художественного и этнографического внимания к краю, Пыпин указывает на важность практического постижения Отечества, в особенности его русского пространства. Пафос Пыпина в той части статьи, которая посвящена Волге, заключается в призыве к «живому» освоению подданными имперской территории, потребность в котором формируется, как ему кажется, у жителей западноевропейских стран с детства. Своеобразие «политической нации» (термин автора) России заключается в пространственной обширности, в «пестром соединении» «племен европейских и азиатских, более или менее культурных и полудиких и диких совсем»²⁴⁷. Этническая и цивилизационная неравномерность на Волге проявляется особенно ярко. Волга, таким образом, предстает своеобразным воплощением не столько локальных, сколько типически-общерусских черт, ведь А.Н. Пыпин, считая Поволжье примером «областной» специфики, т.е. обладающим несвойственными «центру» отличиями, одновременно усматривает в нем элементы, отражающие как общерусскую, так и великорусскую типичность. «Русское» имперское состоит в глубинных цивилизационно-культурных различиях населяющих его народов, не до конца еще обрусевших, и в степени их интегрированности.

Волжский регион. Типичный или особенный?

Начиная с 1880-х гг. возникает новое направление, свидетельствующее об укреплении концепции регионализма как основы государственного единства и о стремлении как властей, так и интеллигенции к освоению новых форм пропаганды патриотизма. Речь идет о попытке обозначить в качестве значимых и единых те области страны, которые репрезентируются как типичные регионы (о чем говорилось в шестой главе). Инициаторами были прежде всего ученые, работавшие в области этнографии второй половины столетия и антропологии начиная с 1870-х гг.

Поволжье в целом вплоть до 1890-х гг. не могло претендовать на статус подобного – типично великорусского или типично русского региона – прежде всего по формальным причинам: оно демонстрировало разнообразие климато-экономических зон и еще большее – народов и вероисповеданий. Кроме того, оно довольно поздно вошло в состав Российского государства, и большинство авторов, как уже было показано, полагали временем, когда «Волга стала русской рекой», период присоединения Казанского и Астраханского ханств, а с точки зрения этнического доминирования – лишь середину XIX в. Однако, по сведениям Всеобщей переписи 1897 г., во всех де-

вяти волжских губерниях (несмотря на разное процентное соотношение этносов в каждой из них) насчитывалось 72% русского населения (всего – 84 млн человек), 74% жителей были православного вероисповедания²⁴⁸ (великорусское население, определяемое по наречию, насчитывало около 11,5 млн человек, т.е. чуть более 20% всех великорусов Империи (составлявших, в свою очередь, 55,7% подданных Империи)²⁴⁹). Автор этнографических очерков Российской империи К. Кюн писал в 1888 г.: «...главная масса великорусской национальности и теперь, как прежде, сосредоточена на Волге и ее притоках»²⁵⁰. Это позволило А.П. Субботину утверждать, что, поскольку русский язык в Поволжье доминирует, оно есть «коренной русский край, вмещающий в себе настоящую, кондовую Русь и полнее отражающий русский дух, где от самого Селижарова (населенный пункт на берегу Волги, в устье рек Селижаровки и Песочни, в Тверской губернии. – М.Л.) до Астрахани слышится... сочная русская речь, благодаря которой все понимают друг друга в лучшем виде»²⁵¹. С другой стороны, Поволжье у Субботина предстает как воплощение русскости в смысле «российскости», т.е. как символ обширного национального пространства Империи, состоящего из столь различных по природным и экономическим зонам, в котором можно найти все наиболее характерные ландшафты России в целом: «...перед глазами на всем ее (Волги. – М.Л.) протяжении проходят типичные картины всех местностей России: поэтические доли, пригорки и перелески севера, обширные луга, холмы и леса средних губерний, необозримые степи востока и юга, довольно высокие горы и мрачные ущелья»²⁵². Немаловажным фактором русскости становится типичный этнический облик («чисто русская физиономия»), черты которого, заметим, явно выдают великоруса и который, как полагает автор, должен быть легкоузнаваем и «особенно близок русскому сердцу»²⁵³.

Но эти регионы определяются, таким образом, не с точки зрения этнической чистоты (как это пытались определять ранее, в 1840-х – 1860-х гг., и позже – на рубеже веков), а, напротив, выступают как пример успешного сосуществования и экономического процветания различных этносов, конфессий, профессиональных групп. Типичность, таким образом, переосмысливалась в категориях «разнообразия» и «равноценности», хотя и не «равноправия». Метисация рассматривается как достояние, позитив. Направление такого взгляда явно было устремлено на юго-восток и восток – туда, где русские проявляли свою «ассимиляционную способность», а культурная самобытность цивилизуемых племен еще не исчезла: «...одно лишь верхнее течение Волги есть собственно великорусское, но река влечет русский народ все дальше и дальше к востоку, куда он несет цивилизацию, приобретаемую на западе. Вот отчего

весь ход русской истории показывает, как легко Русь распространилась на восток и как трудно – на запад»²⁵⁵.

С 1880-х гг. к критериям районирования добавился экономический фактор. В пореформенные десятилетия большое значение придавалось тем областям России, которые в условиях тяжелой экономической ситуации в Нечерноземье оказались главными житницами страны. Именно в это время на роль важного с точки зрения торговли и «благополучия народа» региона претендует Среднее Поволжье. Современные исследователи этнонациональной политики Российской империи обращают внимание на место Волжско-Камского региона (и на Казань в особенности) в системе территориально-этнических взаимодействий центра и периферии с точки зрения русификаторских проектов и конфессиональной политики. Этот ареал расценивался как пограничный: он исторически воспринимался исконно «своим», относящимся к национально-государственному ядру или приближенным к нему²⁵⁵. Непросто складывались контакты между местными элитами, сохранявшими или развивавшими свою идентичность в условиях явных пробелов в законодательстве, что обусловило противоречивое отношение к обрусевшей части населения (в трактовке его как национальных(ого) меньшинств(а) или объекта колонизации)²⁵⁶. В этническом отношении регион в целом (и прежде всего инородческая его часть) должен был стать эталоном цивилизаторской политики русских на восточных (цивилизуемых) окраинах Империи – особенно в свете успехов Н.И. Ильминского и с расцветом востоковедческих исследований²⁵⁷. В этом контексте типичность его осмыслялась через категорию смешения, ассимиляции русских народов с инородческими.

Издаваемая в пореформенный период учебная и научно-популярная литература по географии и этнографии России, рассказы о Волжском регионе – житнице России, воплощающем, кроме того, и замысел формирования торгово-промышленного центра страны (в частности, благодаря Нижегородским ярмаркам и знаменитой Всероссийской выставке 1896 г.), в количественном отношении начиная с 1880-х гг. занимали все большее место среди разножанровых описаний Отечества по регионам²⁵⁸. В процессе поиска типично великорусского и типично российского пейзажей волжские берега также воспринимались как вполне репрезентативные: описывая «любезные сердцу русского красивые великорусские пейзажи», автор очерка о великорусах предлагает, в частности, считать таковыми «необъятные, обширные нивы», но «особенно – картины больших рек»²⁵⁹.

Такие особенности Волжского региона, как расовое и этническое (русские, т.е. восточнославянские, этносы, татарские и финно-угорские народы, немцы и др.), а также конфессиональное разнообразие (православные, старообрядцы, мусульмане, лютеране, язычники и

др.) рассматривались как дополнительный позитивный фактор. Так демонстрировалось мирное сосуществование разных этнокультурных групп или успешное обрусение инородцев (в зависимости от позиций авторов) – в качестве образца для истинно русского и имперского бытия. Ведущая роль торговли в жизни волжских городов и процветание купечества подтверждали гармоничное сосуществование разных сословий. Волга в среднем и нижнем течении трактовалась и как область пересечения имперских Европы и Азии, российских запада и востока, севера и юга, место «встречи» племен и культур²⁶⁰.

Все эти факторы сыграли далеко не последнюю роль в выборе Нижнего Новгорода для проведения знаменитой Выставки-ярмарки 1896 г. – своеобразного заключительного аккорда в разработке данной «версии» коренного русского региона. Сама Нижегородская ярмарка была знаменита, многократно описана и в рекламе не нуждалась; считалось общепризнанным, что она «есть важнейший экономический факт нашей жизни, полный всевозможных интересов, состоящий в ближайшей связи с состоянием русской промышленности и вообще с политико-экономическим и финансовым положением России. Это ключ к уразумению важнейших явлений нашей жизни, это пульс нашего народного организма, который на данный период времени бьется на наших глазах»²⁶¹. Так писал в 1878 г. А. Овсянников.

В официальных кругах весьма красноречиво с точки зрения символической географии объяснялся выбор места для проведения Второй Всероссийской выставки-ярмарки в Нижнем Новгороде: «Внимание... остановилось на городе, издавна считающемся перепутьем между Востоком и Западом, куда привыкли приезжать как производители Европейской России, так и купцы северных тундр Сибири, владений Китая, степей Средней Азии, Бухары и Персии»²⁶²; он является «по-старому центром великого Волжского бассейна»²⁶³. При этом всячески подчеркивалась историческая взаимосвязь региона с Москвой, где проходила предыдущая Всероссийская выставка 1882 г., а также тесные экономические и торговые отношения с промышленно развитыми регионами Империи. Выбор Нижнего Новгорода был продиктован и новым, экономическим «обращением взора» императора Александра III на восток своей Империи, которое сказалось в избранной им в 1880-х гг. политике экономического развития страны. В обосновании решения монарха сказано: он «не упускал из виду, что своими границами его Империя соприкасается не только с одной Западной Европой, но и с Азией и что на нем покоится *вековая национальная надежда* (выделено мной. – М.Л.) мирного завоевания рынков последней путем промышленного прогресса»²⁶⁴.

Проект проведения ярмарки в Нижнем Новгороде как демонстрации «полной картины успехов всей промышленной России» был одобрен Александром III еще в 1893 г.²⁶⁵

«Исторический миф, – заключает А.И. Миллер, сравнивая принципы обоснования А.Н. Пыпиным “своих территорий” на западных окраинах Империи и в Поволжье, – не играл здесь важной роли»²⁶⁶. Однако с этим трудно согласиться. В выборе Нижнего Новгорода местом проведения общероссийской выставки исторические реминисценции были более чем значимы. Точнее было бы говорить о том, что не работал уже *прежний* исторический миф, о котором современный историк подробно пишет в той же работе, – версия о единстве русского народа и идея культурного, правового, государственного и исторического наследования Киевской Руси. В частности, празднование 1000-летия призвания Рюрика актуализировало концепцию преемственности династий Романовых и Рюриков, с акцентом на освобождение народа от крепостной зависимости, предпринятое последним императором²⁶⁷. Но в правление Александра III на первый план выдвигаются исторические события, связанные с воцарением Романовых и началом «новой» («гражданской», «народной») государственности XVII в.: «Город, на котором остановился выбор... к довершению всего был прославлен много лет тому назад истинно русским патриотизмом своих граждан. Из него в Смутное время раздалось горячее, полное сознания своей силы слово сына народа – слово, перешедшее в дело вызволения Москвы из иноплеменных сетей...»²⁶⁸ Конечно, в череде государственных юбилеев второй половины XIX – начала XX столетия празднование 300-летия призвания на русский престол Романовых и приуроченные к ним торжества, актуализирующие память о событиях Смутного времени, подвиге Ивана Сусанина и т.д., в которых особо важную роль играли Кострома и Нижний Новгород, еще только предстояли, но историко-мифологический статус Поволжья формировался задолго до них²⁶⁹.

В 1870-х – 1880-х гг. возникают новые факторы, не игравшие прежде значимой роли, такие как забота об экономическом процветании региона и демонстрация мирного сосуществования разных племен Империи. Выставка задумывалась для оживления Макарьевской ярмарки, а также для отчета о достижениях промышленности, рассматривавшихся в том числе и как результат экономических мер, предпринятых государством. Такой «сдвиг» поиска типично русского региона на восток значим как пример соединения этнического и географического факторов не только в научно-познавательных целях или для установления региональных и культурных границ «великорусскости», но и как средство конструирования новых пространственно-культурных локусов, призванных подтвердить определенные идеологические установки.

Когда же стала Волга русской рекой?

Выражение «Волга – русская река» – переделанная строка из стихотворения Д.Н. Садовникова (1883), ставшего песней «Из-за острова на стрежень»²⁷⁰. В оригинале она такова: «Эх, кормилица родная, / Волга, матушка-река!» Сборник Садовникова, полностью посвященный волжской теме, был впервые издан только в 1913 г.²⁷¹, однако его стихотворения печатались в разных изданиях. «Из-за острова на стрежень» является частью поэтического цикла о Разине (1883), отдельные стихотворения которого соединены в единый сюжет. В этот цикл включены также волжские «предания» и легенды; ключевым и явно преобладающим количественно определением, относящимся к Волге и ее берегам, выступает у поэта слово «родной/родная». Нет точных сведений о том, когда именно произошло значимое введение в текст песни прилагательного «русская», однако все важнейшие определения Волги Садовникова можно считать типичными мотивами ее описания на протяжении предыдущего столетия: «кормилица», «матушка», «родная».

Вопрос о том, когда Волга стала русской рекой, находит ответ и в научно-популярной географической литературе о Волге начиная с 1870-х гг. Ответ зависел от того, как понималось значение определения «русская» в отношении Волги. В государственно-историческом смысле таким историческим рубежом считалось, как уже говорилось, овладение Казанским и Астраханским ханствами: «После долгой борьбы Казань досталась русским, и с этого момента Волга сделалась нашею народною рекою, кормилицей русского народа»²⁷². Почти бесспорной эта точка зрения стала благодаря С.М. Соловьеву. Историк придавал взятию Казани значимость восточноевропейского масштаба, рассматривая конфликт Москвы и «татарских орд» как столкновение цивилизаций, в котором первая именовалась «европейской» и «христианской»²⁷³. «Пала Казань, и вся Волга стала рекой Московского государства»²⁷⁴, – утверждал он.

Однако к 1880-м гг. под рускостью стало пониматься в первую очередь этническое доминирование великорусов и их языка и культуры (политической, религиозной) в регионе, которое отражалось прежде всего в вопросе о русской (великорусской) колонизации Среднего и Нижнего Поволжья. В учебнике 1867 г. Волга становилась своеобразной аллегорией именно такой рускости: «Как Волга превосходит своею величиною все другие реки Европейской России, так и племя, ее населяющее, превосходит своим значением все другие племена Русского народа»²⁷⁵. Однако некоторых – в связи с концептуализацией «великорусскости» – гораздо больше волновал вопрос о том, какие именно племена в первые столетия осуществляли освоение Верхнего Поволжья, земли которого вошли в великорусский

край, так как оказались в составе Московского государства на раннем его этапе. Актуальность этому вопросу придавали пропагандируемые в популярной литературе идеи о том, что носителями и колонизаторами Волги были новгородские словене. Главным критерием определения племенной/этнической принадлежности оставался язык/наречие, поэтому П.Н. Милюков для решения этой проблемы обоснованно обращался к поволжским диалектам великорусского наречия. Но безуспешно: «...с переходом к великорусскому племени затруднения растут и становятся неразрешимыми. Лингвисты делают великорусское наречие на северно- и южновеликорусское. Между обоими в Среднем Поволжье существует промежуточное наречие, которое Даль называет “восточным”. Взаимные отношения между этими наречиями, а тем более подразделения их на говоры далеко еще не уяснены специалистами по истории языка»²⁷⁶. П.Н. Милюков считал, что составление четкой карты наречий позволило бы ответить на вопрос об антропологическом составе населения Поволжья на всем его пространстве. Наиболее важной задачей он считал установление факта, какое именно из славянских племен колонизировало Поволжье и был ли это один процесс или несколько разных волн колонизации – из Новгорода, из области кривичей или вятичей или все три течения постепенно слились в одно целое²⁷⁷.

Вопрос о том, когда и как стала Волга *русской* рекой, находился в центре внимания научной и учебной литературы в последнем двадцатилетии XIX в. Не подвергался сомнению факт, что он связан с историей присоединения Поволжья на всем протяжении реки, а также с современным его состоянием. Рассуждения на эту тему авторов географо-этнографических очерков весьма показательны. Акцентировалось внимание на том, что Волга не всегда была рекой именно русской – причем в нескольких значениях данного определения. Исторический очерк был призван показать основные военно-политические вехи освоения прибрежных волжских земель Российским государством и характер этого интеграционного процесса на разных этапах. Таким образом, «русская» понималась как «российская», т.е. являющаяся важной – в силу обширности и уровня экономического развития – частью государственной территории Российской империи.

Отвечая на вопрос, В. Рагозин указывал, что на этот процесс оказывали весьма значительное влияние обстоятельства истории. Но под историей автор понимает «отнюдь не походы и битвы, а процесс сложения русской народности, постепенной колонизации берегов Волги с ее притоками, – процесс, каким великая и прекрасная Волга мало-помалу становилась из реки финско-тюркско-болгаро-хазаро-монгольской рекою чисто русской, рекой, с которой неразрывно связано представление о самом происхождении, росте, богатстве и могуществе великой русской нации»²⁷⁸. В. Рагозин, таким образом,

вкладывал в определение «русский» не государственно-экономическое, а этнокультурное содержание, трактуя русскость двояко: как формирование русского (в значении великорусского) этноса в границах своего максимального территориального расширения и как становление нации – т. е. государствообразующего народа Империи, символом процветания и мощи которого становится главная водная артерия Европейской России.

Рагозин выделял несколько этапов этногосударственного движения славянского (будущего великорусского) племени вниз по Волге. *Начальный этап* процесса «формирования нового народа – русских и нового государства – России»²⁷⁹ он, естественно, связывал с окончательным оседанием и последующем освоением славянами волго-окского междуречья. *Второй исторической вехой* он считал племенное противостояние конца XIV в., когда и русские, и болгары претендовали на обладание Волгой²⁸⁰, которое завершилось ослаблением и полным поражением Казанского и Астраханского ханств в период правления Василия III и Иоанна IV в XV–XVI вв. С момента полного вхождения Поволжья в состав Российского государства этническое смешение и эволюция русского этнического типа обретает интенсивный характер, поскольку регион становится своеобразным плавильным котлом славянских и неславянских групп в антропологическом и этнографическом отношениях. Кроме того, сам местный русский тип, по мнению автора, видоизменялся под влиянием нескольких миграционных волн из разных областей Российского государства – в частности, из крестьян-переселенцев и так называемого беглого элемента, составившего позже ядро «воровских казаков»²⁸¹. В такой трактовке очевидно, что «русской рекой» Волга становится не ранее конца XVIII в. Еще одним аргументом в пользу этой версии является обретение «покоя» – «конец безголовщины»²⁸², наступивший благодаря усилиям Екатерины II.

М. Валуева, автор научно-популярной книги «Когда и как стала Волга великой русской рекой» (1904) констатировала, что «Волгу еще очень долго, даже еще и в XIX веке» нельзя было назвать «вполне русской рекою»²⁸³, вкладывая в данное определение значение то же, что и В. Рагозин: русское преобладание в этническом отношении и цивилизационное доминирование. В 1865 г. один из авторов путеводаителя сетовал на то, что в «культурном отношении» Поволжье не все стало русским: есть такие области, «новые» – «некоренная Русь» (от Симбирска до Самары), куда «русский человек пришел колонистом и во время недавно минувшее, так что и не успел еще хорошенько заселить [этот край] и сообщить ему вид, обнаруживающий прочную культуру»²⁸⁴.

Повествование о дославянском историческом периоде и о народах, населявших берега Волги, строится Валуевой в системе проти-

вопоставления русских инородцам как более развитой культуры, побеждающей народы на иной стадии исторического развития. Финны именуется «полудикими» – так как «земледелие было у них в плохом состоянии», а главными занятиями являлись охота, звериный промысел и рыболовство²⁸⁵. Более просвещенными народами считает автор хазар и болгар – они имели государственность и религию. Первые приняли «магометанство, а царь их – и иудейство» и были основными посредниками в торговле между азиатскими и европейскими народами; вторые «по своему развитию и образованию... стояли гораздо выше своих соседей», приняв ислам от арабов («одного из самых просвещенных народов»). Повествование о дославянском историческом периоде и о народах, населявших берега Волги, как видим, строится М. Валуевой в опоре на несколько главных оппозиций, призванных определить и аргументировать цивилизационный «статус» этих племен: дикость/цивилизованность, варварство/просвещенность, язычество/христианство. Так в кратком историко-этнографическом очерке истории Поволжья до начала славянской колонизации выстраиваются столь характерные для последней четверти XIX в. неформальные классификации этносов и культур. Просвещенность выступает в оппозиции к дикости («полудикости»), а земледелие трактуется как один из главных признаков цивилизованности. Наличие государственности и церкви заключает эту внешнепризнаковую триаду.

Следующий отрезок истории Поволжья связан с постепенным распространением по берегам Волги славянского племени. Его Валуева делит на несколько этапов. *Первый* – освоение тех земель, которые считаются «исконно русскими», – берегов Верхней Волги и Оки. Важно отметить, что этот первый период связан с «началом русской истории» – т.е. государственности в Новгороде. Именно из Новгорода русские «владения распространяли свои пределы по Днепру», а затем и по Волге²⁸⁶. Ранняя славянская колонизация и миграция выступают историческим аргументом в пользу органичности притязаний славян (славяно-русов) на этот регион и позднее. Поскольку Новгородская земля не была плодородной, главными промыслами ее населения были звериный и рыбный, поиски добычи «завели» славянина в междуречье Оки и Верхней Волги, откуда началось вытеснение местных финских племен. Этот процесс, несмотря на отдельные жестокие стычки, поначалу в целом носил мирный характер, по мнению Валуевой. «Слияние происходило постепенно», но следы его сохранились в топонимах и гидронимах региона, в языке и «даже в наружности обитателей» («нос луковицей и выдающиеся скулы унаследованы от финских предков»²⁸⁷). Вскоре в области Верхней Волги появились переселенцы и из Руси Днепровской.

Второй этап автор связывает с развитием княжеств Северо-Восточной Руси – Ростовским, Суздальским и др. Рубежным представляется начало XIII в. – возникновение Нижнего Новгорода знаменует собой победу над мордвой в устье Оки.

Следующий этап соотносится со временем постепенной стабилизации южных рубежей Московского государства, когда главными его соперниками на Волге оказываются Казанское и Астраханское ханства. Начало этого, *третьего этапа* связано с ослаблением, захватом и присоединением земель этих государств Иваном Грозным в середине XVI в. «Завоевать Казань и Астрахань значило завоевать Волгу. Но мало завоевать, надо еще покорить, смирить те разноплеменные народы, что жили по Волге, и надо заселить Поволжье русскими людьми. Тогда только Волга станет действительно русской рекой»²⁸⁸. В этой фразе можно усмотреть своеобразную формулу реализованной волжской русскости: «завоевать, покорить, смирить, заселить».

Последовавший за этим процесс занял длительный период, связанный вновь с колонизацией: *во-первых*, с возобновлением «старинного движения русского народа вниз по Волге»²⁸⁹ и, *во-вторых*, с миграцией. Однако спокойствию новых русских обитателей Среднего Поволжья все еще грозила опасность в лице «инородцев, калмыков и воровских казаков». Жестокие восстания под водительством Степана Разина и Емельяна Пугачева стали очевидным следствием незавершенности освоения и удаленности от центральной власти. Несмотря на усилия Екатерины II, переселившей в пустовавшие земли Нижней Волги немцев, «Поволжье еще долго было во власти разных инородцев и русское население ютилось лишь по самому берегу великой реки». «До самого последнего времени, – пишет, не уточняя, М. Валужева, – русские поселения по Волге оказывались в осадном положении: с Волги им угрожали воровские казаки, сзади из степей на них напирала кочевники – калмыки и башкиры»²⁹⁰. Автор утверждает, что коренной перелом произошел только в 1840-х гг., когда по Волге стали ходить пароходы, что активизировало сообщение, торговые связи, а также способствовало укреплению местной власти («началась мирная торговая жизнь промышленного населения»). Иной период «успокоения» Поволжья называет автор этнографического очерка для детей: после восстаний «татарвы, черемисов, мордвы непокорной», после гуляний и грабежей «вольницы безголовой», после череды «наездов воровских казаков» и ватаг с Дона и Яика и пришедших им на смену разбойничьих набегов «бездомной братии» «Стеньки Разина» и «Емели Пугачева» это времена Екатерины Великой. Только после этого стали «богатеть села, зашумели ярмарки и поплыли со всех концов суда с товарами»²⁹¹. Встречается и еще одно (правда, редкое) утверждение: «Русской она (Волга. – М.Л.) сделалась при владимирском князе Юрии Всеволодовиче»²⁹² – основателе Нижнего Новгорода.

В описаниях Волжского региона 1860-х – 1900-х гг. отчетливо заметно стремление (столь характерное для жанра путеводителей по Отечеству и его отдельным регионам) показать облик городов и достопримечательностей, привлекательный для потенциальных туристов и путешественников – как в связи с комфортабельностью, так и в эстетическом отношении. Движение по реке, определявшей иной ракурс, давало больше возможностей для восхищения прибрежным пейзажем и видами городов, чем сухопутное передвижение по плохим дорогам, и не могло не способствовать реализации этого стремления²⁹³.

«У Саратова, – пишет путешественник, – Волга широка, глубока и величественна, как мать российских рек. Характер ее красоты совершенно особенный и весьма различный от характера рек европейских. С одной стороны в нее смотрят золотые главы и золотые колокольни саратовские... с другой – расстилается необозримая степь. По влажному хребту Волги ... тянутся еще бечевою огромные досчаники, летают белым парусом окрыленные суда и ходят уже дымные теплоходы. Все это вместе составляет картину разительного великолепия!»²⁹⁴

Поразительное «раздолье вод – это величие картин, которые широкими чертами раскидываются на берегах ее»²⁹⁵. «Волга очаровательна и прекрасна»²⁹⁶, – вторит Кучину автор путеводителя Н. Благовидов полвека спустя. Почти рекламным слоганом звучат слова того же автора: «Созерцая царицу рек и ряд прелестных ландшафтов, ласкающих глаз, вы увидите, как величественна Волга весной, очаровательна летом, роскошна днем, в особенности она прелестна и таинственна вечером»²⁹⁷. Красоту Волги могли понимать и как величественные патриотические пейзажи не лирического (что явно преобладало в поэзии²⁹⁸), а более прагматического характера, воплощающие все тот же мотив благополучия, трудолюбия и довольства жителей ее берегов независимо от сословной принадлежности и материального достатка. Наслаждение красотами Волги описывали и те, кто ратовал за развитие туризма в регионе, – А.Н. Пыпин и А.П. Субботин. Лирические зарисовки пейзажей помещаются и в географические описания, и в путеводители: «В моей голове звучал длинный ноктюрн, навеянный Волгой, волшебной ночью на ее берегах»²⁹⁹. Хрестоматии по отечествоведению включали, как правило, отрывки из художественных произведений и документальных очерков о Волге.

Отдельным объектом исследования могли бы стать поэтические произведения о Волге³⁰⁰, игравшие, как и живописные волжские пейзажи³⁰¹ (а начиная с 1860-х гг. и фотографии³⁰²), заметную роль в формировании представлений о типичном русском пейзаже, национальной символике и об идеальном образе Отечества. Значение искусства

в патриотической пропаганде Волги как воплощения русскости хорошо понимали и в XIX в. Один из наиболее часто переиздававшихся путеводителей, написанных Г.П. Демьяновым (1-е изд. – 1886 г.), уже вполне целенаправленно открывает книгу довольно обширным блоком стихотворений русских поэтов, посвященных Волге³⁰³.

Однако даже поверхностный содержательный анализ собранных в антологию поэтических произведений о Волге начиная с конца XVIII в. выявляет некоторое несоответствие основным тенденциям изображения Волги в научно-популярных нарративах и в поэзии одного и того же времени. Наиболее отчетливо оно проявляется в обращении к государственно-патриотическим и фольклорным мотивам.

Центральное место в более чем 130 стихотворениях как известных, так и полузабытых сегодня сочинителей (из которых следует упомянуть истинных певцов Волги – таких как Д.Н. Садовников, А.А. Навроцкий, Л.Н. Треволев, У.П. Розенгейм, бывших настоящими авторами песен, именуемых ныне народными³⁰⁴) занимает пейзажная и любовная лирика. Много писали о Волге как малой родине поэты, чье детство и юность протекали на ее берегах (в том числе Н.М. Карамзин, И.Н. Дмитриев, Н.М. Языков, Н.А. Некрасов, А.А. Коринфский и др.). Весьма значительную группу составляют произведения, стилизованные под народные сказки, былины и песни, объединенные сюжетами истории Поволжья. Их главными героями являются «разбойнички», ватаги воровских казаков и, конечно, Стенька Разин. Поэтические рассказы о тяжелой судьбе многочисленных обездоленных и нищих, готовых на любую работу волжских париев – бурлаков, стали особенно популярны в 1870-х гг., однако они не столь многочисленны, как лирические пейзажные зарисовки. Образы Волги-матушки как родной стороны, малой родины в поэзии (и прозе) последней трети XIX в. воплощают, как правило, женские образы³⁰⁵.

Но наиболее редким в лирическом наследии русских поэтов этого времени оказывается мотив Волги – реки российской, державной, символа Русского государства. Логично было бы предположить, что он должен был стать особенно актуальным в период активной популяризации географических и исторических знаний об Отечестве – в период формирования национальной идентичности, т.е. в последней четверти XIX в. Но именно в это время ведущими темами в лирике становятся исторические (фольклорные) сюжеты и воспевание красоты и любви к малой родине – своеобразно переосмысленный региональный или областнический патриотизм. Напротив, в конце XVIII – начале XIX в. создаются первые и наиболее имперски-ангажированные строки о Волге – «священнойшей в мире реке». Это стихи Н.М. Карамзина 1793 г., которого считают «основоположником» волжской темы в русской поэзии.

В них Волга предстает своеобразным олицетворением мощи Империи в своей женской ипостаси (с явным соотношением с императрицей Екатериной Великой), с характерными акцентами на природное изобилие и благоденствие тех, кто живет на ее берегу, – благоденствием, порожденным щедростью Волги – матери-царицы и Екатерины – матери-царицы: «Дерзну ль хвалить красу твоих берегов, / Где грады, веси процветают, Поля волнистые сияют / Под тению густых лесов» и «-/Где теперь одной державы народы в тишине живут / И все одну богиню чтут, / Богиню счастья и славы». Строки: «Везде щедроты разливаешь, / Везде страны обогащаешь»³⁰⁶ – могут быть в равной степени отнесены и к Волге, и к императрице, что развивает мотив, заданный в первых словах обращения: «Кристалльных вод царица, мать!»³⁰⁷. Исследователи национального пейзажа в лирике Н.М. Карамзина полагают, что патриотизм и наслаждение русской природой у него как бы расходятся. Не став объектом эстетического наслаждения, его русский пейзаж несет на себе явный отпечаток идеализации³⁰⁸, в оде «Волга» соединяющийся с характерным для оды пафосом.

Тема Волги как символа Отечества отчетливо прочитывается и в произведениях П.А. Вяземского (1816) и Н.М. Языкова, в стихотворениях которых Волга предстает в «величии» и могуществе, в торжестве природной мощи, в отзвуках «России древней славы»³⁰⁹, становясь символом России (Вяземский), а волжский пейзаж предстает воплощением типично русского, национального – но не мягко-лирического, а величавого, пышного, гордого: «Волга... / В блеске горделивом... / На поля богатства льет» («Чужбина»³¹⁰) или как восхищение славным прошлым предков – «могучих дедов» и «славянских героев победами» на родной земле, которая у Языкова – на берегах Волги («Моя родина»³¹¹).

*«Громадное значение Волги
в жизни великорусской народности неисчислимо»³¹²*

В самом конце XIX – начале XX в. в текстах определяется – а точнее было бы сказать, «формализуется» значение Волги для русской экономики, культуры и истории. Анализ и реконструкция отдельных элементов этой осознанно фиксируемой и явно пропагандируемой роли Волги дают возможность сделать некоторые заключения.

Вовсе не на первом месте оказывается то, что представлялось столь важным в конце XVIII – первой половине XIX в., а именно обширность территорий Волжского региона (около трети европейской

территории России), в связи с чем роль Волги становилась определяющей – прежде всего для державной мощи Российской империи, опирающейся на экономическое процветание и благосостояние.

Однако не только физические (протяженность и разветвленность речной системы Волги) параметры делали ее главной рекой в Европе, но и историко-этнографическая специфика; это и «громадность, и обилие вод, и разнообразие природы, и влияние на историческое развитие народов и, наконец, богатство исторических явлений, ей исключительно принадлежащих»³¹³. Подчеркивалась роль Волги в межцивилизационных контактах – в физическом и символическом отношениях, ведь она выступала «посредником» между «европейским Западом и азиатским Востоком». В этом смысле ее можно считать двойственной, ибо «она не могла стать объединяющим фактором в племенном отношении, не представляла этнографического единства (как, например, Рейн)»³¹⁴. Ситуация изменилась только с завоеванием Средней и Нижней Волги Иваном Грозным. Вполне объяснимы в этом контексте частые сопоставления Волги с Рейном (реже – с Дунаем и Днепром) прежде всего не с географической точки зрения, а в связи с их определяющим значением для этнографии, истории и культуры живущих вдоль их берегов народов³¹⁵. Поволжье в этом отношении отличало явное несходство отдельных регионов по климату, промысловым и промышленным возможностям, этническому составу и религиозной принадлежности населения. Однако в контексте уже рассмотренной дихотомии север/юг и приписываемых их обитателям свойств констатировался удачный «баланс», гармоничное соотношение, позволявшее избежать крайностей климата и, как следствие, резких контрастов в предрасположенности жителей к просвещению: «Область Волги по преимуществу удобна для развития образованности; в ней нет такой подавляющей бедности, как на севере, и нет такого избытка в произведениях, который бы располагал к лености, как на юге»³¹⁶.

Кроме того, Волга соединяет разные миры – Европу и Азию. Именно эти аспекты ставились на первое место до 1860-х – 1870-х гг. А в 1890-х и на рубеже XIX–XX вв. бесспорно доминирующим в определении значения Волги оказывается детерминирующая роль региона в колонизационных процессах, задавших направление и своеобразие русской истории – как государственной власти, так и народной жизни. Речь идет, *во-первых*, о процессе формирования великорусского этноса и, *во-вторых*, об исторических путях складывания русского национального ядра в целом. Довольно трудно и не всегда возможно точно и безошибочно интерпретировать нюансы словоупотребления, поскольку определение «русский» применяется в текстах о Волге начиная с 1890-х гг. для обозначения как великорусской этничности, так и русскости в ее триединстве и в

то же время для фиксации процессов общеимперских, национальных (мы уже упоминали об этих тенденциях словоупотребления этнонимов в этот период во второй главе). Так или иначе, вопрос о колонизации в двух аспектах – историческом и современном – оказывается на следующем по значимости месте после концепции «Волга – русская река» в качестве национального символа и типа. Поволжье явно претендовало на то, чтобы стать регионом, репрезентирующим «великорусскость» как русскость, а великорусов как нациеобразующий этнос.

Авторы выказывают убежденность в том, что русская колонизация волжских земель с момента их интеграции в состав Московского государства «нашла себе здесь весьма благоприятные условия для своего развития и может считаться примером самой блестящей и прочной из колонизаций»³¹⁷.

Распространение русской «силы» и «мысли» вниз по Волге трактовалось как исполнение исторической задачи, предопределенной великорусскому народу в широком смысле – его государственной власти, интеллигенции и народу в целом. При этом «овладение» понималось многозначно: это и победа над татарами, и присоединение к Москве территорий Нижнего Поволжья, и стремительное (хотя и весьма трудное) продвижение на юг русских переселенцев (вначале – военных, затем – крестьян, потом – беглых), и, наконец, собственно экономическое (прежде всего земледельческое) освоение региона. Только сознательные усилия привели «к полному умиротворению края, к его колонизации, просвещению и обрусению» при напряженной деятельности «со стороны правительственной власти, громадной работе народного духа по внедрению в новой инородческой области начал русской культуры, государственности и веры, – работе, неустанно продолжающейся и до нашего времени»³¹⁸.

Причин тому несколько. *Во-первых*, «это произошло как вследствие чрезвычайно удобных природных условий, так и вследствие того, что колонизация была двинута одновременно из различных русских областей и при этом все время имела руку об руку и земледельческий, и промышленный характер»³¹⁹.

Во-вторых, это стало следствием врожденного племенного характера великорусов, которым были присущи энергия, предприимчивость, склонность к освоению новых пространств и видов деятельности. Многие народы обитали на берегах великой реки, но присоединить их к одному государству, освоить его ресурсы, создать новые источники благосостояния и сформировать единый физический племенной тип удалось лишь русским: «Не будь Волги... мы были бы киргизами-кочевниками... Значение Волги для всего нашего северо-юго-востока несомненно, но только славянское племя, двинувшееся по Волге, умело ею воспользоваться»³²⁰.

В-третьих, позиция великорусской племенной отрасли в регионе: «Послужив связующим элементом между конгломератом различных народностей... (финских, тюркских и монгольских, а впоследствии и... присоединенной германской)... [Волжский регион] занял не только в административном, но и в экономическом отношении *подобающее ему первенствующее место* (выделено мной. – М.Л.), что не всегда можно сказать относительно других областей, колонизованных русскими»³²¹.

Колонизация в этнографическом смысле понималась, в сущности, как ассимиляция русскими разноплеменного и поликонфессионального населения, она рассматривалась как исполнение важнейшей и благородной цивилизаторской роли – поскольку православная вера и более высокий уровень развития европейской русской культуры обязывают к этому. Ключевыми концептами для ее описания становятся «сила» и «умиротворение»: «Когда... [славяне] сплотились в одно сильное государство, русла Оки и Волги сделались артериями, посредством которых русская сила, русская мысль разливалась по дремучим лесам Верхнего и Среднего Поволжья и по пустынным степям Поволжья низового»³²². Описывая своеобразие Волжского региона, А.Н. Пыпин настоятельно выделяет его роль как цивилизационного пограничья («исстари она (Волга. – М.Л.) была первой границей между Европой и Азией и в некоторых местах остается границей и теперь»³²³), которое одновременно воплощает в себе контактную зону Запада и Востока – как в географическом, так и в культурном смыслах («здесь один из исходных пунктов нашего “стремления на восток”»³²⁴).

Исполнение задачи распространения русской «силы» и «мысли» вниз по Волге (та историческая предопределенность, о которой писал С.М. Соловьев) в XVII–XIX вв. было сопряжено, как постоянно подчеркивается в текстах различных жанров, с большими усилиями и жертвами: «Много трудов и усилий пришлось затратить русскому народу, прежде чем удалось ему наконец овладеть матушкой-Волгой»³²⁵.

Мотив цивилизаторской миссии России и русских (прежде всего великорусов) в отношении народов Поволжья можно расценивать как один из ключевых в волжском дискурсе второй половины столетия в целом. Не без влияния концепции С.М. Соловьева, вероятно, была сформулирована и идея о том, что Волга из «азиатско-европейской реки» (каковой являлась до имперской истории России) начиная с периода Петровских преобразований стала «рекой истинно европейской и получила значение иное, более высокое: служить проводницей образованности и цивилизации в центр Азии»³²⁶. Посредническая миссия России могла осмысляться не только как одностороннее воздействие, она могла интерпретироваться и как выгодная для государства и народа. Причем не только в «умственном развитии», но и с точки зрения «чисто материальных интере-

сов». Д. Мордовцев писал: «Принимая из рук Европы ее интеллектуальные богатства, она (Россия. – М.Л.) могла бы передавать их коснеющему в застое и невежестве Востоку, а от него брать его материальные сокровища и отдавать их Западу»³²⁷. Но эта главная миссия России, ее историческая роль может быть исполнена только при условии «высокого уровня нравственных и материальных сил, которые необходимы для цивилизаторской деятельности»³²⁸. Так еще раз подчеркивалась не только избранность России на пути просвещения, но и цена исполнения этой задачи.

В-четвертых, собственно этнические последствия колонизации отразились на выработке особого регионального «физического типа» великоруса, в котором, в отличие от славяно-финской основы великоруса, заметно воздействие не только «финской, но и татарской инородческой стихии»³²⁹. Мотив цивилизаторской миссии России и русских (прежде всего великорусов) в отношении народов Поволжья можно расценивать как один из ключевых в волжском дискурсе второй половины столетия в целом. Посредническая миссия России могла осмысляться не только как однонаправленное воздействие – она интерпретировалась как выгодная для государства и народа. Причем и в перспективе «умственного развития», и с точки зрения «чисто материальных интересов». Д. Мордовцев писал: «Принимая из рук Европы ее интеллектуальные богатства, она (Россия. – М.Л.) могла бы передавать их коснеющему в застое и невежестве Востоку, а от него брать его материальные сокровища и отдавать их Западу»³³⁰. Но эта миссия России может быть исполнена только при условии «высокого уровня нравственных и материальных сил, которые необходимы для цивилизаторской деятельности»³³¹. Так еще раз подчеркивается не только избранность России на пути просвещения, но и цена исполнения этой задачи.

Суть процесса складывания великорусского этноса В. Рагозин видел в «претворении русским народом многих чуждых ему элементов (народностей) в свою плоть и кровь»³³². Рассуждая об исторической племенной ассимиляции, происходившей на волжских берегах, он понимал этническое слияние как в первую очередь процесс антропологический и культурно-этнографический, задаваясь вопросом о том, какие именно неславянские элементы составили русский тип: «Какова их мысль, их мировоззрение, их обычаи, физическо-нравственная структура?»³³³ Установив и осознав особенности «сторонней» примеси, полагал он, можно понять, «что они дают нам»: «Несут ли они с собой задатки здоровья, силы и способности к прогрессу или одну слабость – физическую и нравственную?»³³⁴. Механистическое понимание сущности «метисации», как именовалась в XIX столетии физическая («расовая» – в терминах эпохи) ассимиляция, а также убежденность в том, что в ее природе и в самой этнической телесности заложены как черты темперамента, харак-

тера, нравственных и умственных способностей, так и предрасположенность к цивилизации и прогрессу, приводят к тому, что формирование концепции «русской реки Волги» Рагозин связывает не столько с процессом поглощения сильным племенем другого, находящегося на более низкой ступени развития (как часто говорилось о финно-угорских народах Поволжья), сколько с обрусением инородцев. Главным его средством выступает христианизация и приобщение к европейской культуре посредством русской. Но Рагозин понимал процесс просвещения и окультуривания инородцев не как их обращение к нормам, ценностям и образу жизни цивилизованного народа (т.е. великорусов), а как «превращение» их в великорусов. Это представляется особенно значимым в связи с остротой проблемы так называемой ассимиляционной способности русского народа³³⁵ (о чем подробно говорилось в четвертой главе), актуальной в первую очередь в отношении финских народов Империи, причем не только для этнографической науки того времени. Вопрос имел серьезные практические последствия. О том же, по большому счету, писал, хотя и в более мягких выражениях, ранее А.Н. Пыпин. Волжский регион он приводил в качестве примера ассимиляции русскими «восточного элемента» – историк указывал на несомненные успехи его обрусения: «Крещенные восточные люди... вступая в кровные связи с русскими, наконец становятся совсем нашими соотечественниками, причем антропологически неизбежно передают в русскую народность известные элементы своей восточной природы». Этот процесс автор называет «прямыми встречами двух этнологических типов, сожительством их в одном общественном строе»³³⁶.

И только на втором месте после обрусения в перечне факторов значения Волги оказывается экономический, сопряженный с протяженностью реки и ее влиянием на производство и промыслы. Волга от истока до устья связывает в единую сеть разные регионы России и более того – север и юг страны, европейскую часть и Сибирь. Кроме того, она является главной водной артерией, соединяющей Европу и азиатский Восток: «Волга была постоянно и почти единственным... посредником, соединявшим европейский Запад и азиатский Восток»³³⁷. Она «кормилица» миллионов подданных Российской империи. Причем не только в среднем (житница страны) и нижнем течении (где процветает торговля), но даже в тех областях Верхнего Поволжья, которое вовсе не балует жителей благоприятными условиями ни для хлебопашества, ни для рыболовства, ни для садоводства. Но «Поволжье... давало широкий простор для самой разнообразной деятельности»³³⁸ – так как река позволяет развивать промыслы и активно торговать. И в этом видится одно из существенных отличий Волги от Днепра, дающее первой экономическое преимущество: «Промышленное население Волжского бассейна предприимчиво и

сравнительно более зажиточно, Днепровского – разорено и загнано... лениво и недеятельно вследствие самих климатических условий»³³⁹.

В контексте размышлений о значении Волги задаются авторы вопросом о «будущности» Поволжского края. В.П. Семенов полагал, что она зависит от двух условий, связанных исключительно с экономическим благосостоянием края, «счастливое географическое положение которого на перепутье» должно быть дополнено модернизированной инфраструктурой. *Во-первых*, «от улучшения судоходства по Волге в смысле поддержания в ней глубоких вод и охранения естественных рыбных богатств» и, *во-вторых*, от «количества перпендикулярных Волге железных путей»³⁴⁰. В. Рагозин же связывал будущее региона с полным обрусением инородцев. По этой причине еще раз необходимо обратиться к центральной теме процесса концептуализации «великорусскости» и русскости в целом, а именно к вопросу об ассимиляции – однако теперь уже на ином, не историческом, как ранее, а современном для авторов этапе.

*Ассимиляция
великорусов и инородцев в Поволжье и России.
Проблема нациестроительства*

Рагозин, размышляя о будущем Поволжского края и страны в целом, мечтал, по сути, о создании нового, метисного этнического («расового») типа с великорусской доминантой. Причем перспективы такой полной «антропологической победы» видятся автору вполне радужными: «Не слишком уж далеко то будущее, когда... Поволжье будет представлять сплошное русское население (разве только татары доле прочих инородцев сохраняют свои национальные отличия), и непосвященному в тонкости антропологической науки нельзя будет признать в этих русских потомков мордвы, черемисов и чувашей»³⁴¹. И в этом он, напомним, был солидарен с этнографом Смирновым (см. четвертую главу), который также полагал благотворным и неизбежным полную ассимиляцию финно-угорских народов Поволжья. Интересно, что почти за 40 лет до Рагозина автор военно-статистического обозрения Нижегородской губернии в качестве показателя успешности обрусения тамошней мордвы и черемисов (исповедующих православие и забывающих свой язык) указывал принятие православия, что приведет к тому, что они «вероятно, скоро будут говорить языком чисто русским. Одни татары остаются еще последовательными магометанами»³⁴². В. Рагозин, много рассуждавший об антропологической метисации, считал, что «физиологическое смешение» имеет значение «благоприятного обновления и оживления породы»³⁴³.

«Физическое смешение» рассматривалось Рагозиным и как «факт прогрессивного характера»³⁴⁴. Автор последовательно разбирает благоприятные и неблагоприятные факторы на пути полного слияния не-славянских племен с русскими, подчеркивая, однако, что оно должно носить исключительно органичный, постепенный характер и служить залогом его привлекательности с нравственной и цивилизационной точек зрения. Особенно подробно излагаются аргументы в пользу необходимости «положительного русского примера» для татар, которым может стать «развитие» и «свобода» самого молодого русского народа³⁴⁵. Следует отметить, что данный процесс трактуется Рагозиным как естественный способ формирования русской нации, а не только собственно русского народа: ведь аналогичный процесс обрусения происходит и с представителями других, «цивилизованных наций» в Империи (французами, немцами, шведами и поляками)³⁴⁶.

В этнографических описаниях Российского государства второй половины столетия большое место, как было показано в четвертой главе, уделялось выявлению этнических и региональных «расовых» (т.е. антропологических) типов и их вариаций в границах одного этноса. Великорусы, в силу весьма обширного ареала своего обитания, в этом отношении демонстрировали большое разнообразие. Некоторые авторы считали, что к концу XIX в. можно говорить о формировании отдельного «волжского» типа великоруса – применительно к территории Средней и Нижнего Поволжья, поскольку Верхняя Волга считалась колыбелью и ареалом формирования этнического ядра и господства «коренного», истинного великоруса³⁴⁷: «Разновременной наплыв переселенцев произвел в приволжском великорусе тип, несколько отличный от типа великорусов двух соседних, более коренных великорусских областей. Не осталось бесследным для этого типа и продолжительное соседство его с финско-тюркскими племенами. Если само великорусское племя представляется не чисто славянским, а смешанным, то здесь, в Среднем и Нижнем Поволжье, славяно-финская основа была еще раз видоизменена новым притоком инородческой стихии, не только финской, но и татарской»³⁴⁸. Вследствие этого вставал вопрос: следует ли рассматривать столь явно выраженные идеи необходимости и неизбежности ассимиляции русскими финно-угров (и других инородцев) Поволжья в научно-популярном дискурсе о Волге как расистские или же как свидетельство русификаторских настроений «консервативной» («реакционной») части образованного русского общества? Или же, напротив, подобные настроения суть следствие адаптации научных антропологических взглядов? Для ответа необходимо учитывать дисциплинарный контекст формирования бесспорно этноцентристских воззрений, и в частности расовых теорий в Западной Европе и России.

Антропологическое представление о естественности и неизбежности обрусения «восточных инородцев» финно-угорского происхождения и о позитивных (для обеих сторон) последствиях ассимиляции их великорусами в физическом и культурном отношении не было присуще исключительно авторам – создателям волжского дискурса. Однако их формулировки отличала прямолинейность и отсутствие теоретических аргументов (продиктованные адресатом и жанром). Явный этноцентризм – закономерный на стадии разработки и формализации национальной идеологии во всех европейских странах этого времени – прослеживается и в российских учебниках данного периода³⁴⁹.

Так в рассмотренных образах Волги, воплощенных резцом, «пером и карандашом»³⁵⁰ (о кисти написано довольно много другими исследователями), обнаруживается отчетливое стремление освоить ее разными способами: посредством путешествия, знакомства с историей и архитектурой, этнографией и культурой региона, с помощью художественной литературы, публицистики, поэзии и т.д. Однако главными задачами оказываются две. *Во-первых*, создать эмоционально близкий, волнующий зрителя и читателя образ родины, в котором Волге сначала предписывается причастность к истории, географии и культуре так называемый внутренней или коренной России. *Во-вторых*, Поволжье начинает рассматриваться как центральный регион в европейской (собственно российской) части государства, а позже Волга обретает статус «великой русской реки» (вводя народные образы «матушки-Волги-кормилицы» в поле наполняемой научной конкретикой метафоры) как главной артерии Российского государства, постепенно обрстая приметам национальной символики. В научно-популярной литературе последней трети XIX в. одним из ключевых становится вопрос о том, «когда и как стала Волга русской рекой». Под рускостью Волги понимается ее ведущее значение для экономики страны, а главным критерием становится успех ассимиляционного процесса в этнической сфере – обрусение³⁵¹.

«Русский Нил» В.В. Розанова

Розанов в своем очерке путешествия по Волге в 1907 г. как бы подводит некую черту под почти вековой волжской темой в русской культуре. Он касается всех основных узловых проблем волжского этногеографического дискурса предшествующих полутора веков: названий и символики, соединения Востока и Запада, Европы и Азии, соотношения «великорусскости» и русскости. И несмотря на то, что его, уроженца Поволжья, волжское путешествие (также знаковое, «завещанное» его земляком из Поволжья А.Н. Пы-

пиным) заставляет воспринимать увиденное эмоционально, а не рационализировать его, он тем не менее интуитивно коснулся всех самых острых тем.

Розанов «придумывает» Волге новое имя – «русский Нил». Такое наименование, очевидно, имеет ряд важнейших исторических и метафорических коннотаций, обращенных, однако, к образованному читателю, осведомленному о событиях древней истории. С другой стороны, такое наименование не только сопоставляет Волгу с реками, создающими цивилизацию (как о том писал Л.И. Мечников), но и обосновывает ее право на это имя, поскольку Россия для Розанова также обретает статус цивилизации. Обосновывая такое сопоставление, он перечисляет все характерные концепты и клише: «Волга-матушка», «Волга-кормилица»: «Мы – дети ее, мы кормимся ею. Она – наша матушка и кормилица»³⁵². Причины такого наименования В.В. Розанов – вполне в духе нового прагматического видения рубежа веков – приписывает тому, что она «родит из себя какое-то неизмеримое хозяйство», в котором «есть приложение» и нищему старику, и богачу. Поэтому русский народ, условия работы которого «столь тяжки», и назвал реку священными именами – «за ту помощь в работе, какую она дает ему, и за неисчислимы источники пропитания, какие она открыла ему в разнообразных промыслах, с нею связанных».

Волга ассоциируется со здоровьем, радостью, гармонией – телесной и духовной: «Все на Волге мягко, широко, хорошо»; «волжский хлеб» – в смысле источников труда – питателен, здоров, свеж и есть воистину «Божий дар». Она сама, как отдельное живое существо, здорова и хороша: «И все на Волге, и сама Волга точно не движется, не суетится, а только “дышит” ровным, хорошим, вековым дыханием».

Рассуждает философ и о членении Русской земли, настаивая на том, что Волжский регион – самостоятельный и отдельный, обладающий своей «физиономией» и имеющий важную миссию, присущую ему одному. Он предлагает выделить Волгу в отдельный исторический регион-страну Империи: «“Мир Волги” – как это идет! Свой особый, замкнутый, отдельный и самостоятельный мир. Как давно следовало бы не разделять на губернии этот мир, до того связанный и единый, до того общий и нераздельный, а слить его в одно!»³⁵³ Это утверждение Розанова обусловлено его идеей о нераздельности Русской/имперской земли, многоликость и несходство разных «стран» которой между собой очевидно и нуждается в принятии: «Россия, разделенная на совершенно нелепые губернии... на самом деле представляет группу стран совершенно иного в каждом случае характера, иной природы и со своим у каждой страны средоточием. ...Не надо противиться природе вещей. Не нужно трепетать за единство Империи, или, вернее, России, которая тем меньше

будет иметь тенденцию рассыпаться, чем более каждая часть будет чувствовать удобнее себя, поместится удобнее для себя географически, хозяйственно и этнографически. Искусственное разделение на “губернии” с отношением каждой губернии только к Петербургу, а не [к] соседним губерниям или вот не к “матушке-Волге” в ее целом – это не может не вредить тысяче местных интересов...»³⁵⁴ Интересен и перечень «стран»-земель у Розанова, он совпадает с историко-географическими областями Империи в ее самых крупных членениях: «Очевидно, “Приволжье”, “Приуралье”, “Черноморье”, “Кавказ”, “Туркестан”, “Балтика”, “Литва”, “Польша” – вот естественные “края” и “земли”, вот великие “землячества”, из которых состоит Великая Русь»³⁵⁵. Как видим, «Великая Русь» Розанова – это не Великороссия, а Российская империя, важнейшей особенностью которой является различие, многосоставность пространств и обитателей.

Для В.В. Розанова, как и для многих других, волжскими воротами в Азию оказывается Казань, в которой «в самом деле сливаются Великороссия, славянщина с обширным мусульманско-монгольским миром, который здесь начинается, уходя средоточиями своими в далекую Азию. А в Казани... “Ну, магометово царство пошло!” – думаешь»³⁵⁶.

И наконец, главным заключением о «волжанах», которые в изображении писателя обретают черты самостоятельного, одного из нескольких, русского типа, у него становятся слова о том, что они «“с Волги”... как-то начинают Россию, и где нет Волги, им кажется, что нет и России или что Россия там ненастоящая»³⁵⁷. Так к началу XX столетия окончательно оформилась и укоренилась концепция «Волга – русская река», Волга как символ и олицетворение русскости.

Успешность концептуализации идеи «Волга – главная русская река» объясняется удачным объединением основных компонентов (исторических, идеологических и дидактических) национальной идентификации, организующих волжский дискурс в единый текст. *Во-первых*, путешествие от верховий к низовьям Волги позволяло в хронологической последовательности вспомнить и рассмотреть живые свидетельства истории российской государственности.

Во-вторых, описание берегов реки от Твери до Астрахани включало непременно рассказ о природном разнообразии Поволжья на всем его протяжении – а это несколько климатических поясов, которые воплощали и символизировали географические масштабы Империи в целом, так как представляли типичные виды почти всего государства (за исключением арктической зоны). Перед путешественником разворачивалась картина смены природных ландшафтов от европейских к азиатским. Так географические характеристики обретали символическое значение.

В-третьих, детальное описание Волги, соединяя в сознании читателя пространственные образы и исторические вехи, апеллировало к его патриотическим чувствам (прямые выражения восторга и национальной гордости) и стремилось пробудить в нем эстетические потребности, подробно описывая чувства, возникающие от созерцания вида тех или иных локусов или пейзажей. С 1880-х гг. это активно дополнялось включением в тексты стихотворений о Волге – начиная с Карамзина и в особенности многочисленных псевдоразбойничьих песен и волжских легенд, стилизованных под фольклор (о Разине и т.д.).

В-четвертых, важнейшим лейтмотивом данного перемещения по реке становилась идея цивилизаторской миссии русского народа, который в процессе захвата, освоения и частичной или полной ассимиляции племен и народов, некогда населявших берега, приобщал их к культуре и традициям государственности. Великорусы и русский народ в целом отчетливо позиционировались как носители европейских христианских ценностей, оплот цивилизации на границах «варварской» Азии и «цивилизованной» Европы. А потому постоянно подчеркивалось, что именно на Волге находится контактная зона двух миров и культур – это Казань. Таким образом, путь вниз по реке давал возможность проиллюстрировать направление цивилизаторских усилий власти и русского народа в отношении других племен, освоить естественный путь, по которому шло расширение государственности по Волге, ее пространственное приращение в историко-хронологической последовательности: из прошлого в будущее.

В-пятых, с 1860-х гг. интенсивно развивается сформировавшийся еще в конце XVIII в. образ Волги как кормилицы (теперь уже всей Империи), а жителей, населяющих ее берега, как благоденствующих в этом природном изобилии.

И наконец, *в-шестых*, важнейшей ключевой идеей всего дискурса в 1880-х гг. становится вопрос о том, «когда и как стала Волга русской рекой». Эта концепция формируется только тогда, не ранее. Важнейшие ответы были связаны не с определением периода, а с объяснением того, что есть русскость вообще и как понимать определение «русская» в отношении Волги. Ключевым аспектом становится трактовка русскости в физическом, т.е. антропологическом, смысле. Ассимиляция различных народов – коренных обитателей берегов, их обрусение рассматривается как главный фактор русскости Волги, перспективы развития региона видятся именно в полной физической победе великорусского племени, и обсуждаются вопросы наследственности различных черт этнического нрава (характера) в будущем метисном населении. Такое антропологическое/расовое понимание этничности находится в явном противоречии, в свою очередь, *во-первых*, с научными представлениями о ходе племенной

метисации и так называемой ассимиляционной способности русского народа, которые активно обсуждаются антропологами и этнографами этого времени. *Во-вторых*, такое акцентированное расовое прочтение волжской русскости контрастирует с характерными для этих же текстов подробными этнографическими описаниями нерусских народов региона и с настойчивыми декларациями мирного сосуществования в поликонфессиональной и многонациональной Российской империи.

Концепт «Волги-матушки» можно считать центральным в географическо-этнографической тематике, что совпадает со значимой тенденцией в конструировании русского этнонационального ядра, осуществляемом в России в период нациестроительства – когда предпринимались попытки репрезентации Волги и Волжского региона в широком смысле как своеобразного идеально-типического символического пространства исконной русскости, выходящей за узкие рамки «великорусскости». Поволжье обозначалось как истинно-русский (в значении истинно российский, имперский) регион, который должен был представлять концепцию, обосновывающую идею соседства и мирного сосуществования народов в поликонфессиональной и полиэтнической Российской империи.

Однако вовсе не этими обстоятельствами была вызвана активная «апробация» на роль «истинно русской» (в значении «великорусской») земель Поволжья – главным образом Верхней и Средней Волги. Основанием послужила иная концепция – «Волги-матушки (кормилицы) русского народа». Эта метафора была не нова, но теперь она актуализировала в первую очередь роль русского Поволжья как образца для типизации российской – территории, давно воспринимаемой как пограничное или близкое к ядру пространство Европейской России, ныне наделяемое иным статусом.

В волжском дискурсе последней трети столетия нашел отражение еще один процесс, непосредственно связанный с концептуализацией «великорусскости»: постепенная синонимизация производных от этнонимов «великорусский» и «русский» (но не самих этнонимов «русский» и «великорус»), которую Н.И. Ульянов относил к более позднему, советскому периоду³⁵⁸. В повествовании о Волге явно доминировали понятия русскости в описании процессов колонизации и ассимиляции, при том что племенная принадлежность агентов данного процесса не вызывала сомнений: это были великорусские этнические группы, однако не всегда их можно было отнести к типичным великорусам, поскольку речь шла о ранних исторических периодах, но все же в границах московской государственности. На данном этапе состояние исследований не позволяет установить причины такой тенденции словоупотребления, которая, несомненно, отражала трансформации в этнонациональной идентификации об-

разованного сообщества. Одним из вероятных объяснений может служить, на наш взгляд, сам контекст волжских нарративов – те группы современных авторов Поволжья, которые можно было причислить к неинородцам, строго говоря, были как потомками великорусов, так и обрусевшими финнами и тюрками. То есть в сугубо антропологическом смысле великорусами они именоваться могли (если исходить из постулата смешения как типичного для процесса антропогенеза великорусов), но в этническом смысле, вероятно, еще демонстрировали приметы неполного слияния с русской культурой. Поэтому название их «русскими» снимало эти спорные детали идентификации, переноса акцент на важную для концепции русскости идею формирования этнокультурного единства государства в условиях ассимиляции и интеграции. В конечном итоге русская нация (как показывают некоторые современные исследования) выделась вне вопросов крови, почвы и вере.

Деятели, которых принято относить к консервативному и славянофильскому лагерю, понимают русскость как русскую нацию, придавая определению идеологическую аргументацию: «Вера народа, религия как выразительница наивысшего народного духа должна была стоять впереди языка, однако же на практике выходит иное: меж *русскими* (выделено мной. – М.Л.) людьми, считающими своею родиною и отечеством Россию, а ее самодержца своим царем, есть много не исповедующих православия, этого символа русской государственности»³⁵⁹, а одно лишь «обращение инородца в веру еще не делает его русским»³⁶⁰. Как русскость в этом высказывании отождествляется с подданством и лояльностью, так и политическая национальность идентифицируется как русскость.

Примечания

- ¹ *Rosander G.* The «nationalization» of Dalecardia. How a special province became a national symbol of Sweden // Tradition and Cultural Identity/Ed. by L. Honko. Turku, 1988. P. 93–142; *Honko L.* Studies on Tradition and Cultural Identity // Ibid. P. 7–26; *Mallki L.* National geographic, the rooting of peoples and the territorization of national identity among scholars and refugees // Cultural Anthropology. 1992. № 7, 1. P. 24–44; *Withers Ch. W. J.* Geography, Science and National Identity: Scotland since 1520. Cambridge, 2001; *Tolz V.* Russia: Inventing the Nation. Oxford–NY, 2001. Part 3; *Häyrynen M.* Landscape Imagery defining the national space // Suomalainen Maisema. Maisemantutkimuksen näkökulmia (the Finnish Landscape. Perspectives on Landscape Research). Helsinki, 2002. S. 42–49; *Tiitta A.* The Profile of the Finnish landscape // Ibid. S. 22–26; *Ely Ch.* This Meager Nature: Landscape and National Identity in Imperial Russia. De Calb, IL, Northern Illinois University Press,

- 2002; *Филиппов А.* Гетеротопология родных просторов // Отечественные записки. 2002. № 6. С. 48–62; *Замятин Д.Н.* Культура и пространство. Моделирование географических образов. М., 2006; *Он же.* Метагеография: пространство образов и образы пространства. М., 2004; Russian Empire: Space, People, Power. 1700–1930. Bloomington, 2007, а также тематические номера журналов «Отечественные записки» (2002. № 6) и «Ab Imperio».
- ² Одно из немногих научных исследований, посвященных формированию концепта Волги в русской культуре, которое необходимо упомянуть: *Кусмидинова М.Х.* Концепт Волги в историко-культурном развитии России: философский анализ. Дисс. ... канд. филос. наук. Астрахань, 2010. Концепт Волги в русской культуре рассмотрен в параграфе 2.2 второй главы.
- ³ Формула В.О. Ключевского «История России есть история страны, которая колонизируется», впервые, как известно, введенная в научный оборот С.М. Соловьевым, сыграла определяющую роль в трудах представителей так называемой исторической географии.
- ⁴ *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен // *Соловьев С.М.* Соч.: В 18 кн. М., 1988–1995. Кн. I. Т. 1. М., 1988. С. 59.
- ⁵ Там же. С. 67.
- ⁶ Там же. Гл. 1; *Ключевский В.О.* Курс русской истории. Часть первая // *Ключевский В.О.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1987–1990. Т. I. М., 1987. С. 59–63, 73–74, 80–81.
- ⁷ *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. Кн. I. Т. 1. С. 68.
- ⁸ Там же.
- ⁹ *Ключевский В.О.* Курс русской истории. Часть первая. Т. I. С. 53.
- ¹⁰ *Плещеев С.* Обзорение Российской империи в нынешнем ее новоустроенном состоянии. СПб., Морской кадетский шляхетский корпус, 1786. С. 11.
- ¹¹ Волхов и Нева «присоединяются» к перечню «великих» русских рек в период формирования мифологии имперского пространства, и это «включение» никак не связано с народными представлениями, оно «предложено» «сверху». У С. Плещеева Нева называется «знатнейшей судоходной рекой» (см.: там же. С. 12). Так, например, изваяния Невы и Волхова для каскада в Петергофе (1799–1801) были заказаны скульпторам (Ф. Щедрину и И. Прокофьеву соответственно) в 1798 г.; известна и парная скульптурная группа И. Прокофьева «Соединение рек Волхова и Невы» (1801), выполненная в терракоте – «проба для композиции “Триумф Нептуна, по бокам его реки Нева и Волхов” для фронтона Биржи (!) (1807)» (Выставка «Иван Прокофьев (1758–1828)», Русский музей, Санкт-Петербург, февраль 2009). «Главной рекой русской оды» в последней трети XVIII в. была Нева, утверждает в подтверждение нашего тезиса литературовед А. Петров (см.: *Петров А.* «Волжский хронотоп» в двух одах XVIII в. // *Духовная жизнь провинции. Образы. Символы. Картина мира.* Ульяновск, 2003. С. 30).
- ¹² *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. Кн. I. Т. 1. С. 68–69.
- ¹³ *Ключевский В.О.* Курс русской истории. Часть первая. Лекция XVII.
- ¹⁴ Там же. Т. II. Лекция XXI. М., 1988.
- ¹⁵ *Плещеев С.* Обзорение... С. 12.
- ¹⁶ Выставка «Иван Прокофьев (1758–1828)».

- ¹⁷ *Петров А.* «Волжский хронотоп» в двух одах XVIII в. С. 30.
- ¹⁸ *Мозговая О.* Ростральные колонны – символ морских побед // *Наука и жизнь.* 2000. № 2.
- ¹⁹ *Грбарь И.Э. Т.* Томон // *История русского искусства: В 13 т. М., 1953–1964. Т. XVIII. Книга первая. Русское искусство первой трети XIX в. М., 1963. С. 119.*
- ²⁰ *Нестеров В.В.* Львы стерегут город. СПб., 2001. С. 284. (Первое издание этой широко известной многотиражной книги, популярной среди краеведов и экскурсоводов, вышло в 1970 г.)
- ²¹ Автор выражает глубокую признательность консультантам и сотрудникам сайта «Мир Петербурга. Проект Центра петербурговедения ЦГПБ им. В.В. Маяковского и Всемирного клуба петербуржцев» (www.mirpeterburga.ru), которые в ответ на запрос в рубрике «Вопросы и ответы» от 18.07.2013 дали подробную справку об упоминаниях речных аллегорий этих скульптур в литературе советского времени.
- ²² *Бурьянов В.* Прогулка с детьми по Санкт-Петербургу и его окрестностям: В 3 т. СПб., 1838. Т. 1. С. 230.
- ²³ *Грбарь И.* История русского искусства и архитектуры. В 5-ти тт. М., 1910–1916. Т. 3. Архитектура Петербурга в XVIII и XIX вв. М., 1912. С. 493.
- ²⁴ Путеводитель по Ленинграду. Л., 1930. С. 145.
- ²⁵ *Весь Ленинград на 1933 год. Л., 1933. С. 455; то же: Весь Ленинград на 1935 год. Л., 1935. С. 501.*
- ²⁶ «Мир Петербурга. Проект Центра петербурговедения ЦГПБ им. В.В. Маяковского и Всемирного клуба петербуржцев» (www.mirpeterburga.ru).
- ²⁷ *Власов В.Г.* Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. СПб., 2004–2009. Статьи «Волга», «Волхов» (Т. II. СПб., 2004), «Нева» (Т. VI. СПб., 2006).
- ²⁸ *Татищев В.Н.* Волга // *Татищев В.Н. Собр. соч.: В 8 т. М., 1996. Т. VII и VIII. М., 1996. С. 217–218.*
- ²⁹ Там же. С. 217. Этот текст без изменений включался в последующие географические описания России и учебники XVIII в. (см.: *Чеботарев Х.* Географическое методическое описание Российской империи, с надлежащим введением к основательному познанию земного шара и Европы вообще, для наставления обучающегося при Императорском Московском университете из лучших новейших и достоверных писателей. М., 1776. С. 118; *Полунин Ф.А.* Географический лексикон Российского государства или словарь, живописующий в азбучном порядке... М., 1773. С. 58–59 и др.). Различие лишь в том, что название «Раа» Полунин приписывает греческим «землеописателям», в то время как Татищев предполагал, что именованная сарматское имя «Ра» было дано Волге от впадения Оки до устья.
- ³⁰ *Чеботарев Х.А.* Географическое методическое описание... С. 118.
- ³¹ Например: *Сергеев А.Н.* Очерк Заволжья // *Сергеев А.Н.* Географические очерки России. Вып. 1–3. СПб., 1866–1867. Вып. 1. СПб., 1866. С. 67.
- ³² *Чеботарев Х.А.* Географическое методическое описание... С. 118.
- ³³ *Полунин Ф.А.* Географический лексикон Российского государства... С. 58.

- 34 Краткое землеописание Российского государства для народных училищ Российской империи. СПб., 1787. С. 11.
- 35 *Татищев В.Н.* Волга... С. 217–218.
- 36 Там же. С. 217.
- 37 Волга // Энциклопедический лексикон (А.А. Плюшара): В 17 т. (не окончено) / Под ред. Н.И. Греча. СПб., 1835–1841. Т. XI. СПб., 1838. С. 297. Эта версия приводится и в поздней научно-популярной и детской литературе о Волге (см., например: *Турбин С.* Волга и Поволжье. СПб., 1875. С. 5; *Благовидов Н.* Волга-матушка. СПб., 1901. С. 4; *Валуева М.* Когда и как стала Волга русской рекой. СПб., 1904. С. 1).
- 38 Волга // Энциклопедический лексикон... С. 297.
- 39 Волга. Историческая этнография // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона: В XLI тт. (82 п/ж) / Под ред. Е.И. Андреевского. СПб., 1890–1907. Т. VII (ц/т 13). СПб., 1892. С. 29. Славянское происхождение гидронима «Волга» развил и обосновал М. Фасмер (см.: Волга // *Фасмер М.Р.* Этимологический словарь русского языка: В 4 т. / Пер. с нем. и комм. О.Н. Трубачева. М., 1964–1973. Т. 1. М., 1964. С. 336–337). Современное состояние вопроса отражено в: *Топоров В.Н.* Еще раз о названии «Волга» // Языкознание. Литература. История. История науки. К 80-летию С.Я. Бернштейна. М., 1991. С. 47–62.
- 40 Волга // Энциклопедический лексикон...
- 41 Волга // Географическо-статистический словарь Российской империи / Под ред. П. Семенова: В 5 т. СПб., 1863–1885. Т. 1. СПб., 1863. С. 509–517.
- 42 Волга // Русский энциклопедический словарь / Под ред. И.Н. Березина: В 16 т. СПб., 1873–1879. Т. V. СПб., 1875. С. 379–381.
- 43 Волга // Справочный энциклопедический словарь / Под ред. А. Старчевского: В 12 т. (13 кн.). СПб., 1847–1855. Т. 3. СПб., 1854. С. 280–282; Волга // Настольный словарь для справок по всем отраслям знания (Справочный энциклопедический лексикон): В 3 т. / Под ред. Ф. Толля (Т. 3 – под ред. В.Р. Зотова и Ф. Толля). СПб., 1863–1866. Т. 1. СПб., 1863. С. 511.
- 44 Волга // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона.
- 45 Волга // Энциклопедический лексикон... С. 306.
- 46 Там же. С. 295.
- 47 Волга. Историческая этнография... С. 29–31.
- 48 Глава I // Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей: В 22 т. (вышло 19) / Под ред. В.П. Семенова; под рук. П.П. Семенова и В.И. Ламанского. СПб., 1899–1913. Т. I. Московская промышленная область и Верхнее Поволжье. М., 1899. С. 4.
- 49 Волга // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона. С. 5.
- 50 Там же.
- 51 *Менделеев Д.И.* Важнейшие числа, относящиеся ко всей России и к ее частям по переписи 1897 г. // *Менделеев Д.И.* К познанию России. М., 2002. С. 48–50. По данным той же переписи, приводимым у *Виноградова*, чуть менее 19 млн. человек (см.: *Виноградов В.И.* Иллюстрированный спутник по всей Волге. Н. Новгород, 1897. С. 5).

- 52 *Менделеев Д.И.* К познанию России. С. 52.
- 53 Волга // Географическо-статистический словарь Российской империи. С. 509.
- 54 *Виноградов В.И.* Иллюстрированный спутник... С. 2.
- 55 *Благовидов Н.* Волга-матушка // Русская земля. Природа страны, население и его промыслы: Сб. для народного чтения: В 10 т. 3-е изд. СПб., 1901. Т. III. С. 361.
- 56 *Рагозин В.* Волга: В 3 т. СПб., 1880–1881. Т. 1. СПб., 1880. С. 49. Разница связана с вариантами фиксации начального истока Волги.
- 57 *Виноградов В.И.* Иллюстрированный спутник... С. 2.
- 58 *Нейдгардт П.П.* I. Очерк реки Волги // *Нейдгардт П.П.* Путеводитель по Волге. СПб., 1862. С. 4.
- 59 *Благовидов Н.* Волга-матушка. С. 361.
- 60 Там же.
- 61 Волга // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона. С. 5.
- 62 *Субботин А.П.* Волга и волгари. Путевые очерки. Т. 1. Верхняя Волга. Очерки I–VII. Губернии Тверская, Ярославская и Костромская. СПб., 1894. С. 4.
- 63 *Зуев Н.И.* География Российской империи: Курс средних учебных заведений. СПб., 1887. С. 83.
- 64 Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Т. 6. Среднее и Нижнее Поволжье и Заволжье. СПб., 1901.
- 65 Предисловие // Там же. С. III.
- 66 Там же.
- 67 *Зуев Н.И.* География Российской империи...
- 68 *Горизонтов Л.Е.* Казань и Казанская губерния на ментальных картах Российской империи XIX – начала XX в. // Имперские и национальные модели управления: российский и европейский опыт. М., 2007. С. 27–38.
- 69 Там же. С. 28.
- 70 Руководство к изучению Русской земли и ее народонаселения. По лекциям М. Владимирского-Буданова сост. и издал преподаватель гимназии во Владимирской киевской военной гимназии А. Редров. Киев, 1867. С. 75.
- 71 *Сухова Н.Г.* Развитие представлений о природном территориальном комплексе в русской географии. Л., 1981. С. 45–47.
- 72 *Горизонтов Л.Е.* Казань и Казанская губерния... С. 28–29.
- 73 Волга // Новый и полный географический словарь Российского государства, или Лексикон: В 6 ч. М., 1788–1789. Ч. 1. М., 1788. С. 161.
- 74 Руководство к изучению русской земли. С. 70.
- 75 *Горизонтов Л.Е.* Казань и Казанская губерния. С. 27–28.
- 76 Руководство к изучению Русской земли... С. 78.
- 77 Военно-статистическое обозрение Российской Империи, издаваемое по Высочайшему повелению при Первом отделении Департамента Генерального штаба: В 18 т. СПб., 1837–1854.
- 78 *Менделеев Д.И.* К познанию России. С. 48, 50.
- 79 *Овчинников М.* Очерк Нижегородской губернии в историко-географическом отношении: Материалы для родиноведения Нижегородской губернии. Н. Новгород, 1885. С. 1.

- ⁸⁰ Верховые города // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона. Т. VI (п/т 11). СПб., 1892. С. 81.
- ⁸¹ Волга // Справочный энциклопедический словарь... С. 282.
- ⁸² *Монастырский С.* Иллюстрированный спутник по Волге: В 3 ч. Казань, 1884. Ч. 2. С. 241.
- ⁸³ *Нейдгардт П.П.* I. Очерк реки Волги... С. 4.
- ⁸⁴ *Циммерман Э.Р.* Вниз по Волге: Путевые очерки. М., 1896. С. 47.
- ⁸⁵ *Монастырский С.* Иллюстрированный спутник. Ч. 2. С. 277.
- ⁸⁶ В природном отношении сегодня принято разделение Волги на верхнее (до устья Оки), среднее (от устья Оки до устья Камы) и нижнее течение (от впадения Камы до устья). В экономическом под Поволжьем понимаются только Среднее и Нижнее (см.: Поволжье // Большая советская энциклопедия. 3-е изд.: В 30 т. М., 1969–1978. Т. 20. М., 1975), но Поволжьем считается территория только побережья среднего и нижнего течения Волги. Береговые точки-границы трехчастного деления также не совпадают с речными: верхним называют земли от верховьев до Казани, средним – от Казани до Саратова, нижним – от Саратова до устья Волги (см.: Географическая современная иллюстрированная энциклопедия. М., 2006.)
- ⁸⁷ *Боголюбов Н.П.* Волга от Твери до Астрахани. СПб., 1862. С. 5.
- ⁸⁸ *Сергеев А.Н.* Поволжье // *Сергеев А.Н.* Географические очерки России. В 3-х вып. СПб., 1867. Вып. 3. С. 47–48.
- ⁸⁹ *Зуев Н.И.* География Российской империи... С. 83.
- ⁹⁰ *Сергеев А.* Поволжье... С. 47.
- ⁹¹ *Небольсин П.И.* Очерки волжского низовья. СПб., 1852. С. 1.
- ⁹² Очерк XVIII. Лесное Заволжье // Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении / Под общ. ред. П.П. Семенова, вице-председателя Императорского Русского Географического Общества: В 12 т. (19 кн.). СПб.–М., 1881–1901. Т. 6. Ч. 2. Москва и Московская промышленная область. М.–СПб., 1899. С. 190–220 (автор – *П.В. Засодимский*); Очерк IX. Тверское и Ярославское Заволжье // Там же. С. 221–242 (автор – *Р.С. Дорошкевич*).
- ⁹³ *Печерский П.И.* Верховное Заволжье // *Тимковский Д.* Земля и люди России: Географическая хрестоматия: В 4 вып. М., 1898–1900. Вып. 2. М., 1898. С. 25.
- ⁹⁴ *Сергеев А.* Очерк Заволжья // *Сергеев А.* Географические очерки России: В 3 вып. СПб., 1866. Вып. 1. С. 63–79; *Сергеев А.* Поволжье // Там же. Вып. 3.
- ⁹⁵ *Печерский П.И.* Верховное Заволжье // *Тимковский Д.* Земля и люди России. Вып. 2; По Нижней Волге // Там же. Вып. 3. М., 1899.
- ⁹⁶ *Павловский И.* География Российской империи: В 2 ч. Дерпт, 1843. Ч. 2. С. 130.
- ⁹⁷ *Сергеев А.* Очерк Заволжья. С. 63.
- ⁹⁸ Заволжье // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона. Т. XII (п/т 23). СПб., 1894. С. 107.
- ⁹⁹ *Рагозин В.* От истока Волги до слияния с Окой // *Рагозин В.* Волга. Т. 1. СПб., 1880. С. 49.
- ¹⁰⁰ Там же.

- ¹⁰¹ Там же. С. 49–50.
- ¹⁰² Там же. С. 50.
- ¹⁰³ Там же. С. 51.
- ¹⁰⁴ Волга // Русский энциклопедический словарь... С. 380.
- ¹⁰⁵ *Виноградов В.И.* Иллюстрированный спутник... С. 41.
- ¹⁰⁶ *Сидоров В.М.* Волга. Путевые заметки и впечатления от Валдая до Каспия // *Сидоров В.М.* По России. Вып. 1. СПб., 1894. С. 154.
- ¹⁰⁷ Там же. С. 201.
- ¹⁰⁸ Там же. С. 212. То же о Саратове: *Циммерман Э.Р.* Вниз по Волге... С. 111.
- ¹⁰⁹ *Сидоров В.М.* Волга... С. 311.
- ¹¹⁰ *Лескинен М.В.* Поляки и финны в российской науке второй половины XIX в.: «другой» сквозь призму идентичности. М., 2010. С. 98–102, 114–130.
- ¹¹¹ *Сабуров Я.* Поездка в Саратов, Астрахань и на Кавказ. М., 1835. С. 5.
- ¹¹² *Сидоров В.М.* Волга... С. 201.
- ¹¹³ Все без исключения работы о западниках и славянофилах содержат вопрос о взглядах представителей этих направлений на проблему Европы и «европейскости» России и русских.
- ¹¹⁴ *Лотман Ю.М.* Современность между Востоком и Западом // *Лотман Ю.М.* История и типология русской культуры. М., 2002. С. 748; Наказ комиссии о составлении проекта нового уложения // Сочинения императрицы Екатерины II: В 3 т. СПб., 1849. Т. 1. С. 4).
- ¹¹⁵ Одним из первых рассматривать Уральские горы естественной границей между Европой и Азией предложил, по его собственному признанию, В.Н. Татищев – вместо мифологических Рифейских гор, как считалось в античной и средневековой географии, и вместо реки Обь (как было принято с 1700 г. европейскими учеными) (см.: *Татищев В.Н.* Общее географическое описание всея Сибири // *Татищев В.Н.* Избранные труды по географии России. М., 1950. С. 50.) В учебниках географии России 1770-х гг. Урал уже однозначно называется природным «рубежом» Российской Европы и Азии (*Чеботарев Х.* Географическое методическое описание... С. 51–52; *Плецев С.* Обзорение... С. II). В XIX в. границей Азиатской и Европейской России признавались Уральские горы, р. Урал, Кавказский хребет и Каспийское море (см.: *Азиатская Россия* // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона. Доп. том I. СПб., 1905. С. 45).
- ¹¹⁶ Повествовательное землеописание. Ч. I // Новейшее повествовательное землеописание всех четырех частей света, с присовокуплением самого древнего учения о сфере, также и начального для малолетних детей учения о землеописании Российская империя описана статистически, как никогда еще не бывало. СПб., 1795 (пагинация части отдельная). III отделение. О России. С. 63–64.
- ¹¹⁷ *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен // *Соловьев С.М.* Соч.: В 18 кн. М., 1994. Кн. XIV. Т. 28. С. 50.
- ¹¹⁸ *Павловский И.* География Российской империи: В 2 ч. Дерпт, 1843. Ч. 2. С. 5.
- ¹¹⁹ О границах Европейской России и Сибири (как Азии) подробнее см.: *Ремнев А.В.* Географические, административные и ментальные границы Сибири

- XIX – начала XX в. // Электронный журнал «Сибирская заимка». 2002. № 8 (текст доступен по адресу: http://zaimka.ru/08_2002/remnev_border/). О соотношении Востока и Азии см. в: *Russia's Orient: Imperial Borderlands and Peoples. 1750–1917*. Bloomington, 1997; *Бассин М.* Россия между Европой и Азией: Идеологическое конструирование географического пространства // *Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет. Антология* / Сост. П. Верг, П.С. Кабытов, А.И. Миллер. М., 2005. С. 277–310; *Джераси Р.П.* Окно на Восток: Империя, ориентализм. Нация и религия в России / Пер. с англ. М., 2013; *Беккер С.* Россия между Востоком и Западом: интеллигенция, национальное русское самосознание и азиатские окраины // *Ab Imperio*. 2002. № 1. С. 443–464.
- ¹²⁰ Западная Европа // *Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона*. Т. XII (п/т 23). СПб., 1894. С. 243.
- ¹²¹ *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен // *Соловьев С.М.* Соч.: В 18 кн. М., 1991. Кн. VII. Т. 13. С. 44–45.
- ¹²² Европа // *Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона*. Т. XIa (п/т 22). СПб., 1894. С. 496–497.
- ¹²³ Этому вопросу был посвящен исследовательский проект о «мифе Европы» в польской и русской культурах (см., в частности: *Мочалова В.В.* Миф Европы у польских романтиков // *Миф Европы в литературе и культуры Польши и России*. М., 2004. С. 139–141; *Софронова Л.А.* Образ Европы в русском культурном контексте XVIII в. // Там же. С. 97–109).
- ¹²⁴ *Тольц В.* Российские востоковеды и общеевропейские тенденции в размышлениях об империях конца XIX – начала XX в. // *Imperium inter pares: Роль трансферов в истории Российской империи (1700–1917)* / Под ред. М. Ауста, Р. Вульпиуса, А. Миллера. М., 2010. С. 266–307.
- ¹²⁵ *Георги И.Г.* Описание всех в Российском государстве обитающих народов, а также их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей: В 3 ч. СПб., 1776–1777. Ч. 1. СПб., 1776. С. 16.
- ¹²⁶ *Пытин А.Н.* История русской этнографии: В 4 т. СПб., 1890–1892. Т. 1. СПб., 1890. С. 18.
- ¹²⁷ *Шмурло Е.Ф.* Восток и Запад в русской истории. Юрьев, 1895. С. 2.
- ¹²⁸ Азия // *Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.Е. Ефрона*. Т. I. СПб., 1894. С. 219.
- ¹²⁹ Там же. С. 220.
- ¹³⁰ Там же. С. 222.
- ¹³¹ *Лотман Ю.М.* Современность между Востоком и Западом... С. 756.
- ¹³² *Bassin M.* Russia between Europe and Asia: The Ideological construction of Geographical Space // *Slavic Review*. 1991. № 50. Р. 1–17; *Тольц В.* «Собственный Восток России». Политика идентичности и востоковедение в позднеимперский и раннесоветский период. М., 2013. Гл. 2. Восприятие Востока и Запада.
- ¹³³ *Джераси Р.П.* Окно на Восток...
- ¹³⁴ *Ибнеева Г.В.* Путешествия Екатерины II: опыт «освоения» имперского пространства. Казань, 2006.

- ¹³⁵ *Горизонтов Л.Е.* Внутренняя Россия на ментальных картах имперского пространства // *Культура и пространство. Славянский мир.* М., 2004. С. 210; *Он же.* Казань и Казанская губерния... С. 30–33.
- ¹³⁶ *Пассек В.* Очерки России: В 5 т. М.; СПб., 1838–1842. Кн. 3. Смесь. СПб., 1840.
- ¹³⁷ Там же. С. 22–23.
- ¹³⁸ *Яковлев Я.* Затерянная статья о Казани. Публикация и предисловие // *Литературное наследство.* Т. 61. М., 1953. С. 13–20.
- ¹³⁹ Казанские губернские ведомости. 1852. № 27. С. 314.
- ¹⁴⁰ *Сидоров В.М.* Волга... С. 201.
- ¹⁴¹ *Сырнев И.И.* Глава IV. Исторические судьбы Среднего и Нижнего Поволжья и культурные ее успехи // *Россия. Полное географическое описание...* Т. 6. С. 132.
- ¹⁴² *Валуева М.* Когда и как стала Волга русской рекой... С. 71.
- ¹⁴³ *Сабуров Я.* Поездка в Саратов... С. 5.
- ¹⁴⁴ *Сергеев А.* Поволжье... С. 59.
- ¹⁴⁵ *Пытин А.Н.* Волга и Киев. Впечатления двух поездок // *Вестник Европы.* 1885. № 7. С. 197.
- ¹⁴⁶ *Боголюбов Н.П.* Волга от Твери до Астрахани... С. 407; *Сидоров В.М.* Волга... С. 312.
- ¹⁴⁷ *Немирович-Данченко В.И.* У голубого моря. Люди и природа в низовьях Волги. СПб., 1897. С. 37.
- ¹⁴⁸ *Водовозов В.И.* От Царицына к Оренбургу // *Тимковский Д.* Земля и люди России: Географическая хрестоматия. Вып. 2. СПб., 1898. С. 74–76.
- ¹⁴⁹ *Сидоров В.М.* Волга... С. 312.
- ¹⁵⁰ *Монастырский С.* Иллюстрированный спутник... Ч. 2. С. 298; *Писемский А.Ф.* Путевые очерки // *Писемский А.Ф.* Соч.: В 4 т. СПб., 1861–1867. Т. IV. СПб., 1867. С. 10; *Турбин С.* Волга и Поволжье... С. 104.
- ¹⁵¹ *Боголюбов Н.П.* Волга от Твери до Астрахани... С. 407; *Монастырский С.* Иллюстрированный спутник... Ч. 2. С. 298. То же – в очерках Немировича-Данченко (см.: *Немирович-Данченко В.И.* У голубого моря... С. 37)
- ¹⁵² *Монастырский С.* Иллюстрированный спутник... Ч. 2. С. 298.
- ¹⁵³ *Нейдгардт П.П.* III. Подробное описание пути от Казани до Астрахани... С. 97.
- ¹⁵⁴ *Сидоров В.М.* Волга... С. 311.
- ¹⁵⁵ *Благовидов Н.* Волга-матушка... С. 298.
- ¹⁵⁶ *Сидоров В.М.* Волга... С. 311.
- ¹⁵⁷ *Турбин С.* Волга и Поволжье... С. 104.
- ¹⁵⁸ *Циммерман Э.Р.* Вниз по Волге... С. 124.
- ¹⁵⁹ *Писемский А.Ф.* Путевые очерки... С. 10–11.
- ¹⁶⁰ Там же. С. 12.
- ¹⁶¹ *Монастырский С.* Иллюстрированный спутник... Ч. 2. С. 298–299.
- ¹⁶² *Турбин С.* Волга и Поволжье. СПб., 1875. С. 5.
- ¹⁶³ *Сабуров Я.* Поездка в Саратов... С. 27.
- ¹⁶⁴ *Турбин С.* Волга и Поволжье... С. 5.
- ¹⁶⁵ Волга // *Новый и полный географический словарь...* Ч. 1. С. 160.
- ¹⁶⁶ Цит. по: *Походы Екатерины Второй по Волге и Днепру // Екатерина Великая по рассказу современника-немца // Русская старина.* 1896. № 11. С. 432–433

- (текст доступен по адресу: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVIII/1760-1780/Pochody_Ekateriny_Wolga_Dnepr/text1.htm).
- 167 Россия // Новый и полный географический словарь. Ч. 4. М., 1788. С. 173.
- 168 *Овсянников А.* Значение Волги // *Овсянников А.* Очерки и картины Поволжья. СПб., 1878. С. 1.
- 169 *Сидоров В.* Волга... С. 248; 262.
- 170 Там же. С. 262.
- 171 *Кучин Я.* Путешествие по Волге между Нижним и Астраханью. Саратов, 1865. С. 185.
- 172 *Нейдегарт П.П.* III. Подробное описание пути от Казани до Астрахани... С. 13, 16. То же в: *Турбин С.* Волга и Поволжье... С. 69, 75.
- 173 *Сидоров В.* Волга... С. 257, 258.
- 174 (*Сырнев И.Н.*) Нижнее Поволжье // Россия. Полное географическое описание. Т. 6. С. 124.
- 175 *Гациский А.С.* Волга от Ярославля до Нижнего // Живописная Россия. Т. 6. Ч. 2. Москва и Московская промышленная область. М.–СПб., 1899. С. 136–166.
- 176 *Благовидов Н.* Волга-матушка... С. 363.
- 177 Волга // Энциклопедический лексикон... С. 306.
- 178 Там же. С. 321.
- 179 Волга и ее значение для России. Казань, 1881. С. 17.
- 180 Откуда началась Святая Русь... С. 60.
- 181 Волга // Справочный энциклопедический словарь... С. 282.
- 182 Волга и ее значение для России. Всенародная история Российского государства / Под ред. К. Соловьева. Т. 1. Б.м., 1882. С. 17.
- 183 Всероссийская художественная выставка в Москве 1882 года. Приложение к ж. «Всемирная иллюстрация». СПб., 1882. С. 120.
- 184 Путеводитель по Всероссийской промышленно-художественной выставке 1882 года с планом Выставки и приложением указателя Китайской выставки П.Я. Пясецкого, Шведской выставки и других, расписаний поездов железных и конно-железных дорог, указателя театров и др. увеселений, бегов и скачек и прочих необходимых справок. М., 1882. С. 19.
- 185 Подробнее о гендерных воплощениях национальной идентичности см.: *Рябов О.* Гендерное измерение национализма: методологические проблемы исследования // Вестник Ивановского государственного университета. 2008. Серия «Гуманитарные науки». Вып. 2. С. 42–51; *Шоре Э.* Введение в тему: гендер и национальная идентичность. Теоретические подходы к проблеме «Гендер и нация» // Конструкты национальной идентичности в русской культуре XVIII–XIX вв. М., 2010. С. 12–22; *Вишленкова Е.А.* Гендерные коды в визуальном языке описания «русскости» (XVIII – первая четверть XIX века) // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. М., 2007. № 19. С. 85–110.
- 186 *Лескинен М.В.* Характерология славян в русской интерпретации: способы изображения гендерных типов «этнического Другого» // Токови историје. Београд. 2014. Бр. 3. С. 11–50.
- 187 *Mosse G.L.* Nationalism and Sexuality. Middle Class Morality and Sexual Norms in Modern Europe. L., 1985; Images of the Other in Ethnic Caricatures of Central and

- Eastern Europe / Ed. by D. Demski and K. Baraniecka-Olszewska. Warsaw, 2010. Part «Island on a Sea of Others». (В пяти статьях из этого раздела рассмотрены визуальные воплощения «своих» стран и народов – почти всегда это женские образы – «мать» или «дева».
- ¹⁸⁸ *Рябов О.В.* «Матушка-Русь». Опыт гендерного анализа поисков национальной идентичности России в отечественной и западной историософии. М., 2001. С. 45–47.
- ¹⁸⁹ Там же. С. 47, 103, 120.
- ¹⁹⁰ *Трепавлов В.В.* «Волга-матушка» – для кого? // Родина. 1998. № 4. С. 41–46; *он же.* Культ Волги у народов Восточной Европы // Великий Волжский путь. Казань, 2001–2002: В 2 ч. Ч. I. Казань, 2001. С. 50–55; *Он же.* Волга в сакральной топографии тюрков и славян // Великий Волжский путь. Ч. II. Казань, 2002. С. 137–150.
- ¹⁹¹ *Громыко М.М., Буганов А.В.* О воззрениях русского народа. 2-е изд. М., 2007. Часть третья. Царь и Отечество. Национальное самосознание. С. 453–461.
- ¹⁹² *Максимов С.В.* Литературная экспедиция. По архивным документам и личным воспоминаниям // Русская мысль. 1890. № 2. С. 26. Универсальная Программа частично опубликована в: *Писемский А.Ф.* Письма. М., 1936. С. 614.
- ¹⁹³ *Максимов С.В.* Литературная экспедиция... С. 26. О замысле и исследовательской программе экспедиции см.: *Clay С.В.* Russian Ethnographers in the Service of Empire. 1856–1862 // Slavic Review, Vol. 54. № 1. Spring 1995. P. 45–61; *Соколова В.П.* Народознание и русская литература XIX в. М., 2008. Гл. 4–5; *Вдовин А.* Русская этнография 1860-х гг. и этос цивилизаторской миссии: «случай» литературной экспедиции Морского министерства // Ab Imperio. 2014. № 1. С. 91–121.
- ¹⁹⁴ *Островский А.Н.* Путешествие по Волге от истоков до Нижнего Новгорода // *Островский А.Н.* Полн. собр. соч.: В 10 т. СПб., 1904–1905. Т. 7. СПб., 1905. С. 497–528.
- ¹⁹⁵ *Потехин А.А.* Путь по Волге в 1851 году // *Потехин А.А.* Соч.: В 12 т. СПб., 1903–1905. Т. 12. СПб., 1905. С. 1–41. Подробнее о его путешествии см.: *Селезнев В.* «Всякой другой рыбы, кроме красной, он гнушается...». Алексей Потехин в Саратовской губернии // Волга. 1998. № 11–12.
- ¹⁹⁶ *Писемский А.Ф.* Путевые очерки. 1857 // *Писемский А.Ф.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1959. Т. 9.
- ¹⁹⁷ *Боголюбов Н.П.* Волга от Твери до Астрахани...
- ¹⁹⁸ *Монастырский С.* Иллюстрированный спутник...
- ¹⁹⁹ *Рагозин В.* Волга: В 3 т. СПб., 1880–1881.
- ²⁰⁰ *Благовидов Н.* Волга-матушка... С. 3.
- ²⁰¹ В отдельности текст путешествия опубликован в: *Ушинский К.Д.* Поездка по Волге. Письма к приятелю // *Ушинский К.Д.* Поездки по России. Ярославль, 1969. С. 76–103.
- ²⁰² *Ушинский К.Д.* Детский мир и хрестоматия: Книга для классного чтения: В 2 ч. Первые годы обучения // *Ушинский К.Д.* Собр. соч.: В 11 т. М.; Л., 1948–1953. Т. 4. М.–Л., 1948. Ч. 1. С. 525–553.

- 203 Подробнее об этом см.: *Лоскутова М.* С чего начинается Родина? Преподавание географии в дореволюционной школе и региональное самосознание (XIX – начало XX века) // *Ab Imperio.* 2003. № 3. С. 168–196; *Лескинен М.В.* Путешествие по родной стране: описание как способ национальной репрезентации. Финляндия и финны в изображении З. Топелиуса // *Одиссей: Человек в истории.* 2008. М., 2010. С. 175–204; *Она же.* Образы страны и народов Российской империи в учебниках для начальной школы второй половины XIX века: формы репрезентации этничности // *Отечественная и зарубежная педагогика.* 2012. № 4. С. 92–117.
- 204 *Ушинский К.Д.* Детский мир и хрестоматия. Ч. 1. С. 530.
- 205 Там же. С. 528.
- 206 Там же. С. 548.
- 207 Там же.
- 208 Там же. С. 552.
- 209 Там же.
- 210 Там же.
- 211 Там же. С. 550.
- 212 Там же. С. 552.
- 213 Там же. С. 529.
- 214 Там же. С. 548.
- 215 Там же. С. 550.
- 216 Там же.
- 217 *Киселева Л.* Путеводитель как семиотический объект: к постановке проблемы (на примере путеводителей по Эстонии XIX в.) // *Репрезентация Эстонии в иноязычных путеводителях XIX–XXI вв.: риторика и идеология.* Тарту, 2008. С. 15–19.
- 218 *Чернецов Г.Г., Чернецов Н.Г.* Записки о путешествии по Волге. Рукописный экземпляр, подаренный братьями-художниками императору, был создан в 1862 г. по материалам путешествия 1838 г. – от Рыбинска до устья Волги (см.: *Коробочко А., Любовный В.* Панорама Волги академиков Г. и Н. Чернецовых // *Чернецов Г.Г., Чернецов Н.Г.* Путешествие по Волге. М., 1970).
- 219 *Руцинская И.И.* Образы поволжских городов в региональных путеводителях второй половины XIX – начала XX в.: особенности саморепрезентации // *Интернациональный научный альманах «Life Sciences».* Вып. 2012 года. Волжский город: образ–имидж–бренд. С. 160.
- 220 *Ely Ch.* The Origin of Russian Scenery: Volga river Tourism and Russian Landscape Aesthetics // *Slavic Review.* 2003. № 62:4. P. 666–682.
- 221 *Субботин А.П.* Волга и волгари... С. 4.
- 222 *Руцинская И.И.* Образы поволжских городов... С. 160.
- 223 Там же. С. 161.
- 224 *Руцинская И.И.* Путеводитель как инструмент конструирования региональных достопримечательностей (вторая половина XIX – начала XX в.). Визуальные задачи восприятия // *Вестник Московского университета.* 2011. Серия 19. «Лингвистика и межкультурная коммуникация». С. 74–93.

- 225 *McReynolds L.* The Prerevolutionary Russian Tourist: commercialization in the XIXth century Turizm // The Russian and East European tourist under capitalism and socialism/Ed. by A.E. Gorsuch, D.P. Koenker. Cornwell university Press, 2006. P. 17–42.
- 226 Подробнее об этом см.: *Руцинская И.И.* Образы поволжских городов...; *Руцинская И.И.* Путеводитель как инструмент конструирования...
- 227 Особенно подробен в этом отношении: *Кучин Я.* Путеводитель по Волге...
- 228 *Пытин А.Н.* Волга и Киев... С. 193.
- 229 Там же; *Кучин Я.* Путешествие по Волге...; *Субботин А.П.* Волга и волгари... Ч. 1. С. 1–3.
- 230 *Пытин А.Н.* Волга и Киев... С. 193.
- 231 *Субботин А.П.* Волга и волгари... С. 2.
- 232 Там же. С. 3.
- 233 *Сидоров В.* Волга... С. 78.
- 234 *Пытин А.Н.* Волга и Киев...
- 235 *Миллер А.* Империя и нация в изображении русского национализма // *Миллер А.* Империя Романовых и национализм. М., 2006. С. 147–170.
- 236 *Мечников Л.* Цивилизация и великие исторические реки (1889). М., 1995.
- 237 Знаменитая формула В.О. Ключевского: «История России есть история страны, которая колонизируется» – сыграла значимую роль в трудах представителей так называемой исторической географии.
- 238 *Пытин А.Н.* Волга и Киев... С. 188.
- 239 Там же. С. 189.
- 240 Там же. С. 189–190.
- 241 Географическо-статистический словарь Российской империи...
- 242 Живописная Россия...
- 243 *Мостовский М.* Этнографические очерки России. М., 1874; Народы России: Живописный альбом: В 2 вып. СПб., 1877–1878; (*Янчук Н.*) Народы России. Этнографические очерки // Природа и люди. 1878. № 1–12.
- 244 Отечствоведение. Россия по рассказам путешественников и ученым исследованиям: Учеб. пособие для учащихся: В 6 т. / Сост. Д.Д. Семенов. СПб., 1866–1870.
- 245 См., в частности, перечень библиографических списков литературы данных жанров по географии за 1861–1885 гг. (т.е. до времени выхода в свет статьи Пыпина – количество и, главное, резкий рост числа изданий поражают): *Весин Л.* Исторический обзор учебников общей и русской географии, издаваемых со времен Петра Великого по 1876 год (1710–1876). СПб., 1876; *Межов В.И.* Вклад правительства, ученых и других обществ на пользу русского просвещения. Библиографический указатель книг. СПб., 1886; *Громбах А.А.* Народная и детская литература с 1880 по 1905 г.: Сб. сводных отзывов. Вып. 1. География. М., 1906.
- 246 *Пытин А.Н.* Волга и Киев... С. 193.
- 247 Там же. С. 197–198.
- 248 *Виноградов В.И.* Иллюстрированный спутник. С. 5.
- 249 Вычислено по: *Менделеев Д.И.* К познанию России. С. 70–75.
- 250 *Кюн К.* Народы России. СПб., 1888. С. 4.

- 251 *Субботин А.П.* Волга и волгари... С. 3.
- 252 Там же. С. 4.
- 253 Там же.
- 254 Руководство к изучению русской земли... С. 69.
- 255 *Горизонтов Л.Е.* Внутренняя Россия на ментальных картах... С. 207–214.
- 256 *Джераси Р.П.* Окно на Восток... Глава «Окно, стена или зеркало?». С. 15–46; 264–308; *Werth P.* At the Margins of Orthodoxy: Mission, Governance and Confessional Politics in Russia's Volga-Kama Region. 1827–1905. Ithaca, 2002; *Werth P.* Changing Conceptions of Difference, Assimilation and Faith in the Volga-Kama Region. 1740–1870 // *Russian Empire: Space, People, Power...* P. 169–195.
- 257 *Тольц В.* «Собственный Восток России»... С. 13–39, 68–86.
- 258 *Благовидов Н.* Волга-матушка. Попытка вычленения региона Поволжья и Волги наглядно демонстрирует сравнительный анализ библиографии по отечествоведению в широком смысле (как географии России) и отчизноведению на периоды до 1866 и после...; *Весин Л.* Исторический обзор; *Межов В.И.* Вклад правительства, ученых...; Систематический обзор русской народно-учебной литературы. СПб., 1895; *Громбах А.А.* Народная и детская литература...
- 259 Русские народы: наброски пером и карандашом. Тексты под ред. проф. Н.Б. Зографа: В 3 ч. М., 1894. Ч. I. Европейская Россия. М., 1894. С. 29, 30.
- 260 *Джераси Р.* Культурная судьба Империи под вопросом: мусульманский Восток в российской этнографии XIX века // Новая имперская история постсоветского пространства. Казань, 2004. С. 176–196.
- 261 *Овсянников А.* Нижегородская ярмарка // Географические очерки и картины: В 2 т. Т. 1. Очерки и картины Поволжья. СПб., 1878. С. 298–299.
- 262 Введение // Альбом участников Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде. 1896 г. Б.м., 1896. С. 8.
- 263 Там же.
- 264 Там же.
- 265 Там же.
- 266 *Миллер А.* Империя и нация... С. 165.
- 267 *Майорова О.Е.* Бессмертный Рюрик: празднование тысячелетия России в 1862 г. // НЛО. 2000. № 43. С. 137–165; *Уртман Р.* Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии: В 2 т. М., 2004. Т. 2. С. 117–131; *Цимбаев К.Н.* Феномен юбилеямани в российской общественной жизни конца XIX – начала XX в. // Вопросы истории. 2005. № 11. С. 98–108; *Майорова О.Е.* Политический подтекст споров вокруг празднования тысячелетия России // Тыняновский сборник. Вып. 11. Девяты Тыняновские чтения: Исследования. Материалы. М., 2002. С. 318–332; *Буслаев А.И.* Имперские юбилей – тысячелетие России (1862) и девятисотлетие крещения Руси (1888): организация, символика, восприятие обществом: Дисс. ... канд. ист. наук. М.: Изд-во МГУ, 2010. Гл. 1.
- 268 Введение // Альбом участников... С. 9.
- 269 *Левкиевская Е.Е.* Юбилейное путешествие Романовых 1913 года на фоне имперских юбилеев: метафора пути // Романовы в дороге. Поездки и путешествия членов царской семьи по России и за границей. М., 2015. С. 268–282.

- 270 Садовников Д.Н. Из-за острова на стрежень // Поэты-демократы 1870–1880-х годов. Л., 1968. С. 410.
- 271 Садовников Д.Н. Песни Волги. СПб., 1913.
- 272 Монастырский С. Иллюстрированный спутник по Волге... Ч. 2. С. 6; то же – в: Благовидов Н. Волга-Матушка... С. 35; Турбин С. Волга и Поволжье... С. 7.
- 273 Соловьев С.М. История России с древнейших времен // Соловьев С.М. Соч.: В 18 кн. М., 1989. Кн. III. Т. 6. С. 461.
- 274 Там же. С. 462.
- 275 Руководство к изучению Русской земли... С. 68.
- 276 Миллюков П.Н. Очерки истории русской культуры: В 4 ч. СПб., 1896–1903. Ч. 1. Население, экономический, государственный и сословный строй. СПб., 1896. С. 47.
- 277 Там же. С. 48.
- 278 Рагозин В. Волга от Оки до Камы, включая оба этих притока // Рагозин В. Волга. Т. 2. СПб., 1890. С. 91.
- 279 Там же. С. 195.
- 280 Там же. С. 253.
- 281 Там же. С. 250–254.
- 282 Турбин С. Волга и Поволжье... С. 8.
- 283 Валуева М. Когда и как стала Волга русской рекой... С. 70.
- 284 Кучин Я. Путешествие по Волге... С. 145.
- 285 Валуева М. Когда и как стала Волга русской рекой... С. 3.
- 286 Там же. С. 10.
- 287 Там же. С. 12.
- 288 Там же. С. 55.
- 289 Там же. С. 60.
- 290 Там же. С. 70.
- 291 Александров Н. Волга: Этнографические рассказы для детей. СПб., 1874. С. 7.
- 292 Благовидов Н. Волга-матушка... С. 7.
- 293 Руцинская И.И. Образы поволжских городов... С. 162–164.
- 294 Сабуров Я. Поездка в Саратов... С. 8.
- 295 Кучин Я. Путешествие по Волге... С. 145.
- 296 Благовидов Н. Волга-матушка... С. 369.
- 297 Монастырский С. Иллюстрированный спутник... Ч. 2. С. 71.
- 298 Волга в русской поэзии XIX века: Поэтическая антология / Сост. Е.А. Потемкина (http://www.gumfak.narod.ru/from_webmaster.html).
- 299 Сидоров В.Н. Волга... С. 248.
- 300 Потемкина Е.А. От составителя // Волга в русской поэзии XIX века...
- 301 Лысова И.Ю. Волжский исторический город в отечественной живописи XIX – начала XXI в. // Интернациональный научный альманах «Life Sciences». Вып. 2012 года. Волжский город: образ–имидж–бренд. С. 117–128; Cusack T. «Our Russian Essence»: The Volga Riverscape and cultural nationalism // Cusack T. Riverscapes and national identities. Syracuse University press, 2010. P. 127–157.
- 302 Бархатова Е.В. По берегам Великой Волги: Редкие фотографии ведущих русских мастеров второй половины XIX века // Из собрания Российской наци-

- ональной библиотеки (Санкт-Петербург) (статья доступа: <http://www.hlr.ru/exib/Volga>).
- 303 *Демьянов Г.П.* Иллюстрированный путеводитель по Волге (от Твери до Астрахани). 4-е изд. Н. Новгород, 1898.
- 304 «Из-за острова на стрежень» (сл. Д.Н. Садовникова); «Утес Стеньки Разина» (сл. А.А. Навроцкого); «Дубинушка» (сл. Л.Н. Трефолева), «Далеко, далеко степь за Волгу ушла» (сл. У.П. Розенгейма) (см.: *Потемкина Е.А.* От составителя).
- 305 Подробнее об этом см.: *Коковина Н.* Гендерная составляющая образа Волги в русской поэзии XIX в. // Конструкты национальной идентичности в русской культуре XVIII–XIX в. М., 2010. С. 342–353.
- 306 *Карамзин Н.М.* Волга // Волга в русской поэзии XIX века...
- 307 Несколько иную и более подробную интерпретацию стихотворения Карамзина предлагает А. Петров – *Петров А.* «Волжский хронотоп»...
- 308 *Ely Ch.* This Meager Nature: Landscape and National Identity in Imperial Russia. Northern Illinois University Press, 2002. P. 50–52.
- 309 *Вяземский П.А.* Вечер на Волге // Волга в русской поэзии XIX века...
- 310 *Языков Н.М.* Чужбина // Там же.
- 311 *Языков Н.М.* Моя Родина // Там же.
- 312 Народы России. Великороссы // Народы Земли: Географические очерки жизни человека на Земле / Под ред. А. Острогорского. В 3 кн., 4 т. СПб., 1901–1903. Кн. 3. Т. 4. Россия. СПб., 1903. С. 9. (Автор – В. Загорский.)
- 313 Откуда началась Святая Русь... С. 57.
- 314 Там же. С. 58.
- 315 *Овсянников А.* Значение Волги // *Овсянников А.* Очерки и картины Поволжья. СПб., 1878. С. 2.
- 316 Руководство к изучению Русской земли. С. 69.
- 317 Предисловие // Россия. Полное географическое описание нашего отечества... Т. 6. Среднее и Нижнее Поволжье. С. III–IV.
- 318 *Сьрнев И.И.* Гл. IV. Исторические судьбы Среднего и Нижнего Поволжья... С. 135.
- 319 Предисловие // Россия. Полное географическое описание нашего отечества. С. II.
- 320 *Бабст И.К.* Значение племенного характера в народном хозяйстве // Сборник антропологических и этнографических статей о России и странах, ей прилежащих, издаваемый В.А. Дашковым: В 2 кн. М., 1868–1873. Кн. I. М., 1868. С. 103.
- 321 Предисловие // Россия. Полное географическое описание нашего отечества. С. III–IV.
- 322 *Монастырский С.* Иллюстрированный спутник... Ч. 2. С. 6.
- 323 *Пытин А.Н.* Волга и Киев... С. 193.
- 324 Там же. С. 193.
- 325 *Валуева М.* Когда и как стала Волга русской рекой... С. 71.
- 326 *Овсянников А.* Значение Волги... С. 2.
- 327 *Мордовцев Д.* Восток или Запад?: Рец. на кн.: Россия и Азия: Сб. исследований и статей по истории, этнографии и географии, написанный в разное время В.В. Григорьевым – ориенталистом // Дело. 1876. Май. Отдел XII. С. 3.

- 328 Там же. С. 5.
- 329 *Сырнев И.Н.* Распределение населения Нижнего и Среднего Поволжья по территории, его этнографический состав, быт и культура // Россия. Полное географическое описание... Т. 6. С. 157.
- 330 *Мордовцев Д.* Восток или Запад? С. 3.
- 331 Там же. С. 4.
- 332 *Рагозин В.* Волга... Т. 2. С. 91.
- 333 Там же. С. 92.
- 334 Там же.
- 335 *Смирнов И.Н.* Обрусение инородцев и задачи обрусительной политики // Исторический вестник. 1892. № 47. С. 752–765; *Харузин Н.* Об ассимиляционной способности русского народа // Этнографическое обозрение. 1894. № 4. С. 43–78. О позиции сторон и об интерпретации их см.: *Knight N. N. Kharuzin and the Quest for a Universal Human Science. Anthropological Evolutionism and the Russian Ethnological Tradition* // *Kritika. Exploration in Russian and European History*. Vol. 9. № 1. Winter 2008. P. 99–103, а также: *Загребин А.Е.* Интеллектуальные основы финно-угорских исследований в эпоху позитивизма // Вестник Удмуртского университета. Серия «История и филология». 2009. № 2. С. 58–70.
- 336 *Пытин А.Н.* Волга и Киев... С. 195.
- 337 *Овсянников А.* Значение Волги... С. 2.
- 338 *Валуева М.* Когда и как стала Волга русской рекой... С. 15.
- 339 *Могилевский А.Д.* Волга и Днепр // *Овчинников А.* Очерки и картины Поволжья. С. 4.
- 340 Предисловие // Россия. Полное географическое описание... С. III.
- 341 *Рагозин В.* Волга... Т. 2. С. 147.
- 342 Военно-статистическое обозрение отделения Департамента Генерального штаба: В 18 т. СПб., 1837–1854. Т. IV. Верховые Приволжские губернии. Ч. 4. Нижегородская губерния. СПб., 1852. С. 3.
- 343 *Рагозин В.* Волга... Т. 2. С. 192.
- 344 Там же.
- 345 Там же.
- 346 Там же.
- 347 «По своему этнографическому составу население Московской промышленной области и Верхнего Поволжья представляет большое однообразие. Это решительно великорусская страна, в которой количество инородцев не превышает 3%» (Распределение населения Московской промышленной области и Верхнего Поволжья по территории, его этнографический состав, быт и культура // Россия: Полное географическое описание... Т. 1. Московская промышленная область и Верхнее Поволжье. СПб., 1899. С. 94).
- 348 *Сырнев И.И.* Глава V. Распределение населения Среднего и Нижнего Поволжья по территории, его этнографический состав, быт и культура // Россия. Полное географическое описание... Т. 6. С. 157.
- 349 *Лескинен М.В.* Образы страны и народов Российской империи...

- 350 Название серии книг о русских народах (великорусах, малорусах и белорусах) Российской империи: Русские народы. Наброски пером и карандашом / Тексты под ред. проф. Н.Б. Зографа: В 4 вып. М., 1894.
- 351 Подробнее об этом см.: *Лескинен М.В.* Этническая ассимиляция финно-угорских народов Поволжья в процессе разработки концепции «Волга – русская река» (вторая половина XIX в.) // *Финно-угры–славяне–тюрки: опыт взаимодействия: Материалы Международной конференции.* Ижевск, 2013. С. 121–132.
- 352 *Розанов В.В.* Русский Нил. Впечатления на Волге (1907) // *Новый мир.* 1989. № 7. Подг. текста, вступ. ст. и комм. В. Сукача. С. 188–231 (текст доступен по адресу: <http://bookre.org/reader?file=44821>).
- 353 Там же.
- 354 Там же.
- 355 Там же.
- 356 Там же.
- 357 Там же.
- 358 *Ульянов Н.И.* Русское и великорусское // *Возрождение.* 1967. № 185. С. 59–70.
- 359 *Риттих А.Ф.* Первая лекция // *Риттих А.Ф.* Четыре лекции по русской этнографии. СПб., 1895. С. 14.
- 360 Там же. С. 15.

Заключение

Идентификация великороссов/великорусов в процессе конструирования русскости

Можно констатировать, что понятие «великоросс/великорус» не являлось в языке и культуре России XIX в. ни эндонимом, ни этниконом в чистом виде, а представляло собой экзоним-конструкт, возникший в научно-политическом дискурсе эпохи романтизма для обозначения объекта описания одной из «отраслей» русского народа или русской (в значении восточнославянской) народности как этнорегиональной общности. Само определение имело книжное происхождение, и отчасти поэтому ему не удалось стать самоназванием; его можно считать лингвистическим новообразованием. В качестве регионима, а позже и этнонима оно является производным от топонима-политонима «Великая Русь/Великороссия». Однако было бы неверно однозначно утверждать, что на протяжении всего XIX столетия ряд определений («великороссияне», «северноруссы», «северные россы», «великороссы», «великорусы») в строгом значении использовались как этнонимы. Первые три имени первоначально относились к населению историко-географического региона (пространственные пределы которого трансформировались вплоть до середины XIX в.), но в качестве этнического наименования, т.е. названия группы по этнической общности применялись далеко не всегда¹. Кроме того, принадлежность к великороссийскому племени верифицировалась средствами и процедурами исключительно *внешней научной* идентификации.

Термин «великорус» стал использоваться в процессе формирования идеи о трех «отраслях» («ветвях», «поколениях») русских как единой этнокультурной общности и потому начиная с 1840-х гг. активно внедрялся в научные номенклатуры и классификации (лингвистические, этнографические, с 1860-х – в антропологические). Рубежным для концептуализации понятия «великорус» в научном дискурсе можно считать Первую Этнографическую выставку (Москва, 1867), которая актуализировала процесс формализации его этнического содержания.

Гораздо более существенную роль в концептуализации этнической специфики великорусов сыграло характерное для европейского нацистроительства стремление интеллектуальной и художествен-

ной элиты общества зафиксировать свойства духа/характера/нрава/психологии народа как цельной социально-культурной группы социума, которой присущи свойства и признаки, передающиеся по наследству. Комплекс этнодифференцирующих черт великорусской народности («племени») выявлялся на основании общих для европейских народоописаний второй половины XIX в. представлений о «своем» и применявшихся в науке методов конструирования этничности. Важнейшей процедурой стало сравнение с родственными этническими группами (прежде всего славянами) и установление их иерархии, а именно сопоставление и различие (средствами внешнего наблюдения) «материальной» и «духовной» культуры трех русских «ветвей» – великорусов, малорусов и белорусов. На практике наиболее актуальным оказался процесс обнаружения этногенетических, климато-географических, политико-исторических и других факторов, обусловивших различия «севернорусской» (великорусов) и «южнорусской» (малорусов) этничности. Первые два были признаны решающими. Острополемическим и сразу приобретшим политический характер стал вопрос о соответствии этнографической и лингвистической классификаций велико- и малорусов (проблема номинации и статуса языка и наречий).

Таким образом, концептуализация великорусской этничности «извне» – средствами и усилиями социальной элиты (прежде всего научного сообщества) – осуществлялась на основании установления-конструирования:

1) *этнокультурных отличий* в сравнении с «другими» этносами Империи – прежде всего, со «своими», славянами, и, во вторую очередь, с финскими народами (поскольку именно в физическом смешении с ними, как считалось, образовалась великорусская народность);

2) *цивилизационно-стадиальной иерархии*, выстраиваемой на базе сопоставления с так называемыми инородцами, стоящими, как утверждалось, на более низкой ступени эволюционного развития (т.е. с неземледельческими народами Империи);

3) *идеально-типической модели* «истинного великоруса», формируемой как комплекс внешних физических признаков, нравственных свойств и качеств характера, обусловленных прежде всего географическими и лишь затем – историческими условиями жизни народа/этноса. Это моделирование/типизация нашло соответствующее выражение в формах визуального воплощения великорусского типа (православные крестьяне – мужчины и женщины, молодые и средних лет – на фоне типичных примет «русского пейзажа», представители разных губерний-регионов Великороссии). Визуальные атрибуты этничности связаны, в первую очередь, с элементами материальной культуры и быта и лишь во вторую – с чертами физического облика и так называемого этнического типа.

Прагматические задачи нациестроительства диктовали потребность в создании образов/знаков/формул. В ходе популяризации научных концепций великорусской этничности в анализируемых нами в этом аспекте источниках явным оказывается стремление к «избранию» новых, отличных от традиционно-народных и элитарных, локусов и регионов имперского и великорусского пространства (границы второго точно определились лишь к 1880-м гг.), которые должны были актуализировать новые смыслы и идеалы «великорусскости». Таким воплощением историко-географического и этногенетического плодотворного сосуществования разных народов Империи (в том числе в конфессиональном, этническом и цивилизационном отношении) призвано было стать Поволжье в широком значении (концепт «Волга-матушка – русская река»). Волжский дискурс можно считать также воплощением важнейшей идеи российской истории и русской этничности, а именно склонности к колонизации, мирного физического и культурного смешения и сосуществования с другими племенами, выражением чего стала так называемая ассимиляционная способность народа. Саму концепцию колонизации такого рода, позволившей создать громадную по пространству и ресурсам мощную империю, следует рассматривать в категориях, соотносимых с мессианским предназначением и историческим призванием русского народа.

«Назначение» Волги главной *русской* рекой и главной рекой *Российского государства* или только *России* – это три нетождественные тенденции, хотя все они вписаны в общий (и универсальный по форме) для всех европейских государств XIX в. процесс нациеобразования и сопутствующие ему идеологические проекты, главными элементами которых являлись: формирование образа Отечества, идеального представителя этноса (нации) и национальной символики.

К 1880-м гг. под русскостью стала пониматься в первую очередь этническая доминанта великорусов, их языка и культуры (политической, религиозной) в регионе: эта концепция нашла отражение прежде всего в вопросе о русской (великорусской) колонизации Среднего и Нижнего Поволжья. Некоторые авторы вкладывали в определение «русский» не государственно-экономическое, а этнокультурное содержание, трактуя русскость двояко: как формирование русского (в значении великорусского) этноса в границах своего максимального территориального расширения и как становление нации – т.е. государствообразующего народа Империи, символом процветания и мощи которого становится главная водная артерия Европейской России.

В 1890-х гг. и на рубеже XX в. доминирующим и устойчивым центральным мотивом в рассуждениях о русскости Волги, бесспорно,

оказывается детерминирующая роль региона в колониционных процессах, задавших направление и своеобразие русской истории – как государственной власти, так и «народной» жизни. Речь идет о процессе формирования, *во-первых*, великорусского этноса и, *во-вторых*, об исторических путях складывания русского национального ядра в целом. Довольно трудно и не всегда возможно точно и безошибочно интерпретировать нюансы словоупотребления, поскольку определение «русский» применяется для обозначения как великорусской этничности, так и русскости в ее триединстве, и в то же время для фиксации процессов общеимперских, национальных.

В целом главным генерализирующим и структурирующим методом научного конструирования великорусского этноса можно считать таксономические процедуры – т.е. его «вписывание» посредством выявления признакового поля в существующие расовые, этнографические и лингвистические классификации народов.

Вопрос о том, как соотносятся процессы концептуализации понятий «великорусскость» (великорусская народность/этничность) и «русскость», когда они используются в качестве инструмента внешней (т.е. научно-интеллектуальной) идентификации, вряд ли поддается однозначному ответу. В большинстве нормативных текстов русскость выступает как категория, используемая для обозначения историко-политической (нация), а не этнокультурной общности (этнос), главным достижением которой объявлялась способность к государствообразованию и сохранению независимости Империи. «Русские» в таком аспекте – господствующая в политическом и культурном отношении группа полиэтнической Империи и/или – общее именование ее подданных. Термин использовался для определения вне- или надсословной идентичности народа, «избравшего» политической формой бытия самодержавную Империю. В этом смысле следует признать правоту некоторых утверждений Н.И. Ульянова о том, что «русскость» в общественных представлениях XIX в. в сословном и этническом отношении трактовалась шире «великорусскости». Тенденция к отождествлению этнонимов «русский» и «великорусский» формируется начиная с 1870-х гг. в исторических и публицистических нарративах эпохи, но вплоть до 1890-х гг. в этнографических и антропологических текстах она маргинальна, так как в них различие этих двух наименований принципиально и обусловлено научной категоризацией понятий. Причины семантического сдвига, приведшего к устойчивой синонимии («великорус» = «русский»), на данном этапе исследования трудно установить однозначно. Можно предполагать, что она была связана с: а) активизацией так называемых национальных проектов (прежде всего малороссийского) и б) явной тенденцией «назначить» великорусов не только титульным

народом-нацией, но и единственным нациеобразующим этносом Империи (в чем можно усматривать стремление к сближению двух определений по смыслу).

Качества русского народа, тип которого воплощал великорус, становясь объектом сравнения, оказывались конструктом, идеальной моделью, так как великорус, *во-первых*, представлял собой не чистую, а смешанную этническую группу, свойства которой, кроме того, значительно варьировались по регионам. *Во-вторых*, подобная изначальная «смешанность» порождала в нем «склонность» к дальнейшей метисации – негативная, как считали некоторые, тенденция, ведущая к утрате этнического своеобразия – т.е. народности. И хотя, как указывалось во многих описаниях, ядро этнической самобытности великоруса не подвергалось изменениям, опасность была вполне реальной.

Одним из последствий не сформировавшихся окончательно представлений о «великорусскости» стало то, что описание великоруса в этнографических очерках народов Империи как самостоятельного объекта осуществлялось не в едином и не в однородном нарративе – ведь главным принципом изложения был региональный, – а в соответствующих разделах очерков различных областей или губерний. Это также способствовало описанию великоруса путем сравнения: этнические особенности определялись через значимое отрицание черт, присущих ближайшим родственным группам – прежде всего малорусам и финнам (кровь которых, как считалось, течет в жилах великорусов). Точно «опознать» великоруса, таким образом, представлялось возможным не только по антропологическим признакам или по характеру, но прежде всего по языку; в случае затруднений вариацию можно было определить как исключительно региональный вариант. Однако и лингвистическая идентификация не только демонстрировала свою условность, но и осложнялась проблемами субъективного свойства – особенностями самоопределения крестьянского сословия. Главная, но тогда еще не сформулированная причина крылась в том, что под «этничностью» подразумевалась только «объективная» идентификация, а не самоопределение.

Позитивно оцениваемые проявления нрава во внешнем облике, коммуникативном поведении и характере дают основание предполагать, что они воспринимались как таковые потому, что демонстрировали сходство со «своим» (в данном случае с «сословно-этническим своим» – крестьянином) и в то же время соответствовали представлению наблюдателей и составителей об идеальном или реальном «своем». Из социальных качеств великоруса можно отметить прежде всего предприимчивость, деловую активность (но не в сфере торговли), коммуникабельность и умение приспособиться к экономическим вызовам. Однако его нравственный облик

вырисовывается как далекий от идеала: великорус ленив, вороват, упрям, не очень тверд в христианских устоях веры (суеверен); некоторые свойства его нрава способствуют нарушению им моральных норм: неспособность «держать себя в руках», контролировать проявления чувств и эмоций ведут к резким перепадам трудового ритма и как следствие – к перенапряжению, снимаемому пьянством. Однако великорус не зол, не жесток, терпеливо сносит невзгоды и тяготы, склонен к самопожертвованию и гостеприимен. И хотя последняя группа черт находит оправдание в исторических и природных «обстоятельствах», она отчетливо фиксируется прежде всего в описаниях Других.

Этнические свойства явно занимают большее место в репрезентации народов в избранном нами корпусе источников и в некотором смысле замещают конфессиональные черты – это присуще характеристикам разных народов Империи, и великорусы в данном случае не составляют исключения. В конце XIX в. место вероисповедания – как главного критерия этнической принадлежности – вновь, как в XVIII в., пытается занять язык – становясь, однако, не этническим (связанным с народностью) признаком, а определяющим фактором политической (национальной) идентификации.

Деятели, которых принято относить к консервативному и славянофильскому лагерю, придают ему идеологическую аргументацию: «Вера народа, религия как выразительница наивысшего народного духа должна была стоять впереди языка, однако же на практике выходит иное: меж *русскими* (выделено мной. – М.Л.) людьми, считающими своею родиною и отечеством Россию, а ее самодержца своим царем, есть много не исповедующих православия, этого символа русской государственности»², а одно лишь «обращение инородца в веру еще не делает его русским»³. Как русскость в этом высказывании отождествляется с подданством и лояльностью, так и политическая национальность идентифицируется как русскость.

Рассуждения этнографов и антропологов о великорусском типе в 1860-х – 1890-х гг. отражали не только теоретические дискуссии о национальном с точки зрения конкретных научных данных, но и наиболее характерные тенденции в поисках «чистого» великоруса. Поэтому до конца столетия так и не была выработана окончательная версия регионального типа, «назначенного» истинным выразителем этничности. Ни один из них, видимо, не обладал четко зафиксированными признаками и свойствами, которые требовалось знать для характеристики этноса в целом: пространственная локализация, климатические условия, особенности говора, черты нрава, «материальная» и «духовная» жизнь. Геоклиматическое разнообразие, широта распространения антропологического великорусского типа, его этническая и культурная вариативность чрезвычайно затрудня-

ли определение таких качеств, которые можно было бы отнести к этносу в целом. Однако именно в этих поисках отразилась важная с точки зрения этнической истории убежденность в том, что великорус является прямым потомком новгородских (ильменских) славян и одновременно – наследником Рюриковой государственности. Эти две мифологические концепции функционируют нераздельно.

На воплощение народного или национального типа «претендовали» этнические группы («отрасли», или «поколения», народа-этнуса), исторически связанные с «признанным» типичным ландшафтом, или те, которые рассматривались как менее всего затронутые влиянием цивилизации и сохранившие древние устои и традиции⁴ (в этом отношении красноречиво выделение новгородского севернорусского типа, который, в отличие от активно менявшихся под воздействием модернизации быта и нравов великорусов Центрально-промышленной зоны, якобы сохранял архаические добродетели древних новгородских славян). Несколько иначе протекал этот процесс в полиэтнических государствах или империях: там в создании государства и его культурном процветании большую роль играли исторические заслуги народа/этнуса⁵.

В разных концепциях «великорусскости» на роль типично-великорусского во второй половине столетия претендовали многие региональные группы: бедствовавшие в 1860-х – 1880-х гг. великорусы Нечерноземья, крестьяне «средних черноземных» губерний, благополучные жители Московской промышленной области (ярославцы и костромичи) или Волжского региона, стойкие к невзгодам обитатели Русского севера и др. Следует подчеркнуть, что главным основанием выбора в процессе нациестроительства – и это было общей чертой европейского процесса «конструирования наций» – вначале становился природно-географический фактор: необходимо было определить типичный ландшафт, т.е. «эмоционально окрашенный образ пространственного единства»⁶, локализовать его на карте страны и лишь затем выявить степень чистоты или число представителей этноса, претендующего на репрезентанта нации, – поскольку вплоть до конца столетия господствовали идеи географического детерминизма, согласно которым именно ландшафт определяет этнокультурную самобытность человеческих сообществ. В целом механизм избрания такой национально-репрезентативной области можно определить как универсальный в процессе формирования национальной идентификации в Европе XIX в.

Областные и региональные историко-географические исследования не только изменили представление об этногенезе и истории народов и племен, но и позволили собрать репрезентативную в научном отношении базу для решения сложных и спорных теоретических вопросов этнографии – в частности, проблем метисации,

ассимиляции и аккультурации разных этносов в процессе их историко-культурного взаимодействия. Кроме того, географический принцип описания народов Империи к концу XIX в. оказался плодотворным и для узкострановедческого и статистического подходов в отечествоведении. Антропогеографическая концепция, дополняемая, начиная с 1880-х гг. выводами, которые были получены в результате применения социально-исторических и сравнительных методов к изучаемым явлениям, несколько видоизменилась. В спорах о соотношении методов, классификаций и задач этнографической науки на первое место выступает представление о комплексе определяющих этничность факторов, однако проблема самоидентификации поставлена лишь в историко-публицистических трудах.

Доминирование визуального наблюдения сужало и границы обзора – заключение не предусматривало решения вопроса о развитии этничности, о степени устойчивости черт, не затрагивало сферу социального поведения, его нормы и практики. Изображение (визуальное и вербальное) диктовало и иллюстративный метод изложения: оно строилось как акт вероятностной коммуникации, определяющей его «социально приемлемые формы»⁷. Зрительные впечатления детерминировали использование эстетических категорий в описании; эстетические ощущения и этические оценки «своего» и «чужого» воздействовали на характеристики этнических и (позже) национальных типов. Распознавание этих проекций приводит к выявлению социальных (обыденных) и научных стереотипов эпохи.

Способы визуализации репрезентативного облика великоруса в исследуемую эпоху в гораздо большей степени зависели от ожиданий и стереотипов «потребителя» концепций, нежели от взглядов и позиции их создателей. Аргументом могут служить отзвуки полемики о том, какая субэтническая группа воплощает в себе общенациональные и общенациональные черты, находящие отражение в научно-популярных тестах и особенно в учебной литературе. При этом и в визуализации этнического мы сталкиваемся с общей для народоописательного дискурса проблемой различения типично русского и типично великорусского.

В целом можно говорить о том, что общей, разделяемой всеми, единой «модели» великоруса в визуальном воплощении создано не было (в отличие, например, от «моделей» малоруса и белоруса), хотя на максимальную близость к ней «претендовали» жители Русского севера, русские великорусских губерний (внутренней России) и великорусы Поволжья (призванные воплотить идею о благотворном результате колонизации). Бесспорной признавалась теория этногенеза великорусов посредством метисации славянских и финно-угорских племен (притом как в ранний период истории, так и в современности). Именно эта изначальная, «первичная метисность» этноса

задавала дополнительные сложности в выявлении великорусского физического типа в его чистом виде. В изображениях великоруса (даже фотографических) продолжали доминировать крестьянские типы, по-прежнему четко связываемые с разными регионами и областями, – обобщенные образы были характерны в основном для художественных произведений (в том числе исторического жанра), которые часто помещались в этнографические тексты в одном ряду с фотографиями и литографиями более раннего времени. Концепция научной визуализации находилась еще на стадии формирования. Визуальные воплощения на всем протяжении их создания – от первых зарисовок и «костюмов» до фотографий и открыток – были обусловлены пониманием типа и типично этнического; они – также как краткие вербальные характеристики внешнего облика народа/этноса – создавались на основании принципов изоморфизма и тяготеи к идеальному образу-образцу.

* * *

Обращение исследователя к истории формирования представлений об *этническом/национальном* в социальном сознании и особенно в научном знании XIX в. – какие бы методологические инструменты ни применялись – неизбежно опирается на оговариваемую конвенциональность. Это обусловлено самим фактом избрания и переложения концепций и категорий современного научного лексикона, исторически обусловленного и идеологически ангажированного, на иную систему взглядов и понятий. Такая перекодировка, неточный и зачастую ложный в самих основаниях «перевод» порождает иллюзию преемственности и эволюции (если не неизменяемости или эпохальной длительности). Конечно, в современных гуманитарных дисциплинах существуют и иные, более адекватные подходы, позволяющие переосмыслить идеологемы и мифологемы этапа европейского нацистроительства и саму структуру национализма (в научном, безоценочном значении) позапрошлого столетия в иной системе координат (например, в рамках метатеорий). Однако, на наш взгляд, концептуализация «великорусскости» и эволюция ее воплощений вполне поддаются – на данном, начальном этапе ее изучения – адекватному анализу через конкретно-историческую реконструкцию языка и методов создания нации и этим демонстрируют свою эффективность в поле избираемых самой эпохой ключевых понятий и компонентов, которые рассматриваются как важные доказательства древности/«историчности» народа, его политических прав, легитимности власти и т.п.

Гораздо более сложным и решаемым по-разному является вопрос о роли и значении этнического («кровного», языкового, куль-

турного) единства/родства/солидарности. *Во-первых*, по причине взаимозаменяемости (или нерасчлененности) и неотрефлексированности в языке культуры самих понятий (даже при активных попытках философов и ученых установить их стадиальность и преемственность). Это порождает их дефинитивную поливариантность, которую на каждом отдельном хронологическом этапе можно рассматривать либо как многозначность, либо как семантическую неустойчивость. *Во-вторых*, в связи со сложностью процесса осмысления национального и идентификационных стратегий в имперских образованиях Российская империя в этом смысле не была исключением. Однако, *в-третьих*, в «русском случае» в ходе становления представлений о нации и народе/этнотипе ключевым стало понятие «народность», являвшееся не синонимом и не калькой термина «национальность»⁸ и включавшее важный содержательный компонент этничности в своеобразную российскую интерпретацию категориального ряда *народ/нация/национальность*. В языке и культуре второй половины XIX в. содержание понятия «народность» дифференцировалось; оно стало принципиальным не только для рассуждений о русской (великорусской) этнокультурной самобытности, но и для осмысления «инаковости» как «иноэтничности» и собственно имперской идентичности. Противопоставление «народности» и «национальности» как двух стадий общественного развития осуществлялось одновременно с обоснованием идеи русской народности как основы национальности. При этом концепция прогресса, как и органическая теория общественного развития, не отменила биологизаторского подхода к рассмотрению эволюции народа/нации.

Наконец, центральной проблемой – и мы вполне осознаем, что данная монография представляет собой только один из первых шагов на пути к ее решению, – остается анализ трансформации взглядов на русскость 1830-х – 1840-х гг. в концепцию «великорусскости» 1850-х – 1890-х гг. и ее соотношений с мифологемой русскости рубежа XIX–XX столетий. Эти парадигмы не идентичны, хотя интенция их создателей общая: описать, структурировать и объяснить этнонациональную общность – но в разных ее «составах» и границах. Наиболее спорный момент в реконструкции этого последнего «этапа» иллюстрирует глава седьмая о концептуализации идеи «Волга – русская река», в особенности лексические формы ее аргументации, в которых понятия «русские» и «великорусы» то выступают как взаимозаменяемые «по умолчанию», то обосновываются как синонимические, а зачастую (но не в этнической сфере) выступают как принципиально различные.

Рассуждая о природе и способах утверждения национальной идентичности и национальной идеологии в политических и социальных ракурсах, Э. Балибар подчеркивал, что все элементы «так

или иначе вписываются в одну и ту же схему: схему самовыражения национальной личности»⁹, и выделял два конкурирующих проекта этнизации – языковой и расовый (антропологический), которые зачастую объединяются, ибо «только их взаимодополнительность позволяет народу представить себя совершенно автономной единицей»¹⁰, и в рамках которых национальный характер объявляется имманентно присущим народу. Как тот, так и другой факторы формируют общность на основании внешних признаков, и оба в действительности игнорируют самоидентификацию и индивидов, и группы, так как способы «объективного» определения принадлежности апеллируют – осознанно или нет – к идеальной модели. В случае формирования «великорусского проекта» мы имеем дело, безусловно, с таким компилятивным, или смешанным, типом внешней консолидации; однако в нем – как было показано – центральным способом разграничения являлось сравнение с другими разновидностями единой русскости (прежде всего малорусской) и со славянами в целом. Можно предполагать, что этническая (расовая, по определению Э. Балибара) форма этнизации оказалась в ходе складывания представлений о великорусской этничности гораздо более актуальной и более значимой, чем языковая, – хотя вторая также постоянно подвергалась сомнениям с точки зрения своей древности и исторического генезиса.

Почему в конечном итоге на рубеже XIX и XX вв. великорусы обрели имя единой восточнославянской общности и стали русскими, а малорусы – украинцами? Являлось ли это следствием усилий по реализации «украинского проекта» или стало возможным в связи с общим для Европы того времени процессом активного обретения национального самосознания и порожденной им актуализации претензий на обретение независимого политического статуса (национальное самосознание как фактор легитимации – политической и исторической – этнокультурных групп и сообществ)? Или же причина в том, что способы внедрения идеи через социальные институты и практики были неэффективны – ведь идеи по конструированию великоруса оказались не востребованными самим объектом – теми, кого объявляли носителями «великорусскости»? Или же российский национализм в его имперской фазе обладал внутренними системными противоречиями, осложнявшимися политическими и иными разногласиями в рядах идеологов и выразителей? Быть может, великорусский «проект» не был исторически подкреплён интенцией борьбы за самоопределение? Насколько важную роль сыграло отсутствие отождествления религиозной и этнической принадлежности, столь отчетливо заметное в российском этнографическом научном и популярном дискурсе в сравнении с риторикой других национальных проектов? На все эти вопросы еще только предстоит ответить.

Примечания

- ¹ В языке эту тенденцию зафиксировал лингвист А.И. Грищенко. Он заключает, что только в конце столетия происходит осмысление этнонимов как имен нарицательных, поэтому до того времени этнонимы почти не попадают в словники толковых словарей и энциклопедий или же отождествляются с наименованиями жителей разных стран. (*Грищенко А.И.* Русские этнонимы и смежные с ними лексические категории в толковых словарях // Вопросы ономастики. 2013. № 2 (15). С. 146–163).
- ² *Риттих А.Ф.* Первая лекция // *Риттих А.Ф.* Четыре лекции по русской этнографии. СПб., 1895. С. 14.
- ³ Там же. С. 15. М.Н. Катков также доказывал, что не вероисповедание, а именно язык должен стать таким критерием: «Ни христианство, ни православие не совпадают с какою-либо одной народностью» (*Катков М.Н.* Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1866. М., 1897. С. 154.)
- ⁴ Об этом, в частности: *Rosander G.* The «nationalization» of Dalecardia. How a special province became a national symbol of Sweden // *Tradition and Cultural Identity.* Turku, 1988. P. 93–142.
- ⁵ *Honko L.* Studies on Tradition and Cultural Identity // *Ibid.* P. 7–26.
- ⁶ *Филиппов А.* Гетеротопология родных пространств // Отечественные записки. 2002. № 6. С. 59.
- ⁷ *Соколовский С.В.* Этнографические исследования: идеал и действительность // Этнографическое обозрение. 1993. № 2. С. 8.
- ⁸ *Лескинен М.В.* Поляки и финны в российской науке второй половины XIX в.: «другой» сквозь призму идентичности. М., 2010. Гл. 1–2.
- ⁹ *Балибар Э.* Национальная форма: история и идеология // *Балибар Э., Валлерстайн И.* Раса, нация, класс. Двусмысленная идентичность. М., 2004. С. 103.
- ¹⁰ Там же. С. 115.

Приложения

Таблица 1.
Состав великорусских и центральных губерний
в первой половине XIX в.

Губерния	Пассек 1834	Карм. книга 1835	Иванов, Булгарин 1837	Надеждин 1837	Шелехов 1842	Павловский 1843	Пушкарев 1844	Арсеньев 1848	Ободовский 1852	Военно-статистическое обозрение, 1837–1854
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Московская	Моск. узел	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Владимирская	Моск. узел	+	+	+		+	+	+	+	+
Рязанская	Моск. узел	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Тульская	Моск. узел	+	+	+		+	+	+	+	+
Орловская	Моск. узел	+	+	+		+		+	+	+
Калужская	Моск. узел	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Тверская	Моск. узел	+	+	+	+	+	+		+	
Ярославская	Моск. узел	+	+	+	+	+	+	+	+	
Костромская	Моск. узел	+	+	+	+	+	+	+	+	
Нижегородская		+	+	+				+	+	
Архангельская	Новг. узел	+	+							
Олонецкая	Новг. узел	+	+	+						
Вологодская	Новг. узел	+	+	+						
Вятская	Новг. узел	+	+	+						
Санкт-Петербургская	Новг. узел	+		+			+			
Псковская		+	+	+			+		+	
Новгородская	Новг. узел	+	+	+						
Тамбовская		+	+	+		+	+	+	+	
Воронежская		+	+	+		+	+	+		
Смоленская		+	+	+			+		+	

Курская	Моск. узел	+	+	+		+	+	+		
Пермская	Новг. узел	+	+							
Оренбургская		+	+							
Казанская		+	+							
Симбирская		+	+							
Саратовская		+	+							
Пензенская		+	+				+	+	+	
Астраханская		+	+							

Пассек 1834 – (Пассек В.В.) Путевые записки Вадима. М., 1834.

Карм. книга 1835 – Россия // Карманная книга географии. С 21 раскрашенной ландкартой / Пер. с нем. докт. фил. Пастор Зедергольм. М., 1835. С. 207–230.

Иванов, Булгарин 1837 – Иванов Н.А., Булгарин Ф.В. Россия в историческом, географическом и литературном отношении: Ручная книга для русских всех сословий Ф. Булгарина: В 6 ч. СПб., 1837. Ч. 1: Статистики часть первая, содержащая в себе: введение, I. Основные силы государства.

Надеждин 1837 – Н.Н. (Надеждин Н.И.) Великая Россия // Энциклопедический лексикон / Под ред. Н.И. Греча и О.И. Сенковского. Изд. А.А. Плюшара. В 17 т. (не окончено). СПб., 1834–1841. Т. IX. СПб., 1837. С. 261–276.

Шелехов 1842 – Путешествие по русским проселочным дорогам: Сочинение Д.П. Шелехова, помещика Тверской губернии. СПб., 1842.

Павловский 1843 – Павловский И. География Российской империи: В 2-х ч. Дерпт, 1843.

Пушкарев 1844 – Пушкарев И.И. Описание Российской империи. Т. 1. Кн. 1. СПб., 1844.

Арсеньев 1848 – Арсеньев К. Статистические очерки России. СПб., 1848.

Ободовский 1852 – Российская империя // Ободовский А. Краткая всеобщая география. СПб., 1852. С. 61–106.

Военно-статистическое обозрение, 1837–1854 – Военно-статистическое обозрение Российской Империи, издаваемое по Высочайшему повелению при Первом Отделении Департамента Генерального Штаба: В 18 т. СПб., 1837–1854.

Таблица 2
 Состав великорусских и центральных губерний
 во второй половине XIX в. –
 первых десятилетиях XX в.

Губерния	Разумов 1859	Статист. временник 1871	Святая Русь 1882	Зуев 1887	Меч 1887	ЖР 1888–1901	Зограф 1894	Тенишев 1897	Полное географ. описание 1899–1913	Менделеев 1906	Максимов 1919
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Московская	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Владимирская	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Рязанская	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Тульская	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Орловская	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+
Калужская	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Тверская	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+
Ярославская	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Костромская	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Нижегородская	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Архангельская			+				+?				+
Олонецкая			+				+?	+	+?		+
Вологодская			+				+?	+			+
Вятская								+			
Санкт-Петербургская							+?	+	+?		+
Псковская			+				+?	+	+?		+
Новгородская			+				+?	+	+?		
Тамбовская	+	+	+		+	+	+		+	+	+
Воронежская	+	+	+			+	+	+	+	+	+

Смоленская	+		+				+	+		+	+
Курская	+	+	+				+	+	+	+	+
Пермская											
Оренбургская											
Казанская				+	+					+	
Симбирская					+			+	+		
Саратовская					+			+	+		+
Пензенская		+	+		+		+	+	+	+	
Астраханская					+				+		
Самарская					+				+		+

Разумов 1859 – *Разумов И.* Землеописание земного шара. Политогеа. М., 1859. Ч. 4. Российская империя. С. 449–664.

Статист. временник 1871 – Статистический временник. СПб., 1871.

Святая Русь 1882 – Откуда началась Святая Русь. Всенародная история Российского государства / Под ред. К. Соловьева. М., 1882.

Зуев 1887 – *Зуев Н.* География Российской империи. СПб., 1887.

Меч 1887 – *Меч С.* Учебник отечественной географии. Курс гимназический. М., 1887.

ЖР 1881–1901 – Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении / Под общ. ред. П.П. Семенова, вице-председателя Императорского Русского географического общества: В 12 т. (19 кн.). СПб.–М., 1881–1901.

Зограф 1894 – *Зограф Н.Ю.* Русские народы. Наброски пером и карандашом: В 3 ч. М., 1894. Ч. 1. Европейская Россия.

Тенишев 1897 – *Тенишев В.Н.* Программа этнографических сведений о крестьянах Центральной России. Смоленск, 1897.

Полное географ. описание 1899–1913 – Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Настольная и дорожная книга для русских людей: В 22 т. (вышло 19) / Под ред. В.П. Семенова; под рук. П.П. Семенова и В.И. Ламанского. СПб., 1899–1913.

Менделеев 1906 – *Менделеев Д.И.* К познанию России. М., 2002. С. 46–53.

Максимов 1919 – *Максимов А.Н.* Великороссы // *Максимов А.Н.* Какие народы живут в России? М., 1919. С. 12–22.

Список иллюстраций

К главе 6

- с. 470. Е.М. Корнеев. Русские крестьяне. 1812. Левая половина гравюры из альбома К. Рехберга «Народы России» (см.: *Rechberg Ch. de. Les peuples de la Russie ou description des mœurs, usages et costumes des diverses nations de l'empire de Russie, accompagnée de figures coloriées. Paris, 1812–1813. Vol. 1–2).*
- с. 471. Крестьянин и крестьянка. Гравюра // Волшебный фонарь, или Зрелище С[анкт]-Петербургских расхожих продавцов, мастеров и других простонародных промышленников, изображенных верною кистью в настоящем их наряде и представленных разговаривающими друг с другом, соответственно каждому лицу и званию. СПб., 1817–1818.
- с. 471. Молочница. Фарфоровая скульптура по рисунку из «Волшебного фонаря». 1820-е гг. Фабрика Гарднера // Крестьянский мир в русском искусстве. Русский музей. СПб., 2005. С. 64.
- с. 472. Посиделки. Гравюра // Картины России и быт ее разноплеменных народов из путешествий П.П. Свиньина. Ч. 1. СПб., 1839.
- с. 474. Ф.Г. Солнцев. Рязанские крестьянки. Акварель. 1832 // Одежды русского государства. Акварели Ф. Солнцева: Альбом. Б.м., 1869.
- с. 475. Ф.Г. Солнцев. Одежда рязанских женщин. Акварель. 1835 // Одежды русского государства. Акварели Ф. Солнцева: Альбом. Б.м., 1869.
- с. 475. Игральная карта // Альбом географических карт России, расположенный на 80 листках по бассейнам морей, или Замечательный и поучительный детский гран-пасьянс, составленный К. Грибановым. СПб., 1830.
- с. 477. В.Ф. Тимм. Парень и девка. Акварель // *Costumes Russes: Альбом. Paris, 1843. Лист 14.*
- с. 477. В.Ф. Тимм. Господский кучер с женой. Акварель // *Costumes Russes: Альбом. Paris, 1843. Лист 9.*

- с. 494. Великороссияне центральных губерний. 1862. Гравюра из альбома Г. Паули «Народы России» (*Pauly G.Th. Description ethnographique des Peuples de la Russie. St. Petersburg, 1862.*)
- с. 495. Великороссиянки Псковской, Тверской, Смоленской, Калужской и Тульской губерний. 1862. Гравюра из альбома Г. Паули «Народы России» (*Pauly G.Th. Description ethnographique des Peuples de la Russie. St. Petersburg, 1862.*)
- с. 495. Великороссияне Воронежской губернии. 1862. Гравюра из альбома Г. Паули «Народы России» (*Pauly G.Th. Description ethnographique des Peuples de la Russie. St. Petersburg, 1862.*)
- с. 497. Девушки великорусских губерний. Фото // Типы народов России в их национальных костюмах. Приложение к журналу «Россия», 1887.
- с. 501. Ломовой извозчик, Московская губерния. Манекен Этнографической выставки в Москве 1867 г. Фотография Т. Метрейтера. 1870-е гг. Российский этнографический музей (РЭМ).
- с. 502. Крестьянка из Нижегородской и крестьянин из Рязанской губернии. Манекены Этнографической выставки в Москве 1867 г. Фотография Т. Метрейтера. 1870-е гг. Российский этнографический музей (РЭМ).
- с. 504. Сценка «Рязанская губерния». Этнографическая выставка в Москве 1867 г. // Славяне Европы и народы России. К 140-летию Первой Этнографической выставки 1867 г. СПб.: РЭМ, 2007.
- с. 505. Сценка «Ярмарка». Этнографическая выставка в Москве 1867 г. // Славяне Европы и народы России. К 140-летию Первой этнографической выставки 1867 г. СПб., РЭМ, 2007.
- с. 516. Карта России и племена, ее населяющие / Сост. и рис. Н. Тербенев. 1866 // Образы народов Российской империи 60-х гг. XIX в. (по материалам Этнографической выставки 1867 года). Из фотоархива Российского этнографического музея. DVD.
- с. 518. Великорусы. Карта России и племена, ее нселяющие. Сост. и рис. Н. Тербенев. 1866. Фрагмент // Образы народов Российской империи 60-х гг. XIX в. (по материалам Этнографической выставки 1867 года). Из фотоархива Российского этнографического музея. DVD.

- с. 519. Народы России на мирном состязании. Картина с Всероссийской художественно-промышленной выставки в Москве 1882 г. // Всероссийская художественно-промышленная выставка в Москве 1882 года: Иллюстрированное описание. Альбом, 179 рисунков и 16 портретов. Приложение к журналу «Всемирная иллюстрация». СПб., 1882. С. 5.
- с. 521. Кафка. Слава России. Скульптура. 1882 // Всероссийская художественно-промышленная выставка в Москве 1882 года: Иллюстрированное описание. Альбом, 179 рисунков и 16 портретов. Приложение к журналу «Всемирная иллюстрация». СПб., 1882. С. 1.
- с. 521. Н.А. Лаврецкий. Россия. Скульптура. 1896. Бронза, каслинское литье.
- с. 526. Л.Л. Белянкин. Типы великороссов Северного края. Санкт-Петербургская, Новгородская и Псковская губернии // Русские народы. Наброски пером и карандашом: В 3 ч. / Тексты под ред. проф. Н.Ю. Зографа. Ч. I. Европейская Россия. Вып. 1. М., 1894.
1. Биржевой артельщик из охтян.
 2. Мелкий торговец и его жена – оба из Птб мещан.
 - 3 и 4. Крестьяне из окрестностей Петербурга.
 5. Группа подгородных крестьян Петерб. губ. за столом.
 6. Женщины и девушки из Старой Руссы (Новгор. губ.).
 7. Крестьянин-старовер Череповецкого уезда (Новгор. губ.)
 8. Крестьянин (ямщик) Новгородской губернии.
 9. Крестьяне Псковской губернии.
- с. 529. Женский костюм Северной России. Вологодская губерния. Коллекция Н.Л. Шабельской (ныне в РЭМ). Фото. 1880-е гг.
- с. 531. Великоросс Новгородской губернии. Фото. 1890-е гг. // Живописная Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении / Под общ. ред. П.П. Семенова, вице-председателя Императорского Русского географического общества: В 12 т. (19 кн.). СПб.–М., 1881–1901. Т. I. Ч. 2. Озерная, или Древне-Новгородская, область (продолжение). СПб., 1881.
- с. 532. Женский костюм Северной России. Архангельская губерния. Коллекция Н.Л. Шабельской (ныне в РЭМ). Фото. 1880-е гг.
- с. 538. Семья крестьян Орловской губернии. Фото. 1880-е – 1890-е гг. // Полное географическое описание нашего отечества. Настольная

и дорожная книга для русских людей: В 22 т. (вышло 19) / Под ред. В.П. Семенова; Под рук. П.П. Семенова и В.И. Ламанского. СПб., 1899–1913. Т. II. Среднерусская черноземная область. СПб., 1902.

- с. 541. Русская красавица (Мавра Щипицына?). Фото В. Каррика, 1870-е гг.
- с. 542. Крестьянин, пьющий квас. 1850-е – 1860-е гг. Фарфор, надглазурная роспись // Из русской жизни XVIII – начала XX в. Альбом. СПб., 2010. С. 122.
- с. 542. Е.А. Лансере. Кучер. 1870-е гг. Бронза // *Гончарова Л.Н.* Русская художественная бронза XIX в. М., 2001.
- с. 542. Камнерезные фигурки К. Фаберже из серии «Русские типы». 1910-е гг. // *Скурлов В., Фаберже Т., Илюхин В. К.* Фаберже и его продолжатели. Камнерезные фигурки «Русские типы». СПб., 2009.
- с. 545. Великорусские типы. Владимирская и Ярославская губернии. Фото из исследования Н.Ю. Зографа. 1890-е – 1900-е гг. // *Зограф Н.Ю.* Антропометрические исследования мужского великорусского населения Владимирской, Ярославской и Костромской губерний // Труды Отдела антропологии. Т. XV. М., 1892.
- с. 546. Л.Л. Белянкин. Типы великороссов Верхней Волги. Тверская, Ярославская, Костромская губернии, 1890-е гг. // Русские народы. наброски пером и карандашом: В 3 ч. Тексты под ред. проф. Н.Ю. Зографа. Ч. I. Европейская Россия. Вып. 1. М., 1894.
2. Женщины Тверской губернии.
3–4. Крестьяне Тверской губернии.
5–9. Крестьяне Ярославской губернии.
10. Наряд старинный крестьянский Ярославской губернии.
11–16. Крестьяне Костромской губернии.

К главе 7

- с. 579. Скульптура у подножия южной Ростральной колонны на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге (чаще всего отождествляемая с Волгой) работы Ж.–Ф. Тома де Томона, 1810. Современная фотография.
- с. 602. А.М. Опекушин (модель), М.О. Микешин (рисунок). Волга. 1882. Серебро (изг. фабрикой П.А. Овчинникова в Москве; автор пьедестала Д. Чичагов) // Всероссийская художественно-промышленная выставка в Москве 1882 года: Иллюстрированное описание.

Альбом, 179 рисунков и 16 портретов. Приложение к журналу «Всемирная иллюстрация». СПб., 1882. С. 120.

Переплет

Крестьянин, плетущий лапоть. Фарфор. 1850-е – 1860-е гг. // Крестьянский мир в русском искусстве. Русский музей. СПб., 2005. С. 85.

Жница. Фарфор. 1850-е – 1860-е гг. // Крестьянский мир в русском искусстве. Русский музей. СПб., 2005. С. 85.

Рыбак и разносчик дичи. Гравюра // Волшебный фонарь, или зрелище С[анкт]-Петербургских расхожих продавцов... СПб., 1817–1818.

Наглядная карта Европейской России / Сост. М.И. Томасик; под ред. В.В. Урусова. М., 1903.

The monograph is devoted to the reconstruction of key terms, theories and images, through which the concept «Great Russians» was created at XIX cent. The chosen sources include Russia's scientific researches and texts of popular ethno-geographical literature and school textbooks. The history of the Great Russians, which was assessed as «the dominant Russian tribe» is implemented through classification's procedures and comparisons with other tribes (Slavic, Eastern Slavic and Finns) in several fields: the territory of Great Russia, the Great Russian's language, the racial/ethnic type, the ethnic nature/character - so as transformation of ethnonym «Velikoruss» and its variations. The process of verbal and visual conceptualization of «Great Russians» is analyzed on various ethnical representations of Russians (Eastern Slavs) in a nation-building period.

Научное издание

Мария Войтговна Лескинен

Великоросс / великорус.

Из истории конструирования
этничности.
Век XIX

Издательство «Индрик»

Редактор *И. В. Леонтьева*
Оригинал-макет *А. С. Старчеус*

INDRIK Publishers has the exceptional right to sell this book outside Russia and CIS countries. This book as well as other **INDRIK** publications may be ordered by

www.indrik.ru

or by tel./fax: +7 495 938-01-00

Налоговая льгота –
общероссийский классификатор продукции (ОКП) – 95 3800 5

Формат 70×100 1/16. Печать офсетная.

42,5 п. л. Тираж 800 экз.

Отпечатано с оригинал-макета
в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6



НАГЛЯДНАЯ КАРТА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ



УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ

- 1. Железные дороги
- 2. Автоматические железные дороги
- 3. Телеграфные линии
- 4. Каналы
- 5. Моря и океаны
- 6. Реки
- 7. Болота
- 8. Леса
- 9. Поля
- 10. Луга
- 11. Горы
- 12. Озера
- 13. Водоемы
- 14. Деревья
- 15. Животные
- 16. Растения
- 17. Здания
- 18. Мосты
- 19. Дороги
- 20. Станции
- 21. Порты
- 22. Крепости
- 23. Церкви
- 24. Школы
- 25. Больницы
- 26. Магазины
- 27. Рестораны
- 28. Отели
- 29. Парки
- 30. Сады
- 31. Площади
- 32. Бульвары
- 33. Улицы
- 34. Тротуары
- 35. Дорожки
- 36. Мостки
- 37. Скамейки
- 38. Фонтаны
- 39. Статуи
- 40. Памятники
- 41. Обелиски
- 42. Колонны
- 43. Стелы
- 44. Скульптуры
- 45. Картины
- 46. Музеи
- 47. Библиотеки
- 48. Консерватории
- 49. Театры
- 50. Оперные театры
- 51. Концертные залы
- 52. Спортивные площадки
- 53. Стадионы
- 54. Парки развлечений
- 55. Зоопарки
- 56. Ботанические сады
- 57. Оранжереи
- 58. Теплицы
- 59. Парники
- 60. Садки
- 61. Пруды
- 62. Каналы
- 63. Мельницы
- 64. Заводы
- 65. Фабрики
- 66. Мастерские
- 67. Магазины
- 68. Торговые центры
- 69. Рынки
- 70. Площади
- 71. Бульвары
- 72. Улицы
- 73. Тротуары
- 74. Дорожки
- 75. Мостки
- 76. Скамейки
- 77. Фонтаны
- 78. Статуи
- 79. Памятники
- 80. Обелиски
- 81. Колонны
- 82. Стелы
- 83. Скульптуры
- 84. Картины
- 85. Музеи
- 86. Библиотеки
- 87. Консерватории
- 88. Театры
- 89. Оперные театры
- 90. Концертные залы
- 91. Спортивные площадки
- 92. Стадионы
- 93. Парки развлечений
- 94. Зоопарки
- 95. Ботанические сады
- 96. Оранжереи
- 97. Теплицы
- 98. Парники
- 99. Садки
- 100. Пруды

Составитель
М. И. ГОЛОВАЧЕВСКИЙ.
Дополнение и издание географического атласа
В. В. УРУСОВА.
Издательство географического общества.
1901 г.



РАСЧИСЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПУТИ
в верстах для
на проезд в различные местности.

1. Сибирский путь	2. Финляндия
3. Южный путь	4. Дальневосточный путь
5. Закавказский путь	6. Крымский путь
7. Закаспийский путь	8. Чирчинский путь
9. Средний путь	10. Туркестанский путь
11. Кавказский путь	12. Забайкальский путь
13. Алтайский путь	14. Сибирский путь
15. Дальневосточный путь	16. Закавказский путь
17. Крымский путь	18. Закаспийский путь
19. Чирчинский путь	20. Туркестанский путь
21. Средний путь	22. Туркестанский путь
23. Чирчинский путь	24. Туркестанский путь
25. Туркестанский путь	26. Туркестанский путь
27. Туркестанский путь	28. Туркестанский путь
29. Туркестанский путь	30. Туркестанский путь
31. Туркестанский путь	32. Туркестанский путь
33. Туркестанский путь	34. Туркестанский путь
35. Туркестанский путь	36. Туркестанский путь
37. Туркестанский путь	38. Туркестанский путь
39. Туркестанский путь	40. Туркестанский путь
41. Туркестанский путь	42. Туркестанский путь
43. Туркестанский путь	44. Туркестанский путь
45. Туркестанский путь	46. Туркестанский путь
47. Туркестанский путь	48. Туркестанский путь
49. Туркестанский путь	50. Туркестанский путь
51. Туркестанский путь	52. Туркестанский путь
53. Туркестанский путь	54. Туркестанский путь
55. Туркестанский путь	56. Туркестанский путь
57. Туркестанский путь	58. Туркестанский путь
59. Туркестанский путь	60. Туркестанский путь
61. Туркестанский путь	62. Туркестанский путь
63. Туркестанский путь	64. Туркестанский путь
65. Туркестанский путь	66. Туркестанский путь
67. Туркестанский путь	68. Туркестанский путь
69. Туркестанский путь	70. Туркестанский путь
71. Туркестанский путь	72. Туркестанский путь
73. Туркестанский путь	74. Туркестанский путь
75. Туркестанский путь	76. Туркестанский путь
77. Туркестанский путь	78. Туркестанский путь
79. Туркестанский путь	80. Туркестанский путь
81. Туркестанский путь	82. Туркестанский путь
83. Туркестанский путь	84. Туркестанский путь
85. Туркестанский путь	86. Туркестанский путь
87. Туркестанский путь	88. Туркестанский путь
89. Туркестанский путь	90. Туркестанский путь
91. Туркестанский путь	92. Туркестанский путь
93. Туркестанский путь	94. Туркестанский путь
95. Туркестанский путь	96. Туркестанский путь
97. Туркестанский путь	98. Туркестанский путь
99. Туркестанский путь	100. Туркестанский путь

ИСТОРИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО СЪЕДИНЕНИЯ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА ГОР ИЛИВЕРШИТЕЛЕЙ РОССИИ



РАСЧИСЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПУТИ
в верстах для
на проезд в различные местности.

1. Сибирский путь	2. Финляндия
3. Южный путь	4. Дальневосточный путь
5. Закавказский путь	6. Крымский путь
7. Закаспийский путь	8. Чирчинский путь
9. Средний путь	10. Туркестанский путь
11. Кавказский путь	12. Забайкальский путь
13. Алтайский путь	14. Сибирский путь
15. Дальневосточный путь	16. Закавказский путь
17. Крымский путь	18. Закаспийский путь
19. Чирчинский путь	20. Туркестанский путь
21. Средний путь	22. Туркестанский путь
23. Чирчинский путь	24. Туркестанский путь
25. Туркестанский путь	26. Туркестанский путь
27. Туркестанский путь	28. Туркестанский путь
29. Туркестанский путь	30. Туркестанский путь
31. Туркестанский путь	32. Туркестанский путь
33. Туркестанский путь	34. Туркестанский путь
35. Туркестанский путь	36. Туркестанский путь
37. Туркестанский путь	38. Туркестанский путь
39. Туркестанский путь	40. Туркестанский путь
41. Туркестанский путь	42. Туркестанский путь
43. Туркестанский путь	44. Туркестанский путь
45. Туркестанский путь	46. Туркестанский путь
47. Туркестанский путь	48. Туркестанский путь
49. Туркестанский путь	50. Туркестанский путь
51. Туркестанский путь	52. Туркестанский путь
53. Туркестанский путь	54. Туркестанский путь
55. Туркестанский путь	56. Туркестанский путь
57. Туркестанский путь	58. Туркестанский путь
59. Туркестанский путь	60. Туркестанский путь
61. Туркестанский путь	62. Туркестанский путь
63. Туркестанский путь	64. Туркестанский путь
65. Туркестанский путь	66. Туркестанский путь
67. Туркестанский путь	68. Туркестанский путь
69. Туркестанский путь	70. Туркестанский путь
71. Туркестанский путь	72. Туркестанский путь
73. Туркестанский путь	74. Туркестанский путь
75. Туркестанский путь	76. Туркестанский путь
77. Туркестанский путь	78. Туркестанский путь
79. Туркестанский путь	80. Туркестанский путь
81. Туркестанский путь	82. Туркестанский путь
83. Туркестанский путь	84. Туркестанский путь
85. Туркестанский путь	86. Туркестанский путь
87. Туркестанский путь	88. Туркестанский путь
89. Туркестанский путь	90. Туркестанский путь
91. Туркестанский путь	92. Туркестанский путь
93. Туркестанский путь	94. Туркестанский путь
95. Туркестанский путь	96. Туркестанский путь
97. Туркестанский путь	98. Туркестанский путь
99. Туркестанский путь	100. Туркестанский путь

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА ГОР ИЛИВЕРШИТЕЛЕЙ РОССИИ



РАСЧИСЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПУТИ
в верстах для
на проезд в различные местности.

1. Сибирский путь	2. Финляндия
3. Южный путь	4. Дальневосточный путь
5. Закавказский путь	6. Крымский путь
7. Закаспийский путь	8. Чирчинский путь
9. Средний путь	10. Туркестанский путь
11. Кавказский путь	12. Забайкальский путь
13. Алтайский путь	14. Сибирский путь
15. Дальневосточный путь	16. Закавказский путь
17. Крымский путь	18. Закаспийский путь
19. Чирчинский путь	20. Туркестанский путь
21. Средний путь	22. Туркестанский путь
23. Чирчинский путь	24. Туркестанский путь
25. Туркестанский путь	26. Туркестанский путь
27. Туркестанский путь	28. Туркестанский путь
29. Туркестанский путь	30. Туркестанский путь
31. Туркестанский путь	32. Туркестанский путь
33. Туркестанский путь	34. Туркестанский путь
35. Туркестанский путь	36. Туркестанский путь
37. Туркестанский путь	38. Туркестанский путь
39. Туркестанский путь	40. Туркестанский путь
41. Туркестанский путь	42. Туркестанский путь
43. Туркестанский путь	44. Туркестанский путь
45. Туркестанский путь	46. Туркестанский путь
47. Туркестанский путь	48. Туркестанский путь
49. Туркестанский путь	50. Туркестанский путь
51. Туркестанский путь	52. Туркестанский путь
53. Туркестанский путь	54. Туркестанский путь
55. Туркестанский путь	56. Туркестанский путь
57. Туркестанский путь	58. Туркестанский путь
59. Туркестанский путь	60. Туркестанский путь
61. Туркестанский путь	62. Туркестанский путь
63. Туркестанский путь	64. Туркестанский путь
65. Туркестанский путь	66. Туркестанский путь
67. Туркестанский путь	68. Туркестанский путь
69. Туркестанский путь	70. Туркестанский путь
71. Туркестанский путь	72. Туркестанский путь
73. Туркестанский путь	74. Туркестанский путь
75. Туркестанский путь	76. Туркестанский путь
77. Туркестанский путь	78. Туркестанский путь
79. Туркестанский путь	80. Туркестанский путь
81. Туркестанский путь	82. Туркестанский путь
83. Туркестанский путь	84. Туркестанский путь
85. Туркестанский путь	86. Туркестанский путь
87. Туркестанский путь	88. Туркестанский путь
89. Туркестанский путь	90. Туркестанский путь
91. Туркестанский путь	92. Туркестанский путь
93. Туркестанский путь	94. Туркестанский путь
95. Туркестанский путь	96. Туркестанский путь
97. Туркестанский путь	98. Туркестанский путь
99. Туркестанский путь	100. Туркестанский путь